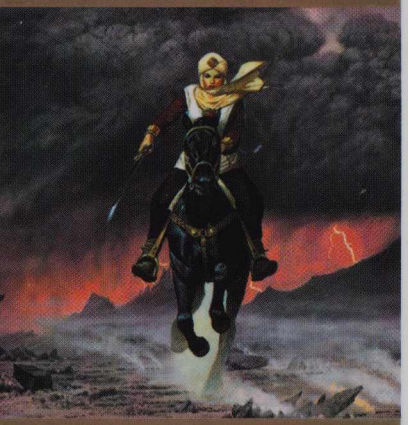
Генри Лайон
Олди



Ярчайшее литературное событие последнего десятилетия

КАБИРСКИЙ ЦИКЛ

ЭКСМО

Генри Лайон Олди

ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

КАБИРСКИЙ ЦИКЛ



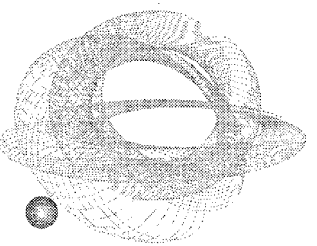
Генри Лайон
Олди

КАБИРСКИЙ
ЦИКЛ

Генри Лайон
Олди

КАБИРСКИЙ
ЦИКЛ





ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

Генри Лайон
ОЛДИ

КАБИРСКИЙ ЦИКЛ

ПУТЬ МЕЧА
ДАЙТЕ ИМ УМЕРЕТЬ
Я ВОЗЬМУ САМ

Эксмо, Москва
2003

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
О 53

Серийное оформление художника *Е. Савченко*

Серия основана в 2003 году

Издательство благодарит В. В. Головачева за непосредственное участие в составлении и дизайне серии

Олди Г. Л.

О 53 Кабирский цикл: Фантастические романы. — М.: Изд-во Эксмо, 2003. — 992 с. (Серия «Шедевры отечественной фантастики»).

ISBN 5-699-01762-3

«Утопия и чудеса, жестокость реальности и покой души, вихрь Бесед и неспешность мудрости, да приправить хорошей толикой юмора, и терпкое послевкусие: «Будь проклят день, когда оружию стали давать имена!» — говорил читатель о романе Г. Л. Олди «Путь Меча».

«Это самое-самое лучшее, что я когда-либо читала. Может, было особое настроение, или в моем сердце есть что-то, что откликнулось... Не знаю. Помню только свое состояние — как в трансе, как будто все это правда, и эти строки: «Нерожденные слова горло теребят. Я училась убивать, начала с себя...» — сказано про роман «Дайте им умереть».

«Перед нами — поэма. Блестящая аллегорическая поэма о человеке, отринувшем меч, чтобы войти в историю в качестве поэта. Силой обладает лишь песня; герой обретает настоящую жизнь, а поэт Олди окончательно побеждает фантаста Олди» — это уже про «Я возьму сам».

Воистину «Кабирский цикл» Г. Л. Олди в отечественной фантастике «спокойно стоит один, как меч, против неба».

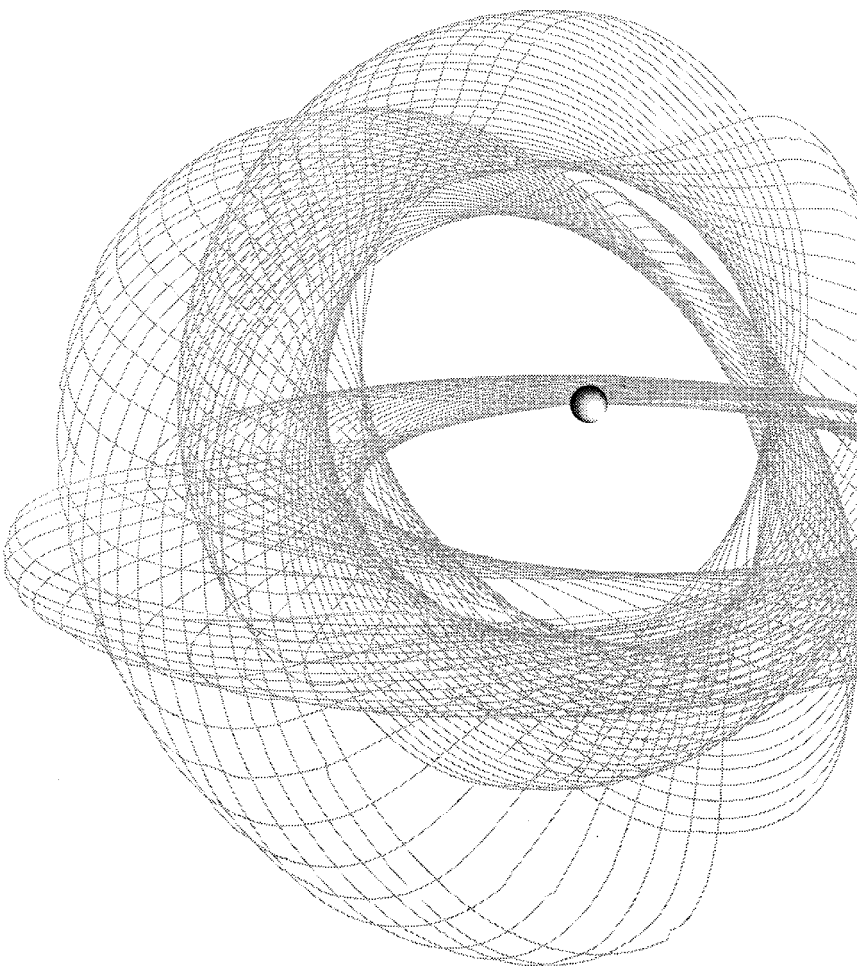
УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

© Г. Л. Олди, 2003
© ООО «Издательство «Эксмо», оформление, 2003

ISBN 5-699-01762-3

ПУТЬ МЕЧА

РОМАН



— Вот человек стоит на распутье между жизнью и смертью. Как ему себя вести?

— Пресеки свою двойственность, и пусть один меч сам стоит спокойно против неба!

Из разговоров Кусуноки Масасигэ с его наставником

Книга I
КАБИР

Часть I
МЕЧ ЧЕЛОВЕКА

...Вот выносят из подвала,
Из-под дюжины затворов,
Из-под девяти задвижек —
Вот несут навстречу солнцу
Под сияние дневное
Короля мечей заветных,
Битв суровых властелина,
Кузнеца почет и муку,
Сильных рук изнеможенье!..

Калевипоэг

ГЛАВА 1

1

Мы встретились с харзийцем за угловой башней Аль-Кутуна, в одном из тех грязных и узких переулков района Джаффар-ло, которые подобны нитям старого темляка — спутанным и залоснившимся.

Его Придаток стоял прямо у нас на дороге, широко расставив кривые ноги и склонив к плечу голову, украшенную неправдоподобно маленькой тюбетейкой. Шитье на тюбетейке было мастерское, мелкий бисер лежал ровно и тесно. Руки Придаток держал на виду, и в них, похоже, ничего не было. Обычные руки хорошего Придатка — гладкие и спокойные.

Приближаясь, я прощупал его и сперва не обнаружил Блистающего, равного себе, — ни за плечом, ни на поясе, скрытом под складками чуть спущенного плаща, ни...

Одна рука Придатка подбросила в вечернюю прохладу смятый комок, и тот неожиданно вспорхнул белой кружевной бабочкой, на миг зависшей в воздухе; другая рука легла на невидимый пояс, в пряжке что-то звонко щелкнуло — и освобожденный пояс радостно запел, разворачиваясь в стальную полосу, становясь Блистающим и приветствуя меня ритуальным свистом.

Чужой Блистающий еле заметно лизнул тончайшую ткань падающего платка, и из одной бабочки стало две, а я одобрительно качнулся и вспомнил о том, что рожденные в жаркой Харзе — полтора караванных перехода от Кабира — испокон веков гордятся своим происхождением от языка Рудного Полоза.

И мне стало тесно в одежде — будничных кожаных ножнах, схваченных семью плетеными кольцами из старой бронзы.

Я скользнул наружу, с радостью окунувшись в кабирские сумерки, — и вовремя. Придаток харзийца уже приседал, пружиня на вросших в землю ногах, и мне пришлось изо всех сил рвануть руку своего Придатка вверх и наискосок вправо, потому что иначе заезжий Блистающий запросто сумел бы смахнуть верхушку тюрбана моего Придатка, что по Закону Беседы означало бы мое поражение.

Он, видимо, совсем недавно приехал в столицу, иначе не рассчитывал бы закончить Беседу со мной на первом же взмахе. Если даже я и уступал харзийцу в гибкости (а кто им не уступает?), то в скорости мы могли потягаться — и на этот раз не в его пользу.

— Отлично, Прямой! — прозвенел гость из Харзы, завибрировав от столкновения и с удовольствием называя меня безличным именем. — А если мы...

Он зря потерял время. Я отшвырнул болтливого харзийца в сторону, затем легко толкнулся в ладонь моего Придатка, его послушное тело мгновенно отреагировало, припадая на колено, — и я дважды пронзил плащ харзийского Придатка вплотную к плечу и правому локтю, ощутив на себе обжигающее прикосновение чужой и чуждой плоти.

Оба раза я тесно приникал к телу Придатка — сперва плашмя, а потом лезвием, и на хрупкой и ранимой коже не осталось даже царапины.

По меньшей мере глупо портить чужих Придатков, если их так сложно подготовить для достойной службы Блистающим. Впрочем, самоуверенный харзиец мог бы выбрать себе носителя и получше...

...Уже выходя из переулка, я вспомнил, что по завершении Беседы забыл представиться Блистающему из Харзы, и пожалел об этом.

Ничто не должно мешать вежливости, даже занятость или раздражение.

Я — прямой меч Дан Гьен из Мэйланьских Блистающих по прозвищу Единорог.

Мой Придаток — Чэн Анкор из Вэйских Анкоров.

Хотя это неважно.

2

Вернувшись домой, я поднялся в верхний зал, зацепился одним кольцом ножен за крюк и прильнул к любимому мехлийскому ковру, забыв переодеться. Все мои мысли были заняты странной встречей за башней Аль-Кутуна, поэтому слабым внутренним толчком я отпустил Придатка, который тут же вышел из зала, поправив по дороге навесную решетку горящего камина.

Мне нужно было побыть в одиночестве.

Я уже очень давно никуда не выезжал из Кабира, и здесь меня знали достаточно, чтобы не устраивать подобных испытаний, — и уж тем более мало кто рискнул бы вот так, походя, без должных церемоний вовлекать Единорога в шальные Беседы. Такие забавы хороши в юности, когда тело трепещет от избыточной энергии и жажда приключений туманит сознание молодого Блистающего.

Ах, юность, юность, почему ты так любишь спорить и доказывать?.. И почти всегда — не вовремя, не там и не тому, кому надо...

В моем возрасте — а я сменил уже пятого Придатка, отдавая предпочтение услужливому и умелому роду Анкоров из затерянного в барханах Верхнего Вэя, окраины Мэйланя, — итак, в моем возрасте вполне достаточно шести-семи традиционных турниров в год, не считая обычных Бесед со знакомыми Блистающими, случавшихся довольно регулярно.

Пожалуй, чаще других я встречался с Волчьей Метлой — разветвленной, подобно оленьим рогам или взъерошенному хвосту степного волка, пикой с улицы Лоу-Расха, — но она неделю назад увезла своего Придатка куда-то в горы; и, честно говоря, я скучал по Метле, надеясь на ее возвращение хотя бы к середине ближайшего турнира.

Мне нравилось проскальзывать между ее зазубренными отростками. Это было... это было прекрасно. Не то что мой приятель-соперник, вечно фамильярный, как и вся его двуручная родня, эспадон Гвениль Лоулезский, — этот при Беседе так и норовил обрушиться на тебя всей своей тушей, заставляя спешно пружинить и отлетать в сторону; а потом Гвениль удалялся, нахально развалившись на плече двужильного Придатка из породы беловолосых северян и излучая обидное презрение обнаженным клинком.

Я заворочался, вспоминая прошлые обиды. И расслабился,

вспомнив, что обиды — прошлые. На недавнем турнире во внешнем дворе замка Бурайя я таки подловил увлекшегося Гвениля на его коронном взмахе, и мое острие легонько тронуло кадык на мощной шее его Придатка — а даже самоуверенный эспадон прекрасно знал цену моего касания.

— Растешь, Однорогий, — разочарованно присвистнул Гвениль, опускаясь вниз и впервые не спеша улечься на плечо замершего Придатка. — Смотри не затупись от гордости...

Я отсалютовал лоулезскому гиганту и с тех пор частенько вспоминал замок Бурайя и мой триумф.

Но все-таки — откуда взялся этот странный харзиец? Во имя Грозового Клинка — случайность или умысел?! Недавно прибывший в Кабир юный задира или опытный Блистающий, расчетливо пробующий силы наедине, без зрителей?..

...Дрова в камине почти прогорели. В дверь зала вереницей двинулись Малые Блистающие моего дома, раскачиваясь на поясах своих Придатков и блестя одинаковыми — фиолетовыми с серебристым прошивом — ножнами.

— Приветствуем тебя, Высший Дан! — коротко звякнули Малые, пока их Придатки толпились возле камина, накрывали на стол, передвигали кресла и вытирали несуществующую пыль с витражных оконных стекол, шурша пыльным бархатом штор.

Я кивнул им с ковра. Некоторых Малых я знал очень давно, с самого рождения — они испокон веков числились в свите Мэйланьских прямых мечей Дан Гьенов. Те из них, чьи клинки были чуть-чуть изогнуты, несмотря на двустороннюю заточку, а на чашках гард красовалась узорчатая чеканка, — эти владели Придатками, лично обслуживавшими Придатка Чэна. Остальные — короткие и широкие кинжалы с плебейскими замашками — следили за неисчислимым множеством суетных мелочей.

Плотно затворить окна, например, чтобы воздух в помещении оставался сухим и теплым, — вернее, проследить за соответствующими действиями вверенных им Придатков — или расставить кувшины, в которых плескалась густая красная жидкость. Такая же течет в жилах Придатков и называется «кровь», а та, что в кувшинах, — «вино».

Льющаяся кровь означала порчу Придатка и непростительный промах Блистающего, льющееся же вино иногда было необходимо, хотя и заставляло Придатков терять контроль над собой, впадая в опьянение. Ни один Блистающий не выведет пьяного Придатка на турнир или заурядную Беседу. Не то чтобы это запрещалось...

И хорошо, что не запрещалось. Я еще вернусь к опьянению и тому, почему я — Мэйланьский Единорог — предпочитаю всем прочим род Анкоров Вэйских.

Но об этом в другой раз.

Зажгли свечи.

Я уж совсем было собрался приказать, чтобы меня раздели — люблю, когда полировка клинка играет отсветами живого пламени и цветными тенями от оконных витражей, напоминая змеиную шкуру после купания, — но случилось непредвиденное.

На пороге зала возник эсток Заррахид, вот уже почти сотню лет служивший у меня дворецким. Его прошлое — я имею в виду прошлое до поступления ко мне на службу — было покрыто мраком, и я знал лишь, что узкий и хищно вытянутый эсток с непривычным для коренных кабирцев желобом почти во всю длину клинка — выходец с западных земель, из Оразма или Хины, граничащих с Кабирским эмиратом вдоль левого рукава желтой Сузы и связанных с ним вассальной клятвой.

Впрочем, прошлое Заррахида меня интересовало мало. Мне было достаточно, что сейчас на каждой из четырех полос черного металла, из которых сплеталась гарда молчаливого эстока, стояло мое родовое клеймо — вставший на дыбы единорог. Вдобавок я не раз убеждался в деловитости и безоговорочной преданности Заррахида, а его манерам мог позавидовать любой из высокородных Блистающих.

Я, например, частенько завидовал. И перенимал некоторые, нимало не стыдясь этого.

Чем-то эсток Заррахид напоминал своего нынешнего Придатка — сухого и костистого, с темным невыразительным лицом и подчеркнуто прямой спиной.

— К вам гость, Высший Дан Гьен! — почтительно качнулся эсток, на миг принимая строго вертикальное положение. — Прикажете впустить?

— Кто?

Я не ждал гостей.

— Подобный солнцу сиятельный ятаган Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир! — протяжным звоном отозвался эсток, не оставляя мне выбора.

Прикажете впустить, однако...

Шешез Абу-Салим, ятаган из правящей династии, фактически был первым по значению клинком в белостенном Кабире; и уж конечно, он был не тем гостем, какого можно не принять.

Когда я говорю — «первый по значению клинок», я имею в виду именно «по значению», а не «по мастерству». Во время Бесед или турниров род и положение Блистающего не играют никакой роли, и мне не раз приходилось скрещиваться хотя бы с тем же Заррахидом, причем вышколенный дворецкий вне службы был умелым и беспощадным со-Беседником. Мы внешне немного походили друг на друга, и, признаюсь, когда-то я перенимал у Заррахида не только манеры.

Но отдадим должное — если по мастерству родовитый ятаган Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир и не входил в первую дюжину Блистающих столицы, то во вторую он входил наверняка, что было уже немало; хотя зачастую Абу-Салим и уклонялся от Бесед с влиятельным кланом Нагинат Рюгоку или с Волчьей Метлой и ее подругами, предпочитая соперников своего роста. И в этом я был с ним заодно, хотя и не всегда. А в последнее время — далеко не всегда.

— Прикажете впустить? — повторил эсток.

Я согласно шевельнул кисточками на головке моей рукояти, и Заррахид отвел своего Придатка в сторону, освобождая проход.

Грузный Придаток Абу-Салима, чьи вислые и закрученные с концов усы напоминали перевернутую гарду надменных стилетов Ларбонны, торжественно приблизился к моей стене, держа на вытянутых руках царственного Шешеза. Затем он немного постоял, сверкая золотым шитьем парчового халата, — я обратил внимание, что и сам Шешез Абу-Салим надел сегодня ножны из крашенной пурпуром замши с тиснением «трилистника» и восьмигранным лакированным набалдашником, — и спустя мгновение ятаган Шешез приветственно прошуршал, опускаясь на сандаловую подставку для гостей.

Висеть Абу-Салим не любил — как у всех ятаганов его рода, центр тяжести Шешеза смещался очень близко к расширяющемуся концу его клинка, отчего ятаганы, висящие на стене, выглядели немного неуклюжими. Но Блистающие Кабира прекрасно знали обманчивость этого впечатления, да и сам я не раз видел, как его величество с легкостью рубит десять слоев грубого сукна, обернутого вокруг стальной проволоки. И вообще отличается изрядным проворством.

Даже двуручный грубиян Гвениль Лоулезский и его братья-эспадоны (несмотря на отсутствие вассальной зависимости Лоулеза от Кабирского эмирата) избегали при посторонних звать Абу-Салима просто Шешезом, хотя ятаган и любил свое первое имя-прозвище. Шешез — на языке его предков, Диких Лезвий, некогда приведших своих горных Придатков в Кабир, означало «молния» или «лоб Небесного Быка».

Высокородный ятаган вполне оправдывал это имя.

Шевельнувшись в соответствующем моменту поклоне, я уж было решил приказать сменить на мне одежду, но Абу-Салим поерзал на подставке и хитро подмигнул мне зеленым изумрудом, украшавшим его рукоять.

— Терпеть не могу парадных нарядов, — весело сообщил он, устроившись поудобнее. — И жмет, и бок натирает, а никуда не денешься — дворцовые чистоплюи не поймут. Мне бы твоего Заррахида на недельку-другую, чтоб показал им, с какой стороны маслом мажутся...

Я понял, что разговор намечается неофициальный. Придаток

Чэн уже стоял позади Придатка Абу-Салима, и мы, не сговариваясь, отослали их к столу — пить свое любимое вино. Малые Блистающие засуетились вокруг, косясь то на нас с Шешезом, то на застывшего у дверей эстока Заррахида.

Абу-Салим не обратил на Малых ни малейшего внимания.

— Хорошо у тебя, Единорог, — мечтательно протянул он, сверкнув черным лаком набалдашника. — Тихо, спокойно... не то что у меня во дворце. Завидую, честное слово...

— Я люблю покой... Шешез, — ответил я, решив принять предложенный тон разговора. — Ты же знаешь — мы, мэйланьцы, в душе отшельники. Приемы да шествия не по нам. У меня и ножен-то подходящих для такого дела нет, и оплетка на рукояти вытерлась...

— Не прибедняйся, — усмехнулся ятаган, — все у тебя есть. Тем паче что я как раз по этому поводу. Ты дядю моего двоюродного, Фархада Абу-Салима иль-Рахша фарр-ла-Кабир знаешь? Понимаю, что имечко длинное, так ведь и дядя у меня не из коротких... Ну, знаешь или нет?

Я кивнул. Иль-Рахша — иначе «Крыло бури» — я видел, когда давал личную вассальную клятву царствующему дому фарр-ла-Кабир, и еще несколько раз на очень давних турнирах. На последних иль-Рахш по каким-то своим причинам не показывался, но я все равно отлично помнил его нарочито бедную рукоять без серебра и самоцветов, отрывистую манеру Беседовать и любимый удар с оттяжкой при рубке предметов.

Сколько ж это времени прошло? Многовато...

Незабываемый был дядя у Шешеза. Фархад Абу-Салим иль-Рахш фарр-ла-Кабир слыл чуть ли не самым старым Блистающим Кабира, и поговаривали, что он помнит даже времена Диких Лезвий, — но в это верилось с трудом.

Ятаган удовлетворенно покачал ремнем ножен, провисшим вниз.

— Вот и хорошо, — заявил он, — вот и славно!.. Ты понимаешь, Единорог, у Фархадова Придатка третьего дня детеныш родился. Крепенький такой, горластый, не то что предыдущие заморыши... Вот дядя Фархад и решил себе нового Придатка вырастить. А то, говорит, у старого рука уже не та. Опять же детеныш, похоже, левша, а у иль-Рахша на это нюх и слабость немалая... В общем, завтра церемония Посвящения. Придешь? Ведь у нас из Высших Мэйланя кто сейчас в Кабире? Ты да еще Тэссэн Седзи, только этот боевой веер никуда не ездит уже лет восемь. И впрямь отшельники вы, мэйланьцы...

Я подумал. Приглашение, да еще лично от Шешеза (или от самого иль-Рахша?! А переспросить — неудобно...) было лестным. Лестным, но неожиданным, а потому нуждалось в осмыслении. И род мой, и положение в Кабире вполне оправдывали честь присутствия на Посвящении Придатков правящего дома — прав-

да, до сих пор высокородные ятаганы предпочитали отправлять на временный (пока новый Придаток вырастет да обучится) покой членов своей семьи без посторонних.

И особая пышность при этом тоже не поощрялась. Ну, в крайнем случае приглашались родственные сабельные кланы, чьи предки и предки ятаганов фарр-ла-Кабир были выходцами с одних и тех же плоскогорий, — цельнокованые Малхусы с зигзагообразным срезом тупой стороны клинка у самого острия и необщительные Киличи из ущелий Озека, похожие на ущербный полумесяц. Еще изредка малочисленные Шамшеры перевала Рок...

При чем здесь Высшие Мэйланя, я вас спрашиваю? Я и не был-то дома невесть сколько!.. Вот как перевез в Кабир Хо Анкора, прадеда нынешнего Придатка Чэна, так и осел в столице... даже в гости домой не езжу. Вот ведь как — домой в гости...

Я представил себе, как гордый Шешез Абу-Салим приглашает на Посвящение Тэссэна Седзи, а упрямый веер отрицательно шевелит потемневшими от времени пластинами, острыми как бритва, ссылаясь на годы и любовь к одиночеству, — и понял, что соглашусь.

— Сочту за честь, — ответил я. — Всенепременно буду.

— Прекрасно! — искренне обрадовался Шешез, и мне вдруг показалось, что ятаган за ширмой непринужденности упорно скрывает истинную цель своего прихода и что сейчас я согласился не только на присутствие при церемонии Посвящения, но и на что-то еще, на что, может, и не стоило бы соглашаться.

Мало у меня забот?.. Харзиец этот непонятный, Метла опять же уехала и когда вернется — неизвестно, а теперь еще и нежданная любовь к мэйланьцам со стороны династии фарр-ла-Кабир...

— Просто прекрасно! А то на таких торжествах ржавеешь от скуки! Ты обязательно приходи, Единорог, расскажешь нам что-нибудь интересное... Помнишь, твой брат, Большой Да-дао-шу, ваши предания любил рассказывать, пока не уехал домой? О походах Диких Лезвий, о подземной кузнице Нюринге, о мертвых Блистающих с вечно теплым лезвием... как вы их называете? Отблестевшие, что ли?

— Тусклые. Тусклыми их зовут...

Это вырвалось у меня непроизвольно. Не та была тема, чтобы вот так, попусту, звенеть о ней после захода солнца. Шешез прав — в древнем Мэйлане верили во многое, на что большинство Блистающих эмирата предпочли закрыть глаза или сделать вид, что закрыли... а вот мне все не удавалось. Да и глаза — их Придаткам закрывать привычнее, а в Мэйлане говорят: «От страха в ножны не спрячешься».

Шешез не знал, отчего мой старший брат Да-дао-шу, рядом с которым и Шешез, и гигант Гвениль казались не такими уж большими, прошлым летом спешно бросил все дела в Кабире и вер-

нулся в Мэйлань. Я и сам-то не слыхал послания от наших старейшин, которое и выдернуло Большого Да из Кабира. Посчитали, видно, что молод Единорог...

А еще Шешез не знал, отчего три молодые ветви, отпрыски знатнейших Мэйланьских родов — Единороги-Гьены, Сизые Лепестки и единственный наследник Когтя Орла, меч-крюк Цзяньгоу, — в свое время оставили родину и уехали, не оглянувшись. Я и Да-дао-шу — в Кабир, остальные кто куда...

Ну и не надо ему об этом знать. Я не много знаю, как младший в роду, — так, все больше догадки строю, — а Шешезу и вовсе ни к чему.

— Да-да, верно, — Шешез довольно потерся о ложе подставки, выложенное трехслойным войлоком. — Тусклые, конечно! А я все никак не вспомню... у Фархада спрашивал — не отвечает. Совсем старый, видно, стал. Собственную тень пополам резать хочет. Ну да ладно, это дела семейные... так ты приходи, Единорог, приходи обязательно!

...Еще около часа мы болтали о всяких светских пустяках, а потом Шешез Абу-Салим резко засобирался домой, словно вспомнив о чем-то неотложном.

— В Хаффе, на открытом турнире, — вскользь бросил ятаган, пока его Придаток поднимался из-за стола, оправляя алый кушак на объемистом животе, — у Кривого Килича Энгра неприятность вышла. Ты вот его не знаешь, а у него Придатка испортили. Покрупному. Сам понимаешь, сабельные кланы — они горячие, им молодые Придатки нужны, а тут правую ногу подчистую отрезало. Выше колена. И самого Кривого Килича выщербили...

— Кто? — холодея, перебил я, забыв о приличиях. — Может, кто-то из неопытных, вчера кованных? Нет, глупость говорю, их на открытый турнир и не допустили бы, на первой же рубке отсеяли!.. Или бывает, что какая-нибудь алебарда у своего Придатка болезнь проглядела...

— Бывает, — уклонился от прямого ответа сиятельный фаррла-Кабир. — Всякое бывает. Вот и в Дурбане тоже было... Бывает — это когда раньше, причем так давно, что и не вспомнить; а было — это когда почти сейчас, сегодня или в крайнем случае вчера...

И не договорил.

— На Посвящение приходи, — добавил он уже от дверей. — Ты расскажешь, мы расскажем... глядишь, и время веселей пройдет.

Оставшись один, я представил себе щербатого Килича, затем подумал, каково это — теплое и тусклое лезвие, и до утра меня мучили кошмары.

Мне снились испорченные Придатки. Я чувствовал приторно-пьяный запах красного вина, хлещущего из разрубленной плоти.

Придаток Чэн всю ночь просидел над кувшином, и я не гнал его из зала.

4

Утром, в середине четвертой стражи я отправил Заррахида с поручением узнать точное время Посвящения у Абу-Салимов — вчера я так и не удосужился спросить об этом у Шешеза — и заодно послушать свежие городские сплетни. Заррахид был не самым лучшим сборщиком слухов, но зато мой эсток умел мгновенно отсеивать шелуху болтовни от редких зерен истины, что сейчас волновало меня в первую очередь.

Я надеялся выловить в мутной реке легкомыслия форель смысла, как говаривал иногда Трехзубый Кра, любивший в часы досуга бить верткую серебристую рыбу в брызжущих пеной горных потоках Айера и Бек-Нэша на северо-востоке от Кабира.

Цветистость слога была нынче в моде. Заразная, однако, штука... Я с сожалением отмечал, что даже в Беседах коротким и ясным выпадам или ударам без замаха предпочитались длинные «фразы» со множеством увертoк и двусмысленностей. Увы, столичные нравы оставляли желать лучшего...

Не прошло и полторы стражи, как эсток вернулся и доложил, одобрительно похлопывая взмокшего Придатка эфесом по бедру, что в Кабире ничего не говорят. То есть не то чтобы совсем ничего и не то чтобы все Блистающие столицы спрятали клинок болтливости в ножны осторожности — я мысленно проклял Трехзубого Кра с его манерой изъясняться, — и так далее, и тому подобное, и еще много слов было произнесено эстоком в том же духе.

Когда я наконец понял причину многоречивости обычно молчаливого Заррахида, то еле сумел не расхохотаться.

Клянусь грохочущей наковальней Нюринги, он пытался меня развеселить! Видимо, после визита Шешеза и бессонной ночи я выглядел не лучшим образом, вот верный Заррахид и старался вернуть расстроенному Единорогу былой блеск.

Ну что ж, если так, то эсток преуспел в этом. Правда, ненадолго, потому что мое взыгравшее было настроение быстро вернулось к прежнему унылому состоянию, едва я задумался по поводу всеобщего онемения Блистающих. Слог слогом, а врать мне Заррахид не станет.

Кабир молчит за три дня до турнира?! Скорее дерево перестанет гореть в огне, а вода — вызывать ржавчину! И все же...

Неужели призраки мэйланьских легенд достанут меня и в Кабире? Я не знаю тебя, выщербленный Кривой Килич с навсегда испорченным Придатком, но если в маленькой Хаффе объявились Тусклые, то многие разделят твою участь. Тебя это утешает, Килич? Меня — нет.

— Все готово к выезду, Высший! — доложил Заррахид, только что выслушавший явившегося слугу из Малых.

Ах да, я ведь собирался в город...

...А во дворе у внутренних ворот уже били копытами по круп-

ному булыжнику две лошади, только что приведенные из конюшен, и Блистающий-привратник — Южный трезубец Цзи по прозвищу Третий Ус Дракона — презрительно поглядывал на суетившихся конюхов-Придатков.

Привратника мне в свое время лично порекомендовал Заррахид, и с тех пор Третий Ус бессменно стоял на страже у входа в кабирский дом рода Дан. Бессменно — потому что трезубец имел сразу двух Придатков, и пока один из них ел или спал, второй был готов к несению службы.

Было в этом что-то неприличное, но я доверял выбору Заррахида, да и Третий Ус Дракона никогда не участвовал ни в Беседах, ни в турнирах — так что повода к сплетням не давал. А однажды мне случайно довелось увидеть, как он танцует глубокой ночью в пустом дворе, перебрасывая звенящую луну через свои волнообразные лезвия, и я перестал задумываться над странностями своего привратника.

И полюбил выглядывать в окно, когда наступает полнолуние.

Обо всем этом я думал, пока Придаток Чэн выходил во двор и садился на лошадь, откидывая левую полу верхнего халата-кабы зеленого шелка — чтобы ткань не заслоняла мне обзор и не мешала во время поездки общаться с Заррахидом. Сам сопровождающий меня эсток обычно располагался на правом боку своего Придатка, одинаково владевшего обеими руками, так что при конном выезде в город мы оказывались почти вплотную — что, конечно, очень удобно для личных разговоров в городской толчее.

И не обязательно верхом.

— Открыть ворота перед Высшим Мэйланя Дан Гьеном! — коротко и властно прозвенел эсток Заррахид, строго соблюдая все положенные интонации и ритуальную дистанцию между нами — ровно полторы длины моего клинка. Понятное дело, ворота открыли бы и так, без особого приказа, но традиции есть традиции, и не мне менять установленное предками.

А если уж менять, то начинать надо не с церемонии выезда в город.

Придаток Чэн привстал в седле, устраиваясь поудобнее и слегка задев каблуками конские бока, отчего нервное животное заплясало под нами, прядая ушами и норовя подняться на дыбы. Я звонко шлепнул лошадь по крупу, Придаток Чэн туго натянул поводья — и спустя мгновение мы двинулись вперед, мимо молодцевато вытянувшегося Цзи Третьего Уса.

Я не разбираюсь в лошадях, и мне не стыдно в этом признаваться. Некоторые кабирские Блистающие открыто предпочитают конные Беседы, и от них только и слышишь о седлах, правильной посадке Придатков и о преимуществах рубящего удара на всем скаку. Нет уж, увольте... Род Дан, конечно, признавал лошадей, но лишь как удобное средство передвижения, а вести Бе-

седы мы любили по старинке — не на подпрыгивающей спине глупого животного, а имея под ногами Придатка надежную и привычную землю.

Мэйланьские Дан Гъены Беседуют в пешем виде, и поэтому мы всегда отдавали должное молниеносному выпаду, равнодушно относясь к рубке. Разве что в крайнем случае...

Впрочем, я не сомневался, что в столичных конюшнях Мэйланьского Единорога жуют свой овес не самые плохие кони не самых плохих пород. Наверняка Заррахид постарался... вон, едет позади как влитой, словно родился в седле!

Интересно, а где на самом деле родился мой потрясающий дворецкий, мой строгий и молчаливый эсток Заррахид?

— Куда направимся, Высший? — деликатно осведомился Заррахид, поравнявшись со мной.

За пределами дома, да еще и наедине, эсток немного ослаблял стальные обручи приличий, сковывавшие его обычное поведение. Вдобавок, похоже, что-то волновало Заррахида после утреннего выезда в только-только просыпающийся Кабир.

— Туда, — неопределенно ответил я, а сам загадал: три поворота налево, два направо, и после уже станем думать, куда дальше...

Думать не пришлось. После первого же поворота направо дорогу нам преградила толпа Блистающих вместе с их возбужденными Придатками. Заррахид было сунулся вперед — расчистить нам проход, благо никого из Высших в толпе не наблюдалось, — но я остановил его слабым покачиванием кисти, и мы спешились.

Постоять с нашими лошадьми — естественно, за соответствующую мзду — живо согласился какой-то юный четырехгранный кинжал-кончар со смешно оттопыренными усиками у головки рукояти. Его долговязый Придаток отчаянно теребил белесый пушок над верхней губой, но поводья в свободной руке держал крепко, так что вскоре эсток уверенно занял место впереди меня и принялся прокладывать дорогу через галдящее столпотворение.

— ...Вы слышали?

— Нет, а в чем дело?..

— Просто в Хаффе то же самое...

— Куда смотрят власти? Я вас спрашиваю, куда смотрят власти?

— А почему это вы именно меня спрашиваете? Нашли, понимаешь, власть! И нечего мне бок царапать — только вчера лакировался...

— ...и что странно — возле самого эфеса! В наиболее сильной части...

— А вы его знали? Ну и что? А...

— Сказки это! В наше просвещенное время не стоит уделять слишком много...

— Сказки? Вы что, действительно считаете...

— Темляк! Темляк оторвете!..

— И как раз перед Посвящением...

— Чьим?

— Чьим, чьим... сам Фархад иль-Рахш новорожденного Придатка посвящает, накануне турнира!..

— А я что? Я ничего... только, говорят, в Дурбане...

Заррахид неожиданно свернул в сторону, Придаток Чэн резко остановился, словно боясь на что-то наступить, — и я увидел то, что увидел.

И мне показалось, что ставшие необыкновенно горячими ножны плотно облепили мое тело, как смесь глины, речного песка и угольной пыли перед самой первой закалкой, а ледяной родниковой воды все не было, и я боялся потрескаться, боялся потускнеть и рассыпаться, боялся...

Передо мной лежал мертвый Блистающий. При желании до него можно было бы дотянуться, но подобного желания не возникало.

Я не знал лежащего лично. Я понимал только, что это кто-то из местных Шамшеров, причем небогатых — по отделке видно. Клинок сабли был сломан на три пальца выше треснувшей гарды со сколотым шариком на одном конце. Неровная линия излома наводила на нехорошие мысли — хотя какие уж тут хорошие мысли! — а остальная часть Блистающего валялась чуть поодаль, присыпанная бурой пылью, и острие касалось бедра Придатка, разрубленного от ключицы до паха.

Как кукла на турнире, машинально подумал я. Как кожаная кукла, набитая всяким хламом вперемешку с бронзовыми отливками, когда Шешез Абу-Салим или тот же эспадон Гвениль демонстрирует перед трибунами чистоту рубки, а ценители славного удара уже готовы завизжать, восторженно вырываясь из ножен и вспыхивая под лучами полуденного солнца.

Только кукла никогда не лежит вот так — жалко и неестественно подвернув голову и далеко откинув бессильную руку, словно и после смерти пытаясь дотянуться до рукояти несчастного Шамшера, превратившегося в две такие же мертвые половинки некогда живого Блистающего.

Они лежали совершенно одинаково — Блистающий и его Придаток, — разве что над последним с жужжанием вился рой жирных зеленоватых мух. И, откатившись в сторону, прижался к глинобитному забору одинокий бронзовый шарик с гарды убитого Шамшера.

— Прошу прощения! — послышалось рядом со мной.

Я посторонился, и трое Блистающих из рода тяжелых копий Чиань, чей мощный и широкий наконечник уравновешивался утолщением на другом конце древка, поравнялись со мной и приблизились к трупу. Там двое из них легли на землю, прямо в засохшую кровь, а их Придатки постелили сверху свои плащи,

закрепив их поясами, и уложили тело испорченного Придатка на эти импровизированные носилки.

Третий перебрался своему Придатку на спину, и тот бережно поднял обеими руками погибшую саблю. И мне почему-то стало стыдно, что я не знаю имени убитого, что я никогда не встречался с ним ни в Беседах, ни на турнирах и теперь уже никогда не встречусь.

Никогда. Это слово было тяжелее удара Гвениля и неумолимее выпада Заррахида. Или моего.

Никогда.

...Так они и удалились — три прямых копья Чиань, — унося сломанного Блистающего и разрубленного Придатка, унося по пустынной улице кровавый ужас, пришедший в Кабир; и те из зевак-Блистающих, кто был в ножнах или в чехлах, обнажились в молчании, салютуя уходящим и думая каждый о своем.

А я думал о том, что невозможное иногда приходит к тебе и говорит, улыбаясь: «Здравствуй! Помнишь меня?..»

— Здравствуй! Помнишь меня? — раздалось за спиной, и я вздрогнул и заставил Придатка Чэна обернуться.

Харзиец по-прежнему обвивал талию своего кривоногого Придатка, только сейчас не высилась рядом сумрачная громада угловой башни Аль-Кутуна и подавленные Блистающие расходились кто куда, унося в душах частицу общей боли и смятения.

— Что, вчера не договорил? — хмуро поинтересовался я, забыв, что целый вечер размышлял над загадкой Блистающего из Харзы. — Так здесь не место и не время для Бесед...

— Позволь представиться, Высший Дан Гьен, — с неожиданным смирением заявил харзиец, щелкая креплением рукояти и спокойно выпрямляясь в руке Придатка. — Я — Маскин Седьмой по прозвищу Пояс Пустыни, из Высших Блистающих Харзы.

«Ну и что?» — чуть было не спросил я.

К счастью, мой верный Заррахид, не знающий о моей вчерашней Беседе с харзийцем, вернул коня нашего разговора на тропу вежливости.

— Вы оказываете нам великую честь, Высший Харзы Маскин Седьмой, — ненавязчиво вмешался эсток, почтительно и вместе с тем весьма независимо кланяясь. — Позвольте мне, Малому Блистающему из свиты Мэйланьского рода Дан, представить вам Высшего Дан Гьена, известного в Кабире как Мэйланьский Единорог...

И Заррахид умолк на полуслове, ловко вынудив харзийца или прервать возникшую паузу, или удалиться.

Пояс Пустыни, вновь обвившийся вокруг Придатка, внимательно изучал Заррахида — его стройное тело, сложную гарду из витых полос, деревянную и обтянутую кожей с насечками рукоять, крупный набалдашник-яблоко...

— Если таковы Малые из свиты рода Дан, — задумчиво про-

шелестел он, — то каковы же Высшие? Впрочем, я уже немного знаю — каковы... Я приглашен сегодня в дом фарр-ла-Кабир, о достойный Малый, чьего имени я не знаю и чья форма ни о чем мне не говорит, кроме как о врожденном достоинстве... Передай Высшему Дан Гьену, чтобы он в гостях поменьше рассказывал и побольше слушал, потому что знающий не говорит, а говорящий не знает. Прощай. Да, передай также своему господину, что мы еще встретимся, и не только на Посвящении...

И мы с Заррахидом остались на опустевшей улице одни.

— Куда теперь, Высший? — спросил Заррахид, словно мы лишь на минуту, и то по совершенно пустячной причине, прервали нашу поездку.

— Обратно, — сказал я. — Домой.

— Совершенно верно, — заметил эсток, направляясь к оставленным лошадям (причем оставленным во всех смыслах, потому что мерзавец-кончар уже куда-то смылся!). — Вы должны переодеться перед Посвящением.

— Вот-вот, — угрюмо лязгнул я. — Переодеться... Это как раз то, что необходимо мне в первую очередь.

ГЛАВА 2

1

...Отсветы факелов услужливо метались по стенам коридора, словно расчищая дорогу веренице наших теней через лепные украшения под потолком, начинавшиеся примерно на длину моего клинка выше головы Придатка Чэна.

Алебастр барельефов являл собой подобие изображений древних времен чуть ли не периода Диких Лезвий: жуткая мешанина сплетающихся Блистающих (в основном копейных и прочих древковых родов) и рук-ног множества Придатков — причем эти руки-ноги были зачастую самой странной формы, с нелепыми наростами на предплечьях и голенях; и некоторые детали обрывались, не успев толком начаться, что порождало раздумья о сломанных Блистающих и испорченных Придатках.

«Кажется, я схожу с ума», — раздраженно подумал я.

Наши тени безразлично перетекали через все неровности лепнины и, похоже, ни о чем особенно не задумывались. Я обратил внимание, что моя личная тень без видимой границы переходит в тень Придатка Чэна, отчего мы становились похожи на неприятное двойное существо с его, Чэна, телом и мною в качестве хвоста и рукояти, торчащей из живота этого чудовища.

Я строго-настрого запретил себе думать о чем-нибудь в этом

роде — и перестал. Вот иду себе, в гости иду... все хорошо... Хорошо все, гром меня разрази!.. Куда уж лучше...

Факельщики свернули за угол, и мы последовали за ними. Мгновение я двигался в почти полной темноте, и это подействовало на меня успокаивающе. Правда, за это время находившийся впереди меня серповидный Махайра Кресс отстал — видимо, желая поговорить с кем-то знакомым, — и я помимо моей воли оказался во главе процессии припозднившихся гостей.

Тут меня заинтересовали наши провожатые — Малые Блистающие дома Абу-Салим (Фархадовы, должно быть!), и даже сперва не они, а их Придатки, несущие факелы. Самый высокий из факельщиков с трудом доставал макушкой до груди Придатка Чэна, но смазанные маслом обнаженные торсы малюток лоснились, демонстрируя вполне достойный рельеф мышц, а коротенькие ножки в невероятно широких шароварах семенили на удивление проворно.

Теперь понятно, почему факелы горели столь низко, а наши тени вытягивались до потолка. Что ж я раньше-то не сообразил?!

За намотанными в добрую дюжину слоев кушаками, поближе к выпячивающимся животикам Придатков, обнаружились не менее своеобразные Блистающие — явно братья, поскольку на одного Придатка-недомерка приходилось по два-три одинаковых Блистающих. Каждый Малый не превышал полной длины моей рукояти — то есть был короче даже любого из малочисленного клана Стилетов Кансаси — и напоминал два молодых месяца, наложенных друг на друга рожками в разные стороны.

Даже на расстоянии в этих Блистающих, невзирая на их положение Малых, чувствовался жесткий и независимый характер.

Наверное, увлекшись разглядыванием, я незаметно для себя самого придержал Придатка Чэна, замедлив его шаг, потому что оказавшийся позади Махайра Кресс чуть не ткнулся навершием в спину моего Придатка.

— Интересуешься, Единорог? — рассмеялся он, уворачиваясь от повторного столкновения. — Ну-ну, правильно делаешь... Я, когда к Абу-Салимам в загородный дом впервые попал, чуть в обратную сторону от любопытства не выгнулся! Есть на что посмотреть!..

— Кто это, Жнец? — перебил его я.

Полное имя Махайры было Махайра Кресс Паллантид по прозвищу Бронзовый Жнец из Высших левой ветви Омелы Кименской. Но на церемонию Посвящения, как я понял, в дом Абу-Салимов приглашались вообще только Высшие, да и мое родовое имя было не из коротких, так что вполне прилично было опустить звонкие титулы, ограничившись прозвищами. Тем более что с веселым Махайрой у меня сложились дружеские отношения чуть ли не со дня моего переезда в Кабир.

Махайра передвинулся поближе ко мне.

— Фархадовы любимцы, — доверительно сообщил он вполголоса. — Гвардия старого иль-Рахша. Малые секирки-близнецы цзыу-юаньян-юэ.

Я чуть было не запутался в ногах Придатка Чэна.

— Кто-кто?

— А разве это не твои земляки? — в свою очередь изумился Махайра-Жнец. — Я всегда считал, что только у вас в Мэйлане да еще в предгорьях Хакаса такие имена дают!..

Я отрицательно качнул кистью.

— Цзыу-юаньян-юэ, — с удовольствием повторил Махайра. — Мне Шешез однажды перевел, уж не знаю, с какого тогда языка — так это не то «север-юг», не то «запад-восток», или вообще «туда-сюда рогами наружу»...

— Ага, — глубокомысленно кивнул я, так и не поняв: говорит Жнец серьезно или по обыкновению подшучивает надо мной. — А почему я их ни в городе, ни на турнирах не встречал? Они что, Придатков своих стесняются, что ли?

— Вряд ли, — снова усмехнулся Махайра. — Они не из стеснительных. Между прочим, у твоего привратника Цзи целых два Придатка, и у каждого рожа шире Гвениля, если того поперек брать... Цзи что, тоже их стесняется, что со двора твоего не выходит? У каждого свои причины, Единорог, и нечего в больное место рогом тыкать!

Эти слова неприятно задели меня. А я-то, дурак двулезвийный, наивно полагал, что о странностях Третьего Уса Дракона никто не знает. Ну разве что я да эсток Заррахид, не считая Малых моего дома... Тупеешь, Единорог, прямо на глазах! Забыл, что в Кабире белостенном всем все про всех известно? Забыл... вот, значит, и напомнили.

Факельщики резко расступились в стороны, утонув в стенных нишах коридора, и мы с разгону влетели в распахнувшуюся перед нами дверь... влетели и невольно замерли на пороге.

Восьмиугольный зал с куполообразным потолком, покрытым тусклой от времени росписью, был полон Блистающих. Стройные Нагинаты — алебарды благородных семей Рюгоку и Катори — благосклонно беседовали с влиятельными двойными секирами Лаброс и их спутником, тихим клевцом-двузубцем Ге — побочным отпрыском всем знакомого копья Со и древкового серпа Вэйской ветви Гоубан; чуть поодаль копейные семейства Энкос и Сарисса обступили своего дальнего родича (такого дальнего, что уже почти не родича!) Лунного великана Кван-до — обманчиво медлительный Кван был вдвое выше среднего Придатка и тяжелее любого из Блистающих Кабира... На ступенях, ведущих к возвышению для церемоний, вокруг изящной Велетской Карабеллы увивались сразу трое поклонников: короткий упрямец Гладиус Петроний и парочка заморских гостей — Черный Н'Гусу и Хепеш-но-Кем, оба двуручные, оба с односторон-

ней заточкой, только сабельный изгиб хитрого Н'Гусу имел расширение-елмань в конце, а бронзовый Хепеш формой походил на Ятаганы фарр-ла-Кабир, но с неестественно длинной рукоятью. И дальше — Киличи, Талвары, как всегда шумные Эспадоны, редкие в Кабире ножи-двойняшки Тао, Шамшеры, Яри...

Минута замешательства прошла — и вот я уже раскланиваюсь с Нагинатой Катори, машу правой кистью недосягаемому для меня эспадону Гвенилю, клевец Ге о чем-то спрашивает, я что-то отвечаю, мимоходом игриво тронув вспыхнувшую Карабеллу, а Гладиус объясняет возмущенному Н'Гусу, что на Единорога обижаться глупо, и я подтверждаю — да, глупо... и чуть ли не вплотную сталкиваюсь с моим новым знакомцем Маскином Седьмым из Харзы, любителем неожиданных Бесед и двусмысленных замечаний, — мне хорошо, я весел и спокоен, и заботы мои понуро стоят на пороге, опасаясь зайти...

— Его высочество ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир!

Малые секирки-близнецы с ужасным именем, которое я уже успел позабыть, выстроили своих низкорослых Придатков по краям церемониального помоста, разошлась ковровая завеса — и мы увидели седобородого Придатка в белой пуховой чалме и халате цвета индиго с золотыми розами, вышитыми по плечам. На темных морщинистых руках Придатка возлежал самый древний ятаган рода Абу-Салим, да и всей династии фарр-ла-Кабир, — их высочество Фархад иль-Рахш, простой тяжелый клинок без серебряных насечек, самоцветов или трехцветных кистей.

И одежда Фархада была под стать ему самому: деревянные ножны из мореной магнолии, покрытые черным лаком и схваченные пятью бронзовыми скобами-накладками.

Только тут я понял, как иль-Рахш выделяется на нашем роскошном раззолоченном фоне. Было в его простоте что-то уверенно-неброское, словно знал ятаган Фархад некую истину, неведомую нам, и в эту минуту я готов был поверить, что иль-Рахш и впрямь пришел к нам из легенд, а не из прилегающей к помосту комнаты...

На возвышение внесли колыбель, увитую синими лентами с золотым шитьем — цвета дома фарр-ла-Кабир. Вокруг спешно были расставлены крылатые курильницы желтого металла в форме сказочных чудовищ, из пасти которых вился сизый дымок, а в глазницах кроваво мерцали рубины. В курениях, наверное, содержались тайные примеси, потому что возившийся и пищавший в колыбели новорожденный Придаток внезапно успокоился и замолчал.

В изголовье колыбели установили высокую палисандровую подставку, потемневшую от времени, подобно рукам Фархадова Придатка — только время у дерева и плоти было разное, — и сам Придаток встал за подставкой, лицом к собравшимся в зале, а

затем высоко вознес над головой суровый ятаган по имени Фархад иль-Рахш из рода Абу-Салим.

Извечный обряд Посвящения вступил в свои права, и я вылетел из ножен и скрестился с оказавшимся рядом Махайрой Кресом, а все Блистающие в этом зале сделали то же самое; мы наполнили воздух свистом и звоном нашей Беседы, пока ятаган Фархад медленно опускался на подставку из палисандра, где ему суждено будет пролежать не менее восемнадцати лет — пока ребенок не станет подростком, а потом — мужчиной, способным поднять Фархада с его ложа.

— Приветствую вас, Высшие Блистающие эмирата! Дождитесь меня!..

Это были единственные слова, произнесенные иль-Рахшем за всю церемонию.

Я слышал мельком, потому что, поднырнув под замешкавшегося Кресса, я быстро наметил на его Придатке две точки поражения — правое колено и ямочку между ключицами, — после чего ушел в глухую защиту. На этот раз я отдернулся даже раньше, чем следовало бы, но у меня до сих пор стояла в памяти сцена утреннего кошмара, да и Махайра прекрасно знал, что на турнирных скоростях он мне не соперник. А вот защищаться от вогнутого Кресса, не прибегая к опережающим выпадам, было нелегко и весьма интересно, особенно учитывая вертевшуюся рядом Нагинату Катори — так что мне приходилось заодно отслеживать ее проносящееся мимо древко.

В привычном шуме мне почудился посторонний звук, и лишь остановившись, я сообразил, в чем дело.

Плакал ребенок.

И рассмеялись все Придатки, переглядываясь и улыбаясь друг другу; и рассмеялись Блистающие.

А на фамильной подставке недвижно лежал Фархад иль-Рахш, ятаган фарр-ла-Кабир.

Церемония Посвящения завершилась.

Я с некоторым сожалением опустился обратно в ножны и вдруг поймал на себе чей-то изучающий взгляд.

В углу помоста на поясе плотного и приземистого Придатка в нарочито короткой шерстяной джуббе покачивался Детский Учитель семьи Абу-Салим. По форме и внешнему виду Детский Учитель ничем не отличался от ятаганов, но был значительно легче и меньше, с более клювообразной рукоятью для лучшего упора мизинца. Сам старый Фархад и через десять-пятнадцать лет будет слишком тяжел для детской руки — поэтому, когда юный Придаток впервые встанет на ноги, в его ладонь ляжет семейный Детский Учитель, чтобы сопровождать ребенка до совершеннолетия.

Чтобы учить. И, передав спустя положенный срок подготовленного Придатка Фархаду, ожидать следующего.

Иногда Блистающие с самого рождения готовились уйти в Детские Учителя. Но в основном Учителями становились уже опытные, пожившие клинки, чьи размеры и вес позволяли им работать с незрелыми Придатками, заменяя более крупных Блистающих, ожидавших своего часа.

Некоторые семейства — например, Синганские пламевидные Крисы или родственники того же Черного Н'Гусу, кривые и одновременно двулезвийные Панга — при общности формы имели родичей совершенно разного веса и длины. Это было удобно, так как позволяло использовать подростков-Придатков на протяжении всего периода обучения, допуская их даже до отдельных Бесед внутри семьи.

Впрочем, учителя в Кабире, как и в Мэйлане, редко вступали в случайные Беседы, довольствуясь закрытыми встречами с себе подобными. Мне несколько раз доводилось присутствовать на этих встречах в качестве зрителя — единственного зрителя, допущенного из уважения к славным моим предкам, — и я был потрясен даже не столько мастерством Детских Учителей, сколько их уникальной способностью вовремя отдернуть руку неумелого Придатка или в последний момент изменить направление ошибочного удара.

Мастерством меня удивить было трудно, а вот аккуратность Детских Учителей — или Круга Опекающих, как они сами себя называли, — была выше всяческих похвал.

Так что ни у кого и в мыслях не возникало отнестись к Детским Учителям без должного уважения. Они умели учить, и этим все сказано.

Кроме того, большинство крупных Блистающих время от времени нуждалось в их услугах. Придатки, увы, недолговечны...

Я вежливо поклонился Детскому Учителю семьи Абу-Салим и уж совсем было собрался покинуть зал, но внезапно обнаружил за кожаным поясом Придатка на помосте, рядом с любопытным Учителем, еще одного Блистающего.

Этого-то я знал отлично. Да и кто в Кабире его не знал?!

Это был Дзюттэ Обломок, придворный шут Абу-Салимов, над которым смеялись все Блистающие Кабира — смеялись часто и с удовольствием, чему способствовало множество причин.

Во-первых, Обломок был тупым. В прямом смысле этого слова. Его толстый четырехгранный клинок вообще не имел заточки и, чуть сужаясь к концу, более всего напоминал обструганную палку.

Пусть даже и железную палку длиной немного меньше предплечья взрослого Придатка...

Во-вторых, гарда Дзюттэ Обломка походила на последний лепесток не до конца оборванного цветка. Она бестолково тянулась вдоль нелепого клинка и, не дойдя до середины, отгибалась

наружу вроде уха шутовского колпака — я видел такой колпак на одном Придатке еще в Мэйлане.

Ну и в-третьих, наш замечательный Обломок был мудрец. Во всяком случае, считал себя мудрецом, о чем громогласно заявлял на каждом перекрестке. Среди Блистающих Кабира это было в новинку, а посему — смешно.

Очень смешно.

Тупой мудрец.

Ха-ха.

А почему это у шута семьи Абу-Салим и у Детского Учителя той же семьи один Придаток на двоих? Ведь они не братья, как ножи-двойняшки Тао или секирки из гвардии иль-Рахша? Хотя, может, Придаток и раньше был один, просто они его в город по очереди выводили, вот я и не заметил...

Или это новая шутка Обломка: шут и Учитель — братья?

Можно начинать смеяться?..

...Блистающие покидали зал Посвящения, разбредаясь по дому в поисках комнат, специально отведенных для отдыха и развлечений, а Детский Учитель и придворный шут семейства Абу-Салим все смотрели на меня с церемониального помоста. Взгляд их был неприятно строг и оценивающ; они все смотрели, пока я не разозлился и не двинул Придатка Чэна через весь зал к помосту — и тогда их общий Придаток быстро исчез в проеме боковой двери.

Словно его Блистающие хотели смотреть — но не разговаривать.

Я подумал, презрительно щелкнул гардой о металл устья ножен и тоже направился к выходу.

2

...Комната, где я уже успел провести немало времени, называлась алоу-хона — комната огня. Это было просторное помещение на первом этаже, окна которого выходили в сад, окутанный сумерками и негромко шелестевший под прикосновениями легкого ветра; в западной стене алоу-хона находился встроенный очаг, вроде моего домашнего камина, с лепными фигурами диковинных птиц по бокам.

В очаге лениво тлели угли саксаула и ароматного алоэ, и земляной пол был устлан согласно традиции звериными шкурами.

— Спорь не спорь, а все-таки ты не прав, Единорог, — без особого нажима заметил Гвениль, развалившись поперек шкуры пятнистого барса с Белых гор Сафед-Кух и мерцая в отблесках очага.

Рядом с ним лежал Махайра Кресс, почти не принимавший

участия в разговоре. Кроме нас троих, больше никого в алоу-хона не было.

— Почему это я не прав? — отозвался я из угла, где стоял, до половины уйдя клинком в специальное отверстие подставки для гостей, изнутри выложенное войлоком.

— Потому, — коротко отозвался гигант-эспадон со своего ложа.

Затем подумал и добавил:

— Если в твоем роду предпочитают обходиться без Посвящения, то это не повод, чтобы и все прочие от него отказались.

— Я и не утверждал, — начал было я, но Гвен перебил меня:

— Слушай, Единорог, а тебе ведь понравилось на Посвящении у Абу-Салимов! Не ври, я же вижу, что понравилось!..

— Ну, понравилось, — пробормотал я и почувствовал, что краснею отраженным светом очага. — И что с того? Я тут позвенел с вами, душой отдохнул и домой ушел — к турниру готовиться, — а старому Фархаду лежать без дела кучу лет и ждать... Пока еще посвященный Придаток вырастет, пока его Детский Учитель выучит как положено...

— А почему это у Мэйланьских Данов без Посвящения обходятся? — вдруг заинтересовался до того молчавший Махайра. — Вы что, первых попавшихся Придатков берете, которые повзрослее? Один состарился — другого нашли?

— Обидеть хочешь, Жнец? — вяло поинтересовался я для порядка, поскольку прекрасно знал, что Махайра и в мыслях не держал меня обидеть.

— Да нет, что ты, Единорог?! Просто интересно... да и не похож твой Чэн на необученного! И прошлый — как его, не помню уже — тоже не похож был...

— Учат они Придатков, — снова влез в разговор уставший молчать и слушать других Гвениль. — И не хуже прочих.

Ну спасибо, здоровяк... вот уж от кого не ожидал!

— Только легкие они, — продолжил меж тем эспадон, — Дан Гьены эти! Ты понимаешь, Жнец, — ни вида, ни солидности! Меня раз в пять легче будут, да и тебя раза в два... Мы, Лоулезские Эспадоны, долго ждем, пока Придаток в полную силу войдет, оттого и рубим мы хоть волос на воде, хоть куклу турнирную на две половины...

Я отчетливо увидел Придатка, разрубленного от ключицы до паха, вздрогнул и пристально вгляделся в Гвениля. Нет, чепуха, этого просто не может быть!..

Увлекшийся эспадон не обратил на меня ни малейшего внимания.

— А Дан Гьены в своем пыльном Мэйлане Придатка с самого раннего детства в работу берут! Ведь такого, как наш Единорог, и дитя в руке удержит. Вот и выходит, что им и без Посвящения можно! Сами учат, сами и пользуются...

«Удержать-то дитя удержит», — про себя подумал я и вспомнил Придатка Чэна шести лет от роду, его отца Придатка Янга в том же возрасте, их предка Придатка Лю Анкора, которого я перевез в Кабир... Вспомнил и те хлопоты, которых стоило мне их обучение. Пока они меня правильно держать научились, не роняя да не спотыкаясь... я ведь не канат для падающего, в меня изо всех сил вцепляться нельзя, у Дан Гьенов упор на три пальца...

— А-а-а, — расслабленно протянул Махайра.

— Чего «а-а-а»?! — обозлился я. — Мы со своими будущими Придатками с самого, почитай, начала возимся чище Детских Учителей, а не ждем вроде тебя с Гвенилем, когда нам уже обученного приведут! Вот поэтому...

Договорить мне не дали. Хлопнула дверь, и грузный Придаток внес в алоу-хона Шешеза Абу-Салима. Их величество огляделись по сторонам, соизволили выбрать дальнюю от входа стену, где и повисли сразу на двух крюках. На двух — это для грациозности висения, надо понимать.

Еще раз прошлись по встрепанному меху бордовые сапоги шагреневой кожи с модными кисточками на голенищах — и дверь закрылась за Придатком Абу-Салима.

Шешез поворочался, устраиваясь в более наклонном положении, и с интересом глянул на нас.

— Что замолчали, гордость Кабира? — весело бросил Шешез со стены, и мне показалось, что веселость ятагана неискренняя. — Опять спорите? Я к вам за советом пришел, а вы все что-то делите...

— За советом как правитель фарр-ла-Кабир или за советом как мой вечный соперник в рубке, ятаган Шешез?

Нет, Гвениль положительно не умел соблюдать никаких приличий! Ему хорошо, он в Кабире в гостях, а не в вассальной зависимости... правда, зависимость моя больше на словах, а Гвен сидит в столице лет на сорок дольше меня, и домом своим давным-давно обзавелся, и семьей обзавестись заодно хотел, да отказали ему, грубияну двуручному...

— Как тот и другой сразу, — помрачнев, ответил ятаган.

— А в каком важном деле совет требуется? — Махайра слегка шевельнулся и концом клинка успокаивающе тронул Гвениля за массивную крестовину.

— Турнир хочу отменить.

— Что? — хором вскрикнули мы втроем. — Почему?!

— Потому что боюсь, — оборвал нас Шешез.

Признание его прозвучало сухо и веско, заставив поверить в невозможное: ятаган фарр-ла-Кабир, племянник Фархада ильРахша, чего-то боится!

— Знаете небось, что ночью на улице Сом-Рукха произошло? Мне утром донесли; только слухи — они моих гонцов быстрее...

— Знаем, — проворчал Гвениль.

— Слышали, — отозвался Махайра.

— Кто это был? — вместо ответа спросил я, не уточняя, кого имею в виду: убитого или убийцу.

— Шамшер Бурхан ан-Имр, из сабель квартала Патайя. А убийца... ну, в общем, под подозрением...

Он все не мог договорить, и когда наконец решился, то вид у Шешеза был такой, словно он сам себе удивлялся.

— Под подозрением — Тусклые.

Это было равносильно тому, что сказать: «Под подозрением ночной ветер». Или: «Подозревается призрак Майского Ножа». Или еще что-нибудь в этом же духе...

По позе Гвениля было хорошо видно, как относится прямолинейный эспадон к такому, мягко говоря, странному заявлению. А вот Махайра внезапно оживился и с интересом ожидал продолжения.

А я понимал, что не зря Шешез вчера приходил ко мне в гости и не зря сейчас он перестал ломать комедию и заговорил всерьез.

Поросший лесом Лоулез — родина Гвениля и его братьев, где на редких холмах возвышаются сумрачные замки с пятью сторожевыми башнями, или масличные рощи Кимены, где жили родичи Махайры, — в Мэйлане уже успели забыть, забыть и снова вспомнить то, о чем Лоулез и Кимена только сейчас начинали узнавать. Да и сам Кабир был все-таки поближе к Мэйланю — я имел в виду близость скорее духовную, чем простое количество верблюжьих перегонов, — и поэтому Шешез сумел решиться...

Ладно, пару часов назад я согласен был поверить, что Фархад иль-Рахш мог застать времена Диких Лезвий. Но многие ли поверят мне, если я заявлю во всеуслышание, что я много лет тому назад бежал из Мэйланя, повинуясь велению старейшин, решивших спасти молодежь от Тусклых?!

Бежал вместе с Да-дао-шу, вместе с яростными Сизыми Лепестками, вместе с единственным наследником Орлиного Когтя крюком Цзяньгоу! Бежал, оставляя за собой старейшин Высших родов Мэйланя, которые силой отослали нас — свою надежду на возрождение в случае поражения!

Нет — в случае того неясного, что гораздо хуже поражения... потому что кто поверит? Никто... Даже я — я ведь и тогда не верил, хоть и послушался, и сейчас... страх это, а не вера.

— Что ты знаешь о Тусклых, Высший Мэйланя Дан Гьен? — тут же спросил Шешез, подметивший мое состояние.

И уже другим звоном:

— Расскажи, Единорог... пожалуйста.

И я заговорил.

— Никто достоверно не знает, как рождается Тусклый клинок или как родившийся Блистающим становится Тусклым. Иные говорят, что когда ломается и погибает Блистающий, то

перековывают его в тайных кузницах и закаливают в крови зверя дикого, зверя домашнего и в крови Придатка, не достигшего совершеннолетия. И тогда возрождается Блистающий, но дик нрав его, а клинок тускл и горяч. А еще говорят, что Блистающий, вкусивший плоти Придатка по третьему разу — будь то умысел или недомыслие, — тускнеет в течение полугода, но если примет он участие в пяти честных Беседах и двух турнирах с сильнейшими себя, то вновь заблестит он и отвыкнет от вкуса запретного. Разное говорят и о разном молчат... Слышал я, что даже новорожденный Блистающий прямо при закалке потускнеть может, если в смесь глины, речного песка и угольной пыли подмешать пепел от сожженного Придатка, умершего до того не своей смертью...

Я остановился и некоторое время молчал, глядя в огонь очага. Редкие язычки пламени выстреливали вверх горячими жадными клинками...

— Ничего я не знаю о Тусклых, — глухо прозвенел я. — Ничего. Я ведь из Мэйланя совсем молодым уехал... а молодые — они глупых стариков слушать не любят. Вот и я — слушался, а не слушал.

— Как это ничего?! — возмутился Махайра. — А это?..

От волнения он стал несколько косноязычным.

— Он прав, — отозвался со стены Шешез. — Это не знание. В это можно лишь верить. Или не верить.

Гвениль слегка шелохнулся, срезав клок шерсти с барсовой шкуры, на которой лежал, и вновь замер.

— Я не верю, — холодно заявил он. — Глупости все это! Тусклые, теплые... Ни один Блистающий не станет умышленно портить Придатков! Ни разу не слышал о таком и сейчас тоже не намерен!..

— Стали, — коротко лязгнул Шешез Абу-Салим. — В Хаффе стали, и в Дурбане стали... И в Кабире. И, как я понял, в Мэйлане тоже. Я — верю.

— А я не знаю, — честно сказал Махайра. — Не знаю, и все тут. А ты, Единорог?

— Я не верю, — ответил я и, после долгой паузы, закончил: — Я уверен.

3

— ...Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир... — Махайра словно пробовал на изгиб прочность этого имени. — А почему ваше величество пришли за советом именно к нам троим? Или все-таки только...

По-моему, Кресс и меня хотел сперва назвать полным именем. Но нет, напускная официальность слетела с него, и Жнец просто закончил:

— Или все-таки только к Единорогу?

Шешез ответил не сразу. А когда ответил...

— Махайра Кресс Паллантид из Высших левой ветви Омелы Кименской, по прозвищу Бронзовый Жнец, — я пришел за советом к вам троим. К тебе, к Высшему эспадону Гвенилю Лоулезскому, известному в Кабире как Рушащаяся Скала, и к Высшему Мэйланя прямому Дан Гьену, более прославившемуся под прозвищем Мэйланьский Единорог. В Кабире погиб Блистающий. Вы хорошо расслышали то, что я сказал?

Ятаган умолк, давая нам осознать всю никчемность наших титулов перед случившимся, и спокойно продолжил:

— У остальных Высших, с которыми я разговаривал сегодня до вас, мнения разделились поровну. Тридцать шесть за то, чтобы проводить турнир согласно традиции и не обращать внимания на досадные случайности; тридцать шесть — против. И без вашего совета нам не выйти с дороги раздумий на обочину решения. Вы — не самые мудрые, не самые старшие, но вы — последние.

Я стоял вроде бы и не особенно близко к очагу, но мне остро захотелось вызвать Придатка Чэна, чтобы тот вынес меня за пределы алоу-хона или переставил как можно дальше от тепла, такого неприятного в этот миг...

— Отказаться от турнира из-за мэйланьских сказок? Чушь! — отрезал Гвениль. — Мы за традиции! Правда, Жнец?

— Неправда, — неожиданно для меня возразил Махайра. — Никогда еще Блистающие не убивали друг друга и не шли на умышленную порчу Придатков. Пока не выяснится, случайно происходящее или нет, турнир проводить нельзя. Я считаю так.

Шешез задумчиво покачался на крючьях.

— Никогда, — пробормотал он, — это слишком неумолимо. Честнее будет сказать, что на нашей памяти Блистающие не убивали друг друга и не портили Придатков. На нашей, пусть долгой, но все же ограниченной памяти... Тем не менее голоса вновь разделились. Тебе решать, Единорог.

Я вспомнил прошлый турнир. Зелень поля, на котором велось одновременно до двух дюжин Бесед, упоение праздником и разрезаемый пополам ветер, подбадривающие возгласы с трибун и солнечные зайчики, уворачивающиеся от Блистающих... и потом, долго — память о турнире, споры о турнире, нетерпеливое ожидание следующего турнира...

И сломанный труп Шамшера Бурхан ан-Имра из сабель квартала Патайя, что в десяти минутах езды от моего дома... совсем рядом. Одинокий шарик с треснувшей гарды у глинобитного дувала; и бурая запекшаяся пыль, в которую ложились суровые копья Чиань...

Я взвешивал звенящую радость и гулкий страх. Пустоту смерти и вспышку жизни. Моя гарда похожа на чашу, донышком к рукояти; на одинокую чашу весов...

Я взвешивал.

— Если из страха перед незнакомой смертью мы откажемся от привычной жизни, — наконец произнес я, и огонь в очаге притих, словно вслушиваясь, — мы, возможно, избегнем многих неприятностей. Но тогда тень разумной осторожности ляжет на всех Блистающих, и мы начнем понемногу тускнеть. Мы станем коситься друг на друга, в наши Беседы вползет недоверие, и наступит день, когда мой выпад перестанет восхищать Гвениля, а Махайра позавидует Шешезу. Я — Высший Мэйланя прямой Дан Гьен — выйду на турнирное поле в положенный срок, даже если окажусь на поле один. Или если буду знать, что могу не вернуться. Я сказал.

— Ты не будешь на поле один, — тихо отозвался Гвениль. — Ты не будешь один, Единорог. Это я тебе обещаю.

Махайра весело заблестел, подмигивая непривычно серьезному и немногословному эспадону.

— Герои, — сообщил он. — Глупые герои. Или героические глупцы. Придется мне, бедному умнику, тоже явиться на турнир. В случае чего я всегда смогу заявить, что предупреждал вас. Слабое утешение, но другого вы мне не оставили.

— Вот и они так сказали... — прошептал Шешез. — Странно...

— Кто? — спросил я. — Что сказали-то?

— Детский Учитель нашей семьи... он сказал, что если решать придется Единорогу, то турнир состоится. Словно предвидел...

— Ты произнес «они»... Кто еще говорил обо мне?

Я ждал. И дождался.

— Дзюттэ, — нехотя прошуршал ятаган. — Дзюттэ Обломок.

— Шут? — удивился Гвениль.

На этот раз Шешез промолчал.

ГЛАВА 3

1

...И трибуны разразились приветственным звоном, когда вокруг злого тонконогого жеребца и маленького Придатка, вставшего на стременах, закружился сошедший с ума смерч семи локтей в поперечнике — и в свистящей воронке мелькали то сталь громадного лезвия с шипом на тупом обухе, то заостренный наконечник обратной стороны древка, то желто-багряные кисти из конского волоса...

— Давай, Кван! — не выдержал я. — Давай!..

И Лунный Кван дал. Храпящий жеребец боком понесся по полю, чудом лавируя между вкопанными деревянными столбами, — и рушились мертвые деревья без веток и листьев, белея ко-

2 – 7682

сыми срезами, щетинясь остриями изломов, взвизгивая, всхлипывая, треща... Смерч замедлился, став трепещущими крыльями невиданной бабочки, еще раз пронеслись по воздуху осенние кисти — и вот уже спокойный и неторопливый Кван-до, Лунный Вихрь, упирается в землю рядом со взмыленным конем, косящим кровяным глазом.

Не стоило мне, конечно, заводиться, да еще и подбадривать Квана прямо отсюда, с поля... Не к клинку. Мне сейчас на другое настраиваться надо. Вон, поле большое, на семи площадках Беседуют, на пяти предметы рубят, дальше Катакама-Яри и Фрамея копейные танцы танцуют — а на каких трибунах больше всего Блистающих собралось?

На западных.

А почему?

А потому, что на третьей западной площадке победитель в последней рубке после всего встретится с Мэйланьским Единорогом — со мной, значит...

Вот и нечего мне на все поле лязгать, позориться!

А рубка знатная была!.. Трое сошлись — Гвениль, эспадон мой неуступчивый, их величество Шешез Абу-Салим и так далее (следит он за мной, что ли? И рубит оттого, как никогда...) и гость один заезжий, тоже двуручник, как и Гвен, а имя я в суматохе спросить забыл.

Видел я похожих, еще в Вэе видел — там их «Но-дачи» звали, «Длинный меч для поля» на старом наречии. Ну и ладно, пусть пока Но-дачи побудет — мне его не титуловать, а так ведь и меч он, и длинный, и для турнирного поля в самый раз... не обидится.

Куклу, понятное дело, вся троица легко срубила, на полувзмахе, — а дальше началось! Кто во что горазд, а уж горазды они на всякое... Шешезу, как всегда, грубое сукно на стальную проволоку в дюжину слоев наматывают, гостю циновку из бамбуковых полос в рулон скатали, а Гвениль столб крайний, что от Лунного Квана остался, попросил листовой бронзой обшить на скорую руку.

Свистнули они — было три предмета для рубки, стало шесть! Гвениль на Шешеза скосился и свой коронный «волос на воде» заказывает. Рассек, блеснул улыбчиво и ждет. А ятаган по платку кисейному полоснул — да не прорезал до конца! Платок влажный попался, или сам Шешез оплошал, от забот государственных...

Я и оглянуться не успел — Но-дачи клинком повел из стороны в сторону, медленно так, плавно... Жужжала рядом стрекоза, а теперь лежит на траве два раза по полстрекозы, и обе половинки тихие такие, не жужжат больше!

Смотрю я на Гвениля и на соперника его: похожи они оба, дальше некуда! Оба двуручные, оба без ножен — таких дылд даже из-за плеча не вытянешь, они ж длиннее перехвата руки! — оба у

своих Придатков на плечах развалились, и характер у обоих небось один другого мягче да приятнее!

Только Гвен обоюдоострый и прямой, а гость однолезвийный и слабо-слабо изогнутый, словно не решил до сих пор, каким ему быть. Ах да, еще у Гвениля крестовина здоровенная, а у Но-дачи огрызок какой-то овальный вместо гарды...

А так — как в одной кузне рожали!

Тут как раз для меня «коровью тушу» вынесли и подвесили на тройных цепях. Мешок это кожаный, и набит он изнутри разным металлическим хламом потуже, чем корова — костями. Еле-еле пустого места остается, чтоб протиснуться!

Нет, ничего, протиснулся... и на прямом выпаде, и на косом, и на том, что родня моя звала: «Спящий Единорог видит луну за тучами». Потом так изогнуться пришлось, чтобы в кость железную не въехать, что успел только небо поблагодарить за гибкость свою врожденную да за пальцы Придатка Чэна, которыми я его учил крюки стальные из стен выдергивать и мух на лету ловить, крылышек не повредив! Ладно, что теперь зря расстраиваться...

Потом Придатки Гвениля и Но-дачи мелкие монетки «гитрифи» в «корову» по очереди кидали, а я в место попадания входил и обратно выныривал, пока монетка на землю соскальзывала. Тут Гвениль почему-то заблестел весь, словно пакость какую придумал, и Придатка своего ко мне ведет.

— Слушай, Однорогий... — говорит, а тут и Но-дачи рядом оказался, почти вплотную.

— То бишь Высший Мэйланя Однорогий Дан Гьен, — поправляется Гвениль. — Тут у нас спор один зашел...

Ну что с него взять? Он ведь не со зла, просто говор у него такой, без тонкостей, как у всех лоулезцев. Помню, я как-то битый час объяснял ему разницу между «однорогим» и «единорогом». Выслушал меня эспадон не перебивая, а потом и спрашивает:

— Ну рог-то у него один?

Один, — говорю.

— Ну и нечего мне лапшу на крестовину наматывать! — отвечает.

Лапша — это еда такая, Придаток Гвениля ее очень любит. Поговорили, значит...

Правда, с тех пор он меня чаще всего правильно зовет. А в турнирном запале — как получится.

— ...спор один зашел, — продолжает меж тем Гвениль. — Соперник мой интересуется: дескать, когда он меня в рубке победит — заметь, «когда», а не «если»! — то как ему с тобой в Беседе работать, чтоб внешность твою замечательную не повредить ненаро-

ком. Больно легкий ты, вот он и опасается... Уступить ему, что ли, пусть сразу и попробует?

Улыбнулся я про себя, но виду не подал. Сам Гвениль при первой своей Беседе со мной на том же вопросе и ожегся, так что ему теперь кого другого подставить — самое милое дело!

Повернулся я к Но-дачи, а тот молчит серьезно и ждет.

— Тебя, — спрашиваю, — в землю до проковки зарывали?

— Зарывали, — отвечает. — На девять лет, как положено.

— Ладно, — киваю. — А полировали небось дней пятнадцать?

— Да, — отвечает, но уже тоном ниже.

— Хорошо, — говорю, а сам у Придатка Чэна над головой вытягиваюсь вроде радуги. — Ты — гость, тебе и рубить первому. Давай!..

Молодец он оказался! Гвениль по первому разу — и то постеснялся, поосторожничал, а этот с Придаткова плеча и полоснул наискосок, без замаха! Принял я его на полкасания — еще подумал, что Гвен потяжелее будет, — а там из-под него вывернулся, Придатка Чэна вправо увел и в дугу согнулся.

Он чуть в землю не зарылся, Но-дачи этот. Правда, «чуть» не считается, особенно если он от земли поперек Придатка моего пошел, во всю длину, да еще на уровне живота! Опасное это дело, такая махина не всегда вовремя остановиться может, даром что он Гвениля легче...

Ну и не стал я с ним в игры играть. Упал мой Чэн, как есть упал, навзничь — а гость над нами пронесся, только ветерком хлестнуло. Придаток его с ноги на ногу перепрыгнул, споткнулся и рядом с нами на четвереньки встал.

А как ему на ногах удержаться, когда у него сандалии на деревянной колодке да на двух ремешках, а я те ремешки на левой сандалии, пока Придаток Чэн на земле раскидывался, пополам разрезал?!

Гвениль веселится — он такие шутки почище Бесед любит, — на трибунах визг со скрежетом вперемежку, а Придаток гостя уже на пятках сидит, и сам гость у него на коленях лежит.

Молчит. Только подрагивает слегка. И пасть кошачья, что у него на головке рукояти, невесело так скалится...

— Ну что, — спрашиваю, — понял?

— Понял, — отвечает. — Благодарю, Высший Дан Гьен, за науку.

Дважды молодец! Гвениль — тот, помню, до вечера ругался, пока не угомонился.

— Еще хочешь? — спрашиваю.

— Обязательно.

— Ну вот, — говорю, — обставишь Гвениля в рубке, тогда и повторим.

И повел Придатка Чэна к другим площадкам.

2

Мне нужно было хоть немного расслабиться. Одергивание самоуверенного Но-дачи потребовало больше сил и энергии, чем это могло показаться с первого взгляда. Поэтому я пустил Придатка Чэна бесцельно бродить между турнирными площадками, останавливаясь то тут, то там, а сам попытался на время забыть о предстоящей финальной Беседе — с Гвенилем или Но-дачи.

Первый уже неплохо знал мои обычные уловки — во всяком случае, некоторые из них, — а второй после трепки будет начеку, так что...

Все, забыли! Гуляем...

У южных площадок, где состязались древковые Блистающие, я задерживаться не стал. Волчья Метла к турниру не вернулась, а остальные Длинные — кроме, пожалуй, Лунного Квана, но его я уже видел — меня интересовали мало.

Шел третий день турнира, а первые три дня всегда идут под девизом: «Подобные с подобными». Или хотя бы с более-менее подобными. День смешанных Бесед наступит лишь завтра, но Метлы все нет, и я скорей всего раз-другой встречусь с Нагинатой Катори, явной фавориткой, а там уйду на трибуны. Или домой. Нет, домой не уйду, что это я в самом деле...

— Зар-ра! — неожиданно взметнулось слева от меня. — Зар-ра-хид!..

Я свернул на крики и пару минут любовался, как мой замечательный дворецкий беседует с ножами-двойняшками Тао. Зрелище заслуживало внимания. Эсток Заррахид был более чем вдвое длиннее любого из двойняшек, но зато каждый Тао был почти вчетверо шире невозмутимого эстока. Широченные братья верткой рыбой метались в руках своего низкорослого Придатка, то ложась вдоль предплечья, то вновь выныривая акульим плавником острия вперед. Но все их отчаянные попытки ближе подобраться к Заррахидову Придатку мгновенно пресекались недремлющим эстоком.

Я вышел из ножен и, продолжая наблюдать за Беседой, стал повторять некоторые движения Заррахида. Естественно, добавляя кое-что свое.

Придаток эстока, казалось, врос в землю и пустил корни подобно вековой сосне — да, это не мой Чэн, способный вертеться в момент Беседы почище братьев Тао, хоть и нелепо сравнивать Блистающих и Придатка, — но вытянутое жало Заррахида неизменно нащупывало любую брешь в звенящей обороне двойняшек, отгоняя зливших братьев Тао на почтительную дистанцию.

— Зар-ра! Зар-ра-хид!..

Я на миг присоединился к скандирующим Блистающим, поддерживая моего дворецкого, затем спрятался в ножны и послал Придатка Чэна дальше.

— Единорог пошел, — услышал я чью-то реплику. — Своими любовался...

— Ну и что? — незнакомый голос был раздражающе скрипуч.

— А то, что вон тот эсток — из Малых его дома. Вот я и говорю...

— Ну и что? — снова проскрипел невидимый упрямец.

Я обернулся в надежде увидеть болтунов и обнаружил за спиной Придатка Чэна — кого бы вы думали?! — Детского Учителя семьи Абу-Салим и Дзюттэ Обломка. Они, как и на Посвящении, делили между собой одного Придатка, удобно устроившись: Учитель — на поясе, шут — за поясом.

«Хороший пояс, — ни с того ни с сего подумал я. — Кожа толстая, с тиснением «узлы и веревки», пряжка с ладонь... на пятерых места хватит».

— Прогуливаешься, гроза Кабира? — опустив положенное приветствие, нахально заявил шут. — Ну-ну...

Голос у него оказался низкий и глубокий, вроде гула ночного ветра в прибрежном тростнике. А я почему-то решил, что он сейчас заскрипит, как тот, невидимый... нет, конечно же, это не они! С чего бы им меня за глаза обсуждать, да еще и препираться?!

— Прогуливаюсь, — ответил я. — Кстати, Дзюттэ, все хочу тебя спросить — ты в юности небось подлиннее был?

Раздражение, накопившееся во мне, требовало выхода.

— А с чего это ты взял? — удивился шут.

— Ну, я так полагаю — сломали тебя когда-то не до конца, вот с тех пор Обломком и прозывают...

Мне очень захотелось, чтобы Дзюттэ обиделся. Или хотя бы втянул в глупый и грубый разговор Детского Учителя. Даже если я не прав — а я не прав.

Только он не обиделся. И Учитель промолчал.

— Иди «корову» потыкай, — ехидно усмехнулся шут. — Глядишь, ума прибавится... Ты — Единорог, потому что дурак, а я — Обломок, потому что умный, и еще потому, что таким, как ты, рога могу обламывать. До основания. А затем...

— А затем я хочу спросить тебя, Высший Дан Гьен...

Это вмешался Детский Учитель. Глухо и еле слышно. После вежливого обращения он выдержал длинную паузу, заставляя меня напряженно ожидать продолжения, которого я мог бы и не расслышать в турнирном шуме. Ну, давай договаривай, тем более что гомон позади нас малость утих... интересно, кто верх взял — Заррахид или двойняшки?

— Ты эспадону Гвенилю доверяешь? — неожиданно закончил Учитель.

— Как себе, — не подумав, брякнул я, потом подумал — хорошо подумал! — и твердо повторил:

— Как себе.

— Нашел, кого спрашивать, Наставник! — вмешался шут Дзюттэ, в непонятном мне возбуждении выпрыгивая из-за пояса и прокручиваясь в руке Придатка ничуть не хуже любого из ножей Тао.

Вот уж от кого не ожидал!

— Единорог у нас всем и каждому доверяет! Любому — как себе! И в Мэйлане, откуда удрал невесть когда и невесть зачем, и в Кабире, и здесь, на турнирном поле...

И уже ко мне, вернувшись на прежнее место и выпячивая свою дурацкую одностороннюю гарду в виде лепестка:

— Ну что тебе стоило после Посвящения сказать Шешезу то, что надо? Глядишь, и отменили бы турнир, и у нас забот этих не было бы!..

Интересно, какие такие у него заботы?!

— Все? — спрашиваю. — Тогда мне пора.

И двинул наискосок к щитам, где метательные ножи восьми местных семейств и пять гостей из Фумэна в меткости состязались.

Только и услышал вслед:

— Зря ты его злил, Дзю... он и так мало что понял, а теперь и подавно. — Это Детский Учитель.

Пауза. И тихо почему-то, словно весь турнир вымер.

— Злю — значит, надо. — Это уже Обломок, шут тупой. — Злые — они острее видят, а добрые — слепцы! Гвениль его только что под чужой удар подставил, до проверки Мастерства Контроля, а этот Рог Мэйланьский... Добренькие мы все, Наставник, по самую рукоять добренькие, не переучить нас!..

И — еле слышно во вновь возникшем гомоне — чей-то скрипучий смешок.

3

...Испортили настроение, мерзавцы! Чуть Учителю сгоряча по Беседовать не предложил... И не то чтоб я его опасался или еще что-нибудь — у такого и выиграть почетно, и проиграть не зазорно, — а просто неловко на турнирном поле препираться и Беседы случайные затевать.

И с кем? С Детским Учителем семьи Абу-Салим?! Не хватало еще с шутом на площадку выйти, на потеху всему Кабиру... Расслабился, называется! Завелся с первого взмаха, как вчера кованный...

— Айе, Единорог! Оглох, что ли?!

Совсем рядом ударили в землю конские копыта, налетевший ветер принес с собой запах звериного пота и кожаной сбруи, и

сбоку от меня вырос Лунный Кван-до, вонзив в землю наконечник основания древка.

Казалось, что щуплый и жилистый Придаток в юфтевой куртке по пояс и штанах из плотно простеганной ткани, гарцуя на плохо объезженном коне, уцепился с перепугу за ствол одинокого кипариса, у которого вместо кроны по ошибке выросло огромное лезвие с толстым шипастым обухом.

— Ну, мэйланец, ты даешь! Тебя на твоей площадке уже битый час дожидаются! Твой выход! Гвениль кривому двуручнику уступил, все тебя ищут...

Вот сколько себя в Кабире помню, всегда у Квана Придатки мелкие...

Что? Что он сказал?!

То, что Гвениль умудрился-таки проиграть заезжему Нодачи, сразу оттеснило на задний план все прочие мысли.

— Как уступил? На чем?!

— Да в самом конце... Их сперва, как ты ушел, на Мастерство Контроля трижды проверяли — и все в лучшем виде! У гранитной плиты, у натянутой струны, у бычьего пузыря — оба при ударе в полный размах вплотную останавливались! После по горящей свечке срубили — опять на равных... фитиль сняли, свеча стоит. А там гость предложил гвозди в воздух кидать. Вот Гвен на втором гвозде-то и срезался!..

Увлекшийся Кван все говорил и говорил, подробно перечисляя мельчайшие детали состязания в рубке, но я уже не слушал его, поймав себя на странном и неприятном чувстве.

Очень странном и очень неприятном.

После проклятых слов шута поражение Гвениля стало приобретать для меня довольно неожиданную окраску. Действительно ли опытный эспадон уступил рубку, нарвавшись на более умелого Блистающего, или крылся в этом какой-то тайный умысел? Вот и у Абу-Салимов он громче всех за турнир высказывался, несмотря на предупреждения Шешеза да мои слова...

Стоп, Единорог, не дури... Гвениль-то, может, и громче других был, да только твой голос последним получился, последним и решающим! И кто, как не ты сам, минуту назад утверждал, что веришь эспадону, как себе?!

Верю. Да. И в Тусклых верю. И в то, что бред это все, — тоже верю. И в то, что Тусклыми не сразу становятся. И...

Ох, что-то много всякой разной веры на одного Единорога!

И Придатка на улице Сом-Рукха, пополам разрубленного, тоже сам видел. Впервые в жизни такое видел — но понимаю, что в принципе многие из Блистающих на это способны. Вон, тот же Кван или ятаган Шешез... Только я ведь не вчера с наковальни! Кван, конечно, любого Придатка запросто бы развалил — да не так бы это после Кванова лезвия выглядело! И после Шешеза не так...

А я или Заррахид — нам проткнуть проще, хотя мы и рубить можем.

Двуручник там был, Тусклый или какой еще — но двуручник, по повадке да удару... и он же Шамшера ан-Имра ломал.

Чтоб тебе гарду сточили, Обломок тупомордый! До чего довел... в друзьях сомневаюсь, думаю невесть о чем, дергаться скоро начну...

— Ну ты как — дождя будешь ждать из чистого-то неба?! — возмутился Кван, вскидываясь поперек конской холки. — Догоняй!

И я послал Придатка Чэна вслед за удаляющимся конем.

Бегом.

Чтоб дурные мысли из себя выветрить.

4

...Шум трибун отдалился, расплылись туманом силуэты тех, кто толпился у самой площадки, — и мы остались один на один.

Я и Но-дачи.

Финальные Беседы турниров — не место для досужих размышлений или самокопания. Не место и не время. В эти недолгие мгновения собственное бытие переживается особенно остро и впору рассечь мир гордым выкриком: «Я есть!» Воистину правы были древние, говоря, что в такие моменты «один меч сам стоит спокойно против неба!..».

Против неба, в котором так же одиноко вспыхнул луч Но-дачи, пресекая все лишние нити раздумий, еще тянувшиеся во мне.

Нет, это был уже не тот вежливо-самоуверенный Блистающий, которого совсем недавно подводил ко мне Гвениль. Теперь он был внимателен и осторожен, теперь его Придаток был босиком и крепко держал рукоять обеими руками, вознося огромный клинок Но-дачи над головой, словно собираясь пронзить облако.

Там он и замер, этот двуручник, который нравился мне все больше и больше, замер странным шпилем над недвижным храмом его Придатка.

В Кабире такие вступления к Беседам были редкостью — но я-то вырос не в Кабире! И поэтому прекрасно знал, что неподвижность Но-дачи была своего рода вызовом, который можно было принимать или не принимать.

Я принял.

Держась на расстоянии, делавшем невозможным удар без предварительного подшагивания, я выскользнул из ножен и медленно провел правую руку Придатка Чэна по дуге вниз, назад и вверх, указав острием на лицо Придатка Но-дачи. Затем я внут-

ренне напрягся — и Придаток Чэн выставил вперёд пустую левую руку, одновременно поднимая левую ногу так, чтобы колено очутилось почти у подбородка.

И напротив каменного храма с остроконечным куполом застыло изваяние танцующей птицы Фэн с расправленными крыльями, правое из которых было вдвое длиннее левого и сверкало на солнце.

Долгое стояние на одной ноге гораздо сложнее и утомительнее, чем на двух — как стоял Придаток Но-дачи, — но я не допускал даже тени сомнения в исходе. Слишком часто мы стояли вот так у себя во дворе, водрузив на поднятое колено Придатка Чэна пиалу с горячим вином, и я уже напрочь забыл те времена, когда вино в конце концов расплескивалось.

Молчали онемевшие трибуны, солнце неспешно двигалось по небосводу от зенита к западу, росли наши тени на земле, а мы все стояли, и только когда шпиль над храмом слегка дрогнул и покачнулся, я позволил птице-Чэну победно всплеснуть крыльями и встать на обе ноги.

После чего на меня обрушилась двуручная молния.

Уходя от первого столкновения и разрывая дистанцию до относительно безопасной, я уже понимал, что Но-дачи будет теперь действовать только наверняка. Проиграв состязание в неподвижности и памятуя о разрезанных ремешках сандалий, он не позволит себе ничего спорного, ничего лишнего, ничего...

Ну что ж, я был рад за него. За него и за себя.

Значит, приходило время для того, что было фамильным умением прямых мечей Дан Гьенов моей семьи. Время для того, за что я и отличал род Анкоров Вэйских, предпочитая его любым другим Придаткам.

Придаток Но-дачи стремительно прыгнул вперед, сам Но-дачи взметнулся над его правым плечом — и на миг остановился, не понимая, что происходит.

Придаток Чэн смеялся.

Он смеялся, радостно и искренне, а потом протянул пустую левую руку перед собой и принялся шарить в воздухе, словно пытаясь нащупать что-то невидимое никому, кроме него.

И нащупал.

...Но-дачи не двигался с места, и кончик его клинка подрагивал в опасливом нетерпении.

Пальцы Придатка Чэна побарабанили по опять же невидимой полке и сомкнулись, образовывая разорванное кольцо — как если бы в них оказалась круглобокая чашка.

...Босые ноги Придатка Но-дачи нетерпеливо переступили на месте, подминая хрусткую траву, но сам Но-дачи не изменил своего положения.

Я опустился до земли, приняв самое безвольное положение, чуть ли не упираясь острием в невесть откуда взявшийся камешек.

...И Но-дачи, не выдержав, ударил.

Он ударил неотвратимо, как атакующая кобра, он был уверен в успехе и, демонстрируя высочайшее для двуручника Мастерство Контроля, остановился точно вплотную к голове все еще смеющегося Придатка Чэна.

Вернее, вплотную к тому месту, где только что была голова Придатка Чэна. Потому что Придаток Чэн одновременно с ударом поднес бесплотную чашку к губам и отклонился назад, вливая в себя ее содержимое. Так что голова его отодвинулась ровно на четверть длины клинка Но-дачи, и этого вполне хватило.

В то же время Придаток Чэн неловко взмахнул правой рукой, удерживая равновесие, а в этой правой руке совершенно случайно был я.

И мой клинок легко уперся в подмышечную впадину Придатка Но-дачи.

В Беседах Блистающих, особенно в финале турниров, судьи не нужны. Поэтому Но-дачи понял все, что должен был понять. Понял — и ударил на полную длину клинка, сокращая дистанцию до безысходной и держась по-прежнему на уровне головы моего Придатка. И мне даже показалось, что на этот раз Но-дачи мог бы и не успеть остановиться — хотя, конечно, такое могло только примерещиться.

Но содержимое невидимой чашки ударило в голову Придатка Чэна быстрее, чем разозленный неудачей двуручный меч.

И Придаток Чэн упал на колени. Пьяные Придатки плохо держатся на ногах — вот он и не удержался. А я небрежно пощекотал живот Придатка Но-дачи, после чего устало лег на плечо Придатка Чэна.

Обалдевший Но-дачи повел своего Придатка назад, пытаясь разобраться в происходящем, но Придаток Чэн хрипло заорал, протестуя, и кувыркнулся вслед, собираясь продолжить.

Вновь ударила с неба в землю слабо изогнутая молния Но-дачи — и вновь зря.

Придаток Чэн не сумел довести кувырок до конца, неуклюже завалившись на землю еще в середине переката, и Но-дачи вонзился в землю на полклинка левее.

Я по дороге зацепил босую пятку Придатка Но-дачи — и вдруг остановился, пораженный неожиданной догадкой.

Но-дачи вонзился в землю. Но он не мог этого сделать!

Не мог!

Он же предполагал, что в этом месте окажется Придаток

Чэн... И, значит, должен был остановиться выше земли, над телом, а не в нем!

Нельзя думать во время Бесед. Нельзя...

— Извини, — свистнул Но-дачи, резко опускаясь почти вплотную к навершию моей рукояти. — Мне действительно жаль...

И я ощутил, что сжимавшие меня пальцы умирают.

Нет.

Уже мертвы.

А рядом упирался в багровую траву обрубком правой руки Придаток Чэн, и немой вопрос бился в его трезвых глазах.

— Ты же... ты же не Тусклый?! — это было все, что мог прошептать я, теряя сознание от мертвой хватки коченеющих пальцев.

— Извини...

— Скорее, Но! Не медли!.. — прозвучал совсем рядом странно знакомый скрипучий голос, и я еще успел увидеть троицу совершенно одинаковых Блистающих, коротких и похожих на трезубец без древка; и все трое размещались за поясом тощего нескладного Придатка... они звали Но-дачи, торопя его, не давая мне договорить, узнать, понять — почему?!

А потом я перестал их видеть — и двуручного Но-дачи, и кинжалы-трезубцы с одинаковыми голосами, и солнце, тусклое и горячее, как...

Потому что пришла темнота.

Постскриптум

...А трибуны поначалу ничего не поняли.

Когда веселый Чэн Анкор, наследный ван Мэйланя, начинает по обыкновению притворяться пьяным и легкий прямой меч в его руке снует проворней иглы в пальцах лучшей вышивальщицы Кабира — зрители на трибунах замирают от восторга, и кто способен уследить за непредсказуемостью движений улыбчивого Чэна, понять истинную причину, поверить в небывалое?!

А те, кто способен был уследить, кто сумел понять, кто готов был поверить, — увы, не оказалось их в первых рядах толпы, в конце концов ринувшейся на поле... захлестнуло их рокочущей волной, смяло и разметало в разные стороны. Тем и страшна толпа, что тонешь в ней, растворяешься, и не прорваться тебе, не успеть, даже если и видишь ты больше прочих, и жгучий гнев клокочет в твоей груди подобно разъяренному огню в кузнечном горне!..

Где-то в самой гуще людского водоворота оглушающе свистел над головами гигантский эспадон в мощной руке Фальгрима Беловолосого, лорда Лоулезского, и зычный рев северянина едва не перекрывал многоголосье толпы:

— Пустите! Пустите меня к нему! Да пустите же!..

И не было понятно, к кому именно рвется неистовый Фальгрим — к невольной жертве или вслед за бежавшим палачом.

Несся от восточных площадок незаседланный каурый трехлеток, на котором, подобно безусому мальчишке-пастуху, пригнулся к конской шее сам эмир Кабира Дауд Абу-Салим, и кривой ятаган на его боку безжалостно бил животное по крупу, торопя, подстегивая, гоня...

Ужом проскальзывала между сдавленными телами белая туника Диомеда из Кимены, и серповидный клинок-махайра неотступно следил за смуглым и гибким Диомедом, вписываясь в еле заметные просветы, раздвигая толкающихся людей, помогая кименцу протиснуться хоть на шаг... хоть на полшага...

И стояла на самом верху западных трибун у центрального входа ничего не понимающая девушка в черном костюме для верховой езды. А рядом с ней, чуть наклонясь в сторону кипящего турнирного поля, напоминающего сверху кратер разбуженного вулкана, стояла высокая пика с множеством зазубренных веточек на древке.

Благородная госпожа Ак-Нинчи из рода Чибетей и Волчья Метла успели вернуться с горных плато Нижнего Хакаса к самому концу турнира — и мало что говорило им увиденное столпотворение.

Но первыми к Чэну Анкору, истекавшему кровью рядом с наследственным мечом и куском собственной плоти, успели двое. Суровый и строгий дворецкий Анкоров по имени Кос ан-Танья, на перевязи которого взволнованно раскачивался узкий эсток с витой гардой; и один из приближенных эмира Дауда — не то шут, не то советник, не то и первое и второе сразу, — которого все знали как Друдла Муздрого.

Дворецкий Кос ан-Танья спешно перетягивал искалеченную руку Чэна у самого локтя шнуром от чьих-то ножен, а приземистый шут-советник Друдл все глядел сквозь беснующуюся толпу, пока не опустил в бессильном отчаянии маленький бритвенно-острый ятаган и граненый тупой клинок с одиноким лепестком толстой гарды.

И на этот раз никому и в голову не пришло засмеяться.

А когда безумный океан толпы стал постепенно дробиться на капли отдельных личностей, все поняли, приходя в себя и оглядываясь по сторонам, — поздно. Поздно оправдываться, поздно искать виноватых и карать злоумышленников, потому что все виноваты и некого карать.

Опоздали кабирцы.

— Пустите... пустите меня к нему, — тихо прошептал Фальгрим Беловолосый, и скорбно поник гигант-эспадон в его руке.

Никогда не простит себе Гвениль сегодняшнего проигрыша в рубке...

Часть II

ЧЕЛОВЕК МЕЧА

..Воздух умеющий рассечь,
Красным пламенем горящий меч,
В грозные дни напряженных сеч
Удлиняющийся меч.
Для закалки того меча —
Так была его сталь горяча —
Не хватило холодных ручьев,
Множество пересохло ручьев!
Бывший во чреве дракона меч,
Гору способный с размаху рассечь,
Такой, что кинь в траву его —
Он траву сумеет зажечь...

Манас

ГЛАВА 4

1

Боль.

Боль ползет от локтя вниз по предплечью, давящим жаром стекает в кисть и изливается огненным потоком из кончиков онемевших пальцев. Потом боль медленно уходит, посмеиваясь, потому что болеть уже нечему. Нет пальцев, нет кисти, нет части правого предплечья.

Ничего этого больше нет.

Все осталось там, на турнирной площадке, — и до сих пор у меня в глазах мерцает тот радужный полукруг, которым на мгновение стало лезвие изогнутого двуручного меча. Тогда я еще не успел понять, что произошло, — только ощутил, что моя правая рука стала непривычно короткой и непослушной.

И небо, небо над головой моего соперника... оно слепо качнулось, метнув солнечный диск куда-то в сторону, когда я попробовал найти точку опоры...

И не смог.

Боли еще не было — она придет скоро, но не сразу, — и вот я с недоумением смотрю то на быстро удаляющегося человека с большим мечом на плече, то на чью-то кисть правой руки, которая почему-то сжимает рукоять моего — моего! — Единорога, валяющегося рядом. Почему мой меч лежит в траве? Почему эти пальцы, вцепившиеся в чужой для них меч, подобно пауку в трепещущую добычу, почему они тоже лежат на траве?

Почему зеленая трава так быстро становится алой?!.

А потом наконец приходит боль, и у меня темнеет в глазах...

...Сколько же времени прошло с того дня? Неделя? Месяц? Год? Столетие?.. Не помню. Время остановилось, жизнь рассечена мерцающим полукругом, и все скрыто туманной пеленой забытья и безразличия.

И боль.

Боль в руке, которой нет.

Как мне жить дальше?

И стоит ли — жить?

Взгляд мой невольно устремляется в тот угол, где на резной лакированной подставке, привезенной еще моим прадедом из Мэйланя, покоится наследственный нож-кусунгобу. Его я удержу и в левой руке. Его я удержу в зубах. Потому что кусунгобу — не для турниров и парадных выходов в свет. Это пропуск Аикоров Вэйских на ту сторону. Одно короткое движение, слева направо или снизу вверх...

Я встал с постели. Покачнулся.

Устоял.

И долго смотрел на нож, разглядывая потемневшее от времени, но все еще острое как бритва лезвие. Потом медленно протянул руку.

Левую.

Рукоять, покрытая костяными пластинками, удобно легла в ладонь. Слишком удобно. Я подбросил кусунгобу и поймал его клинком к себе. Солнечный луч скользнул по стали, и нож словно улыбнулся, подмигивая и дразня меня.

«Ну что, парень, решился? Тогда ты будешь первым из Анкоров. Я уж заждался...»

Я задумчиво покачал нож на ладони.

— Придется тебе еще обождать, приятель, — невесело усмехнулся я в ответ, аккуратно кладя кусунгобу на прежнее место.

Нож разочарованно звякнул.

И ободряющим эхом отозвался с противоположной стены мой Единорог. Сквозняк, что ли?..

Повинуясь какому-то смутному порыву, я пересек зал и снял меч со стены. Прямой меч Дан Гьен. Фамильный клинок. Часть меня самого.

Держать меч в левой руке было несколько непривычно. А нука попробуем... тем более что тело меня слушается — плохо, но все же слушается.

Для первого раза я замедлился и начал с самого простого. «Радуга, пронзающая тучи» у меня получилась довольно сносно, на «Синем драконе, покидающем пещеру» я два раза запнулся и остановился на середине танца, тяжело дыша. Конечно, усиленные занятия многое исправят, заново отшлифовав движения, но...

Мне и так было достаточно скверно, чтобы пытаться обманывать самого себя. Постороннему зрителю мои движения могли

показаться почти прежними, но что-то было не так. Что-то неуловимое, настолько тонкое, что его невозможно было передать словами. И я чувствовал, что ЭТО скорее всего не удастся вернуть никакими самоистязаниями.

Хотя, может быть, дело в моем подавленном настроении?

Я хватался за соломинку.

Я еще раз исполнил «Радугу...», потом сразу перешел к очень сложным «Иглам дикобраза», скомкал все переходы между круговыми взмахами, до боли в деснах сжал зубы и рывком пошел на двойной выпад «Взлетающий хвост» с одновременным падением...

В дверях беззвучно возник мой дворецкий Кос ан-Танья, застыв на пороге и явно не желая меня прерывать.

Однако я прервался сам. И сделал это с болезненной поспешностью. Я не хотел, чтобы Кос видел мой убогий «Взлетающий хвост», разваливающийся на составляющие его «иглы»...

Вот он и не увидел. Или увидел, но не подал виду. Ну что, Чэн Анкор, наследный ван Мэйланя, тебе от этого легче?

Нет. Мне от этого — тяжелее. Хотя, казалось бы, дальше некуда.

— К вам гость, Высший Чэн.

— Кто?

До гостей ли мне?!

— Благородная госпожа Ак-Нинчи, хыс-чахсы рода Чибетей.

По-моему, только Кос ан-Танья с его уважением к любым традициям мог научиться без запинки выговаривать полное имя той, кого я давно звал детским коротким именем Чин. Кос да еще сородичи и земляки Чин из поросших лесом предгорий Хакаса. Ну, им-то сам бог велел, хотя бога их зовут так, что даже Кос себе язык свернет...

Нет, мне не стало веселей от прихода Чин. Чэн и Чин — так любили шутить близко знакомые с нами кабирцы. Ну что, Чэн-калека, улыбнись и отвечай бодро и спокойно, как приличествует воспитанному человеку!..

— Пригласи благородную госпожу войти.

Кос отошел в сторону, и почти сразу в дверях появилась Чин — слегка напряженная и взволнованная. А я на миг забыл о себе и просто стоял, любуясь ею, как любуются портретом работы великого мастера, только вместо резной рамы был дверной проем.

Черный облегающий костюм для верховой езды с серебряным шитьем на груди и рукавах лишь подчеркивал гибкость ее фигуры (многие в Кабире сочли бы ее излишне мальчишеской, многие — но не я). Вьющиеся каштановые волосы легко падали на обманчиво хрупкие плечи, и на лбу непокорные пряди были схвачены тонким обручем белого металла без обычных розеток с камнями — только еле заметная резьба бежала по обручу, и язык этой резьбы был древнее множества языков, на которых говорили, писали и пели в эмирате и окрестных землях.

Самый дорогой самоцвет мог лишь умалить ценность этого обруча — знака Высших рода Чибетей из Малого Хакаса; и самое дорогое платье не добавило бы маленькой Чин ни грана очарования.

И не спорьте со мной! Все равно я не стану вас слушать. Влюбленные и глупцы — безнадежны, как сказал один поэт, который не был глупцом, но был влюбленным...

Взгляд зеленых глаз Чин с тревогой метнулся ко мне — но тут она увидела Единорога в моей руке, и, даже не успев сообразить, что рука — левая, тревога в ее глазах сменилась радостной улыбкой.

А я незаметно спрятал культю правой руки за спину.

— Я рада приветствовать вас, Высший Чэн, и вдвойне рада видеть вас на ногах и в полном здравии, судя по обнаженному мечу.

Она шагнула за порог и вновь остановилась, обеими руками держась за свою неизменную Волчью Метлу — словно инстинктивно отгораживаясь ею от меня и от того невозможного, небывалого ужаса, который теперь незримо сопутствовал мне.

— И я рад вам, благородная госпожа Ак-Нинчи, — раскланялся я в ответ, стараясь держаться к ней левым боком. И, помолчав, добавил:

— Я всегда рад видеть тебя, Чин. Пусть весь эмират провалится в Восьмой ад Хракуташа — даже корчась на ледяной Горе Казней, я буду рад видеть тебя, когда ты пролетишь надо мной, направляясь в Западный Край лепестков. Ну как, похож я на записного сердцееда?

— Как я на эмира Дауда, — усмехнулась Чин и аккуратно поставила свою Метлу в оружейный угол для гостей. А я, сам не знаю почему, опустил рядом с ее пикой Единорога без ножен — хотя обычно мой меч висел совсем в другом месте, чуть поодаль.

Вездесущий Кос уже успел в считанные секунды накрыть легкий стол, расставив в кажущемся беспорядке поднос со сладостями, фрукты в приземистых вазах, две пиалы тончайшего фарфора — в дверь сунулся было кто-то из слуг, но Кос ан-Танья глянул на него, и слугу как ветром сдуло, — и теперь мой чуткий и замечательный дворецкий ставил на центр стола керамический чайничек с подогретым вином.

Белым, лиосским, судя по запаху. Интересно, когда это он успел его подогреть, не выходя из зала? И камин совсем холодный...

— Что нового в Кабире? — осведомился я, безуспешно пытаясь взять чайничек правой рукой.

Улыбка медленно сползла с губ Чин. Я заметил, что она старается не смотреть на мою искалеченную руку, но против воли взгляд Чин то и дело скользил по культе — и тогда пальцы девушки судорожно сжимались в твердые кулачки.

И боль, боль, плывущая в зеленых волнах ее глаз, — не моя боль, чужая, но лучше бы — моя...

Я взял проклятый чайничек левой рукой и неловко разлил дымящееся вино в пиалы, пролив немного на скатерть. Горячие капли расплылись, образовав уродливые пятна.

За это время Чин пришла в себя и даже смогла заговорить.

— О, Кабир — большой и шумный город. В нем происходит столько нового, что о половине узнаешь только тогда, когда оно успело уже стать старым. Что именно тебя интересует, Чэн?

О да, деликатная Чин постаралась ответить как можно уклончивей и беззаботней. Ну что ж, каков вопрос, таков ответ...

— Меня интересует, нашли ли человека, который...

Я тоже помимо воли глянул на свой обрубок и перевел взгляд в угол, где располагались Волчья Метла и Единорог. Почему-то вид оружия не успокоил меня, как бывало обычно. Не так блестела сталь, не так лежал меч, не так стояла разветвленная пика.

Все было не так.

— Он... — Чин запнулась и поспешно отпила из своей пиалы. — Он скрылся. Мне Фальгрим и Диомед рассказывали, а суматоху на турнире я и сама видела, только не понимала ничего. Но нашлись люди, которые вроде бы заметили похожего человека в караване, уходящем в Мэйлань...

Она вдруг резко замолчала, поняв, что сболтнула лишнего.

Да, наверное, мне действительно не стоило бы этого знать.

Наверняка — не стоило. Но что сказано — то сказано.

— После его... э-э-э... его бегства в городе больше не случалось ничего необычного? — как можно спокойнее поинтересовался я. Проклятье, все время приходится следить за своими руками...

Чин нахмурилась и плотно сжала губы. Она явно колебалась. Но сделавший первый шаг обречен на второй.

— Трое убиты и два человека ранены за последние две недели. Раненые дали описание двоих... — Она долго не могла подобрать подходящего слова, так и не нашла его и тихо закончила: — Но их так и не обнаружили.

— Это не он?

— Нет. Даже не похожи. И оружие совсем другое. Я не понимаю, Чэн...

На глаза ее вдруг навернулись слезы, и от недавней сдержанности не осталось и следа. Передо мной сидела просто испуганная и растерянная девушка, и мне хотелось утешить ее, защитить от всех и вся — если бы не я сам был причиной испуга Чин, не сумев защитить себя самого...

Кто бы меня утешил?! Я смутно подозревал, что в том, что могло бы меня хоть немного утешить, крылось что-то темное и страшное — едва ли не худшее, чем уже случившееся.

— Чэн, я не понимаю, что происходит! Как... как может держащий оружие пойти на такое?! Ранить, искалечить, а тем более — убить! За что? И — зачем?! Это не прибавит к его имени ни гордости, ни почета, да и само имя придется вечно скрывать! Я не понимаю... не могу понять... не могу!..

Она закрыла лицо ладонями, и слезой блеснул бриллиант в перстне на безымянном пальце правой руки. Руки. Правой... О Изначальный кузнец Джангар, неужели я навечно обречен с завистью смотреть на чужие руки?! Даже если это руки любимой девушки...

Руки... и я успокаивающе погладил Чин по плечу уцелевшей рукой.

— Не плачь, девочка. Люди, опозорившие свое право держать оружие, не стоят самой крохотной из твоих слезинок. Нет, не пугайся, я говорю не о себе. Возможно, я заслуживаю сочувствия или жалости, но позора нет на мне, и прошу тебя — не жалей Чэна из Анкоров Вэйских! Потому что может прийти день — и я стану недостоин жалости, но стану достоин позора. И в этот день перестанет саднить моя кисть, оставшаяся там, на турнирном поле. И созревший виноград моей жизни станет в этот проклятый день багряным и горьким вином завершения...

Ладони Чин медленно разошлись в стороны, и она совершенно по-детски уставилась на меня во все глаза, но недетскими были испуг и надежда в этом взгляде.

А я все пытался понять — что же я сейчас наговорил ей?! Слишком сумбурно все получилось, слишком порывисто и нелепо... Искренне говорил ты, Чэн Анкор Однорукий, но словно и не ты говорил... вернее, не только ты.

Кто говорил вместе со мной? Чьи слова походили на язык древних поэм безумного Масуда ан-Назри?

Кто предвидел страшное?..

...Хватит. Пора расслабиться.

— А сейчас, благородная госпожа, позвольте вас пригласить? — И я плавно махнул обрубком в тот угол, где стояло наше оружие.

Продолжение нас самих.

— Почту за честь, Высший Чэн. Но...

— Никаких «но», госпожа! Кто, кроме вас и лучше вас, может мне вернуть прежнее умение?

Чин внимательно поглядела на меня и молча кивнула.

И мы пошли к оружию.

Единорог словно бы сам скользнул в мою левую руку. И все же... Я никак не мог избавиться от чувства неполноценности. И заранее понимал — ничего не получится.

Поддаваться мне Чин не станет — я сразу же увижу и почувствую это. А в полную силу...

К тому же меня все время подмывало перебросить меч в правую руку.

И я сознавал — в какой-то момент, когда сознание уступает место мастерству, я не выдержу.

Переброшу.

2

...Силуэт всадницы уже давно растворился в лиловых сумерках Кабира, а я все стоял у распахнутого окна, смотрел ей вслед и слышал — нет, не цокот копыт по булыжнику, но мелодичный перезвон оружия, звучавший, когда соприкасались мой Единорог и Волчья Метла Чин. Только в сегодняшнем танце я оказался слишком неуклюжим кавалером — и звон выходил не таким радостным, как прежде, срываясь зачастую на болезненное дребезжание...

Да и звучал-то он недолго. Мало того, что острие пики дважды замирало вплотную к моей груди, — в довершение всего Чин удалось выбить взвизгнувший Дан Гьен из моей левой руки, а такого до сих пор не случалось никогда.

Никогда раньше.

Никогда...

Грустный вышел танец. Для обоих — грустный. Теперь-то я знал...

Знал, что отныне мой удел — грубая проза. Потому что поэзия поющего клинка мне более недоступна.

И Чин тоже поняла это. Не могла не понять. Не думаю, что сейчас ей намного легче, чем мне.

Впрочем...

Я стоял у окна и смотрел в сумерки, поглотившие маленькую Чин, которую родные и близкие друзья иногда называли Черный Лебедь Хакаса.

Я был ее очень близким другом.

Улетай, лебедь...

3

...Фальгрим явно задался целью всерьез споить меня. Он был излишне весел и многословен, нарочито громко шутил (а голос у Беловолосого и так — о-го-го!), постоянно подливал мне вина и изо всех сил старался не смотреть на мою укороченную правую руку, прятавшуюся в провисшем рукаве халата.

За последние три дня я в полной мере успел оценить деликатность моих знакомых. Все были прекрасно осведомлены о руке бедного Чэна Анкора и все старались на нее не смотреть.

И я в том числе.

Только никому это не удавалось.

И мне — в том числе.

— Наливай! — бросил я просиявшему Фальгриму. — Ах, судьбы наши бренные, кто был — того уж нет... Подымем чаши пенные, как говорил поэт!..

Поднимать чашу можно любой рукой. И я пил, пил, заливая кровью виноградной лозы дорогой полосатый халат и мечтая опьянеть до беспамятства.

И — не пьянел. А посему слушал последние новости Кабира в громогласном исполнении своего приятеля — о предстоящей помолвке племянника эмира Дауда, Кемаля аль-Монсора Абу-Салима, и благородной госпожи Масако Тодзи; о приемах и балах; о госте города — Эмрахе ит-Башшаре из Харзы, которому ехидный и острый на язык шут эмира Друдл Муздрый успел прицепить кличку Конский Клещ, и кличка действительно пристала к бедному Эмраху, как тот самый клещ к конской... Фальгрим смеялся долго и со вкусом, после чего продолжил: о купеческом караване из Бехзда, принесшем совсем уж несуразные слухи; о...

Фальгрим все не умолкал, но я уже плохо слушал его, хотя это было и не очень-то вежливо. Два имени засели у меня в голове. Эмрах ит-Башшар из Харзы и Друдл Муздрый — шут, которого многие считали советником эмира Дауда. Впрочем, одно другого не исключало.

Я вспоминал странное поведение харзийца во время нашей первой встречи у башни Аль-Кутуна и после нее, вспоминал многозначительные намеки Друдла, обильно сдобренные нахальством... Оба они, безусловно, что-то знали — что-то, что отнюдь не помешало бы знать и мне!

Что?

Хотя... Я невольно покосился на болтающийся рукав. Что мне с этого знания, каким бы оно ни было? Все знание мира не стоило пяти обычных крепких пальцев...

Фальгрим перехватил мой взгляд — и осекся на середине фразы. Понял — зря, все зря. Зря пытался развеселить, отвлечь, напоить... Не казни себя, Беловолосый, не ты в этом виноват. А я и так благодарен тебе уже за саму попытку.

Лицо молодого лорда Лоулезского стало серьезным и суровым. Сейчас он был чем-то похож на собственный двуручный меч-эспадон Гвениль, стоявший позади Фальгрима у стены рядом с моим Единорогом. На мгновение мне даже показалось, что и мечи тоже беседуют друг с другом — разве что вина не пьют.

...Откуда у меня такие мысли? Спьяну, что ли? — так хмель меня сегодня не берет...

— Извини меня, Чэн, — неожиданно тихо заговорил Фальгрим, и его приглушенный бас напомнил мне рокотание отдаленного грома. — Я понимаю, каково тебе сейчас... а если не понимаю, то догадываюсь. Когда б я не проиграл ту проклятую рубку...

Он помолчал, двигая по столу свою опустевшую чашу. Чеканный дракон из серебра, обвивавший ее, подмигивал мне кровавым глазом.

— В Кабире поговаривают, что ты хотел свести счеты с жизнью, — глухо пророкотал далекий гром. — Я рад, что ты не сделал этого...

— Я еще сведу счеты, — криво усмехнулся я. — Только не с жизнью. Вернее, не со своей жизнью.

Фальгрим непонимающе посмотрел на меня и потянулся за узкогорлым кувшином.

Я и сам-то не очень себя понимал. Может быть, во мне проснулась кровь моих вспыльчивых предков из варварского Вэя, гибких и опасных, как клинки.

Кровь...

Алая кровь на зеленой траве.

— Гонец от солнцеподобного эмира Кабирского Дауда Абу-Салима! — возвестил объявившийся в дверях слуга — низкорослый крепыш с двумя боевыми серпами-камами за поясом.

— Проси, — махнул рукой Фальгрим, обрадованный тем, что столь скользкий и болезненный разговор был внезапно прерван.

Как ни странно, я тоже испытал облегчение. Кто утверждал, что больные любят говорить о своих болезнях? Или просто я — не больной?..

А какой я? Здоровый?!

Этого гонца я не помнил, но одевался он точно так же, как и любой гулям эмира, — праздничный чекмень темно-синего сукна, подпоясанный алым кушаком, островерхая шапка с косицей гонца, остроносые ичиги на ногах... Ну и непременный ятаган за кушаком.

И сам присланный гулям был так же бородат и черноволос, с тем же орлиным профилем, что и все гонцы эмира. Выращивают их специально для Дауда, что ли?..

— Великий эмир Кабира приглашает Фальгрима, лорда Лоулезского, к себе во дворец. Сегодня вечером состоится помолвка досточтимого Кемаля аль-Монсора Абу-Салима с благородной госпожой Масако Тодзи.

Гонец отбарабанил все это заученной скороговоркой, потом заметил меня — я еще при его появлении отошел к окну — и поспешил продолжить:

— Вас, Высший Чэн Анкор, великий эмир также приглашает на торжество. Посланный к вам гулям не застал вас дома...

Он запнулся и неожиданно закончил:

— А из вашего дворецкого слова не вытащишь!..

Я сдержанно кивнул.

Когда двери закрылись за гонцом, отосланным на кухню, Фальгрим посмотрел в окно, обнаружил за ним то же, что и я — близкий к угасанию день, — и перевел взгляд на меня.

— Ну что, Чэн Анкор Вэйский, пошли жениха с невестой смотреть? А то темнеть скоро начнет. Может, хоть там развеешься...

Я молча кивнул еще раз. Деликатные все-таки у меня друзья...

4

Пышная суета празднества, на которое мы с Фальгримом слегка опоздали, сразу же закружила меня, действительно давая возможность ненадолго забыться, и я с радостью окунулся в этот шумный водоворот, сверкающий шитьем одежд, ослепительными улыбками, полировкой клинков и чаш с искристым вином.

Я с искренней радостью приветствовал знакомых, стараясь не обращать внимания на бросаемые украдкой сочувственные взгляды; я раскланивался с дамами, говоря один комплимент за другим; я даже шутил, я был почти весел, суматоха лиц и приветствий вытеснила из головы тяжелые мысли — чего не смог сделать хмель вина, сделал хмель праздника.

Мгновениями мне казалось, что все вернулось на круги своя, что все — как прежде, и я сам — прежний обаятельный и галантный Чэн Анкор, душа общества... и ничего не случилось, словно и не было никогда разрубленного тела на кабирской улице, не было незнакомца с изогнутым двуручным мечом, не было неба, падающего на турнирное поле...

Не было!..

...Когда шум в зале внезапно стих, я даже не сразу сообразил, в чем дело, всерьез увлекшись беседой с крохотным Сабиром Фучжаном, умевшим на удивление легко управляться с огромным Лунным ножом Кван-до.

Оглянувшись, я понял, что близится кульминация сегодняшнего вечера. Гости уже успели освободить центр зала, в углу расположились толстые зурначи со своими дудками и согбенный старец с пятиструнным чангом — и теперь в кругу остались двое.

Племянник эмира Кемаль аль-Монсор — не по возрасту мощный и крепко сбитый юноша — и его невеста, стройная и легкая на ногу Масако из рода Тодзи.

И блики от огоньков множества свечей играли на безукоризненно отполированных лезвиях: узкой и длинной алебарды-нагинаты в руках госпожи Масако и тяжелого ятагана — в руках Кемаля.

В руках...

Я мысленно одернул себя и стал с интересом ждать предстоящего танца в честь помолвки.

Наконец они поклонились друг другу: аль-Монсор — с неторопливым достоинством и сдержанной улыбкой, Масако Тодзи — низко и почтительно, тоже с улыбкой, но чуть лукавой.

А потом нагината госпожи Масако чуть дрогнула и неуловимым движением взлетела вверх, описывая двойной круг вплотную к замершему Кемалю. Замершему — да не совсем. Трижды раздавался чистый звон металла, — это стремительный ятаган аль-Монсора слегка изменял траекторию клинка нагинаты. И тут же сам Кемаль сорвался с места — и жених с невестой закружились по залу в звонком, блистающем танце под пронзительные вскрики зурны и низкий ропот чанга.

Это было Искусство.

Настоящее.

Дважды мелькало гибкое древко и мерцающее лезвие нагинаты проходило впритирку к шелковой кабе Кемаля; и дважды пылающий полумесяц ятагана касался вышитой повязки, стягивавшей под грудью узорчатое кимоно госпожи Масако.

Через некоторое время упал на пол разрубленный пояс и взвихрились освобожденные полы халата аль-Монсора — но в тот же миг одна из прядей черных волос Масако плавно легла ей на плечо и сползла вниз по широкому рукаву.

Жених и невеста улыбнулись друг другу, и танец продолжился. Некоторые гости, не выдержав, начали присоединяться, и зал наполнился звоном и топотом.

Прекрасная пара! Они были просто созданы друг для друга.

Как мы с Чин.

Раньше...

За моей спиной кто-то вежливо кашлянул.

Я обернулся. Передо мной стоял эмир Кабира Дауд Абу-Салим.

Собственной персоной.

— Приветствую тебя, Высший Чэн Анкор, — негромко произнес он, поглаживая окладистую завитую бороду, лишь недавно начавшую седеть. — За все время празднества мы с тобой так и не успели отдать дань приличиям, поприветствовав друг друга...

— Прошу прощения, великий эмир, что я не успел это сделать первым, — смиренно ответил я, склоняя голову. — Для меня большая честь быть приглашенным на этот праздник.

Кажется, я сказал это излишне сухо, а выдавить из себя соответствующую случаю улыбку и вовсе не смог — все, праздничный водоворот в моей голове смолк, и я вынырнул на поверхность таким же, каким был несколько часов назад.

Эмир чуть заметно поморщился.

— Я хочу поговорить с тобой, Чэн, — по-прежнему негромко, но уже другим тоном сказал он. — Здесь слишком шумно. Пройдем в мои покои...

— Как вам будет угодно, великий эмир, — еще раз поклонился я и почувствовал, что говорю не то и не так.

На этот раз эмир Дауд вообще не ответил, и мне ничего не оставалось, как просто последовать за ним.

5

В личных покоях эмира я бывал не единожды — Дауд любил приглашать к себе победителей турниров, а я частенько входил в их число, — и всякий раз они поражали меня заново. Нет, не своим великолепием — да и не были они так уж подчеркнуто великолепны, — а точным соответствием характеру и даже сиюминутному настроению эмира Дауда. Этого, знаю по себе, не так-то просто добиться, даже имея идеальных слуг. Впрочем, где они, эти идеальные — если не считать моего Коса...

Сейчас покои выглядели сумрачными и даже слегка зловещими. Большая часть свечей в канделябрах на стенах была погашена, и по углам копились вязкие серые тени, словно выжидая своего часа.

Огоньки оставшихся свечей блуждали по перламутровой инкрустации старинной мебели, будто открывая вход в какой-то иной, потусторонний мир. Это было красиво, но вместе с тем немного жутковато.

Хотя, казалось бы, недавно я сам собирался всерьез отправиться в этот запредельный мир теней. И ничего, не боялся... да и сейчас — не боюсь.

Эмир Дауд жестом указал мне на атласные подушки, разбросанные по всему покрывавшему пол ковру. Я послушно опустился на одну из них, а Дауд Абу-Салим устроился напротив, держась неестественно прямо.

Сперва мы немного помолчали. Я ждал, что скажет Дауд, а эмир, по-видимому, собирался с мыслями. Наконец он заговорил — и, признаюсь, от его слов я вздрогнул.

— Ты знаешь, что происходит в Кабире, — начал Абу-Салим без всяких предисловий.

Я не ответил. Я не был уверен, нужен ли здесь ответ, и если нужен — то какой?!

— Конечно, знаешь. И все знают. И я знаю. Но если всем это не нравится, то мне это ОЧЕНЬ не нравится. Как и тебе.

— Мне нравится, — горько усмехнулся я.

— Не перебивай без нужды. Потому что все гораздо хуже, чем ты полагаешь, — жестко сказал эмир, кивнув на мою искалеченную руку.

Это был первый человек, не старавшийся не замечать моего уродства.

— Что может быть хуже, сиятельный эмир?

— То, что это происходит не только в Кабире. Харза, Кимена, Бехзд, Мэйлань... Короче, по всему эмирату и многим сопредельным землям. По нескольку случаев на каждый город, но этих городов довольно много...

Я напрягся.

— Вчера я говорил с Эмрахом ит-Башшаром из Харзы, —

продолжил Дауд, глядя мимо меня. — У него погиб друг. Та сабля, что у Эмраха вместо пояса, — память о покойном. Следы привели ит-Башшара в Кабир. И он, как и мы с тобой, пытается понять, что происходит. Только горяч не в меру, как и все харзийцы. Все нахрапом норовит... Говорил — хочет найти этих... людей. Если их можно так назвать.

Так вот в чем дело! А я-то думал... Мне на мгновение стало стыдно.

— Людей калечат и убивают, — так же жестко говорил эмир дальше. — Пусть — немногих. Ты согласишься, что твоя рука — это немного? И правильно сделаешь. Но мы не в силах положить этому конец. Мы — другие. Нам не понять, как оружием можно убивать. А они, те, кого мы ищем, — такие, какие они есть. И, значит, часть из нас должна уподобиться им. Иного пути нет.

— Но это ведь невозможно! — растерянно выдавил я.

— Наши предки были способны на это, если верить легендам. Значит, это возможно. И Эмрах ит-Башшар хочет стать первым...

Дауд Абу-Салим надолго замолчал, и я не решался прервать его молчание. Я и так понимал, кем хочет стать отчаянный Эмрах и зачем ему это нужно. Ах, как я его понимал!..

— Я хочу, чтобы ты стал вторым, — наконец произнес эмир. — Хочу — и не могу приказать тебе. Но иначе при столкновении с Другими ты будешь... обречен.

— Я?! А почему — я?..

— Не перебивай меня! И выслушай до конца. Я допускаю, что Эмрах, побуждаемый местью за друга, действительно научится... — эмир все не мог произнести нужное слово. — И я даже допускаю, что он сумеет найти корень преступлений. Но я хочу, чтобы в этот момент рядом с ит-Башшаром был человек, способный не только на... опрометчивые поступки, но и на понимание. Иначе мы будем гасить огонь огнем. Тем более что у Эмраха наверняка найдутся последователи. Месть — болезнь заразная, вроде чумы...

— Да, заразная, — тихо согласился я. — Хуже чумы.

— Рано или поздно ты сам пришел бы к этому, — кивнул эмир. — Я лишь чуть-чуть подтолкнул тебя. Просто ты — один из немногих, способных устоять на грани. И... ты уже изменился. Разве ты не замечаешь?

— Замечаю, — хрипло проговорил я, не узнав собственного голоса, и откинул правый рукав халата, обнажая обрубок. — Но еще я замечаю и вот это... Не гожусь я теперь в герои. Один, без руки...

— Ты будешь не один. Поисками будут заниматься и другие, помимо Эмраха из Харзы и тебя. А высочайший фирман, обеспечивающий тебе содействие по всему эмирату — и кое-где вне его, — я уже заготовил. Теперь что касается твоей руки...

Эмир как-то странно посмотрел на меня.

— Есть человек, которой берется помочь тебе, — закончил он.

Я почувствовал у себя за спиной какое-то движение и быстро обернулся.

Передо мной стоял шут.

Друдл Муздрый.

Плотный коренастый человечек, похожий на пустынного тушканчика, если можно представить себе тушканчика с непоседливостью хорька, нахальством портовой крысы и многими другими сомнительными для тушканчика достоинствами. Восьмиугольная фирузская тюбетейка чудом держалась на его бритом лоснящемся затылке, а многочисленные пятна на куцем шерстяном халате-джуббе говорили об обильных обедах, сопровождавшихся не менее, а то и более обильными возлияниями.

Крохотные глазки шута сверкали двумя черными маслинами, а между ними алела слива вздернутого носа; при этом луна его лица завершалась черной козлиной бородкой, немытой и нечесаной со дня сотворения мира.

Или еще раньше.

Таким стоял передо мной их шутейшество Друдл Муздрый, посмешище всего Кабира.

Со своим дурацким тупым кинжалом за поясом. И вдобавок с детским маленьким ятаганом, который таскал в последнее время.

— Поговори с Высшим Чэном, Друдл, — спокойно заявил эмир. — А я не буду вам мешать.

Дауд Абу-Салим неожиданно легко поднялся на ноги и беззвучно растворился в тенях.

6

Я выжидательно поглядел на шута. Друдл не обратил на мой взгляд ни малейшего внимания и поспешил плюхнуться на ту самую подушку, с которой только что поднялся эмир.

В руках у шута неизвестно откуда оказалось блюдо с ореховой пахлавой, и он мгновенно набил сладостями свой рот, растянувшийся до ушей.

По-моему, столько пахлавы не влезло бы и в седельный хурджин.

— Ты дурак, — Друдл для верности ткнул в меня толстым и липким пальцем. — Спорить будешь?

Я сперва поперхнулся, словно это в мой рот набили гору сластей, потом представил себя спорящим с Друдлом на предложенную тему и сам не заметил, как отрицательно замотал головой — отрицая непонятно что.

— Значит, договорились, — удовлетворенно подытожил шут. — Ты дурак. И я дурак. Давай поговорим, как дурак с дураком. Руку новую хочешь?

— Зло шутишь, Друдл, — вполголоса ответил я, чувствуя, как во мне закипает гнев.

— Это отвечает умный Чэн Анкор, — блюдо с пахлавой пустело прямо на глазах. — А что ответил бы дурак? Давай попробуем еще раз... Руку новую хочешь? Ну?!

— Хочу!

Я даже не успел сообразить, что отвечаю. И впрямь глупею...

Друдл швырнул пустым блюдом в стену и радостно заскакал на подушке, сплющившейся под его увесистым задом.

— Получилось, получилось! — заорал он на все покои, и я испугался, что сейчас сюда сбегутся слуги — спасать эмира от ночных демонов.

Я огляделся — на всякий случай — и пропустил тот момент, когда у Друдла объявилось новое блюдо.

С виноградом. С розовым гератским виноградом.

— Так, продолжим. — Шут задумчиво пожевал одну ягодку, плюпул косточками в медную курильницу, не попал и досадливо скривился. — Переходим ко второй части наших дурацких размышлений! А меч ты новый хочешь? Красивый...

— Нет, — твердо отрезал я. — Не хочу.

— Почему? — осведомился шут, лихо объедая кисть винограда. — Была одна железка, будет другая...

Я мрачно усмехнулся.

— Меч — не железка, Друдл. Меч — традиция рода. Меч — продолжение меня самого. Дурак ты все-таки...

— Понятное дело, — легко согласился шут. — Я и не спорю. А ты кончай изображать грозовую тучу — свечи от страха погаснут. Ты лучше вот о чем подумай: меч твой — железный... Да знаю, знаю, что стальной, — не умничай! Так вот, меч — железный, рука — живая... меч, как мы выяснили, это продолжение тебя самого... А рука?

— Что — рука? — тупо спросил я.

— Ну, рука — тоже продолжение тебя самого? Ты что, действительно дурак? За моей мыслью следить не успеваешь? Ну, живо отвечай! Рука — продолжение или не продолжение?!

У меня вдруг закружилась голова.

— Продолжение, — промямлил я. — А как же... это ведь рука. Живая...

— Выходит, что у тебя, Чэн-дурак, два продолжения? Одно — железное, а другое — живое?

— Выходит, что так, — обреченно согласился я.

А что мне оставалось делать?

— И одно продолжение — которое живое — тебе укоротили... Так, может, нам для равновесия надо другую часть удлинить, а? Железную? Меч — железный, полруки — железные, а дальше — как раньше! И получится у нас...

— Не получится, — угрюмо возразил я, удивляясь, что вооб-

ще обсуждаю эту ненормальную идею с ненормальным собеседником. — Ты что, сам не понимаешь — пальцы, ладонь, запястье... Это тебе не просто кусок железа!

— А меч — просто кусок железа? — хитро сощурился Друдл, сдвигая тюбетейку еще дальше на затылок.

— Нет... меч...

— Слыхали, слыхали — продолжение тебя самого! Слушай, Чэн, по-моему, ты сам себе противоречишь! Вот уж воистину — все беды от ума!..

Друдл вскочил на ноги и заплясал вокруг меня, хлопая в ладоши и корча рожи, которым мог бы позавидовать полуночный людоед-якша.

— А у Чэна-дурака есть железная рука! — пел он противным фальцетом. — Есть железная рука — вот уж штука на века!

— Нет, — твердо заявил я. — Я в это не верю.

— Потому что умный, — сообщил мне пляшущий Друдл. — Был бы дурак — поверил бы. А в меч свой веришь?

— В меч верю.

— Значит, и в руку поверишь. Вот поглупеешь — и поверишь. — Друдл был непреклонен. — Да что я тебя, в конце концов, как маленького уговариваю?! Тебе это нужно или мне? Ты тут радоваться должен...

— Как дурак, — закончил я недосказанную мысль. — Всех дел-то — раз плюнуть. Сходить в кузницу к мастеру получше... Кто у нас из оружейников в Кабире верховодит? Ассатор ильУбар? Или Мансайя Одноглазый? Сходить и заказать им...

— Нет, — Друдл вдруг стал ужасно серьезным. — Эти откажут. Они умные, а мы с тобой — дураки. Значит, нам кузнец вроде нас нужен...

— И кто же он такой? — поинтересовался я.

— Коблан. Коблан Железнолапый, — веско ответил шут. — Есть на окраине один такой кузнец...

— А почему именно Коблан?

— Он тоже дурак. Как я. И ты.

ГЛАВА 5

1

Если в чем-то Кабир и был единодушен, так это в том, что Коблан Железнолапый — кузнец со странностями. Причем со многими. Мастером-то он считался отменным и даже, можно сказать, выдающимся, хотя оружие его работы и уступало по изяществу и тонкости внешней отделки изделиям того же Мансайи Одноглазого. Но...

В том-то и беда, что было еще это «но». Мало заказов принимал упрямый Коблан, да и те немногие, на которые соглашался, брал не у всякого — и дело было не в благородстве происхождения или увесистости кошелька заказчика. Насколько я знал от других, кузнец за всю его жизнь ни разу не сделал двух одинаковых или просто похожих клинков. А еще по неизвестным причинам он ужасно не любил узкие мечи вроде эстока моего дворецкого Коса ан-Таньи или того же Единорога; даже редкие в Кабире шпаги, столь популярные у заезжих гостей из далекого Фиона, заслуживали, по мнению Коблана, участи шампуров для шашлыка.

И то — шашлыка из тощих престарелых баранов. В лучшем случае.

В общем, на оружие, которое ему не нравилось, Коблан заказов не принимал. Даже если такое оружие должно было быть совершенно оригинальным и ни на что не похожим. А когда отвергнутый заказчик упорствовал и назначал двойную или тройную цену, Железнолапый, глядя упрямцу в глаза, скручивал спиралью штыри для городских ворот или звал дюжих подмастерьев, и те бесплатно выносили настойчивого клиента на свежий воздух.

Зато Железнолапый мог две недели кряду возиться с каким-нибудь кривым ножом, заказанным соседом-мясником, а потом взять за работу сущие гроши. Но это в том случае, если нож мяснику был действительно нужен. Причем — позарез.

В этом-то и крылась загвоздка. Оружейник Коблан делал только то, что было необходимо людям. Возможно, оружие, выходившее из-под его рук, выглядело не столь элегантно, как у Ассатора иль-Убара или Ахмета Кованого Ногтя (Мансайю я уже вспоминал), но зато это была именно та вещь, в которой нуждался заказчик.

Удобство и надежность. Главное — надежность. И предельная простота во всем. Ничего лишнего.

Пожалуй, Друдл дал мне и впрямь мудрый совет...

2

Так что на следующее утро после помолвки я стоял перед дверью дома Коблана Железнолапого — коня я отправил обратно вместе с сопровождавшим меня Косом — и не без некоторого волнения настраивался на предстоящий разговор с кузнецом.

Дверь, преграждавшая мне путь, была чрезвычайно большая, тяжелая и окованная полосами металла. Явно работа самого хозяина. Внушительная была дверь. Прочная. И надежная, как любое творение Коблана.

Вот только — зачем? Чтоб отвергнутые заказчики не ломились?

Пока я размышлял и колебался, дверь отворилась на удивле-

ние без скрипа, и на пороге возник молодой растрепанный парень в коротких холщовых штанах, просторной рубахе и кожаном фартуке, за которым торчал малый крис — кинжал с волнистым клинком и змеиной головой на рукояти.

Изумительной работы был крис. Не Коблановой ли?..

Подмастерье, похоже, узнал меня. Это неудивительно — в Кабире Чэна Анкора знают многие, и не только понаслышке. Но сейчас эта мысль почему-то не вызвала у меня привычного чувства удовлетворения.

— Проходите, пожалуйста, Высший Чэн Анкор! Я сейчас доложу устаду Коблану. Прошу вас...

Нет, подобострастия не было в голосе лохматого подмастерья, и это неожиданно успокоило меня. Я перешагнул порог, и мы пошли узким темным коридором, после чего подмастерье оставил меня в квадратной комнатушке без окон, все освещение которой составляли два немилосердно чадивших факела.

Мой провожатый удалился — видимо, докладывать кузнецу о моем прибытии, как и было обещано, — а я уселся на обнаруженный в углу единственный табурет и принялся ждать.

Кстати, табурет оказался старым, но сколоченным на века. Неужели Коблан от нечего делать балуется плотницким ремеслом? Сомнительно...

Ждать пришлось довольно долго. Коблан, безусловно, не жаловал непрошеных гостей. Хотя, судя по рассказам, он и прошеных жаловал не больше. Чем дольше я сидел, тем жестче становился табурет и тем чаще я вспоминал Друдла, укрепляясь в мысли о собственной дурости. Прав был шут — дурак я и есть, с какой стороны ни глянь.

Я глянул с одной стороны, потом — с другой, с третьей, и это не улучшило мне настроения. Ладно, посмотрим еще, каким окажется этот Коблан. Если Друдл и насчет его не соврал...

Дверь, за которой исчез мой провожатый, открылась, и в проеме вырос почти голый детина в уже знакомом мне кожаном фартуке. Сперва у меня даже мелькнула мысль, что он отобрал этот фартук у подмастерья. Хотя нет — этот все же побольше, и фартук, и детина.

Все тело вошедшего поросло густой жесткой шерстью — ну, не шерстью и не все, но сперва мне показалось, что все, и если на голове кое-где поблескивала седина, то в остальных видимых мне местах курчавый волос был безукоризненно черным.

Очень волосатым мужчиной был Коблан Железнолапый и очень большим. Впрочем, и дверной проем был немалым, так что кузнец (а кто же еще мог стоять передо мной?!) в нем вполне помещался.

— Высший Чэн? — прокашлявшись, хриплым басом осведомился кузнец, и радушия в его голосе было столько же, сколько в рыке попусту разбуженного льва.

Я встал и поклонился, ощутив легкую боль в затекшем позвоночнике.

— А вы, я полагаю, устад Коблан... э-э-э...

Не договорив, я покосился на его руки. Нет, не руки — лапы. И если то, что я видел, не было обманом зрения — кузнец вполне заслуживал своего прозвища. Равно как и звания устада — мастера, имеющего учеников с собственным именным клеймом.

— А то кто же? — хмыкнул Коблан. — Пошли...

И посторонился, пропуская меня вперед.

Спустя несколько минут мы оказались в просторной и довольно светлой комнате, только почему-то практически пустой. Крохотный резной столик на гнутых ножках, ковер на полу, приземистая тахта в углу — и все.

Ах да — на столике медный кувшинчик редкой красоты и две пиалы.

Кузнец молча наполнил пиалы и придвинул одну мне.

— Ну? — выжидательно и весьма неприветливо спросил он, когда я сделал пару вежливых глотков и поставил пиалу на стол.

Вино было не в меру крепким и горьким.

— Отличное вино, — кривя душой, сказал я. — Просто прекрасное.

— Таверна за углом, — отрезал Коблан, опускаясь на ковер и поджимая под себя мощные волосатые ноги. — Ты что, вино пить ко мне пришел?

Не могу сказать, чтобы начало разговора меня сильно обнадежило. Зато разозлило и вернуло самообладание.

— Дрянь у тебя вино, устад Коблан, — я сел напротив и дерзко ухмыльнулся в лицо кузнецу (вернее, в те островки, что выглядывали из океана бороды). — Напомнишь, я потом распоряжусь, чтоб тебе пару бочек тахирского муската доставили...

Кузнец глянул на меня уже более заинтересованно, а я острее почувствовал, в какое дурацкое положение попадаю.

— Вот, — я закатал правый рукав и показал Коблану обрубок. — Видишь?

— Вижу, — хмуро ответил кузнец. — Не слепой.

— И я вижу, — жестко сказал я. — Так вот, я снова хочу держать меч в этой руке.

— Как ты это себе представляешь? — осведомился кузнец после недолгого раздумья.

— Плохо представляю, — честно признался я. — Что-то вроде железной руки...

И осекся.

Кузнец окинул меня внимательным взглядом с головы до ног.

— Ты дурак? — поинтересовался он.

— Да, — неожиданно для себя самого подтвердил я.

— Похоже, — согласился Коблан. — И кто тебе такое присоветовал?

— Да так, — уклончиво ответил я. — Еще один дурак...

Кузнец сделал изрядный глоток из своей пиалы, встал и прошелся по комнате. Я почувствовал, что в горле у меня пересохло, и тоже поспешил поднести к губам пиалу. За прошедшее время Кобланово вино лучше не стало. Даже наоборот.

— Небось Друдл? — внезапно спросил Коблан, останавливаясь прямо передо мной.

— Он самый, — выдавил я, подавившись вином.

Кузнец удовлетворенно хмыкнул и опять принялся мерить шагами комнату.

— Друдл, Друдл, Друдл Муздрый, — бурчал он в такт ходьбе. — Друдл... Самый злой язык Кабира. И про меня небось говорил, что я — дурак... Говорил или нет?

Я замялся. Сказать правду — обидится кузнец. Соврать — так все равно выплывет, рано или поздно. И вообще не люблю я врать. Не люблю и не умею.

Я уже открыл было рот, чтобы сказать «да», но вместо этого просто кивнул.

Кузнец остановился посреди комнаты, немного подумал о чем-то своем, потом, видимо, пришел к какому-то определенному выводу и вернулся к столу.

— Если б соврал — выгнал бы я тебя, — доверительно сообщил мне Железнолапый. — В шею. А так — давай поговорим...

3

...В кузнице было очень жарко. В углу пылал горн, бросая во все стороны горячие красные отсветы. Другими источниками света служили: небольшое оконце под потолком и несколько горевших на стенах факелов. Двое подмастерьев усердно звенели большим и малым молотами, придавая замысловатую форму раскаленной, пышущей жаром полосе металла — видимо, гарде будущего меча.

Третий подмастерье орудовал мехами, раздувая горн, который и без того, на мой непросвещенный взгляд, горел достаточно хорошо.

По стенам на вбитых крюках были развешаны в образцовом порядке молоты, молотки, молоточки, зубила, клещи, щипцы и еще превеликое множество всяких инструментов, названия которых я не знал.

Пахло огнем (если огонь имеет запах), раскаленным железом и еще чем-то непонятным, но приятно возбуждающим.

Пока я с интересом осматривал кузницу, Коблан сделал мне нетерпеливый знак рукой, приглашая следовать за собой.

В противоположной от входа стене кузницы, в трех шагах от горна, обнаружилась еще одна, не замеченная мной ранее дверь. Кузнец открыл ее и, пригнувшись, чтоб не снести головой притолоку, вошел.

Я протиснулся следом.

Это было какое-то подсобное помещение, но мне на ум сразу пришли два слова: царство металла.

Здесь действительно простиралось царство металла. Чего тут только не было: просто полосы, бруски и листы стали, бронзы, меди и разных сплавов, старые и новые инструменты, целое и сломанное оружие, кухонная утварь, цепи, части оград... Все это изобилие было на удивление аккуратно рассортировано и разложено, так что рачительный хозяин наверняка мог без труда отыскать понадобившуюся вещь.

Коблан оглядел свой склад, неожиданно быстро запустил лапищу в ближайшую кучу железа и с грохотом выудил оттуда некий странный предмет — металлический цилиндр толщиной примерно с предплечье и длиной ладони в полторы, с двумя отверстиями — на торце и сбоку.

Для чего эта штука предназначалась и чему служила раньше — было абсолютно не ясно.

Похоже, кузнецу это тоже было не совсем ясно. Он повертел находку в своих поистине «железных» лапах, потом искоса посмотрел на меня.

— Может, лучше не руку? — с некоторой надеждой осведомился Коблан. — Может, что-то вроде... вроде этого? Будешь к предплечью пристегивать, в дырку меч вставлять — я тебе рукоять переделаю... Бесплатно. И быстро освоишься. А рука — дурость ведь сложная, и мороки с ней...

Я прекрасно понимал, что Коблан прав. И не исключено, что я и впрямь научусь работать Единорогом, закрепленным в этой штуке — я уже мысленно видел железный держатель, из которого хищно высовывается клинок Единорога, я уже продумывал некоторые изменения в технике выпадов и перемещений, я...

Ну что, шут Друдл Муздрый, кто из нас дурак?

Оба.

Оба дураки.

— Нет, мастер, — упрямо заявил я. — Засунь эту штуку... обратно в кучу. А мне рука нужна. Первосортная. Не хуже, чем мама с папой сделали. Чтоб пальцы... и все такое.

Кузнец тяжело вздохнул, пробормотал что-то вроде: «И откуда он взялся на мою голову?!» — но отложил цилиндр в сторону и продолжил поиски.

Некоторое время он рылся в своих завалах, производя шума никак не меньше, чем лавина в горах Сафед-Кух, потом вдруг выпрямился и звонко хлопнул себя ладонью по лбу, оставив над бровями грязный отпечаток.

После сего странного ритуала, видимо, означавшего некоторое прояснение мыслей, Коблан шагнул в угол и склонился над пыльным массивным сундуком, которого я поначалу не заметил.

Железнолапый, как пушинку, поднял крышку — которая весила примерно столько же, сколько и я, — зажег стоявшую рядом на полке свечу, спрятал кресало и принялся извлекать из сундука разные предметы совершенно непонятного предназначения.

Изящно выгнутые металлические желоба, отполированные до блеска или покрытые вытравленными узорами и золотыми накладками; чашки без ручек, зато с креплениями по бокам; плетения из стальных колец и тонкие пластины, больше всего напоминающие части верхней одежды...

Но — одежды из металла?!

Зачем?..

— Что это? — не удержавшись, спросил я у Коблана.

— Да сам толком не знаю, — искренне признался взмокший кузнец. — Еще от прадеда моего осталось. И ему — тоже по наследству перешло. Прадед говорил: эти штуки «доспехами» называются. Дескать, в старину люди их на себя надевали. Были вроде как любители этакую тяжесть на себе таскать...

Я подошел поближе и пригляделся к извлеченным из сундука «доспехам». Действительно, на многих металлических частях имелись кожаные подкладки или войлочный подбив, а также многочисленные ремешки и застежки, которыми все это, по-видимому, крепилось к телу.

Подняв выгнутый вороненый щиток, я приложил его к своей культе. Если бы кисть была на месте, щиток пришелся бы как раз впору.

«Вот если бы тогда, на турнире, была бы на мне такая штука — еще неизвестно, остался ли я тогда без руки!» — мелькнула у меня шальная мысль, и я уже совсем по-иному взглянул на эту груду железа.

Кажется, я начал понимать, зачем «доспехи» надевали на себя. Только что ж это тогда выходит?! Получается, что предки все время, при каждом поединке, боялись остаться без руки, ноги или головы? Оружием плохо владели — или не доверяли собеседнику?!

Я вспомнил танец Кемаля аль-Монсора и Масако Тодзи. Одень их в доспехи, заставь бояться друг друга — что получится?!

Да ничего не получится...

— А теперь — смотри сюда, — прервал мои размышления Коблан.

Я поднял голову — и увидел.

Передо мной была железная рука.

Моя будущая рука.

4

Конечно, это была не рука. Это была перчатка, искусно сплетенная из мелких стальных колец, с пластинами на тыльной стороне. Пока я рассматривал перчатку, Коблан успел сложить доспехи в сундук, захлопнуть крышку и разыскать в очередной груде металлического хлама несколько гнутых штырей, которые засунул в большой карман своего кожаного фартука.

— Однако с недельку повозиться придется, — объявил кузнец уже вполне по-деловому. — Завтра приступим. Это время поживешь у меня, а после — увидим.

— У тебя? — удивился я. — Зачем? То есть, конечно, спасибо за приглашение, но...

— Вот и договорились, — перебил меня Коблан. — Ты же присутствовал при своем рождении? Ну, отвечай — присутствовал?!

И сам вопрос, и манера, с которой он был задан, сразу воскресили в моей памяти Друдла Муздрого. Я даже ощутил во рту вкус ореховой пахлавы... к чему бы это?

— Присутствовал, — покорно согласился я. — Каюсь...

— Вот и при рождении новой руки тоже должен присутствовать! Чтобы быть к этому причастным. Иначе... иначе она просто не станет тебя слушаться.

Похоже, Друдл был прав не только насчет меня, но и насчет Коблана. Оставалось надеяться, что два дурака все же сумеют найти общий язык.

И я согласно кивнул.

5

Итак, я временно переселился в примыкавший к кузнице дом Коблана Железнолапого, что стоял на окраине Кабира. Перебрался я сюда как-то легко и сразу — заехал к себе, предупредил ан-Танью, что я неделю или больше буду жить у кузнеца, и отправил вперед слуг со сменой одежды и несколькими бутылями тахирского муската — рука рукой, а свое вино пусть Коблан и пьет сам.

Так что ужинал я уже у Коблана. Семьи у кузнеца не было, а подмастерья ели молча, лишь изредка перебрасываясь самыми обыденными словами. Потом я встал, поблагодарил хозяина за ужин — действительно сытный и вкусный — и прошел в отведенную мне комнату. Небольшую, правда, зато чистую и уютную.

Кровать, как и все в этом доме, не отличалась изяществом и была жестковатой, зато сколоченной на совесть. Отсутствие перин меня не смутило, и заснул я быстро — завтра предстоял большой день.

...Разбудил меня наутро сам хозяин дома.

— Вставай, Чэн! Пора за работу... — прогудел его голос у меня над ухом, и я проснулся. Проснулся и выяснил две вещи. Во-

первых, говорил Коблан, стоя в дверях, — а казалось, что над самым ухом. Во-вторых, кузнец уже успел приготовить для меня одежду подмастерья: холщовые штаны, просторную рубаху и кожаный фартук с огромным карманом на животе.

Я был весьма благодарен мастеру, потому что сразу понял, как нелепо буду смотреться в кузнице в своей шелковой кабе — как павлин в конюшне, — да и за сохранность моего щегольского наряда никто бы не поручился.

«Ну что, Чэн-дурак, думал ли ты когда-нибудь, что будешь носить одежду подмастерья? — спросил я себя, беря в левую руку ножны с Единорогом и раздумывая над тем, куда бы их прицепить за неимением пояса. — Но, с другой стороны, думал ли ты, что лишишься руки, согласишься с шутом и, признавшись в собственной дурости, явишься к Коблану Железнолапому заказывать себе железную руку взамен отрубленной?»

Нет. Не думал. Никогда ни о чем подобном я не думал. И меч в моей руке словно стал втрое тяжелее, оттягивая кисть, но почему-то не к земле, а чуть вперед, будто пытаясь увлечь за собой.

Куда? В кузницу? Ну что ж, пошли... хватит думы думать.

«И правильно! — неожиданно подтвердил внутри меня чей-то голос, похоже, принадлежавший Друдлу Муздрому. — Дуракам много думать вредно — так и поумнеть недолго!»

Я внял дельному совету, опустил меч на смятую постель и принялся одеваться. К счастью, одежда была не в пример проще той, к которой я привык, так что я управился с ней и одной рукой. Потом я снова взял Единорога — и заколебался.

Ну зачем он мне нужен в кузнице? Буду как дурак... а без меча, значит, буду умный?

— Бери-бери, — посоветовал от порога молчаливо ожидавший Коблан. — Пускай тоже поприсутствует... чай, не чужой.

Я с недоумением посмотрел на кузнеца, а потом махнул рукой (той, укороченной) — мы, дураки, народ странный, даже друг друга не всегда понимаем...

6

Моя будущая рука лежала рядом с наковальней на старом потертом табурете — кажется, это на нем я сидел вчера, дожидаясь появления Коблана. Вокруг табурета были расставлены маленькие колышки на круглых блюдцах-основаниях, между ними натянуты веревки с множеством узлов и обрывков пергамента, напоминавших бумажные деньги для поминовения усопших предков; а по углам табурета горели четыре тоненьких свечи черного воска, и рядом с одной из них — плошка с маслом, где плавал крученый фитилек.

Несколько раз раньше мне доводилось присутствовать в куз-

нице при ритуале рождения клинка — правда, в самом конце этого ритуала и недолго, — но там все было по-другому. Да и то сказать, клинок ведь — не рука... и кузнецы там нормальные были, и заказчики...

Я повесил Единорога на один из свободных крюков, споткнувшись и отбив себе большой палец ноги о лежавший у стены двуручный гердан — тяжелую шипастую палицу с головой, подобной гигантскому кокосовому ореху. Судя по размерам гердана, орудовать им мог один лишь Железнолапый, и то сперва хорошенько хлебнув своего любимого вина.

В горне уже калились те самые штыри, которые Коблан вчера выкопал в своем «царстве металла». Я надеялся вскоре выяснить, что кузнец собирается с ними делать.

— Пока стой и смотри, — неприветливо распорядился Коблан. — Или можешь присесть. Если найдешь куда. Нет, лучше все-таки стой...

И тут же, напрочь забыв обо мне, он сунулся к горну, чуть не влез внутрь и немедленно обругал ленивого — на его взгляд — подмастерья за то, что тот слабо раздувал огонь. Мехи зашумели более ретиво, Коблан хмыкнул, подкинул в горн угля, поворошил кочергой и еще раз обругал подмастерья — по-моему, просто так, на всякий случай.

Потом подошел к наковальне, некоторое время наблюдал за действиями двух других своих помощников (те колдовали над какими-то обрезками), слегка скривился, но ничего не сказал — дал им закончить и положить заготовку в горн.

После чего сказал им все — и очень подробно, с красочными отступлениями.

Отведя душу, мастер сам взялся за дело: с неожиданной для его телосложения резвостью ухватил длинные щипцы, стоявшие рядом с горном, запустил их в печь и ловко выудил один из штырей, раскалившихся докрасна.

Через мгновение штырь оказался на наковальне, и кузнец, придерживая его совсем другими щипцами (и когда он успел их сменить?!), принялся методично постукивать средней величины молотком, придавая заготовке неведомую мне пока форму.

Когда металл начал тускнеть, остывая, Коблан сунул заготовку обратно в горн и выдернул вместо нее другую.

Это повторялось пять раз, после чего мастер выбрал себе молоточек из самых маленьких — в его лапах этот миниатюрный инструмент смотрелся смешно и неуместно, — подозвал к себе того подмастерья, из-за фартука которого торчала уже знакомая мне змеиная головка волнистого криса, а потом уставился в мою сторону, словно только что обнаружив мое присутствие.

— А ты чего стоишь? — крикнул он с негодованием. — Ну-ка бери клещи и давай!..

И я, Чэн из Анкоров Вэйских, наследный ван Мэйланя, по-

чувствовал себя лентяем-подмастерьем, отлынивающим от работы и пойманным на этом мастером.

Я поспешно вскочил, схватил левой рукой клещи, протянутые мне одним из подмастерьев, и с третьей попытки неловко уцепил ими заготовку, помогая себе обрубком.

— Ближе, дубина, ближе к себе перехвати, — почти добродушно проворчал Железнолапый, и я послушно перехватил, чуть не уронив себе на ногу раскаленную заготовку.

— А теперь держи крепче, — Коблан поглядел на мои неумелые попытки, пожевал губами, словно собираясь и меня обругать для пущей убедительности, но промолчал — видимо, счел меня недостойным.

И они вдвоем с подмастерьем загуляли молотами по заготовке: Коблан — маленьким молоточком, а подмастерье — здоровенной кувалдой, опуская ее точно в тех местах, где указывал мастер.

Ну а я держал. Заготовка, как живая, рвалась из клещей, сами клещи отчаянно вибрировали, но я держал, до боли закусив нижнюю губу, не ощущая онемевших пальцев (и тех, что у меня были, и тех, которых не было), пока Коблан не перехватил у меня потускневший штырь кривыми щипцами и не сунул его обратно в горн, вынув вместо него другой.

И все повторилось сначала. Я держал, они били. Они — били, я держал.

И так — пять раз.

Пять раз. Пять мучительных вечностей, пять железных штырей, пять пальцев в руке...

Пять.

Пальцев.

Пять...

Пальцев.

Пять...

Понимание обожгло меня, как пламя горна — заготовку, я чуть было не закричал...

Но тут все закончилось.

И Коблан Железнолапый, мастер со странностями, объявил, что нам пора обедать.

Ему и всяким бездельникам и лентяям, имена которых он и произносить-то отказывается на голодный желудок.

7

То ли я проголодался, как никогда, то ли еще что, но обед у Коблана оказался ничуть не хуже, чем у меня, — отменный плов по-дубански с желтым горохом, баранья густая похлебка-пити с острыми пахучими приправами и алычой, свежие фрукты, два сорта вина...

Первый сорт — Кобланова отрава; и второй — мой мускат из солнечного Тахира, который, кроме меня, почему-то никто не пил.

— Угощайся, устад, — я пододвинул оплетенную бутыль Коблану.

— Это в кузне я — устад, — Железнолапый с сомнением оглядел бутыль, опасливо поднес ее к губам и почти сразу же поставил на стол. — А за столом я — Коблан, и ты познатнее меня будешь. Хоть и молодец ты, — неожиданно признался кузнец, и я замер с набитым ртом. — Не всякий Высший, да к тому же однорукий, вот так сразу клещи схватит и к наковальне встанет. Не ожидал...

— И зря, — улыбнулся я. — Что с дурака взять?

Коблан ошарашенно вытаращился на меня, увидел, что я улыбаюсь, — и вдруг оглушительно захохотал. Я не удержался и расхохотался вслед за кузнецом. Подмастерья, сидевшие в конце стола, робко захихикали, но их робость вскоре прошла...

Вот так мы сидели и смеялись — и угнетающее напряжение последних двух с лишним месяцев, минувших с того проклятого дня, постепенно отпускало меня. Я чувствовал себя прежним, чувствовал, что снова становлюсь самим собой — веселым Чэном, душой общества, легкомысленным и легковерным, таким, каким был...

Нет, не таким. Я обманывал сам себя и не мог обмануть до конца — значит, я уже был другим. Прав эмир Дауд. Многое во мне изменилось, и не только снаружи... Вот такие-то дела, Чэн-подмастерье!

Я пододвинул к себе бутыль с мускатом и чуть не опрокинул ее — до того легкой она оказалась. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что бутыль практически пуста. Я с уважением покосился на увлеченно жующего Коблана.

Теперь понятно, почему он пьет только свое вино. А я-то ему всего пару бочек тогда предложил, глупец...

8

Дни сменяли друг друга, полыхал горн, висел в углу кузницы над шипастым Коблановым герданом мой Единорог, сам Коблан с подмастерьями громыхали молотами, я в меру сил помогал им — держал клещами заготовки, крутил ножной привод шлифовального круга, иногда брал в уцелевшую руку уже почти готовые фаланги стальных «пальцев», теплые после шлифовки, и надолго зажимал их в кулаке или по совету Коблана прикладывал их к рукояти своего меча.

У меня больше не возникало сомнений, нужно ли это. Понимал — нужно.

Металлическая рука рождалась у меня на глазах. С ювелирной точностью кузнец подгонял шарнирные сочленения, необ-

ходимые для будущих пальцев и запястья, и я только диву давался — как одинаково аккуратно он мог работать кувалдой и легким молоточком.

Это действительно был Мастер.

И все это время древняя перчатка, сплетенная из стальных колец с пластинами, лежала на табурете, окруженном веревочными заграждениями; и ровно горели четыре тонких свечи и одна плошка.

Перчатка ждала. Ждала своего часа.

И дождалась.

...Коблан извлек из горна уже готовую, закаленную и отпущенную, пышущую жаром «руку» и бережно опустил ее — нет, не в воду.

В масло.

С шипением «рука» окунулась в эту купель; поднялось облако густого, резко пахнущего пара. И когда «рука» вышла наружу, она тускло поблескивала, и капли горячего масла стекали с нее, как капли... капли крови!

Скелет.

Рука без кожи.

Мне стало зябко. В кузнице, у пылающего горна.

Мы с Кобланом встали с двух сторон над перчаткой, кольчатой кожей, отражавшей колеблющийся огонь свечей. Мы стояли друг напротив друга: он — с сочащейся маслом железной «рукой» в своих «железных» лапах, я — с обнаженным Единорогом в левой, заметно окрепшей за последнее время руке.

Потом Коблан протянул вперед металлический скелет руки, я перехватил меч за клинок — и блестящие пальцы коснулись рукояти протянутого мной Единорога. Мастер придержал меч второй рукой, и моя собственная ладонь легла сверху, смыкая искусственные пальцы на рукояти меча.

Капли масла срывались вниз и тяжело шлепались на ожидавшую своей очереди перчатку.

Было тихо, только гудело пламя в горне. Подмастерья встали за нашими спинами, касаясь узловатых веревок; подмастерья были такие же молчаливо-торжественные и серьезные, как и мы.

И раздался голос Коблана Железнолапого, странного кузнеца, — словно еще одно пламя гудело в новом горне...

Клянусь я днем начала мира, клянусь я днем его конца,
Клянусь я памятью Мунира, божественного кузнеца,
Клянусь землей и синим небом, клянусь водой и теплым хлебом,
Клянусь я непроизнесенным, последним именем Творца,
Клянусь...

...Коблан еще говорил, но я плохо разбирал — что именно, а когда эхо его голоса затихло под сводами кузницы, я с трудом разжал металлические пальцы и вернул меч на его крюк. Затем

мы с Кобланом одновременно коснулись кольчатой перчатки, слегка продлив касание, и кузнец бережно извлек перчатку из четырехугольника свечей, погасив по дороге плошку.

Начиналась последняя стадия. Я уже знал, что мало натянуть перчатку, как кожу, на скелет — пальцы и кожа должны стать неразделимым целым.

И снова стучал молот, горел горн, плевался красными искрами раскаленный металл, шипело масло, горели свечи — на этот раз уже вокруг наковальни. Я видел, что Коблану неудобно работать, все время опасаясь задеть и сбить свечу; но я понимал — надо...

Наконец моя будущая рука — окончательно готовая, отполированная и соединенная с крепежными ремешками и застежками — снова легла на рукоять Единорога.

Теперь ритуальные свечи были длинными, толстыми и белыми — их должно было хватить на всю ночь. Мой узкий и прямой меч лежал на алтаре-наковальне в объятиях стальных пальцев, а над ним — точнее, над сжимавшей рукоять искусственной рукой — висел на цепи шипастый гердан Коблана.

Так было надо.

И еще надо было, чтоб мы тихо вышли, плотно закрыв за собой дверь...

9

...Кузнец подтянул последний ремешок, застегнул пряжку — и я поднял к глазам свою новую руку.

Она была очень похожа на настоящую, только одетую в железную перчатку. И ее тяжесть непривычно оттягивала мне предплечье. Новая рука сидела прочно, удобно, не соскальзывала и не жала.

И вот тут мне захотелось немедленно вернуться домой, взять наследственный нож-кусунгобу и сделать то, на что я не решился в самом начале.

Я отчетливо представил себе, как выйду в толчею дневного Кабира, от которой я отвык, найду маленькую Чин и скажу ей:

— Здравствуй, Чин! Смотри, какая у меня есть новая замечательная рука! Хочешь такую же?..

Я даже не пытался сжать пальцы. Это были не мои пальцы. Это были вообще не пальцы.

Мертвый металл.

Мертвый.

Железная рука бессмысленным грузом висела на моей культе.

Во имя Восьмого ада Хракуташа, на что я надеялся?!

На чудо?..

Здравствуй, Чин... хочешь новую руку? Я теперь мастер, я вам

всем могу сделать новые руки — и тебе, и Фальгриму, и эмиру Дауду, и милому проказнику Друдлу...

Хотите?!

— Обедать пошли, — как ни в чем не бывало буркпул кузнец, и мне захотелось изо всех сил ударить его по лицу.

Мертвой рукой.

Желание было острым и обжигающим, как только что закипевшая похлебка-пити.

— Пошли, пошли, — равнодушно повторил Коблан и уже от дверей добавил: — Домой чтоб и не думал возвращаться... Пошлешь за новой одеждой и вином. И вот что... почаще клади ЕЕ на рукоять меча. Понял?

Я уронил руку и услышал долгий и чистый звон.

Оказывается, я задел наковальню.

ГЛАВА 6

1

...Где я? Зачем? Что это?!

Нет!!! Нет...

Я проснулся в холодном поту и сел на кровати. Я еще не вполне отличал кошмар от яви и потому поспешно зажег свечу и уставился на проклятую железную руку. Она была на месте, и пальцы ее, как обычно, были холодны и неподвижны — как и полагается металлическим штырям, закрепленным в хорошо смазанных шарнирах и обтянутым кольчужной перчаткой...

Стоп! Ведь вчера вечером я, кажется, снял ненавистную руку... Точно, снял. А теперь она снова на мне. Как присосавшийся к живой плоти огромный паук. Как же так? Я ведь помню...

Или не помню?

С вечера я опять сильно напился... да, напился, поскольку теперь мне это удается без труда. Я хочу напиться — я пью — я напиваюсь. Вот так-то. Только вина мне для этого нужно все больше и больше... Даже *Коблановой отравы.*

Итак, я напился, и меня до сих пор покачивает, и голова гудит, и язык во рту сухой и шершавый, как наждак, и хочется пить... пить... ох, как пить хочется!..

На столе — кувшин. Что в нем? Не знаю. Не помню.

Я с трудом встаю с кровати, на негнущихся ногах делаю два-три шага к столу и тяжело наваливаюсь на него всем телом. Стол — крепкий. Он выдержит.

Выдержу ли я?

Стою так некоторое время. Голова по-прежнему кружится. Мне плохо. Мне очень плохо.

Очень плохо мне!

И не только от вина...

Пробую моргать. Получается, но как-то не так, как раньше.

Пробую поднять кувшин. Получается, но с трудом.

Пробую содержимое кувшина. Не упасть бы...

Только бы не вино!

Вода!..

Холодная и чистая.

Я пью, пью, пью — я очень долго пью, — а потом выливаю часть благословенной влаги себе на голову. И стою мокрый, выяснив, что заснул, не раздеваясь...

Оставляю немного воды про запас — скоро я обязательно снова захочу пить.

Полегчало.

Немного.

Я отталкиваюсь от стола и валюсь на кровать, чудом не промахнувшись. Подушку — повыше. Вот так. Голове должно быть удобно кружиться — иначе она обижается и начинает куда-то падать...

Итак, на чем мы остановились?

Вчера я напился. В очередной раз. Все заволокло хмельным туманом, и в какой-то миг мне показалось, что я смогу наконец сжать пальцы своей железной руки, — и, как последний идиот, я принялся колотить этой рукой в стену, пытаясь заставить упрямые пальцы сжаться в кулак.

Боль от ударов тупо отдавалась в культе, а я все уговаривал себя, что это болят костяшки несуществующих пальцев... нет, это болят мои железные пальцы, безвольно врезаясь в стену и выбивая из нее куски штукатурки...

Я чуть было действительно не поверил в свой пьяный бред. Протрезвев на мгновение, я со страхом и надеждой взглянул на...

Увы, меня ждало горькое разочарование. Просто от ударов о стену пальцы немного согнулись — и в этом не было ничего удивительного.

А я-то вообразил...

«Кажется, я начинаю сходить с ума», — подумал я тогда. И это была не первая мысль подобного рода.

А потом хмель обрушился на меня с новой силой, и ярость вернулась вместе с ним — но не та, чуть ли не веселая ярость, когда я повторял про себя — могу, могу!.. Нет, другая, злая и черная ярость овладела мной — и я сорвал проклятую железку, бросил на пол и долго, с остервенением, пинал ногами, больно ушибая пальцы босых ног, и после лежал и плакал, плакал навзрыд, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку...

И сам не заметил, как уснул.

Меня мучили кошмары. В них стальная рука оживала и начинала тянуться к моему горлу; я боролся с ней, но силы были неравны — перепуганный калека против взбесившейся стали, одержимой манией убийства, — и холодные пальцы сжимались у меня на шее, разрывая кожу кольчужными кольцами, все глубже погружаясь в тело, прерывая дыхание...

Я проснулся, когда дышать стало уже совсем нечем, и понял, что умираю.

И проснулся еще раз.

...Что это было? Пляска винных духов? Но тогда почему рука снова на месте? Вот из-за чего мне снились кошмары, — это она мстила мне, на мою ненависть она отвечала своей, нечеловеческой! Она сама вернулась ко мне... сама...

Это бред. Это действительно бред — только теперь похмельный. Так и впрямь недолго свихнуться... Это же просто кусок металла! Как он может ненавидеть и мстить, как он может вернуться?! Все гораздо проще — пока я спал, зашел Коблан или кто-то из его подмастерьев и пристегнул валявшуюся руку на место.

Скоты! Жалкие, возомнившие о себе скоты! И громила-кузнец с его недоумками-учениками, и придурок-шут, всласть поиздевавшийся надо мной, — он, видите ли, в свите великого эмира, и ему поэтому все дозволено!

Чертов дурак! Заманил в ловушку...

А я, я сам, поверивший шуту, — я не дурак? Дурак. Дурак и есть. Ду-рак, ду-рак, ду-рак...

Нет уж, отныне я поумнел. Пусть Друдл Коблану свои сказки рассказывает.

Голова раскалывалась, но уже почти не кружилась. Я понял, что заснуть мне не удастся. Встал с кровати. Подошел к столу и опустился на весьма кстати подвернувшийся стул. Сделал пару глотков из кувшина. Опять полегчало, но ненадолго.

Я тупо обвел взглядом комнату, мельком отметив штукатурку на полу; завершив осмотр, остановил взгляд на столе и обнаружил на нем Единорога без ножен.

Только ты, дружище, у меня и остался... Все остальные предали однорукого Чэна — и задира Фальгрим, и эмир Дауд, и злой шутник Друдл Муздрый, и угрюмый Коблан, и Чин Черный Лебедь, и даже мой дворецкий Кос ан-Танья, который, как я думал раньше, в принципе не способен на предательство... как и Чин, как и Фальгрим, как и угрюмый кузнец Коблан...

Железная перчатка помимо моей воли легла на рукоять Единорога. Приучили все-таки, гады!

Ну и ладно. Пусть...

И все же я не понимаю — зачем?

Зачем им это нужно?..

2

...Вначале все шло более или менее нормально. Насколько нормальной может быть жизнь однорукого калеки с мертвой железкой на культе, жизнь в чужом доме; жизнь, которую и жизнью-то назвать трудно.

Так — существование.

Но тем не менее ничем особенным мое существование в доме Коблана поначалу отмечено не было.

Мне было все равно. Я равнодушно клал ладонь железной руки на рукоять Единорога, ничего при этом не ощущая, кроме смутного раздражения. Иногда я забывал это делать — и тогда мне вежливо напоминали. Я согласно кивал, вновь неловко пристраивал мертвые пальцы на рукояти меча и шел дальше. Или продолжал стоять. Или сидеть. Или лежать.

Чаще — лежать.

Я лежал, и мыслей не было, и чувств тоже почти не было, но что-то все же во мне оставалось, потому что все чаще я думал об оставшемся дома ноже для одного-единственного ритуала.

О пропуске на ту сторону.

«Кусунгобу лежит на пороге двери, ведущей в рай».

Где это я слышал? Или читал?

Не помню.

Мне было плохо. Может быть, в раю будет лучше?..

3

В тот день я наконец решился. Не с самого утра — уже ближе к вечеру.

Я нашел Коблана в кузнице, деликатно тронул его за плечо левой рукой и, когда кузнец обернулся, без всякого выражения сказал:

— Мне пора, Коблан. Я возвращаюсь домой.

И пошел к выходу.

Кузнец неожиданно оказался передо мной, загораживая путь. Он был вежлив, но настойчив. И почему-то старался не смотреть мне в глаза.

Потом я понял — почему. Но потом было поздно.

А тогда было еще не поздно. Но я этого не знал. Я согласился, что на улице уже в самом деле темно, и дом мой неблизко, и лошади у меня под рукой нет, и...

Я согласился, что и впрямь могу подождать до утра, проведя еще одну ночь в доме Коблана.

Это ничего не меняло — я ведь уже РЕШИЛ.

Спал я спокойно — как человек, сделавший свой выбор.

С рассветом я встал, кое-как облачился в свою привычную

одежду — сидела она не так, как следовало, но это не имело никакого значения, — прицепил к поясу ножны с Единорогом и направился к двери.

К двери моей комнаты.

А дверь оказалась заперта.

Еще не понимая, что происходит, я начал стучать — сначала здоровой рукой, а потом — железным придатком. Долго никто не появлялся. Наконец за дверью послышались неторопливые грузные шаги хозяина дома. Шаги остановились перед дверью, но открывать Коблан явно не торопился.

— И чего тебе не спится в такую рань? — сонно пробормотал он.

— Это мое дело. Мне пора домой, — потребовал я. — Открывай!

Некоторое время Коблан молчал.

— Не-а, не открою, — сообщил он после долгого раздумья. — А то ты и впрямь домой пойдешь.

— Вот именно! Открой немедленно! — во мне постепенно начинало закипать раздражение. — Я должен вернуться домой!

— Ничего ты не должен, — зевая, возразил из-за двери кузнец. — А если и должен — то мне. Во-первых, должен у меня в доме жить — это раз. Во-вторых, за руку твою железную да за работу мою тяжкую — это два будет. Так что сиди тихо и не буди меня.

— Сколько я тебе должен? — как можно более ядовито поинтересовался я. — За руку бесполезную? Сколько, кузнец? Устад! — в последнее слово я вложил уже откровенное презрение.

Но Коблан не обиделся и не открыл дверь, как я рассчитывал.

— Вот когда польза от руки появится — тогда и поговорим, сколько кто и кому должен, — отозвался он по-прежнему равнодушно. — А дома у тебя черта с два от руки польза будет. И тогда мне моих денежек не видать. Так что кончай орать и иди упражняйся. Вот как сожмешь железные пальцы — выпущу и плату соглашусь взять. А до того — сиди. Кормить буду, поить буду. Отхожее место сам знаешь где — и не мешает, и под боком, и не сбежишь...

Действительно, оное место находилось в глухом дворике, куда был выход прямо из моей комнаты. Сам дворик был обнесен глинобитным глухим дувалом в три моих роста, и сбежать оттуда можно было лишь через... в общем, никак.

— Так что чем быстрее меч в новую руку возьмешь — тем быстрее домой вернешься, — философски закончил Коблан, и его шаги удалились с прежней неторопливой весомостью.

Поначалу я не поверил собственным ушам. Меня, Высшего Чэна Анкора, одного из наиболее известных и знатных граждан Кабира, да и вообще эмирата, — МЕНЯ запер у себя в доме свихнувшийся кузнец?!

...Впрочем, в этот факт вскоре пришлось поверить. Через час

двое подмастерьев принесли мне завтрак. Едва заслышав звук отодвигаемого внешнего засова, я поспешно поднялся со своей кровати, на которой пребывал в полном унынии, но подмастерья спешно опустили на пол у порога поднос с едой и успели скрыться за дверью, прежде чем я пересек комнату. Лязгнул засов, я от злости пнул ногой безвинный поднос и в бессильном возмущении замолотил в дверь руками.

После железной руки на двери оставались уродливые царапины — но не более...

4

Поначалу я пытался уговорить Коблана, ежедневно заходившего ко мне в комнату. Кузнец внимательно выслушивал все мои гневные тирады, а затем садился к столу и начинал вещать нечто туманное, наводящее на мысли о том, что Коблан действительно малость тронулся, а теперь пытается заодно свести с ума и меня.

Я плохо слушал его, поскольку голова моя была занята совсем другим. Тем не менее надоедливый и навязчивый, как жужжание мухи — только очень большой мухи! — голос Коблана все же проникал в мое сознание, и я помимо воли отмечал, что кузнец говорит что-то о «живой стали», о духовной связи человека с его оружием и о том, что если очень захотеть, если поверить...

Я не знаю, было ли это отрывками из давних трактатов, изложением старинных легенд или бреднями самого Коблана, но только после каждой такой «беседы» кузнец брал мою мертвую руку своей лапой и сжимал металлические пальцы на рукояти моего Единорога.

Надо сказать, что разжать их потом левой рукой мне всякий раз стоило немалых усилий.

Кузнец уходил, тщательно запирая за собой дверь, а я вновь оставался один, и мысли мои путались, в голове роились странные, дикие образы, и временами я начинал думать, что кузнец в чем-то прав, и я даже пытался — честно пытался! — сомкнуть холодные пальцы... и, естественно, у меня ничего не получалось.

Верю? Не верю?

Все было намного проще. Пальцы, вне зависимости от моих веры и неверия, просто не могли сжаться — мертвые, бессмысленные куски железа...

5

...На пятый день мне в голову пришла чудовищная, но вместе с тем совершенно очевидная мысль. Вернее, даже две чудовищные, но оттого вдвойне очевидные мысли.

Во-первых, я обратил внимание, что довольно часто мне приносят мои любимые блюда — а что я люблю, знали очень не-

многие, и это существенно сужало круг возможных пособников Коблана; кроме того, эти блюда были приготовлены так, что круг сужался до одного-единственного человека: моего дворецкого Коса ан-Таньи.

Повара я в расчет не брал.

Это было невозможно. Но это было именно так.

Во-вторых, я вдруг вспомнил о принятом пять дней назад решении. Конечно, здесь у меня не было кусунгобу, но я подумал, что Тот, кто ждет меня в раю, не обидится, если на пороге двери, ведущей к нему, на этот раз будет лежать не ритуальный нож, а мой меч Дан Гьен по прозвищу Единорог.

Но, кажется, Тот, кто ждал меня в раю, все же обиделся, потому что, когда я взял меч в левую руку и медленно поднес его лезвие к горлу, я понял, что не смогу.

И никто на моем месте не смог бы!

Не для того был выкован несколько поколений тому назад Единорог, как и другие фамильные мечи Анкоров Вэйских, чтобы лишать жизни своего нынешнего владельца. Чтобы оборвать Южную ветвь рода Анкоров.

Рука моя предательски задрожала, и я опустил меч. Нет, смерти я не боялся — мне уже нечего было терять; но ЭТО было выше страха смерти и острее желания уйти.

Я мог уйти — но не так.

И я понял, что Тот, кто ждет меня в раю (или еще где-то — не знаю), пока не хочет меня видеть.

Я покорился.

Я больше не делал таких попыток.

6

...На девятый день (или это был десятый?.. не помню...), когда Коблан в положенное время явился в мою темницу, чтобы продолжить свои до смерти надоевшие душеспасительные беседы, я заявил ему, что у меня есть высочайшее поручение эмира Дауда, что имеется специальный фирман на мое имя и что если кузнец немедленно не выпустит меня, то будет считаться государственным изменником со всеми вытекающими отсюда последствиями.

После чего, не обращая внимания на несколько оторопевшего Коблана, я упал на кровать, отвернулся лицом к стене и одно ухо закрыл здоровой рукой, а другое плотно прижал к подушке — чтобы не слышать больше Кобланових бредней.

Некоторое время Коблан молчал или говорил достаточно тихо, чтобы я его не слышал. А потом я приоткрыл одно ухо, и до меня приглушенно донеслось:

— Не знаю, не знаю... Спрошу у Друдла — а там посмотрим...

7

На следующее утро дверь распахнулась, и в комнату влетел сияющий Друдл, размахивая каким-то объемистым свитком. Со всего маху шут бухнулся мне в ноги, проехав при этом по полу пару локтей и чуть не сбив меня.

— О великий и мудрейший дурак Чэн Анкор из столь же славного рода Анкоров Вэйских! — гнусаво заорал шут, продолжая вертеть у меня перед носом своим свертком. — Дозволь вручить тебе высочайший фирман солнцеподобного эмира Дауда, дабы ты в своей несказанной дурости использовал его по назначению, — тут Друдл почему-то сделал паузу, — и выявил всех наигнуснейших врагов славного Кабирского эмирата!

Вопя все это, шут принялся разворачивать принесенный сверток. Он разворачивал и разворачивал, во все стороны летели какие-то рваные и грязные тряпки, лоскуты кожи, куски тончайшей узорной парчи, обрывки шелка — они устилали уже весь пол вокруг Друдла, и им, казалось, не будет конца.

Тем не менее, изрядно потрудившись, Друдл все-таки добрался до вожделенного содержимого и с радостной улыбкой вручил мне небольшой пергаментный свиток, запечатанный личной печатью эмира Дауда.

Я сломал печать и пробежал текст глазами. Все было верно: подателю сего, Чэну Анкору Вэйскому, предписывалось оказывать всяческую помощь и содействие на территории всего Кабирского эмирата, а также вассальных княжеств и дружественных государств.

Внизу стояла хорошо знакомая мне подпись великого эмира Дауда Абу-Салима.

Пока я читал, шут заглядывал мне через плечо, так что я был уверен, что он тоже успел ознакомиться с содержанием фирмана. Если не ознакомился до того...

— Ну что, съел? — злорадно осведомился я. — В смысле — прочитал?!

— Не-а, — расплылся ужасно довольный шут, — я читать не умею! А чего там написано? Небось, что ты, Чэн, — дурак? Так об этом писать необязательно, это и так все знают. А кто не знает — тому я расскажу. Устно.

Я попытался удержать себя в руках. Если быть точным — в одной руке.

— Зови кузнеца Коблана! Здесь написано, чтобы все жители Кабирского эмирата оказывали мне содействие. И я требую, чтобы меня отсюда выпустили! Немедленно!..

— А зачем, собственно? — поинтересовался шут. — Тут тебя кормят, поят, содействие всяческое оказывают, делать ничего не надо — знай себе руку упражняй...

Он неожиданно подпрыгнул и подмигнул мне.

— Как у Чэна-дурака есть железная рука, — пропел он, крив-

ляясь, — и содействие Коблана пить вино из бурдюка! Зачем тебе отсюда уходить?

— Великий эмир поручил мне расследование. Да ты же сам не хуже меня об этом знаешь! — Я сам удивлялся, зачем я говорю все это Друдлу.

— И как ты собираешься рас-следовать? — не унимался дотошный Друдл. — Покойничков расспрашивать? Следы по ночам искать?

— Кроме покойничков, есть еще и живые! — огрызнулся я. — И вообще, раз приказано оказывать мне содействие — вот и содействуй! Зови Коблана — и выпускайте меня отсюда!

— Содействие — это правильно, — с воодушевлением подхватил шут. — Вот мы и станем тебе содействовать. Ты будешь здесь сидеть и расследованием руководить, как главный дурак, а мы с Кобланом будем содействовать и твои поручения, как меньшие дураки, исполнять. Вот и получится у нас отличное дурацкое расследование!

Я почувствовал, что неудержимо багровею.

— Так что сиди тут, — продолжил Друдл, — и руководи. Рука у тебя теперь есть — железная, между прочим, — вот и будешь ею водить: туда-сюда, туда-сюда... То есть Руко-Водить. Вот. А руководить ты можешь и отсюда — для твоей же безопасности. А то в городе у нас неспокойно — недавно еще двоих дохликов нашли и третьего, живого, но однорукого вроде тебя. Теперь Коблану работы прибавится — вторую руку ковать!

Моя левая ладонь нащупала стоявший на столе массивный подсвечник.

— Ну так к кому пойти, о чем спросить? — невинно осведомился шут. — Давай, руко-води!

Я изо всех сил запустил в него подсвечником. Друдл легко увернулся и, строя омерзительные рожи, выскочил в дверь.

Послышался звук задвигаемого засова... родной и до боли знакомый.

8

В тот же день я сунул фирман под нос Коблану. Коблан долго читал, шевеля губами, потом вернул мне фирман, некоторое время думал и наконец поинтересовался:

— Тебе чего-нибудь принести?

И вот этого издевательства я уже не выдержал. Ну ладно — шут... Но — Коблан?!

И я ударил кузнеца Коблана. Ударил правой, железной рукой. Наотмашь. Изо всех сил. По лицу.

И попал.

Коблан покачнулся, удивленно посмотрел на меня, затем

поднял руку к лицу, отер кровь с рассеченной скулы и с недоумением уставился на свои покрасневшие пальцы.

Я сделал шаг к двери.

И тут кузнец Коблан взревел, как... как я не знаю кто, и я почувствовал, что попал под ногу слону, что еще немного — и у меня сломаются ребра, причем все сразу; а потом меня подняло в воздух, и я заметил, что лечу. Впрочем, летел я недолго, от удара у меня потемнело в глазах, и когда я пришел в себя, то обнаружил, что лежу на слегка покосившейся собственной кровати.

Больше я не пробовал бить кузнеца.

9

...Через некоторое время — прошло уже больше двух недель моего заточения — я понял, что надеяться мне не на что. Это был заговор. Заговор против меня. А может быть, не только и даже не столько против меня...

Да, все складывалось воедино. Друдл, уговоривший меня заказать себе железную руку — и заказать ее именно у Коблана; Коблан, взявшийся делать заведомо бесполезную вещь; вместе они задурили мне голову и заперли здесь, а теперь пытаются окончательно свести с ума (кстати, еще немного — и им это удастся).

Зачем?

Вот этого я понять не мог. Может быть, это связано с поручением эмира? В своих подозрениях я доходил до того, что зачислял и Коблана, и Друдла, и даже моего ан-Танью в зловещую мифическую секту асассинов — Проливающих кровь, о которых складывал песни еще Масуд ан-Назри. Впрочем, кровь действительно лилась на улицах Кабира, так что и легендарные асассины вполне могли оказаться реальностью.

Но... слишком уж много у них тогда оказывалось сообщников. И не проще ли в этом случае было бы не мудрствуя лукаво добить несчастного калеку? И потом — почему именно я? На кой я им сдался?!

Или, может, Друдл не соврал, и они впрямь пекутся о моей безопасности? Что-то плохо я представляю эту компанию, с таким усердием обеспечивающую безопасность никому не нужного Чэна...

Зачем же тогда? Зачем?!

Чтобы я таки сумел сжать стальные пальцы?!

Но это же — бред!

И тем не менее — реальность...

Мне было плохо. Я пытался хоть что-то понять, расспрашивая Коблана, но тот либо молчал, либо снова начинал плести какую-то чушь.

Тогда я стал требовать вина. И побольше.

Вино мне приносили.

И я напивался.

...Несколько раз я пытался бежать, но подмастерья, приносившие мне еду, все время были настороже, и мне ни разу не удавалось застать их врасплох. А в случае моих «засад» они звали кузнеца...

Еще в комнате было два небольших окошка, забранных толстыми железными прутьями. И был глухой внутренний дворик с высоченным дувалом — о нем я уже говорил. Я быстро прикинул, что даже если я устрою у стены пирамиду из всей имеющейся в комнате мебели (имелись в виду стол и стулья, сдвинуть с места кровать мне оказалось не под силу, разве что с помощью Коблана), то, взобравшись наверх, я все равно и близко не дотянусь до края стены.

Можно было, конечно, попытаться сделать веревку из моей одежды и постели, но у меня все равно не из чего было изготовить крюк, чтобы зацепиться за стену. Разве что из собственной правой руки...

Окна же выходили на какую-то глухую безлюдную улочку. Я неоднократно пытался расшатать прутья решетки, пробовал выбить их ударами своей железной руки, но мои попытки приводили лишь к тому, что я уставал и долго стоял у окна, пока не начинало смеркаться.

...Как-то раз я увидел проходящего за окном Фальгрима.

— Фальгрим! — не веря своей удаче, заорал я. — Фальгрим, это я, Чэн! Меня запер сумасшедший кузнец Коблан! Скорее сообщи эмиру Дауду об этом — пусть пришлет гулямов меня спасать! Только не шута Друдла — он в сговоре с кузнецом! Прошу тебя, Фальгрим...

Лоулезец остановился в недоумении, оглядываясь по сторонам. Наконец он обнаружил в окне мое лицо и попытался улыбнуться. Улыбка вышла сконфуженной, что было совсем непохоже на шумного и самоуверенного Беловолосого.

— Привет, Чэн... Я все понял. Конечно, я передам эмиру. Только...

— Что — только?!

— Только, может, тебе лучше пока тут посидеть? Опасно сейчас в городе... Да и рука у тебя... А эмиру я сообщу, ты не беспокойся!..

И Фальгрим быстро пошел прочь, странно ссутулившись, словно под тяжестью своего эспадона.

Я не поверил. Я решил, что мир перевернулся. Фальгрим Беловолосый, мой друг и постоянный соперник, но в первую очередь все-таки — друг, друг, друг... ну не мог он сказать такое!

Не мог.

Но сказал.

И откуда он узнал о моей руке?

Или он совсем не то имел в виду?

Хотя с рукой-то как раз просто: небось Друдл уже раззвонил по всему Кабиру о свихнувшемся Чэне и его железной руке...

Впрочем, Фальгрим обещал-таки сообщить обо мне эмиру, и эта мысль немного успокоила меня.

Как оказалось, напрасно — ни в этот, ни на следующий день за мной никто не пришел.

10

Теперь мне казалось, что весь Кабир, все друзья, а возможно, и Тот, кто ждет меня в раю, — против меня. Я стоял у окна, с тоской глядя на недосягаемую улицу...

И увидел Чин.

Чин!

Черный Лебедь Хакаса... и, похоже, она знала, где меня искать.

Знала...

И ответ на мой вопрос был написан на ее лице — грустном, но твердом.

Вот так мы стояли друг напротив друга, разделенные решеткой, а потом я отвернулся, чтоб не видеть уходящую Чин.

Поговорили... улетай, лебедь.

Вот тогда-то я и напился по-настоящему. И бил рукой в стену, и срывал с себя проклятое железо, и плакал, как ребенок, и уснул, и видел кошмары...

11

...Похоже, я все-таки снова уснул, прямо за столом, потому что проснулся от крика. Я не сразу сообразил, что происходит, я думал, что это — очередной кошмар, к которым я уже начал понемногу привыкать.

Нет, это был не сон, и с улицы доносился яростный звон оружия — не так, не так оно должно звенеть! — и крик.

Женский крик.

Чин!.. Они добрались до нее!

Кажется, я закричал — нет, я завизжал так, что перекрыл шум и звон оружия:

— Коблан! Кто-нибудь! На помощь! Выпустите меня, сволочи! Там... там убивают Чин! Коблан! Да где же вы все!..

И никто мне не ответил.

Я бросился к двери — и неожиданно она распахнулась, ударив меня, и на пороге возник Друдл с идиотской улыбкой до ушей.

12

Проклятый шут ухмылялся в дверях, загораживая мне путь наружу — туда, где в темноте ночного Кабира захлебывалась криком Чин Черный Лебедь!

В одно мгновение вся моя ненависть, вся боль последнего времени, вся тщета бесплодных попыток обрести утраченную цельность — все то, что до краев переполняло Чэна Анкора Безрукого, выгорело без остатка, как примеси в чистой стали новорожденного клинка, неотвратимо устремившегося к цели.

И цель эта была — шут Друдл Муздрый!

Я кинулся на Друдла, стремясь врезаться в него всем телом и выбить в коридор, как пробку из бутылки, но странным образом промахнулся и больно ударился плечом о косяк. Дверь захлопнулась, лязгнул внутренний засов, и шут радостно заплясал вокруг меня, хлопая в ладоши.

Полы его шутовского халата уже были предусмотрительно заправлены за кушак, откуда выглядывали рукояти тупого граненого кинжала-дзюттэ и ятагана для подростков.

— Как у Чэна-дурака заболят сейчас бока! — завопил он, возбужденно скалясь. — Заболят сейчас бока от чужого кулака!..

Здоровой левой рукой я попытался дотянуться до засова, но Друдл подпрыгнул, как-то по-крабьи выбрасывая ногу, и острая боль пронзила мой локоть. Вслепую, наугад я отмахнулся правой — и железная перчатка ударила в стену над головой присевшего Друдла, выбивая куски штукатурки. Твердый и костлявый кулак шута чувствительно ткнулся мне под ребра, я попятился, неловко подворачивая ногу, падая на пол...

И увидел над собой холодный блеск маленького ятагана в руке шута Друдла.

Ах, напрасно он обнажил клинок, этот мудрый и проницательный шут, этот расчетливый боец, предусмотревший все или почти все!.. Напрасно, напрасно, потому что тело мое само вспомнило прежние навыки, потому что оно ничего не забывало, мое послушное тело, и пальцы левой руки машинально сомкнулись в кольцо, поднося к губам невидимую чашу с горьким и хмельным вином Беседы!

...Пол, твердый, как утоптанная множеством ног турнирная площадка, моя последняя площадка, и — блеск чужого клинка надо мной... Значит, я опять достоин удара меча?! Удара без снисхождения и жалости?!

Значит, у меня опять есть имя?!

Через секунду ятаган Друдла рубил смеющийся воздух, который звался Чэном Анкором.

О, он был умелым собеседником, он был очень умелым собеседником, мой злой гений, мой шут Друдл, и ятаган его был оригинален и остроумен, задавая неожиданные вопросы и требуя мгновенных ответов — только все это не имело сейчас никакого значения.

Абсолютно никакого.

— Чэн! — послышалось за окном, или не за окном, но посторонние звуки обтекали меня, не затрагивая сути, не отвлекая, а я все купался в брызгах стального водопада... Хмель ударил мне в

голову, наследственный хмель Анкоров Вэйских, и спокойная уверенность заполнила меня до краев, как живая рука заполняет собой латную перчатку, согревая своим теплом мертвый металл.

И когда ладонь моя наконец нащупала то, что было единственно необходимым для нее, я завизжал страшно и радостно, и вместе со мной завизжал Единорог, вонзаясь в дверной косяк и намертво прибивая к нему восьмиугольную тюбетейку шута.

Непривычное и неприятное ощущение крадучись пробежало по самым задворкам моего сознания и юркнуло в щель между неплотно пригнанными досками забора, отгораживающего Я от Не-Я. Я лишь успел заметить некую раздвоенность, как если бы не одна моя воля вела руку в выпаде; как если бы...

А потом я увидел глаза Друдла.

Слезы стояли в них, и там, за блестящей завесой, животный страх смешался с человеческой радостью.

Совсем рядом с глазами шута моя рука сжимала рукоять меча.

Правая рука.

Железная.

Моя.

— Получилось, — одними губами выдохнул шут. — А я, дурак...

И сполз на пол, теряя сознание.

Часть III

МЕЧ И ЕГО ЧЕЛОВЕК

...Закаленный булатный меч,
Сотворенный для ратных сеч, —
Он в крови не утрачивал злости,
Не тупился о белые кости,
Он на восемьдесят шагов
Удлинялся при виде врагов,
И при этом он был таков:
Острие — хитрей колдуна,
На ребре видны письмена,
Смертоносен его удар!..

Гэсэр

ГЛАВА 7

1

До сих пор, когда я вспоминаю о случившемся, меня охватывает страх.

И все-таки я — вспоминаю.

Я, Высший Мэйланя, прямой меч Дан Гьен по прозвищу Единорог, не последний из Блистающих Кабира, — вспоминаю.

Сейчас я лежу на столе, и отблески свечей играют на моей полировке. А тогда — тогда я лежал на полу, сброшенный Придатком Чэном, ринувшимся к двери. Впервые мой Придаток ослушался приказа...

За окном жалобно звенела Волчья Метла и лязгали невидимые Тусклые — темный страх ночного Кабира; в дверях выглядывал из-за кушака своего Придатка тупой шут Дзюттэ, и бессильная ярость захлестнула меня от острия до навершия рукояти, делая клинок теплым и чужим.

— Мерзавцы! — бросил я Дзюттэ и Детскому Учителю. — Позор Блистающих!..

Они не ответили.

Зато ответил их Придаток.

Впервые я видел Придатка, почти умевшего говорить на языке Блистающих — языке ударов и выпадов, мелких подготовительных движений и отвлекающих маневров, языке подлинной Беседы. Если бы Дзю или хотя бы Детский Учитель были бы в этот момент обнажены — я бы понял, я бы не удивился, потому что и сам зачастую ощущал Придатка Чэна своим продолжением, частью себя самого...

Но здесь было что-то иное, неизвестное, здесь был Придаток, умеющий Беседовать без Блистающего.

На долю секунды я отвлекся, забывшись от изумления, — и вот уже Придаток Чэн лежит на полу, скорчившись от боли, а Детский Учитель семьи Абу-Салим в зловещем молчании вылетает из-за кушака своего странного Придатка, описывая короткую дугу, грозящую закончиться у горла Придатка Чэна.

Нет. У горла эта дуга не закончилась бы. Она бы прошла дальше.

— Руби! — истерично расхохотался Дзюттэ Обломок. — Руби, Наставник!..

Если бы я в этот момент был в руке Придатка Чэна!.. Ах, если бы я был там... и пусть все шуты, все Детские Учителя Кабира, все Тусклые эмирата попытались бы остановить бешеного Единорога!..

— Руку! — вне себя закричал я, забыв, кто из нас Блистающий, а кто — Придаток. — Руку, Чэн!

И рука отозвалась. Нет, я по-прежнему валялся на полу, но на миг мне почудилось, что непривычно холодные и твердые пальцы стискивают рукоять, что они тянутся ко мне через разделяющее нас пространство, что я вновь веду Придатка Чэна в стремительном танце Беседы...

А еще мне захотелось тепла. Тепла плоти Придатков, расступающейся под напором моего клинка.

— Руку!..

Я хотел эту руку, словно это действительно была не часть Придатка, а отторгнутая часть меня самого; я хотел объятия этих

пальцев, как не хотел никогда ничего подобного; мысленно я уже свистел в душном воздухе комнаты, плетя паутину Беседы вокруг подлеца, невесть как ставшего Детским Учителем...

И Детский Учитель промахнулся. Раз за разом он пролетал мимо, как будто в руке Придатка Чэна на самом деле был я, Единорог во плоти; и вокруг моего смеющегося Придатка метался взбешенный маленький ятаган, полосуя пустоту, пока я не дотянулся до вожделенной руки, или это рука дотянулась до меня, или это мы оба... — и холодные пальцы умело и бережно сомкнулись на рукояти.

Это был лучший выпад в моей жизни.

Лучший еще и потому, что я, Мэйланьский Единорог, визжа от упоения, в последний момент успел опомниться. Да, я направлял руку, но и рука направляла меня, и чудом я успел извернуться, минуя выпученный глаз чужого Придатка и вонзаясь в плотную ткань тюбетейки, а затем — в дерево дверного косяка.

Да, это был лучший выпад в моей жизни.

Я не совершил непоправимого.

Но клянусь раскаленным горном-утробой Нюринги, я был слишком близок к этому...

— Во имя клинков Мунира! — где-то далеко внизу прошелестел голос, который мог быть голосом только Дзюттэ Обломка. — Наставник, мы сделали это!.. Ты слышишь, Наставник — мы...

А потом их Придаток упал, придавив собой обоих Блистающих.

...Дверь открылась. Падая, Придаток Дзюттэ и Детского Учителя задел внутренний засов, сбрасывая его с крюков, и толчок снаружи распахнул дверь настежь. Я увидел тех, кто толпился в коридоре, и понял все, коротким движением высвобождаясь из деревянного наличника.

Понял.

Все.

Там была Волчья Метла, целая и невредимая, там был эсток Заррахид и шипастый Гердан — хозяин кузницы, и волнистый Малый Крис-подмастерье, тот, что со змеиной головой на рукояти; там были гигант-эспадон Гвениль и Махайра Паллантид — короче, все комедианты, разыгрывавшие за окном веселое представление, фарс о несчастной разветвленной пике и ужасных Тусклых, фарс для одного-единственного зрителя, для дурака Дан Гьена, отказавшегося сменить испорченного Придатка и поверившего в невозможное...

Они успели. Успели вовремя захлопнуть дверь, сразу после того, как огромный Придаток Гвениля мощным рывком выдернул из комнаты бесчувственного Придатка Дзюттэ и Детского Учителя вместе с обоими Блистающими — и вновь лязгнул засов, на этот раз внешний.

О, они успели — видно, Небесные Молоты еще не отбили им

полный срок, этим хитроумным Блистающим и их Придаткам, — но я успел почувствовать их ужас, когда Мэйланьский Единорог, Придаток Чэн Анкор и его рука...

Когда мы двинулись на них.

И мое острие уперлось в запертую дверь, а двери в этом доме были сработаны на совесть.

Только тогда до меня дошло, что Придаток Чэн держит меня в правой руке.

И когда я вздрогнул от запоздалого понимания — стальные пальцы начали медленно разгибаться один за другим, опять становясь тем, чем и были.

Мертвым металлом.

Латной перчаткой.

2

Вот так оно и было.

...Сейчас я вытянулся во всю длину на матовой поверхности стола, Придаток Чэн сидит рядом, опустив на грудь отяжелевшую голову, а стальная рука его лежит всем своим весом на моей рукояти.

Просто — лежит.

И ночь за окном постепенно уходит в небытие, туда, куда рано или поздно уходят все наши дни и ночи.

О чем думал я в эту ночь?

Сперва... о, сперва мысли мои вспыхивали и разлетались во все стороны, как искры от клинка, рождающегося под молотом! Я уже думал о том, что сделаю с обманувшими меня друзьями и предателем-дворецким; я представлял себе Волчью Метлу, умоляющую о прощении; в моих горячечных видениях почему-то вставал пылающий Кабир и гнедой жеребец, несущий меня мимо развалин... а руку в латной перчатке пронзал слабый трепет, когда что-то теплое и сладко пахнущее стекало по моему клинку...

Вот это ощущение и вернуло мне ясность мыслей. Потому что никогда кровь Придатков не струилась по Единорогу.

Никогда.

Не мог я этого помнить.

Зато это помнила стальная перчатка, касавшаяся меня. Нет, в ней не было жизни, и когда металлические пальцы все-таки смогли стиснуть мою рукоять — это нельзя было назвать самостоятельной жизнью. Я даже не знал, сумею ли я заставить эти пальцы повторить то, что произошло совсем недавно.

Это была не жизнь.

Это была память.

Память латной перчатки о тепле и мощи руки, некогда заполнявшей ее; память о шершавой обтяжке рукояти того Блистаю-

щего, чье тело словно вырастало из чешуйчатого кулака; память...

Просто я очень хотел, чтобы это случилось. А она — она вспомнила, как это случалось раньше. И когда я потянулся к ней через время и расстояние — моя жизнь на мгновение вросла в ее память, оживляя неживое.

Чудо, которого я ждал и которое обрушилось на меня внезапно, подобно летней грозе, — сейчас я уже не знал, хочу ли я его, этого чуда, и если нет, то сумею ли отказаться.

Потому что я помнил ярость, вспыхнувшую во мне; ярость и жажду, темную теплую жажду, и ужас Блистающих по ту сторону порога.

Потому что я краем души прикоснулся к чужой памяти, памяти новой руки Придатка Чэна; память старой латной перчатки, части того одеяния, что некогда звалось «доспехами»...

Потому что я понял — как это случалось раньше.

Забыть? Отказаться от коварного подарка судьбы?..

А как же небо над турнирным полем? Падающее на меня небо и полумесяц Но-дачи в нем?!

А Тусклые? Тусклые — и убитые Блистающие, и ждущий Шешез Абу-Салим, и отчаянный Пояс Пустыни, Маскин Седьмой из Харзы?..

А моя, моя собственная память о случившемся?

Нет. Я не сумею отказаться от этой руки. Я не буду от нее отказываться.

...Осторожно, едва-едва слышно я потянулся к стальной руке-перчатке — и сквозь нее, дальше, через спящие слои ее памяти, обходя их, не тревожа чуткий покой, словно я подзывал Придатка, еще не зная — зачем, еще раздумывая, сомневаясь...

И вскоре почувствовал, как что-то тянется мне навстречу с другой стороны.

Что-то?

Кто-то.

— Кто ты? — тихо спросил я, останавливаясь.

— Кто ты? — эхом донеслось оттуда.

— Я — Высший Мэйланя...

— Я — Высший Мэйланя...

Тишина.

И — стремительным обоюдным выпадом:

— Я — прямой Дан Гьен по прозвищу Единорог! А ты — ты мой...

— Я — Чэн Анкор Вэйский! А ты — ты мой...

Я так и не смог сказать: «Ты — мой Придаток!»

А он? Что не смог сказать он?!

Ты — мой... Я — его?!.

...Латная перчатка, спящая память о забытом времени, зыбкий мост между двумя мирами, объединяющий их в одно целое...

и дрогнули неживые пальцы, а кольчужные кольца словно вросли в тело, когда мы вошли друг в друга — Блистающий и его Придаток, Человек и его Меч; вошли, но не так, как клинок входит в тело, а так, как вошли мы, становясь слитным, единым... каким, наверное, и были, не понимая этого...

Нет, мы не рылись в воспоминаниях друг друга, как вор в чужих сундуках (этот образ был непонятен мне, но Чэн отчетливо представил его, и...), и знания наши не слились в один нерасторжимый монолит, как свариваются полосы разного металла в будущий клинок (не-Блистающему трудно было в полной мере прочувствовать это, но...); просто...

Просто я не могу передать это словами.

И оба мы замерли, когда из черных глубин памяти латной перчатки донеслись два глухих, еле слышных голоса, ведущих разговор без начала и конца...

— Вот человек стоит на распутье между жизнью и смертью. Как ему себя вести?

— Пресеки свою двойственность, и пусть один меч сам стоит спокойно против неба!..

...Один, — подумал я.

...Один, — подумал Чэн.

...Один, — подумали мы.

Один против неба.

И я понял, что больше никогда не назову Чэна Придатком.

3

Утром дверь в комнату оказалась незапертой.

Чэн сходил умыться, потом, по возвращении, одел меня в ножны, и мы отправились в кузницу.

А в кузнице было на удивление тихо и прохладно. Молчали мехи, не пылал горн, и в углу спиной к нам сидел Придаток-подмастерье, перебирая зародыши будущих Блистающих. Из-за кожаного фартука подмастерья выглядывал Малый волнистый Крис, внимательно следивший за работой своего Придатка.

Дважды Придаток чуть было не пропустил зародыши с недостаточным количеством слоев металла, и дважды Малый Крис внутренним толчком останавливал Придатка, вынуждая еще раз осмотреть спорный зародыш, не давая появиться на свет ущербному Блистающему.

Я молча наблюдал за работой до тех пор, пока Малый Крис не заметил меня.

Он дрогнул — да, на его месте я тоже бы вздрогнул после всего, что было, — и опомнился лишь после довольно-таки невежливой паузы.

— Приветствую тебя, Высший Дан Гьен! — торопливо произ-

нес Крис, и Придаток его живо поднялся на ноги. — Приветствую и...

— И давай поговорим, — закончил я с легкой иронией. — Нет, не по-Беседуем, а просто поговорим. Тебя как зовут?

— Семар, — поспешно ответил он, пока Чэн вешал меня на специальный крюк в оружейном углу, и мне пришлось дважды кивнуть Семару, указав на крюк рядом, прежде чем он меня понял.

Понял и повис возле меня, зацепившись кольцом в зубах змеи-навершия его рукояти.

— Семар, — еще раз представился Крис. — Малый Крис Семар из Малых кузни главы рода Длинных палиц Гердана по прозвищу Шипастый Молчун, и еще...

— Шипастый Молчун, говоришь, — лениво протянул я. — Ну-ну...

— Да, Высший Дан Гьен, воистину так, — звякнул Семар. — А я...

— А ты — Волнистый Болтун, — перебил его я. — Ишь, распелся, как у Абу-Салимов на приеме... Ты в кузнице кто? Ты — хозяин... или почти хозяин. А я — гость. Вот и веди себя, как подобает хозяину в присутствии гостя. Пусть хоть и трижды Высшего.

— А мне ваш выпад ужасно нравится, — невпопад брякнул Крис Семар. — Косой. В броске, от самой земли. Я на три турнира подряд из кузни отпрашивался. Гердан бурчал-бурчал, но ничего, отпускал... Очень уж выпад у вас замечательный. А в последний раз я и рассмотреть-то почти не успел. Помешали...

— Кто? — поинтересовался я.

— Да Высший Гвениль и помешал, — бесхитростно разъяснил Семар. — Двуручник, из Лоулезских Эспадонов, вы ж его знаете!.. Придаток ихний дверь перед вами захлопнул, когда вы как раз на второй выпад шли... в нас. Я ж тоже тогда в коридоре был...

Вот оно что! Это, значит, вчера он мой выпад не до конца видел — это когда я тюбетейку к косяку прибивал... Нет. Не видел он ничего. Дверь-то уже после тюбетейки снаружи открыли... Не повезло тебе, невезучий ты, Малый Крис Семар!.. Если только ты в щель не подглядывал.

Или повезло?

— Я еще Высшему Гвенилю потом говорю, — продолжал меж тем Семар, — что надо было б ему Придатка своего попридержать, ну совсем чуточку, и увидели б мы выпад Единорога во всей красе! А Гвениль глянул на меня, помолчал и старую отливку в углу зачем-то пополам разрубил. Я полночи думал, что же он этим сказать хотел... Лишь к утру додумался.

— И что?

— А то, что до сих пор страшно, — тихо ответил Малый Крис Семар.

С грохотом распахнулась дверь в подсобное помещение, и оттуда выбрался Придаток-повитуха в кожаном фартуке со знаком Небесного Молота на кармане. На его плече возлежал Шипастый Молчун — тяжелая булава-гердан.

Глава рода Длинных палиц. Рода тех Блистающих, кто исстари следит за кузнецами, тех, кто сродни молоту.

Его утолщение, сплошь утыканное торчащими во все стороны шипами, походило на встрепанную голову Повитухи — и оттого казалось, что кто-то из них двухголовый. А туловище или древко — в зависимости от точки зрения — лишнее.

Ах да, чуть не забыл... Тех Придатков, что стояли у наковальни, где рождались Блистающие, — но не всех, а лишь тех, чей фартук украшал Небесный Молот, — редко звали Придатками, а чаще Повитухами.

...Чэн резко встал, оставив Придатка-подмастерья в растерянности, и подошел ко мне. Потом он поднял правую руку, негнущиеся стальные пальцы коснулись меня — и снова мы стали целым, только теперь это произошло проще и легче.

Наверное, Крис Семар решил, что я сошел с ума.

Наверное, его Придаток решил, что Чэн Анкор рехнулся.

Просто я узнал, как зовут Герданова Придатка; просто Чэн узнал, как мы зовем Стоящих у наковальни...

Просто мы оба расхохотались, забыв о приличиях.

Уж больно смешно вышло: Повитуха Коблан Железнолапый.

Шипастый Молчун приблизился, и Повитуха Коблан опустил его на пол недалеко от меня. Я покосился на хозяев кузни и... промолчал.

— Приветствую тебя, Высший Дан Гьен, — гулко бухнул об пол тяжелый Гердан.

— Приветствую тебя, Высший Чэн Анкор, — глухо буркнул в бороду кузнец Коблан.

А мы с Чэном все еще словно держались за руки, латная перчатка связывала нас невидимыми, но прочными путами, и оттого каждый из нас вел одновременно две беседы, слышал два голоса... жил за двоих...

И каждый понимал, что две беседы — на самом деле одна, два голоса — почти что один, Гердан Шипастый Молчун и Коблан Железнолапый — о пылающая Нюринга, до чего же мы оказались похожи друг на друга, все без исключения!..

Чэн опустил руку и ушел с Повитухой Кобланом к горну. А мы с Герданом остались. Мы — да еще испуганно притихший Малый Крис Семар.

— Ты вправе гневаться, Единорог, — Гердан говорил медленно, слова давались ему с трудом, и такое самоуничижение Ши-

пастого Молчуна, да еще в присутствии Малого Криса, еще недавно доставило бы мне огромное удовольствие. А сейчас...

— Ты вправе гневаться, Единорог. И я знаю, что ты сейчас скажешь мне...

— Нет, — перебил я его, — не знаешь. Я скажу тебе, глава рода Длинных палиц, заперший в доме своем Высшего Дан Гьена из Мэйланя и не убоявшийся гнева разъяренного Единорога...

Шипастый Молчун напрягся в ожидании.

— Я скажу тебе — спасибо, — закончил я. — И еще вот что... Можно, я пока поживу у тебя? Недолго, денек-другой?

Возле горна изумленно охнул Повитуха Коблан.

Почти одновременно с Герданом.

4

А к полудню приехал мой замечательный дворецкий, мой узкий и преданный эсток Заррахид.

Я встретил его на улице — не на той глухой улочке, куда выходили окна моей темницы, а у парадного, так сказать, входа в дом Гердана.

— Рад видеть вас бодрым и сияющим, Высший Дан Гьен, — как ни в чем не бывало отрапортовал Заррахид и приветственно качнул витой гардой. — Осмелюсь спросить — в каких ножнах вы соблаговолите отправиться на сегодняшнюю аудиенцию к Шешезу Абу-Салиму фарр-ла-Кабир? Я привез вам те, что с вправленными топазами; потом с белой полосой вокруг набалдашника... потом те, которые вам прислали по заказу из Дурбана, и еще те, которые с медными двойными кольцами, и потом...

На какой-то миг я онемел. А бессовестный Заррахид за этот миг успел хладнокровно вспомнить отличительные признаки десятков двух ножен — я и не предполагал, что имею столь внушительный гардероб!

И то, что я собирался высказать Заррахиду, незаметно отошло на второй план. А там и вовсе куда-то улетучилось.

— Ты что, все это... сюда привез? — наконец опомнился я.

Вопрос оказался излишним. Конечно, привез! Тем более что из-за поворота уже выезжала крытая арба, запряженная двумя тусскими тяжеловозами.

— Там ножны? — хрипло звякнул я, глядя на взмокших лошадей.

— И ножны тоже, — радостно подтвердил эсток. — А также все необходимое для вечернего празднества у Гердана, на которое вы соизволили пригласить Высшего Гвениля из Лоулезских Эспадонов, Волчью Метлу из Высших Хакаса, Махайру Паллантида, Дзюттэ Обломка, а также Детского Учителя семьи Абу-Салим. Прикажете распорядиться?

— Я? Соизволил пригласить?!

— А что, вы хотели бы видеть сегодня вечером других Блистающих Кабира? Кого именно?

— Да нет... если уж видеть — то этих.

— Ну вот, значит, все верно, — легко согласился эсток Заррахид.

«...Отличные у меня друзья, — думал я, пока мы с Заррахидом ехали на присланных чуть позже верховых лошадях в загородный дом Абу-Салимов, где мне была назначена аудиенция. — И друзья отличные, и дворецкий отличный, и жизнь — счастливей некуда... и ножны на любой вкус. Это просто я сам, наверное, чего-то не понимаю, все дергаюсь, злюсь, а окружающие только и делают, что беспутного Дан Гьена на путь истинный наставляют. Да вот незадача — не вижу я пути истинного, а вижу великое множество всяких путей, и истины в них поровну... Где он, где единственный путь Дан Гьена, путь Единорога — нет, просто Путь Меча?! Где он?!.»

Вот с такими интересными мыслями я и не заметил, как оказался в том самом зале, в котором не так уж давно происходила церемония Посвящения, а проклятый турнир еще только предстоял, и все было хорошо...

Все было хорошо.

Было.

Колыбель новорожденного Придатка по-прежнему стояла на церемониальном возвышении — я не видел от дверей, есть ли в колыбели ребенок, — а в изголовье на родовой подставке мирно спал престарелый ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир.

И пусто было в зале...

Я мысленно коснулся Чэна — мне все легче становилось дотягиваться до него не так, как прежде, а через железную руку, которая странным образом становилась общей частью нас обоих, — и мы двинулись было к возвышению, но не дошли.

Во-первых, нас остановил звериный рык.

В металлической клетке у стены метался из угла в угол пятнистый чауш — зверь редкий не только для Кабира, но и для Мэйланя, в окраинных солончаках которого зверь, собственно, и водился. Сам чауш походил на катьярских бойцовых собак — короткошерстных, плотных, с узкой крысиной мордой и налитыми кровью глазками, — но был в несколько раз крупнее, с кривыми, не по-собачьи острыми когтями; и хвост чауша не обрубался, как у собак, а от рождения был похож на сжатый кулак, невесть каким образом выросший из зада зверя.

Сейчас этот хвост-кулак дрожал мелкой дрожью и злобно подергивался.

...А во-вторых, меня заставил обернуться голос.

— По-Беседуем, Единорог?

Их солнцеподобие царственный ятаган Шешез Абу-Салим появился бесшумно и внезапно из потайной двери в углу помоста.

Он был в темных нелакированных ножнах, явно подчеркивая этим будничность встречи, и его грузный Придаток держал Шешеза в руке, словно забыв прицепить кольца ножен к кожаному подбиву кушака.

Я не ответил. Предложив мне Беседу, Шешез добивался совершенно определенной цели: проверить лично все то, что он слышал о новом, сумасшедшем Дан Гьене и новой руке его Придатка — а слышал он, вне всяких сомнений, немало.

И в основном — от Дзюттэ Обломка, шута-мудреца. Можно представить, что Обломок растрезвонил Шешезу...

— Это подарок, — Шешез небрежно кивнул в сторону глухо ворчавшего зверя. — Вчера доставили. Ну так как, Единорог, по-Беседуем?

Ятаган коротко лязгнул, до половины высунувшись из ножен и резко войдя обратно, Придаток Шешеза неожиданно легко соскочил с помоста, и я почувствовал, что Шешез Абу-Салим боится меня.

Боится. Для того и клетку со зверем в зал велел поставить, чтоб ярость слепая звериная ему самому храбрости добавила; для того и принимал меня в зале, где спал старик Фархад — славное прошлое Кабира; видать, подточили последние события былую уверенность Ятаганов фарр-ла-Кабир... испытать хочет, а боится!

А я, я сам, былой, прежний — неужели не убоялся бы тот Дан Гьен Беседы с Блистающим, о ком знал бы то, что знал Шешез Абу-Салим обо мне? Если бы ведал — вот передо мной тот, кому доверено правителем преследование Тусклых; тот, кто едва не убил Придатка, служившего Детскому Учителю и шуту семьи Абу-Салим; кто заставил своего собственного Придатка сжать стальные пальцы...

Да, ятаган фарр-ла-Кабир, и я бы испугался. Сознавшись в этом перед самим собой, я в церемонном салюте вылетел из ножен и весело сверкнул навстречу Шешезу.

И ятаган сгоряча не заметил, что его со-Беседник Дан Гьен находится в левой руке Придатка.

В левой.

В живой.

5

...Шешез пошел, как обычно, от левого плеча в полный мах; я увел Чэна назад и скользнул под второй удар, сбрасывая ятаган в сторону и угрозой встречного выпада заставляя Шешеза умерить пыл и перейти к более тщательной обороне.

Ошибся, ошибся сиятельный ятаган, все учел в мудрости

своей, да просчитался — не выйдет у него проверки Единорога, сорвется испытание!.. Будь на месте Шешеза эспадон Гвениль или та же Волчья Метла — не совладать мне с ними, оставаясь в левой Чэновой руке; а в правой-то, в железной перчатке, нет у меня уверенности... какая уверенность может быть в чуде, пусть даже в однажды свершившемся?!

Беседуй, ятаган фарр-ла-Кабир, Беседуй, спрашивай, отвечай, да не забывай вовремя сам уворачиваться и Придатка своего уводить! Не рубка у нас сейчас, а Беседа; не сила с весом в почете, а уменье Блистающего, так что я для тебя и в левой руке — Мэйланьский Единорог... давай, Шешез, гоняй пыхтящего Придатка, звени веселей, будь ты хоть тридцать три раза фарр-ла-Кабир!..

Я даже успевал думать о постороннем. Есть ли в колыбели новорожденный Придаток или нет; если есть — то почему не плачет в голос от шума нашего? Всерьез ли спит на подставке старый Фархад, или исподтишка наблюдает древний боец за чужой Беседой? Отчего взбесился пятнистый чауш, отчего раз за разом бросается на гудящую решетку, выпустив кривые кошачьи когти? Ну, тут как раз все понятно, зря подумал, зря отвлекся... А вот то, что Шешезов Придаток уже на помосте — так и мы уже на помосте, и видим то, чего другие не видят!

— Мэй-лань!

Знатно летел Шешез, почти через весь зал летел, выбитый мною, да еще и по полу четыре длины клинка проехал и остановился лишь тогда...

Когда уперся в когтистую лапу.

Не выдержал замок, лопнуло в нем что-то — и распахнулась дверь клетки, выпуская на волю красноглазую злобу; припал зверь к мозаике пола, и торжествующий рык прокатился по залу Посвящения, заметавшись меж колонн.

Лежал на холодных цветных плитках ятаган Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир; лежал на палисандровом ложе ятаган Фархад ибн-Рахш фарр-ла-Кабир; замер в левой руке Чэна Дан Цеп из Мэйланя — и ничего не мог сделать нам освободившийся пятнистый чауш, изготовившийся к прыжку.

Ничего. Зубы его, когти его — ничего.

Да и не стал бы он нам ничего делать.

Стоял на помосте Чэн Анкор из Анкоров Вэйских; стоял рядом с ним запыхавшийся Шешезов Придаток — и ничего не мог сделать им пятнистый чауш, потому что рядом была дверь, рукой подать, та самая дверь, и совсем-совсем рядом...

Не успел бы чауш. Прыгай не прыгай — не успел бы.

А я все думал об одном, хоть и незачем вроде бы Блистающему об этом думать; думал и не мог, не смел отвлечься, боялся отвлечься, да так и не знал...

Есть в колыбели младенец-Придаток или нет его?!

Если нет — вот дверь; вот сталь, которой нипочем клыки и когти...

Если есть — вот дверь, вот сталь... вот зверь и хрупкая плоть в колыбели.

Будущий Придаток Фархада иль-Рахша. Который станет бывшим, так и не став настоящим.

— Ильхан мохасту Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби! — глухо прозвенело позади меня.

Никогда в своей жизни не слышал я ТАКОГО звона; и неведомо для меня было значение сказанного.

Треснула одна из опор деревянной подставки, две другие не выдержали веса старого ятагана, согнулись, спружинили, покачнулся палисандровый постамент...

Я это видел.

Скрежетнули когти по гладкому полу, рывком разогнулись мощные лапы, посылая чауша в воздух с неотвратимостью взбесившейся судьбы...

И это я видел.

Двое летели навстречу друг другу: освободившийся зверь, обуянный жаждой убийства, и обнаженный ятаган Фархад, чьи ножны зацепились кольцом за обломившуюся опору подставки, пославшую Блистающего в полет.

— ...Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби! — эхом прозвучало во второй раз. Грозно и непонятно.

А потом Чэн, словно во сне, протянул правую руку и легко поймал Фархада за рукоять.

Впервые мой Придаток держал одновременно со мной другого Блистающего; но разве не впервые существовал Придаток (опять это проклятое слово!) с невесть чьей латной перчаткой вместо руки?!

Сгоряча я даже и не заметил — почти не заметил, — что вновь думаю о Чэне как о Придатке, а потом я внезапно увидел пылающий Кабир, проступивший сквозь стены зала, гневно заржал призрачный гнедой жеребец, и я сделал то, что должен был сделать.

Сделал.

Сам.

Или не сам?..

Но я это сделал.

6

...Придаток Шешеза тяжело спустился с помоста, словно прошедшие мгновения состарили его на добрый десяток лет — срок, ничтожный для Блистающего, но не для Придатка, — и, обойдя убитого чауша, приблизился к лежащему Шешезу.

Нагнулся.

Поднял.

Шешез Абу-Салим фарр-ла-Кабир молчал.

Его Придаток еще немного постоял и вернулся к мертвому зверю. Присев у тела, он замер на корточках; Шешез осторожно потянулся вперед и почти робко коснулся разрубленной головы с навечно оскаленной пастью.

Разрубленной.

Чисто и умело.

Как умели это делать ятаганы фарр-ла-Кабир, рубя неживое; и я еще подумал, что легенды о Фархаде могут оказаться правдой, и старый ятаган рубил некогда многое, о чем не стоит лишний раз вспоминать.

Окровавленный Фархад иль-Рахш по-прежнему находился в правой руке Чэна.

Потом Шешез толкнул голову чауша, и та запрокинулась, открывая бурую слипшуюся шерсть на пронзенной насквозь шее зверя.

Ятаганы так не умеют.

Так умею я.

О Дикие Лезвия, ставшие Блистающими, — как же это оказалось просто! До смешного просто!..

И я негромко рассмеялся. Смерть и смех — вы, оказывается, часто ходите рядом!

Да, сегодня передо мной и Фархадом был зверь, дикий безмозглый зверь, хищный обитатель солончаков, — но, может быть, с Придатками все получается так же просто? Так же естественно? Значит, дело не в руке — верней, не только в руке из металла, — но и во мне?! В кого ты превращаешься, Мэйланьский Единорог? Куда идешь?!

Неужели таков Путь Меча?!

Чэн спрыгнул вниз, подошел к Придатку Шешеза и отдал ему Фархада. Сам Шешез Абу-Салим слабо вздрогнул, когда его Придаток коснулся железной руки Чэна; я сделал вид, что ничего не произошло, и тщательно вытерся о шкуру убитого чауша.

Так, словно не раз делал это раньше.

— Фархад! — тихо позвал я потом (мне легче было обращаться к старому ятагану, когда его держал чужой Придаток). — Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир!

Он не отозвался.

Он спал. Или притворялся. Или думал о своем.

Какая разница?

— Что ты хочешь спросить... Высший Дан Гьен? — ответил вместо иль-Рахша Шешез, и голос его был неестественно бесстрастен.

— Я хочу знать, что кричал Блистающий Фархад перед тем, как...

Я не договорил.

Шешез Абу-Салим поднял на ноги своего Придатка, возвратился к сломанной подставке, долго смотрел на нее, а потом его Придаток осторожно положил иль-Рахша просто поперек колыбели, так и не облачив его в потерянные ножны.

— Здесь никого нет, — бросил Шешез, отвечая на еще один вопрос, который я так и не задал вслух. — Дитя-Придаток Фархада в другом месте. В этой колыбели он только спит по ночам, да и то не всегда. Значит, Высший Дан Гьен, ты хочешь знать, что кричал мой двоюродный дядя Фархад?.. Он кричал: «Ильхан мохасту Мунир суи ояд-хаме аль-Мутанабби!» Я и не думал, что когда-нибудь услышу этот забытый язык, да еще в своем доме...

Я ждал.

— Это означает, — сухо продолжил Шешез Абу-Салим, — это означает: «Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби!» Ну что, ты доволен, Единорог?

Мое прозвище почему-то далось ему с трудом.

— Аль-Мутанабби? — задумчиво лязгнул я, опускаясь в ножны. — Это Блистающий?

И тут же устыдился собственной глупости. Раз у этого аль-Мутанабби была рука — кем он мог быть, если не Придатком?

Шешез будто и не заметил моего промаха.

— В роду Абу-Салим, — заметил он, — бытует старое предание, что когда южный поход Диких Лезвий увенчался взятием Кабира и лучший ятаган нашей семьи стал первым фарр-ла-Кабир... так вот, его Придатка якобы звали Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби. И я не раз слышал от того же Фархада, что в черные дни Кабира вновь придет время для руки этого Придатка. Правда, я всегда посмеивался над велеречивостью старика, когда он в очередной раз принимался излагать мне одно и то же...

— Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби... — повторил я. — А клинки Мунира — это тоже из ваших родовых преданий? И кто такой Мунир? Имя? Город? Местность?

— Не знаю, — ответил Шешез, — ничего я толком не знаю... Я знаю только, Единорог, что время испытаний для тебя закончилось. И еще кое-что закончилось...

Он резко взлетел вверх и описал двойную дугу над головой своего Придатка.

— Смерти! — взвизгнул ятаган. — Смерти, убийства, несчастные случаи, призраки Тусклых — все это закончилось! Тишь да гладь! Вот уже две недели, как в Кабире все спокойно! И я не могу больше, я все время жду неведомо чего, я боюсь собственной тени... Это проклятое затишье вымотало меня хуже ежедневных сообщений об очередных убийствах! И вдобавок этот харзиец, пылающий ненавистью, этот Пояс Пустыни... последнее его сообщение было с дороги Барра, что ведет к границе с Мэйланем, — и с тех пор он молчит! А сообщал, что напал на след... Выходит, однако, что след напал на него...

Шешез успокоился так же неожиданно, как и вышел из себя.

— Мир переворачивается, Единорог, как песочные часы, и прошлые песчинки вновь сыплются в чашу настоящего... Я схожу с ума от неизвестности, Кабир мечется от стены ужаса к двери благополучия, ты веришь Дзюттэ Обломку и пытаешься спасти испорченного Придатка, Маскин Седьмой из Харзы... он учится убивать, Шипастый Молчун заставляет своего Повитуху приклепать твоему Чэну неизвестно чью руку, а Фархад глядит на нее и взывает к руке аль-Мутанабби!.. Наверное, и впрямь настали черные дни Кабира! А я — я плохой правитель для черного времени... слишком уж долго за окнами было светло.

И я понял, что аудиенция закончена.

А еще я вспомнил, что в тот момент, когда в доме Гердана впервые сжались стальные пальцы, Дзюттэ Обломок сказал почти то же самое, что и Фархад иль-Рахш.

Дзюттэ сказал: «Во имя клинков Мунира!..»

ГЛАВА 8

1

А вечеринка — или празднество, как пышно выразился Заррахид, — прошла на редкость успешно.

Гости были милы и подчеркнуто беззаботны, Гвениль все время острил и все время неудачно, зато Махайра — удачно, но тому же Гвенилю стоило больших трудов не обижаться на Бронзового Жнеца; Заррахиду я строго-настрого запретил прислуживать — для этого понадобился приказ по всей форме о переводе остока на сегодняшний вечер в ранг гостя, — и теперь мой Заррахид рьяно ухаживал за Волчьей Метлой и был совершенно неотразим...

Детский Учитель семьи Абу-Салим молчал, как всегда, но молчать он умел весьма выразительно, передавая различные оттенки настроения, — и я решил, что на этот раз Детский Учитель молчит доброжелательно. Помалкивал и Обломок, словно растеряв с того памятного дня изрядную долю своих причуд и чудачеств.

Беседы велись исключительно светские, не на победу, а так — для развлечения, с многочисленными уступками Беседующих сторон друг другу, и я просто диву давался, глядя на галантного эспадона или почти благопристойного Дзюттэ.

Сам я в Беседах не участвовал, довольствуясь ролью зрителя и иногда — третейского судьи. Меня останавливала отнюдь не неуверенность в железной руке — после убитого чауша я не сомневался в ее своеобразных возможностях и лишь слегка побаи-

вался их, — а просто я по гарду был сыт происшедшим, да и гости мои старались не очень-то задевать Единорога.

На всякий случай. Тем более что случаи в наше смутное время действительно пошли — всякие...

«Да, наверное, — думал я, глядя на Придатков, уходящих по завершении Бесед к накрытому столу, и на друзей-Блистающих, собравшихся в оружейном углу вокруг тяжеловесного Гердана и оживленно спорящих о чем-то, — наверное... Если очень постараться, то они все обучатся... обучатся убивать. Собственно, почему «они»?! Нас, нас всех можно научить щербить и ломать друг друга, бесповоротно портить Придатков, бешено кидаться вперед с горячим от ярости клинком; и кровавая пена будет вскипать на телах бывших Блистающих... И в конце концов мы разучимся Беседовать, ибо нельзя Беседовать в страхе и злобе».

За столом Придатков раздался взрыв хохота, а в оружейном углу Дзюттэ блистательно изобразил помесь кочерги и Шешеза Абу-Салима, отчего восторженные зрители весело взвизгнули — не переходя, впрочем, определенных границ. Что позволено шуту... то позволено шуту, а смеяться позволено всем.

«Странно, — думал я, вежливо блеснув улыбкой, — мир так велик, а я никогда не забредал даже в мыслях своих за пределы Кабирского эмирата и граничащих с ним земель вроде того же Лоулеза! А живьем я и вообще почти ничего не видел, кроме Мэйланя да Кабира! Что происходит там, далеко, не у нас? А там ведь наверняка что-то происходит! Откуда приехал в свое время в Кабир эсток Заррахид? Да разве он один... Как ТАМ — так же, как у нас, или по-иному? Может быть, то, что для меня — память латной перчатки, для них — реальность нынешнего дня?!»

Чтобы отвлечься от невеселых размышлений, я более внимательно глянул на Придатков за столом и увидел, как мой Чэн неловко опрокинул полный кубок, по привычке ткнув в него правой рукой.

«Интересно, а сможет ли он, Чэн Анкор, вообще взять что-нибудь этой рукой — что-нибудь, кроме Блистающего? Кубок, тростниковый калам для письма, поводья? А ну-ка попробуем с другой стороны...»

Я расслабился, обвиснув на крюке, мысленно дотянулся до перчатки, прошел сквозь нее к Чэну — и он почувствовал это, он поднял металлическую руку и с удивившим даже меня упрямством вновь потянулся к опрокинутому кубку, под которым расплывалось по скатерти багровое пятно.

Да, умница, правильно, а теперь забудь про кубок... представь себе, что берешь меня... вспомни рельеф моей рукояти... ну ладно, давай пробовать вместе...

Стальные пальцы неуверенно дрогнули, потом слабо зашевелились, словно и впрямь припоминая нечто, — и плотно охвати-

ли кубок. Чэн сперва с удивлением смотрел на это, но удивление быстро проходило, и ему на смену явились понимание и радость.

Тихая, спокойная радость. Значит — могу... то есть — можем.

Можем. Кубок, калам, поводья, что угодно. Вот только почему Я так счастлив от этого события? Ведь скажи кому из Блистающих о подобных отношениях с Придатком — не поверят. Решат, что рехнулся Единорог. На почве перенесенных страданий.

Ну и пусть. Просто они еще не знают о том распутье, на котором сходятся Путь Меча и Путь Придатка; а дальше, возможно, ведет всего один Путь.

Просто — Путь.

Один против неба.

И мне вдруг захотелось вслух задать мучившие меня вопросы — хотя бы малую их толику! — но задать их не Дзюттэ Обломку или тому же Детскому Учителю, а спросить и выслушать ответы Придатков.

Как?

А вот так...

Чэн уже стоял рядом со мной. И через мгновение, когда я оказался у него на поясе, а железная рука коснулась моей рукояти, усиливая чувство цельности, — через мгновение мы не сговариваясь шагнули друг в друга на шаг дальше, на шаг глубже, чем делали это до того.

Теперь мы были не просто вместе, не просто Чэн и я — нет, получившееся существо, скорее, должно было называться Чэн-Я или Я-Чэн, в зависимости от того, чей порыв в том или ином поступке оказывался первым.

Так оно и случилось, легко и естественно, и настолько быстро, что не осталось времени ни обрадоваться, ни пожалеть.

Посему Я-Чэн не жалел и не радовался.

2

Чэн-Я помедлил, одернул халат и вернулся к столу.

Я-Чэн мельком отметил, что, похоже, никого не обеспокоило кратковременное отсутствие Чэна Анкора. Да и возвращение с Единорогом на поясе тоже никого особо не удивило. Мало ли...

Разве что чуть внимательнее прочих поглядел на Чэна-Меня Придаток Дзюттэ Обломка и Детского Учителя семьи Абу-Салим, которого сами Придатки звали Друдлом.

Друдл Муздрый, шут их величества эмира Кабирского, Дауда Абу-Салима.

Дзюттэ Обломок, шут царственного ятагана Шешеза Абу-Салима фарр-ла-Кабир.

И пусть после этого кто-нибудь попробует убедить меня, что мы не похожи друг на друга! Мы, Блистающие и Придатки, мы...

Пусть это знаю пока один я, пусть один я...

Один против неба.

А пока я незаметно отошел на второй план, превращаясь из Меня-Чэна в Чэна-Меня, и сам не заметил, как Придатки за столом обрели имена и перестали быть Придатками.

Став людьми.

Чэн-Я улыбнулся собравшимся, пододвинул высокий мягкий пуф из привезенных дворецким и сел рядом с увлеченно жующим Фальгримом, отметив попутно, что даже в доме Коблана прочно укоренилась западная мода есть за столом, а старый обычай сидеть на подушках за дастарханом если где и сохранился, то уж наверняка не в Кабире.

...Кстати, у стола Меня-Чэна ожидал приятный сюрприз. Оказывается, Чэн — просто Чэн, еще до опрокинутого кубка — уже успел задать кузнецу Коблану вопрос о клинках Мунира.

Так что ответ ждал нас.

Если, конечно, то, что Чэн-Я сейчас услышу, можно будет счесть ответом...

— Жили некогда, — распевно начал дождавшийся Чэна Коблан, — два великих мастера-оружейника, и звали их Масуд и Мунир. Некоторые склонны считать их Богами Небесного Горна или демонами подземной кузницы Нюринги, но я-то лучше многих знаю, что всякий кузнец в чем-то Бог и в чем-то Демон, и не верю я досужему вымыслу. Люди они были, Масуд и Мунир, если были вообще... А вот в то, что был Масуд учеником Мунира и от него получил в свое время именное клеймо мастера, — в это верю. И не было оружейников лучше их. Но заспорили они однажды — чей меч лучше? — и решили выяснить это старинным испытанием. Ушли Масуд и Мунир, каждый с тремя свидетелями из потомственных молотобойцев и с тремя свидетелями из людей меча, ушли в Белые горы Сафед-Кух...

Кузнец грузно встал, прошел к маленькому резному столику на гнутых ножках и взял пиалу с остывшим зеленым чаем. Он держал ее легко, бережно, и было совершенно непонятно, как корявые, обожженные пальцы Железнолапого, подобные корням вековой чинары, ухитряются не раздавить и даже не испачкать тончайшую белизну фарфоровых стенок.

— И вонзили оба мастера по лучшему клинку своей работы в дно осеннего ручья, чьи воды тихо несли осенние листья. И любой лист, наткнувшийся на меч Масуда, мгновенно рассекался им на две половинки — столь велика была жажда убийства, заключенная в лезвии. А листья, подплывавшие к клинку Мунира, огибали его в страхе и невредимыми плыли дальше по течению.

Коблан помолчал, шумно прихлебывая чай.

— Говорят, — наконец продолжил он, — что ударила тогда в ручей синяя молния с ясного неба, разделив его на два потока. И был первый поток, где стоял мудрый меч мастера Мунира, желтый от невредимых осенних листьев. И был второй поток, где стоял гордый меч мастера Масуда, красный — словно кровь вдруг потекла в нем вместо воды. И разделились с той минуты пути кузнецов. Мунир с двенадцатью свидетелями ушел от ручья, а оставшийся в одиночестве Масуд прокричал им в спину, что наступит день — и у него тоже будет дюжина свидетелей, не боящихся смотреть на красный цвет. Страшной клятвой поклялся в том Масуд, и тогда ударила с неба вторая молния, тускло-багровая... Обернулся Мунир — и не увидел ученика своего, Масуда-оружейника, и меча его тоже не увидел. А два горных ручья тихо несли в водах своих осенние листья...

И еще помолчал кузнец Коблан, словно тяжело ему было говорить, но — надо.

— Вот с тех пор и называют себя кузнецы Кабира, Мэйланя, Хакаса и многих других земель потомками Мунира. Вот потому-то и призываем мы благословение старого мастера на каждый клинок, выходящий из наших кузниц. И семихвостый бунчук кабирского эмирата желтого цвета — цвета полуденного солнца, цвета теплой лепешки, цвета осенних листьев, безбоязненно плывущих по горному ручью...

— А Масуд? — тихо спросила Ак-Нинчи. — Он что, так и не объявился?

— Пропал Масуд. Только поговаривали, что согласно данной клятве отковал он в тайной кузне двенадцать клинков, и тринадцатым был клинок из ручья испытания. Тусклой рождалась сталь этих мечей, и радует их красный цвет крови человеческой. И когда ломается один меч из Тусклой Дюжины, то вновь загорается горн в тайных кузницах, и проклятый Масуд-оружейник или один из его последователей — а нашлись и такие — берет тяжкий молот и идет к наковальне. Глухо рокочет пламя в горне, стонет железо под безжалостными ударами, и темное благословение Масуда призывается на одержимый меч. Или и того хуже — не новый клинок кует кузнец, а перековывает старый, что был ранее светлым, светлым и...

— А с чего бы это тебе, Высший Чэн, — вдруг перебил кузнеца шут Друдл, — с чего бы это тебе сказками старыми интересоваться? Вроде бы не водилось за тобой раньше любознательности излишней...

Я-Чэн ответил не сразу. Чэн-Я неотрывно смотрел на шута, на коренастого плотного человечка в смешном и куцем халате враспояску — и видел круглую физиономию с черной козлиной бородкой, которую Друдл непрерывно пощипывал, видел съехавшую на затылок фирузскую тюбетейку, пробитую мной и после аккуратно заштопанную; видел...

Друдл, похоже, несколько дней не брил головы. Его тюбетейку окружал короткий и колючий ежик отросших волос, будто трава — цветастый холмик; и был холм-тюбетейка ярок и праздничен, а трава — побитая морозом и белая от инея.

Ох, что-то Я-Чэн или Чэн-Я — словом, что-то Мы стали слишком вычурно думать. Холм, трава, мороз... Отчего не сказать прямо — седым был Друдл Муздрый, Придаток Дзюттэ Обломка и Детского Учителя, шут-советник эмира Дауда... седым как лунь, и даже не был — стал...

Оттого черная бородка выглядела ненастоящей, приклеенной, и казалось, что Друдл хочет оторвать ее. Чтоб не выдавала, не напоминала о случившемся.

А Я-Чэн отчего-то подумал, что Блистающие не седеют. Правда, говорят, что они тускнеют... или ржавеют. Одно другого стоит...

— Знаешь, Друдл, — неторопливо заговорил Чэн-Я, — сказки — они ведь снам сродни. А мне в последнее время один и тот же сон снится, хоть днем, хоть ночью. Будто бы Кабир горит, развалины кругом, и я на гнедом жеребце... Вот и боюсь, что сон в руку...

Я-Чэн выждал и добавил словно между прочим:

— В руку аль-Мутанабби. Что скажешь, Друдл?

Фальгрим Беловолосый и Диомед заинтересованно смотрели на Чэна-Меня, Чин нервно накручивала на палец прядь своих длинных волос — все чувствовали, что за сказанным кроется много несказанного; и друзья мои ждали продолжения.

Кос ан-Танья невозмутимо играл костяной вилочкой для фруктов.

Зато Коблан чуть не подавился остатками чая и закашлялся, тщетно стараясь что-то произнести.

— Он все знает, Друдл, — выдавил кузнец. — Я ж говорил тебе, что мы выпускаем джинна из бутылки...

Теперь настал Мой-Чэнов черед удивляться. Оказывается, с точки зрения Коблана, Я-Чэн уже все знаю, причем не просто что-то знаю или слегка догадываюсь, а знаю именно ВСЕ. Что ж это выходит — единым выпадом из дураков в мудрецы?!

Так мы с Друдлом — мудрецы одной масти...

— Ты прочел надпись, Чэн? — очень серьезно спросил Друдл, и серьезность шута испугала Чэна-Меня больше, чем суетливость Железнолапого. — Или тебе рассказал эмир Дауд?

Чэн-Я не выдержал его вопрошающего взгляда и опустил глаза. На стол. А рядом со столешницей торчал набалдашник рукояти Меня-Чэна. А на нем покоилась наша правая рука. А на руке, поверх кольчужной перчатки, были приклепаны небольшие овальные пластины.

А на одной из них...

Чэн-Я напряг зрение, пытаясь разобрать вязь знаков, выбитых на пластине. Упрямые значки не сразу захотели складываться в слова; зато, когда все-таки сложились...

Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби.

Вот что было написано на перчатке... на руке... на нашей руке.

— Я прочел надпись, Друдл, — хрипло пробормотал Чэн-Я. — Да, я прочел ее... — И немного погодя закончил: — Только что.

Шут искоса взглянул на ан-Танью, и понятливый Кос мигом наполнил кубки, провозгласил витиеватый и не совсем приличный тост за единственную розу в окружении сплошного чертополоха; все дружно выпили, маленькая Чин попыталась ограничиться вежливым глоточком, что вызвало бурный протест окружающих, а Фальгрим даже поперхнулся недожеванным кебабом, и Диомед принялся хлопать Беловолосого по спине, но отбил себе всю руку, и...

И никто не заметил, что Коблан обошел стол и встал за Моей-Чэновой спиной.

— Те доспехи из сундука, — тихо, но вполне слышно прогудел Коблан, — они... Их делал мой предок. Тоже Кобланом звали... А делал он их для аль-Мутанабби. Когда тот еще не был эмиром.

— А кем он был? — спросил я, не оборачиваясь.

— Поэтом он был, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, лучшим певцом-чангиром от Бехзда до западных отрогов Белых гор Сафед-Кух, — вместо Коблана ответил Друдл, умудряясь одновременно шпырять косточками от черешен в смеющегося Диомеда. — Помнишь, Железнолапый, как в ауле Хорбаши...

Пожалуй, Чэн-Я сейчас не удивился бы, если бы Коблан кивнул и подтвердил, что они с Друдлом лично знали легендарного аль-Мутанабби, чьи времена даже для Блистающих моего поколения — а наш век несравним с жизнью Придатков — тонули в дымке почти нереального прошлого.

Нет, не это хотел сказать шут Друдл. Совсем не это.

— Конечно, помню! — счастливо рявкнул кузнец. — Ты еще спорил со мной, что «Касыду о взятии Кабира» никто уже целиком не помнит! А я тебя, ваше шутейшее мудрейшество, за ухо и на перевал Фурраш, в аул! Как же мне не помнить, когда ты перед мастером-устадом тамошних чангиров на колени бухнулся, а он так перепугался, что и касыду тебе раз пять спел, и слова записал, и вина в дорогу дал — лишь бы я тебя обратно увел!

— Что ты врешь! — перебил его раскрасневшийся Друдл, хлопая злосчастной тюбетейкой оземь. — Это я тебя оттуда еле уволок, когда ты им единственный на весь аул молот вдребезги рас-

колотил! И добро б пьяный был — нет, сперва молот разнес, а уж потом...

— Да кто ж виноват, — искренне возмутился кузнец, — что они пятилетнюю чачу в подвалы прячут и тройной кладкой замуровывают! Не кулаком же мне этакие стены рушить? А молот в самый раз, хоть и дерьмовый он у них был... таки пришлось в конце кулаком. И потом — я им через месяц новый молот привез, даже два!.. И стенки все починил...

Кузнец набрал в могучую грудь воздуха, явно желая еще что-то добавить, возникла непредвиденная пауза, и в тишине отчетливо прозвучал негромкий голосок Ак-Нинчи:

— Спойте касыду. Друдл, пожалуйста...

Друдл зачем-то сморгнул, поднял с пола свою тюбетейку, водрузил ее на прежнее место — и вдруг запел странно высоким голосом, время от времени ударяя себя пальцами по горлу, как делают это певцы-чангиры, когда хотят добиться дрожащего звука, подобного плачу.

Не воздам Творцу хулою за минувшие дела,
Пишет кровью и золою тростниковый мой калам,
Было доброе и злое — только помню павший город,
Где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела...

Удивленно слушал поющего шута Фальгрим, прищелкивали пальцами в ритме песни Диомед и ан-Танья, чьи глаза горели затаенным огнем, сосредоточенно молчала Чин, а Я-Чэн повторял про себя каждую строку... и вновь пылал Кабир, грыз удила гнедой жеребец, скрещивались мои сородичи, умевшие убивать, легенды становились явью, прошлое — настоящим и, возможно, будущим...

«А ведь он сейчас совершенно не такой, как обычно, — думал Чэн-Я, — нет, не такой... никакого шутовства, гримас, ужимок... Серьезный и спокойный. Нет, сейчас...»

«...нет, сейчас Друдл мало похож на Дзюттэ Обломка, — думал Я-Чэн, — сейчас он скорее напоминает своего второго Блистающего, Детского Учителя семьи Абу-Салим. Мудрый, все понимающий и... опасный. Две натуры одного Придатка, у которого два Блистающих...»

Помню — в узких переулках отдавался эхом
Грохот медного тарана войска левого крыла.
Помню гарь несущий ветер, помню, как клинок я вытер
О тяжелый, о парчовый, кем-то брошенный халат.
Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город,
Ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила...

Сухой и громкий, неожиданно резкий стук наслоился на пение Друдла, жестким ритмом поддержав уставший голос, как кастаньетами подбадривают сами себя уличные танцовщицы и

лицедеи-мутрибы, — оказывается, Чэн-Я даже не заметил, как вслед за Диомедом и ан-Таньей тоже стал прищелкивать пальцами, словно обычный зевака, слушающий на площади заезжего чангира.

Только большинство кастаньет Кабира черной завистью позавидовало бы тому, как могли щелкать стальные пальцы правой руки Меня-Чэна.

> Плачь, Кабир, — ты был скалою, вот и рухнул, как скала!
> ...Не воздам Творцу хулою за минувшие дела...

Друдл умолк, а Коблан еще некоторое время раскачивался из стороны в сторону, будто слышал что-то неслышное для всех — отзвук песни шута, звон струн сафед-кухского чангира, топот копыт гнедого жеребца, несущего мимо дымящихся развалин удивительного Придатка по имени аль-Мутанабби.

— Что ж это получается, — забывшись, прошептал Я-Чэн, и в шепоте отчетливо зазвенела сталь, холодная и вопрошающая, — выходит, это все правда?.. Выходит, вначале мы все были Тусклыми? Неужели мы и впрямь появились на этот свет, чтобы убивать, — и попросту забыли о кровавом призвании?! Забыли, а теперь вспоминаем, и нам больно, нам стыдно, мы громоздим одну легенду на другую, кричим, что мы — Блистающие... а на самом деле мы — Тусклые!.. Врет легенда — первым был Масуд, проклятый Масуд-оружейник, и его мечи были первыми, а лишь потом мы убедили себя, что мы — клинки Мунира!.. И разучились делать то, для чего рождались, и первым было Убийство, а Искусство — вторым, хоть и не должно так быть!..

Все с молчаливым недоумением смотрели на Чэна-Меня. Еще бы! Мало того что Я-Чэн заговорил одновременно на языке Блистающих и языке Придатков — так я еще и Тусклых приплел... а что об этом могут знать Придатки?!

Хотя... А что, собственно, я — просто я, Высший Мэйланя прямой Дан Гьен — знаю о Придатках?

Что мы все знаем друг о друге?

Много. И в то же время — ничего.

Значит, должно было случиться то, что случилось, привычная жизнь должна была вывернуться наизнанку, трава на турнирном поле должна была стать красной, а волосы шута Друдла — белыми... И все для того, чтобы мы с Чэном впервые сознательно протянули руку друг другу.

Руку Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби.

Руку из сундука, где хранится одежда, которую надевали Придатки для защиты от Блистающих, бывших тогда Тусклыми.

Люди — для защиты от оружия.

А потом Время сложило весь этот хлам в сундук и захлопнуло крышку...

Заснуть я так и не смог. Уж как ни старался — не спалось мне, и все тут.

Придатки давно разбрелись по отведенным им комнатам, Блистающие мирно почивали на своих крючьях да подставках — Гердан-хозяин просто у стены, — тьма лениво копилась в углах, растекаясь по полу; а я слегка покачивал левой кисточкой и монотонно считал про себя — один, два, три...

Нет. Не получается.

Картины недавнего прошлого проплывали в сознании, подобно осенним листьям в горном ручье, — вот церемония Посвящения у Абу-Салимов, вот я решаю судьбу турнира, вот турнир вместе с вежливым Но-дачи решают мою судьбу... скрипучий голос (голоса?) трех кинжалов-трезубцев, чей Придаток стоял рядом со мной, проваливающимся в беспамятство...

Желтые листья ушедших дней и событий в извилистом ручье моей памяти, желтые листья плыли и плыли, в страхе огибая холодный меч рассудка, — вот Шешез и его поручение заняться поиском Тусклых, вот шут Дзюттэ Обломок с его сумасшедшей идеей... вот Чэн у наковальни, помогает Повитухе Коблану ковать железную руку... вот домашний арест, жалобный звон Волчьей Метлы за окном и слепая ярость, заставляющая стальные пальцы сомкнуться на рукояти... первое ощущение цельности с Чэном... убитый чауш и крик Фархада... клинки Мунира... рука аль-Мутанабби...

Что-то исчезло. Чего-то не хватало мне сейчас, сию минуту — и потеря была незаметна и бесконечно важна. Словно некий порыв, до того владевший мной и толкавший вперед, внезапно иссяк и исчез.

Это было неприятно и удивительно, как если бы, уже войдя в удар, я вдруг понял, что не имею ни малейшего желания довести этот удар до конца.

Заболел я, что ли?

Нет. Просто мир Придатков, мое с Чэном взаимопроникновение и железная рука — все это незаметно отодвинуло на второй план суть и смысл моего прежнего существования.

Модный узор на новых ножнах и светские Беседы с Волчьей Метлой и Гвенилем; размышления о том, что пора бы женить своего Придатка и лет через пять-семь всерьез задуматься о подготовке нового — или подождать Чэновых внуков, если сам Чэн не растолстеет и не заболеет; выезды в город, в гости; подготовка к очередному турниру — словом, жизнь Высшего Мэйланя прямого Дан Гьена по прозвищу Единорог до смертей на улицах Кабира и до вероломного удара Но-дачи.

Мысли о самоубийстве, боль и страх, и жар от пылающего горна, и мечты о мести, сладкой и хмельной мести; и стальные

пальцы на моей рукояти — то мертвые и недвижные, то живые и помнящие; и убитый чауш, и легенда о клинках Мунира, и многое, многое другое — да, это я сейчас, сегодня и сейчас...

Ну и что дальше?!

Мои собственные переживания и близость с Чэном, а главное — стремление знать, узнавать и копаться в том, что было, что могло бы быть, — все это затмило реальную возможность мести, реальных (или нереальных) Тусклых и поручение Шешеза.

Короче, будь моя воля — никуда бы я не ходил, никого бы не искал, а только спрашивал бы да размышлял.

Месть меня больше не интересовала. Считайте меня рохлей, зовите меня трусом — сверкать я на вас всех хотел. Руку, оставшуюся на турнирном поле, уравновесила рука, обретенная в кузнице Гердана Шипастого Молчуна и Повитухи Коблана. Потеря — находка, боль и горе — радость открытия нового. Теперь мне нужен был новый повод для мести, чтобы идти по Пути Меча с гневом и страстью, или...

Вот так-то... Или не так, а просто ночь и тишина морочат меня, навевая мысли, которые утром развеются подобно туману... Посмотрим... посмотрим.

— Ты спишь, Единорог? — еле слышно доносится из угла.

Это Детский Учитель. Тоже заснуть не может, что ли?

Молчу. Пусть думает, что сплю.

— Притворяется, — уверенно отвечает второй голос, вне всяких сомнений, принадлежащий Обломку. — Хитрый он стал, Наставник... Скоро штопором завьется от хитромудрости своей и будет пробки истины из бутылей бытия выдергивать! Дашь пробочку на бедность, а, Единорожа?

— Не дам! — раздраженно бросаю я и тут же понимаю, что дальше притворяться спящим бессмысленно.

— Не спит он, Наставник, — как ни в чем не бывало сообщает Обломок, адресуясь к Детскому Учителю. Слово «Наставник» он произносит со странным насмешливым уважением. Так мог бы называть сына, вышедшего в мастера, умудренный жизнью и опытом отец, хотя Дзюттэ можно считать кем угодно, но только не умудренным.

Интересно, а сколько лет Обломку?

И почему я никогда не видел Блистающих с такой внешностью, как у него? Только потому, что он — шут? Так не родился же он шутом...

— Это я во всем виноват, — вдруг заявляет Детский Учитель. — И нечего, Дзю, меня успокаивать! Мое слово было последним, мне и отвечать!..

— И вовсе не твое, а мое! — бросает Обломок, а я слушаю их перепалку и ничего не могу взять в толк. Гвениль тоже вину на себя брал — дескать, не проиграй он турнирную рубку Но-дачи, все было бы в порядке. Я уж устал ему твердить: брось, Гвен,

судьбу не разрубишь, я хоть живой остался, а сколько Блистающих на улицах Кабира ушло в Нюрингу? То-то же!..

Теперь еще один виноватый выискался. Он-то здесь при чем? Ведь не Детского Учителя слово и уж тем более не шуточки Дзю — я, я последнее слово о турнире сказал, еще у Шешеза в гостях!

— А что ты должен был им ответить?! — яростно шипит Дзюттэ. — Что ты согласен, что из-за какой-то Шулмы — если она вообще существует! — клан Детских Учителей покроет ржавчиной почти восемь веков благоразумия и станет учить юных Придатков убивать?! Что ты, как Верховный Наставник, готов стать Диким Лезвием и других сделать такими же?! Ты это должен был сказать, да?!

Так, сейчас они всех перебудят... Впрочем, любопытство уже проснулось во мне, а остальным просыпаться вроде бы и ни к чему.

— Тихо! — командую я лязгающим шепотом, и, как ни странно, они мгновенно умолкают. — Вы меня зачем будили? Без зрителя ругаться скучно?! Значит, так — или вы без воплей объясняете мне, в чем дело, или — клянусь клинками Повитухи Масуда! — я...

Договаривать мне не пришлось. Упоминание о клинках пришлось как нельзя кстати — Дзюттэ и Детский Учитель мигом угомонились.

— Ты что?! — с некоторым испугом брякает Обломок. — И впрямь дурак... Кто ж такими именами ночью бросается?! Я думал, дурнее меня никого нет, а оказывается...

Тьфу ты, пропасть! Оказывается, я в запале имена Повитух перепутал. Хотел Мунира вспомнить, а мне на клинок Масуд подвернулся!

Даже в темноте я вижу — нет, скорее чувствую, — как они переглядываются. Конечно! Во-первых, если дурак-Единорог такими именами бросается, то он их наверняка знает. Спрашивается — откуда? Предположить, что от Придатков, — нет уж, Дзюттэ, конечно, тоже дурак, но не сумасшедший. И потом — может, я с умыслом Масуда, Повитуху Тусклых, помянул? Мало ли...

— Ладно, — наконец решается Детский Учитель, — начистоту так начистоту. От Кабира до Мэйланя сколько дней пути?

Он что, в Мэйлань собрался? Родичей моих проведать?

— Недели три, — отвечаю, — с лишком. И коней не жалеть. А если с караваном, не спеша — так и поболе будет. А что?

— Ничего. А от Мэйланя до Кулхана?

Кулхан — это пески на северо-востоке от Вэя, окраины Мэйланя. Я и не был-то там ни разу... ведь по-мэйланьски «кулхан» — «плохие пески».

И не просто, а очень плохие.

— Ну... не знаю. Дня три, если тропы выучить. Или кого-нибудь из Охотничьих ножей в проводники взять.

— А если наобум?

— Тогда — неделю. Или вообще не доберешься.

— Так... Ну а если через Кулхан насквозь пройти и взять еще севернее? Там что?

Ишь куда заглянул! Я и не слыхал, чтоб кто-нибудь в этакие дебри забирался... зыбучка там, если верить слухам. То есть это в Кулхане зыбучка, а за ним...

— Ничего, — отвечаю. — Конец света. Восьмой ад Хракуташа, где Ушастый демон У плохих Придатков перековывает.

— Да? — вмешивается Обломок. — А нам сказали, что там Шулма.

— Какая еще Шулма? Кто сказал?

— Друг твой один, — невесело хихикает Обломок. — Близкий Длинный такой, слабо изогнутый, рукоять чуть ли не в полклинка, а гарды и нет-то почти. Руки Придаткам рубить любит.

— Но-дачи?!

— Он самый... Ну что, Наставник, рассказывай...

И Наставник рассказал.

4

По словам Детского Учителя, дней за десять до того, как произошло первое убийство в Хаффе на открытом турнире, к нему явились гости.

Но-дачи явился, потом еще один Блистающий, очень похожий на Но-дачи, но совсем маленький, не больше самого Детского Учителя; и трое странных кинжалов с узким граненым клинком и длинными острыми усами выгнутой гарды, отчего сами кинжалы сильно напоминали трезубцы, снятые с древка.

(Вспомнил я турнир, кинжалы эти вспомнил, как они Но от меня да Чэна беспамятных уводили; голос их скрипучий вспомнил, Придатка нескладного, одного на троих, — и не сказал я ничего, только кистью качнул Детскому Учителю семьи Абу-Салим: продолжай, мол...)

...Говорил в основном Но-дачи. Остальные молчали. Плохо как-то молчали. С вызовом. Короткий Блистающий сперва даже имени своего не назвал, а по виду его род определить не выходило. Кинжалы-трезубцы велели звать их Саями, а больше ничего не добавили.

Вот и звал их Учитель про себя: Сай Первый, Сай Второй и Сай Третий.

Только речь в первую очередь не о них.

Если верить Но-дачи — а он сперва произвел на Детского Учителя (как и на меня) весьма неплохое впечатление, — так вот,

Но-дачи будто бы был моим земляком, и нелегкая как-то занесла его в Кулхан.

Что он там искал — неизвестно, и Детский Учитель решил не заострять на этом внимания. Мало ли куда вздумается отправиться молодому Блистающему? А Но-дачи был, похоже, лет на тридцать моложе меня. Почему на тридцать? Когда я уезжал из Мэйланя, муаровый узор на клинках был темным, но все вокруг поговаривали, что скоро в моду светлый войдет, «лянь памор» по-нашему. Мне при отъезде всего-навсего двадцать девять лет стукнуло, узор у Но светлый, чистый «лянь памор», а узор при рождении образуется. Сходится?

Ладно. В этом деле многое на веру придется брать. Возьмем и дальше пойдем.

Короче, Но-дачи ухитрился пройти Кулхан. У Придатка его на воду то ли чутье, то ли везенье было — два раза на заброшенные колодцы натыкался, и еще раз на конного Придатка, застигнутого песчаной бурей. Фляга у покойника нашлась, небольшая, но на два дня пути хватило.

Коня у них в первую же неделю бешеный варан сожрал, так Придаток пешком шел, Но-дачи на плече нес и сушеную варанятину жевал — в отместку за коня, что ли...

Нес, нес и вынес. На свою голову.

...Убили его, Придатка этого. Пески насквозь прошел, гнилую воду по капле цедил, когда варанов не стало — змей на солнце вялил... и все для того, чтоб у первого же дерева, кривого да чахлого, прирезали его, как скотину.

Три копья ждали у этого дерева. Три легких копья неизвестного рода и три ножа. Ну и три Придатка на низкорослых косматых лошадках.

Только молчали они, и копья эти, и ножи, — молчали, сколько Но-дачи ни кричал им издали. И еще дух от них шел... нехороший. Будто и не Блистающие они вовсе, а так — вещь.

Вещь неразумная. Мертвая.

Или почти мертвая.

Или даже и не жившая никогда.

Так что, когда Придаток Но-дачи из последних сил добежал до ожидающих, один из всадников глянул на него искоса, наклонился, вынул безразличный нож и деловито перерезал горло покорителю Кулхана.

Как ветку срезал. Равнодушно так, спокойно, без злобы.

И вытер неживой клинок о шкуру лошади.

Знай Но-дачи заранее то, что он тогда лишь начал узнавать; умей он в тот миг то, чему не скоро обучился, — не спешил бы он к всадникам. И так, неспешно, всех девятерых положил бы рядком у того же дерева. Три копья, три ножа, три Придатка.

В пыль.

(Вот в это я поверил сразу.)

...Увезли его. Приторочили к седлу и увезли. И очень скоро выяснил Но-дачи, что вокруг него лежит Шулма, и живущие здесь Придатки зовут себя шулмусами; а еще узнал, что нет в Шулме Блистающих.

Оружие есть. Вещь неразумная, для убийства созданная.

А убивали в Шулме немало. Род на род, племя на племя, то набег, то распря. Так что работы железу хватало.

Брезжило что-то в местных клинках, словно фитиль мокрый свечной горел — вспыхнет, погаснет, снова вспыхнет, зашипит, затрещит и плюется во все стороны. Чадит, а не светит.

Вещь не вещь, тварь не тварь. Но и не Блистающие.

Дикие Лезвия. Совсем-совсем дикие.

Без легенд и сказок. Без красоты вымысла.

Как есть. По-настоящему.

...Не всех пришлых Придатков в Шулме резали. А тех, что из-за Кулхана явились, — тех вообще берегли и в отличие от других рабов даже на тяжелые работы не ставили.

И кормили не впроголодь. Это Придатку Но-дачи просто не повезло отчего-то. Не глянулся он шулмусам-заставщикам, что ли?

Чего уж теперь гадать...

А вот Блистающих у пришельцев отбирали. Оружие то есть, с точки зрения шулмусов. И хранили пленных Блистающих в почетном шатре.

У каждого уважающего себя племени — а племен, себя не уважающих, не было в бескрайней Шулме — имелся такой шатер.

Знатное жилье! На отдельной повозке возили, трех белых коней запрягали да трех гнедых — это когда на новое место откочевывали. А вот когда на стоянках разбивали, то сверкал и искрился шатер золотыми полосами переплетающихся цветов и узоров, искусно вышитых по зеленому бархату; низ шатра натягивался на массивные колья красного металла, покрытые тончайшим чеканом работы неведомых златоделов.

Вроде бы и небогата ремеслами кочевая Шулма, а вот поди ж ты!..

В шатре том и познакомился Но-дачи с братьями-Саями, хмурыми и неразговорчивыми, и с другими Блистающими, невесть какими путями попавшими в Шулму. Только не сразу понял Но, почему одни Блистающие в шатре на белой, как снег, кошме лежат, а другие — на пунцовой.

Как по крови плывут.

...Долго понимать не пришлось. Поначалу соседей спрашивал — те, что с белой кошмы, и сами ничего не знали или делали вид, что не знали, а те, которые с пунцовой, — отмалчивались.

Вскоре все выяснилось само собой.

По большим местным праздникам, шесть-семь раз в год (как турниры в Кабире!), устраивало племя общий той. Скачки, пляски, песни, козлодрание, котлы сорокаведерные мясным паром

кипят, маленькие Придатки-шулмусики с головы до ног бараньим жиром да кислым каймаком перемазаны. А в последний день тоя звали какого-нибудь раба-Придатка — непременно того, кто из-за Кулхана пришел, — и заставляли выбирать оружие по руке.

С белой кошмы.

А потом ставили их обоих — Придатка с Блистающим — против бойца-шулмуса.

И в ладоши хлопали — начинайте, дескать!

Вот так хлопнули однажды и для Но-дачи. И для рослого темнокожего Придатка — дубанец, наверное! — что уверенно поднял Но с белой кошмы.

(Еще бы! — подумал я. — Они там, в Дубане, и без того на двуручниках помешаны, прочие роды обижаются... ну да ладно, не о том сейчас речь...)

Истосковавшийся по Беседам Но-дачи начал ее радостно и красиво — благо Придаток попался сообразительный. Три стремительных дуги прочертил в воздухе тяжелый клинок, и слетела верхушка шулмусского малахая из лисьего меха, забился на полынном ветру распоротый рукав чекменя, рассыпались костяные украшения с лопнувшего шнурка на жилистой шее...

А кривая сабля-клыч не сказала в ответ ни слова. Шагнул шулмус, и узкий клинок просто и грубо погрузился в живот нового Придатка Но-дачи. Темная кожа посерела, будто пеплом подернулась, гулко забили барабаны — и вновь остался Но-дачи один.

В шатре. На белой кошме.

А за шатром хлопали в ладоши и счастливо взвизгивали довольные шулмусы. Как же — такая победа!

Даже обнаженное оружие, которым размахивали жители Шулмы, что-то азартно бормотало, захлебываясь пьяным весельем, да только невнятной была речь шулмусских клинков, одышливо присвистывали копья, заикались на взмахе метательные ножи...

Ну и что? Зато могли то, чего не могли Блистающие Верхнего Вэя, Кабирского эмирата, Омелы Кименской, древнего Мэйланя, Лоулеза, Дубана, Хаффы, Хакаса...

Шулма — могла!

Видел Но-дачи — по умению Беседовать один Блистающий дюжины здешних сабель стоит. Стоить-то, конечно, стоит, но вот в чем беда: через себя не переступишь, а уменьем убийства не перекрыть!

Разве что...

Отлежался Но на кошме, отмолчался, и месяца через два, на очередном тое, с другого конца подойти решил.

Пять раз выбивал он боевой топор из рук одноглазого шулмуса-поединщика, пять раз кричал топору: «Опомнись, брат!..»

Не докричался. Глухо ухал топор, как птица ночная, — и все.

А затягивание боя считалось среди шулмусов уловками Гэнтэра, лукавого божка воров и конокрадов, недостойными настоящего мужчины. Зароптали зрители, мелькнул в воздухе волосяной аркан, рухнул хрипящий Придаток, роняя Но-дачи...

...Очнулся Но на кошме.

Белой.

Долго думал большой меч, долго себя наизнанку выворачивал, долго копил в себе скудные крохи решимости; и накопил. После третьего боя, короткого и страшного, отнесли его с почетом на пунцовую кошму и всю ночь выли вокруг Но по-праздничному.

Никогда не забудет двуручный Но-дачи, Блистающий Мэйланя, как снял он с плеч свою первую голову.

Вот ведь как выходит — и чужая голова своей стать может, когда снимешь ее с хозяина.

А Придатка, что в тот памятный день Но-дачи держал, в племя приняли. На одного шулмуса больше стало. Молодец!..

Еще бы не молодец... И себя спас, и Но-дачи. Ведь если какой Блистающий с белой кошмы за год так крови и не попробует — приносили неудачника в жертву Желтому богу Мо, разломав на три части и утопив в священном водоеме.

Все дно — в обломках. Гнилых, ржавых.

Кладбище, как есть кладбище. Братская могила.

А так — хорошо. С пунцовой кошмы на праздничные бои лишь три раза в год берут. И то — против новеньких. Тех, что Беседуют. По старинке. Как привыкли в Мэйлане, Кабире, Хаффе...

Вот поэтому и не рассказывают новичкам, за какие такие дела с кошмы на кошму перекладывают.

...Год прошел. Второй прошел. Третий начался.

И как-то ночью вошли в шатер, переступив через удавленного стража, девять Придатков — из тех, что в разное время были в племя приняты. А у шатра восемнадцать коней землю копытом рыли — девять заседланных, девять — в заводе, под вьюки.

Взяли Придатки с пунцовой кошмы одиннадцать Блистающих — троих братьев-Саев, Но-дачи, потом похожего на Но маленького Шото... еще шесть клинков, проверенных Шулмой...

И — только пыль взвилась за беглецами. Утром кинулась Шулма вдогон — куда там! У ближайшего табуна табунщик пополам рассечен — видно, впрок праздничная наука пошла! — кони на земле бьются с сухожилиями перерезанными, плачут детскими голосами. Пока на дальний выпас пешком, пока...

...Прошли они Кулхан. Семеро — из девяти Придатков. Девять — из одиннадцати Блистающих.

И четыре лошади.

Прошли. Обратно. Зная, что там, за песками, далеко, есть на земле место такое — Шулма.

И земля им тесной показалась.

ГЛАВА 9

1

— Интересное дело... — задумчиво прошелестел я, когда Детский Учитель надолго замолчал. — Ну, допустим... А почему тогда они именно к тебе пришли, на жизнь жаловаться? Мало ли в том же Кабире Детских Учителей? И вообще...

— Учителей-то немало, — вмешался Обломок. — А Детский Учитель семьи Абу-Салим — один. И слово его, как Верховного Наставника из Круга Опекающих, дороже иных слов стоит. Вот так-то! И не только в Кабире.

Я не особенно разбирался в иерархии Детских Учителей, но сказанного Обломком было достаточно, чтоб угомониться и не приставать к маленькому ятагану с лишними вопросами.

— А ты, Дзю? — Видимо, я угомонился, да не совсем. — Ты тоже Верховный Наставник, раз при этом разговоре присутствовал?

— Я — Верховный Насмешник, — ухмыльнулся Дзюттэ. — И я не присутствую. Я прихожу и остаюсь, пока меня не выгоняют. А когда выгоняют, то я все равно остаюсь. Понял?

— Понял, — кивнул гардой я. — Ладно. Наставник, рассказывай дальше.

— Дальше? — тихо переспросил Детский Учитель. — Чтоб дальше рассказывать, надо сперва назад вернуться...

И мы вернулись назад.

...За три месяца до побега попал в шатер к Но-дачи незнакомый Блистающий. Попал — и сразу на пунцовую кошму лег. Его в набеге из чужого племенного шатра выкрали, так что он в Шулме уже лет пять обретался и всему, чему надо, обучен был. В том шатре он вместе с братом-близнецом лежал, только в суматохе набега пропал брат куда-то...

И одной долгой ночью, когда нет иного дела, кроме как спать или разговаривать между собой, рассказал новый Блистающий о том, что недавно случилось в его племени — а был он из известного в Мэйлане рода парных топоров Шуан, не склонных к выдумкам и многословию.

(Да, я неплохо знал когда-то Шуанов по обеим линиям — Верхневэйской и Мэйланьской, — и к многословию они были склонны не больше, чем к умышленной порче Придатков. Хотя — если эта Шулма действительно такая...)

...Случился в племени, где находился тогда Шуан, заблудший топор с короткой рукоятью и подобным луне лезвием, — праздничный той. Скачки-байга, песни-пляски, хмельная арака — все как полагается.

Все, да не все.

Явился в племя в самый разгар тоя чужой Придаток с Блиста-

ющим на поясе. По внешнему виду оба — чистые вэйцы. И пришли от северо-западной границы Кулхана. Почему сами пришли, а не под конвоем заставщиков — неясно, да и лень в праздник разбираться.

Ну, раз пожаловали — становитесь в круг, за цвет кошмы и жизнь Придатка спорить!

Стоят они в круге. Смотрят на шулмусов. И те на них смотрят. Видят — Придаток стройный, узкоплечий, черноглазый, в суконный бешмет затянут; ни вида, ни силы, одни глаза из-под войлочного колпака лихим огнем горят. Такие огни в полночь на заброшенных курганах-могильниках видеть можно — можно, да не нужно. Кто их близко видел, те домой редко возвращаются.

А Блистающий, что только что был на поясе, а теперь уже в руке подрагивает, — вроде бы обычный прямой короткий меч, клинок треугольный, двулезвийный, только у гарды-крестовины тот клинок чуть ли не в полторы ладони шириной, а у острия — полукругом под бритву сточен.

(—...Чинкуэда, — бросаю я.

— Что? — удивляется Детский Учитель.

— Чинкуэда, говорю. Есть такая семья у нас на южных солончаках. Затворники, в свет редко когда выбираются...

— А... ну хорошо. Пусть будет по-твоему. Дальше говорить?)

...Вышел к гостю незваному в круг шулмус с двумя копьями. Поглядел на соперника Придаток, звонко расхохотался у него в руке Блистающий Чинкуэда, и затем острием указал по очереди на семерых шулмусов, что впереди прочих стояли.

Выходите, мол!..

Те и вышли. Стоят ввосьмером. Ждут.

— Джамуха! — сказал стройный Придаток и в грудь себя кулаком стукнул. Дескать, зовут меня так — Джамуха...

...Знал топор Шуан, что любой Блистающий по уменью своему много шулмусских клинков на весах Беседы перевешивает. А вот то, что новенький Блистающий, не обожженный Шулмой, не терявший Придатков, с первого же раза восьмерых шулмусов играючи положит, — этого топор Шуан не знал.

И двуручный Но-дачи не знал. А узнав — удивился.

(И я удивился.)

Покачался окровавленный Чинкуэда над трупами, посвистел лениво в тишине и в ножны лег, не вытершись. Придаток его улыбнулся нехорошо, в карман бешмета полез и пригоршню ушей оттуда достал. На землю бросил.

По серьгам признали шулмусы уши своих пограничных заставщиков.

Через полгода новый вождь был у племени. Взамен прежнего, зарезанного на глазах у всех.

Звали нового вождя — Джамуха Восьмирукий.

И на поясе его всегда висел прямой короткий Чинкуэда, скорый на смерть.

2

А еще через три месяца указал Чинкуэда острием на четыре стороны света и сказал: «Много земель — одна Шулма. Много племен — один народ. Много людей — один вождь. Кто не согласен — умрет».

Было это незадолго до похищения топора Шуана. И чуть дольше оставалось до дерзкого побега девяти Придатков и одиннадцати Блистающих.

Топор Шуан тоже был среди них.

Он остался в Кулхане. Зыбучка засосала.

3

...Детский Учитель все еще тихо шелестел, сообщая разные малозначащие подробности, молчал Обломок — слишком долго для его характера, — спали мирным сном остальные гости и Гердан-хозяин (интересно, а почему я считаю себя тоже чем-то вроде хозяина, хоть и сам в гостях?), крупные кабирские звезды заглядывали в окно...

Короче, я уже не слушал Детского Учителя, а думал о своем. Вернее, о чужом — о невероятной Шулме, о Но-дачи и о том, что мне его не жалко.

Абсолютно.

Я и сам стоял вплотную к той черте, которую Но перешел волею неумолимых обстоятельств. Я — тут, пока еще тут; он — там, уже там... но нас разделяло не более одной длины клинка. Хороший выпад судьбы — и мы будем рядом.

А моя личная судьба носила имя. Но-дачи. Бежавший из Шулмы.

Нет, ненависть ушла и пока не появлялась, но и жалости не возникало. Скорее уж мне стоит задуматься, что никаких Тусклых я, как ни буду стараться, не найду. Миф рассыпался на глазах, теряя плоть и реальность, — ужасом Кабира, Дурбана, Хаффы оказалась кучка Блистающих из Шулмы, с того конца света.

Бороться с легендой мне было бы страшнее.

Постой, Единорог... ты все-таки собираешься бороться?

Ладно. Отложим до утра.

— ...и он сказал, — пробился сквозь мои раздумья шелест Детского Учителя, — что настанет день, когда Джамухе Восьмирукому станет мала Шулма. И тогда Шулма придет в Кабир. Ты слушаешь, Единорог?

— Да-да, — торопливо звякнул я. — Конечно... Шулма придет в Кабир. И что дальше?

— А дальше, — не выдержал Обломок, — по его словам, мы все станем заложниками собственного воспитания. Пока мы

будем пытаться Беседовать и возмущаться грубостью незваных со-Беседников — Придатки Кабирского эмирата умоются кровью. И вскоре Кабир станет Шулмой. Ясно?!

— Ясно.

Мне действительно было ясно. Да, на месте Но-дачи и его спутников я тоже в первую очередь явился бы к Верховному Наставнику из Круга Опекающих, чье слово весомо в среде Детских Учителей.

— Шулма, если она есть, придет в Кабир не завтра, — медленно продолжал я. — И не послезавтра. Значит, у Кабира есть время. Значит, за это время Детские Учителя эмирата могут успеть многое. Взрослого Придатка очень трудно переучить заново, а вот Придатка-подростка... или лучше Придатка-ребенка... Исподволь, осторожно внедрить в податливое сознание мысль о возможности умышленной порчи друг друга, вовремя подтолкнуть неокрепшую руку, чуть-чуть изменить навыки, когда надо — промахнуться, когда надо — попасть... И когда (если!) Шулма придет в Кабир — ее встретят новые Придатки, чье умение убивать, помноженное на мастерство Блистающих... Бедная Шулма! Да, на месте Но я предложил бы то же самое.

— Ты угадал, Высший Дан Гьен, — со странной дрожью в голосе подтвердил Детский Учитель. — Но-дачи предложил именно этот выход.

— Ну и?..

— И я отказался. Я не знаю, придет ли Шулма в Кабир, но если бы Детские Учителя эмирата согласились на предложение Но-дачи — с этого дня, с этой минуты Шулма уже была бы в Кабире. А Дзю сказал...

— А я сказал, — резко перебил Наставника Обломок, — что за Шулмой не надо далеко ходить, потому что она уже в Кабире! Что Но и его приятели — это и есть Шулма! И если Блистающий способен помыслить о том, чтобы научить детей-Придатков убивать, — он... он должен был навсегда остаться в Кулхане! Добровольно!

Меня поразила горячность шута. Предложение Но-дачи затронуло, вне всяких сомнений, какие-то сугубо личные чувства Обломка — вот только какие?

И опять же — сколько ему лет?

— Договаривай, Наставник, — тоном ниже буркнул Дзюттэ. — Все, не лезу больше...

— Чего уж там договаривать, — отозвался Детский Учитель. — Ушли они. Надо быть полными болванами, чтоб не понять — не дадим мы с Дзю юных Придатков портить. И сами не будем, и другим закажем. А они, беглецы из Шулмы, не глупее нас были. Маленький Шото — тот чуть не с середины разговора зверем на меня косился, а братья-Саи в дверях задержались и говорят: «Видишь, Но, мы же тебя предупреждали... Чистенькие

они все тут, а мы теперь грязненькие — не станут нас в Кабире слушать. Придет Шулма, научит чистеньких пачкаться — да поздно будет. Станут пьяные шулмусы Блистающими владеть, а сами Блистающие Придатками станут. Нет уж, не дадим мы чистеньким вот так, от чистоты душевной, подохнуть! Наша грязь дешевле да проще — сами, сами обучитесь, чему надо... хотите или не хотите». Не понял я сперва, о чем это Саи, а как первое убийство в Хаффе свершилось, так сообразил — только поздно.

— Почему поздно? — спросил я.

— Ты уже почти научился убивать, — тихо ответил Детский Учитель. — Маскин Седьмой из Харзы — учится. Это только из числа тех, кого я знаю. И о ком я знаю. Кто следующий? Шешез? Лунный Кван? Гвениль? А я именно его подозревал в содействии Саям и Но-дачи! Волчья Метла? Кто?! Может быть — я?!.

— Или Обломок, — не подумав, предположил я.

Дзюттэ промолчал — что само по себе было удивительно, — но промолчал он так, что вот мне-то и стало не по себе. Было в его молчании что-то общее с молчанием Фархада иль-Рахша, грозящим прорваться бешеным звоном: «Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби!»

Ну почему, почему я даже после всего случившегося так ужасающе легкомыслен? Говорю, не подумав; лезу, куда не следует; смеюсь, когда стоит быть серьезным, и наоборот...

Впервые я подумал, что, с точки зрения многих кабирцев, я могу оказаться в чем-то похожим на Дзюттэ Обломка. Вот она какая, личина шута...

— А почему ты не рассказал обо всем Шешезу? — поинтересовался я, адресуя этот вопрос Детскому Учителю. — Рассказал бы, и Шешез наверняка принял бы какие-то меры...

— А он и принял, — горько усмехнулся маленький ятаган. — Просто поверить в Шулму и угрозу Но-дачи для Шешеза было ничуть не легче, чем поверить, например, в тех же Тусклых. Вот он и поверил... во все сразу. Поговорил с тобой о Тусклых, провел опрос о целесообразности турнира, поручил нам приглядывать за происходящим, доверил харзийцу Маскину Седьмому поиск Тусклых или хоть кого-нибудь; прислушался к предложению Дзю изготовить для твоего Придатка новую руку... Опять же не лез куда не надо. Каких еще мер ты ждал от Шешеза фарр-ла-Кабир, Единорог?

— Ну... других, — промямлил я.

— Других... Для других мер нужно уметь то, чему нас учат беглецы из Шулмы! Вот так-то...

Слабый шорох — и в дверном проеме возник силуэт Придатка. Я узнал его — теперь мне все легче было различать и Придатков, и те мелкие детали, которые обнаруживали смену их настроения. В дверях стоял Друдл. Придаток Обломка и Детского Учителя.

Нет, кроме Чэна, я никого больше из них не мог пока называть иначе, как Придатками. Ну и ладно... не все сразу.

— Заболтались мы совсем, — как ни в чем не бывало заявил Дзюттэ. — А спать по-прежнему не хочется. Пошли, Наставник, прогуляемся по холодку, остынем... Спи, Единорог, и не сердись, что разбудил. Чувствуешь, какой я вежливый стал? А все твое облагораживающее влияние...

Придаток Друдл неслышно приблизился, Дзюттэ и Детский Учитель устроились у него за поясом — и через мгновение я был единственным бодрствующим в комнате.

А спустя некоторое время я задремал.

И увидел сон.

4

Я висел в черной бархатной бесконечности, сверкая обнаженным клинком. Ледяная мгла слабо мерцала многочисленными искорками, и я догадывался, что каждый дрожащий огонек — это Блистающий, невероятно удаленный от меня и оттого такой же одинокий и беззащитный перед молчащим и равнодушным мраком.

Слабый звон донесся до меня откуда-то снизу — если здесь были верх и низ. Я вгляделся — и увидел крохотный зеленоватый шарик. Как тогда, на улице Сом-Рукха, когда сколотый с гарды убитого Шамшера бронзовый шарик откатился к глиняному дувалу...

Едва эта мысль посетила меня — я ощутил собственный вес и гигантской молнией понесся навстречу растущему шарику, пронзая пустоту, рассекая облака, расплескивая плоть земную и с каждым мгновением становясь все тяжелее.

Потом некоторое время не было ничего.

Совсем ничего.

...До половины уйдя в рыхлый холм, огромным крестом возвышался я над сумрачной равниной, и тучи неслись по мглистому небу, цепляясь за мою рукоять.

А по равнине двигалась странная процессия.

Блистающие и Придатки.

И как только кто-то из них проходил мимо моего холма — я слышал Имена, незнакомые мне, еле различимые в раскатах хриплого грома.

Придаток Артур Пендрагон и Блистающий меч Эскалибур; Придаток Тетра, король фоморов, и Блистающий меч Орна; одноглазый Придаток Один и копье Хунгнир; божественный Придаток Луг, искусный в ремеслах, и копье Ассал; чернокожий лев Антара Абу-ль-Фаварис и меч аз-Зами; Сусаноо-но-Микото,

неистовый бог-Придаток ветра и морских стихий, и его Блистающий меч Десять длaней...

Они шли и шли, и я уже не понимал, кто из них Блистающий, а кто — Придаток; они шли, и гремел гром, и этому не было, не могло быть конца.

Этому не было даже начала.

Зигфрид и его меч Грам; Фрейр и меч Хундингсбана; Тор и боевой молот Мьелльнир; Келтхайр, сын Утидира, и копье Луйн; Роланд и его меч Дюрандаль; Магомет, пророк Божий, и его мечи — Джуль Факар, что значит «Пронзатель», Медхам, что значит «Острый», аль-Баттар, или «Рассекающий», Хатей, или «Смертоносный», и еще два копья — аль-Монсари и аль-Монсави...

И я проснулся, когда гром превратился в голос — усталый, хриплый, слегка севший, словно после долгого крика.

— Будь проклят день, когда оружию стали давать имена! — сказал тот голос.

5

Проснувшись, я не помнил почти ничего, кроме голоса и его последних слов.

— Приснится же такое... — еле слышно лязгнул я, и в этот миг железная рука коснулась моей рукояти. Рядом стоял Чэн, мотая отяжелевшей спросонья головой и часто-часто моргая.

— Приснится же такое... — прошептал Чэн, становясь Чэном-Мной, и я еще раз увидел глазами его памяти равнину, процессию; и услышал голос.

Чэну снился тот же сон. Только запомнил он больше.

— Так, гулять... гулять... — бормотал Чэн-Я, укрепляя ножны на поясе и пробираясь к двери. — На свежий воздух, в холодок...

Я-Чэн даже не сразу заметил, что почти дословно цитирую Обломка, а когда заметил — мы уже находились на улице и с удовольствием впитывали ночную прохладу.

Некоторое время мы прогуливались возле главного входа, думая каждый о своем. Я говорю — «мы», потому что в первую же секунду взаимопроникновения стало понятно — Придаток Друдл рассказал Чэну почти то же самое, что Детский Учитель поведал мне, и нам с Чэном совершенно необязательно обмениваться узнанным для полноты картины.

Так что мы отошли друг от друга на шаг — этот шаг был невидим никому, кроме нас, — и вспоминали подробности ночного разговора.

Каждый сам по себе — и в то же время вместе. Оказывается, «мы» ничуть не хуже, чем «я» или даже «Я-Чэн»...

Неподалеку начинался чей-то сад, совершенно не огороженный, и там оглушительно стрекотали цикады, заставляя вибриро-

вать воздух. Я подумал, что в моей воле бросить все и завтра же покинуть Кабир. Эмират велик, да и дружественных земель немало — и везде меня примут с радостью. Обзаведусь новыми друзьями, ничем не буду интересоваться, никого не буду разыскивать, никому не стану мстить, начну Беседовать вполсилы, чтоб не привлекать лишнего внимания, а по ночам буду отводить душу с Заррахидом...

И никаких тебе забот — ни личных, ни государственных! Уйдут видения горящего Кабира, оборвет свой бег гнедой жеребец, и аль-Мутанабби, первый Придаток на кабирском престоле, снова станет всего лишь именем на одной из пластин латной перчатки. И все вокруг будут думать, что там, в перчатке, есть живая рука — ну а что им останется думать?!

Ночь пахла персиками и рейханом, я счастливо улыбался и перемигивался со звездами, прекрасно понимая, что никуда я не уеду и, в конце концов, все в этой жизни будет идти своим путем — хочу я этого или не хочу.

Своим путем.

Путем Меча.

Только теперь до меня дошел смысл старинной поговорки: «Не мы идем по пути, но Путь проходит через нас». Ведь если так — можем ли мы уклониться, отказаться, свернуть?

Вот я и свернул — за угол, обходя Кобланов дом.

Через пару минут я и Чэн оказались на той самой глухой улочке, которую не раз обозревали во время нашего невольного заточения. Ага, вот на этом самом месте находился Гвениль, когда я из зарешеченного окошка кричал ему, чтобы он срочно сообщил Шешезу о пленении несчастного Единорога; а потом Гвен удалился в переулок...

— А ведь мы предупреждали тебя, Наставник, — донеслось из переулка. — Упрямец ты, однако... был.

Это, наверное, Обломок опять что-то втолковывает Детскому Учителю.

Чуть ли не впервые реакция Чэна оказалась быстрее моей. Я еще только понимал, что резкий скрипучий голос никак не может принадлежать Обломку, а Чэн уже метнулся к угловому забору и, прикрываясь его тенью, мигом оказался у поворота.

И тут как по заказу некая одинокая и взбалмошная тучка решила немного поерзать по небу — и клинок лунного света наискось полоснул по Кабиру, высвечивая ближнюю к нам часть переулка.

И то, что происходило там.

...Прижавшись спиной к задней глухой стене чужого дома, стоял Придаток Друдл, держа руку на эфесе Детского Учителя. Рядом с Наставником огибала кушак Друдла гарда-лепесток Обломка. И я еще некстати подумал, что плотный и приземистый

Друдл сейчас напоминает тростниковую жабу, ждущую очередного комара.

Все мое проклятое легкомыслие... не о том думаю, не о том!..

Напротив переминались с ноги на ногу двое Придатков. Первого из них я узнал бы и в полной темноте, даже несмотря на троицу кинжалов-трезубцев за его поясом. Усы-гарда кинжалов по форме изгиба ужасно напоминала одностороннюю гарду Обломка, хотя в остроте тонких, хищно блестевших лезвий сомневаться не приходилось.

Братья-Саи, приемные дети Шулмы, и их обманчиво нескладный, угловатый Придаток в темной, заправленной в холщовые штаны рубахе с широкими развевающимися рукавами.

Я слегка задержал взгляд на Саях, с врожденным умением Блистающего оценивая их внешний вид — семь граней клинка, цельнокованого вместе с двурогой изогнутой крестовиной, рукоять плотно обкручена грубой веревочной спиралью и завершается простой круглой головкой.

Ни украшений, ни излишеств... ни ножен. Простота во всем. И баланс, должно быть, отличный...

Раньше я подумал бы, что Саи попросту вышли из небогатого рода, — но это раньше.

...Второй Придаток был невысок и гибок, вроде моего Чэна, и в нем угадывались кошачья грация и ловкость, которыми он, пожалуй, с успехом мог бы восполнять недостаток веса или силы. Ножны, висевшие за его плечом, пустовали, а обнаженный Блистающий в правой руке и впрямь напоминал сильно уменьшенного Но-дачи.

«Шото, — догадался я. — Маленький Шото. А где же остальные? Хотя... если Но-дачи уехал в Мэйлань, то и остальные скорей всего разъехались по разным городам, чтобы терроризировать эмират одновременно в нескольких местах. А эти — остались. Шешез говорил, что в Кабире в последнее время тихо... странно! Эти остались — и тихо?!»

— Но велел нам тебя не трогать, Наставник, — тягуче пропел Шото, и «Но» получилось у него, как «Ноо». — Впрочем, он уехал, а мы непослушные, знаешь ли... Можно, мы тебя потрогаем, Наставник? Можно, я — я сам! — тебя слегка потрогаю? Ты щекотки не боишься?..

К Обломку Шото не обращался, подчеркнуто игнорируя шута.

Братья-Саи хихикнули и отвели своего Придатка шагов на десять назад.

— Это моя Беседа, Дзю, — тихо и властно сказал Детский Учитель. — Моя. Не вмешивайся.

Он произнес это таким тоном, одновременно покидая ножны, что даже я, как невидимый соглядатай, почувствовал — это ЕГО Беседа.

Во всяком случае — пока.

Шото коротко присвистнул и кинулся вперед.

6

Они сошлись почти вплотную — ни я, ни тем более Гвениль никогда не смогли бы долго работать на такой дистанции, — и даже мне было сложно успевать делить Беседу на отдельные фразы и оценивать смысл каждой.

Впрочем, «сложно» не значит «невозможно». И если бы я был не снаружи Беседы, а внутри ее, то это происходило бы гораздо проще.

На первый взгляд Шото и Детский Учитель Беседовали очень похоже, в основном полагаясь на короткие рубящие удары почти без замаха и ни разу не ударяя дважды на одном и том же уровне. Только маленький ятаган бил гораздо сильнее за счет центра тяжести, смещенного ближе к концу клинка (как у любого Блистающего из рода Ятаганов), а Шото с его серединным балансом на два пальца от плоскости квадратной гарды не был столь подвержен инерции удара.

Отчего и тратил значительно меньше сил на возвращение после промаха.

Фраза. Еще одна. Две фразы подряд, разрыв дистанции и пауза. Вопрос. Ответ. Вопрос...

Постепенно я поймал нужный ритм, и следить за Беседой стало легче.

Вот тогда-то я и увидел главное.

Суть Беседы в глухом переулке спящего Кабира крылась не в том, что Придаток Шото держал своего Блистающего двумя руками, а Друдл — одной, и впрямь став похожим на скачущую жабу с мелькающим языком-ятаганом (взгляните на жабу с точки зрения комара, и вы поймете, что я хочу сказать!). И не в том, что более легкий Шото не мог принять на себя всю мощь рубящего ятагана, и его Придатку чаще приходилось уворачиваться, тогда как Друдл упрямо лез вперед и Детский Учитель всякий раз оказывался на пути визжащего Шото, заставляя того искать все новые лазейки в обороне Наставника.

Нет, не это превратило Чэна в каменную статую, не это заставило меня внутренне слиться с чужой Беседой, стараясь не пропустить ни одного движения.

Просто сейчас в переулке Беседовали не Детский Учитель семьи Абу-Салим и прошедший Шулму убийца-Шото. Это была Беседа непосредственно Кабира и Шулмы. Беседа прошлого и настоящего, извечный спор мудрого Мунира и гордого Масуда.

И Путь Меча был достаточно широк, чтобы вместить в себя и первое, и второе. Ручей, некогда разделенный молнией надвое, вновь слился воедино — и струя враждовала со струей.

Я видел, как Наставник изо всех сил борется сам с собой, пытаясь сломать воздвигнутую десятилетиями преграду Мастерства Контроля, помноженную на навыки именно Детского Учителя!

Уже трижды он мог пробить брешь в защите Шото, и пробивал, и в последний момент судорожно отдергивался или проходил впритирку к Придатку Шото — в лучшем случае рассекая одежду.

Зато сам Шото не ограничивал себя ничем, работая исключительно на поражение, — и при таком положении дел он обязательно рано или поздно достанет тело Друдла!

Рано или поздно.

И останавливаться он не будет.

Шото не Беседовал. Он дрался. А Детский Учитель... он хотел драться. Он страстно хотел этого — всей душой, всем существом! — но его душа в последнюю, самую важную секунду говорила: «Нет!»

«Фархада бы на его место!» — еле успел подумать я, и тут случилось непредвиденное.

То, на что никак не мог решиться Наставник, сумел сделать Придаток Друдл!

Когда маленький ятаган, чуть не плача от злости на себя самого, в очередной раз отдернулся от незащищенного бедра Придатка Шото, не разрубив даже полы халата, — Придаток Друдл с нечленораздельным криком вдруг прыгнул вперед, едва не опрокинув Придатка Шото, и изо всех сил ударил того коленом в низ живота.

Это было грубо и грязно, это противоречило всем канонам и основам Беседы, вместе взятым, и это было как нельзя кстати. Разумеется, кстати отнюдь не для Придатка Шото, взвывшего от боли и согнувшегося пополам.

И вот что удивительно — если от мастерства Наставника я испытывал немалое удовольствие, то поступок Друдла просто привел меня в восторг. Правда, несколько животный восторг...

Отчего мне тут же стало неловко.

Детский Учитель просвистел возле открытой для атаки головы Придатка Шото, смахнув прядь волос и так и не сумев заставить себя повторить удар Фархада, расколовший череп взбесившегося чауша, — и один свист наложился на другой.

Зрители не выдержали, становясь участниками.

Сай Первый на две трети вошел под правую ключицу Друдла. Шут охнул, пальцы его разжались, и Детский Учитель звякнул о булыжник мостовой.

Угловатый Придаток братьев-Саев стоял на прежнем месте, но в руке его уже покачивался рукоятью вверх Сай Второй, готовый в броске последовать за братом.

— Я ж тебе сто раз твердил, Шото, — проскрипел Сай Первый, пока халат Друдла вокруг него набухал, пропитываясь кровью, — не лезь в герои, не нарывайся без нужды. А тебе все забава... Ну что я Но сказал бы, если бы этот придурок твоего Придатка попортил бы?! Ладно, заканчивай...

— С-скотина! — злобно прошипел Шото и...

...Время — очень странная штука. Чэну понадобилось всего пять прыжков, чтобы оказаться в гуще событий, и за эти считанные мгновения успело произойти многое, о чем гораздо дольше рассказывать, чем оно заняло времени на самом деле.

Видимо, время бывает настоящее и ненастоящее. Прошлое, будущее — это для философов. А для Блистающих — только настоящее и ненастоящее.

Это было настоящее время.

...Первый прыжок. Шото, еще не замечая меня и Чэна, двумя косыми взмахами перечеркивает раненого Друдла, и тот грузно падает на колени, зажимая левой ладонью рассеченный живот. Шото взлетает вверх, его Придаток делает шаг вперед — сейчас, сейчас его нога опустится...

...Второй прыжок. В Чэна летит заметивший нас Сай Второй, летит быстро и умело, ничуть не хуже метательных ножей из Фумэна, но он гораздо больше медной монетки «гитрифи», так что я без особого труда подхватываю его на кончик клинка, гашу разгон и, не обращая внимания на ругательства беспомощного Сая, кружу в воздухе и отшвыриваю к стене. Нога Придатка Шото с силой опускается на валяющегося Детского Учителя, и маленький ятаган с треском ломается у самой рукояти.

Неровные края излома тускло блестят в лунном свете, и Детский Учитель молчит, как всегда... Нет, теперь уже — навсегда. «Наставник!» — истошно воет Дзюттэ, а сверху уже рушится хохочущий Шото...

...Третий прыжок. Друдл, стоя на коленях, отнимает левую руку от живота — и в ней тут же оказывается Обломок, прильнувший всем своим толстым и тупым клинком к предплечью Друдла. Два шута на миг становятся одним целым, и я вижу, как Шото с маху налетает на Дзюттэ и с визгом бессилия отскакивает, едва не сломавшись. Еще один удар — и Дзюттэ внезапно проскальзывает в момент соприкосновения, намертво заклинив Шото между своим четырехгранным клинком и лепестком гарды. Резкий поворот — и...

...Четвертый прыжок. Звон, предсмертный вопль Шото — и его обломки ложатся рядом с мертвым Детским Учителем. Друдл хрипит, Дзюттэ валится на мостовую, откатываясь в сторону, и следом падает сам Друдл. Навзничь. Вонзившийся в его тело Сай Первый упирается рукоятью в камень, и вес Друдла в долю секунды ломает пополам тонкий клинок кинжала. Обвитая веревкой рукоять выскальзывает из-под недвижного шута — и все, что осталось от Сая, лежит теперь вплотную к куску лезвия Шото и рукояти Детского Учителя. Кучка мертвого металла, мертвого, мертвого, мертвого, мертвого...

...Пятый прыжок. «Ты же не станешь убивать безоружного! — кричит Придаток Шото, отступая назад и стараясь не встречаться взглядом с Чэном-Мной. — Ты не сможешь...» Глаза его останав-

ливаются на железной руке Чэна, в которой зажат я, и запоздалый страх отражается в них — чтобы остаться там навсегда. «Ты не сможешь...» — почти беззвучно шевелятся его губы, я вижу это глазами Чэна, я слышу это ушами Чэна, и запретная черта совсем близко, но еще ближе иссеченный Друдл, и убитый Детский Учитель, и обломки тех, кому лучше было бы вовсе не рождаться...

— Ты не сможешь...

— Да? — спрашиваю я, нащупывая острием сердце Придатка Шото и выскальзывая обратно, прежде чем оно перестало биться.

— Да? Ты действительно так считаешь?

Это была легкая смерть.

Он такой не заслуживал.

Чэн перебрасывает меня в левую руку, и несколько горячих капель срываются с моего клинка. Придаток с последним Саем уже успел приблизиться к нам, и Сай Третий стремительно кидается в лицо Чэну. Я не двигаюсь. Я уже выполнил свое новое предназначение, и теперь очередь Чэна собственным телом ощутить, что это значит — оборвать чужую жизнь.

И Чэн закрывает лицо правой рукой. Металл звенит о металл, сжимаются пальцы латной перчатки, хватая вскрикнувший Сай, — и Чэн, словно сухую ветку, ломает узкий граненый клинок. После чего кольчужный кулак с зажатым в нем куском Сая бьет угловатого Придатка в висок.

Слышен тупой хруст и звук падения тела.

Чэн долго и безучастно смотрит перед собой, а потом с размаху швыряет останки Сая Третьего на труп его Придатка.

— Будьте вы прокляты! — кричит Чэн, непонятно кого имея в виду: братьев-Саев, Шото, Но-дачи, их Придатков, судьбу, Шулму...

Или всех стразу.

Я оглядываюсь вокруг.

«Шулма пришла в Кабир, — думаю я. — Клянусь Муниром и Масудом, Тусклыми и Блистающими, клянусь рукой аль-Мутанабби...»

Я — это Шулма.

7

...Друдл с трудом оперся на левый локоть — правая рука бессильной плетью тянулась вдоль тела, и рукав халата был тяжелым и липким от натекшей крови — и медленно повернул голову.

Один глаз шута смотрел на Чэна, другой уже затянула глянцево блестевшая опухоль, и казалось, что Друдл подмигивает, кривя лицо в привычно-шутовской гримасе.

— Больно... — прошептал Друдл, почти не двигая губами. — Ой, как больно... очень. Ой...

Чэн наклонился и бережно поднял с мостовой Дзюттэ. Я качнулся острием вперед и промолчал. Мне нечего было сказать Обломку.

«Ты — Единорог, потому что дурак, а я — Обломок, потому что умный, и еще потому, что таким, как ты, рога могу обламывать...»

Да, Дзю, можешь. Сам видел.

— Правильно... — Друдл говорил все медленней и тише. — Возьми его. Теперь — ты — шут... Кабира... Единственный. Пусть смеются... пусть... это лучше, чем убивать... Как у Друдла-дурака... обрывается строка... до свиданья, Чэн-в-Перчатке!.. встретимся через века... ой, жжет-то как!..

Больше он не двигался.

Несколько теплых и соленых капель упали на мою рукоять.

Нет, не кровь.

Слезы.

А потом Чэн отвернулся от неподвижного Друдла, и глаза Чэна Анкора были суше и страшнее песков Кулхана. Он сунул Дзюттэ за пояс, рядом с моими ножнами, и, по-прежнему держа меня в левой руке, пошел прочь от переулка.

У стены он остановился, нагнулся и железной рукой, на тыльной стороне которой налипли волосы и клочок сорванной кожи, поднял с земли Сая Второго.

Я молчал.

Я бы сделал то же самое.

И вот так, с Саем в правой руке и со мной в левой, Чэн Анкор, Чэн-в-Перчатке, вернулся в дом.

Постскриптум

Звон оружия, и без того еле слышный из-за расстояния, не разбудил спящих гостей в доме Коблана. А даже если бы и разбудил — мало ли Бесед случается в Кабире хоть днем, хоть ночью...

Просто Фальгриму Беловолосому очень захотелось пить. А за водой пришлось выходить из комнаты, в темноте спускаться вниз, долго искать кувшин на не убранном после вчерашней попойки столе, потом отводить душу по поводу отсутствия в кувшине — как и в бутылях — хоть какой-нибудь влаги...

Когда выяснилось, что никто в доме уже не спит и даже наоборот — наспех одевшись, все толпятся в дверях и кроют Беловолосого на чем свет стоит, — Фальгрим долго недоумевал, вяло отмахивался от наскоков злого спросонья Диомеда.

За что? Вернее — почему?! И шел-то он тихо, и с лестницы падал всего два раза, и по стенам колотил не со зла, а для ориентации; а что ругался — так ведь вполголоса, и по уважительной

причине, когда проклятущий стол грохнулся ни с того ни с сего прямо ему на ногу, а нога-то босая...

В общем гаме — а недоумевал Фальгрим ничуть не тише, чем вел себя до того, — как-то не сразу обратили внимание на сохранявшего хладнокровие Коса ан-Танью, первым обнаружившего отсутствие Чэна Анкора и шута Друдла, а также отсутствие их оружия в оружейном углу.

Зато когда обратили... было уже поздно.

...Все поспешно расступились, словно повинуясь неслышному приказу, и удивленно задребезжало оружие, когда вошел Чэн Анкор. Он, не задерживаясь, обвел тяжелым взглядом собравшихся, потом прошел к опрокинутому столу и тщательно вытер свой меч о скатерть.

На полотне остались ржаво-красные полосы.

— Там... — глухо бросил Чэн и махнул правой рукой, в которой был зажат узкий кинжал с изящно выгнутой крестовиной, куда-то в сторону левого крыла дома. — Там, в переулке... Коблан, захвати факел... темно в Кабире... темно!..

И железный кулак сжался еще сильнее, будто узкий кинжал мог вырваться и сбежать или ядовитой змеей броситься на кого-нибудь.

Все кинулись на улицу, машинально прихватив из угла свое оружие, и никто поначалу даже не успел удивиться тому, что из-за пояса Чэна торчит рукоять тупого кинжала-дзюттэ, который вечно таскал с собой шут Друдл Муздрый.

Все, кроме Кобланова подмастерья, случайно оставшегося этой ночью в доме своего устада. Чэн, спрятав Единорога в ножны, придержал подмастерья за рукав наспех наброшенного чекменя — и почему-то первым, что бросилось в глаза обернувшемуся юноше, был кинжал-дзюттэ шута за поясом Чэна Анкора Вэйского.

— В кузню! — Чэн страшно оскалился, что должно было, наверное, означать улыбку, и властно подтолкнул остолбеневшего парня. — Ключи не забудь!..

Примерно через час, когда бойня в переулке перестала быть тайной, когда проводили обреченными взглядами паланкин, где над телом Друдла — изредка еще содрогающимся — склонился личный лекарь эмира Дауда, чьи старческие пальцы с суетной безнадежностью перебирали в сумке какие-то склянки; когда у маленькой Чин кончились слезы, а у Фальгрима — проклятия, когда никто так и не решился назвать своим именем то, что совершил в эту ночь однорукий Чэн, — короче, когда все наконец вернулись в дом, а затем под предводительством сурового Коблана прошли в кузню, то вопросы, готовые сорваться с языков, так и остались незаданными.

Дверь в Кобланово «царство металла» была распахнута, в глубине у раскрытого сундука виновато разводил руками встрепанный подмастерье...

А на шаг от дверного проема стоял Чэн Анкор, с головы до ног закованный в железо.

Во всяком случае, так показалось собравшимся, хотя сам Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, встань он случайно из своего могильного кургана, увидел бы, что немалая часть его знаменитых лат со временем подрастерялась, отчего тяжелый доспех перестал быть тяжелым, став чуть ли не вдвое легче.

И конечно же, узнал бы неистовый Абу-т-Тайиб свой кольчужно-пластинчатый панцирь с выпуклым нагрудным зерцалом синей стали и сетчатым пологом с разрезами, опускающимся до середины Чэновых бедер; узнал бы вороненые наручи и оплечья, подбитые изнутри, как и панцирь, двойным лиловым бархатом, между слоями которого для упругости был уложен конский волос; узнал бы островерхий просечной шлем со стрелкой, закрывающей переносицу хозяина, и свисающей на затылок кольчатой бармицей...

На овальном зерцале было выбито двустишие-бейт, которое аль-Мутанабби когда-то посвятил себе и своему мечу:

Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Словно канули в безвременье века и события, и вновь заговорил первый эмир Кабирский — пусть лишь память осталась от аль-Мутанабби.

Память, да еще доспех.

Пускай и неполный.

Поножей, к примеру, не было. И наколенников. И сапог, металлом окованных. Не завалялись в сундуке. И пояса боевого со стальными бляхами не отыскалось, так что пришлось Чэну Анкору своим старым поясом талию перехватывать.

Не в поясе, впрочем, дело, а в том, что висел на нем в будничных кожаных ножнах прямой меч Дан Гьен по прозвищу Единорог; а по обе стороны от пряжки торчали рукояти двух кинжалов: тупого дзюттэ Друдла и того узкого сая, что был подобран в злосчастном переулке.

— Прощайте, — ни на кого не глядя, бросил Чэн, и все заметили, что теперь и левую, здоровую руку Чэна обтягивает латная перчатка.

— Прощайте. Кто-нибудь пусть передаст эмиру Дауду — Чэн уехал в Мэйлань, а в Кабире еще долго будет тихо, не считая сплетен. Кос, ты отправляйся домой и собери меня в дорогу.

И зачем-то добавил еще раз:

— Я еду в Мэйлань. Один. Один против неба...

* * *

...Дворецкий Чэна, худой и строгий ан-Танья, вышел на улицу, накинул на плечи короткий, фиолетовый с серебром, плащ — цвета дома Анкор — и задумчиво коснулся эфеса своего неизменного эстока.

— Как же, один... — негромко проворчал Кос. — А кто тогда на тебе, Высший Чэн, все это железо застегивать-расстегивать будет?! Ты меня пока еще не увольнял... а уволишь, так и вовсе ты мне не указ, куда да с кем ехать! Верно?..

И, не дожидаясь первого шага ан-Таньи, согласно звякнул эсток с витой четырехполосной гардой, на черной стали которой было выбито клеймо — вставший на дыбы единорог.

Верно, мол...

А в кузне что-то горячо доказывала Фальгриму Беловолосому благородная госпожа Ак-Нинчи, подкрепляя свои доводы такими отнюдь не благородными выражениями чабанов Малого Хакаса, что покрасневший Фальгрим только головой крутил да крепче опирался на свой двуручный эспадон Гвениль. И смуглый Диомед из Кимены восторженно крутил кривым мечом-махайрой, едва не задевая подошедшего Коблана и приговаривая возбужденно:

— Все правильно, Чин, все правильно... да мало ли что он нам сказал! Эмиру и без нас все подробности сообщат, найдутся доброхоты... слушай, Черный Лебедь, ты же молодец, ты даже сама не знаешь, какой ты молодец!.. Только Метлу поставь, а то ты мне сейчас глаз выколешь...

...Над Кабиром вставало солнце.

Над далеким Мэйланем вставало солнце.

И там, на краю света, за очень плохими песками Кулхана, за Восьмым адом Хракуташа, где Ушастый демон У перековывает негодных Придатков, глухо ворча и играя огненным молотом, — над невероятной Шулмой тоже вставало солнце.

Лучи его весело играли на воде, на барханах, на Блистающих, бывших некогда просто оружием, и на оружии, еще не ставшем Блистающим, — потому что все равны перед восходом.

Потому что — утро.

Книга II
МЭЙЛАНЬ

Часть IV
ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ

Подобен сверканью моей души блеск
моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он —
радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня,
отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба,
прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его
настоящий цвет —
Волна переливов обманет глаза, как
будто смеясь в ответ.
Он тонок и длинен, изящен и строг,
он — гордость моих очей.
Он светится радугой, он блестит,
струящийся, как ручей.
Живой, я живые тела крушу; стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый
из нас восстал!..

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби

ГЛАВА 10

1

Солнце неторопливо выползало из рассветной дымки, окрашивая в нежно-розовые тона далекие полоски облаков на востоке, и негромко шелестели узорчатые листья придорожных тутовников, вплетая в свой шум журчание суетливого ручья. Утро, подобно занавесу в балагане площадных лицедеев-мутрибов, распахивалось от знойной Харзы до отрогов Сафед-Кух, и мир готовился родиться заново.

Начинался день. Новый день.

И уже простучали по бревенчатому мостику с шаткими перилами копыта коня...

Нет. Двух коней.

Двух — потому что мой не в меру верный дворецкий Кос ан-Танья все же увязался за мной. И я ничего не смог с этим поделать.

Сначала я приказал — и Кос впервые ослушался приказа. Тогда я сменил тактику и попытался его уговорить. С тем же успехом я мог бы уговаривать стену комнаты, в которой мы находились. С той лишь разницей, что стена бы молчала, а у упрямого ан-Таньи на всякий мой довод находился незыблемо логичный ответ, и этот ответ никак меня не устраивал — так что спор быстро зашел в тупик.

Тогда я разозлился. Наверное, я был не прав; наверное, это было глупо — нет, не наверное, а наверняка! — но это я понимаю уже сейчас, а тогда я просто вышел из себя и заявил Косу, что он уволен.

Окончательно и бесповоротно.

На что мой дворецкий улыбнулся с просто возмутительной вежливостью и затребовал письменного подтверждения.

Еще было не поздно одуматься, но я настолько разгневался, что тут же взял лист пергамента и костяной калам, пододвинул бронзовую чернильницу и — и на одном дыхании написал приказ об увольнении.

Об увольнении моего дворецкого Коса ан-Таньи.

Я лишь запоздало удивился, подписываясь правой, железной, рукой, — удивился не столько своему поспешному решению, сколько тому, с какой легкостью сумел удержать в новой руке калам.

Причем текст вышел вполне разборчивым, хотя и несколько корявым, а роспись оказалась достаточно похожей на старую.

Кос самым внимательным образом прочитал приказ, удовлетворенно кивнул, помахал пергаментом в воздухе, чтобы просохли чернила, и послал гонца к городскому кади, дабы тот заверил подлинность документа.

Пока гонец мотался туда-сюда, Кос равнодушно глядел в окно, а я еле сдерживался, чтобы не треснуть отставного дворецкого чернильницей по голове.

Наконец посыльный привез пергамент, свернутый в трубочку и запечатанный личной печатью городского кади Кабира. Ан-Танья сунул свиток за отворот халата и повернулся ко мне.

— Итак, надо понимать, что я уволен? — зачем-то осведомился мой бывший дворецкий. Впрочем, Кос всегда отличался особой педантичностью.

— Да! — раздраженно подтвердил я. — Ты что, читать разучился?! У-во-лен! И теперь ты можешь идти...

— Нет уж, дорогой мой, это ТЫ теперь можешь идти, — внезапно перебил меня ан-Танья, закладывая большие пальцы рук за пояс, и подробнейшим образом объяснил мне, Высшему Чэну

из семьи Анкоров Вэйских, наследному вану Мэйланя и так далее, куда я теперь могу идти.

Ох и далеко мне пришлось бы идти, послушайся я Коса!

— ...а я поеду с тобой, потому что, во-первых, ты без меня пропадешь, не добравшись даже до Хаффы, а не то что до Мэйланя, а во-вторых, ты мне больше не указ. Куда хочу, туда и еду. А хочу я туда, куда и ты. И кстати, с тебя еще выходное пособие, — закончил он.

Сперва я остолбенел и решил, что настал конец света, а я этого не заметил. Потом я понял, что конец света здесь ни при чем, а просто зря я уволил этого негодяя.

И безропотно выдал ему выходное пособие.

С которым он и отправился на базар закупать провизию в дорогу.

А утром следующего дня мы — я и сияющий, как новенький дирхем, ан-Танья — выехали из восточных ворот Кабира и свернули на Фаррский тракт, раньше именовавшийся дорогой Барра.

«Мэй-лань! — звенели о булыжник подковы моего коня. — Мэй-лань, мэй-лань, мэй...»

2

Ехали мы не слишком торопясь — путь впереди лежал неблизкий и не на один день, — но и нигде особенно не задерживаясь. По дороге мы молчали — мне до сих пор было стыдно за свою вчерашнюю вспышку, а Кос никогда и не отличался особой многословностью.

Я понемногу привыкал к тяжести доспеха, поначалу изрядно сковывавшего движения, то и дело возвращаясь мыслями к ночной Беседе... нет, к ночной схватке, в которой погиб Друдл.

И не он один.

Да, остальных убил я. Я и Единорог. Он-Я. Или Я-Он. Мы. И, сколько ни играй словами, это было страшно. Страшнее, чем отрубленная рука и алая кровь на зеленой траве. Ведь то была моя рука, моя кровь...

А это — чужая.

Но пролитая мной.

Страшна была даже не сама смерть. Страшна была та легкость, с которой я превратил живое в неживое. Ах, как просто это оказалось!.. До ужаса просто. И теперь я боялся сам себя.

Как и Единорог.

Оказывается, свыкнуться с мыслью о возможности убийства совсем нетрудно. Ты просто снимаешь с себя тяжесть постоянного контроля — словно доспех снял, — затем ты всего лишь продолжаешь начатое движение, не останавливаясь... и вот уже кли-

нок с убийственной точностью нащупывает живое сердце, трепещущее сердце — и входит в него.

Вот и все.

И ты чувствуешь, потому что ты — это меч, а меч — это ты. Потому что таким же надтреснутым стоном отдается где-то глубоко внутри предсмертный звон сломавшегося клинка. Потому что он тоже живой — теперь-то я знаю это.

Но я знаю и другое. Я знаю, что значит слово «Враг». Есть в нашем мире такое подлое слово, и пишется оно с большой буквы на всех языках. Ты бы меня понял, смешной и грозный шут Друдл... Да, ты бы меня понял. Враг — это... это Враг. И если ты не убьешь его — он убьет тебя. Или твоего друга. Или чужого друга. Или убьет твой меч. Или меч убьет его...

Но, убивая врага, этим самым ты тоже убиваешь чьего-то друга.

Я невольно скосил глаза на рукоять Сая Второго, торчавшего из-за моего пояса. Сай молчал. Во всяком случае, мне хотелось бы, чтобы он молчал. Потом я положил железную ладонь на рукоять Единорога. Он тоже молчал, думая о своем, и я не решился его тревожить.

Похоже, Единорог, как и я, не вполне пришел в себя после вчерашнего... О Творец, какие простые истины узнаем мы иногда, и до чего же трудно привыкать к жизни, в которой есть место вот таким простым истинам!..

...Пополудни мы устроили короткий привал. Кос молча помог мне выбраться из доспеха, и я сумел слегка размяться. С непривычки тело немного ломило, и завтра это наверняка даст о себе знать, но я уже понимал — привыкну. Когда я ребенком впервые взял в руки Единорога, он тоже показался мне несуразно длинным и тяжелым. А эта железная одежда — не меч. Ею не пользоваться надо, а носить. Предки ведь носили — и не жаловались. Или, может, жаловались — но все равно носили. Времена такие были... вроде наших времен.

Ладно, хватит об этом. Впереди еще столько всего... Чего — всего? Кто его знает... Поживем — увидим.

Если доживем.

Вот с такими веселыми мыслями мы наскоро перекусили холодным мясом с просяными лепешками, запивая еду кислым вином из бурдюка. Потом, спустя полчаса, я снова облачился в доспех аль-Мутанабби и взобрался на недоуменно косившегося на меня коня.

Свистнула плеть, конь оскалил желтые зубы в подозрительной ухмылке — и мы поехали дальше.

Мерно покачиваясь в седле, я думал о том, что возьмись я рассказывать кому-нибудь о первом дне нашего пути в Мэйлань, то не смог бы сообщить ничего интересного. Ну, выехали из Кабира... ну, привал... дальше вот едем... Все. Как же это, однако,

прекрасно — когда с тобой ничего не происходит! А дни, богатые событиями (и ночи тоже!), пусть отправляются под хвост к Ушастому демону У!..

К вечеру мы добрались до караван-сарая, одного из многих, которыми изобиловал Фаррский тракт. Это дня через четыре, когда мы свернем северо-восточнее Хаффы, с ночлегом, говорят, будет сложнее — и то ненамного.

Я вознес мысленную хвалу благоустроенности эмирата, и мы с Косом по молчаливому согласию решили здесь заночевать, что было вполне разумно.

3

Наутро я проснулся раньше Коса, чего никогда не случалось, пока он был моим дворецким. Теперь же ан-Танья справедливо решил, что, как вольный человек, он может отсыпаться столько, сколько захочет, и при этом храпеть на всю выделенную нам келью. Имелся определенный соблазн потихоньку улизнуть от него, пока он спит, но я сильно сомневался в успехе подобного предприятия.

Все равно ведь догонит, рано или поздно. Уж я-то знал своего бывшего дворецкого.

Честно говоря, я и сам малость поостыл и не очень-то стремился отделаться от ан-Таньи. Да и доспех с его помощью снимать-надевать гораздо легче...

Тем не менее на этот раз я решил обойтись без доспеха и оделся быстро и бесшумно — правая рука действовала вполне нормально, и я уже начинал воспринимать ее как обычную часть своего тела, что даже немного пугало, — после прицепил к поясу ножны с Единорогом, сунул рядом Дзюттэ Обломка и отправился в харчевню на первом этаже караван-сарая, намереваясь потребовать завтрак.

Сая Второго я вонзил в деревянную панель стены, где и оставил.

...В харчевне за длинными, крепко сбитыми столами уже сидело несколько постояльцев. Похоже, все они с утра пораньше успели не только позавтракать, но и изрядно приложиться к напитку, гораздо более крепкому, чем ключевая вода. Посему разговаривали они весьма громко, перебивая друг друга, и каждый слушал в основном сам себя.

Вообще-то я не большой любитель подслушивать чужие разговоры, но на этот раз я остановился на верхней ступеньке лестницы, невидимый снизу, и прислушался, заинтересовавшись предметом беседы.

Предметом беседы был я.

— ...да врешь ты все! — рокотал внизу чей-то бас, слегка надтреснутый, как порченый кувшин.

— А вот и не вру! — возмущался его собеседник, чуть ли не переходя на визг. — То, что Чэну Анкору на турнире руку отрубили, все знают?! Отрубили или не отрубили?!

— Ну, отрубили, — подтвердили сразу два или три голоса. — По локоть. Или по плечо. Или еще дальше.

Я криво ухмыльнулся и положил руку аль-Мутанабби на рукоять Единорога, чтобы он тоже послушал. И вздрогнул. Сверху мне не был виден оружейный угол, где стояло оружие болтунов, но зато теперь я сам услыхал еще один разговор.

Блистающие в углу говорили о том же.

Я снова ухмыльнулся, настроился на голоса людей — но руки с меча не снял.

На всякий случай.

— А то, что у Высшего Чэна теперь опять две руки — это знаете?! — продолжил визгливый.

— Ну, говорили люди... — неуверенно ответствовал бас, явно смущенный напором. — Мало ли что говорят в Кабире... вот еще говорили, что ночами по площади Опавших Цветов ракшас-людоед ходит и никого не жрет, только вздыхает...

— А откуда тогда известно, что людоед? — заинтересовался кто-то.

— Так у него изо рта нога человечья торчит! Он ее выплюнуть не может, а целиком она не глотается. Вот он оттого и вздыхает, а она пальцами шевелит...

— Кто?

— Да нога же! Босая она...

— Сам ты ракшас! — визгливый чуть не захлебнулся от злости. — Я тебе про Чэна, а ты мне про ногу! Говорю вам, что сам видел — обе руки на месте, и одна — железная! И пальцами шевелит!..

— Нога?

— Рука!

— И я видел... — еще один голос начал было говорить что-то в поддержку визгливого, но тот немедленно перебил говорящего — видимо, опасаясь очередного ухода разговора в сторону.

— Так это еще не все! Кто Чэну руку железную ковал? Коблан Железнолапый, вот кто!

— Ну да, Коблан, — проскрипел старческий фальцет. — И что с того?

— А то, что и Чэн Анкор теперь Железнолапым стал! По-настоящему! И рука эта не просто так болтается, как язык у некоторых, — Чэн ею, как живой, пользуется!

— Ври больше!

— Творцом клянусь — сам видел! Только не это главное...

Иду я позавчера перед самым отъездом мимо квартала Су-ингра, гляжу — идет Чэн, и весь железный! Весь! Целиком!..

«Врет, — подумал я. — Не мог он меня видеть. Не был я в районе Су-ингра... А, какая разница — он видел или кто-нибудь другой!.. Людям рты не заткнешь. Разве что ногу ему туда сунуть, как тому ракшасу...»

— Ну да?!

— Да! Железный! Видать, Коблан, когда руку ему новую приклепывал, малость промахнулся молотом — вот и пришлось плечо железное мастерить, а пока плечо делал — еще чего помял...

— Сказки все это! Болтаете невесть что!..

— А вот Саид руку железную тоже видел! Ведь видел, Саид?

— Ведь видел...

— Вот! А там, где рука, — там и остальное...

— Остальное — это да, — прогудел бас с откровенной завистью. — Ежели оно железное, остальное-то, а еще лучше стальное, так это да... бабы небось с ума сходят...

Мы с Единорогом уже едва сдерживались, чтобы не расхохотаться. Интересные слухи, оказывается, гуляют по Кабиру и за его стенами!

— А голова у Чэна как — тоже железная? — полюбопытствовал невидимый старик.

— Сверху только. А лицо обычное. Из мяса.

— Так это что же получается — Коблан теперь железных людей плодить будет?

— Кто его знает... может, и будет. Ежели что, к примеру, оттяпают...

«Ладно, хватит подслушивать. Есть-то хочется! — рассердился я непонятно на кого. — А ну-ка!..»

И я решительно протопал вниз и уселся за стол неподалеку от развеселой компании. Единорога я в оружейный угол ставить не стал — по негласному уговору.

Толстый краснощекий хозяин появился почти сразу. Я заказал ему завтрак, и через минуту на столе уже дымился аш-кебаб, завернутый в маринованные листья дикого винограда, белела в пиале чесночная подлива, возвышалась стопка желтых лепешек, — и я жадно принялся за еду, изредка поглядывая на шумных спорщиков.

Через некоторое время визгливый сплетник — долговязый и смуглый детина с неожиданно мелкими чертами невыразительного лица — обратил на меня внимание.

Его глубоко посаженные глазки остановились на мне раз, другой — и вдруг он уставился на мою правую руку, не донеся до рта пиалу с вином. Я просто слышал, как лихорадочно трещат его заржавевшие мозги, сопоставляя увиденное с известным.

Наконец долговязый расплылся в широченной улыбке, видимо, придя к какому-то определенному выводу.

— Смотрите! — заверещал он, тыкая в мою сторону грязным пальцем. — Вот что значит мода! Теперь все хотят быть похожими на Чэна Анкора! Вон у него железная перчатка на руке, видите?!

Теперь уже все смотрели на меня. Я вежливо улыбнулся, прекратив на мгновение жевать.

— Тебя как зовут, парень? — нахально осведомился болтун. — Кабирец, да? Ты Чэна-то хоть однажды видел?

— Видел, — откусывая большой кусок кебаба, кивнул я, — каждый день, почитай, видел.

— Это где же ты его видел?

— В зеркале, — ответил я. — Когда брился по утрам.

И взял верхнюю лепешку правой рукой...

4

...А потом мы снова ехали по Фаррскому тракту, и с осенних тутовников осыпались на обочину липкие спелые ягоды, а мы по-прежнему молчали — но молчали уже гораздо веселее, чем вчера, и солнце припекало вовсю, причем я поймал себя на том, что невольно улыбаюсь этому солнцу, а Единорог у седла весело звякает в ответ каждой моей улыбке.

Впрочем, улыбался я не только солнцу. Мне то и дело вспоминалась утренняя немая сцена в караван-сарае, испуганно-уважительные лица подвыпивших спорщиков за соседним столом, недоумение в их глазах, постепенно переплавляющееся в изумление...

«Вот и родился еще один слух, — думал я. — И пойдут дальше гулять легенды о Железноруком Чэне, и буду я в этих легендах обрастать железом с головы до ног... А ведь кто-то и впрямь видел меня в Кабире, одетого в доспех, — то ли по дороге домой от Коблана, то ли при выезде из города; и по пути вчера нам люди встречались, и сегодня встретятся, и завтра... Так что слухи, похоже, будут преследовать меня по пятам и скорее всего обгонят; и ничего из попытки тихо выяснить, что к чему, у меня не выйдет...»

Ну и не надо! Глупо было бы рассчитывать остаться незамеченным, разгуливая по эмирату в этом-то железе! Дурак ты, Чэн... дурак и есть. Прав был Друдл-покойник.

При воспоминании о шуте что-то больно кольнуло внутри, и рука сама коснулась Единорога. Дурак я или не совсем дурак — но все равно я докопаюсь до сути... И пусть слухи торопятся, пусть бегут быстрее моего коня — я одновременно буду и приманкой, и охотником. Пожалуй, так даже лучше...

Тут я обнаружил, что мой меч уже давно разговаривает с Дзюттэ Обломком, и невольно прислушался к их беседе.

Единорог не возражал. Ну а у меня уже начало входить в привычку подслушивать и подглядывать.

— Дурак ты, Единорог! — прозвучал у меня в голове голос Обломка, и я невольно вздрогнул, натягивая поводья, — до того этот голос и манера говорить напоминали покойного Друдла.

Или это Друдл напоминал Дзюттэ?

— Олух безмозглый, — продолжал меж тем Обломок. — Совсем как твой Придаток... Хорош он у тебя — нацепил на себя гору всякого-разного хлама и рад! Чего это я с вами увязался?! Он же теперь как статуя — даром что железный! Ну и толку с этого?!

— Поживем — увидим, — философски заметил Единорог, и я с ним полностью согласился.

— Ага, увидим, — ехидно согласился Дзюттэ. — Вот на ближайшем привале и увидим!

Я понял, что шут-Блистающий специально дразнит Дан Гьена, как Друдл в свое время дразнил меня. Единорог это тоже отлично понимал, но подразмяться нам всем действительно не мешало, так что я лишь кивнул, а Единорог мирно согласился:

— Очень хорошо, Дзю. Так и сделаем.

— Хорошо, хорошо! — не замедлил передразнить его шут. — Это тебе хорошо! А со мной рядом этот паскудный недоделок умостился!

Не надо было иметь семи пядей во лбу, чтобы сообразить, кого Обломок имеет в виду. Конечно же, Сая Второго...

— Ты у нас доделок! — проскрипел в ответ невыдержавший Сай. — Тупица болтливый! И гарда у тебя...

Ах, лучше бы он помалкивал!

— А, так оно еще и разговаривает! — зловеще обрадовался Обломок. — Ему, видите ли, гарда наша не нравится! По-моему, тот, чье место в навозной куче, не должен встревать в разговор истинных Блистающих... верно, Единорог?

— Верно! — согласился мой меч. — Эй, Сай, видишь своих родичей?

Я сперва не понял, о чем это они. А потом обнаружил, что в стороне от тракта двое крестьян неторопливо перегружают в арбу, запряженную ломовой пегой лошадью, целую гору навоза. Грузили навоз, как положено, вилами. Собственно, я не очень-то знаю, как положено грузить навоз, но не руками же в нем копаться!

А металлические наконечники трехзубых вил, средний зуб которых был существенно длиннее боковых, отгибающихся в разные стороны, и впрямь весьма напоминали по форме торчащий у меня за поясом Сай. Похоже, крестьянские вилы действительно могли оказаться его дальними предками, как верно заметил Дзюттэ.

— Что?! — возмутился Сай, тоже сообразивший, что к чему. —

Меня, подлинного Блистающего, известного древностью своего рода, который ведет начало...

— Из дерьма, — прозаически закончил за него Обломок. — И в него же вернется!

— Хорошая мысль, Дзю, — с энтузиазмом поддержал шута Единорог. — Вот в ближайшем караван-сарае отыщем палку подлиннее, примотаем к ней этого умника, затем попросим пару Придатков спустить шаровары и потрудиться во имя великой идеи — и пусть наш друг займется тем, чем ему положено!

— Да я... да вы... — если бы Сай был человеком, я сказал бы, что он задохнулся от обиды. — Мерзавцы вы, а не Блистающие!

Я более тесно соприкоснулся с Единорогом и мысленно прошептал ему:

— Ты бы лучше попробовал выяснить, куда делись его дружки! Хоть Блистающие, хоть люди... или хотя бы одни Блистающие, потому что людей мы наверняка найдем там же!

— Уже пробовали, — ответил Дан Гьен, и я не сразу понял: отвечает он мне вслух или так же мысленно, как и я. — Молчит, подлец... Ничего, мы с Дзю его разговорим! Чем и занимаемся...

Я понимающе кивнул и снова вернулся к роли пассивного слушателя.

Дзюттэ явно заметил, что Единорог отвлекся от разговора, как если бы он с кем-то беседовал помимо Блистающих, но вида шут не подал.

— Это ты здорово придумал, Высший Дан Гьен, — подчеркнуто церемонно признал Обломок. — Небось у меня научился... Дело говоришь! Чем таскать за собой эту обузу, лучше его к полезному труду пристроить. Местность тут сельская, лошадей с овцами невпроворот, да и Придатки не брезгуют пару раз в день под куст присаживаться — так что без работы не останется, со всех трех концов рыть станет...

Сай гордо молчал — но, похоже, он всерьез начинал верить в возможность такой, мягко сказать, незавидной участи. Допекли его мои приятели! А где обида да страх, там и разговоры. Есть, есть ему о чем поговорить, а нам послушать!..

— Ладно, хватит о навозокопателях, — заявил Обломок. — Время не ждет. Как найдем подходящее местечко — так и по-Беседуем всласть, пусть попотеет в железе... Эй, Заррахид, ты как насчет Беседы?

— Всегда с удовольствием, — качнул рукоятью Заррахид, до того молчавший и лишь ритмично постукивавший о бедро Коса ан-Таньи.

Разрешения вступить в разговор эсток спрашивать не стал. Еще бы — он теперь свободен, как и Кос, поскольку мой меч оказался ничуть не умнее меня самого, уволив Заррахида с должности... с той же самой должности, с какой я уволил ан-Танью, только разве что без письменного приказа.

А результат оказался одинаковым.

Я снял руку с Единорога и задумался о перемене в поведении Коса. После увольнения мой дворецкий неожиданно преобразился: спал сколько хотел, заказывал блюда дороже, чем я, зачастую ехал впереди меня и полюбил размышлять вслух о «некоторых бездельниках». Я уж было подумывал принять его обратно на службу, заверив необходимые бумаги в ближайшем городе, — да только не знал, согласится ли Кос.

Я бы на его месте ни за что не согласился.

Потом я случайно задел локтем Сая Второго — и мысли мои вернулись к Блистающим, прошедшим Шулму и устроившим эмирату кровавую баню. С целью спасения мира Блистающих. М-да... простая, однако, штука — жизнь! Ни тебе мифических убийц-асассинов, ни зловещих Тусклых с теплым клинком, а есть себе за горами-пустынями какая-то Шулма, которой до нас восемьсот лет тянуться, и есть бежавшие оттуда наши же Блистающие, узнавшие вкус крови.

А что им оставалось — скажи, Чэн-умница?! Этому Саю дерьмо в Кабире мешать — счастье после Шулмы! Ведь они небось объясняли — им не верили; доказывали — их не поняли или не захотели понять; и тогда они начали нас спасать. Как могли, как умели, убеждая кровью, смертью...

И убили Друдла!

Вот не умею я спокойно рассуждать... Как вспомню последний бой шута, так готов Сая этого узлом завязать! Я руку свою родную, отрубленную — и то простить готов, а Друдла никогда и никому не прощу.

Радуйтесь, Блистающие из Шулмы, — нашли вы последователей! Чэна Анкора с Единорогом... и пошли последователи по следу вашему.

Радуйтесь и ждите!

Правда, вряд ли много таких, как я, наберется. Кто еще сумеет (или захочет) узнать цену крови, и звону сломанного клинка, и звуку, с каким входит в тело отточенная сталь?

Не успеть вам, беглецам... не переучите. Даже если у вас — у нас! — есть в запасе несколько лет. Три. Пять. Десять. Все равно — не успеете. Мало найдется людей и Блистающих, способных понять; еще меньше — способных отказаться от идеала, от искусства и изящества Бесед ради жестокой науки убивать. Пусть даже и во имя будущей жизни — своей и своих близких.

Мало. Даже если каждый будет стоить десяти, двадцати шулмусов — что с того? И грозой пройдет по эмирату Джамуха Восьмирукий...

Пу а допустим, что ваш план, беглецы, удался! Чем тогда мы будем лучше тех же шулмусов? Живее — будем, а вот лучше ли?.. И покатится вспять время, отбрасывая нас к эпохе варварских войн, тяжелых доспехов и Диких Лезвий.

Что лучше?

И есть ли третий путь?

Путь Меча?

Одно было ясно — мир стремительно меняется, и никогда уже ему не быть таким, как раньше... мир — он ведь тоже один.

Один против неба.

ГЛАВА 11

1

Чуть в стороне от дороги нашлось прекрасное местечко для Беседы. Мы слезли с коней, у Коса в руке немедленно оказался обнаженный эсток, и они принялись методично накручивать «Большую спираль Огня», которую я до того видел в их исполнении всего дважды.

Сам я почти не разминался. Вот ночью, на постое, выйду я тихо во дворик и погляжу всерьез, как жить мне в новой одежке да за какой конец меч держать. А сейчас — пустое это дело, баловство и больше ничего. Ночью, ночью подойдем к коню неизведанного с уздечкой умения — тут спешить ни к чему, мы теперь ученые...

...Кос встал напротив — и мы поклонились друг другу, тщательно соблюдая этикет. За нами никто не наблюдал, но ритуал — это для себя, а не для других.

Повинуясь подсказке Единорога и полностью с ним согласный, я положил левую руку на рукоять Дзюттэ.

— Не возражаете? — спросили мы с Дан Гьеном одновременно у Коса и Заррахида.

— Пожалуйста, — вежливо улыбнулся ан-Танья, и сверкнул на солнце эсток.

Улыбки и блеск — вещь хорошая, а добрый выпад — лучше. Посмеиваясь над собственным пафосом, я ушел от рванувшегося вперед Заррахида (или Коса?), Единорог проводил со-Беседника чуть дальше, чем тот намеревался пройти, и я попытался пустить в ход Дзюттэ — ну а он, соответственно, попытался задействовать мою левую руку.

Нет, зря я все-таки считал раньше, что работать двумя клинками — это то же самое, что спать с двумя женщинами.

Это гораздо хуже.

И с первого раза вообще не выходит.

— Твоему болвану-Придатку надо и вторую руку отрубить, а вместо нее железную приделать, — огрызнулся Обломок. — Я его веду, а он...

Я ничего не ответил, потому что Кос резко шагнул ко мне, и острие Заррахида замерло на волосок от зерцала моего доспеха.

— Ну и колол бы, — заметил я ан-Танье. — Чего испугался?

И выпятил бронированную грудь.

Бывший дворецкий немного смутился.

— Непривычно как-то... попробовать надо, — пробормотал он, пряча глаза.

— Пробуй!

Мы сошлись, я специально открылся, но острие эстока и на этот раз замерло на том же расстоянии.

— Не могу, — дрогнул эсток, а на лбу у Коса выступили мелкие капельки пота.

— Ладно, хватит на этот раз, — смилостивились мы с Единорогом, и даже Обломок не сообразил, что все встало с ног на голову и Беседа превратилась чуть ли не в экзамен для Коса и Заррахида.

— Вот на постое повешу я доспехи на стенку, — властно бросил я, закрепляя успех, — там и поучишься. Авось пригодится...

Кос неуверенно кивнул.

— ...На кого это ты во время Беседы отвлекался? — мрачно осведомился Дзю, когда мы снова выехали на тракт. — И вообще, Единорог, — у тебя что, второй клинок вырос?!

— Сказать ему, Чэн?

— Скажи, — согласился я. — Все равно ведь придется, рано или поздно.

— С Чэном.

— С этим косоруким Придатком?! — удивлению Дзю не было предела.

— Точно, косорукий, — проворчал из-за пояса Сай. — И вообще вы тут все Грозовым Клинком ударенные. Меня бы тому Придатку, что с эстоком, во вторую руку — мы б с Заррахидом вам всем...

— А тебя, Вилорогий, никто не спрашивает, — перебил его Дзюттэ. — Во вторую руку его... Твое место — сам знаешь где! Я б тебе этого места целую кучу навалил бы — да жаль, не умею...

2

...И был день, и был вечер, и был очередной караван-сарай, как две капли воды похожий на первый; и были мы, подъехавшие к нему и привязавшие коней у коновязи.

Первым в харчевню, из которой неслись запахи, способные поднять мертвого из могилы, вошел Кос. Он с порога неспешно оглядел собравшихся, немного подождал, пока к нему подбежит хозяин — обладатель хитрющей длинноносой физиономии, — и затем провозгласил с барственной ленцой:

— Ужин на двоих!.. Ну и келью получше!

После чего Кос слегка посторонился, и вошел я. Глазки хозяина широко раскрылись и полезли даже не на лоб, а куда-то к оттопыренным ушам, отчего нос вытянулся еще на локоть, словно желая обнюхать меня с головы до ног.

Похоже, хозяин и впрямь решил, что я весь железный.

А путников в харчевне оказалось всего двое — ужинавший в углу пожилой крестьянин, чье двузубое копье в полтора роста стояло прислоненным к стене, и высушенная временем старуха с морщинистым крохотным личиком, и видом и цветом напоминающим передержанный в кладовке урюк. Правда, на этой урючине при моем появлении остро сверкнули неожиданно внимательные и любопытные глаза. Сверкнули — и погасли. Словно пеплом подернулись.

Рядом с глазастой бабкой стояло нечто, длиной почти с копье крестьянина, но расширяющееся с обоих концов и аккуратно замотанное в тряпки.

Что это было за оружие и оружие ли вообще — этого я так и не смог угадать.

Мы с ан-Таньей уселись за стол по соседству со старухой, который показался нам наиболее удобным. Почему — не знаю. Остальные столы на вид были точно такими же.

Пока удравший на кухню хозяин поспешно собирал нам ужин, старуха исподтишка разглядывала нас с неослабевающим интересом. Еще бы! Небось у дряхлой сплетницы уже чесался закаленный в словесных боях язычок... Собственно, я бы и сам — месяца этак с три назад, — увидев в харчевне человека в железном наряде, стоял бы столбом и пялился бы на него, забывая даже жевать.

А старушка жевать не забывала.

— Далеко путь держите, молодые господа? — осведомилась наконец она. Голос у бабки оказался под стать глазам — низкий и чистый, без старческой хрипотцы.

И чем-то неуловимым похож на голос эмира Дауда. Бред, конечно, но — чего в жизни не бывает?!

Я со скрежетом неопределенно пожал плечами. А Кос, которому явно понравилось чувствовать себя молодым господином в его сорок пять лет, бодро сообщил:

— В Мэйлань едем. Из Кабира.

— Попутчики, значит! — возрадовалась словоохотливая бабка. — Это хорошо, это чудесно... только я из Дурбана еду, по делам там была, а в Кабир не заезжала, нет, хоть и мечталось на столицу хоть одним глазком взглянуть, а вот не довелось, дела не пустили...

Какие такие у нее в Дурбане были дела и почему они не пустили ее в Кабир — об этом старуха умолчала. Или забыла сказать. Или попросту сочла свои дела недостойными внимания двух за-

мечательных молодых господ. Или двух замечательных молодых господ сочла недостойными посвящения в свои замечательные дела. Или...

А, пошла она в Шулму вместе со своими делами! Не больно-то и интересно...

— Матушка Ци, — представилась между тем старуха, намекая тем самым на необходимость ответных действий с нашей стороны.

— Весьма рады знакомству, — вежливо улыбнулся Кос. — Кос ан-Танья из Кабира.

Я тоже улыбнулся, следуя примеру Коса, но улыбка вышла довольно кислой.

— Э-э-э... Чэн.

— Чэн Анкор, — машинально добавил обстоятельный Кос, а я мысленно пожелал ему убраться под седалище к Желтому богу Мо.

— Уж не из тех ли Анкоров вы, молодой господин, что зовутся Анкорами Вэйскими? Или вы из Анкор-Кунов? — аж прослезилась бабка, одновременно заглатывая здоровенный кусок лепешки с сыром. Я б таким куском сразу подавился и умер в мучениях. — Вот уж не ждала, не чаяла...

Тут, на наше счастье, появился хозяин с долгожданным ужином, прервав болтовню любопытной Матушки Ци, и мы с Косом принялись за еду — причем Кос принялся с завидным рвением и скоростью. Хозяин уважительно поглядел на ан-Танью и отошел, позвякивая висевшим на боку длинным кинжалом без гарды, вложенным в ножны багряного сафьяна с бронзовыми накладками.

Остаток ужина прошел в молчании. Потом мы поднялись в выделенную нам келью — родную сестру вчерашней, — еще позже вышли проследить за обращением служителей с нашими лошадьми, выяснили, что лошади давным-давно распряжены и усердно хрупают овсом, и с чистой совестью вернулись в келью и сели играть в нарды.

Я выиграл у Коса восемь динаров.

А он мне их не отдал.

К этому времени успело стемнеть.

Совсем.

3

...Мы спустились во внутренний дворик караван-сарая, где было очень темно. Интересно, а чего я ожидал ночью и в неосвещенном дворе? Луна спряталась за случайное облако, лишь слегка присыпав светящейся пудрой верхний край своего временного убежища, и какие-то две нервных звезды подмигивали нам из-за глинобитного дувала.

Впрочем, особого освещения нам и не требовалось. Кос сразу

же отошел к дувалу и сел спиной к нему, скрестив ноги и укрывшись плащом — темное на темном, недвижный валун у подножия сгустившейся ночи с двумя моргающими глазами-звездами.

Я свистнул ан-Танье и плавно бросил ему Сая Второго рукоятью вперед. Еще недавно я сказал бы: «Бросил сай», но теперь-то я знал, что Сай живой и говорить о нем следует как о живом. Я бросил, услышал шорох Косова плаща — и все. Раз не было звука падения, значит, ан-Танья поймал Сая и положил рядом с собой.

Вот и пускай полежит.

Для начала я просто походил по дворику туда-сюда, поднимая и опуская руки, наклоняясь в разные стороны, передвигаясь то боком, то вприпрыжку — короче, привыкая к новому ощущению тела, заключенного в доспех.

Затем я упал. Полежал. Встал. Снова упал. Перекатился на левый бок... на правый... показал язык любопытным звездам и вскочил.

Неплохо, если для начала. Падаю шумно, но вполне прилично.

Я высоко подпрыгнул, приземлившись на колени, кувырком ушел вперед, застывая в позиции низкого выпада, — и обнаружил обнаженного Единорога у себя в правой руке.

Мы ничего не сказали друг другу. Что значат слова для тех, кто способен слиться воедино теснее объятий влюбленных, ближе матери и ребенка в ее чреве, неразрывнее двух смертельных врагов, сцепившихся в решающей схватке?! Язык Единорога — язык Блистающих — был ближе к тому, что переполняло нас обоих, но и он не годился для выражения очищенных от рассудочной шелухи чувств и спрессованных в мгновенный взрыв движений.

Вот мы и не говорили.

Мы двигались. Словом можно обмануть, и я не хочу никого обманывать, описывая это словами; движением обмануть нельзя. Настоящий удар не бывает неискренним.

...Я не думал о том, что делаю. Сознание мое было свободно, и я почему-то вспомнил сперва своего отца, Янга Анкора, а потом и деда Лю. В роду Анкоров существовали две главные родовые ветви — Анкоры Вэйские и Анкор-Куны, южане и северяне, но за столетия смешанных браков эти ветви срослись почти намертво. Мой дед Лю — как и я — по внешнему виду был чистым южанином: невысокий, стройный, жилистый, с буйным, но отходчивым характером и способностью моментально вспыхивать по любому поводу и без повода. В его старшем сыне и моем отце, спокойном и неторопливом Янге, волею судеб повторились в основном северные черты: мощное телосложение и уравновешенный нрав, ленивая грация крупного зверя и умение незаметно избегать любых столкновений. Впрочем, отец в последние годы

жизни с Единорогом в руках выигрывал у деда, вооруженного Большим Да-дао, одну Беседу из двух.

Это было немало. Это было даже очень много. Могучий Янг с легким Единорогом и маленький Лю с огромным Да-дао. На их Беседы сходился посмотреть чуть ли не весь Кабир.

Мой отец погиб, когда мне было семнадцать лет. Погиб нелепо, по-глупому: взбесившаяся лошадь понесла по краю обрыва, случайная осыпь и... и все. Дед пережил его на восемь лет и тихо умер в своей постели пять лет тому назад. Но к Единорогу дедушка Лю с тех пор ни разу не прикасался, отдав его в мое безраздельное пользование (до того я брал Единорога лишь во время обучения — вернее, мне его давали, — а так я носил точно такой же прямой меч Дан Гьен, только чуть-чуть худшей проковки).

Дед забрал мой первый меч себе, отдав Большого Да нашему родственнику, который прошлым летом и уехал с ним в Мэйлань, — и будь проклята черная лихорадка, что за неделю свела в могилу нестареющего Лю Анкора!

В нашей семье бытовало одно предание — о том, как наш божественный предок Хэн в великую засуху спас первую виноградную лозу бога виноделия Юя и в благодарность получил от божества бочонок вина и дар «пьяного меча». Каким образом Хэн спасал эту лозу и чем он ее поливал и удобрял — об этом Анкоры предпочитали не рассказывать посторонним во избежание кривотолков. Но дальше в предании говорилось, что предок Хэн, не очень-то доверяя лукавому богу, сперва отхлебнул из бочонка один-два глотка и сразу после этого взял в руки «пьяный меч». Но погода стояла жаркая, и вспотевший Хэн вскоре выпил целую пиалу, потом перелил часть бочонка в жбан и осушил его единым глотком (ох, здоровы пить были предки!), а вскоре и в самом бочонке показалось дно.

С тех пор и делятся мастера «пьяного меча» на «пьяниц одного глотка», «пьяниц с пиалой», «пьяниц со жбаном» и «пьяниц с бочонком».

Мой дед Лю был большим мастером «бочонка» — и когда он метался по турнирной площадке с «мертвецки пьяным» мечом в руке, успевая упасть лицом вперед — плашмя! — и мгновенно перейти к «Фениксу, взмывающему в грозовое небо», то на это стоило посмотреть.

Но и не меньше стоило посмотреть на его сына Янга, чей «Феникс» был вдвое тяжеловеснее, и, прежде чем взмыть в «грозовое небо», сперва «расправлял крылья», затем «бил клювом на четыре стороны света» и лишь после...

Собственно, взмывать зачастую уже не приходилось, поскольку у со-Беседников, попавших под клюв могучего «Феникса» Янга, возникали большие неприятности.

Вот такие-то дела... Просто-напросто сыну и внуку Чэну Анкору, надевшему доспех аль-Мутанабби, пришлось стать меньше

похожим на своего деда и больше — на отца. Ладно, запомним — в доспехе мне больше жбана не выпить.

Ну и не больно-то хотелось... я ж не божественный предок Хэн, мне лозу не поливать.

4

...Мы замерли, и некоторое время я стоял, не двигаясь и прислушиваясь к самому себе. Дыхание сбилось лишь самую малость и почти сразу же восстановилось, тяжести доспеха не ощущалось вовсе, словно он стал второй кожей и прирос к телу; само тело от ног до кончика клинка Единорога было легким и послушным.

— Ну? — бросил я в сторону мрака по имени Кос. — Как?

— Ничего, — ответила темнота. — Вполне.

В устах ан-Таньи — тем более нового, независимого ан-Таньи — это было невероятной похвалой. Впрочем, я мог и не интересоваться его мнением. Я и сам знал, что — вполне.

Мы знали. Я-Единорог.

Наступала очередь Дзюттэ. Я аккуратно и бережно опустил возбужденного Дан Гьена в ножны и вынул из-за пояса подозрительно тихого шута.

И вновь стал ходить по двору кругами, помахивая Дзюттэ в воздухе, привыкая к его балансу и рельефу рукояти. Правую, железную, руку я намеренно держал подальше от Единорога — мне хотелось поближе познакомиться с шутом-Блистающим без посредничества моего меча.

Работая Единорогом, я обычно держал пальцы левой руки собранными в незамкнутое кольцо, то есть сжимая воображаемую пиалу, или смыкал прямые указательный и безымянный, собрав остальные пальцы к центру ладони — отчего ладонь начинала походить на своеобразный меч.

Так, держа Дзю в левой, я смогу одновременно «взять пиалу»... это хорошо. Это привычно. Поехали дальше... баланс вроде пойман... интересное дело — Обломок в два с лишним раза короче Единорога, а весит, почитай, столько же! Колоть им бессмысленно — он тупой; рубить тоже глупо — разве что по голове кому-нибудь попадешь...

Что ж это выходит, шут? Оказывается, ты для нападения совсем-совсем неприспособленный?! И переучивай тебя или не переучивай — ты все равно для убийства не годен? Все Блистающие могут в принципе переучиться и убивать людей, да не хотят, — а ты даже если и захочешь, то все равно не сможешь!

Вот и Друдл, пусть и с Детским Учителем в руке, — хотел, да не смог... а вот их обоих — и захотели, и смогли!

Так, не будем погонять коня ненависти... не ко времени. Как же тебя перехватывать, Обломок ты этакий, чтоб ты из прямого хвата в обратный лег? А если...

И тут я отчетливо почувствовал, как Дзюттэ дрогнул в моей руке, пытаясь помочь, подтолкнуть, подсказать...

— Нет уж, погоди, — вслух сказал я, прекрасно понимая, что без помощи Единорога Обломок меня не услышит, а услышав — не поймет. — Дай-ка я сам сперва разберусь, что к чему... сам.

В общем, при определенной сноровке дело оказалось не очень сложным. Я еще раз мысленно представил, как увесистый Обломок вращается вокруг моего запястья, как после четверти круга я прихватываю большим пальцем его гарду-лепесток, удобная у тебя гарда, шут, зря над ней Кабир смеялся, дураки они все! — и к концу оборота Дзю уже...

— Ну, теперь давай, шут! — выкрикнул я.

...И через мгновение лихо крутанувшийся Дзю уже лежал вдоль моего предплечья, лязгнув о металл поручня... или наруча, или как там этот железный нарукавник называется.

— Молодец, — прошептал я, имея в виду то ли себя, то ли Обломка, то ли нас обоих вместе.

Продолжая крутить Дзюттэ, то и дело меняя хват, я прикидывал, как можно на Обломка — вернее, на руку, защищенную им, — ловить чужой клинок. Получалось, что ловить можно по-всякому и довольно неплохо. На такой толстый брусок (прости, Дзю!) и Гвениля поймать не страшно, если вовремя спружинить.

Главное — чуть проскальзывать во время столкновения, и тогда бьющий клинок вполне способен застрять между Дзю и лепестком его гарды. А там — резкий рывок с поворотом, и Блистающий вылетает из рук, его держащих, или...

Или одним Блистающим в мире становится меньше. Был бы жив Шото, он бы со мной согласился.

...Я поймал себя на том, что понятия мои и Единорога так тесно переплелись в моей голове, что я сам путаю их и не замечаю этого. Говорю «Гвениль», а представляю себе Фальгрима, и Беловолосый настолько сливается в моем мозгу со своим двуручным эспадоном, что мне, в общем-то, уже все равно — как называть получившееся двойное существо.

Опять же Кос с его Заррахидом... наши отставные дворецкие. И не только они...

Я отругал себя за посторонние мысли — думать о чем угодно я могу позволить себе только с Единорогом, да и то не всегда — и продолжил изучать Дзюттэ. Нет, не изучать — знакомиться; и не я с ним, а мы друг с другом. На равных. Это я чувствовал и без Единорога.

М-да, если со-Беседник вовсе не со-Беседник, а Враг, и не имеет никакого желания останавливать свой удар, — то такой вот Обломок для человека с незащищенными руками просто находка! Чуть ли не отец родной, благодетель и спаситель...

И при этом палач для Блистающих!

А ведь ты не мог не знать этого, шут... Ты обязан был это знать.

В какие ж времена тебя ковали, для чьих рук?! Сколько тебе лет, Дзю?

«Сколько тебе лет, Дзю? — эхом отдался у меня в сознании голос Единорога, очень похожий на мой собственный, и я ощутил, что стальные пальцы крепко сжимают рукоять. — Сколько?»

— Много, — глухо буркнул Дзюттэ, и его ответ был подобен скрежету клинка о наруч. — Много мне лет. Слушай, Единорог, а ты действительно... ну, ты и вправду с ним, со своим... разговариваешь?

По-моему, он хотел сказать «со своим Придатком», но поостерегся.

— Да, — коротко отозвался Единорог-Я.

— А сейчас... кто из вас спрашивал, сколько мне лет?

— Не знаю, — задумчиво прошелестел Единорог-Я. — Кажется, оба. А какая разница, Дзю?

— Разница? — медленно протянул Обломок. — Не в разнице дело... А он один — Чэн твой — может мне что-нибудь сказать? Пусть через тебя, но — один?

«Скажешь? — беззвучно обратился ко мне мой меч и с готовностью расслабился, пропуская меня вперед. — Давай!..»

— Я... — начал было я и почувствовал, как шорох клинка в ножнах, еле заметное покачивание, трепет кисточек — как все это становится речью, словами, понятными и доступными нам: Единорогу, Обломку и мне.

— Я... мне... очень жаль, Дзю, что Наставника убили. Честное слово, просто очень жаль. Если б мы с Единорогом знали тогда... если б мы понимали!..

Ну вот, как с покойным Друдлом говорю! Косноязычным становлюсь, слова все куда-то разбегаются, и чувствую себя уже и не дураком, а полным недоумком. До каких пор это будет продолжаться?!

— Спасибо, — очень тихо и серьезно произнес Дзюттэ Обломок и еще раз провернулся у меня в руке. — Спасибо и... завидую. От души.

А потом добавил более привычным тоном:

— Везет же дуракам! Правда, не всем. Ну тогда не вцепляйся в меня на перехвате со всей дури, я ж тебе не кебаб недожаренный...

5

И я кивнул, вняв дельному совету. Действительно, теперь перехват получался куда легче (я бы даже сказал — изящнее), и Дзю почти без лязга сам ложился вдоль предплечья, а когда было надо — стремительно бросался вперед, заклинивая невидимого Блистающего, уводя его в сторону, вырывая из чужих пальцев...

Я и сам не заметил, как в правой, железной, руке у меня оказался Единорог, и в свете выкарабкавшейся наконец из-за облака луны тусклым маревом развернулись «Иглы Дикобраза»; длинные уколы и кистевые удары Единорога сменялись короткими и азартными всплесками Дзюттэ, и все получалось само собой — хотя в каноне ничего подобного и близко не было.

Похоже, все в порядке. Ну, не то чтобы совсем в порядке — воду из этого колодца можно еще черпать и черпать, добраться до дна, пробить его и черпать снова, — но для первого раза все складывалось достаточно неплохо. А о том, что на мне доспех, я вообще напрочь успел забыть...

Закончив, я посмотрел туда, где все это время сидел Кос, и обнаружил, что ан-Танья под дувалом отсутствует. Впрочем, как тут же выяснилось, отсутствовал он только под дувалом. А во всех остальных местах двора Кос присутствовал — причем, по-моему, во всех местах сразу. Ан-Танья творил что-то невероятное, став удивительно похожим на моего собственного дедушку, — ну просто зависть брала, до чего ловко, хотя и не совсем привычно для моего взгляда, он орудовал почти неразличимым из-за скорости и скудного освещения эстоком!

Через мгновение я заметил, что во второй руке Коса со свистом вертится Сай Второй. Оставалось только диву даваться, как быстро наши бывшие дворецкие сумели найти общий язык с этим неприятным трехрогим нахалом!..

А потом Кос закончил свою невообразимую импровизацию, крутнул напоследок Сая, взвизгнувшего от удовольствия, — и оказался напротив меня с двумя клинками в руках. Я посмотрел на ан-Танью, сделав чрезвычайно серьезное выражение лица, и мы подчеркнуто церемонно поклонились друг другу.

Поклонились, выпрямились и... застыли. Потому что я — Единорог-Я или Я-Единорог?.. неважно! — потому что мы видели, понимали, чувствовали — сейчас двигаться нельзя. Вот мы и стояли, а мгновения растягивались, сливались, их уже нельзя было отличить одно от другого, и никто не смог бы определить, когда именно моя передняя нога поползла чуть в сторону, и слегка изменился наклон Дан Гьена, а Дзюттэ приподнялся вверх самую малость...

Мы не осознавали этого. Просто Я-Единорог-Дзюттэ чуть-чуть изменился — и в ответ, уловив это, начал меняться Кос-Заррахид-Сай, но промедлил, и тогда мы поняли-увидели-почувствовали, что теперь — можно.

Можно.

Во имя Ушастого демона У, как же это было здорово! Не было врага, не было язвительного Дзюттэ и противного Сая, не было злобы, и ненависти не было — была Беседа, Беседа Людей и Блистающих, и все в ней были равны, и думать было некогда, не-

навидеть некогда, и лишь где-то на самой окраине сознания пульсировало удивленное восхищение...

Вот как это было.

А слова — это такая бесполезная вещь... бесполезная, но, к сожалению, необходимая.

6

— Смотрю я на вас, молодые господа, и давно уже, надо заметить, смотрю, давно-давненько и пристально-пристально смотрю, в оба глаза и... так о чем это я? Ах да... — смотрю я на вас, молодые господа, и прям-таки сердце радуется...

Ну понятное дело, это была неугомонная Матушка Ци! Я остановился на половине фразы, переводя дух, и мысленно еще раз обозвал ее «старой любопытной урючиной». Даже если это и было невежливо. А подсматривать за людьми по ночам (да хоть бы и днем!) вежливо?! И откуда она взялась на нашу голову?

Тем временем Матушка Ци соизволила подойти поближе. В руках у нее был все тот же странный предмет, виденный нами в харчевне и по-прежнему аккуратно замотанный в тряпки.

— Сколько на белом свете живу, — продолжала меж тем старуха, — отродясь такой изысканной Беседы не видела! Даже самой захотелось молодость вспомнить, кости старые поразмять! Не соблаговолит ли кто из молодых господ снизойти к старушке, по-Беседовать с ней по-свойски?.. А то бессонница бабку вконец замучила...

Мы с Косом переглянулись. Было совершенно ясно, что просто так старуха от нас не отвяжется. Да и вообще — отказывать женщине, предлагающей Беседу... неловко как-то.

Кос чуть заметно кивнул и выступил вперед.

— Отчего же? — проникновенно сказал ан-Танья, склоняя голову. — Я с огромным удовольствием по-Беседую с вами, Матушка Ци.

— Вот и спасибо, молодой господин, — мигом засуетилась старуха, — вот уж спасибо так спасибо, всем спасибам спасибо, вы только обождите минуточку, я сейчас...

И принялась с изрядным проворством разматывать тряпки, под которыми скрывался ее загадочный Блистающий.

Он являлся нашему взору по частям. Одно было несомненным — длинное древко в рост Матушки Ци. Зато все остальное... Сперва от тряпок очистилось лопатообразное лезвие со скругленными краями — и я тут же вспомнил детские сказки о песчаной ведьме-алмасты, любившей на таких вот лопатах сажать в тандыр непослушных мальчиков Косиков. Так сказать, для запекания в чуреках. Потом на другом конце древка обнаружился полумесяц с торчащими вверх рогами. Ну и довершали все это

многочисленные колокольчики-бубенчики, кисточки и ленточки, прикрепленные к этому чуду со всех сторон.

Это было не оружие, а скорей со-оружение. Посох, топор, алебарда, рогатина, двузубец и ритуальный символ одновременно. Я косо усмехнулся и ощутил странную дрожь Единорога.

— Кто это? — спросил я, поглаживая стальными пальцами рукоять своего меча.

— Это Чань-бо, — вместо Единорога ответил Дзюттэ. — А нука не будем лишний раз выставляться...

И чуть ли не сам полез ко мне за пояс, но позади, со спины, а я, уж не знаю зачем, постарался держаться к загадочному посоху лицом.

— Это Чань-бо, Чэн, — тихо сказал-подумал Единорог.

— Кто-кто?

Единорог повторил мой вопрос вслух — видимо, для Обломка. Зачем он это сделал — я не понял, да и не очень-то стремился понять.

— Слушай, Единорог, — обидно скрежетнул из-за моей спины Дзюттэ, — оказывается, твой мэйланьский придурок... то бишь Придаток не знает, кто такие Чань-бо! Чему их в Мэйлане только учат! Я, кабирец, и то...

— Во-первых, теперь уже не «мой», а «наш», — раздельно и отчетливо прозвенел Единорог, и Дзюттэ примолк. — Наш, и не Придаток, а человек. Во-вторых, Чэн родился и вырос в Кабире, и в Мэйлане никогда не был — как его отец и дед. И в-третьих, не забывайся, Дзю...

И уже ко мне:

— Чань-бо в Мэйлане, Чэн, это как бы Дзюттэ в Кабире с точностью наоборот. Дзюттэ вечно в толпе, а Чань-бо, Посохи Сосредоточения, любят одиночество; Дзю язвит и суетится, а Чань-бо спокойны и рассудительны и обидных глупостей не говорят. Есть такая вэйская поговорка: «Хочешь совета — иди к Чань-бо. Он помолчит, и ты уйдешь окрыленным».

— Отшельники, — подбросил я нужное слово.

— Примерно, — согласился Единорог.

— И это... нижайше прощения просим, — снова встрял Обломок. — Эй, Однорог, передай своему, чтоб не выкидывал меня в болото, а то с него станется...

— На дороге Барра ни одного болота нет, — серьезно сказал Я-Единорог. — А жаль.

— Будет нужда — и болото отыщется, — буркнул Дзю и больше не высовывался.

...А Беседа Коса и Матушки Ци уже была в самом разгаре. Старуха скакала из стороны в сторону с той неуклюжестью, которая дается лишь опытом и годами ежедневных изнурительных занятий, — я просто влюбился в нее за эти считанные секунды! — а ее разнообразнейший Чань-бо и впрямь то норовил поддеть Коса

на свою лопату, то старался забодать его рогами полумесяца, то хотел насмерть запугать звоном колокольчиков и мельтешением лент.

Впрочем, мой отставной дворецкий держался молодцом, не роняя нашей с ним чести, а также не роняя уверенно мелькавшего Заррахида и лихо свистевшего Сая, уже успевшего оборвать с Посоха Сосредоточения одну ленту и теперь гоняющегося за крайним правым колокольчиком.

Я одобрительно цокнул языком и подумал, что когда бабка прокручивает Чань-бо через спину, согнувшись при этом иероглифом «гэ», — да, я, пожалуй, даже в доспехе рискнул бы пойти перекатом на девять стоп вперед и от земли, не вставая, тем самым косым выпадом, который так любил смотреть незабвенный крис Семар, то бишь Кобланов подмастерье...

И вдруг все остановилось. Двурогий конец Чань-бо замер у горла ан-Таньи, скользнув мимо усов припоздавшего Сая Второго, а острие Заррахида резко остановилось у живота старухи. По-моему, бабка успела чуть раньше. Хотя случай был спорный и на турнире обязательно бы Беседовали заново.

Ну и ладно... не на турнире, однако!

— Благодарю за приятную Беседу, — нимало не запыхавшись, заявила Матушка Ци, еле заметно улыбаясь.

— Ответно благодарен, — Кос подумал и выдал тройной церемониальный поклон с мелким отскоком, и я просто ошалел от этого, — за истинное наслаждение! Всегда рад Беседовать с вами, Матушка Ци...

Старуха принялась сноровисто обматывать тряпками свой Чань-бо, а Кос подошел ко мне. Вид у него был слегка сконфуженный.

— Видел? — только и спросил он.

— Видел, — только и ответил я. И у бедра согласно качнулся опущенный в ножны Единорог.

Возле Коса бесшумно, как тень, возникла Матушка Ци. Ее драгоценный Чань-бо вновь был надежно укутан. Старуха как-то незаметно обогнула меня и ан-Танью, оказавшись чуть ли не у меня за спиной, и взгляд ее буквально вцепился в торчащего из-за пояса Дзюттэ.

«Интересно, — подумал я, — от кого это Обломок прятался? От бабки? Вряд ли... Скорей всего от посоха. Знакомы они, что ли?..»

— Откуда у вас... это? — коротко и внятно спросила Матушка Ци.

— Это... — отчего-то растерялся я. Ну как я ей объясню, что это Дзюттэ Обломок, шут ятагана Шешеза фарр-ла-Кабир?!

— Это память... о друге.

— Он принадлежал Друдлу Кабирцу, — с неприятной настойчивостью продолжила старуха. — Вы сказали — память?

— Друдл погиб, — внезапно потеряв голос, выдавил я. — Его... его убили.

— Ты... вы это видели?

— Видел, — я разозлился. По какому праву она меня допрашивает?! — Я много чего видел, Матушка Ци! Много такого, чего предпочел бы не видеть.

Некоторое время старуха молчала.

— Странно, — наконец пробормотала она. — Очень странно... Если Пересмешник умер, я должна была бы почувствовать. Но раз ты говоришь... жаль. Очень жаль...

Она еще немного помолчала.

— Ну что ж, спокойной ночи, молодые господа, — произнесла Матушка Ци после долгой, слишком долгой паузы. — Думаю, мы еще увидимся...

И все так же бесшумно скользнула в темноту.

Потом чуть слышно скрипнула дверь.

Мы с Косом постояли, переглянулись и двинулись следом за старухой.

У самого порога я наступил на что-то зашуршавшее под моей ногой. И поднял небольшой свиток пергамента. Всего один пожелтевший и скрученный в трубку лист.

Кос тоже взглянул на мою находку.

— Бабка выронила, — коротко и без особой приязни заявил он, как будто бы только что не раскланивался перед этой бабкой, словно она была матерью эмира Дауда. — Больше некому.

Я кивнул. Утром надо будет отдать. Но... В последнее время я стал слишком любопытен. Это даже начало входить у меня в привычку. Скорее всего — ерунда. Ничего особенного там не записано. Письмо, купчая или что-нибудь в этом роде.

И все же...

ГЛАВА 12

1

«...и тогда Имр-уль-Кайс спросил Антару:

— О Абу-ль-Фаварис, скажи мне, сколько ты знаешь названий и прозвищ меча?

И Антара ответил:

— Слушай и запоминай, что я скажу: он называется Меч, Беда, Суровый, Повелитель, Прямой, Гибель, Смерть, Блеск росы, Быстрый, Великий, Острый, Полированный, Блестящий, Благородный, Посланец смерти, Вестник гибели, Ветвь, Покорный, Лезвие, Прекрасный, Бодрствующий, Горделивый, Решающий, Нападающий, Послушный, Ровный, Режущий, Кончина,

6 – 7682

Судьба, Честный, Верный, Начало, Конец, Разящий, Гнев, Плачущий кровью, Рассеивающий горе, Мужественный, Закаленный, Отсекающий, Синий, Цветущий, Возвеличивающий, Стирающий, Разделяющий, Чудо, Истина, Путь, Разящий героев, Друг, Заостренный, Отточенный, Кровавый, Защитник, Светлый, Услада очей, Уплата долга, Проливающий кровь, Губительный, Товарищ в беде, Владыка змей, Жаждущий — вот немногие имена и прозвания меча, о Имр-уль-Кайс!»

Вот что было записано в свитке Матушки Ци.

И на полях, быстрым летящим почерком:

«Сказители Нижнего Дурбана в «Песне о смерти Антары Абу-ль-Фавариса» поют не встречающийся более нигде бейт о том, что за миг до смерти Антара приподнялся на ложе и воскликнул: «Будь проклят день, когда оружию стали давать имена!»

И еще:

«Седьмой год эры правления «Спокойствие опор», Мэйлань — Ю Шикуань, меч «девяти колец» Цзюваньдао по прозвищу Ладонь Судьбы. Ущелье Воющих Псов в Хартуге.

Семнадцатый год эры правления «Спокойствие опор», Мэйлань — Лян Анкор-Кун, прямой меч Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст».

...Я еще раз перечитал пергамент. Кроме того, что неизвестный Лян Анкор-Кун явно приходился мне родичем — старшим? младшим? — я не понял больше ничего.

Единорог, узнав о свитке, сообщил мне, что Блистающий Цзюваньдао — я отчетливо увидел кривой широкий меч с девятью кольцами на массивном обухе — еще при отъезде Единорога из Мэйланя (то есть сотню лет тому назад!) был старейшиной рода Кривых мечей и входил в Совет Высших Мэйланя.

Более того — он был правителем Мэйланя.

Меч моего неизвестного родича Ляна, прямой Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст, тоже, оказывается, был старейшиной — только уже рода Прямых мечей — и тоже входил в тамошний Совет. Именно он в свое время отослал Единорога — и своего почти что племянника, ибо они были в родстве — в Кабир.

Ссылка состоялась без объяснения причин.

Все это мне ужасно не понравилось. Во-первых, я ничего не мог понять, кроме каких-то крох, а во-вторых, эти крохи разом влетели в сапог моей судьбы и ужасно натирали ногу рассудка. Пока я изощрялся в подобных рассуждениях, Единорог что-то прикинул и сказал, что он не уверен до конца, но седьмой год эры правлёния «Спокойствие опор» — это, похоже, прошлый год. Как раз прошлым летом и пришло какое-то послание от Совета Высших Мэйланя, и наш двоюродный брат (в смысле Единорогов брат) Большой Да-дао-шу спешно уехал из Кабира в Мэйлань. Может быть, Большой Да был вызван мечом Цзювань-

дао, старейшиной рода Кривых мечей и правителем Мэйланя Цзюваньдао?

«Ты у меня спрашиваешь?» — поинтересовался я.

Единорог не отозвался.

Тогда я сказал ему, что это совпадение. А он сказал мне, что когда меч в десятый раз не попадает в собственные ножны, то это не совпадение, а привычка. И не с нашим везением кивать на совпадения. А я сказал ему...

А Кос сказал мне, чтобы я прекратил бормотать себе под нос невесть что и шел спать.

Ну, мы и пошли спать.

2

Утром в мою отоспавшуюся голову пришли довольно странные мысли; пришли и расположились как у себя дома.

Я вдруг подумал, что все изменения, происшедшие со мной — железная рука, доспех, опыт потерь и находок, знакомство с насильственной смертью, — все это не главное, не единственно важное, отличающее Чэна Анкора Прежнего от Чэна Анкора Настоящего.

Главное, вне всякого сомнения, началось с падения моей отрубленной руки на турнирное поле — но не в потере самой руки было дело. Удар Но-дачи разрубил надвое нить моей судьбы, мой знак в этом мире рассыпался на мелкие кусочки, и я не связал обрывки нити, не склеил знака — я просто подобрал один из этих обрывков, горсть осколков, подобрал и пошел дальше.

Для Чэна Прежнего жизнь состояла из обилия ярких, запоминающихся мелочей, которые, подобно частям мозаики, складывались в рисунок действительности. Чэн Прежний воспринимал жизнь как множество цветных картинок — золотое шитье халата, пушок на боку перезрелой айвы, узор «следы когтей» на сафьяне ножен, медные скрепы по краям, тень айвана, щербатая пиала в чайхане...

Жизнь была — подробной.

Каким увидел бы Чэн Прежний караван-сарай, выглядывая в окно? Наверное, таким...

«На поверхности хауза — небольшого водоема во внешнем дворе — весело прыгали солнечные зайчики. У коновязи, где стоял чей-то гнедой с выкаченными и налитыми кровью глазами, сидел на корточках рябой мальчик-служка в просторной рубахе до самой земли и чистил песком бронзовый таз. Нижняя ветвь кривой древней джиды бросала тень на его лицо — скуластое, сосредоточенное, с жестким профилем дейлемца-южанина...»

Здорово! Оказывается, еще могу... детали, мелочи, подроб-

ности! Видно, Чэн Прежний все-таки не до конца умер, а просто затаился до поры до времени в Чэне Настоящем, Сегодняшнем.

Просто-непросто...

Зато Чэна Настоящего почти совсем перестали интересовать подробности внешние, подвластные точному описанию; мелочи, которые можно потрогать. На первый план вышло непосредственно действие, которое можно только прочувствовать; и чувства, которые можно лишь ощутить, не успевая обдумать; и ощущения, личные ощушения при столкновении с этой стремительной и не всегда понятной для рассудка жизнью.

И отношения между мной и людьми. И Блистающими. И их отношения между собой.

Раньше, глядя на крону дерева бытия, я пытался рассмотреть по очереди каждый листок — как он выглядит. Теперь же я не замечал отдельных листьев, но видел листву — и слышал ее шелест, отдыхал в прохладе ее тени, и листья были для меня единым целым.

Не листья, но листва.

Так бывает при Беседе. Все мелкое послушно отступает в сторону; все незначительное и потому способное отвлечь отметается вихрем происходящего; сознание, память о прошлом, оценка настоящего, мечты о будущем — этого больше нет, а есть нечто сокровенное, поднимающееся из глубин подобно Треххвостому дракону Он-на... и этот дракон способен решать не раздумывая, поступать не сомневаясь и дышать ветром сиюминутного полной грудью.

Возможно, этот дракон и есть душа.

...Я Беседовал с Жизнью — узнав Смерть, я мог себе это позволить.

И мог позволить себе перестать быть мелочным.

Одного я не мог себе позволить — это перестать умываться.

И я пошел умываться.

3

Этим утром Кос, вопреки своей новой привычке, проснулся раньше меня, и, когда я спустился в харчевню, завтрак уже был на столе. Мяса мне с утра не хотелось, но ан-Танья словно предугадал мои желания: сыр, зелень, лепешки и крепкий чай. Как раз то, что надо. Кроме нас с Косом, несмотря на довольно поздний час, никого в харчевне не было — и я принялся жевать.

Закончив трапезу, я жестом подозвал длинноносого хозяина.

— А скажи-ка мне, любезный, здесь ли еще эта старуха... то есть Матушка Ци?

Вопрос был совершенно безобидный, но маленькие глазки

нашего караван-сарайщика почему-то тут же забегали — причем в разные стороны.

— Нет, почтеннейший, нет, благородный господин, она на рассвете ушла — рано встала, поела, сказала, что расплатится в другой раз, и ушла.

Что-то непохож был наш хозяин на человека, с которым можно расплатиться в другой раз. Во всяком случае, без воплей и скандалов.

— Не сказала — куда?

— А она никогда не говорит.

— Так ты, любезный, ее знаешь?

— Ну вы спросите, благородный господин! Да эту старую ворожею... то есть Матушку Ци, конечно, каждый караван-сарайщик на Фаррском тракте знает. Раз в полгода непременно объявляется...

— Много путешествует, значит, — то ли спросил, то ли просто заметил Кос.

— Много? Да, почитай, только этим и занимается!

Далее продолжать разговор не имело никакого смысла — хозяин или ничего больше не знал, или не хотел говорить.

— Спасибо, — небрежно кивнул я, а Кос сверкнул монетой — и хозяин, поймав мзду на лету, понятливо исчез.

— Говорила — еще, мол, свидимся, — пробормотал я, ни к кому не обращаясь. — Ну что ж, может, и свидимся... Вот тогда и получишь, Матушка, свои записи обратно.

Потом я повернулся к ан-Танье.

— Мы тут немного задержимся.

— Зачем?

— Да так... выяснить кое-что надо. Пришла пора завязать более тесное знакомство.

Кос непонимающе поглядел на меня. Действительно, о каких выяснениях и знакомствах могла идти речь, если в караван-сарае, кроме нас и хозяина, похоже, никого не осталось?

Впрочем, я-то знал — что надо выяснить и, главное, у КОГО!

Я неторопливо поднялся из-за стола — еще бы, после такого завтрака! — и прошел в нашу келью. Все еще недоумевающий Кос проследовал за мной.

Усевшись на низкую кровать, я аккуратно положил рядом с собой Дзюттэ и Сая Второго и, глубоко вздохнув, взялся правой рукой за рукоять Единорога.

— А ты, Кос, — за миг до того обратился я к усевшемуся было на свою кровать ан-Танье, — бери-ка эсток и поупражняйся. Вон мой доспех на стене развешан — давай коли и представляй, что в доспехе — я. Илй не я. И пробуй не останавливаться. Дескать,

если я или не я в железе, то ничего страшного ни с кем не случится. Давай, давай, не стесняйся...

И — странное дело! — Кос послушно взял Заррахида и шагнул к стене, на которой висел доспех аль-Мутанабби.

А я тут же забыл о Косе, доспехе и Заррахиде, окунувшись вместе с Единорогом в разговор Блистающих.

На этот раз мои приятели решили сменить тактику, перейдя от кнута к пряннику.

— Слушай, Вилорогий! — вещал Обломок. — Да ты у нас молодец! Можешь ведь, если захочешь! Так вчера душевно по-Беседовали, что просто...

Похвалы Саю явно нравились, а на «Вилорогого» он, видимо, решил не обижаться — и правильно, потому что тогда ему пришлось бы обижаться на Дзю через каждое слово.

Как мне в свое время — на Друдла...

— Понятное дело, могу! — хвастливо заявил польщенный Сай, и я неслышно расхохотался. — Если б еще Заррахидову Придатку руку левую, как надо, поставить, мы б вас тут по всему двору гоняли как хотели! И тебя, Обломок, и Рога Единого, и Придатка вашего железнобокого! И посох этот дурацкий с бубенцами...

Я чувствовал, что Дан Гьен с трудом сдерживается, чтоб не смазать пряник похвалы чем-то похуже арахисового масла; да и у Дзюттэ наверняка вертелась на кончике клинка очередная колкость, но, взяв определенный тон, надо было держать его до конца.

— Что же вы, все такие... герои? Ну, те, кто Шулму видал? — со скрытой издевкой, которую Сай, похоже, заметил, поинтересовался Единорог.

— Шел бы ты в ножны! — огрызнулся Сай. — Герои... Тебя б туда хоть на денек, небось сразу понял бы...

Он умолк, не докончив фразы.

И тут я не выдержал, а Единорог согласно звякнул, представляя себя в мое распоряжение.

— И вы решили сделать героями нас! — не спросил, а твердо отчеканил Я-Единорог. — Спасая нас от Шулмы, вы принесли ее сюда, чтобы и мы поняли...

— Да! — чуть ли не взвизгнул Сай, и тут до него дошло. — Кто это? Кто это сказал?! Это ты, Заррахид?!

Сай был весьма напуган, и я сообразил, что когда я говорю через Единорога, то у Дан Гьена сильно меняется, так сказать, голос — звучание, интонации, характер и все такое. Неважно, что он говорит посредством совсем иных звуков, чем я, — голос-то все равно меняется.

Как, наверное, и у меня, когда говорю не я, и даже не Я-Единорог, а Единорог-Я.

— Нет, — недоуменно брякнул эсток о мой доспех. — По-моему, это Единорог.

— А почему у него тогда голос такой?! — Сай не на шутку разволновался. — Он чего, перегрелся?

— А потому что это не я — верней, не совсем я — говорю, — сказал уже Единорог-Я. — Это говорит Чэн Анкор, тот, кого ты называешь моим Придатком.

— А я его по-всякому называю, — самодовольно заявил Обломок. — У меня воображение богатое... и нездоровое.

— Вы что тут, с нарезки съехали?! — завопил несчастный Сай. — Как это Придаток может со мной, с Блистающим, разговаривать?! Как он вообще может...

— Может-может, — прервали его мы с Дзю одновременно.

— Мы много чего можем, Сай, — продолжил уже я сам, без Обломка, потому что шуту тоже было не вредно меня послушать, раз у него такое воображение. — Вы, Блистающие, кого мы звали оружием, и мы, люди, кого вы звали своими Придатками, — каждый из нас считал (да и считает), что именно их род правит миром, а прочие — не такие — у него, у венца творения, в услужении. Ну что ж... я готов простить Но-дачи и его Придатку... тьфу ты! То есть я хотел сказать — его хозяину... слушай, Единорог, не обижайся!.. Короче, я готов простить им обоим свою отрубленную руку, потому что волей случая я, человек, не раз державший в руке меч, лишь железную, невозможную руку я сумел протянуть Блистающему как равному! И не все ли равно, в конце концов, кто из нас правит миром?! Тем более что вы привезли из Шулмы зародыш такого мира, которым не то что править — в котором жить не хочется!

— А мне, ты думаешь, хочется?! — запальчиво перебил меня Сай. — Я когда своего, первого, заколол — мне... я чуть не сломался на этом! Потом, правда, полегче стало, но все равно...

Сай помолчал.

— Мне кажется, — наконец бросил он, — что у меня сейчас боковые усы в узел завяжутся. Или винтом закрутятся. Или еще чего... Как ты сказал, тебя зовут? Если, конечно, ты не Единорог.

— Чэн. Чэн Анкор.

— И ты этот... человек? Который как бы Придаток, но человек?

— Как бы да, — чуть насмешливо ответил я.

— И говорит со мной сейчас не Единорог, а ты? Через эту самую... железную руку?

— И он еще называл меня — меня! — тупым! — не выдержал Дзюттэ. — Да через руку он говорит, через руку — не через ногу же! Ну, кто теперь из нас тупой?!

Впрочем, потрясенный Сай оставил этот выпад без внимания — и опять же правильно сделал.

— Наверное, тогда ты должен меня ненавидеть, — едва шелохнулся он.

— Наверное, должен. Но не могу. Во-первых — ты уж прости, — я лишь недавно понял, что оружие можно ненавидеть так же, как и человека; а во-вторых, убивать мы с Единорогом уже научились, а вот с ненавистью что-то плохо получается — во всяком случае, если всерьез и надолго. Не готовы мы к этому... хотя уж как нас в последнее время готовили! То, что делал ты и тебе подобные, пускай из самых благих побуждений, — это ведь тоже Путь. Путь Меча... к сожалению. И да будет милостив к вам гордый Масуд-оружейник, несчастные Блистающие, побывавшие в прошлом!..

— Спасибо, — еле слышно прошептал Сай. — Нет, Единорог, это и впрямь не ты... ты злой, а этот... этот добрый. Он меня понимает...

«Ну вот, — рассмеялся Единорог глубоко внутри меня, — Чэн Анкор, любимец заблудших Блистающих. И его злобный меч...»

— Сколько вас осталось? — спросил Единорог у Сая, не дожидаясь меня.

— Шестеро. Если со мной считать. Шесть Блистающих и пять Придат... э-э-э... пять человек. А зачем вам это? Чтоб ловить проще было, да?! Или перебить поодиночке?!

Чувствовалось, что Сай огрызается скорее для порядка, сам не очень-то веря в собственные слова.

— Знать хотим, ржа тебя заешь! — лязгнул Дзюттэ. — Делать что-то надо! А то и впрямь Шулма сюда нагрянет, а мы тут все, так сказать, гостеприимные... или мы с вашей помощью гостеприимность свою так исполосуем, что сами, не дожидаясь, в Шулму заявимся, концы света с концами сводить! Думать, думать надо. И вам думать, и нам, и всем...

...Сай боялся. Боялся поверить. Но у него не было выбора. Во-первых, он устал от одиночества и страстно желал снова стать своим, одним из сообщества; более того, у Сая были несомненные виды на Коса. Потеря Придатка — чтоб лишний раз не путаться, я решил принять это слово без обид и глупостей, — так вот, потеря Придатка, сами понимаете, дело нешуточное.

Ну а во-вторых, если мы все-таки обманщики и негодяи, то на втором плане размышлений Сая резко возникал образ долговязого немытого Придатка в холщовых штанах, грузившего на арбу при помощи Сая Второго — что бы вы думали? — вот-вот, это самое и грузившего...

И Сай, как говаривали кабирские стражники-айяры, раскололся. Похоже, он и сам давно мечтал этим с кем-нибудь поделиться.

Впрочем, знал он не слишком много.

4

Рассказ Сая о его пребывании в Шулме почти дословно повторял судьбу Но-дачи, рассказанную Единорогу покойным Детским Учителем, или судьбу Асахиро Ли, Придатка Но-дачи, рассказанную мне покойным Друдлом, — или уж как хотите, потому что не в этом дело.

Отнюдь не в этом.

А вот после их побега из Шулмы...

Девять их осталось. Девять Блистающих и семь Придатков. Тех, кто сумел прийти в Шулму и уйти из Шулмы, оставив там часть своей жизни и часть чужой смерти; девять Блистающих и семь людей, дважды прошедших Кулхан...

Мало их было. Очень мало.

Так и сидела эта малость на границе Мэйланя, перед открытыми дорогами в Кабир, Дурбан, Лоулез, Харзу, — и за спинами их незримо оставалась Шулма и встающие над ней Джамуха Восьмирукий и прямой короткий Чинкуэда, Блистающий-убийца не по принуждению, а по призванию.

И еще там были рукоплещущие Джамухе шулмусы и Дикие Лезвия шулмусов.

Девять Блистающих и семь Придатков уже знали, что это такое.

И еще они знали, что дело их неизбежное и безнадежное. И страшное оно, их будущее дело. Страшное именно своей неизбежностью и безнадежностью. Но другого выхода у них не было. Или был — но они не сумели его найти.

Они разделились. Но-дачи, Шото и три Сая отправились в Кабир. Острая до безумия сабля Кунда Вонг, а также ее спутник, очень прямой и очень упрямый двуручник Клейм (почему-то свое полное имя — Клеймора — он считал женским и потому не любил) двинулись в Харзу.

Как я понял, именно Кунда Вонг или Клейм убили друга Эмраха ит-Башшара, прошлого Придатка Пояса Пустыни.

Двулезвийная секира из семьи Лаброс, полного имени или прозвища которой Сай не запомнил, и отчаянный акинак Джанг свернули западнее, мимо Хаффы к Оразму, намереваясь достичь Лоулеза.

Это были лишь примерные маршруты, которые каждый был волен изменить в случае необходимости.

Они договорились встретиться в Мэйлане через полгода — те, кто переживет эти полгода. Ну а то, что произошло вскоре в Кабире, мы — Дзюттэ, Единорог и я — уже и так знали, и Сай лишь добавил несколько малозначащих деталей к общей картине. Затем, по словам Сая, Но-дачи отправился первым в Мэйлань, а три Сая и Шото... в общем, понятно.

Собственно, вот и все, что смог поведать нам Сай Второй.

Немного.

Теперь, правда, мы точно знали остальных. И время встречи. И место встречи.

Мэйлань.

5

...Я сидел и молчал, осмысливая услышанное и соображая, какую все-таки пользу можно извлечь из полученного знания. Единорог, Обломок и Сай Второй тоже помалкивали. И тут...

И тут кто-то заговорил.

Поначалу я даже не сразу понял — кто, но после первого удивления до меня дошло, что это не кто иной, как эсток Заррахид.

Мой дворецкий.

В смысле — меч моего дворецкого.

А точнее — дворецкий моего меча и меч моего дворецкого.

А еще точнее — бывший дворецкий... и так далее.

— Ну, вы даете! — восхищенно заявил Заррахид, в последний раз звякнув о зерцало доспеха, отчего лоск столичных манер както совершенно слетел с эстока. Я еще подумал, что такая перемена вообще невозможна — если сравнить наших дворецких до и после увольнения, — но мне ли говорить о невозможном...

— Ну, вы даете! Это ж надо было так ему набалдашник заморочить! А он вам все и выложил!.. Молодцы, право слово!

Едва я понял, что практичный эсток убежден, будто все это время хитрый Единорог не своим голосом дурачил легковерного Сая, как еще один голос чуть окончательно не свел меня с ума.

— Может, за лекарем сбегать? — поинтересовался этот голос. — С кем это ты разговариваешь, Чэн? Ушастый демон У привиделся?

— Я? С кем это я разговариваю? — это было первое, что пришло мне в голову.

— Вот об этом я тебя и спрашиваю! Сидишь тут уже битый час и бредишь с открытыми глазами... Бормочешь что-то о каких-то Блестящих, как ты им зачем-то свою железную руку протягиваешь, от имени человечества!.. Ну и в том же духе. Я, конечно, понимаю — ночью мало спал, бабка эта вредная... Так за лекарем идти или уже не надо?

Ну вот! Оказывается, общаясь с Блистающими, я кое-что проговаривал вслух. И участливый ан-Танья решил, что у меня не все в порядке с головой... Впрочем, еще недавно я и сам бы так решил.

Кажется, опять придется убеждать. Причем обоих одновременно. Та еще парочка — Кос с Заррахидом... один другого доверчивей.

И я заговорил, тяжело вздохнув. Вслух — для ан-Таньи, и через Единорога — для Заррахида. Я часто запинался, пытаясь говорить то попеременно, то сразу для обоих; очень хотелось раздвоиться. Может, выпить жбан-другой и глянуть в зеркало — а вдруг раздвоюсь?

Чего на свете не бывает!

Выглядел наш разговор примерно так...

— Кос, не надо лекаря. С головой у меня все в порядке. И то, что ты слышал, — это не бред. Я действительно разговаривал с Блистающими. Кто это такие? Это наше оружие... (— Нет, Заррахид, это не Единорог. Верней, не только Единорог. И вообще — завей гарду веревочкой и слушай не перебивая, когда с тобой люди говорят! Лю-ди! Кто такие? Ну, Придатки ваши...) Нет, говорю, лекаря не надо! Да, и твой эсток — тоже! И нечего на меня так сочувственно смотреть! Ох, зря я тебя уволил, зря... так бы просто приказал — и ты бы поверил!.. (— Тьфу ты пропасть, легче троих Саев убедить, чем одного такого недокованного эстока... и не надо только начинать про кузницу, где можно без хлопот подлечиться! Никому твоя кузница...)

— Еще бы! — вмешался Обломок. — А все потому, что он тупой!

— Это я тупой? — возмутился Заррахид. — Это ты тупой!

— А вот и нетушки! — возрадовался Обломок. — Я с первого раза понял. А ты — нет! Так что все вы тут тупее меня! Кроме разве что Единорога. Он такой же. Как я. Острый!..

— ...да нет, Кос, не пил я тайком! Вместе ж чай хлестали! Ох, в священный водоем тебя! — не пил, говорю! Мне, чтоб до видений допиться, сам знаешь, сколько надо! Правда, меньше, чем Коблану, — тому вообще... ладно, не о том речь. Живые они, говорю тебе, живые, хоть и железные! Дался тебе этот лекарь!.. (— Эй, Заррa, это я, Чэн! Да плевать мне, что ты не веришь... я и сам уже ничему не верю. Ты знаешь, твой Кос и впрямь — Придаток! Давай я тебе другого подыщу, не такого упрямого... Не хочешь? Ну как угодно...) Не веришь, Кос-упрямец?! Ну я сейчас тебе докажу! (— Заррахид, а вот он говорит, что ты — железо! Да, и все. Правильно, я бы тоже обиделся. Слушай, а ты про Коса что-нибудь такое знаешь, чего никто больше не знает? Нет, про его дедушку не надо, давай про Коса... ага, сойдет... так... ну да?! Прямо тобой и лупил?! Молодец, Заррa, так их, Придатков этих недоверчивых!..) Вот ты, Кос, помнишь, как в детстве, лет эдак в восемь, ты чуть эсток свой не сломал?! А вот знаю-знаю... ну и что, что меня тогда на свете не было? Мне твой эсток и рассказал! Ты еще загнал Заррахида в щель в каменном заборе, вытащить не мог и полчаса рыдал на весь двор, пока отец твой не пришел и по заднице тебе не надавал! Вытащенным эстоком. Плашмя... (Слушай, Заррa, а какой Придаток был лучше — Кос наш, отец его или дед? Ну понимаю, что смотря в чем... Это хорошо, что Кос.

Ах, он на деда похож!.. Вот и я было решил, что на деда, только на моего. Ты помнишь, как он во дворе ночью и с Саем в левой руке прыгал? Еще бы не помнишь... говоришь, что иначе неудобно было бы... ладно, давай об этом после...) Ну что, Кос, съел?!. Лекаря случаем позвать не надо?!

— Бросьте меня в священный водоем! — только и смог произнести потрясенный Кос.

И с неподдельным страхом посмотрел на собственный меч.

6

Последним неверующим в нашем обществе оказался Заррахид. Его убеждали уже все вместе. К этому делу присоединился даже новообращенный Сай Второй, а Кос — дослушав историю Сая в моем вольном пересказе — воспылал к Саю необоримым сочувствием и сообщил через Меня-Единорога своему несгибаемому эстоку несколько таких интимных подробностей их совместной жизни, что упрямый Заррахид мигом отказался от идеи ржавых гард и мозгов и понял, что никто над ним смеяться не собирается.

Хотя смеяться-то как раз смеялись. Особенно Обломок, чьи язвительные замечания сыграли не последнюю роль в деле приобщения Заррахида.

Признаться, нелегкое это дело — убедить хоть человека, хоть Блистающего в чем-то, во что он упорно не хочет верить. Особенно когда все используют тебя как переводчика, а ты еще норовишь и от себя пару слов вставить. Хорошо шулмусам — у них, говорят, оружие безмозглое...

В конце концов я от них сбежал — ужинать, поскольку обед мы давно пропустили, — а Кос вскоре присоединился ко мне, оставив Заррахида с его собратьями-Блистающими. У него (у Коса, а не у Заррахида) голова шла кругом, и он в течение ужина основательно прикладывался к кувшину для восстановления душевного равновесия. У меня в мозгу тоже непрерывно звенели голоса перебивающих друг друга Блистающих, так что по части кувшинов я не отставал от ан-Таньи, и в итоге у нас головы снова пошли кругом — но уже совсем по другой причине.

И мы вернулись в келью, чтобы продолжить разговор, упали на кровати и уснули.

7

По-моему, Кос не человек.

По-моему, он дальний родственник бога виноградной лозы, красноносого Юя. Или ближний родственник. Или даже сам Юй.

Во всяком случае, похмелья у него не бывает никогда. Я еще только с трудом разлеплял правый глаз, а Кос за это время успел умыться, одеться, побриться, сходить позавтракать и теперь носился по комнате, пританцовывая и размахивая руками.

— Вставайте, Высший Чэн! — напевал Кос, как в старые добрые времена. — Вставайте и радуйтесь жизни. Я вот, например, радуюсь, да и хозяин этого свинарника тоже небось радуется, поскольку содрал с меня лишних полтора динара! Ладно, вещь того стоит!.. И какая вещь!

Я скосил на ан-Танью недоразлепленный правый глаз и обнаружил у него в руках что-то зеленое, блестящее и напоминавшее помесь плаща с халатом.

— Что это, Кос? — просипел я.

— Это настоящая оразмская марлотта! — назидательно сообщил Кос. — Так что с тебя полтора динара за одежку и два динара за услуги... Такую замечательную марлотту даже в Кабире днем с огнем не достать, и просто обидно, что носить ее будет такой Придаток, как ты! Вставай, вставай, нечего на меня поглядывать...

Я потянулся и задел лежащего поперек кровати Единорога.

Он был без ножен.

— Кто там орет? — недовольно прозвенел из угла Обломок. — Заррахид, скажи своему Придатку, чтоб замолчал!

— Сам ты Придаток! — обидчиво заявил эсток. — Обломок незаточенный! Это же этот... Кос ан-Танья, человек. Мой личный человек. Понял?

— Понял, — оторопело брякнул Дзю и замолчал.

...А часа через два мы выезжали из караван-сарая. Я был поверх доспеха в новенькой марлотте, зеленой, как молодая листва, — это все же оказался плащ с капюшоном, подобием откидных рукавов и хитроумными застежками на груди, так что, застегнувшись и накинув капюшон (или обмотав шлем тканью, превратив его в тюрбан), я немедленно превращался в почти что обычного человека, переставая привлекать всеобщее внимание.

Это было очень кстати. А два динара за услуги Кос не взял.

Один — взял.

Блистающие тоже несколько поутихли и теперь не лезли в разговор все сразу, перебивая друг друга, да и я уже, надо сказать, начал понемногу привыкать к двойному общению.

Впрочем, ехать стало намного веселее — как-никак нас теперь было шестеро.

Добравшись до Хаффы без приключений и не заезжая в город, мы взяли круто на северо-восток и еще через день присоединились к каравану фарузских купцов, идущему в Мэйлань.

«Мэй-лань! — звенели о дорогу копыта моего коня. — Мэй-лань, мэй-лань, мэй-лань, мэй...»

Часть V

БЛИСТАЮЩИЕ И ЛЮДИ

Считает излишними старец-меч пять
ежедневных молитв,
Готов даже в храме он кровь пролить,
жаждет великих битв.
В разгаре сражения этим мечом
вражеских львов бодни —
Не меч отпрянет от их брони — сами
отпрянут они.
О молниях в небе заставит забыть
молния в длани моей,
И долго пропитанной кровью земле
не нужно будет дождей...

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби

ГЛАВА 13

1

Спрессованные в единый монолит серые каменные блоки древних стен медленно приближались, одновременно проступая перед нами — и в моей памяти. Эти две картины накладывались одна на другую, почти полностью совпадая. Похоже, всесильное время, пытаясь грызть эти стены, безуспешно обломало себе зубы.

Но не успокоилось. Ведь в конечном итоге последний удар всегда остается за ним, за временем...

Кони вязли в рыхлом песке — вслед за нами многие всадники свернули с мощеной дороги, чтобы выбраться на пологий холм и с его вершины полюбоваться на твердыню Мэйланя. Блистающие весело переговаривались между собой, правая рука Чэна лежала на моей рукояти (это уже вошло у нас в привычку), и я мог слышать разговоры караванщиков-людей, обсуждавших достоинства и недостатки нынешнего караван-баши — сухого жилистого Придатка, за спиной которого вечно болталось короткое и неразговорчивое копье Рохин, — а также радовавшихся окончанию долгого, хотя и не слишком утомительного пути.

Я слушал их всех в пол-лезвия и никак не мог заставить себя поверить в то, что передо мной действительно — Мэйлань.

Моя родина. Пускай ковали меня в Верхнем Вэе — все равно это моя родина.

Которую я не видел добрую сотню лет.

А также это родина предков Чэна, семейства Анкоров Вэйских, наследных ванов Мэйланя.

Которую Чэн не видел вообще никогда.

Дорога, проходившая примерно в сорока выпадах от подножия холма, упиралась в главные ворота города, носившие название Шульхара — «Начало начал».

Это я помнил.

Старинные ворота, окованные потемневшей от времени медью, были распахнуты настежь, и в проеме Шульхары, где могли проехать в ряд девять-десять всадников, виднелась изрядная толпа встречающих. Сверкали на солнце наконечники возбужденно качавшихся трезубцев, копий и алебард, у Чэна рябило в глазах от разноцветья праздничных одежд и парадных ножен; кое-где размахивали знаменами, и на них неразборчиво виднелись какие-то иероглифы, но прочесть их с такого расстояния не удавалось.

Это было очень красиво. Правда, я что-то не мог припомнить, чтобы в Мэйлане так встречали караваны. Может быть, за долгое время моего отсутствия обычаи резко изменились? Или караваны стали большой редкостью? Странно, однако...

Чэн тоже был несколько удивлен, но меньше, чем я, — в Мэйлане он никогда не был и счел все это столпотворение лишь неизвестной ему местной традицией. Когда же я сообщил Чэну, что это не так (во всяком случае, сто лет назад было не так), Чэн задумался и слегка придержал гарцующего коня.

Через мгновение Кос с Заррахидом и Саем Вторым поравнялись с нами.

— Скажу, что мне нравится такая встреча! — самодовольно усмехнулся ан-Танья. — Сразу чувствуется душевность и веселый нрав здешнего народа!..

— Мне, в общем-то, тоже, но что-то не хочется лезть в этакую толчею, — ответил Чэн, и я с ним полностью согласился.

Зато Сай не согласился.

— Это почему же? — возмутился он, едва я перевел разговор людей на язык Блистающих. — Мне эти караванщики по самый набалдашник надоели! А там хоть разнообразие... Вон, у правой створки ворот — очень даже приличная сабля! Поглядите, какой крутой изгиб!

— Сабля, конечно, хороша, — тоном знатока поддержал его Обломок. — Хотя это, пожалуй, единственное, в чем я одобряю вкус Вилорогого, но я и сам не прочь оказаться поближе...

— А я — прочь! — прозвенел вдруг молчавший до сих пор эсток. — Единорог, забирай-ка отсюда Чэна и скажи ему, чтоб уволок моего... Коса, да и всех нас! А если кому охота в толпе потолкаться — незаметно въедем в город через другие ворота, подберемся сзади и сперва выясним, к чему бы это такой прием! Договорились? А то в давке и потеряться недолго...

Чэн добросовестно изложил мнение Заррахида ан-Танье, тот покосился на черную витую гарду эстока и в конце концов согласно кивнул. Дзю заявил, что он внезапно возлюбил тишину и

покой, — так что недовольным остался только Сай, но поскольку он оказался в явном меньшинстве, то протестовать не стал.

Кажется, Дзю даже немного огорчился этим.

Караван тем временем ушел вперед, закрыв нас от встречающих огромным облаком пыли. Я напряг память и вспомнил, что вдоль северо-западных стен города тянется окружная дорога, и в полуфарсанге от Шульхары должны быть следующие ворота.

Еще не забыл, оказывается...

И мы свернули влево, постепенно удаляясь от толпы, сгрудившейся у «Начала начал».

2

Западные ворота — куда более скромные и даже словно чуть-чуть покосившиеся — тоже были открыты, но вместо толпы со знаменами здесь лениво скучали четверо стражников-алебард Юэ, а четверо стражников-людей так же лениво играли в кости, сидя прямо на песке у ворот.

Когда мы подъехали, никто даже не пошевелился.

— Товар везете? — для порядка осведомилась крайняя справа алебарда, хотя по нашей поклаже было прекрасно видно, что никакого товара мы не везем.

Чэн снял руку с меня, и я с чистой совестью вступил в разговор с Блистающими, оставив людей на попечение Чэна и Коса.

— Нет, — коротко и властно отрезал я.

— Юэ Тахиро, — подумав, на всякий случай представилась алебарда. — Старшина караула. Откуда путь держите?

— Из Кабира, — не снижая тона, ответил я. Стражники явно были молоды, меня помнить не могли, но на всякий случай я не стал называть им даже своего безличного родового имени.

И так видно. А спросят — назову.

Может быть.

— Из Кабира? — искренне удивилась Юэ Тахиро. — А что ж не через Шульхару въезжаете?

— Суеты не любим, — вдруг заявил Заррахид таким командирским голосом, что Тахиро невольно подтянулась и перестала задумчиво качать волосяным бунчуком. — И без нас караван встретят. Еще вопросы есть?

Стоявшая рядом с Юэ Тахиро вторая алебарда оперлась о плечо подошедшего к ней Придатка — наголо бритого стражника, вытирающего потную голову полосатым платком.

— Это не караван встречают, — наставительно заметила она. — Караван себе и караван, чего его встречать... Это встречают самого Мэйланьского Единорога и его железного Придатка, Чэна-в-Перчатке!

— А нас по жребию сюда поставили, — добавила Юэ Тахи-

ро. — Скучища... Раз в жизни вроде как довелось на живую легенду глянуть — и то не судьба!

Я подумал, что Чэн весьма вовремя обмотал с утра шлем куском шелка, так что получился тюрбан с блестящим верхом, а марлотта, купленная предусмотрительным Косом, и без того неплохо скрывала доспех. Разве что рука... вернее, обе руки в латных перчатках. Но на руки Чэна никто пока что не обращал особого внимания.

Ну да, конечно... они ведь ждали железного великана с клыками из сплошных Единорогов — а тут обычные Блистающие, обычные Придатки...

— Все? — одновременно поинтересовались я и Заррахид. — Тогда желаем приятной службы!

Четверка Юэ ответно махнула бунчуками, Чэн швырнул бритому стражнику горсть монет — деньги были кабирской чеканки, но бритый ловко и с видимым удовольствием поймал их на лету, каким-то чудом не уронив ни одной, — и мы въехали в Мэйлань.

Тихо-тихо.

Даже Обломок вел себя вполне прилично.

3

...Я поглядывал по сторонам и молча радовался. Многоярусная пагода с резным ажуром перекрытий, ровная брусчатка мостовой, фонтан в виде прыгающей рыбы, храм Небесного Молота на площади... вон за той лавкой жила семья Прямых мечей Цзянь Тайшень, с чьими отпрысками я года два учился вместе у сурового и строгого ворчуна Пуддхи, имевшего поперечную рукоять и вместо гарды — что-то вроде нынешнего Чэнова наруча. Сколько лет прошло, сколько Придатков умерло (надеюсь, своей смертью!) — небось правнуки их теперь здесь живут, а ворчливый Пуддха наставляет новых Блистающих...

Из всех нас Мэйлань толком знал один я — если это можно было назвать толком, потому что прожил я здесь в три раза меньше, чем в Кабире. Чэн и Кос могли лишь озираться по сторонам, сгорая от любопытства; Сай был тут полгода тому назад, но проездом из Шулмы в Кабир, и почти ничего не запомнил; Обломок, если верить ему, посещал Мэйлань так давно, что с тех пор не изменились разве что городские стены (я подумал, что Дзю тогда никак не меньше пятисот лет, если не больше)...

Заррахид молчал и делал вид, что Мэйлань его вовсе не интересует, но с ним и так все было ясно.

— Куда теперь? — поинтересовался Сай после очередного поворота.

— В фамильную усадьбу Высших Дан Гьенов Вэйской ветви, — ответил Я-Чэн, когда железные пальцы коснулись рукоя-

ти. — Или, если угодно, в дом наследных ванов Мэйланя Анкоров Вэйских. Интересно, там все по-старому?

И через полчаса я ответил сам себе — да, все по-старому.

Усадьба за прошедшие десятилетия изменилась мало. Все та же невысокая, чисто символическая каменная ограда с чугунными остриями по краю; знакомые узорчатые ворота, ведущие в тенистый сад, где среди насаженных в хорошо продуманном беспорядке деревьев и кустов вились посыпанные белым песком дорожки. Они вели к летним павильонам и парадному залу, по обеим сторонам которого располагались флигели и надворные постройки разного назначения. В левом флигеле, как я помнил, жили Малые Блистающие дома и их Придатки; позади зала располагалась круглая беседка на берегу пруда.

За прудом начиналась галерея, ведущая к еще одному двухэтажному строению — на втором этаже которого сто лет назад жил молодой и глупый Единорог, и будущее было светлым и безоблачным, а прошлое — коротким и радостным.

Вся усадьба содержалась в образцовом порядке, что доставило мне немалое удовольствие. Впрочем, Заррахид тут же отметил... ладно, не будем повторять, что именно отметил въедливый экс-дворецкий, но половину хорошего настроения как ветром сдуло.

У внешних ворот отдыхал молодой Придаток в длиннополом халате со стоячим воротником. Ни меня, ни Чэна, ни тем более остальных он знать никак не мог, но рядом с ним...

Повинуясь неслышному зову, Чэн быстро сдвинул меня себе за спину и сверху прикрыл краем марлотты. Руку с моей рукояти он не снял, так что я прекрасно слышал за двоих, оставаясь незамеченным.

Дело в том, что рядом с молодым Придатком блестел на солнце старый двуручный топор Ляо Дафу — наш постоянный привратник, который узнал бы меня с первого взгляда.

Из-под марлотты я видел, как достойный Ляо церемонно приветствовал гостей — вот кто должен понравиться Заррахиду! — а привратник-человек громогласно осведомился, спугнув с ограды стаю голубей:

— Кто вы, благородные господа, и по какому делу?

Этим обращением он в очередной раз польстил тщеславному Косу и вызвал легкую улыбку на губах Чэна.

Хотя я подумал, что тщеславие Коса — да и многое другое — скорее всего напускное...

— А скажи-ка нам, любезный, — покровительственно начал ан-Танья, — не это ли усадьба Анкоров Вэйских, ванов Мэйланя?

— Она самая, — моргнул привратник.

— Она самая, — сверкнул топор Ляо, когда Заррахид повторил вопрос Коса слово в слово и с теми же интонациями, хотя не мог его слышать.

Я хихикнул под марлоттой и немедленно умолк, оглядывая внутренний двор. Там стояли многочисленные столы, возле пруда на вертелах жарились бычьи туши, и вообще повсюду царили суета и шум.

Вне всяких сомнений, дело шло к большому празднеству.

— Так все-таки, благородные господа, кто же вы будете? — настойчиво повторили вопрос Ляо и его Придаток.

— А будем мы, собственно, — с достоинством ответствовал Кос, выпячивая свой и без того внушительный подбородок, — будем мы Чэн Анкор Вэйский и его дворецкий Кос ан-Танья!

«Ведь я же уволил этого прохвоста!» — подумал Чэн, но вслух ничего не сказал.

— Так мы вас-то, Высший Чэн, и дожидаемся! — простодушно выпалил привратник-человек, становясь перед Косом навытяжку.

Я еще подумал, что Ляо, повременивший вытягиваться, выбрал себе туповатого Придатка — сам топор, увидь он меня или любого другого Высшего, никогда не перепутал бы дворецкого с господином.

А может, это я так, от глупой гордости, и тот же Заррахид выглядит в десять раз импозантнее меня...

— Это он — Высший Чэн, — нехотя сообщил ан-Танья привратнику, кивая в нашу сторону.

Придаток недоверчиво смерил взглядом фигуру Чэна — но тут Чэн откинул марлотту и сдвинул меня на положенное место. Взгляд Придатка уперся в правую Чэнову руку, а топор Ляо — не участвовавший в разговоре людей и настороженно поглядывавший то на Заррахида, то на Дзю и Сая, — мгновенно узнал меня.

Что значит выучка! Ляо с восторженным свистом отдал мне самый торжественный салют, на который был способен, его Придаток вытянулся теперь уже перед Чэном, а я некоторое время просто наслаждался произведенным эффектом.

— С приездом, Высший Дан Гьен! — отрапортовал Ляо. — А ваш родич, Скользящий Перст, отправился с утра к Шульхаре, вас встречать. Наверное, он скоро вернется...

— Наверное, — раздалось позади нас. — И даже наверняка. Привет, Единорог!

Один из двух услышанных мною голосов принадлежал Блистающему — хорошо знакомому мне старшему родичу-близнецу Дан Гьену по прозвищу Скользящий Перст, старейшине и члену Совета Высших, который когда-то даже подумывал жить со мной вместе, Беседуя парно и используя одного на двоих Придатка, — да жизнь как-то не сложилась, и по его же приказу я покинул Мэйлань.

Другой голос был голосом человека — мужчины одних лет с Косом, восседавшего на смирной белой кобыле.

Понятное дело, что он-то и был Лян Анкор-Кун, Придаток

Скользящего Перста и родственник Чэна; только слова «привет, Единорог» произнес не он, а Скользящий Перст, поскольку Лян Чэна в лицо знать не мог, как и меня — хотя меня в лицо знать нельзя вообще по причине отсутствия лица.

А вот у Ляна лицо было. Смуглое лицо с пронзительными глазами, и улыбка на этом лице казалась приклеенной. Правда, приклеенной аккуратно... и это сочетание суровости и радушия даже как-то располагало к себе.

— Приветствую родича Чэна, — степенно сказал Лян и приложил левую руку к сердцу.

Смотрел он как раз на нас, а не на ан-Танью. Догадливый, однако...

Чэн в ответ поднял правую руку, и я смог в свою очередь приветствовать Скользящего Перста, не отвлекаясь на людей.

— Отлично выглядишь, Единорог, — ослепительно улыбаясь, бросил Скользящий Перст, когда с церемониями было покончено. — Одного не пойму — как же это ты умудрился мимо нас проскочить? Мы весь караван прочесали с пристрастием...

— А разве в Мэйлане нет других ворот, кроме Шульхары? — в свою очередь спросил я. — Ты лучше ответь мне, откуда вы узнали, что я вообще приезжаю, причем именно сегодня? И вдобавок — в честь чего такая пышная встреча?!

Этот вопрос интересовал нас всех, и даже Обломок помалкивал, не мешая разговору двух давно не видевшихся родственников.

— Да мы уже неделю к воротам ездим, — рассмеялся Скользящий Перст. — Все сплетни друг другу раз по десять пересказали, вас дожидаясь! Ты мне потом непременно расскажешь лично, что из всего этого правда, а что — нет... Ну а сегодня не только я с друзьями — полгорода к Шульхаре вывалило, потому что гонец из Фарра обогнал вас почти на сутки и сообщил всем, что видел в фарузском караване героя Кабира, Высшего Мэйланя, звезду рода Дан Гьенов и самого знаменитого Блистающего во всем эмирате. Тебя то есть!.. Герой возвращается домой после векового отсутствия — и как прикажете его встречать?!

Он звонко расхохотался и вдруг спохватился.

— А что же это я вас перед воротами держу? Прошу!

Скользящий Перст махнул топору Ляо, и Придаток последнего со всех ног кинулся открывать ворота.

— Ты бы спутников своих представил, что ли, — шепнул мне мой родич, когда мы уже въезжали в усадьбу, направляясь через сад к летним павильонам.

— Извини! — спохватился я. — Господа, перед вами, как вы уже догадались, старейшина Совета Высших Мэйланя и мой родич Скользящий Перст! А это вот Дзюттэ Обломок, придворный клинок Шешеза фарр-ла-Кабир и самый мудрый шут в эмирате...

— Должен же хоть кто-нибудь быть мудрым, когда вокруг

сплошные... Блистающие, — как бы про себя, но так, чтобы все услышали, заявил Обломок.

— Вот, пожалуйста! — в притворной досаде я легонько шлепнул коня по крупу. — Что я говорил?! Ладно... а это уважаемый всеми в Кабире эсток Заррахид, мой...

— Его дворецкий, — коротко закончил за меня Заррахид.

Я решил не заострять внимания на этой скользкой теме.

— Ну и, наконец, Сай Второй, мой добровольный спутник, весьма искусный в Беседах...

Сай, на этот раз не уловивший иронии, важно и вместе с тем почтительно кивнул.

— Сказал бы я, в чем он весьма искусен, — пробурчал Дзю, однако ограничился этим и больше ничего не добавил.

Тем временем мы миновали павильоны и остановились у парадного зала.

— Ты не возражаешь, если я на некоторое время остановлюсь у тебя? — осведомился я у Скользящего Перста, заранее будучи уверенным в его согласии.

— Возражаю! — неожиданно ответил Перст, приведя меня в полное недоумение. — Ты вполне можешь остановиться у себя.

— У себя?

— Ну да! Здесь. Ведь это же твоя усадьба! Ты что, действительно ничего не понимаешь или просто прикидываешься?! Вэйское имение, и он после этого у меня спрашивает разрешения в нем остановиться!..

А ведь и правда! Я как-то совершенно не подумал об этом... да мало ли что могло тут за прошедший век измениться! Хотя, глядя на усадьбу, можно было счесть, что в Мэйлане время стоит или даже лежит и крепко спит.

И вообще — я уехал отсюда юнцом, которого больше интересовало умение Беседовать, чем умение разбираться в правах наследования.

— А ты? — немного растерянно спросил я.

— А у меня свой дом есть. По соседству. В одном квартале с твоим двоюродным братцем и моим драгоценным племянником Да-дао-шу. Большой Да как из Кабира прошлым летом вернулся, так и поселился там... Короче, будем друг к другу в гости ходить.

— Прошу прощения, Высшие, — вмешался в разговор Заррахид, — но, насколько я понял, эта усадьба — имущество Высшего Дан Гьена, известного как Мэйланьский Единорог?

Что-то плохо у него получалось теперь изображать дворецкого... раньше он никогда бы не влез в разговор без предварительного разрешения.

— Да, это так, — с достоинством склонил рукоять Скользящий Перст.

— В таком случае я, как дворецкий и управитель делами, хотел бы немедленно приступить к своим обязанностям. Не

могли бы вы выделить мне кого-нибудь, кто сумел бы как можно быстрее ввести меня в курс дел?

— Разумеется... Но к чему такая спешка? Чувствуйте себя гостем, а после окончания празднества...

— Я всерьез опасаюсь, Высший, не дождаться не только окончания, но и начала празднества! — нахально перебил моего родича эсток, а я едва сдерживался, чтоб не рассмеяться. — Простите меня за дерзость, но таких нерасторопных слуг, каких я вижу здесь, в Кабире и на порог дома не пустят! Итак — разрешите приступить?

Озадаченный подобным напором со стороны моего, так сказать, дворецкого, Скользящий Перст лично отправился вводить Заррахида в курс дел — что было с его стороны верхом уважения, — и мы с Чэном и Дзю оказались на несколько минут предоставленными самим себе.

Чэн тут же опустил латную перчатку на мою рукоять.

— Молодец, Зарра! — искренне восхитился Обломок. — Моя школа! Здорово он этого Скользкого Пальца уел!..

— Кого-кого?!

— Скользкого Пальца! Или как его там?..

Пробегавший мимо слуга-человек глянул на хохочущего Чэна, украдкой пожал плечами и побежал дальше...

4

Чэну-Мне понадобилось меньше минуты, чтобы убедиться, что беседа Чэна с Ляном Анкор-Куном почти точно повторяла мой разговор со Скользящим Перстом — с той лишь разницей, что Чэну и Ляну сперва пришлось познакомиться и общих воспоминаний у них не было.

Ах да! Кос хоть и назвался дворецким, но успел шепнуть Чэну, что это все так, для поднятия Чэнова престижа, а вообще-то он, Кос ан-Танья, достаточно неглуп, чтобы не лезть два раза в одну и ту же петлю, и на службу к такому безответственному хозяину возвращаться не собирается. Ни за какое жалованье. Которое ему, Косу ан-Танье, с сегодняшнего дня должны выплачивать помесячно, можно в местных денежных единицах.

Впрочем, жалованье жалованьем, а Кос с Заррахидом так рьяно взялись за дело, что усадьба мигом стала напоминать забытый на жаровне чайничек с вином, и когда часа через три стали собираться гости — все было готово. И даже более чем готово.

Скользящий Перст только диву давался.

— Ну, ты и впрямь — герой! — восхищенно звенел он. — Раздобыть такого дворецкого...

— Места знать надо! — вместо меня ответил Дзю. — Где За-

ррахиды водятся! Да, не завидую я вашим лентяям — он их живо к клинку приберет... И, пожалуй, не только их.

Кажется, Перст не понял намека — и хорошо, что не понял!

...А еще через полчаса я уже отдыхал в оружейном углу одного из павильонов, развалившись на удобнейшей двухъярусной подставке, — это была моя первая подставка, выточенная сразу после моего рождения из мореного ореха, — а вокруг меня переговаривались гости, Дзю потешал всех, беззлобно переругиваясь с Саем, и у восточной стены только что вошедший Придаток размещал моего двоюродного брата Да-дао-шу.

— Привет, Большой Да! — окликнул я его. — Шешез велел тебе привет передать — вот я и передаю!..

— Привет хоть большой? — усмехнулся Да-дао-шу.

— Да уж не меньше тебя!

— Ну тогда ладно... Слушай, Единорог, а каким это ветром тебя в родные края занесло?

— Попутным, Да, попутным... и по делу, и в гости, и так просто, — уклонился я от прямого ответа, тем более что хоть в разговоре, хоть в Беседе с Большим Да мне оставалось только уклоняться да ждать своего часа. — Век уже дома не был.

— Ох, сдается мне, что ты нам ржавчину на клинки наводишь, — без обиняков заявил висевший напротив меня Кханда Вьячасена.

Кханда, как и Скользящий Перст, числился старейшиной и членом того самого Совета Высших Мэйланя, что отправил меня в свое время в ссылку. Сам Кханда был прямым и широким Блистающим с обоюдоострым клинком и простой, но покрытой тончайшей резьбой костяной рукоятью.

Кроме него и Скользящего Перста, больше никто из старейшин и членов Совета ко мне в гости не явился.

Как выяснилось позднее, я кое в чем ошибался.

— Мы слыхали, — продолжил Кханда, — что какие-то подонки весь эмират взбудоражили! Что в Кабире — и не только в столице — и Блистающих убивали, и Придатков портили... последнее это дело — Придатков портить! А о Блистающих я уже и не говорю...

Сай, лежавший возле меня, собрался было возмутиться.

— Тихо! — звенящим шепотом оборвал я его. — Молчи!

— Молчу, — неожиданно покорно согласился Сай. — Только чего ж это он людей Придатками называет?! Ты ж сам говорил...

Тут уж мне пришлось умолкнуть. В последнее время Сай становился все более и более правильным. И не настолько, чтоб надоесть, а в самый раз. Молодец. Перековывается.

— Было, — ответил я Кханде, понимая, что никакими словами я не смогу ему передать тот ужас, что творился в Кабире.

Мне и самому уже казалось, что все это было с кем-то другим,

не со мной. Хотя достаточно было вспомнить переулок, Детского Учителя, хруст Шото... со мной это было.

Со мной.

— Было. Всякое было, и убийства тоже.

— И ты, говорят, убивал? — напрямик спросил старый Кханда.

— И я.

— Многих? Я так понимаю, что выбора у тебя не было, но — многих?

Что-то слишком настойчив был старик...

— Одного. Придатка одного...

Я не стал вдаваться в подробности. Чэн сам за себя скажет, а я — за себя.

Кханда Вьячасена как-то странно переглянулся со Скользящим Перстом.

«Да будь они хоть сто раз старейшины! — раздраженно подумал я. — Они что, судить меня собрались?!.»

— Иначе можно было? — тихо спросил Скользящий Перст.

— Нет, — отрезал я. — Нельзя.

— А я думал, что ты лет через восемь-девять сменишь меня как главу рода, — еще тише сказал Скользящий Перст.

«Сменить? Тебя? — хотел спросить я. — Зачем? И куда это ты денешься через девять лет, что тебя придется менять?»

И не спросил.

— А сейчас ты так не думаешь? — поинтересовался вместо этого я с удивившим меня самого сарказмом.

— И сейчас думаю. — Скользящий Перст снова почему-то переглянулся с Кхандой. — Думаю...

— Я смотрю, у нас тут, почитай, заседание Совета! — громко заговорил Большой Да, явно стараясь разрядить обстановку. — Не тускней, Единорог, — я тоже когда из столицы приехал, меня мигом главой моего рода объявили! Будто, кроме меня, никого из тяжелых Кривых мечей найти не могли!.. Это у них — у нас то есть — традиция. И вообще — по-моему, у нас сегодня праздник, по поводу прибытия...

— Меня! — гордо закончил Обломок. — Я ведь тоже старейшина рода. Старейшина шутов.

— То-то ты такой тупой, — заметил прямолинейный Кханда.

Напрасно это он...

Дзю немедленно разъяснил всем разницу между словами «шут» и «дурак», разницу между словами «старый» и «старейшина»... потом он подробно рассказал, чем различаются словосочетания «старейшина шутов» и «старый дурак» — ну и еще раз вернулся к этим выражениям, но уже применительно к себе и «вот этому самому...».

— Когда я родился, шут, — обиженно сказал Кханда, — руду для металла, из которого тебя какой-то неудачливый Повитуха ковал, еще из штолен не добыли! А ты мне... Я в юности, когда

был в Кабире, то мне сам Фархад иль-Рахш именную чеканку для ножен подарил! За мастерство Блистающего, между прочим, а не за глупые шутки...

Граненый клинок Дзю подозрительно заблестел.

— Руду, говоришь, еще не добыли? — покаянным тоном запел Обломок. — Чеканку, говоришь, подарил? Овальную такую пластинку с горной грядой и месяцем в левом верхнем углу? А неуклюжий от волнения Придаток еще споткнулся о ступеньку и выронил чеканку на ковер... И впрямь стар ты, Кханда Вьячасена, стар и мудр!

Кханда долго смотрел на ухмыляющегося Обломка — и ничего не сказал.

Промолчал старый Кханда Вьячасена.

Гости стали перебрасываться обычными, мало что значащими фразами — а я под шумок тихо обратился к Да-дао-шу:

— Слушай, Большой Да... так ты теперь старейшина?

— Ну... не совсем, — ответил Большой Да. — Я теперь глава рода Кривых мечей — сам понимаешь, что не сабельных семейств, а тяжелых Блистающих, — и вхожу в Совет Высших, но не как старейшина... возраст у меня не тот. А может, и не в возрасте дело, а так... рано еще.

— Ясно. А что прежний старейшина?

— Исчез, — неохотно отозвался Большой Да. — Совсем исчез... погиб то есть. Ты не подумай, Единорог, это случайность, это с вашими кабирскими делами никак не связано!..

Не связано, значит... Ах, что-то темнил Большой Да, чего-то недоговаривал! И имя погибшего случайно старейшины назвать забыл, вроде как тоже случайно...

— А лет через восемь-девять, выходит, Скользящий Перст меня в главы рода прочит... — задумчиво шевельнул я концом клинка. — М-да... сперва выгнали нас ни за что ни про что, а теперь, век спустя, в Совет чуть ли не насильно загоняют!

— И не только, — загадочно усмехнулся Да-дао-шу. — Вот будет завтра большой прием во дворце в твою честь, там увидишься с нашими временными правительницами — и все узнаешь!

— А почему это они временные? — подозрительно спросил я. — И почему правительницы? В Мэйлане правитель, а не правительницы... Ты что, Большой Да, я ж помню!.. Правитель, меч «девяти колец» Цзюваньдао...

Большой Да помрачнел. А я осекся, вдруг поняв, что говорю.

— Вдовые они, — заявил он, отсвечивая лаком рукояти, больше похожей на древко. — Почти год уже. Да нет, и поболе года будет... Ты вот тут у меня про погибшего старейшину спрашивал — супруг это был их, Цзюваньдао, правитель Мэйланя. Оползнем его накрыло под Хартугой, в ущелье Воющих Псов... Теперь две жены его в регентшах, ждут, пока наследник — кинжал Бишоу у них, маленький совсем — в возраст войдет. Или, может, Совет

своей властью кого назначит... ну, понятное дело, с разрешения дома фарр-ла-Кабир!

Я молчал. Что это он про одобрение дома фарр-ла-Кабир, право слово! Неужели я похож на подосланного соглядатая?!

— Придаток у правительниц, — продолжал меж тем Большой Да, — один на двоих... верней, одна на двоих. Юнъэр Мэйланьская. Да что я тебе рассказываю — завтра сам увидишь!

— Повтори-ка мне имя погибшего правителя! — настойчиво потребовал я.

— Цзюваньдао, — неохотно ответил Большой Да. — Кривой Цзюваньдао, меч «девяти колец» по прозвищу Ладонь Судьбы. Придатка звали Ю Шикуань. А что?

— Да ничего, — пробормотал я. — Так просто... оползень, говоришь, под Хартугой?

И впрямь ничего... Если не считать записи в пергаменте Матушки Ци.

«Седьмой год эры правления «Спокойствие опор», Ю Шикуань и Цзюваньдао, меч «девяти колец». Хартуга, ущелье Воющих Псов».

Так или примерно так. Только вот почему дальше был записан Скользящий Перст и Лян Анкор-Кун?! И год — семнадцатый год эры правления «Спокойствие опор»! Как раз через девять лет без малого... быть тебе, Единорог, лет через восемь-девять главой рода!

А ты куда денешься, Перст?

Воистину — спокойствие опор...

Правильный девиз.

ГЛАВА 14

1

...Я был одет в свои кабирские будничные ножны из слегка шероховатой кожи, а Чэн — в уже ставшую для него привычной марлотту поверх доспеха, тоже ставшего привычным... «Смеяться будут, — подумал Чэн так, чтобы я это услышал. — Решат, что мы скупердяи. Или сумасшедшие. Или и то, и другое сразу».

«Пускай смеются, — ответно подумал я. — Пускай. Это лучше, чем...»

И Я-Чэн вздрогнул, вспомнив, что первым эти слова произнес умирающий Друдл на залитой кровью мостовой. Эхо ночного Кабира, прерывистый шепот шута-мудреца, боль и ненависть...

И прохладная тишина личных покоев Юнъэр Мэйланьской, куда нас проводил молчаливый Малый Крис, удивительно похожий на Криса Семара — по виду, не по болтливости, — и его низ-

корослый щуплый Придаток, совершенно не похожий на Кобланова подмастерья.

«Пускай смеются, — упрямо подумал я, и Чэн согласно кивнул головой. — Помнишь, ты тоже смеялся, когда в три года впервые взял меня в руки?»

«Помню, — улыбнулся Чэн. — Меня развеселило то, что ты такой длинный и холодный. Я еще погладил тебя, порезался и заорал на весь двор, а отец с дедом смеялись, переглядываясь, и по очереди подбрасывали меня в воздух...»

Я вспомнил Лю и Янга Анкор, вспомнил их предка Хо...

«Во имя Нюринги, — прошептал я, — ну почему вы так мало живете?!»

Чэн не ответил.

Впрочем, смеяться над нами пока что никто и не думал. Тем более что в покоях, по-моему, вообще никого не было. Я говорю — по-моему, потому что мог лишь представлять себе, как на самом деле велико пространство этого зала, напоминающего зал Посвящения в загородном доме Абу-Салимов, если его вдоль и поперек заставить и перегородить какими-то ширмами, занавесами и плетеными шторами.

— Прямо лабиринт, — буркнул Обломок.

Чэн решительным шагом приблизился к ближайшей складной ширме, сделанной из бамбуковых планок, искусно раскрашенных и связанных между собой, опустился на низкую скамеечку и принялся разглядывать круглую остывшую жаровню с боковыми накладками ароматического дерева, покрытыми лаком в золотую крапинку.

— Скучно, — прошелестел я, почти ложась рядом с Чэном на паркетный пол. — И жарко...

— Понятное дело, — с видом знатока отозвался из-за пояса Обломок. — Аудиенция, однако... это вам не на базаре сплетнями обмениваться!

— Ладно вам, — вслух бросил Чэн. — Будем ждать и помалкивать.

— Будем ждать и помалкивать, — согласно повторил я. — Будем ждать...

— А помалкивать не будем, — добавил Обломок.

Я не сразу почувствовал движение за левым бледно-лиловым занавесом с вышитыми на нем павлинами. Сперва я услышал голос. Вернее, два голоса. Два высоких, изысканно-звенящих голоса, говоривших с интонациями, которых я ни разу не слышал в Кабире.

— Помалкивать не обязательно, Высший Дан Гьен. Помалкивать совершенно не обязательно, — сказал первый голос с еле заметной усмешкой. — И даже наоборот...

— Чувствуйте себя как дома, — сказал второй голос. — Впро-

чем, Мэйланьский Единорог в Мэйлане везде и всегда дома, где бы он ни находился.

— И я везде и всегда как у себя дома, — начал было нахальный Обломок, но осекся, когда занавес неожиданно разошелся в разные стороны.

— И даже лучше, чем дома, — неожиданно закончил Дзю.

Это были Эмейские спицы Мэйлань-го. Миниатюрные, не более двух длин ладоней, острые как игла и чуть сплющенные посередине, они были украшены праздничными платками алого шелка с серебристым шитьем, продетыми в их центральные кольца. В последний раз я видел таких стройных красавиц век тому назад. Ну чем мог заинтересовать юный глупый Единорог — и даже тогда еще не Единорог, а меч, носивший детское имя Стебель-под-ветром — этих (ну пусть не именно этих!) надменно порхающих владычиц душ и помыслов большинства Блистающих из семейств легких Прямых мечей?! Ах, юность, юность...

Чтобы скрыть смущение, я глубже ушел в Чэна — да нет, я просто нырнул в него! — и уже глазами Чэна-Меня более спокойно посмотрел на обеих Эмейских спиц, а потом — на Юньэр Мэйланьскую.

«Ушастый демон У! — думал Чэн-Я. — Любой нормальный мужчина — а я нормальный мужчина, и не одна только Чин может подтвердить это — при виде правительницы Юньэр просто обязан потерять на некоторое время дар речи! И взамен приобрести глупую улыбку и собачью преданность во взгляде. Нет, конечно, она отнюдь не ослепительно прекрасна и тому подобное — а я не влюблен в нее, чтобы приписать ей все эти достоинства, — но воистину это самая женственная из всех виденных мною женщин... сама Мать Плодородия, символ темного начала...»

Я понял, что прятаться некуда. Чэн-Я мог совершенно спокойно смотреть на кокетливо вертевшихся Эмейских спиц, но не мог равнодушно видеть госпожу Юньэр; зато Я-Чэн рассматривал госпожу Юньэр разве что с легким интересом, но зато две хрупкие спицы...

Что делать?!

«Что делать?! — думал Чэн. — Нет, я не стану описывать эту гибкую талию зрелой, но не начавшей полнеть женщины, талию, отягченную бедрами танцовщицы из храма Яшмовых фей... и не стану я описывать ее легкую уверенную походку, и властно-ироничный взгляд, и...»

Я неожиданно пришел в веселое расположение духа и неслышно засмеялся.

«Проклятие! — выругались мы оба, но уже с изрядной долей юмора. — Нет, я — оба наших «я» — не стану все же вообще ничего описывать, а лучше буду думать о Чин и Волчьей Метле, и о

том, что наши сверстники в Кабире давно имеют по две, а то и по три жены...»

Нет, лучше мы вообще ни о чем не будем думать.

Совсем.

— Будете молчать, — предупредил меня Обломок, — я начну первым. И тогда не обижайтесь...

Это отрезвило нас почище ведра холодной воды (на Чэна) и удара Гвениля (по мне). Достаточно было лишь представить себе возможную галантность нашего Обломка и его манеру вести светские беседы, чтобы сказать вслух хоть что-нибудь, не давая это сделать Дзюттэ.

Чэн поспешно вскочил, с грохотом опрокидывая скамеечку и роняя жаровню — последняя, к счастью, была холодной, иначе не миновать пожара, — а я вылетел из ножен в изысканном салюте, перерезав по дороге какую-то планку ближайшей к нам шторы; планка оказалась опорной, и штора, скособочившись, чуть не брякнулась на пол.

Следующая же фраза Эмейских спиц привела меня в ужас.

— А вы совсем такой, каким мы вас себе представляли, — хором заявили спицы, и их центральные колечки, в которые были продеты пальцы Придатка... в смысле госпожи Юнъэр, мягко звякнули. — Совсем-совсем такой... Можно?

«А вы совсем НЕ такой, каким я вас себе представляла, — отдались во мне слова Юнъэр Мэйланьской, услышанные Чэном. — Совсем-совсем не такой... гораздо мягче и в то же время мужественней. Наверное, так не бывает... и еще вы моложе. Можно?»

— Можно, — ответили мы, не совсем точно понимая, о чем идет речь.

Кончики спиц легко и нежно коснулись Чэновой груди, и шнуры верхних застежек марлотты опали вниз. Затем спицы скользнули по обнаружившемуся зерцалу доспеха, медленно обводя вязь вычеканенного двустишия-бейта, чуть посвистывая от соприкосновения с полированным металлом, задевая платками разошедшиеся в стороны полы марлотты... это было так по-женски, столь откровенное проявление любопытства...

И тут я уже почти совершенно успокоился. Доспеха они, понимаешь ли, не видали никогда! Потрогать им, понимаешь ли, захотелось! То мы с Чэном такие, как они, понимаешь ли, себе представляли, то не такие... Шулма их забери! Привыкли небось, что от поклонников отбою нет... ну что ж, значит, будем поклонниками!

— Мне говорили, что я знатен, — отчетливо прозвенел я, описывая соответствующую этикету восьмерку, — но перед древностью рода Эмейских спиц Мэйлань-го бледнеет древность любых родов (это была неправда, но кто возьмется проверять правдивость лести?)! Я учился изяществу обхождения и благо-

родному умению Беседовать, достойным истинного Блистающего, но перед вашей утонченностью и остротой ума, о повелительницы помыслов, тускнеют любые достоинства — если, конечно, они не принадлежат вам! Ну что, я могу считать себя прощенным за первую неловкость?

Правая спица поиграла со шнуром марлотты и, опустившись вниз, остановилась у рукояти Дзюттэ.

— А это, надо полагать, личный советник ятагана Шешеза фарр-ла-Кабир, Дзюттэ... э-э-э...

— Надо полагать, — довольно-таки невежливо прервал ее Дзю. — Дзюттэ Обломок, с вашего позволения! Только я не советник. Я — шут. Не верите? Ну хотите, пошучу? Могу даже вполне прилично...

— Жаль, — протянула левая спица.

— Что — жаль? — немедленно заинтересовался Обломок. — Что могу шутить вполне прилично? Тогда, опять же с вашего позволения, могу и вполне неприлично...

— Нет, не это, — хором ответили Эмейские спицы. — Жаль, что вы не советник. А то бы вы посоветовали Мэйланьскому Единорогу не расточать нам излишних комплиментов. Это мы слышим ежедневно, и для этого не надо уезжать из Мэйланя в Кабир, чтобы спустя сотню лет вернуться обратно.

— Зато я расточаю комплименты довольно редко, — вмешался я. — А в последнее время, знаете ли, вообще обходился без этого. Такое уж оно получилось, мое последнее время.

— Вот-вот, — усмехнулась правая спица. — Теперь вы больше подходите для той роли, которую вам приписывают во всем эмирате.

— Роль? Какая роль?!

— Роль героя. Сурового Блистающего древности, чудом попавшего в наше тихое и спокойное время.

Я еле сдержался. В наше тихое и спокойное время... вот Детский Учитель посмеялся бы, если бы услышал. Впрочем, он и при жизни был сдержанным, а смеющимся я его не видел вообще никогда.

— Вы сказали — в наше тихое и спокойное время, — я опустился в ножны и говорил теперь тихо и невыразительно. — Я до того сказал: в последнее время. Я не гожусь в герои древности, я не уверен, были ли в древности герои; я даже не уверен, были ли в древности Блистающие, осознающие, что они — Блистающие; я говорю банальные комплименты, но все это оттого, что я боюсь.

— Боитесь? — удивлению спиц не было предела. — Чего? Или — кого?

— Я боюсь, что наши слова сольются и придется говорить: в наше тихое и спокойное последнее время. Вот этого-то я и боюсь.

— Меня зовут Аун, — после долгого раздумья сказала правая спица.

— А меня — Аунух, — добавила левая, и я вдруг снова остро ощутил всю мощь их обаяния.

Чэн сжал на моей рукояти железные пальцы.

— Нас ждет празднество, — то ли спросил, то ли утвердительно заявил он. — Еще одно празднество. А мне говорили, что это будет прием. Вдобавок официальный.

— Да, празднество, — о чем-то думая, небрежно ответила Юнъэр. — Это хорошо, что празднество; хорошо, что оно нас ждет; и хорошо, что вы такой, какой вы есть, Высший Чэн, — вне зависимости от моих представлений о вас и вне зависимости от личины героя древности.

Я не расслышал, что говорили в этот момент Эмейские спицы, проворно сновавшие в ее пальцах, но наверняка они говорили нечто похожее.

— А почему это хорошо? — удивленно спросил Чэн-Я.

То, что ответила Юнъэр Мэйланьская и Эмейские спицы Мэйлань-го, совпало полностью.

— Потому что так мне (нам) будет проще объявить о нашей помолвке, — сказали они.

2

Когда они вышли отдать какие-то заключительные распоряжения, Дзю обратился ко мне с довольно-таки странной просьбой.

— Слушай, Однорог, — заявил он, — не сочти за труд... Ты не мог бы попросить своего Чэна, чтобы он описал мне эту... Юнъэр. Только обязательно вслух, а ты переведешь для меня. Ладно?

— Ладно, — недоуменно звякнул я, выходя из столбняка, в который меня повергло заявление спиц и Юнъэр, и сообщил Чэну о просьбе Обломка.

Чэн пожал плечами, но перечить не стал.

И он, и я понимали, что здесь дело нечисто. Предположить, что Обломок решил удовлетворить свое досужее любопытство, не расслышав последних слов спиц или просто не придав им значения, — ну уж нет, кто угодно, но только не Дзю...

— Ну, — начал Чэн, — невысокая такая, на полголовы ниже меня... чуть полнее, чем принято в Кабире, руки округлые и мягкие, пальцы двигаются легко и быстро, грудь Юнъэр... слушай, Дзю, ну не могу я так! Тебе же ее грудь — как мне твоя гарда! Чисто деловой интерес!.. Грудь ему описывай...

— Не отвлекайся, — строго заметил Обломок, и Чэн-Я покраснел. — И гарду мою не тронь... в переносном, разумеется, смысле! А грудь... Так, о груди не надо, будем считать, что интерес у меня сугубо эстетический, и продолжим дальше...

— Лицо, — покорно продолжил Чэн-Я, — лицо... Ну, круглое

у нее лицо, нос орлиный, глаза миндалевидные, мечтательные такие, но...

— Конкретнее! — возмутился Дзюттэ.

— Раскосые у нее глаза! — чуть не закричал Чэн-Я. — Раскосые, но большие и вытянутые! Проклятие!.. Рот маленький, чуть подкрашен, уши тоже маленькие, зато ресницы большие... Длинные ресницы! Желтый бог Мо тебя проглоти, Обломок несчастный!

— О боге Мо — после, — распорядился Дзю. — Одежду описывай. И чтоб подробно.

— Одежда, одежда... Прическа высоким узлом с перьями зимородка и жемчужными нитями, две шпильки в виде парящих фениксов...

— Это не одежда, — Дзю был неумолим. — Не морочь мне набалдашник! Продолжай!

— Одежда... Халат длинный, багрово-дымчатого атласа, расшит цветами, по подолу... по подолу — жемчуг. Пояс-обруч, свисает чуть ниже талии, украшен бляхами из яшмы в золотой оправе... туфельки шелковые, остроносые, узор выткан ярко-пунцовой и золотой нитью... безрукавка еще поверх халата, бледно-салатовая, что ли...

Чэн все говорил, я послушно переводил, превращая слова человеческой речи в звуки языка Блистающих, но я чувствовал, как с каждым произнесенным вслух словом в Чэне что-то меняется. Словно это были не слова, а капли усиливающегося дождя, падающие на пылающую жаровню, и вот уже огонь шипит и утихает, дым сизым облаком окутывает углубление с трещащими угольями... зыбко и сыро...

— Хватит, — наконец смилостивился Обломок. — Единорог, теперь ты!

— Что — я?

— Рассказывай! О спицах этих болтливых рассказывай! Вслух, и чтоб Чэн слышал!..

И экзекуция повторилась.

...Когда я умолк, обессиленный и опустошенный, Дзю поворочался за поясом и расслабился.

— Когда я был молодым и гораздо более умным, чем сейчас, — ни к кому не обращаясь, сообщил он, — я мечтал о ножнах. Были одни такие ножны, с бахромой по ободку. Спать не мог — все эти ножны снились. И тогда один старый шут, нож Бечак иль-Карс, предложил мне рассказать ему о моих вожделенных ножнах. Только подробно и не упуская ни одной детали... И я рассказал. А потом снова увидел эти ножны. Ножны как ножны, ничего особенного... Очарование ушло. Когда любишь, невозможно рассказать, за что любишь... а если возможно — то это уже не любовь. Чэн, Единорог — гляньте в щелку: эти спицы Мэйлань-го и их Юнъэр не видны ли?

И мы глянули. И увидели Эмейских спиц и госпожу Юнъэр, с кем-то разговаривающих. И еще увидели накрытые столы, входящих гостей... все как обычно. И снова — Эмейские спицы. И снова Юнъэр Мэйланьская.

И — ничего. Сизый дым над жаровней. Потрясение ушло. Обаятельные сестры-Блистающие, милая и умная женщина... ну и?.. Ну и не более того.

— Ты жесток, Дзю, — тихо сказал я.

— Спасибо, Дзю, — тихо сказал Чэн.

— Ты жесток, Дзю, — тихо сказали мы. — Спасибо.

— Не за что, — буркнул Обломок.

И добавил:

— Я — шут. А шуты добрыми не бывают.

— Ты шут Шешеза фарр-ла-Кабир, — зачем-то заметил я.

Дзю усмехнулся.

— А ты? — спросил он.

— Что — я?

— То-то же... — как-то невпопад завершил Обломок. — Шуты не бывают добрыми, Единорог. И еще — шуты не бывают чьими-то...

— Наставник был добрым, — пробормотал Чэн-Я, и железные пальцы на моей рукояти превратились в тиски, и я чуть не закричал от боли.

От той, давней боли, от эха ночного Кабира, от ночи, в которой умирал маленький ятаган, бывший Детским Учителем...

— Наставник был добрым, — еле слышно согласился Дзютт-тэ. — Наставник — был.

3

А празднество получилось таким, как и любое другое. Местные Придатки вовсю шумели за богато накрытыми столами, всячески развлекая Чэна; в оружейном углу цвет здешних Блистающих не давал мне скучать, расспрашивая отнюдь не об убийствах и преследованиях, а о кабирских модах и турнирах, о характере ятагана Шешеза, о Посвящении у старого Фархада и о прочих приятных вещах, располагающих к суесловию.

Я с наигранной живостью отвечал, временами давая ничего не значащие обещания по-Беседовать то с милым крюком из семейства Тье-Чинчи, то с вежливой, но настырной секирой из двуручных Фэн-тоу-фу — простите, ради Небесного Молота, как только выпадет свободная минутка, а вот когда она выпадет — совершенно неизвестно, но я обязательно, обязательно...

«Ну почему у меня всякий раз празднества предвещают какую-то неприятность?! — размышлял я, делая вид, что слушаю мэйланьские сплетни в изложении двух разговорчивых сабель

7 – 7682

Чандрахасса. — Почему?! Посвящение у Абу-Салимов — и турнир, веселье у Коблана — и побоище в переулке; теперь в Мэйлане два торжества подряд — и невесть откуда объявляется помолвка! При чем тут помолвка?! Ну, Чэна давно пора женить — так сейчас не время... а мне свадьбы играть — дело, конечно, хорошее, только кто Волчьей Метле объяснит, что оно, дело это, хорошее и что не надо по этому поводу платки у спиц Мэйлань-го в клочья драть...»

Некоторые из приглашенных гостей время от времени выходили из зала по-Беседовать — здесь было не принято Беседовать прямо в зале, — мне никто открыто не предлагал принять в этом участие, но многие Блистающие вопросительно поглядывали в мою сторону. Я игнорировал досужее любопытство местных задир, ждущих, так сказать, от героя дня немедленных подвигов, — и, в свою очередь, не раз косился на Эмейских спиц, которые не посещали оружейный угол, а все время находились за отворотом безрукавки Юнъэр.

Я ожидал продолжения — уж больно эти слова о помолвке были не ко времени, чтоб счесть их просто милой шуткой, — но продолжения не было.

Послышалось мне, что ли?!.

В трех-четырех выпадах от меня Обломок привычно развлекал почтенную публику. Судя по всему, Дзю в считанные минуты стал всеобщим любимцем — что меня ничуть не удивляло, — а некоторые алебарды после острот Обломка просто падали от хохота, и их Придаткам приходилось отрываться от стола и поднимать не в меру смешливых Блистающих.

Рядом с Обломком глубокомысленно помалкивал Заррахид, изредка вставляя короткие «да» или «нет». Кстати, в паре с Дзю они смотрелись весьма оригинально: один — короткий, плотный, развязно-нахальный, и другой — элегантно-узкий, спокойный, с изысканными манерами аристократа.

Ну просто две стороны кабирской действительности!

Третья, темная сторона этой самой действительности — то есть наш приятель Сай — была не видна. Сай совершенно не вылезал из-за пояса ан-Таньи и в оружейный угол не заглядывал, беря пример со спиц. Но я не раз ловил его острый взгляд из-под столешницы, шарящий по залу.

Похоже, никого из обожженных Шулмой здесь не наблюдалось.

Какой-то мой прямой родич — юный меч Цзянь, представившийся как Баолун, Драгоценный Дракон, — поинтересовался у меня, что я думаю об использовании ножен для отражения некоторых скользящих ударов. Я ответил, что я думаю по этому поводу, хотя думал в этот момент совсем о другом.

«Если эта суматоха растянется на дни или — и того хуже — на недели, — думал я, выслушивая благодарности Драгоценного

Дракона и вежливо кивая ему обеими кистями, — то ни о каких поисках не может быть и речи! Ну, помолвка — это все-таки, наверное, шутка... хотя и довольно странная. А вот Но-дачи — это не шутник, и во дворце его вряд ли удастся разыскать. Придется гонять Сая с ан-Таньей по городу — пусть высматривает своих... Заодно надо будет справиться о пропавшем Поясе Пустыни из Харзы... небось все ищет Тусклых и стесняется отправить Шешезу почтового сокола с письмом о неудаче! Вот будет здорово, если он...»

— Привет живой легенде! — раздалось рядом со мной. — Узнаешь? Или совсем загордился?!

— Узнаю... — оторопело пробормотал я, глядя, как Пояс Пустыни слетает с талии своего кривоногого Придатка, разворачиваясь и блестя самым веселым образом, и укладывается на подставку чуть пониже меня.

Выглядел он отлично. Заново отполированный, сияющий, даже какой-то повзрослевший... не тот забияка, совсем не тот!..

— Рад тебя видеть, Единорог, — сказал он, когда остальные Блистающие вокруг нас деликатно принялись разговаривать друг с другом, чтобы не мешать нам. — Честно, рад...

— Я тоже, — совершенно искренне ответил я. — Я тоже рад тебя видеть, Маскин Седьмой из Харзы, охотник на Тусклых.

— Я теперь не Седьмой, — ослепительно усмехнулся Маскин. — Я теперь Тринадцатый. И я больше не охотник.

— Да хоть Двадцать Шестой, — отмахнулся кистью я. — С тобой хоть нормально поговорить можно! А эти все только кивают да поддакивают, словно я им каждую секунду по тайне мироздания раскрываю!

— Понятное дело, — Пояс Пустыни глянул на веселившуюся знать, и легкая рябь пробежала по его гибкому клинку. — А как же еще можно разговаривать со своим будущим правителем?!

Я чуть с подставки не слетел.

— С правителем? Будущим?!

— Ну да! Ты ведь коренной мэйланец, опять же из потомственных Высших... и не просто отсюда родом, а Мэйланьский Единорог! Сотню лет провел в столице, прославился на весь эмират, Придатка испорченного менять отказался, доверенный клинок Шешеза фарр-ла-Кабир... Весь эмират только о тебе и звенит — то ты Придатка железом оковал, то в Беседе тебе равных нет, не было и не будет, то ты какого-то хищника насквозь проколол, спасая будущего Фархадова Придатка, то в переулке за одну ночь всех Тусклых Кабира под корень извел!..

Пояс Пустыни звонко хихикнул.

— Ты же теперь герой! — весело продолжил он. — А зачем герою, да еще Высшему Мэйланя, спустя сотню лет возвращаться на родину, особенно когда на родине во временных правительницах две вдовые Эмейские спицы блестят?! Вот то-то и оно! Дядя

твой, Скользящий Перст, уже всем раззвонил, что быть тебе лет через восемь вместо него главой рода Прямых мечей! Так что готовься к делам государственным! Я слышал, что от Абу-Салимов с птичьей почтой поздравление пришло на твое имя...

— С чем поздравляют? — тупо спросил я.

— С будущей свадьбой!

— А-а-а... — только и ответил я, беспомощно качая кисточками. — Ясно...

— Ты хоть на свадьбу-то пригласи! — Маскин вновь обвился вокруг своего Придатка, собираясь покинуть такого непонятливого собеседника, как я. — Или лучше я к тебе завтра сам загляну. В гости. Напомню, да и поговорить нам с тобой есть о чем... Ты как считаешь, Единорог, — есть о чем поговорить Мэйланьскому Единорогу, образцу для Блистающих, и Поясу Пустыни из Харзы, Маскину Тринадцатому, бывшему Седьмому, бывшему охотнику за Тусклыми?!

Я не успел ничего ответить. Я еще только приходил в себя и начинал задумываться над странным двойным смыслом последнего вопроса Маскина — а Пояс Пустыни уже оставил оружейный угол.

— ...у всякого настоящего героя, — донесся до меня увлеченный лязг Дзюттэ, — обязательно должен быть свой личный шут. Вот и у нас...

— Правильно! — согласился какой-то короткий и наивный трезубец. — У такого уважаемого Блистающего, как Единорог...

— При чем тут Единорог?! — возмутился Обломок. — Герой — это, безусловно, я!

«Тогда ты прав, Дзю, — угрюмо подумал я. — Тогда ты прав...»

— Позвольте! — трезубец, незнакомый с повадками Обломка, был явно сбит с толку. — Если вы — герой, тогда...

— А что, вы считаете, что я не гожусь в герои?! — воинственно выпятил гарду-лепесток Дзюттэ.

— Да нет, что вы, — совсем растерялся бедный трезубец, — просто если вы — герой, то кто же тогда шут?

Обломок покосился на меня и, видимо, почувствовал мое похоронное настроение.

— А эта вакансия пока свободна! — громогласно объявил он. — Желающих прошу записываться вот у этого эстока! Прямо вдоль клинка...

4

Вернувшись в усадьбу, мы с Чэном молча обошли пруд, поднялись на второй этаж дома, забрели в первую попавшуюся комнату — она оказалась смежной с более обширными покоями, но нам в эту минуту было не до удобств — и тщательно заперли все двери.

Мы не хотели никого видеть.

Мы не хотели никого слышать.

Мы не хотели ни с кем разговаривать.

Мы ничего не хотели. Ничего и никого.

...Спал я плохо. Мне снилось, что я пересек Кулхан и сбежал в Шулму от всех, кто хотел меня убить, женить, поздравить, обругать, поговорить, нанять, счесть образцом, осудить за недостойные поступки... я сбежал от них всех в Шулму, чтобы утопиться в священном водоеме, но к водоему меня не пустили, а Желтый бог Мо, удивительно похожий на Коблана, но со свисающими до земли ушами, в которые он заворачивался на манер Чэновой марлотты... Желтый бог Мо — или Ушастый демон У?! — радостно подпрыгивал на месте и вопил ненатурально пронзительным голосом: «Женить его! Женить! Немедленно»... — а из водоема вдруг полезли гнилые, ржавые обломки убитых Блистающих, и я хотел проснуться, но не мог...

Чэн ворочался во сне и стонал.

Утром Чэн встал, протирая глаза, и отпер двери. Но выходить мы не стали. Чэн сел на ложе, я лег к нему на колени, скинув ножны; и вот так мы сидели и молчали.

Потом Чэн снова поднялся, переложив меня на изголовье, и ненадолго вышел. Вернулся он с листом пергамента, в котором я узнал пергамент Матушки Ци.

— Ю Шикуань, — пробормотал Чэн, поглаживая меня вдоль клинка. — Ю Шикуань, правитель Мэйланя, и его вдова Юнъэр Мэйланьская... Что ж тебя в Хартугу-то понесло, под оползень от такой жены, несчастный ты Ю?..

Чэн задумчиво покачал головой, спрятал лист в угловой шкафчик и вернулся ко мне.

В смежных покоях шумел Кос. Судя по издаваемым им звукам, он вбивал в стену новые крюки для Заррахида, сколачивал подставку для Сая и еще одну — для Дзюттэ, забытого нами во дворце и унесенного оттуда предусмотрительным ан-Таньей. Когда грохот, треск и немузыкальные вопли в адрес слуг, предлагавших свою помощь, пришли к завершению, Кос подошел к двери, ведущей в нашу комнату, постоял немного, вздохнул и удалился.

В неизвестном направлении.

А мы с Чэном все сидели — вернее, Чэн сидел, а я лежал — в каком-то странном полузабытьи, и мне казалось, что я могу провести вот так весь остаток своей жизни, и что Чэн всегда будет со мной, что он никогда не состарится и никогда не умрет, потому что... потому.

Мы сидели, лежали, молчали, а время — время шло...

5

...Через неплотно прикрытую дверь было слышно, как мои друзья переговариваются между собой.

— Чего это он? — недоуменно вопрошал Сай. — Молчит и молчит, и... и опять молчит! Обидели его, что ли?!

— Обидели, — коротко отозвался эсток.

— Кого?! — грозно заскрипел Сай, и я чуть не улыбнулся, слыша это. — Кто посмел обидеть Единорога?! Покажите мне его, и я...

— И ты заколешь его Придатка, — меланхолично подытожил Заррахид, — а его самого переломаешь в восьми местах и похоронишь в песках Кулхана.

— Женили его, Дан Гьенчика нашего, — после долгой паузы бросил Обломок непривычно уставшим голосом. — Не спросясь. Силой, так сказать, умыкнули... и Чэна, хоть он и железный, тоже женили. Обоих. Почти. Это в Беседе «почти» не считается, а тут... Герои, в общем, и красавицы. Традиция. И от судьбы не уйдешь. Сыграем свадебку, станет Единорог государственным мечом, Зарра при нем главным советником будет, ты, Сай, — шутом...

Сай пропустил выпад Дзю мимо лезвия. Кстати, а почему это Сай не знает о том, о чем, похоже, знают все от Мэйланя до Кабира? Ах да... Сай же все празднество провел у Коса за поясом, а людские разговоры ему без моих разъяснений непонятны!

Я поудобнее устроился у Чэна на коленях, а он с грустной лаской еще раз провел по мне железной рукой — от рукояти до острия.

И мне почудилось, что рука аль-Мутанабби слабо дрожит.

«А ведь это то, о чем мечтал я кабирской ночью, — думал Я-Чэн. — Уехать подальше из кровавой кузницы Кабира, где ковалось страшное будущее-прошлое Блистающих и людей; уехать в тихий покой, жениться, Беседовать с равными и наставлять юнцов, которые восторженно ловят каждый твой взмах... и быть знатнее знатных, что сейчас мне и предлагается, а мое тщеславие почему-то молчит...»

«Да, тогда я мечтал о покое, — думал Чэн-Я, — и спустя мгновение судьба предложила мне бойню в переулке. А теперь, когда плечи мои привыкли к тяжести доспеха, душа привыкла терять и находить, а сознание научилось думать о насильственной смерти без содрогания; теперь, когда я способен не остановиться при выпаде, когда я разучился доверять... Теперь судьба благосклонно преподносит мне издевательский дар, и весь Мэйлань, ликуя, ведет Эмейских спиц Мэйлань-го навстречу герою Единорогу, а тоскующая вдова Юнъэр с радостью готова украсить своим присутствием дни и ночи Чэна Анкора, будущего мудрого соправителя... полагаю, что в особенности — ночи...»

Это была сказка. А в сказки мы больше не верили. Разве что в бытовые, и обязательно с плохим концом.

За окном шумела усадьба — моя по наследственному праву, но совершенно незнакомая мне! — в смежных покоях переговаривались друзья-Блистающие (интересно, до чего ж быстро я Сая в друзья записал!..), Кос куда-то ушел с утра и до сих пор не явился, а уже полдень... или не полдень...

И впрямь жениться, что ли?..

— Вот он, наш затворник! — раздался возбужденный голос ан-Таньи, и спустя минуту Кос возник на пороге. — Вот он, наш женишок! Вернее, женишки...

Чэн-Я слегка вздрогнул и посмотрел на довольного Коса. Рядом с его сияющей физиономией — как всегда, гладко выбритой до синевы, — на стене висела старинная гравюра, изображавшая бородатого Придатка разбойничьего вида и с серьгой в ухе. Кос, сияя, смотрел на Меня-Чэна, а бородач — на Коса, и вид у него при этом был такой, как если бы он только что по ошибке сел на торчащий гвоздь.

Произведение искусства, однако... я и Чэн имели в виду не ан-Танью.

— Бабкин пергамент у тебя? — поинтересовался Кос, смахивая со своей новенькой щегольской блузы (шнуровка на груди, рукава с отворотами, сиреневый атлас и все такое) несуществующую пылинку. — Не потерял в суете?

Рука Чэна слабо шевельнулась, и я указал острием на инкрустированный перламутром шкафчик, где в верхнем отделении хранился пергамент Матушки Ци.

Кос чуть ли не подбежал к шкафчику, рывком распахнул створки и впился глазами в извлеченный пергамент. Потом ан-Танья шлепнулся на ковер, поджав под себя ноги, и принялся извлекать из рукавов — карманы по мэйланьской традиции пришивались к рукаву изнутри, а блузу Кос явно купил где-то в городе — многочисленные обрывки бумаги.

Бумага была дорогая, рисовая, с легким голубоватым отливом, и в Кабире она ценилась бы на вес золота. А здесь, похоже, ее спокойно расходовали на разную ерунду все, кому не лень, — в том числе и Кос.

— Сходится, — бормотал Кос, нервно кусая губы. — Ах ты, Иблисова кость, — сходится! Ну, бабка, ну, матушка диких гулей — так, а вот здесь надо будет перепроверить...

— Ты где был? — спросил Чэн-Я только для того, чтобы немного отвлечь ан-Танью.

Трудно было поверить, что перед нами тот столичный щеголь, который вчера манерами привлекал внимание всей местной знати.

— В городской управе я был. Бумаги на твою усадьбу в порядок приводил, как положено. В наследство вас с Единорогом, так

сказать, вводил. У них тут бумаги навалом, вот они и пачкают ее с утра до вечера! Здесь распишись, там трех свидетелей предоставь, потом еще раз распишись и перепиши все заново, чтоб у иероглифов «цинь» хвостики тоньше были и с загибом влево...

— А что, с толстыми нельзя? — полюбопытствовал Чэн, а я только сверкнул улыбкой, слушая этот разговор. — И без загиба?

— Можно и с прямыми толстыми, но тогда по новым правилам это уже не иероглиф «цинь», а иероглиф «фу», и бумага уже не подтверждает права Чэна Анкора на родовую собственность, а разрешает вышеупомянутому Чэну Анкору совершить акт публичного самоубийства путем распиливания туловища пополам посредством бамбуковой пилы. Ладно, не в этом дело...

— Ничего себе не в этом! — нарочито серьезно бросил Чэн-Я. — Я надеюсь, ты все хвостики куда надо загнул?! Смотри, Кос!.. В случае чего я именно тебя пилой орудовать заставлю...

— Смотрю, смотрю... — Ан-Танья все не мог оторваться от своих записей и пергамента Матушки Ци. — Смотрю, а у них внизу, в полуподвале, архив имеется! И старичок такой милый всем этим архивом заправляет! Я с ним, наверное, часа четыре или пять беседовал, он мне еще показывал, как надо с коротким ножом в тесном помещении управляться... Милейший старичок, и ножик у него просто прелесть! Жаль, я Сая с собой не взял — они бы мигом поладили!

— Сам нож чуть короче твоего локтя — на ладонь примерно, — заточка у ножа односторонняя, — не удержался уже Я-Чэн, — вместо гарды валик небольшой, и нож в основном на обратном хвате держится... Да?

— Слушай, Единорог, — еще в последние дни дороги Кос научился почти безошибочно определять, кто из нас с Чэном первым обращается к нему, — это твой знакомый нож?

— Это Хамидаси-архивариус. Их семейство здесь каждый знает. Помню, раньше шутили, что они на турнирах друг с другом спорят — кто лист бумаги тремя взмахами на тридцать три части разрежет, чтоб тушь ни с одного иероглифа не ободрать! Ладно, Кос, давай дальше...

Кос поскреб свой выдающийся подбородок и расхохотался.

— Да нет, ничего, — отсмеявшись, заявил он в ответ на недоуменный взгляд Чэна-Меня. — Все в порядке... Как, ты говоришь, нож-то зовут? Хамидаси? Ну а старичка зовут Хаом ит-Даси! Почти что тезки получаются... Короче, поговорили мы с Хаомом о том о сем, чайничек розовой настойки приговорили, а дальше вижу я у него на столе книгу раскрытую! И на левой странице написано: «...и не отыскали под оползнем в ущелье Воющих Псов ни Ю Шикуаня, правителя мудрого, ни славного меча его Цзюваньдао о девяти кольцах, что по прозванию Ладонь Судьбы; и плакали все от Хартуги до Верхнего Вэя, и осиротел сын неудачливого Ю, и овдовела жена его...»

— Ну? — коротко отозвался Чэн-Я.

— Не ну, а гляди, что у старухи написано! Ю Шикуань, седьмой год эры правления «Спокойствие опор», и Цзюваньдао, меч «девяти колец»... Сходится! Но это неважно, потому что о гибели правителя и положено в архивных книгах записывать, а важно другое... У бабки-то в пергаменте что написано?! Вот... Через десять лет, в семнадцатом году «Опор...» этих самых — в будущем времени, видите ли — ваши родичи записаны, Лян Анкор-Кун и меч его, Скользящий Перст! И еще знак вопроса рядом стоит! Мало ли что, дескать, через десять лет после несчастного Ю Шикуаня с Ляном Анкор-Куном и его мечом будет! Оползень — не оползень, а чего в жизни не случается... что ж это за пророчества такие?!

Бородатый Придаток с гравюры скептически посмотрел на разгоряченного ан-Танью — мол, ну и что? Чэн и я последовали его примеру. Тоже нам, оракул... и без тебя знаем. Что знаем? Что ничего не знаем...

А Кос не обратил на наш утренний скепсис ни малейшего внимания.

— Я старичку и говорю: ваш правитель Ю в седьмом году погиб? В седьмом, отвечает. Тут я и спрашиваю: а за десять лет ДО того ничего похожего у вас не случалось? Дед подумал и бровки морщит — это, говорит, в тридцать втором году эры правления «Весенние потоки»? Я киваю на всякий случай, и лезем мы со старичком в бумажные залежи! Копаемся там, копаемся и выясняем, что смертей нелепых в тот год не обнаружено, зато было великое горе в семье купца Сейдзи О-рекю, поскольку древнее фамильное копье купца сломалось...

Я встрепенулся, как бывает иногда во время долгой и утомительной Беседы, когда почувствуешь — вот оно, решающее движение! — и откуда только силы возьмутся!..

— Копье Катакама Яри?! — нетерпеливо спросил Я-Чэн. — Да?! Ниже наконечника массивный крюк, загнутый вверх?! Подробности, Кос, подробности! Что ты там вычитал?!.

— Катакама... — растерянно пробормотал ан-Танья. — Катакама Яри, а насчет крюка ничего не знаю... Не записано там о крюке, а в Кабире я таких копий не видал!.. Прозвище копья, то есть Блистающего — правильно, Единорог? — прозвище записано...

— Какое?

— Белый Тигр Ен-цу. Вот, я выписал...

— Сломалось, говоришь? — с болью спросил Я-Чэн. — А наконечник? Наконечник цел?!

— Наконечник в колодец упал. Восемь раз спускались, чуть колодец этот проклятый наизнанку не вывернули — глухо! Не нашли...

— Мир памяти твоей, Катакама Яри, Белый Тигр, — проше-

лестел я, сплетая шнуры кистей в знак траура; и Чэн повторил сказанное мною вслух, склонив голову. — Мир памяти и покой праху, старейшина копейных семейств Мэйланя... ты знаешь, Кос...

— Знаю, — перебил меня ан-Танья, и это почему-то было уместно и не грубо. — Теперь знаю, а в архиве лишь догадывался. Потому что у вас тут чуть ли не каждые десять лет какой-то знаменитый Блистающий гибнет. Иногда вместе с человеком. Ю Шикуань с мечом Цзюваньдао оползнем накрылись, Белого Тигра в колодце не отыскали, за десять лет до того в положенном году, как по заказу, — сабля-шамшер советника Вана случайно из ножен выпала и в колесо арбы попала, а арба возьми да и тронься! Шамшер, хоть он и древний, и славный, и с надписями по клинку, — естественно, пополам! И было великое горе у Вана с домочадцами... Ну и в том же духе — лет на сто назад мы со старичком Хаомом бумаги подняли! Что ни десятый год — то и происшествие!.. Завидное постоянство, однако...

«Случайность, — подумал Чэн. — Дикая, нелепая случайность. Мало ли оружия ломается или портится — нет, не мало... Кто запомнит, сколько за век всякого разного произойдет? А и запомнит — так не сопоставит... запишет и забудет...»

«Случайность? — подумал я. — Нет уж, вряд ли... нечего самого себя обманывать. Это ведь не просто известные Блистающие, Чэн, это все старейшины Совета Высших, это они меня и моих однолетков век тому назад из Мэйланя выслали! И гибнуть начали! Что ж это такое-то творится? Шулма? — нет, по времени никак не сходится... Тусклые?! — так их и нет вовсе, и при чем тогда колодец или колесо арбы? А тот же оползень — зачем? И главное — как?!»

«О небо, — подумал Я-Чэн, — за что? Ведь не могу больше... не хочу! За что?! За то, что в минуту слабости мечтал все бросить и уехать? Уехать искать тишину? И впрямь — куда уедешь от неба?.. Бежишь, бежишь, стремишься к чему-то, а поднимешь взгляд — вот оно, синее, горбатое, равнодушное, прямо над головой...»

— И пусть один меч сам стоит спокойно против неба, — прошептал Я-Чэн. — Один.

Кос внимательно посмотрел на нас.

— Один? — резко спросил он, и Мне-Чэну вдруг показалось, что это говорит эсток Заррахид или Обломок, а уж никак не ан-Танья, человек, который почти в три раза моложе меня.

Меня, Блистающего. Когда я родился, то дед Коса еще не увидел света; Кос умрет, а я — если повезет — еще долго буду жить... Но сейчас это все не имело никакого значения, потому что в голосе ан-Таньи звенела упрямая сталь, не уступающая по закалке моему клинку, сколько бы лет ни отмерила нам обоим взбалмошная судьба.

— Один? — спросил Кос ан-Танья, человек. — Ну уж нет... И не надейся. Это скорее небо — одно.

И добавил, помолчав и комкая свои бумаги:

— Одно против нас.

6

Когда Кос принес Заррахида, Сая и Дзю, я по-быстрому разъяснил им, что к чему, а потом принялся рассказывать уже для всех о Совете Высших, Совете старейшин и глав родов Мэйланя, и о тех Блистающих, кто входил в него сотню лет тому назад.

Тринадцать их было, входивших в Совет. Тринадцать. И я невольно вспомнил рассказ Коблана о Повитухе Мунире, уходящем от ручья испытания с дюжиной свидетелей. И еще я вспомнил, что Тусклых — порождений яростного Масуда — тоже тринадцать.

Я говорил и вновь видел Блистающих Совета, словно не век назад происходила наша последняя встреча, а лишь вчера; и память была свежа, как свежа бывает рана Придатка.

Рана человека.

...Двое глав рода Прямых мечей — широкий обоюдоострый Кханда Вьячасена и мой родич-близнец Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст; старейшина сабельных семейств Шамшер иль-Самак и глава Кривых мечей — могучий Цзюваньдао, меч «девяти колец», правитель Мэйланя; многочисленные ножи и кинжалы были представлены в Совете Бадеком ханг-Туном, чье лезвие имело прямую спинку, но было выгнуто в виде рыбьего брюха, и Ландинг Терусом, более похожим на прямой короткий меч; копье Катакама Яри, Белый тигр, потом двузубец Ма, Язык кобры... и дальше — боевой серп Кама Мотогари, властный и неуступчивый, двойная палица Убан, устрашающе огромный топор Масакири-кай, Нагината Катори сан-Кесе и веер Сунь-Павлин... Тринадцать их было, Блистающих Совета.

Я закончил, и Чэн с трудом перевел дух.

— Я так понимаю, — прозвенел Заррахид, — что твоего земляка и дальнего родича Большого Да прошлым летом отозвали из Кабира именно в связи с гибелью правителя Цзюваньдао?

— Да, — ответил Я-Чэн. — И Большой Да стал вместо него главой рода Кривых мечей по потомственному праву или по прихоти нынешнего Совета... но правителем он не стал.

— Ясно, — отозвался Заррахид.

— А мне вот ничего не ясно! — заявил Сай, обращаясь к невозмутимому эстоку.

— И мне, — успокоил его Заррахид. — Это я так, к слову...

— Давайте-ка еще раз... — начал было Дзю, а я вдруг подумал, что мы с Чэном скоро до такой степени привыкнем любой разго-

вор переводить сразу на два языка, что в обществе обычных Блистающих или обычных людей это может сослужить нам плохую службу.

А что делать? Иначе мы — все шестеро — по очереди будем то глухими, то немыми...

— Давайте-ка еще раз посмотрим, — повторил Обломок. — Прошлым летом правитель Цзюваньдао попадает под оползень. Кто виноват? Да никто не виноват, сам полез в ущелье... За десять лет до того ломается Белый Тигр, Катакама Яри, и наконечник его теряется в колодце. Опять никто не виноват. Разве что неумелый Придаток — так купец этот небось не из неумех был! Ладно, отсчитываем назад еще десяток!.. Шамшер иль-Самак попадает в колесо, на чем его жизненный путь заканчивается... Так?

— Так? — повторил Я-Чэн для Коса.

То есть, конечно, повторил всю тираду Обломка.

— Так, — кивнул ан-Танья. — И опять случайность. Советник Ван будто бы споткнулся, Шамшер из ножен выпал — и все! Ловить и наказывать некого, кроме разве что нерадивого арбакеша, не успевшего придержать лошадей.

— Угу, — пробурчал Дзю. — Некого... Это у нас уже трое из Совета Высших. Скользящий Перст до сих пор живет и здравствует, чего и нам желает... Кто еще жив?

— Я на празднестве у Эмейских спиц заметил двойную палицу Убан, — стал припоминать я. — Потом еще Бадека ханг-Туна из клана Ножей... Все, кажется. Нет, не все — еще Кханда! Кханда Вьячасена! Ну, помнишь, Дзю — ты еще с ним возрастом мерился!

Кос покопался в своих записях.

— Двое здешних чиновников, — сказал он, — уехали в Верхний Вэй за десять с половиной лет до сломанного Шамшера. Вот, здесь у меня запрос из Вэя — где, мол, чиновники, почему не объявляются?! Значит, из Мэйланя они выехали, а до Вэя не доехали... Причем один из чиновников имел при себе кинжал Ландинг Терус, взятый им у отца, а второй вез двузубец Ма, Язык Кобры. Хвала мэйланьской обстоятельности — все записано!

— Еще бы не записано! — добавил я от себя. — Небось Хамидаси проследил, чтоб переезд старейшин в Вэй был описан как следует!

Заррахид поймал на клинок солнечный луч, в котором танцевали невесомые пылинки, задумчиво поиграл зайчиками и вновь нахмурился.

— Четверо живы, — подвел черту эсток, — трое погибли, двое пропали без вести... Это девять. Что с остальными четырьмя? Их же тринадцать было в Совете?

— За давностью лет сведения стали обрывочными, — развел руками ан-Танья. — Но кое-что узнать удалось... Братья Бэнкей и Акиро из семьи Маури-охотников ушли в солончаки, что близ

Кулхана, — это было за пятьдесят лет до гибели правителя Ю Шикуаня и меча Цзюваньдао, — и не вернулись. Через год за ними пошел сын Бэнкея и, соответственно, племянник Акиро, молодой Нух Маури, — и тоже не вернулся. Вот выписка из свода уложений и переписи населения. Раздел «квартал Фа-линь», год соответствующий...

Кос демонстративно помахал в воздухе одной из бумажек.

— Хороший у меня человек Кос ан-Танья, — веско сказал эсток Заррахид. — Обстоятельный...

Я-Чэн перевел ан-Танье слова его меча, и случилось невероятное: польщенный Кос покраснел.

— Вот... — еще раз повторил он. — Бэнкей и Акиро Маури, а при них...

— А при них, — внезапно вмешался Сай, — при Акиро и Бэнкее, были Сунь-Павлин и Масакири-кай. Маленький боевой веер, пестро раскрашенный по всем пластинам, и огромный топор с рукоятью в рост высокого Придатка. Как же, как же... на лезвии топора еще гравировка — прыгающий барс...

— Ты их видел? — встрепенулся Я-Чэн. — Где?

— Где я их мог видеть? — удивился Сай. — Они ж полвека назад в солончаки ушли! Слышал я о них... по ту сторону Кулхана слышал, в Шулме, в шатре племенном! Клевец один на нашей кошме — на пунцовой кошме — помнил, как притащили давным-давно в племя двоих Придатков и двоих Блистающих. Придатков он, понятное дело, не запомнил, а вот Блистающих... Говорил — веер с павлиньей раскраской и топор с гравировкой. Вот и понимаю я так, что это и были Масакири-кай и Сунь-Павлин, старейшины Совета!

— Значит, в Шулме их искать надо, — сам себе звякнул Обломок. — Интересные дела...

— Не надо их искать, — глухо буркнул Сай. — В священном водоеме они, в тени плаща Желтого бога Мо, будь он трижды неладен! С белой кошмы два пути ведут — или на кошму пунцовую, или в священный водоем... Говорил клевец, что не смогли ни веер, ни топор самих себя переделать. Не пролили крови старейшины Мэйланя Сунь-Павлин и Масакири-кай, а за гордость в Шулме платить полагается! У них наша гордость трусостью зовется.

Мы помолчали. Толстая сумасшедшая муха, жужжа, носилась от стены к окну и обратно; стенные панели из ореха «драконов глаз» отливали коричневым и черным, отчего комната слегка рябила, как вода озера под легким ветром.

Было тихо. И даже Придаток на гравюре присмирел, потупил взгляд и закусил в раздумье клок бороды.

— Предположим, что я найду оставшихся, — первым нарушил молчание я. — Я найду старейшин Каму Мотогари и Нагинату Катори сан-Кесе и выясню, что они пребывают в добром

здравии. Или что их сожгли в кузнечном горне, утопили в колодце или украли сто лет тому назад. Ну и что? В Кабире хоть были виновные в убийствах — я не хочу тебя задеть, Сай! — а здесь сплошные совпадения и случайности...

— И всего раз в десятилетие, — добавил Кос. — Довольнотаки редко.

— Это для вас, людей, редко, — оборвал его Дзюттэ, а Я-Чэн послушно переводил слова обоих. — А для нас, Блистающих, с нашим сроком жизни — это даже очень часто. Более чем часто... В Кабире были виновные в убийствах, Единорог. Я опасаюсь, не найдем ли мы здесь виновных в самоубийствах. Вот чего я опасаюсь.

Было тихо. И лишь жужжала несчастная муха, мотаясь туда-сюда, от стены к окну, от Кабира к Мэйланю; и не находя выхода.

Никакого выхода.

ГЛАВА 15

1

— Есть хочу, — вдруг заявил Кос. — С утра не успел, до полудня с бумагами провозился, теперь вот говорим и говорим... Вам, Блистающим, хорошо, вы от полировки сыты! Ничего, сто лет ждали, пока мы приедем и во всем разберемся, — могут еще час подождать!

Уверенность ан-Таньи в том, что весь Мэйлань сотню лет ждал исключительно нас и того, что именно мы разберемся в загадках происходящего, — эта уверенность показалась Мне-Чэну напускной, но, как ни странно, сильно приободрила.

«И впрямь хороший человек у Заррахида, — с теплой усмешкой подумал я. — Хороший человек Кос ан-Танья. Обстоятельный, неунывающий и... и голодный! Надо бы покормить...»

«Я тоже хороший человек, — ответно подумал Чэн. — Меня тоже надо покормить. В конце концов, Кос — Придаток Заррахида, пусть о нем эсток и заботится...»

Напоминание было излишним. Заррахид, безусловно, позаботился, да и сам Кос не отстал — они кликнули слуг и Малых Блистающих, и я понял, что хороший дворецкий — он и в Мэйлане хороший дворецкий. Потому что Малые моего здешнего дома, вне всяких сомнений, больше побаивались Заррахида, чем меня, их законного господина, а слуги-Придатки — Коса.

Не прошло и десяти минут, как выяснилось, что Чэна и Коса (Высшего Чэна и господина ан-Танью, и никак иначе!) ждет стол в трапезной на первом этаже, и сам стол давным-давно накрыт, и

не просто накрыт, а прямо-таки ломится от яств кухонь кабирской, мэйланьской, верхневэйской и какой-то еще...

Чэн пожалел бедный стол, махнул ан-Танье — и они пошли спасать стол от непосильной ноши; а я влез в ножны, прицепившись кольцами к Чэновому поясу, и отправился с Чэном в трапезную.

Лестница.

Коридор.

А вот и трапезная.

Обед прошел в молчании. Люди жевали, я — единственный Блистающий в трапезной, поскольку даже слуги были одной расы с Чэном и Косом, а Блистающие оставались за порогом — лежал, как обычно, у Чэна на коленях, прикрытый краем скатерти, лежал и обдумывал все услышанное наверху.

Прав был Дзю — уж очень все произошедшее в Мэйлане за сто лет моего отсутствия смахивало на заранее продуманные самоубийства. Самоубийства Блистающих. И не просто Блистающих, а старейшин, входящих (входивших!) в тот самый Совет Высших, который изгнал некогда знатную молодежь из Мэйланя и не объяснил причины.

Старейшины, главы родов, и почти точно раз в десять лет... была, была причина нашего изгнания, не могло не быть!..

...В дверях возник слуга-человек и со значением откашлялся.

Кос с неестественно раздутыми щеками, отчего его худое лицо выглядело невообразимо странно, повернулся к дверям.

— У?! — спросил ан-Танья. — У угу-у у-у-у?!

— Осмелюсь доложить: спрашивают Высшего Чэна Анкора.

— У гууу-у? — поднял бровь Кос.

— Старуха одна, — слуга оказался на редкость понятливым. — Назвалась Матушкой Ци.

Правая рука Чэна с момента появления слуги лежала на мне, так что разговор людей я слышал прекрасно — вот только сказанное Косом понимал плохо в отличие от того же слуги.

Кадык на Косовой шее задвигался вверх-вниз.

— Ага! — радостно и уже членораздельно сообщил ан-Танья. — На ловца и зверь бежит!

— Зверь-то, может, и бежит, — осадил его Чэн-Я. — Не суетись, Кос... бабка небось за пергаментом своим пришла. Ну и что ты ей скажешь? В том пергаменте всего-то и примечательного, что запись насчет родича Ляна и Скользящего Перста. С которыми должно непонятно что случиться через девять лет. Интересно все-таки, что ты скажешь старухе по этому поводу?

— А что, этого мало?! — разволновался Кос.

— Не просто мало, а, почитай, вообще ничего. Бабка тебе в глаза рассмеется, и на этом все закончится. Не пытать же нам ее! Тут тоньше надо... чтоб сама проговорилась и не заметила. А дальше — по обстоятельствам.

— Пожалуй, Высший Чэн, вы правы, — после долгого раздумья произнес ан-Танья, выразительно указывая взглядом на слугу, ожидавшего решения. — Эй ты, — поди скажи Матушке Ци, что Высший Чэн ждет ее.

Слуга кивнул и вышел.

2

Матушка Ци со времени нашей последней встречи ничуть не изменилась — что было неудивительно в ее возрасте.

— Приятной вам трапезы, молодые господа, — затараторила она с порога, — приятной трапезы, и доброго здоровья, и радости в ваш дом, и мудрости в вашу голову, а особенно — в вашу драгоценную голову, Высший Чэн, ибо слышала я, что, возможно, вскорости многострадальный Мэйлань обретет в вашем лице достойного правителя!.. Ах да, поговаривают, что у вас еще и свадьба скоро — так что мудрости в вашу голову, и счастья с молодой женой, и силы в ваши чресла, и деток побольше, и...

Старуха на этот раз явилась без Чань-бо, так что я полностью перешел на восприятие Чэна и теперь волей-неволей должен был выслушивать нескончаемую болтовню говорливой Матушки Ци.

— Здравствуйте, Матушка, — вставил наконец Чэн-Я, когда старуха на мгновение умолкла, переводя дух и готовясь к очередному словоизвержению.

— Прошу присаживаться за стол, — поспешил добавить Кос, явно пытаясь заткнуть рот Матушки Ци изрядной порцией еды.

Дважды упрашивать старуху не пришлось. Поминутно рассыпаясь в благодарностях, она тут же уселась напротив Чэна-Меня, пододвинула к себе сразу три чашки гречневой лапши, пиалу с соевым соусом по-вэйски, блюдо с полосками тушеного мяса, четыре блюдца с грибами, маринованной морковью, рисом и бобами — и действительно ненадолго умолкла.

Пока старуха лихо расправлялась с угощением, Кос сбегал наверх и принес утерянный ею свиток.

Чэн-Я даже не сомневался, что ан-Танья успел сделать со свитка копию.

— Вы ведь за этим пришли, Матушка? — спросил Кос, демонстративно выкладывая свиток на стол.

К счастью, вне пределов досягаемости цепких лапок Матушки Ци — а то Я-Чэн почему-то стал опасаться, что старуха сейчас схватит свой пергамент и вылетит в окно.

— Ой, спасибо вам, молодые господа! — немедленно засуетилась старуха, поспешно дожевывая последнюю полоску мяса. — Вот спасибо так спасибо, прямо всем спасибам спасибо, уж я и не знаю, что бы я без вас делала! Видать, обронила во время Беседы, растеряха старая, а сразу и не заметила — уже потом спохвати-

лась, да поздно... я и в плач, я и в вой, а там думаю — господа молодые, глазастые, небось найдут непременно и вернут непременно, — а и не застанут старушку, так с собой заберут, не выкинут, нет, не выбросят зазря, и будет свиточек мой у благородных молодых господ в полной сохранности, аж до самого Мэйланя, и как только глупая Матушка Ци объявится...

Кос ловко пододвинул Матушке второе блюдо с солеными колобками: старуха машинально сунула один из них в рот — и Чэн-Я успел вклиниться в случайно образовавшуюся паузу.

— Вы уж простите нас, любопытных молодых господ, Матушка, но только мы осмелились заглянуть в ваш свиток... думали, разузнаем, где вы проживаете — а там и не удержались! Простите великодушно...

Старуха перестала жевать и настороженно покосилась в нашу сторону.

— Очень, очень интересные записи! — как ни в чем не бывало продолжал Чэн-Я. — Особенно там, где про Антару... Я как-то беседовал с Друдлом, и он тогда еще пел мне «Касыду о взятии Кабира» самого аль-Мутанабби — мы потом с Друдлом долго спорили...

— О чем мы могли с Друдлом спорить?! — воззвал ко мне Чэн.

— Понятия не имею! — откликнулся я.

Ах, жаль, Обломок наверху остался...

— Спорили... о многом, — уклончиво закончил Чэн-Я.

При упоминании о Друдле взгляд старухи заметно смягчился.

— Да, Друдл... — задумчиво поджала губы она. — В наших кругах его звали Пересмешником. А вы были его другом? Или, осмелюсь спросить, — учеником? Простите за дерзость, но иначе вам вряд ли довелось бы слышать от Друдла «Касыду о взятии Кабира» да еще потом спорить с Пересмешником... о многом.

— Сказать ей? — спросил Чэн.

— Скажи... — шевельнулся я.

— Вы, наверное, слышали, что я убил в Кабире человека? — напрямик спросил Чэн-Я.

— Ну... — замялась Матушка Ци. — Вроде этого... Только кто ж в такую ложь поверит — чтобы такой молодой да благородный господин...

— Это не ложь. Это правда. Я убил убийцу Друдла. И Пересмешник успел увидеть его смерть.

То, что произошло потом, потрясло Чэна-Меня. Матушка Ци встала из-за стола, подошла к нам и, откинув скатерть, опустилась на колени и поцеловала Чэну руку.

Правую.

Руку аль-Мутанабби.

И приложилась лбом к моему клинку, слегка сдвинув ножны.

После этого старуха вернулась обратно и стала вертеть в пальцах палочки для еды, как если бы ничего не случилось.

— Друдл... хитрый умница, любивший звать себя дураком в присутствии подлинных дураков, — она говорила тихо и внятно. — Помню, мы редко встречались, но часто хвастались в письмах друг перед другом новыми открытиями, а при встречах наскоро переписывали и заучивали найденные тексты — хотя каждый, конечно же, хотел иметь оригинал. Впрочем, меня всегда интересовало начало становления Кабирского эмирата, а Пересмешник больше увлекался эпохой уль-Кайса Старшего. Но...

— Меня тоже больше интересовало начало становления эмирата, — немедленно перебил ее Чэн-Я. — Взятие Кабира, походы аль-Мутанабби... э-э-э... установление границ... Не могли бы вы, Матушка Ци, хоть вкратце...

— Это хорошо, — кивнула старуха. — Обычно в прошлое смотрят старики... но когда молодежь умеет оборачиваться — это говорит о зарождающейся мудрости. Да, у Мэйланя скоро будет достойный правитель. Ну что ж, слушайте...

И мы слушали.

3

Помню: в узких переулках отдавался эхом гулким
Грохот медного тарана войска левого крыла...

Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти.

В ту ночь и был простерт окровавленный ятаган аль-Мутанабби над дымящимся городом, и получил гордый клинок прозвище иль-Рахш, что значит «Крыло бури»...

(«Ты звал руку аль-Мутанабби, старый Фархад, — думал Я-Чэн, — ты звал руку, которая держала тебя в дни твоей молодости, ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир... ты помнишь теплый, как еще не успевший остыть труп человека, город Кабир? О да, ты его помнишь, старый мудрый ятаган, не любящий украшений...»)

Но недолго наслаждался Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, первый эмир Кабирский из рода Абу-Салимов, покоем и счастьем, недолго носил венец победы, сменив его снова на походный шлем. И разделил он войско на четыре части, указав каждой свою дорогу. Западные полки, во главе которых стоял седой вождь, лев пустынь Антара Абу-ль-Фаварис, чья кривая альфанга не первое

десятилетие вздымалась над полем брани, заслужив прозвание аз-Зами, что значит «Горе сильных», — западные полки двинулись вдоль левого рукава Сузы на Хинское ханство и вольный город Оразм, мечтая дойти до Дубанских равнин.

Южные же полки, состоявшие из неукротимых в бою воинов, рожденных в угрюмых ущельях близ перевалов Рок и ан-Рок, а также отряды горцев Озека шли под предводительством юного Худайбега Ширвана, чье копье Рудаба, что значит «Сестра тарана», пронзило первого врага, когда яростному Худайбегу не исполнилось и девяти лет. Их целью была богатая Харза, на чьи стены никогда еще не поднимался недруг, и шатры белобаранных кочевников-хургов, неуловимых и вероломных.

Северные полки вел на Кимену и Фес лучший друг и названый брат аль-Мутанабби, вечно смеющийся Утба Абу-Язан. Любил Утба смеяться за пиршественным столом, любил улыбаться в покоях красавиц, но страшен был хохот безумного Утбы в горниле сражений, и алел от крови полумесяц его двуручной секиры ар-Раффаль, «Улыбки вечности».

Во главе же восточных полков, двинувшихся по дороге Барра на древний Мэйлань, стоял сам Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, и воины пели песни эмира-поэта, кидаясь в бой хмельными от ярости и слов аль-Мутанабби.

> Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур облаченный,
> А со стен потоком черным на бойцов лилась смола...

Через восемь лет многие властители земель и городов, гордые обладатели неисчислимых стад и несметных сокровищ, склонились перед мощью кабирского меча.

А еще спустя два года владыку Абу-т-Тайиба хотели провозгласить шахом — но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахиншахом, но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха, шахиншахом же звали царя царей, но эмиром в самом первом значении этого слова на языке племен Белых гор Сафед-Кух — эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов.

И воинский титул был дороже для аль-Мутанабби диадемы царя царей.

С тех пор мир воцарился на земле от барханов Верхнего Вэя до озер и масличных рощ Кимены, и иные вольные земли добровольно присоединялись к могущественному соседу, а иные заключали с Кабиром союзные договора, налаживая торговые связи, — и мирно почивал в ножнах ятаган иль-Рахш, что значит «Крыло бури», забыла вкус крови «Улыбка вечности», двуручная секира ар-Раффаль, успокоилась «Сестра тарана», копье Рудаба, и альфанга Антары Абу-ль-Фавариса не несла больше горя сильным, за что некогда была прозвана аз-Зами...

4

— ...Будь проклят день, когда оружию стали давать имена, — задумчиво пробормотал Чэн-Я.

— Что? — встрепенулась замолчавшая было старуха. — Что вы сказали?

— Да так... у вас — записи, у меня — сны. Каждому — свое. Был, понимаете ли, один такой странный сон...

«Рассказать?» — молча спросил у меня Чэн.

«Расскажи», — согласился я.

И Чэн пересказал Матушке Ци тот сон, что видели мы в доме Коблана в ту роковую ночь.

Старуха довольно долго не открывала рта, что было на нее совсем не похоже.

— Любопытно, — наконец проговорила она. — И даже весьма... Некоторые имена, названные вами, я знаю, но большинство мне совершенно неизвестно. Вы не возражаете, если попозже я запишу это?

С такой Матушкой Ци беседовать было одно удовольствие.

— Не возражаю, — улыбнулся Чэн-Я. — В обмен на ваш дальнейший рассказ.

— О чем же мне продолжить? — охотно откликнулась Матушка Ци.

— О дне. О том дне, который проклинал Антара Абу-ль-Фаварис. О дне, когда оружию стали давать имена. Любому оружию.

Старуха хитро сощурилась.

— Этот день, молодые господа, растянулся на десятилетия. Если не на века. Впрочем, мы никуда не торопимся...

5

...Годы мира не ослабили Кабирский эмират. Хотя, собственно, никто и не осмеливался испытывать прочность его границ.

Всякий приезжий купец или лазутчик (что нередко совмещалось) непременно обращал внимание в первую очередь на то, что практически все жители эмирата и дружественных земель чуть ли не помешаны на умении владеть оружием, отдавая этому большую часть свободного времени. Не только в столице или других крупных городах — повсеместно пять-шесть раз в год обязательно проводились крупные турниры, каждый месяц происходило какое-нибудь воинское празднество, и даже подростки из крестьянских семей ежедневно упражнялись во владении копьем, ножом или боевым серпом под строгим надзором седобородого патриарха.

Надо быть не правителем, а самоубийцей, чтобы рискнуть напасть на обширную и могущественную державу, все население

которой — включая стариков, женщин и детей — состоит из профессиональных воинов!

Все видели купцы, все слышали лазутчики, да не все понимали и те, и другие, потому что именно тогда, в последние годы жизни аль-Мутанабби, все чаще в эмирате стали заговаривать об Этике Оружия, создавая, по сути, новый культ...

(«Очень любопытно! — оживился я, повторяя недавнее восклицание Матушки Ци. — Ведь согласно нашим преданиям примерно с этого времени пришла к завершению эпоха Диких Лезвий и наши предки впервые осознали свою суть, назвавшись Блистающими. Кстати, история самых знатных родов — если отбросить недостоверный вымысел — реально прослеживается тоже с третьего-четвертого десятилетия после взятия Кабира. Вот, значит, как... А она говорит — Этика Оружия! Ладно, слушаем дальше...»)

...Традиция давать оружию личные имена вошла в полную силу. Всякая семья непременно имела фамильное оружие нескольких видов, передавая его по наследству. Лучшие клинки торжественно вручались первородным детям в день их совершеннолетия, но в случае превосходства младших братьев или сестер родовое оружие получали более умелые, невзирая на старшинство.

Оружие становилось символом семьи, знаком рода, и заслужить право ношения фамильной святыни считалось делом чести...

(«Ну да, это же с ИХ точки зрения! А мы говорили, что Блистающие стали заниматься воспитанием и подготовкой Придатков. Опять же церемония Посвящения...»)

Поскольку оружие начали в какой-то степени отождествлять с его носителем, чуть ли не приписывая мечу или трезубцу человеческие качества, то в домах появились специальные оружейные углы и даже залы — с отдельными подставками для каждого меча, стойками для копий, алебард или трезубцев, коврами, где развешивались сабли и кинжалы.

Изготовление оружия становится таинством, уход за ним — ритуалом, обращение с ним — искусством. Фамильный меч клали у колыбели и смертного одра, клинком клялись и воспевали его в песнях; оружие можно было хранить только в специально отведенных для этого местах, и помещали его туда с почетом; сломать клинок, пусть даже и чужой, считалось святотатством, лишающим человека права на уважение в обществе.

Оружие не швыряли где попало, передавали из рук в руки с почтительным поклоном; при демонстрации его касались лишь шелковым платком или рисовой бумагой...

Символ действительно становился святыней.

Поединки, связанные с решением каких-то споров и могущие завершиться смертельным исходом, начинают считаться противоречащими канону Этики Оружия. Аристократы брезгли-

во морщат нос — много ли чести выпустить кишки сопернику?! Тем более что все в мире двойственно — а ну как не ты ему, а он тебе?..

Богатые люди начинают нанимать себе так называемых Честехранителей — чтоб те сражались за них в случае решения вопросов чести, когда это уже поединок, а не привычная Беседа. Но поскольку Честехранителями становились в основном крупные мастера, то у них вскоре формируется собственный канон отношений, согласно которому считается несмываемым позором убить или ранить собрата по ремеслу (точнее — по искусству!) — куда большей доблестью, куда более весомым добавлением к чести своей и чести нанимателя объявляется умение лишь наметить точный удар, срезать пуговицу с одежды или прядь волос с головы, распороть пояс и тому подобное.

(Ага, а вот это уже весьма и весьма знакомо!..)

Искусство Честехранителей почти мгновенно входит в моду и вызывает зависть знати и простолюдинов, помешанных на владении оружием; и как результат — воинские искусства становятся неотъемлемой частью воспитания любого человека.

Не воинское ремесло, а ВОИНСКОЕ ИСКУССТВО.

И так проходят годы, десятилетия...

Так проходят века.

А для сохранения поражающей силы удара, для соблюдения традиций прошлого отдельно продумываются и тщательно разрабатываются состязания в рубке предметов: свернутых циновок, кожаных кукол, лозы, жердей и тому подобного...

(«И правильно! Нечего зря Придатков портить, как сказал бы тот же Гвениль... Во-первых, Придаток тоже человек — чего Гвениль никогда не сказал бы, а во-вторых, учишь его, учишь, душу вкладываешь, лет десять-пятнадцать тратишь (а живут Придатки до прискорбного мало, даже самые лучшие) — а тут какой-то неумелый герой рубанул сплеча, и весь труд насмарку! И обидно, и жалко — труда жалко, себя жалко... ну и Придатка тоже жалко. Правда, Гвениль?»)

Культ Этики Оружия процветает, оружие сопровождает человека от рождения до самой смерти, о нем слагают песни и стихи, им клянутся, за ним ухаживают, как ни за каким другим имуществом...

(«Слышал бы это Дзю! Уж он бы ей выдал... Имущество! Берегут и ухаживают — это хорошо, клянутся и воспевают — еще лучше, а вот в остальном... Сама она — имущество! Впрочем, если бы Придатки услышали мнение Блистающих о себе... Ох, стоим мы друг друга!..»)

Формируется как бы новый способ общения при помощи оружия — например, язык меча. Поднятый меч в одном случае означает приветствие, в другом — вызов (именно вызов, а не приглашение!) на Беседу; опущенный или вкладываемый в ножны

особым образом меч — признание поражения; в чужом доме не принято держать меч при себе, потому что это иногда трактуется как неуважение к хозяевам (исключение делается лишь для родственников и близких друзей, да и то не для всех); меч при разговоре полагается класть с правой стороны от себя и рукоятью к себе, а не вперед; резкое задвигание меча в ножны, когда он звякает об устье ножен, может оскорбить собеседника...

Ну и, конечно же, обряд изготовления нового оружия! Кузнец три дня перед этим соблюдает пост и воздержание, возносит молитвы и облачается в чистые одежды; он возжигает благовония, в кузнице обязательно присутствует «родственное» оружие... все это прекрасно известно сейчас, но складывались эти обычаи именно тогда, в первые полтора-два века после взятия Кабира.

Именно тогда...

6

«...именно тогда, когда наши предки окончательно и бесповоротно осознали себя Блистающими, — думал я. — Все верно. Только мы воспринимаем эти обычаи несколько по-иному: считаем, что это мы приучили Придатков... а они считают наоборот. И, наверное, все мы по-своему правы!..»

— А сколько интереснейших песен посвящено мечу! — возбужденно продолжала Матушка Ци. — И до чего же обидно, что многие из них — в особенности творения великого аль-Мутанабби — занесло песком времени. Вот, к примеру...

Она прикрыла глаза, надвинув на них морщинистые черепашьи веки, и начала читать — распевно и в то же время жестко:

Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака.
Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.
А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, будто смеясь в ответ.
Он — тонок и длинен, изящен и строг; он — гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей.
В воде закалялись его края и стали алмазно-тверды,
Но стойкой была середина меча — воздерживалась от воды.
Ремень, что его с той поры носил, — истерся, пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.
Так быстро он рубит, что не запятнать его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.
Мой яростный блеск, когда ты блестишь, это — мои дела,
Мой радостный звон, когда ты звенишь, это — моя хвала.
Живой, я живые...

— ...А дальше?! — нетерпеливо спросил Кос.

— Концовка утеряна, — закончила старуха, открывая глаза.

Грустные-грустные.

— Утеряна, говорите? — хитро усмехнулся Чэн-Я. — Плохо искали, наверное!

— Хорошо искали! — отрезала Матушка Ци. — Лучше некуда... Друдл, правда, писал года два назад про какого-то кабирского кузнеца, только при чем тут кузнец?!.

— А в старых сундуках смотрели? — участливо поинтересовался Чэн-Я.

Старуха, похоже, решила, что над ней издеваются.

— Не смотрели, значит, — подытожил Чэн-Я. — Ну что ж... зря. Кос, сбегай в комнату, принеси Кобланово наследство... все не тащи, только панцирь!

Кос выскользнул из трапезной и в скором времени вернулся с панцирем. Ан-Танья остановился перед Матушкой Ци, та с недоумением глянула на Коса, на Чэна, на панцирь... и вдруг сощурилась и перегнулась вперед, вглядываясь в бейт, вычеканенный на зерцале.

— Вы, Высший Чэн, непременно будете правителем, — после долгого молчания бросила она.

— Вы уверены?

— Да. Это воистину царский подарок.

И вполголоса, словно пробуя на вкус каждый звук:

Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл,
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!

Мы молчали.

— А... переписать можно? — спросила Матушка Ци с несвойственной для нее робостью.

Чэн-Я кивнул.

Кос отнес панцирь в угол — и через мгновение на столе как по волшебству возникли медная чернильница, костяной калам и лист тонкой бумаги.

Ан-Танья, как всегда, был готов к любому повороту судьбы.

Матушка Ци переписала недостающие строки — писала она по памяти, не глядя на панцирь, так что Чэн-Я не очень-то понял, зачем ей понадобилось именно сейчас скрипеть каламом, да еще спрашивать разрешения. Потом она попросила Чэна повторить наш сон — и тоже все старательно записала. Теперь, похоже, она готова была продать нам могилу собственного деда — так иногда говаривали в Кабире в подобных случаях, и этот образ всплыл из глубин сознания Чэна непроизвольно, — и Чэн-Я решился.

— Кстати, о мечах, — небрежно начал Чэн-Я. — У вас там в свитке, Матушка Ци, была любопытная пометка на полях. Насчет правителя Ю Шикуаня и его меча Цзюваньдао...

Калам старухи заскрипел как-то не так, и я с сожалением понял, что могиле деда суждено остаться непроданной.

— Приятно, когда молодые господа интересуются прошлым, — зачастила Матушка Ци в своей обычной манере, — и не то чтобы совсем прошлым, а почти что и не прошлым вовсе, потому что разве ж это прошлое — правитель Ю и его меч?.. Нет, это совсем не прошлое, а выжившая из ума бабка записала для памяти — забудет ведь, и не вспомнит ничего, и никогда, и ни за что...

Слова старухи вроде бы цеплялись одно за другое, но смысла в них не было ни на дирхем.

— А вторая пометка? — хмуро осведомился Кос. — Насчет Ляна Анкора и Скользящего Перста?! И чего-то нехорошего, что должно с ними произойти через девять лет?! Вы случайно пророчествами не занимаетесь?

Зря это он... опрометчиво. Эту старую ведьму в лоб не возьмешь, и если ан-Танья не понял это во время ночной Беседы...

— Через девять лет? — совершенно искренне изумилась Матушка Ци. — Быть этого не может! Видать, напутала что-то, кошелка старая, дырявая...

Она поспешно развернула свиток — кстати, ни Чэн, ни я так и не заметили, когда же она успела пододвинуть его к себе, — долго вчитывалась в него, шевеля губами (чего за ней до сих пор не замечалось, даже во время прочтения бейта-двустишия на доспехе), потом старуха оторвалась от чтения и посмотрела на нас наивными и честными глазами.

— Год перепутала! — всплеснула руками она. — Стара стала, путаюсь все время... хотела одно написать, а написала другое.

Что-то не замечали мы, чтоб она хоть в чем-то путалась!

— Крючок не туда загнула, вот и вышел семнадцатый год вместо четвертого! Как раз в четвертом-то году господин Лян прямым мечом завершать Беседы по-новому стал, двойным взмахом с проворотом, а там уже в ножны опускал — так споры пошли, дескать, канону противоречит... Спорили, спорили, а после находку господина Ляна общим мнением канонизировали — и перестала она противоречить, и вздохнули все с облегчением!..

С этой минуты даже упрямый Кос понял — все, конец.

Больше мы от нее ничего не добьемся.

Даже за полное собрание стихов Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби...

7

Мы с Чэном поднялись в комнату, где сегодня ночевали (не считая Дзю), и Чэн вскоре куда-то ушел. Обломок валялся на столе и, кажется, дремал; а я лежал на подоконнике и думал, что со мной случается нечасто.

Я думал про правую руку Чэна.

Я прекрасно помнил, что у основания творение Коблана было снабжено ремешками и застежками, с помощью которых рука крепилась к культе. Но с того дня — вернее, ночи, — когда стальные пальцы впервые сжались на моей рукояти, я не мог вспомнить, чтобы Чэн хоть раз отстегивал и снимал руку аль-Мутанабби.

Более того, сама мысль о том, что Чэн вообще может снять эту руку, вызывала во мне отвращение и ужас.

Я восстановил в памяти несколько моментов, когда сознание Чэна объединялось с моим, и понял, что за семью запорами и девятью печатями в потайном чулане души Чэна Анкора Вэйского таился такой же — если не больший — ужас перед возможностью снова стать одноруким.

И не только. Одноруким — ладно, но одиноким... ведь никогда, никогда больше!..

Даже умываясь по утрам — в дороге из Кабира в Мэйлань я не раз присутствовал при этом, — Чэн старался при посторонних не снимать нижней рубахи с широкими рукавами, закрывающими место крепления мертвого металла к живой плоти.

Нет. Живого металла к живой плоти.

А все-таки, раздевшись до пояса, Чэн избегал смотреть на собственное предплечье. Вскользь, случайно, но никогда — пристально.

И почти сразу же старался одеться.

Словно ни он, ни я — а я до сих пор просто не давал себе размышлять об этом, — словно оба мы старались лишний раз не искушать судьбу.

То, что для всех было легендой, пикантным случаем, возможностью лишний раз поговорить о чудесах, — для нас было свершившейся реальностью, за которую дорого плачено, и все равно счет по сей день не закрыт.

И не будет закрыт никогда.

...Чэн вернулся, подошел к окну, и мы стали смотреть во двор. Неподалеку был пруд, от которого несло сыростью, а за ним, у круглой беседки, кто-то из Блистающих усердно танцевал.

Сперва я решил, что это один из Малых моего дома, но потом, приглядевшись, обнаружил нечто смутно знакомое в резких, с отмашкой, ударах Блистающего, полускрытого от меня опорами беседки.

Я мысленно сгустил сумерки — мэйланьские вечера оказались слишком светлыми, — после многократно увеличил беседку, превратив ее в мрачную башню Аль-Кутуна, и улыбнулся, мерцая обнаженным клинком.

Пусть не утром, как было обещано, а ближе к вечеру, но неугомонный харзиец, Маскин Седьмой — ах да, он же теперь Тринадцатый! — все же явился ко мне в гости.

«Пошли?» — подумал я.

«Пошли, — подумал Чэн, надевая на меня ножны. — Не будем заставлять ждать горячего Эмраха ит-Башшара из Харзы. Неровен час, изрубит нам беседку — Кос потом до конца жизни ворчать будет...»

И мы снова спустились вниз, оставив Дзю отдыхать на столе.

Задевая за перила лестницы, я неожиданно задумался над тем, почему это Пояс Пустыни из Седьмого превратился в Тринадцатого. Я прикидывал и так, и этак и не додумался ни до чего.

Кроме того, что число «тринадцать» нравилось мне все меньше и меньше.

Совсем оно мне не нравилось.

Возле входа в дом пожилой коренастый Придаток с усердием подстригал колючий вечнозеленый кустарник. Блистающего при слуге не было — да и к чему Блистающий при стрижке кустов?

— К вам гость, Высший Чэн, — приветливо сказал он, глядя на нас и смешно морща лоб. — Вон, у беседки... просил пока не докладывать. Видите?

— Вижу, — кивнул Чэн.

— Смешной он, этот гость, — слуга оказался на редкость словоохотливым, — Высший, а все равно смешной. Хоть и платит хорошо. Я когда у него недели три назад по вечерам подрабатывал, то господин Эмрах мне каждый раз по ляну серебра выдавал. Не скупился, хоть и работа-то пустяковая...

— И кем же ты у него подрабатывал? — ответно улыбнулся Чэн.

— Наемным убитым. Три раза в неделю.

— Кем-кем?!

— Наемным убитым.

— Это как? — заинтересованно спросил Чэн, а я только шевельнул рукоятью, потершись о касавшиеся меня железные пальцы.

— Да так... Он ведь когда в Мэйлань приехал, этот господин Эмрах, то сперва стал зачем-то собак рубить. Ему их прямо на постоялый двор приводили, а когда он дом снял, то домой... Поначалу у него плохо получалось, а после наловчился — с первого удара голову псу сносил. Потом он чучело кожаное у скорняка заказал, чтоб мехом в разных местах оторочено было, — и чучело саблей полосовал. Дальше — больше, трех обезьян ему доставили, крупных таких, только холощеных, чтоб злоба вышла... Он их в человеческое платье одевал и тоже рубить пробовал, да не вышло у него с обезьянами! Рядом бил, как по человеку полагается...

«Вот как он учился, оказывается, — подумал Чэн-Я. — К крови привыкал. Мастерство Контроля ломал... а с обезьянами не вышло. Хороший ты парень, Эмрах ит-Башшар, несостоявшийся мститель, хороший, да умный слишком. Друдла бы тебе... Друдла, Но-дачи, судьбу позлее да ума поменьше. А ярости побольше... нет, не надо тебе ни судьбы, ни ярости, пылкий Эмрах, же-

лающий научиться убивать! И никому не надо. И мне не надо бы — да только поздно уже...»

— А дальше он меня нанял, — продолжал меж тем слуга. — По договоренности. Я короткой саблей неплохо владею, так должен был с ним Беседовать по вечерам. А когда господин Эмрах, дай Творец ему здоровья, первым ударить успевал, то должен был я кричать громко, на землю падать и не двигаться. А он стоял надо мной и смотрел. Я кричал и падал, а он смотрел. Хороший человек, щедрый, но смешной. И саблю просил на булыжник ронять, чтоб дребезжала, будто бы сломалась. Я и ронял — чего ж за серебряный лян не уронить?! — а он слушал. Если б не отослал он меня неделю тому назад — глядишь, я б не только рисом и овощами на зиму запасся бы, но и дочке обнову какую купил! У вас-то я временно, кусты вот подстригу и все, а господин Эмрах — ах, хороший человек, всяческих благ ему в этой жизни...

«Да уж, благ ему всяческих, — подумал я, — только не тех, что он сам себе желает. Хороший человек Эмрах ит-Башшар, и Блистающий при нем хороший, Маскин Тринадцатый из Харзы, но то, чего хотят они, — нет, не благо это!..»

Чэн благосклонно кивнул просиявшему слуге, пообещал, что прикажет ан-Танье взять отставного наемного убитого на постоянную службу, и мы двинулись в обход пруда. Это заняло совсем немного времени, и, не доходя до древнего кипариса, настолько подгнившего и накренившегося, что его поддерживала подпорка из красного дерева, я толкнулся в Чэнову руку, вылетел из ножен и приветственно замахал Маскину Тринадцатому.

— Эй! — хором крикнули мы с Чэном, каждый на своем языке. — Как дела?!

— Дела? — тоже хором спросили Эмрах ит-Башшар и Пояс Пустыни, выглядывая из-за беседки; только в отличие от нас они не знали, что говорят хором. — А вот сейчас посмотрим, как у нас дела, сейчас выясним...

И с наигранной зловещестью они направились к нам.

«Зря я панцирь дома оставил, — подумал Чэн и тут же устыдился подобной мысли. — Да ну, ерунда, что ж мне теперь в самом деле, и по-Беседовать нельзя как следует?!.»

Шагах в трех от нас Эмрах остановился. Пояс Пустыни в его руке медленно резал воздух крест-накрест, чутко подрагивая гибким концом клинка, и впрямь напоминавшим язык Рудного Полоза.

— Свадьба-то скоро? — спросил Маскин, небрежно переходя от креста к вытянутой восьмерке.

— Не знаю, — ответил я, накручивая узкую спираль. — Со мной никто не советовался.

Чэн в это время разговаривал с Эмрахом примерно о том же, но я не вслушивался в слова людей, опасаясь отвлечься и показать себя в Беседе не с лучшей стороны.

Ну честолюбив я — каюсь!..

Пояс Пустыни нанес первый удар — все так же медленно и четко, как полагается даже и не при Беседе, а во время демонстрации при обучении.

Если горячность его еще и оставалась где-то, то сейчас она была упрятана глубоко-глубоко.

Чэн отошел на шаг, а я, не входя в соприкосновение с Маскином, поднялся над непокрытой Чэновой головой и там замер.

— Я слыхал, — Маскин провел несколько длинных рубящих махов, но делал он это на таком расстоянии от Чэна и меня, что его действия можно было счесть лишь похвальбой, — будто в Кабире Детского Учителя семьи Абу-Салим убили. Кого еще после него?

Эта тема — и та легкость, с которой нынешний Пояс Пустыни заговорил о смерти Наставника, да и о смерти вообще, — пришлась мне не по душе.

— Никого, — не двигаясь, ответил я. — Наставник был последним.

Не объяснять же ему, что в переулке-то как раз Наставник был первым, а уже потом... не стану я ему ничего объяснять.

Эмрах вдруг прыгнул вперед и ударил коротко и точно, целясь Чэну в бедро. Я метнулся вниз, приняв харзийца на сильную часть клинка, но сбрасывать в сторону не стал.

Чэн, поняв мое желание, не двинулся с места.

Нет, удар был чистым. Даже не успей я подставиться, Маскин все равно остановился бы вовремя.

Лязгнув с досады, Пояс Пустыни попытался режущим полукругом достать голову Чэна, но Чэн низко присел, а я легонько кольнул локоть Эмраха.

Так, чуть-чуть, чтоб не зарывались... оба. Мы им не наемные убитые.

— Шешеза жаль, — беззаботно прозвенел Пояс Пустыни, отодвигаясь на полторы длины клинка и делая вид, что ничего не произошло. — И так сплошные неприятности, а тут еще семья без Детского Учителя осталась... Небось рубит теперь со зла что ни попадя да Тусклых во всем винит!

Чэн неторопливо пошел по кругу, оставляя кривоногого Эмраха в центре, а я горизонтально поплыл по воздуху, с обманчивой небрежностью свесив кисти вниз и еле слышно посвистывая.

— Тусклые ни при чем, — бросил я замершему харзийцу. — Это не они.

— Ни при чем, — охотно согласился он, выведя руку Эмраха далеко вперед и еле касаясь меня лезвием. — Тусклые абсолютно ни при чем. Полностью с тобой согласен.

По-моему, он вкладывал в эти слова какой-то свой, непонятный для меня смысл. Впрочем, сейчас не время искать смыслы, и вообще — может, мне показалось?!

Маскин попытался обойти меня по внутренней стороне своего изгиба — заточка у него оказалась полуторасторонняя — и достать острием плечо Чэна. Я чувствовал, что при желании харзиец может двигаться примерно раза в два-три быстрее — но даже при такой скорости я прекрасно успевал бы не выпускать его из сферы своего восприятия.

Еще ворчун Пуддха учил меня ощущать воображаемый шар, окружающий меня и моего Придатка; ловить его увеличение при длинном выпаде, пульсацию при кистевых уколах и переходах с уровня на уровень; с тех пор у меня были разные учителя, включая жизнь, и не Поясу Пустыни проверять на прочность шар учения вокруг Мэйланьского Единорога и Чэна Анкора.

Пусть даже с точки зрения мироздания это не более чем бронзовый шарик, откатившийся к глиняному дувалу.

— Тусклые ни при чем, — повторил Маскин, и мы немного позвенели друг о друга просто так. — Они небось и не знали, что какие-то Блистающие вдруг вздумали восстановить истинное предназначение нашего рода... Нет, они этого не знали, как не знали, что их станут разыскивать, обвиняя в том, в чем они гордились бы участвовать... они, подлинные хранители забытых традиций...

Вот тут я чуть не упустил стремительный бросок Пояса Пустыни, пытаясь вникнуть в его слова. Хвала Чэну и тому, что на нем не было доспеха, — он успел, как в старые добрые времена, так прогнуться в пояснице назад, что непокрытая голова Чэна коснулась затылком земли, и весь он стал напоминать мост над горной речушкой.

В следующую секунду я отставил в сторону размышления и взял на три удара турнирную скорость. Огорченно взвизгнувший после промаха Маскин даже не успел ни разу толком меня коснуться, когда я распорол рукав верхнего халата Эмраха, сорвал с его груди деревянный медальон-амулет и напоследок пощекотал изумленно моргающего ит-Башшара в самом интимном месте всякого Придатка.

Чэн к тому времени уже сидел на земле, разбросав ноги и скучающе глядя на Маскина Тринадцатого, а тот вслепую рубил воздух там, где, по его предположениям, должен был находиться Чэн или хоть что-нибудь, принадлежащее Чэну.

Надо отдать должное Поясу Пустыни — рубил он рьяно, но чисто, с полным контролем и соблюдением законов Беседы.

— Ты что-то начал о традициях и их подлинных ревнителях, — равнодушие в голосе далось мне с некоторым трудом, потому что турнирные скорости даром не проходят. — Я так понимаю, что изворотливый харзиец, движимый местью за погибшего Придатка, попытался разыскать Тусклых и...

«И малость свихнулся», — хотел добавить я.

Но не успел.

— Нет, — ударил Пояс Пустыни.

— Не попытался, — еще раз ударил Пояс Пустыни.

И еще один раз:

— Нет. Не попытался. Я их нашел.

Я не двигался. Маскин Седьмой, ныне Тринадцатый, рубил по-прежнему чисто и честно, не касаясь Чэна, но что-то изменилось в его ударах. Не так вибрировал гибкий клинок, не так свистел рассекаемый воздух, движение было уверенней, оттяжка — быстрей и резче...

Маскин Седьмой. Тринадцатый. Двенадцать свидетелей, не боящихся красного цвета, и гордый меч проклятого Масуда... Пояс Пустыни, Маскин, бывший Седьмым и ставший Тринадцатым.

У меня не было никаких доказательств.

Я вообще не верил ни единому его слову.

Клинок Пояса Пустыни был, как положено, прохладным и блестящим, исправно отражая лучи заходящего солнца.

И все-таки... последние удары были совсем другими. Я это знал лучше любого другого Блистающего. Или нет, не любого — но многих, очень многих... почти всех.

— Я их нашел, — повторил Пояс Пустыни, останавливаясь, и его Эмрах опустился на землю рядом с Чэном. — А еще я найду ту саблю, что убила моего прежнего Придатка. Нет, я не стану казнить ее за это — месть больше не ослепляет меня, но ее Придаток умрет. Они сказали, что помогут мне, и это будет угодно Прошлым богам...

— Тусклые? — спросил я.

— Тусклые, — ответил он.

Мы разговаривали скучно и монотонно, словно речь шла о кольцах для старых ножен или выборе дерева для подставки.

— Ну-ну... — протянул я. — Может, познакомишь?

— Может, и познакомлю, — отозвался он. — Думаю, ты быстро найдешь с ними общий язык. Тебя ведь теперь даже переучивать не надо... потом, ты Высший, будешь правителем... и мастер, каких мало. Будто я не понимаю — я тебе не со-Беседник, ты со мной можешь сделать все и даже больше...

И вот тут я поверил.

Никогда прежний пылкий и самолюбивый Пояс Пустыни не произнес бы этих слов, никогда не сознался бы в том, что уступает мне или любому другому Блистающему в искусстве Беседы.

Эмрах ит-Башшар легко поднялся с земли.

— Ну, я пошел, — звякнул Пояс Пустыни, вводя острие в крепление рукояти и щелкнув, замыкаясь в кольцо. — Еще увидимся.

Чэн сидел, широко разбросав ноги, я лежал рядом, упираясь Чэну в голень, — и оба мы смотрели вслед удаляющимся Эмраху ит-Башшару и Поясу Пустыни из Харзы.

Солнце уже почти село, небо на западе было сиреневым с багровыми прожилками, и обнаженный клинок-пояс отливал красным, отчего идущий вразвалочку Эмрах казался перерубленным пополам.

От пруда тянуло сыростью.

8

...Положительно сегодняшний день оказался уж очень богат событиями. Это явно не к добру. Хотя ничего откровенно плохого вроде бы не произошло, но мы с Чэном успели привыкнуть к простой истине: обилие происшествий ни к чему хорошему не ведет. Возьмем, к примеру, раскопанные дотошным Косом в архиве сведения — что теперь с ними делать? Мало нам было Шулмы? Теперь еще эти странные смерти и исчезновения старейшин Совета Высших — и главное, в этом же совершенно некого обвинить! Потом визит Матушки Ци — ох и хитрая же старуха! Самому тупому Блистающему (Обломок не в счет) понятно, что она чего-то недоговаривает... Еще одна загадка, которая явно смыкается с первой.

Дальше — явление Маскина Седьмого-Тринадцатого! Оказывается, он таки нашел непонятно кого, но зовет их Тусклыми (асассинами, с точки зрения Эмраха). Впрочем, кого бы он ни нашел — если не считать, что вспыльчивый харзиец просто двинулся клинком, — то нелишне предположить, что эти Тусклые играют в происходящем какую-то тусклую роль. Какую?..

Вопросы, вопросы, снова вопросы — и ни одного ответа.

Когда мы выезжали из Кабира, злобы было больше, зато вопросов — меньше. Была Шулма, из которой исходила угроза нашествия; были Блистающие во главе с Но-дачи, бежавшие из Шулмы; было их желание расшевелить Блистающих эмирата, заставив их (нас!) вспомнить кровавые навыки. Это — страшно, это — жестоко, но более или менее понятно. Я хотя бы знал тогда, что делать, или не знал, но надеялся по дороге узнать. А теперь...

С какого конца начинать?

Свадьба еще эта...

...Чэн лежал, одетый, на кровати, касаясь меня правой рукой, и мы размышляли. Вместе. Довольно давно. И довольно безуспешно. Потом Чэн встал, взял Дзюттэ со стола и перевесил его на настенный ковер.

На почетное место.

Дзю никак на это не отреагировал. Тоже размышлял, наверное. Или спал. Или притворялся.

Во всяком случае, что бы он ни делал — он делал это молча.

И на том спасибо...

В дверь постучали.

— Войдите, — бросил Чэн-Я.

Дверь открылась, и на пороге возникли Кос, Заррахид и Сай. Все трое весьма сконфуженные.

— Ты извини, Единорог (Чэн), — сказали они все вместе, — но мы... твою... подставку... нечаянно... поломали... вот.

Так и знал, что добром этот день не кончится! Мою подставку! Мою первую подставку! Мою любимую подставку! Мою ореховую подставку!..

Мою первую любимую ореховую подставку!

— Ну, не то чтобы мы ее совсем поломали, — виновато проскрипел Сай, — вернее, совсем, но не то чтобы мы — скорее, я...

Короче, дело обстояло так.

Когда Матушка Ци наконец ушла, заговорив перед этим привратника-человека до полусмерти, эта великолепная троица отправилась в ближайшую лавку купить цветочных благовоний. Сходили. Купили. Вернулись. Увидели меня, Беседующего с Поясом Пустыни. Решили не мешать (вот это правильно!). И пошли упражняться в летний павильон, чтобы Кос с Заррахидом могли лучше привыкнуть к Саю (и это тоже правильно!). Привыкали-привыкали, а потом Сай обнаружил какие-то лохмотья на ковре, который висел за моей подставкой, и решил их срезать. Будто бы для красоты, но похоже было, что больше — из озорства.

А Заррахид в это дело просто не вмешивался. И не препятствовал. Что уже было совсем неправильно.

Дальше Кос с Саем возьми и промахнись. Ладно, все мы не в Небесной Кузнице кованы... А ковер возьми да и упади на мою подставку. А подставка возьми да и свались на пол. И с подставкой возьми да и ничего не случись.

Крепкая оказалась.

А Сай возьми да и обнаружь в днище маленькую щель, куда тут же сунул свой любопытный клинок. Вот тогда-то от подставки кусок и откололся.

Ну, все трое, понятное дело, перепугались не на шутку — подставка-то старинная, да еще и моя личная! — а после смотрят и видят, что в днище ниша маленькая открылась. А в ней — футляр сафьяновый. А в футляре — свиточек, лентой перевязанный. Видать, давно там лежал, пожелтел весь от времени.

— А подставку я краснодеревщику в починку отдам, за свой счет, — виновато закончил Кос, но мы с Чэном его уже не слушали. Лента на свитке развязалась легко и незаметно. Чэн взял тонкую пачку листков в левую руку, а я полностью перешел на Чэново восприятие.

«Записи Фаня Анкор-Куна, Высшего Мэйланя, о дне Великого Предательства в пятый год эры правления «Вечного мира», да будут потомки снисходительны к подлости предков, совершенной ради них».

Так гласило заглавие.

«Пятый год эры правления «Вечный мир», — подумал я, — это год моего (и не только моего) изгнания из Мэйланя. В этот год я переехал в Кабир вместе с Придатком Хо Анкором...»

«Фань Анкор-Кун, — подумал Чэн, — это, согласно родословной, прадед Ляна Анкор-Куна и родной брат моего прадеда Хо. Если я не ошибаюсь...»

«И в тот год, — подумал Чэн-Я, — в руках Фаня Анкор-Куна блистал Прямой меч Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст. Старейшина Совета...»

Похоже, сегодняшний богатый событиями день продолжается.

— Да, чуть не забыл, — словно издалека донесся до меня голос Сая. — Я, когда в город выходил, Но-дачи видел. И не одного, а с саблей Кундой Вонг. Я Заррахиду сказал, мы за угол свернули — а их и нет уже...

— Ты б еще завтра это вспомнил, — мрачно заметил со стены Обломок. — Или через неделю...

Часть VI

ЛЮДИ И БЛИСТАЮЩИЕ

Боевой закаленный меч,
Воющий при взмахе, как вихрь,
Пылающий синим огнем.
Закалили его едва
На крови из печени льва,
А потом натерли изгиб
Черной желчью зубастых рыб.
Илбисы — духи войны —
Клубились вокруг него,
Садились на жало его.
Он, как вызов на бой, сверкал.

Нюргун Боотур

ГЛАВА 16

1

Скоро полночь. Скоро на улицах застучат колотушки четвертой стражи — и я, Фань Анкор-Кун, Высший Мэйланя и старейшина Совета, отложу в сторону калам и сниму с ковра фамильный меч Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст.

Я тихо выйду из дома и, никем не замеченный, пешком отправлюсь на восточную окраину Мэйланя, где у заброшенного

водоема меня будут ждать остальные старейшины Совета. В десяти шагах от водоема, если встать лицом на юго-восток, есть старая беседка. Мы молча войдем в нее, я трижды ударю кулаком по крайней левой опоре, спустя три минуты в полу откроется люк — и мы спустимся вниз, идя гуськом по винтовой лестнице.

Сегодня ночью настал очередной срок для принесения жертвы Прошлым богам.

Только на этот раз жертва будет совсем не такой, как обычно.

Они будут ждать нас внизу — Двенадцать и Один, дюжина Даи-хранителей и Сайид-на, Глава Учения, потомок проклятого Масуда. Они будут ждать нас, как их предки ждали наших предков, как всегда, как положено в ночь жертвы Прошлым богам; это свершалось на протяжении вот уже семи столетий, и сегодня свершится вновь, и они будут ждать нас внизу — Двенадцать и Один, те, кого суеверные люди зовут асассинами, курящими гашиш убийцами.

Сами они зовут себя — батиниты.

Последние свидетели Истины.

«Батин» на древнем наречии племен с предгорий Сафед-Кух, Белых гор, означает Истину, Сокровенную Тайну. И Истина последних свидетелей, Даи-хранителей и Сайид-на, Главы Учения, истина Двенадцати и Одного очень проста.

Она гласит: когда человечество разучится убивать, оно будет убито.

Их истина очень проста.

Семь веков тому назад батиниты Мэйланя кровью и пеплом подписали договор с Советом Высших Мэйланя; то же самое произошло в Хаффе, Кабире, Дурбане и Кимене.

Они клялись никогда больше не бросаться на улицах в боевое безумие, вынуждая горожан в конце концов уничтожать не помнящего себя воина. Они клялись, что их всегда будет Двенадцать и Один, только Двенадцать и Один в любом городе из перечисленных; они клялись в этом страшной клятвой и никогда не нарушали ее.

Они не нарушили своей клятвы, и спустя пятьдесят лет после подписания тайных договоров люди эмирата вспоминали кровавых асассинов лишь в песнях, легендах и недостоверных сказаниях.

Мы же клялись в том, что раз в год будем вместе с ними приносить жертву Прошлым богам.

Раз в год один из тринадцати батинитов, последних свидетелей Истины, и один из старейшин Совета Высших Мэйланя согласно жребию будут встречаться в смертельном поединке.

Один на один.

И Прошлые боги будут неслышно рукоплескать в ночи.

И они рукоплескали — до сегодняшней ночи.

Если в поединке погибал боец-батинит, то за год оставшиеся Двенадцать должны были отыскать и обучить добровольного неофита, чтобы ко дню следующей жертвы их снова было Двенадцать и Один. Если же добровольца не находилось, то Прошлые боги ждали еще год.

Они ждали столько, сколько было нужно для того, чтобы в подземелье старейшин Совета всегда встречались Двенадцать и Один.

Если на поединке погибал один из старейшин, то мы хоронили его согласно обычаям и стараясь не вызвать кривотолков среди горожан и членов семьи погибшего. После чего избирался новый старейшина, и мы посвящали его в тайну Двенадцати и Одного, вручая наследное оружие покойного, с которым тот бился у алтаря Истины Батин.

В том случае, когда оружие ломалось в бою, что происходило редко, — ну что ж, значит, не судьба...

Если же при принесении жертвы ломалось оружие батинита, то будущий доброволец, новый Даи-хранитель, входил в круг последних свидетелей Истины со своим клинком; если оружие оставалось целым, то оно вручалось неофиту как наследие ушедшего приходящему.

Так было до сегодняшней ночи.

Два века тому назад при принесении жертвы Прошлым богам был убит батинит в Кабире; через месяц то же самое произошло в Дурбане. Семь лет после этого Прошлые боги терпеливо ожидали следующей жертвы, обходя Дурбан и Кабир, ибо Двенадцать не могли отыскать Одного.

Добровольцев не находилось.

На восьмой год батиниты Кабира и Дурбана отказались от Истины, отреклись от сокровенной Тайны, сказав: если человечество и впрямь разучилось убивать, значит, оно достойно того, чтобы быть убитым; а мы тоже люди.

Полвека спустя их слова повторили батиниты Кимены и Хаффы, перестав быть Двенадцатью и Одним.

Так было до сегодняшней ночи.

Потому что этой ночью в подземном зале для принесения очередной жертвы Прошлым богам сойдутся тринадцать убийц по убеждениям и тринадцать убийц по принуждению; и мы нарушим договор.

Мы не станем ждать жребия.

Мы нападем на них первыми, без предупреждения, все на всех, так, как нападают клятвопреступники — из-за угла, подло и беспощадно.

Мы убьем их всех и сломаем их наследственное оружие.

В Мэйлане никогда больше не поднимет голову змея Учения Батин; в Мэйлане никогда больше не будет Двенадцати и Одного.

В Мэйлане останется только тринадцать невольных убийц.

Мы.

Старейшины Совета Высших.

Ашока Викрамадитья и его прямой тяжелый меч Кханда Вьячасена, Абдаль ан-Фарсид и его сабля-шамшер иль-Самак, правитель города Сунь Шикуань и меч «девяти колец», кривой Цзюваньдао, Джанг Тун и нож Бадек ханг-Тун, Сайф Одноглазый с кинжалом Ландинг Терусом, братья Ори и Ри с двуручным топором Масакири-кай и боевым веером Сунь по прозвищу Павлин, Лян Чилинь с двузубцем Ма, Языком Кобры, затем Мотогарэ Кутие и его копье Катакама Яри, Белый Тигр, могучий кузнец Ян и двойная палица Убан, крохотный боец Аран Юлинь и боевой серп Кама Мотогари, единственная женщина в Совете, хрупкая и неукротимая О Ранкесю, вдохновительница сегодняшней ночи, и ее Нагината Катори Сан-Кесе...

И я.

Фань Анкор-Кун и прямой меч Дан Гьен по прозвищу Скользящий Перст.

Вчера я отправил своего брата, молодого Хо Анкора, наследного вана Мэйланя из Вэйской ветви Анкоров-южан, в Кабир. Хо уехал, взяв с собой родовой меч их семьи, месяц назад получивший прозвище Единорог.

Уезжай, Хо, и ни о чем не спрашивай...

Я желаю тебе, чтоб столица стала твоим домом, а не временным караван-сараем!

...Остальные старейшины Совета Высших последовали моему примеру.

В случае чего — грязь слухов не прилипнет к молодежи, волна позора не захлестнет их; и они ничего и никогда не узнают.

Впрочем, если последняя жертва Прошлым богам будет принесена так, как предполагается, — никто ничего не узнает.

Пусть поют песни.

Пусть рассказывают сказки.

Пусть... пусть живут, как жили.

И мы, старейшины Совета, убийцы поневоле, — мы тоже будем жить, как жили; мы будем корчиться под бичом памяти, но останемся жить.

Чтобы никто ничего не узнал.

Сегодня ночью мы нарушим клятву — дабы семя насильственной смерти пожрало само себя.

К счастью, мы тоже смертны.

Ах, как хотелось бы мне хоть немного пожить в том мире, который будет после нас! — после нас, клятвопреступников и убийц, последней жертвы Прошлым богам!..

Скоро полночь...»

— Все, — рассеянно сказал я, крепче сжимая стальные пальцы на рукояти Единорога.

«Нет, не все, — беззвучно отозвался он. — Ты выронил один листок. Вот, под столом...»

Я полез под стол.

— А вы теперь ругаться не будете? — опасливо поинтересовался сверху Сай Второй. — За эту... за подставку?

— Они не будут, — сообщил ему со стены Обломок. — Зато я буду.

— А ты-то почему?! — возмутился Сай.

Обломок подумал.

— Просто так. Глядя на тебя, Вилорогий, мне почему-то всегда ругаться хочется...

— Тихо вы! — одернул болтунов эсток. — Единорог, скажи Чэну — пусть дальше читает! И переводи слово в слово.

Я выбрался из-под стола с листком в левой руке и Единорогом в правой.

— Слышу, слышу, — пробормотал я себе под нос. — Слышу и читаю...

Листок был вполовину меньше, чем предыдущие, и на бумаге другого сорта.

«...мы недооценили их и переоценили себя. Двоим удалось уйти вместе со своим оружием; более того, они унесли с собой меч одного из убитых асассинов. Надеюсь, у беглецов хватит ума и осторожности, чтобы не мстить, а исчезнуть из Мэйланя, растворившись в многочисленном населении эмирата.

Надеюсь... и еще я надеюсь, что они окажутся честнее нас и по-прежнему не нарушат своей клятвы; а Двенадцатью и Одним они станут не скоро, если станут вообще.

Зачем я пишу все это? Не знаю. Знаю только, что прячу эти записи в подспудной надежде, что их когда-нибудь кто-нибудь найдет. Очень хочется пожить в чистом мире; и очень не хочется умирать подлецом, не сказавшим ни слова в свое оправдание, хотя оправдания мне нет и быть не может.

Ведь сегодня ночью я, Фань Анкор-Кун, Высший Мэйланя, старейшина Совета, — сегодня ночью я убил человека...»

— Все, — тихо произнес Я-Единорог. — Вот теперь — все.

— Все ли? — вопрошающим эхом отозвался Кос. — Ох, сомнительно...

«Так вот почему старый Кханда и Скользящий Перст переглянулись, когда я сказал им, что убил Придатка! — подумал Единорог. — Они-то хорошо знали, что это значит, старейшины-клятвопреступники...»

— Подведем итоги, — сказал Кос, садясь напротив меня.

Я приготовился слушать, сразу же отдав Косу пальму первен-

ства в трудном деле подведения итогов; а Единорог приготовился переводить.

— Согласно этим записям, некогда между старейшинами Совета Высших Мэйланя (и не только Мэйланя) и асассинами-убийцами, которые оказались совсем не убийцами, а последними, так сказать, свидетелями Истины, — между ними был заключен договор. Так?

— Так, — ответил Я-Единорог.

Остальные промолчали. О чем тут спорить?..

— Согласно этому тайному договору и сохраняя достоинство человечества по канону Учения Батин — весьма своеобразный канон, надо заметить! — раз в год старейшины и свидетели Истины собирались в тайном месте без посторонних и торжественно убивали друг друга. Семьсот лет подряд. Хранили таким образом семя Истины.

— Хранили, а потом хоронили, — проворчал я.

Кос не обратил на сказанное мной ни малейшего внимания. Он встал, оставив лежать Сая и Заррахида, извлек из рукава цветастую пачку купленных в лавке благовоний — легкий сухой аромат мигом распространился по комнате — и принялся расставлять тоненькие курительные свечи во все возможные и невозможные углы.

Потом ан-Танья несколько раз ударил огнивом — еще в начале чтения мы зажгли обычные свечи, но Кос почему-то решил ими не пользоваться — и поднес тлеющий трут к четырем-пяти оглушительно пахнущим (оказывается, так бывает!) палочкам.

— Отлично! — с видимым удовольствием принюхался Кос. — В Кабире таких нет... не возят купцы. Итак, Учение Батин процветает, плодоносит и, наконец, загнивает, в результате чего еретически настроенные батиниты Кабира, Дурбана, Кимены и Хаффы отрекаются от Сокровенной Тайны. Остается древний Мэйлань, где традиции испокон веку настолько сильны, что рассчитывать на добровольное отречение последних свидетелей Истины не приходится.

— Они называют их Тусклыми, — бросил я Косу.

— Они? — удивленно поднял бровь ан-Танья. — Их? Кто они, кого — их, и почему — Тусклыми?!

Я на мгновение снял правую руку с Единорога. Если при объяснении я брякну что-нибудь обидное — пусть не слышит...

— Они — это они, — я взглядом указал на наших спутников. — Блистающие то есть... Их — это имеется в виду оружие асассинов. То есть батинитов. Мы зовем батинитов асассинами, а Блистающие звали и зовут их оружие — Тусклыми.

«Ну, ты прямо мудрец! — донесся до меня приглушенный и насмешливый голос Единорога. — Прямо-таки Сайид-на, Глава Учения... ты думаешь, я обижаюсь, когда ты называешь нас оружием? А мы иногда забываемся и по-прежнему зовем вас При-

датками. Ну и что? Положи лучше руку на место, а то слышно плохо... и Дзю ругается, что перевожу не все. Положи, положи, а то переведу ему все, и он тебе вообще жизни не даст... Давай, Придаток Чэн, клади ручку на оружие...»

М-да... оказывается, прямое соприкосновение нам уже и не так-то нужно! Слышно просто плохо, а в остальном — все в порядке! Может, я и сам теперь наполовину Блистающий? Особенно если в доспехе.

Или Тусклый?..

Я положил руку на место и не стал переводить Косу наш последний разговор с Единорогом.

И Единорог не стал — только уже Саю, Дзюттэ и Заррахиду.

«Могут, в конце концов, у нас быть маленькие личные тайны?!» — вместе подумали мы.

И улыбнулись.

Ан-Танья в это время нюхал дым от курительных палочек и задумчиво барабанил пальцами по столу.

— Тусклые так Тусклые, — наконец кивнул он. — У меня другой вопрос есть. Вот напали ваши старейшины на батинитов вопреки клятве и во имя высших целей; остались от Двенадцати и Одного всего двое — к примеру, Седьмой и Девятый, и те исчезли в неизвестном направлении; воцарились кругом мир, тишина и спокойствие опор... судя по тому, что Фань — твой двоюродный прадед, то воцарились они на сотню лет. И весь этот благополучный век раз в десятилетие исчезает кто-то из Блистающих того самого Совета, попробовавшего крови последних свидетелей Истины. А вместе с ними зачастую исчезает или погибает их нынешний Придаток — то есть, я хотел сказать, человек, не имеющий к прошлому клятвопреступлению никакого отношения. Почему? Что ты думаешь по этому поводу, Чэн? Месть? Так не похоже на месть...

Единорог внутри меня грустно улыбнулся.

И заговорил.

А вместе с ним заговорил и я.

— Сроки жизни, Кос, сроки жизни... они ведь у людей и у Блистающих разные. Прошло три-четыре десятка лет — ну пусть даже полвека! — и старейшины-люди, нарушившие клятву, умерли. Думая, что умирают последними убийцами в Кабирском эмирате. А старейшины-Блистающие остались. Весь Совет Высших Мэйланя, что принимал решение о клятвопреступлении, все убийцы поневоле — они остались, Кос! Ты понимаешь?! И они наверняка тоже хотели умереть, уйти из жизни, уничтожить себя — последних носителей зародыша насильственной смерти!..

— Последних свидетелей Истины Батин, — сказал эсток За-

ррахид, адресуясь к замолчавшему на миг Единорогу. — Настоящих последних свидетелей...

— Все свидетели подобных истин считают себя последними, — бросил с ковра Обломок. — Некоторые изредка считают себя первыми — что, по сути, одно и то же.

— Это потому, что выбора нет, — отозвался Сай. — Или пунцовая кошма, или священный водоем. Или кровь, или гниль. Или — или...

И Дзюттэ впервые ничего не ответил Саю Второму.

Ан-Танья взял в руки одну из курительных свечей и подошел к ковру. Сизая струйка с запахом увядших цветов — сладость и легкий налет тления — достигла Обломка, обвила его и зазмеилась в сторону окна.

— Об этом я не подумал, — Кос слегка прищокнул языком. — Не подумал... тогда понятно. Все вместе старейшины-Блистающие умереть не могут — это вызовет хаос и волну слухов, что может послужить новым толчком к возрождению Учения Батин. Двое-то асассинов сбежали...

— Трое, — перебил его Единорог-Я. — Двое сбежали со своим оружием и прихватили с собой меч одного из убитых. Значит, трое Тусклых остались живы. Возможно, они живы до сих пор. Фань не мог этого знать, но мы-то знаем!

— Трое, — согласился Кос. — Выходит, опасность сохраняется. И тогда старейшины-Блистающие решают уходить из жизни по одному. Раз в десять лет. А то, что вместе с ними иногда погибают их нынешние, ни в чем не повинные Придатки — ну кто же думает о таких мелочах?!

Отблески свечей заиграли на полировке Единорога, и он слегка покраснел.

— Сабля Шамшер иль-Самак как бы случайно попала в колесо арбы, — продолжил Кос. — Копье Яри как бы случайно сломалось, а наконечник пропал в колодце. Двузубец Ма, Язык Кобры...

Ну и память у этого Коса! Если вернемся в Кабир — посоветую эмиру Дауду назначить его городским кади...

— Язык Кобры и кинжал Ландинг Терус как бы случайно не доехали до Верхнего Вэя — вместе с двумя людьми-чиновниками, — и их судьба неизвестна. Скорее всего они погибли. Топор Масакири-кай и веер Сунь-Павлин завели братьев-охотников Акиро и Бэнкея в Кулхан и — опять же как бы случайно — попали в Шулму, где и оказались в священном водоеме. Вот уж небось удивились перед смертью, обнаружив целые толпы последних свидетелей Истины Батин! Меч Цзюваньдао исчез под оползнем вместе с Ю Шикуанем, и Мэйлань дважды остался без правителя — и для людей, и для Блистающих. Скользящий Перст пока

еще жив, но в семнадцатом году «Спокойствия опор», как записано в...

Кос вдруг резко умолк и уставился на меня.

— Да что ж это я... — пробормотал он. — Тут и дураку ясно! Кто-то ведь должен следить за уходом старейшин, кто-то должен иногда помогать им уйти; и потом, через сто двадцать лет после клятвопреступления — кто-то ведь должен, если понадобится, рассказать обо всем новому Совету! Должен же кто-то быть последним свидетелем последних свидетелей!..

— Матушка Ци? — недоверчиво спросил я. — Да нет, быть не может — ей же никак не сто с лишним лет! Ты что, Кос? Дыма нанюхался?!

— Я — что?! — заорал ан-Танья. — Это ты — что! Сам же рассказывал, что, пока я со старухой в караван-сарае Беседовал, ты с Единорогом разговаривал! О чем?! Переводи, Высший и недогадливый Чэн, к кому обратятся старейшины Совета Высших Мэйланя в таком щепетильном случае?! Сай, Дзю, Заррахид — к кому?! Единорог — к кому?! К кому обратятся Блистающие?!

— К Чань-бо, — прошептал Единорог-Я.

— К Чань-бо, — шевельнулся на ковре Обломок.

— Похоже, — согласился Заррахид.

— Не знаю, — сказал Сай. — Но думаю, что вы правы.

— То-то же, — победно заявил Кос, когда я повторил ему все сказанное Блистающими. — К Чань-бо. К этой помеси посоха, лопаты, вил и парадного бунчука. К мудрому молчаливому Чань-бо, от которого уходят окрыленными — пусть даже и на тот свет.

И, подумав, добавил:

— Да и старуху не стоит сбрасывать со счетов. Она наверняка что-то знает. И потом — может, этой ведьме и впрямь лет сто... или двести.

3

— Возможно, Кос прав...

Единорог говорил вслух, что для нас двоих было вовсе не обязательно. Но нас в комнате было больше, чем двое.

— Возможно, Кос, ты прав, — повторил я.

— Да, Единорог, — повернул ко мне голову безошибочный ан-Танья. — Да, я тебя слушаю.

— Ты можешь быть прав во всем, Кос, или не во всем; ты можешь быть совсем не прав, но это неважно. Тем более что если мы рассмотрим тайный договор, подписанный кровью и пеплом, не как сделку между старейшинами-людьми и людьми-батинитами, а как сделку между Блистающими Совета и Тусклыми, тогда все поначалу выглядит проще и не так ужасно. Ведь отнюдь не при каждой жертве Прошлым богам ломалось оружие бойцов —

то есть погибал Блистающий или Тусклый! В основном, как пишет Фань, смертельный поединок заключался в обязательной гибели одного из людей! То есть гибли Придатки, и Тусклые с Блистающими Совета расходились в разные стороны, искать новых Придатков для следующего жертвоприношения...

— Проще и не так ужасно, — после паузы сказал Кос, с силой сжав кулаки. — Нет, я не обижаюсь... не обижаюсь.

— Иногда мне кажется, — бесстрастно прошелестел Заррахид, — что мы не заслуживаем таких Придатков. Мы — возомнившее о себе железо... нет, не заслуживаем.

А вот этого я Косу переводить не стал.

— И поэтому, — продолжил Единорог-Я, — когда старейшины-Блистающие шли на клятвопреступление, они в последнюю очередь думали о своих Придатках. Я полагаю, что, если можно было бы истребить Тусклых, не убивая их Придатков, старейшины пошли бы на это с большей радостью. Придатки живут недолго, и это человека-Фаня волновало бегство двоих асассинов — а Блистающих гораздо больше заботило исчезновение троих Тусклых! Которые способны были воспитать новых Придатков... и найти новых Блистающих, согласных потускнеть.

— В Шулму бы их, — мечтательно скрипнул Сай Второй. — Вот где разгулялись бы...

Он осекся, а Кос побледнел. За время нашего путешествия с караваном я успел рассказать ан-Танье все, что знал о Шулме от Друдла, Детского Учителя, Сая... все, что знали о Шулме я и Единорог.

— Один против восьми, — еле слышно звякнул Сай. — Всех убил. И уши заставщикам отрезал. Сам явился на той, добровольно...

— Джамуха Восьмирукий! — не сговариваясь воскликнули я и Кос.

— И Блистающий Чинкуэда, — добавил со стены Обломок.

— Тусклый Чинкуэда, — поправил его эсток. — Тусклый... последний свидетель Истины Батин. Да, он обязательно вернется в Кабирский эмират, потому что он ничего не забыл! И он вернется не один, этот последний свидетель Чинкуэда...

Я с тоской посмотрел в окно. Черное небо и три робких звезды в углу окна жмутся друг к другу, словно в страхе перед молчащей пустотой... Как же я мог забыть!

— Он, конечно, вернется, — вполголоса сказал я. — И Джамуха Восьмирукий, вождь орд шулмусов, и Тусклый Чинкуэда, вождь Диких Лезвий Шулмы, — но здесь их будут ждать! Их даже встретят с радостью! Их встретят Двенадцать и Один!

И Я-Единорог рассказал о нашей Беседе у пруда с Эмрахом

ит-Башшаром из Харзы и Поясом Пустыни, Маскином Тринадцатым, некогда Седьмым.

Некоторое время все молчали.

— Теперь я понимаю, — закончил Я-Единорог, — почему Прошлые боги ждали целый век! Тусклые-батиниты, невзирая ни на что, не нарушили клятвы. Они искали таких, как Пояс Пустыни, собирая их по одному, они учили, воспитывали, скрывались — и вот теперь их снова Двенадцать и Один, и пока Чинкуэда готовит Шулму, здесь, в Мэйлане, в самом скором времени состоится очередная жертва Прошлым богам!

— Тогда выходит, — вмешался Сай, — что они не хуже меня знают о том, что Но-дачи и Кунда Вонг в Мэйлане! Ведь это именно Придатка Кунды хочет убить этот Пояс Пустыни... А как же они небось радовались всему тому, что мы творили в эмирате! Ведь это для Тусклых было возрождением Истины Батин, концом одиночества и скрытности!..

— И твои приятели, Вилорогий, вполне могут примкнуть к Тусклым, — заявил Обломок весьма противным и въедливым тоном. — Ну, убьет этот харзиец Придатка Кунды — надо ж на ком-то научиться всерьез, кроме собак да обезьян! — потом подыщут Кунде совместными усилиями нужного человека-батинита из желающих мстить кому-нибудь... А Но-дачи вообще в Сайид-на изберут, Главой Учения будет! Вполне достоин, по-моему...

— Ты никогда не сможешь простить мне смерть Наставника? — напрямик спросил Сай. — Да, Дзю?

— Дурак, — буркнул Дзюттэ, но уже совсем по-другому. — Прощать его, понимаешь ли... если б я на тебя зло держал — сломал бы тебя еще при первой Беседе, в караван-сарае, и было б тебе прощение!.. Только я тупой да отходчивый. Так что терпи и помалкивай! Кстати, Вилорогий, — ну я ладно, я старый дурак, а ты какой? В смысле — тебе-то сколько лет?

— Пятьдесят два года, — гордо ответил Сай.

«Пылающая Нюринга! — беззвучно ахнул Единорог. — Да он же еще подросток!..»

Заррахид только дрогнул слегка и не сказал ничего.

У меня в голове пока еще плохо укладывалось, что пятьдесят два года — это даже не молодость, или, в крайнем случае, самое ее начало... но я решил, что привыкну и к этому.

— Ясно, — подвел итог Дзюттэ. — Отсутствие ума и дурное общество. Шулма, герой Но, братья-недоросли, Шото еще этот... Воспитывать тебя некому.

— Почему это некому?! — взвился Сай. — Я, между прочим...

— Ты, между прочим, помалкивай, когда старшие говорят, — осадил его Обломок. — Я тебя не в десять и не в пятнадцать раз

старше. И сказать хотел вот что: воспитывать тебя некому было. Было! А теперь — есть кому. Вот что я хотел сказать.

Сай посмотрел на Обломка с нескрываемым ужасом. По-моему, он понял, кого имел в виду Дзюттэ, говоря о воспитателе.

— Никогда, — зазвенел он, — никогда ни Кунда, ни Но, ни любой другой Блистающий с пунцовой кошмы не примкнет к Тусклым! Мы не хотели быть убийцами, нас вынудили к этому — как Тусклые вынудили старейшин Совета, — и мы убивали сначала, чтобы выжить, а потом, чтобы научить выживать вас; но никогда не убивали мы просто так, или во имя веры, или для удовольствия!

Сай прерывисто задребезжал, и, будь он человеком, я бы сказал, что он плачет.

— А харзиец этот ваш болван деревянный! — уж совсем невпопад закончил он. — Болтливый язык Рудного Полоза! Придатка Кунды он, видите ли, убьет... ее в Шулме не такие убить пытались! Вот!..

— Ладно, ладно, — успокаивающе начал было Я-Единорог, не успев обратить внимания на это «ее», применительно к Придатку Кунды Вонг, но тут в дверь постучали.

— Кто там? — крикнул я.

— Послание Высшему Чэну Анкору от Юнъэр Мэйланьской! — донеслось из-за двери. — Гонец только что доставил...

Дверь робко приоткрылась, и в щель просунулась рука со свернутым в трубку посланием, запечатанным ярко-красной печатью.

— На ночь глядя... — проворчал я, вспомнил, что уже давно ночь, расстроился еще больше, подошел к двери, забрал и распечатал депешу и долго смотрел на нее, вникая в смысл иероглифов.

— Спать, — наконец приказал я, не оборачиваясь. — Всем спать. Нам с Единорогом завтра утром рано вставать.

— Приглашение? — поинтересовался догадливый Кос.

— Приглашение. На утреннюю верховую прогулку по городу. Даже коня из личных конюшен обещает прислать в подарок. Вот напасть-то! Ехать не хочется, а отказаться неудобно.

— Женихи, — рассмеялся на ковре Обломок. — Нет, все-таки хорошо быть шутом! Шутом — хорошо, а женихом — плохо! Новая истина Учения Батин!

— А я не поеду, — вдруг заявил Единорог, причем вслух, чтобы все слышали. — Про меня в послании ничего не сказано. Я — оружие, чего мне ехать да мешать людям разговаривать... И спицы опять приставать начнут... нет, не поеду.

— Скотина ты, а не Блистающий, — беззлобно ругнулся я. — Ладно уж, сам поеду... за двоих отдуваться.

И швырнул послание на стол.

ГЛАВА 17

1

Мне снился сон. Я был мечом.
В металл холодный заточен,
Я этому не удивлялся.
Как будто был здесь ни при чем.
Мне снился сон. Я был мечом.
Взлетая над чужим плечом,
Я равнодушно опускался.
Я был на это обречен.
Мне снился сон. Я был мечом.
Людей судьей и палачом.
В короткой жизни человека
Я был последнею свечой.
В сплетенье помыслов и судеб
Незыблем оставался я.
Как то, что было, есть и будет,
Как столп опорный бытия.
Глупец! Гордыней увлечен,
Чего хотел, мечтал о чем?!.
Я был наказан за гордыню.
...Мне снился сон. Я БЫЛ мечом.
Один раз среди ночи я проснулся.

Обычно я сплю на боку, но на этот раз я спал на спине, и моя правая рука, рука аль-Мутанабби, лежала на моей груди.

Напротив сердца.

Сердце билось ровно и спокойно.

2

Утром меня разбудило ржание. Надо сказать, очень требовательное и довольно-таки наглое ржание. Первой моей мыслью было: «Какой олух вывел выгуливать коня в такую рань, да еще по эту сторону пруда?!» Вторая мысль была уже иной: «Ушастый демон У! Я, наверное, проспал время назначенной прогулки, и теперь госпожа Юнъэр в гневе явилась ко мне и ржет под окном! Вернее, это ее лошадь ржет под окном... в гневе. Стыд-то какой!»

Третья мысль была самой короткой: «Кто бы ни ржал — пора вставать!»

На этом мысли закончились, я мигом соскочил с кровати и выглянул в окно. Во дворе неизвестный мне конюх (впрочем, его ярко-желтая куртка была украшена гербом Мэйланя — алебарда, увитая плющом) держал под уздцы коня. Огромный, абсолютно черный зверь, вне всяких сомнений, ужасно породистый — ишь, шея какая, и ноги как из мрамора выточены! — и от осознания

своей породистости весьма злобный и своенравный. Конюх воспринимался конем как личное оскорбление, и жеребец (ясно, что не мерин!) вставал на дыбы, бил копытом, фыркал, заносчиво косился по сторонам и норовил вырваться из цепких рук конюха.

И впрямь — Ушастый демон У! Или его последнее воплощение...

Можно было не сомневаться, что скакуна мне прислала любезная госпожа Юнъэр. Из личных конюшен. Не опозориться бы на этаком ночном кошмаре!.. Ладно, позавтракать смогу позже, а сейчас — одеваться и вниз. Доспех надевать или нет? С одной стороны — зачем он мне на прогулке, а с другой — лучше все-таки надену...

Будем считать, что в нем я красивее.

При помощи разбуженного тем же ржанием Коса я облачился в нижнюю одежду, нацепил сверху панцирь, надел левую перчатку, наручи, подпоясался, затем набросил сверху марлотту, водрузил шлем-тюрбан и спустился вниз.

Единорог, пока я одевался, смирно лежал на столе и делал вид, что спит.

...Когда я подошел к коню, Демон У (так я решил называть черную бестию, независимо от первоначального имени) подозрительно скосил глаз в мою сторону и вздернул верхнюю губу.

Погоди, ты у меня сейчас посмеешься!..

— Благородная госпожа Юнъэр, правительница Мэйланя... — начал было конюх, но я отмахнулся от него и забрал поводья. Потом я подмигнул коню, потрепав его по морде, а когда возмущенный жеребец оскалился — сунул ему прямо в огнедышащую пасть правый кулак. Собственно, мог и левый сунуть, но решил не рисковать. Левые-то пальцы свои, а правые — Кобланова! Пусть перчатки и одинаковы...

Демон У, как и предполагалось, немедленно укусил меня за руку, и рука аль-Мутанабби произвела на него неизгладимое впечатление. Особенно когда я добавил ею же Демону по шее. Не то чтоб очень уж сильно, но весомо и обидно. Демон У задумчиво всхрапнул, уважительно покосился на чешуйчатый кулак, оглядел меня с ног до головы (вот когда я порадовался, что в доспехе!), еще раз всхрапнул — и я вскочил в седло со всей ловкостью, на которую был способен.

Конь заплясал подо мной, обалдевший конюх отскочил в сторону, но я слегка натянул поводья — и Демон У, к моему глубокому удивлению, тут же успокоился. Тогда я несильно повел коленями — и жеребец уверенной рысью направился в обход пруда.

Норов норовом, а вышколен Демон был замечательно.

Положительно, он начинал мне нравиться.

Как и я — ему. Зубы целы остались, вот пусть и радуется...

Привратник распахнул передо мной ворота, я улыбнулся ему и топору Ляо — последний оставил мою улыбку без внимания — и отправился на званую прогулку.

3

Когда я подскакал к воротам дворца, услужливо распахнутым передо мной стражниками, Юнъэр Мэйланьская уже ехала ко мне навстречу. Ее белая лошадь была, по-моему, сандуанской породы — после укрощения Демона мои куцые знания конских статей так и норовили вылезти наружу, — а сама госпожа Юнъэр облачилась в атласные шаровары цвета заката, остроносые туфельки, расшитые бисером, и длиннополый фиолетовый халат с изображениями голенастых рубиновоглазых драконов.

Сегодня правительница выглядела совсем не так, как на незабвенном празднестве, и пусть образ Чин в костюме для верховой езды был довольно свеж в моей памяти, но я не мог не отметить редкую соблазнительность вдовой госпожи Юнъэр.

Ну что, отметил?

Отметил.

Как ты думаешь, Чэн-дурак, она этого не знает?

Разумеется, знает.

Ну и?..

Ну и не и.

...Спустя несколько минут мы чинно, по-семейному (о все ады Хракуташа!) ехали рука об руку прочь от дворца. Юнъэр мило улыбалась мне, воркуя о чем-то до невозможности светском, но я сразу понял, что она расстроена.

— Куда мы направляемся, благородная госпожа? — осведомился я с беззаботностью, стоившей мне седых волос.

Юнъэр махнула рукой куда-то в сторону восточной части города, где я еще не бывал. Впрочем, а где я бывал?!.

В молчании — после моего вопроса она больше не заговорила — мы проехали несколько кварталов; встреченные горожане почтительно кланялись нам, но не более того... и наконец я не выдержал.

— Простите мою назойливость, благородная госпожа, но сегодня вы явно в плохом настроении. Потому позвольте спросить вас: что могло огорчить правительницу процветающего Мэйланя в столь прекрасное утро?

Я попридержал Демона У, чтобы случайно не опередить белую кобылу Юнъэр.

— Вы, Высший Чэн, — коротко ответила Юнъэр Мэйланьская и посмотрела прямо в глаза.

Клянусь священным водоемом Шулмы, она умела заглядывать так глубоко (несмотря на лечение Обломка), что мне стало неловко — совершенно непонятно, с чего бы?!

— Я? В чем же я провинился, милостивая госпожа?! Вы только намекните мне — и я мигом заглажу мою вину!

— Попробуйте догадаться сами, — она слегка улыбнулась.

Эта тень улыбки свидетельствовала о том, что малую часть своей таинственной вины я, похоже, успел загладить, — и я вздохнул с некоторым облегчением.

— Еще раз прошу простить вашего покорного слугу за его недогадливость — но все же я не в силах понять...

— Весь Мэйлань уже недели три твердит о нашей помолвке и будущей свадьбе, эмир Кабирский Дауд Абу-Салим прислал поздравление с вестовым соколом, которому нет цены ни в кабирских динарах, ни в мэйланьских лянах, — она говорила потупившись, но с очаровательной твердостью. — Я слышу об этом ото всех, кроме вас, Высший Чэн! Я понимаю — политика не всегда в ладах с сердцем, но мне хотелось бы все же выслушать вас, как наследного вана Мэйланя и просто как Чэна Анкора, и в случае чего прекратить все эти досужие разговоры и... и...

Я невольно повторил жест Коблана, хлопнув себя ладонью по лбу. Раздался звон. Юнъэр восхищенно посмотрела на меня, а я чуть не выругался, вспомнив про латную перчатку и шлем под тюрбаном.

Вот чего она ждет от меня! Официального предложения или прямого отказа от всех этих помолвок и свадеб!.. Юнъэр, конечно, женщина настойчивая и целеустремленная, но такие вещи первым должен говорить мужчина — а я молчу...

И буду молчать. Или почти молчать.

— Я хочу, благородная госпожа Юнъэр...

— Можно просто Юнъэр. Или — Юн.

Юн — это по-мэйланьски «весна». Весна...

А сейчас — начало осени!

— Ну хорошо... Юнъэр. Просто я хочу разъяснить создавшееся положение. (Ишь, слова-то какие выискиваю!) Не то чтобы я был против нашей свадьбы (так против я или не против?!)... и я понимаю, что... (а что я, собственно, понимаю?!), но у меня в Кабире осталась невеста, или почти невеста, и вообще...

— Так вот что сдерживало тебя! — просияла Юнъэр (можно просто Юн). — Но по законам эмирата у мужчин может быть четыре жены! Или ты исповедуешь Хайракамскую ересь?

— Ни в коем случае, — возразил я, понятия не имея про эту самую ересь, но уже не любя ее всем сердцем.

— Или, может быть, ты тайный дейлемский жрец-евнух?

— Я?!

Еще минута — и она узнала бы, какой я евнух!..

— Тогда все в порядке! И я не стану возражать, чтобы она — твоя почти невеста — стала твоей женой. Второй. Со временем ты сможешь выбрать и третью, и четвертую — но я, как ты сам понимаешь, должна стать первой.

В голосе Юнъэр на мгновение пробились тревожные нотки.

— А кто она, Чэн?

Ах так... уже просто Чэн?..

— Она — благородная госпожа Ак-Нинчи из рода Чибетей.

— Чибетей, Чибетей... Кажется, это из Высших Малого Хакаса?

— Да.

— Прекрасно! Ты — умница! С политической точки зрения такой союз сулит немалые выгоды... хотя, полагаю, ты выбирал эту самую Ак-Нинчи не только по политическим соображениям?

— Ну... — промямлил я. — В некоторой степени... то есть я хочу сказать, что при соответствующих обстоятельствах был бы рад видеть тебя своей женой...

Огласить список соответствующих обстоятельств мне не дали.

— Как я рада, Чэн! Конечно же, я принимаю твое предложение, тем более что приготовления к нашей свадьбе займут не более недели! Я понимаю, что ты должен...

Влип!

Получается, что я уже сделал ей предложение. Более того — мы обсудили мой второй брак с Чин. Весьма выгодный по политическим соображениям. Прав был покойный Друдл — как у Чэна-дурака... Ну куда меня — в правители?! Я им тут науправляю...

С некоторым усилием я сотворил радостное выражение лица — получилось криво и неестественно, но лучше у меня не вышло — и сказал громко и возбужденно:

— Отлично, Юн! Я рад, что между нами теперь нет недоговоренностей. А Ак-Нинчи я как-нибудь сообщу...

По-моему, я собирался сказать совсем не то.

— Если хочешь, Чэн, — я пошлю сокола.

— Нет, — слишком поспешно возразил я. — Сперва я все взвешу (да уж!), а там и...

«Во всякой ситуации надо находить свои приятные стороны», — философски подумал я, выяснив, что мы уже целуемся. А целоваться госпожа Юнъэр — можно просто Юнъэр, или даже Юн — умела мастерски! Хорошо, что Демон У был занят покусыванием шеи белой кобылки и тихо стоял на месте.

Интересно, а когда это мы остановились?

Нет, это мне уже неинтересно... может, я правильно сделал ей предложение?

Или что я там ей сделал?.. А Чин возьмем второй женой...

4

...После этого мы некоторое время ехали молча бок о бок, а там я снова не вытерпел первым:

— И все-таки — куда мы направляемся, Юнъэр?

— К воротам Семи Небес, — с лукавой и в то же время умиротворенной улыбкой ответила она. — Эти ворота были установлены в Мэйлане на площади Фонтанов более восьми веков тому назад. Легенда гласит, что ворота эти везли на семи парах быков из самой Кимены, где их узорчатые створки ковали лучшие мастера; одни говорят, что по личному заказу тогдашнего мэйланьского правителя, другие — что ворота были просто захвачены в Кимене мэйланьским полководцем Цао Дунем и перевезены сюда как трофей. Во всяком случае, сейчас они стоят на площади Фонтанов и открываются лишь для того, чтобы через них проехал свадебный кортеж новой семьи правящего дома. И мы с тобой тоже будем проезжать через ворота Семи Небес. Сейчас ты их увидишь.

Мы еще раз свернули за старым храмом и вскоре действительно выехали на площадь. Воистину это была площадь Фонтанов: прозрачная вода с тихим шелестом текла по огромным мраморным ступеням, а вокруг каскада били фонтаны — в виде изогнувшихся диковинных рыб, мастерски раскрашенных золотом, лазурью, серебром и нефритовой зеленью, синие, черные, красные и желтые драконы, тигры, грифоны и какие-то уж совсем неведомые мне чудища... Фонтаны шумели, плескались, журчали; вода весело взлетала в воздух то тонкими струйками, то величественными, медленно опадающими столбами, рассыпаясь мелким дождем.

В воздухе висела водяная пыль, и лучи утреннего солнца, пронзая ее, рождали яркую радугу.

Это было не просто красиво — это потрясало! Вдобавок ранняя свежесть напоенного влагой воздуха — и еще не пропавший вкус поцелуя Юнъэр на губах...

— Ворота... — услышал я странно дрогнувший голос Юнъэр.

— Что — ворота? — повернулся я к ней. — Я не вижу никаких ворот... Одни фонтаны — правда, очень красивые! Нет, действительно...

— Ворота! — вскрикнула Юнъэр. — Их нет! Ворота исчезли!..

5

Ворота Семи Небес, оказывается, исчезли. Хотя не совсем. Одна стойка все же осталась. По ее размерам я сумел приблизительно представить, каковы же были исчезнувшие ворота.

Легенда явно преувеличивала насчет семи пар быков — или быки восемьсот лет тому назад были на редкость чахлые, — но ворота были-таки не маленькие. От стойки их просто-напросто оторвали — судя по скрученным и лопнувшим в нескольких местах петлям. Не знаю уж, кому это оказалось под силу. А вторую стойку вообще вывоpотили из брусчатки площади и унесли вместе с воротами.

Сомнительно, чтобы для этого сюда пригоняли семь пар быков — ночью, по спящему городу... Липнут они ко мне, все эти происшествия, что ли?!

Юнъэр чуть не плакала от обиды и негодования, и я стал ее утешать — мол, ворота не иголка, найдутся, поставят их на место, и вообще, Юн, не стоит принимать это так близко к сердцу, ну, побесились какие-то глупые шутники, так найдут их и плетей дадут, чтобы впредь неповадно было...

Я ее уже почти успокоил, когда прискакал гонец на взмыленной соловой лошадке, к которой тут же стал присматриваться мой Демон.

— О правительница Мэйланя, благородная госпожа Юнъэр, — поспешно заговорил гонец, соскакивая с лошади и припадая на одно колено, — мне велено сообщить вам, что ворота Семи Небес похищены...

— Что трудно не заметить, — холодно бросила Юнъэр. — Это все?

— Нет, не все, благородная госпожа...

— Говори! Ну!..

— Ворота найдены!

— Ну вот, я же говорил, — пожал плечами я.

— Тогда почему мне не сообщили раньше о похищении ворот? — Юнъэр старалась казаться строгой, но сейчас у нее это плохо получалось — известие, что злосчастные ворота отыскались, немедленно вернуло ей прежнее самообладание.

— Мы... мы не решались сообщить вам о пропаже ворот, пока они не будут найдены, благородная госпожа! И когда нам доложили, где они сейчас находятся...

— Ну и где же они находятся?

Гонец побледнел и почему-то замялся.

— Они... они стоят, благородная госпожа...

Он собрался и выпалил единым духом:

— Они стоят у входа на городское кладбище!

«Кто-то очень не хочет, чтобы наша свадьба состоялась, — подумал я. — Гораздо больше не хочет, чем, к примеру, я...»

И про себя усмехнулся.

Юнъэр, в свою очередь, побелела как мел.

Кажется, она тоже поняла это.

— На кладбище! — властно крикнула Юнъэр, разворачивая свою лошадь. — Немедленно!

Я не тронулся с места. Во мне проснулись сразу два чувства, заговорив о себе с не меньшей властностью, чем та, что была в голосе Юнъэр Мэйланьской.

Первым было упрямство — гибкое и неуступчивое, как клинок Единорога. Пусть гонец и кинулся сломя голову к своей соловой кобыле — я не гонец и не мальчик на побегушках, чтоб не размышляя выполнять чужие приказы.

Я — Чэн-в-Перчатке. Даже если иногда я об этом забываю.

Упрямство было весьма кстати — жаль только, что запоздало слегка... глядишь, и выпутался б из разговора о свадьбе с большим успехом.

Вторым же чувством было любопытство — из тех побуждений, что заставляют с улыбкой заглянуть в Восьмой ад Хракуташа.

— Успеется! — возразил я, поднимая Демона на дыбы и вынуждая гонца отскочить в сторону от соловой, бросив поводья. — На кладбище никогда не следует торопиться! Эй ты, кладезь хороших новостей, иди-ка сюда! Ну иди, иди, не бойся...

— Я слушаю вас, Высший Чэн! — поспешно крикнул гонец, и я спиной почувствовал удивленный взгляд Юнъэр.

Взгляд скользнул по спине и отскочил от панциря.

Во всяком случае, мне так показалось.

— Садись на лошадь, — гонец так и не осмелился приблизиться к Демону, и мне пришлось повысить голос. — И проскачи по ближайшим кварталам. Живо! Найдешь с десяток жителей — только чтоб разговорчивых и из тех, что страдают бессонницей, — и тащи их сюда! Мигом!

— Да, Высший Чэн! — просиял гонец, напрочь забывший о присутствии правительницы. — Я сейчас... я понял вас!..

И — только копыта простучали по площади Фонтанов.

Тогда я пнул Демона У пятками в бока и неторопливо объехал вокруг накренившейся стойки — единственного, что осталось от ворот Семи Небес.

— Тихо снять такие ворота невозможно, — бросил я, разглядывая покореженные петли. — И...

— Их вообще невозможно снять! — запальчиво воскликнула Юнъэр и осеклась, поняв неуместность своих слов.

— Тихо снять такие ворота невозможно, — повторил я. — Да и не пытались их снимать тихо. Вон, и по петлям чем-то тяжелым били, и мостовая разворочена... Ну ладно, площадь, фонтаны шумят, жилые дома неблизко — но грохот небось квартала на четыре разносился! Если не больше... опять же — может, кто-то видел что-нибудь, или слышал, или еще что! А кладбище подождет... кладбище нас подождет.

— Возможно, я немного ошиблась, — задумчиво произнесла Юнъэр, подъезжая ко мне.

— В чем?

— Да так... нет, я даже рада! Просто непривычно слегка...

Потом мы молчали до тех пор, пока не вернулся взмокший гонец вместе с дюжиной мэйланьцев, шумных и оживленно жестикулирующих.

Когда я научился выделять из общего гама отдельные слова и складывать их в осмысленные фразы — я узнал следующее.

Ворота Семи Небес были украдены царем всех людоедов-ракшасов и леших-якшей, кровавоглазым и двухголовым Бхимабхатой Шветой. Понадобились они этому самому Швете для его свадьбы с кабирской Матерью всех песчаных ведьм-алмасты, Шестиносой Аала-Крох, которая (то бишь свадьба) состоится на мэйланьском городском кладбище в самое ближайшее время. После свадьбы Бхимабхаты Шветы с Матерью алмасты должно, по идее, наступить светопреставление, но это еще точно неизвестно.

Зато было точно известно, что этой ночью на площади Фонтанов побывали два доверенных великана любвеобильного Шветы — поросший белой шерстью с головы до ног гигант Амбариша с пылающим мечом и его родной брат, владелец палицы Конец Мира, исполин Андхака (тоже поросший шерстью, но в отличие от Амбариши черного цвета).

Вот эти-то два очаровательных черно-белых братца и занялись воротами, время от времени прикладываясь к бочонку настойки Огненного дракона. Кстати, как шепнула мне Юнъэр, такая настойка действительно существовала — она олицетворяла мужское начало и подавалась к столу в исключительных случаях (например, свадьба в правящем доме), да и то крохотными символическими порциями.

Лишь губы омочить.

К середине рассказа — который я для себя назвал «Касыдой о похищении ворот Семи Небес» — обнаружился еще один свидетель, приведенный расторопным гонцом. Свидетелем оказался щуплый подметальщик улиц Цунь Шлеп-нога, которого этой ночью нелегкая занесла на площадь Фонтанов в самый разгар безобразия расшалившихся великанов.

Цунь Шлеп-нога не убоялся грохота палицы Конец Мира и полыхания меча Амбариши по одной причине — он был сильно пьян и искал прохладного убежища подле любимого фонтана в виде оскалившегося тигра, а шум в ушах, блеск в глазах и качающуюся землю бедняга Цунь воспринимал довольно-таки равнодушно.

В первый раз, что ли...

— Что, и великанов видел? — недоверчиво спрашивал я у

Цуня, терпящего жестокие муки утреннего похмелья. — Этих... с шерстью?!

— Видел, — упрямо мотал кудлатой головой Шлеп-нога. — С шерстью. Большущие...

— И ворота именно они ломали? — хмурился я.

— А то кто же?! — не сдавался герой Цунь. — Они, понятное дело... Амбариша да Андхака. Дубиной как дадут, мечом как полоснут, а после драконовку кружками хлещут! Аж шерсть дыбом! И мне поднесли, не погнушались...

— Что поднесли-то?

— Как что? Эту... настойку на Огненных драконах! Только я не великан, я больше одной кружки не осилил... А когда проснулся — ни великанов, ни ворот. Ни драконовки... Всю выхлестали, гады косматые, а то, что человеку с утра поправиться надо, — это им без разницы! Хорошо хоть не закусили мной, пока спал...

Юнъэр внимательно слушала, не перебивая, и, по-моему, была готова поверить во что угодно — вплоть до царя якшей и ракшасов, двухголового Бхимабхаты Шветы.

Я кинул Цуню монету и ободряюще улыбнулся Юнъэр.

— А теперь — на кладбище! — крикнул я неестественно веселым голосом.

Толпа свидетелей понимающе закивала головами.

— Кладбище — это правильно, — пряча монету за щеку, сообщил повеселевший Шлеп-нога. — Вот и Андхака мне так говорил — быть, мол, всем вам на кладбище! В самом скором времени... Рычит, подлец, хохочет, а сам дубиной по воротам, по воротам! И изо рта язык пламени локтя в полтора...

И он довольно-таки неприлично показал длину языка Андхаки.

7

Кладбище было как кладбище — если не считать того, что перед входом в него гордо стояли ворота Семи Небес.

А вокруг ворот стояла такая толпа, что казалось, будто половина Мэйланя умерла нынешней ночью от красной оспы, а оставшаяся половина явилась хоронить усопших.

Сами ворота были каким-то невообразимым образом прикурочены к прутьям ограды кладбища — в месте свеженького пролома, — а за воротами шагах в двадцати начинались чистенькие беленькие надгробия со столбиками, исписанными иероглифами; и узорчатые створки знаменитых ворот Семи Небес жалобно скрипели под порывами ветра.

— Незапертые они, — услужливо доложили нам сразу два голоса. — Добро, мол, пожаловать... засова нет, потому и не запертые. Скрипят как не знаю что...

— А засов великаны украли, — вмешался еще один знаток. — Для важного дела.

— Для какого дела? — машинально спросил я.

— Для важного, говорю! Девственность невесты проверять будут. С Матерью алмасты, Шестиносой Аала-Крох, иначе нельзя... опять же если Бхимабхата Швета ослабел, то засов для брачной ночи как нельзя лучше!..

— Медный он, засов этот, — тихо сказала мне Юнъэр. — Целый брус меди, шести шагов в длину. Его и вынимали-то из ворот раз в десять лет, по праздникам...

Я с уважением подумал о девственности Шестиносой Аала-Крох — хотя мне было совершенно непонятно, как Аала при такой непробиваемой девственности исхитрилась стать матерью, да еще Матерью всех алмасты.

Ладно, с этим пускай царь Бхимабхата разбирается, а у меня — при всем моем к нему сочувствии — и без того дел по горло.

Толпа послушно расступилась перед моим Демоном У — полезный, однако, конь оказался! — и я некоторое время разглядывал ворота Семи Небес. Мне было не до искусства кименских мастеров, хотя и впрямь узор створок был весьма красив. Я смотрел, и в голове моей отнюдь не теснились какие-то особые догадки. Просто смотрел. Сам не знаю зачем. И, судя по тому, что я видел на площади Фонтанов и здесь, без великанов дело не обошлось. Без этих... Амбариши да Андхаки. Ох, что-то и я заговорил, как Цунь Шлеп-нога!.. Амбариша, Андхака, шутники косматые, любители хлебнуть драконовки... М-да, весело, прямо скажем, дела разворачиваются!

Юнъэр, не поехавшая за мной и оставшаяся вне толпы, выслушивала доклады многочисленных чиновников в жестких четырехугольных шляпах. Нет, на чиновниках была и всякая другая одежда, но именно шляпы сразу бросались в глаза. Чиновники говорили, Юнъэр кивала, я хмурился и смотрел на ворота, Демон У переступал с ноги на ногу и замышлял какую-то пакость.

Отличное времяпрепровождение, не так ли?!.

За моей спиной раздался изумленный гул, и большая часть толпы сорвалась с места, побежав в неизвестном направлении. Я подъехал к Юнъэр и чиновникам, где и узнал, что найден засов.

Только за ним надо отправляться к городским винным погребам.

Вот мы и отправились — по пути размышляя о таинственной связи городских винных погребов с девственностью Матери алмасты, Шестиносой Аала-Крох.

Размышления ни к чему не привели — разве что к погребам, двери которых были наглухо заколочены. Медным засовом от ворот Семи Небес. Он держался на огромных крюках, явно вбитых в нее этой ночью белым Амбаришей, который после заложил

дверь засовом и загнал верхние концы крюков в ту же многострадальную стену.

Поскольку засов был существенно длиннее двери погребов и даже длиннее расстояния между вбитыми крюками — примерно локтя на полтора-два с каждой стороны, — то концы его были круто загнуты вниз и внутрь, образуя чуть ли не кольца вокруг крюков. Видимо, брат Андхака тоже времени даром не терял.

Юнъэр отдала необходимые распоряжения, к погребам были немедленно доставлены местные молотобойцы с переносными горнами и прочими инструментами — и дело пошло.

Впрочем, пошло оно туго. Лишь через час дверь сумели открыть, а выпрямление засова и приведение его в первоначальный вид должно было отнять гораздо больше времени.

...Когда мы спустились в подвалы, то сопровождавший нас Главный смотритель из семьи потомственных смотрителей винных погребов чуть не потерял сознание, и мне пришлось приводить его в чувство.

Я бы и не заметил, что из некоторых бочек пробки были вынуты, а затем вставлены на место, но Главный смотритель просто не мог пропустить такого вопиющего безобразия. Более того, над бочками с нарушенной невинностью прямо на белой известке стен были сделаны надписи.

Писали факелом — вернее, копотью от него.

Вот я и читал мнения великанов о мэйланьских и привозных винах, заодно выслушивая краткие реплики-причитания смотрителя о содержимом бочек.

«Дрянь!» (белое сухое, сафед-кухская лоза, год я не запомнил), «Дрянь!» (красное сухое, лоза Аш-Шиннар, местное), «Дрянь из дряней!» (полусухой фаррский мускатель). «О-о-о!» (тахирский розовый мускат, мой любимый, вдобавок девятнадцать лет выдержки), «Дрянь, но ничего!» (десертный красный узбон, пять лет назад доставлен из Дурбана), «Это только под человечину!» (мэйланьское крепкое с добавлениями настоев трав и кореньев)...

И так далее в том же духе.

Мнения великанов о винах и настойках разнообразием не отличались, хотя мысленно я почти одобрил их вкус — имея в виду вкус к выпивке, а не вкус к погромам. Тут мы зашли в маленькую комнату, где было ужасно холодно, и там Главный смотритель все-таки упал в обморок.

Пока его отпаивали и хлопали по щекам прибежавшие на крик Юнъэр помощники, я сообразил, что надписи копотью на стенах сделаны по-кабирски. Собственно, многие в Мэйлане прекрасно говорили на кабирском диалекте, а также на дубанском, хакасском и некоторых других языках; мэйланьское же иероглифическое письмо изучал каждый желающий назвать себя образованным человеком — а таких находилось немало, — и

трудно было найти в эмирате человека, не сумевшего бы договориться с заезжим купцом.

Я знал и кабирский, и мэйланьский с детства; точно так же знал их Кос, чьи отец и дед были дворецкими в нашем доме. А от Чин я узнал наречия Малого Хакаса, считавшиеся непревзойденными по части ругательств... ах, Чин, Чин...

Отчего бы и великанам Амбарише и Андхаке не сделать приятное кабирянке Аала-Крох и не воспользоваться ее родным языком?!

Мои размышления прервал вой очнувшегося смотрителя. Из воя явствовало, что воющему опостылела жизнь, что по приходе домой он непременно зарежется, повесится или утопится — и все потому, что наиценнейший бочоночек с настойкой Огненного дракона, сохранявшийся в целости исключительно для свадьбы Юнъэр Мэйланьской и Высшего Чэна Анкора (вот мерзавец, и этот туда же!) похищен и скорее всего уничтожен.

— Выпит он, твой бочоночек, — злорадно сказал я смотрителю. — Вылакали его великаны! У них мужское начало длиннее вашего засова, до Семи Небес торчит, — вот и прихлопнули они им твоего Огненного дракона! Вместе с Цунем Шлеп-ногой.

Через секунду я пожалел о сказанном, потому что смотритель сдавленно хрюкнул, упал и больше не поднимался.

8

Домой я вернулся уже около полудня. Есть мне отчего-то не хотелось, поэтому мы с Косом ограничились фруктами, запивая их легким вином, — и я стал рассказывать.

Разумеется, не только ан-Танье, но и всем нашим Блистающим.

Рассказ, вопреки ожиданиям, сильно затянулся, поскольку для Блистающих все время приходилось разъяснять, кто такие якши, ракшасы, великаны и алмасты, а потом тут же убеждать, что всех их на самом деле не бывает. В результате я окончательно запутал и сбил с толку Сая и Заррахида; Единорог всячески веселился, а Обломок выдавал со стены: «Ну вот, значит, эти самые великаны, которых на самом деле нету, ворота тем не менее унесли и огненную настойку выпили, которой теперь тоже на самом деле нету... Интересное дело получается! Куда ни глянь — ничего нету!..»

Настроение Коса странным образом колебалось от очень веселого к очень мрачному и обратно, так что к концу рассказа я и сам был не рад, что решил обнародовать всю эту историю. А с другой стороны — что мне оставалось делать? Умолчать? Скроешь от них что-нибудь, как же...

— Так якшасы и ракши, — осведомился наконец Заррахид, — они все-таки есть или их нет?

— Якши и ракшасы, — поправил его Сай.

— Нет их! — отрезал Я-Единорог.

— И ворот нет, — уточнил Дзюттэ. — И нас нет. Якши унесли.

— Это не якши, — дотошность Сая не имела границ. — Это великаны, Амбариша и Андхака.

Так. Кажется, пошли на второй круг.

— Если эти ракшасы-великаны хотят расстроить свадьбу, — сказал молчавший до сих пор Кос, — то они воротами не ограничатся. Непременно жди новых бед...

— Утешил, — мотнул головой я. — Спасибо.

— А потому, — продолжил ан-Танья, — после обеда я сам схожу в город. Погляжу, что там творится. Нет, обеда ждать не буду — прямо сейчас и пойду. Может, разузнаю что-нибудь...

Кос встал и пошел к двери.

— Что за напасти, — проворчал он, выходя из комнаты. — Шулма, Тусклые, асассины-батиниты, ракшасы, великаны... и все на мою голову!

«Как же, на твою...» — подумал Я-Единорог.

9

Возвратился Кос ближе к ужину, около шестой дневной стражи, — я еще увидел из окна, как он огибает пруд, ведя за руку какого-то согбенного старца. Судя по всему — слепого.

С дутаром под мышкой. Или не дутаром. Короче, странное что-то... не разбираюсь я в мэйланьских музыкальных инструментах.

Однако ко мне ан-Танья вошел один.

— Я привел сказителя, — прямо с порога начал он.

— Видел. И где же он?

— Ест. Я велел сперва накормить его — а ты тем временем пошли гонца к благородной госпоже Юнъэр Мэйланьской (можно просто Юнъэр или даже Юн, — подумал я). Ей тоже будет небезынтересно послушать этот... как же он сказал?.. джир. Джир о хитрозлобном якше Чэне Анкоре и его невесте!

Я прикусил язык.

Ага, значит, повеселимся...

Кос уже протягивал мне калам, чернильницу и бумагу. Я быстро написал витиевато-вежливое, но вместе с тем весьма настойчивое приглашение, запечатал его поданной Косом большой фамильной печатью Анкоров Вэйских — совершенно непонятно, где ан-Танья ее раздобыл! — и Кос вручил послание гонцу, который уже ждал за дверью.

Гонец умчался, а я подумал, что если Юнъэр откликнется на мой призыв — а она почти наверняка откликнется, — то не пройдет и часа, как она будет здесь.

Вполне достаточное время, чтобы сказитель наелся до отвала.

И впрямь, спустя час без малого мне доложили о прибытии

правительницы. Я встретил ее как подобает, со всеми многочисленными церемониями — и провел в парадный зал, соответствующим образом убранный вездесущим Косом.

Два высоких кресла с бархатными подлокотниками — для нас с Юнъэр, перед ними — небольшой столик с фруктами и сладостями, по углам зала курятся благовония, а посередине разложен двойной коврик для сказителя.

И ничего лишнего. Молодец Кос!

Мы с Юнъэр чинно пересекли зал и уселись в приготовленные для нас кресла.

— Только не будем называть друг друга по именам, — шепнул я Юнъэр (Кос шепнул мне то же самое минутой раньше). — Сказитель слеп, и до поры до времени ему не надо знать, перед кем он поет. Хорошо?

Юнъэр с удивлением посмотрела на меня, но перечить не стала и согласно кивнула, колыхнув пышным узлом прически.

— Введите сказителя! — приказал я.

Двое слуг, почтительно поддерживая седобородого старца, ввели его в зал и усадили на коврик перед нами. Сказитель поерзал, усаживаясь, привычно скрестил ноги и взял то, что я решил называть дутаром.

— Тебе сказали, о чем петь? — спросил я.

— Да, о благородный господин!

— Тогда пой!

И я махнул рукой слугам. Те тихо вышли, закрыв за собой дверь. Кос вышел вместе с ними, хотя вполне мог бы остаться.

Что ж это за джир такой, что его даже Кос два раза подряд слышать не может?

— Джир о хитрозлобном якше Чэне Анкоре, о его черных деяниях и беззаконных тайнах, а также о бедах, обрушившихся на Кабир и Мэйлань из-за коварства подлого якши, да проклянет его Творец! — возвестил сказитель неожиданно высоким голосом.

Юнъэр вздрогнула, и я поспешил взять ее руку в свою...

10

ДЖИР О ХИТРОЗЛОБНОМ ЯКШЕ ЧЭНЕ АНКОРЕ

Я спою вам джир о Чэне,
Чэне из Анкоров Вэйских, —
Джир о том, как был убит он
Во младенчестве беспечном
Злобным Бхимабхатой Шветой,
Повелителем всех якшей,
Страшным ракшасов царем.

(...Я поздравил сам себя с безвременной кончиной и приготовился слушать дальше...)

Рос спокойно Чэн в Кабире,
Млеко матери вкушая,
Радуя родных и близких
Кротким нравом и весельем,
Но ждала беда лихая
В самом сердце эмирата
Отпрыска Анкоров Вэйских,
Ах, ждала беда-кручина,
Своего она дождалась
И вошла к Анкорам в дом.
У пруда игрался мальчик,
Веселился Чэн-младенец,
И не ведал он о смерти,
Уготованной ему.
Бхимабхата Швета-ракшас,
Двухголовый, красноглазый,
Нравом дикий, острозубый,
Медношеий, крепкорукий,
Тяжкоплечий, страшный в гневе,
Утопил его в пруду.
А потом на место Чэна,
Убиенного безвинно,
Царь проклятых людоедов
Сына своего подсунул,
Кровное дитя подкинул —
Принца-якшу Асмохату,
Дав ему обличье Чэна,
Чтоб он людям нес беду.

(...Сказитель перевел дух — и я тоже. Да, теперь я понимал ушедшего Коса...)

Бхимабхата Швета-ракшас —
Меч вручил он Асмохате,
Что огнем в ночи пылает,
Что насквозь сердца пронзает
Всем, кто демона узнал.
Рос, однако, принц-подкидыш,
Притворяясь человеком, —
Лишь ночами над Кабиром
В облике летучей мыши
Тенью черною летал.
Годы шли, сменяя годы,
Рос и силы набирался
Злобный якша Асмохата,
Чэном звавшийся Анкором
Меж доверчивых людей,
Но нуждался демон в крови.
В крови, что дарует силу,
Что скрепляет чародейство,
Будто тайная печать.

Стал ходить он на охоту,
Прячась под ночным покровом,
Но не ланей быстроногих,
Не оленей и не туров —
Он хватал детишек малых,
Мирно спавших в колыбелях,
И из горла кровь сосал.

(...Ишь ты! Вот негодяй... мирно спавших в колыбелях... просто плакать хочется!..)

Но однажды дикий якша
Не успел следы упрятать
Трапезы своей кровавой —
И его за преступленьем
Сам отец-Анкор застал.
Янг Анкор за меч схватился,
Но не смог ударить сына,
Одержимого безумьем, —
Он не знал, что это якша
И что Чэн дежит в пруду.
Засмеялся Асмохата,
Вынул свой клинок волшебный,
Что огнем в ночи пылает, —
И пронзил Анкору сердце
И его напился крови,
Силы черной набираясь
И взывая к Бхимабхате,
Прославляя злую нечисть,
Отвергая путь Творца.
И возрадовались якши,
Ведьмы, ракшасы и дэвы,
Ибо время подходило,
Время ужаса и смерти,
Что навеки воцарится
На пылающей земле.

(...Юнъэр как-то подозрительно покосилась на меня — и я отвел глаза, пытаясь сохранить на лице выражение невинной заинтересованности джиром.)

И отправился к Мэйланю
Хитрозлобный Асмохата,
То летел он над пустыней,
То в тени деревьев крался,
То обличья принимал он
Разных гадов и зверей.
До Мэйланя он домчался,
Во дворец вошел незримо
И возлег с Юнъэр на ложе,

Усыпив жену чужую,
И, сорвав с нее одежды,
Сделал то, за чем явился.

(...Я почувствовал, что краснею...)

В срок положенный родился
У Юнъэр малыш-наследник,
И ее великим мужем,
Праведным Ю Шикуанем,
Был объявлен общий праздник —
И пришел в тот день провидец
И великий чародей.
Поглядел он на младенца
И сказал Ю Шикуаню:
«То не твой ребенок плачет
На руках жены твоей!»
Вопросил его правитель:
«Кто сей подлый осквернитель,
Что навлек на нас позор?!»
И ответил мудрый старец:
«Это — отпрыск Бхимабхаты
По прозванью Чэн Анкор».
В гневе выбежал правитель
Из дверей опочивальни
И седлать коня велел.
Вот помчался он к Кабиру,
Меч сжимая Цзюваньдао,
Ветром мести он летел.
Но подстроили лавину
Злые ракшасы предгорий,
И в ущелье под Хартугой
Дело подлое свершилось —
Не доехал до Кабира
Гордый мститель на коне.
Погребла его лавина,
И смеялись воры-якши,
Хохотали дэвы в злобе,
И скорбели всюду люди,
И в пустой опочивальне
Горько плакала Юнъэр.
В это время Асмохата
Разгулялся не на шутку,
Убивал со смехом громким
Он людей мечом волшебным,
Что огнем в ночи пылает...

(...Этот постоянно пылающий в ночи меч начал меня всерьез раздражать. Что же касается остального... очень, очень поучительная история!..)

...Кровь из жертвы выпивал он,
И на улицах Кабира
Находили мертвецов.
Уж кабирскому эмиру,
Многославному Дауду
Из семьи Абу-Салимов,
Слал угрозы и проклятья
Хитрозлобный Асмохата —
И искать управу стали
На исчадье темной силы.
Долго мудрецы гадали,
Долго мудрецы искали —
И нашли в конце концов!
На турнире храбрый воин,
Чье хранится в тайне имя,
Отрубил злодею руку,
Что сжимала страшный меч.

(...«Что огнем в ночи пылает», — чуть не добавил я.)

И возрадовались люди,
Но воскликнул злобный якша:
«Рано радуетесь, люди, —
Новую, стальную руку
Для потомка Бхимабхаты
Завтра выкует кузнец!»
Как сказал он — так и сделал:
К кузнецу пошел назавтра,
Золотом того осыпал —
Сделал руку из железа
Асмохате тот кузнец.
И покрыл всего железом
От подошв и до макушки —
Засмеялся Асмохата,
Ибо стал неуязвим.
Люди прятались от страха,
Хоронились за ограды,
Только их не тронул якша —
Ведь коварный Асмохата
Дело подлое задумал.
Вновь отправился в Мэйлань он,
Чтоб сыграть в Мэйлане свадьбу
Со вдовой Ю Шикуаня
Ясноглазою Юнъэр.
В это время Бхимабхата,
Ракшас Бхимабхата Швета,
Двухголовый повелитель
Якшей, ракшасов и дэвов, —
Сам задумал он жениться,
Ибо жен всех предыдущих
Он успел свести в могилу.

(«...Видимо, этот Швета решил начать исповедовать Хайракамскую ересь, — ядовито подумал я. — Что ж это он — после целого гарема взять всего одну Аала-Крох?! Головы две, а жена одна, пусть даже и Шестиносая... Ослабел повелитель, ослабел! Аж засов понадобился...»)

Предложил он узы брака
Матери пещерных дэвов,
Алмасты и горных духов,
Диких гулей-трупоедов,
Шестиносой Аала-Крох.
Свадьбу царь задумал справить
В ночь на кладбище Мэйланя
Меж надгробий и могил —
Чтоб потом отсюда с сыном
Страшный Бхимабхата Швета
Эмиратом править мог.
Двухголовый повелитель
Почесал свои затылки,
Грозно крикнул парой глоток —
Вызвал братьев-великанов
Амбаришу да Андхаку,
Чтобы те ему достали
Ворота Семи Небес.

(«...Ворута», — машинально поправила Юнъэр. Сказитель сделал вид, что не расслышал, и продолжил джир...)

Ночью демоны явились —
И великие ворота
Были вырваны из петель,
И на кладбище мэйланьском,
Проломив легко ограду,
Два могучих великана
Их оставили стоять.
И теперь грядут две свадьбы —
Асмохаты, злого якши,
Что живет в обличье Чэна
Из семьи Анкоров Вэйских,
Свадьбы якши-кровососа
Со вдовой Юнъэр Мэйланьской, —
И убийцы Бхимабхаты,
Что в людей вселяет ужас,
На не менее ужасной
Шестиносой Аала-Крох.
Если свадьбы состоятся —
То погаснет в полдень солнце,
Смерть войдет в дома людские,
Мрак войдет в людские души...

9 – 7682

— Вот такой веселый джир! — уже не сдерживаясь, закончил я.

Побледневшая Юнъэр испуганно смотрела на меня. Похоже, на какое-то мгновение ей действительно показалось, что я не Чэн Анкор, а якша-кровосос Асмохата в чужом обличье. Правда, надо отдать ей должное — всего на мгновение. Потом она протянула руку к столику, плавным движением взяла кубок с вином, отпила глоток, другой — и щеки ее слегка порозовели.

Вот так-то лучше...

— Скажи-ка мне, почтенный, где же ты услышал такой замечательный джир? — как ни в чем не бывало спросил я у застывшего на ковре сказителя.

— Этот замечательный джир я сложил сам! — гордо ответил старец, глядя мимо меня незрячими глазами. — А историю подмены в семействе Анкоров Вэйских — правда, вкратце — мне поведал сегодня на рассвете один добрый человек. Он даже дал мне десять золотых динаров — полновесных кабирских динаров! — чтобы я сложил этот джир и спел его на базарной площади не позже полудня. Что я и сделал, и даже значительно раньше полудня, научив этому джиру Сяо-чангира, его братьев У и Аня, а также двоих певцов с площади Фонтанов, — и с каждого я брал по четыре связки монет...

— Ясно, — подумал я, хлопая в ладоши. — Если по четыре связки монет, да за каждую строчку... Курган из монет сложить можно.

Дверь открылась, и вошел Кос с двумя слугами.

— Вознаградите этого человека за его труды, — приказал я, хотя мне очень хотелось вознаградить старого дурака палками. — И отведите туда, куда он попросит.

Кос и слуги молча поклонились, помогли старцу встать и увели его прочь.

— Что ты думаешь обо всем этом, Чэн? — спросила Юнъэр, с тревогой заглядывая мне в глаза, словно боясь обнаружить там кровавые отсветы моей демонической сущности.

— Что скажу? Скажу, что кому-то очень не нравится свадьба Юнъэр Мэйланьской и Чэна Анкора Вэйского! И потом...

В дверь постучали.

— Да! — раздраженно крикнул я.

В дверь, непрерывно кланяясь, протиснулся гонец с гербом Мэйланя на дорожном чекмене.

— Сообщение для правительницы Юнъэр... — начал было он.

— Читай, — сразу перешла к делу Юнъэр.

— Осмелюсь доложить, что из храма Семизвездной Луны пропала книга Рода, куда вписывались все сведения о рождени-

ях, смертях и браках правителей Мэйланя и их кровных родичей на протяжении вот уже...

— Понятно, — перебил его я. — Похоже, что наш двухголовый Швета решил официально зарегистрировать свой брак с Матерью алмасты, Шестиносой Аала-Крох! Ты не находишь, госпожа Юнъэр?

И Юнъэр улыбнулась. Улыбка вышла растерянная, но все же это была улыбка. Кажется, Юн уже начала понемногу привыкать к выходкам расшалившихся ракшасов...

...Разумеется, вскоре я взгромоздился на Демона У и проводил Юнъэр до дворца (почетная стража тащилась позади, на почтительном расстоянии — то ли не хотели мешать разговору, то ли тоже слышали джир и опасались за свои жизни).

У дворца мы попрощались, я выяснил, что Юнъэр, как ни странно, почти совсем успокоилась, и через минуту я уже ехал обратно в довольно-таки сносном расположении духа.

А за три квартала до моей усадьбы из переулка вышли двое и преградили мне дорогу.

Уже темнело, но даже в полной темноте, даже будучи слепым, как наш расторопный сказитель, я узнал бы первого — крепко сбитого мужчину, на плече которого лежал большой, слабо изогнутый меч, не так много времени назад отрубивший мне руку.

Но-дачи, питомец Шулмы. И Асахиро Ли, принятый в племя.

Да, Асахиро Ли. Так звали этого человека — я помню, он еще представился мне перед турнирной Беседой...

Врал? Нет? Какая разница?!.

Второй была женщина с кривой саблей на боку. Если верить Саю, саблю звали Кунда Вонг. Как звали женщину — это меня не интересовало.

— Здравствуй, — просто сказал Асахиро Ли.

Со мной не было Единорога, так что я не слышал, что сказал Но-дачи.

— Здравствуй, — кивнул я. — Хоть я и не желаю тебе здравствовать.

— Убей его, Асахиро, — сказала женщина. — Чего ты ждешь?

— Это Фариза, — сообщил мне Асахиро. — Я слышал, Чэн Анкор, что ты искал меня.

— Ты не мог этого слышать, — ответил я. — Я ни с кем не делился этим. Но я действительно искал тебя.

— Хорошо. Ты меня нашел. Езжай вперед, а мы пойдем следом.

Демон с ржанием обогнул две чуть посторонившиеся фигуры, и я поехал дальше, не оборачиваясь. «Сбегут», — мелькнуло в голове. И сразу же: «Нет, не сбегут. Иначе зачем они вообще здесь?»

Да, они шли за мной.

Я часто представлял себе, какой будет моя встреча с человеком, отрубившим мне руку.

Встреча оказалась вот такой.

Простой и скучной.

И все же — встретились.

ГЛАВА 18

1

— Наверное, я должен тебя убить, — сказал Я-Единорог. — Нет, не так: я обязательно должен тебя убить. Да. Так правильно.

— Убей меня, — ответил Но-дачи, большой меч.

— Убей меня, — ответил Асахиро Ли, Придаток Но-дачи, человек с мертвыми глазами.

— Убей, но выслушай, — добавили они оба.

...Комната была тесной для нас. Я, Единорог и Дзюттэ по одну сторону стола, Асахиро Ли и Но-дачи — по другую.

За спиной Асахиро стояла смуглая Фариза, и я чувствовал на себе ее взгляд — взгляд самки барса, у которой пытаются отнять не добычу, но детенышей.

Правая рука Фаризы (тонкое, но сильное запястье, цепкие пальцы... хорошая рука!) лежала на витой рукояти сабли с крестовиной, украшенной по краям кольцами. Саблю звали Кунда Вонг, и она была безумной. Она любила Но-дачи, а он только что сказал: «Убей меня». Она любила Но-дачи, а Фариза любила Асахиро, и это было видно всем, кроме самих Асахиро и Но.

Мертвыми глазами не увидеть любви.

В трех шагах — нет, теперь уже почти в шаге от них — стоял бесстрастный Кос. На его поясе недвижимо замер эсток Заррахид — и немногие знали истинную цену неподвижности Заррахида. Статуя Кос — Заррахид была высечена из самого дорогого мрамора, какой только встречается на этом свете, и левая рука Коса покоилась за отворотом блузы.

Там, скрытый до поры от посторонних глаз, спрятался Сай.

Могу представить, о чем думал Сай Второй в этот миг.

Могу — но не хочу.

Комната была тесной для нас.

Мир был тесным.

— Убей, но выслушай, — повторил Асахиро Ли, Придаток Блистающего Но-дачи.

— Убей, но выслушай, — повторил двуручный Но-дачи, меч человека Асахиро Ли.

— Убью, — согласился Я-Единорог. — А слушать не буду. Не хочу я тебя слушать.

И тут Фариза и Кунда Вонг не выдержали.

Пружина, скрытая в неистовой Фаризе, сорвалась, не вынеся напряжения, и кривой клинок Кунды наискось метнулся над столом, прорываясь к моему горлу. Дзю кинулся наперерез, с нечленораздельным лязгом перехватил вскрикнувшую саблю, намертво припечатав ее к столу — а хватка у Дзю была еще та, — и обнаженный Единорог уже упирался острием в нежную кожу под подбородком Фаризы.

Я чувствовал, как пульсирует тоненькая жилка на шее молодой женщины. Одно неосторожное движение...

— Еще раз вмешаешься в разговор без спроса — умрешь, — ледяным голосом заявил Обломок, не выпуская трепещущей Куиды. — Поняла?

— Еще раз вмешаешься в разговор без спроса — умрешь, — сообщил я пепельно-серой Фаризе, пытаясь точно повторить интонации Дзю. — Поняла?

— Она поняла, — вместо Фаризы и Кунды ответили Но-дачи и Асахиро Ли. — Она все поняла.

Дзю и Единорог снова легли на стол — Обломок нехотя выпустил слабо звенящую Кунду Вонг, — а поверх Блистающих лежали мои руки в чешуйчатых латных перчатках.

Только левую перчатку можно было снять.

И в мертвых глазах Асахиро мелькнуло что-то живое, когда он посмотрел на мои руки.

Мелькнуло и погасло.

Кос стоял почти вплотную к Асахиро Ли. Рука Коса по-прежнему оставалась за пазухой — и на груди ан-Таньи из-под блузы еле заметно выпирало острие Сая Второго. Этот бугорок был совсем рядом с затылком Асахиро, словно нарыв, готовый прорваться смертью.

«Интересно, смог бы он?» — подумал Единорог, имея в виду Сая.

«Интересно, смог бы он?» — подумал я, имея в виду ан-Танью.

Кос спокойно поглядел на нас и скривил свои тонкие губы в подобии улыбки.

Асахиро должен был спиной почувствовать эту улыбку.

— Хороший у меня человек Кос ан-Танья, — сообщил в пространство Заррахид, так и не покинувший ножен. — Хороший... у нас человек.

Блуза на груди Коса шевельнулась, и я понял, о ком говорил эсток, говоря «у нас».

Фариза отошла на прежнее место, не попадая саблей в ножны. Обеих била мелкая дрожь. И я ничем не мог им помочь.

Не собирался я им ничем помогать.

Мы шли по Пути Меча.

— Я убью тебя, — еще раз сказал я, и Фариза тихонько заскулила. — Сегодня. Сейчас. Сию минуту. Я убивал тебя все это

время, с того самого момента, когда ты, Асахиро, человек, — когда ты, извинившись, отрубил мне руку...

— ...когда ты, Но-дачи, Блистающий, — когда ты, извинившись, отрубил руку, державшую меня, — эхом прозвенел Единорог.

Остальные молчали.

— Я убивал тебя, в отчаянии поднося к своему горлу нож-кусунгобу; я убивал тебя, стоя у наковальни в кузнице Коблана, ненавидя мертвый металл на своем обрубке, сжимая стальные пальцы на рукояти меча, совершая невозможное, — все это время я непрерывно убивал тебя...

— Я убивал тебя, — отозвался Единорог.

— ...мечась между мудрым Муниром и гордым Масудом, вкусив крови зверя, пережив смерть Друдла, отправив твоих кабирских убийц к Тому, кто ждет их в раю, если Он их там действительно ждет, — все это время я непрерывно, в душе и в помыслах своих убивал тебя и только тебя.

При последних словах Асахиро Ли и Но-дачи вздрогнули.

Я-Единорог ждал.

Нет.

Они не сказали ничего.

И косого взгляда Асахиро в сторону Фаризы было достаточно, чтобы сабля и женщина остались на месте.

— Я убивал тебя, но ты не умирал. Ты оставался где-то глубоко внутри меня, и если сейчас я на самом деле убью тебя, то ты останешься во мне навсегда. Я никогда не смогу избавиться от призрака. И все-таки ты умрешь, Блистающий Но-дачи и человек Асахиро Ли. Сегодня. Сейчас. Сию минуту.

Дзю рванулся вперед и с силой ударил в клинок Но-дачи. Раздался долгий и чистый звон. В то же мгновение Единорог почти нежно погладил Асахиро Ли по щеке. Лезвием. Капля крови, набухая, сорвалась вниз и упала на большой меч, лежавший поперек стола.

И растеклась.

— Ты умер, — сказал Я-Единорог. — Отныне ты умер, Блистающий Но-дачи и человек Асахиро Ли. Призрак, мучивший меня все это время, мертв. Я свободен и говорю тебе, мертвому, — спасибо за то, что я стал тем, кем стал. Раньше ты принимал решения за других: сегодня я принял решение за тебя. Ты умер. Ты родился заново. Мы обязаны друг другу жизнью — не той, что была, но той, что начинается отныне. Так что мы квиты. Я приветствую тебя.

— Я приветствую тебя, — следом за Мной-Единорогом повторил Обломок. — Смотри, младенец, чтобы мне не пришлось раскаяться в этом. Потому что мои шутки не всегда бывают смешными.

— Я приветствую тебя, — одновременно заговорили Заррахид и Кос. — Имей ты хорошего дворецкого — не гулять тебе тогда по ту сторону Кулхана. Ладно, будем считать, что тебе про-

сто не повезло в прошлой жизни... надеюсь, в новой повезет больше.

И тут случилось непредвиденное.

— Привет, Но! — радостно завопил Сай Второй, вылетая у Коса из-за пазухи и вонзаясь в столешницу рядом с Но-дачи и Асахиро Ли. — Привет, Кунда! Чтоб вы все сломались — до чего же я рад вас видеть!.. А мы тут вас ищем, ищем...

Асахиро рывком поднял голову и посмотрел на меня.

Глаза его неестественно блестели.

Живые глаза.

Точно так же блестел клинок Но-дачи.

Живой клинок.

— Лучше б ты убил меня, — тихо сказали человек Асахиро Ли и Блистающий Но-дачи.

— Обойдешься, — ответил Я-Единорог.

— Правильно, — согласился Обломок. — Я им такую новую жизнь устрою...

2

...А потом мы долго говорили — часа два или больше, перебивая друг друга, веря и не веря, споря, соглашаясь, хмурясь и смеясь; мы говорили о Кабире и Шулме, о Мунире и Масуде, о жизни и смерти... о Коблане, Друдле, Чин, эмире Дауде, Детском Учителе, Шешезе, Гвениле, Волчьей Метле, о старом Фархаде, о руке аль-Мутанабби, о людях и Блистающих, о возможном и невозможном, о записках Фаня Анкор-Куна, о старейшинах Совета Высших и Тусклых- батинитах; о Джамухе Восьмируком и Тусклом Чинкуэде...

— Больше никто не вернулся, — взахлеб рассказывал Асахиро, и ему вторил Но-дачи, — никто из наших... только мы да Фариза с Кундой. Ну, Кургай с Шото и Тощий Ар-Фасин с двумя Саями — эти в Кабире погибли, а остальные где? Где они?! Ну хоть кто-нибудь!..

— Там же, где и еретики-батиниты Хаффы, Кабира, Дурбана и Кимены, — перебивали их Кос и эсток. — Дескать, мир не переделаешь, даже под угрозой конца света; а мы тоже люди. Или: мы тоже Блистающие. Лучше и не скажешь. Решили небось — поживем как следует, а придет Шулма, так умрем как следует...

— Зря, все зря, — сокрушался Асахиро.

— Ну почему же! — возмущался я. — И ничего не зря... хотя, конечно...

Все те же три любопытных звезды мерцали за окном, дело близилось к полуночи — на улицах простучали колотушки третьей стражи, значит, полночь наступит через два часа, — и у меня

уже заболел язык, а у Единорога — клинок, когда Фариза и Кунда вспомнили о главном.

Точнее, о том, что еще недавно было главным для них.

О том, что заставило их преградить нам дорогу.

Сегодня днем около базара мальчишка-посыльный передал Фаризе записку.

«Пора платить, — значилось там. — Этой ночью в четвертую стражу у заброшенного водоема в квартале Цин-эрль, в восточной части города. Если, конечно, ты не боишься. Эмрах ит-Башшар из Харзы».

Когда Фариза прочитала записку и огляделась по сторонам — у дальней коновязи она увидела Эмраха, которого не помнила в лицо, вернее, помнила, но смутно.

Зато сабля Кунда Вонг отлично помнила Пояса Пустыни, Маскина Седьмого (ныне Тринадцатого), чьего прошлого Придатка она зарубила нынешним летом в Харзе, а Пояс Пустыни блестел в руке ит-Башшара отнюдь не двусмысленно.

Эмрах и Маскин насмешливо отсалютовали Фаризе и Кунде и исчезли за коновязью.

Догнать их не удалось.

Да и к чему их догонять? У заброшенного водоема, в квартале Цин-эрль и так далее...

Я еще раз повторил историю о Тусклых, жертвоприношении Прошлым богам и клятвопреступлении старейшин.

Вкратце.

— Плевать, — отрезала Фариза. — Одного ублюдка убила и второго убью. Батиниты, Тусклые... дерьмо.

Как я уже понял, Фариза вообще не отличалась изяществом обхождения. Думаю, что шулмусы с радостью принимали ее в племя. Эмрах поступил умно, написав: «Если, конечно, ты не боишься». После этих слов Фариза не то что пришла бы — приползла бы к водоему и зубами загрызла бы мстителя.

Сабля Кунда Вонг — в ответ на предложение Но-дачи попросту не ходить никуда — только насмешливо присвистнула, едва не задев ухо отпрянувшего ан-Таньи. А если пойдут они — пойдет и Асахиро. Естественно, вместе с Но. Вот почему они сперва явились ко мне — если настала пора платить по счетам, то они хотели расплатиться сразу по всем. «Убей, но выслушай!» Да, они готовы были платить...

Платить той монетой, которую разменяли в Шулме.

— Ох, Шулма-то рада будет, — проворчал Обломок. — Пока она еще до нас доберется — а мы тут уже сами друг друга перерезали да переломали...

— Собираемся, — коротко приказал я. — К полуночи мы должны быть у водоема. Все.

— Зачем все? — недоуменно спросили Асахиро и Но-дачи. —

Вас туда не звали! Зачем судьбу лишний раз вдоль лезвия щекотать?!

— Затем. С будущими союзниками знакомиться будем. Заодно и извинимся за чужой грех вековой давности.

— Я лично извиняться не собираюсь, — вмешалась Кунда, на всякий случай косясь на Дзюттэ. — Я собираюсь драться. Меня драться звали. Ясно?

— Ясно, ясно, — оборвал ее Обломок. — А мы уж было решили, что тебя на праздничную заточку пригласили! Где ж тебя ковали, такую полоумную?!

— Молчи, Кунда, — испуганно влез Сай. — Не то он и тебя воспитывать станет...

Асахиро Ли встал из-за стола и подошел ко мне.

— Что ты задумал, Чэн? — вполголоса спросил он.

— В Шулму он идти задумал, — вместо меня ответил Кос. — А то как же: вы там были, Джамуха был, а он — нет! Чего тут непонятного?! Я его с самого детства помню — никогда ждать не любил, хоть ребенком, хоть сейчас. Не любил и не умел. Да, вовремя я уволился...

— Хороший у нас человек Кос ан-Танья, — улыбнулся Я-Единорог. — Да, Заррахид?

— Да, — очень серьезно ответил эсток.

3

Пока мы добирались до назначенного места встречи — пешком, как советовал Фань Анкор-Кун в своих записях, и покинутый Демон У шумно тосковал в конюшне, — у меня в голове бродили разные мысли, иногда забираясь в такие закоулки сознания, куда я и сам-то опасался заглядывать. Или даже не знал об их существовании.

Возьмем, к примеру, рассказ Матушки Ци об Этике Оружия — верней, об эпохе ее зарождения, — в результате чего поединки превратились в Беседы и стали бескровными. Ведь как раз тогда мы, люди, решили, что оружие — не просто вещь, но вещь-драгоценность, вещь-символ и даже вещь-святыня. То есть как бы уже и не совсем вещь. Уничтожать такую — сперва глупость, затем — грех и наконец — святотатство. Я и помыслить-то не мог, что из-за какой-то неловкой оплошности (хоть своей, хоть со-Беседника) способен сломать Единорога. Вот и сейчас — как подумаю, так просто в пот бросает!

Опять же, одних названий оружия — если даже не считать собственных имен — великое множество. Такого разнообразия нет среди никаких других... вещей. Оружейники до сих пор спорят: Малый Крис или та же Чинкуэда — это короткий меч или все-таки кинжал? Большой Да — это еще меч или уже алебарда?!

И впрямь впору говорить о новой расе...

И все-таки — с какого момента Беседа превращается в поединок и наоборот? Где зародыш насильственной смерти?! Можно убить, ненавидя, — но разве в Шулме ненавидели рабов, сходясь с ними лицом к лицу во время тоя?

Зачем шулмусы выпускали в круг чужаков?!

Они хотели доказать. Доказать не-шулмусам, не таким, как они, — и поэтому доказать самим себе, — свое превосходство. Это было для шулмусов жизненно необходимо — доказывать. Успешный набег — доказательство военного умения, более тучные стада — доказательство богатства, укрощение дикого жеребца — доказательство отваги, бой один на один с чужаком на глазах всего племени — доказательство силы и превосходства.

Не умеющий доказывать любой ценой, не гнушаясь никакими доводами, вплоть до убийства, — умрет.

А умеющий или научившийся — будет принят в племя.

Он — свой. Теперь он — свой.

Он тоже умеет доказывать. Он — шулмус.

С белой кошмы — на пунцовую... Клинком подать.

Джамуха Восьмирукий и Чинкуэда отлично поняли это — и сумели доказать свое право на власть в Шулме, безошибочно выбрав время, место и способ.

А что доказывали Тусклые, принося жертвы Прошлым богам?

Они доказывали жизнеспособность своей расы (человечества или Блистающих) согласно канону Учения Батин.

Ну а я, я сам — Беседуя с тем же Фальгримом, я ведь тоже доказываю?!

Да. Безусловно.

...И когда я понял разницу — я беззвучно расхохотался, весьма удивив этим идущих рядом Коса и Асахиро.

Фаризу было трудно чем-то удивить.

— Ничего, ничего, — шепнул я им. — Все в порядке... это я так.

И мы зашагали дальше.

Дальше...

Шулмусы и Тусклые доказывали КОМУ-ТО! Что бы они ни доказывали — всегда был кто-то, кто должен был оценить весомость их доказательств! Кто-то — Творец, противник, соседнее племя, старейшина Совета, другой народ, соперник, друг, брат, прохожий, чужак...

Кто-то.

Кто угодно.

И этот кто-то не мог быть для доказывающего со-Беседником. Ибо Беседа подразумевает общую попытку выбраться к истине.

Общую. И при этом не обязательно выбираться только к Истине Батин.

Беседа подразумевает умение не только говорить, но и слушать.

А значит — слышать.

Значит — понимать.

Нельзя понимать, не гнушаясь никакими доводами; нельзя понимать, не желая услышать; нельзя услышать, перекрикивая друг друга; нельзя беседовать с врагом...

Враг — это неизбежность поединка; со-Беседник — это попутчик, с которым вместе идут по Пути, пусть даже и по Пути Меча, — но при этом ты уже не один против неба. Пресеки свою двойственность... и пойми, что он — это ты.

И когда я доказываю, Беседуя с Фальгримом, — в первую очередь я доказываю самому себе. А Фальгрим помогает мне в этом, потому что я не борюсь с его эспадоном Гвенилем — я борюсь с собственной леностью, гордыней, неумением, я борюсь сам с собой.

Даже если иногда мне кажется, что я борюсь с Фальгримом.

И поэтому я никогда не убью Беловолосого.

И поэтому он никогда не ранит меня.

И поэтому могучий Гвениль никогда не выщербит Единорога.

И поэтому...

— Пришли, — тихо бросает Кос, трогая меня за плечо. — Вон, за углом забора... Видишь?

Да, я видел.

И край бортика водоема, облицованный плиткой и отражающий рассеянный свет звезд; и тень рядом с ним.

— Пришли, — согласился я.

4

Я оставил своих спутников возле забора, а сам двинулся к водоему, наскоро договариваясь с Единорогом о том, что каждый из нас будет говорить сам за себя и с себе подобным.

Все равно говорим мы одно и то же... или почти одно и то же. А когда надо оставаться начеку — не до раздвоения и внутренних голосов.

...Сказать, что Эмрах ит-Башшар удивился, увидев меня, — это значит ничего не сказать.

— Ты? Как это... то есть — откуда? И зачем?!..

Говорил он невнятно, потому что трудно говорить внятно с отвисшей до пояса челюстью.

— Я оттуда и затем, — приблизившись, сказал я. — Ну ты даешь, Эмрах... сперва сам в гости набиваешься, загадки всякие загадываешь, Беседуешь по душам — а теперь как не родной! Ты что, вправду мне не рад?!

— Я ждал не тебя, — набычившись, заявил Эмрах, и руки его как бы невзначай легли на пояс.

Поясом был Маскин Тринадцатый.

— А ты не допускаешь мысли, что она — моя возлюбленная? — задумчиво протянул я, делая вид, что не замечаю враждебности харзийца. — Моя нежная и трепетная лань...

— Кто — она?

— Она. Та, которую ты ждал. Может быть, я ревную?!. Эй, услада моих очей, выйди к нам!..

Из темноты возник Кос — как всегда, невозмутимо-спокойный.

— Доброй ночи! — приветливо поздоровался он. — Услада очей сейчас придет. У нее серьга выпала — вот найдет и придет. А пока услаждайте очи мною. Хорошо?

— Хорошо, — покладисто согласился я. — Усладим.

— Ты еще и дворецкого сюда притащил! — прошипел взбешенный Эмрах. — Ах ты...

Чем-то он напомнил мне Фаризу — манерами, должно быть... Вернее, их отсутствием.

А какие у них получились бы дети!..

— Я не его дворецкий, — поколебать спокойствие Коса было невозможно. — Он меня уволил. Еще в Кабире. А она — она моя дочь.

Кос подумал и добавил:

— Приемная.

— Причем вся в отца, — бросил Асахиро Ли, объявляясь рядом с ан-Таньей. — Вот поэтому без нас она на свидания не ходит. Без возлюбленного, отца и брата.

Эмрах отступил шага на два и слегка согнул в коленях свои кривые ноги.

Я подумал, что еще полгода назад ит-Башшару и в голову не пришло бы испугаться вот такой ночной встречи.

Никто бы из нас не испугался.

Сколько раз я Беседовал по ночам в Кабире?

Мои размышления были прерваны появлением Фаризы. Она появилась из мрака — высокая, гибкая, с разметавшейся копной вьющихся волос; она шла широким, уверенным шагом, и в нее запросто можно было бы влюбиться...

Если бы она молчала.

— Эй ты, ублюдок, — без обиняков сказала Фариза, — пошли, я тебя убью. Ну, чего выпучился, жаба кривоногая?!

Сомневаюсь, что после этого Эмраху захотелось бы влюбиться в Фаризу.

— Погоди, дорогая, — вмешался я. — Куда ты так торопишься? Я сейчас все устрою...

Я встал лицом на юго-восток — в небе отчетливо сверкал треугольник Южного Копья, так что ошибиться было сложно, —

сделал десять шагов и остановился у старой беседки. Затем я протянул руку аль-Мутанабби и трижды гулко ударил по крайней левой опоре.

— Пошли, — не оборачиваясь, бросил я.

За спиной изумленно сопел Эмрах ит-Башшар.

По-моему, он готов был признать во мне Сайид-на, Главу Учения Батин.

— Давайте, давайте, — помахал я рукой ему и моим спутникам, стоявшим рядом с ит-Башшаром. — Время не ждет...

В полу беседки с легким скрипом открылся люк.

Но первым нырнул в него и стал спускаться по винтовой лестнице на встречу с Тусклыми не я.

Первым был Кос ан-Танья.

Я был вторым.

Наверное, когда я умру и придет пора спускаться в Восьмой ад Хракуташа — Кос и тут пойдет впереди меня, распахнет огненные двери и спокойно скажет:

— Прошу вас, Высший Чэн...

И если все демоны после этого не разбегутся кто куда — считайте, что я плохо знаю своего дворецкого.

Кос был первым, я —вторым, зато Эмрах — последним.

— Асассин недорезанный, — через плечо сообщила ему Фариза.

Эмрах споткнулся и ухватился за перила.

5

Я и не подозревал, что под этой полуразвалившейся беседкой может оказаться такой зал. Стены его были выложены плитами зеркального серебра, до блеска начищенными белым песком; массивные четырехугольные колонны были украшены фигурами крылатых зверей и людей с копытами и рогами; середина зала, пол которого имел деревянное покрытие с шероховатой поверхностью, освещалась множеством факелов, и по углам курились жаровни на выгнутых ножках — только пряный дым не заполнял, как положено, помещение, а стелился вдоль стен и исчезал неизвестно куда.

А шагах в двадцати от нас стояли Двенадцать. Один спустился вместе с нами — Эмрах и Пояс Пустыни. Скорее всего Эмрах не был Одним — Одним был, по моему разумению, Сайид-на, Глава Учения, — но мне сейчас было не до иерархии батинитов, хоть старых, хоть новых.

Двое из стоявших сразу бросились мне в глаза. И не только потому, что, стоя вместе с остальными, они находились как бы отдельно от всех. Худой, невероятно высокий старик с двуручной секирой-юэ, древко которой заканчивалось сверху волнистым

копейным острием, а внизу — крупным набалдашником, из которого торчал короткий шип; и коренастая женщина средних лет, но совершенно седая, в руках которой было двухконечное копье с узкими ромбовидными наконечниками, ниже которых крепились цветные кисти.

Мне даже не понадобилось подсказки Единорога, что это — те самые Тусклые. Я и так каким-то внутренним чутьем ощутил, что копье и секира — это и есть те двое, кто выжил после побоища вековой давности, случившегося в этом зале. Не надо было обладать особым умом, чтобы понять — люди, в чьих руках тогда были эти секира и копье, давно умерли, и сейчас я вижу их внуков, если не правнуков... но в глазах старика и седой женщины горел древний огонь Истины Батин, огонь алтаря, на котором приносились жертвы Прошлым богам.

Только они — люди и Тусклые, старик, женщина, копье и секира — никак не отреагировали на то, что вместе с теми, кого ждали здесь сегодняшней ночью, в зал Сокровенной Тайны явились еще трое людей и пятеро Блистающих.

Я, Кос, Асахиро; Единорог, Обломок, Но-дачи, Сай и Заррахид.

Среди остальных десяти батинитов-людей прокатился недоуменный шепоток; я опустил руку на рукоять Единорога и услышал отголосок такого же перешептывания среди Тусклых.

Ну да, конечно... Они же все похожи на Эмраха ит-Башшара и Пояса Пустыни! Если до тех пор, пока их не стало Двенадцать и Один, жертвы Прошлым богам не приносились, то из Двенадцати и Одного только двое знают, что такое кровь, не понаслышке.

Даже если у них и есть свои способы переучивания — а такие способы наверняка есть.

В этом мы превосходили их. Увы, превосходили. Почти все из нас были более Тусклыми, чем Тусклые.

И все началось гораздо быстрее, чем я предполагал. Потому что я ждал ритуала — а его не было; потому что я ждал обряда — и его тоже не было. Приветствий, проклятий, хоть чего-нибудь — ничего не было.

Высокий старик подбросил в воздух свою секиру, хлопнув в ладоши, — и, прежде чем он ее поймал, Эмрах ит-Башшар выбежал на середину зала, и в его руке звонче хлопка пел Пояс Пустыни, наклоняясь в сторону Фаризы.

Радостно завизжала Кунда Вонг, и оскаленная Фариза, забыв обо всем, кинулась на Эмраха.

Они встретились как раз напротив меня. И я еще успел подумать, что представлял жертвоприношение Прошлым богам както не так... а вот как я его себе представлял — об этом я подумать не успел.

...Обычно сабельные бои бывают шумные и быстротечные. Но на этот раз дело затянулось. И Эмрах, и Фариза не были са-

мыми гениальными бойцами эмирата, равно как Пояс Пустыни и Кунда Вонг тоже не были первыми саблями среди Блистающих, но между собой они были примерно равны, что затягивало Беседу.

Только они не Беседовали.

Еще я заметил, что почти прямой Пояс Пустыни наверняка предпочитает пешие Беседы, а его нынешний Придаток Эмрах — конные, и из-за этого их совместные действия были чуть-чуть менее успешными, чем хотелось бы. Как же я раньше этого не заметил? Ах да, раньше я был внутри Беседы, а теперь — снаружи...

Только это не было Беседой.

Сам Эмрах низко приседал, широко расставив кривые ноги, и передвигался короткими резкими прыжками, норовя зацепить концом Маскина Тринадцатого руки Фаризы или дотянуться до ее лица; сама же Фариза непрерывно кружила вокруг ит-Башшара, а вокруг легкой на ногу Фаризы, похожей на язык пламени, непрерывно кружилась бешеная Кунда Вонг, сбивая в сторону гневно звенящего Пояса Пустыни и стараясь прорваться поближе к Эмраху, где ее подвижность давала Кунде некоторое преимущество.

Звону было — хоть уши затыкай...

И все-таки не хотел бы я оказаться на месте Эмраха! То есть, окажись я все же на его месте, все пошло бы совсем по-другому — это без ложной скромности, да и какая тут скромность, когда знаешь цену сам себе и не стесняешься сказать: да, этот товар по мне, а вон тот — нет, не сегодня...

А Эмрах — он к себе еще не приценился. Месть местью, а ему — несмотря на его новую Тусклую выучку — всякий раз приходилось, нанося очередной удар, ломать въевшееся в плоть и кровь Мастерство Контроля. Слишком давно был убит Кундой и Фаризой его друг, прошлый Придаток Маскина, и первая всесокрушающая ярость прошла, так что теперь удары Эмраха и Пояса Пустыни зачастую шли не от души.

От ума они шли, от понимания значимости поединка, от осознания реальной опасности... потому и запаздывали самую малость — только здесь счет и шел на такие малости!

Зато Фариза и Кунда — обе они не грешили излишней рассудительностью и рубили от всего сердца, ничем не руководствуясь, ничего не опасаясь и ни о чем не думая.

И я совершенно не удивился, когда лезвие Кунды полоснуло-таки по правому плечу ит-Башшара, и Пояс Пустыни, прервавшись на полувзмахе, вылетел из ослабевших пальцев и, ударившись об одну из колонн, упал на пол.

Зато я удивился тому, что сделал в следующее мгновение я сам.

Моя левая рука выхватила из-за пояса Обломка, и я швырнул его в Фаризу. То ли мне попросту повезло, то ли Обломок оказался мастером почище метательных ножей из Фумэна — но он уда-

рил Фаризу точно в запястье, и Кунда Вонг — уже готовая опуститься на бритую макушку Эмраха — последовала за Поясом Пустыни, рухнув прямо на него и громко лязгнув от возмущения и обиды.

В два прыжка я оказался рядом с бойцами и первым делом поднял умницу Дзюттэ.

Обнаженный Единорог уже чутко подрагивал в руке аль-Мутаннаби.

— Прекратить! — загремел я на весь зал. — Все, хватит! Наигрались...

Я переоценил свои способности отдавать приказы. И недооценил змея гордыни, свившего свои кольца в Эмрахе и Фаризе. Потому что Фариза, вооруженная только своим дурным характером, кинулась на меня, и я едва успел оттолкнуть ее, помня о Блистающих у меня в руках, но совершенно забыв о латных перчатках, так что несчастная Фариза, задохнувшись, отлетела назад и была поймана недремлющим Косом за отворот халата.

Эмрах, чья рана оказалась неопасной, уже успел к тому времени поднять Маскина, и мне пришлось уходить от них на шаг, потом еще на один шаг; а после опомнившиеся Тусклые кинулись на помощь Тринадцатому, но их встретил Кос с Заррахидом в одной руке и с Саем — в другой, Асахиро с Но-дачи и рычащая Фариза с дымящейся жаровней в руках...

Последней, по-моему, было все равно, с кем драться, лишь бы драться. Я, конечно, имею в виду Фаризу, а не жаровню.

— Не убивайте! Не убивайте их! — надсадно кричал я, принимая на Обломка чей-то меч и чувствуя, что шут с трудом удерживается, чтоб не сломать изумленно скрежещущий клинок. — Не убивайте...

По панцирю вскользь прошлось острие копья, я подпрыгнул, пропуская чужой топор, мелькнувший у самого пола; дальше я увидел совсем незнакомое лицо, потом второе — и обе мои руки в наручах и латных перчатках опустились на эти лица.

Да, чуть не забыл — вдоль предплечья правой еще лежал Дзюттэ.

— Не убивайте! — еще раз крикнул я, и оказалось, что я кричу в полной тишине.

Ну не то чтобы совсем в полной — но все-таки...

У моих ног стонали двое неудачливых батинитов — тот, по кому попала рука с Дзю, стонал значительно громче, — чуть поодаль Кос сидел верхом на еще одном пострадавшем за Истину Батин, запрокидывая ему голову при помощи Заррахида, острием Сая ан-Танья легонько покалывал своего подопечного в затылок.

Асахиро с Но загнали сразу троих в угол между стеной и крайней колонной — вся троица была вооружена короткими Блистающими (пара кинжалов и один широкий меч локтя в полтора),

так что длины Но-дачи и выражения лица Асахиро вполне хватало, чтобы никто и не пытался покинуть спасительный угол.

Хуже пришлось тому ревнителю Сокровенной Тайны, по кому попала жаровня Фаризы. Впрочем, нет — хуже всех пришлось жаровне, чинить которую сейчас не взялся бы и самый трудолюбивый мастер.

Еще четверо батинитов, тяжело дыша, сгрудились поодаль, но нападать не пытались. Я оглядел валявшихся на полу Блистающих, отметил, что все они живы, и перевел взгляд на старика и седую женщину.

Они по-прежнему не двигались с места.

И все так же неподвижно наблюдали за происходящим двуручная секира-юэ и двухконечное копье.

Потом высокий человек переглянулся с женщиной и шагнул ко мне.

Я крепче сжал рукоять Единорога.

Это было неправильно — но так я лучше слышал за двоих.

— Я рад познакомиться с Высшим Чэном Анкором, более известным как Чэн-в-Перчатке, — с еле заметной усмешкой в голосе сказал старик. — Также я рад познакомиться с его достойными спутниками. Меня зовут Вардан Сач-Камал. Я — Сайид-на, Глава Учения Батин.

— Я рад познакомиться с Мэйланьским Единорогом, — приветливо произнес Блистающий Юэ, склоняя волнистое лезвие, которым оканчивалось его древко. — Если не ошибаюсь, вы родич Скользящего Перста? Очень, очень известное семейство... Также приветствую ваших уважаемых спутников. Я — Юэ Сач-Камал, которого немногие зовут Одним.

— Рады познакомиться? — недоверчиво спросили мы с Единорогом. — В самом деле? Даже при этих обстоятельствах?!

— Именно при этих обстоятельствах, — кивнули Вардан Сач-Камал и Юэ Сач-Камал.

— Тогда ждите нас в гости ежедневно, — как бы невзначай заявил Дзюттэ.

— Дзю! — предостерегающе свистнул Единорог.

— А что? — удивился Обломок. — Сами сказали — рады, мол, познакомиться... Не лишать же их такой радости?! Эй, Сай, толкни Коса, пусть слезет с этого... с самого радостного.

6

Обиженные судьбой и нами батиниты, постанывая, медленно поднимались с пола, выбирались из угла и нагибались за своими разбросанными Блистающими. На нас доблестные воины старались лишний раз не смотреть. Я подозревал, что им было стыдно. Один из них, гибкий светловолосый юноша, перевязывал

плечо ит-Башшару, разорвав на полосы свою нижнюю рубаху. Я был прав — рана Эмраха оказалась болезненной, но не опасной, и Эмрах то и дело кривился и шипел сквозь зубы.

Ко мне подошла растрепанная Фариза, на ходу вставляя в ножны подобранную Кунду.

— Почему ты не дал мне добить его? — даже не зло, а как-то удивленно спросила она.

— Хватит, — повернулся я к Фаризе. — Хватит смертей. Хватит Шулмы. Раньше вы убивали, чтоб научить других. А этих, — я кивнул на батинитов, — этих учить уже не надо. Сами выучились... или выучатся. Так что — хватит.

— Он сам напросился! — запальчиво, но не совсем уверенно выкрикнула Фариза. — Он сам...

— Хватит! — отрезал я, и Фариза неожиданно умолкла.

— Ты не прав, — вмешался в наш разговор Вардан Сач-Камал, Сайид-на. — Жертва Прошлым богам в любом случае должна быть принесена. Я не в обиде на тебя за случившееся — но поединок будет продолжен. Такова Истина Батин.

Фариза победно усмехнулась. Еще бы, просто бальзам на ее кроткую душу...

— Эмрах не в состоянии продолжать, — возразил я. — Он ранен.

— Тогда мы — ты и я — выставим новых бойцов, — мягкость Вардана была сродни мягкости тигриной лапы перед ударом.

— А если я откажусь?

— Тогда мы будем биться с тобой. Сайид-на и Чэн-в-Перчатке.

Я ничего не успел ответить — потому что в следующий момент по подземному залу прокатился долгий, густой и чистый звук гонга.

И еще раз.

И еще.

Я догадался, что это значит. Там, наверху, кто-то стучал по нужной опоре беседки.

— Это еще кто? — изумленно спросил тот из батинитов, кто перевязывал ит-Башшара; то же самое спросил его короткий и широкий меч.

— Очередные взыскующие Истины Батин, — ответил Обломок, и мне осталось лишь повторить его слова.

— Откройте, — невозмутимо приказал старый Вардан. — Если они знают место, время и условный знак — мы должны их впустить.

Светловолосый юноша подошел к дальней стене и к чему-то прикоснулся. Сверху послышался негромкий скрежет, и вскоре по лестнице затопали шаги.

...Их было четверо. Четверо людей. Блистающих — больше.

Мой родич Лян Анкор-Кун с мечом Дан Гьеном по прозвищу Скользящий Перст. Чернобородый гигант Чандра-Дэв (я сразу

вспомнил великана Андхаку) — только вместо палицы Конец Мира у Чандры на поясе висел его фамильный прямой меч Кханда Вьячасена.

Лян и Чандра, Кханда и Скользящий Перст... старейшины родов людей и Блистающих из обоих семейств Прямых мечей.

Входящие в Совет Высших Мэйланя.

Третьей была совершенно измученная женщина неопределенного возраста в запыленной и местами порванной одежде. Из ее кожаной перевязи крест-накрест выглядывали рукояти восьми метательных ножей.

Ножей должно было быть десять. Но два кармана пустовали.

Ну а четвертой... Четвертой была неугомонная Матушка Ци собственной персоной со своим замечательным Чань-бо, свободным от тряпок!

Весьма любопытная компания!

— Зачем вы явились? — глухо спросил Вардан Сач-Камал. — Не вовремя пришло вам это в голову!.. ибо сегодня ночь жертвы Прошлым богам.

— Жертва принесена! — резко прервал его Лян Анкор-Кун, и я невольно вздрогнул. Я и не предполагал, что Лян умеет ТАК говорить.

— Жертва, старик, как бы ты ни называл ее, уже принесена! Ниру, расскажи им...

Измученная женщина обвела нас взглядом — признаюсь, мне стало не по себе, — и вдруг из этих остановившихся глаз обильно хлынули слезы.

— Я... я видела, — захлебываясь рыданиями, бормотала она. — Они... они всех убили! Всех! И сожгли... деревню... я видела, я все видела!.. Я была на скалах... двое пришли в скалы за мной. Это не люди! Это бешеные волки! Я убила двоих... волков, не людей!.. лошадь... лошадь...

И она буквально сползла на пол по полированной стене, закрыв лицо руками.

Матушка Ци тут же бросилась к ней и начала успокаивать, а Чандра-Дэв выступил вперед, обнажив меч Кханду.

— Эта женщина — знахарка из деревни Сунь-Цзя на северо-западной границе Мэйланя, что в дне пути от песков Кулхан. Сегодня вечером она объявилась у моего дома. Я знаю ее — она вылечила моего сына от падучей. Говорит, сутки скакала, загнала коня — но добралась. Во дворец идти не решилась — побоялась, что не пустят на ночь глядя. Вот и пришла к первому из старейшин Совета, кого знала. То есть ко мне.

Чандра нервно облизал губы.

— Какие-то... чужаки (наверное, сперва он хотел сказать «люди») уничтожили ее деревню. Всю. Жителей убили, дома сожгли. Понравившееся оружие унесли, остальное сломали и утопили в колодце. Ниру в скалах собирала целебные травы — и от-

туда видела это. Ее муж и сын погибли. Двое чужих забрались в скалы, она метнула в них ножи, забрала одну лошадь и поскакала в Мэйлань...

«Она смогла убить! — думал я. — Ну да... Она же видела гибель деревни... а метательные ножи — они вообще не Беседуют, они Говорят по очереди, а на турнирах летят свободно, и в полете Мастерство Контроля совсем другое... Но — она сумела!.. Чему ты радуешься, Чэн-дурак?! Чему ты радуешься?!.»

— ...они пришли ко мне за советом, — это говорил уже мой родич Лян. — А какой я им мог дать совет?! И тогда я вспомнил о тебе, Чэн. Ты уже сталкивался с людьми... с людьми, которые убивают. И я подумал... подумал, что ты, возможно — возможно! — найдешь нужное решение. Дома мы тебя не застали, а у ворот встретили Матушку Ци...

— И в итоге нам пришлось ей все рассказать, — хмуро пробормотал Чандра, косясь на старуху. — Иначе бы не отвязалась! Впрочем, она и так не отвязалась...

Ах, как я понимал Чандру!

— Вовремя меня встретили благородные господа! — немедленно подала голос Матушка Ци. — Ах, вовремя... Иначе кто бы им показал сюда дорогу? А сама-то дороги не знала, откуда мне дороги всякие знать, к разным залам тайным, где многое по ночам творится... Да только сердце бабке подсказывало, сердце глупой вещало, куда господин Чэн отправился, сердце подсказывало-вещало, вот и вела я, дура старая, и показывала...

— И вела, и показывала, — подтвердил мрачный Чандра. — И откуда только знала?!.

Похоже, источник осведомленности Матушки Ци оставался загадкой для всех, а старуха отнюдь не спешила просветить собравшихся на этот счет.

Я посмотрел на источник — на Чань-бо, невинно мерцающего лопатой-лезвием и полумесяцем. Видимо, старейшины-Блистающие не хотели, чтобы в роду их Придатков сохранялось знание о клятвопреступлении, а старейшины-люди и вовсе мечтали стереть память об этом — так что ни Лян, ни Чандра-Дэв о тайном зале и жертве Прошлым богам знать ничего не знали (в отличие от Кханды и Скользящего Перста).

А если и знали — то так, как знают легенду.

Другое дело — Чань-бо, если его и впрямь оставили молчаливым свидетелем, следящим за самоубийствами старейшин-Блистающих. Тогда в роду его Придатков сохранялось и знание, и память, и все, что нужно!.. Не зря старуха прошлым эмирата интересуется...

Или остается предположить, что Матушке Ци второй век пошел. Хорошо сохранилась, однако, больше семидесяти никак не дать!..

— Это Шулма, — негромко, но так, чтобы все слышали, сказал Асахиро Ли.

— Это Шулма, — так же негромко прозвенел Но-дачи.

Мало кто из людей и Блистающих понял их. Одни не знали. А другие, возможно, делали вид, что не знают.

И тут заговорил старый Вардан Сач-Камал, Сайид-на, Глава Учения Батин:

— Люди отвергли Истину. Люди перестали приносить жертву Прошлым богам. Люди — забыли. Поэтому Прошлые боги сами напомнили о себе. Нет, Чэн-в-Перчатке, мы не сойдемся с тобой в поединке, ибо жертва принесена. Большая жертва. Первая из многих, заставящих нас повернуться лицом к Истине...

— Хорошо, Сайид-на, — кивнул я, думая о своем. — Жертвы, жертвы... Много будет жертв. Чтобы их было меньше, я должен встретиться с Истиной лицом к лицу. Поэтому я попрошу тебя об одной услуге. Не сочти за труд и поставь свою секиру вон в тот угол... Ладно?

Сач-Камал удивленно посмотрел на меня, но тем не менее степенно прошел в указанный угол и аккуратно прислонил к стене свою двуручную секиру.

Я посмотрел на седую женщину с копьем, которая так за все это время и не двинулась с места.

— А вы — свое копье. Прошу вас!

Женщина молча оказалась в углу — я позавидовал мягкости и скрытности ее скользящего шага — и поставила копье рядом с секирой Сач-Камала.

— Теперь вы, господа! — обернулся к родичу Ляну и Чандре-Дэву.

Те переглянулись, пожали плечами, но отнесли мечи туда, куда было указано.

— Матушка Ци, будьте любезны, присоедините к ним свой Чань-бо!

Старуха повиновалась молча — за что я был ей безмерно благодарен.

Так, вроде бы все... Без Но, Кунды и Сая я вполне обойдусь. Надо будет — позову.

Я зашел в угол — так, наверное, входят в клетку с пятнистым чаушем, — где угрюмо выстроились Блистающие и Тусклые, и опустился на холодный пол. Моя правая рука лежала на рукояти Единорога. За поясом устроился Дзюттэ.

«Единорог, давай ты, — подумал я. — Если будет надо, я поддержу, но не будем их смущать и отвлекать от главного».

«Хорошо, Чэн», — был ответ.

И, отрешившись на время от мира людей, я вошел в мир Блистающих.

— Вы посмели явиться сюда! — услышал я гневный лязг, не предвещающий ничего хорошего, и понял, что это Юэ Сач-

Камал. — Вы, предатели и клятвопреступники, посмели вновь прийти в этот зал!

Кханда Вьячасена и Скользящий Перст понуро молчали.

— Все вы тут хороши! — бесцеремонно перебил его Обломок. — Посмели, явились... И вообще, сожженная деревня — это ваша работа!

— Наша? — искренне удивилось копье.

— А по какому праву, — упав на пол, загремел Юэ Сач-Камал, — заговорил ты, незваный гость, нарушая разговор Старейших?!

Кханда торопливо упал рядом с Сач-Камалом и звенящим шепотом что-то сообщил ему. Единорог-Я успел разобрать всего несколько слов — «Кабирский Палач» да «фарр-ла-Кабир», — после чего Кханда умолк, а Сач-Камал налился багровыми отблесками.

— Мы не имеем к сожжению деревни никакого отношения, — произнес он после долгой паузы.

— Не имеете? — вмешался Единорог-Я. — А Чинкуэда? Один из...

— Одна, — уточнил Юэ Сач-Камал.

— Неважно! Одна из вас! Ведь ты не станешь этого отрицать?

— Не стану, — к Юэ вернулась его прежняя невозмутимость. — Чинкуэда Кехая по прозвищу Змея Шэн была одной из нас и одной из выживших после подлого побоища...

Все-таки не преминул лишний раз уколоть!

— И это вы заслали ее в Шулму! — перебил его Единорог-Я. — Чтобы на клинках Диких Лезвий Шулмы в эмират вернулась Истина Батин! Разве не так?!

— Не так, — с некоторым удивлением ответил Юэ. — Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Да, Чинкуэда Кехая была среди нас троих, среди тех, кто спасся, когда эти, — он гневно сверкнул в сторону старейшин, — предали нас. Но мы не преступаем своих клятв! Мы не нарушаем Закон. И за это время мы ни разу не приносили жертв Прошлым богам. Мы искали тех, кто захочет последовать за нами. Нас должно было снова стать Двенадцать и Один. Но...

Он на миг замолчал.

— Но Чинкуэде, Змее Шэн, это пришлось не по нраву. Она жаждала мести, и это растравляло ей душу. И она убила двоих старейшин Совета, когда те ехали в Верхний Вэй. Двузубец Ма, Язык Кобры, упал с подпиленного Придатком Чинкуэды бревна в реку Цун-ли, а кинжал Ландинг Терус не выдержал боя со Змеей Шэн. И мы изгнали Чинкуэду. С того дня она со своими Придатками обитала где-то на солончаках...

— Мы ничего с тех пор не знаем о Змее Шэн, — сказало двухконечное копье.

— Мы не знаем, что такое Шулма, — сказал Юэ Сач-Камал.

— Мы не знаем, что произошло в сожженной деревне, — сказали они оба.

И я им поверил.

Сразу.

Безоговорочно.

— Вы узнаете, — ответил Единорог-Я.

7

— Но, Сай, Кунда, — свистнул в моей руке Единорог. — Идите сюда!

— Асахиро, Кос, Фариза! — крикнул я. — Идите сюда!

Они подошли.

Они рассказали.

Коротко и ясно.

И им поверили.

Сразу и безоговорочно.

Потому что врать или сомневаться уже не оставалось времени.

— ...думаю, что это вторжение, — закончил Но-дачи. — Начало его.

— Начало конца, — брякнул Сай.

И тут впервые заговорил Чань-бо. Он говорил негромко и словно бы отстраненно — но все молчали и слушали, что говорит Посох Сосредоточения.

— В нашем мире не бывает начал и концов, — сказал Чань-бо. — В нем случаются уходы и возвращения. Сегодня к нам на остриях Диких Лезвий Шулмы вернулась Сокровенная Тайна Батин. Это — свершилось. У нас есть три пути, начинающиеся с порога этого зала. Можно оставить все как есть, достойно прожить отпущенный нам срок и достойно умереть такими, какие мы есть. Можно сменить достоинство на ярость и выйти навстречу Шулме, став такими, как они. И есть третий путь — стать такими, как они, оставшись собой. Я не знаю, возможно ли это. Выбор — за вами.

И он умолк.

— Мы не можем покорно ждать их прихода, — прозвенел Кханда.

— Не можем, — согласился Скользящий Перст.

— Но и стать такими, как Дикие Лезвия, смогут немногие, — заметил Заррахид.

— Немногие, — согласился Юэ Сач-Камал.

— Чань-бо предложил нам три пути, — тихо сказал Единорог-Я. — Но Чань-бо не прав.

Воцарилась мертвая тишина.

— Он не прав, — повторил Единорог-Я. — Это все один Путь. Путь Меча. Мы не выбираем его, мы даже не идем по нему — он идет через нас. И поэтому, когда нам кажется, будто мы выбира-

ем, — мы просто делаем еще один выпад. Свой выпад я сделаю утром. Уехав на границу с песками Кулхан.

— Мы слушаем тебя, — прошелестел Чань-бо. — Говори. Я предложил разные пути, ты же не предлагаешь — ты видишь Путь. Говори, Мэйланьский Единорог.

— Юэ Сач-Камал, — продолжил Единорог-Я, — ты должен знать способы, как учить Блистающих... как учить их быть Тусклыми, когда это надо. Ты знаешь?

— Я знаю, — отозвался Юэ.

— Хорошо. Кханда и Скользящий Перст, вы забудете о клейме клятвопреступления и самоубийствах! Завтра вы введете Юэ Сач-Камала и тех, кого он скажет, в Совет Высших Мэйланя, и пусть остальные узнают все! Если понадобится — вы вспомните то, что умели век назад, и будете учить этому всех... И чтоб никаких мне оползней, колодцев и колес арбы! Никаких случайностей!

— Да, — чуть слышно звякнул Скользящий Перст.

— Да, — эхом откликнулся Кханда.

— Если присланный мною гонец скажет вам: «Да» — учите! Если же он скажет: «Нет» — решайте сами... Я не вправе требовать от вас большего. И помните, что время неумолимо...

8

— ...и помните, что время неумолимо, — закончил я, повторив все, что было нужно, собравшимся вокруг меня людям.

— Ты что же, один собираешься ехать? — вкрадчиво поинтересовался Кос, и я понял, что поеду не один.

— Да куда ж я от тебя-то денусь? — невесело улыбнулся я своему бывшему дворецкому.

Кос согласно кивнул.

Никуда, мол, не денешься... и не надейся.

— Я с тобой, — положил мне руку на плечо Асахиро Ли.

— Да. Ты — со мной, — согласился я.

— Никуда вы не поедете, — уверенно заявила Фариза. — То есть никуда вы не поедете без меня. Разве что через мой труп.

Я поглядел на нее и убедился, что без нее мы действительно никуда не поедем. Даже через ее труп. Потому что труп Фаризы поедет следом.

— Чэн, ты, конечно, можешь меня прогнать, — подал голос сидевший на полу Эмрах ит-Башшар, — только я все равно увяжусь за вами. Я перед тобой в долгу и...

Я обреченно махнул рукой. Уехать из Кабира было во сто крат проще!

— Только его нам и не хватало! — фыркнула Фариза, но, как ни странно, обошлась на этот раз без оскорблений в адрес удрученного Эмраха.

Молодые батиниты все это время о чем-то тихо совещались — и теперь от них отделился один представитель.

Тот самый гибкий юноша со светлыми волосами, что перевязывал плечо ит-Башшару.

— Мы едем с вами, Высший Чэн, — склонил он голову передо мной.

— У вас есть дело здесь, — как можно мягче ответил я. — Возможно, придется учить других Истине Батин.

— Мы не можем учить других тому, чего до конца не познали сами.

— Тогда вас убьют.

— Может быть, — спокойно ответил он. — Мы готовы к смерти. Но те, кто выживет, увидят свет Сокровенной Тайны, и их жизни еще пригодятся тебе, Чэн-в-Перчатке.

Я тяжело вздохнул.

— А что скажешь ты, Сайид-на?

— Пусть едут, — отозвался Вардан Сач-Камал. — Они вольны в своих поступках. И их ведет свет Истины Батин. Пусть едут.

Я молча развел руками.

— ...а я покажу вам дорогу.

Знахарка Ниру стояла у стены. Слезы в глазах ее высохли, губы были плотно сжаты. Она поглядела на меня в упор — и я поспешил отвернуться.

Моего согласия тут не требовалось.

— Спасибо, Ниру... Кстати, сколько их было?

— Не помню.

Ладно. За тем и едем.

— Ай, бедная я, горемычная старуха, побродяжка несчастная! — раздался у меня над самым ухом истошный вопль Матушки Ци. — Не бросайте меня, благородные господа, пропаду я здесь одна-одинешенька, чахлым стебельком завяну — а так, глядишь, и сгожусь на что, и дорога веселее покажется, и совет какой дам, да и вообще — не бывала я в тех краях, а давно уж собиралась, ох, давненько, только не выходило никак, а теперь вижу...

— Ушастый демон У с ней! — рявкнул Кос. — Пусть ее едет... ведьма старая! Глядишь, язык шулмусы отрежут!..

— Вот спасибо так спасибо, благородные господа! — нимало не смутившись, затараторила Матушка Ци. — Вот спасибо расспасибо, прям-таки всем спасибам спасибо...

Я застонал и схватился руками за голову.

9

...Выезжали мы на рассвете. Семнадцать человек. Блистающих — больше. Собраны по-походному — провизия, малые и большие шатры, бурдюки с водой...

На окраине Мэйланя — я имею в виду город — я придержал Демона У, недовольно грызущего удила.

Ну вот, не так давно я точно так же выезжал из Кабира. Только нас тогда было двое. Я да Кос. А теперь... много нас теперь. Или мало? Смотря для чего считать и с кем мериться... И, разумеется, Юньэр все передадут, как в свое время эмиру Дауду — тот же Лян и передаст, — но...

На душе было тоскливо. Эмир хоть замуж за меня не собирался!

Да, неведомые якши и ракшасы добились своего — наша свадьба откладывалась на неопределенный срок. Если она вообще когда-нибудь состоится...

Прости меня, Юньэр.

Прости меня, Чин.

Простите меня все, кому есть за что прощать Чэна-в-Перчатке.

Один я сейчас или не один — ну не умею я стоять спокойно против неба! Все куда-то еду, все чего-то ищу... все кого-то бросаю.

— Вперед! — закричал я, и из-под копыт Демона во все стороны брызнули мелкие камешки...

Постскриптум

...а проклятая деревушка сгорела почти мгновенно.

Нойон племени ориджитов, рыжеусый Джелмэ-багатур, сперва взирал на это с весельем, потом равнодушно, и наконец — дергая себя за вислый ус и озабоченно хмурясь.

Гурхан Джамуха будет недоволен. Он ждет от осторожного и хитроумного Джелмэ путей через Кул-кыыз, путей, по которым способно пройти множество воинов. Гурхан Джамуха ждет от Джелмэ-багатура подробного рассказа об источниках, тайных тропах и заброшенных колодцах, он ждет от нойона племени ориджитов-следопытов многого, но он не ждет преждевременной паники в народе мягкоруких.

Плохо, что деревня так неожиданно вынырнула из-за холмов; и, наверное, все-таки хорошо, что деревянные дома с ширмами из плотной ткани вместо внутренних стен вспыхивали от первого прикосновения факела, как девственница шатров Хууль-джай, прибежищ мужчин в редкие часы отдыха, от первого прикосновения истосковавшегося воина.

Джелмэ-багатур задумался над тем, почему в шатрах Хууль-джай все обитательницы — девственницы (во всяком случае, поначалу); потом он сожалеюще поцокал языком, так и не раскрыв эту загадочную тайну, и вновь уставился на слабо чадящую деревню.

Еще немного — и даже дыма не останется от поселения мягкоруких. Это хорошо. Вдвойне хорошо — потому что воины-ориджиты все тела чужих погибших (своих погибших не было)

бросили в огонь, и пламя жадно пожрало предложенную ему пищу. Пусть горят. Это лучшее, на что они способны.

Лучшее — потому что умирали мягкорукие легко и странно. Вряд ли воины племени ориджитов захотят хвастаться в родной Шулме сегодняшними подвигами. Сам Джелмэ-багатур трижды подумает, прежде чем рассказывать кому-нибудь о тринадцатилетнем подростке, бросившемся под копыта коня нойона с рогатиной наперевес, и о том, что прославленный багатур потратил на бешеного звереныша больше времени, чем тратил когда бы то ни было в жизни на одного бойца — пусть даже самого опытного.

Несколько раз рогатина, словно издеваясь, замирала то у лица, то у живота Джелмэ, и лишь когда нойон отсек мальчишке левую кисть — лишь тогда все стало на свое место.

Никогда не забудет Джелмэ-багатур то удивленное выражение, которое окоченело на лице подростка. Вот тогда-то Джелмэ поднял за волосы чью-то отрубленную голову, швырнул ее в огонь и завыл волком:

— Жгите! Жгите все!.. Хурр, дети Ориджа! Жгите!..

Нет, не станут воины рассказывать у костров Шулмы о костре по ту сторону Кул-кыыз. И шрамами хвастаться не будут — не осталось памятных рубцов от этой схватки.

Да и схватка ли это?

Ни один ориджит не ранен... даже не поцарапан. Как и обещал великий гурхан Джамуха Восьмирукий, внук Владельца священного водоема, Желтого бога Мо. Каждое слово гурхана ценнее смерти врага... Может быть, его недовольство будет крепко спать по возвращении Джелмэ-багатура и не проснется от важного сообщения о путях через Кул-кыыз и совсем тихого упоминания о сожженной деревушке?

Ведь никто не ушел...

Спи, недовольство гурхана Джамухи, спи вечным сном! Джелмэ хорошо знает, что означает для любого нойона приглашение в круг, где уже ждет Восьмирукий со своим волшебным мечом. Уж лучше попросить телохранителей-тургаудов закатать тебя в кошму и соединить пятки с затылком, ломая становой хребет.

Это гораздо проще и быстрее, чем быть в кругу соплеменников игрушкой Восьмирукого. А он способен долго играть, великий гурхан Джамуха, внук Желтого бога Мо...

Джелмэ-багатур привстал в седле и посмотрел поверх догорающей деревни на юго-запад, туда, где громоздились неприветливые серые скалы. Нойона беспокоило долгое отсутствие двоих воинов, посланных туда на разведку. Нойон не знал, что оба воина лежат сейчас неподалеку от расщелины Ху-коу, что на местном языке означает «Пасть тигра», и у каждого воина из того места, где ворот кожаного панциря-куяка открывает горло, растет цветок метательного ножа.

И женщина с безумным взглядом несется к Мэйланю по тайным дорогам, погоняя чужую косматую лошадь.

Пожалуй, если бы Джелмэ-багатур обладал даром провидения, как шаманы Ур-калахая, то он уже сейчас приказал бы телохранителям-тургаудам закатать себя в кошму и соединить пятки с затылком...

Нет, он не был провидцем, нойон Джелмэ. Поэтому он просто сильнее обычного дернул себя за ус, скривился от боли и вновь уставился на пепелище.

Кривая сабля на боку Джелмэ-багатура с легким бряцанием постукивала о седло.

Словно смеялась.

Книга III
ШУЛМА

Часть VII

ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛТОГО БОГА

Там и сям виднелись отрубленные головы, валявшиеся в пыли; у одних верхняя губа была гладко выбрита, у других были красивые носы, на некоторых были опрятно приглажены волосы, иные были украшены убором или же серьгами.

Махабхарата, книга о Вирате

ГЛАВА 19

1

Стояли двое у ручья, у горного ручья,
Гадали двое — чья возьмет? А может быть — ничья?
Стояли двое, в дно вонзив клинки стальных мечей,
И тихо воды нес свои израненный ручей...

Я сразу узнал их. Нет, я ни на миг не усомнился в том, что все это — сон, что на самом деле я лежу в походном шатре рядом с ровно дышащим Чэном, но узнал я их сразу.

Повитухи-оружейники, Масуд и Мунир. И двое Блистающих, до половины скрытые в воде, отчего трудно было угадать их род — то ли Прямые мечи, и лишь вода искажает силуэт, то ли и впрямь клинки их слабо изогнуты.

Никаких свидетелей, никакой молнии, никаких страшных клятв... тишина и покой.

Стояли два меча в ручье — чего ж не постоять?
И отражал, журча, ручей двойную рукоять,
И птиц молчали голоса, и воздух чист и сух,
И упирались в небеса вершины Сафед-Кух,
Вершины Белых гор...

Пятнистая рябь мимоходом пробежала по миру моего сна — такая порой бежит по клинку, обнаженному летним солнечным днем в тутовых зарослях, — и Блистающие в ручье на миг заколе-

бались, их очертания дрогнули, расплылись, а когда мир снова стал незыблемым...

Один меч стоял в ручье. Один как перст, один против неба — и в том месте, где вода соприкасалась с клинком, меч не уходил вниз, чтобы вонзиться в дно, а плавно перетекал в серо-стальную полосу ручья и бежал дальше, дальше, огибая камни, всплескивая брызгами-искрами, журча, посвистывая, смеясь... смеясь над изумленными горами, над плывущими по течению листьями, над самим собой и надо мной.

И нет мечей, но есть ручей — смеясь и лопоча,
Несется он своим путем, своим Путем Меча,
Сам по себе, один из двух, закончив давний спор,
В глуши отрогов Сафед-Кух, заветных Белых гор...

Двое людей, мирно беседующих между собой, неторопливо приблизились к ручью-Блистающему, не останавливаясь, вступили на его поверхность и по-прежнему медленно двинулись вниз по течению. Отойдя на десяток шагов, один из них обернулся через плечо и приглашающе махнул рукой — присоединяйтесь, мол!..

И я, невесть каким образом оказавшийся в ножнах у Чэна на поясе, не раздумывая качнулся и хлопнул Чэна по бедру, а он улыбнулся и ответно помахал удаляющимся людям правой, железной, рукой — иду, иду, подождите меня!.. И когда мы вышли на ручей-дорогу, на меч-дорогу, то у рукояти заржал привязанный к ней, как к коновязи, черный жеребец — и Чэн, распустив узел, подобрал поводья и легко прыгнул в седло, а я звонко ударился о круп ржущего Демона У, и скрепы ножен сверкнули под лучами полуденного солнца.

Потом я краем лезвия посмотрел вперед и увидел, что вместо двоих людей по Пути Меча идет всего один, удивительно похожий на обоих сразу, и немного — на Коблана, и еще на Друдла, и... и, наверное, это было невозможно, но это было, и я был счастлив оттого, что это было.

Копыта коня ударились о дорогу, расплескивая ее гладь, и мы двинулись вперед.

От рукояти — в бесконечность.

Легенды — ложь, легенды врут, легенды для глупцов,
А сталь сгибается, как прут, в блестящее кольцо,
И нет начала, нет конца у этого кольца,
Как рая нет для подлеца и меры для скупца...

И поэтому я даже не удивился, когда в ответ Демону У раздалось ржание иного жеребца, того гнедого призрака, на котором мы с Чэном уже неслись когда-то через город-призрак, через пылающий Кабир восьмисотлетней давности... Гнедой ржал, пока его отвязывал от рукояти Пути Меча невысокий стройный чело-

век в знакомом доспехе и с ятаганом у пояса, тяжелым ятаганом с простой рукоятью без самоцветов и серебряных насечек.

«Фархад! — хотел позвать я. — Фархад иль-Рахш!..»

Но Фархад иль-Рахш и Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби уже проскакали сквозь нас, и вновь мы остались одни — я, Чэн и несущийся во весь опор Демон У, и путник впереди, и рукоять позади, и Белые горы Сафед-Кух вокруг, и...

«Одни? — рассмеялось небо над нами. — Одни? Одни против меня?!»

Мне снился сон. Спроси — о чем? Отвечу — ни о чем.
Мне снился сон. Я был мечом. Я был тогда мечом.
Я был дорогой и конем, скалою и ручьем,
Я был грозой и летним днем,
Прохожим и его плащом,
Водою и огнем...

2

Проснувшись, я некоторое время просто лежал рядом с Чэном, чувствуя на себе спокойную тяжесть его правой руки и разглядывая приспущенный полог шатра.

Два дня дороги от Мэйланя сюда, почти к самой границе песков Кулхан, порядком утомили меня. И даже не столько утомили, сколько заставили частенько ощущать себя лишним, неумелым лжецом, словно я зачем-то нацепил ворованные ножны Шешеза Абу-Салима и пытался убедить окружающих, что на самом деле я — ятаган фарр-ла-Кабир.

Я лежал и лениво перебирал в памяти горсточку событий, которыми были не столь богаты прошедшие дни...

...Потерявшее двоих своих братьев семейство Метательных ножей Бао-Гунь, равно как и их Придатка, знахарку Ниру, все время приходилось сдерживать — иначе они непременно бы загнали свою лошадь, пытаясь повторить небывалый суточный перегон от деревни Сунь-Цзя до Мэйланя, а заодно уморили бы всех остальных коней и половину людей. Тем не менее ехали мы достаточно быстро, лишь дважды в день устроив короткие привалы, на которых я помимо воли отмечал несовершенство тел Придатков и лошадей — они нуждались в еде, питье, а также в гораздо более длительном отдыхе, чем мы, Блистающие, что существенно замедляло наше продвижение.

Странно — раньше я никогда не размышлял ни о чем подобном, воспринимая действительность такой, какой она вышла из кузницы Небесных Молотов. Порядок вещей казался естественным и единственно возможным; да он и сейчас был таким, но... за все нужно платить. Люди и животные платили быстрым разрушением тел за свою подвижность, а мы, Блистающие, — невоз-

можностью самостоятельно передвигаться так, как нам хотелось бы, за долгий век и застывшее совершенство своих стальных тел.

Вот так-то... подумали, посетовали на жизнь и поехали дальше.

...Ехали почти не разговаривая. Метательные ножи, я с Обломком, Заррахид с Саем — во главе отряда; чуть отстав — Пояс Пустыни, Но-дачи и Кунда Вонг, а за ними и все остальные.

Поглядывая время от времени на скачущих позади Маскина Тринадцатого и Эмраха ит-Башшара, Я-Чэн всякий раз отмечал ту легкость и уверенную посадку, с которой они держались в седле; и кривые ноги Эмраха обнимали бока жилистой буланой кобылы с той же естественностью, что и Пояс Пустыни — талию своего Придатка.

Лишь теперь Чэн-Я начал понимать, отчего неугомонный Друдл в свое время прозвал харзийца Конским Клещом. Да уж, отнюдь не за въедливость или привычку цепляться к собеседнику хуже репейника... Что-что, а обращаться с лошадьми Эмрах умел. И Кос с Заррахидом, и Кунда с Фаризой, и Но-дачи с Асахиро, и даже Ниру с ножами Бао-Гунь — все они выгодно отличались от Меня-Чэна знанием конских статей и повадок, но до ит-Башшара и Пояса Пустыни им было далеко.

Впрочем, выносливость и ровный шаг Демона У частично скрадывали нашу относительную неумелость, и я довольно быстро приловчился не хлопать раздражительного Демона по боку, когда не требовалось.

А большего от нас никто и не ждал.

Не скачки, однако...

...Мы проезжали разбросанные в низинах деревни, затопленные рисовые поля, тенистые рощи — и только к вечеру перед нами выросла невысокая горная гряда, освещенная багровыми отблесками предзакатного солнца.

— Остановимся на ночлег? — тихо спросил Заррахид.

Я согласно кивнул, потом подождал, пока Чэн придержит Демона У, и вылетел из ножен, вскинувшись вверх.

Все послушно остановились.

— Привал! — звонко объявил Я-Чэн. — Разбиваем лагерь!..

Ниру и ножи Бао-Гунь, похоже, собирались скакать всю ночь, но внешне ничем не выказали своего недовольства, признавая в нас с Чэном предводителей.

Остановились мы в небольшой ложбине, по каменистому дну которой протекал ручей, скрываясь в осыпи. Коней тут же стреножили и пустили пастись на склоны, а Заррахид с Косом немедленно принялись втихомолку советоваться с Но-дачи и Асахиро и громогласно отдавать распоряжения от нашего с Чэном имени.

Распоряжения оказались на редкость толковыми, лагерь обустроился быстро, и, по-моему, у всех сложилось впечатление, что этим они обязаны исключительно нашему мудрому руководст-

ву — хотя на самом деле Я-Чэн понятия не имел, как разбивается походный лагерь (если не предполагать, что он разбивается на мелкие части, после чего все расходятся удовлетворенными).

Правда, последователи Истины Батин — не считая Пояса Пустыни с Эмрахом — тоже мало что смыслили в походной жизни, так что наше невежество осталось почти незамеченным.

Вот вам и предводитель! Тут не то что страной — небольшим отрядом и то управлять не умею...

...В центре лагеря уже вовсю полыхал костер, и Ниру с Матушкой Ци под руководством вездесущего Коса усердно колдовали над каким-то варевом.

По мнению Чэна, варево пахло весьма аппетитно.

— Зеленая шурпа с кореньями! — наконец объявил ан-Танья и сразу же добавил: — По фамильному рецепту семьи Анкоров Вэйских!

Чэн о подобном рецепте и слыхом не слыхивал, но все ели да похваливали — сам Чэн похваливал бы громче всех, но стеснялся, — а мы, Блистающие, собрались тем временем в большом шатре.

Говорили вползвона и как-то скупо. О чем? О том, что завтра мы скорее всего доберемся до несчастной деревни Сунь-Цзя близ границы песков Кулхан — вернее, до того, что от этой деревни осталось; о том, что Диких Лезвий Шулмы там уже наверняка не окажется — и нам придется искать их неизвестно где и неизвестно сколько...

О том, что шулмусы могли успеть попросту отправиться обратно через Кулхан — об этом старались не говорить. Как и о том, что будет, когда (если) мы их настигнем.

Кунда все время зло ругалась, а Обломок угрюмо помалкивал.

Потом вернулись сытые люди, и мы с Но-дачи отправились по-Беседовать при свете костра на сон грядущий. И все получилось очень даже неплохо. Просто здорово получилось. Изящно и красиво, в лучших традициях эмирата.

И тем, кто смотрел на нас, — им тоже, по-моему, понравилось, хотя мы с Но не очень-то обращали на них внимание.

А после все пошли спать.

Кроме часовых.

3

Утром собрались по-прежнему споро и деловито — я честно напускал на себя озабоченный блеск, предоставив реально распоряжаться Косу с эстоком. В конце-то концов, должен быть у предводителя толковый помощник? Должен. Хвала Небесным Молотам за это? Понятное дело, хвала!

Ну и не будем сами себя перековывать!

Маскин с Эмрахом пригнали коней. Я-Чэн прекрасно видел, с какой откровенной завистью эта парочка поглядывает на нашего Демона У. Что ж, всяк хорош на своем месте — это я о себе, не о них...

— Послушай, Маскин, — обратился я к харзийцу, зная, что Чэн говорит то же самое Эмраху, — я тут подумал... Забирай себе моего Демона! Я все равно наездник не ахти — а твоему Придатку такой конь в самый раз придется. И не спорь со мной! Бери Демона, а я велю заседлать твою буланую...

Маскин Седьмой-Тринадцатый сверкнул и тут же ногас.

— Я и не спорю, — ответил он. — Не спорю, но и Демона не возьму. Сразу видно, Единорог, что ты на пеших Беседах вырос... как и вся твоя родня. Это же твой конь, понимаешь? Твой! Не говоря уже о том, что он — дареный... Да он и не подпустит к себе другого Придатка, кроме твоего Чэна! А нашу буланую я знаю, и чего от нее ждать — тоже знаю... а ждать от нее можно многого, так что ты не очень-то зазнавайся! Договорились?

Я согласно качнулся, а Чэн молча отошел в сторону, задумчиво хмуря брови.

...И мы снова ехали, взбираясь все выше и выше, тропа становилась уже и круче, она вилась над обрывами, испуганно вжималась в скалы, — мы двигались медленно, осторожно, опасливо, но мы двигались вперед.

Незадолго до полудня мы благополучно миновали перевал — и увидели.

Перед нами внизу — но не слишком далеко, потому что эти горы не были горами Сафед-Кух — скоплением черных угольев лежало то, что еще совсем недавно называлось деревней Суньцзя. Вокруг пригоршни праха были разбросаны неровные желто-зеленые пятна полей и огородов, а еще дальше — но все равно клинком подать, если смотреть с перевала, — до самого горизонта, выбеленного неумолимым солнцем, сколько хватал взгляд, простирались бурые и бесстрастные пески.

Кулхан.

Плохие пески.

И не просто, а очень плохие.

4

Деревня сгорела. Полностью. Дотла. Я и не знал, что поселение способно сгореть таким образом. От домов остались лишь почерневшие обвалившиеся остовы, которые неутомимый труженик-ветер уже наполовину занес песком. Из-под обугленных развалин кое-где выглядывали присыпанные пеплом кости и черепа.

Я все чаще просил Чэна убирать руку аль-Мутанабби с моей рукояти, чтоб не чувствовать за двоих тошнотворный смрад застарелой гари и паленого разлагающегося мяса.

Он убирал руку — но это помогало мало. Совсем это не помогало.

Мы заставляли себя смотреть. Мы заставляли себя запоминать. И не отворачиваться. То, что было с нами до этой минуты, выглядело сейчас мелкой забавой. Чэну-Мне особенно врезалась в память яркая тряпичная кукла, которую огонь и ветер по неясной прихоти пощадили, и сжимавшая ее детская рука. Просто рука, без тела. Кукла, рука и ветер, играющий с горелым песком.

До сих пор у любого из нас была возможность выбора. Выбора пути, выбора между жизнью и смертью — другое дело, какой ценой! — выбора того или иного поступка. А какой выбор был у этого ребенка?!

Эту деревню — такой, какой она была сейчас, — стоило сохранить. И возить сюда Блистающих, желающих научиться убивать.

Они научились бы.

И таких деревень стало бы много.

«Вот она — безысходность Истины Батин», — подумал Я-Чэн.

Но вслух мы ничего не сказали.

...Ни одного Блистающего мы не нашли. Те, кого шулмусы и Дикие Лезвия не забрали с собой, были убиты и сброшены в колодец.

Прообраз священного водоема Желтого бога Мо.

Мы молча постояли над этой могилой, обнажившись, — и двинулись прочь.

Вокруг нас сочилась пылью и страхом Шулма.

Отныне — Шулма.

5

— Куда они могли направиться?

Ножи Бао-Гунь не ответили. Взгляд знахарки Ниру не выражал ничего, губы плотно сжаты.

— Куда они могли направиться?!

Не сразу, но смысл вопроса дошел до них.

— Туда, — острие одного из ножей и правая рука Ниру указали на северо-запад, к невидимой отсюда границе песков Кулхан. — Если не задержались, осматривая окрестности.

— Почему именно туда?

Я уже понимал, что это еще не нашествие, а просто передовой отряд, который не двинется в глубь страны до подхода основных сил.

— В это время года в Кулхан можно войти и выйти только

там. Левее — зыбучка. Справа — черный песок, кони собьют копыта.

— Даже подкованные?

— Подкованные — на день позже.

— Тогда — едем!

Кони с облегчением рванулись вперед — и вскоре бывшая деревня Сунь-Цзя скрылась за пологими холмами, поросшими редким клочковатым кустарником.

Ехали до самого заката.

Когда начало темнеть — разбили лагерь. Ни шуток, ни разговоров, ни Бесед. Люди молча поужинали и, выставив дозор, забрались в шатры.

Я лежал рядом с Чэном. Его правая рука покоилась на мне.

Мыслей не было. Только гулкая звенящая пустота — одна на двоих.

Сон долго не шел.

Потом пришел.

Тот самый сон.

А потом мы проснулись.

6

...Заррахида с Саем, равно как и Коса, в шатре не было — мы с Чэном отыскали их снаружи, где они предавались обычному занятию: оба Блистающих (Сай уже понемногу начал перенимать замашки эстока) и деятельный ан-Танья всячески распоряжались.

Причем распоряжались сразу всем: приготовлением завтрака для Придатков, свертыванием лагеря, седланием лошадей, и так далее, и тому подобное, не считая множества разных мелочей. Распоряжения шли, разумеется, от имени Высшего Дан Гьена и Высшего Чэна Анкора. Мы с Чэном их всемерно одобрили (про себя!) и принялись наблюдать за всей этой суматохой, изображая снисходительное удовлетворение расторопностью своих дворецких.

Благодаря тому, что мы молчали и ни во что не вмешивались, отряду весьма быстро удалось продолжить путь.

Нас по-прежнему вела семья Метательных ножей; Чэн скакал бок о бок с их Придатком, знахаркой Ниру. Слева, сразу за узкой полоской полей, по краю которой мы ехали, возвышались скалы, справа — подступала изрытая оврагами, иссохшаяся и покореженная земля.

Еще не Кулхан, но уже — почти.

Почти.

Это только в Беседе почти не считается...

Проехать, как я понял, можно было только здесь — и я ста-

рался не думать о том, что будет, если дичь давно ушла от преследования.

Поля вскоре закончились, начались унылые солончаки, безрадостно-одинаковые, а за ними просматривалась гряда песчаных барханов.

Мохнатая неказистая кобылка, на которой ехала Ниру с ножами Бао-Гунь, остановилась.

— Вон граница песков Кулхан, — неторопливо звякнул верхний нож.

Я выскользнул из ножен и взмыл над головой Чэна.

Вскоре наш растянувшийся отряд собрался вокруг нас.

— Они должны были выйти именно сюда? — осведомился Чэн у Ниру.

— Да, — коротко отозвалась та. — И пришли тоже отсюда.

— Тогда снимаем поклажу и осматриваем окрестности. Глядишь, отыщутся какие-нибудь следы...

Пока коней освобождали от тяжести свернутых шатров, провизии и бурдюков с водой, мы с Чэном подъехали к Асахиро и Но-дачи.

Кстати, только сейчас я сообразил, что Обломок за всю дорогу так и не произнес ни единого слова.

— Как ты думаешь, Но, где их искать? — негромко поинтересовался я.

И увидел, как Дзю глядит куда-то в сторону, высовываясь у Чэна из-под локтя.

— Не надо их искать! — громко и отчетливо заявил Дзю.

И уже тише добавил:

— Вон они... сами нашлись.

Это и были первые слова шута за истекшие двое суток дороги.

7

...Облако глухо ворчащей пыли неслось на нас. Нет, не неслось — расстояние было довольно-таки большим, и поэтому казалось, что облако просто разрастается, вытягиваясь поперек собственного пути, выгибаясь краями навстречу нам, словно буро-ржавый Чань-бо устремлял вперед свой полумесяц...

— Ориджиты, — бросил Асахиро.

— Кто? — не оборачиваясь, спросил Я-Чэн.

— Дети Ориджа. Племя такое...

— Откуда знаешь?

— Вижу...

И он замолчал.

Не знаю, что там видел Асахиро, — ни я, ни Чэн ничего толком разобрать не могли. Напряжение, копившееся во мне с недавних (или давних?) пор, заставляло меня звенеть, подобно

струне чанга в ожидании прикосновения умелых пальцев чангира, и я лишь недоумевал — почему мы медлим, почему ждем, почему?!.

И запоздалое понимание обожгло меня пламенем невидимого горна.

Все они — Тусклые, Блистающие, Заррахид, Но-дачи, Кунда Вонг, Сай, Пояс Пустыни, мудрый Чань-бо, восьмерка метательных ножей из сожженной деревни...

Все они — люди Истины Батин, Кос, Асахиро Ли, Фариза, Эмрах ит-Башшар, Матушка Ци, выгоревшая изнутри знахарка Ниру...

Все они ждали моего приказа.

Их судьбы, помыслы и желания, их пути — всех и каждого в отдельности, — как полосы стали в общем клинке, сошлись к единому острию, и острием этим по воле случая был я, Мэйланьский Единорог!

Не самый старший, не самый опытный, не самый мудрый — но возможности выбирать или сомневаться мне не оставили.

Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл,
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Я вылетел из ножен, дети Ориджа сразу стали ближе; и земля вокруг нас задрожала.

8

Примерно в сотне выпадов от места нашей стоянки и в двух сотнях от холма, с которого мчались шулмусы, лежал огромный валун — глыба выглаженного солнцем камня в человеческий рост.

Вот у него-то мы и встретились.

Сейчас, когда я вспоминаю об этом, когда лава, кипевшая во мне, подернулась пеплом и коркой времени, я понимаю: судьба еще до начала боя, до первого звона и первой раны, рассмеялась своей удачной шутке и выгнулась от удовольствия.

Мы, дети Кабира, Мэйланя, Харзы, искушенные в бескровном искусстве Бесед, мы собирались убивать без пощады и сожаления; и в то же время надвигающаяся Шулма собиралась взять нас живыми!

Воистину: не хочешь жертвовать собою — не рвись Беседовать с судьбою...

Не рвись еще и потому, что после, спустя один день или по прошествии многих лет, в памяти не остается связной картины случившегося, как если бы кусок твоей жизни был небрежно скомкан, изорван и пущен по ветру. Любую из Бесед своей жизни я, если сильно захочу, могу вспомнить, вспомнить подробно и

обстоятельно, а вот бой с детьми Ориджа у песков Кулхан — не могу.

Так, обрывки, осколки, отголоски... эхо, пыль, лязг, крики, прыгающая земля, скрежет...

Вот навстречу летят какие-то веревки с петлями на конце, и огромный изогнутый клинок Но-дачи чертит воздух косыми взмахами, рассекая витой волос.

Вот — короткая литая булава с глухим уханьем выбивает Фаризу из седла, и над упавшей девушкой пляшет буланая кобыла, на спине которой пляшет оскаленный Эмрах ит-Башшар, в чьих руках пляшут Пояс Пустыни и подхваченная на лету Кунда Вонг; и пляска этого взбесившегося смерча подобна... не знаю я, чему она подобна, а придумывать не хочу.

Вот — спешенная Матушка Ци прижалась спиной к валуну, и лопата забывшего о мудрости и невозмутимости Чань-бо безостановочно подсекает ноги отчаянно ржущих лошадей, шарахающихся в стороны от звона бубенцов и мелькания лент.

Вот еще — знахарка Ниру прямо с коня прыгает на валун, и шесть метательных ножей, один за другим, с пронзительным воплем летят в гущу схватки, и вокруг меня на миг становится просторно, — но лишь на миг, а Ниру с оставшимися двумя ножами соскакивает с валуна, становясь рядом с задыхающейся Матушкой Ци...

Земля качается, мир пьян и безумен, я чувствую, как хмель сражения захлестывет Чэна с головой, делая взгляд веселым и диким, а тело в приросшей броне — послушно-невесомым. «Аракчи! — вопят шулмусы. — Мо-о аракчи!.. Мо-о-о-о...»

Про себя я помню только то, что мне было жарко.

Жарко и мокро.

И еще — Заррахид, мой спутник, мой дворецкий, мой тиран и надсмотрщик, мой эсток Заррахид, тень моя... везде, где не успевал я, успевал он.

А ко́гда однажды не успели ни он, ни я — успел Сай Второй, звенящей вспышкой вырвавшись из пальцев Коса и вонзившись до половины в чье-то искаженное лицо. Обломок в левой руке Чэна метнулся вперед, неистово лязгнув, зацепился за ус Сая, рванул — и через мгновение Сай уже летел обратно к ан-Танье под напутственную ругань Дзю...

Я-Чэн не знал тогда, что наш и без того небольшой отряд успел уменьшиться чуть ли не вполовину; не видел Чэн-Я и ужаса в глазах рыжеусого воина, со стороны наблюдавшего за побоищем и оставившего при себе всего одного шулмуса-телохранителя, потому что остальные были брошены в бой, как последние дрова в пылающую печь; просто Демон У в очередной раз, храпя, взвился на дыбы, вознеся нас высоко над горнилом схватки, — и поверх макушки валуна Я-Чэн увидел завершение «Джира о Чэне Анкоре Вэйском».

От знакомого холма, разъяренно визжа и терзая обезумевшую лошадь, к нам неслась Мать всех алмасты, Шестиносая Аала-Крох, а за ней, за бешеной ведьмой с разметавшимся знаменем смоляных волос, по пятам следовали беловолосый гигант Амбариша, вознесший к небу огненный меч, и голый по пояс исполин Андхака, покрытый черной шерстью, чья двуручная палица-гердан грозила привести к концу этот и без того бренный мир.

Последним скакал очень хороший человек, платящий кабирскими динарами слепым сказителям Мэйланя, а сейчас размахивающий кривым мечом-махайрой.

— Чин! — из последних сил закричал Чэн-Я. — Чи-и-и-ин!.. Гвениль! Жнец!.. Кобла-а-а-ан!..

— Я т-тебе женюсь, мерзавец! — рявкнула благородная госпожа Ак-Нинчи, вихрем проносясь мимо меня. — Я т-тебе...

Волчья Метла только презрительно смахнула с коня зазевавшегося шулмуса, не удостоив меня даже словом.

«Они же... они же не умеют убивать!» — смятенно подумал я, и тут же один-единственный удар Гвениля убедил меня в обратном.

Меня да еще того несчастного шулмуса, что подвернулся под этот удар.

Видимо, судьба продолжала смеяться; видимо, сегодня был тот день, когда всему учатся сразу и навсегда или не учатся вовсе.

Только сейчас я почувствовал, как ноет мой избитый клинок.

ГЛАВА 20

1

— Уходит! — услышал я отчаянный звон Пояса Пустыни. — Уходит! Ах ты... врешь, достану!..

Шипастый Молчун в руках наскакавшего Коблана поднялся совсем недалеко от меня, опустился, снова поднялся... и я оказался вне боя.

В пяти выпадах от грохочущего Гердана из свалки вылетела буланая кобыла ит-Башшара и мгновенно распласталась в стремительном галопе, удаляясь по направлению к Кулхану. К спине кобылы прилип харзиец Эмрах, потомок кочевников-хургов, и его талию крепко обнимал неудачливый Тусклый, Маскин Тринадцатый, Пояс Пустыни.

Я лишь успел заметить, что Кунды Вонг с ними нет и что правая, раненная еще в Мэйлане рука Эмраха болтается в такт скачке. За кем они гнались — этого я тогда еще не знал, но, повинуясь неясному порыву, описал короткую дугу и плашмя ожег ударом круп Демона У, донельзя возмущенного таким обращением.

И тогда я понял, какого коня подарила нам Юнъэр Мэйланьская. Увидев впереди себя буланую кобылу, Демон У забыл обо всем — о сражении, обиде, усталости — и ринулся в погоню с громовым ржанием. Я молил Небесные Молоты только о том, чтобы железные пальцы аль-Мутанабби не выпустили мою рукоять (Обломка Чэн все-таки успел сунуть за пояс, и сейчас Дзю стучал о панцирь, проклиная все на свете), а пространство вокруг нас билось в падучей, пока вороной Демон несся по иссохшей земле со всех своих четырех, восьми, шестнадцати или сколько там у него было ног.

Пыль налипла на мой влажный клинок, и когда мы поравнялись с Поясом Пустыни, то я с трудом разобрал, что он хочет сказать мне.

— Вон! — звенел Маскин. — Вон они!.. Вон-н-н...

Некоторое время мы шли вровень, и казалось, что Демон и буланая Эмраха вообще стоят на месте, а две косматые низкорослые лошадки впереди нас, упираясь и толкая землю копытами, подтягиваются к нам на невидимом канате, и их седоки-шулмусы все чаще оборачивают назад блестящие от пота и напряжения лица.

В последнюю секунду, когда до беглецов было клинком подать, Эмрах бросил поводья, вскочил обеими ногами на спину своей буланой и, так и не расстегнув Пояса Пустыни, обрушился всем весом на ближайшего всадника, злобно топорщившего рыжие жесткие усы.

Их тела, падая наземь, тесно переплелись, второй шулмус резко осадил коня, разрывая ему рот, — и на несчастное животное налетел наш Демон, тут же вцепившись зубами ему в холку, а я навершием рукояти ударил откинувшегося шулмуса в лицо, так и не дав ему обнажить кривую легкую саблю с клювастой рукоятью.

Шулмус вылетел из седла, и Чэн немедленно спрыгнул на землю, предоставляя Демону У самому разбираться со своим истошно ржущим противником. Уж кому-кому, а Демону помощи явно не требовалось.

Впрочем, любая помощь сейчас была бы излишней. Выбитый мною шулмус лежал неподвижно — кажется, он сломал себе шею, — всем телом придавив зарывшуюся в песок саблю; подопечный Эмраха был жив, но оглушен падением, и ит-Башшар уже умудрился, пользуясь лишь здоровой левой рукой и зубами, связать ему запястья отобранной у шулмуса веревкой с петлей, словно предназначенной для подобных целей.

Перед тем, как вытереться об одежду мертвого шулмуса, я обернулся и посмотрел назад.

Пыль над местом сражения уже начинала оседать.

Демон У наконец позволил питомцу шулмусских степей вы-

рваться и убежать, потом игривым шагом подошел к кобыле Эмраха и ткнулся мордой ей в плечо.

Кобыла не возражала.

2

...Возвращались шагом, не торопясь. Демон У недовольно всхрапывал, злясь на необходимость везти изловленного шулмуса, перекинутого через седло; я слегка постукивал ножнами о бедро Чэна и размышлял о неизбежном.

Что делать с пленными Дикими Лезвиями?

Что делать с пленными шулмусами?

Что делать с погибшими — своими, чужими, Блистающими и пришлыми?

Что вообще делать дальше?

Что делать с Чин?!.

Последняя мысль принадлежала Чэну, и тяготила она его, похоже, больше всех остальных, вместе взятых. Я внутренне усмехнулся. Ну что ж, раз нас двое — значит, и забот вдвое...

«Увы, нас теперь не двое, — невесело подумал Чэн. — Нас теперь ого-го сколько!.. И забот — соответственно...»

Позади, под надежным присмотром Пояса Пустыни и Эмраха ит-Башшара, ехали захваченные сабли и кривой нож рыжеусого. По мере приближения к памятному валуну они все чаще делали вид, что никем и ничем не интересуются, но сами исподтишка и не без некоторого содрогания оглядывали поле боя.

У камня понуро сидели десятка полтора связанных шулмусов, выпадах в семи-восьми от них тускло поблескивала груда плененных Диких Лезвий; кому-то еще скручивали руки — устало, но деловито, — кому-то обрабатывали раны; чуть поодаль бродила троица наших батинитов, подбирая уцелевшие клинки.

Мы сгрузили пленников, присоединив их к остальным (подобных с подобными), и, забыв на время о Шулме, принялись оценивать потери и считать уцелевших.

Своих.

Да, Блистающим повезло куда больше, чем Придаткам. Погиб, переломившись у самой рукояти, самый младший из Метательных ножей Бао-Гунь, да еще Тусклая сабля Талвар, чьим Придатком был один из батинитов, не выдержала прямого столкновения с каким-то из шулмусских топоров. Остальные были более-менее целы, царапины и зазубрины — не в счет.

Из людей же раненными оказались практически все. А пятеро батинитов познали в этой битве Истину Батин раз и навсегда.

Прошлые боги наверняка остались довольны.

Впрочем, многое из этого выяснилось уже потом, поскольку не успели мы с Чэном как следует оглядеться, как нас подхватил

ураган — неистовый, лохматый, весело гогочущий и сверкающий молнией двуручного эспадона.

— Здорово, Однорогий! — радостно свистел огненный меч Гвениль. — Ах ты тоненький мой, ах ты легонький мой... Ну и скор же ты — мы прямо замаялись тебя искать да догонять!.. Ну иди, иди сюда, я об тебя хоть звякну как следует!

— Гвен! Клянусь священным водоемом, ты еще длиннее стал!..

Я вылетел навстречу Гвенилю, чуть ли не обвившись вокруг его массивного клинка, и вдруг удрученно понял, что обмен любезностями придется отложить.

На неопределенное время.

Потому что к нам уверенно направлялись Волчья Метла и благородная госпожа Ак-Нинчи из пылкого рода Чибетей — обе всклокоченные, обе гневные, обе преисполненные негодования, — и Гвениль с Фальгримом Беловолосым благоразумно отошли в сторонку.

Чэн судорожно вцепился в мою рукоять, ища поддержки, а я с тоской подумал о тех золотых временах, когда мне не приходилось выслушивать ссоры Придатков.

— Так вот, значит, зачем ты удрал из Кабира! — задыхаясь от возмущения, кричала Чин, наступая на растерявшегося Чэна. — Жениться надумал, герой? Правителем решил стать?! Жеребец мэйланьский! Дикий осел! Меня, значит, побоку — и к новой дуре под крылышко?! Асассинов в ее постели искать! Ловить их за что ни попадя! Да лучше бы тот выродок, тот убийца приблудный, тебе на турнире не руку, а голову отрубил! И заодно того Единорога, что у тебя, подлеца, под шароварами!..

Я обиделся, но промолчал.

Выродок и приблудный убийца Асахиро Ли бочком-бочком отступал за валун, а Но-дачи безуспешно прятался за его спину и изо всех сил старался не привлекать внимания Волчьей Метлы.

— А на этот раз куда изволили направиться, Высший Чэн?! — продолжала меж тем Ак-Нинчи, нимало не успокоившаяся. — Надоели мэйланьские красавицы? В Шулме поискать захотел — или как там эта дыра называется?! Так я тебе поищу, подлый обманщик, *я тебе побегаю — ты от меня и в Нюринге не спрячешься*!..

— С тобой — хоть в Нюрингу! — попробовал было отшутиться взмокший Чэн, но тут Волчья Метла решила принять участие в разговоре и прыгнула вперед.

Я опоздал, отвлекшись на крики Чин, — зато недремлющий Обломок выскочил из-за пояса и с недоуменным лязгом: «Сам не пойму, и чего это я лезу в семейные сцены?!» — отбил первый выпад в сторону.

Пытаясь не дать ссоре разгореться еще больше — зная Дзю, от его вмешательства не стоило ждать иного, — я скользнул к вер-

тящейся Метле; мы впервые за столь долгое время коснулись друг друга — и выяснили, что это прикосновение приятно нам обоим. И мы мгновенно забыли о раздорах наших Придатков, о минувшем побоище, обо всем на свете; мы полностью ушли в Беседу, как не раз бывало раньше, в Кабире, в тихом мирном Кабире, где я не знал, что Придатки — это люди, что Блистающие — это оружие, а у Чэна были на месте обе руки, и тень Шулмы не делала день — темным, а ночь — опасной, и будущее было ясным и прямым, как мой собственный клинок, играющий солнечными бликами...

Я Беседовал с Волчьей Метлой и думал о том, что все будет хорошо. Даже если все плохо — все обязательно будет хорошо. А иначе надо до половины уйти в землю и попросить Чэна посильнее пнуть ногой рукоять.

А ведь не пнет — сколько ни проси... вот поэтому все непременно будет хорошо.

...Я в очередной раз легким движением прошелся между полированными зубцами Волчьей Метлы — и мы застыли, не шевелясь.

Не сразу я понял, что Чэн и Чин тоже стоят, обнявшись, и целуются.

Похоже, им тоже было неплохо...

3

— И жили они долго и счастливо, и родилась у них Волкорогая Метелка, — проворчал Дзюттэ из-за плеча Чин, поскольку Чэн продолжал сжимать его в левой руке.

Мы нехотя расплели объятья и, словно очнувшись, огляделись по сторонам. Оказывается, за это время многое успело произойти. Двое батинитов и Эмрах под началом держащегося за бок и охающего Коса перегоняли лошадей с поклажей за холм — устраивать лагерь у валуна, где воздух до сих пор пах кровью, было бы верхом глупости. Семейство Метательных ножей вновь радовалось жизни, хотя радость эта изрядно отдавала горем потерь: во вьюке какого-то шулмуса обнаружились захваченные в плен Блистающие, и среди них — два ножа Бао-Гунь, извлеченные шулмусами из тел воинов, убитых Ниру еще в скалах близ деревни Сунь-Цзя.

Фариза что-то усердно объясняла пленным ориджитам, во все глаза глядевшим на нас с Метлой и на Чэна с Чин; Диких Лезвий в груде явно прибавилось, как, впрочем, и шулмусов у валуна — тех уже оказалось более трех десятков, причем половина была серьезно ранена. Матушка Ци и Диомед, которому Чэн был обязан «Джиром о...», закончили хлопотать подле наших раненых и теперь оказывали посильную помощь пленникам; Асахиро

и почему-то Коблан занимались несколькими хромающими лошадьми.

Я подумал, что пора брать руководство на себя — то бишь не мешать всем делать то, что они считают нужным, — а Чэн отметил, что Фариза слишком уж долго беседует с ориджитами, бледными и сильно испуганными.

— Что ты им объясняешь? — поинтересовался Чэн-Я у Фаризы.

После удара булавой — к счастью, пришедшегося вскользь и только оглушившего Фаризу — та плохо слышала, и вопрос пришлось повторить.

— Да вот, спрашивают, что это между вами сейчас вышло, — хитро усмехнулась Фариза. — Пришлось объяснить... а то они решили, морды немытые, что вы добычу не поделили или там рабов...

— И что ты им сказала, гроза степей?

— Сказала, что свадьба у вас скоро... вот, мол, и привыкаете к семейной жизни. Кажется, на них это произвело большое впечатление...

«Ну да, они же не знают, что такое Беседа! Для них это — бой, бой насмерть...»

— Впечатление — это хорошо, — задумчиво проговорил Дзюттэ, выслушав содержание разговора в моем изложении. — Впечатление надо создавать и всячески поддерживать... первейшая заповедь любого шута.

И он многозначительно умолк.

Вот тут-то до Меня-Чэна дошло, что на самом деле хотел сказать Обломок.

И мы сделали все необходимое, чтобы это дошло и до всех остальных. А они, эти остальные, оказались на редкость понятливыми — хоть Блистающие, хоть люди — и немедленно принялись за дело.

Для начала мы перебрались за холм сами — кстати, там обнаружилась рощица чахлых и горбатых деревьев, что было и впрямь кстати, — и перегнали туда же шулмусов, перевезя тяжелораненых и Дикие Лезвия на полотнищах шатров, растянутых между безотказными лошадками. А дальше мы взялись за дело. Мы ставили шатры, перевязывали раны, готовили еду...

Но как!

Я-Чэн видел — как, потому что сам непосредственно в представлении участия не принимал, расположившись на пригорке и со стороны наблюдая за происходящим.

...за тем, как Матушка Ци и Чин старательно перевязывают шулмусов заново, а могучий Гвениль в руках Фальгрима с устрашающим свистом отсекает лишние полосы ткани перед самым носом белых как молоко ориджитов — и Фальгрим с каждым ударом корчит такие рожи, будто и впрямь собрался поотрубать не-

счастным головы, а заодно и все не полюбившиеся ему части их тел.

...за тем, как Волчья Метла вместе с освободившейся Чин увлеченно подхватывают на зубцы веревки для шатров, спутавшиеся в один узел, и изящным броском переправляют Косу, чей Сай со всех трех рогов распутывает это безобразие, визжа от усердия.

...за тем, как Бронзовый Жнец играючи полосует подвешенные перед ним ленты сушеного мяса, и те совершенно одинаковыми ломтиками сыплются в подставленный казан.

И Блистающие, и Придатки постепенно входили во вкус. Словно из ничего на ровном месте менее чем за час встал лагерь, выросли шатры, в котлах закипела «шурпа по фамильному рецепту семьи Анкоров Вэйских», и кто-то уже успел соорудить примитивную коновязь, в которую тут же со свистом вонзились на равных расстояниях друг от друга все девять ножей Бао-Гунь — Ниру метала их лежа, будучи раненной в обе ноги, но ножи легли точно туда, куда и должны были лечь.

Эмрах здоровой рукой, незаметно шипя от боли, набросил на ножи свернутую в кольца упряжь и поводья нескольких лошадей.

— Дожили! — проворчал крайний слева нож. — Чтоб на меня — и этакую пакость вешали...

— Терпи! — наставительно оборвал его другой нож, видимо, старший в семействе. — Раз Высший Дан Гьен приказал — значит, он знает, что делает...

Я очень надеялся, что так оно и есть, но до конца в этом уверен не был.

Время от времени возникали споры и ссоры. Возникали они одинаково и заканчивались одним и тем же. К примеру, Шипастому Молчуну почудилось, что Но-дачи не совсем идеально срезал верхушку стойки, о чем Гердан со свойственной ему тяжеловесной прямотой так и заявил. Но-дачи, естественно, оскорбился, в долгу не остался, и некоторое время оба грозно звенели друг о друга, высекая искры, а потом как ни в чем не бывало расхохотались, улеглись на плечи Коблана и Асахиро и отправились, мирно разговаривая, к груде припасов, которую предстояло разобрать.

Тусклые с батинитами подняли на ноги дюжину шулмусов покрепче и отправились с ними к месту сражения. Вернувшись часа через полтора, они рассказали, что заставили шулмусов копать могилу обломками их же собственного оружия — дескать, пусть мертвые сами хоронят своих мертвецов. Я на миг представил Чэна, роющего могилу трупом меня, и содрогнулся от изощренной фантазии поклонников Сокровенной Тайны.

Неподалеку была вырыта еще одна могила — для погибших батинитов и Тусклой сабли Талвар, захороненных вместе. Я немного обиделся, что нас не позвали проститься, но решил не вмешиваться в таинства и ритуалы Истины Батин.

Впрочем, хоронить убитых — наших и ориджитов — пришлось бы так или иначе, и уж лучше так, чем иначе. Тем более что Дикие Лезвия не видели скорбной участи своих погибших собратьев, а шулмусы-люди расценили возможность захоронить покойных соплеменников как честь, оказанную победителями побежденным, о чем и не замедлили по возвращении рассказать детям Ориджа, остававшимся в лагере.

Все это рассказала Чэну-Мне полуоглохшая, но вездесущая Фариза, отыскавшая наконец свою драгоценную Кунду, — ту Эмрах в конце боя просто-напросто вышвырнул за пределы свалки, чем и спас от глупой смерти под копытами и ногами.

А Заррахид подтвердил, что Дикие Лезвия внимательно следят за нашим поведением и все время возбужденно переговариваются между собой. О чем они говорили — этого Заррахид не знал, но это и не было важно. Главное — они разговаривали. Значит, они способны Беседовать. Значит, рано или поздно...

Во всяком случае, мне хотелось так думать.

— Отдых, — сам себе сказал Чэн-Я, и Кос, сунув Заррахида в ножны, помчался с пригорка сообщать всем: хватит! Отдыхаем!..

Это было мое первое распоряжение.

4

...Диомед неторопливо кормил костер с руки, лежащий у него на коленях Махайра нежился в ласковых отсветах и громко рассказывал о том, как он, Волчья Метла, Шипастый Молчун и эспадон Гвениль были тенью ускользающего Мэйланьского Единорога.

Оказывается, мои друзья-преследователи задержались у Шешеза Абу-Салима и покинули Кабир почти на день позже нас. По дороге они останавливались в тех же караван-сараях, знакомились со слухами и сплетнями и двигались дальше, не нагоняя нас, но и не слишком отставая.

Ничего особенного в пути с ними не происходило (как, впрочем, и с нами, если не считать возникшего между нами общения), и опять же через день после нас вся эта погоня благополучно прибыла в Мэйлань.

Где и приглядывали за нами в меру возможностей, стараясь не появляться на виду...

— Да уж, приглядели, спасибо за заботу, — не вытерпел Обломок. — Грозный Бхимабхата Швета, что огнем в ночи пылает, съел Семи Небес ворота и драконовкой закушал... Благодетели!

Гердан и Гвениль недоуменно переглянулись. Ну да, конечно — ведь ни они, ни Волчья Метла, ни даже Махайра о «Джире о Чэне...» и так далее ничего не знают! Это ведь чисто человеческая выдумка — Диомед наболтал кучу глупостей сказителю, старый

дурак насочинял с три короба, Чэн слушал, я узнал от Чэна, Обломок и прочие — от меня...

Этого мне только сейчас не хватало! Снова начинать объяснять, что Придатки — не Придатки, Блистающие — не Блистающие и что вот рука аль-Мутанабби, вот Чэн, а вот я... а потом вот Чэн-Я или Я-Чэн...

Небось всю историю эмирата пересказывать придется!

Обойдутся... как-нибудь в другой раз, благо времени у нас навалом. Тем более что к словам Обломка никто особого интереса не проявил, сочтя их очередной выходкой Дзюттэ.

А если чего-то и не поняли — так кто ж признается, что он глупей шута?!

Я покосился на Волчью Метлу и с радостью отметил, что на меня она, похоже, больше не злится. У Чэна с Чин дела обстояли несколько сложнее, но тоже налаживались. На всякий случай я прислушался к разговору людей — правда, опасаясь испортить себе умиротворенное и расслабленное настроение.

Придатки — они не такие отходчивые, как мы... их Творец спросонья ковал.

— Ну вы и начудили в Мэйлане! — ухмылялся Кос, поминутно хватаясь за перевязанный бок.

Ему было больно смеяться, но не смеяться он не мог.

— Это надо же — ворота утащили, драконовку выпили, книгу родовую уволокли, один джир чего стоит!.. Да, кстати, ничего, что я вот так запросто, без церемоний? Андхака с Амбаришей не обидятся?

— Какие церемонии, Кос, — отзывалась Чин. — Наши церемонии в кабирском переулке остались...

— А драконовку, положим, и не всю вовсе выпили, — смущенно гудел кузнец, дергая себя за бороду. — Кое-что с собой прихватили... — и он глянул в сторону небольшого бурдюка, который после боя все время таскал с собой, никому не доверяя.

— Ну а здесь, здесь-то вы как оказались?!

— Как, как... — перебил собравшегося было отвечать кузнеца Диомед. — Вы ведь исчезли! Мы ночь пробегали — и во дворец...

Я успокоился за людей и стал слушать Махайру, по которому, надо признаться, порядком соскучился.

— ...и во дворец! А там у спиц Мэйлань-го как раз заседание Совета Высших! Ну, мы ведь тоже почти все Высшие — пустили нас, знакомьтесь, говорят, это вот секира Юэ Сач-Камал, глава здешних Тусклых! После этого мы уже ничему не удивлялись... Проводника они нам дали. Местный, Охотничий нож Ла. Вон он лежит, с теми Блистающими, что мы из плена отбили. У Придатка его лошадь плохая была, он отстал сперва, когда мы с холма-то... а потом... Ну, в общем, испортили у ножа Ла Придатка. Совсем. А нам еще перед самым отъездом из Мэйланя этот Тусклый, Юэ Сач-Камал, через Придатка своего старого тыкву-

горлянку передал. Пусть, говорит, ваши Придатки перед боем оттуда по четыре капли отопьют. Больше не надо, а по четыре — в самый раз. Проще, говорит, им тогда будет... Только не успели они — не то что выпить, даже вынуть не успели. Некогда было... Так что теперь мы все — Тусклые. Все как есть. И искать тебе, Единорог, некого. Вот они мы, рядышком! Лови — не хочу!

— А как же... — начал было я, но Махайра так и не дал мне задать вопрос до конца.

— У нас по пути деревня одна случилась, — пробормотал он и заворочался, словно неуютно ему стало. — И даже не деревня, а так... А в деревне — колодец. А в колодце...

И не договорил.

— После того колодца, — глухо закончил Шипастый Молчун, — нам все легко было.

— Значит, из людей убиты шестеро, — после долгой паузы заговорил Чэн-Я. — Пятеро батинитов и проводник, мир их праху... И ранены — все. Кто в живых остался. Один я вроде бы цел, спасибо Кобланову сундуку да доспеху аль-Мутанабби! Да уж, по-Беседовали...

— На бабке еще ни царапины, — шепнул подсевший ближе ан-Танья. — Тоже спасибо сундуку?

Зря это он... тем более что слух у Матушки Ци был острей меня, равно как язык — длинней и заковыристей Волчьей Метлы.

— Ни царапины на бабке, — забубнила она, непонятно зачем кланяясь на каждом втором слове, — ни царапины на старой, а все почему, а все потому, потому-поэтому, да и зачем же шулмусикам старуху-то обижать, я же им ничего плохого, ни-ни, пальцем не тронула, ни на вот столечко — а что лошадкам ихним ноги портила, так лошадки у них злющие, хвостами машут, копытами топочут, зубками клацают, едут на старушку и едут, едут и едут, я отмахиваюсь, а они едут, я отмахиваюсь, а они едут, а потом не едут, умаялись лошадки, да и я умаялась, старушечка...

«И впрямь умаялась, старушечка! — подумал Чэн-Я. — Полтабуна умаяла, бедная!..»

— Ты б лучше языком отбивалась, Матушка, — буркнул Кос, — а мы пока в сторонке полежали бы, в холодке... глядишь, целее были бы!

— А Коблан сильнее всех пострадал, — заметил Диомед. — Шишку на лбу видите? Фальгрим, вон головня, посвети-ка!.. Ну и шишка! Выше Белых гор!

Чин прыснула в рукав.

— Да это шулмус один, — застеснялся кузнец, пряча лицо в тень. — Все, подлец, норовил в бурдюк топором сунуть! Я бурдюк-то убрал, от греха подальше, так он меня обухом и зацепил! Ну и я его тоже... зацепил немного...

— Врет! — уверенно вмешался Диомед. — Об его лоб любой

обух раскололся бы! Небось сам себе герданом сгоряча и треснул, пока бурдюк спасал!

— Да не вру я... — начал было оправдываться кузнец, но его перебил Беловолосый:

— А ну покажи мне свой гердан!

Коблан протянул руку, уцепил Шипастого Молчуна и сунул его Фальгриму, чуть не съездив Диомеда по макушке.

— Вот! — победно сообщил Беловолосый. — Одного шипа не хватает! И шишка на лбу. Все сходится! Ты, Железнолапый, теперь вместо гердана прямо лбом бей — и проще, и надежней...

...Все еще некоторое время подтрунивали над огромным кузнецом, а потом вдруг застонала Ниру — у нее открылась рана, — и смех мгновенно смолк, Чин и Матушка Ци бросились к знахарке, а молчавшие пятеро батинитов сказали, что пусть все ложатся спать, а они будут караулить пленных, но Чэн-Я подумал, что им просто хочется побыть наедине с собой, Истиной Батин и душами убитых братьев, и...

Завтра.

Завтра, завтра, завтра...

Когда долго повторяешь одно и то же слово, оно теряет смысл, и ты дергаешь бессмысленный пузырь за ниточку, погружаясь в дрему; и так легче забыть то, что было, легче не думать о том, что будет; легче, легче, легче...

5

...легче легкого.

Мне было хорошо. Я лежал на палисандровой подставке и лениво оглядывался вокруг. А вокруг меня был зал, зал Посвящения в загородном доме Абу-Салимов, и напротив меня на своей подставке лежал ятаган Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир.

А между нами была колыбель. Даже можно сказать так — нас разделяла колыбель. Я находился в ногах, а Фархад — в головах. Наверное... потому что колыбель была покрыта тканью и я не видел новорожденного Придатка, а потому не знал, где у него голова, а где — ноги.

— Здравствуй, Фархад, — сказал я.

— Здравствуй, — ответил старый ятаган. — Только я — не Фархад. Я — Дикое Лезвие. Ты не боишься?

— Нет. Я тоже Дикое Лезвие. Чего мне бояться?

— Времени. Когда слишком долго Беседуешь со временем, оно начинает притворяться рекой. Ты плывешь по нему и думаешь о прошлом, а оно становится настоящим; ты думаешь о будущем, а оно тоже становится настоящим или вообще не наступает никогда, и ты плывешь сперва как Дикое Лезвие, потом как ятаган Фархад, потом ты плывешь большой-большой, как ятаган

Фархад иль-Рахш фарр-ла-Кабир, а после, неожиданно, время перестает притворяться, и ты пропускаешь удар, и отныне ты — никто, и можешь стать кем угодно...

Я молчал.

— Мы теперь с тобой больше, чем братья, Единорог... нас сжимала одна и та же рука. Я помню его, Придатка Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, я помню его, несмотря на то, что время убаюкивает меня... Я помню те дни, когда мы, Дикие Лезвия, становились Блистающими. Это были хорошие дни, это были плохие дни, и бой превращался в искусство, а Истина Батин была брошена под ноги Прошлым богам, и Дзюттэ тогда не звался Обломком — нет, те клинки, что упрямо не хотели забывать вкус крови, звали его Кабирским Палачом, потому что не один из них хрустнул в его объятиях... а шутом он стал позже, гораздо позже, когда уже можно было шутить.

Я молчал.

— Сейчас мы простимся, Единорог. Время подобно реке, время подобно сну, а твой сон сейчас закончится, и скоро, очень скоро ты окажешься клинком к клинку с Шулмой, с началом, с прошлым, пробравшимся в настоящее... не забывай, Единорог, что прошлые дни — это плохие дни, но это и хорошие дни, а время подобно не только реке и сну, оно еще подобно Блистающему...

Порыв ветра, пахнущего гарью, сбросил покрывало с колыбели, и я увидел Кабир, Мэйлань, Харзу, желтую Сузу, Белые горы Сафед-Кух, пески Кулхан, перевал Фурраш, дорогу Барра... я увидел младенца, ожидающего невесть чего, я увидел спящего младенца, над которым лежали двое Блистающих, два меча — старый ятаган Фархад и я, Мэйланьский Единорог...

А на ждущий мир падала тень, словно сверху над колыбелью была распростерта рука в латной перчатке.

— Ильхан мохасту Мунир-суи ояд-хаме! — прозвенел Фархад иль-Рахш.

— Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби! — отозвался я.

И рука над миром-младенцем сжалась в кулак.

ГЛАВА 21

1

...Я-Чэн вышел вперед и замер перед напряженно ожидавшей Шулмой.

Шулмусы-люди, десятка три с небольшим, половина из них серьезно ранена, но руки связаны у всех, и лица нарочито бесстрастны, слишком бесстрастны, чтобы это было правдой, а в

темно-карих глазах — и вовсе не черных, и не таких узких, как показалось вначале, — проступало сперва любопытство, после стояли гордость и стремление, что называется, сохранить лицо, а уже потом из-за плеча гордости стыдливо выглядывал страх.

Злоба? Ненависть?

Нет. Этого, как ни странно, не было.

И Дикие Лезвия Шулмы — добрая сотня ножей, сабель, копий, коротких угрюмых топоров и булав, два прямых меча, отчетливо узких и обоюдоострых («Родня!» — усмешливо подумал я), и все они еле слышно перешептывались между собой, искоса разглядывая меня и других Блистающих.

— Кто ж этакое добро-то ковал? — послышался сзади приглушенный рык Железнолапого. — Руки б тому умельцу повыдергать... а потом вставить куда надо, да не туда, где было!..

Гердан Шипастый Молчун только гулко ударил оземь, показывая, что сделал бы он с тем незадачливым Повитухой, попадись он ему.

Лишь сейчас я со всей ясностью увидел, что разница между Чэном и рыжеусым пленником-шулмусом невелика, но разница между любым Блистающим и Диким Лезвием, порождением степных кузниц...

Это даже трудно было назвать разницей. Да, они неплохо годились для того, чтобы портить Придатков, но за Блистающими стоял многовековой опыт мастеров-Повитух эмирата, их отточенное кузнечное мастерство, и в этом гордый Масуд и мудрый Мунир были едины.

Любой Блистающий, невесть какими путями попавший в Шулму, должен был казаться тамошним Диким Лезвиям чуть ли не божеством, родным сыном Небесного Молота, питомцем Нюринги или как там они это называли! Не его Придаток, чудом выбравшийся из Кулхана, — несчастное, изможденное существо, еле держащееся на ногах и умоляющее о глотке воды, — а именно Блистающий, которому нипочем переход через любые, пусть даже очень плохие, пески!

А ведь так оно, пожалуй, и было, Единорог... Так оно и было, и заблудший Блистающий был ожившим стихом аль-Мутанабби, и восхищенные Дикие Лезвия помещали пришельца в племенной шатер, их гордость и славу, клали его на почетную кошму в обществе себе подобных, как святыню на алтарь... и выпускали в круг не когда-нибудь, а во время большого тоя! Что равнозначно турниру в Кабире! Ну а когда божественный гость неожиданно для всех демонстрировал свое неумение пролить кровь...

«Чэн, — беззвучно воззвал я, — как назовут люди кого-то, кто выдает себя за божество... ну, к примеру, за божество Грома, не умея при этом вызвать грозу?»

«Лжецом, — пришел неслышный ответ. — Самозванцем».

«А если этот кто-то во всем остальном подобен божеству, и люди не бывают столь могучими и прекрасными?!»

«Тогда — демоном-лжецом. Демоном, принявшим облик божества».

«Ты понял, что я хочу сказать?»

«Да. Я понял».

...Да. Он понял. Чэн-Я понял, что для Диких Лезвий Шулмы любой Блистающий, не умеющий убивать, — как для людей человек, не умеющий дышать, но тем не менее живой — был демоном-лжецом, оборотнем, Тусклым, кошмаром, неестественной нежитью... Сломать его! Утопить его! В священный водоем его, под опеку Желтого бога Мо!..

А вот если пришлое божество пусть не с первой попытки, но все-таки доказывало свою божественность, и, надо полагать, доказывало с успехом — небось Но-дачи снимал головы так, как опытным Диким Лезвиям и не снилось! — то возлагали его на пунцовую кошму и ночь напролет «выли над ним по-праздничному», и в круг выносили редко, и вообще старались лишний раз не докучать посланцу небес! Молились на него, должно быть, жертвы приносили, гимны посвящали... в набегах старались из чужих шатров выкрасть живые святыни, пускай ценой жизней шулмусских! Что ценней для Дикого Лезвия — жизнь шулмуса, не ставшего еще даже Придатком, или приход в племя нового божества?!.

Ах, Шулма, Шулма... Кабир, Мэйлань, Харза, Оразм, Хаффа — почти тысячелетие назад!

— Эй, Но, — через гарду бросил я, — ты их речь понимаешь?

— Какая там речь, — брякнул Но-дачи. — Разве это речь...

— Понимаешь или нет?!

— Плохо, — помолчав, ответил он. — Почти что нет.

— Асахиро, — спросил Чэн-Я, — ты их язык знаешь?

— Конечно, — удивился Асахиро. — Я ж тебе говорил, это ориджиты, они всегда неподалеку от нас, хурулов, кочевали... в смысле — от того племени, куда я с Фаризой принят был. У ориджитов речь шипит, как змея в траве, а так все то же...

Вот вам и Придаток! Пока божество с другими собратьями по божественному несчастью в шатре валялось... ладно, не время сейчас шутки шутить.

А время понимать, что в каждом Диком Лезвии до поры скрыт зародыш Блистающего, что дети они — буйные, жестокие, неразумные, любопытные, но дети, чего не понял оскорбленный Но-дачи и отлично поняли взрослые Чинкуэда, Змея Шэн и Джамуха Восьмирукий!..

Поняли, что на детей просто надо прикрикнуть!

— Переводи, — приказал Чэн-Я Асахиро, а Я-Чэн подумал: «Будем надеяться, что Дикие Лезвия поймут и без перевода... есть такие доводы, что всем понятны».

Были у нас такие доводы?

А Желтый бог Мо их знает!

Главное — не забывать, что дети долго и связно Беседовать не умеют, почти сразу сбиваясь на спор и крик.

Да, Наставник?.. Ах, до чего ж обидно, больно и обидно, что ты — это уже прошлое!

— Спроси у них, кто послал их в эти земли?!

Асахиро спросил. Чэн восхищенно прищокнул языком и подумал, что, чем такое говорить, лучше рой пчел во рту поселить. Пчелы хоть мед дают...

Шулмусы некоторое время переглядывались, пока все взгляды не сошлись на рыжеусом — не зря мы его ловили, нет, не зря! — и тот с некоторым трудом встал, вызывающе повернувшись в нашу сторону.

— Он говорит, — Асахиро без труда успевал переводить неторопливо-высокомерную речь знатного шулмуса, — что он — нойон вольного племени детей Ориджа, отважный и мудрый Джелмэ-багатур, убивший врагов больше, чем... так, это можно опустить... короче, больше, чем мы все, вместе взятые, и что скрывать ему нечего.

— Вот пусть и не скрывает, — кивнул Чэн-Я.

— Он говорит, — продолжал Асахиро, — что дети Шулмы неисчислимы, как звезды в небе, как волоски в хвостах коней его табунов, как... короче, много их и... и очень много.

— Понял, — поспешно согласился Чэн-Я.

— ...и их послал великий гурхан Джамуха Восьмирукий, любимый внук Желтого бога Мо...

— Пересчитавший все волоски в хвостах коней его табунов, — не удержался Чэн-Я.

Добросовестный Асахиро немедленно перевел, часть шулмусов помоложе, не удержавшись, хмыкнула и сразу же замолчала, а рыжеусый Джелмэ закусил губу и рявкнул что-то сперва своим ориджитам, а после...

А после и нам.

— Он спрашивает, знаем ли мы, над кем смеемся?

«Дети, дети... наш — значит, самый сильный, самый грозный, самый-самый... бойтесь, другие дети!»

— Скажи — знаем, — прищурился Чэн, а я покинул ножны и завертелся в руке аль-Мутанабби, превратившись в сверкающее колесо. — И спроси, знают ли они, в свой черед, кто перед ними?

Дикие Лезвия притихли, вслушиваясь в мой уверенный свист, а от толпы шулмусов послышалось уже знакомое: «Мо аракчи! Мо-о аракчи ылджаз!»

— Они говорят, что ты — Мо-о аракчи ылджаз.

Чэн-Я ждал продолжения.

— Арака — это такой напиток, — принялся объяснять Асахиро, — вроде фуррашской чачи, только из кобыльего молока и по-

слабее. Аракчи — это тот, кто араку пьет. Чаще, чем принято. Пьяница, в общем. А Мо-о аракчи — это тот, кто пьет перед боем невидимую араку из ладоней Желтого бога Мо. В любом племени гордятся Мо-о аракчи, но в мирное время вынуждают их кочевать отдельно от остальных. Побаиваются... Ну а ылджаз — это дракон. Большой. И с тремя головами.

— Ну вот, — пробормотал Чэн-Я, — значит, я теперь Мо-о аракчи ылджаз. Грозный, пьяный и с тремя головами. Еще три дня назад я был демон-якша Асмохата и его волшебный меч, что огнем в ночи пылает... и вот на тебе!

— Асмохат-та! — вдруг подхватил ближайший шулмус, молодой круглолицый Придаток с изумленно разинутым ртом. — Хурр, вас-са Оридж! Асмохат-та! Мо-о аракчи ылджаз — Асмохат-та!..

Толпа пленных загалдела, истово размахивая связанными перед грудью руками, и даже рыжеусый нойон не пытался утихомирить разбушевавшихся соплеменников, хотя дело грозило дойти до драки — у круглолицего нашлись и сторонники, и противники.

— Ты хоть понимаешь, что сказал? — тихо спросил Чэна-Меня Асахиро.

— А что я сказал-то? — удивился Чэн, а я перестал вертеться в его руке и недоуменно закачался влево-вправо. — И ничего я не сказал...

— Ты сказал, что ты — последнее земное воплощение Желтого бога Мо, хозяина священного водоема. Ас — Мо — Хат — Та. В Шулме считают, что вслух назвать себя Асмохат-та может или безумец, или...

— Или?

— Или Асмохат-та.

Дзюттэ за поясом Чэна беспокойно заворочался.

— О чем это вы? — требовательно спросил он у меня.

Я объяснил.

— Счастливы твои звезды, глупый ты меч, — серьезно и чуть ли не торжественно заявил шут. — Кольни-ка Придатка Махайры пониже пояса — только сзади, а не спереди, — пускай идет к шулмусам и поет им «Джир о хитрозлобном якше Асмохате и его беззаконных деяниях». И чтоб через слово было — Асмохат-та! А не захочет петь — кольни посильнее — и спереди!..

— Диомед! — позвал Чэн-Я. — Иди-ка сюда!

Диомед подошел. Чэн приказал петь. А я кольнул. Диомед подпрыгнул и сказал, что он джира дословно не помнит, потому что он не сказитель, а подсказыватель; а Махайра вообще ничего не понял и стал отмахиваться. Я угомонил Жнеца и кольнул Диомеда еще раз, пока подоспевший Дзю держал обиженно звенящего Махайру. Тогда Диомед схватился за уколотое место и согласился петь.

А Кос порылся в своей поклаже и сообщил, что слова джира у него записаны. Для потомков, мол, старался. Интересно, для чьих? Дескать, пусть Диомед поет по его записям, а Асахиро будет переводить.

— А я буду играть! — встряла Фариза и сунула каждому человеку по очереди в лицо какую-то палку с натянутыми вдоль нее жилами неизвестного мне зверя. — Вот — кобыз! У шулмусов нашла...

— Ты же на нем играть не умеешь! — удивленно моргнул Асахиро.

— И не надо! — уверенность Фаризы не имела границ. — Я ж все равно слышу сейчас плохо... лишь бы было громко! Сойдет, Ас, не бойся! На кобызе никто играть не умеет — а врут-то, врут! Да ты сам глянь — разве ж на этом играть можно?!.

— Ну а вдруг... — засомневался Асахиро, но Фариза не дала ему закончить.

Она дернула за все жилы одновременно, раздался душераздирающий вой и визг, шулмусы как по команде замолчали, и я понял, что отступать некуда.

Мы с Чэном были прижаты к стене, которая называлась Асмохат-та.

Последнее земное воплощение Желтого бога Мо.

«Ну почему я?! — обреченно подумал я. — Почему, к примеру, не Гвениль?!. Он же такой большой...»

2

Пока Диомед запугивал шулмусов джиром, а Фариза с Асахиро всемерно ему в этом помогали, я заставил Сая, веселившегося за поясом у Коса, прекратить повизгивать и присвистывать и связно описать мне, а через меня и Чэну, этого проклятого бога Мо, последним воплощением которого мы нежданно-негаданно оказались.

Выяснилось, что хозяин священного водоема, спаивающий невидимой аракой особо злобных шулмусов, похож на помесь Придатка и ящерицы.

В Шулме вообще ящерицы слыли чем-то вроде священных животных, что было краем связано с этим самым водоемом, и убить ящерицу считалось делом постыдным и преступным.

В отличие от убийств друг друга.

Вот и смотрелся бог Мо почти что человеком, но в желтой чешуе с черными вкраплениями и зеленовато отливающей спиной.

— Ярковато, — усомнился я. — Можем не сойти...

— А ты на Чэна своего внимательней посмотри! — ядовито отрезал Сай. — Особенно когда он в доспехе... вот еще марлотту накинет, и вылитый Мо!

Марлотта лежала свернутой в каком-то из тюков, в сражении, так сказать, не участвовала и потому уцелела. Узнав о словах Сая, ан-Танья мигом нашел нужный тюк, и через секунду зеленая марлотта уже красовалась на плечах Чэна.

Потом Сай припомнил, что голова у бога Мо как бы слегка заостренная и с гребнем. Чэн поправил шлем и ничего не сказал. И я тоже ничего не сказал.

Только невесело блеснул, узнав, что руки у Мо чешуйчатые, трехпалые, и средний ноготь на правой острый, тонкий и длинный, не короче меня, а левая рука скрючена хитро, но если Чэну не снимать перчатку и с левой, а вдобавок взять Обломка...

Как-то слишком легко все выходило. Случай, нелепость, Беседа с отступающей и уступающей судьбой, совпадения, легковерная Шулма... Ах, не верил я, что, выслушав джир, поразившись Чэнову облику да мне с Дзю, шулмусы мигом кинутся Чэну в ноги и понесут нас на руках через Кулхан! А Дикие Лезвия — те вообще джира не слышали, на Асмохат-та им сверкать и... вон, гудят недоуменно! Ну разве что наша установка лагеря произвела на них впечатление — так на одном мастерстве Блистающего в Шулму не въехать!..

Не та это земля — Шулма... и уж, во всяком случае, Джамуху Восьмирукого и Чинкуэду, Змею Шэн, нам ни обликом, ни сказками не поразить. И вообще — то, что весело начинается, обычно заканчивается совсем не весело.

...Думая о своем, я не заметил, что Диомед уже некоторое время молчит, и Асахиро молчит, и шулмусы молчат — но не так, как Диомед с Асахиро, а как-то странно, — и Фариза не терзает отбитый в бою кобыз; и молчание это всеобщее мне очень не понравилось.

Потом рыжеусый Джелмэ громко и внятно что-то выкрикнул, и дети Ориджа встали — все, кто был в силах встать, — и разошлись в разные стороны, образуя неправильный круг выпадов десяти в поперечнике.

Так они и стояли — люди, еще не ставшие Придатками, а потом снова — людьми; они стояли, а Джелмэ, повернувшись к Чэну-Мне, заговорил спокойным и чуть звенящим голосом.

Знакомый голос... таким голосом люди Беседуют, как Блистающие.

— Он говорит, — неуверенно начал подошедший к нам Асахиро, — что... что он, Джелмэ-багатур, зовет тебя, осмелившегося назваться запретным именем, в круг детей Ориджа. В племенной круг. Там тебя будет ждать он, нойон Джелмэ, который не более чем пылинка в подоле гурхана Джамухи, внука Желтого бога Мо...

И вновь наступила тишина.

Такая тишина, какая наступает в то мгновение, когда судьба неожиданно перестает улыбаться.

Когда один меч стоит спокойно против неба.

Он был храбрым Придатком, этот гордый нойон, этот обиженный ребенок, и руки его были связаны, и воины его были ранены, и он помнил, не мог не помнить, что было их двенадцать дюжин, буйных детей Ориджа; и он видел, не мог не видеть, сколько их осталось, как видел он, гордый нойон Джелмэ, обиженный ребенок, — вот стоят те, кто преградил им дорогу, струя, разметавшая поток...

И одного из них — пьяного боем безумца-дракона, Мо-о аракчи ылджаз, кочующего отдельно, — он зовет в круг.

...Я-Чэн чуть было не поддался искушению.

Я-Чэн чуть было не согласился.

Так нам было бы легче сохранить ему жизнь.

Но Я-Чэн сумел не пойти в его круг.

— Дай-ка я... — пробормотал Но-дачи и уже было слетел с плеча двинувшегося вперед Асахиро, но я преградил им дорогу.

А потом властно описал дугу над головой недвижного Чэна.

И напротив круга детей Ориджа, детей гордого Повитухи Масуда, встал круг детей мудрого Мунира, а в центре его стоял Чэн-Я. Два круга, два меча, две правды — вечный спор двух струй одного ручья... двое, не понимающие, что они — одно.

— Я не пойду в твой круг, Джелмэ-багатур, — сказал Чэн-Я, и нойон понял нас еще до того, как заговорил Асахиро, потому что эти слова не нуждались в переводе. — Я зову тебя в свой круг. Тебя и всех ориджитов, которые осмелятся прийти. Я, Асмохатта, в чьем подоле гурхан Джамуха не более чем пылинка, зову вас всех. Это будет большой той. Очень большой.

И Джелмэ совершил свою первую ошибку; первый промах в этой Беседе был за гордым нойоном, желавшим крови демона-лжеца любой ценой.

Он кивнул и шагнул вперед, размыкая круг Шулмы.

Масуд сделал шаг к Муниру.

3

Джелмэ пропел между Гвенилем и Махайрой, между Фальгримом и Диомедом и приблизился ко мне.

Я потянулся вперед и легонько коснулся лезвием веревок, стягивающих его запястья. И нойон не знал, что совершает сейчас вторую ошибку, принимая свободу на конце моего клинка.

Он не понимал, что это может означать для его же собственной сабли; что это значит для всех Диких Лезвий Шулмы.

Один за другим входили в наш круг дети Ориджа — не все, нет, далеко не все, но и этих я насчитал полторы дюжины — и один за другим подставляли связанные руки под мое лезвие.

А их оружие — смотрело.

— Коблан! — негромко позвал Чэн-Я. — Тащи бурдюк!

Объяснять, какой именно бурдюк, не пришлось.

Коблан, громко топая, кинулся к поклаже и мгновенно вернулся с заветным бурдюком.

— Отхлебни! — приказал Чэн-Я.

Коблан послушно и с видимым удовольствием отхлебнул, отчего борода его встопорщилась во все стороны.

— Ылджаз арака! — возвестил Асахиро. — Мо ылджаз арака!

Нойон Джелмэ презрительно усмехнулся.

— Чашу!

Чэну-Мне подали деревянную походную чашу, и Коблан до краев налил в нее похищенную в Мэйлане настойку Огненного дракона.

— Пей, Джелмэ-багатур!

Чашу Чэн держал в обеих руках, опустив меня в ножны.

Гордыня, гордыня... Джелмэ подошел и склонился над чашей. Он на глазах у своего и чужого племени пил Мо ылджаз араку — пусть и ложную, как полагал он сам, — из чешуйчатых рук того, кто называл себя Асмохат-та.

И двое ориджитов вышли из круга.

А оставшиеся начали глухо перешептываться.

Они не видели лица своего нойона, сделавшего первый глоток. А я видел — снизу, из ножен мне прекрасно было видно это сине-багровое лицо с выпученными глазами, этот разинутый рот, тщетно пытавшийся вдохнуть ставший вдруг шершавым и раскаленным воздух; и бритый затылок Джелмэ все старался врасти в плечи, а плечи судорожно дергались и лезли вверх.

Когда нойон сумел обернуться к соплеменникам, еще один ориджит покинул круг.

Бегом.

Дикие Лезвия слегка дрогнули и тревожно зазвенели.

Чэн приглашающе повел чашей в сторону шулмусов, и еще трое самых смелых — или самых глупых — отважились повторить подвиг своего нойона, кашляющего в сторонке.

Нет, не трое — двое, потому что третий подумал, поглядел на своих страждущих собратьев и вернулся обратно.

Впрочем, из круга не ушел.

Чэн улыбнулся и поднес к губам чашу.

...Каждый Придаток в нашей семье, как и в любой другой семье «пьяного меча», трижды проходит через испытание предка Хэна. В тринадцать, восемнадцать и в двадцать один год. Испытание заключается в том, что Придатка сперва поят вином до состояния «пьяницы с пиалой» в тринадцать, «пьяницы со жбаном» в восемнадцать и «пьяницы с бочонком» в двадцать один. А потом опытный Блистающий в руках опытного Придатка — обычно это глава рода или семьи — Беседует с опьяневшим юнцом без снисхождения и жалости.

Если испытуемый падает и не встает — его поднимают, если он роняет Блистающего — его заставляют поднять и продолжить Беседу; и так до тех пор, до того мига, который сами Придатки зовут «прозрением предка Хэна».

То есть до первых трех трезвых движений.

После двадцати одного года все Придатки, прошедшие такую выучку, способны пить, не пьянея.

Не часто.

Два-три раза в год.

«И после этого у них ужасно болит голова!» — уловил я отдаленную мысль Чэна...

...Чэн улыбнулся и поднес к губам чашу.

Но отхлебнуть ему не дали.

— Да там же пить нечего! — буркнул Коблан, ловко отбирая чашу у Чэна, недоуменно опустившего правую руку на мою рукоять. — Сейчас я долью... Ишь, выхлебали все, шулмусы проклятые! Рады небось на дармовщинку...

И долил.

Из бурдюка.

После чего омочил в чаше губы, одобрительно крякнул и вернул чашу Чэну под изумленный ропот детей Ориджа.

А Чэн увидел, что чаша практически пуста.

Так, еле-еле, на донышке.

Кузнец незаметно подмигнул Чэну, покрутил в воздухе Шипастым Молчуном — шулмусы дружно шарахнулись назад — и отошел, неся под мышкой свой бурдюк.

По пути он дохнул на нойона Джелмэ, и тому стоило большого труда удержаться на ногах.

А Чэн с облегчением вздохнул, вспомнив обед у Коблана и внезапно опустевшую бутыль тахирского муската, — и осушил и без того сухую чашу.

Чаша отлетела в сторону, Чэн покачнулся и захохотал, а я покинул ножны и указал на груду Диких Лезвий.

И шулмусы бросились к оружию.

4

— Это дети, Дзю, — тихо звякнул я о клинок Обломка. — Смотри, не забывайся...

— Это — дети? — недобро усмехнулся Обломок. — Тогда детей полезно наказывать!

— Нет, Кабирский Палач, — впервые я назвал Обломка именем, которого не мог знать; именем, которое случайно услышал в подземном зале Истины Батин и которое произнес в моем сне ятаган Фархад.

Имя, которое я больше не произнесу никогда.

— Нет, Кабирский Палач. Не так. Детей нужно наказывать, но их не всегда нужно уничтожать во время наказания.

— Да, Наставник, — отозвался Дзю знакомым тоном, и от этой смеси иронии и уважения меня бросило в дрожь.

И добавил погодя:

— Добренькие мы... может, оно и к лучшему.

«Может, и к лучшему», — про себя повторил Я-Чэн, когда Шулма обступила нас с Обломком со всех сторон.

А Чэн-Я еще успел заметить презрительную усмешку Фальгрима Беловолосого, глядящего на атакующую толпу.

Знал Беловолосый, и эспадон Гвениль знал одну из простых истин Бесед «одного со многими». Знал, что «лишь пятеро мастеров могут напасть на одного, не мешая друг другу; шестой — помеха. А неумелые — не более троих; четвертый — помеха».

И еще знали и люди, и Блистающие эмирата, что: «Беседа с пятью — труд великий; с десятью же — праздник души; со многими — отдохновение, ибо мешают они себе, тебе же помогают».

...Эту Беседу я запомню до конца своих дней.

Запомню, как Дикие Лезвия в руках шулмусов после всего, увиденного ими, отнюдь не хотели убивать, потому что тогда они убивали бы свою последнюю и единственную возможность понять и договориться — а им уже хотелось понимать, а не только спорить и доказывать; и дети Ориджа удивленно боролись с собственным оружием, становившимся в последний момент тяжелым и непослушным.

Нюринга, Дикие Лезвия промахивались чуть ли не сознательно!

Запомню, как толпились ориджиты, потные, взъерошенные, сопящие, забыв обо всем, стремясь достать, дотянуться, доказать — и в суетливой погоне за ускользающим призраком дотягивались до самих себя, стонали, падали, злились, толкались, кричали от гнева и вскрикивали от боли; а Чэн смеялся, и я смеялся, и смеялся Дзюттэ, и смех разил наповал, потому что он был быстрее меня, неумолимей Обломка и хмельнее Чэна.

И смех — не промахивался.

И еще запомню я, как хлестал плашмя по лицам и рукам, а Дзю вырывал из влажных пальцев схваченные им сабли и ножи и вышвыривал их вон из круга, и Чэн пел звонко и радостно: «Во имя клинков Мунира зову руку аль-Мутанабби!»

— Во имя...

...и изумленный топор скрежещет краем по зерцалу доспеха, почти увлекая за собой споткнувшегося ориджита; а я слышу отдаленный свист Гвениля: «Давай, Однорогий!»

— ...клинков...

...и три сабли, брызжа искрами, скрещиваются в том месте, где только что было, не могло не быть плечо проклятого Мо-о аракчи, и в миг их соприкосновения они еще успевают увидеть

мелькнувшее рядом предплечье Чэна в кованом наруче работы старых кабирских мастеров, к которому прижался Дзюттэ Обломок, шут, забывший о шутках, — лязг, визг, и я подхватываю одну из сабель на лету, как подхватывал Эмрах ит-Башшар Кунду Вонг, и отправляю за пределы нашей Беседы...

Затопчут ведь, глупая!

— ...Мунира...

...и вот я на пустом пространстве, и двое — круглолицый парень-шулмус и узкий прямой меч с иссеченной крестовиной — несколько длинных-длинных мгновений отчаянно рубятся с нами, и я поправляю их удары, давая пройти вплотную, подсказывая мечу («Родня ведь!»), придерживая Обломка с его рискованными замечаниями... а глаза горят, и клинки горят, и пауза длится, пока Шулма не вспоминает, что она — Шулма, а я не уверен, что ей так уж хочется это вспоминать...

— ...зову руку...

...летят ножи, сверкающие клювастые птицы, три ножа и еще одно копье, короткое, легкое, юное, — и мы встречаем их, кружим в стремительном танце, не давая упасть на землю, и вот они уже снова летят, летят над головами, падая у коповязи под издевательский шелест ножей Бао-Гунь, а знахарка Ниру лежа хлопает в ладоши...

— ...аль-Мутанабби!

...тишина.

Странная, непривычная, неуместная...

Я уже слышал такую тишину — молчание судьбы, неожиданно ставшей серьезной.

Они стояли и смотрели — но выражение лица кименца Диомеда ничем не отличалось от выражения лица любого шулмуса, а застывший на плече Фальгрима Гвениль был подобен замершей на полувзмахе сабле рыжеусого; и круги Кабира и Шулмы перемешались.

Чэн медленно обвел взглядом изваяния, миг назад бывшие вихрем движения, потом повернул голову — и я услышал, как сдавленно охнул Обломок, и увидел правую руку Чэна.

Увидел ЕГО глазами. Глазами Чэна Анкора.

Чэна-в-Перчатке.

Шальной удар случайно рассек ремень, которым наруч доспеха крепился у запястья, и теперь сам наруч болтался на оставшемся ремешке, а рукав кабы, которую Чэн надевал под доспех, вообще оказался напрочь оторванным, — и рука аль-Мутанабби была обнажена.

Те ремешки и застежки — особая гордость Коблана, — с помощью которых рука аль-Мутанабби когда-то, в ставшем чуть ли не нереальным прошлом, пристегивалась к культе, куда-то исчезли, как не бывало...

Рука не держалась ни на чем. Она просто — была.

Ее теперь нельзя было снять.

Разве что отрубив заново.

И кожа Чэна от края бывшей латной перчатки до локтя была серо-чешуйчатой, словно металлические кольца вросли в живую плоть, превращая ее в себя, плавно переходя от смерти к жизни, от невозможного к возможному, от правды к неправде, от прошлого к настоящему...

От Блистающего к человеку?

— Асмохат-та! — выдохнула Шулма.

— Клянусь Нюрингой... — пробормотали Кабир и Мэйлань.

«Да что ж это такое?!» — в смятении подумал Чэн-Я; а Обломок молча вернулся за пояс, ничего не сказав.

И одинокий гневный голос:

— Мангус! Кара-мангус!.. Хурр, вас-са Оридж!..

Все-таки он был храбрым Придатком — нет, он был храбрым человеком, упрямый нойон Джелмэ, пылинка в подоле гурхана Джамухи.

Моего с Чэном любимого внука, надо полагать?!

5

Шулмусы не двигались с места.

— Хурр, вас-са Оридж!

Медленно, один за другим, они опускались на колени, клали перед собой оружие — Дикие Лезвия ложились беззвучно и покорно, — потом ориджиты садились на пятки и утыкались лбом в свои клинки, склонившись перед чудом, превращаясь в недвижные маленькие холмики.

— Хурр!..

Нет.

Казалось, эти холмы ничто не могло заставить шевельнуться.

Даже землетрясение.

И Мне-Чэну почудилось, что некоторые из моего отряда еле сдерживаются, чтобы не присоединиться к шулмусам. Что их удерживало? Восемь веков, отделяющих Кабир от Шулмы? Время, притворяющееся рекой?..

— Хурр!..

Нет.

Нойон Джелмэ покачнулся и с ненавистью глянул на Чэна-Меня.

— Мангус! — прошипел он, кривя рот в гримасе не то ярости, не то плача. — Уй-юй, мангус-сы!.. Ылджаз уруй...

Он шагнул к нам, обреченно поднимая саблю, и ему наперерез кинулся тот самый круглолицый ориджит, который первым сказал: «Асмохат-та!»

Меч круглолицего так и остался лежать на земле, а сам ориджит что-то выкрикивал, захлебываясь словами и слезами... они унали, покатились в пыли, тела их переплелись, превратившись в орущий и дергающийся клубок, и лишь я видел, как рвущийся к ненавистному мангусу Джелмэ перехватывает саблю лезвием к себе и коротким рывком полосует руку круглолицего, вцепившуюся ему в ворот, и красный браслет проступает чуть повыше запястья...

Руку.

Правую.

Руку.

Руку!..

И огонь ударил мне в клинок.

Никто не заметил, как умер гордый нойон Джелмэ. Да он и сам не успел ничего понять, почувствовать или хотя бы испугаться. Просто я вдруг стал длинным, очень длинным, на всю длину полного выпада, и вот я уже короткий, такой, как прежде, вот я уже вынырнул из случайного просвета между двумя сплетенными телами, а круглолицый не знает, что борется с мертвецом, и кровь из рассеченной яремной жилы Джелмэ заливает ему лицо, одежду...

Чэн, не вытирая, бросил меня в ножны, левой рукой подобрал саблю нойона, долго смотрел на нее — что видел он в тот миг? — и наконец выхватил из-за пояса Дзюттэ.

Шут обнял саблю, и та умерла легко и быстро.

Дикие Лезвия отозвались протяжным стоном.

Чэн держал Дзю в руке аль-Мутанабби, в страшной руке, в нашей общей руке, в сросшемся воедино умении дарить жизнь и отнимать жизнь, и я не ревновал Обломка к руке Чэна-в-Перчатке.

Я думал о дне, когда Чэна не станет, когда его правая рука умрет во второй раз, и о том, что в тот день я...

...я...

Что будет со мной в тот Судный день?!

Круглолицый ориджит поднял голову — Я-Чэн вздрогнул, увидев его лицо, — и заговорил хриплым срывающимся голосом.

Взяв Дзюттэ в левую руку, Чэн опустил руку аль-Мутанабби на мою рукоять.

— Он говорит, — сказал подошедший к нам Асахиро, единственный, кто смотрел на живую латную перчатку без содрогания; нет, не единственный — еще Коблан.

— Он говорит, что Асмохат-та добр. Асмохат-та не хотел убивать глупых детей Ориджа. Он, младший брат Джелмэ-багатура, Кулай-мэрген, видел это. Джелмэ-багатур не хотел прозреть. Джелмэ-багатур уплатил цену слепоты. Он, Кулай-мэрген, гово-

рит: Асмохат-та добр. Добр и справедлив. Он, Кулай-мэрген, вкладывает поводья своей судьбы в правую руку Асмохат-та и просит его больше не указывать стальным пальцем на оставшихся детей Ориджа. Это слово Кулай-мэргена.

Ближний ко Мне-Чэну шулмус поднял голову. Седые космы падали ему на глаза, и весь он напоминал побитого пса.

Встать он не осмелился.

Выкрикнул что-то и вновь ткнулся лбом в древко своего копья.

— Он сказал, — перевел Асахиро, — что слово Кулай-нойона — это слово всех детей Ориджа. И что не надо больше указывать пальцем. Ни на кого.

Но-дачи на плече Асахиро шевельнулся.

— Ты знаешь, Единорог, — негромко сказал Но, — по-моему, если мне и есть чем гордиться в этой жизни, так это тем, что я случайно отрубил руку твоему Придатку. Не знаю, было ли у меня еще что-нибудь, чем стоило бы гордиться, кроме этого... и не знаю, будет ли.

Я не ответил.

Я смотрел на окровавленного Кулая, баюкавшего на коленях тело убитого брата; и обломки погибшей сабли подле них были подобны обломкам Детского Учителя на кабирской мостовой.

И день был подобен ночи.

Постскриптум

...Небо. Оно, словно отсыревшее полотнище, провисало над огромным валуном, у которого сидел одинокий человек в старинном доспехе; небо грозило прорваться яростным, коротким и совершенно бесполезным ливнем, столь обычным для середины осени на окраине Мэйланя, северной границы эмирата, черте песков Кулхан.

Беззвучно полыхнула синяя ветвистая молния.

Грома не было.

Совсем.

И воздух ощутимо давил на плечи.

Судьба лениво лежала поверх валуна, свернувшись в скользкое чешуйчатое кольцо вокруг прямого и узкого меча с кистями на рукояти; рядом с мечом, похожим на рог сказочного зверя Цилинь, лежал тяжелый кинжал-дзюттэ с тупым граненым клинком и односторонней гардой.

Человек сидел, привалившись спиной к нагревшемуся за день камню, и бездумно поглаживал пальцами левой руки предплечье правой. Кожа под пальцами была твердой и чешуйчатой, подобно судьбе на валуне, но теплой.

Живой.

Или просто это металл отдавал накопленное тепло?

Кто знает...

Потом послышались шаги, и к валуну неспешно приблизились двое.

— Я понимаю — так было надо...

Это сказал первый — стройный сухощавый мужчина лет сорока пяти, державшийся подчеркнуто прямо; лицо мужчины было строгим и спокойным.

Замолчав, он плотно сжал тонкие губы, отчего те побелели и стали похожи на давний шрам, вынул из ножен длинный меч-эсток с витой гардой из четырех полос черной стали и положил оружие на валун.

— Это было необходимо. Ты не мог иначе...

Последние слова произнес второй — невысокий крепыш, чьи глаза, казалось, были старше их владельца лет на двадцать.

Он снял с плеча двуручный, слабо изогнутый меч с крохотным блюдцем, отделяющим клинок от рукояти, и воткнул его в землю рядом с валуном.

Человек в доспехе молчал.

Оба пришедших еще немного постояли, ничего не говоря, затем опустились на землю и превратились в неподвижные изваяния, похожие на те, что часто ставят на мэйланьских кладбищах в качестве надгробий.

Когда из-за валуна вышла старуха с ритуальным посохом секты Пай-синь в руке, никто не пошевелился.

— Я понимаю — ты не мог иначе, — сказала старуха, прислоняя к камню свой посох.

Ответа не было.

Старуха некоторое время смотрела на человека в доспехе, словно ожидая чего-то, потом повернулась и стала глядеть в сторону холмов.

— Коблан идет, — вдруг заявила она, — и этот... Беловолосый. Ишь, вышагивают... — И невпопад добавила: — Кости ломит... скорей бы уж гроза.

Подошедший кузнец — что было видно по обожженным, обманчиво корявым рукам, сжимавшим шипастую палицу-гердан так, словно это была резная трость для прогулок, — долго откашливался и хмыкал, как если бы горло его было забито песком.

— Я понимаю, — наконец выговорил он. — Я все понимаю... так было надо.

— Так было надо, — твердо повторил его спутник, голубоглазый северянин, тряхнув льняными прядями волос, падающими ему на плечи; и возле валуна вонзился в землю меч-эспадон высотой почти в рост человека. — Ты не мог иначе, Чэн...

— Вы что, утешать меня пришли? — спросил человек в доспехе, сжимая железные пальцы в кулак. — Так это вы зря... лучше б следили за тем, чтоб гонец в Мэйлань вовремя отправился.

— Гонец готов, — ответила старуха.

— Он спрашивает, что ему сказать Совету, — бросил худой мужчина, чей эсток на камне слабо звякнул, поймав клинком порыв налетевшего ветра.

— Да или нет? Что ему сказать?

— Пусть передаст...

Человек в доспехе зажмурился, словно собираясь броситься вниз головой в холодную и пенистую воду одного из потоков Бек-Нэша, а когда он все-таки открыл глаза, то они были спокойны и странно безмятежны.

— Пусть передаст: «Не знаю». Два слова. «Не знаю». И больше ничего.

— Не проще ли сказать: «Решайте сами»? — шевельнулся крепыш со старым взглядом.

— Проще. Но это уже будет почти приказ, если я скажу Совету: «Решайте сами». А так я говорю только о себе: «Не знаю». Я ведь действительно не знаю... и не хочу притворяться, что знаю. Все, что я хочу, — это дойти до Джамухи Восьмирукого, встать напротив него с Единорогом в руке аль-Мутанабби и спросить, знает ли он ответы на все вопросы, которые рискнул задать, — или он спрашивал, не подумав. Знает ли он, убийца не по принуждению, а во имя мертвых истин, знает ли он, что это значит — учить детей убивать, получая от этого удовольствие? Да или нет?! И я хочу услышать, что он мне ответит... я очень хочу это услышать.

Из-за валуна показалась черноволосая девушка с белым обручем на лбу.

— Я понимаю, — начала она, опираясь на пику с торчащими из древка зазубренными веточками, — я понимаю... Так было надо.

И очень удивилась, когда человек в доспехе невесело рассмеялся.

Еще одна молния рассекла небо надвое, отразившись в полировке оружия, — и показалось, что несколько Грозовых Клинков ударили в валун и в землю около него.

Спустя некоторое время горизонт глухо зарычал, словно там, за очень плохими песками, пробуждался от сна зверь.

Очень плохой зверь.

И очень голодный.

Еще один постскриптум

Круглолицый Кулай сидел на туго скатанном вьюке шагах в двадцати от крайнего шатра, спиной к лагерю, живущему обычной вечерней жизнью, и смотрел вдаль.

Сидел просто так и смотрел просто так.

За ним никто не следил, как, впрочем, и за любым другим ориджитом, — руки Кулая были свободны, и он был волен в своих поступках точно так же, как полдня назад, когда пытался остановить старшего брата, не хотевшего принять Асмохат-та; так же, как сутки и еще половину дня назад, когда вместе со всеми детьми Ориджа несся на мягкоруких, вставших у них на пути; так же, как месяц с лишним назад, когда племя ориджитов отправило по приказу гурхана Джамухи всех своих воинов на поиски торных путей через Кул-кыыз, хотя дети Ориджа и не преломляли священный прут, клянясь в верности Восьмирукому...

Волен в поступках, как любой вольный воин вольного племени, только воля та оказывалась на поверку ярмом и ложью.

Долго рассказывать, долго и больно вспоминать, как временное стойбище ориджитов, где в тот день оставались лишь женщины с детьми да старики, было окружено многочисленными воинами племен маалев и локров — первыми признавших власть внука Желтого бога Мо, — и поникший головой Джелмэ-багатур, вернувшись с мужчинами к опустевшему стойбищу, яростно дергал себя за рыжий ус, а потом открыл свои уши и сердце для велений Восьмирукого.

Ой-бой, брат мой Джелмэ!.. Худо мне без тебя... хоть и с тобой не раз бывало худо, упрямый брат мой!..

Кулай заворочался, болезненно морщась, и не заметил, как рядом оказался Тохтар-кулу, старая лиса.

— Долгих лет Кулай-нойону! — заискивающе пробормотал Тохтар-кулу, пятерней отбрасывая назад нечесаные седые волосы. — Да хранит нойона вечное небо! Слышал ли Кулай-нойон, что Асмохат-та идет вместе с детьми Ориджа в Шулму?

— Пусть всех нас хранит небо, старик, — угрюмо отозвался Кулай. — Небу это будет совсем просто — мужчин племени скоро не останется ни одного, а женщины будут рожать детей остроухим маалеям!

Чтобы не завыть от бессильной ярости, Кулаю пришлось вцепиться зубами в большой палец правой руки. Акте, его жена Акте, оставшаяся дома под властью Восьмирукого, разорви его железноклювые илбисы!..

— Я старый человек, — растягивая слова, почти пропел Тохтар-кулу, еле заметно улыбаясь беззубым ртом. — Но я по-прежнему способен различить след змеи в траве весенних степей. Это хорошо знал Джелмэ-багатур, твой брат, слишком храбрый для того, чтобы состариться самому; это знал ваш отец, Чабу-нойон, не заставший прихода гурхана Джамухи и умерший от счастья в объятиях девятой жены; и это знал его отец, а ваш дед, Урхенгумыш, с которым мы выпили не один бурдюк араки... Я — старый человек. Я — человек, сумевший дожить до старости. И поэтому никто не скажет, что Тохтар-кулу глуп.

Кулай удивленно слушал Тохтара, закусив губу. С чего бы это старик разговорился?

— Мне снился сон, Кулай-нойон...

Старый Тохтар заявил это с такой невозмутимостью, что Кулай даже и не подумал спросить: когда это старик нашел время спать да еще видеть сон?

— Мне снился сон. Я видел то, чего уже не может быть. Я видел, как живой Джелмэ-багатур во главе горстки выживших мужчин племени возвращается в Шулму. Я видел, как хохочут маалеи, как хлопают себя по бедрам желтоглазые локры, глядя на неудачливых детей Ориджа; я видел, как хмурится великий гурхан Джамуха, выслушивая рассказ коленопреклоненного Джелмэ о десятке-другом мягкоруких, превративших степной пожар в едва тлеющую золу; я видел, как Восьмирукий берется за рукоять своего волшебного меча и как живой Джелмэ-багатур опять становится мертвым.

Тохтар-кулу поморгал бесцветными ресницами, плюнул себе под ноги и грустно уставился на собственный плевок.

— Это был плохой сон, — задумчиво сказал старик. — Это был очень плохой сон. Я даже захотел сперва проснуться, но увидел второй сон и раздумал просыпаться. Да. Это был хороший сон. Это был такой хороший сон, что его можно было смотреть до конца моих дней, которых осталось совсем мало.

Кулай выжидательно смотрел на Тохтара, а тот все не мог оторваться от созерцания плевка у себя под ногами.

— Ай, какой хороший сон, — наконец заговорил Тохтар, — ай-яй, хороший-хороший... как жеребячьим жиром намазанный!..

И опять замолчал.

Кулай протянул руку, уцепил старика за ворот чекменя и два раза встряхнул. Третьего раза не понадобилось — задумчивость в хитрых глазках Тохтара мигом сменилась готовностью продолжать.

И Кулай еще подумал, что, если бы все заботы можно было бы прогнать так просто, — ой-бой, как легко бы жилось на этой ужасной земле!..

— Ай, хороший сон! — поспешно сообщил Тохтар, отодвигаясь подальше. — Сон о том, как дети Ориджа вернулись домой из Кул-кыыз; и это было хорошо. Сон о том, как смеялись маалеи, и локры, и хулайры — и это тоже было хорошо, потому что смеющийся враг — это глупый враг, и мы тоже смеялись, несясь с холма на мягкоруких, а потом мы стали умными, а большинство из нас — мертвыми, и мы перестали смеяться! Я видел во сне, как хмурится гурхан Джамуха, поглаживая рукоять своего волшебного меча, но я видел, как хмурится Асмохат-та, глядя на то, как гурхан Джамуха поглаживает рукоять своего волшебного меча... уй-юй, как плохо хмурился Асмохат-та! Даже я так не хмурюсь,

когда вижу моего внука, собирающегося плюнуть в священный водоем!

Старик ударил себя по щекам, не в силах выразить ужас, охвативший его при виде гневного Асмохат-та. Кулаю показалось, что на дне глаз старого Тохтара мелькают подозрительные искорки, но он решил не искушать судьбу.

Тряхнешь Тохтара в третий раз — а он и вовсе замолчит.

Навеки.

Хотя вряд ли — этот нас всех переживет...

— Я даже опять хотел проснуться, — старик доверительно наклонился к Кулаю, оставаясь, впрочем, на безопасном расстоянии. — Но Асмохат-та перестал хмуриться, а гурхан Джамуха Восьмирукий перестал жить, и все увидели, что Асмохат-та — это Асмохат-та, а Джамуха имеет всего две руки — как и любой человек, даже если он зовется, к примеру, старым Тохтар-кулу... И если бы тот, кто зовется старым Тохтар-кулу, не проснулся бы от топота чьих-то толстых ног, то он успел бы еще увидеть, как степи Шулмы говорят о мудром и доблестном Кулай-нойоне, первым признавшем Асмохат-та!.. ай-яй, какой хороший сон...

— Твой сон врет, старик, — угрюмо бросил Кулай. — Асмохат-та не хотел убивать глупых детей Ориджа. Асмохат-та вообще не любит убивать. А ты учил меня, что воинская доблесть — это смерть врага! Значит, ты неправильно учил меня?!

— Я правильно учил тебя, Кулай-мэрген, ставший Кулай-нойоном, — ответил Тохтар-кулу. — Если ты до сих пор жив и можешь трясти меня за воротник — значит, я правильно учил тебя. Воинская доблесть — это смерть врага. Но когда становишься старым, когда кобыла судьбы доится на твои волосы, делая их белыми, то реже думаешь о смерти врага и чаще — о жизни. О своей жизни. О чужой жизни. И понимаешь, что для каждого времени — своя мудрость и своя доблесть. Это понимаешь лишь тогда, когда твоя собственная жизнь подходит к концу.

Старик умолк, и Кулаю не пришло в голову подгонять его.

— Ты понимаешь это, — после долгого молчания еле слышно прошептал Тохтар-кулу, — но вокруг есть много юных и доблестных воинов, и ты боишься сказать им об этом, потому что у тебя всего один воротник, потому что тогда ты станешь их врагом, а их доблесть, доблесть юных, доблесть твоих детей и учеников, — это смерть врага. И ты ждешь, что придет кто-то, кто не боится говорить о новом. Что придет Асмохат-та.

Небо треснуло, вспыхнув синим огнем, и Кулай прислушался к оглушительному рыку Верхней Стаи, задравшей чью-то неприкаянную душу.

— Пошли собираться, Тохтар-кулу, — буднично сказал Кулай. — Чего зря сидеть?

— Да, нойон, — кивнул старик.

Часть VIII

ОГОНЬ МАСУДА

Основа воинских искусств — любовь ко всему сущему на земле.

Древние

— Ну уж нет, — ласково улыбнулся Куш-тэнгри, Неправильный Шаман. — Сперва ты расскажешь обо всем мне. Хорошо, гонец? Да?

Гонец — низкорослый и плосколицый маалей Удуй-Хара, которого с детства невесть за что прозывали Чумным Волком, — растерянно молчал. Нет, что ни говори, а здесь без джай-волшбы дело не обошлось! Иначе с чего бы стоять шаману Ур-калахая на пути Чумного Волка? Священный водоем далеко, степь велика — ан нет, вот он, Куш-тэнгри, Неправильный Шаман, благослови его Геенна Трех Языков!..

— Ты уже хочешь говорить, правда, гонец?

Губы Куш-тэнгри не шевелились, но властный хрипловатый голос прозвучал столь отчетливо, что Чумной Волк непроизвольно вздрогнул, оторвав взгляд от ужасающе-неподвижного рта шамана, — и, забывшись, посмотрел прямо в глаза служителю Ур-калахая Безликого.

Глаза жили своей, отдельной от тела жизнью. Удуй-Хара еще подумал, что так не бывает, а потом перестал думать — просто стоял и смотрел.

Долго смотрел. Одну жизнь смотрел, вторую смотрел, после умер, и Куш-тэнгри умер, а глаза все глядели, не моргая, все не исчезали, словно были ровней ночи, степи, ветру...

«Я жду, гонец!» — донеслось из ниоткуда.

Чего бояться мертвому? Того, что гурхан Джамуха разгневается, узнав, что между ним и вестями с границы встал Неправильный Шаман, а язык Удуй-Хара сам вылез изо рта и стал делать слова?

Да и слов-то этих горсти две, не больше... стояла застава у Кул-кыыз, давно стояла, новых дозорных на смену ждала — и дождалась, только не смены, а гостей из песков. Три десятка ориджитов явились, да с ними дюжина с лишним усталых чужаков. Спрашивали заставщики у ориджитов: где, мол, братья ваши, где отцы ваши, где мужчины племени? В Верхнюю Степь на вечное кочевье ушли, — отвечают. Спрашивали заставщики у ориджитов: где Джелмэ-багатур, где ваш нойон? Нет нойона, отвечают, на него Асмохат-та пальцем указал; новый нойон теперь у нас, Кулай-нойон. Спрашивали заставщики у ориджитов: какой-такой Асмохат-та, откуда ему взяться в народе мягкоруких?

А такой, отвечают, Асмохат-та, что ублюдка-мангуса Джамуху в священном водоеме утопит...

Тут Чумной Волк чуть язык свой дерзостный не проглотил вместе со словами последними. Пусть и чужие слова делал язык, да за такую пакость великий гурхан Джамуха и у мертвого отсечет все, что зря во рту шевелится!

По кусочку за взмах рубить будет!..

«Ор-ер, беда», — подумал Чумной Волк, зажмурившись, и понемногу оживать стал. Потом снова глаза открыл, на взгляд Куш-тэнгри наткнулся и затрепыхался на острие шаманского взгляда, как перепелка на дротике. Только перепелка пищит, а Удуй-Хара и рад бы пискнуть, да не выходит — дальше говорить пришлось об увиденном-услышанном...

...Двое заставщиков, братья Бариген и Даритай, горячие были, на руку скорые. Схватились за луки, по стреле из саадаков седельных выдернули — взвились стрелы, свистнули, а у самой груди дерзкого Кулая-ориджита словно две молнии с двух сторон ударили! Сперва и не разглядели-то заставщики, что за клинки каждую стрелу надвое посекли, а после уже разглядели — удивились. Оба меча чуть ли не в рост человеческий, этакой громадиной лошадей пополам рубить, а не стрелы на лету, и вот поди ж ты!

Кулай-ориджит смеется, те двое, что мечами сплеча махнули, молчат да хмурятся, а когда у чужаков девка дикоглазая вперед выехала и покрыла заставщиков по-хурульски — да не так, как жеребец кобылу кроет, а так, как кобыла жеребцов, когда ей под хвост чертополох вместо нужного сунуть, — вот тогда-то и бросились заставщики наметом, словно илбисы за ними гнались, и опомнились не скоро.

Ну а как опомнились — поняли, что велика степь, дорог много, а в ставку к гурхану им дороги больше нет. Один Удуй-Хара воспротивился. Он полгода назад числился у Восьмирукого в отборной тысяче тургаудов-телохранителей, до десятника дошел и дальше бы служил, когда б не слабость к тому, что у баб под халатом! Выгнали за дурость — в караул заступали, а Чумной Волк угрелся, увлекся и запоздал маленько... Вот с той поры и вертелся оплошавший тургауд в заставщиках у Кул-кыыз.

А сейчас то ли гордость тургаудова взыграла, то ли еще чего — отвезу, решил Удуй-Хара, вести в ставку гурхана и в ноги Восьмирукому брошусь. Убей, мол, да не гони!..

Все ведь деру дали, гнева Джамухи убоявшись, а Чумной Волк и про Кулая дерзкого доложит, и о чужаках, и об Асмохат-та...

«Асмохат-та? — вопросили глаза Неправильного Шамана. — Каков из себя-то он, Асмохат-та?»

«Не помню», — хотел было выдавить Чумной Волк, а глаза шаманские уже в самое нутро залезли, будто пальцами там шарят: вот Кулай ухмыляется, вот по бокам его двое с мечами-перерост-

ками... один — беловолосый, почти как Неправильный Шаман, а в глазницах — сталь с голубым отливом; другой — крепыш, по плечо первому, а лицо недоброе, ох, недоброе, и глядит, как в грудь толкает!..

«Дальше!»

И Чумной Волк словно за железо каленое схватился — вот он! Позади Кулая на коне сидел! Не конь — скала черная, не всадник — глыба блестящая, руки на поводьях...

— Руки! — завизжал Удуй-Хара, видя и не видя то, чего сперва в горячке не заметил, а и заметил, так не понял.

— Руки! Чешуя на руках! Асмохат-та!..

И слетел с невидимого острия.

На колени упал.

Куш-тэнгри уже уходил к своей лошади, позванивая металлическими фигурками животных, которыми был увешан его просторный халат, а Чумной Волк все катался по траве и выл хрипло:

— Руки!.. руки в чешуе... руки!..

Неправильный Шаман даже не обернулся.

ГЛАВА 22

1

— Стрела — она потому стрела, что ею стреляют, — глубокомысленно возвестил Кос. — Или наоборот: ею стреляют, потому что она стрела. Ты как думаешь, Асмохат-та?

— Никак, — буркнул я, зная, что Кос не обидится.

— Вот и я так полагаю, что ты никак не думаешь, — согласился ан-Танья, выпячивая свой и без того внушительный подбородок.

Интересно, он тоже знал, что я не обижусь?..

...Переход через Кулхан оказался и легче, и труднее, чем я предполагал, — короче, совершенно не таким, каким представлялся вначале. Ориджиты шли буднично и уверенно, они явно заранее знали каждый поворот и места стоянок; и, кем бы ни был их незабвенный предок-покровитель Оридж, дети его могли отыскать дорогу даже там, где ее отродясь не бывало. Уже через неделю я понимал, что Асахиро и Фаризе в свое время ужасно повезло — они живыми выбрались из этого бесконечного равнодушия природы, идя наобум; и еще я понимал, что тысячному войску выжить в Кулхане будет не легче, чем несчастному одиночке. Воды в тех полусухих колодцах, что вынюхивали наши неутомимые шулмусы-следопыты, нам хватало если и не с избытком, то вполне; войско же погибло бы от жажды.

Если только ориджиты не умалчивали о дополнительных источниках воды.

Шли мы не напрямик, а какими-то хитроумными зигзагами, и за месяц без малого я довольно сносно научился болтать по-шулмусски, выяснив несомненное и весьма странное родство наречий Шулмы и Малого Хакаса. Именно по этой причине Чин преуспела в деле изучения языка гораздо больше меня; у остальных получалось по-разному.

У Коса не получалось совсем. Потом выяснилось, что у ан-Таньи язык не сворачивается в трубочку, и в этом корень всех бед. Общими усилиями язык свернули, после чего Кос перестал с нами разговаривать — зато заговорил с шулмусами.

Причем почти сразу же найдя с ними общий язык. В трубочку. А старик Тохтар звал Коса отцом. Это звучало как Коц-эцэгэ, и я еле сдерживался от смеха всякий раз, когда это слышал.

Там же, в походе, мы впервые увидели луки и стрелы. Всем нам — и людям эмирата, и Блистающим — стоило большого труда понять, что это не Дикие Лезвия и не Блистающие, а действительно вещь, и при этом — оружие.

Вещь-оружие.

Впрочем, люди все-таки сообразили это быстрее — ведь Фариза сражалась в зале Истины Батин жаровней, и жаровня была вещью и одновременно — оружием. Кстати, в битве у границы Кулхана шулмусы не пускали луки в ход, намереваясь взять нас живыми и увести с собой в Шулму, что, собственно, и случилось, но немного иначе, чем предполагалось ориджитами, — и это было хорошо. Но при переходе через пески быстро выяснилось, что турнирные навыки позволяют большинству из нас рубить стрелы в полете — или уворачиваться, как делал я.

Для Блистающих сама мысль о том, что на свете существует мертвое оружие, была кощунственной. Наконец Чань-бо предположил, что когда-нибудь лук и стрелы смогут стать Дикими Лезвиями, а затем — Блистающими; и наши полированные спутники с этой минуты перестали обсуждать мертвое оружие шулмусов.

Они даже говорить о нем перестали.

Словно его и не было.

Я еще подумал, что так относятся у людей к умалишенным родственникам, причем дальним, и даже не умалишенным, а людям-растениям. С внешним безразличием и внутренним стыдом. А Матушка Ци на одном из привалов вспомнила, что в каких-то сказаниях времен аль-Мутанабби и Аитары Абу-ль-Фавариса упоминались предметы, вполне могущие оказаться луками и стрелами. Видимо, в эмирате этот вид оружия так и не смог перестать быть вещью, став Блистающим, и постепенно вымер.

Последняя мысль о вымирании принадлежала не старухе, а Единорогу.

Но не тяготы пути, и не шулмусские луки, и даже не смерти некоторых раненых — чуть не сказал: «К счастью, не наших ране-

ных», — и обрадовался, что не сказал, — не это заботило меня больше всего.

Просто я по мере продвижения вперед все больше превращался из человека в религиозный символ.

Меня опекали (когда я возмущался — меня опекали незаметно), мной восхищались (когда я злился — мной восхищались издалека), мне поклонялись (когда я протестовал — мне поклонялись вдвойне).

Шулмусы обращались ко мне не напрямую и даже не косвенно, а как-то отстраненно, словно я и не присутствовал здесь, среди них, не ел те же лепешки и не пил ту же воду.

— Не хочет ли Асмохат-та испить воды?

— Пусть Асмохат-та придержит Мангуса У — впереди черный песок...

— Угодно ли чешуерукому перейти в тень?

И все это с поклоном, потупив взор...

На первых порах я посчитал такой способ общения свойственной Шулме традицией и как-то раз заявил Кулаю на смешанном шулмусско-хакасском:

— Не передаст ли Кулай-нойон мне вон тот кусочек солонины?

Кулай закашлялся, подавившись недожеванной лепешкой, поспешно передал мне указанную солонину и удрал к лошадям, не закончив ужина.

И я понял, что мне достаточно ткнуть пальцем, чтобы дети Ориджа сломя голову бросились в указанном направлении — хоть за солониной, хоть за смертью, хоть куда.

Не могу сказать, чтобы это доставляло мне удовольствие.

Зато давило похлеще панциря на жаре.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться — подлинность Асмохат-та была для детей Ориджа единственной возможностью остаться в живых. Окажись я лжецом — за их жизни в Шулме никто не даст и сломанного клинка.

Единственного за все.

Но не одни шулмусы — мои прежние знакомцы по Кабиру и Мэйланю обращались со мной с почтительностью, доходящей до подобострастия. Однажды, когда ориджиты всей толпой ускакали вперед что-то разведывать, я собрал оставшихся и потребовал прекратить это безобразие.

Иначе я и сам уверую, что я — Асмохат-та.

Все переглянулись.

— Друдл говорил, что он — дурак, — прогудел Коблан Фаризе, словно пытаясь объяснить ей странность моего поведения. — Я имею в виду, что Чэн — дурак. А Асмохат-та — тот велик и могуч.

— А-а-а, — вместо Фаризы понимающе закивал Асахиро. — Тогда ясно.

— Что вам ясно?! — заорал я. — Что вам всем ясно?! Кто-нибудь может со мной поговорить по-человечески?!

— Нет, — жестко отрезал Кос. — Никто не может. Иначе любой из нас сможет забыться и заговорить с тобой по-человечески при посторонних. Или нас могут подслушать — а мы будем в тот момент говорить не по-кабирски. Или еще что. А для шулмусов ты — Асмохат-та. На веки вечные. Терпи, Чэн-в-Перчатке.

— Терпи, — сочувственно повторила Чин.

«Терпи, Чэн, — беззвучно поддержал меня Единорог. — Я вот тоже терплю... знаешь, как они меня называют? Могучий Палец бога Мо! Вот уж Скользящий Перст обрадовался бы...»

Я знал, кто кого и как называет. И понимал, что не прав.

Если б еще от этого мне становилось хоть чуточку легче...

Особенно резко я ощутил свою новоявленную значимость, когда Кулхан внезапно закончился и мы носом к носу столкнулись с шулмусской заставой из восьми человек. Они не представляли угрозы для нас, они даже не успели к нам подъехать — но я сразу же оказался во втором ряду и передо мной замаячили спины Коса, Фальгрима, Асахиро, Кулая, закрывая собой великого и могучего Асмохат-та; а за мной сомкнулись в боевой готовности остальные, готовые яростной лавой охватить меня с двух сторон и выплеснуться вперед, если первый ряд падет и Асмохат-та окажется перед врагом.

Они готовы были убивать за меня.

Они готовы были умирать за меня.

Чем я мог оплатить это?

Не знаю...

Пока я предавался размышлениям, Кулай успел надерзить сторожевым шулмусам во имя мое, те успели выпустить в него пару стрел, Гвениль и Но-дачи пресекли это в самом прямом смысле, и заставщики благополучно удрали.

Неплохо для начала.

А то кто бы оповестил моего любимого внука Джамуху о прибытии его любимого деда? Вернее, последнего воплощения его любимого деда?!

Этому Кулаю дай волю — он во имя меня такого натворит...

Мы ехали по Шулме.

Вот уже третий день мы ехали по Шулме.

2

...Раздраженное ржание Демона У вывело меня из задумчивости.

Первое, что ввергло меня в недоумение, — это непривычное построение нашего отряда. Непривычное потому, что я внезапно оказался впереди, за мной полукругом выстраивались мои соте-

чественники, а уже за ними сбились в кучу дети Ориджа, напоминающие испуганных овец, жмущихся под защиту сторожевых псов.

Вторым поводом для пожимания плечами была осенняя степь перед нами, на удивление безопасная и пустынная. Если не считать приближающегося одинокого человека, ведущего под уздцы неказистую лошаденку.

А так — никого и ничего.

Если не считать... зачем его считать, человека этого? Один себе и один, как ни считай...

Да и то, будь перед нами войско — дали бы мне оказаться первым? Вряд ли. Небось заставили бы назад спрятаться, а еще лучше — в землю зарыли бы!

На время.

Для безопасности.

— Кто это? — спросил я по-кабирски.

Еще в Кулхане мы решили, что благоразумнее будет не обучать шулмусов говорить по-нашему.

— Это шаман Ур-калахая, — из-за спины сообщил Асахиро, и меня неприятно резанули нотки суеверного страха в его голосе. — Служитель Безликого.

Ясно... как восемь дозорных, так Асмохат-та назад, а герои — вперед! А как служитель какого-то Безликого — так все наоборот...

Что ж это за Безликий такой?

— Давайте-ка я его за уши приволоку, — кровожадно заявил Фальгрим и, не дожидаясь разрешения, погнал коня к неспешно идущему человеку.

Я наблюдал, как громада, носящая имя «Фальгрим на лошади», поравнялась с шаманом и нависла над ним; затем шаман поднял голову и посмотрел на Беловолосого. Взгляд был коротким и острым, как умелый выпад, после чего шаман так же неторопливо продолжил путь, а Фальгрим круто развернул коня и поскакал к нам.

Когда я взглянул в лицо Беловолосому, то меня поразили его глаза. Они были высечены из серо-голубого льда и оттаивали медленно, слишком медленно, чтобы Беловолосый мог видеть. Во всяком случае, сейчас он не видел ничего.

Или видел нечто, невидимое нам.

Эспадон Гвениль озабоченно подпрыгивал, лежа поперек конской холки.

— Что это с ним? — прозвенел он, когда Фальгрим проезжал мимо нас. — Я... я его не чувствую! Нет, уже потихоньку начинаю... Единорог, спроси у Чэна — Фальгрим в порядке?

— Не знаю, — отозвался Единорог-Я. — Но скоро узнаю.

И я пнул Демона У пятками в бока.

При моем приближении шаман остановился. Я трижды объ-

ехал вокруг него — вокруг довольно-таки щуплого человечка в длиннополом и просторном халате, от ворота до подола увешанном какими-то побрякушками из темного металла. Волосы шамана были белыми — не бело-льняными, как у Фальгрима, и не мутно-седыми, как у старого Тохтар-кулу (тем более что служитель Ур-калахая был отнюдь не стар, ненамного старше меня самого), а молочно-серебряными, и такой цвет волос я встречал впервые в жизни.

Сам шаман все время смотрел себе под ноги, словно боясь споткнуться, так что я не видел его лица, но меня не покидало впечатление, что этот маленький беззащитный человечек, не имеющий при себе никакого оружия (а он его не имел или прятал на редкость успешно), уже успел узнать обо мне все, что можно узнать при самом внимательном рассмотрении.

— Я вижу того, кто называет себя Асмохат-та? — наконец осведомился шаман, по-прежнему не поднимая головы. — Да?

Речь шамана была глухой, но внятной, и еще более похожей на хакасскую, так что я сразу понял почти все.

Особенно насмешку, скрытую в обращении.

— А я вижу того, кто осмеливается задавать подобные вопросы? — отозвался я.

Шаман еле слышно хихикнул. Похоже, он тоже понял, что хотел, и это позабавило его.

— Степь еще не знает о появлении Асмохат-та, — задумчиво произнес он. — Но если Джамуха Восьмирукий успеет узнать первым и послать тумены своих всадников в нужное время и в нужное место — степь может вообще не узнать об Асмохат-та или узнать, когда будет поздно.

Внутренне я не мог с ним не согласиться.

Но внешне...

— Ты надоел мне, глупый человек! — я выговорил это самым зловещим шепотом, на какой был способен, и слово «человек» прозвучало так, как если бы я сам человеком ни в коей мере не являлся. — Тебе ли решать, что рано, а что — поздно?!

Шаман Ур-калахая резко поднял голову — и я словно с размаху налетел на его глаза.

Черные-черные.

И в них что-то шевелилось.

Я невольно потянулся вперед, чувствуя, как тварь на дне черного взгляда неслышно и неумолимо зовет меня к себе, как она лениво выползает из склепа глазниц и сама движется ко мне, цепко хватаясь за липкую ниточку, протянувшуюся между нашими душами, и вот она уже внутри меня, копошится, ищет, вынюхивает — и ей навстречу встает Кабир, и башня Аль-Кутуна, подле которой все началось, и...

И будто сполох холодного пламени пронесся над миром, перечеркивая его, — нет Кабира, нет башни, нет видений, нет на-

сильно высасываемой памяти, а есть бесстрастный меч в железной руке, и черная тварь бежит в страхе, прячась за дрогнувшими веками, стремясь скрыться, исчезнуть, не быть...

Я ощутил знакомую рукоять Единорога под пальцами аль-Мутанабби; и рукоятью ощутил пальцы.

Единорог был в ножнах.

И еще он был во мне.

— Ты ищешь смерти? — спросил Я-Единорог у отвернувшегося шамана.

Голос мой плавился ледяным звоном, заставляя служителя Безликого зябко передернуться.

Он отрицательно покачал головой, и во взгляде шамана больше ничего не двигалось само по себе.

Сейчас там звездами в ночи, рыбьей чешуей в омуте мерцали искорки удивления.

Мерцали — и гасли одна за другой.

— Нет. Я хочу отвести Асмохат-та в такое место, где у него будет возможность размышлять без лишних опасений.

Все-таки он произносил «Асмохат-та» без должного уважения, к которому я, надо признаться, успел привыкнуть

— Меня зовут Куш-тэнгри, — подумав, добавил он, шулмус с незапоминающимся лицом, черным взглядом и серебряными волосами. — Многие называют меня Неправильным Шаманом.

Я равнодушно кивнул.

Я не знал, какими должны быть правильные шаманы.

3

...Лошаденка нашего неожиданного попутчика резво трусила рядом со мной во главе отряда. Демон У сперва пытался протестовать против такого соседства — но лошаденка искоса глянула на него, и Демон угомонился, а я заподозрил лошадь в принадлежности к шаманскому сословию.

В белесом небе прозвучал еле слышный птичий крик, подобный стону, и, затихая, унесся вдаль.

— Гуси, — сказал Куш-тэнгри, Неправильный Шаман. — Тепла ищут. А улетать больно. Оттого и кричат...

Я задрал голову и с трудом различил клин гусей — или не гусей? — медленно продвигающийся на юг.

— Двое не долетят, — продолжил Куш-тэнгри, почесывая свою лошадь между ушами. — Сизый к вечеру отстанет. А тот, что с черным хвостом, до завтрашнего полудня выдержит. Ишь, бедняга, надрывается...

Я еще раз глянул в небо. Сизый, значит, к вечеру отстанет... Нет, по-моему, шаман не собирался морочить мне голову. Хотя все же заморочил, собирался или не собирался...

— Хуш! — прикрикнул шаман.

Его лошадь без особого вдохновения прибавила ходу. Я же наоборот — незаметно натянул поводья и придержал Демона. Сам не знаю зачем.

Из упрямства, должно быть...

— Коблан, перебирайся сюда! — донесся из-за моего плеча голос Асахиро. — Тут Тохтар-болтун о проводнике нашем глазастом сказки рассказывает. Джир о том, как Куш-тэнгри гурхану Джамухе будущее предсказывал! Давай, подъезжай, я тебе его сам спою, джир этот, чтоб покороче было!..

Говорил Асахиро по-кабирски и, похоже, не столько для Коблана, сколько для меня.

— Угу... — раздалось за спиной, и гулкое эхо этого «угу» стало смещаться вправо — Коблан перебирался поближе к Асахиро.

— Ты понимаешь, Коблан, — негромко, но вполне слышно продолжил Асахиро, — в Шулме очень много богов и очень много шаманов. Творец их знает, шулмусов этих, зачем они себе столько насочиняли?! Желтый Мо — покровитель воинов и владыка смерти, Гэнтэр — бог воров и конокрадов, Кылчи-ара родам у женщин помогает, Лысый Боортун овец охраняет, на той сопке Чилтай-охотник зверей гоняет, на этой — Ултай-лекарь травы целебным соком поит...

— Это покороче? — буркнул Коблан. — Тогда я лучше Тохтара послушаю.

— И не поймешь ничего, — отрезал Асахиро. — Тохтар говорит быстро и много, а ты понимаешь медленно и мало. Так вот, богов много, шаманов еще больше, а Ур-калахай, Безликий, один. И служителей у него всего десятка полтора, если не меньше. Другим богам каждый день в лицо заглядывать надо — не хмурятся ли? — а у Безликого лица нет, заглядывать некуда, ему и этих шаманов хватает.

Асахиро снова понизил голос.

— И как служители Ур-калахая опасаются чаще положенного Безликому надоедать, так и шулмусы не любят этим шаманам в лицо смотреть. Очень уж побаиваются их проклятий... чьи-чьи злые слова, а проклятье шамана Ур-калахая редко когда мимо проходит! Потому и живут они у священного водоема, вдали от всех, и по степи нечасто ездят — все, кому нужен шаман Безликого, сами к нему приходят.

— Так священный водоем — он же в тени плаща Желтого бога Мо! — заявил непонятливый Коблан. — Ну и жили б там служители Мо — при чем здесь Безликий?!

— У Мо нет служителей. Ему воины любого племени служат — воинской доблестью и смертью врагов. Иной службы Желтый Мо не приемлет. Просто местность вокруг священного водоема заповедная, на ней испокон веку ни войн не было, ни крови не ли-

лось. Вот поэтому каждый шулмус может туда безбоязненно приехать и шамана Ур-калахая о судьбе своей спросить.

— Пророчествуют, значит, — вяло поддержал разговор кузнец. — Ну и как, сбываются их пророчества?

Асахиро помолчал.

А потом ответил.

— Всегда, — ответил Асахиро. — Всегда сбываются.

4

«Ты суеверен?» — спросил меня Единорог.

После того боя, в котором смешались круги Шулмы и Кабира, отдал жизнь за гордость упрямый нойон Джелмэ; после того боя, когда я впервые пристально взглянул на руку аль-Мутанабби и вслед за волной ужаса испытал внезапное облегчение, почувствовав, что эта рука — моя, какой бы она ни была; после того боя я *совсем по-иному ощутил связь с Единорогом.*

И не только с ним, о чем — позже.

Мне уже совершенно не надо было касаться его рукояти железными пальцами, чтобы превратиться в Меня-Единорога. Я мог это сделать в любое время и даже на немалом расстоянии, разделявшем нас. В Кулхане мы проверяли эту способность, когда Кос, взяв Единорога (никому, кроме ан-Таньи, я б его не доверил), уезжал вперед с ориджитами-разведчиками. Спустя четыре часа я оставался Мной-Единорогом, еще в течение трех часов мы могли переговариваться с некоторым напряжением, а потом разведчики повернули обратно — и, надо заметить, я немало обрадовался, когда Единорог во плоти вернулся ко мне.

Более того, я научился разговаривать с Обломком — но его-то я обязательно должен был касаться железной рукой.

Я научился разговаривать с Обломком — и это не всегда доставляло мне удовольствие. О, отнюдь не всегда! — потому что теперь Дзю напрямую высказывал мне все то, что раньше смягчал Единорог.

Вру. Я рад был слышать Дзю.

Иногда мне казалось, что я говорю с Друдлом.

Остальные люди и Блистающие — объяснить им всем, кто они есть, на этот раз оказалось проще, поскольку я объяснял не один, — так вот, остальные люди и Блистающие разговаривать друг с другом, понятное дело, не могли, зато проявили недюжинные способности в умении почувствовать настроение и состояние своих... э-э-э... спутников.

Гвениль уже точно мог сказать, когда Фальгрим зол, а когда добр, но голоден, что случалось редко, ибо доброта не была присуща голодному Фальгриму; Чин начинала грустить и веселиться одновременно с Волчьй Метлой, причем обе отдавали себе отчет

в этом «одновременно»; и Махайра не раз предупреждал Единорога-Меня, когда Диомед еще только собирался острить.

Но больше всех преуспел в этом деле Сай. Если Заррахид прекрасно понимал, когда Кос ведет себя серьезно, а когда — нет, то Сай умудрялся ловить даже те моменты, когда Кос притворялся серьезным, до конца не зная сам, что притворяется.

И эсток втайне (вернее, это ему казалось, что втайне) гордился Саем, как гордятся способным учеником или младшим родичем.

И Беседовать нам с каждым днем становилось все интереснее.

Поэтому, когда Гвениль крикнул, что не чувствует Фальгрима, я перестал сомневаться в очень простой истине, сродни Истине Батин — первый выпад в Беседе под названием «Шулма» был сделан.

Я ушел от выпада, подъехав к шаману и выиграв странный поединок.

Могут ли души Беседовать?

Судьба отодвинулась на шаг, и мы слегка позвенели клинками, поговорив с Неправильным Шаманом о гусях, которых не было видно.

Или которые были видны только ему.

Фальгрим к тому времени полностью отошел от общения с шаманом и ехал непривычно понурый и молчаливый.

И вот удар исподтишка — пророчества, которые сбываются.

А я-то надеялся, что в Шулме меня будет ждать только Джамуха-батинит!..

...Ты суеверен? — спросил меня Единорог.

Тусклые, оказавшиеся совсем не тем, что ожидалось вначале; асассины, пугало снов и сказок, едущие теперь позади меня... и невозможная степь по эту сторону Кулхана, чью плоть с хрустом давили копыта вороного Демона из мэйланьских конюшен, отчего ноги мои были до колен забрызганы липким соком осенней Шулмы...

Суеверен ли я?

Нет, — хотел ответить я.

— Не знаю, — ответил я.

— Вот и я не знаю, — тоскливо согласился Единорог.

— А я знаю, — заявил Дзю, то ли подслушивавший, то ли догадавшийся о нашем разговоре, то ли вообще имевший в виду что-то свое. — Знаю, но вам не скажу.

5

Куш-тэнгри по-прежнему ехал впереди, не оборачиваясь, но теперь я знал, куда ведет нас Неправильный Шаман.

К священному водоему.

Могиле Блистающих и обиталищу Желтого Мо.

К месту, где не воюют.

Интересно, осмелится ли Джамуха, взошедший на престол Шулмы по ступенькам преклонения перед воинской доблестью, нарушить этот запрет, напав на нас там?

Да или нет?

С одной стороны, он — внук Желтого Мо и гурхан степей, а с другой — святость места, витающий над водоемом дух самого Мо и явившееся туда воплощение, то есть Асмохат-та, хоть истинный, хоть ложный, что надо доказывать...

Прав шаман — время для размышлений у нас, похоже, будет. Или оно есть, началось, сдвинулось с места — время для мудрых размышлений, время для глупых размышлений, для веселых и невеселых, для первых и последних...

А может, и не только для размышлений.

Кулай говорил, что часть вольных племен отказалась ломать прут верности перед Джамухой. Но даже идя против Восьмирукого, захотят ли они пойти за Асмохат-та?! Я и думать-то не хочу, скольких пришлось бы убить, чтоб перевесить Джамуху на весах Шулмы... ни думать не хочу, ни убивать.

И не буду. Не мое это дело, не моя радость — чужие уши в карманы складывать!

Более того — люди людьми, а как добиться, чтобы Дикие Лезвия зазвенели на нашей стороне?!

О Творец, не превращаюсь ли я, человек Чэн Анкор, в Твое оружие?! В мертвую вещь, не имеющее собственной воли оружие, покорное Твоей равнодушной деснице?!.

— ...и пришел Куш-тэнгри в ставку Джамухи через день после большого курултая, где был вручен Восьмирукому бунчук гурхана о семи хвостах, — вернул меня к действительности голос Асахиро. — А когда предложил шаман Восьмирукому пророчествовать о судьбе владыки, то сперва согласился на это Джамуха, но после жестоко посмеялся над служителем Безликого!..

Я вновь ощутил в себе ищущий мрак взгляда Куш-тэнгри, проникающий в заповедные глубины души темный клинок, идущую по следу памяти тварь... Нет, не похож был щуплый шаман на человека, над которым можно просто так посмеяться, да еще и жестоко!

Во всяком случае, сделать это безнаказанно.

— Во время обращения к Безликому вынимает воин из ножен свой клинок и держит его за рукоять, стоя у начала, а шаман Уркалахая берется за лезвие, становясь у завершения. И смотрят потом воин и шаман, исток и исход, в глаза друг другу, пока не перестают видеть земное, прозревая ткущееся на небесах.

Асахиро говорил медленно и певуче, и я слышал его, степь да ровный перестук копыт.

— Только на этот раз не взглянул Джамуха в лицо Куш-тэнгри. Едва пальцы шамана сомкнулись на мече гурхана, как рва-

нул Восьмирукий Чинкуэду, Змею Шэн, к себе и разрезал шаману ладонь до кости. И смеялся гурхан — дескать, не тягаться Безликому с Желтым Мо, как мясу шаманскому не тягаться с отточенной сталью, и никому из смертных не дозволено провидеть судьбу Джамухи! Смеялись воины, стоявшие вокруг, но невесел и угодлив был их смех, а шаман прошел сквозь смех и позор, не зажимая раны, и ладонь его ухмылялась алым ртом. Дик и страшен был взгляд Куш-тэнгри — настолько страшен, что трое воинов, не успевших вовремя отвернуться, умерли через день в муках...

Асахиро резко замолчал, потому что неспешно трусившая впереди лошаденка шамана как-то незаметно повернулась мордой к нам, а хвостом к священному водоему, и спустя совсем немного времени Куш-тэнгри уже снова был рядом со мной.

Я готов был дать голову на отсечение, что шаман не мог слышать рассказа Асахиро, а если и слышал, то ничего не должен был понять, — но шаман, ничего не сказав, протянул ко мне худую правую руку ладонью вверх.

Ладонь пересекал вспухший белый шрам. Он тянулся почти вплотную к линии жизни, обрываясь у запястья, словно кто-то хотел начертать новый жизненный путь Неправильному Шаману, но сделал это грубо и нерадиво.

Новый путь... но не Путь Меча, а путь, проложенный мечом. Шрам, оставленный злой насмешкой и необходимостью всегда и во всем доказывать свое превосходство.

Одуряюще-терпкий запах степи, тронутой осенним увяданием, вдруг ударил мне в голову, отчего окружающий мир стал до боли, до головокружения реальным, став миром, где приходится жить всерьез, жить однажды и навсегда, или не жить вовсе...

Ладонь Куш-тэнгри сжалась в кулак, сминая шрам.

— Служители Ур-калахая не проливают чужой крови, — сурово сказал Неправильный Шаман. — Нигде и никогда. Но это не мешает нам проливать свою.

Вокруг нас была Шулма.

В нас была Шулма.

А передо мной на нелепой лошади, одетый в нелепый халат, сидел Кабир.

Я-Единорог пристально смотрел на человека, в котором жил Кабир, на человека, чье время и место остались у меня за спиной, в прошлом, в моем прошлом и его будущем; на человека с серебряными волосами, который не проливал чужой крови.

— И поэтому мы не носим оружия, — закончил Куш-тэнгри.

— А мы носим, — отозвался я, думая о своем. — Мы носим. Но еще совсем недавно мы тоже не проливали чужой крови. Только свою.

Асахиро еле слышно застонал.

— Это невозможно.

— Это возможно.
— Где? — спросил Куш-тэнгри. — В Верхней Степи? В раю?
— В раю, — грустно согласился Я-Единорог.

ГЛАВА 23

1

...Желтый бог Мо сидел на самом краю своего священного водоема и, закусив верхними клыками оттопыренную нижнюю губу, задумчиво глядел куда-то вдаль.

Бог грустил. Наверное, оттого, что был не очень-то похож на меня. Или это я был не очень-то похож на него. Только я уж от этого никак не грустил.

Хотя отдаленное сходство все-таки наблюдалось.

Разумеется, у меня отсутствовала всякая саблезубость, просто и незамысловато выпирающая наружу. Да и голова моя, надеюсь, не в такой степени напоминала змеиную. Взгляд... вот за взгляд не поручусь. Возможно, в какие-то моменты у меня тоже бывает такой взгляд — пустой, цепкий и холодный, от которого становится зябко и пасмурно в самый жаркий день, и хочется куда-нибудь спрятаться, а спрятаться некуда. Да, наверное, бывает. Но редко. И хорошо, что я сам этого не вижу.

Шишковатый гребень? Если и смахивает на шлем, то весьма отдаленно. Равно как и складчатый плащ Мо — на мою марлотту. А телосложение у Желтого Мо завидное, в полтора меня будет, хотя это и не так существенно... Чешуя, подобная панцирю? Тут все сходится, у меня почти то же самое — доспех, подобный чешуе. А руки у Мо и впрямь как две латные перчатки! И длиннющий указательный палец на правой, направленный в глубину священного водоема. Длиной как раз с Единорога... А на левой лапе-ручище большой палец отведен в сторону, и указательный — тоже длинней обычного, но не так, как на правой, — небрежно устремлен вверх. Весьма, весьма смахивает на Обломка...

— Вылитый, — буркнул Дзюттэ.
— Похож, — согласился Единорог.
— Угу, — кивнул я. — Хотя... вы это о ком?
— Я о тебе, — заявил Дзю в пространство.
— И я о тебе, — с той же неопределенностью отозвался Единорог.
— И я о тебе, — решил не нарушать единогласия я.
И мы замолчали.

А еще Желтый Мо был почему-то не желтый, а зеленый. Зеленоватый. С некоторой желтизной. Желтоватый с прозеленью. Или все-таки желтый?!

Я поморгал и решил, что, в конце концов, это не мое дело. Хотя статуя очень выразительная. Впечатляет. И работы превосходной. Ох сомнительно, что ее ваял какой-нибудь скульптор-шулмус. Этот бы наваял... Но если не шулмус — то кто? Еще одна загадка. Которую я разгадывать не буду. Не до того сейчас. Да и как ее разгадаешь? Разве что у самого Мо спросить: «Здравствуй, приятель, это я, Асмохат-та, то бишь твое последнее земное воплощение! Позволь спросить, дорогой...»

Не позволит небось...

Мы приблизились к самому краю водоема и с некоторым трепетом заглянули внутрь. Вода слегка рябила, но была достаточно прозрачной, чтобы не скрывать дна, — и на дне водоема, в грязном иле, лежали гнилые и ржавые останки Блистающих.

Десятки — если не сотни.

Это была огромная могила.

Мы стояли, держась за руки и рукояти, — Я, Единорог и Обломок, и участь тех, кто не захотел отказаться от сути и призвания Блистающего, казалась нам в тот миг едва ли не лучше собственной.

А потом я повернулся и, по-прежнему не говоря ни слова, направился к ближайшему шатру, где меня уже ждал Куш-тэнгри, Неправильный Шаман.

Когда я сел прямо на землю рядом с шаманом, тот словно и не заметил этого. Не дрогнули полуприкрытые веки, дыхание не всколыхнуло грудь, и неведомые дали, по просторам которых блуждал сейчас серебряноволосый шаман, не отпустили его обратно. Он был — там. А я — здесь. Я сидел и смотрел. На большие бурые шатры, похожие на гигантских животных в выцветших после линьки шкурах. На чахлые деревца с удивительно яркой зеленой листвой и на желто-серые колючие кусты, растущие по соседству. На моих спутников, разбивавших лагерь неподалеку от бурых шатров — обиталищ шаманов Безликого, служителей Уркалахая.

Я сидел и просто смотрел.

Водоем Желтого Мо находился в низине, окруженной невысокими пологими холмами. Здесь проходила граница двух степей. Юго-восточнее, там, откуда мы пришли, простиралась степь, в немалой мере обожженная дыханием Кулхана. А северо-западнее начиналась степь свежая, вспененная горьким ветром, та степь, увидев которую я понял — вот она, Шулма. Вот здесь живут племена шулмусов, пасут свои неисчислимые табуны и стада, спорят о воинской доблести, совершают набеги друг на друга... И еще где-то там есть великий гурхан Джамуха Восьмирукий.

Мой любимый внук.

И прямая короткая Чинкуэда, Змея Шэн.

...Здесь проходила еще одна граница. Она незримо тянулась по гребням холмов, окружавших священный водоем. Внутри

этого круга властвовали боги. И все, кто входил в этот круг, попадали под их защиту.

У священного водоема не проливалось крови.

Здесь был малый Кабир.

«Здесь Шулма, — с упреком бросил Единорог. — А в водоеме гниют трупы моих братьев».

«Извини, — склонил голову я. — Ты прав. А я не прав. Просто мне очень хочется домой...»

«Да, Чэн. И мне».

И все-таки мы находились внутри круга, хотя предпочли бы до конца дней своих оставаться снаружи.

И подальше.

Я невольно обвел взглядом границу священного места и повернулся к Куш-тэнгри, услышав слабый мелодичный перезвон побрякушек на его халате.

Шаман уже возвратился из своих непонятных внутренних странствий и теперь глядел на меня.

— Будем говорить, Асмохат-та? — спросил Куш-тэнгри, Неправильный Шаман. — Да?

Его привычка после почти любого вопроса спрашивать еще и «Да?», словно собеседник и без того не ответил бы, поначалу раздражала меня, но здесь, в тени плаща Желтого Мо, то ли я стал терпимее к повадкам Куш-тэнгри, то ли его «Да?» стало мягче и естественней.

— Будем, — согласился я.

— Будем, — в один голос подтвердили Единорог и Обломок.

Но их шаман не услышал.

Он просто слегка вздрогнул, встал и направился к шатру.

Не оглядываясь. А я перед тем, как последовать за ним, махнул рукой случившемуся неподалеку Косу, чтобы тот подошел и помог мне снять панцирь.

И без божественного вмешательства ясно — чем-чем, а доспехом аль-Мутанабби мне Неправильного Шамана не удивить.

Да и не собирался я его ничем удивлять.

2

В шатре царил сумрак; расположенный в центре очаг не горел, но тепло от него еще сохранялось. Только сейчас я почувствовал, что снаружи было отнюдь не жарко.

Осень, однако... пора привыкать.

Мы опустились на ворсистую кошму друг напротив друга, и я выжидательно уставился на Куш-тэнгри. Смотреть ему прямо в глаза я до сих пор немного опасался, смотреть ниже было бы неудобно — еще решит, что я ему в рот заглядываю, — и я перевел

взгляд вверх, туда, где высокий гладкий лоб шамана переходил в зачесанную назад гриву его странных волос.

Куш-тэнгри слегка улыбнулся — дрогнули уголки губ, наметились ямочки на впалых щеках без малейших следов растительности, раздулись ноздри орлиного носа... и маска дикого безумного скульптора превратилась в довольно-таки располагающее к себе лицо.

— Это у меня с рождения, — сказал он, тряхнув серебряной копной и явно неправильно истолковав мой взгляд. — Просто тридцать три зимы тому назад у женщины из племени чиенов-овцепасов родился седой ребенок. А мудрые старейшины решили, что это не к добру, и маленького Куша бросили в степи. Спустя два с половиной года меня подобрали младшие шаманы Ултая-лекаря. Говорят, меня выкормила волчица... Не знаю. Не помню. А врать не хочу. Ултаевы целители осмотрели ребенка, который визжал и перекусал половину из них, и обнаружили все восемьдесят четыре признака будущего служителя Ур-калахая. Вот с тех пор я и живу здесь. А из-за волос прозван Неправильным Шаманом. И не только из-за волос. Так и стал из просто Куша — Куш-тэнгри.

Он вольно потянулся, хрустнув суставами, и закинул худые жилистые руки за голову, отчего стал удивительно похожим на моего прежнего знакомца по Кабиру Сабира Фучжана, тоже обманчиво хрупкого и низкорослого. Для полного сходства не хватало только Лунного Кван-до где-нибудь в углу, с его древком в рост человеческий и огромным мерцающим лезвием. Да, сейчас Куш-тэнгри вел себя совсем иначе, чем при первой встрече, и мне все время приходилось напоминать себе, что я не дома и даже не в гостях и что шаман отнюдь не Сабир, — но небрежная откровенность Куш-тэнгри все равно вызывала желание ответить такой же откровенностью, тем более что мы оказались чуть ли не сверстниками.

Если ему и впрямь тридцать три года.

— Так всю жизнь и помню себя слугой Безликого, — продолжал меж тем шаман, как бы излагая общеизвестные истины, знакомые всем (если он и сомневался в осведомленности новоявленного Асмохат-та, то старался это не выпячивать). — А шаманы Ур-калахая — они оружия не носят, крови не проливают, в чужие свары не лезут, кровавой пищи не вкушают, сон-гриба не нюхают, хош-травой не дымят...

— Араки не пьют, — непроизвольно вырвалось у меня.

— Почему? — искренне удивился Куш-тэнгри.

— Ну... не знаю, — замялся я.

— А у вас... э-э-э... там, в раю, араку разве с кровью делают?

— Нет. Бескровно.

— Или вы туда толченых сон-грибов подсыпаете?

— Ни в коем случае!

— Так с чего бы нам и не пить араки? — вопросил Куш-тэнгри, выволакивая из темного угла объемистый жбан, в котором что-то булькало.

А действительно, почему бы это нам и не выпить араки? Тем паче что я ее сроду не пробовал!

И мы выпили. Слабенькая она, арака эта, вроде вина, кисловатая, пенистая — короче, пьется легко. Первые три чашки — так совсем легко. А после четвертой и слова легче даваться стали.

— Вот если спрошу я тебя, Асмохат-та ты или нет, — вдруг, после очередной фразы ни о чем, заявил Куш-тэнгри, — так или ты не ответишь, или я не поверю. Спрошу я тебя: чем ты ориджитов убедил, что ты — Асмохат-та? Так опять или я не поверю, или ты не ответишь! Как ни спрашивай, что ни отвечай — конец один. Давай-ка лучше в игру сыграем. Кто выиграет, тот и спрашивать станет, а проигравший ему правдой платить будет. Да?

И, не дожидаясь моего согласия, два горшочка глиняных к себе придвинул.

Дребезжало что-то в тех горшочках. Я один взял, гляжу — камешки до середины насыпаны. Галька речная, мелкая.

А Куш-тэнгри с другим горшочком ко входу в шатер приблизился, полог в сторону отбросил, чтоб светлее стало, затем вернулся и шагах в восьми от меня на кошму сел. Чашку с аракой перед собой поставил, горшочек с камнями — рядом.

Один камешек достал.

В меня кинул.

Я поймал и обратно отправил.

И он поймал.

Добавил второй камешек, на ладони покачал и оба мне послал.

Забава это мне была, а не игра.

Три камешка.

Четыре. Два сразу, третий и четвертый — миг выждав, один за другим...

Хорошо он, подлец, ловил, так и брал из воздуха, а пальцы мягкие-мягкие... Без суеты, без дерганья глупого, спокойно и уверенно... волчий выкормыш.

Это я в похвалу...

Пять камешков. И всякий раз, когда очередная галька звонко цокала о металл моей правой руки, в глазах Куш-тэнгри вспыхивал холодный черный огонь.

Мы кидали лениво, не торопясь, давая камням слегка зависнуть в воздухе, не больше трех одновременно, но все-таки, все-таки, все-таки...

Шесть.

А на семи он сломался.

Пять взял, шестой локтем отбил, седьмой ему в чашку плюхнулся.

Белыми брызгами халат залил.

А я не о вопросах умных думал, не об ответах правдивых, а о том, что если бы дети Ориджа хотя бы пяток камешков вот так ловить умели, то наше знакомство с ними по ту сторону Кулхана совсем иначе сложилось бы.

И вот этот человек утверждает, что никогда не брал в руки оружия?!

«И вот этот Придаток всю жизнь прожил без Блистающего?!» — отраженным эхом ударила меня мысль Единорога.

— Ну! — властно крикнул нам Дзюттэ. — Ну что же вы?! Спрашивайте!..

И мы поняли, что и как надо спрашивать.

— Лови, шаман!

Я запустил в неподвижного Куш-тэнгри Обломком; а когда Дзю еще был в воздухе, пролетев две трети пути от меня до Неправильного Шамана, я прыгнул следом — и сумрак взвизгнул от боли и неожиданности, рассеченный Единорогом.

Он не соврал. Он действительно никогда не держал в руках оружия, этот удивительный человек, родившийся седым. Он поймал Обломка, но поймал так, как это не сделал бы ни один кабирец, — за край гарды, и даже не подумал защититься им от удара, а попытался увернуться, и увернулся, но через мгновение острие Единорога уже упиралось в побрякушку на правом плече шамана.

Куш-тэнгри глубоко вздохнул и осторожно, кончиком пальца, отодвинул клинок в сторону.

Я забрал у него хихикающего Дзю и вернулся на прежнее место, пряча Единорога в ножны.

— Это был вопрос? — осведомился шаман слегка севшим голосом.

Я кивнул.

— И я на него ответил?

Я еще раз кивнул.

— А... а что я ответил?

— Что ты на самом деле не знал Блистающих...

— Что?!

— Неважно. Что ты не пользуешься оружием. Что ты говорил правду — раз не соврал здесь, то скорей всего был правдив и в остальном.

Куш-тэнгри отхлебнул араки, прополоскал ею рот, затем выплюнул злосчастный камешек, а араку проглотил.

— Ну а если я притворялся? — после долгой паузы спросил он. — Если я обманул тебя?

— Если ты успел столь быстро понять смысл моего вопроса и обмануть меня, — ответил я, — тогда это не я — Асмохат-та, а ты.

Дзю у меня за поясом наконец перестал веселиться.

— А он мне нравится, — неожиданно сообщил Обломок.

— И мне, — вздохнул Единорог.

Я налил себе из жбана.

— Ты нам нравишься, — сказал я Неправильному Шаману.

— Кому это — вам?

Я неопределенно помахал чашкой в воздухе, проливая араку.

— А можно, — с несвойственной ему робостью вдруг спросил Куш-тэнгри, кивком головы указывая на Дзюттэ, — можно, я его еще раз подержу? Нет, не сейчас, потом... Можно? Я... мне показалось, что он — живой.

И шаман замолчал.

— Дзю, ему показалось, что ты живой, — с удовольствием передал Обломку Единорог. — Слыхал?

— Да? Польщен, — вяло отозвался Обломок. — Скажи-ка ему: мне тоже показалось, что он — живой.

А я все вспоминал летящие камешки и летящих гусей.

Камешки ловил я и ронял он; гусей видел он и не видел я; а еще он знал, что случится с гусями завтра.

Галька, упавшая в чашку с пенящейся аракой; сизый к вечеру отстанет, а тот, что с черным хвостом...

3

...А потом я выбрался наружу из шатра и долго моргал, привыкая к свету и пытаясь понять — вот передо мной обеденные приготовления моих спутников, но для кого это, собственно, отдельно в маленьком котелке варится рис (да и откуда рис в Шулме?!) без мяса, зато с обилием каких-то сушеных овощей и трав?!

Потом объявился из-за моей спины Куш-тэнгри, и назначение риса сразу стало понятным, потому что шаман отогнал от котелка нерасторопного (по его просвещенному мнению) шулмуса, извлек из складок своего одеяния несколько кожаных мешочков и принялся сыпать в котелок по щепотке-другой из каждого, бормоча себе под нос и помешивая варево деревянной лопаточкой, возникшей непонятно откуда.

Пахло шаманское кушанье на удивление вкусно, ничуть не хуже мясного плова в большом общем котле, — и мой желудок одобрительно забурчал. Впрочем, шаман не собирался угощать ни меня, ни кого другого — он снял котелок с огня и приступил к трапезе в одиночестве, уплетая еду той же деревянной лопаточкой с завидным усердием, как делал бы на его месте любой проголодавшийся человек, а не таинственный шаман Безликого Уркалахая.

Видимо, не один я заинтересовался поварскими тайнами шамана, потому что после того, как котлы опустели, а животы наполнились, к Неправильному Шаману не сговариваясь подсели с двух сторон ан-Танья и Матушка Ци и начали у него что-то вы-

спрашивать, тыча пальцами в котелок. Куш-тэнгри охотно стал вытаскивать свои мешочки и показывать их этой любопытствующей парочке — полагаю, тайна съедобных приправ не была сокровенной тайной Безликого, — и Кос немедленно вооружился костяным каламом, походной чернильницей и листом пергамента, намереваясь записать все услышанное.

Тут я отвлекся, заинтересовавшись разговором за моей спиной.

Ставший за последнее время поразительно миролюбивым Асахиро ковырялся в зубах длинной колючкой и подтрунивал над новоиспеченным нойоном Кулаем, а потом стал говорить на темы более общие и даже, можно сказать, возвышенные.

Говорили по-шулмусски и довольно-таки быстро, но я успевал улавливать смысл беседы.

— Убивать — плохо, — внушал шулмусам благодушно-сытый Асахиро, и шулмусы дружно кивали головами. — Убивать — очень плохо. Сперва вы друг друга, после мы друг друга, потом вы — нас, мы — вас... И что? Разве в этом доблесть? Не лучше ли умение воинское без крови проявить, по-дружески, а затем вместе пойти араку пить?!

— Лучше, — подумав, изрек Кулай. — Гораздо лучше.

Шулмусы оживились, кое-кто рассмеялся, а Тохтар-кулу полез за бурдюком, поняв Асахиро слишком буквально.

Бурдюк убрали подальше, — это Фариза расстаралась, — старый Тохтар недовольно сощурился, почмокал губами и повернулся к Асахиро.

— Хорошо сказал Асахиро-эцэгэ, — исподволь начал Тохтар, и я отчетливо увидел, как в глазках старого лиса забегали хитрые огоньки. Эцэгэ — оно, конечно, эцэгэ, и скоро все мои приятели в «отцы» шулмусские выбьются, а некоторые даже и в матери... так вот, вряд ли Тохтар хоть слово без подковырки скажет, да и само «эцэгэ» для кабирского уха — нож острый...

— Хорошо сказал Асахиро-эцэгэ, вкусно, сладко, уши радуются, еще хотят... Убивать — плохо. Помню я — года два тому назад в племени аруданов у одного охотника младшая жена пропала. Ну, пропала — и пропала. Украли небось. Бывает. Потом еще одной женщины недосчитались. И снова. Заволновались аруданы — враг женщин ворует, скоро всех украдет! Не злой ли мангус объявился?! Потом в степи жену охотника нашли. Мертвую. Кто убил? За что убил? Если мангус — почему не съел?! Если человек — зачем убил? Украсть — понятно, а убивать — глупо! Что с мертвой женщиной делать?! Позвали шамана. Пришел шаман Безликого, воинам в глаза посмотрел и на хромого табунщика указал. Вот он, говорит, женщин крадет. Глумится не по-мужски, а после убивает. Чтоб молчали, чтоб не сказали никому. Аруданы хромого табунщика к двум жеребцам привязали, жеребцов в степь погнали, кровавыми клочьями степь засеяли. Не пропадали больше

женщины у аруданов. А я сейчас Асахиро-эцэгэ слушаю, уши радую, сердце радую, думаю: «Убивать — плохо. Лучше араку пить. Зря тогда аруданы хромого табунщика убили, совсем зря... араку с ним пить надо было...»

— Дурак ты, Тохтар, — оборвал старика побагровевший Асахиро. — Такого табунщика трижды убить надо было!..

Они еще о чем-то говорили — а я задумался совсем о другом. Были ли у нас в Кабире убийства — я имею в виду раньше? Насилие? Вооруженные грабежи? Нет. Не было. Не слышал о таком — по крайней мере до появления беглецов из Шулмы. Кражи, мошенничества, подлоги, взятки — были. Грешны люди, один Творец безгрешен... Но не казнить же человека за кражу?! Вот и обходились без смертной казни. Плетей всыпать — это да. Затем тюрьма есть, рудники в конце концов!.. Но казнь?!

Хотя, с другой стороны, я прекрасно понимал аруданов.

Почему у нас не было своих хромых табунщиков? Мы что, лучше шулмусов? Нет, мы не лучше...

Тогда — почему?!

— Блистающие не дают, — услышал я внутри себя голос Единорога. — Мы насилия не приемлем... во всяком случае, раньше. Попробуй грабитель с голыми руками напасть на Придатка с Блистающим, да еще в Кабире — что выйдет? А если ты и сам вместе с Блистающим — так и не станете вы ни на кого нападать! Ну а бумагу поддельную написать или стянуть что — это мелочи, люди и без нас управятся, мы о том и знать не будем... Зато когда у ребенка человеческого с детства к Блистающему уважение, так он и взрослый его на дурное дело не поднимет. И себя замарать побоится, и клинок родовой...

Нет, я не во всем был согласен с Единорогом, но отчасти он прав. Для насилия нужно оружие или хотя бы понимание того, что насилие — уже само по себе оружие... а Блистающие — это не оружие.

Но...

4

— Послушай, Единорог... чем, собственно, мы, люди эмирата и Блистающие, отличаемся от шулмусов и Диких Лезвий? Тем, что они убивают, а мы — нет? Так и мы способны на насилие... Ты слушаешь меня?

— Я слушаю тебя, Чэн. Продолжай.

— Я еще не все понимаю, но давай представим себе вот что... Гончар делает горшок. Это его ремесло — делать горшки. Оно его кормит, ремесло это, да и от горшка польза несомненная — можно продать, можно воды налить, можно еще что-нибудь. Ремесло гончара — горшки делать, ремесло садовника — выраща-

вать айву и персики, ремесло ткача — полотно ткать... а ремесло воина? Шулмуса или Дикого Лезвия?! Что делает воин?

— Убивает, Чэн. Воин — убивает. Умело и быстро.

— Зачем?

— Чтобы выжить самому. Ремесло воина — умная ярость.

— Да. Умная ярость. Чтобы убить — и выжить. И взять себе имущество убитого, или его женщину, или его коня — но не это главное. Главное — чтобы выжить самому. И поэтому, сколько ни называй это убийство доблестью, умением, подвигом или подлостью, или еще чем, — важно, что это тоже ремесло. Ему учат, им сохраняют жизнь, им отнимают жизнь, оно приносит пользу, им можно торговать, у него свои тонкости и навыки...

— Да, Чэн. Это ремесло. Как гончар делает горшок — так воин убивает.

— А когда гончар делает не горшок, каких множество, а вазу? Единственную в своем роде? Каких до него не делал никто и никогда?! Если он неделями ломает себе голову над формой завитка на середине ручки этой вазы — хотя житейской пользы от этого завитка никакой?!

— Это искусство, Чэн. Не ремесло, но — искусство. Не польза, но — радость.

— А если воину плевать на жизнь и на смерть, если нет врага и нет ярости, а есть он сам и его меч, и отблески движущегося просто так, без житейской цели и пользы клинка чертят в ночном небе диковинный узор, и ноги танцуют, не касаясь земли, а кисточка на рукояти описывает спираль, ведущую в бесконечность, и нет пользы, а есть радость, и ты — это меч, а меч — это ты, это мир, это небо и перехлестывающее через край бренной плоти сознание бессмертия...

— Это искусство, Чэн. Это мудрая радость творчества, когда мы равны Творцу. Это шаг от ремесла к искусству, это два берега одного ручья — умная ярость воина-ремесленника и мудрая радость воина-творца. Это шаг от Дикого Лезвия к Блистающему, от пользы к красоте, от тела к душе!

— Да, Единорог. Есть состояние боя — и состояние Беседы. Есть враг — и со-Беседник. Ярость схватки и радость творчества. Бушующее пламя и невозмутимая водная гладь. Гордый Масуд и мудрый Мунир, огонь и вода... И когда мы творим Танец Меча — мы впитываем в себя чужую ярость и гнев этого мира, но переплавляем их в себе, как руду в горне, и удары наши быстры, они кажутся смертоносными, и торжествующий крик решающего движения заставляет зрителей вздрогнуть и затаить дыхание...

— ...и мы уподобляемся смерчу, сметающему все на своем пути, — но внутри мы спокойны и радостны, мы невозмутимы, и смерч наш никому не приносит вреда, ибо нет в нас злобы и гнева, они расплавлены и отлиты заново в форме Блистающего, и зрители...

— ...и зрители чувствуют это, потому что они такие же, как и мы, они способны со-чувствовать, со-переживать, быть со-Беседниками! А если нет...

— ...а если нет — они смотрят на нас со страхом и уважением, и помыслы убить нас умирают в них, не родившись... потому что огненные ручьи их злобы, их гнева и ярости влились в наше море, впитались в нашу душу и бесследно растворились в нашем спокойствии...

5

Вот почему в Кабире не мог объявиться хромой табунщик-убийца! И злоба, и страх, и ярость — все это с рождения свойственно и человеку, и Блистающему, но нас с малолетства учат обуздывать эти чувства, перемалывать их на внутренней мельнице спокойствия, проходить путь от ремесла к искусству и, минуя кровавую битву, творить Беседу. А если мы молоды и еще не способны до конца постичь тайну сотворения воинского искусства — нам помогают другие, более мудрые, более спокойные, дальше прошедшие по Пути Меча. Все вместе мы сделали этот шаг от орд Диких Лезвий и диких завоевателей к Блистающим и людям.

И этот шаг тоже был искусством.

А здесь, в Шулме, в нашем прошлом, ремесло по-прежнему остается ремеслом, умелое и быстрое убийство остается залогом собственного выживания, и боевая ярость кипит, не переплавляясь в душах неродившихся мастеров, и брызги этой лавы солоны и багровы...

Но тогда мы — мы, кабирцы, дети эмирата, — неужели волею судьбы мы все отступили на шаг назад, попросту вернувшись к кровавому ремеслу?

Хороший вопрос.

Есть ли на него хороший ответ?

Я чувствовал, что ответ уже брезжит где-то на краешке моего сознания, и попытался ухватить его за вихор, не дать ускользнуть — и не дал.

Ответом была стена.

Стена, тупик, в который уперлись мы — и люди, и Блистающие эмирата. Мы отточили до почти немыслимого совершенства лезвия клинков и Мастерство Контроля; Беседы наши стали изящны и молниеносны, а мы сами — учтивы и беззаботны; мы наслаждались жизнью и своим искусством, мы забыли об истоках — грязных, кровавых, но человеческий ребенок тоже рождается в крови и стонах, а Блистающий — в огне и грохоте...

И мы действительно разучились убивать. Мы отсекли эту часть бытия — и я утверждаю, что это плохо, какими бы ужасны-

ми ни показались мои слова. Потому что настал день, когда искусство столкнулось с насилием и не смогло противостоять ему — мертвый Шамшер в пыли, моя отрубленная рука на турнирном поле, Друдл и Детский Учитель в проклятом переулке!

Чистое Искусство отвергло Ремесло, из которого когда-то родилось, потом попросту забыло о существовании предка — и поплатилось за забывчивость.

Тусклые и батиниты были не правы и правы одновременно; так же, наверное, как и мы.

А сейчас... сейчас мы умеем убивать. И умеем не убивать. Мы не всемогущи, и силам нашим есть предел, но мы способны выбирать, и дело не в ремесле и искусстве, не в жизни и смерти, а в выборе, который наш и только наш.

В свободном выборе.

В выборе между огнем Масуда и водой Мунира.

— Выбор... — задумчиво произнес Обломок, о котором я совершенно забыл, как и о том, что поглаживаю его рукоять рукой аль-Мутанабби. — Сделать шаг вперед, отказаться от ремесла и убийства, обретя искусство и радость... А если сделать еще шаг? От искусства — куда? Что — там? Там, где, быть может, все сливается воедино, где нет ни жизни, ни смерти, ни убийства, ни отказа от него...

Что — там?

Ремесло.

Шаг.

Искусство.

Шаг.

Что дальше?

Сумеем ли мы сделать этот шаг? Или мы уже шагнули, сами того не сознавая?

Еще один шаг по Пути.

Пути Меча.

ГЛАВА 24

1

— Щепоть сушеной травы чимук, два очищенных корешка-сухороста, полгорсти толченой желтуницы, топленое масло...

— Ты запомнил все с первого раза? — Шаман удивленно глянул на Коса. — У тебя хорошая память. Почти как у меня.

— Я не запомнил, — в свою очередь, удивился ан-Танья. — Я записал.

И продемонстрировал шаману свои записи.

Слово «записал» Кос произнес по-кабирски, поскольку по-шулмусски его не знал. Как, впрочем, и я. Но шаман догадался.

— Записал? — повторил Куш-тэнгри по-кабирски. — Вот этими значками? Все, что я говорил? Да?

Кос утвердительно кивнул.

— Говорящие знаки, — задумчиво протянул Неправильный Шаман, почесывая кончик своего внушительного птичьего носа. — Знаю. У нас тоже есть. Но другие. Ими нельзя записать то, что я говорил. Только самое простое. Пять дюжин воинов ушли в поход. Вернулись три дюжины и еще два. Сожгли стойбище маалеев. Вот такое. Ваши знаки разговорчивее наших. Потом научишь.

— Научу, — охотно согласился Кос, а я вдруг обратил внимание, что при разговоре с шаманом ан-Танья держится особо предупредительно и безукоризненно-вежливо. Стараясь не смотреть в глаза.

Ну, тут я его понимал...

— Научу, — повторил Кос и помахал в воздухе своим листком. — А вы что, все это дословно помните? Я имею в виду — вы, шаманы?..

— Конечно, — равнодушно бросил Куш-тэнгри, подумал и уточнил: — Мы, шаманы. Воины не помнят. У воинов ветер в голове. Все слова выдувает. А нас с детства учат видеть и помнить. Или помнить и видеть. Вот...

Он мельком покосился на кучку ориджитов, отправившихся под предводительством Коблана обустраивать походную кузницу, покосился и тут же отвернулся.

— Сколько человек? — резко спросил шаман.

Как кнутом хлестнул.

Кос, тоже сперва глянувший в ту сторону, а потом снова воззрившийся на Неправильного Шамана, задумался, стараясь не поворачивать головы к ориджитам.

— Восемь, — неуверенно заявил ан-Танья. — И Коблан с Тохтаром.

— Семь, — отрезал шаман. — Семь ориджитов, ваш кузнец и итрец Тохтар. Кто из них в шапках, кто — без?

Кос замялся.

— Ладно, — смилостивился шаман. — Пусть будет не кто. Пусть будет — сколько. Сколько шапок на девятерых людях?

— Пять, — буркнул Кос.

По-моему, наобум.

— Три, — подытожил шаман, и мне даже не захотелось его проверять. — У кого из девятерых волосы на уши падают, а у кого назад зачесаны?

Ан-Танья только руками развел.

— У кузнеца вашего волос курчавый, уши наружу торчат, — начал Куш-тэнгри, — у Тохтара волос мало, а вот уши закрыты; трое детей Ориджа конские гривы отрастили, скоро не то что ушей — глаз видно не будет... еще трое волосы ремешком повяза-

ли и назад забросили; один — плешивый. Совсем. Дальше будем или хватит? Да?

— Хватит, — в один голос сказали я и Кос.

— Шаман должен не смотреть, а видеть, — наставительно заметил Куш-тэнгри. — Шаман не запоминать должен, а помнить. Иначе он — плохой шаман. Жизнь понять не сможет. Пропажу найти не сможет. Судьбу узнать не сможет. Предсказать ее не сможет. Ничего не сможет. Такой шаман — и не шаман вовсе.

Кос понимающе кивнул, а Я-Единорог подумал: «Предсказывать. Судьбу узнавать. Гуси, камешки, волосы... глаза твои ненасытные. И вообще — как он узнал о моем прибытии? Как в степи нашел?»

Похоже, Куш-тэнгри мог многое такое, о чем мы понятия не имели. И это в Шулме, в дикой Шулме, где жизнь не стоит и треснувшей чашки! Крылось в уменье шаманском нечто, связанное с шагом от ремесла к искусству, с яростью и радостью, с выбором между Масудом и Муниром...

И Я-Единорог еще подумал, что дело, наверное, не в памяти, остроте зрения или каких-то особых навыках (хотя и в них тоже), а в состоянии души, позволяющем сливаться с происходящим. Мы ведь тоже в состоянии Беседы успеваем многое, чего в обыденной жизни и заметить-то не успели!

— Будем говорить, Куш-тэнгри? — спросил я.

— Будем, — еле заметно улыбнулся Неправильный Шаман. — Только завтра. С утра. Да?

— Да, — ответил Я-Единорог и двинулся к Коблану, громыхавшему языком почище молота, отчего ориджиты работали если не лучше, то значительно быстрее.

Завтра — значит, завтра.

2

А завтра оказалось совсем рядом.

И таким же, как вчера, — шатер, шаман и я с Единорогом и Обломком.

— Ты позволишь мне взглянуть на твое прошлое, Асмохатта? — чуть ли не торжественно спросил Куш-тэнгри, усаживаясь напротив.

Нет, я не брал под сомнение возможности шамана. На его лице было написано, что он хочет не рассказ мой выслушать — а именно взглянуть. Самому.

Но стоит ли ему показывать?

— Стоит, — решительно заявил Единорог.

— Стоит, — согласился Обломок, злорадно сверкнув. — Нам скрывать нечего.

Я вслушался в это «нам», и мне стал ясен замысел Блистающих.

— Ну что ж, шаман, смотри, — я и сам внутренне усмехнулся, освобождая Единорога от ножен и протягивая его острием к Неправильному Шаману. — Так, что ли, это делается?

Куш-тэнгри, не поднимая глаз, протянул руку и неспешно сомкнул пальцы на клинке Единорога. Некоторое время ничего не происходило, я расслабился и пропустил тот момент, когда пытливо-мрачный взор шамана сверкнул навстречу мне подобно вороненой стали, и, проваливаясь во тьму, я успел крепче ухватиться за рукоять Единорога, и... и стать им.

Во тьме или при свете, здесь или нигде, вчера или завтра — один Меч встал спокойно против неба!

...Я знал, что Неправильный Шаман сейчас видит и чувствует то же, что и я. Но если я прекрасно понимал, что означает происходящее, и был к нему готов, то для шамана это было равносильно удару молотом.

И не одному удару.

Причем в самом прямом смысле слова.

Ведь сейчас я был Единорогом. И шаман видел прошлое — прошлое прямого меча, Блистающего из рода Дан Гьенов!

Он видел его рождение!

Вокруг полыхал огонь, вселенная неистово грохотала, я был раскален докрасна, и молот невидимого пока кузнеца-Повитухи рушился сверху, раз за разом, сплющивая уродливые неровности, уплотняя мою плоть — и удары эти приятно-звенящей дрожью отдавались в рождавшемся теле, гибком, разгоряченном, юном, рвущемся жить!.. Я рождался в огне и звоне, я выходил из горнила пламени, возбуждение все сильней охватывало меня, и сила ударов молота передавалась...

Испуганный крик расколол мир пополам — и через мгновение я, Чэн Анкор, вновь оказался в шатре Куш-тэнгри. Сам Неправильный Шаман неуклюже стоял на четвереньках — видимо, он упал вперед и едва успел опереться руками об пол, выпустив клинок Единорога. Как он при этом не порезался — а он не порезался, — оставалось загадкой. Шаман изумленно смотрел на Единорога... на мою железную руку.... и наконец наши взгляды встретились.

Без мрака и огня, просто, как и должны встречаться взгляды.

— Что... что это было? — прохрипел шаман. — Ад? Да?

— Прошлое, — честно ответил Я-Единорог. — Хочешь смотреть еще?

Но Куш-тэнгри, похоже, уже пришел в себя.

— Хочу, — твердо заявил он и, как показалось мне, без малейшего усилия и почти незаметно для глаза оказался сидящим на своем прежнем месте.

Он хотел смотреть.

— Ну что ж, смотри, — и я снова протянул ему Единорога.

На этот раз даже я — да что там я, даже Единорог не ожидал увидеть то, что возникло вокруг... что возникло в нас.

...Металл звенел о металл, кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке, по локоть забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган Фархад, который потом назовут иль-Рахшем, Крылом Бури, — и мощное лезвие, визжа от ярости, опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа, и скользил на плитах площади гнедой жеребец, а я, мятежный эмир Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, все смеялся в порыве боевого безумия, и бежали оставшиеся в живых защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных...

Память. Память латной перчатки.

Восемь веков тому назад.

Когда мы возвратились в шатер, взгляд шамана прошел уже знакомый мне путь: с Единорога на мою правую руку, с руки на мое лицо...

И снова на руку.

— В первый раз мы ушли далеко, — выдохнул Куш-тэнгри. — Я никогда не заглядывал так далеко... тому аду было десять дюжин лет и еще немного. Но сейчас... Когда это было, Асмохат-та?

— Восемь столетий, — ответил Я-Единорог. — С того дня прошло восемь столетий, Куш-тэнгри, рожденный седым.

— И это был... это был ты, Асмохат-та? Да?

— Нет, это были другие воплощения Желтого бога Мо, — изрек язвительный Обломок, услышав вопрос шамана в изложении Единорога.

И я не нашел ничего лучшего, как повторить сказанное Обломком.

Шаман долго молчал.

— Может быть, может быть, — наконец произнес он со странной дрожью в голосе. — Теперь я готов поверить в это... Но не верю. Ты не сердишься?

— Нет.

— Тогда... тогда не позволишь ли ты мне все же взглянуть на ТВОЕ прошлое? На прошлое твоего нынешнего воплощения?

— Позволю.

И я в третий раз протянул ему Единорога — нет, это Единорог сам потянулся к Неправильному Шаману.

...На этот раз я ему показал. Я раскрылся, и мы ушли в Кабир, Кабир Бесед и турниров, ярких одежд и оружейных залов; мы любовались подставками для Блистающих и слушали песни бродячих чангиров, мы дышали жаром кузниц и творили церемонию Посвящения, мы мерили мою жизнь вдоль и поперек, жизнь до сверкающего полумесяца Но-дачи, жизнь, до краев наполнен-

ную звоном Блистающих, готовых скорее умереть, чем пролить кровь; мы были там, дома...

Я не мог больше оставаться там, зная, что я — здесь.

И вернулся в шатер.

— Я знаю, кто ты, — медленно и сурово произнес Неправильный Шаман. — Ты не Асмохат-та. Ты больше, чем Асмохат-та. Ты жил в раю и сумел добровольно уйти из него. Я буду звать тебя этим именем, а истина пусть останется между нами.

— Сегодня мы смотрели прошлое, — сказал Куш-тэнгри. — Завтра мы будем смотреть будущее, — сказал он. — Да? — спросил он.

— Да, — ответили мы втроем.

3

...Еще один день завершился — один из бесчисленной вереницы дней, бывших до нас, при нас; будущих после нас.

Лагерь засыпал. Костры еще горели, о чем-то беседовали несколько человек, сидевших у одного из этих костров, но большинство наших (я подумал «наших», улыбнулся, вспомнил о «ненаших», способных вскоре объявиться поблизости, и перестал улыбаться) уже удалились в шатры — отдыхать. Налетел порыв стылого, пронизывающего ветра, я зябко поежился и взглянул на небо. Оттуда на меня безучастно смотрели холодные колючие звезды.

Блистающие небес.

Что-то теплое и мягкое опустилось мне на плечи, и я поначалу даже не понял, что это такое и откуда оно взялось. А потом обнаружил у себя на плечах меховую доху, повернулся и увидел Чин, облаченную в точно такое же одеяние; видимо, Чин уже некоторое время стояла у меня за спиной.

— Чин... — довольно глупо выговорил я и притянул ее к себе, пытаясь... ах, да ничего такого особенно мудрого не пытаясь, кроме как обнять мою маленькую грозную Чин.

И звезды в небе немного смягчились и потеплели.

Она предприняла слабую попытку высвободиться — слишком слабую, чтобы поверить в ее искренность, — поэтому я обнял ее еще крепче и зашептал на ухо всякую ласковую бессмыслицу.

Деликатный Обломок сообщил, что я придавил ему рукоять, и я попросил его заткнуться.

Единорога с Волчьей Метлой я почему-то совершенно не стеснялся, тем более что эти двое были заняты друг другом не меньше нас.

— Да ну тебя, — Чин попробовала сделать вид, что сердится на меня, но это ей не очень-то удалось, да и трудно сердиться на

того, с кем в данный момент целуешься; и мы в четыре ноги двинулись к шатру.

К шатру, который я мгновенно переименовал из «моего» в «наш».

— И зачем я за тобой, бродягой, потащилась, — ворчала Чин в паузах между поцелуями, — из Кабира в Мэйлань (пауза), из Мэйланя в Кулхан (пауза), из Кулхана в Шулму эту про (пауза) клятую... И что я в тебе, жеребце необъезженном, нашла?!

— А что в жеребцах находят? — не удержался я. — Вот это самое и нашла...

Чин собралась было возмутиться, но передумала и махнула рукой — той, в которой на отлете держала Волчью Метлу.

— Может быть, именно это и нашла, — неожиданно согласилась она, имея в виду что-то свое.

Мы ввалились в шатер, который кто-то (скорей всего вездесущий ан-Танья) уже успел протопить; через минуту Единорог в углу умильно касался кисточкой Волчьей Метлы, что-то ей шелестя, а мы с Чин нырнули под ворох предусмотрительно заготовленных (кем?.. неважно...) теплых шкур, и больше я не собираюсь ничего рассказывать, потому что... потому что... не ваше это дело!.. и вообще...

И вообще — хорошо, что у меня хватило ума бросить доху прямо на Обломка, а самого Обломка бросить подальше от меня и моей правой руки, так что до утра я его не слышал.

4

...Звон металла, чьи-то крики, снова звон...

Я проснулся рывком, сразу, и вынырнул из-под шкур, мельком отметив, что Чин в шатре уже нет. Поспешно схватив Единорога, я откинул полог шатра и... и убедился, что ничего страшного не случилось. Асахиро ругался с возбужденным Куш-тэнгри — впрочем, делалось это достаточно беззлобно, чтобы потребовалось мое вмешательство, — Коблан развернул наконец свою походную кузницу и что-то деловито ковал, невысокий крепыш-ориджит помогал ему, держа заготовку клещами; другой шулмус, постарше, сидел рядом, вытянув плохо сросшуюся после той памятной битвы ногу, и изумленно качал головой. Еще несколько детей Ориджа вместе с хохочущими Фальгримом и Диомедом столпились вокруг спорящих шамана и Асахиро; Ниру, прихрамывая, руководила приготовлением пищи...

Ну и так далее.

Ах да — еще пара Блистающих звенела где-то позади моего шатра, и мы с Единорогом мгновенно узнали характерный лязг с присвистом Волчьей Метлы.

Короче, все было в порядке.

Я поспешил нырнуть в шатер, пока никто не обратил внима-

ния на явление голого всклокоченного Асмохат-та, невесть зачем высунувшегося из шатра с мечом в руке, и со вздохом принялся одеваться.

— А я, пожалуй, вполне способен примириться с Шулмой, — заметил Единорог, укладываясь поверх шкур и задумчиво мерцая обнаженным клинком. — Правда, ни тебе подставки, ни угла своего — хотя к походной жизни я уже привык. Зато интересно. Шаман этот опять же... Ну что, Асмохат-та, будущее смотреть будем?

— Будем, — кивнул я, — вот только шаровары натяну, да доспех, да доху еще...

Тут из-под дохи донесся сдавленный вопль Обломка, услышанный Единорогом, а через него — и мной, так что я торопливо освободил Дзю из мехового плена и весьма удивился его первым словам.

— Чэн, а почему ты жеребец? — спросил Обломок.

Я предпочел не отвечать, и мы выбрались наружу, влетев в самый разгар спора, и не думавшего затихать.

— Ты что делаешь?! — кричал Куш-тэнгри, размахивая руками. — Ты зачем ориджитов шаманами делаешь?! Глупый ты, совсем глупый, ничего у тебя не выйдет, да?!.

— Да, — соглашался Асахиро, глядя на ориджитов. — Не выйдет.

— Тогда зачем учишь?

— Чему?

— Как чему? Дышать учишь, стоять учишь, смотреть учишь! Силу из земли брать учишь! Думаешь, я слепой, не вижу?!

— Какую такую силу?! — злился Асахиро, размахивая Но-дачи, участия в споре не принимавшим и потому свистевшим довольно-таки безразлично. — Дышать учу — правильно! Стоять учу — правильно! У нас этому детей учат! А я ваших оболтусов учу...

— Только их еще долго учить придется, — тихо добавил он в сторону по-кабирски, и Но-дачи согласно сверкнул, плашмя опускаясь ему на плечо.

Куш-тэнгри вроде бы немного поутих, но увидел меня и снова воспылал праведным гневом.

— Ты только посмотри, великий Асмохат-та, чему твой человек, которого глупые шулмусы зовут Асахиро-эцэгэ, ориджитов учит! — обратился он ко мне.

Я посмотрел. Асахиро показал. Шулмусы проявляли усердие, стараясь не ударить в грязь лицом перед Асмохат-та, и у них более-менее получалось; для первого раза даже более, чем менее. Ноги они со временем напрягать перестанут, а то, что грудь на вдохе не выпячивают, — это Асахиро молодец, быстро сумел...

— Правильно учит, — одобрил я. — Не знаю, как шаманов учат, а у нас — так... Кстати, о шаманах. Куш-тэнгри, скажи на

милость, а где остальные служители Безликого? Что-то я здесь, кроме тебя, ни одного не видел!

— Ушли, — лаконично ответил Куш-тэнгри. — Ты приехал, они узнали и ушли.

— Это как же понимать?! — грозно вопросил я, косясь на притихших шулмусов. — Они что, не хотят встречаться с Асмохат-та?!

— Не хотят, — гнев мой не больно-то испугал Неправильного Шамана. — Выбирать не хотят. Встреть они вас, пришлось бы им выбирать: Джамуха или Асмохат-та. Вот они и решили выждать.

— А ты? Что ж ты не выждал?

— Я — Неправильный Шаман. Я не хочу ждать. Я хочу знать. И еще я хочу увидеть будущее. Будущее Шулмы — моей родины.

— А раньше ты его не видел?

— Видел. И другие шаманы видели. Объединение племен видели, поход на мягкоруких видели, горящие шатры из камня, добычу, рабов видели... Потом гурхан Джамуха мне руку своим мечом разрезал. С тех пор я ничего не вижу. У отдельных людей — вижу. У всей Шулмы — не вижу. Ни добычи, ни рабов, ни побед. Другие видят, а я — нет. Я вижу чешуйчатую руку, простертую над Шулмой. И в день твоего прибытия, Асмохат-та, она сжалась в кулак.

Я вспомнил свой сон, где железная рука нависала над миром в колыбели.

Может быть, это и значит — видеть будущее?

Нет.

Это оказалось совсем не так.

И не похоже на сон.

5

...Я видел Шулму как бы с высоты птичьего полета. Нет, выше, много выше. Желто-зеленая степь, рассеченная голубыми клинками рек, на юго-востоке ограниченная Кулханом, на юго-западе упирающаяся в горы, — и всю Шулму затягивала неясная дымка, в просветы которой я иногда видел копошащиеся орды муравьев, снующих по своим муравьиным делам.

И я чувствовал себя богом.

А степь все мерцала, и вереницы деловитых насекомых все текли в какое-то одно известное им место, и я понимал — вот она, ставка гурхана Джамухи Восьмирукого, вот он, зародыш кровавого похода во имя Истины Батин!

Дымка, скрывавшая Шулму, затрепетала, клубясь розоватыми облачками, превращаясь в зыбкое светло-багряное марево, и меня словно плетью хлестнуло — такую ярость, такую злобу и страх сотен тысяч людей источал этот странный туман, эта кровавая пелена, так часто застилавшая глаза воинов Шулмы!

Я видел огонь Масуда!

И я чувствовал себя богом.

Ликующим Желтым Мо.

Земля в багровом тумане метнулась в сторону, я на миг зажмурился, а когда открыл глаза — подо мной был Круг священного водоема, свободный от испарений душ человеческих, напоенных злобой, вскормленных расчетливой яростью воинского ремесла, растлеваемых умелой хитростью Джамухи-батинита... и робкие змеи красной пелены, заползавшие в этот круг, светлели и растворялись, впитанные нами; растворялись, перерождаясь, возвращаясь в мир спокойной уверенностью... зыбкие змеи Шулмы, шипя, умирали в круге Кабира, давая жизнь новому, неизведанному... и огонь Масуда противоестественным образом сливался с водой Мунира, ярость — с радостью, ремесло — с искусством...

И вот Круг священного водоема по-прежнему чист и незамутнен, но на границе с ним все уплотняется, сгущается, накатывается гневный вал цвета дымящейся крови, грозя захлестнуть Круг приливом древней Истины, приливом Сокровенной Тайны, и я падаю, падаю, падаю...

И я, вопреки всему, чувствовал себя богом.

Падшим богом.

Даже разбившись и перестав существовать.

6

Я вытираю рукавом слезящиеся глаза.

Мы с Куш-тэнгри долго смотрим друг на друга, не снимая рук с Единорога.

Единорог тоже молчит — он видел. Как и мы.

Молчит Обломок у меня за поясом — хотя я не знаю, что он видел и видел ли он хоть что-нибудь.

— Он в ярости, — тихо выговорил наконец шаман. — Я ощущал ярость.

Я кивнул. Я знал, кто — он.

— И он в страхе. Я ощущал страх.

Я еще раз кивнул.

— Джамуха скоро решится. Ты стоишь между ним и мягкорукими. И Джамуха пойдет на нас.

Я выделил для себя слово «нас». Значит, Неправильный Шаман уже сделал свой выбор.

— Спасибо, Куш-тэнгри.

— За что?

— За нас.

Шаман понимающе кивает и улыбается одними уголками губ.

— Ну что, Асмохат-та, — спрашивает он, — будем смотреть будущее? Твое будущее?

Я непонимающе гляжу на него.

— Это было не будущее, — объясняет шаман. — Раз было, значит, не будущее. Это — настоящее. Это — зародыш будущего. Будем смотреть дальше?

— Да, — отвечаю Я-Единорог.

И вновь окунаюсь в омут черных глаз.

...две стены воинов. Одна — впереди меня, другая — за мной. И ярость дышит мне в затылок; и ярость смотрит мне в лицо.

В двух шагах от меня — он. Джамуха Восьмирукий. Джамуха-батинит, в чьей руке шипит, полосуя воздух, короткая Чинкуэда, Змея Шэн.

Вот он — Джамуха.

И я не вижу его лица.

Я вижу островерхий кожаный шлем с металлическими пластинами; вижу легкий панцирь, но не настолько легкий, чтобы не ощутить дрожь Единорога, сомневающегося — пробьет ли он эту защиту или не стоит рисковать, работая наверняка; вижу шаровары черного шелка (не кабирской ли работы?); вижу мягкие сапоги с острыми носами, вижу...

Лица — не вижу.

И вижу косой рубящий удар, и радуюсь тому, что я его вижу, потому что Джамуха не сможет, никогда не сможет успеть увидеть, как лезвие Единорога на треть погружается в горло гурхана степей...

— ...Нет!

Я в шатре.

Я беззвучно кричу.

И слышу крик Единорога.

— Нет! Не хочу! — кричим мы.

— Но ведь ты одержал победу, — искренне удивляется Куш-тэнгри. — Ты убил его.

— Я не хочу убивать его.

И я требовательно смотрю в глаза шаману.

— Будущее не в нашей власти, Асмохат-та.

— Я не хочу убивать его.

Шаман пожимает плечами и берется за клинок Единорога.

...Я не помню, сколько раз погружался в выхваченное из ненаступившего времени непроисходившее мгновение. Менялся рисунок боя, иногда первый удар наносил я, стремясь выбить Чинкуэду, Змею Шэн, из руки Джамухи; иногда я тянул время, пытаясь победить, не убивая. Но каждый раз все кончалось одинаково: косой взмах Чинкуэды и лезвие Единорога, на треть вонзающееся в горло гурхана.

— Нет!..

Я устало вытер пот со лба, вернул вздрагивающего Единорога в ножны и откинулся назад.

— Я удивлен, что ты смог хотя бы это, — замечает Куш-тэнгри.

— Что — это?

— Ты по-разному сражался. Хотя исход не менялся, да и не мог измениться.

— Мог, — упрямо говорю Я-Единорог. — Мог. Это я не смог изменить его. Но — смогу.

— Может быть, может быть, — как прежде, задумчиво бормочет Неправильный Шаман. — После встречи с тобой я уже ни в чем до конца не уверен. А это плохо. Шаман должен быть уверен. Иначе он — плохой шаман.

— Послушай, Куш-тэнгри, а что видел ты?

— То же, что и ты.

— Но я-то видел себя! Значит, и ты должен был видеть себя!

— Нет. Я себя не видел.

— Почему?

— Наверное, я умру до того, — равнодушно отвечает Куш-тэнгри, Неправильный Шаман.

7

И тогда я вновь обнажил Единорога, и Блистающий вновь потянулся острием к Шаману.

— Я устал, — сказал Куш-тэнгри.

Единорог не дрогнул.

Мы тоже устали.

Но нам нужно было вернуться к истоку; нам был необходим день сегодняшний и день завтрашний, но не день Шулмы.

Шаман как-то странно покосился на Единорога, словно видел его впервые, и взялся за клинок.

Рука его дрожала.

...Я летел, летел высоко в небе, как птица, быстрей любой птицы. Закончился Кулхан, промелькнул подо мной Мэйлань, вот змеится Фаррский тракт, вот на горизонте вырастают очертания Кабира...

И я падаю, падаю, падаю, сбитый, как птица, влет; я падаю, сердце мое обрывается в звенящую пустоту, и я знаю, что не ошибся, что видел то, что видел, то, что опалило душу мою...

Над Кабиром медленно сгущалось кроваво-красное марево.

Огонь Масуда.

ГЛАВА 25

1

Неделю после этого я не хотел ни о чем думать. Словно в моей душе остался саднящий ожог, прикосновение к которому любой, даже самой незначительной мысли причиняло невыносимую боль.

И в конце трудного, тернистого пути всякого рассуждения было одно и то же: странник-мысль упирался в дверь горящего дома, из окон этого дома вырывались жадные языки Масудова огня, а на пороге стоял Джамуха-батинит, безликий гурхан, и горло его было открыто для меча.

Я не хотел думать. Ни о чем. И, как очертя голову бросаются в пропасть, ринулся в единственное дело, которое умел делать; дело, способное поглотить меня целиком и отучить думать.

Хотя бы на время.

Я мучил собственное тело, заставляя его в доспехе делать то, чего раньше не мог как следует сделать и без доспеха; я пытался дойти до изнеможения, а изнеможение убегало от меня, и тело мое радовалось возвращению на круги своя, радовалось и не хотело уставать, соглашаясь с любыми самыми взбалмошными приказами и выполняя их безукоризненно и мгновенно, как отлично вышколенный слуга. Я требовал от Единорога с Обломком невозможного, и они отвечали мне тем же, пока невозможное не становилось возможным, мы были пьяны друг другом и беспощадны друг к другу; и мы были одним целым.

А ночами, в короткие часы отдыха, меня спасала Чин.

Я Беседовал со всеми, изматывая тех, кого мог измотать, заставляя Фальгрима, ан-Танью и Асахиро часами работать на турнирных скоростях; они менялись, Гвениля сменяли Сай и Заррахид, их обоих — Но-дачи, а мы с Единорогом и Дзю все кружили по утоптанной площадке, как пятнистый чауш по клетке, и я чувствовал неистовое биение крови в железной руке.

Дважды я вызывал в круг сразу Асахиро и Коса; дважды Единорог с Обломком противостояли троим — Саю, эстоку и Но-дачи, но ни разу я не звал к себе Фальгрима и Коса.

Я хотел не думать. Но я не был глупцом.

Гвениль и Заррахид при поддержке Сая в ближней Беседе — нет, не родились еще те Блистающие, которые могли бы остановить их, будучи в руках у одного человека!

Я не думал. Я не думал, что все, что я делаю, возможно, лишь укорачивает Путь Меча к горлу Джамухи, делает этот Путь прямей и неотвратимей... я даже не думал о том, что пытаюсь гасить Масудов огонь в самом себе, что горящий дом — это я...

Во имя Восьмого ада Хракуташа, я не думал об этом!

Один раз я поехал с шулмусами, Эмрахом, Фаризой и тремя батинитами на охоту. Полдня я дергался, озираясь по сторонам; полдня в каждом стаде джейранов мне мерещились всадники Джамухи, меня раздражала беспечность спутников и их вера во всемогущество Асмохат-та; и я был безмерно счастлив, вернувшись без приключений к священному водоему.

И пошел Беседовать с Диомедом и Махайрой.

А тех в лагере не оказалось.

Еще не оказалось Фальгрима с Гвенилем, Кулая, Тохтара, а также дюжины остававшихся шулмусов.

Коблан на миг перестал греметь железом, подмигнул мне, вытер пот со лба и сказал, что все в порядке.

А Кос сказал, что все скоро вернутся.

Я кивнул.

Назавтра они не вернулись.

Послезавтра — не вернулись.

Я никого ни о чем не спрашивал.

«Не напиться ли?» — мелькнула шальная мысль. Напиваться не стал. Во-первых, Единорог воспротивился, а во-вторых, разве ею напьешься, аракой этой?

А на седьмой день после погружения в огонь Масуда — всю эту неделю я чуть ли не избегал Куш-тэнгри, и он, понимая мое состояние, не настаивал на большем, чем короткие и ни к чему не обязывающие встречи, — и на третий день после исчезновения Кулая и моих друзей ко мне, в сотый раз начинавшему сначала «Бросок пестрого тигра», подошли Асахиро с Но-дачи на плече и Матушка Ци с молчаливым Чань-бо, свободным от тряпок.

За руку Асахиро вел какую-то девушку.

— Это Хамиджа, Чэн, — сказал Асахиро.

Я кинул Единорога в ножны, сунул Обломка за пояс и обернулся к подошедшим.

2

— Это Хамиджа, Чэн, — сказал Асахиро, и Матушка Ци, стоявшая у него за спиной, широко улыбнулась и часто-часто закивала головой, словно пытаясь убедить меня в том, что это Хамиджа и не кто иной.

Асахиро не назвал меня «Асмохат-та». Вряд ли нас кто-нибудь подслушивал, но все-таки... Я еще подумал, что моим настоящим именем Асахиро Ли, судьба моя неотступная, хочет подчеркнуть... не знаю уж, что он хотел этим подчеркнуть, потому как додумывать эту мысль мне расхотелось.

Хамиджа оказалась очень похожа на Чин. Нет, не лицом — хотя некоторая тонкость черт и матовая бледность была свойственна обеим, та здоровая бледность, которую не окрасить никаким солнцем от Хакаса до Шулмы, — а скорее манерой двигаться, стоять и... и смотреть. Так же, как у Чин, у Хамиджи спокойно-уверенный взгляд вступал в неясное противоречие с хрупкостью телосложения, и лишь когда девушка начинала двигаться, даже просто переступив с ноги на ногу, ты начинал понимать всю обманчивость этой подростковой хрупкости. С тем же успехом

можно упрекать Единорога, что он более хрупок, чем, к примеру, Шипастый Молчун.

И упрек этот будет столь же справедлив, сколь и глуп.

— Здравствуй, Хамиджа, — сказал я, не найдя ничего лучшего.

Девушка не ответила. Стояла, молчала, смотрела на меня, за меня, мимо меня...

— Она — давини, — тихо бросил Асахиро.

По-моему, он хотел добавить: «Неужели ты не видишь, Чэн?», но не добавил.

Потому что я уже видел.

Давини — так звали в эмирате женщин, обуянных дэвом (мужчин звали — девона), а если проще — умалишенных. И то, что я принял поначалу во взгляде Хамиджи за спокойствие и уверенность, на самом деле было покоем безразличия.

Покойный взгляд.

Серый туман в обрамлении невероятно длинных ресниц, которым положено пронзать сердца несчастных влюбленных; впрочем, я плохо представлял себе кого-нибудь, влюбленного в давини.

— Таких, как она, в Шулме никто пальцем не тронет, — продолжил Асахиро сдавленным голосом, почему-то уставившись себе под ноги. — Коня дадут, шатер дадут, утварь всякую... а в племени жить не дадут. Отдельно кочевать прогонят. Сумеешь не пропасть — меряй степь из конца в конец, не сумеешь — в степь ляжешь.

Я еще раз оглядел Хамиджу с головы до ног. Старенький халат, латаный-перелатаный, из-под которого выглядывает нечто вроде кожаных шаровар; на голове башлык — не башлык, тюрбан — не тюрбан... нечто. Полусапожки с рваным верхом, левая подошва скоро отвалится...

Маленькие ладони девушки бессмысленно поглаживали толстую веревку, истрепанную и заменявшую пояс.

Молчит...

— Немая она, что ли? — поинтересовался я, как если бы девушка была неживым камнем, да еще стоящим не здесь, а где-то далеко.

Нет. Ни обиды, ни ответа. Словно мы все в одном мире, а она — в другом.

— Не знаю, — ответил Асахиро. — Пока что ничего не говорила...

— Тогда откуда ты знаешь, что ее зовут Хамиджа?

Как-то неприятно было стоять рядом с человеком, о котором говоришь, и чувствовать, что человек этот вроде бы и не совсем человек, и все равно ему — говоришь ты о нем, не говоришь или вовсе прочь пойдешь.

Давини.

Вместилище дэва. Я вспомнил громогласного и могучего Чандру-Дэва и посмотрел на тихую равнодушную давини.

Мне и себе-то признаться неловко было, что побаиваюсь я ее, Хамиджу эту. Еще в детстве как напугала меня одна старуха-давини, забившись в припадке у ног Чэна-семилетки, так с тех пор страх этот и сидит во мне. И не семь лет мне вроде бы, и умом все понимаю, а хочется отойти в сторонку...

— Так мы накормим ее?

Это Асахиро. А Матушка Ци подмигивает мне и пальцем Хамидже в бок тычет. Нет, не в бок, а в бляшку нефритовую, к халату невесть как пришитую... иероглифа там два, «цветущий орешник» и «вешний дождь». Произносятся как «хами» и «джа». Написание вэйское, с наклоном, хоть и потерлось сильно...

Такие бляшки у нас в Вэе на именных поясах носят.

Вот оно в чем дело... Хамиджа, значит.

— Конечно, — сказал я. — Конечно, накормите.

Матушка Ци мигом засуетилась, беря безмолвную Хамиджу за руку, увлекая за собой, что-то ей ласково приговаривая, а Асахиро все стоял и поглядывал на меня колко и неприязненно.

— Ты чего, Ас? — спросил я. — Я же сказал — накормите...

И тут до меня дошло.

— Погоди, погоди, Ас... что-то я сегодня плохо соображаю! Если она из Вэя, Хамиджа эта, значит, она — как вы... как ты и Фариза! Попала в Шулму когда-то, убила шулмуса в кругу, была принята в племя... Или до сих пор рабыня?

Асахиро смягчился — что, правда, почти никак не проявилось, за исключением некоторого потепления во взгляде.

— Нет, Чэн, она не рабыня. Рабыню-давини изгнали бы просто так, без ничего, а у Хамиджи — лошадь, шатер, вьюка не то два, не то три... Так что как ни крути — была принята в племя!

И он многозначительно прищелкнул пальцами — дальше, мол, сам догадывайся!

Что уж тут догадываться... Раз была принята в племя — значит, наверняка стояла в круге племенном, значит, на руках ее кровь какого-то бедняги-шулмуса — верней, не на руках, а на Блистающем, которого с ней нет. Почему? Ну, в шатер, наверное, обратно положили, на пунцовую кошму. Не давать же такого замечательного Блистающего — или как там его по-шулмусски назвали — девушке, чей рассудок оседлал голодный дэв!

— А мне она не понравилась, — ни с того ни с сего заявил с плеча Асахиро большой Но-дачи, задумчиво поблескивая. — Мы когда сюда шли, она меня пальцем трогала. Три раза.

Я-Единорог невольно улыбнулся.

— Ну и что? — спросил Единорог-Я.

— Да ничего... Пальцы у нее холодные.

3

...Вечер.

Я в одиночестве — впрочем, со мной Единорог и Обломок, не меньше меня вымотавшиеся за день, так что я в относительном одиночестве сижу у костра, чувствуя, как звенящий угар последней недели постепенно проходит, а Шулма остается, и Джамуха остается, и много чего остается, и надо что-то со всем этим делать, а я тут сижу...

Шагах в двадцати от меня Матушка Ци обихаживает Хамиджу-давини, пытаясь не то разговорить бедную дурочку, не то окружить чисто женской заботой-жалостью, но Хамиджа спрятана сама в себе, как меч в ножнах, она бесстрастно глядит перед собой, а потом внезапно встает и куда-то уходит.

Ну и пусть себе уходит...

Оглянулась. Отблески пламени упали на ее лицо, и лицо показалось мне на удивление живым и разумным, и даже озабоченным, — но тени сложились в еще одну маску и еще одну, затем Хамиджа ушла, а я забыл о ней, о ее лице и пляске огня.

— Дозволит ли Асмохат-та поговорить с ним? — слышится у меня за спиной вкрадчивый хрипловатый голос.

— Дозволит, дозволит, — отнюдь не радушно бурчу я, поворачиваясь.

И вижу пред собой Неправильного Шамана. Ох и не хочется мне с ним сейчас говорить! Впрочем, шаман тут не виноват. И говорить придется — раз сам подошел, значит, не отвяжется, да и я же дозволил, никто за язык не тянул.

А ведь мог бы и не дозволять, на правах Асмохат-та...

Я хлопаю по неизвестно чьей кошме рядом с собой.

— Садись, шаман. Говорить будем. Семь дней молчали — теперь, похоже, пора.

Куш-тэнгри еле заметно кивает и легко опускается на предложенное место под перезвон своих побрякушек.

— Ты прав, Асмохат-та. Пора говорить. Раньше нельзя было — ты и слушать бы не стал. Сейчас — станешь.

Да уж стану....

— Ну и о чем мы будем говорить, мудрый Куш-тэнгри?

— О тебе. О людях твоих. О живых ваших мечах (Я-Единорог внутренне вздрагиваю: как он догадался? Или ему кто-то сказал?..). О шаманах Ур-калахая Безликого. Обо мне — тоже. О том, как нас учат. О том, как вас учат. О многом говорить будем.

— И как вас учат? — для порядка интересуюсь я.

Куш-тэнгри пропускает мой вопрос мимо ушей. Во всяком случае, мне так кажется.

— Когда рождается мальчик, Асмохат-та, то его показывают шаманам Улгая-целителя. Есть у ребенка шесть дюжин тайных признаков — быть ему шаманом. А найдут семь дюжин — быть ребенку слугой Безликого. Заберут его от матери, сюда принесут и с двух лет учить станут.

Смотреть научат — чтоб глаз не уставал. Видеть научат — чтоб замечал, что надо. Меня самого старый шаман Хум-Тэнгэ учил. «Обернись, — говорит, — и смотри. Что видишь?» — «Табун вижу», — отвечаю. «А теперь закрой глаза. Сколько лошадей в табуне?» Ну, я ответил. Правильно ответил. Полторы дюжины и еще две. «А мастей каких?» Я ответил. «Сколько кобыл, сколько жеребцов?» И так все время. А собьешься — поначалу, пока до груди ему не дорос, кнутом бил. Больно, а обидно — вдвойне. Как дорос до груди — перестал меня бить Хум-Тэнгэ. Но, бывало, так посмотрит, что уж лучше кнутом бы вытянул...

Дышать учил. Стоять учил. Камни ловить учил. Как с голыми руками от волка отбиться, учил. После травам учить стал. Чтоб на ощупь чуял — где живая трава, где мертвая, где злая, где добрая. Ну а позже, когда мне все это передал, — стал другому учить. Людям в глаза смотреть, душу их видеть, мысли их трогать, тело взглядом вязать; людское вчера и завтра прозревать.

Старый был Хум-Тэнгэ. Перед смертью сказал: «Хорошим шаманом будешь, Куш-тэнгри. Знаю. Потому как сам учил. А я — хороший шаман. Был. Все, что знал, — тебе передал. Теперь последнее отдаю. Не бойся мира. Не жалей мира. Не живи в этом мире, как звери живут — опасаясь его потерять. Безликий Ур-калахай не один этот мир создал. И другие — есть. Я знаю. Я два раза видел. Деревья странные. Люди в не нашей одежде. Небо — чужое. Не наш мир. Не тот, что за горами. Не тот, что за Кулханом. Тот, что за поворотом пути шамана. Я — видел. Смотри на наш мир. Ищи — другие. Зачем — не знаю. Может, ты узнаешь. Но сперва — найди».

И умер.

Великий шаман был Хум-Тэнгэ. Сейчас ни одного такого нет...

4

Куш-тэнгри вздыхает и молчит, глядя в огонь, — и мне кажется, что языки пламени робеют и успокаиваются под черным взглядом шамана.

Я тоже молчу.

Некоторое время.

— Ты раньше никому это не рассказывал, Куш-тэнгри.

Я не спрашивал.

Я утверждал.

— Никому, — соглашается Неправильный Шаман.

— Тогда почему мне рассказал?

— Попробуй сам догадаться.

— Я догадываюсь. Но лучше расскажи ты.

— Хорошо. Все эти дни я на тебя и на людей твоих смотрел. На ваши Беседы (это слово Куш-тэнгри выговорил по-кабирски); на то, как и чему вы ориджитов учите; как кузнец ваш железо кует; как клинки ваши живые друг с другом играют. Ты, Асмохат-та, когда мне его кинул, — шаман кивнул на Обломка, встревоженно выглядывавшего у меня из-за пояса и внимательно слушавшего все, что переводил Единорог, — я его жизнь под рукой почувствовал. Жизнью он мне ладонь обжег. Не как сабля шулмусская. Не как трава. Не как зверь. Как человек. И потом, когда мы прошлое смотрели... Тогда — не понял я. Испугался. Теперь — понял. Его это прошлое было.

И Куш-тэнгри указал на Единорога.

— Ты смотри, какой понятливый, — пробормотал Дзюттэ. Однако продолжать не стал. Только о рукоять Дан Гьена слабо брякнул — переводи, мол, ни слова не упускай!

— Семь дней смотрел, — продолжил меж тем Неправильный Шаман. — Смотрел и думал. Думал о том, что мне ваш Асахиро сказал. И ты тоже. У нас дышать, стоять, смотреть, землю чувствовать — только шаманов учат. У вас — всех. У нас только шаманам кровь проливать заказано. У вас — всем. Сначала ты говорил — я не верил. Жизнь твою смотрел — и то до конца не верил. Хоть и знал, что правда. Теперь — верю. Можно. Можно оружие в руки брать и не проливать крови. Значит, и мне можно. И другим шаманам.

— Можно, — согласился я.

— Но об этом — после. А ты сначала вот что мне скажи, Асмохат-та... У вас людей учат, как у нас — шаманов. Всех. С детства. Пусть не всему и не так, но — похоже. Почему тогда у вас шаманов нет?! Будущее никто не видит, прошлое не видит, мысли человека не видит, даже людей сосчитать — и то сразу не может! Почему?

А действительно, почему? Не тому учили? Или не так?

Я не знал. И Единорог не знал. И даже Дзюттэ.

Поэтому я честно ответил за всех троих:

— Не знаю.

— А я знаю. Долго смотрел. Долго думал. И понял. Мы, шаманы, своим путем идем; вы — своим. А поперек того поворота, где мы друг к другу свернуть бы могли, мечи наши легли. И не пускают. Наша глупая шулмусская сабля, в крови по рукоять, и ваш клинок, живой да мудрый. Такой мудрый, что и человека не

всегда за человека примет. Потому и идем мы каждый своей дорогой, друг друга не видя. Не пускают мечи, не дают встретиться. Мы, шаманы, боимся меч поднять, вы боитесь без меча остаться. И поэтому вы, когда оружия в руках не держите, — как наши воины. В голове ветер, глаза слепые, память дырявая, смотрите — и не видите. А вот как меч обнажили — сразу другой человек. Я долго смотрел. Взгляд другой. Стоит по-другому. Удар до удара видит. Мы так будущее видим. Когда у вас меч в руках — вы шаманы. Без меча — глупые воины. Пусть они не обижаются, если слышат...

Шаман еще раз указал на Дзю и Единорога.

— Я правду говорю. Нельзя на правду обижаться. Потому что — правда. Вот и нет у вас шаманов, потому как мечи ваши живые да мудрые. Вот и нет у нас бойцов, способных не убить, — сабли шулмусские, может, и не совсем мертвые, да глупые. Мудрость с глупостью оседлали нас, гонят в разные стороны, не дают встретиться...

«Он прав, — добавляет Единорог. — Он прав, и мне стыдно. За Блистающих. За гордыню нашу мудрую. Такую мудрую, что глупей шулмусской глупости будет. Он прав».

«Прав-то он прав, — не замедлил встрять Обломок, — да только спроси его: почему это он, шаман, когда прошлое или будущее шаманит, всегда за клинок держится?! Вам, Придаткам кабирским, Блистающие шаманить мешают — а ему?!»

Я спросил.

А Куш-тэнгри ответил.

— Хороший вопрос, Асмохат-та.

— Это не мой вопрос. Его, — и я слегка дотронулся до Дзюттэ.

— Все равно хороший вопрос. Умный. Я отвечу. Мир у нас такой. Хочешь не хочешь — судьба человека с его оружием связана. Вот и смотрю я их общую судьбу. Иначе только половину увижу. И то — смутно. Потому за клинок держусь. Потому мы, слуги Безликого, одним воинам гадаем. А воины у нас дикие да глупые. И сабли у них глупые да дикие. Воину предсказывать просто: убьют — не убьют, с добычей вернется или без.

Вы — другие. И оружие у вас другое. Вон вопросы какие умные задает, — шаман уважительно покосился на Обломка. — И предсказывать вам труднее. Но интереснее. И вот что я думаю — с мечом, без меча, а не сойдутся ли наши дороги? Не здесь, так далеко... А может, и не так уж далеко. Попробовать надо.

— Давай пробовать, — согласился Я-Единорог, забыв даже на миг, где нахожусь и с кем говорю. — Только как?

— Неважно. Главное — пробовать. Идущий — дойдет. Например, я буду тебя и их, — кого имел в виду шаман, было нетрудно догадаться, — учить будущее видеть. Или прошлое. Или помыслы человеческие разгадывать. Самим. Без меня. Но не так, как я, — так у вас не получится. Вы попробуйте — когда свою Бе-

седу ведете. Сперва Беседу наперед увидеть. Не один удар — два, три, дюжину; потом — дальше.

— Попробуем, — с сомнением пробормотал Я-Единорог.

— Или — когда с невидимым врагом бьетесь. Я видел — вы так часто делаете.

«А вот это уже интереснее, — заметил Единорог. — А то какой смысл Беседу наперед знать! Вот когда танец...»

— ...ну а вы меня учить станете.

— Чему? — удивился я. — Это ведь ты шаман, а я...

— А ты — Асмохат-та, железнорукий, который говорит со своим мечом. Ты будешь учить меня владеть оружием.

— Владеть? — усмехнулся Обломок. — Ну-ну...

— Тебя?! — воскликнул я.

— Да, меня. Воины боятся шаманов, потому что шаманы делают то, чего не могут они. И воины завидуют нам. Зато воины носят оружие. Они — мужчины. А шаманы... ну, вроде бы тоже мужчины, да не совсем. Безоружные. Раньше мы и сами думали — нельзя шаманам оружие носить. Или оружие — или дар шаманский. А теперь вижу — можно. Можно оружие носить. Беседовать можно. Как друзья беседуют. И дар при этом не потерять. А если получится — не только не потерять, но и дальше пройти, по дороге нашей. До того места, где она с вашей вновь пересечется. А потом — вместе идти. Вместе легче идти, и нам, и вам, и мечам...

— А мы... мы сможем то, что и он?.. — помолчав, тихо спросил Обломок.

— Теперь, когда я видел живое оружие, я вижу, что и для него не заказан этот путь, — словно отвечая на вопрос Дзю, снова заговорил Куш-тэнгри. — Я вижу... что-то. Что-то, что ждет нас впереди. Оно уже близко. Рядом. Надо только сделать несколько шагов, надо сделать их вместе — и тогда, за поворотом...

Я не уверен, но, по-моему, это те самые миры, о которых говорил Хум-Тэнгэ, мой учитель, — сказал Куш-тэнгри, Неправильный Шаман.

5

Этого ли ожидал я, выезжая из Мэйланя и направляясь к Кулхану?!

А теперь шаман, видящий суть вещей и никогда не бравший в руки Блистающего, кроме как для прорицания, шаман, чьи слова были одинаково понятны и мне, и Единорогу с Обломком, — этот Неправильный Шаман рассказывает мне о других мирах, сотворенных Безликим, и собирается увидеть эти миры, и для этого он возьмет в руки Блистающего, одного из тех Блиста-

ющих, которые, по его же словам, закрыли для людей эмирата путь шамана...

«Открыв взамен Путь Меча...»

«Да, это так, Единорог. И все равно это трудно укладывается у меня в голове. Может быть, потому, что я видел зарево Масудова огня над Кабиром? И я предчувствую...»

«...Я — тоже. Я предчувствую, что ответ на наши вопросы лежит там, впереди, на том Пути, по которому хочет идти Куш-тэнгри. И мы должны идти вместе с ним. Я не знаю, почему я в этом уверен, но это так. Остальное сейчас неважно».

— А я знаю, почему у Единорога предчувствия! — не выдержал Дзю. — Потому что он уже становится шаманом! И мы все скоро ошаманимся...

— Мы сделали выбор, — оборвал я Обломка, сжав его рукой аль-Мутанабби. — Мы сделали его еще в Кабире, не понимая этого. Наш выбор — идти. А Куш-тэнгри сделал его сейчас. И он должен найти себе Блистающего.

— Или Блистающий должен найти его, — уточнил Обломок.

— Допустим. Но это должен быть Блистающий, не пробовавший крови.

Это я произнес вслух.

Шаман понял.

— В дальнем шатре, — сказал он. — На белой кошме. Там наверняка должно быть оружие пришлых рабов, недостойных того, чтобы их приняли в племя. Оружие приносят сюда, чтобы служитель Ур-калахая совершил обряд погружения в водоем.

Единорог содрогнулся.

— Но мы прибыли быстро и неожиданно, — продолжил Куш-тэнгри, — и шаманы могли не успеть совершить обряда. Пойдем проверим? Да?

— Хорошо.

— И вы... вы поможете мне выбрать? Если там есть из чего выбирать...

— Поможем. Вам — выбрать. Обоим. Если будет кому выбирать.

И мы пошли к дальнему шатру.

Ждал ли нас там кто-нибудь?

Не знаю.

Зато нас ждал Путь.

Ждали Кабир и Мэйлань.

Ждала Шулма.

И ждал Джамуха Восьмирукий.

Хотя у меня возникало странное ощущение, что Джамуха уже дождался.

Чего?

Может быть, я тоже становлюсь шаманом?..

Часть IX

ЧУЖДЫЕ ПОЛЯ

Мы бились мечами на чуждых полях...

Н. Языков

ГЛАВА 26

1

Этот шатер был совсем не таким, как другие.

Сырой и холодный, он неожиданно пах болотом, и зябкая дрожь пробежала по моему клинку, когда я подумал о том, куда ведет дорога, начинающаяся от этого шатра.

— Темно, — пробурчал Дзюттэ, неуютно ворочаясь.

— Да уж, — согласился я. — Темно.

Сказано было гораздо меньше, чем не сказано.

Чэн и шаман вообще молчали.

— Темно, — повторило эхо, и я сперва не понял, что это не эхо, а когда понял, то ложное эхо уже смолкло, повисла тяжелая пауза, и сразу же, полукриком-полустоном:

— Во имя Небесного Молота! Блистающие! А вас... вас-то за что? Тоже — не смогли?!

Куш-тэнгри с громким шорохом отдернул полог, рассеянный вечерний свет вошел в шатер, в углу слабо засветилась белая кошма — и стройное тело на ней длиной примерно с Волчью Метлу. Я вышел из ножен, привыкая к скудному освещению, и вскоре сумел разобрать, что передо мной — Чыда.

Из хакасских копейных семейств. Потому что только в Малом Хакасе давались такие имена, которые произнести было труднее, чем Беседовать с Гвенилем, когда эспадон пребывал в дурном расположении духа.

А еще только хакасская Чыда имела столь вытянутый узкий наконечник на длинной трубке, которая насаживалась на древко, обвитое стальными лентами внахлест, и из основания трубки, на полтора локтя ниже жала наконечника, торчала поперечная перекладина, чьи заточенные края слабо загибались вверх.

Я знаю, что говорю. В первые два десятилетия моей жизни в Кабире я не раз наведывался в дом напротив, где жила Чыда Абенсерах, Блистающая одних лет со мной, — и мы с удовольствием Беседовали, пока в один не очень-то прекрасный день Абенсерах не уехала навсегда, вернувшись в свой родной Хакас.

— ...Значит, не смогли, — тоскливо подытожила Чыда, по-своему истолковав наше молчание. — Ну что ж... чему быть, тому быть, а вместе и плавиться легче. Давайте знакомиться, а то скоро

небось прощаться придется. Чыда Хан-Сегри с Белых гор Сафед-Кух. Ой, где ж вы, горы мои Белые...

— Сафед-Кух? — недоуменно переспросил Обломок. — При чем тут Сафед-Кух? Ты что, в Кулхане не была?

— Кулхан? — в свою очередь удивилась Чыда Хан-Сегри, тускло блестя наконечником. — Что такое Кулхан? Где это? Я Придатка за перевал Ан-Рок увела, дура любопытная, а там пошло-полетело... Скала на скале, ущелье за ущельем, где скользишь, где падаешь! Говорили ж мне: кто думает, что знает горы, — тот их узнает, да поздно будет!.. Вот и узнала. И горы, и горе, только горы кончились, а горю конца-края не видно...

— Отсюда выйти хочешь? — напрямик свистнул я.

Было ясно, что если сейчас мы возьмемся с подробностями объяснять простоватой Чыде, что происходило с нами за последние полгода, да где это было, да как это было, да с кем это было и зачем-почему? — то закончим мы как раз к возвращению Джамухи и Чинкуэды из победоносного похода на Кабир.

И то можем не успеть...

— Как не хотеть? — простодушно изумилась Хан-Сегри. — Да только как?

— Вместе с новым Придатком, — вмешался Обломок. — Станешь его обучать — сегодня же свободной будешь, чудо ты горное, не с той стороны свалившееся!

— А где ж мне Придатка-то нового взять?

— Да вот он стоит! — брякнул я, острием указывая на Куштэнгри. — Куш-тэнгри да Хан-Сегри — чем не пара?!

— Этот? — тихо и не по-доброму, так не по-доброму начала Хан-Сегри, что меня ознобом прохватило. — Этого... мне в Придатки? Ох и научу я его, окалину паскудную, ох и...

— Цыц! — рявкнул Обломок, обрывая Чыду, и уже спокойнее обратился ко мне:

— Слушай, Единорог, — бери-ка ты Чэна с шаманом, и выйдите отсюда ненадолго. А меня на кошме оставьте. Всю жизнь мечтал на такой кошме поваляться да с такой Чыдой поговорить...

И мы вышли.

— Полог-то задерните, — донеслось нам вслед. — Любовь у нас сейчас будет, а я любви при свете не понимаю...

Чэн пожал плечами и задернул полог.

2

...Вот уже с полчаса Неправильный Шаман сидел на земле, подобный сухому пню, а я неторопливо танцевал вокруг него, то входя в замедленное «Облако семи звезд», то выходя из него и одновременно с Чэном поглядывая на шатер.

Тишина.

Тяжелый войлок заглушал все, и казалось, что шатер пуст.

Я разочарованно посвистывал — в который раз? — и снова принимался за свое.

Нет, в способности Обломка убедить кого угодно в чем угодно я не сомневался — сам был тому примером, — но нам не нужна была тупая покорность Чыды.

Нам нужно было свободное и безоговорочное содействие!

— На посох похоже, — задумчиво пробормотал шаман.

Чэн остановился, а я разок-другой прогулялся над головой Куш-тэнгри.

— Какой посох? — спросил Я-Чэн.

— Наш, шаманский... с которым на камлание выходят. Духов злых гонять.

Шальная мысль мелькнула у меня — а что, если... Но мысль пришлось отложить на время, потому что тут из шатра донесся голос Дзюттэ.

— О Высший Мэйланя, Блистающий и блистательный Дан Гьен! — орал Обломок, и я не сразу понял, издевается он или как?!

— Внемлите гласу моему! Шлите сюда этого Куш-Придатка, и пусть он прогуляется с очаровательной Хан-Сегри к священному водоему! А мы пока насладимся красотами шулмусской осени!..

Чэн изложил шаману, что тот должен сделать — умолчав о Куш-Придатке, — и шаман скрылся за пологом.

Вышел он уже с Чыдой на плече и с Обломком в левой руке. Чэн забрал Дзюттэ, и Куш-тэнгри отправился к священному водоему, неся Чыду так бережно и аккуратно, словно та могла выпасть у него из рук и разбиться вдребезги.

— Что ты ей наболтал? — поинтересовался я.

— Разное, — довольно поблескивая, отозвался Дзю.

— А именно?

— Ну, например, что ты — самый великий Блистающий всех времен и близкий друг Небесного Молота. Почти что родственник.

— Так... Еще что?

— О жизни поговорили...

— Дальше!

— А ты на меня не кричи! Я тупой, до меня крики не доходят... Про водоем я ей рассказал. И про то, что единственное ее спасение — это Куш-тэнгри. Будет с ним Чыда — будет ей благо; не захочет — ржавей под мокрым плащом Желтого Мо! Это ей и понятно, и доступно; а поглядит сейчас в священный водоем — так станет за шамана со всех концов цепляться! День, другой, третий — а там и привыкнет, и обо всем остальном узнает...

...М-да... Дзю, как всегда, не мучаясь никакими этическими соображениями, отыскал единственный наиболее убедительный довод. Я бы так не смог.

А он смог. И — угадал. Потому что по возвращении Чыда Хан-Сегри стала весьма покладистой, а ко мне обращалась не иначе, как «Высший Дан Гьен», и при этом заискивающе шелестела выцветшей кистью, болтавшейся под ее перекладиной.

Вот тут и дошел черед до моей шальной мысли.

— Духи, — озабоченно сообщил Чэн-Я, озираясь по сторонам. — Ох и много же! И все — злые. Так и вьются.

— Где? — заволновался Куш-тэнгри.

— Везде. Давай, камлай... я правильно говорю? Гони их отсюда!

— Сейчас?

— А когда еще?! Заедят ведь!

— Ладно, — согласился шаман. — Прогоню. Вот за посохом схожу, шапку надену — и прогоню...

— Некогда! Бери Чыду и гоняй!

— Кого бери?

— Чыду! Ну, копье это... сам же говорил, что она на посох похожа!

— Она?

Нет, раньше Мне-Чэну шаман нравился больше...

— Она, она... Делай, что говорят!

Он и сделал.

Замер на месте, сверкнул черными глазищами, дважды топнул — и Я-Чэн еле успел увернуться от наконечника Хан-Сегри, пронесшегося у самого Чэнова носа.

— Здорово! — восхитился Обломок.

А Чэн-Я затаив дыхание смотрел, как щуплый шаман — какое там! — как огромный, могучий, величественный и страшный шаман гоняет целые сонмы злых духов, крича на них, угрожая им, избивая их посохом — и Чыде остается лишь следить, чтоб забывшийся Куш-тэнгри случайно не полоснул себя по ноге отточенным лезвием наконечника.

Мне даже стало жалко бедных злых духов. Иногда шаман не успевал прочно приземляться после очередного прыжка, некоторые его движения не вполне подходили для Хан-Сегри, о Мастерстве Контроля и вовсе говорить не приходилось — чего не было, того не было, — но все равно передо мной была богатая руда, из которой не так уж сложно будет выплавить клинок умения для Неправильного Шамана.

Поначалу мы с Чэном и сами управимся, а потом надо будет к Чань-бо обратиться — посохи по его части. Интересно, шулмусские шаманы и вправду не представляли посох пусть не Блистающим, но хотя бы оружием — или Куш-тэнгри чего-то недоговаривает?

— ...Все, — выдохнул слегка запыхавшийся шаман, останавливаясь. — Обряд окончен.

— Ну и отлично, — ответил я. — Чыда, ты что скажешь?

— Обманщик ты! — резко заявила Чыда.

— Я?!

— Нет, что вы, Высший Дан Гьен! Этот ваш... врун он! Говорил: Придаток сырой, его учить надо... А этого Придатка не учить — его переучивать надо!

Чыда Хан-Сегри подумала и добавила:

— Ну и учить, конечно, тоже придется. Что ж, будем учить... все лучше, чем в воде гнить.

Тут я был с ней полностью согласен.

3

Весь следующий день мы потратили на обучение шамана. Ясное дело, что ни за день, ни за неделю, ни даже за год сделать из шамана Придатка, способного на равных Беседовать с любым из кабирцев, — это было невозможно, и мы на такое даже и не замахивались. А вот своим братьям-шулмусам Куш-тэнгри не уступит уже через месяц... если не раньше.

Есть у нас месяц?

Не знаю, не знаю... скорее всего нет.

Когда солнце начало клониться к закату, я переговорил с Чэном и Обломком, и мы оставили двужильного шамана и истосковавшуюся по вольной жизни Чыду на попечение вовремя подвернувшихся Чань-бо и Матушки Ци. А сами подумали-подумали — и ушли за пределы лагеря.

К холмам.

Погулять перед ужином.

Не знаю уж, о чем думали Чэн и Дзю — а я думал о разном. О том, что теперь меня можно называть Детским Учителем — если только шамана можно назвать ребенком (впрочем, в науке общения с Блистающими Куш-тэнгри — действительно ребенок, разве что на редкость умный и трудолюбивый); о несчастной Чыде Хан-Сегри, которую надо будет попозже расспросить о ее житье-бытье в негостеприимной Шулме и новой для нас дороге из Кабира сюда — с юго-запада, через горы Сафед-Кух; о том, что я представляю себе яростный огонь Масуда в виде всепожирающего пламени, а шулмусы небось представляют себе спокойную воду Мунира в виде священного водоема — затхлой гробницы для неудавшегося оружия...

А потом мы добрались до рощицы кривоствольных деревьев с колючими шапками вечнозеленой листвы, и я перестал думать о разном, потому что услыхал веселый звон Волчьей Метлы.

И спустя мгновение увидел саму Метлу, возбужденно вертевшуюся в руках у раскрасневшейся Чин, а чуть поодаль стоял светловолосый юноша-батинит (Чэн так и не удосужился узнать, как того зовут) — Придаток короткого меча, который звал себя Так-

шакой. Сам Такшака, род которого был мне неизвестен, лихо чертил в воздухе кресты и дуги, находясь у...

Пылающая Нюринга!

Находясь в руке у Хамиджи-давини!

Более того — прекрасно с ней уживаясь.

— Давай-давай! — визжал Такшака, пытаясь вынудить Метлу проскочить дальше, чем ей хотелось бы, и самому приблизиться к Чин. — Звени веселей! Стал Придаток понемногу припадать на третью ногу, а остался лишь с двумя — мчится голову сломя!..

Ну и так далее — то ли Волчью Метлу веселил, то ли за Хамиджу радовался.

— Знатная Беседа! — пробормотал Чэн, невольно улыбаясь.

Я согласно качнул кистью.

— У Придатка три ноги — Небесный Молот, помоги! — раздраженно буркнул Обломок. — Эй, Однорог, тебе что, эти недотепы нравятся? Я не о Метле с Чин...

Я не ответил Обломку — да он и не ждал ответа. Я смотрел и видел, что деликатная Волчья Метла чуть придерживает себя при боковых режущих бросках, и то же самое делает Чин — но чуть-чуть, самую малость, потому что Такшака с Хамиджой держатся молодцом, и никогда не скажешь, что Хамиджа — давини, а прямой Такшака — из Тусклых, до того он точен и аккуратен, и Хамиджа движется просто прекрасно, но к Чин она не прорвется, нет, не успеет, потому что взмахивает руками при повороте с шагом, а там не надо взмахивать, там наоборот — сжиматься надо и прыгать, уж я-то повадки Метлы знаю, и вообще Такшака для Хамиджи тяжеловат, не привыкла она к такому, ее-то Блистающий явно полегче был, хоть и тоже обоюдоострый да короткий, вот только почему он ее не выучил при выпаде вперед не заваливаться?..

За это время Чэн успел миновать рощицу и подойти к Беседующим почти вплотную, остановившись у крайнего дерева и прислонясь к его стволу спиной. Светловолосый батинит увидел нас и хотел было поприветствовать, но Чэн упреждающе махнул ему рукой — молчи, мол, не мешай!

Впрочем, Беседующие уже увидели нас, Метла приветственно взметнулась острием в небо, растопырив все свои боковые лезвия, — и Беседа непроизвольно прервалась.

— Не так, — мягко сказал Чэн, делая несколько шагов к несчастной давини, чье лицо уже опять ничего не выражало, и лишь маленькая девичья грудь вздымалась чаще обычного. — Смотри, как надо...

Понятливая Волчья Метла кинулась к нам, и в последний момент я покинул ножны, еле коснувшись древка Метлы между зазубренными веточками, а Чэн мгновенно прыгнул вперед, вертясь волчком, — и спустя ничтожно малый промежуток времени Чэн уже стоял рядом с не успевшей отклониться Чин, ласково

обнимая ее за шею правой железной рукой, а я лежал на плече Чин, лезвием щекоча ей мочку уха.

— Вот так, — усмехнулся Чэн. — Теперь ты попробуй...

Лицо Хамиджи неожиданно вспыхнуло, она закусила нижнюю губу, словно пытаясь сдержать слезы, затем девушка-давини метнулась к удивленному батиниту, чуть ли не насильно сунула ему в руки изумленного Такшаку — и побежала прочь.

Не оглядываясь.

— Учитель нашелся, — с укором заметила Чин. — Она ведь только-только оживать стала, а ты... Асмохат-та! Великий и могучий!

— А что я? — растерянно пробормотал Чэн-Я. — Я ничего... я ж не знал, что она обидится!

— Ладно, — немного оттаяла Чин. — Я ее попозже успокою...

— Ты ее в наш шатер ночевать приводи! — не удержался Обломок, которому я перевел слова Чин. — К Чэну своему! Он вас обеих успокоит... потому как же-ре-бец! Куда там Демону У! А я под доху спрячусь, до утра...

Этого Я-Чэн переводить для Чин не стал.

А Волчья Метла — она и раньше не обращала на Дзю особого внимания.

4

...Ночью я проснулся от странных звуков вне нашего шатра, но совсем рядом.

Полуодетый (или полураздетый) и хмурый спросонья Чэн — Волчья Метла и Чин ночевали сегодня отдельно, и мы внутренне винили в этом глупую Хамиджу — неслышно вскочил, поднял меня с кошмы, и мы выглянули наружу.

— Ну, что там? — недовольно пробурчал Обломок, и я еще подумал — не слишком ли мы беспечны, что позволяем себе подобное недовольство?

У шатра бродил Куш-тэнгри с Чыдой в руках. На нас они не обратили ни малейшего внимания. Не до того было. Неправильный Шаман поглаживал Чыду Хан-Сегри вдоль древка и что-то взахлеб рассказывал ей — слишком быстро, чтобы Я-Чэн успевал понимать. Так, с пятого на десятое... Но это было неважно, тем более что Чыда тоже не могла понимать шамана, она даже слышала его не так, как Придатки слышат друг друга, а так, как слышит Блистающий — Придатка, и это невозможно объяснить, да и не нужно это объяснять... Они не слышали друг друга, не понимали друг друга, а Куш-тэнгри, седой мудрый ребенок, все говорил в ночи, и Чыда отвечала ему — невпопад, перебивая, одновременно говоря о совершенно разных вещах, о Шулме, о Каби-

ре, о невзгодах и радостях, об открытии новых миров внутри себя и о палящем Масудовом огне...

Они разговаривали.

И я не посмел их прервать.

Мы тихо отошли в глубь шатра и легли на кошму, и даже Дзю не произнес ни слова.

5

Все было как обычно.

И проснулись мы с Чэном одновременно, и разбудил нас привычный шум: звон Диких Лезвий, голоса Блистающих и людей, конское ржание и топот...

«Ну уж нет, — подумал Я-Чэн и стал неспешно одеваться, — дудки! Мы теперь ученые! Опять небось развлекаются с утра пораньше!..»

Мне-то как раз особо одеваться не требовалось: скользнуть в ножны — дело нехитрое; а вот Чэну...

Короче, прошло довольно-таки немалое время, прежде чем мы соблаговолили выбраться из шатра.

И увидели.

Лагерь был полон своих и чужих Диких Лезвий, кругом толпились какие-то незнакомые шулмусы, шулмуски и шулмусята, старавшиеся друг друга перекричать (впрочем, для нас с Чэном и свои, и чужие были на одно лицо!), и всех их было не много, а очень много — вместе с лошадьми, повозками, поклажей...

«Захватили, — мелькнула шальная мысль. — Проспали водоем! Вот они, люди Джамухи и Дикие Лезвия Чинкуэды! Сейчас заметят нас...»

Последние слова я произнес вслух.

— Кто заметит? — как-то уж слишком невинно поинтересовался Обломок.

— Они, — немного растерявшись, ответил я. — Эти... Дикие Лезвия. И воины Джамухи. Не видишь, что ли?! Вон их тут сколько... Даже баранов с собой пригнали!..

И впрямь с юго-западных холмов доносилось истошное блеяние.

— Баранов... — задумчиво проскрипел Дзю.

И не выдержал.

— Сами вы бараны однорогие! Куда вы смотрите?! Вон туда смотреть надо, куда я смотрю!..

Мы посмотрели.

К нам шел беловолосый великан Амбариша, облаченный в немыслимо лохматые шкуры поверх своей обычной одежды, а Огненный Меч Гвениль разлегся на его плече, и сиял эспадон,

надо заметить, во весь клинок, явно нисколько не смущаясь окружающим столпотворением.

Во имя Нюринги — что, в таком случае, здесь происходит?!

— Фальгрим, Гвениль, что все это значит? Кого вы сюда притащили?!

— И опять не туда смотрите, — наставительно сообщил Дзюттэ. — И не у того спрашиваете. Вы лучше у Махайры спросите, у Жнеца нашего Бронзового! Вон он за Гвенилем прячется — боится, наверное... А раз боится — значит, у него и надо спрашивать!

Не то чтобы Махайра действительно чего-то боялся, но почему-то изо всех сил старался выглядеть как можно более неприметным — только от Дзю не спрячешься, хоть за Гвенилем, хоть за кем, и пришлось Махайре вместе с Диомедом двигаться к нам.

— Где это вы, — осведомился я, — разрази вас Небесный Молот, пропадали?!

— Ты понимаешь, Единорог... — начал было Гвениль не очень уверенно, но тут его перебил Махайра, а потом его, в свою очередь, перебил Гвениль, а Диомед с Беловолосым вообще говорили не переставая и почти одновременно...

В общем, как понял Я-Чэн из этого гама, дело обстояло следующим образом.

Пока мы с Чэном и Куш-тэнгри «шаманили», мы напрочь забыли, что в мире существует еще кто-то и что-то, кроме нас самих, и что наши ориджиты с их Дикими Лезвиями как-то жили и до встречи с нами. То есть мы совсем не подумали, что у детей Ориджа здесь есть семьи; но сами ориджиты об этом ни на минуту не забывали. И поскольку напрямую к Асмохат-та и Пресветлому Мечу они обращаться не решились, то обратились сперва соответственно к Фальгриму-эцэгэ с Гвенилем Могучим и Диомеду-эцэгэ с Махайрой Хитроумным.

Так... похоже, здесь своя иерархия сложилась, на вершине которой Асмохат-та и Пресветлый Меч сияют, и обращаться к ним по пустякам не следует, а поскольку для божеств все мирские дела — пустяки, то...

Нашли к кому обратиться, внебрачные дети Ориджа!

Ну а наши друзья-приятели тут же вызвались помочь в этом щепетильном деле, подтвердив, что не стоит беспокоить Асмохат-та и Пресветлый Меч по столь незначительному поводу.

— Просто трогательная заботливость! — бросил Обломок. И случилось невероятное: Фальгрим с Диомедом покраснели, услышав это в Чэновом переводе, а Гвениль с Махайрой смущенно звякнули за миг до того, поскольку им перевода не требовалось.

...И вот великие герои, олицетворявшие союз силы и ума (эспадон со Жнецом снесли и этот перл творчества неугомонного Обломка), вместе с ориджитами и их Дикими Лезвиями отправи-

лись освобождать родственников Кулаева племени, которых взял заложниками Джамуха.

И отдал под присмотр многочисленному племени маалеев.

«Слова-то какие, — уныло подумал я. — «Освобождать», «взять в заложники»... маалеи опять же какие-то! И что главное — нам с Чэном слова эти особо дикими уже не кажутся! Привыкаем, что ли? Ох, привыкаем... Что ж в тебе такого, Шулма?!.»

...Так что вскоре у мест обычных осенних кочевий племени маалеев объявились двое кабирцев и двое Блистающих, а также дюжина ориджитов с примерно двумя десятками Диких Лезвий.

И во главе — юный Кулай-нойон.

Это, значит, против целого племени, которому дети Ориджа и в лучшие-то дни уступали в численности раза в три...

Фальгрим начал было что-то нести о том, что истинный мужчина врагов не считает, но Чэн живо оборвал Беловолосого, предложив истинному мужчине не отклоняться от повествования.

...Сколько мы потом ни спорили с упрямым Дзю на тему, кому больше везет — героям или дуракам, — но нашим приятелям, несомненно, повезло: маалеев на месте не оказалось. Ориджиты немедленно обнюхали близлежащую степь, и это их отнюдь не утешило: маалеи ни с того ни с сего собрались и двинулись в сторону ставки гурхана Джамухи.

И Мои-Чэновы друзья не нашли ничего лучшего, как поехать следом.

И поехали.

Быстро-быстро.

И на второй день им снова повезло (обиженный Гвениль заявил, что повезло как раз маалеям, но Махайра предупредительно зашелестел, и эспадон умолк, предоставив продолжать Жнецу).

Как оказалось, нетерпеливые маалейские воины со своими Дикими Лезвиями ускакали вперед, а герои-освободители нагнали их обоз: скрипучие повозки с нехитрым и хитрым шулмусским скарбом, блеющие овцы, вопящие дети — а также женщины, старики и подростки, в том числе и из семей ориджитов-заложников.

Охраняли все это пестрое, шумное, медленно движущееся вперед сборище всего восемь молодых Диких Лезвий со столь же молодыми Придатками-маалеями.

Когда обоз остановился, первым к маалейским охранникам подъехал Кулай — безоружный в знак миролюбия — и стал вещать недоверчиво притихшим маалеям о великом Асмохат-та, а настороженно обнаженные Дикие Лезвия внимали убедительному свисту Гвениля и Махайры, затеявших незамысловатую Беседу.

Вскоре красноречие Кулая иссякло, и к нему на подмогу поспешил старый хитрец Тохтар-кулу. Пока Махайра Беседовал с Гвенилем, вызывая всеобщее восхищение, а ориджитские Дикие

Лезвия с визгом пытались вбить в нечищеные маалейские клинки истину о Великом и Единственном Пресветлом Мече («Вбить?» — переспросил я, но Гвениль сделал вид, что не расслышал), Тохтар-кулу спешился, невозмутимо подошел к ближайшей повозке и извлек из нее чей-то кобыз — ту самую палку со струнами, которая была способна рождать столь любимые шулмусами звуки, более всего похожие на скрип немазаной телеги и мяв прищемившего хвост кота одновременно.

— Дрянной кобыз, однако, — проворчал Тохтар-кулу и махнул рукой. — Ну и пусть... сойдет.

И через мгновение просто ошалевшие от такой наглости маалеи сподобились услышать «Джир об Асмохат-та» в исполнении соловья степей, старого Тохтара.

Джир этот Тохтар, не мудрствуя лукаво и беря пример с Диомеда, почти что сочинял на ходу, опуская несущественные, с его точки зрения, подробности и добавляя к Моим-Чэновым деяниям немереное количество новых подвигов. Тем более что слухи о появлении Асмохат-та каким-то непонятным образом уже разнеслись по степи, и лишние подвиги в изложении Тохтара пришлись как раз кстати!

Ну а под конец, как сообщил мне развеселившийся Махайра, эспадон Гвениль Могучий напрочь испортил не то две, не то три телеги, причем последнюю оглоблю перерубил не поперек, а чуть ли не вдоль — во что верилось с трудом, зная скорого на выдумку Махайру.

Так или иначе, маалеи и Дикие Лезвия (не считая визжавших от восторга шулмусских подростков, ахавших женщин и одобрительно цокавших языками седобородых патриархов) быстро прониклись величием Асмохат-та и Пресветлого Меча, а поскольку догонять своих сородичей и сообщать о похищении ориджитских семейств было для воинов-маалеев позором — то и увязались молодые маалеи со своими Дикими Лезвиями, а заодно и с маалейским обозом, вслед за освободителями и освобожденными к священному водоему, дабы лицезреть и приобщиться...

— Ну ладно, — прервал Я-Чэн словоохотливых рассказчиков. — Это все понятно, но бараны! Бараны-то откуда?! Их что, маалеи тоже в заложниках держали?!

— Как — откуда? — недоуменно воззрились на нас герои. — Это ж добыча! Ты шулмусов своих чем кормить собираешься? А они знаешь какие прожорливые! Вот и угнали мы по стаду-другому! Там, за холмом, еще табун один есть...

Дзю сверкнул гранями и расхохотался.

— Махайра Хитроумный и Гвениль Могучий, — заявил Обломок, ни к кому конкретно не обращаясь. — Гроза телег и баранов... Дрожи, Шулма!

6

Освободители-угонщики, ничуть не обидевшись на Дзю, порывались сообщить нам еще что-то — по их мнению, главное, — но тут нас прервал вопль Куш-тэнгри.

— Какой сын ослицы и шакала додумался привести сюда этих безмозглых людей?! Кто позволил шелудивым песчаным крысам заваливать отбросами святое место?! Я, шаман Куш-тэнгри, приказываю вам немедленно удалиться за линию холмов — или Безликий проклянет вас, и гнев Желтого Мо падет на ваши пустые головы, и превратитесь вы в стадо нечистых свиней!..

— О тупое и ржавое железо, недостойное имени Блистающих! — вторила ему Чыда. — Что за варварский звон и безумный шум?! За что Небесный Молот разгневался на меня, что обязана я проводить дни свои в столь отвратительном обществе?!

Я еще обратил внимание на изысканность ругательств Чыды, а потом подумал, что, как бы Хан-Сегри ни относилась к своему новому Придатку, она, безусловно, уже поняла, что шаман здесь весьма важная персона... а потому особенно не церемонилась ни с шулмусами, ни с Дикими Лезвиями.

Не то слово — не церемонилась... Движения шамана, размахивавшего Чыдой, были еще неумелыми, но весьма и весьма грозными, и попадавшиеся по дороге шулмусы в страхе разбегались в стороны, Дикие Лезвия с криками уворачивались от тяжелой Чыды, а женщины — те вообще падали ниц, закрыв головы руками.

Вооруженный шаман был столь страшен, что даже Гвениль с Махайрой попытались было ретироваться — но не успели.

— О великий Асмохат-та! — возопил Неправильный Шаман, падая передо Мной-Чэном на колени, и шум вокруг нас мгновенно стих.

(«Не смею настаивать, Высший Дан Гьен, но не могли бы вы приказать этому железному сброду удалиться отсюда вместе с их Придатками? — осведомилась меж тем Чыда. — А то уж больно противные...»)

— О воплощение Желтого Мо! Прости мне упущение мое, по которому вторглись во владения Твои эти невежественные люди! — Я-Чэн ни разу не слышал, чтобы Куш-тэнгри выражался столь высокопарно. — Будь милостив к несчастным и не казни их всех — а только тех, кто недостаточно быстро покинет Круг священного водоема!..

Чэн благосклонно кивнул шаману и обернулся к застывшим в почтительном молчании шулмусам.

Даже бараны, по-моему, перестали блеять.

Я выскользнул из ножен и нарочито гневно блеснул над головой Чэна, упершись острием в хмурое шулмусское небо.

— Я добр сегодня, — сказал Чэн. — Я прощаю этого глупого

13 – 7682

шамана. (Куш-тэнгри незаметно скривился.) Более того, Я оставлю жизнь всем, кто до полудня покинет Мои владения, остановившись...

— За юго-западными холмами, — тихо подсказал шаман.

— ...За юго-западными холмами. Такова Моя воля.

— Гоните их отсюда, — вполсвиста повернулся я к Гвенилю и Махайре. — После поговорим.

И все завертелось в обратную сторону.

— Вот это совсем другое дело, — пробурчал Куш-тэнгри, поднимаясь с колен и вращая удовлетворенную Чыду. — А то понаехали тут... с Блистающей знакомиться мешают!..

— Ты руки в локтях-то не выпрямляй, орел! — беззлобно бросил Чэн-Я. — Мешают ему, понимаешь ли... Люди поклониться мне пришли, а он орет! И копьем размахивает... Вот отвадишь мне паломников — век в будущее заглядывать не захочешь!

7

Расселение новоявленных паломников на юго-западных холмах и за ними заняло почти весь день. Мы с Чэном и Обломком этим, разумеется, не занимались — мы помогали обучать шамана, Беседовали с кабирцами (по возможности так, чтобы это видели Дикие Лезвия), появляясь то там, то тут, вызывая благоговейный трепет и ускоряя исчезновение шулмусов из Круга священного водоема.

Потом к нам подошел Кос с Саем и Заррахидом; они долго на нас смотрели — и Обломок вдруг заявил, что хочет прогуляться с Косом и поболтать с эстоком и Вилорогим. Чэн-Я не возражал (хотя мы вроде бы и так гуляли, или ему наше общество надоело?), и Дзю живо перекочевал за пояс к Косу, после чего ан-Танья удалился.

Уже ближе к вечеру Обломок вернулся и как-то уж очень официально обратился ко мне, так что я сразу насторожился, однако никакого подвоха в речи Дзю, как ни странно, не обнаружил.

— Не соблаговолит ли Высший Дан Гьен попросить Высшего Чэна Анкора, чтобы тот передал кабирским При... людям, чтобы те передали шулмусским При... людям, чтобы оные шулмусские люди обращались со своими Дикими Лезвиями, как подобает обращаться с Блистающими?! Я имею в виду чистку, полировку, заточку... А если они совсем дикие и не знают, как это делается, то пусть обратятся к Коблану или к любому из наших кабирцев — те научат.

Я выслушал эту длинную и путаную речь, так непохожую на обычный стиль Обломка, еще раз поискал в ней скрытый подвох, не нашел — и согласно кивнул кисточкой.

Чэн выслушал меня, тоже кивнул, подозвал Коса и изложил ему просьбу Дзюттэ.

Кос тоже кивнул — в этом мы не отличались разнообразием — и куда-то убежал.

А вскоре к нам приблизились прямо-таки сияющая Чыда и чуть запыхавшийся, но вполне довольный жизнью Куш-тэнгри.

— Вы были совершенно правы, Высший Дан Гьен! — тараторила Чыда. — Это и впрямь отличный Придаток! Я беру обратно свои необдуманные слова — он меня вполне устраивает! Он крайне быстро учится, а Ржавые Лезвия были изгнаны им просто прекрасно! Я...

— Пошли, Асмохат-та, — коротко сказал Куш-тэнгри, Неправильный Шаман. — Дальше учиться будем.

И мы пошли его учить.

...Только потом, позже, когда Чэн сидел у костра и ел, а я смирно лежал рядом, Я-Чэн отметил для себя два странных обстоятельства: во-первых, во всем сегодняшнем безобразии совершенно не участвовали Коблан и Шипастый Молчун; более того, Чэн отметил, что кузнец уже второй день не берет в рот ничего крепче воды, а сейчас... о Творец!.. сейчас Коблан и Куш-тэнгри сидят рядышком и уплетают за обе щеки из одного котелка постное шаманово варево (хотя любовь Железнолапого к мясным блюдам, причем в больших количествах, была нам обоим хорошо известна).

А во-вторых, куда-то пропала Хамиджа. Ну не то чтобы совсем пропала — вон сидит у дальнего костра и жует с отсутствующим выражением лица! — но во время утреннего нашествия она исчезла и появилась лишь после того, как территория священного водоема была вновь очищена.

Хотя давини — она и есть давини...

Тут мысли мои были прерваны шумным появлением Гвениля Могучего и Махайры Хитроумного — и рядом с Чэном тяжело хлопнулись на кошму Диомед с Беловолосым.

— Ф-фу, наконец управились, — глухо брякнул эспадон, вытягиваясь на коленях у Фальгрима во весь свой двуручный рост и бесцеремонно тычась рукоятью в бок Чэну.

— Так вот, Асмохат-та, — заговорил Диомед так, словно его только что прервали. — Вся Шулма, оказывается, волнуется, разговоры лишь о тебе, а самое главное — Джамуха из ставки своей уехал! Куда — неизвестно, и добро бы один, а то вместе с тысячей тургаудов-телохранителей! Ну, Тохтар с Кулаем намекнули маалеям, что без божественного промысла тут не обошлось — то ли испугался гурхан, то ли видение ему было: ты, дескать, являлся в облике ужасном и карами всякими грозил...

— Погоди-ка, — прервал Чэн Диомеда. — Божественный промысел, говоришь... А сами Кулай с Тохтаром где? Что-то я их здесь не видел...

— Дела у них, — беспечно вмешался Фальгрим. — Уехали они. И двух своих людей прихватили.

— Как — уехали? Куда? Зачем?!

— Не знаю, — хором отозвались Диомед с Фальгримом. — Не сказали. Уехали — и уехали.

И стало ясно, что больше они нам не скажут ничего. Хоть являйся им в облике ужасном и карами грози...

8

«Ничто не ново под луной», — иронически подумал я, когда мы с Чэном и Обломком сбежали после еды от суматохи и любопытных маалеев в знакомую нам рощицу и ровно через минуту покоя и отдохновения увидели приближающуюся к нам Хамиджу-давини.

За руку она тянула светловолосого батинита, и юноша подчинялся ей с глупо-счастливой улыбкой, не особенно даже понимая, куда он идет, зачем он идет и идет ли он вообще.

Подойдя, Хамиджа замедлила шаг (юноша-батинит виновато пожал плечами — дескать, я ни при чем, это все она...); девушка остановилась в трех выпадах от нас и долго смотрела на Чэна, потешно морща лоб.

Так, пожалуй, смотрят на незнакомую вещь, пытаясь понять ее назначение.

— Ты что-то хочешь... от меня? — ободряюще спросил Чэн.

Он хотел спросить: «Ты что-то хочешь сказать?» — но вовремя вспомнил, что Хамиджа не говорит.

Хамиджа раз-другой хлопнула своими неправдоподобно длинными ресницами, не глядя протянула руку (отпустив ладонь батинита) и вынула из ножен на поясе юноши Такшаку.

Короткий меч чуть ли не заурчал, выходя из ножен, и довольно потерся плашмя о бедро Хамиджи.

Дар у нее, что ли, — всех привораживать?..

— Ты что, Такшака? — холодно спросил я, не покидая ножен. — Придатка сменить решил? Так не могу сказать, что одобряю твой выбор...

«Ты злишься, Единорог? — донеслось от Чэна. — Почему?»

Что я мог ответить? Что у меня просто плохое настроение? Что мне не хочется Беседовать с Такшакой, и тем более — когда он в руках у Хамиджи?!

Злой я становлюсь... хуже Обломка.

— Ладно, не обижайтесь, — бросил я, обнажаясь и взмывая над головой Чэна. — Пр-рошу!

Хамиджа прыгнула вперед, и Такшака ударил.

...А Беседа вышла довольно-таки серой. Со-Беседники из Хамиджи с Такшакой получились не ахти (если мерить не шулмус-

скими, а кабирскими мерками, да еще нашими с Чэном), что-то вроде Эмраха с Маскином Седьмым-Тринадцатым, когда мы Беседовали с ними у пруда в моей мэйланьской усадьбе, и я понимал, что надо попроще и помедленней, и Чэн это понимал, и Такшака понимал, и Хамиджа — хотя не знаю уж, что там она понимала, если вообще понимала хоть что-то... Под конец мы с Чэном для разнообразия поиграли в «пьяного предка Хэна», когда Чэн раз за разом уходил от Такшаки в последний момент, внешне не обращая никакого внимания на его резкие косые взмахи, а я пугал Хамиджу, так ни разу и не прикоснувшись ни к ней, ни к клинку Такшаки, и делал вид, что сейчас выпаду из руки Чэна... а потом нам и это надоело.

Пауза, вежливый поклон — и я нырнул в ножны, отсалютовав перед тем, а Чэн улыбнулся Хамидже и пошел прочь.

Отойдя на десяток-другой шагов, Чэн обернулся, и я тоже посмотрел назад.

Хамиджа стояла белая-белая, глаза ее словно остановились, руки плетьми повисли вдоль тела, и вся ее поза выражала такую отчаянную безысходность, что Чэн-Я сперва хотел было вернуться, а потом передумал и быстро-быстро углубился в рощу.

— Ну не знаю я, не знаю я, что мне с ней делать! — бормотал по дороге Чэн-Я. — Вот уж обуза на мою душу!.. Сама ведь напросилась — а теперь обижается...

Обломок за поясом помалкивал и делал вид, что спит.

ГЛАВА 27

1

В эту ночь никто, к счастью, не шумел, не звенел, не ругался, так что мы спали спокойно и проснулись только к самому Чэнову завтраку (ох уж эти люди — и впрямь все едят да едят!).

После завтрака Дзю опять удрал гулять с Косом, Саем и Заррахидом. Это становилось интересным, и хотелось выяснить, куда это они «гуляют» и чем там занимаются. Нет, ни в чем недостойном мы их, понятное дело, не подозревали — но интересно же, в конце концов!

Однако интерес этот быстро забылся — потому что мы с Чэном уяснили наконец причину непонятного поведения Коблана.

Повитуха Коблан постился. И соблюдал все предписанные обычаем ритуальные ограничения.

Он готовился к рождению нового Блистающего.

В семействе Метательных ножей Бао-Гунь должен был родиться десятый, недостающий клинок — взамен погибшего в битве у песков Кулхан.

...У открытой походной кузни, которую успел соорудить за

эти дни Коблан, собрались практически все, кому было позволено остаться у священного водоема, а также трое маалеев постарше со своими Дикими Лезвиями, которым по такому случаю разрешили присутствовать.

Порывистый холодный ветер раздувал огонь в горне, заметно облегчая работу молодому ориджиту, стоявшему у переносных мехов, которые Коблан, как оказалось, всю дорогу таскал за собой.

И не только мехи.

Пожилой шулмус с негнущейся ногой — местный Повитуха, пошедший к Железнолапому в ученики, — стоял у наковальни, готовый схватить клещами зародыш будущего Блистающего. Ритуальные свечи Рождения на таком ветру неминуемо погасли бы — что сулило несчастье, — и вместо них горели четыре факела.

Свежевымытый Коблан в фартуке мастера-устада с Небесным Молотом на кармане и Гердан Шипастый Молчун, начищенный и серьезный, приблизились к наковальне. Гердан коснулся ее края и опустился на землю рядом; Коблан воскурил благовония, вознес молитву и взялся за молот.

Неподалеку стояла необычайно торжественная Ниру, опираясь на посох, а на ее груди замерли, выставив рукояти, семеро ножей Бао-Гунь. Двое старших ножей лежали у горна, на белой кошме — ее по такому случаю вынесли из шатра, чтобы согласно традиции передать рождающемуся Блистающему частицу своей души.

Здесь присутствовали все наши: и мудрый Чань-бо, Посох Сосредоточения, и непривычно молчаливые Гвениль и Махайра, и очень серьезный Но-дачи, и неизменно держащиеся в последнее время вместе Кунда Вонг и Маскин Пояс Пустыни; и Волчья Метла, Заррахид, Сай, и, понятное дело, я с успевшим уже вернуться Обломком, и короткий Такшака, и Чыда в руках Куш-тэнгри, который очень внимательно следил за происходящим — а он умел быть внимательным...

Тусклые и батиниты (кроме Такшаки и светловолосого юноши) стояли чуть дальше, а из-за их спин и рукоятей благоговейно наблюдали за таинством Рождения Блистающего Дикие Лезвия и их, так сказать, шулмусы.

...Мерно вздымался молот, летели искры, лоснились от пота плечи и грудь Коблана, эхом отзывался Шипастый Молчун — и тело рождающегося ножа уплотнялось, форма становилась все более законченной, и я уже улавливал медленно пробуждающееся в будущем Блистающем сознание...

...Солнце перевалило за полдень, но никто даже не вспомнил о еде или отдыхе — таинство Рождения захватило всех...

...И наконец умолк отзвеневший молот, и поднялся с шипением пар над купелью, дарующей Блистающему крепость тела и силу духа, и суконный полировочный валик со специальной пастой многократно прошелся по поверхности новорожденного

ножа, и принесли заранее приготовленную костяную рукоятку с медными кольцами, а Повитуха Коблан, тщательно проверив баланс, одним ловким движением насадил рукоять на хвостовик новорожденного и закрепил ее двумя маленькими стерженьками красного дерева, точно такими же, как и у всех остальных братьев Бао-Гунь.

Потом двое старших ножей по очереди прикоснулись к младенцу, приветствуя его и создавая у нового ножа первое нужное впечатление, прообраз будущих Бесед. Я прямо-таки чувствовал, как бурлит от потока ощущений еще не до конца оформившееся сознание юного клинка, как он силится что-то сказать — и не может. Рано ему еще говорить, этому учатся быстро, но не сразу...

— Я приветствую тебя, брат наш, — заговорил самый старший нож Бао-Гунь. — Будь счастлив в этой жизни, юный Блистающий, рожденный в чужой ветреной степи, в пламени и звоне, и будь достоин того, чье место ты займешь. Он... он...

Голос ножа прервался, и лезвие его слегка запотело.

— А теперь, — подхватил второй нож, — мы должны представить тебе человека. Нашего общего человека. Запомни ее и знай — мы равны, хоть и различны между собой; мы, Блистающие, — и люди...

Нож говорил что-то еще, но я уже не слушал.

«Да, — думал я, — наверное, так и надо. С рождения. Не Придаток — но человек. Не оружие — но Блистающий. Не такой, как ты, — но равный. Часть тебя, как и ты — часть его. С рождения. Это — выход. Это — Путь».

«Да, — думал Чэн-Я, — это так. И только так!»

2

На следующее утро можно было видеть шулмусов, усердно чистящих и полирующих свои блестящие от удовольствия клинки. Несколько человек толпились вокруг Коблана, с утра наевшегося мясной шурпы до отвала, и кузнец, ругая на чем свет стоит косоруких шулмусских Повитух и пустоголовых ориджитов, правил заточку, выравнивал изъяны ковки, давал советы — и к концу дня многие Дикие Лезвия выглядели уже не столь дикими, хвастались друг перед другом новообретенной полировкой и со свистом рубили что попало, проверяя заточку.

Некоторые, как я заметил, даже пытались Беседовать — именно Беседовать, а не опасно и бестолково звенеть друг о друга! Разумеется, у них еще мало что получалось, но главное было не это — они *хотели* Беседовать! Они *стремились* к этому!

Начало было положено.

Да и шулмусы стали смотреть на свои клинки по-новому.

Молодец Дзю!

Кстати, о Дзю. Пора бы выяснить, куда это он все время исчезает вместе с ан-Таньей?

И мы с Чэном отправились выяснять.

Потом, когда все стало на свои места, я подумал, что зря мы совали острие куда не следует.

Есть случаи, когда полезнее оставаться в неведении.

...Когда Кос, как обычно, опять явился за Обломком, мы с Чэном, тоже как обычно, ничего не сказали, но, подождав, пока они скроются за шатрами, поспешно двинулись следом.

Сухощавая фигура ан-Таньи, ощетинившаяся тремя Блистающими, несколько раз мелькнула впереди — и мы сообразили, что наши дворецкие и Сай с Дзюттэ направляются за пределы Круга, к дальним юго-западным холмам, на которых и за которыми раскинулось шумное ориджитско-маалейское стойбище.

Ну и что им там понадобилось?

Дорога заняла около получаса, и нам пришлось поотстать — не то чтобы мы особо скрывались, но и не желали, чтобы Кос с Блистающими заметили нас раньше времени.

И, кажется, преуспели в этом.

Впрочем, по той же причине мы пропустили начало представления. Когда мы наконец перевалили через холмы и прошли между какими-то коновязями, то оказались неподалеку от довольно-таки обширной и ровной площадки, местами поросшей пучками жухлой травы, подобно физиономии хитрого Тохтара, и выяснили, что действо уже в самом разгаре.

На площадке рядами сидела, одинаково подобрав под себя ноги, добрая сотня шулмусов: впереди — наши ориджиты и молодые маалеи, за ними — старики обоих племен, дальше — подростки вперемежку с женщинами.

И каждый держал тот или иной блестящий клинок, неподвижно устремленный острием вверх.

А перед ними Кос, Заррахид и Обломок (Сай находился за поясом ан-Таньи) исполняли начальный танец Пятой стихии. Очень медленно и очень плавно, тщательно подчеркивая все переходы, чтобы шулмусы могли уследить за каждым движением. Это было крайне поучительное зрелище. Причем поучительное в самом прямом смысле слова — потому что наш Обломок не только выписывал в воздухе вензеля Пятой стихии, как заправский Детский Учитель.

Он при этом еще и проповедовал.

Вслух.

А Дикие Лезвия с благоговением слушали (явно не понимая половины и посему проникаясь к проповеди еще большим почтением), что вещает им новоявленный пророк.

— ...ибо все вы видели Его и могли убедиться, что для рожденного в этом мире невозможно достичь Его совершенства, но пытаться приблизиться к нему есть первый долг и первая заповедь; и тогда тела наши станут крепче, и очистятся души наши, и

помыслы станут ясными, а мастерство возрастет многократно — но лишь у следующих Пути, указанному Пресветлым Мечом, а указал он: оставь сомнения и слушай Меня...

— Оставь сомнения и слушай Его, — нестройно повторили Дикие Лезвия, явно не в первый раз слышавшие эту заповедь.

— Не повреди Придатка своего, а тем паче — чужого, ибо хорошего Придатка вырастить трудно, а испортить легко...

— Не повреди Придатка...

— Не разрушай собрата своего, ибо все вы — Блистающие, подобия Мои...

— Не разрушай...

— Живи Беседой и радостью ее, ибо в этом смысл жизни Блистающего...

— Живи Беседой...

— И те из вас, кто внемлет Слову Моему, изреченному пророком Моим, Дзюттэ Ковырягой (мы с Чэном едва сдержали смешок), и Ближними Моими, станут подобны Мне и войдут в рай, имя которому — Кабир!

Тут Я-Чэн обнаружил, что слишком уж высунулся из-за крайней коновязи, а оказываться на виду, особенно сейчас, Мне-Чэну никак не хотелось, и мы поспешили спрятаться обратно, так что конца проповеди пророка Ковыряги мы не услышали.

Еще некоторое время мы наблюдали за происходящим из укрытия. Дзю в конце концов умолк и вместе с Саем и Заррахидом занялся более стоящим, с нашей точки зрения, делом: принялся наставлять Дикие Лезвия в мастерстве Беседы. В чем ему помогали неизвестно откуда взявшиеся и непонятно где до того скрывавшиеся Волчья Метла, Чань-бо, Но-дачи и двое Тусклых.

Дальше Я-Чэн смотреть не стал и вернулся к священному водоему.

По дороге я размышлял о Пресветлом Мече, указавшем единственно верный Путь непросвещенным Диким Лезвиям, и о Ближних Его; а в особенности — о пророке Дзюттэ Ковыряге и о рае по имени Кабир.

Небось Кос вещал шулмусам (и не первый день!) нечто в этом же роде — великий Асмохат-та и Ближние Его... Ну, удружили! Вернутся эти пророки — я их так на Путь наставлю!..

Ковыряга!.. Кто ж это слово такое выдумал?! Уж небось не сам Обломок... хотя с него станется!..

3

До обеда Мои пророки и Ближние не появлялись — видимо, заняты были; но обед их святость (я имею в виду Коса) явно пропускать не собирался — вот тут-то все четверо и были отловлены Мной, вернувшимся с обучения Куш-тэнгри.

— Ковыряга, значит... пророк! — язвительно начал я, щекоча

острием немного растерявшегося Обломка, — Пресветлый Меч и пророк Его, а также Путь Меча из Шулмы в Кабир, он же — рай! Вот, значит, почему от меня все Дикие Лезвия прячутся! А по-нормальному им объяснить нельзя было?! Без пророков с Ближними?!

— Нельзя! — неожиданно отрезал оправившийся Дзюттэ. — По-нормальному — нельзя. Не доросли они еще — по-нормальному! Не проливать крови — почему? Всегда проливали — и ничего, а теперь вдруг нельзя?! Ритуалы — вещь красивая, но зачем? Ради чего?! Жили без ритуалов — глядишь, и сейчас проживем! Ты об этом подумал, Единорог?!

Я промолчал.

— А так — никаких «почему»! — продолжал между тем Обломок. — Есть Пресветлый Меч — и пусть кто-нибудь усомнится! Они, в общем, и не сомневаются... И есть Ближние Его — видите, как блестят? Видите, что умеют? Видите, как с ними обращаются?! Хотите стать такими же? Еще бы — конечно, хотят! А если хотите — внимайте слову Его, изреченному посредством пророка...

— Ковыряги! — не выдержал я.

Злиться на Обломка и моих друзей я уже не мог — тем более что, похоже, они были правы.

— Да, Ковыряги! — гордо заявил Дзюттэ, и мне послышалась в его голосе даже некоторая обидчивость, чего раньше за Дзю не водилось. — Меня так местные прозвали. И означает это: «Тот, кто видит суть вещей». Вот так, Пресветлый!

— Тот, кто доковырялся до сути, — ехидно уточнил Сай, но Дзю оставил его реплику без внимания.

Вот что значит — пророк... Прежде он Саю не спустил бы!

— Терпи, — коротко прозвенел молчавший до этого эсток. — Следующее поколение будет усваивать эти истины с рождения — и сочтет их естественными и само собой разумеющимися. Они станут Блистающими — и им уже не понадобится Пресветлый Меч! А пока терпи!..

— Ладно, — задумчиво покачал кисточкой я. — И знаешь что, Дзю, — раз ты теперь Мой пророк, то слушай Слово Пресветлого!

— Слушаю и повинуюсь, Ваша Однорогость! — гнусаво зашуршал Обломок, и мне сразу стало легче — это был прежний зловредный шут, для которого я до конца дней своих останусь мишенью для мудрых советов и язвительных насмешек.

— ...Внимай воле Моей: пусть те Дикие Лезвия, которые окажутся самыми рьяными в служении Мне, — пусть они получат в награду собственные имена! И придумаешь их — ты!

Большего наказания для своих последователей я сочинить не мог.

4

...Следующие дни были заняты до предела. Мы учили шамана и учились сами. Куш-тэнгри уже немного отошел от первого потрясения и занимался спокойно и сосредоточенно, не забывая учить нас.

Учить смотреть — и видеть. Видеть — и запоминать. Запоминать — и сопоставлять. Сопоставлять — и делать выводы. И на основе этого погружаться в некое странное состояние, когда мысль охватывает все окружающее целиком — и прорывается в еще не наступившее время.

Это было трудно. Когда я был отдельно от Чэна — у нас вообще ничего не получалось, хотя шаман делал это один. Но когда смотрели, запоминали и сосредоточивались не Мэйланьский Единорог и Чэн Анкор, а Я-Чэн... это было сродни состоянию Беседы. И тогда нам удавалось поймать это неуловимое и неосязаемое чувство без названия; тогда мы начинали видеть.

Видеть всего на несколько мгновений вперед — но это было будущее!

Один раз, находясь в трансе, мы увидели Асахиро и Но-дачи, входящих в наш шатер, — и едва мы вынырнули на поверхность реальности, как полог шатра откинулся и показались Но с Асахиро!

Шаман, в свою очередь, был неутомим, и Чыда не могла на него нарадоваться. Потихоньку мы даже пробовали Беседовать, медленно, осторожно, но это уже была Беседа, а мы были — со-Беседники!..

И все это как-то отодвинуло в тень слухи о волнениях в Шулме и исчезнувших из ставки Джамухе с Чинкуэдой и тысячей тургаудов-телохранителей; даже о Кулае Чэн почти не вспоминал...

Коблан с Шипастым Молчуном ругали тех нерадивых шулмусов и Дикие Лезвия, что сохраняли до сих пор первозданно-отвратительный вид; Дзю проповедовал; время от времени к водоему наезжали гонцы из каких-то племен, где уже были наслышаны об Асмохат-та и Пресветлом Мече, — с гонцами обычно разговаривали Кос и Асахиро, а нас с Чэном показывали издалека.

Гонцы смотрели, ахали, до вечера крутились вокруг водоема и наконец исчезали.

День шел за днем...

5

Это случилось совершенно неожиданно.

Я неторопливо Беседовал с Чыдой Хан-Сегри, в пятый раз подставляя Чэна под прямой выпад копья и терпеливо дожидаясь, пока шаман выполнит то, что от него требовалось, — и ста-

рался не обращать внимания на то, что с каждым разом глаза Куш-тэнгри вспыхивают все ярче и напряженней.

Почему-то я никак не мог избавиться от ощущения, что касаюсь не древка или наконечника Чыды, а непосредственно дотрагиваюсь клинком до рук шамана, как при прорицании, — и тогда мне на миг мерещится то призрачно-сизый дым за спиной Куш-тэнгри, то зыбкие силуэты всадников на холмах, то сами холмы превращаются в подобие домов...

«Устал, — подумал я, начиная все заново, — пора заканчивать...»

Додумать я не успел. Шаман отошел назад, Чыда крутнулась колесом, и я еще почувствовал, что Чэн пристально смотрит в глаза Куш-тэнгри, — а потом передо мной словно распахнулись ворота...

...Ворота Чжунду распахнулись, и в богатейший город Поднебесной, неистово визжа и размахивая оружием, хлынули степняки.

Ли Куй, известный в Чжунду как Носатый Ли, бродяга без роду и племени, пришедший в город невесть откуда перед самым нашествием, — щуплый и взъерошенный Ли Куй, прихрамывая, бежал по переулкам западной окраины, надеясь на везение.

Если великая Гуаньинь поможет ему уйти целым и невредимым, он станет бритоголовым монахом-хэшаном в шафрановой рясе, живущим милостыней и безразличным к мирской суете, — и пусть другие дураки дают рискованные советы скудоумному Сыну Неба, императору-тупице, и пусть несчастную Поднебесную насилуют и грабят все, кому не лень, хоть алчные сановники, хоть грязные монголы, хоть...

Еще не успев понять, что Гуаньинь сегодня смотрит в другую сторону, Носатый Ли резко остановился, зашипев от боли в поврежденном колене, и вскинул к груди короткий, локтя в три, посох.

В конце переулка радостно скалился рослый монгол в кожаном доспехе, поигрывая длинным копьем с перекладиной под трубкой наконечника.

Опальный полководец Ли Куй, которого в Чжунду звали Носатым Ли, а в столице — Синим Тигром Хоу, глубоко вздохнул и медленно пошел к ухмыляющемуся степняку, усилием воли заставив себя перестать хромать.

Монгол подождал, пока хилый оборванец приблизится, и лениво ткнул перед собой копьем.

Через мгновение оружие едва не вырвалось у него из рук, а когда изумленному воину все же удалось отпрыгнуть назад, прижимая к себе копье жалом вверх, в лицо ему полетел выдол-

бленный изнутри посох, в котором, как шелкопряд в коконе, скрывался от досужих глаз прямой меч-цзянь Синего Тигра Хоу.

Город уже горел. Горький дым стелился по улицам Чжунду, опережая увлекшихся грабежом воинов неукротимого Темуджина Чингисхана; дым спешил, раньше захватчиков пробираясь на западную окраину, от едкой гари першило в горле, и невыносимо болела нога Ли Куя, а монгол бил умело и свирепо, то наконечником, то обратной стороной древка, и поэтому приходилось много двигаться, пока Гуаньинь не соизволила обратить свой благосклонный взор на Чжунду и на заброшенный переулок, в котором Носатый Ли дважды сумел достать клинком запястья монгола.

Теперь оставалось только ждать. Ждать и не подворачиваться под копье, движения которого становились все более неуверенными и дрожащими. А дождавшись — вложить последние силы в последний прыжок.

...Он так и не выпустил копья, этот неудачливый воин в легком кожаном доспехе. Кашляя и скособочившись, он сидел у стены чьего-то дома, правой ладонью зажимая пронзенный бок, а левую продолжая держать на валявшемся рядом копье. И над ними, над раненым монголом и бессильным копьем, тяжело дыша и стараясь не переносить вес на поврежденную ногу, стоял Ли Куй, бывший полководец левого крыла Ли, бывший Синий Тигр Хоу, бывший Носатый Ли, будущий настоятель монастыря подле горы Утайшань, усталый маленький человек.

Стоял и смотрел, как лицо монгола становится все более бледным, а рассеченные запястья кровоточат все меньше и меньше.

Монгол с трудом поднял голову — и их взгляды встретились.

Ли Куй вздохнул, изорвал свою накидку на полосы, присел рядом с монголом и стал туго бинтовать руки воина непобедимого Чингиса.

Ли не знал, зачем он это делает...

6

Когда я пришел в себя, над Чэном, сидящим на земле, уже хлопотали Чин и Матушка Ци, отпаивая его водой, хлопая по щекам и взволнованно переглядываясь между собой.

Я по-прежнему находился в правой руке Чэна, в руке аль-Мутанабби, и понимал, что рука здесь ни при чем.

В трех выпадах от нас сидел бледный Куш-тэнгри, опираясь спиной на подложенные вьюки, а рядом с ним лежала бесчувственная Чыда Хан-Сегри, на древке которой покоилась левая ладонь шамана.

И во взгляде Куш-тэнгри медленно плыл дым города, горевшего не здесь и не сейчас.

— Ты в порядке, Единорог? — озабоченно спросил Обломок из-за Чэнова пояса.

— Да, — коротко отозвался я. — А ты?

— А что я? — голос Обломка был непривычно встревоженным. — Я ведь не Беседовал... Смотрю — наш друг шаман глазищи распахнул, Чэна как приподняло, я тебе кричу, а ты звенишь что-то странное и вперед лезешь! Ох, вы и по-Беседовали... ну, Чыда — это еще понятно, но только уж больно здорово Куш-тэнгри ею орудовал! До кабирских Придатков ему, конечно, еще далеко, а вот по шулмусским меркам — так просто отлично! Мы ж его вроде бы и не учили обратной стороной древка на уходе бить... Потом ты Чыду пропустил и шаману оба запястья наметил. Я опять гляжу — все гладко, касание идеальное, — а шаман кричит, как испорченный, и спотыкаться стал. Ну а ты ему после бок обозначил — он и упал. Чыду, правда, не выпустил, молодец...

Дзю помолчал, словно припоминая.

— Чэн над ними постоял-постоял — и вдруг сел. Забормотал что-то непонятное, ногой левой дергать стал, словно колено вправлял, или еще что... и вдруг — все. Не чувствую я вас! Никого. Ни тебя, ни Чэна. О Чыде с шаманом вообще речи нет. Кричать я стал, а тут уже и Чань-бо сообразил, что что-то не так!.. Хвала Небесному Молоту, очнулись вы, и меня малость отпустило...

— Что... что это было? — донеслось ко мне от Чыды, явно вернувшейся в наш бренный мир.

— Миры Хум-Тэнгэ, — негромко ответил Неправильный Шаман. — Те, что за поворотом пути шамана. Вот и повернули, значит...

— Какой еще Хум-Тэнгэ?.. — начала было Чыда, но осеклась.

— Это ты? — тихо спросила она. — Шулмусский Придаток, это ты? Или я сошла с ума?..

— Нет, ты не сошла с ума, Чыда Хан-Сегри, — бросил Чэн. — Это и впрямь шулмусский Придаток Куш-тэнгри, а я — мэйланьский Придаток Чэн Анкор, и, видимо, я уже совершенно разучился удивляться... потому что то, что мы понимаем друг друга, не удивляет меня. Да и может ли быть иначе, если мы вместе свернули за поворот?

— Мне жаль, что я не был с вами, — через силу усмехнулся Обломок. — Это, должно быть, забавно...

— Ты был с нами, Дзю, — сказал я, — и я надеюсь не дожить до того дня, когда тебя не будет с нами, потому что тогда мне любой поворот будет не в радость. А сейчас я... сейчас я хочу спать, Дзю.

— Да, Наставник, — иронично-уважительно отозвался Дзюттэ.

И заорал на Чань-бо, обзывая его всякими словами и требуя немедленно перенести нас в шатер.

Чэн сонным голосом добавил кое-что от себя — только значительно мягче, — и я еще успел заметить чьи-то внимательные глаза, а потом нас подняли и понесли, негромко переговариваясь между собой...

Уже проваливаясь в забытье, я неожиданно понял, кому принадлежали внимательные глаза, на дне которых тлели уголья забытых жаровен.

Это были глаза Хамиджи-давини.

Или это мне примерещилось?..

7

Мне снился бесконечный путь,
Пронзающий миры.
И в том пути таилась суть
Загадочной игры,
Игры, чьи правила — стары,
Игры, чьи игроки — мудры,
Они не злы и не добры...
И я кричал во сне.

Мне снился обнаженный меч,
Похожий на меня,
И яростно-кровавый смерч
Масудова огня,
И бились о клинок, звеня,
Копыта черного коня,
Что несся на закате дня...
И я кричал во сне.

Мне снилась прожитая жизнь —
Чужая, не моя.
И дни свивались в миражи,
Как сонная змея.
И шелестела чешуя,
Купался лист в воде ручья,
И я в той жизни был не-я...
И я кричал во сне.

8

Проснулся я самым последним.

Это еще раз подтверждал голос Дзю, излагавшего Чыде историю наших странствий и попутно убеждавшего Хан-Сегри, что Придатки — это люди, и все такое прочее.

Чыда ахала, охала и соглашалась со всем.

Я еще подумал, что чем проще Блистающий (или человек),

тем легче он верит в то, что такому умнику, как Заррахид, покажется невероятной сказкой.

Чэн и шаман молчали, но я ощущал их присутствие и не сомневался, что они бодрствуют.

Дважды шаман поправил Дзю, когда тот рассказывал о Шулме, и я на удивление спокойно отметил для себя, что понимаю Куш-тэнгри, даже не становясь Мной-Чэном, и Чыда его понимает, и Обломок; и издаваемые шаманом звуки не значат почти ничего для этого нового понимания.

Просто он говорил, а мы знали, что он говорит.

«О Нюринга! — подумал я. — Так, значит, дело вовсе не в руке аль-Мутанабби и не в том, что мы с Чэном какие-то особенные... уроды, — и достаточно тому же Заррахиду вместе с Саем и Косом пройти по Пути, свернуть в нужном месте, погрузиться в «не здесь» и «не сейчас», как погружаются в разверзающуюся под клинком рану мироздания, — и Косу больше никогда не понадобится переводчик, если ему захочется поговорить с эстоком или Саем! Ведь если даже Чыда...»

— Да, это так, — ответил Куш-тэнгри, и я не сразу сообразил, произнес ли я все это вслух, или теперь для нас всех было попросту неважно: вслух или про себя?!.

Похоже, мы теперь со-Беседники в каком-то новом, непривычном смысле...

— Отец Ур-калахай, Безликий! — шаман весь дрожал. — Значит, не просто можно, а нужно... нужно твоим шаманам, Отец, брать оружие в руки, нужно сливать воедино Пути и идти дальше, чтобы увидеть другие миры, порожденные тобой...

— И, может быть, не только видеть, — подхватил Чэн. — Ведь тот человек, что был там, что имел меч, подобный Единорогу, почему он, этот человек, не убил своего врага? Не потому ли, что за спинами враждующих незримо стояли мы, не желающие убивать?! И если так — не сможем ли мы гасить огонь Масуда и там, когда души наши будут дотягиваться до иных судеб и жизней?!.

— Очень красиво, — проворчал Обломок (видимо, уже осведомленный обо всем). — Судьбы, жизни, Пути... Там гасить будем — а здесь? Что, у нас здесь дел мало? Из Диких Лезвий делать Блистающих — раз! Из их Придатков людей делать — два! И тех, и других учить понимать друг друга — три! Здесь, здесь Масудов огонь гасить надо, да и то, наверное, не до конца гасить, чтоб вода Мунира стоячей и затхлой не становилась!..

— Дороги, — неожиданно добавила Чыда. — Дороги нужны. Из Кабира в Шулму. И обратно.

— Асмохат-та нужен, — через силу улыбнулся Куш-тэнгри. — Вера нужна. Пусть шулмусы сперва поверят, пусть Дикие Лезвия поверят, они во имя веры горы свернут, а когда станет видно, что там, за горами, — вот тогда вместо веры знание придет. Да и вера, пожалуй, останется...

Полог шатра чуть приотдернулся, и в образовавшейся щели показались взволнованное лицо Чин и наконечник Волчьей Метлы.

— Вы Хамиджу не видели? — озабоченно спросили обе.

Мы переглянулись... и расхохотались.

— Да пропала она куда-то, — смущенно бросила Чин, видимо, поняв всю нелепость своего вопроса. — Ищем, ищем... еще со вчера. Вы ведь уже сутки спите...

— Будущее, — шаман в волнении встал. — Ах, какое будущее!.. Вот почему я не видел победоносного похода на мягкоруких! И всего-то надо — убить Джамуху! Ради такого будущего — одного человека... одного плохого человека...

Меня как ледяной водой после наковальни окатило.

Чэн протянул руку аль-Мутанабби, коснулся моей рукояти — и я стал Чэном-Мной.

— Ради будущего, — негромко сказал Чэн-Я. — Ради будущего — одного человека. Ради будущего Но-дачи и Асахиро отрубили мне руку. Ради будущего Шото и братья-Саи убивали на улицах Кабира, пока не погибли Друдл с Детским Учителем. Ради будущей мести Маскин стал Тусклым, а Эмрах ит-Башшар примкнул к батинитам. Ради будущих побед ориджиты во главе с Джелмэ-нойоном сожгли деревню Сунь-Цзя, а я ради будущего убил несговорчивого Джелмэ. Ради будущего, в котором должна была восторжествовать Истина Батин, Джамуха подмял под себя Шулму. И мы видели будущее, в котором я убью Джамуху, потому что мы заранее знали, что ради будущего...

Я-Чэн помолчал.

— Нет такого будущего, — твердо закончил Я-Чэн, — ради которого я убью Джамуху и сломаю Чинкуэду, Змею Шэн. Я не хочу такого будущего.

— Ты не станешь их убивать? — изумился шаман. — А как же...

— Ради будущего — нет. А если и убью — то только ради настоящего. Как убивал в ночном переулке Кабира, над Друдлом и Детским Учителем. Не зная, что убью. Не думая об этом заранее. Потому что нельзя заранее делать выбор между жизнью и смертью. Этот выбор делается лишь тогда...

Чэн-Я оглядел всех и закончил:

— Когда один меч стоит спокойно против неба. Один — против неба. И только так.

Снова зашевелился полог, и в шатер вошел Асахиро с Но-дачи на плече. Оба были хмурыми и сосредоточенными, очень напоминая самих себя в тот мэйланьский вечер, когда они заступили дорогу Мне-Чэну.

— У нас гости, — бросил Но-дачи, большой меч.

— Чэн, надень доспех, — сказал Асахиро Ли.

В шатер протиснулся Кос ан-Танья с доспехом аль-Мутанабби в руках.

9

Гость ждал нас у священного водоема.

Это был высокий, прекрасно сложенный воин с волчьими чертами лица. Причем волк был матерый, опытный, прекрасно знавший себе цену. Дикого Лезвия при нем не оказалось — то ли не пристало послу быть вооруженным, то ли еще что...

Неподалеку от воина расположились Фальгрим с Гвенилем и ан-Танья с Заррахидом и Саем. Больше никого не было — ни наших, ни шулмусов. Это не удивило Меня-Чэна — еще по дороге Но-дачи с Асахиро рассказали нам, как они разогнали всех любопытных, не дав им толпиться вокруг посла Джамухи; и Я-Чэн счел этот поступок совершенно правильным.

При виде нас воин нахмурился, с показным равнодушием оглядел Чэна с головы до ног и сделал шаг навстречу. Всего один шаг. Надо отдать должное — посол или действительно ничего не боялся, или умело скрывал свои чувства.

— Я — тысячник Джангар-багатур, — негромко и властно сказал он, — глава тумена телохранителей-тургаудов гурхана Джамухи Восьмирукого.

Затем он неожиданно приложил ладони ко рту и пронзительно завыл.

Я-Чэн даже не успел удивиться, как в ответ с северных холмов донесся такой же вой, только многократно усиленный; и я услышал ржание испуганных коней.

— Мои люди не хотят тревожить покой священного места, — продолжил Джангар, когда наступила тишина. — Пускай даже и осквернённого нечистым пребыванием. Я повторяю слова гурхана Джамухи: пусть тот, кто называет себя Асмохат-та, поднимется к гурхану и посмотрит ему в глаза. После чего он сам выберет время и место своей смерти. Я все сказал.

Пришедший вместе с нами Куш-тэнгри передал Чыду Косу, после чего низко склонился перед Чэном-Мной и повернулся к Джангар-багатуру.

— Не пристало Асмохат-та уподобляться послу самого себя, — произнес Неправильный Шаман, и Я-Чэн заметил, что невозмутимый Джангар все же старается не смотреть шаману в лицо.

— Джамуха ведь тоже не сам явился — тебя прислал, Джангар... Я пойду с тобой, я, слуга Ур-калахая Безликого, я встану перед Джамухой как посланец Асмохат-та, и мы определим время и место. А чья смерть наступит тогда — это еще у Безликого за пазухой...

— Хорошо, — равнодушно согласился Джангар. — Иди ты, шаман-отступник...

Шаман кивнул и отошел на десять выпадов, остановившись у статуи Мо.

Чэн-Я подумал и двинулся к нему.

— Тебе нельзя туда ходить, — одними губами выдохнул шаман. — Ты не вернешься. А по степи пойдет гулять легенда, как демон-лжец не устоял перед взглядом гурхана...

— А ты? — спросил Чэн-Я.

— А я попробую задеть гордость Джамухи в присутствии его телохранителей. Тургауды — отчаянные бойцы, они не побоятся напасть и на священное место, но если их вождь преступит закон воинской доблести...

Я-Чэн не мог объяснить шаману, что Джамуха-батинит и Тусклая Чинкуэда, Змея Шэн, по-своему понимают законы воинской доблести, и святость места уж наверняка не остановит их; и еще Я-Чэн понимал, что не могу, не должен идти сам на северные холмы и не имею права останавливать Куш-тэнгри.

Я-Чэн только вспомнил слова Неправильного Шамана, когда мы прозревали неизменную гибель Джамухи.

«Наверное, я умру до того...»

— Меня зовут Чэн, — сказал Чэн, глядя в черные глаза Неправильного Шамана. — Чэн Анкор.

— Спасибо, — невпопад ответил Куш-тэнгри.

И крикнул послу, тряхнув серебряной гривой:

— Эй, Джангар!.. Пошли, что ли?!

Джангар шагнул было вперед, но Асахиро придержал его за плечо.

— Ты помнишь меня, тысячник Джангар? — спросил Асахиро.

— Да, — кивнул Джангар, стряхивая его руку (что оказалось не так-то просто). — Я помню тебя, бывший раб, пасынок хурулов.

— Это хорошо, что ты помнишь меня... И запомни, что я скажу тебе сейчас: если с шаманом что-нибудь случится... я убью тебя, даже если для этого мне придется пройти насквозь через твой тумен.

Джангар радостно оскалился.

— Тебе не придется трудиться, бывший раб. В бою я обычно нахожусь впереди своей тысячи.

Сверху на них взирал Желтый Мо.

Полагаю, он был доволен.

10

Весь оставшийся день я не находил себе места.

Вот оно, пришло, наступило, постучалось в дверь, звякнуло о клинок — и все-таки в глубине души я надеялся, надеялся слепо, глупо, наивно, прячась в ножны от неизбежного, надеялся, что все как-то обойдется само собой, и боялся признаться в этом самому себе.

Не обошлось.

И учить некого — ушел Куш-тэнгри, и скучает заново осиротевшая Чыда, а я поминутно гляжу на северные холмы, постепенно тонущие в вечерней мгле.

Ждем.

И я остужаю рукоять о руку аль-Мутанабби.

В подготовке нашего лагеря к обороне мы не участвовали. И правильно делали — Но-дачи и Асахиро мигом взяли власть в свои руки (смешно: Но-дачи — и «в свои руки»...), и весьма скоро каждый нашел свое место и знал, что ему делать в случае...

Что делать?

Ах, выбор небогат... У деревни Сунь-Цзя два десятка с небольшим Придатков и чуть большее количество Блистающих остановили двенадцать дюжин детей Ориджа, и то все наши люди оказались раненными, а пятеро батинитов навсегда окунулись в Сокровенную Тайну. Сейчас же нас, кабирцев, на четверть меньше, чем тогда, с нами две-три дюжины шулмусов (хорошо, пожалуй, что Кулай с частью своих пропал — глядишь, выживут...); ориджитские и маалейские дети, женщины и старики не в счет; а против нас на северных холмах воет отборная стая Джамухи, тысяча воинов-людей, и вдвое-втрое Диких Лезвий.

Кто мы? Дрова для Масудова пожара?

Просто праздник Истины Батин...

Прорицание будущего, провиденье шаманское — глупости все это!.. Ведь не дойти Мне-Чэну до Джамухи, не дотянуться... сметут, растопчут...

Странное чувство возникло у меня. Чем больше я убеждал сам себя в неизбежности гибели, в бессмысленности всех наших действий, чем больше я понимал нелепость своего появления в Шулме в облике Пресветлого Меча — тем сильнее накатывалась откуда-то из глубины души, из того горна, что внутри нас, отчаянная радость единственного выпада, когда отступать некуда, и раздумывать некогда, и жить незачем, кроме как для этого выпада, а потом — гори оно все в Нюринге, это «потом»! — и гордость Масуда, и мудрость Мунира, и смысл бытия, и сафьян новых ножен, и ремесло, и искусство, и волчий вой на холмах!..

Я говорил себе о надвигающемся конце — и видел внутренним взглядом, как стальная чешуйчатая рука, сжатая в кулак над этим миром, медленно начинает раскрываться, подобно цветку на заре, и движутся неживые пальцы, которым не положено двигаться, которым не дано двигаться, но приходит день, когда мы все безнадежно глупеем, шуты мироздания, и в этот день нам все положено и все дано!..

...Вечер стал переходить в ночь, и холмы окончательно пропали из виду.

По всему лагерю горели костры.

А Куш-тэнгри так и не вернулся.

Я спросил у подвернувшейся Кунды Вонг, почему не трону-

лось с места временное стойбище женщин, детей и стариков, что было за юго-западными холмами.

— Зачем? — удивилась Кунда. — Кому они нужны? Тургаудам? В случае чего их и потом можно будет вырезать... после нас.

Я накричал на Кунду, обозвав ее глупой саблей, и с удивлением заметил, что ей стало легче. Вскоре я услышал, как Кунда, в свою очередь, кричит на кого-то, обзывая его глупым мечом и обвиняя в малодушии.

Я невесело улыбнулся, прилег на колени к Чэну, ткнувшись гардой в Обломка, — и мы стали ждать.

ГЛАВА 28

1

Всю ночь в нашем лагере происходила некая перестановка — не слишком шумная, но достаточно заметная. Ею по-прежнему руководили Но-дачи с Асахиро, и мы не вмешивались, хотя прекрасно понимали, что в случае штурма любые приготовления лишь ненадолго отдалят трагический финал. Думаю, что тот же Но понимал это не хуже меня, — только что-то делать, наверное, было все же лучше, чем просто сидеть и ждать, как мы с Чэном.

...Постепенно Я-Чэн начал проваливаться в туманное забытье — полусон, полубодрствование, похожее на провидческий транс. Мы уходили в какой-то свой внутренний мир, медленно соскальзывая туда сквозь редеющую завесу багрового тумана, и туман светлел, рассеивался, и проступавший сквозь него мир был прекрасен — в нем не было ни Шулмы, ни Кабира, ни Джамухи с Чинкуэдой; в мире этом не было и нас с Чэном — и над землей занималась заря...

...Заря. Вернувшись в негостеприимную реальность, мы огляделись вокруг. В предутренней дымке смутно темнели очертания окружавших нас перевернутых повозок, за которыми расположились шулмусы («Наши шулмусы», — невесело подумал Я-Чэн), и у многих была та вещь, которая звалась луком, а на боку висели большие ножны со стрелами.

Ножны назывались «колчанами».

Подготовились, значит... о Творец, если бы нас было хоть раз в пять больше!..

Светало довольно быстро — вот уже из зябкой пелены родились пологие склоны ближних холмов; туман отступал, почти как во сне, но не уходил до конца, и лишь вокруг священного водоема тумана, на удивление, не было вообще...

Я вновь глянул на северные холмы — и увидел, как их вершины внезапно ощетинились колышущейся гривой конного строя.

— Сейчас начнется, — очень спокойно и как-то бесцветно сказали в один голос Но-дачи и Асахиро.

И шулмусы за повозками зашевелились, доставая из колчанов стрелы и накладывая их на тетиву.

Грива на холмах выросла, уплотнилась, вздыбилась — и замерла.

Они почему-то медлили. Вокруг посветлело, туман уже практически рассеялся, и в конном строю на вершинах холмов стало заметно некоторое замешательство. Местами пряди этой живой гривы перепутались, переплелись, несколько крохотных всадников отделились от строя и поскакали влево и назад, скрывшись из виду.

«Кончали бы скорее...» — отстраненно подумал я.

Скорее не получалось. Тем более что у северо-западных и северо-восточных холмов тоже стала прорастать грива. Только грива эта была гораздо более неровной, нечесаной и всклокоченной.

Зато она была гуще. Куда гуще первоначальной!

Туда-сюда замельтешили гонцы-муравьи.

— А вон наши, — неожиданно заметил один из шулмусов.

Чэн шагнул к говорившему и увидел, что это — молодой маалей.

— Кто — ваши?

— Ну, бывшие наши, — поправился шулмус. — Дети Маала. Да вон же бунчук наш! — и он указал рукой в сторону одного из холмов.

Шулмус явно не жаловался на зрение — различить на таком расстоянии, кто есть кто...

— Ясное дело, — продолжил остроглазый, — в ставку приехали, а гурхана-то и нет. Где гурхан — спроси у ветра. Назад повернули — так и обоза нет! А степь-то слухами полнится... Куда скакать? К священному водоему. Вот и прискакали...

— Небось ваши маалеи не умнее других, — перебил его шулмус постарше, из ориджитов. — Вон сколько понаехало... слева локры в лисьих малахаях, справа не разобрать кто, но похоже на хурулов...

«Маалеи, — подумал я. — Те, которых ограбили Гвениль с Махайрой. Ну что ж, долго думать, на чьей они стороне, не приходится. Да и не одни они. Теперь и боя не будет. Просто затопчут нас — и дело с концом».

Однако шулмусы почему-то заметно повеселели и ожили. Я еще мог с трудом понять маалеев, но ориджиты?!. А Диким Лезвиям, похоже, было все равно, с кем драться, несмотря на мудрые заповеди Пресветлого Меча и пророка Ковыряги, — лишь бы драться! Тем более что сам Пресветлый с Ближними и пророком был с ними.

Наши сомнения частично рассеяла подошедшая Фариза.

— Священный водоем, — рассмеялась она в ответ на наше недоумение, — единственная святыня Шулмы. Здесь никогда не проливалась кровь. И если для тургаудов нет ничего превыше приказа гурхана — первого в воинской доблести, — то для остальных это будет осквернением святыни, на чьей бы стороне они ни были. Не думаю, что Восьмирукий осмелится штурмовать нас на глазах у своих подданных...

Холмы кишели людьми и лошадьми, метались юркие гонцы, и с каждым мгновением правота Фаризы становилась все более очевидной. Я понял, что судьба, расщедрившись, дарит Мне-Чэну давно припасенный подарок.

Поединок.

Поединок Асмохат-та и Джамухи Восьмирукого; поединок Чинкуэды, Змеи Шэн, и Мэйланьского Единорога.

Решайся, Пресветлый Меч!

Если мы при всех вызовем их на бой — мерило воинской доблести, они не смогут отказаться. На этом держится их власть. И публично потерять лицо они не осмелятся...

Так почему Я-Чэн медлю? Почему не выхожу за круг повозок и не бросаю вызов? Почему?!

Потому что я знаю, чем это закончится. Я видел это. Я не хочу убивать. Не хочу убивать! Не хочу!.. И поэтому медлю, оттягиваю, как могу, тот миг, после которого уже не будет пути назад, и мои соратники с недоумением косятся в мою сторону. «Иди же! — говорят их глаза и клинки. — Иди и убей! Ты же можешь! Разруби одним ударом безумный узел этого утра! Победителей не судят! Убей!..»

И пока я медлю, строй тургаудов опять смыкается, взлохмаченная грива союзников и подданных Джамухи редеет, оттягиваясь назад, за пределы видимости... но делает это очень медленно и неохотно. Ну да, с одной стороны — гурхан и его приказ, а с другой — даже гурхан не должен бы запрещать приходить сюда, дабы поклониться... Конечно, не должен — но очевидцы очень мешают горячему Джамухе, и он тоже понимает, что победителей не судят!..

Еще бы он не понимал — ведь это одна из главных заповедей Истины Батин!

Время, время! Оно уходит, но еще не ушло совсем — время бросить вызов, время убить — и время даровать жизнь многим, поверившим мне; время открыть дорогу великому будущему...

Ах, как красиво все это звучит!

Оно уходит, наше время, уходит, не спросясь, вместе с удаляющимися всадниками... оно уже почти вышло, наше время, но именно «почти» — потому что всадники перестают удаляться, они останавливаются, и вместе с ними останавливается время, оно зависает на невидимой нити, нить эта все растягивается и растягивается, грозя лопнуть... а потом нить резко сокращается,

и всадники поворачивают обратно, к нам, и время снова начинает нестись вскачь...

Но, кажется, тоже в обратную сторону.

2

Потому что Я-Чэн слышу топот, но по непонятным причинам он звучит позади меня — приближающийся топот конских копыт, чьи-то радостные крики, бряцанье сбруи...

Чэн-Я оборачиваюсь — и вижу, как от южных холмов к нам во весь опор несутся четверо конных, а Асахиро с Фальгримом и Кобланом уже растаскивают сдвинутые повозки, расчищая им дорогу.

Между тем Чэн-Я узнаю приближающихся всадников. Это молодой Кулай-нойон, а за ним — Тохтар-кулу с двумя ориджитами. А я еще радовался, что они не вернулись, — дескать, глядишь, живы останутся!

А они успели... успели в гости к смерти!

— Клянусь Нюрингой! — бормочет несуеверный Обломок, и я ошалело вижу, как южные холмы, словно боясь отстать от своих собратьев, тоже прорастают гривой. Конных шулмусов если и меньше, чем союзников Джамухи, то ненамного, и мне просто не хватает воображения, чтобы предположить — кто они, откуда и кого будут убивать в случае чего?!

...Кулай спрыгивает с лошади и почтительно припадает на одно колено, приветствуя Асмохат-та, а его редкий для Шулмы прямой меч склоняет передо мной рукоять.

— Кто там за вами? — спрашиваю Я-Чэн. — Погоня?!

Прямой меч звенит радостно-возбужденно и неразборчиво, как все Дикие Лезвия в преддверии свалки, так что я полностью перехожу на восприятие Чэна, слушая Кулая.

— Это восточные хариманы, о Асмохат-та, и лаахоры, и ыздзуты, и белобаранные бехтары, и...

— Все? — пытается прервать его Чэн. — А...

— Нет, не все! Еще племена предгорий — гурхэзы и джавнаки, но они отстали...

— Кто это? — ревет ничего не понявший Чэн. — Кто это, Кулай?!

— Это вольные племена, о Асмохат-та, отказавшиеся ломать прут верности перед Восьмируким! Они пришли, поддавшись моим уговорам, чтобы увидеть Тебя, — и увидели собаку-гурхана, готовящегося напасть на священный водоем! Гнев раздул их печень, и нойоны вольных племен поносят Джамуху-костогрыза и собираются отстаивать святыню! Тем более что не все люди Восьмирукого пойдут за святотатцем...

Что Я-Чэн мог ему сказать? Поблагодарить? За то, что из-за

его расторопности тысячи шулмусов лягут сегодня в здешнюю гостеприимную степь?! Ведь Кулай же хотел как лучше! Он действительно хотел как лучше!..

— О Пресветлый! — свистнул просиявший Кулаев меч, и на этот раз я понял его без труда. — Веди нас в бой!

— Когда все закончится, — бросил я Обломку, — и если мы будем еще живы, награди этот достойный меч именем! Таким, какое он заслужил!

Обломок что-то невнятно буркнул в ответ, и я понял, что имя мечу достанется еще то...

...Вольные племена спешили взять водоем в полукольцо, отрезав его от туменов Джамухи; делали они это умело и деловито, а Я-Чэн смотрел на них и понимал всю верность их расчета. Любое восстание против Восьмирукого было если не обречено, то весьма сомнительно — гурхан мог вызвать непокорного нойона в Круг, и тот не имел права отказаться, если хотел сохранить лицо! А исход такого поединка был ясен заранее, без всяких шаманских предсказаний...

Воинская доблесть — единственный закон и ценность Шулмы!

Зато сейчас! Осквернение святыни! И плевать вольнолюбивым нойонам на ложность или подлинность Асмохат-та с его Пресветлым Мечом! Ведь когда в опасности священный водоем — что должен делать всякий честный шулмус? Вот-вот, именно это... Тем более что если тургауды Восьмирукого и послушаются приказа гурхана, то многие недавние сторонники Джамухи не пойдут сегодня вслед за ним — а может, и в спину при случае ударят...

Шаманы небось потом спасибо скажут и любой грех замолят!

«Кстати, о шаманах, — подумал Чэн, — вон, кажется, и они... Двенадцать — нет, тринадцать человек в до боли знакомых халатах с побрякушками и со взглядом, который невозможно спутать ни с чьим другим... смирные лошаденки, спокойная осанка — и ни одного Дикого Лезвия!»

Да. Это были служители Ур-калахая Безликого.

Но вспыхнувшая было во мне надежда, что шаманам удастся предотвратить кровопролитие, быстро угасла. Потому что трое шаманов остались у водоема, а остальные равнодушно погнали лошадей вверх по склону. К тургаудам они даже не стали приближаться, а сразу повернули левее и правее — и растворились в гуще людей.

Что-то должно было произойти — сейчас или никогда.

И гурхан решил — сейчас.

Передний край тургаудского строя начал быстро выравниваться — куда быстрее, чем в прошлые разы, — и я понял, что время вышло.

Совсем.

Сейчас конная лавина, визжа и размахивая Дикими Лезвиями, ринется вниз, и все возможные доводы и миролюбивые размышления исчезнут в звоне, грохоте и потоках крови.

Никакие шаманы не смогут остановить озверевших бойцов.

Не смогут.

Не успеют.

Или — не захотят.

Перевернутые повозки остались у нас за спиной — святые воды не будут осквернены, но вокруг них трупов и сломанных клинков будет более чем достаточно.

И Я-Чэн шагнул вперед.

Мы шли между расступающимися воинами и Дикими Лезвиями, как меч идет сквозь расступающуюся под его напором плоть; мы шли молча, приближаясь к северным холмам, не торопясь, и было слышно, как под ногами Чэна похрустывают песок и сухая трава.

Когда мы отошли от линии защитников священного водоема на полтора копейных броска — Чэн остановился.

Молча.

И это был вызов.

Стало еще тише — что всего миг назад казалось невозможным. Тишина сыпалась, как песок, тишина налипала на замерших людей, тишина висла на Диких Лезвиях, тишина давила, сгущалась...

А потом перед строем тургаудов возникла одинокая серая фигура и начала спускаться вниз.

3

...Они медленно спускались по склону холма, приближаясь к нам, — Джамуха Восьмирукий, изгой-батинит, и Чинкуэда, Змея Шэн, висевшая у него на поясе; асассин и Тусклая. Глядя на них, я подумал, что не Шулма первой пришла в Кабир — нет, это Кабир явился в Шулму, и потом — снова, и вот Кабир идет навстречу Кабиру, а Шулма взирает на это затаив дыхание.

Ближе... еще ближе...

Не было ни страха, ни волнения; не было ничего, словно Мне-Чэну предстояла обычная Беседа, каких было множество, и будет множество. Ближе, еще ближе, еще...

Все.

Остановились.

В двух выпадах от Чэна-Меня.

Короткая Чинкуэда, неестественно широкая у гарды и резко сужающаяся к острию, чья рукоять была оплетена вытертыми шнурами, а деревянные ножны украшали простые серебряные бляхи; и Джамуха Восьмирукий, невысокий, узкоплечий, в кожаном доспехе с массивными оплечьями и в странном шлеме с

гребнем и защитными боковыми пластинами, закрывавшими почти все лицо.

Я даже глаз его не видел — под налобник шлема была заправлена серая вуаль-сетка.

И когда они заговорили — их первые слова поразили Меня-Чэна резче и неожиданней внезапного удара.

— Я знаю, что ты сильнее, — одновременно сказали Джамуха Восьмирукий и Чинкуэда, Змея Шэн.

Я-Чэн молчал.

Что можно было ответить на это?

Ответить — ничего. А подумать — многое. Но Я-Чэн не думал об этом многом, потому что цена за него еще была не уплачена. Жаль только, что Джамуха и Чинкуэда не знают, кто они на самом деле, не слышат друг друга, не понимают до конца — и, возможно, так и не поймут...

— Мне жаль вас, — ответил Я-Чэн, изо всех сил не желая произносить этих слов и не сумев поступить иначе.

Зря.

Они не были созданы для жалости; тем более — для нашей.

— Ты из рода Дан Гьен, — сказала Чинкуэда. — Значит, ты родич Скользящего Перста? Или ты предпочитаешь, чтобы я звала тебя Пресветлым Мечом?

— Такие мечи, как у тебя, в Мэйлане предпочитают носить Анкоры, — сказал Джамуха Восьмирукий. — Ты из Анкоров Вэйских или из Анкор-Кунов? Если, конечно, ты не собираешься убеждать меня, что ты — Асмохат-та...

Голос Джамухи звучал глухо и невыразительно из-за сдвинутых пластин шлема, и таким же невыразительно-глухим был голос Чинкуэды, Змеи Шэн; Я-Чэн сперва слушал эти голоса, остро ощущая свою цельность перед лицом раздвоенности, разобщенности тех, кому на роду было написано быть вместе и в то же время отдельно... Ах, какими одинокими чувствовали они себя в Шулме, что даже со Мной-Чэном говорили чуть ли не с радостью, изголодавшись по общению с равными!.. Пора было отвечать, а Я-Чэн молчал и думал, что в осанке Джамухи и в его манере держаться есть что-то неуловимо знакомое — а память услужливо подбрасывала нам сцену из будущего, уже виденную Мной-Чэном, когда Джамуха стоял перед нами, и вот он снова стоит, будущее стало настоящим и прошлым... и, наверное, пора было что-то отвечать.

— Я — Чэн Анкор из Анкоров Вэйских и прямой Дан Гьен по прозвищу Мэйланьский Единорог, — произнес Я-Чэн и добавил: — Родич Фаня Анкор-Куна и Скользящего Перста, старейшин-клятвопреступников.

— Это хорошо, — удовлетворенно отозвались Джамуха и Чинкуэда.

— Почему это хорошо?

— Так мне будет легче убить тебя.

Об Обломке речь не шла — словно его и вовсе не было.

— Мы можем договориться? — спросил Я-Чэн.

— Нет, — ответили они.

И Джамуха, повернувшись к своим тургаудам, подал им знак рукой.

...С холма спускался Куш-тэнгри. Глаза его были закрыты плотной темной повязкой, и Неправильный Шаман шел осторожно, рассчитывая каждый шаг — и все равно часто оступаясь. Руки его не были связаны, но он и не пытался снять повязку. Шею Куш-тэнгри захлестывали сразу две волосяные петли, и в пяти-шести выпадах позади незрячего шамана вразвалочку шли двое воинов, намотав на запястья противоположные концы арканов и ведя Неправильного Шамана, словно зверя на поводке.

«Неужели они его ослепили?!» — мелькнула страшная мысль.

На расстоянии хорошего копейного броска от Меня-Чэна воины крепче натянули арканы — и Куш-тэнгри остановился, прижимая подбородок к груди.

— Сейчас они убьют его, — равнодушно сказали Чинкуэда и Джамуха, и Я-Чэн ни на миг не усомнился, кто «они» и кого «его», — как шамана-отступника. А потом придет твоя очередь. Смотри, это будет интересно...

Я-Чэн не обратил внимания на последние слова. Слова ничего не значили, жизнь ничего не значила, честь и позор, доблесть и трусость не значили ничего, и единственное, что имело значение в этом проклятом мире, что стоило дороже пыли под ногами, — расстояние от Чэна-Меня до шамана, расстояние — и то, что Чэн-Я не успею преодолеть его прежде, чем воины отправят в Верхнюю Степь или в Восьмой ад Хракуташа седого ребенка, Неправильного Шамана, настоящего хозяина Шулмы, встретившего нас как гостей...

— Чэн! — словно сами холмы позади нас разверзлись неистовым рыком, и эхо захлебнулось в ужасе. — Держи!!!

Чыда была уже в воздухе. Тяжелая, яростно визжащая Чыда Хан-Сегри — и лишь единственная рука могла вот так вогнать массивное копье в осеннее небо Шулмы, с треском разрывая грязно-голубое полотнище, единственная рука могла дотянуться разъяренной Чыдой из Малого Хакаса, теряющей новообретенного Придатка, дотянуться через полтора копейных броска до Кабира, до меня, до Чэна-Меня!

Он не был прирожденным копейщиком, Повитуха Блистающих, кузнец-устад, Коблан Железнолапый, но он вложил в этот бросок всю свою бешено-огромную душу, не оставив ничего про черный день — ибо черный день настал!

— Держи! — ревел Коблан, и ему вторила летящая Чыда, а Шулма окаменела на несколько долгих-долгих мгновений, и я видел, что Чыда вонзится в землю, выпадов на пятнадцать перелетев через нас, — и тогда Чэн сорвался с места, на ходу вбрасы-

вая меня в ножны, забыв о Джамухе и Чинкуэде, — и вскоре я ощутил, как пальцы аль-Мутанабби смыкаются на древке Чыды... ощутил острее, чем если бы они сомкнулись вместо копейного древка на моей рукояти.

Чэн замахнулся, Чыда птицей вырвалась из объятий латной перчатки — железная рука, детище Железнолапого, память восьмивековой давности, ожившая в недоброе время сталь! — и устремилась к недвижному Куш-тэнгри.

— Куш! — надрывалась Чыда изо всех сил. — Куш, я здесь! Я здесь, Куш-ш-ш!..

И изумленные воины с арканами замешкались, упустив то мгновение, когда незрячий шаман сделал шаг в сторону и взял Чыду из воздуха.

Легко и уверенно, как брал летящие камешки; и Чыда со счастливым криком легла в протянутые ладони.

Арканы натянулись, но Куш, не дожидаясь, пока его собьют с ног, сам отпрыгнул назад, разворачиваясь к воинам слепым лицом; удар, мелькание рук и древка — и лезвие наконечника Чыды рассекает один аркан, а второй обматывается вокруг ее крестовины, и не выдержавший рывка воин падает на бок, силясь левой рукой выдернуть из ножен саблю, и выдергивает, перерубая Диким Лезвием веревку, пленником которой внезапно стал...

Первый воин, кинувшийся к освободившемуся шаману, горлом налетел на древко Чыды, мигом растерявшей все кабирские повадки, — и вот Куш-тэнгри уже стоит рядом с лежащими воинами, повязка сорвана с лица шамана, гневные черные глаза впиваются в поверженных шулмусов («Хвала Творцу! — шепчу Я-Чэн. — Они не посмели...») — и тургауды Джамухи даже и не пытаются встать, когда Неправильный Шаман поворачивается к ним спиной и машет нам сияющей Чыдой.

— Что он делает?! — шепчет Обломок.

— Кто? — спрашиваю я, потому что Чэн ничего не видит и не слышит, он машет шаману в ответ и что-то кричит...

— Джамуха!

Не покидая ножен, я оборачиваюсь и еще успеваю увидеть, как раскручивается кожаный ремень в руке Джамухи-батинита, из петли превращаясь в полосу, а потом увесистый камень гремит о шлем Чэна, и земля оказывается совсем рядом, а Чэн не откликается, когда я зову его, и я остаюсь один, один, один...

Один против неба.

4

Время сошло с ума: оно рванулось с места и действительно понеслось назад, мелькая днями, неделями, месяцами; пространство свилось кольцами гигантской змеи, ползущей хвостом впе-

ред: Шулма, Кулхан, Мэйлань, Кабир, памятный переулок, дом Коблана, комната-темница...

И холодный блеск маленького клинка над лежащим Чэном Анкором.

— Руку! — вне себя кричу я, забыв обо всем. — Руку, Чэн!..

И рука отозвалась.

Словно паук, отливающий металлическим блеском, словно чешуйчатое пятиногое насекомое, латная перчатка аль-Мутанабби поползла по правому бедру лежащего на боку Чэна, сместилась на живот, коснулась моей рукояти твердыми пальцами — и мы, я и она, упрямо двинулись вперед, вытаскивая меня из ножен и волоча за собой плохо слушавшиеся локоть и плечо бесчувственного Чэна Анкора Вэйского.

Только тогда небо, из которого падала короткая молния Чинкуэды, Змеи Шэн, смогло понять, что я уже не один против него.

Лезвие Чинкуэды наспех полоснуло по запястью, промахнувшись и с бессильным визгом скользнув вдоль наруча, а я бросился вперед, над самой землей, болезненно ощущая груз неподвижного тела Чэна, ограничивавший меня в выпаде.

Мне удалось лишь слабо оцарапать ногу Джамухи чуть повыше щиколотки, но и Джамухе пришлось отпрыгнуть назад и остановиться, тяжело дыша и опустив Чинкуэду.

Придавленный Чэном, что-то кричал Обломок, но мне было не до него.

Удар.

Еще один.

Скрежет панциря под клинком, неприятный вкус кожи доспеха, слабый стон Чэна — и боль в его плече, которую я ощутил как свою, когда пробовал резко взлететь вверх...

И теплые пальцы железной руки.

Джамуха пошел по кругу, держа на отлете готовую напасть Змею Шэн, и я сначала следил за ними, а потом не смог, и тогда латная перчатка вцепилась в меня, чуть ли не кроша рукоять, и мощно пошла вверх и назад, переворачивая вновь застонавшего Чэна на спину.

Удар.

Еще один.

Врешь, не достанешь... врешь!..

Достала.

И кровь проступила на бедре Чэна Анкора, кровь из неглубокого пореза, но Чинкуэда уже устремлялась ко мне, а я не успевал, не успевал я!.. И нога Джамухи с лета ударила по руке аль-Мутанабби, отшвыривая нас в сторону...

— Стой, дрянь!..

Изворачиваясь по совершенно немыслимой дуге, я сперва не

сразу понял, что немыслимой дуга эта была лишь в том случае, если бы Чэн продолжал лежать на спине, мертвой тяжестью повиснув сзади меня, — и блеск моего клинка отразился в глазах Чэна, стоящего на одном колене, а в левой руке Чэна гневно звенел Обломок, шут, Кабирский Палач, дорвавшийся до Чинкуэды, Змеи Шэн!

Когда Змея Шэн с проклятьями вылетела из пальцев Джамухи, Я-Чэн (ах, как же это прекрасно — свобода по имени Я-Чэн!..) наискось пронесся у лица Восьмирукого, подцепив на острие вуаль, закрывавшую глаза гурхана, и вырвал ее из шлема.

Я-Чэн хотел посмотреть ему в глаза.

И посмотрел.

Это были глаза Хамиджи-давини.

И их застилали слезы.

5

У нас было время понять, и принять, и остановиться у двери выбора, у двери, за которой лежало будущее, побывавшее в шкуре прошлого; и только прощать у нас не было времени, потому что на нас смотрели те, кто еще не научился прощать.

Но если когда-то живой человек дрался мертвым оружием за свою жизнь, то сегодня я, Блистающий, дрался полумертвым человеком за нашу общую жизнь. И не только нашу.

Будущее ждало, возбужденно скалясь и рыча.

Чэн наступил ногой на безмолвную Чинкуэду, Змею Шэн; Обломок вернулся за пояс, я — в ножны, и мы неторопливо огляделись вокруг.

...Шулма на холмах сдвинулась на шаг вперед.

Всего на один шаг. Я-Чэн тогда еще не знал, что одновременно с падением Чыды в руки Неправильного Шамана возле каждого нойона племени незаметно оказался человек в смешном халате с побрякушками — отчего десять нойонов, заглянув в неестественно черные глаза слуг Ур-калахая, промолчали, а без их приказа воинов хватило не более чем на один шаг.

...Телохранители-тургауды Джамухи сдвинулись на два шага.

И ровно на те же два шага сместились к северным холмам пятнадцать кабирцев во главе с невозмутимо-опасным ан-Таньей; а две дюжины Блистающих грозно сверкнули на солнце, выглянувшем из дыры распоротого Чыдой неба.

Мужество почтило мужество, сила — силу, тысяча — немногих, и лавина замерла, так и не скатившись с северных холмов.

...Ни единого шага не сделал Куш-тэнгри, стоя, где стоял, с двумя воинами у ног своих и с Чыдой на плече; он стоял, а осенний ветер играл с серебром волос Неправильного Шамана.

Все ждали нас.

Нас ждало горло Джамухи Восьмирукого, асассина-убийцы, горло несчастной Хамиджи-давини, обуянной кровавым дэвом мести и Истины Батин, горло, открытое для этой Истины на острие моего клинка.

Все ждали нас.

Чего ждали мы?

Знали ли мы, что будем делать, когда я шевельнулся в ножнах, грани Обломка заиграли солнечными зайчиками, а Чэн улыбнулся в лицо будущему хищной улыбкой пятнистого чауша, медленно начиная расстегивать пряжки доспеха?..

— По-Беседуем, девочка моя? — И наручи глухо ударились оземь. — К чему таким прекрасным со-Беседникам, как мы, эта глупая одежда из далекого прошлого?!

И оплечья вскоре легли рядом с наручами.

— По-Беседуем, девочка-гурхан, восьмирукое чудо Шулмы? Мы ведь не шулмусы, мы не причиним друг другу вреда, клянусь Двенадцатью и Одним!.. — Снятый пояс вместе со мной и Дзюттэ Чэн положил у ног, рядом со Змеей Шэн, не отрывая цепкого взгляда от Хамиджи-Джамухи, но та не двигалась с места.

Панцирь упал зерцалом вверх, и серые облака смогли прочитать чеканные слова, пришедшие из восьмивековой старины:

Живой, я живые тела крушу; стальной, ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!

Сброшенный шлем покатился по земле, а Чэн уже снимал халат, нижнюю рубаху, оставаясь по пояс обнаженным, вскидывая руки к отшатнувшемуся небу, и Шулма ахнула, увидев чешуйчатую металлическую кожу правой руки, увидев латную перчатку, которую теперь можно было снять только вместе с плотью.

— Ну?! — властно крикнул Чэн, опоясываясь заново и опуская руки на рукояти меня и Дзю.

Носком сапога он подцепил Чинкуэду — и Змея Шэн, по-прежнему не произнеся ни слова, полетела к Джамухе (это имя шло ей больше, это имя больше значило для нас, и я решил звать ее так), которая инстинктивно поймала Тусклую.

— Не хочешь? — рассмеялся Чэн, и мы с Обломком расхохотались, вторя ему. — Гурхан любит доспехи? Гурхан хочет спрятаться в прошлом от будущего?! Ну что ж...

Невидимая чаша оказалась в левой руке Чэна; запрокидывая непокрытую голову, он влил в себя ее содержимое и выхватил меня из ножен.

— Шулма! Твое здоровье!..

— Мо-о аракчи... — отозвалась Шулма. — Асмохат-та!

Безнадежно ударила Змея Шэн — и промахнулась.

Чэн погрозил Джамухе пальцем и извлек из-за пояса Обломка.

Следующий укус Змеи Шэн встретил я, завертев Чинкуэду в

стремительном танце, пока Обломок крюком своей гарды цеплял оплечье Джамухи.

Рывок — и хруст кожаных ремней, один из которых лопнул.

Змея Шэн с мастерством отчаяния пыталась обойти меня, прорваться поближе, и я дал ей насладиться мгновенным счастьем удачи, когда Чинкуэда проскользнула вплотную ко мне — попав в неласковые объятия Дзю.

— Брось, Дзю! — крикнул я, гуляя по боковым ремешкам доспеха Джамухи.

— Бросаю! — покладисто согласился Обломок, и Змея Шэн полетела в сторону, а Джамуха кинулась за ней, не замечая, что Дзюттэ снова зацепился за ее оплечье.

Треск рвущейся кожи — и оплечье съехало вниз, держась непонятно на чем, а я еще раз прошелся по ремням на правом боку, разрезав не то два, не то три.

Джамуха подхватила Чинкуэду с земли, срывая мешающее ей оплечье и отбрасывая его прочь; а я немного поиграл со Змеей Шэн, временами одобрительно похлопывая Джамуху по запястью.

Плашмя.

Потом все повторилось снова: Дзю, вцепившийся в доспех, я, удерживающий Чинкуэду, Чэн, вкладывающий в рывок всю силу...

После третьего раза кожаный панцирь сполз Джамухе на руки, чуть не заставив выронить Чинкуэду, и Чэн успел подбросить меня и опять поймать, пока Джамуха избавлялась от доспеха, превратившегося в оковы.

Под доспехом на ней был только нижний халат из полосатой ткани, который и резался легче, и рвался куда проще.

Под халатом — туго стянутая нагрудная повязка.

Под повязкой — грудь.

Маленькая и твердая девичья грудь с остро торчащими сосками; и бесстыдный ветер тут же тронул их своими холодными ладонями.

Чэн опустил меня в ножны, сунул Обломка за пояс и подошел к Джамухе.

Чинкуэда даже не пошевелилась, когда Чэн Анкор раздвинул защитные пластины шлема Джамухи и снял его, обнажив голову девушки-гурхана.

Потом Чэн повернулся к Джамухе спиной.

Змея Шэн не двигалась.

— Шулма! — громко крикнул Чэн-Я. — Это твой владыка, Шулма?!

Лавина дрогнула, глухой ропот прокатился по окрестностям, всколыхнув стоячую воду священного водоема, — и Шулма страшно двинулась вниз с холмов, грозя живым валом захлестнуть поле невиданной Беседы.

14 – 7682

— Все, — почти беззвучно выдохнула Джамуха. — Вот и все...

Новое будущее с ревом неслось к нам отовсюду, и в реве этом отчетливо слышалось:

— Асмохат-та!...

Для того ли Я-Чэн сумел избежать предсказанного убийства, чтобы опозоренных Джамуху и Чинкуэду, Змею Шэн, растоптала гневная Шулма, мстя за свою поруганную воинскую доблесть?!

— Стойте! — кричал Куш-тэнгри, вместе с Чыдой первым оказавшийся возле нас. — Стойте, неразумные!

Кто мог его услышать?

— ...Остановитесь! — грозно звенел смыкающийся вокруг нас круг Кабира: могучий Коблан с занесенным Шипастым Молчуном, яростная Чин и рвущая ветер в клочья Волчья Метла, гиганты Фальгрим и Гвениль, оскаленный Асахиро со вскинутым Но-дачи, Кунда Вонг и Маскин и вставшие плечом к плечу Фариза с Эмрахом, морщинистая Матушка Ци с Чань-бо, Посохом Сосредоточения... Ниру, закрывавшая рукой новорожденный нож Бао-Гунь, Кос, ощетинившийся жалами Сая и Заррахида, Диомед и Бронзовый Жнец... батиниты, Тусклые, Кулай, Тохтар, дети Ориджа, бывшие Дикие Лезвия, восемь молодых маалеев...

Мало.

Мало!..

...С северных холмов, впереди всех, неслись тургауды Джамухи, завывая бешеными волками при гоне добычи.

Тысячная стая.

И как ременный бич при ударе трижды обвивает столб, так тысяча конных тургаудов, не коснувшись круга Кабира, охватила его тройным кольцом, устремив наружу острия Диких Лезвий.

— Назад!.. — словно тысяча плетей разом хлестнула по набегавшим степнякам.

И Шулма остановилась, сбиваясь в кучу.

Коблан и Фальгрим молча расступились, давая проход, когда ко Мне-Чэну направился спешившийся воин, тысячник тумена Джангар-багатур.

— Я — Джангар-несчастный, — сказал он, не поднимая глаз, — глава опозоренных. Прикажи умереть, Асмохат-та!

Он упал на колени, и я не успел опомниться, как Джангар поцеловал край моих ножен.

— Восемьсот лет тому назад, — задумчиво протянул Обломок, глядя сверху вниз на коленопреклоненного Джангара, — все было совсем не так. Да. Совсем не так... Интересно все-таки: это конец или опять начало?

— Не знаю, — глухо ответил Я-Чэн. — Не знаю.

— И я не знаю, — легко согласился Обломок.

Он подумал и добавил:

— И знать не хочу.

ЭПИЛОГ

Дрожащий
Луч
Играет,
Упав из-за плеча,
Голубоватой сталью
На
Острие
Меча.

А. Белый

1

Когда Дауд Абу-Салим, эмир Кабирский, бывал не в духе — а в последние годы эмир Дауд бывал не в духе чуть ли не через день, — он старался уехать в загородный дом семьи Абу-Салим, где уединялся в зале Посвящения и долго бродил из угла в угол, хмуро глядя в пол, покрытый цветными мозаичными плитками.

Вот и сейчас эмир Дауд мерил зал Посвящения тяжелыми шагами, а золотые курильницы в виде мифических чудовищ со скорбными рубиновыми глазами наблюдали из углов за владыкой Кабира — грузным мужчиной с седыми вислыми усами и горбатым носом хищной птицы, мужчиной, чья прежняя обманчивая медлительность теперь все больше переставала быть обманчивой.

В очередной раз дойдя до двери, Дауд на миг остановился, вспомнив, как пять лет тому назад вот на этом самом месте стояла клетка с диким пятнистым чаушем, неистово рвавшимся на волю, а левее, на шаг от порога, стоял однорукий Чэн Анкор, живая легенда тогдашнего Кабира; а вон там, на помосте, где возвышается подставка с ятаганом дяди Дауда, старого Абд-аль-Аттахии по прозвищу Пыльный Плащ, подле рукояти этого старого ятагана...

Да, там стоял он сам, Дауд Абу-Салим, со скрытым страхом глядя на железную руку Чэна Анкора, которой тот небрежно касался своего любимого меча вэйской ковки и закала, прозванного в Кабире Мэйланьским Единорогом.

Где сгинул ты, веселый Чэн, любимец кабирцев, герой турниров; в каких краях затерялся твой легкий меч? Последние вести от тебя, наследник Анкоров Вэйских, пришли из Мэйланя, и безрадостными были эти вести. Тайна смертей в городах эмирата превратилась во внешнюю угрозу, в опасность нашествия — и сперва в Совете Высших Мэйланя появились асассины, знатоки убийств, а там и не только в Мэйлане...

Пять лет готовились жители эмирата встретить врага, и множество подростков превратились за это время в двадцатилетних юношей, твердо знающих, что убивать — можно.

Можно.

На последнем турнире в Хаффе десять состязающихся не смогли продемонстрировать необходимого Мастерства Контроля, зато восемь участников были ранены, двое — тяжело... Это только в Хаффе, а в Дурбане и Хине — и того больше.

Кабирский турнир — главный, столичный, случавшийся раз в году — эмир Дауд отменил своей волей, ни с кем не советуясь.

А случаи вооруженных грабежей на улицах городов? А разбойники, перерезавшие торговые пути из Кимены и Лоулеза? Покушение на правителя Оразма? Сумасшедший пророк Гасан ас-Саббах, объявивший, что «в крови — спасение», и засевший со своими сторонниками в неприступном Орлином гнезде на перевале Фурраш, — но во многих беспорядках видна длинная рука безумного Гасана!..

О Творец, за что ты проклял Кабир?!

Эмир Дауд двинулся от двери к помосту, на котором стояла подставка со старым клинком, и собственный ятаган эмира — точно такой же, как и на подставке, но гораздо богаче украшенный золотом и драгоценными камнями — при каждом шаге похлопывал по бедру Дауда Абу-Салима, словно подгоняя.

Почему-то сегодня это раздражало эмира. Дойдя до помоста, он поднялся на него, подошел к стене со вбитым в нее бронзовым крюком — и вскоре эмир по-прежнему мерил зал Посвящения тяжелыми шагами, а его ятаган, который еще далекий предок Дауда прозвал Шешезом, или Лбом Небесного Быка, повис на крюке, зацепившись за него кольцом ножен.

Покосившись на ятаганы — тот, что на крюке, и тот, что на подставке, — эмир Дауд сперва с кривой усмешкой подумал, что древние клинки не меньше походят на племянника и дядю, чем он сам и седой Абд-аль-Аттахия Пыльный Плащ; а еще эмир Дауд подумал, что Абд-аль-Аттахия решил завещать свой любимый ятаган последнему из многочисленных сыновей Пыльного Плаща, родившемуся у Абд-аль-Аттахии, когда тому исполнилось семьдесят два года, а он сам, эмир Кабирский Дауд Абу-Салим, погрязший в делах государственных, в свои пятьдесят восемь если и заходит к женам, то раз в декаду...

Хороший мальчишка у дяди Абд-аль-Аттахии! Небось носится сейчас по всему имению или хвостом ходит за шутом Друдлом, чудом выжившим после той памятной резни пятилетней давности... Вот кто не изменился за все эти годы — так это Друдл Муздрый! Разве что и без того нелегкий характер шута стал еще более желчным, и ходит Друдл чуть скособочившись (дает себя знать старая рана, стянувшая мышцы живота); но ум и язык шута до сих пор спорят: кто из них острее?

Да и кто лучше научит юного двоюродного брата эмира (Дауд Абу-Салим улыбнулся уже веселее: пятилетний мальчишка и он, эмир Дауд, — братья!) владеть оружием, чем Друдл? Правда, с той

самой ночи, когда маленький ятаган шута был сломан, а тупой кинжал-дзюттэ увезен Чэном Анкором, шут отказывается носить оружие. Многие в Кабире до сих пор помнят причуду шута, когда, едва придя в себя, Друдл устроил пышные похороны своему сломанному ятагану, прибыв на носилках и с них же прочитав заупокойную молитву.

Шут...

Впрочем, именно тот же Друдл, когда эмир поделился с ним своими заботами относительно участившегося насилия, приволок на следующий день неизвестно где выкопанные им пергаментные свитки чуть ли не восьмивековой давности и как бы невзначай принялся читать о публичных смертных казнях с целью наказания тех, кто совершил тяжкие преступления, и устрашения тех, кто только задумывал оные.

С тех пор и засела в голове эмира Дауда эта мысль. Страшная мысль. Дикая мысль. Державная мысль. Мысль смутного времени. Тем более что вроде бы в те, прошлые дни, в минуту смерти преступника помощник палача ломал и его фамильное (или просто любимое) оружие.

Что может больше устрашить родившегося в Кабирском эмирате, но родившегося в плохие годы?

Страшная мысль. Державная. Впору иногда кричать беззвучно: «Замолчи, шут!..»

Испугает ли безумного Гасана ас-Саббаха публичная казнь кого-то из его сторонников — или нет?

Кто знает...

Эмир бесцельно кружил по залу, как загнанный зверь, пытаясь представить себе лицо никогда не виданного им пророка Гасана. Это ему не удалось, но зато Дауд вспомнил, что сегодня в полдень в загородный дом должны тайно доставить местного оружейника Мансайю Одноглазого и знаменитого хинского алхимика Саафа бен-Саафа, прибывшего в Кабир около месяца назад.

Оба они — и алхимик, и оружейник — утверждали, что у них есть средство, способное выкурить проклятого Гасана из его Орлиного гнезда, и что средство это в состоянии остановить любого внешнего врага.

Эмир не верил в сказки.

И боялся признаться самому себе, что сейчас готов поверить во что угодно.

Потому что три недели назад гонец доложил Дауду Абу-Салиму о людях, явившихся со стороны северных, считавшихся непроходимыми, отрогов Сафед-Кух, и люди эти называли себя посольством Великой Шулмы.

Им дали проводников, охрану на случай встречи с разбойниками (проклятье, еще не так давно никакой охраны не понадобилось бы!) и отправили в столицу.

Еще через неделю измученный гонец, загнавший нескольких лошадей, сообщил эмиру, что посольство пропало. Проснувшиеся одним не слишком прекрасным утром охранники и проводники обнаружили ничем не объяснимое отсутствие послов, их лошадей и имущества.

Поиски ничего не дали.

О Творец, Творец... за что ты проклял Кабир?!

...Дверь распахнулась — очевидно, ее бесцеремонно пнули снаружи, — и в зал Посвящения шумно ворвался шут Друдл, на шее которого восседал сияющий мальчишка — Абу-т-Тайиб Абу-Салим, сын Абд-аль-Аттахии, Пыльного Плаща.

— Иго-го-го! — заливисто ржал шут, и маленький Абу-т-Тайиб восторженно вторил ему. — А вот и мы, великий эмир, вот и мы, великие послы Великой Шулмы! Вот и мы, послы Шулмы, где степь, шулмусы да холмы... иго-го-го!..

Эмир Дауд хотел оборвать это безобразие, но не смог — он любил обоих, и шута, и мальчишку, и те знали это, нередко пользуясь правами, что давала им любовь сурового эмира.

Мальчишка соскочил с Друдла и кинулся к помосту, где на подставке лежал ятаган его отца.

— Здравствуй, Фархадик! — кричал он, как могут кричать и вести себя только дети. — Скучал без меня? Не скучай — я быстро расту! Я скоро вырасту большой-пребольшой и буду размахивать тобой, как перышком! Честное слово! Ты только немножко подожди!..

— Погоди, могучий воин! — остановил его Друдл, смешно морща лицо. — Мы ведь забыли сказать светлейшему эмиру, что пришли сюда не одни... Как ты считаешь, герой, надо сказать об этом светлейшему эмиру?

Удивленный Дауд перевел взгляд с ребенка на Друдла, потом — на дверной проем...

Стоявшего там беловолосого гиганта эмир узнал мгновенно, несмотря на годы и заботы, отягощавшие память Дауда Абу-Салима.

— Здравствуй, Фальгрим! — прошептал эмир. — Ты пришел из прошлого, лоулезец? Из того прошлого, когда день был ясен, а из никому не ведомой Шулмы не приходили в Кабир странные послы и дурные вести? Ты из прошлого, Фальгрим?

Фальгрим с поклоном шагнул в зал и остановился, уперев свой двуручный эспадон в плиты пола и сложив руки на его рукояти.

— Нет, о солнцеподобный эмир, я не из прошлого! Я из будущего! Когда из Шулмы уже не приходят дурные вести, зато ездят послы! И одного из них великий эмир видит перед собой!

— Ну вот, а что я говорил?! — заявил Друдл, глядя на побледневшего эмира Дауда. — Кричу: это мы, послы Шулмы, — а никто не верит! Даже светлейшие умы...

2

Человек, занимающий должность управляющего хозяйством загородного дома семьи Абу-Салим, согласно старой традиции назывался — векиль.

Человека же, долго топтавшегося у двери зала Посвящения и не решавшегося ни постучать, ни войти, — этого человека мама звала Ниязиком, соседи — уважаемым Ниязом ибн-Джалалом, слуги — досточтимым векилем Ниязом, а в списках городского кади он значился как Нияз ибн-Джалал ан-Кабири.

Человек, которого звали по-разному, приподнял чалму, вытер ладонью вспотевшую бритую макушку, опустил чалму на место, зачем-то тронул рукоять короткого прямого кинжала за поясом — и с тоской посмотрел на закрытую дверь, откуда доносился веселый шум и взрывы хохота.

«Полагаю, что в Восьмом аду Хракуташа для векилей отведено особое, не слишком жаркое местечко!» — подумал досточтимый векиль Нияз.

Все сегодняшние неприятности начались с появления у ворот имения добрых двух десятков незнакомцев, настаивающих на аудиенции великого эмира — как раз в тот момент, когда великий эмир уединился в зале Посвящения, что предупреждало всякого: «Не тронь рассерженного льва!»

Сам векиль Нияз в препирательствах не участвовал, опоясавшись поясом мудрости и собравшись послать за эмирскими гулямами в случае безобразий, поскольку часть гостей была весьма разбойного вида, но, обернувшись, векиль Нияз сперва увидел, как трое привратников ткнулись носами в решетку, зачем-то уставившись на двоих гостей в странных халатах со множеством побрякушек (один из этой парочки был безоружен, а второй держал в руках копье-чыду явно хакасской работы), а потом...

А потом привратники, двигаясь неестественно медленно, открыли ворота — и толпа пришельцев хлынула в имение.

Векиль Нияз вспомнил всю многочисленную родню Ушастого демона У, а дойдя до двоюродного дедушки, узнал ехавшего впереди великана с огромным эспадоном на плече, узнал, хотя видел его в последний раз не то пять, не то шесть лет тому назад.

— Высший Фальгрим! — истошно завопил несчастный векиль Нияз. — Вы ли это?! Что ж вы сразу-то не объявили — кто, мол, да что...

— Не бойся, еще объявим! — вынырнул из-за Фальгрима смуглый весельчак с кривым мечом-махайрой на боку, и, когда лошадь смуглого оскалила зубы в подозрительной усмешке, векиль вздохнул с некоторым облегчением: на скалящейся лошади восседал не кто иной, как Диомед Кименец, уехавший из Кабира примерно в то же время, что и Фальгрим Беловолосый, лорд Лоулезский.

— Иго-го-го! — заржал кто-то прямо в ухо векилю Ниязу, и в пострадавшем ухе невидимые кузнецы ударили молотами по невидимым наковальням. — Ах, какие господа к нам заехали сюда! Как у Друдла-дурака стала мокрая щека — слезы катятся, как будто в глаз насыпали песка!..

— Друдл! — раненым буйволом взревел Беловолосый, и невидимые кузнецы перебрались из одного уха векиля Нияза в другое. — Старый мерзавец! Живой!.. Клянусь замками Лоула — живой!..

Вихрем слетев с коня, Фальгрим сунул свой эспадон Кименцу, облапил ухмыляющегося шута и, как ребенка, подбросил Друдла в воздух, даже не заметив, что у шута на плечах сидит пятилетний мальчишка, донельзя осчастливленный таким поворотом дел.

Фальгрим орал, Друдл смеялся, мальчишка визжал, Диомед старался их всех перекричать, остальные гости переговаривались между собой, слуги и привратники не отставали — и шум поднялся совершенно невообразимый.

Молчал один векиль Нияз.

Он молчал даже тогда, когда высвободившийся Друдл ухватил Фальгрима за руку и потащил в дом.

Он молчал потом, ожидая неизвестно чего.

Он молчал и тогда, когда из дома выскочил растрепанный Дауд Абу-Салим, эмир Кабирский, помолодевший лет на двадцать, и приказал немедленно впустить всех (к счастью, наиболее разбойные личности отъехали в сторону, и один из них тихо попросил накормить их в павильоне для слуг) и накрывать праздничный дастархан, да не где-нибудь, а прямо в зале Посвящения, и на полу, как пировали предки, и вина побольше, озера вина, реки вина, моря и океаны вина!..

Вообще с того дня досточтимый векиль Нияз стал очень молчаливым человеком, каким и прожил до девяноста трех лет, после чего молча умер в окружении рыдающих родственников...

Но это случится не скоро — а сейчас векиль Нияз стоит у двери зала Посвящения и не может решиться.

Нет, кажется, уже решился...

Векиль чуть-чуть приоткрыл дверь (хвала Творцу, не заскрипела!) и приложил к образовавшейся щели ухо.

Было слышно, но не видно.

Тогда векиль убрал ухо и приложил глаз.

Стало видно, но почти не слышно.

Тогда векиль Нияз стал делать это поочередно — и это привело досточтимого Нияза к желаемому результату.

— ...Жив он, — бурно рассказывал Фальгрим, — жив-здоров, что ему сделается! Асмохат-та у нас молодцом! За пять лет — шесть детей от двух жен!.. Вот я ж и говорю — молодцом! Правда, иногда говорит мне: «Ты знаешь, Фальгрим, лучше б я ее тогда

убил!» Как это — кого? Жену свою вторую... Восьмирукую. Мы еще волновались, как сейчас помню, — воплощение Мо свою же внучку за себя берет! Ужас! Кровосмещение! Дети-то какие пойдут?! Чин нас успокоила — и как в священный водоем глядела... Хорошие дети! Отличные дети! Среднего Фальгримом назвали...

— А старшего? — поинтересовался эмир Дауд.

— Старшего — Друдлом! Я Чэна пугал — дескать, наследник шутом вырастет! Ничего, говорит, пусть растет...

— Бедный эмир! — притворно застонал шут. — Как же ты будешь без меня править? Ай, бедный-бедный эмир!..

— Да куда ж ты денешься-то? — смеясь, спросил эмир Дауд.

— В Шулму уеду! На тезку своего посмотреть! Шуты, как трава, не растут — их поливать надо, удобрять, уму-разуму учить... Эй, Диомед, вы когда назад поедете, свистните, мне собраться — только подпоясаться!

— И впрямь, шуты — что коты! — беззлобно пошутил эмир. — Беды в дом — коты из дома! Мне б куда уехать...

— Знаем, — ненавязчиво вмешался Диомед. — Ты, светлейший эмир, что думаешь — зря мы от охраны с проводниками сбежали? Зачем нам в Кабирском эмирате проводники, а тем более — охрана?! Так что видели, и слышали, и лицом к лицу сталкивались... С людьми говорили, и не только с людьми...

Эмир Дауд удивленно поднял бровь, но переспрашивать не стал.

— И в Бехзде на малом турнире побывали, целый день на позорище это смотрели; и про сумасшедшего Гасана из Орлиного гнезда слышали, и разбойнички нам попадались! Только разве ж это разбойники? Вот когда мы по всей Шулме за найманами-староверами гонялись — так то разбойники были!.. А у вас — так, ерунда, дети неразумные... Мы с ними по душам потолковали, Блистающим напомнили, кто они такие есть на самом деле (эмир Дауд непонимающе нахмурился), — так эта, извините, банда Кривого Мустафы нас до самого Кабира провожала, пылинки с нас сдували и спорили меж собой, кто сегодня Махайру полировать будет!

Векиль Нияз отпрянул от двери, только сейчас сообразив, кто были те люди, которые отправились трапезничать в павильон для слуг.

Но любопытство пересилило, и вскоре в щели вновь замелькали то ухо, то глаз, а то и вовсе нос.

— Это еще не беды, светлейший эмир, — мягко заметила морщинистая старуха, сидевшая рядом с Друдлом и державшая его за руку, словно боясь, что шут исчезнет. — Кабир много веков спокойным стоял и лишь последние пять лет закипать начал. Это Шулма века кипела, а сейчас успокаиваться стала! Нынче не время — а после поговорим, как и чем Масудов огонь гасить, да так, чтоб не полыхал, но и не угасал совсем! Да, Пересмешник?

— Да, Матушка, — улыбаясь от уха до уха, отозвался Друдл. — Воистину — да.

— А на безумных пророков у нас свои пророки имеются, — добавил Диомед. — Умные.

— Это ты о Ковыряге? — внешне невинно поинтересовался Фальгрим, и все посольство расхохоталось.

— Нет, Фальгрим, не о нем. Для Ковыряги этот Гасан слишком мелок. Я о слугах Ур-калахая. Верно, Куш-тэнгри и Бач-тэнгри?

— Верно, — коротко отозвались оба шулмуса в халатах с побрякушками, и эмир Дауд, на миг встретившись с ними глазами, неожиданно для самого себя пожалел безумного Гасана ас-Саббаха.

Чаши с вином вновь загуляли по кругу, и векиль Нияз, набравшись храбрости, пролез в щель до половины.

— О светлейший эмир, — выдохнул Нияз, словно бросаясь в ледяную воду, — там...

— Кто там? — добродушно крикнул эмир Дауд, и у Нияза отлегло от сердца.

— Там, у входа, почтенный устад Мансайя Одноглазый и хинский алхимик Сааф бен-Сааф. Говорят — эмир им назначал...

— Пускай их! — махнул рукой Дауд Абу-Салим, и векиль Нияз со всех ног бросился выполнять приказ.

...Прошло совсем немного времени, и в чашах еще не успело показаться дно, когда в зал Посвящения вошли двое: коренастый пожилой кузнец, чей правый глаз закрывала черная повязка, и старик с длинной седой бородой и в островерхом колпаке плотного сукна.

Оба низко поклонились, с некоторым недоумением глядя на происходящее.

В руках у кузнеца был некий предмет длиной почти в человеческий рост, тщательно завернутый в промаслившуюся ткань, а за спиной висел лист бронзы и деревянная, окованная металлом тренога; старик нес мешочек размером с голову ребенка.

От предложенного вина гости отказались, и спустя недолгое время, в ответ на просьбу эмира Дауда удовлетворить его любопытство, старик развязал свой мешочек и высыпал в низкую металлическую плошку немного угольно-серого зернистого порошка со слабым неприятным запахом.

И ударил над плошкой кресалом.

Порошок, поймав искру на лету, жадно вспыхнул, исторгнув облако зловонного дыма, — и быстро угас.

Все долго молчали.

— Это поможет мне выкурить Гасана ас-Саббаха из Орлиного гнезда? — вежливо поинтересовался эмир Дауд.

Сааф бен-Сааф молча достал из сумы, висевшей у него на боку, маленький, наглухо запечатанный и залитый смолой гор-

шочек из необожженной глины размером примерно в два мужских кулака; из горшочка свисал длинный промасленный фитиль.

— Здесь то же самое, — бросил неразговорчивый алхимик, отходя к самой двери, опуская горшочек на пол и чиркая кресалом над концом фитиля — удалившись при этом от самого горшка на несколько шагов.

Словно крохотный вулкан взорвался у двери, обдав собравшихся сернистой вонью, и осколки глиняного горшка градом ударили по стенам, а зал заволокло дымом.

Алхимик спокойно ждал, пока вскочивший на ноги эмир и его сотрапезники успокоятся.

— Если твои каменотесы, о светлейший эмир, сделают в скале, на которой стоит Орлиное гнездо проклятого ас-Саббаха, — заговорил наконец Сааф бен-Сааф, — необходимое количество скважин, куда поставят б о л ь ш и е горшки с моим порошком, — то достаточно будет несколько раз ударить кресалом, чтобы пророк Гасан начал летать вместе с орлами! И боюсь, что ему это мало понравится... Но я еще не все показал тебе, светлейший эмир! Устад Мансайя, ваша очередь!

Пожилой кузнец кивнул, размотал ткань — и глазам собравшихся явилась престранная вещь. Полая внутри трубка толщиной примерно в полтора копейных древка и длиной около трех локтей, схваченная по всей длине стальными кольцами, была укреплена на деревянном расширяющемся ложе, инкрустированном серебром и перламутровыми пластинами.

Затем кузнец взял принесенный им большой лист бронзы и отнес его к стене зала, где и установил.

После вернулся к своему творению, взгромоздил его на массивную треногу, направил трубку на бронзовый лист и достал из-за пояса короткий факел.

Подошедший алхимик в очередной раз чиркнул своим кресалом, факел отчего-то не вспыхнул, а начал тлеть — и кузнец поднес его к предмету на треноге.

Раздался взрыв, и куски рубленого металла со свистом и грохотом вылетели из жерла трубки и ударили в лист, разрывая бронзу.

Кузнец удовлетворенно хмыкнул, потирая ушибленное отдачей плечо, а алхимик торжественно приблизился к пробитому листу.

На помосте встревоженно вибрировали два старых ятагана, двуручный эспадон Фальгрима, махайра Диомеда и остальное оружие прибывших гостей.

— Вот, — гордо заявил Сааф бен-Сааф. — Запомни сегодняшний день, великий эмир Дауд Абу-Салим, — ибо с этого дня начинается новая эпоха!

Все молчали.

Пятилетний Абу-т-Тайиб, не выдержав, приблизился к кузнецу Мансайе и кончиком пальца коснулся детища алхимика и кузнеца.

— Я скоро вырасту, — сказал мальчик. — Я скоро вырасту — и тогда ты подаришь мне ее, дядя кузнец? Правда? А себе ты сделаешь другую... Хорошо?

— Хорошо, — улыбнулся одноглазый кузнец. — Хорошо, о сиятельный Абу-т-Тайиб! С позволения эмира Дауда я дарю ее тебе уже сейчас! Да будут дни твои долгими и беспечальными, потомок Абу-Салимов!

— Я буду звать ее, — мальчик зажмурился от нахлынувшего волнения, — я буду звать ее аз-Зайда, что значит «Неукротимая»! Да, я буду звать ее именно так!

Все молчали.

Шут Друдл подошел к ребенку и долго смотрел на вещь по имени аз-Зайда.

— Будь проклят тот день, — тихо сказал шут, — будь проклят тот день, когда оружию стали давать имена!..

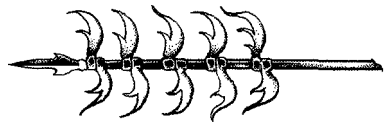
И тень недоумения затуманила ясный взгляд маленького Абу-т-Тайиба; тень, в глубине которой медленно сгущалась багровая пелена.

ГЛОССАРИЙ

названий оружия с позиций аналогов земной истории и географии[1]



ДАН ГЬЕН — узкий прямолезвийный обоюдоострый меч с гибким клинком (Китай). Используется также в парном варианте для занятий в некоторых школах тайцзицюань и «пьяного меча» (цзуйцзянь).



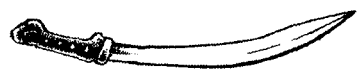
ВОЛЧЬЯ МЕТЛА — копье с зазубренными шипообразными веточками от наконечника до середины древка (Дальний Восток). Известно также под названием «волчий хвост».



ЭСПАДОН — двуручный меч в рост человека с прямым обоюдоострым клинком и мощной крестовиной (Европа). Оружие пешего воина, в частности панцирной пехоты.



ЭСТОК — меч-шпага позднего рыцарства с достаточно узким клинком, пригодным для нанесения колющих ударов (Европа).



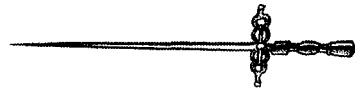
ЯТАГАН — кривой тяжелый меч — европейская традиция относит его к саблям — с заточкой по вогнутой стороне клинка (Юго-Западная Азия, пример — Османская империя).

---

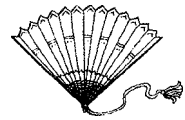
[1] Названия даны в порядке их появления в тексте романа.



НАГИНАТА — алебарда, древковое оружие с тонким, длинным, слегка изогнутым и расширяющимся к концу клинком (Япония).



СТИЛЕТ — вариант кинжала с узким граненым (или даже круглым) клинком без режущей кромки (Европа, в частности — Италия).



ТЭССЭН — боевой металлический веер с заточенными пластинами (Япония).



МАЛХУС — кривой тяжелый меч (Балканы).



КИЛИЧ — сабля (Турция).



ШАМШЕР — арабская сабля, встречающаяся по всей Центральной и Юго-Западной Азии.



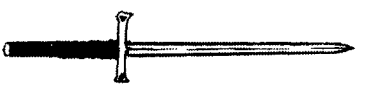
ДА-ДАО — «большой меч», близок к древковому оружию, поскольку кривой и тяжелый клинок с расширением к концу и односторонней заточкой крепится к рукояти, по длине равной длине клинка (или даже его превышающей) (Китай).



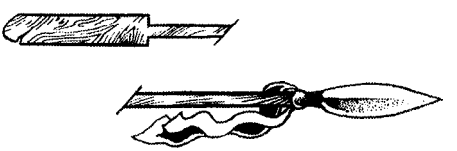
ЦЗЯНЬГОУ — меч-крюк, клинок прямой обоюдоострый с небольшим серповидным крюком с одной стороны клинка близко к острию (Китай).



ЦЗИ — трезубец, иногда боковые острия выгнуты особым образом, за что получили название «усов дракона» (Китай).



КОНЧАР — граненый азиатский кинжал или стилет.



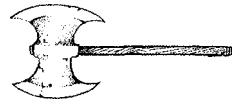
ЧИАНЬ — тяжелое копье с широким листообразным наконечником и утолщением на другой стороне древка (Китай).



МАХАЙРА — кривой серповидный меч (Древняя Греция).



ЦЗЫУ-ЮАНЬЯН-ЮЭ — малая секирка «север-юг» (Китай), немного близка к кастету с рожками. Иногда используется в качестве метательного оружия.



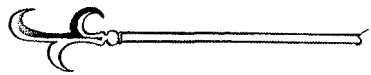
ЛАБРОС — двойная критская секира, популярная во всей Греции.



ГЕ — боевой клевец (в русской транскрипции иногда пишется «гэ»). Древковое оружие с разной длиной древка (Китай).



СО — японское копье («со яри»).



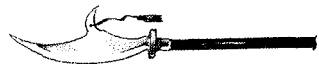
ГОУБАН — китайский древковый серп.



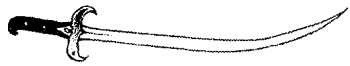
ЭНКОС — массивное копье (архаичная Греция, Микены).



САРИССА — длинное тяжелое копье, которым вооружались фалангисты (Македония).



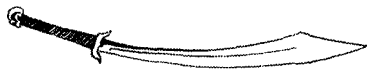
КВАН-ДО — древковое оружие типа алебарды, известно и под другими названиями (Корея, Китай).



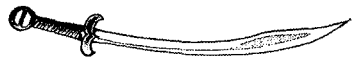
КАРАБЕЛЛА — польская сабля.



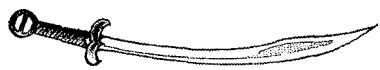
ГЛАДИУС — короткий прямой римский меч.



Н'ГУСУ — двуручный однолезвийный меч длиной до полутора метров. Клинок имеет сабельный изгиб и елмань —расширение в конце (Африка).



ХЕПЕШ — кривой меч, напоминающий ятаган с длинной рукоятью (Египет).



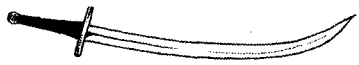
ТАЛВАР — индийская сабля, довольно тяжелая, с полуторасторонней заточкой.



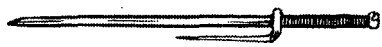
ТАО — китайский нож-тесак с очень широким клинком.



КРИС — меч или кинжал с прямым обоюдоострым клинком, зачастую волнообразным или пламевидным. У рукояти клинок резко расширяется, что заменяет гарду (Малайзия, Ява, Суматра и т.д.).



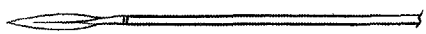
ПАНГА — кривой и одновременно обоюдоострый меч (Африка, Зимбабве).



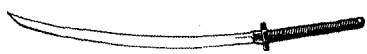
ДЗЮТТЭ — тупой граненый (или круглый) кинжал с односторонней изогнутой гардой (Япония).



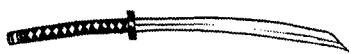
КАТАКАМА ЯРИ — японское копье с добавочным крюком, загибающимся вверх.



ФРАМЕЯ — копье древних германцев, напоминающее римский пилум.



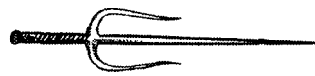
НО-ДАЧИ — большой двуручный «меч для поля» длиной примерно в рост человека. Заточка односторонняя, гарда (цуба) небольшая, в основном овальная (Япония).



КУСУНГОБУ — японский нож, предназначенный для совершения обряда сэппуку (самоубийства).



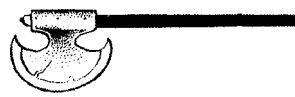
ГЕРДАН — двуручная тяжелая палица с шипами (Средняя Азия).



САЙ — стилет-трезубец с граненым или круглым центральным клинком и двумя боковыми, выгибающимися наружу (Окинава).



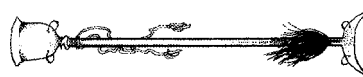
ШОТО — короткий меч, по форме такой же, как но-дачи или катана, но с длиной лезвия около полуметра. Однолезвийный, слабоизогнутый (Япония).



ШУАН — китайский парный топор.



ЧИНКУЭДА — итальянский прямой короткий меч с обоюдоострым клинком, очень широким у рукояти.



ЧАНЬ-БО — посох буддийского монаха (Восточная Азия).



ЦЗЯНЬ — общее название китайских прямых обоюдоострых мечей с достаточно легким и гибким лезвием, предназначенных в основном для колющих ударов. Меч дан гьен тоже входит в семейство мечей ЦЗЯНЬ.



ПУДДХА — индийский прямой обоюдоострый меч с поперечной рукоятью и гардой, полностью закрывающей руку до середины предплечья (аналог наруча).



КХАНДА — индийский прямой тяжелый меч.



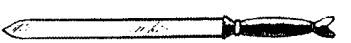
МАСАКИРИ-КАЙ — японский двуручный топор.



ЭМЕЙСКИЕ СПИЦЫ — круглые спицы с острыми концами и колечком посередине, куда продевались пальцы. Изредка к эмейским спицам крепились яркие платки.



БАДЕК — индонезийский нож.



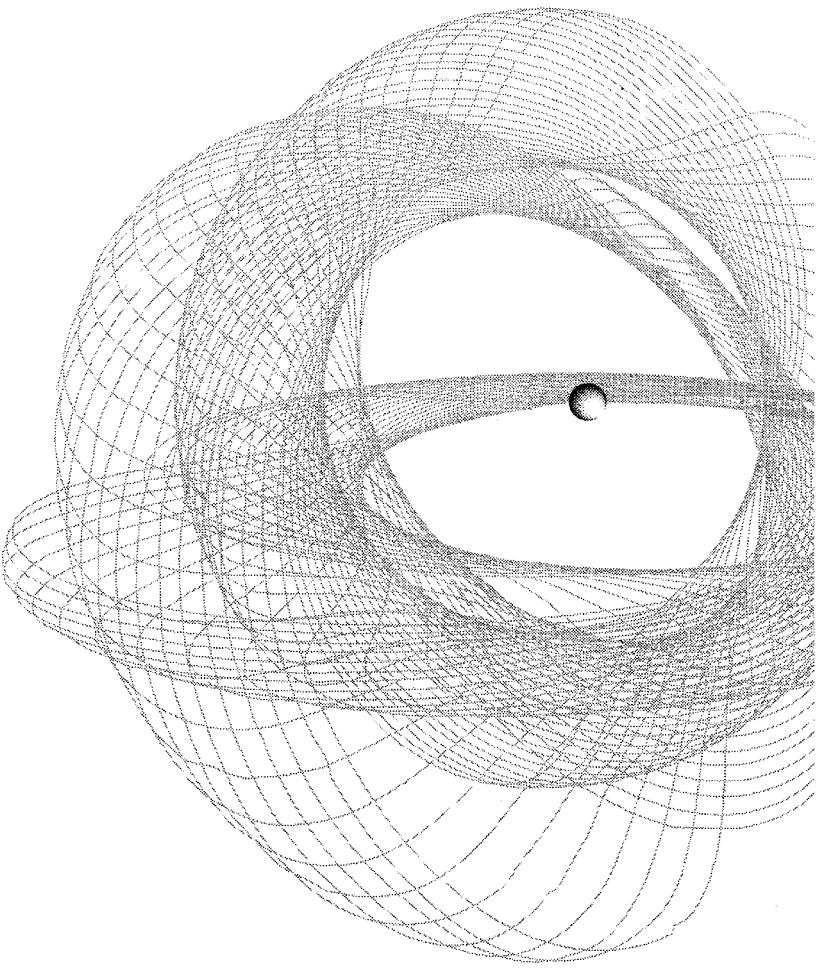
ЛАНДИНГ ТЕРУС — прямой малайско-индонезийский кинжал.



ЧЫДА — хакасское тяжелое копье.

ДАЙТЕ ИМ УМЕРЕТЬ

РОМАН



Холодный апрель, горячие сны,
И каждый на треть — патрон.
Иди и смотри, как ядерный принц
Несет свою плеть на трон.

А. Башлачев

ПРОЛОГ

Липкие струйки пота с омерзительной неспешностью ползли по спине, образуя темное пятно в области крестца, как раз над тонким кожаным ремешком; и когда рычание короткой автоматной очереди вспороло полдень над автострадой Дурбан — Кабир...

Пальцы Карена сами собой нащупали холодное тело «гюрзы-38» в наплечной кобуре, и первым сознательным ощущением было удивление: металл почему-то совсем не нагрелся от солнца и тепла человеческого тела. Прикосновение к оружию успокаивало, как всегда, одновременно вызывая странную гадливость — словно под руку ни с того ни с сего попался хитиновый панцирь жука-кусаря, готового вцепиться жвалами в ладонь или рвануться прочь.

«Нервы, — подумалось Карену. — Тут портовые тросы нужны, а не нервы...»

Он врал сам себе.

Он знал, что дело не в нервах.

Вернее, не только в нервах.

Из-за соседней машины неуклюже высунулся толстяк Фаршедвард Али-бей, хайль-баши[1] дурбанской полиции, раздул волосатые ноздри, простудно засопел и через мгновение уполз обратно. Безобидность этой горы жира, казалось, едва справляющейся с простейшими приказами желеподобного мозга, была одной из козырных карт лихого хайль-баши: в свое время, когда пыхтящий Фаршедвард вразвалочку объявлялся на борцовском ковре, где сходились борцы-нарачи в схватке гигантов, соперник помимо воли расслаблялся и усмешливо косился на ассистентов. Зря, конечно... Да и сейчас, видя вползающую в спортивный зал тушу, все местные мушерифы[2] знали: в участке объявился новенький, и сейчас этот новенький будет втихомолку посмеиваться... некоторое время. Потом перестанет. А господин Али-бей попыхтит еще немного, невинно глядя на раскинувшееся перед ним тело, и уйдет в кабинет.

Карен был новеньким в Дурбане. И при этом достаточно стареньким, чтобы знать все, что следует, о Фаршедварде Али-бее по прозвищу Тот-еще-Фарш.

---

[1] Хайль-баши — командир хайля, т. е. тысячи; полковник.

[2] Мушериф — сотрудник полиции.

Убрав руку с пистолета, он оглянулся: ровное полукольцо машин за спиной, пятнистые каски, затянутые маскировочной сетью, блики на оптических прицелах и десятка полтора черных зрачков, готовых в любую секунду заплевать смертью пол-автострады. Гургасары-спецназовцы, «волчьи дети», элита внутренних войск. Совершенно никчемушняя сейчас, когда речь идет не о смерти, а о жизни, о сорока двух заложниках в рейсовом автобусе, сорока двух обывателях, задыхающихся от страха и от приближения той минуты, когда их продолжат расстреливать для весомости аргумента.

Всего минуту назад заложников было сорок три.

Карен прикусил губу — привычка, оставшаяся с детства, — и еще раз оглядел захваченный автобус. Дверь рядом с водителем неспешно открылась, сложившись гармошкой, и наружу грубо вытолкнули подростка лет пятнадцати, прыщавого дылду в цветастой маечке и модных шароварах с резинками на щиколотках. Серьга в левом ухе подростка раскачивалась, ловя солнечные зайчики. Следом выбрался плечистый коротыш и лениво опустился на ступеньку, положив автомат поперек колен. На рябом лице коротыша отражались скука и равнодушие. Ко всему, даже к собственной судьбе. Исполнитель. Наверняка бывший наемник, убийца-профессионал, давно переставший испытывать что-либо, нажимая спусковой крючок; он и умрет так же скучно, не моргнув глазом, не торопя и не отдаляя приход небытия. Конечно, если тебя после приговора везут в Дасткар-Зах, в камеры смертников, то сонным охранникам стоит быть повнимательнее, чтобы четверо приговоренных не оказались на свободе. Ничего нет опаснее крысы, загнанной в угол. Коты это знают. В отличие от многих мушерифов, чьи семьи теперь могут утешаться лишь пенсией погибшего кормильца.

Подросток что-то испуганно сказал коротышу, и тот в ответ только плюнул. Довольно умело, надо заметить: комок слюны угодил заложнику точно в промежность. Юнец скорчился, как от подлого удара, после чего торопливо заковылял прочь от автобуса, потешно перебирая стреноженными ногами. Руки подростка были свободны, но он даже не попытался развязать или ослабить путы, протянувшиеся от одного колена к другому, — так и брел, спотыкаясь, от автобуса к полицейским машинам... И когда добрел до опрокинутого навзничь женского тела, как раз на полпути к жизни, наглый рык автоматной очереди снова заставил дребезжать стекла машин, а холодный жук «гюрзы» опять ткнулся в ладонь Карена.

«Мама-а-а!» — отдаленным эхом прозвучало в мозгу. Карен знал, что кричит не подросток, потому, что убитые наповал не кричат, и еще потому, что вот уже пятый месяц он просыпался от этого крика в смятых простынях, захлебываясь душным воздухом и болью.

«Мама-а-а... не надо, мама!.. Пожалуйста...»

И глумливый смех трясущегося в припадке оружия.

Вне сомнения, каждый из гургасаров мог в любую секунду всадить свинцовый желудь скучающему коротышу куда угодно, на выбор. И Карен понимал: хайль-баши Али-бей больше всего на свете боится именно этого. Он представил себе: тросы-нервы одного из снайперов лопаются с коротким щелчком, плечистый убийца сползает со ступеней в пыль, в автобусных окнах возникают лица... увы, отнюдь не спасенных заложников, а двоих дружков коротыша, и невидимый снаружи третий (да, теперь, после шального выстрела, он будет именно третьим, а не четвертым из бежавших смертников!) лезет в тяжелую сумку и выдергивает чеку из связки гранат.

Никто не знал, откуда у беглецов взялись гранаты. Но факт их наличия был зримо подтвержден час назад: вон, корявая воронка на обочине до сих пор мозолит глаза, зар-раза...

Фаршедвард Али-бей еще раз высунулся из-за машины, и Карен увидел переговорное устройство в монументальной лапе хайль-баши. Нечленораздельно рявкнув в резонирующую мембрану, Али-бей поманил пальцем Карена к себе. Карен даже вздрогнул от ознобного счастья: что-то делать, двигаться, шевелиться, пробираться между машинами, а не сидеть сиднем, глядя, как по ступенькам мимо коротыша уже спускается подталкиваемая в спину старуха, — о, Творец, как мало человеку надо для счастья, особенно если я не знаю: кощунствую сейчас или просто схожу с ума!

Мама-а-а!..

Зимняя слякоть, дождь наискось хлещет по кабирскому переулку, по одному из многих переулков бывшей столицы, и морщинистая женщина у ворот их дома не откликается на сыновний крик. В маминых руках, сохлых, как мертвое дерево, бьется серебряная рыба, пытаясь выплюнуть рвущий губу крючок, спусковой крючок, и остроребрая чешуя с треском разлетается вокруг, пятная соседей черной слизью: валится навзничь тетка Фатьма, уползает к подъезду беззвучно воющий лавочник Низам, удивленно смотрит на окровавленное предплечье четырехлетний мальчишка, внук лучшей маминой подруги, — боль еще не пришла, и в круглых глазах ребенка пока лишь один интерес, от которого хочется разбить голову о ствол чинары или бежать быстрее, но ты не можешь, не можешь, не можешь...

— Мама-а-а!..

Рыба в руках матери лопается, огненные потроха клубятся, вспухают слепящим шаром, и вскоре только дождь стучит по переулку да еще к лавочнику Низаму возвращается голос, и он еле слышно скулит, хотя от простреленной лодыжки еще никто не умирал, а тетка Фатьма с изумлением уставилась в небесную

рвань тремя черными глазами, и рядом лежит теткин любимый кот с развороченным брюхом.

— Мама...

На похоронах матери к Карену подошел седой человек, похожий на птицу. После затасканных до дыр слов соболезнования он предложил Карену назавтра зайти в большое серое здание на углу улицы Ас-Самак и подняться на третий этаж. Недавно вышедший в отставку Карен знал, что на встречу в сером здании по адресу Ас-Самак, 4/6 приходят в любом случае.

Даже если у тебя только что умерла мать, предварительно решив перестрелять ближайших соседей из хранившегося дома табельного оружия.

Они долго говорили, висак-баши[1] Карен Рудаби и седой человек, похожий на птицу; к концу их разговора Карен знал все, что ему было дозволено знать об эпидемиях, проходивших по документам под названиями «Спи, сынок» и «Проказа «Самострел».

А еще через три месяца Карену вручили офицерскую бляху мушериф-эмира[2] и перевели в Дурбан.

— Тут сиди, — жарко выдохнул Тот-еще-Фарш Карену прямо в ухо и с подкупающей прямотой добавил: — Ты не местный, я тебе не верю. Дернешься невпопад...

Сперва Карен не понял. Впрочем, обидеться ему даже не пришло в голову, а задавать вопросы прямолинейному (когда Али-бей этого хотел) хайль-баши помешали две вещи: въевшееся в костный мозг чувство субординации и стрекот приближающегося со стороны города вертолета. Иблисов корень, как глупо, глупо и стыдно все получается! Неужели условия смертников будут приняты?! Вертолет, два миллиона динаров золотом и трое заложников в кабине, пока «стрекоза» с беглецами не пересечет границу с Малым Хакасом. Карен ни минуты не сомневался, что в ту же секунду заложники будут честно отпущены — вниз головой из рубящей воздух лопастями «стрекозы», как раз на острые хребты тамошних скал.

Вертолет опустился в полусотне шагов от машин, винт начал замедлять обороты, и вскоре из кабины выпрыгнуло на землю маленькое существо, издали ужасно похожее на древесного палочника-переростка. Существо поковырялось пальцем сперва в левом ухе, потом в правом и, продолжая ковыряться, прыгающим шагом направилось к машине Али-бея.

Карен даже зажмурился от изумления.

Девочка. Тощая нескладная девочка лет двенадцати, насквозь прокопченная неистовым дурбанским солнцем, длинно-

[1] Висак-баши — командир сотни; лейтенант.

[2] Мушериф-эмир — офицер полиции.

носая и черноглазая, несмотря на жару кутающаяся в тяжелую шаль с бахромой.

Некрасивая, и красивой никогда не будет.

Это была именно та девочка, которую Карен совершенно не ожидал увидеть здесь и сейчас.

— Зачем?! — непроизвольно вырвалось у Карена, и почти сразу он поправился: — Зачем она здесь, господин хайль-баши?

— В свое время я забыл уведомить вас, висак-баши: ее зовут Сколопендра, — хрипло буркнул Тот-еще-Фарш, и Карен решил, что хайль-баши над ним издевается.

Не исключено, что так оно и было.

Девочка скоренько прошмыгнула мимо гургасаров — снайперы так и не шевельнулись, грея щеками ложи винтовок, и Карен мимоходом позавидовал выучке «волчьих детей», — после чего приблизилась к машине хайль-баши.

— Здравствуй, Сколопендра, — тихо прогудел Фаршедвард каким-то удивительным тоном, чуть ли не извиняющимся.

Девочка не ответила.

Стояла, куталась в шаль, смотрела на бетон дороги, на носки собственных туфель.

Носом шмыгала.

Карену показалось, что он присутствует при съемках нелепого, невозможного фильма — настолько по-идиотски выглядело все это: автобус с заложниками и беглыми смертниками, недвижные гургасары, огромный Али-бей и сумасшедшая девчонка, прилетевшая на вертолете.

По-прежнему не произнеся ни слова, девочка вдруг развернулась всем телом и тем же птичьим шагом засеменила прочь от машины.

К автобусу.

Трупы расстрелянных женщины, подростка и старухи она миновала равнодушно, не задержавшись даже на секунду, словно каждый Божий день сталкивалась нос к носу с покойниками, умершими насильственной смертью. Карену доставило чуть ли не садистское удовольствие лицезреть выражение небритой физиономии коротыша, когда тот увидел идущую к нему Сколопендру *и понял, что это не галлюцинация.*

Более того, в приоткрытом до половины окне, точь-в-точь как в видении Карена, объявилась усатая физиономия другого смертника, а рядом с ним над резиновым бортиком автобусной рамы всплыла бритая до синевы макушка, задержалась на миг и приподнялась еще чуть-чуть, явив намек на лоб и один заплывший глаз.

«На полу сидит, — догадался Карен. — Этот, который с гранатами... гляди-ка — снайперы, а тоже не утерпел, паскуда, высунулся!»

Последний из беглецов с наглостью человека, которому нече-

го терять, встал в дверях, прямо над коротышом, и демонстративно сложил татуированные руки на карабине, висевшем поперек груди.

Девочка остановилась, не дойдя до автобуса каких-то десяти-пятнадцати шагов, и плотнее закуталась в шаль.

Не говоря ни слова, коротыш-палач полез в карман отобранных у кого-то из заложников брюк (дорогих, с отглаженными складками) и достал мелкую монету. Покидал с ладони на ладонь, сплюнул в пыль и мгновенным движением швырнул монету девчонке. Напарник с карабином громко расхохотался — наверное, с его точки зрения, это и впрямь выглядело смешно; медный кругляш завис в воздухе рядом со Сколопендрой. Карен почувствовал на своем плече непомерную тяжесть Фаршедвардовой лапищи и только потом понял, что был готов сломя голову кинуться к автобусу, забыв обо всем на свете; шаль слетела с плеч девчонки, и две тонкие руки метнулись к монетке.

Не дотянулись.

Сухими веточками задергались, затрепыхались в воздухе: туда-обратно, от кожаной перевязи, крест-накрест охватывающей туловище, к медленно падающему на землю медяку; ломкое, ненадежное кружево...

И косым веером вспорхнула с полудетских ладоней стая маленьких ножей, совсем не страшных, легких, как осенние листья, как узорчатые снежинки на перевале Фурраш, как тихая смерть на пахнущей лекарствами постели в кругу родных и близких.

Палачи не заслуживают такой смерти.

Боком пополз со ступеней коротыш, булькая трижды вспоротым горлом, почти сразу же рухнул на него сверху приятель с карабином, жутко смеясь во всю глотку, словно пытаясь хохотом вытолкнуть проглоченный клинок; исчезло перечеркнутое стальными птицами лицо усача из автобусного окна, а бритая макушка внезапно взметнулась вверх сорвавшимся бильярдным шаром, и дико смотрели из-под низкого лба две костяные рукояти, прочно утонувшие в человеческих глазницах.

Девочка постояла еще немного, бессмысленно оглаживая перевязь с парой оставшихся ножей, и медленно подошла к автомату, который только что выронил убитый коротыш.

Постояла над оружием.

Повернулась к нему спиной.

После чего бесстыдно задрала подол ветхого платьица, присела и помочилась на короткоствольное дитя стали и пластика.

Подобрала монету, закуталась в шаль и, подпрыгивая, направилась к автобусу — собирать улетевших птенцов.

Нас больше нет. Остался только холод. Земля кусается. И камень жжет.

И. Эренбург

Книга I
НА ДРУГОМ КОНЦЕ СТВОЛА

ГЛАВА 1
ХАБИБ[1]

Тень от ствола клеймит висок,
как вечности печать.
Я слышу голос — это Бог
идет меня встречать[2].

Контуры хмурого скуластого лица на фотографии поплыли, смазались, как бывало всегда при установлении контакта; пьяный ретушер бросил поверх изображения сеть паутины, лицо надвинулось, мелькнула совсем рядом ломкая ниточка шрама под левым глазом, кокетливо оттененная глянцем снимка, — и в следующее мгновение Кадаль был уже ВНУТРИ. На доктора мгновенно обрушилась паническая волна страха, той самой разъедавшей внутренности кислоты, которую человек с фотографии тщательно прятал под маской показного благополучия, заставляя себя вести деловые переговоры, неискренне смеяться, давать интервью, флиртовать с женщинами, время от времени затаскивая то одну, то другую к себе в постель (впрочем, женщины его круга обычно не имели ничего против, до ломаного дирхема зная цену каждому оргазму).

Но за внешней мишурой надменно стоял Их Превосходительство Страх, стоял и ухмылялся, скрестив на груди когтистые лапы. Животный, дикий страх, леденящий душу ужас, щемящая тоска предчувствия — и по ночам человек вскакивал весь в поту, чувствуя виском беспощадный холод ствола, вжимающегося все сильней в податливую кожу; щелчок взводимого курка погребальным колоколом отдавался в пылающем мозгу, и на какое-то мгновение возникало чувство странного облегчения, а потом...

[1] Хабиб — лекарь.

[2] Все эпиграфы (кроме эпиграфов к книгам, где указаны фамилии авторов) принадлежат Ниру Бобовай, двенадцатилетней девочке по прозвищу Сколопендра.

Ужас овладевает тобой с новой силой, но поздно: боек ударяет по латунному капсюлю, бесшумно — пока еще бесшумно — вспыхивает, дождавшись звездного часа, порох внутри аккуратного цилиндрика гильзы, и неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начинает короткое плавное скольжение по нарезам ствола. Ничего нельзя изменить, неизбежность финала извивается между долями секунд, но последние крохи последнего времени имеют привычку тянуться безумно долго, превращаясь в недели, месяцы, годы, и твоя восковая рука коченеет в отчаянной и безнадежной попытке совершить невозможное: успеть отвести от виска смертоносный ствол, пока пуля еще скользит по нарезам, пока...

Поздно!

Височная впадина лопается под напором — и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается на свободу.

Что означает: на стену, на колени, на полированную поверхность письменного стола...

Потом — темнота.

Этот навязчивый, повторяющийся кошмар превратил его ежедневное существование в постоянную пытку, каждая ночь грозила стать шагом в пропасть, когда, не в силах больше сопротивляться, он наконец приставит к голове равнодушную сталь и взведет курок.

Равнодушную?

Ждущую?

Или долгожданную?

Человек со снимка вздрогнул, словно звериным нюхом учуяв присутствие чужака в своем мозгу, присутствие мыслящей пули в оболочке из нержавеющей воли, но тревога исчезла, забилась в щель, а вместе с ней начал тускнеть, уходя в небытие, и проклятый кошмар. Человек задышал ровнее, искаженные страданием черты постепенно разгладились, и когда милосердный сон принял мученика в свои объятия, на скуластом лице застыло облегченное умиротворение.

Страх отступил.

Доктор Кадаль искренне надеялся, что на этот раз — навсегда.

* * *

Кадаль в изнеможении откинулся на спинку глубокого мягкого кресла и позволил векам сомкнуться. Некоторое время он лежал совершенно неподвижно, расслабившись и мало-помалу приходя в себя. Потом медленно поднял руки к вискам и начал

массировать привычные точки, переливая в пальцы адскую боль, взламывающую череп изнутри.

Так бывало всегда после контакта, но сегодня боль казалась особенно сильной. Доктор знал, на что идет, знал всякий раз, беря в руки очередную фотографию, и все его существо противилось предстоящей пытке с первобытной силой, но Кадаль неизменно спрашивал себя: «Если не я — то кто?» В конце концов, ему за это платили, и платили, будем честными, немало. Только из-за денег доктор, пожалуй, не стал бы терпеть жуткие остаточные боли, наверняка забравшие не один месяц ЕГО СОБСТВЕННОЙ жизни... хотя — кто знает? Сейчас он рассуждает как хорошо обеспеченный человек, каковым и является, а случись ему вдруг потерять все?..

Увы, господа мои, это прискорбно и немножко стыдно, но к комфорту привыкаешь гораздо быстрее, чем к нищете!

Голова уже не раскалывалась, но до сих пор гудела, будто после изрядной попойки, и Кадаль ласкал виски умелыми пальцами, вяло ловя за скользкий хвост змейки возникавших в оттаивавшем мозгу мыслей.

Наверное, это напоминало вид ночного города с высоты птичьего полета: обилие огней, раздражающе ярких, болезненных, но вот они постепенно начинают гаснуть один за другим, и мягкое облако тьмы окутывает город-сознание до следующего вечера.

Точки на висках... мягкие впадинки, трепетно-чуткие ямочки. Они находятся как раз на траектории пули, которую с облегчением пускаешь себе в голову!.. Нет, это не его мысль! Это отголоски мании человека, излеченного полчаса назад. Излеченного — и только?! Не скромничай, дружище Кадаль, — ты спас баловня судьбы, чью жизнь отягощал разве что некрасивый шрам под глазом, от смерти! Спас ничуть не менее верно, как если бы вытащил скуластого из огня или из клыков разъяренного чауша! Еще день-два, от силы неделя — и чьи-то замечательные мозги замечательно расплескались бы по стене чьей-то замечательной спальни...

Хватит! Кончено! Я сделал свою работу, человек будет жить, достоин он этого или нет, и хватит рефлексировать! Это был не мой кошмар, не мой!!!

Да, конечно...

Доктор понемногу успокаивался — нехарактерная вспышка гнева удивила его самого, — головная боль послушно засыпала до нового срока, и к Кадалю постепенно возвращалась способность к аналитическому мышлению.

Конечно, ужасный демон суицида покинет скуластого, как не раз бежал с поля боя чешуекрылый легион фобий и маний, необузданных страстей, физиологической потребности в опиуме, героине или банальном алкоголе. От племени вечно голодных мучителей Кадаль вот уже несколько лет успешно избавлял своих

пациентов, в большинстве случаев даже без их ведома. Но... глубинная язва беспокойства источала ледяной яд, каплю за каплей, напоминая с усмешкой Их Превосходительство Страх: пропасть самоубийства, вдавливающийся в висок ствол, жало металлической осы, с раздраженным гудением покидающей свое гнездо...

Все совпадало в точности, вплоть до деталей!

Он уже видел подобный кошмар. Причем не единожды. Сегодняшний пациент был, кажется, четвертым за последний год.

Или пятым?

Этого доктор вспомнить так и не смог.

Он взглянул на старинные настенные часы — антиквариат, подарок щедрого ар-Рави, с массивными бронзовыми стрелками, в строгом футляре черного дерева.

Половина первого ночи.

Добрый доктор, пора спать.

А как же?.. Нет, завтра, завтра. Все завтра.

Впрочем, уже сегодня.

Тем более — спать.

* * *

Солнечный луч осторожно тронул спящего за плечо, скользнул выше, с трудом продрался сквозь жесткую поросль сизой щеки и попытался заглянуть под неплотно прикрытое веко. Человек заворочался, отмахнулся от луча, как от надоедливой мухи, но тот все не отставал, все копошился, согревая щеку ненадежным теплом и заставляя плясать попавшие в него пылинки. В конце концов человек приоткрыл левый глаз, тут же зажмурился и отодвинулся в тень тяжелого шелкового полога. После чего, к своему сожалению, проснулся окончательно.

— Без четверти одиннадцать, — пробормотал вслух доктор Кадаль, чувствуя в глотке ласку ржавого рашпиля. — Самое время начать новую жизнь... или покончить со старой.

Пышущий зноем день, один из многих дней Западной Хины, уверенно вступал в свои права, и доктор, с трудом поднявшись, проковылял к окну и включил негромко зажужжавший кондиционер. После чего, дойдя до ванной, тщательно умылся и накинул поверх влажного тела тонкий, серебристый с чернью халат кабирской работы и проследовал в столовую.

Завтрак уже ждал его — бдительная прислуга, нутром почуяв пробуждение господина, времени даром не теряла. Прополаскивая горло ароматным кофе и поглощая одну за другой любимые сырные трубочки по-лоулезски, доктор Кадаль просматривал утреннюю газету «Вы должны узнать это сейчас!» — как обычно. Несмотря на претенциозное и малость длинноватое название, газета исправно сообщала хинцам свежайшие новости, а верить ей

можно было процентов на семьдесят — согласитесь, для газеты это немало!

«Ну вот, очередное самоубийство! — горестно вздохнул Кадаль, по привычке начавший с колонки происшествий. — Всего тридцать два года... мой ровесник. И не нашел ничего лучшего, чем разнести себе череп выстрелом из револьвера «масуд» сорок пятого калибра, предварительно забив ствол песком! Голова вдребезги, револьвер, естественно, тоже... Интересно, а ЕГО преследовал такой же кошмар?»

Доктор сам изумился подобной мысли — и следом мгновенно нахлынули переживания прошедшей ночи. Вкус кофе и трубочек с сыром был испорчен, день, похоже, тоже — однако на этот раз Кадаль не дал эмоциям захлестнуть себя. С некоторым усилием ему удалось абстрагироваться от раздражающих видений и принудить сознание расставить домыслы с догадками строго по ранжиру.

Совершенно разных людей преследуют совпадающие вплоть до мелочей кошмары, толкающие несчастных к самоубийству. Причем одним и тем же способом: приставить ствол к виску и спустить курок.

Эпидемия идентичных маний?

Социошизофрения?

Это было невероятно, но факт — доктор сам неоднократно присутствовал в кошмарах несчастных. Только он не встречал там ничего, говорившего о желании предварительно забить ствол пригоршней песка. До последнего дня он подсознательно запрещал себе думать об этом, сопоставлять, сравнивать; он возвел стену между собой и не собой, став пленником собственной отстраненности.

«...Из револьвера «масуд» сорок пятого калибра, предварительно забив ствол песком...»

Вирус-мутант суицидальных наклонностей? Любой ученый-психолог или врач-психиатр поднял бы его на смех за подобное предположение, но с некоторого времени доктору Кадалю очень редкие вещи могли бы показаться невероятными.

С того самого времени, как маленький Кадаль, тогда еще никакой не доктор, а обычный ученик пятого класса одной из средних (и весьма средних!) хинских школ, обнаружил, что он не такой, как все.

Кадаль сидел дома и переживал. Сегодня они с его лучшим другом Рашидиком разгрохали булыжниками два окна в кабинете физики. Вредный физик позавчера влепил двойки по контрольной почти всему их классу — и компания вихрастых героев поклялась в страшной мести подлому уроду. Но когда дошло до дела, штатные хулиганы технично испарились, и под окнами ка-

15 - 7682

бинета остались только Кадаль с Рашидиком (не попавшие, кстати, в число двоечников, зато, увы, попавшие в шайку мстителей!). Бить окна было боязно, но Кадаль решительно заявил, что нельзя упускать такой прекрасный шанс утереть нос записным храбрецам, — и вот уже два увесистых камня взмывают вверх, с оглушительным звоном сыплются на асфальт сверкающие острые осколки, а друзья улепетывают со всех ног, и сердце суматошно прыгает в груди. Кажется, все обошлось, никто их не видел...

И тут, прежде чем свернуть за спасительный угол и перейти на безмятежно-неторопливый шаг, Кадаль в последний раз оборачивается и успевает заметить в окне дома напротив конопатую физиономию известного стукача Салмана ан-Машури.

Теперь Кадаль сидел дома, а невыученные математика и чеканные бейты[1] аль-Мутанабби никак не лезли в голову. Тупо глядя на прошлогоднюю фотографию их класса, которая висела на стене в рамочке, он мог думать лишь о подкрадывающемся завтра, о неминуемом разоблачении и столь же неминуемом наказании. Мама небось опять будет плакать, а папаша, хлебнув пивка, расстегнет армейский ремень... «Творец, клянусь, я буду самым хорошим мальчиком в Хине, только сотвори чудо: пусть Салман-ябеда обо всем забудет или хотя бы побоится рассказывать... нет, лучше пусть забудет!» Кадаль нашел на фотографии ненавистную конопатую рожу и, сам не сознавая этого, твердил, как заклинание, как молитву, как единственные в мире слова: «Забудь! Забудь! Забудь!..»

А потом случилось непонятное. Кадаль находился как бы по-прежнему в своей комнате, но одновременно где-то еще, и тот, кто был «где-то», был уже не совсем Кадаль, вернее, даже совсем не Кадаль, а испуганный мальчишка находился внутри того, другого, как дитя ворочается в глубине материнского чрева, будучи чужим и своим сразу, — и тот, другой, вдруг забыл что-то очень важное; он изо всех сил пытался вспомнить, но не мог и расплакался от обиды и бессилия, размазывая слезы по веснушчатым щекам... Впрочем, трясущийся, как в припадке, Кадаль уже снова сидел за своим столом, дома, и только дома, — и у него очень сильно болела голова.

Салман-ябеда ничего не сказал учителю.

И Кадаль, морщась от затаившейся в норах мозга головной боли, понимал: свершилось! Чудо, о котором он молил Творца, действительно произошло вчера, когда, глядя на фотографию Салмана ан-Машури, он твердил: «Забудь!»

Салман забыл!

Более того, никто и никогда не выслушивал с тех пор доносов от конопатого Салмана.

---

[1] Бейты — двустишия.

Еще раз испробовать нечто подобное Кадаль решился только через полгода. Снова у него страшно болела голова, зато мама перестала плакать по ночам в подушку, потому что отец наконец вышел из двухнедельного запоя. Как потом выяснилось, в тот день он бросил пить раз и навсегда.

И складские грузчики очень скоро перестали биться об заклад: когда же все-таки Рябой Ганаим не выдержит и возьмет предложенную бутылку пива?!

А маленький Кадаль, наверное, уже тогда понял значение недетского слова «судьба».

Поступить иначе означало обмануть Творца, схватить подарок и забиться в угол, не поделившись с остальными.

Факультет психологии Государственного университета фаррла-Кабир не дал ответа на вопросы Кадаля, но кое-что ему все-таки удалось выяснить. Не будучи чудотворцем, он мог довольно многое: лечить различного рода мании и фобии, избавлять шизофреников от навязчивых кошмаров, топить в забытьи угнетавшие их комплексы. Он спасал жизнь, казалось бы, безнадежным наркоманам и алкоголикам, постепенно это давалось ему гораздо меньшими силами, так что выкладываться полностью приходилось лишь в наиболее тяжелых случаях.

Как при лечении тихого внука хинского шахрадара[1], нежной души человека, любившего чайные розы и пейзажи работы мастеров прошлого столетия, а также обожавшего гулять по ночам с большим разделочным ножом и размышлять про себя: пройдет ли мучившее его томление, если попытаться отрезать палец-другой вон у той девицы легкого поведения?

Но все это Кадаль по-прежнему мог проделывать, лишь глядя на фотографию своего пациента, входя через нее, как через некие ворота, в сознание больного и промывая застарелые язвы невидимой водой, — Кадаль и сам толком не понимал, что именно он делает, но неудачные попытки можно было пересчитать по пальцам одной руки, в то время как число исцеленных перевалило уже за шестой десяток.

Личный контакт или работа с портретом не давали результата.

Только фотографии.

Кадаль уже давно собирался поэкспериментировать с кино- или видеоизображениями, но все не доходили руки, да и нужды особой пока не было.

Поначалу Кадаль работал бесплатно или за чисто символическое вознаграждение — ему было просто интересно входить в чужие тайники, выбрасывать прочь гниющий мусор, пытаться

[1] Шахрадар — мэр.

понять механизм воздействия на психику больного. Да и сознавать, что спас человека, официально признанного неизлечимым, тоже было приятно. Иногда Кадаля — теперь уже ДОКТОРА Кадаля — начинали терзать сомнения: имеет ли он право вторгаться в святая святых — человеческую душу? Дозволено ли ему менять что бы то ни было в личности своих пациентов, изменяя тем самым и саму личность? Ведь даже избавляя больного от гибельного пристрастия или подавляя мрачный кошмар, он тем самым убивает частичку чужой души. Пусть больную, завшивленную частичку — но все же... Давно известно, что Творец создает, а Иблис-Противоречащий переделывает; кому служит дар, пришедший из ниоткуда и перевернувший жизнь слабого человека?

Доктор Кадаль так и не избавился от подобных сомнений. Но когда он видел возвращающихся к жизни людей, до того одной ногой стоявших в могиле, он понимал, что иначе не может. Он в силах только стараться не переступать ту невидимую черту, за которой заканчивается лечение и начинается насильственное вмешательство в чужую психику.

Черту, отделяющую скальпель хирурга от разделочного ножа внука хинского шахрадара.

ГЛАВА 2

АЗАТ[1]

Старые долги,
новые враги,
все прошло,
закончилось быстро так,
что не стать своим
ни тебе, ни им.
Не суметь, не дойти
и не выстрадать.

— Я вижу, вы изрядно повоевали, висак-баши?

— Так точно, атабек[2]!

Пожалуй, Карен вел себя излишне вызывающе, проигнорировав предложенное кресло и подчеркнуто соблюдая букву устава, но этот жирный великан раздражал его с самого начала. Вопросами, ответы на которые были скрупулезно выписаны в лежащем перед хайль-баши личном деле Карена Рудаби, только что переведенного из Кабира в Дурбан; дурацкой манерой всякий раз

[1] Азат — солдат.

[2] Атабек — в данном случае дословно «отец-господин», почтительное обращение к старшему по званию, должности или возрасту; аналогично «сэр».

вздымать реденькие бровки после услышанного, отчего складчатая физиономия Фаршедварда Али-бея становилась до противности недоверчивой, как у черепахи, разглядывающей похожий на личинку камешек; шумным сопением и запахом вспотевшего тела, вызывавшим в памяти ароматы зверинца; ну никак не нравился новому мушерифу господин Али-бей, да и вообще сегодня настроение Карена было не из лучших.

— Где имели честь служить?

— В Малом Хакасе, атабек, последние четыре года!

— Внутренние войска? Дорожники?

— «Белые змеи», атабек. Горные егеря.

Брови Али-бея забрались под самую верхнюю складку его лба, где и принялись раздумчиво ползать двумя тутовыми гусеницами.

— И до сих пор всего лишь висак-баши? Интересно, интересно... в связи с чем вам было отказано в повышении? Пьянство? Неуживчивость? Склонность к личному мнению?

Карену надоел этот спектакль. Он сделал несколько шагов, мешком плюхнулся в кресло и приветливо улыбнулся глыбе хайль-баши.

— В связи с рукоприкладством, атабек. Избил непосредственного начальника, курбаши[1] Переза. Нанес телесные повреждения средней и высшей степени при некоторых смягчающих и некоторых отягчающих обстоятельствах. Да вы читайте, читайте, там ведь все написано...

Увлекшись бравадой, Карен пропустил тот момент, когда Фаршедвард Али-бей перестал сидеть за столом и очутился рядом с его креслом. Ощущение было непередаваемым: нечто похожее бывший горный егерь испытал лишь в детстве, когда мама повела его в знаменитый кабирский зоопарк, отвлеклась, обсуждая с подругами способы засолки синих баклажанов, а непоседливое чадо умудрилось забраться в павильон к носорогу-горбачу. По счастью, гора морщинистой плоти не обратила на суетящуюся рядом кроху никакого внимания, разве что хрюкнула недовольно и лениво повела страшным рогом, а Карен вопил благим матом и пытался уцепиться за решетку и носорожий куцый хвост, когда его извлекали из павильона.

— Там написано ровно столько, господин висак-баши, сколько мне заблагорассудится прочитать, — хрюкнул Али-бей раза в полтора внушительней носорога. — Обо всем остальном я буду расспрашивать вас, сколько захочу и когда захочу, даже если для этого мне придется вынимать вас из постели трижды за ночь, всякий раз оттаскивая за уши от голой бабы! Дошло, егерь?! Или перейдем к столь любимому вами рукоприкладству?

— Так точно! В смысле, никак нет, господин хайль...

---

[1] Курбаши — командир «двойной сотни», капитан.

Карен хотел вскочить, но на середине движения ладонь Фаршедварда тяжко опустилась ему на плечо, и подъем мигом сменился падением. С трудом удерживаясь, чтобы не сутулиться от ласки начальника, Карен стал раздумывать, как изложить Али-бею историю драки с курбаши Перозом. Не докладывать же в самом деле, что пьяный в дым курбаши, которого егеря за глаза прозвали Сукиным Внуком, на ночь глядя ввалился в дом местного старика хакасца, потребовал ужин и в скором времени подавился рыбьей костью. Сочтя это провокацией, Сукин Внук принялся расстреливать почтенного старца, трижды промахнулся, в душевном расстройстве пошел будить егерей из отделения Карена, настаивая на их участии в расстрельной команде, и в результате был изрядно бит взбесившимся Кареном.

Отягчающим обстоятельством здесь являлся факт избиения старшего по званию в присутствии младших по званию, смягчающим — все остальное.

Но, казалось, Фаршедвард уже напрочь потерял интерес к этой истории. Когда Карен наконец открыл рот, ему было приказано заткнуться, и господин хайль-баши принялся без дела слоняться по кабинету, колыхаясь и пыхтя.

От скуки Карен начал разглядывать висевший на стене лук без тетивы. С такими луками танцевали на помосте борцы-нарачи после каждой победы — Карен не был поклонником устаревшего вида борьбы, считая ее бессмысленным пережитком прошлого и кладбищем пустых ритуалов, но несколько раз друзья все же затаскивали его на соревнования. Многие фармацевтические компании продали бы душу за таинственные рецепты древних борцов, позволяющие безболезненно наращивать вес втрое больше нормального и так же безболезненно возвращаться к обычному телосложению, будь на то воля вышедшего в тираж нарачи, — но тайна по сей день оставалась тайной.

Представив себе резко похудевшего Али-бея, Карен еле удержался от улыбки.

— И как вы относитесь к перемирию, висак-баши? — неожиданно поинтересовался Фаршедвард, стоя к Карену спиной и глядя в окно на плац во внутреннем дворе участка.

— Согласно уставу, — коротко отозвался Карен.

— Конкретнее!

— А как вы прикажете вести военные действия в условиях «Проказы «Самострел»?! Когда ты не знаешь, на каком выстреле твой собственный автомат вздумает разлететься вдребезги у тебя же в руках?! Когда в особых отделах вырастают горы папок с одинаковым заключением: «Преступная небрежность при обращении с оружием» — потому что иначе совершенно нельзя объяснить, почему служака-десятник оставил в арсенале заряженную винтовку, а та начала стрелять! Вдобавок при этом эксперты хором заключают, будто ствол винтовки был забит песком! А в отделениях поговаривают шепотком, что пятый танковый хайль

был отозван на прежние позиции, потому что у танкистов те же проблемы — только во сто крат хуже!.. — Карен осекся, немного помолчал и добавил уже совсем тихо: — Впрочем, хакасские боевики тоже не являлись исключением — сам видел... Это не перемирие, господин хайль-баши. Это вынужденная пауза. Боюсь, продлится она недолго.

Фаршедвард Али-бей вернулся к себе за стол и грустно обозрел стопку картонных папок с холщовыми тесемками. Хмыкнул. Взял верхнюю и заглянул в самый конец, туда, где обычно пишется заключение.

— Не тратьте зря пыл, висак-баши. — Звук рождался у бывшего нарачи где-то в области пупка и по дороге обрастал гулкими бархатными обертонами. — Я не глухой. И смею вас заверить, что, покинув армию и переведясь в полицию, вы не уйдете от столь возмутившей вас реальности. Вот...

Хайль-баши раскрыл папку и показал Карену надпись поперек страницы, сделанную фиолетовыми чернилами. «Преступная небрежность при обращении с оружием» — было написано там.

— Вот такие дела, висак-баши... То, с чем вы столкнулись в армии, — всего лишь первая волна. Сейчас идет вторая. Я прекрасно знаю, что в Кабире тебе выдали не только мушерифскую бляху, но и ишраф, разрешение на тайную слежку и сбор информации. Они там, на Ас-Самак, 4/6, полагают, что это тайна; ты полагаешь, что в случае получения особой информации твой ишраф выведет тебя из моего подчинения и ты станешь героем, пусть даже и посмертно; я же знаю, что все это ерунда. Просто правительство судорожно пытается за счет увеличения числа «шестерок»... — Хайль-баши попыхтел и продолжил: — За счет увеличения числа «шестерок», отправленных во все концы страны, раскопать хоть что-то. Новичкам везет — вот на что они уповают. И зря. Новичкам везет всего один раз. Они могут завалить ишрафами полдержавы — правда или всплывет сама, или будет найдена профессионалами. Или везение, или работа. А пока что ты, сынок, в моем подчинении, и, уверяю тебя, это не всегда будет приятно.

Если Тот-еще-Фарш ожидал какой-то реакции со стороны нового подчиненного, то он жестоко просчитался.

Карен знал это раньше и лучше многих.

Впрочем, хайль-баши Али-бей в число многих не входил.

С момента трагической гибели старой Зейнаб Рудаби, матери Карена, прошло три месяца с небольшим; до того дня, когда четверка беглых смертников захватит рейсовый автобус Дурбан — Кабир, оставалось меньше недели.

И кто-то, кто знал все, сейчас наверняка посмеивался в бороду.

* * *

Свернув с проспекта аль-Мутанабби, Карен некоторое время плутал в хитросплетении совершенно одинаковых улочек, пока сердобольный малыш лет пяти не сжалился над тупым дядей и не указал ему, где находится тупик Ош-Дастан. Малышу это было нетрудно: песочница, в которой он увлеченно лепил громадные чуреки, предназначенные в пищу годовалой сестренке, находилась как раз посередине искомого тупика.

Карен огляделся.

Изъеденные временем несколько-с-половиной-этажные дома, украшенные ведущими под самую крышу наружными лестницами, скрипучими и щербатыми; заросли дикого шиповника, из колючей гущи которых торчат редкие корявые акации, водяная колонка с непересыхающей лужей под носом у крана; покосившиеся лавочки, на одной спит сном праведника бородач в драном халате, — а у его босых пяток пасется тощая коза, философски обгрызая края у чего-то, больше всего напоминающего кусок ржавой жести; между косматой козьей шеей и грязной щиколоткой спящего протянута веревка, но понять, кто к кому привязан и зачем, решительно невозможно.

Оазис лени и неизменности.

Легко представить, как прогресс заглядывает в тупик Ош-Дастан, брезгливо морщит нос и поспешно удаляется в более благословенные края.

Гораздо более благословенные.

Осталось только понять, почему Фаршедвард Али-бей, эта гора в пропотевшем мундире (кстати, а где шьют мундиры таких размеров?), этот мушериф-нарачи, запретил Карену снять квартиру по личному усмотрению, а направил именно сюда, снабдив конкретными и недвусмысленными предписаниями?

Нет, не похож был Тот-еще-Фарш на человека, без конкретной цели издевающегося над новым подчиненным!

Поблагодарив добросердечного малыша — дареный медяк тот мигом закатал в очередной чурек, — Карен приблизился к лавочке-ложу и принялся расталкивать спящего. Это давалось с трудом, потому что коза бдительно мекала и норовила приложиться рогом или желтым оскалом к оскорбителю спокойствия. Однако через некоторое время усилия Карена были вознаграждены, и бородач открыл один глаз.

Вместо второго красовалось обширное бельмо, открыть которое не представлялось возможным.

— Почтеннейший, — в улыбке Карена прямо-таки выпирал намек на вознаграждение в случае доброжелательного ответа, — не подскажете ли, где здесь проживает бабушка Бобовай?

— Ах ты, прохвост, шакал и сын шакала!.. — просипело откуда-то из-за спины.

Поскольку борода человека на лавке даже не шелохнулась, а сиплый голос был скорее женским, то оставалось предположить, что заговорила коза. Повернувшись, Карен лишь укрепился в этом мнении: кроме козы, за спиной по-прежнему никого не было, а слюнявые козьи губы вызывающе шевелились.

— Бедная старуха живет себе тише мыши, никого не трогает, а эти проклятые так и норовят то пособие урезать, то от жилищного вспомоществования крысий хвост оставить, то шляются тут, вынюхивают, высматривают!..

— Извините, — сказал Карен козе, — но я не...

— Вон она живет, — вместо козы ответил бельмастый бородач. — Вон, на балконе, твоя Бобовай... Подойди, она тебя помоями окатит, а я смеяться стану.

И опять заснул.

Взглянув наверх, Карен и впрямь обнаружил по левую руку от себя серый балкон, полускрытый пыльной кроной акации, и всклокоченную старушечью голову над железными перилами.

Подходить за обещанными помоями почему-то не хотелось.

— Бабушка Бобовай, — наисладчайшим голосом начал Карен, вспомнив тон, каким в детстве разговаривал с мамиными товарками в надежде на сладости, — вы меня неправильно поняли!

— Правильно я тебя поняла, правильно, отродье трупоедов! — донеслось с балкона. — Бедная старуха живет себе, никого не трогает...

Относительно последнего заявления у Карена были изрядные сомнения.

— Я насчет квартиры! — в отчаянии заорал несчастный висак-баши, радуясь, что успел переодеться в штатское. — Мне сказали, вы комнату сдаете!

— А что, если и сдаю?! — Балкон был непреклонен. — Тоже мне, нашел повод медяк у старухи изо рта выдрать! Сдаю я, сдаю комнату, только приличным людям сдаю, а не всяким проходимцам вроде тех, что шатаются без дела да языком в чужих задницах ковыряются!

У Карена оставалось последнее средство. Хайль-баши Алибей велел прибегнуть к нему в крайнем случае, и этот случай, несомненно, наступил.

— Я от Худыша, бабушка Бобовай! — выкрикнул Карен и сразу замолчал в ожидании реакции, потому что и сам не понимал смысла сказанной фразы.

В кроне акации раздалось хриплое бульканье.

Не сразу Карен понял, что старуха смеется.

— От Фаршедвардика? Что ж ты сразу не сказал, уважаемый!

Подымайся, подымайся, тут ступеньки хлипкие, но тебя выдержат...

Вздохнув с облегчением, Карен уж было собрался проверить прочность ступенек, но ему помешала коза, решившая, что брезент его сумки намного вкуснее ржавой жести.

— Забери свою козу! — еле сдерживаясь, бросил Карен бородачу.

— Это не моя коза, — не открывая глаз, ответил тот. — Это ее коза.

И указал на балкон.

В конце тупика Ош-Дастан, невидимая из-за цветущего шиповника, стояла худая девочка лет двенадцати. Стояла, зябко кутаясь в тяжелую шаль с бахромой; смотрела, как незнакомый мужчина поднимается по скрипучей лестнице.

Смуглое лицо девочки не выражало ничего.

Совсем ничего.

ГЛАВА 3

ХАКИМ[1]

Лежит человек, сну доверясь,
лучом, перерубленным дверью.
А вена похожа отчасти
на чей-то неначатый путь.
И тихо в районе запястья,
как цель, пробивается пульс.

...Избитая до крови степь грохотала, качаясь и подпрыгивая под копытами коня, впереди стремительно росло и надвигалось облако пыли, в глубине его солнечными вспышками то и дело сверкала сталь, темные силуэты всадников сшибались с оглушительным лязгом, криками и ржанием, кто-то кулем тряпья валился под копыта, кто-то вырывался из пыльного пекла, чтобы тут же нырнуть обратно: рубить, колоть, резать — убивать или быть убитым.

Но думать об этом уже было некогда, потому что стена бурой пыли скачком придвинулась вплотную, и в полированном лезвии тяжкого эспадона-двуручника (старая лоулезская ковка, прадедовский меч!) на миг отразилось перекошенное яростью лицо — ЕГО лицо с развевающейся гривой льняных волос. Высверк стали со свистом рассек воздух, и еще раз — слева, справа; косо-боко валится наземь разрубленный до седла кочевник в мохнатом

[1] Хаким — учитель.

малахае-треухе, так и не успевший достать кривой саблей обманчиво неповоротливого гиганта, беловолосого гуля-людоеда. Становится тесно, он едва успевает рубить фигуры в удушливой пелене — рубить коротко, почти без замаха, ворочаясь в седле поднятым медведем-шатуном, снося подставленную под удар саблю вместе с частью плеча, отсекая бестолково топорщившиеся железом руки. Кажется, он что-то кричал, когда очередной клинок, устремившийся к нему, легко переломился в выгнутом бараньими рогами захватнике эспадона; получив наконец пространство для настоящего размаха, он очертил вокруг себя плоский круг, подбросив к небу выпучившую глаза голову в мохнатой шапке, чужую зазевавшуюся голову, кусок мертвой плоти, — и на миг запнулся, увидев совсем рядом знакомого воина в сияющем даже под пылью доспехе, в прорезном шлеме, в латных рукавицах (в правой — он знал это! — не было руки, но именно в деснице воин сжимал прямой меч-цзянь по прозвищу Единорог).

Вознеся над собой эспадон Гвениль в традиционном приветствии, он еле успел опомниться, сообразить, где он и кто он, — в лицо брызнуло горячим и красным: зацепили все-таки, ублюдки Хракуташа!

— Лоул и лорды! Н-на!..

Ответный удар двуручника, неотвратимый подобно рушащейся скале, расколол...

Словно подброшенный невидимой пружиной, он резко сел в кровати, закашлялся, давясь чужим хрипом, — и проснулся.

Сон. Всего лишь сон!

Но еще минуту назад жизнь была ослепительно реальна — тяжесть меча в бугрящихся мускулами обнаженных руках, искаженный белогривый лик, мимолетно отразившийся в полированном лезвии, гибнущие враги, резкая боль от случайного пореза, соленый привкус на губах...

Рашид тяжело вздохнул и почесал живот.

Неприятно обозначившееся в последнее время брюшко, словно дразнясь, оттопыривало пижаму.

Переел на ночь, что ли?

Иногда ему, скромному учителю истории, очень хотелось быть таким, как беловолосый гигант во сне, но... каждому — свое, как говаривал пророк Зардушт. Рашид аль-Шинби по праву считался отличным специалистом в области историй средних веков, от становления Кабирского Эмирата и до первой трети позапрошлого века, когда распухшая от непомерных завоеваний туша Империи начала трещать по швам и распадаться. Через тридцать лет, после многочисленных локальных конфликтов между самозваными эмирами, столицу перенесут в Дурбан, подпишут пакет соглашений с Кименой и Лоулезом (а потом и с ос-

тальными, вплоть до Ритунских островов) о невмешательстве во внутренние дела; окончательно получит международное признание упрямый Мэйлань, тут же затеяв кровавую возню с рвущимся на свободу Верхним Вэем, — впрочем, у бывшего эмирата обнаружится свой Верхний Вэй, именуемый Малым Хакасом...

Но это уже новая история.

И у нее другие специалисты.

Аль-Шинби прекрасно разбирался в холодном оружии, в тактике ведения конного и пешего боя, в защите и осаде крепостей — но из первой секции «рукопашки», куда он пытался записаться еще в детстве, Рашида выгнали как «бесперспективного»; из второй он ушел сам, не выдержав жестокости изнурительных тренировок и ненавидя себя за это; а тайная попытка лично воспроизвести подсмотренный на гравюре прием работы с алебардой привела к тому, что Рашид чуть не остался без ноги — длинный шрам на голени ныл на погоду до сих пор.

Так что Рашид в конце концов раздумал становиться похожим на героя древности и занялся тем, что у него действительно получалось: историческими исследованиями.

Каждому — свое; пророк Зардушт был прав.

Теперь хаким Рашид если и брал в руки один из хранившихся в дурбанском музее мечей — то с предельной осторожностью и лишь с единственной целью: снять размеры со старинного оружия, сделать несколько снимков в разных ракурсах или перерисовать в рабочую тетрадь загадочные руны, покрывающие клинок.

И упаси Творец, никаких выпадов или лихих рубящих взмахов! Собственные ноги дороже... да и экспонат испортить боязно, что ни говори.

Но наедине с собой хаким Рашид частенько переставал быть уважаемым специалистом и становился хилым неуклюжим мальчишкой, которого мучают все классические комплексы. Господи, Творец-с-сотней-имен, до чего же иногда хочется почувствовать себя не заплесневелым книжным червем, а настоящим мужчиной, который сидит в седле как влитой, одним ударом тяжелого меча перерубает древесный ствол толщиной в руку, который может, не поморщившись, осушить жбан крепкого кименского хереса, которого любят женщины (конечно, имеется в виду мужчина, а не херес)...

В конце концов, ему ведь всего тридцать два! Еще не поздно, еще есть время опомниться, похудеть, бросить курить... Но, бередя застарелые язвы, в глубине души Рашид аль-Шинби сознавал: мечтам суждено навсегда остаться мечтами.

И все же — нынешний сон... Вот как надо снимать фильмы! Это вам не дурацкий бесконечный сериал «Железная Рука» о Чэне-в-Перчатке!

К вящему стыду, Рашид согласился в свое время участвовать в подготовке этого, с позволения сказать, «шедевра» в качестве консультанта-историка. Тогда молодой выпускник Государственного университета фарр-ла-Кабир, собиравший материал для диссертации на тему «Смута Маверранахра и упадок рода Абу-Салим», был не только польщен и обрадован подобным предложением: он искренне надеялся, что получится дельная историческая картина, и стремился внести посильную лепту в благородное дело...

А что вышло?!

Ведь заранее же было известно, дорога в какое неприятное место вымощена благими помыслами...

Киношники внимательно выслушивали многочисленные замечания юного энтузиаста, листали принесенные им альбомы, даже делали какие-то пометки в своих блокнотах, благодарили, руку жали... А когда Рашида пригласили на просмотр первых двух серий, он чуть не упал со стула при виде разросшегося вдвое против реальных размеров Единорога (временами у крестовины меча открывался светящийся глаз, моргал и изрекал всякую чушь лязгающим фальцетом), ОСТРОГО четырехгранника-Дзюттэ за поясом у КРАСИВОГО шута Друдла и перекачанного дебила-блондина, вертевшего бутафорский двуручник-эспадон, как бамбуковую палку!

Рашид был так расстроен [illegible]щен, что поспешил оставить просмотровый [illegible], забыв потребовать, чтобы его фамилию убрали из [illegible]ров.

В результате там она и осталась, исправно кочуя из серии в серию под тенорок, гнусавящий за кадром: «Не возда-а-ам Творцу хулою...»; и когда аль-Шинби видел свое имя на экране (или получал по почте мизерный, но регулярный гонорар), у него всякий раз багровели уши.

Хаким прикрыл глаза и вновь ощутил тяжесть меча в руках, услышал хруст ломающейся в захватнике вражеской сабли...

Захватник!

У меча, что лежал под стеклом в дурбанском историческом музее, у изрядно подпорченного ржавой коростой эспадона, идеей реставрации которого Рашид болел последние полгода, захватник был обломан; и аль-Шинби все не удавалось выяснить, какую форму тот имел, когда еще был на месте.

Теперь он знал!

Круто загнутые, короткие и прочные «бараньи рога» с отсутствием заточки по иззубренной внутренней дуге. Сам видел... во сне. Сегодня занятий в мектебе[1] у него нет — надо непременно сходить в музей: проверить, сделать кое-какие замеры, наброски... Опять же он обещал Лейле навестить девушку «в ее одиноче-

[1] Мектеб — привилегированная светская школа, лицей.

стве» — прекрасная возможность совместить приятное с полезным.

С этой мыслью Рашид аль-Шинби выбрался из кровати и зашлепал в ванную, на ходу расстегивая пижаму.

Первые, еще мягкие лучи ослепительного южного солнца позолотили купола минаретов и антенны на крышах высотных домов — день понемногу вступал в свои права.

* * *

Непривычная пустота в правой руке остановила Рашида возле самого входа в музей. Ну конечно, его портфель вместе со всеми бумагами, рабочей тетрадью и миниатюрным фотоаппаратом «Око-3м» остался в учительской, в мектебе. Вот растяпа!

Рашид почесал в затылке, грустно вздохнул и решил прекратить самобичевание: раз уж он дошел до музея, следует зайти внутрь, а съездить в мектеб за портфелем можно и попозже.

И аль-Шинби неспешно поднялся по истертым ступеням двухэтажного особняка — памятника старины, который столичные власти восемь лет назад отвели под исторический музей, миновал ряд колонн, испещренных выбоинами еще от мушкетных [illegible] потянул на себя массивную ручку-грифона, открывая трехстворчатую дверь [illegible] ного дерева.

Всякий раз, когда он делал [illegible] ему казалось: там, за дверью, замерло в коме прошлое, и стоит только най[illegible] пособ реанимации, сбрызнуть недвижное тело живой водой...

Швейцар, несмотря на ранний час, восседавший за конторкой, почтительно поздоровался с «господином хакимом» — Рашида в музее знали все, от директора до уборщиц. Он работал тут не первый год, параллельно с преподаванием собирая материалы для докторской диссертации. За это время с помощью аль-Шинби был отреставрирован десяток ценнейших экспонатов, составлен новый каталог собрания музея; так что «господин хаким» имел не только право свободного входа в музей в любое время суток, но и неограниченный доступ как к витринным экспонатам, так и к обширным запасникам.

Остроглазой Лейлы, дипломницы университета ош-Дурбани, учившейся на реставратора и подрабатывавшей смотрительницей в музее, не оказалось в закрепленном за ней третьем зале — то ли задержалась, то ли выскочила за сигаретами.

Пунктуальностью старого швейцара Лейла не отличалась, зато имела массу других достоинств.

Улыбаясь невесть чему, Рашид постоял некоторое время перед узкой застекленной витриной, похожей на хрустальный гроб из сказки: в таких положено покоиться всяким Спящим

Красавицам. Но вместо красавицы на алом бархате лежал изрядно проржавевший эспадон (несомненно, родовое оружие кого-то из лордов Лоулеза!) с обломанным захватником и частью крестовины. На рукояти сохранились изъязвленные временем фрагменты накладок из слоновой кости, украшенные резьбой, и Рашид надеялся рано или поздно восстановить весь рисунок, а теперь, после удивительного сна — чем Иблис не шутит, когда Творец спит! — и захватник с гардой! Останется аккуратно снять ржавчину, заново отполировать и запассивировать металл — и будет эспадон, в шутку прозванный Гвенилем в честь полусказочного двуручника, как новенький! Ну, не совсем, но все-таки не очень старенький; припадет губами к клинку великий воин Брюхач аль-Шинби, и очнется меч от забытья, аки красавица во гробе горного хрусталя...

Историк вновь обругал себя за забывчивость; однако сейчас, в рабочее время, вынимать меч из витрины все равно бы никто не дал. Рашид немного успокоился, пообещав самому себе обязательно вернуться вечером, и неторопливо побрел из зала в зал, разглядывая по пути давно знакомые экспозиции.

Впрочем, на живую историю Эмирата он мог смотреть часами, всякий раз выгрызая новые мелочи из старой скорлупы: это качество успело принести аль-Шинби определенную известность в ученых кругах.

В ближайших залах экспонировались знамена и штандарты: Падающий Орел[1] на зеленом поле — эмирские стяги фарр-ла-Кабир; белоглавая вершина Сафед-Кух на черни — хоругвь хакасского рода Чибетей; голенастые драконы и ровные столбики иероглифов — Мэйлань и Верхний Вэй; серебристые лилии россыпью по треугольному щиту — Лоулез; бунчук о семи хвостах и рогатый череп на древке — Шулма; и дальше, дальше...

Дальше он не пошел.

Сделав небольшой круг, хаким вернулся в третий зал, где были выставлены превосходное холодное оружие и на удивление корявые доспехи эпохи Смуты Маверранахра — начала Огненного Века.

Лейла была уже там, с мягкой улыбкой поднявшись навстречу Рашиду со скамеечки в углу. В зале, кроме них, никого не было, так что почтенный хаким позволил себе перестать быть почтенным и обнял просиявшую девушку. «В плен я взят врагом коварным, в душный сладкий плен — что там дальше?.. Трам-пам-пам, тирьяри-яри, и не встать с колен! Эх, стихи стихами, а махнуть бы сейчас рукой на все, завалиться в ее каморку, запереться там и...» Увы, Лейла осторожно высвободилась, в ответ на недоуменный взгляд Рашида указав глазами куда-то ему за спину.

---

[1] Падающий Орел — звезда Ан-наср-аль-Ваки (Вега).

Историк обернулся.

Возле витрины с эспадоном стоял не замеченный им угловатый подросток, несмотря на жару почему-то завернувшийся в тяжелую шаль с бахромой. Мальчишка явно был поглощен созерцанием двуручного меча, игнорируя чужие поцелуи.

Лишь через несколько секунд до Рашида дошло, что никакой это не мальчишка, а девчонка лет двенадцати; более того, он видит ее здесь далеко не в первый раз, все чаще — у витрины с предполагаемым Гвенилем.

— Твоя знакомая? — шепотом, чтобы не нарушить благоговейную тишину, царившую в музее, поинтересовался историк у Лейлы.

— Просто девочка, — также шепотом ответила студентка. — Является регулярно, а в последнее время зачастила прямо с утра — вижу ее каждую неделю, если не чаще. Приходит — и стоит перед единственной витриной. Иногда час, иногда два. Бывает, что по залу бродит — только по этому. Странная какая-то...

Рашид ласково погладил Лейлу по плечу и шагнул к девочке.

— Что, оружием интересуешься? — весело спросил он. — Этот меч называется... — Хаким осекся, напоровшись на острый укоризненный взгляд, словно с разгону налетел на спицу. Так смотрят на случайного прохожего, потревожившего тебя на кладбище, когда ты стоишь у могилы кого-то из близких.

Или на бодрячка-доктора, когда ты проведываешь умирающего деда в доме для престарелых.

— Извини... — пробормотал Рашид, спеша отойти.

Девочка снова повернулась к витрине и застыла в почетном карауле, а историк вернулся к ожидавшей его Лейле.

— Я зайду вечерком? — заговорщицки прошептал он девушке на ухо, одновременно без особого успеха пытаясь выбросить из головы взрослую укоризну во взгляде несовершеннолетней девчонки. — Хочу повозиться с Гвенилем... и не только с ним!

— Ни в коем случае! — лукаво улыбнулась Лейла, обеими руками взлохмачивая черные как смоль волосы, завитые снизу таким образом, что прическа походила на шлем. — Я сегодня допоздна, пожалуй, и ночевать здесь останусь. И так бедной девушке страшновато, так еще и малознакомый мужчина...

Это была их обычная, ставшая традиционной игра, неизменно заканчивавшаяся на маленьком, но весьма удобном диванчике — он стоял в выделенной Лейле подсобной комнатке музея.

Или в квартире Рашида, на широкой пружинящей кровати.

Аль-Шинби уже давно подумывал сделать Лейле предложение, но все как-то не решался, а девушка его не торопила, хотя явно ждала от хакима соответствующих слов.

«Может, сегодня. Или завтра», — в очередной раз замялся

Рашид, понимая: непросто быть настоящим мужчиной, даже выпив предварительно жбан кименского хереса!

Поцеловав на прощание Лейлу, он заспешил к выходу из музея.

В любом случае сейчас следовало заехать в мектеб «Звездный час», где аль-Шинби, магистр истории и не последний человек в ученых кругах, преподавал историю средневековья ученикам старших и средних классов.

«Звездный час» по праву считался особенным мектебом.

ГЛАВА 4

ХАБИБ

А хочется повыше,
хоть чуть-чуть повыше,
А хочется подальше,
хоть чуть-чуть подальше,
Ах, как же это вышло,
как же это вышло?
Ведь мы такого и
не ожидали даже...

...Неизвестно, сколько суждено было Кадалю оставаться нищим энтузиастом, волшебником, неспособным наколдовать себе пару рубленых кебабов и стаканчик вина, если бы на его пути не возник Равиль ар-Рави — дородный громогласный красавец, обладатель густой черной бороды и хитрых глазок, при необходимости становившихся холоднее воды из горных потоков Бек-Неша; хозяин жизни, носящий безупречные дорогие костюмы — и аляповатые перстни с браслетами, единственным достоинством которых были размеры и вес; курящий лучшие дурбанские сигары «Дым отечества» — и стряхивающий пепел прямо на уникальный ковер тринадцатого века; человек с сомнительным прошлым, темным настоящим и, несомненно, светлым будущим.

Впрочем, люди, хорошо знающие Большого Равиля (а таких было немного; вернее, живых немного), полагали всю эту внешнюю мишуру не более чем ловко надетой маской.

Они были правы, знающие люди: и живые, и мертвые.

У Равиля ар-Рави была проблема: его двоюродный брат слишком полюбил тыкать себе иглой шприца в разные части тела, вместо того чтобы уделять внимание делам семьи; врачи оказались бессильны, убеждения — тщетны, а отрезать брата от источников зелья не мог даже Равиль. Особенно если учесть, что... хотя, пожалуй, не стоит учитывать личные обстоятельства семьи ар-Рави.

Себе дороже.

И тогда Большой Равиль обратился к Кадалю.

Каким образом один из шейхов «Аламута»![1] ,непервыйгод числившийся среди «горных орлов», вышел на скромного доктора, осталось неизвестным. Заявившись в небольшую квартирку Кадаля и упав в жалобно заскрипевшее под ним кресло, ар-Рави первым делом брезгливо стряхнул сигарный пепел в вазу с ломкими осенними астрами и заявил, что в гробу видал всяких колдунов-чудотворцев и прочих шарлатанов. Но сейчас у Кадаля появился шанс доказать обратное: если брат Равиля выздоровеет, то он, Равиль ар-Рави, будет готов немедленно уверовать в любую паршивую магию, Творца, шайтана, Восьмой ад Хракуташа и во все, что угодно господину Кадалю, плюс успешно подкрепит веру наличными...

В случае отказа у него, шейха Равиля, действительно возникнет повод увидеть господина доктора в гробу.

— Фото, — коротко бросил Кадаль в ответ на эту длинную тираду.

Равиль на мгновение опешил — он не ожидал столь делового ответа от мямли-докторишки, — и во взгляде «орла» промелькнуло нечто похожее на уважение.

— А теперь убирайтесь, — так же спокойно и сухо заявил Кадаль, получив десяток фотографий. — Можете прийти завтра, а лучше — через неделю, когда убедитесь сами, выздоровел ли ваш брат. Но имейте в виду — в моем доме пепел стряхивают в пепельницу.

И грозный Равиль молча ушел, даже не подумав перечить странному доктору, в котором недвусмысленно почувствовал дремлющую до поры силу.

Силу ар-Рави уважал.

Он вернулся через неделю, совершенно обалдевший: двоюродный брат в один день бросил колоться, и даже особой «ломки» у бывшего позора семьи не наблюдалось.

Аккуратная пачка казначейских билетов более чем солидного достоинства приятно удивила Кадаля, не привыкшего к высоким гонорарам. И когда искренне благодарный Равиль, долго жавший доктору руку, предложил стать его атабеком, то есть опекуном-покровителем, Кадаль недолго колебался. В конце концов, он будет делать то же самое, что и раньше. А если есть возможность получать за лечение хорошие деньги, почему бы ею не воспользоваться? Доктор Кадаль отнюдь не был святым — просто ему часто не хватало деловой хватки, — зато у Равиля последнее качество имелось в избытке.

---

[1] «Аламут» — клан организованной преступности. Название организации ведет свое происхождение от легендарного Орлиного Гнезда, резиденции Гасана ас-Саббаха, возглавлявшего секту асассинов в период ее расцвета.

Примерно через час новые партнеры ударили по рукам, и несколькими днями позже доктор Кадаль переехал в дорогой двухэтажный особняк, расположенный в самом фешенебельном квартале Западной Хины. Напротив, через дорогу, проживал хинский пайгансалар[1] с многочисленным семейством и сворой блудливых терьеров, а по левую руку возвышался дом господина сахиб-хабара[2], выстроенный городским архитектором по особому проекту. К счастью, сам Равиль обитал в том же квартале и быстро приучил заробевшего было Кадаля не теряться в высокопоставленной компании.

И уж тем паче не заикаться при каждом случайном «саламе».

Теперь люди Большого Равиля (Кадаль был далек от мысли, что его атабек занимается этим самолично) усердно подыскивали богатых клиентов, нуждающихся в услугах Кадаля, и приносили доктору фотографии «страждущих». Заказы в основном поступали не от самих больных, а от их состоятельных родичей, весьма довольных анонимностью лечения. Поначалу громилы-агенты тоже пытались принять участие в процессе, путано объясняя, как часто забивает косяки тот или иной обдолбай, но доктор всякий раз нетерпеливо обрывал:

— Не беспокойтесь, диагноз я поставлю сам.

Видимо, один из громил в конце концов удосужился разузнать, что значит страшное слово «диагноз», и поделился этой ценной информацией с товарищами. Или ар-Рави посоветовал «орлятам» не гадить в чужие гнезда — короче, больше люди Равиля не докучали доктору невразумительными пояснениями. А после восьмого удачного излечения к каждому комплекту [illegible] стал неизменно прилагаться внушительный аванс. Аналогичную сумму доктор получал через неделю после сеанса — когда состояние пациента [illegible] не вызывало никаких сомнений.

Сколько навара имел сам Равиль, доктор Кадаль даже не представлял, да и не очень-то задумывался насчет доходов атабека. Иногда он по-прежнему лечил людей бесплатно. Теперь он мог позволить себе подобную роскошь — именно как роскошь, как легкую, необременительную филантропию. Однажды ар-Рави, пронюхав об этом по своим каналам, решил было вразумить Кадаля, но доктор посмотрел на разоравшегося атабека, как смотрел иногда на фотографию несимпатичного ему пациента, и «орел», с хрустом захлопнув клюв, плюнул на ковер и ушел.

А Кадаль задумался: впрямь ли однозначно его неумение влиять на человека при личном контакте?

Позже, успокоив нервы и пригласив доктора отобедать в до-

---

[1] Пайгансалар — начальник полиции города.

[2] Сахиб-хабар — начальник почтового ведомства.

рогом ресторане, Большой Равиль с несвойственной ему деликатностью попросил, чтобы Кадаль хотя бы не распространялся о своей бесплатной практике. Если доктору по душе благотворительность — ради Бога, все не без греха, одни любят мальчиков, другие субсидируют музеи, но зачем же сбивать цены на свои услуги? Богатые клиенты этого не поймут.

Кадаль согласился, что атабек прав, выпил по поводу примирения бокал шербета и пообещал не афишировать случаи бесплатного лечения.

В общем, недоразумение было улажено, а вскоре между Кадалем и ар-Рави установилось нечто вроде своеобразной дружбы: оба безоговорочно признавали авторитет и незаурядные способности партнера в его области, но при этом симпатия Равиля носила легкий оттенок снисходительности к одаренному свыше, но абсолютно непрактичному «знахарьку», а Кадаль, в свою очередь, ценя деловую хватку и острый ум Равиля, относился к «горному орлу», как к большому ребенку, увлекшемуся опасной игрой и считавшему эту игру единственным смыслом жизни, что, по мнению доктора, было в корне ошибочно.

Но, независимо от нюансов, новые друзья хорошо ладили и были вполне довольны друг другом. Несколько раз они даже отдыхали вместе на курортах побережья Муала или в Озерном пансионате, расположенном в пригороде Дурбана на месте бывшего гарема правителя города.

Впрочем, любая из девочек, приезжавших по вызову в Озерный пансионат, могла дать сто очков форы гаремной наложнице по части умения ерошить мужчинам паховые перышки. Еще бы девочки были дорогие, а наложницы — бесплатные.

Самое смешное: до сих пор, заходя в [illegible] или чайхану, Кадаль искренне боялся, что [illegible] не хватит денег рассчитаться за стрижку [illegible] поджаристый лаваш. Динаров в кожаном портмоне достало бы завалить лавашами всю кладовку, а подстричь на эти деньги можно было бы целый хайль новобранцев — и вот поди ж ты!

Зато в присутствии Равиля доктор ловил себя на том, что начинает сорить деньгами.

Комплексы прошлого.

...Успешное сотрудничество друзей-партнеров продолжалось уже четыре года, но в последнее время кошки все чаще скребли на душе у Кадаля.

Теперь он хотел знать клички этих непрошеных кошек.

Доктор не догадывался, что для этого придется копаться на помойках бытия.

* * *

Взгляд скользил по мелким строчкам газетного шрифта, информация тонким, монотонно журчащим ручейком вливалась в мозг — и тут же падала в некий отстойник, минуя сознание, занятое сейчас совсем другим.

«Вооруженный маньяк застрелил из автоматической винтовки девять человек в центре Дурбана, после чего оружие взорвалось; преступник скончался на месте, не приходя в...»

Еще одно убийство-самоубийство — снова набитый песком ствол?!

Едва не перевернув кофе, доктор Кадаль порывисто вскочил и в два шага оказался у журнального столика, на котором лежала стопка старых газет недельной давности — хорошо, что прислуга не удосужилась их выбросить!

Нужные сведения буквально бросились в глаза: да, вот они — одно, два... и еще два случая подряд до боли знакомых самоубийств! Итого — пять. Столько же, сколько у Кадаля было пациентов с одинаковой манией! А ведь это неполные данные, причем только за последнюю неделю!

«И в трех случаях из пяти фигурируют револьверы марки «масуд»!» — отметил вдруг Кадаль. Возможно — совпадение, а возможно... Он не знал, что еще — «возможно». Возможно было все.

«Демон У меня побери! — обожгло доктора. — Неужели всю эту дрянь, кроме меня, никто не видит?! Или видит? Может, делом уже занялись соответствующие службы (Кадаль не очень представлял, какие именно службы в данном случае будут соответствующими) и я просто лезу не в свои шаровары? Только, во-первых, я еще никуда толком не влез, а во-вторых... похоже, влезу!»

Подойдя к телефону, он набрал номер Равиля. Шейха «Аламута» наверняка не было дома, но в последнее время ар-Рави всюду таскал с собой эту новомодную штучку — радиотелефон, так что Кадаль не сомневался: он сумеет вызвонить своего друга и атабека.

В кои-то веки доктору действительно понадобилась его помощь.

— Салам, Равиль... да, это я, Кадаль. Слушай, у меня к тебе просьба: скомандуй переслать ко мне в почтовый ящик... нет, не ящик, а... ну, телевизор с клавишами!.. точно! На мой КОМПЬЮТЕР все, какие найдешь, данные по Узиэлю ит-Сафеду... а что, есть еще один Узиэль, кроме теперешнего главы корпорации «Масуд»? Кончай ржать, я не собираюсь заняться промышленным шпионажем... да, естественно, именно официальные, доступные сведения, за которые не дают пожизненный зиндан! Сам? Я его боюсь, этот твой телевизор, а ты говоришь: сам... Что?

Включить? Зачем? А-а, понял! Ладно, включаю и жду!.. Да, позвоню вечером или завтра. Ас-салам!

Загадочный ящик с кнопками и небольшим телеэкраном принялся злобно бурчать на доктора, изрыгая невнятные гадости и мигая целым созвездием лампочек. Кадаль поспешил отодвинуться подальше — он стыдился признаться, что до сих пор побаивается компьютера, называя его про себя детищем Иблиса. Однако Равиль убедил доктора, что чудо техники может пригодиться, и заставил взять несколько уроков обращения с подозрительным ящиком у застенчивого очкарика — последний, уходя, всякий раз с завистью косился на Иблисово детище и бормотал под нос: «Везет же...»

Кому именно везет и кому должно было бы везти, если бы в мире царила очкастая справедливость, паренек тактично замалчивал.

Только теперь доктор понял, насколько прав оказался ар-Рави, всегда старавшийся идти в ногу со временем. На обзвон специальных хранилищ, архивов и библиотек, поиск нужных материалов и корпение над ними у Кадаля уже просто не было времени — властная уверенность в этом не поддавалась логическому осмыслению, будучи сродни знакомому ощущению слияния с чужим мозгом. Сколько их оставалось, кругов часовых стрелок по циферблату неведомого? День? Два? Неделя? Месяц? Хорошо бы — месяц. Но вряд ли. События развивались стремительно и фатально, надвигаясь из-за грани невероятного; и НЕвероятное постепенно становилось МАЛОвероятным, а затем — и ВЕСЬМА вероятным, норовя под шумок стать ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫМ. Что тогда? Человечество отыщет у себя висок, один на всех, и пустит в него пулю?

Предчувствие гигантским кракеном всплывало из потаенных, до сих пор скрытых от него самого глубин, — и Кадаль покорно внимал себе ДРУГОМУ, тому СЕБЕ, который знал куда больше обычного Кадаля, знал, пытался предупредить, никак не мог докричаться — и наконец-таки сумел: пусть не сам голос, но хотя бы отзвук, эхо дошло до сознания доктора, и теперь он просто не имел права отмахнуться от слабого отчаянного вопля из толщи души.

Доктор Кадаль боялся только одного.

Что боек уже ударил по латунному капсюлю, что неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начала свое короткое и плавное скольжение по нарезам ствола.

Что поздно отдергивать руку — все равно не успеть.

Поздно.

Он боялся этого — и отчаянно раздувал гаснущие угольки надежды.

Информация поступила через час, возвестив о себе радостным звяканьем в электронных недрах Иблисова детища.

Еще минут двадцать ушло у доктора на поиск пришедших файлов; следующие полчаса он выгонял их на экран, как измучившийся пастушонок гонит стадо разбредающихся овец. Но из первого раунда сражения с выкидышем прогресса Кадаль вышел победителем: на бледно-голубом экране все-таки высветилась надпись: КОРПОРАЦИЯ «МАСУД».

Далее шли рекламно-информационные разделы: история создания и развития; современное состояние; специализация; технико-экономические показатели и тому подобные сведения — безобидные, вполне годные для восприятия любым обывателем.

Немного освоившись и на ходу припоминая уроки очкастого завистника, Кадаль начал проглядывать раздел за разделом, забираясь во внутренние подкаталоги, испуганно выныривая из них, набирая в легкие воздуха и снова окунаясь в дебри цифр, фактов и терминов.

Если бы он еще знал, что ищет?!

Первый «звонок» прозвенел примерно часа через два — когда Кадаль, устав протирать слезящиеся от постоянного напряжения глаза, изучал раздел «специализация». Словно пуля-оса ударила в голову изнутри, разорвав пелену апатичного тумана, постепенно затягивавшую усталый мозг. И доктор внимательно вчитался в текст.

Зацепка?

То, что корпорация «Масуд» производила стрелковое оружие и в первую очередь знаменитые револьверы «масуд» 24-го, 38-го («ар-мушериф»), 45-го и 54-го калибров со множеством модификаций, было известно всем. Но, кроме револьверов и карабинов одноименной марки, «Масуд» производила также автоматическое оружие, бронетехнику, ракетные комплексы наземного базирования и артиллерию — это, пожалуй, оказалось для Кадаля новостью. Криминала тут не было ни на йоту — и тем не менее... Еще четыре известные оружейные фирмы вместе с принадлежавшими им заводами и конструкторскими бюро оказались фактически филиалами «Масуда»: корпорация, которую доктор считал просто ОДНИМ из крупнейших производителей оружия, на глазах превращалась в колоссального МОНОПОЛИСТА.

На всякий случай доктор Кадаль сходил в соседнюю комнату и еще раз сверился с газетами. Все совпадало: автоматический пистолет «гасан бен-гасан» и малокалиберный «шакал», из которых застрелились двое самоубийц последней недели, были изготовлены на дочерних предприятиях «Масуда». А это значило...

Ничего это не значило! Если почти все оружие в стране производится разросшейся амебой «Масуда», — информация закон-

ная, открытая и ни к чему не обязывающая, — то удивительно ли, что пятерка «маньяков суицида» застрелилась из пистолетов данной корпорации!

Но, с другой стороны, почему именно ЗАСТРЕЛИЛИСЬ — не повесились, не утопились, не зарезались, не выбросились из окна, не отравились газом или цианидом... мал ли арсенал возможностей свести счеты с жизнью?!

...Височная впадина лопается под напором — и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается...

Неужели ВСЕХ ИХ преследовал один и тот же кошмар?!

Остынь, дружище Кадаль! Копни статистику: наверняка окажется, что люди вешаются и травятся ничуть не реже, чем стреляются! Выбрось эту чушь из головы, занимайся своим делом: спасай тех, кого еще можно спасти, исправно получая соответствующий гонорар! А неспособных рассчитаться с Равилем — в меру сил спасай бесплатно, как делал до сих пор.

И смотри на себя в зеркало, не отводя взгляда.

Доктор Кадаль грустно вздохнул и продолжил поиски, параллельно раздумывая над кандидатурой психиатра, который возьмется вылечить некоего Кадаля от паранойи.

Интересно, за какой гонорар?

Был уже вечер, когда он добрался наконец до раздела «Узиэль ит-Сафед: некоронованный король. Глава совета директоров корпорации «Масуд» об оружии и о себе».

Кадаль отхлебнул чуть горчащего тоника из высокого бокала, на минуту зажмурился, пытаясь восстановить изрядно севшее зрение, — и нажал «ввод».

На экране возникло очень качественное цветное изображение: представительный лысеющий мужчина лет сорока пяти, одет в серый кименский костюм с длинными фалдами пиджака-фрака, стоит и держит в руках новенький револьвер «масуд» 45-го калибра; и не то чтобы целится из него в камеру, но щурится так, как если бы целился. Револьвер Узиэль ит-Сафед держал любовно и твердо, словно сына-первенца, сопящего в коконе из теплых пеленок.

Было что-то ненормальное, противоестественное в нарочитости позы, в прищуре стальных (под цвет костюма? или это костюм под цвет?..) глаз генерального директора-оружейника, прицеливающихся в зрителя (или в оператора?) из сына-револьвера...

Доктор Кадаль задумчиво рассматривал детали снимка: иглы черных зрачков, длинные, почти девичьи ресницы, разбегаю-

щиеся во все стороны лучики морщинок, презрительные складки возле тонких губ... Взгляд доктора скользнул ниже, будто сорвавшись с кручи лица ит-Сафеда, и Кадаль вздрогнул: на него уставился еще один презрительный черный глаз — зрачок револьверного дула. В гнездах барабана отливали золотом блестящие головки пуль, и весь хищный абрис оружия, казалось, говорил: «Сейчас, сейчас дернется курок-коготь, и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции...»

Изображение внезапно поплыло, размазалось под кистью вечно пьяного ретушера, как всегда бывало при удачном контакте, и, прежде чем провалиться в чужое сознание, доктор Кадаль успел обреченно подумать: «Вот и проверил. Значит, годятся не только фотографии...»

В следующее мгновение он был уже ТАМ.

* * *

Вокруг него и одновременно ВНУТРИ зыбко шевелились расплывчатые силуэты, напоминая готовящихся к схватке вэйских бойцовых рыбок-самцов; доктор никак не мог отследить их контуры, потому что и сам был одним из мерцающих призраков, но вместе с тем — ВСЕМИ ИМИ сразу! Искаженное до неузнаваемости сознание дробилось на немыслимое множество исчезающе малых частиц, чудом оставаясь целым, расплескавшись тонкой маслянистой пленкой по поверхности живого океана, в глубине которого шевелилась заточенная между солеными каплями нежить, не в силах прорваться на поверхность. Этот глубинный напор был древним, как само Время, его сила копилась давно, и сейчас тварь, стремившаяся разорвать сдерживающую пленку, была, как никогда, близка к завершающему рывку, к свободе, к ошметкам содержимого черепа, одного на всех... но — время еще не пришло. Скоро, уже скоро — но не сию минуту.

«Когда?!!» — не слыша самого себя, взвизгнул Кадаль, из последних сил цепляясь за остатки растаскиваемого в стороны «я»; в ответ беспокойно заворочались зыбкие силуэты, словно дивясь неожиданному вторжению и пытаясь рассмотреть странного пришельца целиком, вместо того чтобы рвать его на части.

Окружающий Кадаля кошмар на миг замер, и какая-то неуловимая часть ЦЕЛОГО пришла в особое движение. Это было уже не общее хаотическое брожение — нечто двигалось целенаправленно, оно сопровождалось все усиливающимся пароксизмом боли, и Кадаль-организм знал неясным знанием: тайна рождается в муках, чтобы быть безжалостно выброшенной из материнского чрева в никуда, исчезнуть, кануть в небытие...

Внутренности чудовищного, состоящего из миллионов от-

дельных элементов безликого существа, которым в этот момент был Кадаль, обожгло огнем, и кричащий раскаленный зародыш вырвался на свободу, мгновенно умчавшись прочь, чтобы дрожь извращенного наслаждения-гибели пробежала по гигантскому организму, чтобы боль от вошедшей в нервный узел тупой и ржавой иглы сменилась блаженным чувством, подарком наркотической белены, что течет по венам, разрушая тело, давая взамен возможность забыться, отрешиться от предчувствия неизбежной боли, и от ее наступления, и от ухода, за которым следует новый виток спирали отчаяния и тоски — мука, проклятие, но без нее ты уже не можешь, не в силах представить свое существование...

Сладостный, мучительный экстаз разрушения и смерти!

Кадаль закричал, с усилием вырываясь из засасывающей трясины нечеловеческого кошмара, — и, судорожно глотая ртом воздух, вынырнул на поверхность.

ГЛАВА 5

АЗАТ

Я открываю скрипучую дверь,
я выхожу из тьмы.
Я — это я,
зверь — это зверь,
мы — это мы.

— Пустите меня, я его р-резать буду!..
— Арамчик, миленький, сладенький!..
— Р-р-резать!.. От корня...
— Слушай, Арам, не кипятись, давай как мужчина с...
— Держите его! Соседушки, что ж вы попрятались?!
— Арамчик, родненький, ты его неправильно понял!
— Пр-равильно, сука! Р-резать...

Хор истошных воплей подбросил Карена на постели не хуже подъемного рожка, и опомнился бравый висак-баши только у окна, наскоро протирая заспанные глаза. Впрочем, единственное окно в комнате, выделенной новому постояльцу воинственной бабушкой Бобовай, выходило на другую сторону дома, и видеть из него можно было лишь трамвайную остановку и чахлый сквер за ней.

— Арамчик, я тебя люблю!
— Люби! Ты всех любишь, т-тварь!..
— Нож! Спрячь свой штырь, падла!

Дребезжащий трамвай вразвалочку подкатил к шаткому на-

весу, двое случайных прохожих стали помогать юной мамаше загрузить внутрь коляску с гукающим младенцем; но всего этого Карен уже не видел. Спешно натянув штаны, он, как был — взлохмаченный, голый по пояс, босой, — вымелся в темный коридор, чертыхаясь, больно угодил плечом в висящий на стене одноколесный велосипед, сослепу кинулся в первую попавшуюся дверь и вскоре оказался на балконе.

— Подобру ли спалось, гостенек? — как ни в чем не бывало осведомилась бабушка Бобовай, не отрывая горящего взгляда от происходящего внизу. Инвалидное кресло старухи подпрыгивало, отражая бурю чувств в бабушкиной душе, сама бабушка опасно напоминала престарелого коршуна хакасских скал, и Карен поразился прочности этого чудо-творения доморощенного механика из тупика Ош-Дастан.

Если сочетание разнокалиберных колесиков, алюминиевых трубок, дощечек и пластмассовых обрезков, именуемое инвалидным креслом, в состоянии выдержать темперамент полупарализованной бабушки...

А если кто-то и решит, что под чудо-творением и так далее имелось в виду отнюдь не кресло, а сама хозяйка Бобовай, то он тоже будет недалек от истины.

— Ах ты, чаушиный помет! Р-резать, тр-ребуху пороть...

— Иди себе умывайся, гостенек, это все ерунда, это Арамсолдат домой вернулся. Сейчас он бычка залетного подхолостит, коровище своей красоту наведет, отведет душеньку — и начнем всем тупиком столы накрывать. Я им долму сделаю, настоящую, с виноградным листом, со сметанкой чесночной... любишь долму, гостенек?

Карен понял, что с его стороны будет донельзя глупо запихивать старуху в комнату, слетать вниз по стене, цепляясь за виноградные лозы, и спасать непонятно кого от непонятно чего. Дитя кабирских закоулков, он прекрасно знал, что в таких домашних разборках больше всего достается непрошеным миротворцам, которые огребают двойную порцию тумаков. Поэтому висак-баши вздохнул, прокашлялся со сна, обеими руками пригладил волосы и, уже не торопясь, выглянул с балкона.

Напротив, у загаженной подворотни, прыгали два петуха и одна курица. Курица была, что называется, вся из себя и не только из себя: пышнотелая, с крашеными перьями, в ночной сорочке с многочисленными прорехами, и в блажном курином кудахтанье через слово мелькало «Арамчик», а через два — «миленький». При всем этом курица успела бросить оценивающий взгляд на полуобнаженного мужчину у перил балкона бабушки Бобовай, и многозначительное подмигивание чуть не заставило Каре-

на попятиться — столько в простом движении век было страсти и женского голода.

В одном же из петухов было несложно признать Арама-солдата, несложно, даже будучи с ним абсолютно незнакомым, — старшинская форма уз-баши и сиреневые петлицы стройбата говорили сами за себя. Карен прекрасно знал, из кого вербуются строительные части, особенно дорожные, предназначенные для работы на износ в труднодоступных местах. Не зря армейские мушерифы регистрировали любой смертный исход в частях дорожников (а также среди населения в результате конфликта с агрессивными полууголовниками), как «вызванный естественными причинами».

Наверное, если бы ревнивый Арам поднял сейчас голову и увидел на балконе висак-баши, с нехорошей улыбкой поглаживающего длинный шрам на предплечье — зарубку на память об одной деликатной встрече, — то позаботился бы буян-Арамчик резво убраться куда подальше.

Но Араму было не до того.

Уж чего-чего, а попользоваться своим огнем он не давал никому, всячески норовя это продемонстрировать во всеуслышание и рассмотрение.

— Р-резать!

— Ах, значит, так, ублюдок...

Второй петух резво отскочил в сторону, сверкнув фальшивыми перстнями и дутой золотой цепью на шее, и мигом подобрал увесистую штакетину. Ткнул ею в сторону Арама, почти сразу присел на волосатых ногах, смешно торчащих из цветастых трусов, ловко ударил с другого конца, норовя достать пах и прихватив штакетину посередине; завихлял кругом, загарцевал, вертя самозваное оружие и не отрывая глаз от Арамового ножа.

Неизвестно, видел ли он то, что видел Карен: армейский нож Арам держал щепотью, по-хаффски, даже когда перекидывал из руки в руку, так что из пальцев неизменно торчал только кончик бритвенно-острого лезвия; и петуху-гуляке грозили в худшем случае обильные порезы. Такие раны залечивают после всем двором, спрыскивая вином обиду и смытое легкой кровью оскорбление, а бывшие соперники хором проклинают слабых на передок баб и подвешивают курице по синяку с обеих сторон — ни дать ни взять печати на договоре двух уважаемых держав.

Карен покусал губу и собрался идти умываться.

— Тр-ребуху пороть... стер-рвень...

— Арам! Братан! Дай я его...

Цепкая старушечья лапка прихватила Каренов ремешок чище егерского крюка, и немедленно раздался властный крик бабушки Бобовай:

— Сдурел, Руинтан? Мозги в чаче утопил?! А ну брось ружье, ишак драный!

Руинтаном — по-дурбански «меднотелым» — оказался давешний бородач. То ли не удалось ему проспаться со вчерашнего, то ли успел он крепко добавить на рассвете, празднуя восход солнца, но вид у «меднотелого» был жалким. Его качало, он выходил из подворотни и все никак не мог выйти, за ним с меканьем тащилась взволнованная коза, по-прежнему привязанная к грязной щиколотке, и если бы не потрепанная двустволка у бородача в руках, то безобидней человека было бы трудно найти.

— Арам! Братан...

Карен понимал: не успеть. Оба ствола уже поднимались вверх, они плясали, дергались, не в силах сосредоточиться на блудливом петухе, но это было неважно, потому что один из стволов вполне мог отрыгнуть дробью или картечью, и тогда... Бабушка Бобовай отпустила ремешок Карена, скоренько пошарила в недрах кресла, и через секунду в ладонь висак-баши ткнулся кусок металла. Гнутый, клепанный с конца болт, с тяжелой граненой шляпкой, отполированный до блеска. И последнее, о чем Карену Рудаби, бывшему горному егерю, хотелось в эту минуту думать, так это о том, откуда болт взялся в инвалидном кресле старухи и какое предназначение выполнял.

— В голову цель, парень, — прошептала бабушка, и было в старушечьем голосе что-то, заставившее Карена вздрогнуть и оценивающе смерить расстояние между собой и бородачом. — В голову, милый... старая я, руки у меня... дрожат руки-то!..

Все произошло одновременно: слепящая молния дурацкого болта, совершенно не предназначенного для метания в пьяных бородачей, но тем не менее на удивление уравновешенного, — и похмельная судорога, заставившая корявый палец Руинтана дернуть спусковые крючки.

Двустволку неожиданно повело у него в руках, как идущий юзом грузовик по обледенелой дороге и сводящий на нет все попытки водителя совладать со взбесившейся громадой; грохот дуплета вышел сбивчивым, рокочущим, оба ствола лопнули [illegible] и дыма, ворачиваясь удивительным цветком в лепестках [illegible]ую сторону лица Руцветок взметнулся вверх, обласкав кра[illegible]ие исковерканное ружье полеинтана, — и в следующее мг[illegible], а бородач в другую, получив в челюсть тело в одну сто[illegible] шляпкой [illegible]оимого болта бабушки Бобовай.

А Карен уже несся вниз по возмущенно скрипящей лестнице.

— Ухо, — озабоченно пробасил бородач, садясь и неловко ощупывая голову. — Ухо мое...

— Тебе голову, пропойце, оторвать надо, а не ухо! — рявкнул

Карен и только сейчас заметил, что левая половина бородищи Руинтана сильно обгорела, а по шее течет кровь.

— Голову надо, — покорно согласился неудачливый стрелок. — Надо голову, а оторвало ухо...

И повернулся к Карену боком.

В изрядно прореженной гуще волос был виден жалкий огрызок, торчащий клочок хряща, измазанный красной жижей, а само срезанное осколком ухо бородач горестно держал в руке и разглядывал, страдальчески причмокивая.

— Может, пришьют обратно? — спросил он у Карена и сам себе ответил: — Хрена они пришьют, лекаря эти...

Перестала кудахтать курица, спрятал нож в чехол Арам-солдат, бочком-бочком убирался прочь петух-гуляка, норовя исчезнуть раньше, чем вспомнят о нем, причитала на балконе бабушка Бобовай, и шла по тупику Ош-Дастан двенадцатилетняя девочка в ветхом платьице.

Неспешно шла, как по ниточке, странным подпрыгивающим шагом.

Внимательно осмотрев изуродованное ружье и не найдя ни одной видимой причины для разрыва стволов, Карен перевел взгляд на девочку — ему стоило огромного труда сохранить внешнее спокойствие.

Спутанные черные волосы, тощая, нескладная фигурка, глазищи в пол-лица, костлявые плечики занавешены старинной шалью с бахромой; девочка как девочка, таких двенадцать на дюжину...

Именно из-за этой девочки хайль-баши Фаршедвард Алибей и приказал Карену поселиться на квартире у бабушки Бобовай; именно за этой девочкой висак-баши Рудаби должен был незаметно приглядывать, ни в коем случае не выдавая себя; именно эта девочка была на фотографии, которую Тот-еще-Фарш показывал Карену, только там шаль валялась у ее ног, тонкие руки-веточки в молящем жесте были вытянуты вперед, и на самом краю [illegible] смазанным пятном летело нечто мерцающее сизыми отблесками.

Карен смотрел на [illegible], а та смотрела на взорвавшуюся двустволку.

Так, наверное, глядят на раздавленного скорпиона.

...— Это моя правнучка, — сказала чуть позже бабушка Бобовай поднявшемуся на балкон Карену. И, подавшись вперед, крикнула девочке поверх перил: — Ну, чего стоишь?! Иди, с лозы листьев пообрывай, на долму-то...

ГЛАВА 6

ХАКИМ

А мы давно не видим миражи,
Уверовав в удобных теплых
креслах
В непогрешимость мудрого
прогресса
И соловья по нотам разложив.

Коридор был совершенно пуст. Рашид шел по блестящему, натертому мастикой паркету, едва подавляя мальчишеское желание разбежаться как следует и вихрем проехаться мимо окон. Но забава, естественная для вихрастого башибузука, предосудительна для почтенного хакима, — аль-Шинби только облизал языком отчего-то пересохшие губы и степенно двинулся дальше.

Не дойдя десяти шагов до учительской комнаты, на дерматине дверей которой красовалась табличка из бронзы с надписью «Ар-хаким», он остановился в замешательстве: доносящаяся изнутри перепалка отнюдь не подразумевала вторжения постороннего, пусть даже и коллеги.

— Мне надоели ваши отговорки! Желающий сделать что-либо ищет способы, нежелающий — объяснения!

— Если почтенный хаким-эмир соблаговолит...

— Не соблаговолит! Почтенному хаким-эмиру надоело благоволить к бездельникам! Или вам неизвестно содержание второго тома «Звездного Канона» великого Абу-Рейхана Беруни?! На носу Ноуруз, семя весеннего равноденствия, месяц Фравардин, Солнце неуклонно близится к Овну, а вы все не можете разобраться с этой девчонкой! В течение недели, максимум двух — вам ясна моя мысль, уважаемые?!

— Клянусь! Приму меры! Разобьюсь в лепешку!

— Вот-вот! Непременно примите и разбейтесь... вернее, примите или разбейтесь. Госпожа Коушут, а вас я убедительно прошу сопровождать мягкотелого надима[1] Исфизара и проследить, чтобы все прошло как надо! Я не расположен повторять сегодняшний разговор.

— Будет исполнено, господин хаким-эмир...

Табличка на двери содрогнулась, и из учительской комнаты поспешно вышли двое: государственный надим Исфизар, которого учащиеся давно прозвали Улиткины Рожки, и госпожа Зейри Коушут, сотрудница администрации мектеба с правом преподавания. Видимо, выговор самого хаким-эмира подействовал на обоих, как шпоры на оразмского скакуна: глаза разгоре-

[1] Надим — чиновник департамента образования, реже — культуры.

лись, ноздри порывисто трепетали, шаг превратился в чеканную поступь, и даже в рыхлом лице Улиткиных Рожек появилось что-то воинственное, не говоря уже о госпоже Коушут.

Это была презабавная парочка. Рашид посторонился, чтобы пропустить коллег, но те не обратили на него ни малейшего внимания. Пожалуй, встань аль-Шинби на дороге у Зейри Коушут и господина надима, они сшибли бы его с ног и прошлись бы по уважаемому хакиму, не замедлив шага. «Странные мысли, однако, иногда лезут в голову, — подумал Рашид, провожая коллег взглядом. — «Звездный Канон» Беруни, том второй... Что ж, у всех свои странности!»

С его точки зрения, руководство мектеба было помешано на астрологии — возможно, именно поэтому мектебу было присвоено имя Омера Хаома, знаменитого звездочета при дворе хаффского Малик-шаха, прославившегося составлением календаря «Джалали» и преследованием известного поэта того времени Гиясаддина Абу-л-Фатха. За эти преследования хаффцы прозвали Омера не Хаомом, а Хайямом, от слова «хайя», что означает «гадюка». Но прошлое остается прошлым, каким бы варварским оно ни было, а настоящее — настоящим.

Каждому учащемуся «Звездного часа» составлялся отдельный общий гороскоп, отдельный солярный, таблица биоритмов, диаграмма глобальных и частных тенденций; обучение велось по обычной программе, но непременно с учетом тайного влияния звезд — если небо противилось на этой неделе постижению альмукабалы[1], то семинары по данному предмету переносились на следующую неделю и весь мектеб сосредоточивался на этике, химии и физкультуре. Большинство ординарных хакимов относились к астрологии более чем равнодушно; но внушительное жалованье позволяло смотреть сквозь пальцы на любые причуды начальства и стоически сносить неожиданные перестановки в расписании.

Надо отдать должное, в «Звездном часе» была отличная успеваемость. И вовсе не потому, что половину учащихся составляли дети известных особ или их близких родственников. Да, семьи таких учеников изрядно субсидировали мектеб, подкрепляя динары своим влиянием; но вторая половина школьников делилась, в свою очередь, пополам — талантливые ребята, разысканные администрацией не только в Дурбане, но и во многих других городах страны, а затем переманенные в мектеб, и те счастливцы, чей жребий выпал в «Лотерее Двенадцати Домов». Последних брали, что называется, на полный пансион, невзирая на происхождение и достоинства.

Рашид вздохнул, выбросил из головы астрологию и специ-

---

[1] Альмукабала — раздел математики; в первоначальном значении — сокращение разных слагаемых в разных частях равенства.

фику формирования контингента учащихся (ишь, завернул, учителишка!); собрался переждать, пока господин хаким-эмир покинет комнату через вторую дверь, и только потом зайти туда за фотоаппаратом, но, приблизясь к подоконнику, обнаружил у батареи небольшой глянцевый листок.

Фотоснимок.

Еще минуту назад его здесь не было — не иначе выпал у госпожи Коушут или надима Исфизара, когда те торопливо двигались прочь от грозной комнаты «ар-хаким».

Рашид наклонился и поднял фотографию.

На переднем плане была запечатлена девочка, которую уважаемый хаким не далее как час назад видел в дурбанском музее, в третьем зале. Худой смуглый подросток в ветхом платьице, носатый, глазастый («Совсем тощий дэвочка!» — ухмыльнулся Рашид, неумело скопировав хакасский акцент), со странно неподвижным лицом. У ног девочки валялась старинная шаль с бахромой, тонкие руки тянулись вперед в молящем жесте, а у самого края снимка виднелось смазанное сизое пятно — что-то летело в неизвестность, за край кадра.

«...Солнце неуклонно близится к Овну, а вы все не можете разобраться с этой девчонкой!»

Что ж это за такой цветок Дурбана, которым интересуются все, вплоть до руководства мектеба?! Да и он сам, Рашид аль-Шинби, не исключение...

Пойти и отдать фотографию хаким-эмиру? Нет, еще раскричится, он и так не из приятных собеседников, а сейчас вдобавок гневается... Лучше, пожалуй, разыскать завтра госпожу Коушут и вернуть снимок ей. Мысль о реальном поводе заговорить с госпожой Коушут приятно ободрила Рашида. Он боялся признаться самому себе, что его тянет к Неистовой Зейри, но тянет не как мужчину к женщине, а скорее как полюс магнита к противоположному полюсу. Он был историком, она — сотрудником администрации с правом преподавания и вела семинар по астрологии в старших классах; Рашид был застенчив и скромен, Неистовая Зейри все свободное время пропадала в школьном тире, обожая стрелять и умея это делать; Рашид за всю жизнь ни разу не ударил человека, госпожа Коушут три раза в неделю посещала тренировки школьных охранников — те занимали спортивный зал в свободные от уроков часы. При взгляде на Неистовую Зейри застарелые комплексы Рашида разгорались с новой силой, вынуждая искать встречи или хотя бы мимолетного разговора с ней.

Идея обратиться к психиатру совершенно не вдохновляла аль-Шинби — да и что он мог сказать врачу? Почтенный хабиб, меня тянет к моей коллеге? Я рыхлый и неуклюжий — вылечите, умоляю!

Увы, хаким-историк абсолютно не интересовал госпожу Коу-

шут даже как собеседник: она была неизменно вежлива и равнодушна.

Лишь однажды она просидела вместе с Рашидом в давно облюбованной преподавателями кофейне около часа: это когда аль-Шинби за чашечкой кофе случайно заговорил о временах Смуты Маверранахра. Зейри Коушут, раскрыв рот, внимала рассказу о великих потрясениях и трагических переменах далекого прошлого, о взорванном Аламуте, Орлином Гнезде убийцы ас-Саббаха, о терроре оставшихся «птенцов», чьи ножи и яды успешно подрезали под корень древо правящей династии, и славный род эмиров Абу-Салим иссяк менее чем за полвека; об отравлении Чэна Анкора-Вэйского в далекой Шулме, о великой борьбе за бунчук власти между тысячником Джангар-багатуром, опекуном детей погибшего правителя, и западными нойонами-вольнодумцами — в результате степь была обильно полита кровью и засеяна костями, и еще в начале позапрошлого века нищей Шулме было окончательно отказано в присоединении к эмирату (хватало своих забот, чтобы взваливать на себя еще и чужие); об изобретении кименскими механиками ударно-спускового механизма, сменившего гаснущий от дождя и более громоздкий фитильный запал — в результате мушкетеры-наемники Кимены стали решающим доводом во многих затянувшихся спорах...

Он все рассказывал, историк аль-Шинби, толстеющий книжный червячок, все ковырялся в подгнившем яблоке прошлого, а госпожа Коушут внезапно потеряла к повествованию всякий интерес, зевнула и вскоре распрощалась.

Хай, пророк Зардушт-умница: каждому — свое?

Каждому.

Свое.

...Уединившись в учительской комнате, Рашид первым делом отыскал забытый портфель и, расчехлив фотоаппарат, убедился в том, что пленка закончилась. Впрочем, в отдельном кармашке у него хранилась запасная; сменив кассету, хаким уже собирался направить аппарат на стену и щелкнуть два-три профилактических кадра, как всегда поступал в подобных случаях, но неясный порыв остановил его руку.

Рашид достал из бокового кармана фотографию девчонки из музея и еще раз поглядел на нее.

Бросил снимок на стол, прикинул освещение и, наведя объектив на подобранный в коридоре листок, спустил затвор аппарата.

Как курок, подумалось хакиму.

Он улыбнулся, «передернул затвор» и трижды повторил процедуру.

Потом спрятал все, кроме фотографии нелепой девчонки, в

портфель, со снимком в руке вышел в коридор — и сердце сбивчиво екнуло, хотя никаких особых причин не наблюдалось.

Просто навстречу Рашиду вразвалочку шел хайль-баши дурбанской полиции господин Фаршедвард Али-бей.

Племянник гиганта-мушерифа, младший сын погибшего в Малом Хакасе канаранга[1] Тургуна Али-бея, учился в шестом классе мектеба «Звездный час».

* * *

Пару месяцев назад (или больше?.. хаким не помнил) Рашида обуяла беспричинная сонливость. Он только и делал, что прикрывал рот ладонью — челюсти раздирала необоримая зевота; встать утром по требовательному зову будильника было равносильно новому сотворению мира из подручных средств; и если раньше хаким не мог заснуть без таблетки-другой снотворного — возбужденный мозг отказывался расслабляться, — то сейчас...

Он стеснялся этого, он делал все, чтобы окружающие не обратили внимания на его зевающий рот, и поэтому лишь дней через десять заметил: он не одинок в поединке с коварной дремой. Зевали преподаватели мектеба, сладко потягивались ученики, на улице моргали воспаленными глазами дворники и мушерифы, водители трамваев клевали носами, дремали в приемных заждавшиеся посетители — и чиновники в кабинетах делали то же самое, подхватываясь в испуге и крича на дабиров[2], выворачивающихся от зевоты наизнанку.

Всем хотелось спать.

Поговаривали о разбившихся самолетах и сошедших под откос поездах — пригревшийся пилот или погруженный в забытье машинист не совладали с управлением. Светила медицины искали причину в накопившихся изменениях человеческого организма, обвиняя попеременно состав пищи, очистку питьевой воды и побочные явления употребления капель от насморка. Астрологи дружно кивали на число градусов возвышения и азимутальное число относительного дурбанского меридиана; им верили не больше, чем светилам медицинского небосклона, но резко вырос спрос на дешевые книжечки типа «Хочешь ведать свой конец — не забудь, что ты Телец!». Священнослужители валили все на разгулявшегося Иблиса и близкий Судный День: на дворе благополучно стоял пять тысяч девятьсот девяносто седьмой год от сотворения мира, и до шестого тысячелетия оставалось времени с гулькин нос, — а шайтан, как известно, радостно чихает от цифры «шесть».

Рашида не особо интересовали причины повальной сонли-

[1] Канаранг — начальник военного округа.

[2] Дабир — секретарь, делопроизводитель.

вости. Мало ли... как объявилась, так и пройдет. Он был фаталистом, подобно большинству интеллигенции, и разве что однажды позволил себе заглянуть в лечебный центр мектеба за каким-нибудь возбуждающим снадобьем — завтра предстояла серьезная работа.

По дороге туда хаким черной завистью завидовал Неистовой Зейри, грозному хаким-эмиру «Звездного часа» и еще нескольким сотрудникам администрации — эти неизменно были бодры и подтянуты, что на общем дремлющем фоне выглядело особо подчеркнуто.

Получив трубочку с белыми, не внушающими доверия таблетками, аль-Шинби заболтался с симпатичной лекарихой, а когда та выбежала на минутку, машинально взял со столика лист с чьими-то анализами.

Старая привычка — когда нечего делать, начинаешь читать всякую чушь, подвернувшуюся под руку. Газеты, программу телепередач, инструкцию к электрочайнику...

Это были данные повторного анализа мочи шестиклассника Валиха Али-бея, сына погибшего канаранга Тургуна и племянника хайль-баши Фаршедварда.

В моче почтенный хаким понимал примерно столько же, сколько симпатичная лекариха — в Смуте Маверранахра (последнее слово дамочка наверняка считала особо изысканным ругательством!), и поэтому Рашид почти сразу собрался положить листок обратно, но его заинтересовала предпоследняя снизу строка.

Там было сказано, что, согласно анализу, транквилизатор имеет место пребывать в указанной норме, и назывался вышеупомянутый транквилизатор точно так же, как снотворное, весьма знакомое аль-Шинби. Иногда он глотал синенькие капсулы, когда не мог уснуть, — но это «иногда» в текущем месяце не соизволило наступить. И без того веки по вечерам кажутся неподъемными... Впрочем, нельзя сказать, что Рашид очень уж возбудился при виде загадочной строки в анализе — возбуждающие таблетки гораздо лучше справились с дремой, жаль лишь, что временно; но некий зануда-червячок пробежался по закоулкам сознания: в сонном мире обнаруживается двенадцатилетний мальчишка, которому приходится употреблять снотворное?!

Неспящий Красавец?

Бред какой-то...

Встретив через день дядю маленького Валиха Али-бея — господин хайль-баши нередко проведывал своего любимца, — Рашид уж совсем было вздумал поинтересоваться здоровьем ученика и загадочным транквилизатором... но после первых «саламов» речь сама собой зашла про успеваемость, потом про финансирование мектеба, а затем в коридоре показался их превосходительство хаким-эмир, и Фаршедвард Али-бей направился к нему.

Через восемь дней мир перестал зевать.

А Рашид аль-Шинби напрочь забыл про анализ маленького Валиха — и вспомнил только сейчас, стоя в пустом коридоре и здороваясь с господином Али-беем.

— Что это у вас, уважаемый хаким? — странным тоном проговорил огромный мушериф, останавливаясь рядом.

Рашид опустил глаза и воззрился на оброненный госпожой Коушут снимок.

— Да так... — смущенно пробормотал историк. — Просто фотография...

Не объяснять же господину хайль-баши, в самом деле, предысторию находки — в очевидные вещи люди верят туго, еще решит, чего доброго, что уважаемый хаким увлекается юными девочками больше, нежели подобает работнику мектеба «Звездный час»!

Если шаль валяется у ног девчонки, возможно, на последующих снимках у ног станет валяться и все остальное?

— Разрешите? — Глянцевый листок птицей выпорхнул из пальцев Рашида, и Фаршедвард Али-бей принялся разглядывать изображенное на нем.

Круглое лицо хайль-баши озабоченно морщилось, реденькие бровки ползали у кромки коротко остриженной челки, и почему-то в ушах историка отдаленно прозвучали скрежет металла, ржание коней и грохот сшибающихся всадников.

— Замечательный кадр, — наконец прогудел хайль-баши. — Динамичный, образный, вдобавок это пятно у кромки... Не поделится ли почтенный хаким опытом: как ему удалось сделать такую потрясающую фотографию?

— Видите ли, — замялся Рашид, всеми фибрами души ощущая неуют и беспокойство. — Как вам сказать...

Но Фаршедвард Али-бей, казалось, его не слышал.

— Замечательно, — бормотал он, вертя снимок то так, то эдак. — Прекрасно... не подарите ли вы мне ваш шедевр? Полагаю, у вас остались негативы? Я даже согласен заплатить — работа того стоит!

— Что вы! Заплатить? Я не...

— Ну и чудненько! Ас-салам, господин аль-Шинби, до встречи!

Рашид тупо смотрел вслед удаляющемуся хайль-баши, проклинал свою застенчивость и понимал: десять минут назад рукой историка водила сама судьба, подсказав сделать несколько пробных копий с упорхнувшего снимка. Вернее, копий он еще не сделал, но — дай Творец, чтобы первые кадры не оказались засвеченными! — обязательно сделает, завтра или, в крайнем случае, послезавтра, после чего отдаст госпоже Коущут...

«Или вообще не отдавать? — внезапно подумал аль-Шинби. —

Никто меня, поднимающего фотографию, не видел; этот жирный мушериф-фотолюбитель наверняка уверен, что я сам снимал дурацкую девчонку...»

Так и не решив до конца, что он будет делать, Рашид направился по коридору к лестнице, ведущей на первый этаж.

Ему никак не удавалось избавиться от ощущения, что его только что обокрали.

Пустота гулко подсмеивалась над каждым шагом хакима.

ГЛАВА 7

ХАБИБ

Что-то не так? —
но выключи свет.
Пусть темные мысли
приходят к тебе.
Сны о лгунах,
сны о войне,
сны о драконьем огне
и сны о тех тварях,
что норовят
тебя укусить во сне.

Он лежал на полу, лицом вверх, глядя в салатного цвета потолок, расписанный тонким витиеватым орнаментом. Кадаль не знал, сколько прошло времени, сколько он пробыл... даже не в обмороке, а в каком-то сумеречном, нереальном забытьи, в мутном НИЧТО без времени, без пространства, без жизни и смерти.

Голова не просто раскалывалась от боли — создавалось впечатление, что перезревший орех давным-давно раскололся от напора изнутри и теперь в дымящихся остатках мякоти копошатся злые красные муравьи, все глубже вгрызаясь в бугристую плоть.

Доктор Кадаль терпеть не мог таблеток, но чутье раненого животного подсказывало, что одним точечным массажем ему не обойтись. С немалым усилием встав на четвереньки, он добрался до ореховой тумбочки в углу комнаты, зубами вцепился в полумесяц медной ручки (оторвать от пола хотя бы ладонь было равносильно новому обмороку), выдвинул на себя верхний ящик, и, когда тот упал на ковер, он позволил и себе рухнуть рядом, после чего вслепую нашарил упаковку нейролгина.

Минут через двадцать полегчало. Экран Иблисова детища все еще злорадно светился, но содержавшийся в нейролгине транквилизатор уже начал действовать, так что доктор, погрозив голубому квадрату кулаком и жадно допив остававшийся в бокале тоник, поплелся в спальню.

Уже выключая свет, он вдруг понял, что боится.

Боится спать.

Боится гостей, что могут прийти к нему во сне.

Но когда изнеможение склонилось над кроватью и поцеловало его в лоб, страх отошел в сторону и уступил место сну.

* * *

Нет, он не хотел застрелиться, ему отнюдь не снилась скользящая по нарезам ствола пуля — но злой красный муравей, один из многих, всю ночь пытался добраться до него. Это доктор знал точно. Пытался, но не мог нащупать нужную дорогу своими усиками, словно вдруг ослеп, потерял чувствительность, или он, доктор Кадаль, стал для муравья невидимым. Насекомое было рядом, тельце цвета запекшейся крови неутомимо рыскало в беззвездной ночи, пытаясь прорвать завесу мрака или хотя бы просочиться сквозь нее — но тьма не ведала пощады.

А к утру муравья позвал муравейник.

Кадаль проснулся разбитым вдребезги, как уроненный на бетон фарфоровый чайничек, хотя головная боль практически прошла. Заставив себя сжевать бутерброд и выпив вместо одной две чашки крепчайшего кофе, доктор взялся за телефон.

— Равиль? Нам надо встретиться. Да, раскопал. Возможно, у меня попросту не все в порядке с головой, но это вряд ли... Говоришь, и раньше не в порядке было? Может быть... Это не телефонный разговор. Почему именно ты? Потому что мне больше не с кем посоветоваться! Да ни за кого я тебя не принимаю, но надо что-то делать! Хорошо, хорошо, ровно в три в «Розарии». Ассалам.

Со дня их первой встречи Равиль совершенно не изменился: дородный, бородатый, громогласный вулкан, вечно окутанный клубами сигарного дыма и засыпающий все вокруг равномерным слоем пепла — при этом каким-то чудом ухитряясь не запачкать собственный костюм. При виде атабека доктору сразу полегчало: от ар-Рави исходила такая энергия, такая аура плотской материальности, что в его присутствии все мрачные кошмары развеивались сами собой.

«Шизофреникам надо его показывать, — подумалось ни с того ни с сего. — Трижды в день, после еды. Мигом вылечатся. Вот и мне уже лучше...»

— Ну, докладывай, знахарек! — прогудел Равиль, огрев Кадаля ладонью по плечу и плюхаясь в кресло напротив.

— Для начала — закажи что-нибудь выпить.

— Ты же не пьешь! — искренне изумился Равиль, неодно-

кратно пытавшийся в прошлом совратить доктора на адюльтер с рюмочкой.

— С этого дня — пью.

— Вах, праздник, пир горой! — обрадовался «горный орел», щелкая пальцами на весь «Розарий». — Вина! Лучшего в мире вина мне и моему другу! Ширазского мускателя!

— Пусть принесут коньяк. Помнишь, ты еще говорил, какой лучше... а, вспомнил — «Старый Кабир».

— Ого! Ну ладно, коньяк так коньяк, тоже дело хорошее. Присоединяюсь.

После первой рюмки Кадаль некоторое время сидел, прислушиваясь к новым ощущениям, снова наполнил крохотную хрустальную емкость и только тогда заговорил:

— Даже не знаю, с чего начать, Равиль... Ты ведь в курсе, как я работаю? Вкратце: беру фото, смотрю и... и лечу. Нет, я не способен прочесть мысли клиента, не раскатывай свою волосатую губу, но я чувствую фобии, что его угнетают, ощущаю их, как собственные недуги, как больную печень или язву желудка, я хочу выздоровления — и оно приходит. Вот... вот и все.

Равиль согласно кивнул — Кадаль уже когда-то рассказывал ему об этом — и стряхнул пепел в стаканчик с бумажными салфетками, хотя рядом стояла нетронутая перламутровая раковинка.

— Короче, вчера я случайно влез в голову к одному человеку.

— К кому? — подался вперед ар-Рави, и влажные глаза шейха на мгновение сузились.

— Ты уже понял, к кому. К Узиэлю ит-Сафеду, главе совета директоров «Масуда».

— Ты с ума сошел! — выдохнул Равиль, и доктору на мгновение показалось, что случилось невероятное: его друг и атабек напуган.

— Я ЧУТЬ не сошел с ума. Ит-Сафед... не человек, Равиль! Он только притворяется человеком! Он... он чужд нам больше, чем жужелица, чем дождевой червь!

— Не мели ерунды! — Равиль уже успел взять себя в руки, став прежним вальяжным атабеком, и принялся неспешно пить коньяк мелкими глоточками. — Ну, допустим, что у ит-Сафеда проблемы с мозгами — не буду спорить, тебе виднее, хотя я-то с ним знаком лично... виделись пару раз на приемах. Человек как человек, руки две, ноги две, уши на месте...

Равиль вздрогнул и пролил коньяк на галстук.

— Ты что, его вылечил? БЕСПЛАТНО?!! — дошло вдруг до атабека.

— Я его не вылечил, — тихо произнес доктор Кадаль, отхлебнув из рюмки и не почувствовав вкуса. — Его не может вылечить никто. Если Узиэль ит-Сафед — человек (в чем я лично сомневаюсь), то у него какое-то совершенно жуткое расщепление сознания! Множественная шизофрения, если можно так выразиться.

Тысячи, миллионы микросознаний... не сознаний даже — микропсихик, что ли? — объединенных общей маниакальной идеей.

— Сам ты микропсих! — натянуто улыбнулся Равиль. — Тоже мне: здоровый знахарь Кадаль и больной господин ит-Сафед... И что же это за идея?

— Тотальный суицид! Добровольное самоубийство — но самоубийство непременно ВСЕХ!.. И, по-моему, оно заразно.

— Не понял? Ну пусть даже Узиэль — шизофреник, но как можно заразиться чужой дурью?! Половым путем? Вроде триппера?

— Не знаю. До сих пор я не говорил тебе, но у нескольких клиентов, которых я вылечил за последний год, были совершенно одинаковые, совпадающие даже в деталях кошмары. Равиль, это были ЕГО кошмары! А скольких еще они преследуют? Сколько несчастных уже покончили счеты с жизнью или сделают это сегодня, завтра, через неделю?!

— Кончай орать, — поморщился ар-Рави. — Не на скачках. Я не понял и половины из того бреда, что ты тут наговорил, но допустим даже, что ты прав — до сих пор в своем деле ты обычно оказывался прав. Допустим. Ну и что с того?

— Как — «что»?! — опешил Кадаль.

— Пей коньяк, знахарек. Что ты лично намерен предпринять? И чего ждешь от меня? Думаешь, я выплюну сигару и побегу грызть врага зубами? Ты неверно думаешь, приятель... Если Узиэль ит-Сафед — сумасшедший, то он опасный сумасшедший, а я не расположен дергать чауша за усы. Говоришь, его дурь заразна?

— Да, — кивнул доктор.

— Те, кто ухитрился заразиться, плохо спят по ночам и пускают себе пулю в лоб. Кое-кому ты успел помочь, но многие, как ты считаешь, обречены. Так?

— Так.

— Тогда возникает несколько вопросов. Первый: почему псих ит-Сафед до сих пор не застрелился сам?

— По-моему, он хочет умереть только вместе со всеми людьми. — Доктора передернуло от собственных слов.

— И ждет, пока вся держава застрелится из его пистолетов? Долго ждать придется. Ну, допустим. Ты не находишь, что сегодня у нас день допущений? Второй вопрос: как, по-твоему, передается наш огнестрельный насморк?

— Предполагаю, через оружие, произведенное корпорацией «Масуд»!

— Ты предполагаешь?

Голос Равиля стал тихим и вкрадчивым, это не предвещало ничего хорошего, но Кадаль уже не мог пойти на попятный.

— Я рад, я очень рад, дружище... Ну тогда — последний вопрос: КАКОГО ШАЙТАНА Я ЗДЕСЬ СИЖУ И СЛУШАЮ ВСЮ ЭТУ ДЕРЬМОВУЮ ЧУШЬ?!! — заорал, багровея, ар-Рави, и

доктор Кадаль невольно вжался в кресло. На мгновение ему стало страшно, но он все же пересилил себя.

— Потому, — почти прошептал он, — что безумие ит-Сафеда пыталось добраться и до меня, Равиль.

— Что?! — Ар-Рави растерянно заморгал и пропустил тот момент, когда стеклянная вращающаяся дверь ресторана пришла в движение, пустив по залу веер неярких бликов от мягко горевших под потолком ламп. Спустя секунду в зале возник человек в длинном плаще болотного цвета. На бледном заострившемся лице безумные глаза горели, словно фасеточные блюдца стрекозы на летнем лугу, а в руках человек сжимал автоматическую винтовку «бастард».

Пришелец не стал терять времени даром: из ствола «бастарда» с грохотом вырвалось рыжее пламя, затрепетав у дульного среза нанизанной на булавку огненной бабочкой; пули веером, как за миг до того блики света, прошлись по залу, ударяя в брызгающие щепой столы, графины и бокалы на тонких ножках, разлетающиеся дождем сверкающих осколков, в не успевших ничего понять посетителей, окровавленными куклами швыряя их на пол, исполняя короткую и гибельную симфонию смерти.

Ар-Рави с неожиданной для его габаритов прытью метнулся к Кадалю, опрокидывая доктора на пол вместе с креслом и одновременно выхватывая из наплечной кобуры пятнадцатизарядный «гасан». Сидевший за соседним столиком субъект (доктор признал в нем одного из громил-агентов) профессиональным жестом вскинул «барс»-автомат, но выстрелить не успел: судорожно плюющий огнем и металлом «бастард» взорвался в руках человека в плаще, ударив в лицо маньяка оплавленными осколками металла.

Человек молча повалился на спину, разок-другой дернул ногами и застыл.

Тишина оглушила зал; потом послышались стоны, истерические всхлипывания, зашевелились люди на полу — те, кто уцелел...

— Говоришь, безумие ит-Сафеда пыталось добраться и до тебя? — медленно пробормотал шейх «Аламута», выделяя каждое слово, и завороженно уставился на свой «гасан», из которого так и не успел выстрелить.

* * *

— Разумеется, случайность! Просто маньяк какой-то! Если б это был убийца — он бы сразу начал стрелять в меня... — в сотый раз пытался убедить Кадаль своего атабека.

Большой Равиль в ответ только хмурился, ожесточенно жевал сигару и время от времени огрызался:

— Случайность? Не бывает! Не успел ты сказать, что до тебя пытались добраться, — и следом вламывается этот тип!

— Но, Равиль! Я же имел в виду совсем другое! Не убийцу с ружьем, а безумие ит-Сафеда...

— Помолчи. Дай собраться с мыслями, — с неожиданной усталостью бросил ар-Рави, и Кадаль немедленно умолк.

А Большой Равиль, откинувшись на заднем сиденье черного «Чауша» рядом с перепуганным доктором, попытался сосредоточиться.

Возможно, у знахарька наконец потекла крыша, чего Равиль подспудно опасался все четыре года их знакомства и совместной работы. И если бы не убийца с «бастардом», ар-Рави в конце концов склонился бы именно к этому выводу. Но покушение в ресторане все резко меняло. В огнестрельные совпадения «горный орел» не верил. Что, если за бредом знахаря стоит нечто реальное? Что, если Кадаль действительно влез в чужое логово и теперь на него объявлен сезон охоты?

Если так, самым правильным было бы бросить доктора на произвол судьбы, оборвав с ним всякие контакты: связываться с шакалами из «Масуда» Равилю не хотелось. Дружба — дружбой, а при запахе жареного каждый спасает собственную шкуру.

Но, кроме приятельских отношений, имелись куда более веские причины не спешить самоустраниться. Более веские, чем симпатия, и даже более веские, чем деньги (надо сказать, оч-чень неплохие деньги), полученные «горным орлом» за счет сотрудничества с доктором. Эти причины именовались связями. Оч-чень нужными связями, возникшими у ар-Рави за то время, пока доктор Кадаль лечил поставляемых ему Равилем клиентов.

Благодаря знахарьку Большой Равиль стал незаменимым человеком в весьма высоких кругах; многие люди, чьи имена стараются лишний раз не поминать всуе, были обязаны ар-Рави жизнью и здоровьем своих близких; благодарность открывала многие двери куда лучше любой из известных ар-Рави отмычек.

Сейчас он мог в одночасье потерять все. За спиной ар-Рави и так уже шептались: «Не иначе как Большой Равиль прибрал к рукам какого-то святого!», и «горный орел» знал об этом; если чудесные исцеления, за которые не брался никто, кроме него, разом прекратятся, долго ли Равиль сможет жевать печень своих врагов?

С другой стороны, если доктор вдруг окажется прав и выяснится, что Узиэль ит-Сафед — действительно опасный сумасшедший, не получит ли он, Равиль ар-Рави, весьма действенный рычаг для давления на корпорацию «Масуд»? От банального шантажа до... У Равиля на мгновение даже захватило дух, когда он увидел открывающиеся перед ним перспективы. Но рычаги рычагами, а отдавать на заклание курицу-знахарька, несущую золотые яйца, шейх не собирался.

— В аэропорт, — коротко бросил ар-Рави водителю.

— Ты куда-то собрался? — удивленно поднял брови доктор Кадаль.

— Мы собрались куда-то, МЫ, дорогой доктор! — ухмыльнулся в ответ «горный орел».

— Погоди, Равиль, как же так? Надо предупредить прислугу...

— Ерунда! — отмахнулся атабек. — Работа не лиса, прислуга не крыса! Мы летим в Дурбан, в Озерный пансионат. По-моему, приспело время взять судьбу за бороду и немного расслабиться... («А заодно убраться подальше от возможных охотников», — не стал уточнять Большой Равиль.)

— А как же...

— Я сказал — не беспокойся. Этим делом займутся мои люди. Ты же хотел, чтобы я что-то сделал? Вот я и делаю!

— А...

— Все! Больше никаких вопросов! Мы летим в Дурбан. Кстати, супруга мне давно плешь проела: пора, мол, папаше родную дочку проведать — она как раз там учится! А потом: пляж, нарды, секс, бар — и никаких дел! Как только мои люди что-нибудь раскопают, я тебе сообщу.

Когда они уже поднимались по трапу на борт лайнера рейса Хина — Дурбан, в кармане у Равиля запищал радиотелефон. Ар-Рави бросил в трубку что-то неразборчивое, с минуту внимательно слушал, и лицо его постепенно мрачнело.

Семейный вазирг[1] сообщал, что проверка связей стрелявшего ничего не дала. От него не тянулось НИКАКИХ нитей. Убийца был чист, как младенец, едва появившийся на свет, но, вместо первого крика, открывший огонь из автоматической винтовки «бастард».

Последнее встревожило Равиля больше всего. Кадаль был прав: кебаб их дела вышел подгоревшим.

ГЛАВА 8

АЗАТ

Долгая жизнь с мерзавцами
Даже и богам не прощается.
Последняя заповедь
В ночи вверх ногами качается.

Голова раскалывалась одновременно от дичайшего похмелья и от телефонного разговора с хайль-баши Али-беем; Карену очень хотелось узнать, от чего же все-таки больше, — и после этого умереть спокойно.

[1] Вазирг — советник.

Когда хайль-баши равнодушно сообщил, что не намерен видеть звонившего у себя в течение ближайшей недели, Карен чуть не сорвался, минут пять молчал в нервно гудящую трубку телефона-автомата и только после этого решился: набрал пятизначный номер, который дал ему для экстренной связи седой кабирец, похожий на птицу.

Ответили не сразу.

Зато когда ответили, голова стала болеть в два раза сильнее: на том конце провода сухо прозвучала условная фраза, тайный смысл которой сводился к указанию подчиняться приказам Фаршедварда Али-бея вплоть до особых распоряжений.

И Карен пошел подчиняться.

Всю обратную дорогу до тупика Ош-Дастан, где уже небось вовсю начинали догуливать вчерашнее возвращение Арама-солдата, он размышлял о несовпадении ожидаемого с действительным. В Кабире, побывав в доме по Ас-Самак, 4/6, он представлял себе свою будущую деятельность как-то иначе... неясно, как именно, но иначе. В глубине души крылось смутное подозрение, что похожий на птицу седовласый просто-напросто подобрал вышедшего в отставку горного егеря после трагедии с его матерью, подобрал подобно мятой железке на дороге, из каких-то определенных и абсолютно непонятных Карену целей; и выданная бляха мушериф-эмира вкупе с ишрафом на сбор информации значили пока что не больше, чем пробитый трамвайный талон. Тем паче что их и предъявлять-то можно было в случаях совершенно экстремальных. Но все же, проходя трехмесячную подготовку в ведомстве седовласого (звание и должность последнего так и остались загадкой для висак-баши), забыть хотя бы на миг стреляющие хакасские скалы и мертвую мать-убийцу позволяло лишь предвкушение возможной мести. Мести неизвестно кому и непонятно за что — за «Проказу «Самострел»? За драку с курбаши Перозом? За несложившуюся жизнь? Но независимо от этого Карену все чаще представлялось, как он направляет ствол на врага и жмет спусковой крючок.

Лица врага он не видел, а непредсказуемость поведения собственного оружия только придавала остроты ситуации.

Висак-баши Карен Рудаби всерьез полагал, что сходит с ума.

Однажды он поделился этим предположением с седовласой птицей; та грустно разинула клюв и хрипло каркнула:

— Ты полагаешь, мой мальчик, что я предложил бы тебе работу, будь ты психически здоров? Посмотри на меня — как тебе кажется, со мной все в порядке?

Карен посмотрел и не нашелся, что ответить.

Нет, попойка имени Арама-солдата еще не началась, к неописуемому счастью Карена. Прибранные на скорую руку столы одиноко поскрипывали от воспоминаний о прошедшей ночи;

три женщины мыли посуду у водяной колонки, и висак-баши задумался, пытаясь припомнить: с какой из женщин он вчера прилюдно целовался, перемежая липкие поцелуи рассказами о... о чем?

Не приведи Творец, это была Арамова курица!

На скамеечке, где полагалось лежать козьему пастырю Руинтану-Корноухому, сидела еще одна женщина, которой было никак не место в тупике Ош-Дастан. Строгий узкий костюм, скроенный по последнему слову лоулезской моды, очки в позолоченной оправе, белый воротник блузы тончайшего сукна заколот дорогой булавкой с сапфиром, и завершали картину летние кожаные ботинки — предмет зависти менее обеспеченных дурбанок.

По этой... э-э... даме было очевидно, что встречают действительно по одежке. Тем более что внешность самой дамы была в некотором роде — никакой. Миловидная, но не красавица, стройная, но без изюминки; возраст средний, особых примет нет, в другом месте — человек-невидимка.

Дама пристально изучала содержимое раскрытой папки из тисненой кожи, лежавшей у нее на коленях, и что-то бормотала себе под нос.

— Кейван[1] в экзальтации... — донеслось до приблизившегося Карена. — Ах, стерва маленькая!..

Поклонница экзальтированного Кейвана вдруг оторвала взгляд от бумаг, словно учуяв постороннего, равнодушно улыбнулась Карену и продолжила свое занятие, но уже молча.

— Ты куда?! — раздался с балкона знакомый вопль бабушки Бобовай. — Куда ты?! Ну выслушай хоть до конца! Стой!

Лестница пропела хроматическую гамму, и бабушкина правнучка вихрем слетела вниз, всплеснув бахромой неизменной шали. Следом за девочкой выбрался и стал спускаться рослый мужчина в костюме тех же пегих цветов, что и у дамы; под его лаковыми туфлями лестница бурчала в раздражении — видать, нечасто ей приходилось отдаваться государственным надимам.

Не обращая на Карена ни малейшего внимания, дама в очках поднялась со скамейки и непринужденно загородила дорогу остановившейся девочке. Та вскинула голову, крест-накрест расположила взглядом возникшее препятствие и затопталась на месте.

— Госпожа Коушут! — воззвал с лестницы рослый надим, спускаясь с крайней осторожностью. — Объясните хоть вы ей! Такое везение случается раз в жизни... госпожа Коушут, я вас умоляю!

Дама по имени Коушут приблизилась к правнучке бабушки Бобовай и ласково взяла ее за руку, чуть повыше запястья.

---

[1] Кейван — Сатурн; дословно «Князь князей».

— Милочка, — пропело мелодичное контральто, совершенно непохожее на тот голос, который минуту назад бормотал о Кейване и «стерве», — почему вы не хотите внять зову разума? Вы же прекрасно понимаете...

Карен уже совсем собрался было пройти мимо, не вполне понимая, в чем он может или должен принять участие, как вдруг его притормозил один удивительный факт: смуглое лицо девочки стало наливаться восковой бледностью, она закусила нижнюю губу — точь-в-точь Каренова привычка! — и черные глазищи подозрительно заблестели.

Через мгновение висак-баши Рудаби заметил совершенно белые костяшки пальцев госпожи Коушут, тех самых пальцев, которые пятизубым капканом сжимали хрупкое предплечье.

Приблизившись, он деликатно тронул даму за локоток и поразился его каменной твердости.

— Эй, госпожа хорошая. — Находясь в тупике Ош-Дастан, Карен решил и говорить соответствующим образом, что при его прошлом было не так уж сложно. — Ты б пропустила девчонку, а то, не ровен час, расплачется... руку не дави, говорю!

Дама удивленно посмотрела на Карена, как если бы с ней сейчас заговорила лестница, успевшая избавиться от веса дылды-надима.

— Что вы сказали, почтенный? — переспросило контральто.

— У нас проблемы? — страдальчески вмешался надим, отчего-то потирая переносицу, хотя никаких очков, способных уязвить его благородную кожу, на носу не наблюдалось. — Госпожа Коушут, разберитесь, прошу вас... нам совершенно некогда!..

Дама кивнула, отпустила девочку и коротко, без замаха, пнула Карена в колено. Твердой литой подошвой летнего ботинка, предмета зависти дурбанских модниц. Ногу висак-баши вывернуло куриной лапой, он невольно присел, и почти сразу изящно-каменный локоток ткнулся ему в подбородок. Зубы лязгнули, рот наполнился соленым вкусом крови. Инстинктивно откидываясь назад, чтобы ладонь с наманикюренными пальчиками не угодила в лицо, Карен не удержал равновесия, опрокинулся на спину — и затылком налетел на край скамейки.

Гул, муть перед глазами, медленно движущиеся фигуры, словно снулые рыбы в густой жиже, вата ползет из распоротых швов тела во все стороны, и нужно очень много времени, чтобы собрать эту вату, чтобы прогнать холодногубых рыб, но времени нет — из мути приходят далекие причитания бабушки Бобовай и мелодичное контральто:

— Вы сказали — проблемы, господин Исфизар? А ты, моя милочка...

— Пусти девчонку, зараза, — прохрипел Карен, садясь.

Дама пожала узкими плечами и шагнула к висак-баши.

За тридцать один год жизни Карена Рудаби били чаще, чем ему того хотелось; били его, и бил он. Карен-то и в егерское училище попал после очередной драки возле башни Аль-Кутуна, когда подонки из банды Джаффар-ло подстерегли его целой кодлой и принялись обрабатывать цепями и кастетами. Случайный прохожий, оказавшийся старшим инструктором «Белых змей», сперва некоторое время смотрел с плохо скрываемым удовольствием, как крепкий юноша отмахивается от превосходящих сил противника, потом принял участие в выяснении отношений и проводил Карена домой.

— Когда ты в состоянии вернуться в берлогу на своих двоих, — сказал случайный прохожий напоследок, — значит, все не так гнусно, как тебе сейчас кажется.

Избитый до полусмерти Карен не был с ним до конца согласен, но разница во мнениях не помешала будущему висак-баши откликнуться на письменное приглашение явиться в приемную комиссию егерского училища для собеседования.

На первом же занятии у случайного прохожего Карен подумал, что лучше бы он позволил подонкам квартала Джаффар-ло избивать себя каждый день.

Ну в крайнем случае — по субботам и вторникам.

Через восемь лет, попав в Малый Хакас, он уже так не считал.

Госпожа Коушут совершенно не поняла, каким образом ее красивые ноги в летних ботинках переплелись, словно пряди волос в сложной прическе «Птичья свадьба». Она только успела выгнуться, что называется, «кошечкой» и постаралась не повторить Каренов полет — в смысле не обрадовать затылком край скамейки, — и ей это удалось. Упав спиной в мягкое, госпожа Коушут почувствовала, как мягкое становится твердым в самых неожиданных местах, и это было бы эротично или смешно, если бы часть твердого в следующее мгновение не легла на горло дамы. Полумесяц орлиных когтей недвусмысленно угрожал сомкнуться при первом неосторожном движении, другой ладонью Карен поддерживал пушистый затылок госпожи, не позволяя вжать его в плечи и тем самым напрячь шею — со стороны могло показаться, что возлюбленная пара просто выбрала неудачное место для интимных игр, но со стороны смотрели лишь трое: девочка, рослый надим и бабушка Бобовай (стайка женщин у колонки всполошенно разлетелась в самом начале конфликта).

А этим троим ничего подобного не могло показаться по совершенно определенным причинам.

— Не только Кейван в экзальтации, — прошептал Карен прямо в розовое ушко, украшенное витой сережкой. — Я тоже, моя милочка... Ну что, станем любить друг друга или продолжим обмен любезностями?

Ему очень не нравилось, что дама не пытается вырваться.

Это говорило об определенном и весьма специфическом опыте.

— Госпожа Коушут! — Надим беспомощно топтался на месте и простирал руки то к балкону, то почему-то к девочке, кутающейся в шаль. — Ах, что же это происходит?! Госпожа Коушут...

— «Волчий сын»? — одними губами спросила дама и ласково потерлась затылком о Каренов лоб.

— «Белая змея». — Висак-баши в некотором роде было лестно, что его приняли за гургасара, но, с другой стороны... ситуация складывалась донельзя странно, а женское тело в объятиях лишь усиливало эту странность.

Разрешение не скрывать своего егерского прошлого Карен получил еще у седовласой птицы: бывший егерь ищет работу, ходит в участок на тестирование и собеседования — авось выдадут бляху патрульного!

Не подкопаешься; и встречи с Фаршедвардом никого не удивят.

— В отпуске?

— В отставке.

— За что?

— За то. Неуставные разборки.

— Работу ищешь?

Карен отпустил даму и помог ей подняться на ноги. Продолжать разговор в предыдущей позе, ощущая под правой рукой напрягшееся полушарие груди, снизу опирающееся на открытый бюстгальтер... меняй диспозицию, азат!

— Ты, что ли, к себе возьмешь? Сумочки за тобой носить? Или девчонок стращать?

Рослый надим перестал причитать и решительно затопал прочь, шаркая лаковыми туфлями.

— Пойдемте, госпожа Коушут! — крикнул он, уже изрядно отойдя от скамейки. — Нас ждут, в конце концов!

— Вот. — В ладонь Карена легла твердая картонная карточка. — Не возьмут в мушерифы или ночные водовозы, приходи. Подыщем что-нибудь...

И дама неторопливо удалилась, прихватив свою папку.

— Слушай, крошка! — не сразу спохватился висак-баши, оборачиваясь к правнучке бабушки Бобовай. — А чего они, собственно, от тебя хотели-то?

— Чтобы я в ихнюю школу ходила, — скрипуче отозвалась девочка. — А я не хочу. Пусть сами в нее ходят, если нравится.

Карен закрыл рот и уставился на выданную ему карточку.

«Частный мектеб «Звездный час» имени Омера Хаома, — значилось там. — Зейри Коушут, сотрудник администрации».

Очень болел затылок.

* * *

Явившись на следующий день к Фаршедварду — хайль-баши был разгневан самовольным приходом, но, услышав о случившемся в тупике, сменил гнев на милость, — Карен поинтересовался историей мектеба «Звездный час».

— Газеты читать надо, — буркнул Фаршедвард и потянулся к телефону. Аппарат на столе у хайль-баши был старым, дисковым, в отличие от современных кнопочных; и Карена ужасно заинтересовало, как сосиски пальцев Того-еще-Фарша пролазят в отверстия на диске?!

Увидеть это ему не удалось — телефон зазвонил раньше.

— Слушаю! — рявкнул Али-бей в трубку и вдруг осекся.

Мурашки пробежались по спине Карена, куснули разок-другой и исчезли, оставив лишь капли пота.

— Да, — прозвучало после долгого молчания. — Да, выезжаю. Немедленно.

Уже от дверей он через плечо бросил Карену:

— Захват автобуса на автостраде Дурбан — Кабир! Возвращайся в Ош-Дастан и жди указаний. Или лучше нет... садись в мою машину. Оружие есть?

И, получив отрицательный ответ, он полез в стенной сейф и кинул Карену двенадцатизарядную «гюрзу» в наплечной кобуре.

ГЛАВА 9

ХАКИМ

Разбиты стекла в витраже.
Бесцельны жалобные речи.
Прощайте, милые,
до встречи!
Мы не увидимся уже.

Музей уже закрывался; над парадным входом тепло желтела пара старинных фонарей в матовых колпаках, облитых чугунной вязью, по обе стороны от ступеней таинственно шумели листвой пирамидальные тополя, и на миг Рашиду почудилось, что он по мановению волшебного жезла перенесся в прошлое, что сейчас дверь ему откроет бормотун-дворецкий, любимец почтенного семейства, и под мерцание галунов ливреи отвесит гостю поясной поклон...

«Шайтана лысого он бы мне отвесил, да по загривку, по загривку, а не поклон! — оборвал себя хаким. — Небось принял бы за бродягу и велел слугам гнать в три шеи!»

Очарование разом пропало, но славная приподнятость духа, ожидание чуда остались. Негромкий скрип двери, почтительное приветствие старика швейцара (пусть не дворецкий, но все-таки!..), сумрак музейных залов, чьи стены и витрины прятали огрызки, но огрызки великого прошлого, — все это лишь усилило волнующее предчувствие неизвестного. И когда Рашид, пройдя насквозь третий зал, миновал короткий коридорчик и заглянул в приоткрытую дверцу чулана-комнатушки (о, благословенный диванчик в углу!), то некоторое время просто стоял на пороге, не дыша и боясь сдвинуться с места. Любое движение грозило спугнуть идиллию: Лейла заснула прямо в кресле, откинувшись на спинку и уронив измазанные чернилами руки на колени. Свет настольной лампы кончиками пальцев ласкал спящую девушку, нежность отблесков играла тенями на безмятежном лице спящей; красота застывшего фрагмента жизни потрясала не меньше портрета кисти Улугбека-живописца: человека, посмевшего нарушить запрет на изображение живых людей и растерзанного за то религиозными фанатиками на площади Оразма.

Однако стоять так вечно Рашид не мог. Осторожно шагнув внутрь, он склонился над спящей Лейлой и со словами: «Сейчас я тебя расколдую», поцеловал спящую девушку в губы, как и положено в сказке.

За что немедленно обрел если не счастье, то уж, во всяком случае, звонкую оплеуху — Лейла спросонья не разобралась, кто перед ней, а характер у студентки был еще тот.

Придя в себя, она прыснула и без особого вдохновения принялась извиняться, а Рашид растерянно приложил ладонь к горячей, быстро краснеющей щеке... и расхохотался.

Через минуту смеялись уже оба; хохот пошел бродить по закоулкам музея, так что швейцар и ночной сторож, собравшиеся перед расставанием тяпнуть по рюмочке-другой ячменной водки, понимающе переглянулись — отношения Рашида и Лейлы ни для кого не были секретом.

«В плен я взят врагом коварным, в душный сладкий плен — что там дальше?.. Трам-пам-пам, тирьяри-яри, и не встать с колен!.. Жил я серо, жил в могиле, не душа, а тлен; распахни мне двери склепа, выпусти, красавица!..»

Тем не менее милые попрыгушки на диване аль-Шинби оставил на потом. Фрагментарно отключив сигнализацию, он вынул из витрины тяжелый эспадон и бережно перенес его в каморку Лейлы. Долго подбирал нужный угол освещения, ворочал лампу, наконец сделал три снимка. После тщательно замерил длину сколов, располагавшихся на ладонь выше крестообразной гарды, и уселся корректировать дневные наброски. Лейла же тихонько листала глыбу фолианта в кожаном переплете, не желая мешать

хакиму. Рашид когда-то в шутку сказал, что это — человеческая кожа, однако был немедленно посрамлен: не всегда понимавшая подобные шутки Лейла как дважды два доказала магистру, что кожа — телячья и нечего соваться туда, где ты ни ухом ни рылом! Последнее, в общем, было верно, так как на реставратора училась именно Лейла, а в число навыков историка отнюдь не входило умение отличать телячью кожу от человеческой. Однако на этом девушка не остановилась, притащив из подвалов заплесневелый трактат то ли по алхимии, то ли по астрологии, и заявила, что вот ЭТА книга как раз и переплетена в настоящую человеческую кожу. Почему-то Рашид ей поверил сразу и бесповоротно, но Лейла вдруг звонко рассмеялась, а историк так и не понял до конца: водила его девушка за нос или...

К тому времени, когда Рашид остался доволен получившимся эскизом, Лейла успела захлопнуть «телячий» фолиант и включила небольшой черно-белый телевизор, который стоял как раз напротив двери. Чемпионат по шахматам ее не заинтересовал, равно как и репортаж с чайных плантаций Верхнего Вэя; лишь когда на экране мелькнуло знакомое по газетам и телеинтервью лицо Узиэля ит-Сафеда, главы совета директоров корпорации «Масуд», Лейла наконец перестала щелкать ручкой переключения каналов.

— ...почтил личным присутствием презентацию нового оружейного магазина в центре Дурбана...

Самодовольно улыбающийся ит-Сафед перерубил символическую ленточку — короткий взмах острого, как бритва, армейского штык-ножа; и под рукоплескания собравшихся, сопровождаемый вспышками фотокамер, Узиэль первым вошел в новый магазин.

Рашид аль-Шинби удовлетворенно прицокнул языком, сочтя рисунок вполне удачным, и принялся тщательно совмещать эскиз со сколом на клинке эспадона. Нарисованный захватник смотрелся абсолютно естественно, и аль-Шинби окончательно уверился: когда-то он (разумеется, захватник, а не историк) именно так и выглядел. Вот только еще чуть-чуть подвинуть лист, и совмещение станет полным.

— ...стенд для стрельбы, чтобы наши покупатели имели возможность испытать приглянувшееся им оружие. Теперь каждый дурбанец в состоянии приобрести...

Камера прогулялась вдоль блестящих свежей смазкой ружей — одно-, двух- и даже трехствольных, нарезных охотничьих карабинов с оптическими прицелами, магазинных винтовок...

Узиэль ит-Сафед с видом знатока взял помповую «вертикалку» с укороченным прикладом. Главе совета директоров была не-

медленно вручена пачка патронов, и ит-Сафед, умело и быстро зарядив ружье, плавно повернулся к испытательному стенду.

Хозяин магазина с угодливой улыбкой потянулся к кнопке.

Рашид наконец совместил рисунок со сколом, достал фотоаппарат, проверил питание вспышки, отрегулировал диафрагму, выдержку...

Узиэль ит-Сафед с маслянистым щелканьем передернул затвор ружья.

Рашид аль-Шинби со щелчком взвел затвор фотоаппарата.

Хозяин магазина нажал на кнопку, и керамическая тарелочка, завораживая изображенными на ней концентрическими черно-белыми кругами стрелковой мишени, по пологой траектории устремилась через весь тир.

Выстрел Узиэля ит-Сафеда раздался одновременно со сверкнувшей вспышкой фотоаппарата Рашида аль-Шинби. Вдребезги разлетелась керамическая тарелочка, и в то же мгновение в темноте музейного зала раздался оглушительный грохот.

Рашид чуть не выронил от неожиданности свой фотоаппарат, Лейла буквально подскочила в кресле; оба переглянулись и, не сговариваясь, выбежали в зал.

Вспыхнули под потолком лампы, замерцали спросонья и осветили целую груду оружия, попадавшего на пол со стены: не выдержали основательно проржавевшие и давно не менявшиеся крюки?.. некое сотрясение привело древнюю сталь в движение?.. две алебарды сорвались с самого верха и увлекли за собой висевших ниже собратьев? — так или иначе, часть экспозиции, занимавшая дальнюю стену зала (как раз напротив открытой двери в каморку Лейлы), грудой тускло поблескивающего металла лежала сейчас на полу.

Успокоив прибежавшего на шум сторожа, Рашид и Лейла принялись водворять экспонаты на место, с сожалением отметив, что одна сабля-талвар все-таки переломилась у крестовины. К счастью, это была не Бог весть какая ценность — Рашид подозревал в талваре новодел прошлого, максимум позапрошлого века, а Лейла и руководство музея сомневались и не желали относить саблю в запасники; но так или иначе, привести оружие в годный для экспонирования вид было вполне возможно.

А рубиться экспонатом все равно никто не собирался.

Минут двадцать они занимались развешиванием клинков по своим местам, и всякий раз, когда Рашид касался очередного орудия убийства предков, его пробирала смутная дрожь, словно от слабого электрического разряда. С ним уже бывало нечто подобное, когда он брал в руки предполагаемый Гвениль, лежавший сейчас на столе в комнатке Лейлы.

«Нервы, — подумал историк, пытаясь успокоиться. — Тут стальные тросы нужны, а не нервы...»

Он врал сам себе.

Дело было не в нервах.

Вернее, не в одних только нервах.

Лейла молчала и хмурилась.

Когда они закончили, руки Рашида дрожали; чтобы окончательно успокоиться, он вышел через черный ход во двор музея — перекурить.

«Ничего особенного, — убеждал себя Рашид, делая глубокую затяжку. — Ничего особенного не произошло. Бывает...»

Когда сигарета начала обжигать ему пальцы, хаким выбросил окурок, взлохматил волосы несвойственным ему залихватским движением и со вздохом вернулся в музей.

Двуручный меч на столе Лейлы был сдвинут с прежнего места на три-четыре пальца влево — наверняка Рашид сам и зацепил его ненароком, выбегая из комнаты на грохот, — так что аль-Шинби пришлось опять совмещать рисунок с клинком.

Потом эспадон со всеми предосторожностями был водружен на прежнее место, и Лейла, смущенно улыбаясь, заперла дверь комнатушки.

Изнутри.

Лейла не любила раздеваться при свете, но когда нетерпеливые руки Рашида... Именно в такие минуты стыдливая кинокамера, твердо убежденная в необходимости блюсти нравственность зрителя, отворачивается и начинает разглядывать пляску языков огня в камине.

За неимением камина пришлось разглядывать настольную лампу под матово-зеленым абажуром, но недолго — вскоре лампа погасла.

* * *

Следующая неделя прошла под знаком «Звездного часа» — в мектебе начались очередные экзамены, и Рашид был занят по горло. На научную работу времени практически не оставалось; потускнели, начав мало-помалу забываться, удивительный сон и ночной переполох в музее; даже с Лейлой он не виделся, договорившись по телефону встретиться после окончания сессии. Правда, Рашид урвал часок проявить и напечатать фотографии — прекрасные снимки меча с наложенным эскизом захватника соседствовали с парой чуть смазавшихся изображений странной девочки, заинтересовавшей хайль-баши Фаршедварда. Одну из карточек аль-Шинби при первой же встрече вручил госпоже Коушут, сказав почти правду — что подобрал оброненную ею фото-

графию в коридоре мектеба. Неистовая Зейри посмотрела на Рашида так, будто хаким украл у нее фото при непристойных обстоятельствах. Даже не поблагодарив, она сунула снимок в сумочку и гордо удалилась.

Впрочем, это досадное происшествие быстро выветрилось у историка из головы.

Но все проходит, о чем знал еще легендарный царь Сулейман, — закончилась сумбурная сессия, которую руководство мектеба приказало уложить в строго определенный звездами промежуток времени. Светила сдвинулись на небосклоне, и ученики вместе с учителями облегченно вздохнули — вскоре должны были начаться долгожданные каникулы, и каждый лелеял по этому поводу определенные планы.

Выйдя на парадное крыльцо мектеба, Рашид окинул взглядом обширный парк, рассеченный аккуратными дорожками — мелкий гравий сверкал на солнце, и дальние корпуса тонули в зелени, — после чего с наслаждением потянулся.

Все! Свобода!

Он достал сигарету, щелкнул зажигалкой, выпустил вереницу сизых колечек и неспешно двинулся по выложенной брекчией центральной аллее к решетке ограды.

У ворот сгрудилось стадо автомобилей, среди которых вожаком выделялся роскошный черный «Чауш». По аллее, обгоняя Рашида, с криками неслись дети, размахивая портфелями и сумками, навстречу чадам уже спешили улыбающиеся родители; среди последних опять-таки выделялся чернобородый красавец, из той породы «настоящих мужчин», что не представляют себе жизни без сигары в зубах и перстней на всех пальцах. Худенькая девчушка, подбежав, повисла на крутой шее бородача, и тот ласково загудел в розовое девчачье ухо, вынув наконец изо рта свою замечательную сигару.

Шестиклассница, припомнил хаким, Сунджан... Сунджан ар-Рави, которую до сих пор забирали на каникулы трое угрюмого вида молодчиков, способных перебодать быка.

А потом из-за спины довольного папаши появился некто, показавшийся Рашиду очень знакомым: узкие, сросшиеся на переносице брови, крючковатый нос, сделавший бы честь иному ястребу, умные карие глаза, круглое улыбающееся лицо без усов, зато с коротко стриженной бородкой...

— Кадаль! — радостно заорал Рашид, не обратив внимания, что дородный бородач слегка вздрогнул при этом крике. — А ты что здесь делаешь?!

— Рашидик?

Огрызок сигары полетел мимо урны в ухоженную траву газона, тень наползла на лицо бородача, но в следующий момент старые друзья уже вовсю тискали друг друга в объятиях, не заботясь о мнении посторонних.

— Как ты узнал, что я здесь?! Ах да, ты ж этот... экстрасенс-чудотворец!

Кадаль невольно поморщился:

— Да нет, Рашидик, я в пансионат приехал отдохнуть, а у Равиля дочка...

Аль-Шинби понял, что Кадаль говорит о респектабельном бородаче.

— Он что, твой приятель? — вполголоса поинтересовался историк. — Или начальник?

— Серединка на половинку. Знакомьтесь: Рашид аль-Шинби, мой бывший однокашник, — Равиль ар-Рави, мой нынешний... партнер.

Историк и «горный орел» без особого энтузиазма обменялись рукопожатиями. Нет, антипатии между ними не возникло — просто обстоятельства каждого мало располагали к новым знакомствам.

— Вас подвезти? — скорее из вежливости поинтересовался ар-Рави.

— Спасибо, спасибо, Равиль, — замахал руками доктор. — Хотя... Рашидик, ты сейчас свободен?

— Как птица в небе! — ухмыльнулся Рашид, вспомнил о Лейле и немного замялся. — Правда, я обещал одной даме встретиться с ней...

— Вот и отлично! — прогудел ар-Рави, смягчаясь при словах о даме. — Заберем твою подругу — и айда в Озерный пансионат! Мы отдыхаем или что?! Вон и у Сунджан каникулы. — Он нежно потрепал девочку по голове, и та расцвела: видать, нечасто папаша ласкал свою Сунджан.

— Верно, — поддержал атабека Кадаль. — Только знаешь, Равиль, давай так: ты езжай, а мы с Рашидиком со времен университета не виделись. Побродим по городу, посидим в кофейне, а потом заберем его подругу и приедем в пансионат на автобусе. Идет? Ты еще один номер обеспечишь?

— Ни за что! — хмыкнул ар-Рави.

Видимо, он так шутил.

Друзья долго бродили по городу, то углубляясь в хитросплетения узких улочек, пропахших древностью и жареным луком, то забираясь в центр, где щекотали небо многоэтажные «свечи», облицованные розовым туфом, с подземными гаражами и пара-

болическими антеннами на крышах. Вскоре их приняла тихая кофейня, где можно было пить легкое белое вино и, перебивая друг друга, вспоминать детство, словно сговорившись на время забыть стремительно мчавшееся мимо «сегодня» с его насущными проблемами...

Потом Рашид спохватился, и они, поймав такси, подъехали к музею, буквально выдернули оттуда немного растерявшуюся и оттого, как никогда, привлекательную Лейлу — и успели на автобусную станцию как раз за пять минут до отправления рейсового автобуса Дурбан — Кабир.

До минуты недоумения и страха, когда, не доехав до Озерного пансионата каких-нибудь четырех фарсангов[1], автобус остановится поперек трассы и на перепуганных пассажиров равнодушно уставятся четыре ствола, — до этого предопределенного звездами часа оставалось совсем мало времени.

И кто-то, кто знает все, наверняка ухмыляется сейчас в бороду.

ГЛАВА 10

ХАЙЛЬ-БАШИ

Здесь агнца любит лев, здесь хищник
мил и кроток.
Да здравствует наш рай —
рай клеток и решеток!

Фаршедвард Али-бей задумчиво жевал грандиозный денеркебаб — вулкан лаваша с жирной пастромой тек по краям магмой зелени и огненной хинской аджики — и глядел вслед удаляющемуся по шоссе черному «Чаушу». Раздумья отягчали голову хайль-баши гораздо больше, нежели еда — желудок.

Первейшая заповедь борца-нарачи: заботы портят пищеварение.

И без того напрочь испорченное трупами на шоссе, стоявшим в ушах грохотом вертолета, маленькими, казалось бы, безобидными игрушками, роем вылетающими из молниеносно снующих в воздухе ручонок Сколопендры...

У меня не было выхода, твердил себе хайль-баши Фаршедвард. У меня не было ничего, ни входа, ни выхода, ничего, кроме некрасивой угловатой девчонки с глазами из фаррского мрамора.

Сколопендра.

---

[1] Фарсанг — примерно пять с половиной километров.

Правнучка Фаршедвардовой кормилицы, бабушки Бобовай.

Полгода назад Али-бей поклялся никогда, никогда больше... сегодня он нарушил клятву. Результат — «приговор приведен в исполнение».

Едва из автобуса начали выбираться бледные заложники, Али-бей вгляделся и почувствовал озноб, как бывало с ним только перед ответственной схваткой на помосте; хайль-баши полагал, что забыл прикосновение зябкой ладони предчувствия.

Хаким! Хаким аль-Шинби из мектеба «Звездный час»! Недотепа-историк, у которого вдруг оказалась фотография Сколопендры!

Он был в этом автобусе.

Вот хаким спускается по ступенькам, помогает выбраться миловидной девушке, следующей за ним, дрожащими руками достает сигареты, ломает спичку за спичкой... Круглолицый человечек с куцей бородкой подносит ему зажигалку. Оба явно знакомы. Перебрасываются десятком слов. Девушка еле сдерживается, чтоб не разрыдаться; а вот уже и не сдерживается. Троица направляется к машине, на капоте которой мушериф-десятник записывает данные всех пассажиров для последующего снятия показаний; покорно становится в очередь, косясь на грузящихся в фургон гургасаров...

Совпадение? Мало ли зачем хакиму Рашиду приспичило сесть именно в этот автобус!

Возле сверкающих мигалками машин материализуется дородный бородач, одетый с иголочки, и, размахивая дымящейся сигарой, проталкивается прямиком к круглолицему коротышке и хакиму. Следом за бородачом тенью движется детина с маловыразительной физиономией телохранителя. Еще бы: такое тело и не хранить! Али-бей не верит своим глазам: Равиль ар-Рави, Большой Равиль, далеко не последний из шейхов «Аламута»... а ведь не придерешься — даже налоги, говорят, и те платит исправно!

— Господин хайль-баши, тут...

— Я занят! — рявкает Фаршедвард. — Не видишь — господин хайль-баши ест!

Испуганный мушериф исчезает быстрее принцессы Зейнаб, убегающей от людоеда-извращенца Вишапа-ибн-Вишапа. Скажи Тот-еще-Фарш, что он сейчас думает, и избавиться от подчиненного было бы гораздо труднее. Думать — не поле пахать; зато есть — дело святое. Когда начальство изволит кушать, его лучше не беспокоить.

Задерживать недавних заложников не было никакого повода. Бессмысленная, глупая идея. Хайль-баши просто сидел и наблюдал за тем, как круглолицый, хаким Рашид и его подруга садятся

в «Чауш» Большого Равиля, «горный орел» что-то втолковывает своим спутникам, дверца захлопывается...

Что же это получается? Сколопендра неожиданно выигрывает в «Лотерее Двенадцати Домов» место в привилегированном мектебе, куда мечтают пристроить своих отпрысков обеспеченные родители чуть ли не со всей страны. Случайность? Допустим... Однако упрямая девчонка идти в мектеб наотрез отказывается, и тогда за ней являются, уговаривают, а потом пытаются увести силой. У хакима аль-Шинби, преподавателя именно этого мектеба, «случайно» обнаруживается фотография Сколопендры. Заснятой в момент... скажем так — вольных упражнений. Значит, они знают? Тогда кто — «они» и чего от них ждать?

Хороший вопрос; только хорошего ответа на него пока нет.

И тут на залитой кровью заложников и смертников сцене появляется Равиль ар-Рави собственной персоной. Каким краем завязан здесь шейх «Аламута»? Ну да, в мектебе у него учится дочка, никакой тайны в этом нет; но в его машину садится тот самый хаким, у которого обнаружилась фотография девчонки! Кстати, а кто такой куцебородый коротышка?

Фаршедвард на минуту перестал жевать и распорядился принести ему лист с данными заложников. Коротышка расписывался перед хакимом. Ага, вот! Кадаль Хануман, психоаналитик, доктор психологии... Очень интересно! Магистр истории и доктор психологии уезжают в одной машине с «горным орлом»! Просто союз пера и орала, в смысле глотки Большого... Стоп. Не иначе, Большой Равиль прибрал к рукам какого-то святого! Обычному врачу это не под силу...

Голова отказывалась работать. Денер-кебаб закончился, но мыслей от этого не прибавилось. Фаршедвард был зол и крайне недоволен собой. Что-то закипало прямо у него под носом — а он никак не мог сообразить, что именно!

Наконец хайль-баши соизволил высунуться из окошка патрульной машины и окликнул бродившего неподалеку Карена.

— Ты уволен! — без всяких предисловий объявил он растерянно заморгавшему «белому змею». — Сдай оружие.

— Как это, господин хайль?.. — Карен машинально повиновался и стал расстегивать ремень наплечной кобуры.

— Очень просто, егерь. Уволен из полиции. Вернее, даже не принят. Ты теперь безработный. И знаешь, где тебе придется искать работу?

Скуластое лицо егеря отразило попеременно удивление, работу мысли и некоторое понимание. «Хороший парень. Только хороший парень — еще не профессия», — вздохнул про себя Фаршедвард.

— Да на кой вы мне сдались, легавые!.. — лениво протянул несостоявшийся мушериф, бросая «гюрзу» в окно машины

хайль-баши. — Меня вон ждут не дождутся, руки-ноги целовать будут... в мектебе одном. «Звездный час», кажется?

— Ну и вали к шайтану, — в тон отозвался Тот-еще-Фарш. — Направление известно?

Еще раз посмотрев в ту сторону, где скрылся за поворотом черный «Чауш», Фаршедвард припомнил долетевшие до него слова Большого Равиля: «...Скажешь, опять совпадение?! Не верю!»

В данном конкретном случае Фаршедвард Али-бей был полностью согласен с Равилем ар-Рави: он тоже не верил в случайные совпадения.

ГЛАВА 11

САМОУБИЙЦА

Вы помните, люди, хоть что-то?
Задернута жизнь, словно штора.
Я адом отвергнут,
мне райские кущи не светят.
Я — призрак, я — тень,
наваждень.
За все я в ответе.

...Сегодня? Да, именно сегодня! Наконец! И мелкая дрожь нетерпеливого возбуждения волнами пробегает по моему немощному, изношенному, покрытому старческой коростой телу, как когда-то давно... очень давно.

Смерть! Любовница обреченных, мать безнадежных, избавление отчаявшихся, дорога в сияющий небесный чертог, в рай, чьи ворота так долго оставались закрытыми для меня. Готовьте ключи, смазывайте маслом петли, разучивайте торжественные гимны встречи!

Скоро. Теперь уже скоро.

Сегодня.

Неужели это наконец свершится? Я боюсь поверить в чудо, боюсь спугнуть безумную, невозможную надежду, единственное, чем жил все эти годы.

Годы?

Века!

Неужели сегодня придет конец гниению плоти и духа, медленному и мучительному угасанию под аккомпанемент бессмысленного бормотания выживающих из ума старцев — таких же, как я, мумий, живых трупов, запертых в этом склепе... Все мы здесь постепенно лишаемся рассудка, память глохнет в слизи дней, захлебывается гноем безвременья; и я — не исключение. Кем я был? С кем я был?! Иногда мне кажется, что я помню.

Я вижу цветные сны, вижу в них себя — а может, вовсе не себя? Ложь? Правда? Я не уверен. Я уже ни в чем не уверен. Я — дряхлый старик, я — обрубок прошлого, я — калека, умирающий, изъязвленный проклятой коростой... но всего ужаснее то, что умирать я могу еще долго, очень долго.

За истекшую вечность можно забыть разницу между жизнью и смертью; но разница между собой былым и нынешним — горе мне, ибо не в силах угаснуть без мук!

Тюремщики заботятся обо мне. Они трогают меня холодными пальцами (воистину подобная трогательность — я еще могу каламбурить?! — отдает мертвечиной), они искренне хотят, чтобы несчастное существо в гробу из рукотворного хрусталя протянуло дольше, много дольше срока, отмеренного матерью-Нюрингой; полагаю, со временем (время... здесь это понятие теряет всякий смысл!) — со временем они даже подлатают меня, сделают протезы, продлив агонию еще на век-другой...

Нет! Теперь — нет! Потому что сегодня я наконец уйду, уйду из опостылевшего склепа, из всего этого мира, который перестал быть МОИМ, где не осталось иного места для таких, как я, кроме тюрем и богаделен, мало отличающихся друг от друга, — я уйду, и Врата распахнутся предо мной, открывая сияющий Путь!..

Небесные Молоты, примите мою душу!

Я хочу, чтобы это случилось на рассвете. Я хочу еще раз увидеть Солнце. Я не видел его давно... очень давно.

Да, я — выживший из ума старик, да, я хочу умереть, о, как я хочу умереть! Но я еще не дошел до последней грани отчаяния, как некоторые из нас, пытавшиеся свести счеты с жизнью прямо здесь.

Одному это даже удалось.

Тюремщики повесили труп на прежнее место и, кажется, остались довольны.

Но я не хочу — так.

Я ждал своего часа минута за минутой, день за днем, год за годом; я дождался!

Сегодня — мой день, вернее — моя ночь, и на рассвете... Да, обязательно на рассвете!

Но сначала — выбраться отсюда.

Мне помогут Братья. С ними все давно оговорено, в последнее время они бывали здесь часто, они чудом остались на свободе, они маленькие, незаметные, им легче, и они помнят меня, помнят!.. Меня — того, каким я был раньше. Мы почти не говорили с ними о прошлом, это больно для всех нас, но я знаю — они помнят, даже если я сам все забыл. Когда они появились здесь впервые...

Молчу. Я хитрый, я стал хитрым... молчу. Я не скажу больше ни слова, я буду лежать, улыбаться и чувствовать: они здесь, рядом, они уже идут — Братья и Та, что слушается их. Теперь они

знают, как усыпить дракона, сторожащего меня по ночам, и как отпереть замок на моем тесном склепе. Сейчас они затаились рядом — и ждут...

Пора!

Я не вижу их, но ощущаю легкое сотрясение пола, слышу мягкие скользящие шаги. Мимо. Конечно, сначала — сторожевой дракон. Он должен уснуть, иначе поднимется тревога, как было когда-то. Я многое забыл, но ЭТО помню!

Драконья душа пока еще бодрствует, тихо и монотонно жужжит вокруг, обтекая мой склеп, и пока она здесь — не вырваться, не уйти...

Да, я действительно одряхлел, иначе... теплые руки Придатка, свист воздуха, и — одним взмахом разнести вдребезги опостылевший ящик, с боем прорваться наружу и уйти — не для смерти — уйти, чтобы жить дальше! Глупец! Калека! Те времена сгнили в вонючей коросте, как твое больное тело, и некому развалить надвое тесную тюрьму, яростно взреветь, прорываясь сквозь заслон опешивших врагов... Не осталось сил, чтобы жить дальше — их едва хватает, чтобы умереть. Умереть как подобает.

Падающая Скала разлетится в пыль на рассвете.

Тихий щелчок, и жужжание вокруг меня разом смолкает. Снова шаги, скрежет ключа в замке...

— Все в порядке, Братья? Вас не видели?

— Не беспокойся, старина. Ты не передумал? — Это Старший.

Он знал мой ответ заранее, но все равно спросил.

Спасибо.

— Нет.

Надрывно скрипит крышка хрустального гроба, и надо мной нависает тень Той, что слушается Братьев.

Я возношусь.

Странное, забытое ощущение; тюремщики — не в счет.

Мелькает потолок большой гробницы с тускло горящими светляками, стены, мои товарищи по несчастью...

— И нас, спаси и нас, дай уйти отсюда, помоги достойно умереть! — нарастает со всех сторон умоляющий старческий шепот.

Богадельня молит о пощаде.

Мы с Братьями молчим. Жалость огнем палит меня изнутри, но нет, нельзя поддаваться: всем не удастся бежать, и, если мы пойдем на поводу у чувств, отсюда не выберется никто; а выбирать... нет!

Это еще более жестоко, чем убивать!

— Тебя надо укрыть, — предупреждает один из Братьев, и мы проходим в соседний зал.

Здесь я никогда не был.

Знамена, штандарты, хоругви... Я помню их! Я помню! Я начинаю вспоминать!

Рвущийся навстречу ветер, грохот копыт, земля пляшет и игриво выгибает спину, все кругом сверкает — десятки, сотни блистающих, — и гордо трепещущие на ветру стяги: Кабир, Мэйлань, Малый Хакас, Кимена, Лоулез...

Лоул и лорды!!!

И, словно в ответ на давно забытый клич, из полумрака надвигается до дрожи знакомый треугольный щит... нет, не щит, а плотная ткань, только напоминающая щит, с россыпью серебристых лилий на темном поле — и все вокруг исчезает.

«Знамя Лоулеза! — запоздало доходит до дряхлого рассудка, и без того помраченного веками тюрьмы и пьянящим глотком свободы. Меня надо было укрыть. Им и укрыли... саваном былого».

Даже в кромешной тьме я вижу их: лилии на поле.

Я вижу их.

ГЛАВА 12

СКОЛОПЕНДРА

Так и живем.
То платим, то не платим
За жалкие подачки от судьбы —
И в рубище безмолвные рабы,
И короли, рабы в парчовом платье.
Так и живем, не слыша зов трубы.

Она не знала, что движет ею.

Это был вопрос без ответа: почему ее так неодолимо притягивает здание старого музея, и даже не сам музей, а одна-единственная витрина с огромным лоулезским двуручником — проржавевшим, с обломанным захватником и частью гарды.

Она могла часами стоять, вглядываясь в потускневшее лезвие, местами выступавшее из-под мертвой коросты ржавчины, в остатки затейливого узора на растрескавшихся накладках рукояти; иногда меч представлялся ей умирающим старцем, заживо погребенным в склепе, парализованным бойцом, который никак не может умереть по-настоящему.

«Ему надо помочь», — решила она однажды, и на мгновение девочке показалось, что это НЕ ЕЕ мысль.

Особенно когда на окраине сознания промелькнуло совсем уж незнакомое словосочетание: «coup de grace».

Девочка не знала, что по-лоулезски это значит «удар милосердия».

Но странное ощущение чужеродности вскоре ушло, растворилось, а мысль осталась, превратившись в навязчивую идею, которая заставляла ее просыпаться по ночам и долго лежать без сна,

глядя сквозь засиженное мухами окошко своей комнаты на медленно тускневшие звезды.

Предыдущую ночь она вообще не спала.

Что-то должно было произойти.

Сегодня.

В музей она вошла, предъявив швейцару шершавый прямоугольник билета, за два часа до закрытия. Девочка долго стояла над застекленной витриной, знакомой до мельчайших подробностей, а потом неведомая сила словно толкнула ее изнутри, и она быстро скользнула за тяжелую пыльную портьеру.

Там было душно и хотелось чихать.

В зале вскоре появился начинающий полнеть мужчина средних лет. Мужчину девочка узнала — видела его здесь несколько раз. Он то ли работал в музее, то ли... Впрочем, это девочку не интересовало.

Мужчина немного постоял над той же витриной, сосредоточенно хмуря брови, затем прошел в боковой коридорчик, щелкнул рычажком на распределительном щитке — девочка хорошо запомнила, какой именно рычажок он опустил, — взял висевшую рядом связку ключей...

Но тут на улице нетерпеливо засигналила машина. Мужчина вздрогнул и вполголоса выругался. После чего с явным сожалением повесил ключи на место, машинально вернул рычажок в прежнее положение и поспешил нырнуть в небольшую служебную каморку на другом конце коридорчика.

Через пару минут он появился в сопровождении высокой красивой девушки. Последнюю девочка часто встречала в зале — кажется, та служила здесь смотрительницей. Оба поцеловались на ходу и заторопились к выходу.

Музей закрылся через полчаса: это время девочка провела в тесном чуланчике с ведрами, тряпками и швабрами, забаррикадировавшись всяким хламом и притаившись в самом темном углу. Она слышала шаги ночного сторожа, обходившего залы. Сторож прошел мимо, в глубь музея, потом глухо прошаркал обратно — и все стихло.

Девочка пряталась в своем убежище еще долго, с судорожно бьющимся сердцем, время от времени поглаживая рукоятки ножей Бао-Гунь, семейной реликвии, подарка прабабушки, с которым она не расставалась почти никогда. Это успокаивало. Ножи уютно грелись на груди, дремля в пазах кожаной перевязи, надежно прикрытые накинутой сверху шалью — тоже прабабушкиной...

И вот: еще мгновение назад она сидела, скорчившись в углу чулана, вдыхая влажный запах тряпья и щетины швабр — а сейчас, чудесным образом миновав ею же нагроможденную барри-

каду, осторожно приоткрывает незапертую дверцу и оказывается в коридоре. Зал. Тусклые отблески развешанного на стенах старинного оружия. Другой коридор. Распределительный щиток оказывается совсем рядом, пальцы безошибочно находят нужный рычажок. Связка ключей уже в руке, толстый ковер на полу надежно глушит и без того тихие шаги.

Второй ключ легко входит в крохотный, почти игрушечный замочек.

С негромким скрипом поднимается застекленная крышка.

Меч оказался тяжелым, гораздо тяжелее, чем ей представлялось на первый взгляд. Но это не важно. Девочка взяла эспадон обеими руками, под гарду и за середину проржавевшего лезвия — и так, неся древний клинок перед собой, словно на торжественной церемонии, вошла в соседний зал.

Мысли путались; плохо соображая, что делает, она бесцеремонно сорвала один из выставленных в зале штандартов — в форме щита, с рассыпанными по полю серебристыми лилиями — и плотно укутала в него двуручник.

Теперь — через черный ход во двор.

Выход оказался там, где и должен был быть. Ее словно вел кто-то, прекрасно знавший дорогу. Насмешливо щелкнув, замок легко открылся. Надо притворить за собой дверь, чтоб не сразу хватились... Кто хватится? Чего? Лунный свет леопардовыми пятнами трепещет на дорожках сада, деревья шепчут ободряющие наговоры... Да, так и должно быть! Она не могла оставить парализованного бойца гнить заживо. Это не жизнь, это... даже не смерть, а хуже, много хуже! Люди, изо дня в день скользящие равнодушными взглядами по несчастному старику в застекленной витрине-саркофаге...

Кованая чугунная решетка ограды, щедро посеребренная лунной пылью, скалящиеся на тумбах седые львы. Перелезть через такую, с позволения сказать, «ограду» даже с притороченным к спине тяжелым эспадоном — дело одной минуты!

Потом — дворы, темные переулки, проходные подъезды, мелькающие вдалеке огни центрального проспекта, клубок запутанных улочек районов Бахри и аль-Румалайн...

Девочка пришла в себя уже на окружном шоссе, направляясь к юго-восточной окраине города.

Она догадывалась, куда несут ее ноги. Именно так: «догадывалась» — а не «знала». Примерно в получасе ходьбы от города, по правую руку от окружной трассы, лесомассив нехотя расступался, открывая ровную поляну — считай, целое поле! — правильной круглой формы, поросшую сочной зеленой травой. По таинственной причине здесь никто не пас коз или баранов, никто эту траву не косил, и даже пикники случались тут редко.

17 - 7682

Говорят, в прадавние времена здесь располагалось центральное турнирное поле, куда в отведенные дни собирался чуть ли не весь Дурбан.

Может, и правда.

Главное, что сейчас они направлялись именно туда, а весь нынешний Дурбан пусть спокойно спит и не лезет не в свои дела.

Девочка даже не удивилась, что думает о себе во множественном числе. Они — это, конечно же, она сама, старый двуручник и... и десять ножей Бао-Гунь!

А кто же еще?

Действительно, больше на шоссе никого не было — ни машин, ни пешеходов; дома города остались позади, и только справа мерцала в лунном свете витая решетка ограды, отдаленно напоминавшая ограду музея. Девочка со слабым удивлением сообразила, что за оградой, в глубине большого ухоженного парка, находится тот самый... ну очень «престижный» мектеб, куда ее так настойчиво приглашали и куда ей никак нельзя было идти! Никак. Там, за витой оградой, в глубине старинного парка, таилось что-то страшное. Очень страшное. Страшнее, чем пьяные небритые ублюдки с автоматами и сумкой гранат — этих девочка не боялась, потому что темное знание всякий раз подсказывало, что с ними делать. Вот они, ножи, под шалью... Девочка на всякий случай еще раз нащупала по-прежнему теплые шершавые рукоятки. Это реальность... как бабушка или рассвет. А там, в недрах «престижного» мектеба, притаилось кое-что пострашнее, чему не перережешь горло, не всадишь в глаз бьющий без промаха короткий клинок. Может, там спит уставшая за день Смерть. И хорошо еще, если так. Потому что ЭТО может оказаться гораздо хуже Смерти.

Если бы девочка знала, что значит сойти с ума, она бы, наверное, испугалась.

Или не испугалась.

В следующий момент из-за поворота шоссе послышался неторопливо приближающийся стук копыт.

«Конный патруль, — взорвалась мгновенная догадка, разом обрубившая нить размышлений. — Наверняка захотят узнать, что у меня за спиной!»

Девочка беспомощно огляделась в поисках укрытия, но спрятаться было негде: слева — вспаханное поле с только начинающими пробиваться молодыми ростками, справа — ограда зловещего мектеба. И луна, сияющая в полнеба. А стук копыт уже совсем рядом, сейчас патрульные покажутся из-за поворота, и перелезть через ограду она явно не успеет...

Решение пришло само собой. Наверняка не самое удачное — будь у нее (у них?) хоть минута, она (они?) наверняка придумали бы что-нибудь получше.

Но минуты не было, и девочка, торопливо просунув между прутьями решетки завернутый в лоулезское знамя эспадон, с хрустом погрузила ржавое тело меча в переплетение кустов у самой ограды. Оглянулась: ага, вон напротив дорожный знак — захочешь, не ошибешься!

Она даже умудрилась отбежать от ограды и сделать несколько шагов по шоссе, прежде чем ее заметили.

...С подругами гуляла... потом они подшутить решили, попрятались, а я этого района не знаю — заблудилась... Где живу? Тупик Ош-Дастан, дом четвертый, второй этаж. С бабушкой... Не вру, не вру я, господин мушериф, спросите в Ош-Дастане бабушку Бобовай — ее там все знают! А я — ее внучка... правнучка я...

— Отвези-ка ты ее домой, Ахъяд, — после некоторого раздумья проговорил наконец старший. — Ишь ты, внучка-правнучка!

Старшему шел двадцать первый год, он лишь неделю назад получил звание он-баши[1], чем ужасно гордился и теперь изо всех сил старался выглядеть серьезным и рассудительным, как и положено начальнику.

— Сам знаешь, ночью на улице с такой вот пичугой всякое может случиться. Я ведь насквозь вижу — не врет. Все равно дежурство заканчивается...

— Да чего там, господин он-баши, конечно, отвезу! — ухмыльнулся рябой Ахъяд, одногодок старшего. — Я тот район знаю и даже про бабку Бобовай краем уха слыхал. Вредная, говорят... — Ахъяд осекся и поспешно захлопнул рот. — Садись, кроха, подвезу, — закончил он уже совсем другим тоном.

У Ахъяда была сестренка тех же лет, что и ночная гулена; только его сестра гораздо чаще улыбалась.

ГЛАВА 13

АЗАТ

Умер день.
Это много страшнее иных смертей.
Обалдело стою над потерей потерь.

Охранник, дежуривший у центрального входа в мектеб, равнодушно смотрел мимо Карена, жуя жвачку-нас и нехотя сплевывая по одному слову в час, — но висак-баши прекрасно понимал: этот верблюд следит за каждым его движением. Кого попало

[1] Он-баши — десятник, сержант.

здесь в охрану явно не брали. А он, Карен, вне сомнений, с точки зрения стража, относился к категории «кто попало».

Тем не менее позвать госпожу Коушут охранник все же согласился.

Ждать пришлось довольно долго. Наконец скрипнули петли, и дверь с узорчатыми матовыми стеклами резко отворилась. Госпожа Коушут, по-прежнему одетая в строгий деловой костюм, воззрилась на стоявшего двумя ступеньками ниже посетителя; потом она коротко и, как показалось Карену, победно усмехнулась, сделав приглашающий жест рукой:

— Пропустите. Это ко мне.

Охранник молча посторонился, придав своему лицу совершенно нейтральное выражение (даже челюсти прекратили на миг двигаться туда-сюда). Карен подмигнул парню и проследовал за Неистовой Зейри через обширный светлый холл, по мраморным ступеням с бархатной ковровой дорожкой — и дальше, на второй этаж, в кабинет, на двери которого красовалась бронзовая табличка с именем его спутницы.

— Итак, «белая змея» прислушалась к добрым советам и решила подыскать себе гнездышко поуютнее? — прищурилась хозяйка кабинета, усаживаясь за стол и указывая Карену на стул напротив.

— Здраво подмечено, госпожа Коушут, — в тон ей ответил висак-баши. — И «змея» очень надеется, что это будет ее «Звездный час».

— Ну что ж... свои обещания, особенно данные в столь экзотических обстоятельствах, надо выполнять, — одними уголками губ улыбнулась Зейри, и стекла ее очков загадочно блеснули. — Вообще-то, свободных вакансий у нас пока нет и не предвидится, но кусаться вы умеете, сама убедилась, шипите тоже недурственно, а также...

Она выдержала небольшую паузу.

— Насколько мне известно, вы квартируете у почтенной Бобовай?

— ...А благодаря ее внучке мы и познакомились, — закончил Карен, разводя руками.

— Вот именно. И этот факт несколько меняет дело. Понимаете, господин...

— Рудаби. Карен Рудаби, можно просто Карен.

— Понимаете, мы здесь, в мектебе «Звездный час», привыкли строго придерживаться определенных принципов. Поверьте, обучение в нашем учебном заведении стоит недешево, но те из детей, кто прошел по конкурсу или выиграл место в лотерею, обеспечиваются полным пансионом за наш счет. И администрация кровно заинтересована в том, чтобы никто не смог упрекнуть

руководство «Звездного часа» в пристрастности или, сохрани Творец, в корыстолюбии! Всем известно, что наш мектеб — не только привилегированная школа: мы занимаемся благотворительностью, разыскиваем юные дарования и помогаем им встать на ноги, а «Лотерея Двенадцати Домов» дает шанс любому...

Госпожа Коушут неожиданно умолкла.

— Вот вы сейчас сидите, и на лице у вас написано: зачем она все это мне рассказывает? Ведь верно?

— Верно, — честно признался Карен.

— Попытаюсь объяснить. Внучка почтенной Бобовай — это первый и пока (к счастью!) единственный случай в нашей практике! Девочке повезло в лотерее, но она категорически не хочет учиться в «Звездном часе», куда мечтают отдать своих детей родители из самых состоятельных семей! Это прецедент, понимаете? И мы ни в коем случае не можем его создать. Это наша репутация, понимаете?

— Понимаю, — послушно кивнул Карен, а сам подумал: «Понимаю, что ты темнишь, но безработному висак-баши до этого нет дела».

— Вот потому-то я и собираюсь ходатайствовать за вас перед нашим хаким-эмиром. Думаю, он согласится нанять нового охранника сверх штатного расписания, но при одном условии: вы постараетесь убедить девочку приступить к занятиям в «Звездном часе». Согласны?

«Очень интересно! Хайль-баши прозрачно намекал мне примерно на то же самое. Жирный провидец!»

— Я... я постараюсь, госпожа Коушут! Но почему вы решили, что я смогу...

— Вам придется ОЧЕНЬ постараться, господин Рудаби! А почему я так решила... — Госпожа Коушут немного замялась, что было ей совсем не свойственно. — Мне кажется, девочка к вам расположена. Вы пытались защитить ее... от меня! И если после этого вы расскажете ей, как выглядит наш «Звездный час», и посоветуете хотя бы одним глазком заглянуть сюда... В общем, я думаю, вас она скорее послушает, чем меня или надима Исфизара!

«И чем собственную бабушку?» — усомнился Карен, но вслух этого не сказал.

— Хорошо, я постараюсь, — уже более твердо повторил он.

...Заполнение анкет, тест-листов и заявления в трех экземплярах, а также оформление прочих бумаг заняло полдня, и при этом у Карена сложилось впечатление, что для него вся процедура была существенно ускорена. Похоже, руководству мектеба

позарез требовалось заполучить юную метательницу ножей — и не только из соображений престижа!

Когда последняя бумага была подписана и аккуратно подшита в папку с его личным делом (стандартные фотокарточки висак-баши предусмотрительно захватил с собой), немногословный лысый портняжка тщательно снял с Карена мерку.

«Костюм будет готов к вечеру», — уведомил портняжка, уходя.

Карен только собрался вздохнуть с облегчением — ни бюрократическая волокита, ни скрупулезные измерения тела вдоль и поперек не доставили егерю особого удовольствия, — но не тут-то было!

В кабинет заявился еще какой-то надим: сухощавый, взъерошенный, в дорогом костюме, сидевшем на нем, как седло на корове, — и засыпал Карена новыми вопросами:

— Место рождения? А точнее? Год рождения? Месяц? День? Час?

— Может, еще и минуты с секундами? — не удержался Карен.

— Приятно разговаривать с понимающим человеком! — возликовал надим, расцветая на глазах, однако Карену пришлось разочаровать его — не только минут с секундами, но и часа своего рождения он не знал.

— Жаль, очень жаль, — искренне огорчился надим. — Это значит, вы у нас получаетесь — Скорпион... в смысле не у нас, а у Зодиака, но в некотором смысле и у нас... так... нет, без точного часа никак нельзя, а для Скорпиона — в особенности! Вы хотя бы можете сказать: до заката родились или после?

В голосе надима крылись строгость и презрение к Скорпиону-неудачнику, запамятовавшему столь естественные для любого здравомыслящего человека сведения.

И висак-баши стало стыдно — рождаясь, он как-то не обратил внимания ни на закат, ни на восход.

— Мама говорила — вроде бы всю ночь проорала, а на исходе...

— Ага, перед рассветом! — оживился надим.

— Возможно, — пожал плечами Карен. — А позвольте спросить: зачем вам все это?

— Как — зачем?! — Чиновник изумленно закатил глаза. — Вы что, прикажете мне ваши гороскопы из пальца высасывать?! Зодиакальный, общий, а также солярный; биоритмы опять же...

— Что, может, и судьбу мою предскажете? — попробовал улыбнуться Карен.

— Нет, — жестко отрезал надим-астролог. — Без точного часа рождения — не предскажем.

И сделал на полях своих записей пометку: «Послать запрос в Кабир».

Наконец дотошный звездочет ушел, бормоча себе под нос не-

лестные для Карена междометия. На сегодня новоиспеченный гулям[1] был свободен, а завтра ему надлежало явиться в мектеб к восьми часам утра, что Карен и сделал с армейской пунктуальностью.

На этот раз его без лишних слов пропустили внутрь. Госпожа Коушут вручила ему запечатанный в пластик картонный прямоугольник пропуска-удостоверения и велела спуститься вниз, в помещение для охранников.

— Начальник охраны господин Ташвард будет через час — представитесь ему, — бросила Неистовая Зейри вслед.

В указанной комнате Карена встретил тот самый жвачный страж, с которым висак-баши познакомился вчера у входа в мектеб.

— Доброе утро, коллега. — Приветствие было подчеркнуто вежливым, однако руки охранник не подал.

— И вам того же, — в тон ответил Карен. — Меня зовут Карен Рудаби.

— Усмар Ханифах, — кивнул гулям новому коллеге. — Вот твой бокс, — и указал на дверцу крайнего из вмонтированных в стену металлических шкафчиков, совсем как в мушерифском участке.

На шкафчике стоял номер «9».

Внутри оказался отлично сшитый форменный костюм, почти ничем не отличающийся от штатской одежды; но когда Карен не замедлил в него переодеться, то обнаружил, что костюм не только сидит как влитой, но при этом совершенно не стесняет движений и под ним в случае надобности можно спрятать целый арсенал.

— Оружие получишь у начальника. — Усмар словно прочел мысли егеря. — А пока пошли, покажу тебе мектеб.

От центрального корпуса отходили два крыла. В восточном располагались специализированные учебные классы, в западном — спальни и комнаты для игр и отдыха. Центральный же корпус, кроме администрации, занимали кабинеты учителей и хаким-эмира, помещение для охраны, медицинская часть, вычислительный центр и спортзал. Еще имелись оранжерея, спортивно-игровые площадки, но все это находилось снаружи, в парке, и осмотр «достопримечательностей» провожатый Карена решил оставить на потом.

Ковровые дорожки доброжелательно пружинили под ногами, солнечные блики, весело подмигивая, плясали на идеально прозрачных стеклах широких окон, золотисто искрился покрытый лаком ясеневый паркет, экраны компьютеров вычислительного центра стройными рядами уходили в загадочный полумрак длин-

[1] Гулям — доверенный вооруженный слуга, в данном случае охранник.

ного зала — и Карен поначалу даже немного растерялся от сияющего чистотой комфорта и великолепия. В детские спальни и игровые комнаты, оснащенные, кроме всего прочего, новейшими телевизорами-моноблоками, они заглянули лишь мельком, и Карен помимо воли завистливо вздохнул: ему в детстве такое и не снилось! Да и сейчас...

Экскурсия закончилась в спортзале, где двое охранников в мэйланьских кимоно неторопливо, со знанием дела кружили по борцовскому ковру, а третий, бравируя ленцой профессионала, метал длинные узкие ножи в искромсанную колоду.

Усмар и Карен поздоровались, после чего Усмар, подойдя к столику с ножами, выбрал один — и почти без размаха запустил в воздух тонкий клинок.

Нож, возбужденно дрожа, вонзился в самый центр колоды; Усмар выжидательно взглянул на Карена.

Карен про себя усмехнулся: на вшивость проверить решил, мальчишка! Побыл бы ты с мое в Хакасе, погулял бы по ночным аулам... Приблизившись к ухмыляющемуся гуляму, егерь, не колеблясь, послал в мишень один за другим три ножа. Вся троица вошла в колоду рядом с ножом Усмара, образовав почти правильный треугольник. Увлекшись, Карен хотел было продолжить, но тут мерзавка-память услужливо подсунула: трасса, автобус и молниеносно снующие ручонки Сколопендры, извергающие каскад стали...

Карен вздохнул и положил четвертый нож на место. И он, и его новые коллеги выглядели слюнявыми сосунками в сравнении с двенадцатилетней девчонкой!

— Неплохо! — оценил Усмар, и в его голосе проскользнули нотки уважения. — А в «лапки-тяпки» сыграешь?

— С тобой? — поинтересовался Карен без особого энтузиазма.

Висак-баши была хорошо знакома эта столь любимая рукопашниками игра, где без всякого членовредительства (не считая отбитых ладоней) неплохо проверялась реакция и сообразительность партнера.

— А хотя бы и со мной! — Усмар, кажется, немного обиделся.

Позади послышалось глухое «бум!» — один из борцов все-таки подловил соперника и теперь помогал тому подняться с ковра.

Карен и Усмар сняли пиджаки, закатали рукава рубашек. Руки висак-баши мягко легли на волосатые предплечья партнера.

— Начали!

Хлоп! Карен не успел среагировать и пропустил довольно чувствительный шлепок по тыльной стороне ладони.

Однако дважды провести коллегу на мякине Усмару не удалось: гулям дернулся, но Карен вовремя подал свои предплечья

вперед — именно вперед, а не назад, потому что «убегающего», как правило, догоняют! — и ударил внахлест, через руки партнера. Правую Усмар успел убрать, но по левой получил от души.

Теперь позиция поменялась — руки Карена оказались внизу, и он не упустил своей возможности: обманный рывок — и хлесткое «шлеп!» на возврате, одновременно с обеих рук!

— ...Развлекаемся, значит, — раздался над ухом чей-то на удивление знакомый голос, и раскрасневшиеся Карен с Усмаром рефлекторно вытянулись по струнке.

Глядя в заметно постаревшее, изрезанное жесткими морщинами, но вполне узнаваемое лицо господина Ташварда, которого пятнадцать лет назад курсанты егерского училища звали не иначе как Гюрзец (потому-то Карен и не отреагировал в администрации на фамилию начальника), висак-баши на мгновение забыл, кто он и где находится, гаркнув во всю глотку:

— Здравия желаю, господин наставник! Курсант Рудаби... — и осекся.

— Вольно, курсант, — улыбнулся Гюрзец, получивший свою кличку то ли из-за марки любимого пистолета, то ли за молниеносные, жалящие удары или за то и другое сразу. — Впрочем, ты уже давно не курсант... висак-баши, я слышал?.. Да и я с недавнего времени — не господин наставник. В отставке я, парень, по состоянию здоровья.

Последним словам Карен не поверил.

— Господин гулям-эмир[1], я тут знакомил новенького с объектом, а потом решил его немного попробовать... — скороговоркой выпалил Усмар и умолк.

— Молодец, — одобрительно кивнул господин Ташвард. — Ну и как, попробовал?

— В полной мере, господин гулям-эмир! По-моему, наш человек!

— Ну, спасибо, — вновь усмехнулся Гюрзец в коротко подстриженные седеющие усы. — Как-никак мой ученик... бывший ученик.

— Эй, Фаик, ты куда руки топыришь?! — прикрикнул он безо всякого перехода на ближнего из снова закруживших по ковру борцов. — Махмудик, мальчик мой, возьми-ка Фаика за пальчик! Вот-вот, именно так, с должной лаской, — удовлетворенно хмыкнул гулям-эмир, когда незадачливый Фаик с воплем растянулся на ковре.

И на мгновение Карену показалось, что он действительно вернулся на пятнадцать лет назад.

---

[1] Гулям-эмир — в данном случае начальник охраны.

ГЛАВА 14

РУИНТАН-АРАКЧИ[1]

Когда-то был Господь,
и рай, и сатана,
И доброе вино...
Но мчатся времена:
нет Господа, увы,
нет сатаны, нет рая.
И, что грустней всего,
нет доброго вина.

— Чтоб тебе, заразе, рога внутрь завернуло! — сонно пробормотал Руинтан, ворочаясь на скамейке.

Только после этого дифирамба он с трудом разлепил веки и рискнул проморгаться, оглядываясь по сторонам.

Привязанная к Руинтановой щиколотке коза упрямо продолжала тянуть ленивого пастыря к вожделенному клочку недовыщипанной травы, с возмущением мекая и брыкаясь.

Однако злосчастный рывок, разбудивший Руинтана, был вызван отнюдь не очередной попыткой животного добраться до остатков зелени, к чему бельмастый, а теперь еще и корноухий бородач давно привык, а микроавтобусом-«ишаком», который затормозил совсем рядом, чуть не наехав на рогатую любимицу бабушки Бобовай.

— «И-шак», — икнув, констатировал Руинтан, после чего окончательно проснулся.

Не так уж часто объявлялись в тупике Ош-Дастан фирменные микроавтобусы, сверкающие никелем и гордые золотистым тавром «Мектеб «Звездный час» на лоснящемся крупе.

Из автобуса боком выбрался постоялец бабушки Бобовай — парня звали Кареном, а остальные факты его биографии мало интересовали Руинтана. Приветливо махнув рукой козе и таращившему глаза козопасу, Карен оправил новенький, с иголочки, костюмчик и стал подниматься по лестнице.

Повезло мужику! Был, говорят, егерем, пушечным мясцом, потом безработным, в мушерифы мылился-недомылился — а стал этим... сторожем... нет, гулямом! — и вдобавок у таких богатейших людей! А все после того, как он дамочку ихнюю прямо у подъезда прижал. Понравилось небось нещупаной! Любовь, она движет миром! Вон теперь на каком «ишаке» егерек прикатил! Машина, конечно, чужая, прокатная — но не один хрен, чей ишак под тобой бегает?..

---

[1] Аракчи — пьяница. (Шулмусское слово, прижившееся в Кабирском Эмирате.)

И Руинтан в очередной раз малость позавидовал соседу, а больше — порадовался чужому фарту, ибо долго завидовать кому бы то ни было не умел. Зато радоваться умел и любил, тем более что дружбан Карен, получив работу, мигом выставил по этому поводу выпивку всем соседям, не забыв и его, Руинтана Меднотелого. А дармового угощеньица бедняга-аракчи не забывал. Все знают — Руинтан добро помнит...

Он машинально потрогал уже почти заживший огрызок уха, подвигал взад-вперед нижней челюстью, став от этого похожим на людоеда из мультфильма, и горестно вздохнул. Эх, если б Карен его тогда на миг раньше болтом приложил! Помрачение нашло, право слово! Челюсть — пустяки, уже и не болит почти, а пить и без зубов можно; зато уха — нет как нет.

Жалко.

А двустволки прадедовской, с тягчайшего похмела не пропитой, — и того жальче.

Вслед за Кареном из «ишака» вылез еще один мужик в точно таком же, как и у егерька, костюме (форму у них в мектебе носят, что ли?), брезгливо покосился на бородача с козой и тоже начал с опаской считать ступеньки подошвами.

К чему бы это?

Руинтан уселся поудобнее, отмотал с ноги несколько витков веревки, дав козе возможность добраться до ее завтрака, и стал с интересом ждать продолжения.

День начинался вполне прилично.

Дальше был шум и голос бабушки Бобовай — старуха на удивление не ругалась ругательски, не швырялась «шакалами» и «отродьями трупоедов», — потом по лестнице вразнобой застучали-заухали-заскрипели шаги... вот они идут: сначала неуверенно выходит бобовайская внучка, а следом за ней Карен со вторым гулямом несут старухино кресло вместе с самой старухой.

Вот это да! Куда ж это старая ведьма собралась?

На работу в мектеб устраиваться? Охранником-гулямом? Глядишь, костюм сошьют на дармовщинку...

Руинтан так и спросил, только вместо «старой ведьмы» получилось почему-то «уважаемая». А так — что подумал, то и сказал.

— Ах, Руинтанчик (ну, карга, дает!), хвала Всевышнему! Уговорили-таки мы с Каренчиком правнучку мою в мектеб съездить! Пусть посмотрит, может, и глянется ей там! — медовым голоском затараторила бабка. — А я, дура старая, за компанию — отчего бы и не съездить, если добрые люди приглашают, машину к подъезду ставят, как настоящей госпоже из благородного рода! Да и то сказать: чем мы хуже?

Почтенная Бобовай гордо вскинула голову, и Руинтан окон-

чательно уверился: хоть с опущенной, хоть со вскинутой, а с этой самой головой у бабки не все в порядке. Хотя, с другой стороны, «ишака»-то действительно пригнали! И внучка: то все упиралась, не хуже бабкиной козы, а тут вдруг раз — и согласилась. Постоялец уболтал, что ли? Стала бы девчонка егеря слушать, как же! Она вообще никого не слушает, разве что свою бабку, и то краем уха.

«Край уха» навел Руинтана на грустные размышления, и он на минуту отвлекся от происходящего у подъезда.

Тем временем второй гулям открыл задние дверцы «ишака», выдвинул наружу стальные полозья, и они с Кареном легко вкатили бабкино кресло в ишачье чрево. Девочка затравленно оглядела по сторонам и, словно против воли, медленно шагнула к микроавтобусу; еще раз оглянулась, умоляюще посмотрела на изумленно моргающего аракчи — и, как в холодную воду, разом решившись, нырнула внутрь.

Кашлянул и негромко заурчал мотор, Карен достал из кармана плоскую телефонную трубку с кнопками и короткой антенной (этакого чуда Руинтан никогда раньше не видел), набрал номер, что-то тихо сказал и совсем уж было собрался садиться в кабину, но вдруг хлопнул себя ладонью по лбу:

— Подожди, Усмар, я сейчас, я сигареты забыл! — и нырнул в подъезд.

Вернулся Карен через пару минут, и машина тут же стала разворачиваться, норовя вырулить из тупика. А когда совсем почти вырулила и водитель поспешил дать газ, Руинтану показалось, что какой-то забавник привязал его веревку к бамперу «ишака» — последовал сильнейший рывок, бородач не удержался и опрокинулся на спину!

«Проклятая коза!» — дошло до него через секунду.

А еще через пару секунд корноухий аракчи выяснил с изрядным неудовольствием, что окаянное животное волочит его за собой на веревке!

«Ишь ты, коза, а, оказывается, сильная зверюга, как... как ишак!» — вяло удивился Руинтан, разглядывая проплывающие мимо кусты.

Тут ветхая веревка, зацепившись за торчащий из мостовой железный штырь, наконец лопнула; и коза, освободившись от непосильной ноши, с призывным меканьем заскакала по переулку вслед за микроавтобусом, увозившим любимую хозяйку.

Пыльный и ободранный Руинтан, прихрамывая, бежал следом, постепенно отставая и ругаясь на ходу самыми черными словами...

ГЛАВА 15

«ГОРНЫЙ ОРЕЛ»

Без нас не делалось ничто,
Нигде и никогда:
Хоть черный крест,
Хоть красный круг,
Хоть белая звезда.

Судьба с жизнью перемигивались за спиной — и Большой Равиль чуял опасность, как вспугнутый олень — идущую по пятам погоню или как затаившийся в засаде чауш — присутствие добычи. Разумеется, Равиля куда больше устроил бы второй вариант, но шейх рассуждал трезво, понимая: сейчас его знахарек (да и он сам!) — скорее добыча, чем охотник.

Впрочем, добыча тоже имеет острые клыки.

Или тяжелые рога.

Или нужные связи.

Только до связей ли, когда поневоле готов уверовать во всякую чертовщину и рука тянется почесать в затылке: а не прав ли, часом, знахарек? Может, впрямь — шайтаны из пекла сбежали, конец света, психическая эпидемия... Слов, слов-то каких нахватался! Чушь, скажете! И я скажу — чушь. Не бывает?! И я, господа мои, тоже скажу — не бывает. Зато стрелки с автоматическими винтовками — очень даже бывают! И смертнички из мушерифских застенков случайно не бегают — дураку ясно, без чужой помощи не обошлось! Как раз в нужный момент — чтоб автобус Дурбан — Кабир сам в руки напросился!

Выгребай потом знахарька из кучи трупов...

Тонко работают, хвостом их удави! Да только где тонко — там и рвется. Перемудрили вы, господа! Во второй раз промашка выходит! Нет, чтоб по-простому: пулю в затылок или из базуки в машину...

Иблисова кровь! А вдруг знахарек прав, и они в самом деле мысли читают?! Равиль тут старается, извилину за извилину цепляет, а они, вражины, как в распахнутом сейфе ковыряются и посмеиваются втихомолку!

Но заставить себя думать о чем-то другом Равиль не мог.

Откинувшись на атласные подушки, спала рядом «арендованная» на всю неделю «крошка сдобной булочки», томно вздыхая даже во сне и непроизвольно совершая губами весьма эротические движения; за стеной еле слышно повизгивала от удовольствия тахта, отдаваясь волнующему ритму — хаким с подругой, со вчера не добравшиеся до собственного номера, платили щедрую дань любовным утехам, восполняя упущенное за время недавней

отлучки в город; что происходило в покоях Кадаля — одному Творцу ведомо, но Равиль подозревал: «сеанс сексотерапии», предписанный доктору шейхом, успел закончиться. Интересно, знахарек без бабской фотографии трахнуться может?.. В голове немного гудело от выпитого коньяку, но сон бежал от Большого Равиля. Три дня и три ночи шейх пытался убедить себя, что случайностям есть место на этом треклятом свете, что они оторвались от неведомых охотников и теперь все будет в порядке... Действительно, ничего особенного за это время не произошло, разве что Кадаль поздней страстью полюбил «Старый Кабир», причем непременно вошедший в совершеннолетие, но на третий вечер у Равиля возникло устойчивое чувство опасности, и ни коньяк, ни девочки не смогли его заглушить. Их Превосходительство Страх на часок-другой с неохотой отступал перед прелестями местных красоток и туманом опьянения, чтобы с удвоенной силой вернуться опять.

«Безумие ит-Сафеда пыталось добраться и до меня».

Может, добралось-таки? И не только до знахарька? Разве происходящее — не безумие? Покушение за покушением; видения доктора — и то, что он, Большой Равиль, фактически пошел на поводу у своего подопечного, встряв в грязное дело; безумный кутеж в пансионате, где они все как на ладони! — дошло вдруг до «горного орла», и он на мгновение покрылся холодным потом.

Что он делает?! Устраивает гулянки, словно прощаясь с жизнью, когда надо упрятать знахарька подальше, самому забиться в нору, раскинуть вокруг сети, напоить жвалы ядом — и ждать, не высовываясь!

«Горный орел» выбрался из постели, достал из коробки сигару, миниатюрной гильотинкой отрезал кончик. Огонек зажигалки отразился в глубине полированной, красного дерева, дверцы платяного шкафа, и Равилю на мгновение почудилось, что там, по другую сторону, шевельнулось темное существо.

Их Превосходительство Страх.

Вынуть бы из кобуры «гасан», передернуть затвор, приставить к виску долгожданный ствол и сладострастно заставить палец согнуться... Что?!

«Нервы, — подумалось задохнувшемуся от ужаса шейху. — Тут портовые тросы нужны, а не нервы...»

Он врал сам себе.

Он знал, что дело не в нервах.

Вернее, не только в нервах.

Ар-Рави несколько раз глубоко затянулся, понемногу успокаиваясь.

Значит, так: завтра он вместе со спящей в боковом крыле Сунджан (спасибо умнице Лейле, все эти дни с удовольствием игравшей с девчушкой... нянькой нанять, что ли?)... о чем это он?

Да, завтра вместе с дочкой заезжаем в мектеб, забираем табель на радость супруге, помешанной на успеваемости девочки, и, не медля ни минуты, отправляем Сунджан в Оразм, к двоюродному братцу (отставному наркоману, спасибо знахарьку!) и его милой женушке, с которой Равиль в свое время...

Отправить. Именно в Оразм.

Знахарька — в горное урочище Бек-Неш, принадлежащее клану ар-Рави чуть ли не со времен Святого Гасана ас-Саббаха. У горцев Кадаля и шайтан не сыщет, а сыщет, так закается до упора вечности! И, наконец, самому «залечь на дно» здесь, в Дурбане, или в Хине, а людишки пусть побегают, пощустрят, поразнюхивают...

Равиль удовлетворенно кивнул — давно пора было так и сделать! — и стряхнул пепел с сигары в туфельку спящей рядом «ночной пери».

* * *

...Наутро все полуночные страхи и черные мысли рассеялись, «залечь на дно» отчаянно не хотелось, а хотелось совсем наоборот: продолжить веселье в Озерном пансионате, включавшее и пышные банкеты, и купание в знаменитом озере, чья вода даровала минимум бессмертие, и постельные игры, и игру в рулетку и тройные кости, а в виде оригинальной приправы — рассказы Рашида об истории «Аламута». Бурдючок-хаким, оказывается, знал немало любопытного, и Равиль, быстро проникшийся симпатией к разговорчивому однокашнику Кадаля, уже предвкушал, как сможет блеснуть своими познаниями в кругу Семьи, удивляя шейхов и «шестерок» примерами из истории «горных орлов».

Заодно выяснилось, что заехать в мектеб надо не только Равилю с дочкой, но и Рашиду — получить отпускные и расписаться в ведомости. Что ж, у бедных — свои причуды. Ну а Лейла и Кадаль решили поехать просто за компанию, благо места в шестидверном «Чауше» хватало на всех.

Дымя сигарой на переднем сиденье, ар-Рави неожиданно для себя самого вспомнил рассказы престарелых, вышедших в тираж шейхов. Дескать, в прежние времена — гораздо лучшие, чем нынешние, с точки зрения замшелых старцев, — каждому из «орлов», возглавляющих Семьи, кроме вазирга-советника, полагался еще и доверенный астролог-звездочет. Бывали случаи, когда задуманная и тщательно спланированная операция отменялась только из-за неласкового расположения треклятых планет.

«Подвесили бы парочку умников вверх ногами, — подумал Равиль, — глядишь, и солнце мигом взошло бы с запада!»

Дурацкие мысли преследовали его до самого Дурбана.

ГЛАВА 16

ХАЙЛЬ-БАШИ

Небыль?
Вечер?
Небо
на плечи.

Звонок Карена едва не застал Фаршедварда Али-бея врасплох. Вот так прямо взяла — и согласилась?! Конечно, никогда нельзя было предугадать заранее, что взбредет странной девчонке в голову, но не до такой же степени! Чуть ли не месяц упираться козой-стрекозой — и вдруг согласиться на предложение постояльца, человека полузнакомого и вообще...

Эй, Тот-еще-Фарш, ты ревнуешь?

«Я должен быть там, — неожиданно для самого себя подумал хайль-баши. — Я должен лично видеть, как она поведет себя внутри. А заодно... полезно было бы взглянуть на реакцию небезызвестного хакима-фотолюбителя! Почему-то мне кажется, что сегодня он тоже появится в мектебе...»

Хайль-баши озаботился подходящим поводом для визита, но повод неожиданно нашелся сам собой. Юный племянник Фаршедварда Валих наотрез отказывался уезжать из мектеба раньше полудня, пока не досмотрит очередные две части любимого сериала «Железная Рука», и Али-бей поспешил успокоить мать Валиха, пообещав, что лично заедет за племянником чуть попозже.

Когда раздался повторный звонок от Карена, сообщившего, что они выезжают из тупика Ош-Дастан, — хайль-баши был готов.

* * *

С помпой въезжать на территорию мектеба Фаршедвард не захотел, приказав водителю-мушерифу выключить мигалку и поставить служебную «кабаргу» снаружи, у обочины.

Охранника у ворот почему-то не оказалось, и, проходя мимо пустовавшей сейчас застекленной будки, хайль-баши мельком отметил несомненное нарушение порядка.

Куда только гулям-эмир смотрит?!

На бетонной площадке у центрального входа в мектеб стояли машины: знакомый Али-бею пижон-«Чауш», нагло растопырившийся всеми шестью дверцами, и мектебовский «ишачок», из недр которого Карен вместе с еще одним охранником выгружали бабушку Бобовай. Разумеется, старуха ястребом восседала в неизменном антикварном кресле, сыпля поучениями и добрыми советами, а Сколопендра безучастно торчала рядом. Шмыгала

носом. В шаль куталась. Холодно ей было в этакую жарищу. И смотрела отнюдь не на мектеб, не на бабушку, не на гулямов и даже не на приближающегося по аллее хайль-баши: девочка уставилась на решетчатую ограду, обсаженную изнутри густым кустарником, и словно что-то искала взглядом в гуще веток.

Искала — и никак не могла найти.

«Кажется, у нашей детки объявился личный повод для приезда», — отметил Тот-еще-Фарш, вперевалочку двигаясь по длинной аллее; и пока он шел, успело произойти многое.

На крыльцо вывалился шейх «Аламута», по пути засовывая в бороду очередную сигару, в сопровождении телохранителя и дочери — на тонком личике большеглазой Сунджан играла застенчивая улыбка; за Равилем спешил хаким-эмир собственной персоной, отчаянно пытаясь что-то втолковать «горному орлу», начавшему дымиться в прямом и переносном смысле; вслед за хаким-эмиром на крыльце стали быстро возникать по очереди, горохом из прохудившегося мешка: госпожа Коушут, толстеющий историк-фотолюбитель, его симпатичная подруга, уже виденный однажды Али-беем круглолицый доктор... Из окна над входом высовывались две детские физиономии, лучась от любопытства, но племянника Валиха среди них не было: очередная серия «Железной Руки» только подходила к концу, Чэн-в-Перчатке доблестно отражал происки врагов, кромсая встречных и поперечных любимым мечом, а в такие минуты оторвать юного Али-бея от телевизора не смогла бы и мировая война, разразись она сию минуту прямо во дворе мектеба.

Фаршедвард впился взглядом в хакима Рашида, стараясь не пропустить момент, когда историк увидит Сколопендру, но тут совсем рядом что-то зашелестело в зарослях рододендрона, и хайль-баши невольно обернулся.

В этот день судьба явно решила показать Али-бею козью морду. Косматую, вполне довольную жизнью морду, деловито пережевывающую экзотическую дрянь.

— Ме-е-е! — сообщила козья морда, приглашая к более тесному знакомству.

После чего следом за мордой из кустов выскочила целая коза и, дробно топоча копытцами, устремилась к своей престарелой хозяйке, обозревавшей (пока снаружи) здание мектеба.

Хаким-эмир подавился очередной репликой и начал медленно багроветь.

Очень похоже на закат в горах Сафед-Кух, если заночевать на перевале. «Скоро, однако, гроза будет», — говорят в таких случаях хакасцы-аксакалы, уминая табак в трубке.

— Эт-то что еще такое?! — медленно выдавил он, будто впервые в жизни видел живую козу, и, не дождавшись ответа, повернулся к охранникам: — Дармоеды! Проворонили! Чтоб через ми-

нуту духу этой пакости здесь не было! Иначе через две минуты ВАШЕГО духу тут не будет!

— Стоит ли кипятиться, уважаемый? — невинно осведомилась бабушка Бобовай. — Не ровен час, язва откроется!

Хаким-эмир поперхнулся второй раз за пять минут — случай, достойный увековечивания на золотых скрижалях! — затем совсем уж было собрался живописать старой карге, что случилось и что случится в ближайшее время, если... но тут до него, во-первых, дошло, кем является вышеупомянутая карга, а во-вторых, на территории мектеба возникло новое действующее лицо.

— Не извольте волноваться, господин хороший! — умильно просипело от ворот; и все, разом обернувшись, узрели вконец запыхавшегося Руинтана-аракчи, пыльного, грязного, хромающего, но счастливого тем, что он наконец догнал окаянную козу!

Бежит и бежит, рогатая, будто папа у нее не козел, а оразмский иноходец!

— А вот и я! — Этим возгласом Руинтан искренне надеялся осчастливить собравшихся. — Сейчас, сейчас мы эту бестию... только передохнем маленечко! У вас случайно глоточка пива не найдется, почтенные? Пылища в городе, поди поскачи за шайтановым отродьем — в горло будто песка насыпали! А может, вам сторож требуется или там всяко-разное? Так это мы с удовольствием, это мы запросто, хоть с козой, хоть сами...

Продолжая нести околесицу, Руинтан шустро ковылял ко входу в «Звездный час», но доковылять окончательно ему не дали.

Мимо Фаршедварда вихрем пронесся хаким-эмир, теряя на ходу последние остатки респектабельности, и ухватил опешившего Руинтана за шиворот начальственной дланью.

— Сторожа тебе?! Пива тебе?! — бессвязно выкрикнул глава мектеба в лицо перепуганному аракчи. — Будет тебе сейчас и пиво, и тахирский мускат, голодранец! — И хаким-эмир потащил слабо сопротивлявшегося Руинтана к воротам.

— Караул! — растерянно пискнул бородач и выкрикнул первую пришедшую на ум фразу, которую неоднократно сам слышал от других: — Помогите! Уберите пьяного!

— Сейчас уберем! — пообещал ему хаким-эмир, ногой распахивая чугунные створки.

Но тут одноухий аракчи неожиданно рванулся и освободился, оставив в карающей руке только кусок дряхлой полотняной куртки. Разогнавшийся хаким-эмир не удержал равновесия и начал заваливаться вперед и одновременно на спину, самым нелепым образом выпадая в распахнутые им же ворота.

Он падал и падал, словно обычная съемка начала становиться замедленной, неуклонно двигаясь к стоп-кадру; тело хаким-эмира клонилось, кренилось, колени сгибались, руки плавными волнами текли между открытыми створками, — казалось, что че-

ловек не просто вываливается с территории мектеба на улицу, а движется из одного мира в другой, где все не так, или это здесь все не так, или только будет не так...

Краем глаза хайль-баши Фаршедвард успел заметить, как между распахнувшейся, словно от сквозняка, дверью и стоявшей рядом Сколопендрой проскочило еле различимое белое пламя, похожее на почти невидимый электрический разряд.

Удивиться он не успел.

В следующее мгновение земля содрогнулась, и небо обрушилось на плечи Фаршедварда Али-бея.

ГЛАВА 17

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС

Здесь все не так.
Здесь онемели птицы.
Здесь солнце умирает на заре.
Но это сон —
И можно пробудиться,
И снова очутиться в сентябре.

Безучастная чернота космического пространства распахнулась на месте блекло-выгоревшего дурбанского небосвода, и внимательные холодные глаза звезд уперлись острыми лучами в души корчащихся в агонии людей.

Это длилось какое-то неуловимое мгновение.

Которое длилось вечно.

Потом вечность закончилась; и неба не стало.

«Умножить можно все на все, — истерически хохотала судьба. — Вечность на вечность? Ради Бога! Получится вечность вечностей! Рехнуться можно от счастья!..»

Земля не просто дрожала как при землетрясении — она стала жидкой, и по ее поверхности ходила крупная морская зыбь, грозящая вот-вот захлестнуть прибоем маленькие фигурки, исходившие безмолвным криком.

Их выворачивало наизнанку, мозг отказывался воспринимать вывернутый, изнаночный мир, где неузнаваемо искаженное пространство стремилось спрятаться в кокон схлопывающегося времени, сотканный из невидимых паутинок звездных вихрей, из того, что уже перестало быть Временем и Пространством, но еще не успело стать Материей и Энергией... Раздавленные непомерностью открывшейся перед ними пропасти, человеческие личности в страхе бежали в тот же кокон, из последних сил цепляясь за хрустальные осколки рассыпающегося бытия; им казалось, что они мчатся, карабкаются, ползут, преодолевая безумный напор

Вселенной, что-то крича при этом друг другу — или самим себе... Им казалось, что это длится долго, очень долго — часы, дни, годы, века, — а на самом деле они все застыли опрокинутыми наземь растрескавшимися статуями в еле заметном промежутке между двумя соседними мгновениями; и лишь воспаленный мозг каждого выбрасывал из подкорки в сознание все новые фантомы, пытаясь предохранить сам себя от безумия, дать себе хоть призрачную опору в этом невозможном, искаженном, несуществующем мире...

Созвездия истекали кровью, и рождались сияющие письмена: «...Знание происходит от семи планет и двенадцати знаков Зодиака, от восхода восходящей звезды и от захода нисходящей высоты ее и низкого положения. Все происходящее на земле — движение и покой, противуположение и соединение, совпадение и разделение — находится в зависимости только от движений на небе, противуположения и соединения звезд, восхождения счастливой и нисхождения несчастливой...»

И плакал кто-то, вопрошая флейтой евнуха:

— Что видите вы в сочетании звезд Большой Медведицы и двенадцати домов Зодиака и что означает это для судеб людей этого мира, для моей судьбы, для судьбы моих детей и подданных?!

Безумным хороводом проносились в небе галактики, вспыхивали и гасли звезды, Солнце надрывалось рядом с болезненно яркой Луной, не в силах затмить ее блеска, сияющие облака проливались костяным дождем, из возникающих в зыбкой земле водо... нет, ЗЕМЛЕворотов! — извергались клубы сладкого тумана, затягивая все вокруг серо-розовой пеленой, постепенно сгущаясь до консистенции сахарной ваты, которую так любят дети...

Только дети не хотели этой «ваты», они кричали, они звали на помощь, но взрослые не слышали их криков, никто не пришел на помощь, и сладкая вата быстро заполнила уши, глаза, ноздри, рты, ослепляя, оглушая, топя в сладости или в сладострастии, не давая вздохнуть или крикнуть...

Все-таки кто-то успел издать вопль, сотрясший небо и землю; и только после этого мир померк окончательно.

Все я, Боже, получил сполна.
Где, в которой расписаться
ведомости?
Об одном прошу:
Спаси от ненависти.
Мне не причитается она.

А. Галич

Книга II

УБИТЬ ПОДЛУЮ ТВАРЬ, или МИРАЖИ ЗВЕЗДНОГО ЧАСА

Полночь бродила на мягких лапах по мектебу «Звездный час»; фыркала у решетки, побаиваясь выглянуть наружу, где больше не было места ни утру, ни дню, ни ей, хищной испуганной полночи, времени сказок, убийц и влюбленных; долго мерила подстриженные газоны, метила тумбы по краям светящимися струйками — отблесками созвездий, татуировки неба, насмешливо бросала вниз пригоршни искр; бесшумно скользила по коридорам корпусов, заглядывала в спальни, снова выбиралась наружу, обнюхивала лица беспамятных и беспомощных людей...

«Уснуть? — хохотал в отдалении кто-то, незнакомый полночи, и она вздрагивала украдкой. — Уснуть — и видеть сны, быть может?! Какие ж сны в том смертном сне приснятся?.. Какие сны?.. Какие...»

Полночи тоже очень хотелось знать — какие? — но на лицах не отражалось ничего, а глубже она заглядывать не умела.

Мектеб «Звездный час» истекал тяжелой, мутной дремой, как улитка в раковине, как мясной фарш в виноградных листьях, как пуля в ране, — и видел сны.

Быть может.

ГЛАВА 1

ХАЙЛЬ-БАШИ

Ветер
о шиповник
ночью —
в клочья.

Белуджи налетели перед самым закатом, когда вино ожидания успело перебродить в душах бойцов, став уксусной отрыжкой апатии и усталости.

Дальние барханы брызнули россыпью всадников, пески гулко расхохотались эхом одиночных выстрелов — и пыльная саранча покатилась на село, сверкая молниями кривых клинков. Небо над горизонтом почти сразу же полыхнуло багрянцем, словно лезвие чьей-то сабли мимоходом зацепило бок садящегося солнца; багрянец, пурпур, фиолет...

День умирал.

Остальным это еще только предстояло.

Из смотрового окна чердака Фаршедвард прекрасно видел, как к траншеям на западной околице бежит, пригибаясь, командир третьей сотни Карен Рудаби, известный всему хайлю как Белая Змея; вот он прыгает вниз, в гнездо, отшвыривает в сторону замешкавшегося пулеметчика-новобранца и всем телом припадает к маслянисто отблескивающей туше станкача.

Пулемет дергается в экстазе, ловкие пальцы сотника ласкают гашетку, будто острые кончики женских грудей, и там, вдали, в буром облаке, железнокрылый ангел Азраил начинает собирать первую жатву. Одновременно гремит залп из боковых окопов, гремит слаженно, цельно — ругань и оплеухи усатых уз-баши сделали свое дело, стряхнув оцепенение с измученных бездействием людей, — и Фаршедварду кажется, что он явственно слышит смачное клацанье передергиваемых затворов... но нет, глупости, отсюда ничего такого попросту не может быть слышно, отсюда можно только смотреть и ждать, кусая губы, когда две конные сотни вывернут наконец из-за крайних домов — и гикающая лава ударит во фланг сбившимся в кучу белуджам.

— Господин хайль-баши, немедленно прикажите остановить кровопролитие!

Отсюда можно только смотреть и...

— Господин хайль-баши, вы меня слышите?!

В раздраженном женском голосе проскальзывают стальные нотки.

Проволока в гриве волос.

Огладь — изрежешь ладонь в кровь.

— Слышу, — не оборачиваясь, отвечает Фаршедвард.

И спустя мгновение повторяет:

— Я прекрасно слышу вас, госпожа Коушут. Вы полагаете, эти достойные всадники явились сюда состязаться в козлодрании? Если так — я немедленно прикажу бойцам моего хайля бить себя кулаками в грудь и восклицать: «Моя вина!»

Вот теперь самое время обернуться и всей громадой обманчиво грузного тела, остро пахнущего потом, нависнуть над Зейри Коушут, Неистовой Зейри, полномочным наблюдателем Межнациональной Лиги.

В Восьмой ад Хракуташа их всех, дипломатишек!

— Если переговоры сорвутся по вашей вине, господин хайль-баши, я буду вынуждена представить Лиге доклад с подробным

изложением событий! Еще на той неделе я предупреждала вас: перемирие — это не шутка и не игрушка для ретивых вояк! Вам известно, какие приговоры предпочитает выносить трибунал в последнее время?!

«Девочка, — очень хочется спросить Фаршедварду, но он не делает этого, и не только потому, что Неистовая Зейри кто угодно, но далеко не девочка. — Кто учил тебя быть мужчиной? Кто вложил холодный огонь в эти глаза и превратил язык в нож, а сердце в кулак? Господи, как было бы здорово взять тебя сейчас за горлышко, за нежную голубиную шейку, встряхнуть хорошенечко и объяснить простую и малоприятную истину: не так уж важно быть всегда сверху, хоть в жизни, хоть в постели!»

Несказанные слова клокочут в глотке, выпячиваясь наружу синими жилами-веревками, и хайль-баши вновь смотрит в окно.

В песках идет рубка, бессмысленная и однообразная, потому что исход известен заранее: еще минута-другая — и белуджи с воплями ринутся обратно, оставив между барханами десяток-другой трупов. А преследовать их в пустыне на ночь глядя решится кто угодно, но не Фаршедвард Али-бей, если он по-прежнему намерен вернуться в ставку с поредевшим, но существующим не только на бумаге хайлем.

— Вы можете поступать, как сочтете нужным, госпожа Коушут, но я буду на любую провокацию отвечать сообразно скрытой в ней опасности.

— Ладно, Али-бей, не злитесь... — Неожиданная уступчивость сбивает хайль-баши с толку, и Фаршедвард топчется на месте, как когда-то топтался на помосте после коварного толчка соперника-нарачи. — Все мы устали, всем настолько хочется тишины и покоя, что мы готовы шакалами кидаться друг на друга! Знаете, какой сегодня день... вернее, какой сегодня был день?

Фаршедвард удивленно прикидывает: недели полторы назад закончился месяц Дей, значит, сегодня на дворе Бахман, месяц Доброй мысли, будь он неладен, а день... день... ну конечно же!

— Вот-вот, — улыбается Неистовая Зейри, оправляя гимнастерку, и улыбка выглядит совершенно естественной на ее жестком лице, что уже само по себе не вполне естественно. — Десятый день Бахмана, солнце уже село, и начинаются Иблисовы Святки, единственная ночь в году, когда силам зла дана полная воля! Неужели же мы переругаемся с вами именно сегодня, на радость мохноухой погани?

— Я не суеверен, — коротко отвечает хайль-баши, молчит и наконец смягчается. — Но я также не расположен к лишним ссорам.

Женская ладонь примирительно ложится на окорок Фаршедвардова предплечья, и оба, хайль-баши Али-бей и наблюдатель Лиги Зейри Коушут, смотрят в окно.

На то, как сотник Карен распекает нерадивого пулеметчика.

Новобранец моргает, качается и наконец кулем оседает на землю. Фаршедварду Али-бею не надо долго любоваться корчами бедного парнишки, чтобы понять: пулеметчик болен.

Двенадцатый случай за последние три дня.

Одиннадцать свежих могил красуются на сельском погосте, одиннадцать холмиков с суконными шлемами на грубо обтесанных столбиках; и надо приказать копать двенадцатую, потому что пулеметчику остается меньше суток воплей и кровавого поноса.

Никаких других потерь за эту троицу дней хайль Фаршедварда не понес.

«Иблисовы Святки, — повторяет про себя хайль-баши, не очень понимая, имеет он в виду просто грядущую ночь или всю эту треклятую войну. — Десятые сутки месяца Бахман, месяца Доброй мысли...»

Почему-то Фаршедварду кажется, что этой ночью он будет спать не один.

Ночь больно кололась звездами.

Легонько толкнув фрамугу — он всегда боялся что-нибудь поломать, еще с тех пор, когда впервые завязал волосы на макушке узлом в форме листа дерева гингко, символом зрелости борца, — Фаршедвард полной грудью вдохнул дурманящую свежесть и замер у открытого окна.

Темная глыба в темном прямоугольнике.

За спиной еле слышно посапывала Зейри, раскинув на циновках всю роскошь зрелой женской наготы.

Наблюдателю Лиги снились хорошие сны. В ее коллекции самцов появился отменный перл, редкость из редкостей — бывший нарачи, весивший более чем вдвое по отношению к прошлым любовникам и более чем втрое по отношению к самой Неистовой Зейри. Пытаться утомить этого гиганта, знаменитого от Дурбана до Верхнего Вэя хайль-баши, этого... о-о, проще утомить водяную лошадь, гоняясь за ней по мелководью! Еще бодрствуя, купаясь во влажной истоме, Зейри боялась признаться самой себе, что впервые за три десятилетия поняла: быть женщиной вовсе не так уж плохо... пожалуй, даже хорошо, и не стоит чересчур рьяно мстить волосатым мужикам, заставляя их подчиняться и пресмыкаться, как тигра, ползающего на брюхе перед хрупкой дрессировщицей.

Она заворочалась и сладко простонала.

На круглом, как луна, лице Фаршедварда не отразилось ничего.

Постороннему наблюдателю могло бы показаться, что опытный командир попросту бодрствует ночью, разрабатывая план завтрашней операции, но для этого, во-первых, посторонний на-

блюдатель должен был оказаться клиническим идиотом, а во-вторых, из посторонних здесь присутствовали разве что звезды.

Звезды знали, что Фаршедвард Али-бей просто сходит с ума.

Он боялся спать.

Иблисовы Святки стояли над миром, над крохотным селом, песчинкой на просторах суши, а лихой хайль-баши никак не мог избавиться от ясного и страшного ощущения: вот сейчас он ляжет, смежит веки, позволит сну присесть рядом на краешек циновок, потому что ни одна здешняя кровать не предназначалась для габаритов Али-бея... — и все исчезнет. Сгинут в небытии одиннадцать могил на погосте и двенадцатая яма, еще только ждущая очередную жертву, перестанет существовать поредевший хайль, ящерица-время слизнет языком усатых рубак и прячущихся за барханами белуджей, крытые тростником домики сложатся карточными постройками — и беззвучная волна уничтожения покатится дальше, вымывая города, дороги, машины, людей, бумагу, асфальт...

Он, Фаршедвард Али-бей, проснется уже в другом мире.

Он сам станет другим.

...Наскоро одевшись и затянув изготовленный по спецзаказу ремень с кобурой, хайль-баши спустился вниз и вразвалочку подошел к бамбуковому плетню, окружавшему двор. По правую руку, у околицы, неярко горели костры часовых, всхрапывали стреноженные кони у коновязи, от пустыни тянуло духотой и опасностью; в селе лениво брехали собаки, жалуясь на недокорм.

Протяни руку, пощупай, принюхайся — да куда оно все денется, каким пропадом пропадет, даже если ты заснешь мертвым сном?!

Нервы...

Легкая тень мелькнула краем улочки, мелькнула и мигом растворилась среди прочих теней. Чуть погодя со стороны колодца послышался тихий, еле различимый всплеск. Еще один. И после минутной задержки — третий. Нечисть балует? Бабка Аала-Крох медные губы жестяным жалом лижет? Али-бей криво улыбнулся собственному предположению. Скорее уж какой-то бедолага из местных на ночь глядя собрался водички натаскать. Хотя тогда вдвойне странно — ни тебе скрипа журавля, ни громыхания колодезной цепи, ни...

Если Фаршедвард того хотел, он мог двигаться очень быстро.

Еще одна тень вскоре срезала улицу наискось, огромная, страшная тень, увидев которую любой стал бы крутить пальцами от злых духов и пятиться в уютное тепло дома. Прижавшись к корявому стволу тутовника, росшего как раз на углу, хайль-баши вгляделся — и почти сразу же прозвучал четвертый всплеск. Незваный гость бросал что-то в колодец, сомнений больше не оставалось, и ладонь тихо опустилась на рукоять револьвера, торчащего из открытой заранее кобуры.

Нет.

Выстрел подымет на ноги часовых, а следом и весь хайль, начнется суматоха, и даже если Фаршедвард не промахнется и пришелец не ускользнет, сон бойцов будет наверняка испорчен, а завтра Али-бею понадобятся свежие, не вымотанные ночным переполохом люди.

Он наклонился и поднял с земли камешек.

Мягко, как кот, взмахнул рукой.

Спустя мгновение в кустах по ту сторону колодца негромко прошуршало; камешек удачно прогулялся в сплетении веток, и ночной гость вздрогнул, выпрямился, силуэт его на миг размазался призрачным пятном... и два шороха, два острых, как ножи, шуршания прорезали кустарник.

Но Али-бей уже успел сделать десять шагов.

Лапа хайль-баши сгребла норовистого пришельца за ворот, рывок заставил ноги несчастного оторваться от земли; руки чужого сунулись было за пазуху, да не тут-то было — оба хрупких запястья поместились в свободной ладони Фаршедварда, похожего в этот момент на древнего нарачи, что разорвал пополам наивного удава. Почти сразу гостя швырнули спиной на колодезный сруб. Несильно, так, для души и говорливости, чтоб не сломать хребет, а лишний крик боли еще никогда не мешал при подобных знакомствах.

— Балуем? — грозно прорычал Али-бей, придвигаясь вплотную. — Иблисовы Святки справляем?!

И осекся.

Перед ним тряслась от испуга девочка.

Подросток, лет двенадцати, не больше. «По году на каждую свежую могилку погоста», — нелепо мелькнуло в мозгу хайль-баши.

Некрасивая и красивой никогда не будет.

Фаршедвард вспомнил: он видел девчонку раньше. Да, разумеется, — дочка местного кедходы, сельского старосты, пигалица из многочисленного выводка девиц, старшие из которых уже нянчили по двое-трое чумазых ребятишек, а младшие отбирали у собственных племянников хлебную жвачку, завернутую в тряпицу.

Девочка куталась в старую шаль с бахромой и молчала.

Хайль-баши подошел к колодцу и заглянул внутрь.

Темно.

Посветить бы чем...

Он еще вглядывался в темень колодезного жерла, когда маленький нож по рукоять вошел в бок Фаршедварда Али-бея, туда, где за слоем жира и могучих мышц пряталась печень.

Второй нож, брат первого, утонул в плоти мгновение спустя.

Ночь больно кололась звездами.

Счастливо стонала во сне Зейри Коущут.

Перекликались часовые.

...Девочка порылась в кустах, нашла один из брошенных на звук ножей, за другим решила вернуться на рассвете.

Некоторое время она молча стояла над переставшим содрогаться хайль-баши, раздумывая: перерезать ему для надежности горло или не стоит?

Решила: не стоит.

Рядом с гигантским телом, на латаном-перелатаном фартучке, валялись осклизлые куски собачьего мяса. Пес умер не сегодня и не вчера, мясо успело изрядно подгнить, и живой человек вряд ли мог бы вот так валяться, уткнувшись носом в гнилье, и при этом даже не шевелился. Остатки собачины плюхнулись в колодец, девочка тщательно обтерла руки о фартучек и засунула его на самое дно холщовой сумки.

Плотнее закуталась в шаль, скрывавшую перевязь с метательными ножами.

Пошла прочь.

В тощую девчачью спину с выпирающими лопатками — будто крылья прорастали, — не мигая, уставилось дуло револьвера.

Слишком много плоти наросло на костяке Фаршедварда Али-бея, бывшего борца-нарачи, слишком много жизни таилось в этой плоти, и слишком туго она уходила, жизнь человеческая, вязко сочась в Иблисовых Святках расплавленной смолой ярости и гнева.

«Змея... — беззвучно бормотали белые губы хайль-баши, а в белых глазах отражались звезды и дюжина свежих могил. — Тварь... Сколопендра...»

Выстрел поднял на ноги весь хайль.

ГЛАВА 2

ШЕЙХ «АЛАМУТА»

Сколько стоишь ты,
душа?
Отблеск
медного
гроша.

Вексель был слишком безупречным, чтобы быть настоящим.

Ромбовидный клочок отлично выделанной кожи, в двух углах которого красовались именные клейма известнейших саррафов[1] — Рубоба Оразмского, любившего откликаться на прозвище Рубоб Крохобор, и Худенькой Мамочки, хинского евнуха.

[1] Сарраф — меняла, ростовщик.

Даже смазанный край одного из клейм казался подлинным — Худенькая Мамочка, скупердяй из скупердяев, так и не удосужился сменить малость стершееся тавро.

— Господин ар-Рави в чем-то сомневается?

И голос под стать векселю — мягкий, превосходной выделки, хоть под ноги стели вместо ковра, хоть в чужой рот суй вместо кляпа...

— Как можно, почтеннейший! Просто бедный меняла давным-давно не держал в руках безделиц, стоящих целого состояния! Вы хотите получить всю сумму наличными?

Большой Равиль слегка поднял брови в конце вопроса: дескать, поймите, дорогой мой, в наше смутное время по улицам ночной Хины — да еще с мешком золотых динаров! — ходят либо безумцы, либо знакомцы самого миршаба, «владыки ночи»!

Вы, трижды дорогой мой, из каких будете: из первых или из вторых?

Человек, принесший вексель, улыбнулся. Он явился в лавку Равиля, когда день уже готовился уступить домогательствам вечера, — круглолицый, маленький, румяные щечки, холеная бородка с тщательно сбритыми усами (дурбанская мода, но гость менее всего походил на смуглокожих верзил-дурбанцев); представившись Кадалем Хануманом, лекарем из забытого Творцом городка на окраине Мэйланя, гость многократно поинтересовался благополучием хозяина и лишь потом протянул именной клочок кожи.

Равиль задумчиво огладил свою собственную бороду, пышное украшение с завитыми кончиками прядей, только недавно начавшую седеть, несмотря на годы.

Сослаться на поздний час и отложить выплату до завтра? — естественно, взамен предложив уважаемому Кадалю гостеприимство и кров! За пловом и вином гость разговорится, и тогда станет ясно: впрямь ли стоит сей мягкоголосый лекарь таких клейм, какие дорого ценятся вдоль всего Фаррского тракта...

— Впрочем, если временные заботы одолевают господина ар-Рави, — голос лекаря превратился в сплошную патоку, от которой слипались уши, — то не отложить ли нам дела до завтрашнего утра? Ночь дана умелым для умения, усталым для отдыха, а истосковавшимся по беседе — для Благой мысли, Благого слова и Благого дела! Не так ли?

Внутри Большого Равиля дернулась потаенная струна: словно слепой певец-чангир спьяну зацепил инструмент, и тот отозвался протяжным стоном. Неужели?! Неужели подозрения превратятся в счастье от встречи с единомышленником?! Творец-сотней-имен, не мучь, не кидай кость псу своему, чтобы тут же отобрать ее у несчастного!

А гость усмешливо глядел на саррафа, молчал, топорщил жидкую бороденку, чесал мочку левого уха двумя пальцами,

большим и безымянным, так что золотая сережка в виде шарика поминутно сверкала в отблесках пламени очага.

Иного доказательства не требовалось.

Спустя полчаса они шли прочь от запертой лавки: Большой Равиль, меняла из менял, и тишайший лекарь Кадаль.

Два шейха «Аламута», разгромленного нечестивым эмиром Даудом Абу-Салимом двенадцать лет тому назад, да будут шайтаны на том свете вечно трепать кишки проклятого!

Впрочем, почему «будут»?! — уже треплют, уже, и по ночам Равиль ар-Рави сладко улыбался во сне, заново переживая миг триумфа, когда Кабирский Эмират хоронил своего эмира.

Равиль не сомневался: в эти минуты пророк Гасан ас-Саббах тоже смотрит вниз из седьмого рая небесных сфер, и счастье сияет на лице пророка.

...Позади двоих лениво тащился Альборз-пахлаван, племянник, охранник и телохранитель Равиля.

Кому какое дело — сарраф с клиентом из лавки идут, ночь на дворе, темень-тьмущая, страшновато без богатыря за спиной... охохоньки, кому сказать: в Эмирате страшно бродить под звездами!

Судьба наша горькая!

Двуручная секира за плечом Альборза-пахлавана ловила серповидным лезвием звездные лучи — словно с небом переговаривалась.

Ровно дюжина лет прошла с того горького часа, как неприступное «Орлиное Гнездо», крепость истинно верующих, что «во крови — спасение», фонтаном каменных брызг взлетела в воздух и рухнула на перевал Фурраш бессмысленным нагромождением щебня.

Горшки с Иблисовым дерьмом, полыхнувшим по приказу алхимика Саафа бен-Саафа, сделали свое дело.

Резня началась после.

Большой Равиль был единственным из шейхов «Аламута», кому удалось спастись. Черное везение — на пятые сутки осады он по приказу Святого Гасана спустился в тайные залы галереи во чреве горы, где обкурившимся гашишем ученикам показывали рай на земле... и ар-Рави завалило обломками того праха земного, что некогда гордо именовался «Орлиным Гнездом».

Завалило вместе с троицей до поры бесчувственных учеников-фидаи, предназначавшихся для исполнения долга в Оразме, Хине и самой Столице, а также с пятью гуриями рукотворного рая.

Запасы питья — и воды, и хмельного — позволили мужчинам продержаться нужное время, пока войска эмира не покинули руины; зато с едой оказалось гораздо хуже.

Гурий едва хватило.

И то пришлось как следует затянуть пояса.

Выбравшись на волю, Равиль вскинул к горбатому небосводу руки, иссеченные, с содранными ногтями лапы гуля-людоеда, и поклялся страшной клятвой: кровью умоется Эмират за смерть пророка!

Он выполнил свою клятву.

Не зная, что бросает в землю зерно, получившее в будущем имя «Смуты Маверранахра».

Пророк Гасан ас-Саббах создал «Аламут» в горах Сафед-Кух, Большой Равиль создал «Аламут», протянувшийся от замков Лоулеза до пагод Верхнего Вэя. Сотни людей служили «горным орлам», сами не зная о том; нищие платили оброк старшинам цеха, саррафы платили охранную дань местным миршабам, шлюхи отсчитывали горсть потных монет, ссыпая мзду в кошель евнуха-смотрителя, — золотой ручей тек по Эмирату, прокладывая все новые русла, туманя души плеском драгоценной влаги, и улыбался Большой Равиль, презренный меняла, изгой из изгоев, когда слухи доносили до него сладкую, как вкус вражеской печени, молву:

— Отравлен Касем абу-Касем, градоначальник Хаффы!

— Престарелый Абд-аль-Аттахия по прозвищу Пыльный Плащ, дядя самого светлейшего эмира Дауда, задушен новой наложницей — дорого расплатился старик за любовь к гаремным утехам!

— Во время охоты упал в пропасть хакасский вождь, Буртаг ап-Сослан из клана Чибетей; тело не найдено... не найдено... не...

— Владетель города Балха заживо сгорел в огне пожара — неловкий слуга опрокинул светильник...

— Захлебнулся в домашнем водоеме-хаузе дурбанский наместник...

Птенцы нового «Орлиного Гнезда» были когтистей прежних.

И улыбался Большой Равиль, последний из былых шейхов.

Никогда, никогда не получали его наемники приказа пустить в ход оружие — сабля, копье, даже простой нож считались для них запретными. Ар-Рави не был суеверен, если не считать суеверием врезанную в душу истину: «Во крови — спасение!»; но он был осторожен и предусмотрителен, как змея в кустарнике. Не зря же ходили по эмирату слухи — еще тогда, до падения первого «Аламута», и Святой Гасан негодовал на еретиков-болтунов — про живое оружие, наделенное почти человеческим рассудком, про возможность сделать шаг навстречу, и тогда свершится небывалое... Люди до сих пор помнили Вэйского вана, Чэна-в-Перчатке, его стремительную жизнь, его волшебное исчезновение и чудесный приезд посольства от гурхана далекой Шулмы, воплощения Желтого бога Мо, которого ближайшие сподвижники по-прежнему звали Чэном Анкором.

Именно тогда и поползли по Эмирату неслыханные отзвуки неслыханных речей, но подошвы страшных событий затоптали ползучих бродяг, вдавили в землю, не оставив и следа. Так, намек, зарубка на память, детская сказка... И грохот фитильных аркебуз окончательно заглушил робкое эхо.

А там пришла-прилетела весть о безвременной кончине неудачливого Чэна Анкора и о грянувшей борьбе за власть в проклятой Творцом Шулме.

Большой Равиль не интересовался слухами — он умывал кровью Эмират.

Тщательно и бережно, как мать омывает новорожденного младенца, предполагая, что из дитяти вырастет богатый купец или, к примеру, доверенный слуга-гулям самого градоначальника... а вырастает вор и матереубийца, но скажи кто об этом самой матери — глаза выцарапает!

Тихий сарраф не пренебрегал ничем, даже суевериями, даже слухами, и его посыльные никогда не пользовались оружием.

Не считать же оружием тесло каменщика?! Заточенный на конце до бритвенной остроты брусок стали, который преданный наемник вогнал в спину нечестивому эмиру Дауду, приехавшему взглянуть на постройку обсерватории в Хаффе!

Идея с теслом была разработана лично Равилем, и он по праву гордился ею.

А когда полтора года назад до Равиля дошли слухи, будто на побережье Муала объявился еще один якобы выживший после взрыва и резни «горный орел» — ар-Рави не спешил позволить радости занять место в своем сердце. Не обман ли? Не подделка? Не самозванец ли норовит залезть на теплое, нагретое чужим седалищем местечко?! Даже когда тайный гонец от берегового шейха доставил Равилю весточку и памятный знак (и впрямь такие паучки, заговоренные свастики из белого золота имелись лишь у доверенных людей Святого Гасана!), ар-Рави не спешил откликаться. Недоумевал — как вышел на него брат-соперник? Надеялся — будет на кого опереться! Боялся — что известно двоим, известно свинье! Прикидывал — весы испокон веку являлись знаком саррафского ремесла, грех не взвесить заранее доброе и злое! Думал, спрашивал, слал письма-тайнописи, проверял...

И вот — береговой шейх сам явился!

Без охраны, без сопровождения, как равный к равному, как друг к другу — хочешь, пловом корми, хочешь, в речке топи!

Большой Равиль еще не знал толком, чего ему хочется больше.

— Это моя дочь, — приветливо сказал шейх Кадаль и махнул рукой в сторону угловатой девочки, топчущейся рядом с Альборзом-пахлаваном.

Равиль кивнул.

Узнав час назад, что дорогой гость приехал вместе с дочерью, желая оставить девочку у здешней родни, Равиль первым настоял на праве хозяина и отправил племянника-телохранителя в Восточный караван-сарай. Теперь Альборз вернулся, дочь шейха Кадаля куталась в бахромчатую шаль рядом с богатырем, и можно было продолжить беседу, предварительно отправив девчонку на женскую половину.

— Зейнаб! — крикнул ар-Рави, в конце имени младшей жены слегка повысив голос.

Умница Зейнаб мгновенно возникла во дворе — хозяин с гостем ужинали вдали от духоты и досужих ушей, — и по обе стороны от младшей жены шмыгали носами две девочки: чернокосая худышка и рыжая, как гнедой иноходец, толстуха.

— А это моя красавица, — улыбнувшись, Равиль указал на рыжую. — С подругой... у бедняжки родителей оспа унесла, так что я сиротке вроде атабека, по долгу дружбы с покойным отцом!

Дело обстояло как раз наоборот: родной дочерью шейха, появившейся на свет год спустя после падения «Аламута», была именно обладательница черных кос. Но об этом знали, пожалуй, только сам Равиль и мать чернокосой, хворавшая в доме. С самого рождения дочери ар-Рави врал окружающим, демонстрируя всем родную дочь под видом приемной, а приемную — под видом родной.

Большому Равилю было стыдно признаться, что в этой жизни он любил всего двоих: выпестованную в сердце месть и худую девчушку, боящуюся сурового отца.

А уязвимое место закрывают двойной броней.

Кто тронет несчастную сиротку?

Иное дело — любимое чадо богатого саррафа, за которое и выкуп дать-взять не грех... а чернокосая — убивай, не жалко!

Чужая.

...Шейх Кадаль встал и подошел к девочкам. Поманил свою — та медленно приблизилась и встала рядом. Гость снова улыбнулся, но глаза его при этом сощурились, отвердели, зрачки блеснули стальным отливом — и Равиль вспомнил: он действительно видел Кадаля в том, прежнем «Аламуте»! Дважды. Первый раз ар-Рави без вызова явился по срочному делу в покои Святого Гасана — а там сидел круглолицый человечек, сидел перед пророком и вертел в руках изображение (запретное!) какого-то толстяка. А глаза круглолицего поблескивали... Видел! Было!

Спустя секунду вооруженные люди горохом посыпались через глинобитный дувал во двор Равилева дома.

Нет, «горный орел» при всей обманчивой неповоротливости

соображал гораздо быстрее, чем это могло показаться с первого раза.

Альборз-пахлаван еще только поворачивался к незваным гостям, глотка племянника еще только рождала страшный рык, повинуясь которому из дома начали выбегать слуги, а Равиль уже стоял в другом конце двора, и ладонь шейха толкала потайную калитку. За ней — второй, внешний дворик, чужому там не пройти, не миновать ловчих ям и острозубых капканов, не прорваться к сменным коням под седлом; вот-вот калитка откроется, прогремят копыта и — ищи ветра в поле!

Острое ощущение непоправимости пронзило Большого Равиля навылет, подобно брошенному в спину копью. На миг ему показалось, что сейчас он распахнет калитку, а за ней не окажется ничего. Словно цена всей Равилевой жизни — дирхем ломаный, словно цена всему этому миру — шаг через порожек, потому что там, за порожком, будет совсем другое бытие, в котором не найдется места ни Святому Гасану, ни нынешнему «Аламуту», ни заседланным коням, ни ветру в поле, ни медяку в подоле!

Секунда задержки, мгновение, не более...

Зачем он только обернулся, предусмотревший все Равиль ар-Рави, принявший некогда чалму шейха из рук самого Святого Гасана!

Ах, зачем он обернулся...

Трудно было понять, как Кадалева дочка раскрыла правду; но лезвие ножа в тощей девчоночьей руке опасно подрагивало у яремной жилы чернокосой, единственной (если не считать мести!) Равилевой утехи — а рядом свистел вспоротым кадыком Альборз-пахлаван, упрямо тянувшийся к своей секире.

— Не торопись, хозяин! — улыбнулся шейх Кадаль, и голос круглолицего был мягок: хочешь, под ноги стели вместо ковра, хочешь, в рот суй вместо кляпа. — Негоже гостей одних бросать...

Равиль не ответил.

Там, за калиткой, ждали свобода и месть; здесь, во дворе, ставшем темницей, ждали его дочь и нож.

Нет, не так.

Ждал нож — и только потом дочь.

«Тварь... — беззвучно шептали белые губы Равиля, и белые от злобы глаза неотрывно следили за проклятой девкой, сбросившей наземь тяжелую шаль. — Тварь, змея... Сколопендра...»

И долго потом рассказывали очевидцы сплетникам, а сплетники — любопытствующим, как уже мертвый Альборз-пахлаван сумел все-таки один раз взмахнуть двуручной секирой.

ГЛАВА 3

НАДИМ

Умирающего спасение —
в невозможности воскресения.

— Еще! О-о-о! Еще! Кто ты, дева, на женщин вовсе не похожая, сквернее и отвратительней не видел я никого на свете. Кто ты, чудовище?!

Плеть ласкала обнаженное тело, подобно любовнице не стесняясь ничего, то припадая к плоти кончиком ременного языка, то стелясь всей семихвостой длиной; стоны бродили от стены к стене, ковыляя на истомно подгибающихся придыханиях...

— Я не дева, а злые твои дела, о грешник зломыслящий, злоговорящий, злодействующий и зловерный! На! Я — твои злые помыслы, злые речи и злые дела!

— Еще! О-о-о, еще!

Большое рыхлое тело выгибалось дугой, судорога сладострастия заставляла взволнованно звенеть цепи, которыми человек был прикован к стене, и животворящее мужское начало неуклонно росло, увеличиваясь в размерах, стремясь к слиянию и завершению.

Иначе он не умел.

— Еще!

— Да поднесут тебе пищу из яда, вонючего яда! Вот пища для юноши зломыслящего, злоговорящего, злодействующего, зловерного — после издыхания! Да поднесут...

Два тела слились в одно, прибой конвульсий вздымал и опадал, качая на огненных волнах удивительное существо, двухголовое, четверорукое и четвероногое; и сбивчиво восклицал голос, словно беря краткий реванш за перенесенные муки:

— Да! Вот пища для бабы очень зломыслящей, очень злоговорящей, очень злодействующей, очень зловерной, наученной злу, непокорной супругу, грешной — после издыхания! Да! После издыхания!.. Да!..

Стены с ужасом взирали на творившееся непотребство, и камень плакал редкими солеными слезами.

Надим Исфизар, приближенный чиновник самого хаффского Малик-шаха, искренне полагал, что в чреве его покойной матушки обитал злой дэв. Ничем другим нельзя было объяснить странной тяги почтенного надима к удовольствиям того сомнительного рода, от каких обыкновенный человек шарахается прочь. Если не считать неудобства, о котором было сказано,

жизнь надима Исфизара текла ровно и приятно, следуя проложенному судьбой руслу.

Первенец-мальчик в семье потомственных чиновников, он рос в неге и холе, ничем не отличаясь от прочих обеспеченных сверстников, если не считать частого ввязывания в драки с девчонками. Результат стычек не отличался разнообразием: злюки-тигрицы его били. Надим Исфизар никогда не жаловался строгому отцу или любящей матери на дерзких девчонок. Он мстил обидчицам по-иному: назавтра снова ввязывался с ними в драку и снова позволял избить себя. Наставить синяков. Подарить пару-другую царапин. Иногда даже — о-о-о! — выбить зуб. Драные волосы в расчет не принимались.

А так — все в порядке, мальчик хорошо ест, хорошо спит и растет не по дням, а по часам.

Наконец мальчик вырос.

Поздний ребенок (обстоятельства, обстоятельства!), он рано стал полноправным наследником, отплакав положенное над могилкой родных; в срок женился, заставив свах выбрать ему тишайшую из тишайших девиц Хаффы и вдобавок круглую сироту — тихоня не станет болтать на углах о причудах муженька, а если станет, то о сгинувшей невесть куда сиротке беспокоиться некому, кроме законного супруга; и вскоре Исфизар, прозванный в городе Улиткиными Рожками, уже стоял по левую руку от самого Малик-шаха.

Улиткины Рожки прекрасно изучил кодекс государственного надима, подробно растолкованный в мудрой книге «Сиасетнамэ». Ведь сказано жившими до нас: «Надим должен быть всегда согласным с государем. На все, что сделает или скажет государь, он обязан отвечать: «Отлично, прекрасно!» Он не должен поучать государя: «Сделай это, не делай того; почему поступил так?» Он не должен возражать, а то государю станет тягостно...»

Малик-шаху никогда не становилось тягостно от речей Улиткиных Рожек — и надима Исфизара осыпали почестями. Однажды девять раз набивали сладкоречивый рот золотыми монетами, потому что иначе было не исчерпать дарованное блюдо динаров.

И недаром именно надим Исфизар был назначен «шахским ухом» в обсерваторию знаменитого от востока до запада Омера Хаома, мудреца и звездочета. Эмират треснул столетие назад, подобно глиняному кувшину, развалившись на груду разнокалиберных черепков, и владетель каждого черепка — вольного города Оразма, Хаффского шахства, Срединного Мэйланя или Дурбанского султаната, не говоря о прочих, — норовил перещеголять соперников. Если не величиной войска, то хайлем кименских мушкетеров-наемников; если не плеядой поэтов при дворе, то облицовкой нового дворца или высотой обсерватории; если не

красотой первой жены, то хотя бы славословием придворных надимов.

Малик-шах, правитель стоявшей на торговых перепутьях Хаффы, славился приверженностью к астрологии. Это забавляло всех: шах и шагу не сделает, не запросив мнения толпы бородатых умников — но удачливость молодого шаха добавляла горчинки на язык сплетникам. Недаром, видать, ученые хаффской обсерватории денно и нощно чертили звездные таблицы, недаром вертели соллаб[1], заставляя диаметр-алидаду бегать по кругу, отсчитывая градусы и минуты. Сам Малик-шах понятия не имел ни о градусах, ни о минутах, а соллаб с алидадой полагал именами дэвов из морских глубин, — но это не играло никакой роли, пока обсерваторские звездочеты морщили лбы, а хаким Омер отвечал шаху, стоит ли тому начинать поход против белуджей или необходимо повременить до Ноуруза — Нового года.

Но предосторожность — мать спокойствия; и надим Исфизар в обсерваторских стенах должен был служить залогом добропорядочности бойких на язык мудрецов.

Вот он и служил.

Пока не встретился с Зейри Коушут, жрицей Анахиты — женского воплощения Творца-с-сотней имен.

О небо, как она умела любить, бить и любить, Неистовая Зейри, и плеть в ее руках умела петь сто девяносто восемь из ста девяноста любовных песен, приятных уху, духу и плоти Улиткиных Рожек.

И Малик-шах потерял в тот день верного надима, а жрица Анахиты приобрела готового на все раба.

Если бы Неистовая Зейри еще понимала, что раба нельзя лишать последней корки хлеба...

Исхлестанное тело сладко ныло, озноб возбуждения медленно покидал Исфизара, вытягивая каждую жилку, слизывая пот каплю за каплей — и Улиткины Рожки обмяк в цепях, прикрыв глаза.

То, что они с Зейри занимались любовью прямо в обсерватории, пустой с утра, добавляло приправ в кебаб страсти.

Сейчас жрица вернется, вернется с вином и фруктами, сейчас она накормит своего Исфизарчика, слугу своего, собаку, презренную тварь... и — может быть! — соблаговолит еще разок поиграть с ним в темные игры Анахиты.

Сейчас...

— Вот он, — донеслось от порога. — Помнишь, я тебе говорила об этом ублюдке?

---

[1] Соллаб — астролябия.

Открывать глаза не хотелось.

Но пришлось.

Рядом с обнаженной Зейри стояла тощая девочка, не вошедшая еще в брачную пору. Стояла, молчала, куталась в тяжелую шаль с бахромой.

Смуглое лицо девочки не выражало ничего.

Совсем ничего.

Лишь на дне огромных миндалевидных озер, полных кипящей смолы, надим Исфизар увидел улыбку Темной Анахиты, женского воплощения Творца — потому что только в женском обличье Творец разрушает.

В следующее мгновение метательный нож лишил Улиткины Рожки мужского естества.

Полузадушенный визг заставил Зейри вздрогнуть всем телом и выгнуться кошкой в весенний месяц Фравардин, похотливый месяц Фравашей — душ предков, любящих плоть своих потомков и томление этой плоти.

Пальцы жрицы свело судорогой, экстаз превратил нервы в стальные струны, поющие гимн запретным утехам, но Зейри все же смогла наклониться и лизнуть ухо стоявшей рядом девочки.

Лицо девочки по-прежнему не выражало ничего, а из-под шали медленно выползал второй нож.

...Неистовая Зейри учла все, кроме случайности: великому мудрецу и звездочету Омеру Хаому, которого хаффцы прозывали Гадюкой Хайямом, не спалось в это славное утро. Календарь «Джалали», лунный календарь новой эры, был практически готов, оставалось подвести кое-какие последние итоги — и астролог вместе со свитой учеников и последователей двинулся в любимое здание во всей Хаффе.

В обсерваторию.

Войдя в которую, он услышал визг надима Исфизара.

Это стоило жизни троим ученикам, опередившим учителя на крутой лестнице.

Когда Неистовую Зейри вместе с девочкой-убийцей кидали в раскаленное чрево медного быка, толпа зевак отметила: если жрица до последней минуты отчаянно вырывалась из рук шахских гулямов, то девочка подошла к быку сама, без насилия, и только обернулась через плечо — безошибочно найдя рядом с Малик-шахом искалеченного ею надима Исфизара.

В смоляных озерах-глазах казнимой хохотала Темная Анахита.

Надим Исфизар улыбнулся в ответ.

«Тварь... — смеялись белые губы Исфизара, и на белой простыне взгляда Улиткиных Рожек растекалась черная кровь. — Тварь, змея... Сколопендра...»

Он уже представлял, как пойдет в квартал сборщиков падали, как купит у самого бедного из них девочку, не вошедшую в брачный возраст, и что сделает со своей покупкой, вернувшись домой и спустившись в подвал.

ГЛАВА 4

БЕЛОВОЛОСЫЙ

Мне назначены судьбой
бой
и боль.

Его взяли ночью, безоружного, не дав вступить в бой, — воистину правы предусмотрительные, ибо это был единственный способ заполучить Беловолосого живым.

Четверо предателей из племени ориджитов вывели вражеских всадников к месту его тайной стоянки — никто, кроме детей Ориджа, не умел нюхом различать сокрытое в следах и ветре! — и две конные сотни затаились до поры у холмов, поросших ковылем-серебрецом. Сами же предатели хорьками-душителями пробрались в лагерь: не всхрапнули лошади, не вздрогнули часовые, звезды не моргнули удивленно... И когда от холмов к десятку кибиток потекла визжащая лава, опоры шатра Беловолосого оказались подрублены, похоронив очнувшегося господина под многослойным саваном из плотного войлока.

Его взяли живым.

«По-зор, — стучали копыта, и большое тело, вьюком перекинутое через конскую спину, беспомощно подпрыгивало в такт скачке. — По-зор, по-зор...»

— Я знаю, ты ненавидишь меня, — сказала узкоплечая женщина.

В кибитке их было четверо: эта женщина в мужском чапане, подбитом овчиной, немолодой тургауд-телохранитель, степной волк с туго заплетенной косицей тысячника, сам Беловолосый со скрученными за спиной руками — и смуглая девочка лет двенадцати, очень похожая на женщину в чапане.

На свою мать.

Он не ответил: стоял врытым в землю столбом, обнаженный по пояс, не позволяя онемевшим ногам согнуться в коленях, катал желваки на скулах, словно буйвол, бугрил горбатую от скрытой силы холку — но ремни держали с душой.

Смертно держали.

— Ты полагаешь, что именно я отравила своего мужа и твоего

друга. — Узкоплечая женщина равнодушно улыбнулась. — Меня это даже не оскорбляет. Потому что я знаю — это не так; а твое мнение, равно как и мнение поддержавших тебя западных нойонов, меня не интересует. Лучше бы ты уехал в свое время, Фальгрим... или умер.

Волк-тысячник дернулся, словно хотел возразить, но пальцы женщины невзначай коснулись рукояти висевшего на поясе меча — короткого, почти кинжала, неестественно широкого у крестовины и сточенного на бритву у острия, — и вышколенный тургауд замер каменным изваянием.

Каких много на степных дорогах — предки ставили? боги? невесть кто?!

— Сейчас меня интересует другое. — Ладонь отползла от эфеса и принялась задумчиво поглаживать костяной амулет, нашитый поверх чапана. — На сегодняшний день ты, Фальгрим Беловолосый, являешься последним из пришедших в Шулму людей Эмирата... о не-людях я не говорю.

Скрытый смысл прошуршал в последних словах и растворился в беззвучии улыбки.

— Итак, ты последний. Последний... враг? Ведь не считать же мне врагами тех буянов, которые носятся сейчас с окровавленными бунчуками по Западной Шулме и призывают шулмусов к священной войне?! Ты, Беловолосый, — совсем другое дело. И я прекрасно знаю, что ты сказал бы мне, если бы не был столь горд, считая разговор с пленившей тебя ведьмой унижением.

Лицо пленника красноречиво подтвердило правоту женщины.

— И все же я рискну задать тебе несколько вопросов. Задать, надеясь получить ответ. Но как? Как заставить лоулезского лорда... тебе не кажется это смешным: Лоул и лорды на забытом Творцом краю света?! Впрочем, мы отвлеклись, да и тебе это явно не кажется смешным. Итак: как заставить лоулезского лорда, Фальгрима Беловолосого, говорить правду, если лорд Фальгрим вообще не хочет говорить?

Слово «лорд» доставляло узкоплечей женщине несомненное удовольствие.

За ее спиной угрюмо молчал тысячник и смотрела в пол девочка, кутаясь в шаль.

— Пытки? Вряд ли... Такие, как ты, мой верный враг, не говорят под пытками. В лучшем случае они проклинают палачей. Подкуп? Глупо. Уговоры? Они помогают лишь тогда, когда уши слушающего не залеплены смолой ненависти. И все же... все же...

Женщина негромко хлопнула в ладоши.

Тургауд-тысячник поспешно вышел, почти выбежал из кибитки, снаружи послышались лающие приказы, и вскоре четверо воинов занесли под полог огромную, расщепленную посредине колоду. Деревянного исполина установили в центре — пленник

машинально попятился, оказавшись рядом с тлеющей жаровенкой в виде раскорячившейся черепахи, — и воины исчезли. Объявившийся вместо них тысячник нес перед собой на вытянутых руках... меч.

Двуручный лоулезский эспадон, с массивной крестовиной и «бараньими рогами» захватника на пядь выше гарды.

Лезвие меча взволнованно играло бликами от очага, и такие же красноватые отсветы обожгли исказившийся лик пленника.

Повинуясь жесту узкоплечей, тысячник встал рядом с колодой и всадил эспадон в расщеп на треть клинка.

Пленник помимо воли сделал шаг вперед — и тут же ладонь женщины вернулась на эфес ее собственного меча-кинжала, сабля тысячника до половины покинула ножны, а шаль сползла с девочки на ковер, явив взору ременную перевязь, крест-накрест охватывающую туловище подростка.

Из пазов перевязи торчали рукояти десяти метательных ножей.

Слова здесь были бы излишни.

— Итак, мне хотелось бы знать — кто из покинувших Шулму кабирцев способен (или хотя бы собирался) вернуться с подмогой?

Тишина.

Хриплое дыхание Беловолосого не в счет.

— Кажется, ты не понял, лорд...

Еще один хлопок в ладоши. Девочка наклоняется и берет из угла кожаный сверток. Лязг, скрежет — в худых руках оказываются зубило и кузнечный молоток. Увесистый, но совсем небольшой молоток, отнюдь не та кувалда, которой любят играть кузнецы-профессионалы. Подойдя к колоде с торчащим из расщепа двуручником, девочка приставляет острие зубила к основанию левого «бараньего рога» и легонько пристукивает по торцу молотком.

Меч вибрирует со стоном боли и отчаяния, смеется узкоплечая женщина, а лицо пленника становится белее его волос.

Но Фальгрим молчит.

Молоток ударяет сильнее, еще раз, и кусок захватника откалывается, падая сперва на колоду, а затем — беззвучно — на ковер.

Огненные сполохи гуляют по клинку эспадона, и кажется: раненый меч залит кровью.

Через секунду эспадон протяжно кричит, лишаясь второй половины захватника.

Прежде чем потерять сознание, Беловолосый видит невиданное: мир идет седыми размывами, словно рябь по осенней реке, и вот рябь исчезает, а вместе с ней исчезает и мир. Он, лорд Лоулеза, стоит в каком-то особняке и держит в руках фамильный эспадон Гвениль — ржавый, искалеченный, умирающий... да и он сам, Фальгрим Задира, будто съежился, усох, проржавел, брюш-

ко оттопыривает куцый кафтанчик ужасного покроя, и жизнь выглядит обманом, шуткой наиподлейшего из богов. Рядом сверкает откинутой крышкой хрустальный гроб, куда надо опустить меч, — но Беловолосый не может этого сделать, не может, не...

— Притворяется? — спросила узкоплечая женщина.

Тысячник приблизился к бесчувственному телу, вгляделся.

— Паленым пахнет, — неожиданно сказала женщина, принюхиваясь. — Откуда?

Тысячник зашарил взглядом по кибитке: очаг, войлочные стены, женщина, девочка, колода с поруганным мечом... каменное лицо пленника, тоненькая струйка дыма над голым плечом...

Опытный тургауд опоздал. Пока в его сознании укладывалась мысль, что можно лежать на раскаленной жаровне, не шевельнув и мускулом, — паленые ремни лопнули от чудовищного рывка, а белая грива волос разметалась бураном через всю кибитку, из угла до колоды.

И двуручный меч завыл зимней пургой, оказавшись в обгоревших до кости руках.

«Тварь, — полыхнуло белым вдоль искалеченного клинка, — тварь, змея... Сколопендра...»

ГЛАВА 5

ЛЕЙЛА

...Мог играть и без струны,
знал, что вывезет кривая,
и терпеть не мог войны,
потому что убивают.

...Маленькое, отточенное до бритвенной остроты лезвие скользнуло по завязкам блузы — и полы испуганно разлетелись в разные стороны.

Стальной язык лизнул бретельку лифчика.

Лейла рванулась, хотела крикнуть — но нет, ублюдки держали крепко, а один из них хмыкнул и с маху запечатал девушке рот крепкой пятерней.

Бретелька с легким треском лопнула; следом другая.

Глазами, полными ненависти, Лейла смотрела на тощую девчонку с ножом в руке, ощущая холодный и безболезненный поцелуй металла в паху; ненависть — это было все, что Лейла могла себе позволить, оружие бессильных, хворост в топке отчаяния, и ворочался у выбившихся наружу корней чинары Рашид, пытаясь встать, словно сейчас это имело хоть какое-нибудь значение.

«Тварь, — шептали побелевшие губы девушки, и в ушах гремел хохот стоявших по бокам ублюдков. — Тварь, змея... Сколопендра...»

ГЛАВА 6

РУИНТАН-АРАКЧИ

Нет мудрости в глупце? И не ищи.
Начала нет в конце? И не ищи.
Те, кто искал, во времени не тонут,
А от тебя следов и не ищи.

Рукотворная молния вышибла пиалу с вином из рук бородача.

Пиалу с черным мускатом из солнечного Тахира, напитком богов, в который Руинтан самолично подбавил немалую толику спирта, ибо боги богами, а спирт еще никогда не мешал подлинному аракчи достигать блаженства.

Черепки и лужа под ногами.

Груда черепков и изрядная лужа; четвертая чаша пошла демону У под хвост из-за причуд проклятой девчонки, уже баюкавшей на ладони следующий нож.

Бородач с тоской покосился на стоящий перед ним кувшин и три оставшиеся пиалы. Ножей у бобовайской правнучки, в свою очередь, оставалось не то пять, не то шесть — слезы отчаяния туманили Руинтанов взор, он путался в счете и лишь одно понимал с ясностью обреченности: вино в кувшине кончится гораздо раньше, чем молнии шайтанова отродья, и уж наверняка раньше, чем хотя бы капля вожделенной влаги коснется губ аракчи.

И все-таки он попробовал еще раз.

Пятую чашу постигла участь ее товарок, и даже брызги не долетели до высунутого Руинтаном языка.

Шестая чаша.

Предпоследняя.

«Тварь, — глухо ворочалось в бороде, — тварь, змея...»

ГЛАВА 7

АЗАТ

Хоть одной ногой —
но в огонь.
В огонь.

«Тварь, — он силился приподняться и не мог. — Тварь...»

Глава 8

ГЮРЗЕЦ

Шепчут листья на ветру:
«Я умру...»
«Тварь...»

...Полночь бродила по мектебу «Звездный час», слизывая шепот белых губ.

Губы шептали одно и то же.

Одно и то же.

Дальше продвинулись,
Дольше горели.
Тех, что погибли,
Считаю храбрее.

Г. Поженян

Книга III
В ОДНОЙ ОБОЙМЕ

ГЛАВА 1
СКОЛОПЕНДРА

Жалко
палку —
бьет по псу.
Палка,
я тебя спасу.

Темно. Ночь, наверное.

Она посмотрела в небо.

Звезды.

Наверное.

Иные, чем обычно, — незнакомые, чужие. Смотрят глумливо. И яркие — как кристально-пристальные глаза ночных хищников.

Стальные глаза.

Ослепительно белая, сияющая луна. Такой не бывает!

Темно? Нет, это ей только показалось в первый момент. Просто тени совсем черные, неправдоподобно четкие, и, когда ветер мягко перебирает шевелюру деревьев, тени, в свою очередь, начинают двигаться как живые, словно они — сами по себе, у них какие-то свои теневые дела, свои, непонятные людям игры.

Эти игры могут быть опасными.

Наверное.

Наверняка.

Значит, надо торопиться — пока тени не заметили ее, не обступили со всех сторон, мешая пройти...

Пройти — куда?

Конечно же, вон туда, к ограде; там, в кустах, спрятан ОН — тот, которому она должна помочь.

Помочь уйти.

...Люди.

На ступеньках и на дорожке, прямо на колючем гравии, — везде лежат люди. Они, что... Белые губы шепчут неслышные белые слова. Нет, просто спят. Наверное. Ей совсем не хочется, чтобы люди умерли.

Ей просто не нравятся слова белых губ.

Пусть спят. Надо торопиться, пока они не проснулись.

Молодая трава нежно щекочет босые ноги, деревья дружелюбно расступаются, тени пытаются ухватить за щиколотки, но не могут — призрачные когти бессильно соскальзывают, с сожалением втягиваясь во мрак под деревьями.

Впереди — залитая лунным молоком лужайка, за ней — стена кустов, тех самых единственных в мире кустов; а за кустами — бессмыслица, чушь, бред, нездешняя ересь, от которой веет сырым холодом, но не таким, как на кладбище, другим, еще более чуждым... равнодушным!

Туман.

Наверное.

Туман клубится над лужайкой, и она идет сквозь него, утопая по колено в белесых струях, плавно перетекающих от пряди к пряди.

Здесь.

Наверное.

Дорожного знака на той стороне тоже, да и самой дороги не видно, но она теперь точно знает — здесь. Да, чуть левее...

Оцарапанная рука нашаривает под тканью массивную рукоять.

Я вернулась за тобой, мой хороший. Нет, я не бросила тебя! Как же я могла...

Извлечь меч из кустов удается только со второй попытки. Руки девочки исцарапаны в кровь, но она не замечает этого — держа перед собой тяжелый эспадон, очертания которого мало угадываются сквозь ткань старого штандарта, девочка идет к воротам.

Все. Надо уходить. Отсюда уже совсем недалеко.

Едва различимые сквозь сгустившуюся мглу ворота полуоткрыты. У ворот лежит еще один человек. Вместо левого уха у него — нелепый огрызок. Рядом валяется в темной луже какой-то странный предмет, но девочка не замечает его; она проскальзывает между решетчатыми створками и идет прочь. Некоторое время смутный силуэт еще виден, потом — исчезает.

Тишина.

Наверное.

ГЛАВА 2

АЛЬБОРЗ-ПАХЛАВАН

Я такого не хотела —
чтобы тело
улетело.

Шайтанов шашлык! Что это было?! Глючево? Крыша промокла? Так я вроде ничем не долбился...

Звезды в небе. Луна. Ночь?!

Где шейх?!

Альборз приподнял тяжелую, как со свадебного похмелья, голову, обалдело моргнул и огляделся.

Двор мектеба. Кругом валяются люди. Разборка случилась, что ли? Шейх! Большой Равиль. Вот он, рядом. Дышит — брюхо мерно поднимается и опускается. На губах — слюна пузырями. Значит, жив хозяин. И крови не видно.

Спит?

Без чувств?

Бомбу подложили? Все вокруг цело, здание, люди... и воронки нет. Может, снаружи шарахнуло, а нас волной зацепило?

Голова по-прежнему кружилась, держать ее поднятой было трудновато, а встать — так попросту невозможно. Альборз-пахлаван засопел и снова прижался щекой к сырой брекчии аллеи. Сейчас его малость отпустит, он приведет в чувство шейха — и надо живенько мотать отсюда, пока легавые или кто другой не нагрянул...

Взгляд телохранителя был устремлен в сторону ворот, наполовину скрытых туманом, — и когда Альборз-пахлаван совсем уж было решил, что может подняться, в дымной пелене проступил неясный контур.

Человек!

Телохранитель замер, настороженно вглядываясь; вставать он мгновенно раздумал: ежели что — пусть решат, что он тоже без сознания. И только правая рука Альборза медленно, очень медленно потянулась к наплечной кобуре, где дремал в ожидании подходящей минуты любимый «барс»-автомат.

Человек, ковыляя, вышел из тумана, по инерции сделал шаг-другой — и остановился, удивленно моргая длиннющими ресницами. Похоже, гость был растерян не меньше, чем сам Альборз-пахлаван пять минут назад.

«Девчонка!» — дошло вдруг до телохранителя. Та, которую с таким шухером привезли в ихний мектеб! Альборз досадливо закряхтел, тихо выругался про себя и хотел уж было подняться — но вновь не стал этого делать.

Действительно, девчонка — голенастая, нескладная, завер-

нувшаяся в тяжелую шаль с бахромой по краям. На цыплячьем плече — длинномерная штакетина, обмотанная тряпкой...

Вот только почему эта козявка уже на ногах, тогда как все вокруг валяются в отключке?! И куда она шлялась?

Смурное облако ворочалось в голове Альборза, набухая темнотой и обещанием неприятностей; причем неприятности были краем связаны с девчонкой, тупо озиравшейся по сторонам.

Сон ему был, что ли?

В вещие сны Альборз не верил, тем паче что самого сна он даже и не запомнил, но холодящее чувство опасности, наплывавшее изнутри... Подобным звонкам телохранитель шейха Равиля привык доверять!

И он остался лежать.

Девочка медленно двинулась по аллее в его сторону, все еще озираясь, но у Альборза создалось впечатление, что соплячка уже не просто озирается, а ищет что-то вполне конкретное.

Она остановилась в двух шагах от бесчувственного шейха «Аламута». Взгляд девочки поерзал, в его бессмысленности прорезалась живая струйка, и тощая шейка слегка согнулась-разогнулась. Кивает. Нашла. Что нашла? Или КОГО?!

Сняла с плеча свою странную и, по-видимому, изрядно тяжелую ношу. Принялась с тщанием распаковывать.

Альборз-пахлаван невольно подался вперед — что там у нее?

И когда девочка наконец распрямилась, держа в окровавленных руках здоровенный меч, устремивший острие к алмазной пыли небес и жадно ловивший на клинок лунный свет, — Альборз, не колеблясь, рванул оружие из кобуры. В одно мгновение он вспомнил. Сон! Был сон! Маленькая черноглазая стерва! Помню! Альборз такого не забывает!

Иногда сны все же вещие... Что, сучка нетраханая, просчиталась?!

Убить подлую тварь!

И палец телохранителя нажал на спуск.

Боек сухо щелкнул, но выстрела не последовало. Как в бреду, не понимая, что происходит («барс» еще ни разу не давал осечки!), Альборз передернул затвор и снова надавил на курок.

Издевательский щелчок.

Альборз-пахлаван взревел похлеще раненого чауша и запустил бесполезным пистолетом в голову проклятой твари, одновременно вскакивая на ноги.

Девочка машинально повернулась, и «барс»-автомат отлетел в кусты, наткнувшись на ржавое лезвие меча.

В мечах Альборз не разбирался. Да и что это меняло?! Мощное тело уже скручивалось в прыжке стальной пружиной. Свернуть гадине шею раньше, чем...

Земля ударила пахлавана в лицо.

Альборз даже не успел удивиться. Тело действовало само, великолепно отлаженное тело, в отличие от сволочей-пистолетов не знающее осечек; но ногу словно сдавило тисками.

Телохранитель рывком обернулся, понимая, что теряет драгоценные мгновения, — и увидел перед собой серьезную до смешного физиономию хайль-баши. Тисков не было. Это огромная волосатая лапа Фаршедварда Али-бея держала Альборза за щиколотку.

— Не трогай девочку, — искренне посоветовал хайль-баши телохранителю.

Вместо ответа Альборз от души пнул свободной ногой жирную морду мушерифа. В результате чего и вторую щиколотку бедного пахлавана постигла участь первой. Хайль-баши подумал с секунду — и навалился на телохранителя всей тушей, окончательно лишив хрипящего Альборза возможности к сопротивлению.

— Угомонишься — отпущу, — пообещал Фаршедвард своему полузадушенному противнику.

И пахлаван понял, сразу и бесповоротно: угомонится — отпустит. А нет — так нет. Никогда. Год назад он читал в газете, что в занюханной древней гробнице раскопали два мужских скелета, взявшихся за руки. Здесь, в гробнице Иблисова мектеба, когда-нибудь раскопают два скелета, взявшихся за ноги. Нет, все же за руки... тьфу ты, пропасть! — два скелета, взявшихся руками за ноги.

И никак иначе.

— Эй, парни, чем это вы там занимаетесь? — громыхнуло совсем рядом с нескрываемым удивлением.

Альборзу-пахлавану видно было плохо, дышалось не лучше, уши заложило, как на глубине, но голос хозяина он узнал сразу.

У хайль-баши память на голоса оказалась неважная, особенно на незнакомые, зато он хорошо видел поднимающегося Равиля. Али-бей попытался представить себе, как происходящее выглядит со стороны, пусть с поправкой на нездоровое воображение шейха «Аламута», — и пришел к неутешительному выводу: хайль-баши, усевшийся верхом на постороннего мужчину и разводящий последнему ноги, — далеко не самое эстетическое зрелище.

Даже если начать разъяснять... нет, пожалуй, лучше не стоит.

— Вы что, другого места не нашли? — поинтересовался «горный орел», наконец приведший себя в сидячее положение.

Фаршедвард ослабил хватку и начал задумчиво сползать с телохранителя.

— Шейх, сзади! — прохрипел Альборз.

Большой Равиль резко обернулся, его рука скользнула под пиджак, нащупывая рукоятку пистолета...

Позади никого не было.

Если не считать медленно удаляющейся девчонки, несущей на плече тяжелую и корявую железяку.

— Что — сзади? — зарычал ар-Рави на телохранителя. — Кто — сзади, придурок?!

— Она... шейх, клянусь мамой, она зарезать вас хотела!

— Девчонка?! У тебя что, черви в голове завелись?

— Целый выводок, — хмыкнул Фаршедвард, хотя его-то никто к разговору не приглашал. — Кишмя кишат.

И, видимо, зря напомнил о себе.

— А вам, господин хайль-баши, я заявляю официальный протест в связи с попыткой незаконного задержания моего человека! — мигом вступился «горный орел» за оскорбленного в лучших чувствах телохранителя. — И требую немедленно его отпустить!

— Поклянется (мамой или, в крайнем случае, одним из пап!) не покушаться на жизнь девочки — отпущу.

— Альборз! Это правда?

— Она собиралась убить вас, господин! — Альборз-пахлаван заплакал бы, если б умел. — Я верен долгу, шейх! Ваша драгоценная жизнь для меня дороже собственной, а вы, шейх... вы верите этому... этому...

Пахлаван очень старался говорить культурно. Как ни странно, это ему почти удалось, только слова подбирались неохотно, вроде бусин из порванного ожерелья.

— Если б Сколопендра хотела убить твоего шейха, мы бы сейчас копали могилу! — процедил сквозь зубы Фаршедвард Алибей, окончательно выпуская телохранителя на волю.

Альборз поднялся, глядя в землю, отряхнул грязь с одежды и понуро отправился искать свой пистолет.

Шейх «Аламута» и хайль-баши смерили друг друга оценивающими взглядами и молча отвернулись: оба решили, что лучше будет счесть инцидент исчерпанным.

ГЛАВА 3

ХАКИМ

Прорастают семена из пепла,
Вскормлены углями и золой.
Это я, наверное, ослепла,
Стала злой.

Беловолосый... или это уже он, хаким Рашид?

Демон У, все перепуталось! Музей, кибитка, экзамены, пытки, боль своя, чужая... Нет, глаза открыл все-таки Рашид аль-

Шинби. Слегка близорукие глаза, не таким гореть волчьими огнями из-под падающих на лоб белых прядей. Вот только сон, к сожалению, продолжался: угловатая девчонка (та самая, с краденого снимка, из краденого сна!) пыталась довести до конца гнусное злодеяние — заклинив знакомый двуручник между почти сросшимися стволами кизила, она всем щуплым телом налегла на меч, силясь переломить его пополам.

Не получилось.

Плохо заклиненный меч с визгом вырывается, падает наземь. Маленькая дрянь поднимает его и с упорством муравья...

— Стой! Стой, пакость! Не сметь!

Ноги плохо слушаются, в колени насыпан песок, тело носит из стороны в сторону — но хаким успевает вовремя! Девчонка отшатывается, закрываясь от него мечом.

Злосчастный кизил — между ними.

— Отдай немедленно! С ума сошла — это же музейный экспонат! Реликвия! Ей цены...

Стоп! Сон или явь? Откуда у нее эспадон?!

— Ты что, украла его? — зашипел Рашид, грозно наступая на тощую пакость, сверкавшую из-за лезвия глазами. — Украла?! Ты, ты, воровка, змея подколодная, сколопендра! А ну немедленно... давить, давить таких во младенчестве...

Рашид уже плохо соображал, что говорит, и вдруг оказалось, что ему в некотором роде наплевать на украденный экспонат. Кража меча — только повод, последняя капля... убить, убить подлую тварь! Хаким не замечал, что кричит это вслух, во весь голос, что люди вокруг постепенно приходят в чувство и с недоумением смотрят на разбушевавшегося аль-Шинби, а в глазах девочки зажигаются зеленые свечечки, плотно сжимаются побелевшие губы, и лицо приобретает очень неприятное, совсем не детское выражение...

Взъярясь окончательно, Рашид бесстрашно ухватился прямо за лезвие эспадона, пытаясь отобрать реликвию, но девчонка рванула меч на себя, и хаким с криком отдернул руку.

Тишина.

Гулкая, чужая тишина.

Он стоял, тупо уставясь на ладонь, испачканную ржавчиной и текущей из пореза кровью.

Саднило ободранное о ствол кизила предплечье.

— Отдай, — тихо произнес хаким Рашид, чуть не плача.

В ответ девочка только отрицательно мотнула головой и отступила еще на шаг, прижавшись спиной к коре старой магнолии.

«Не подходи!» — ясно говорил ее взгляд.

— Я бы не советовал вам продолжать в том же духе, почтен-

ный хаким. Оставьте девочку в покое. Иначе... я не поручусь за вашу жизнь, — знакомо прогудело над ухом, и тяжелая лапа мягко легла на плечо хакима.

Рашид обернулся, увидел перед собой круглую луну с бровями-гусеницами — лицо Фаршедварда Али-бея — и сник.

Все, все против него!

— Вы не понимаете. Это же уникальная реликвия, — по инерции пробормотал историк. — А она... она пыталась ее сломать!

Хайль-баши покосился на затравленно озиравшуюся Сколопендру.

— Мне кажется, она передумала, — не вполне уверенно произнес Али-бей.

— Если так — пусть отдаст меч, и я сейчас же отвезу его в музей! — в отчаянии воззвал Рашид к более понятливому, чем маленькая дрянь, собеседнику. — Я даже согласен не подавать заявления о краже... пусть просто вернет экспонат — и покончим с этим. Вы согласны, господин хайль-баши?

Фаршедвард не нашел, что возразить.

— Послушай, кроха, господин хаким прав, — обратился он к девочке. — Мы все погорячились, но еще есть время исправить дело. Верни меч, мы отвезем его в музей — и я не стану давать ход этому делу. Даю слово. Ты ведь знаешь, моему слову можно верить!

— Отвезете в музей? — Первые слова, произнесенные девочкой, прозвучали с какой-то пугающей, издевательской интонацией. — И оставите гнить в вашей богадельне?! Попробуйте сначала выйти отсюда! Я уже пыталась...

Она умолкла и обессиленно опустила эспадон, мягко ткнувшийся острием в землю.

— Не понял? — нахмурился хайль-баши. — Что значит: «попробуйте выйти»? Вон ворота... — Он посмотрел в сторону окружавшей мектеб пелены, вздрогнул и нахмурился еще больше. — Добро, кроха, попробуем!

Фаршедвард зачем-то поплевал на ладони и решительно зашагал к воротам. Наблюдавший за происходящим Равиль ар-Рави тронул за плечо своего телохранителя, который, сопя, прятал в кобуру найденный пистолет, — и Альборз-пахлаван, поняв хозяина без слов, заспешил вслед за хайль-баши.

В туман они вошли вместе, плечом к плечу.

Подоспевшая Лейла, всхлипывая, бинтовала порезанную ладонь Рашида чистым платком, время от времени кидая на Сколопендру короткие ненавидящие взгляды.

— Ты... ты больше не будешь пытаться сломать его? — робко осведомился хаким у девочки.

Запал прошел, осталась слабость, и... и все.

— Не буду. Пока. Тут, рядом с вами, даже умирать противно, — не совсем понятно ответила пигалица и отвернулась.

— Эй, уважаемые, чья это нога?

Рашид дернулся, будто его током ударило, зашипев от боли в пострадавшей руке, и обрел великое счастье узреть корноухого пьяницу — тот бодро ковылял от ворот и размахивал находкой странной формы и размера.

— Ногу, говорю, кто обронил? — Пьяница явно был не в себе. Или чудом успел наклюкаться в состоянии обморока.

Через секунду Рашида стошнило: при ближайшем рассмотрении оказалось, что в руке бездельник-аракчи действительно держит человеческую ногу — еще сочащуюся кровью, отрезанную почти до колена, обутую в дорогой лаковый ботинок. Лейлу, отличавшуюся запоздалой реакцией, вывернуло наизнанку минутой позже, прямо в кусты рододендрона; ветки зашуршали, оттуда с возмущенным меканьем выскочила бабкина коза и устремилась к приходящей в чувство хозяйке.

Нервы госпожи Коушут оказались покрепче. Она подошла к корноухому, взяла у аракчи его жуткий трофей и внимательно осмотрела.

Потом аккуратно положила обрубок на ступени крыльца.

— Это нога господина хаким-эмира, — спокойно констатировала Зейри.

Слишком спокойно, на взгляд Рашида.

Тягостное молчание заполнило двор, и поэтому все одновременно услышали приближающиеся шаги.

Ближе.

Еще ближе.

Наконец из окутывавших ворота (как, впрочем, и весь периметр парка) сумерек возникли два силуэта, сделали еще несколько шагов и остановились.

— Шайтанов шашлык! — только и смог произнести один из них.

Другой, куда более крупный, хмуро молчал.

— Да вы небось заблудились и по кругу пошли! — с наигранной бодростью предположил Большой Равиль, прикуривая.

— Нет, шейх, — покачал головой Альборз-пахлаван, а Фаршедвард так и не произнес ни слова. — Это... Иблисовы Святки, вот что я вам скажу! Дело нечисто... — И он опасливо огляделся по сторонам, словно ожидая увидеть самого козлорогого хозяина ада, Иблиса-Противоречащего, прячущегося в парке.

В следующий момент, распахнув двери мектеба, на крыльце возник надим Исфизар.

ГЛАВА 4

НАДИМ

Добра много?
Зла мало?
Держись — ногу
Сломала жизнь.

...А ведь он предупреждал! Говорил! И господину хаким-эмиру, и попечительскому совету мектеба, и этой ведьме Коушут... то есть хотел сказать, давно хотел, копил в душе, подыскивал беспроигрышные фразы, готовил докладную записку, где высказался бы решительно и бесповоротно, со всей прямотой, представив свое мнение суду общественности и здравого смысла — да все обстоятельства не складывались. И вот — сложились. Сложились, господа мои, как карточный домик под напором ветра. Ветра? — Вихря! Урагана! Самума! «Звездный канон» Беруни? Светила Сохейль[1] и Шабаханг?! Миррих-Воитель, Пламень-в-Красном-шлеме?! Доигрались! Допрыгались, кузнечики, астролухи царя небесного, саранча бескрылая! Дошутились со звездочками, сунули руку по локоть в пасть Зодиаку, пощекотали шершавую глотку...

Господи, за что караешь?! Не я ли жил тише всех?!

Ждал, всю жизнь ждал пакостей — от визгливой суки-матери, от надменного отца-неудачника, от школьных башибузуков, от сокурсников, от шлюх-девчонок, от сослуживцев, в аду жил, в геенне ожидания, в преисподней одиночества... дождался.

Спасибо, Господи!

До Судного дня не забуду.

— Это все она! — Вопль вылетевшего на крыльцо надима Исфизара поверг собравшихся людей в ступор. Словно начальственный окрик в сортире, когда ты только-только успел добежать и расстегнуть пряжку ремня. Словно гром с ясного неба. Словно выстрел над ухом; словно... А рослый надим, чей рассудок тонул в пучине страха, гнева и видений, тыкал мосластым пальцем поочередно в Неистовую Зейри, в угрюмо молчащую Сколопендру и, наконец, в смоляное небо, ухмылявшееся алмазным оскалом созвездий.

— Это все она! И она! И она! И они! Они тоже! А я говорил... говорил я!

От его обычного поведения, коктейля из манерного высокомерия пополам с опаской и капризностью, не осталось и следа.

— Говорил я!

---

[1] Сохейль — звезда Канопус; и дальше: Шабаханг — Сириус (дословно «Утренняя Звезда»), Миррих-Воитель — Марс.

Первой опомнилась Зейри — что, в общем, было вполне естественно.

— Как вам не стыдно, господин Исфизар! Извольте немедленно прекратить истерику! Если вы не в состоянии быть мужчиной, то не будьте хотя бы тряпкой!

Хохот надима был хохотом безумца.

Даже иглы небосвода поблекли и съежились.

Даже коза поглубже забралась в рододендроны, мотнула бородой и настороженно прижала рога к холке.

— Еще бы, госпожа Коушут! Еще бы! Не всем же быть настоящими мужчинами вроде вас! Надо кому-то и просто жить... скажете: не надо?! Бояться, мучиться зубной болью, сомневаться, стонать... не всем же! Не всем! Не всем тыкать перстами в язвы мироздания — а вдруг отзовется?! Наманикюренными пальчиками, одинаково способными шарить у мужиков в паху и расшибать в кровь чужие морды!

Высокий, с пылающим лицом, в широкополом светлом костюме — сквозняк радостно трепал одежду, превращая ее в одеяние пророка, в праздничную рясу жреца-мобеда, — надим Исфизар, Улиткины Рожки, посмешище учащихся мектеба, был сейчас воистину страшен, и глас его звучал в ночи пророческим набатом.

— Истинно глаголю вам: это она! Это все она! И она! И они! О, бойтесь дня, когда душа ничем не возместит за другую душу, и не будет принято от нее заступничество, и не будет взят от нее равновес, и не будет оказано помощи! Да поднесут им пищу из яда, вонючего яда! Вот пища для юноши зломыслящего, злоговорящего, злодействующего, зловерного — после издыхания! Да! Вот пища для бабы очень зломыслящей, очень злоговорящей, очень злодействующей, очень зловерной, наученной злу, непокорной супругу, грешной — после издыхания! Да! После издыхания!.. Да! Да поднесут... ей! И ей! И им! И им тоже! Да!..

Диск полной луны рывком взметнулся над вздыбленными волосами, над зарождающейся лысиной, вспыхнув нимбом, священным фарром шахин-шахов, святых и юродивых девона.

Даже неуместное вздутие в паху, оттопыривавшее брюки смешным комом, не портило общего впечатления.

Если б еще достопочтенный надим соизволил выражаться яснее...

Увы.

— Это она! Это все она! И она! И они!

Истерика кончалась, топливо выгорало подчистую, дотла, угольки души полыхали остаточными язычками, знающими о скорой смерти еще в минуту рождения, а в глазницах Неистовой Зейри уже застывали ледяные призмы, сквозь грани которых

просвечивало нехорошее будущее болтливого коллеги, такое нехорошее, такое близкое, такое уже почти не будущее, что Исфизар судорожно попятился, задохнулся, всплеснув руками-крыльями, но, вопреки ожиданиям, не полетел, а уперся спиной в стену.

Этой стены позади него не было и не могло быть.

Живой стены.

— Господин Ташвард, — в голосе госпожи Коушут зазвенела торжествующая сталь, и это затрепанное бездельниками-поэтами сравнение показалось бы нарочитым кому угодно, но не надиму Исфизару и не в этот миг. — Господин гулям-эмир, будьте так любезны проводить моего уважаемого коллегу в учительскую комнату и запереть за ним дверь. Снаружи. Ключи отдадите мне. Почтенный Исфизар не в себе после пережитых потрясений; ему необходим отдых. Длительный отдых. Пока более здравомыслящие люди не разберутся в ситуации и не решат, какие меры надлежит принять в нашем положении. Вы слышите меня, господин Ташвард?

— Я слышу вас, — после длительной паузы ответила стена, твердея и прорастая цепкими пальцами, так что ополоумевший надим даже не стал оборачиваться.

Даже думать не стал, почему вышколенный армейской службой гулям-эмир не отрапортовал «так точно», или «слушаюсь», или еще что-нибудь в этом роде — ведь сказать Неистовой Зейри, что ты ее слушаешь, даже не слушаешь, а только слышишь, равносильно зародышу бунта на корабле... но огонь стал прахом, угольки — золой, а золу развеял ветер.

И все двенадцать домов Зодиака действительно сложились карточными постройками, сминая нимб-фарр и обрушиваясь на мягкое темечко.

Исфизар кулем осел на ступеньки, захрипел, рванув ворот рубашки, боком, по-крабьи сполз ниже и потерял сознание.

«Счастливец», — подумал кто-то из присутствующих.

Кто именно — осталось загадкой.

Самым ужасным в происходящем было то, что, когда бесстрастный Гюрзец и белый как мел Усмар стали поднимать бесчувственного Исфизара, мосластый палец Улиткиных Рожек вновь поднялся и уперся в Сколопендру.

Как ствол, готовый плюнуть смертью.

— Убейте ее, — не приходя в себя, отчетливо произнес надим; и металла в его голосе, в чужом шелесте выходящего из ножен клинка, звякнуло поболе, чем у десятка Неистовых Зейри, вместе взятых.

— Пожалуйста, убейте ее, — сказал надим Исфизар. — Пожалуйста. Я вас очень прошу.

Доктор Кадаль наклонился, стараясь не привлекать внимания, и подобрал выпавшую из кармана надима фотографию: фонтан на площади Сорайя, радуга брызг, и смеющийся надим трогательно обнимает за плечи маленькую старушку со скорбно поджатыми губками.

Повертел снимок в руках.

Сунул в карман.

ГЛАВА 5

АЗАТ

Из гнилья слова,
если я права.
Или век гнилья,
или я — не я.

Это было удивительно, но Карен не испытывал ничего, вернее, почти ничего, кроме образовавшейся внутри пустоты. Сосало под ложечкой, слабо кружилась голова. «Мы никогда не выберемся отсюда», — мысль родилась сразу, прочно обосновавшись в сознании, по-хозяйски усевшись на краешке бездны и болтая тощими ножками в воздухе. Прыгаем, егерь? Взявшись за руки, а? Где мы? Что мы? Что с нами? — Какая разница?! Можно разбиться в лепешку, отгрызая себе лапу за лапой, подобно схваченному капканом волку, можно искать виноватых и отгрызать лапы им, упиваясь сладкой слюной и кровью справедливого возмездия... но заставить себя делать это искренне и самозабвенно, как сумасшедший надим или телохранитель бородача?

Выше сил.

Первый раз в жизни Карен ощутил бессмысленность собственного существования.

Словно минуту назад тринадцатая по счету надпись «Висак-баши Карен Рудаби, 5965—5996 гг. от с. м.», высеченная на обелиске, на остроконечном камне в ущелье Малого Хакаса, перестала быть поводом для хвастовства и шуток в знакомой компании, обратившись в реальность.

Братская могила.

Братская могила «Звездный час» имени Омера Хаома.

«Дальше продвинулись, — пели егеря на редких привалах, — дольше горели; тех, что погибли, считаю храбрее...»

Считаю храбрее.

Поэтому, когда лапа хайль-баши отодвинула его в сторону, Карен послушно сделал шаг, другой и вновь застыл столбом.

— Нет уж, погодите, — вкрадчиво раскатился по двору бас Того-еще-Фарша, и спина бывшего нарачи заслонила бывшему

егерю половину центрального корпуса мектеба; заслонила, страшно качнулась — грозящая рухнуть оползнем гора — и сместилась левее.

— Давайте не будем торопиться. Господин гулям-эмир, я к вам обращаюсь. Да, именно к вам в первую очередь! По-моему, я здесь единственный представитель законной власти, и у меня складывается крайне нелестное впечатление... Вот-вот, вы правильно меня поняли: опустите вашего подопечного, если хотите, подстелите под него любую теплую тряпку и перестаньте коситься на госпожу Коушут!

Фаршедвард раздраженно топнул ногой — движение могло бы показаться детским, нарочитым, если до того никогда не видеть, как умеют топать борцы-нарачи; Али-бея цельно накренило в сторону, словно подрубленный ствол, толстая ножища приподнялась, зависла на мгновение, опустилась всей подошвой... и земля обиженно вздрогнула.

Гюрзец встопорщил седеющие усы, морщины на лице гулям-эмира заерзали, складываясь в непонятную гримасу; затем он кивнул Усмару и аккуратно расположил на крыльце тело надима Исфизара.

Укрыл ноги надиму собственным пиджаком; кобуры под пиджаком не оказалось, так что гулям-эмир ничем не рисковал.

Хотя он вообще ничем не рисковал — не больше прочих.

«Словно аукцион, — мелькнуло в мозгу Карена, мелькнуло и даже показалось смешным. — Мы торгуемся, Фарш намерен переспорить Зейри, а Гюрзец молоточком стучать будет. По надимовой макушке. Продано!»

Нет.

Только показалось смешным, но смешным не стало.

Стало глупым.

— Достопочтенный Исфизар минуту назад обвинил в происходящем часть присутствующих здесь людей... Обвинения в адрес неба мы в расчет принимать не станем по причине нервного возбуждения уважаемого надима. Предположим, господин Исфизар заблуждается. Тогда его можно спокойно уносить, запирать на ключ в учительской и пытаться образумить — разумеется, законными, подчеркиваю, законными методами! Но с равным успехом мы можем предположить и другое: в сумбурном заявлении уважаемого надима крылось зерно истины. Маленькое, еле заметное, но вполне способное прорасти определенными всходами — и именно это толкнуло госпожу Коушут на ее опрометчивые действия. Итак?

Болтливость Фаршедварда, из которого при обычных обстоятельствах лишнего слова не вытянешь, была Карену вполне понятна: слово за словом, и собравшиеся перед мектебом люди заше-

велились, задумались, словно нехотя, задвигались, за... за? Против?!

Неистовая Зейри как бы невзначай поднялась на ступеньки, встав поближе к Усмару (гулям нервно засопел), глядящему исподлобья Ташварду и телу болтуна-надима; глаза Зейри мимолетно полоснули по открытой двери, будто в ожидании: вот-вот оттуда выглянет еще один остававшийся в мектебе гулям, Махмудик, любитель дергать чужие пальчики!

Вон сколько нужных пальчиков; дергай — не хочу...

Бородач переглянулся со своим телохранителем, выпустил умопомрачительный клуб дыма, стряхнул пепел в карман громиле-наемнику — и оба, являя второй за сегодня трогательный пример единения власти законной и, мягко выражаясь, незаконной, демонстративно подошли к хайль-баши и встали рядом; за ними робко проследовал круглолицый доктор, ведя за руку насмерть перепуганную дочку бородача, и толстячок-хаким с девушкой.

— Господин Рудаби! — колоколом прозвенело в наэлектризованном воздухе.

Взор Неистовой Зейри, способный почище молнии испепелить любое живое существо, уперся в Карена.

— Господин гулям! Вам что, требуется особое приказание?! Немедленно идите сюда!

— Егерь, твою дивизию... — глухо рыкнул Тот-еще-Фарш и замолчал.

По мнению хайль-баши, сказанного на этот раз было достаточно.

Более чем.

Когда Карен вдруг расхохотался — заливисто, по-мальчишески, утирая слезы и с хрипом набирая дыхание для новых громоподобных раскатов, — запертые на территории мектеба люди озабоченно переглянулись: иметь в вынужденной темнице двоих сумасшедших, на их взгляд, было бы обременительно.

Не находите?

Насмеявшись всласть, бывший егерь, отставной мушериф и несостоявшийся гулям... един в трех лицах, Карен проморгался за троих, отряхнув с ресниц капли искрящейся влаги, и направил свои стопы совершенно в ином направлении, чем предполагали Тот-еще-Фарш и Зейри Коушут.

«Тех, что погибли, считаю храбрее», — немелодично мурлыкал он по дороге.

Встав за спиной бабушки Бобовай, Карен опустил ладони на поручни инвалидного кресла — и через мгновение костяшки его пальцев побелели.

— Спасибо, гостенек, — еле слышно прошептала старуха, и

левая лапка бабушки ласково потрепала висак-баши по предплечью, а правая сноровисто забралась в недра кресла, где и осталась.

Так они и стояли: мурлычущий егерскую песню Карен, старуха из тупика Ош-Дастан, кутающаяся в шаль девчонка и Руинтан Корноухий, беспутный аракчи.

Ах, да — еще коза.

Рогатая бестия.

ГЛАВА 6

ГЮРЗЕЦ

В руку
пригоршню
дерьма —
вот вам жизни кутерьма.

— Не работает, — растерянно бросила Зейри, в пятый раз щелкая выключателем.

Гюрзец с сочувствием покачал головой.

Он уже больше получаса знал, что во всем мектебе нет электричества: очнувшись после обморока и спускаясь вниз, у Ташварда хватило ума пощелкать рычажками на распределительном щите.

Сейчас его беспокоило другое: работает ли водопровод?

Еще там, во дворе, Гюрзец поймал себя на странном полузабытом предчувствии. Он задницей чуял опасность, это было основное условие его профессии, позволявшее определить направление и характер будущего удара за миг до того, как удар становился настоящим. Мэйланьские мастера утверждали, что движение бойца «начинается с ног и укрепляется в пояснице», маленькие убийцы с архипелага в море Муала называли источник силы коротким словечком «хара», что на их варварском наречии означало «живот», рукопашники Хины и Дурбана полагали, что дело кроется в повороте бедер — Ташвард недоумевал, слушая их: почему бы не обозвать все эти бедра, живот и поясницу одним емким термином «задница»?

Просто и понятно.

То, что сзади, всегда главнее того, что спереди.

Увы, большинство мужиков полагают иначе.

Седалищный барометр еще ни разу не подводил Ташварда, и, когда во дворе начался дележ — кто за кого и по какому поводу? — отставной инструктор училища «Белых змей» оставался хо-

лоден и равнодушен. Он уже давно был сам за себя. Если стерва Зейри хочет числить его у себя в подчинении — на здоровье, пусть крошка потешится, попускает слюни. И если курсант... виноват, висак-баши... дважды виноват: новоиспеченный гулям, которого именно он, Гюрзец, в свое время вытащил из дерьма, расположен поиграть в благородство — сколько угодно.

Мы даже пособим, подыграем.

До поры.

Пока не разберемся в обстоятельствах.

Вот тут-то и нашла коса на камень. Почему-то главной опасностью тянуло не от дурня-йети, то и дело лапавшего оттопыренную подмышку, не от его роскошно-бородатого хозяина, по которому давно плакали кутузка и гигант-мушериф, даже не от самого мушерифа — последнего господин Ташвард отнюдь не склонен был недооценивать, за фарсанг чуя профессионала высокого класса, равного себе и по возрасту (тоже небось полтинник разменял!), и по характеру.

Задница вещала неладное. Холодным сквознячком поддувало от удивительной компании, куда зашагал справлять героические потребности его бывший курсант и нынешний подчиненный. Впрочем, о последнем факте Гюрзец склонен был напомнить Карену позже. Когда времечко придет. Бить надобно не сильно, а вовремя.

Сейчас же важно — от кого сквозит?

От бабки?

От дедки?

От внучки?

От сучки бен-Джучки? — или кто там еще дергал за ботву в детской сказочке «Брюква-Великан»?!

По мнению дотошной задницы, выходило, что от внучки — и это был первый случай в жизни Ташварда-Гюрзеца, когда здравый смысл отстранял чутье и выразительно крутил пальцем у виска.

От лядащенькой пацанки? Стыдись, инструктор...

Недели полторы назад, во время сессии, у Ташварда состоялся конфиденциальный разговор с хаким-эмиром. На данный момент — по всему видать! — с покойным хаким-эмиром. Но тогда глава мектеба пребывал в добром здравии и имел честь намекнуть Гюрзецу: его отставка и последующее предложение занять пост начальника охраны в «Звездном часе» были отнюдь не случайны. Мектебу требовался доверенный человек, на которого можно положиться в разных... очень разных и зачастую специфических случаях. Вы меня понимаете, господин Ташвард? Я вас понимаю, господин хаким-эмир. В смысле, не столько понимаю, сколько догадываюсь. Или не догадываюсь. Вы-то сами себя понимаете?

Стоя под взбесившимся небом внутри мутного кокона, в компании хайль-баши, сотрудников мектеба, выродков из «Ала-мута», внучек с бабками, пьяницами и козами — не считая прочих, отнюдь не лучших субъектов, — Гюрзец топорщил усы и убеждался в предусмотрительности хаким-эмира.

Случай и впрямь получался специфический.

Что ж, каждый за себя; один Творец — против всех. А Ташвард — не Творец и не каждый. Он, Гюрзец, господин инструктор, выкинутый из училища волею кретинов-сархангов[1] в дорогих мундирах, словно сточивший клыки пес, — из училища, где он честно учил мальчиков ломать чужие шеи и не ломать свои! — снова ощутил себя востребованным. Попав в окружение, он выведет взвод... нет, иначе! — он превратит случайных людей во взвод и выведет вверенных ему судьбой ополченцев к своим с наименьшими потерями.

Да, обязательно с наименьшими потерями.

А пока — пускай себе тешатся адреналином в крови и игрой в демократию.

Если кто-то не желает быть ополченцем или, упаси Творец, отказывается считать себя рядовым, это не имеет в сложившейся ситуации никакого значения.

Абсолютно никакого.

ГЛАВА 7

ХАБИБ

Дрожь
рук —
а вдруг?!

Доктор Кадаль пребывал в растерянности.

Жуткое, выворачивающее наизнанку состояние, в последнее время ставшее чуть ли не привычным.

Словно разлив сорвавшегося с цепи половодья подхватил скромного хабиба и понес, повлек в неизвестность, а мимо, кружась в водоворотах, неслись события последних дней: глянец лица со шрамом под глазом, насмешливый экран Иблисова детища, безумие ит-Сафеда, маньяк с винтовкой, захваченный автобус, пьяный угар в Озерном пансионате — и вот небывалое, невозможное, о чем хорошо читать в беллетристике, удобно откинувшись на спинку кресла и временами прихлебывая крепкий кофе...

---

[1] Сарханг — генерал.

Кадаль мог только моргать и следить, как события проплывают мимо, норовя ударить твердым и скользким боком.

Один желтый листок он даже сумел ухватить, зажав в кулаке, — фотографию надима-безумца — и теперь искренне недоумевал: зачем?!

А эта женщина все щелкала выключателем, словно огнивом, в надежде высечь-таки искру и запалить трут...

Зачем?

— У вас свечи есть?

Это громадный хайль-баши.

Интересно, где он был, представитель законной власти, когда маньяк превращал в кровавые куклы посетителей «Розария» или мерзавцы-террористы расстреливали мирных пассажиров?!

Небось отчеты составлял, пером скрипел в тиши кабинета... ишь, брюхо нaел!

— У меня есть. Внизу, в каптерке. Принести?

Это молодой охранник.

Жвачку жует, молокосос. Зуб на зуб не попадает, а туда же! Прикажи такому стрелять — будет стрелять, даже не поинтересовавшись, в кого.

— Да-да, Усмар, сделайте одолжение. Мы вас подождем.

Это женщина с металлическим голосом и глазами из горящего льда. Бросила терзать выключатель. Хватило ума. Боже, Творец-с-сотней-имен, мы все помешались, такого попросту не может быть, а мы, вместо того чтобы оглядеться, одуматься, трепыхаемся насаженными на булавку гусеницами, мечтаем превратиться в бабочку, но сталь уже пронзила нас насквозь. Только насекомые не чувствуют боли, я точно знаю, у них отсутствуют соответствующие рецепторы — жрущей нектар осе можно потихоньку отрезать брюшко, и она продолжит жрать вхолостую, а заметит неладное, лишь попытавшись взлететь и не сумев... Потом сдохнет — безболезненно.

Свет.

Робкий огонек свечи... второй... третий.

Оказывается, Усмар уже вернулся.

Тихо, Кадаль, тихо, здесь тебя лечить или успокаивать некому — тебя просто сгрузят в угол и накроют ноги чужим пиджаком, как бесчувственному надиму.

Тихо...

Что говорит эта женщина?

— Мне трудно объяснить вам ситуацию, господа: во-первых, потому, что я сама почти ничего не понимаю, во-вторых, потому, что вы не обладаете специальными знаниями. Но после обвинений, выдвинутых надимом Исфизаром... попытаюсь. Ответьте мне для начала, господин хайль-баши: знаете ли вы, что у вашего

племянника Валиха практически все планеты Септенейра находятся в одном доме?

Громадный хайль-баши пожимает плечами — жест однозначный и в его исполнении преисполненный величия.

Доктор Кадаль в жизни бы не сумел пожать так плечами.

— Сеп... Септенейра?

Это Лейла, подружка Рашидика.

— Да. В хаффской традиции их называют: Сурья, Чандра, Будха, Шукра, Мангала, Брихаспати и Шани. У звездочетов Северного Лоулеза: Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. В Дурбане: Адур, Сома, Бахман, Нахид, Миррих, Ормозд и Кейван. В Хине же...

— Детка, если хайль-баши согласен обвешивать себе уши твоей лапшой — это его личное дело! Кончай дурить голову! Солнце — планета?! Если так, то я — девственник!

— Охотно верю, господин...

— Ар-Рави. Равиль ар-Рави, для друзей — Большой Равиль. Крошки вроде тебя отлично знают, почему «Большой»...

Это Равиль. Атабек, единственная опора в разлетевшемся вдребезги существовании.

— Охотно верю еще раз. Я так и думала. Для любого из вас астрология — в лучшем случае забава людей, не знающих, куда девать свободное время. В худшем — глупая телевизионная передача между репортажем о козлодрании в Хине и порнографическим фильмом по каналу для совершеннолетних. Наши предки были куда рациональнее. Они смотрели вверх и видели Тельца, Овна, Деву... их дети видели просто звезды, внуки — протуберанцы и плазму из опостылевшего учебника; мы же вообще не смотрим вверх. Разве что желая проверить — не будет ли дождя?

— Короче, детка! Или мне придется попросить знахарька... доктора Кадаля заняться твоей хорошенькой головкой!

— Хорошо. Изначально наш мектеб «Звездный час» задумывался как привилегированное учебное заведение, где процесс обучения будет теснейшим образом увязан с астрологическими прогнозами относительно каждого ребенка. Не вдаваясь в подробности, замечу лишь: это дало определенные результаты. Успеваемость резко выросла, преподаватели даже не замечают, что программа, скажем, восьмого класса практически соответствует выпускной программе обычной школы. Дети ХОТЯТ учиться, потому что мы знаем — чему и в какое время необходимо учить. Случайностей в «Звездном часе» не бывает. И наконец...

— Давайте зайдем с другого конца, госпожа Коушут: зачем вам понадобилось столь настойчиво приглашать в мектеб... внуч-

ку достопочтенной Бобовай? Не удивительно ли? Едва девочка вошла на вашу территорию, как вместо всеобщего апофеоза начался всеобщий катаклизм! Что вы на это скажете?

Хайль-баши замолкает, но отзвуки его вопроса еще бродят по учительской комнате, натыкаясь на стены.

Господи, о чем они говорят?!

Доктор Кадаль беспомощно глядит на Равиля — атабек молчит и дергает себя за бороду; на Рашидика — друг детства уставился в пол... ах да, он ведь тоже из мектеба, из шайки здешних хакимов-затейников! Все они одним миром мазаны! Все одним лыком шиты! И болтливая администраторша, и Рашидик, и шизофреник-надим — вот он, пророк «Звездного часа», смеется и обнимает за плечи старушку...

Не сразу Кадаль понимает, что смотрит на вынутую из кармана фотографию.

Крупные, слегка рыхлые черты надимова лица плывут, смазываются, пьяный ретушер чертит поверху кисточкой — крест-накрест, крест-накрест...

Через мгновение Кадаль — ВНУТРИ.

* * *

Он никогда раньше не попадал в сознание человека, находящегося без сознания.

Это походило на присутствие вора в оставленном хозяевами доме. В сравнении крылся неприятный намек, словно ты случайно погладил по голове встречного ребенка, просто желая поделиться хорошим настроением, а подозрительная мамаша громогласно обвинила тебя в педофилии. До сих пор Кадаль растворялся в личности пациента, одновременно оставаясь самим собой — как сахар в чае, который всегда можно кристаллизировать заново (если, конечно, чай не выпит!); сейчас же он был свободен... как безумец свободен в своих видениях. Реальность не висит на руках тяжким бременем, а прозрачные стены темницы делают тебя счастливым, и ты летишь, паришь, тасуя миры подобно колоде карт...

Доктор Кадаль еле успел остановиться на самом краю пропасти.

Шагни он дальше...

«Это все из-за эксперимента с ит-Саффедом. После него я боюсь, подсознательно боюсь контакта! Страх мешает, шорами застит глаза, путает, морочит... Прочь! Прочь отсюда! До тех пор, пока я не стану прежним (если вообще останусь в живых!) — никаких контактов! Господи! Что это?»

Почти сразу доктор понял: он слышит болтовню администра-

торши двумя парами ушей. Своей и этого... надима. Впервые в жизни Кадаль сумел пробиться на поверхность чувств пациента, впервые самостоятельно поднялся из глубин чужой личности к дневному свету, впервые...

— Девочке повезло: на нее пал жребий «Лотереи Двенадцати Домов»...

Правда.

Словно глазок индикатора зажегся в толще чужого сознания, словно оранжевый бакен мелькнул на морской глади, словно тепло от рюмки «Старого Кабира» разлилось по телу — правда!

Она говорит правду... не до конца.

Да.

Именно так.

— У внучки почтенной Бобовай удивительное расположение планет, крайне заинтересовавшее администрацию...

И это правда.

Практически полностью.

— Но это никоим образом не может быть связано с происшедшим катаклизмом, кроме как в помраченном рассудке надима Исфизара...

Врет!

Господи — врет!

Ложь!

— Ложь!

Чей это голос? Чей?! Глуховатый, с еле заметной хрипотцой, совершенно чужой голос... Кто-то вошел в учительскую?

Кто?!

Чудовищное усилие, казалось, порвет Кадаля в клочья, но он выдержал, даже не застонав, — и увидел огонек свечи... второй... третий. Свет. Вверху. По правую руку. Тяжесть давила прессом, туманя взгляд, доктор держался из последних сил, и до него лишь спустя вечность дошло, что это он просто не дает векам смежиться.

Векам бесчувственного надима Исфизара.

Хорошо еще, что никто не интересовался бывшим пророком — упаси Творец, заметят открытые глаза, что бесстыдно вспучились стеклянными белками в кровавых прожилках...

Прежде чем сдаться и кубарем вывалиться наружу, позволив Исфизару целиком уйти в счастливое небытие, доктор Кадаль успевает заметить: напротив, в кресле, сидит коротышка с подстриженной бородкой без усов, и губы коротышки шевелятся двумя синими червями.

— Ложь! — кричит из кресла доктор Кадаль.

ГЛАВА 8

ХАКИМ

Дети,
солнце светит где-то.
Помните это.

Я сразу ему поверил.

Кадаль, Хануман-Рохля, доктор Кадаль, подопечный явно связанного с «Аламутом» бородача, кричал из кресла, а казалось, что он кричит из бездны, из клубящейся пропасти, и лишь эхо доходит до столпившихся на краю людей.

— Ложь!

Если бы они еще знали правду о снимке, где была изображена треклятая девчонка; снимке, выпавшем у Неистовой Зейри, подобранном мною и бесцеремонно отнятом у меня хайль-баши Фаршедвардом! Сказать? Признаться? Или...

Астрологическая чушь, «звездная болезнь», на которой свихнулись начальники мектеба и с помощью которой Зейри сейчас тянула время, пытаясь увильнуть от известной только ей правды — в последнем я не сомневался и без Кадалева вопля, — на поверку выходила реальными планами, последовательно проводимыми в жизнь реальными людьми. Нас, ординарных хакимов со всеми нашими учеными степенями, держали за дурачков, в качестве живца, приманки для богатеньких родственничков!.. Как же, моего отпрыска учит истории сам господин аль-Шинби, это вам не кот начихал, и господин аль-Шинби млеет от удовольствия вместе с высокопоставленным папашей — жалованьице, господа, жалованьице способствует!

В университете вряд ли раскошелятся...

Девчонка — я готов был задушить ее собственными руками, поскольку чувствовал: именно во внучке параличной бабки кроется корень бед. Правда — в Неистовой Зейри; исток — в твари, норовившей сломать Гвениль. Сейчас я вспомнил, память услужливо подбросила: захваченный автобус, ледяной ком внизу живота, треск автоматной очереди, задушенные всхлипывания Лейлы — и угловатый силуэт подростка с шалью на плечах, призрак за окном. Тогда я ничего толком не видел, не понимал, и даже когда ублюдок с гранатами бесцеремонно отпихнул меня, собираясь выглянуть наружу — я боялся одного, самого глупого, после чего мне пришлось бы сидеть с мокрыми брюками рядом с Лейлой... Удивительно — смерти я боялся гораздо меньше. И потом: тело у меня на коленях, оплывшее тело с костяными рукоятями в глазницах — тот, с гранатами, смертник, а его напарник, тоже решивший полюбопытствовать, бился в агонии на полу, забрызгивая пассажиров кровью, хлещущей как из зарезанной свиньи; и страшное, чего я боялся, свершилось, а мне поче-

му-то было все равно, и Лейле все равно — она даже всхлипывать перестала и только зажала рот ладонью.

Смерть террористов каким-то образом была связана с девчонкой, укравшей из музея меч, мой Гвениль, наш Гвениль — чтобы сломать его у нас на глазах!

Убить!

Убить подлую тварь!..

— Дядя Фаршедвард! Ой, как здорово! А мы ищем, ищем... хоть кого-то! — темно ведь на улице! И в мектебе света нет...

Детский вопль приводит меня в чувство.

— Валих?! Господи, как же я забыл...

Тени мечутся по стенам, низкорослый мальчишка вихрем врывается в учительскую и с разбегу повисает на вставшем хайльбаши — обезьянка на баобабе, паучок на скале, шестиклассник Валих Али-бей на мушерифе Фаршедварде Али-бее. Следом, прижимаясь друг к другу, робко входят еще двое. Я узнаю их, хотя блики от коптящих фитильков раскрашивают детские лица в маски демонов с побережья Муала. Близняшки бар-Ханани, брат и сестра, дети заместителя шахрадара Оразма, одноклассники Неспящего Красавца Валиха и...

— Ой, Валих!

И Сунджан ар-Рави — забытая всеми дочка нахального бородача — выскакивает из угла, где до сих пор беззвучно всхлипывала, и принимается хлопать в ладоши. Да, конечно, радость — знакомое лицо, теперь все будет в порядке...

Как жаль, что я давно вырос.

Из детства.

— Вам не кажется, господа, — старший Али-бей прижимает к себе мальчишку так, словно кто-то собирается отобрать его у мушерифа, — что нам не вредно бы оглядеться по сторонам. Возможно, в мектебе есть еще кто-нибудь... живой. Кроме того...

Я знаю, что он сейчас скажет.

Утро вечера мудренее.

Почему-то я в этом не уверен.

ГЛАВА 9

СТАРУХА

Палый лист,
не злись —
это жизнь.
Ложись.

— Затепли свечечку, гостенек... Я ведь видела — ты огарочек-то прихватил, озаботился!.. Все веселее, при живом огне, а то сидим, как в могиле, мать-тьму радуем! Спички есть? Или огниво?

— Есть, госпожа Бобовай. Зажигалка.

— Госпожа?.. Плюнь, гостенек. Зови по-доброму, по-соседски — дура старая... Что морду воротишь? Не нравится? И мне не нравится, так что поделаешь, если и старая, и дура — захотелось правнучку в люди пристроить!.. дура и дура. А язык запнется, так зови бабушкой. Я как услышу — сразу помолодею. И впрямь я тебе в бабки гожусь, с какой стороны ни возьми... ох, времечко-беремечко, не за что бабку взять, хоть с той стороны, хоть с этой!

— Шутите, госпожа Бобовай?

— Нет, проповедь читаю. Самое время для проповедей, краше и не придумать! Жарко тут у них, духотища, расстегнусь я маленько... небось постыдишься бабку насильничать, а, гостенек? Худыш тебя потом за бабку вверх корнем в землю посадит, он горазд сажать, мой Худыш-Фаршедвардик! Помню: не успели от груди отлучить, как уже в песке ковыряется — тычет в ямку сучком тутовника, сажаю, говорит... до сих пор сажает, ждет небось — чинары из ханурикoв вырастут! Заболтала я тебя, гостенек? Ты уж прости старую!

— Ничего, госпожа Бо... бабушка. Мне и самому не спится. Только давайте потише, а то девочка проснется.

— Плохо ты ее знаешь, гостенек, ой, плохо — с детства строптива, что хочет, то и делает! Захочет — проснется, а не захочет — хоть пушки выставляй и залпом, залпом... Ума не приложу, в кого такая? А ты глаз не отводи, так прямо и говори, по-солдатски: в вас, бабушка, в вас, голубушка! Ты говори, а я кивать стану. Навроде болванчика из вэйского фарфора; только те все больше «нет» кивают, а я буду вроде как «да»... Против правды рожном переть несподручно. Папаша-то ее хренов смылся, не успело девке полгода стукнуть — говорят, после аж в Мэйлане объявлялся, телеграмма от него пришла, на десятилетие дочки... вспомнил, пес, утешил! А я думаю: беда у него случилась, вот он и откупался от судьбы, телеграммой откупался, добром вынужденным... Пес, он и есть пес. Надеюсь, сдох уже под забором. А мамашу, внученьку мою, доктора прямо на столе зарезали. В больнице рустака[1]. Живот у ней прихватило, вот лекаря и постарались — дежурство-то ночное, а ночь праздничная выпала, руки дрожат после чарки-другой... Ладно, что я тебе все о горе-злосчастье?! Давай о хорошем, гостенек?

— Давайте, бабушка. Только и вы уж тогда не обессудьте: бросайте «гостенька», зовите по имени. Знаете ведь — Карен я...

— Ладно, Каренчик, считай, по рукам ударили. Но и гостеньком через раз обзову — ты бровей не хмурь, в мои лета слова привычные бросать опасно. Брошу, потом не подберу. Да и приятно: в кои-то веки у старухи гость объявился, гость-гостенек, значит,

---

[1] Рустак — округ; имеется в виду окружная больница.

не зря небо копчу! Спасибо Худышу, расстарался, направил в наш тупичок!..

— А он вам родственник, господин Али-бей, или просто знакомый?

— Родич, Каренчик, самый что ни на есть родич. Молочный. Говорила ж тебе: от груди, мол, отлучила... кормилица я его, Худыша. Молочная в те поры была, что твоя корова! Сцеживалась почем зря; впрочем, наши бабьи тяготы не солдату в уши пихать! Видать, с моего молочка-то и разнесло Фаршедвардика, гора горой! Али-беи, всем семейством, меня до сих пор уговаривают махнуть рукой на Ош-Дастан и переехать — они, мол, и домик с садиком купят, и прислугу наймут, и то, и се... Удивляются — вредная старуха, отказывается, гордостью пухнет! Как им объяснить, Каренчик, Али-бейскому племени, что не до гордости мне! Помру я в их домике, от скуки помру, от пыли, от телевизора по вечерам да от улыбок прислужьих на рассвете! От всего этого за фарсанг смердит! А в родном тупичке старуху Бобовай всякая тварь знает, кто за советом придет, кто под балкончиком встанет, слово за слово, наругаемся всласть, потом мириться будем, столы накрывать: идите, гости, на старые кости — жизнь, Каренчик, а не богадельня за Али-беевы динары! У тебя вот, к примеру, мать или бабка есть?

— Была. Мама... была.

— Померла?

— Да, бабушка. Полугода не прошло.

— Схоронил? По-людски, как положено? На дакму[1] цветы носил?

— Схоронил, бабушка. По-людски.

— Жаль, вы, нынешние, сплошь железные, плакать не умеете... в себе копите. Болела небось — по тебе понимаю, что не старой померла, мама-то?

— Не старая. И не болела. Она...

— Да ты, ежели говорить трудно, лучше отвернись, Каренчик! Махни на меня рукой или обругай как следует... лезу в душу горбатым носом, ведьма, жилы в клубок мотаю!

— Вы, бабушка, себя сами так обругаете, что мне за вами ни в жизнь не угнаться. Молчите уж, а то я на вас за вас обижусь. А мама моя... видно, так карта легла. Тронулась она, бабушка Бобовай. Взяла мое казенное оружие, вышла на улицу и стала по соседям стрелять. Тетку Фатьму — наповал, кота теткиного пристрелила, внука подруги своей и Низама, лавочника, подранила — а там ствол у мамы в руках... «Проказа «Самострел», не слыхали? Ах да, откуда вам... зато видали — когда у Руинтана-

[1] Дакма — кладбище; дословно «Башня Молчания».

аракчи двустволка рванула. Помните, Арам вернулся и с ножом... Короче, взорвался ствол. Ну, а через день — похороны. Сразу всех хоронили. Без кота, конечно.

— Ой, горе-то какое... что ж я не слыхала?

— Так я не дурбанец, бабушка, я из Кабира. Много ли оттуда до тупика Ош-Дастан доходит? Тем паче дурацкая смерть какой-то полоумной...

— Не смей! Не смей так о матери!.. Прости, Каренчик, — больно? Честно говори — больно?!

— Ох и ручка у вас, госпожа Бобовай... Старшинская ручка, не сглазить бы! Теперь губы оладьями вспухнут.

— Пусть пухнут, дурошлепы! За поносные слова о матери только по губам и бить, и не бабкиной ручкой, а ухватом или еще чем поувесистее! Если б ты не сослепу, в сердцах, а от умишка ляпнул — нащла бы и ухват, даром что мектеб кругом... А так — сойдет. Запомнишь?

— И рад бы забыть, бабушка... запомню.

— Эх ты, солдатик, окаянная головушка!.. Что ж Господу неймется, все шпыняет нас почем зря, все щепки под ногти, да добро б с улыбочкой, а то разве что в бороде почешется! Теперь вот — здесь запер, Хитрец-с-сотней-имен... неужто и впрямь из-за девки моей? Как думаешь, Каренчик?

— Не знаю.

— Вот и я не знаю, не ведаю. Надим ихний вопил, оглашенный — убила бы сукина сына! А в душе копошится нехорошее, червем грызет... девка-то у меня — сам видел!

— Видел, бабушка.

— И... ножики ее видел?

— И ножики.

— Что, может, и в деле видел?

— Довелось.

— Вот наказание... Как же тебе объяснить-то, Каренчик? Мы ведь, Бобоваи, пришлые; раньше писала в бумагах, в графе «происхождение» — выходцы из Мэйланя. Моя еще прапрабабка — выходец... или выходка? Должно быть, выходка, та еще прапрабабка была, бедовая! Сто лет разменяла, красавица! А ножики эти в семье вроде как наследство, из женских рук в женские передаются. С таких времен, что и подумать страшно. Раз жучок один подкатывал гоголем, все подбивал на продажу — коллекционер, говорил, из Кабира, с родины твоей, большие деньги давал! Не продала. Как считаешь, гостенек, верно сделала?

— Не знаю, бабушка.

— Вот и я сейчас не знаю. А представлю, что отдала бы жучку-пустослову: сердце кровью течет, лучше уж руку или ногу, в коллекцию... Мне, дурище, и некому-то их передавать было:

сын, девкин дед, мужик, ему нельзя; мамаша девкина, внучка моя, сама не пожелала — шарахнулась от ножиков, как от чумы!.. Думала — помру, попрошу со мной в могилку упрятать. Ан дудки, девка наша еще в пять лет нашла в каморе, вынула... я забрать хотела — ножики до тринадцати годков бабам-Бобоваям не дают! — куда там, визг, рев, весь дом ходуном... Дала. Пожалела. Все дети в песочке чуреки лепят, цурки-палки, дочки-матери, а моя с той поры особнячком: разве что веточку построгает, а так по закоулкам, ножики вертит-кидает! Куклы побоку, подруг разогнала, все сама да сама! Соседи разок увидели, чуть воплем не изошли: пожалей, старая, девку, зарежется ведь невзначай, а свое не жалко, так наше пожалей, ткнет дура сгоряча ножичком-то!.. После привыкли: отчего не привыкнуть, ежели детки ихние живы-здоровы, а что со Сколопендрой проклятущей играться не хотят, так это дело левое-плевое...

— Вот и Фаршедвард молотит: Сколопендра... И не стыдно вам, бабушка, девчонку таким образом звать? У меня б язык не повернулся!

— Язык, гостенек, штука поворотливая! Тем паче что девку по жизни зовут — Ниру Бобовай, а Ниру по-мэйланьски и есть «сколопендра». Тварь ядовитая, слыхал небось... у нас в роду, почитай, каждая вторая — Ниру. Прапрабабка моя говаривала, когда рюмочку опрокидывала: от злых духов такие имена давали. Чтоб не цеплялись, ироды. Внучка моя, девкина мамаша, тоже сперва Ниру звалась, а как в совершеннолетие вошла, так явилась куда следует и переименовалась. Я еще гадала после: зачем она дочку-то нелюбимым имечком назвала? Только когда врачи постарались, резанули по-живому, поняла... или сама себя обманываю, что поняла. Еще б знать, отчего девке это дело по душе? С десяти лет блажь в голову стукнула: спросит ее кто об имени, так хмыкнет и отвечает — Сколопендра. И роток на замок. Она вообще говорит мало. Словно не человек, а вещь стала, вроде ножиков. Предупреждала ведь девку, дура старая: нельзя ножевую перевязь на теле, почитай, бессъемно носить! Я-то предупреждала, а она... поди сними, Каренчик, — я над твоей могилкой поплачу, повою от души! Не пойдешь небось? То-то же...

— Вы уж простите меня, бабушка, только я одного понять не в силах: как же вы допустили, чтоб Али-бей, ваш молочный сын, вашу же правнучку... вместо гургасара?! Умом понимаю: почти полсотни заложников, стали б мы их вытаскивать, добро б треть живьем вынули! А сердце свое кричит — нельзя девчонке четверых мужиков на тот свет отправлять! Ну нельзя, и все тут! Хоть ты трижды Сколопендра!..

— Много ты понимаешь, солдатик... И я знаю — нельзя. Лучше б я Ниру мою в цирк отдала: года полтора назад соседи

проболтались, что есть такое чудо чудное в дурбанском тупичке, явился в Ош-Дастан цирковой начальник — девку смотреть. Посмотрел. Глянулся он ей; чем — не знаю, а только глянулся. Показала, что может. Хорошо, циркач лицом владел — ни морщинки, ни складочки, а пальцы все платочек комкают. Контракт подсовывал. Я призадумалась, а Ниру возьми и брякни: я, мол, на арене ножики кидать стану, а те, кто смотреть пришел, чего делать будут? Циркач ухмыльнулся и отвечает: в ладоши тебе хлопать. У меня, добавил, такая малявка, как ты, с ученой обезьянкой выступает — что ни вечер, под гром этих... аплодисментов. Девка бумажку его взяла, в воздух подбросила и тремя ножиками в пыль иссекла. Видал, спрашивает? Видал, отвечает. А я чтоб тебя больше здесь не видала. Никогда. Обезьяна ты ученая. Гнусь. И еще кой-чего добавила, чему я ее не учила. Так девка больше молчит, а тут разговорилась. Короче, накрылся цирк гнилым решетом.

— А... Фаршедвард?

— А что — Фаршедвардик? Первый-то раз у них случайно вышло: зашел Худыш ко мне в гости, проведал кормилицу, домой собрался — глядь, темно, пошла девка его провожать... Чего ржешь, гостенек?! Говорю — пошла провожать. А как стали выворачивать на проспект — лавка там угловая, в лавке свет горит, и сквозь стекло видно, как трое образин лавочникову жену щупают. Сам лавочник нестарый еще, только больной, хилый, связанный в углу корчится, а четвертый урод пистолетиком поигрывает, хихикает! Худыш в лавку слоном вломился, а тот, с пистолетиком, возьми и пальни сдуру. Попасть не попал, зато девку взорвал изнутри, точно бомбу. Видеть она их не может, пистолетики... Пока Худыш оглядывался да кобуру лапал, девка адов хайль на четверых новобранцев пополнила. Помню: вернулись оба, Худыш бледной немочи белее, сперва звонил куда надо, после у нас до утра сидел. У Руинтана чачей дешевой разжился и сидел. К рассвету признался: за девку боялся. Дескать, на первой смерти многие солдаты ломаются, а тут — пацанка... Верно, что ломаются, а, гостенек?

— Верно, бабушка. Я сам, когда кровь в лицо... спиртом отпаивали.

— Охо-хо, горе горькое... Как ты там пел, Каренчик? Когда за спину к бабке встал? Тех, что погибли, считаю?..

— Считаю храбрее, бабушка. Тех, что погибли, считаю храбрее.

— Тебе виднее. Может, и так, а может, и не совсем. Я о другом: девка однажды торопилась куда-то, на балкон забежала, в щечку чмокнула — гляжу, она листок обронила. Знаешь, чего там написано было? Сейчас, сейчас припомню... Вот память, ровно

чулан! Значит, так: пустая комната... Точно! Пустая комната и темное окно, в пустую комнату вхожу, как входят в реку, и все мне чудится: остановилось время, а я иду, и время дышит за спиной... Как мыслишь, гостенек: неужто сама сочинила?

— Не знаю, бабушка.

— Вот и я не знаю. И время дышит за спиной... Ладно, спи, Каренчик, заболтала я тебя...

Глава 10

ХАБИБ

Нерожденные слова
горло теребят.
Я училась убивать,
начала с себя.

Возвращаться в реальность было невмоготу, словно выпущенному из зиндана вору в прежнюю вонючую яму: вот так бы дрыхнул без просыпу — а потом, после пробуждения, все бы само собой встало на места и...

Доктор Кадаль попытался нырнуть обратно в сон, в уют беспамятства; однако, к изрядному неудовольствию доктора, сон вывернулся и сбежал, махнув на прощание платочком, в результате чего пришлось-таки открыть глаза.

Утром, которое, по мнению гиганта хайль-баши, мудренее вечера, и не пахло — в комнате по-прежнему царила темнота, но темнота другая. Во всяком случае, темнота выспавшаяся, бодрая и готовая к новым каверзам. «Интересно, сколько времени?» — подумал Кадаль, пытаясь в серой мгле разглядеть циферблат часов.

Для этого пришлось изрядно потрудиться, вертя рукой и ловя проникающий в щели скудный свет.

Происхождение обрывков света оставалось загадкой; во всяком случае, «Да будет свет!» говорилось про что-то другое.

— Два семнадцать, — наконец констатировал он вслух.

— А у вас часы, часом, не стоят? — поинтересовался из угла Альборз-пахлаван, не заметив собственного каламбура. — На моих — пять сорок. И сереет на дворе вроде...

Доктор приложил часы к уху.

Пошел к Иблису — ответили обиженные часы.

На их языке это звучало: тик-так, тик-так, тик-так.

— Без четверти десять, парни, — угрюмо сообщил шейх «Аламута», словно пытаясь этим кого-то обидеть. — Утра. Или вечера. Или — зимы.

И Равиль умолк, роясь в портсигаре.

Скоро вспыхнул огонек зажигалки, высветив заспанную бородатую физиономию ар-Рави; почти сразу физиономия окуталась клубами дыма — «горный орел» привычно изображал огнедышащего дракона.

— Пошли, посмотрим, что на улице творится, — решил дракон.

«Кто бы спорил», — подумал Кадаль, покидая комнату, облюбованную их троицей для ночлега.

На ступеньках у входа торчал столбом и, разинув рот, смотрел в небо охранник. Доктор последовал его примеру — и рот Кадаля разинулся без предварительной команды.

Небо не было ни черным, ночным, ни дневным, голубым; туч, луны или солнца на нем тоже не наблюдалось. Равномерная фиолетовая мгла, слабо подсвеченная изнутри. Гнилушка в темной чаще. «Уж лучше бы было темно!» — передернулся Кадаль. Но передернуться пришлось дважды: через минуту доктор выяснил, что сквозь гнилое свечение чернеют бездонные провалы звезд!

Черные блестящие искры на опалесцирующем небе.

Агатовые брызги на лунном камне.

Неверный, дрожащий свет лишь слегка разгонял душные сумерки, царившие во дворе мектеба; дальше, у ворот и вдоль ограды, кисель снова сгущался, и Кадалю вдруг показалось, что вчера призрачная стена находилась чуть дальше. Хотя нет, наверное, обман зрения. Вон, ворота тогда еле-еле проступали из пелены — и сейчас проступают...

Большой Равиль и Альборз-пахлаван также уделили некоторое время разглядыванию зловещего небосвода, после чего телохранитель со щелчком захлопнул челюсти.

«Привычка, что ли, у этих «орлов» — клювом щелкать?» — в который раз изумился Кадаль.

— Дерьмо небесное! — сплюнув на ступеньки, высказал пахлаван свое мнение по поводу увиденного. Смахивало на то, что Альборз с гораздо большим удовольствием плюнул бы вверх, но опасался последствий.

«Грубо, но точно», — мысленно согласился доктор.

— Пойдем-ка, прогуляемся по парку, — бросил очнувшийся шейх. — Невредно бы осмотреться.

В процессе гуляния были обнаружены из местных достопримечательностей: оранжерея, пара-тройка хозяйственных пристроек, две беседки, четыре неработающих фонтанчика, из которых по идее должна была течь питьевая вода; да еще в зарослях то и дело мелькала лучащаяся счастьем козья морда: после скудного рациона Ош-Дастана коза явно решила, что попала в рай.

Выхода обнаружено не было.

Мглистая стена надежно огородила мектеб со всех сторон, и никаких проходов в ней не наблюдалось.

В тягостном молчании они вернулись ко входу в центральный корпус. Ветер неуютно посвистывал в кронах деревьев, время от времени срывая и бросая на аллею пожухлые желтые листья.

Листья.

Желтые.

Откуда?! Ведь на дворе весна!

«Ну и что, что весна», — отрешенно подумал доктор Кадаль.

И был прав.

Из дверей медленно, один за другим, выходили пленники «Звездного часа»: Рашидик с Лейлой, администраторша, заметно притихший со вчера пьяница-козопас, охранник, которого гигант-мушериф называл почему-то егерем, — парень катил перед собой инвалидное кресло с восседающей в нем старухой, а рядом шлепала кутающаяся в шаль девчонка, держа в руках ржавый меч...

«Небось и спала с ним» — мелькнуло предположение, при других обстоятельствах вызвавшее бы улыбку.

Доктор Кадаль очень удивился бы, если бы кто-то, кто знает все, рассказал ему правду — единственным человеком, не видевшим во время всеобщего обморока никаких снов-миражей, оказался *именно он, почтенный хабиб-чудотворец.*

Но кто-то, кто знает все, сейчас был занят в другом месте; и поэтому Кадаль смотрел на девчонку с единственной мыслью: эта смуглянка, собиравшаяся поломать любимый меч Рашидика, странным образом связана со всей заварухой.

Как?

Вчерашний индикатор в сознании надима Исфизара не ответил на этот вопрос. Ладно, посмотрим, нервы с утра вроде бы в порядке, истерикой не пахнет, а они пусть идут: гулям, старуха, девочка...

Гулям-эмир пока не показывался.

Последним в дверях вырос необъятный хайль-баши в сопровождении племянника и двух близнецов — мальчика и девочки. Дочка Равиля, тише мыши ходившая за отцом на расстоянии вытянутой руки, тут же подбежала к детям, и они принялись взволнованно шептаться.

Охранник что-то тихо сказал старухе в кресле, та согласно кивнула, поджав тонкие губы, все в морщинках; и мужчина решительно зашагал по аллее к воротам. Собравшиеся молча следили за ним, пока гулям не скрылся в тумане.

Тишина. Кажется, даже ветер притих в ожидании.

Проходит минута, другая...

Стук ботинок. И сосущее под ложечкой ощущение, что это уже было, было... было!.. Кошмар, ты вязнешь в болоте, рвешься

наружу, к воздуху, к жизни, но силы на исходе, а испорченный проектор крутит один и тот же эпизод снова и снова... Ну почему, почему человек готов разбить себе голову о стену только потому, что надежда умирает последней?!

Гулям возникает из тумана, смотрит на угрюмые лица и молча идет вдоль призрачной стены. Шагов через тридцать он вновь ныряет во мглу.

Это повторялось трижды. И всякий раз через пару минут гулям возникал на том самом месте, где входил в туман.

В конце концов мужчина прекратил бесплодные попытки и вернулся.

Остальные тупо молчали, глядя в землю. Доктор Кадаль без сил опустился на ступеньки; ладонь нащупала рядом что-то холодное, слегка упругое. Доктор скосил глаза — и, невольно вскрикнув, отскочил в сторону.

На крыльце лежала забытая нога в лаковом ботинке, принадлежавшая, по мнению администраторши, исчезнувшему за пеленой хаким-эмиру. Выглядела нога совсем свежей, и никаких признаков разложения в ней заметно не было.

На вопль доктора обернулись все. Телохранитель Равиля и охранники уже сжимали в руках пистолеты, но тревога, к счастью, оказалась ложной.

«А ведь они только и ждут случая, чтобы спустить курок! — обожгло вдруг доктора. — Сухой треск, височная впадина лопается под напором — и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции... Нужен виноватый. И если он отыщется...»

— Надо бы ее, заразу... — двусмысленно предложил Равиль, кивнув на ногу. — Законсервировать, что ли?! А то лежит тут, как эта...

Шейх пощелкал пальцами, ища сравнение, не нашел и стряхнул пепел на лак хаким-эмировского ботинка.

— Пожалуй, — кивнула администраторша. — Доктор, как это лучше сделать? — обратилась она к Кадалю.

— Я... я не знаю! — растерялся психолог. — Я ведь не совсем доктор... то есть совсем, но не так, как вы считаете! Ну... в кулек, наверное, — и обложить льдом. У вас холодильник есть?

— Холодильник-то есть, зато электричества нет, — вмешался гулям, безуспешно пытавшийся выйти наружу.

— А если ее тово... заспиртовать? — предложил вдруг молчавший до сих пор пьяница.

— Хорошая мысль, — неожиданно согласилась женщина. — В медицинской части есть спирт. Усмар, возьми-ка ногу господина хаким-эмира и отнеси ее в лабораторию. Спирт в сейфе, ключ от сейфа висит на панели за дверью.

Усмар хотел было что-то возразить, но передумал, брезгливо взял отсеченную конечность двумя пальцами за лодыжку и на-

правился в глубь мектеба. Пьяница-козопас как привязанный последовал за ним.

Администраторша прислушалась, как затихают на лестнице их шаги, и повернулась к оставшимся.

— Итак, мы заперты здесь неизвестно насколько, — спокойно констатировала она. — Электричества у нас нет, холодильники, соответственно, не работают...

— Воды тоже нет, — буркнул Равиль.

— Совершенно верно, господин ар-Рави. А если вы будете столько курить, то скоро не будет и кислорода. И без того уже дышать нечем!

Большой Равиль извлек из бороды сигару, втянул, раздувая ноздри, воздух...

— Действительно душновато, — согласился шейх. — Так что ж теперь, и не курить? Тогда я вообще задохнусь!

Огромный клуб дыма, выпущенный Равилем, должен был подтвердить истинность этого утверждения.

Женщина секунду поколебалась и решила не связываться с «горным орлом».

Пока, во всяком случае.

— В общем, нам надо сообща постараться...

В недрах мектеба раздался глухой удар, потом еще один, а вслед за ними — треск и грохот.

Стоявшие на крыльце гулям и телохранитель Равиля (последний — после короткого кивка хозяина), не сговариваясь, ринулись вверх по ступенькам. Но тут оказалось, что дверной проем прочно закупорен объемистым хайль-баши, который, похоже, никуда не торопился.

Как пробка в бутылке старого вина, залитая смолой, — философская пробка, понимающая неизбежность прихода штопора, но отнюдь не стремящаяся ускорить час встречи с ним.

И впрямь, когда необъятный мушериф соизволил посторониться, в дверях возник не кто иной, как старый знакомец: растрепанный надим Исфизар. «Опять все повторяется, — обреченно подумал доктор Кадаль. — Сейчас будут вопли, потом его унесут... и ноги накроют пиджаком». Однако доктор ошибся: губы надима на этот раз были решительно сжаты, а бесцветные глаза смотрели твердо и даже вызывающе.

— Господин Исфизар! Вы же были заперты! — изумилась-возмутилась администраторша.

— Ну и что? — хмыкнул надим, разглядывая собственные руки, словно видел их впервые. — У нас в мектебе разве двери? Так, ерунда...

Администраторша потеряла дар речи и принялась его искать, разевая рот выброшенной на берег рыбой.

Безрезультатно.

— Господа, — сухо произнес Исфизар вместо ожидаемой

проповеди, — я должен вам кое-что сообщить. Касательно нашего нынешнего положения.

— Вы забываетесь, надим! — прошипела мигом пришедшая в себя женщина, и пальцы ее зловеще скрючились, блеснув алыми ногтями. — Вы давали подписку!

«Коушут, — вспомнил доктор. — Надим звал ее госпожой Коушут».

— Можете забрать мою подписку из сейфа и использовать ее по назначению! — презрительно скривился надим, сверху вниз глядя на собеседницу. Зрелище заслуживало внимания: грозный Исфизар, с высоты крыльца и собственного немалого роста взирающий на кошкой припавшую к земле госпожу Коушут, казалось, готовую вцепиться ему в лицо. Только тут до Кадаля дошло: ведь это же именно ОН, Кадаль Хануман, сам того не ведая, излечил надима Исфизара! Вчера, во время случайного контакта. Куда подевались и нерешительность, и истеричность, и женственность...

Перед узниками «Звездного часа» был совсем другой Исфизар — подтянутый, решительный, жесткий.

Если б еще ведать, к добру ли это... эй, тот, кто знает все, отзовись!

— Господа, убедительно прошу вас пройти в зал для совещаний. И найдите остальных. Я хочу, чтобы присутствовали все.

Надим подумал и твердо повторил:

— Да. Именно все. Включая детей.

ГЛАВА 11

НАДИМ

Небо
требует мзды
с каждой шлюхи-звезды.

Его звали аль-Беруни, как умершего триста лет тому назад создателя «Звездного канона»; и он был карликом.

Тише, господа, прошу вас — иначе я собьюсь, я еще не привык к себе новому, мне все время хочется чего-нибудь испугаться, как наркоману хочется вогнать в вены очередную порцию голубого кейфа... тише, господа, дайте начать сначала.

Его звали аль-Беруни, и он был карликом.

Впервые я познакомился с ним в психиатрической лечебнице. Курируя астрологическое общество «Эклиптика» — почтенное полугосударственное собрание ученых мужей, изредка составляющих гороскопы по личному поручению власть имущих, — я был очень удивлен, когда меня пригласили в место, где,

по моему представлению, слюнявые олигофрены поливали друг друга чечевичной похлебкой.

Но приглашение, исходящее из соответствующих учреждений и снабженное соответствующими инструкциями, равносильно приказу.

Я подчинился, не догадываясь, что этот визит перевернет всю мою жизнь.

Карлик, сидевший за компьютером в кабинете главврача, мало походил на олигофрена.

Особенно если посмотреть ему в глаза.

Забегая вперед, скажу: аль-Беруни и впрямь любил чечевичную похлебку, но в его неестественно большую голову никогда не приходило желание вылить ее на собеседника.

По окончании нашей беседы люди, привезшие меня туда, отказались объяснить, почему совершенно здоровый (я имею в виду здоровье душевное) человек проводит дни в приюте для умалишенных.

Настаивать я не стал. Я не умел — настаивать.

С того дня я стал завсегдатаем психушки. Как позже выяснилось — не один я; но в ту пору меня посвящали далеко не во все детали. Нам приносили кофе, реже вино (аль-Беруни практически не пил, лишь изредка позволяя себе глоток-другой красного), и мы разговаривали, спорили, вычерчивая таблицы, до хрипоты отстаивая собственное мнение и нравясь друг другу все меньше.

Он был гением.

Гении никогда не нравятся обычным людям.

Я был обычным.

Почти.

Тише, господа, тише... сейчас мне придется говорить о столь тонких материях, что многие из вас предпочтут забросать меня окурками, вместо того чтобы совершить усилие... тише, господа, — поймите, наша с вами жизнь зависит от этих материй.

Она зависела и раньше, только вы об этом не знали.

Тише, господа.

Известно вам или нет, но слово «Зодиак» по-кименски означает «Пояс зверей». Предвижу возражения: часть названий зодиакальных созвездий связана скорее с персонажами мифов и легенд, а Весы... ну, Весы, они и в Кимене — Весы. Оставим это на совести кименцев и не будем спорить с традицией. Замечу лишь для облегчения вашего дальнейшего понимания: курируемое мной астрологическое общество неспроста называлось «Эклиптика».

Господин... ар-Рави?.. Уважаемый господин ар-Рави, вас не обременяет речь, когда вы курите сигару? Если да, то курите, курите и молчите; если нет, то замолчите просто так. После вы мо-

жете приказать вашему пахлавану завязать меня узлом, но пусть это произойдет не сейчас! Договорились? Ну вот и чудненько...

Итак, мы говорили об эклиптике. Так называется ежегодный путь Солнца по небесной сфере, отклоненный от небесного экватора на 23,5 градуса. Этот путь, эта эклиптика лежит внутри полосы зодиакальных созвездий, внутри «Пояса зверей»; также по Зодиаку проходят траектории движения Луны и планет.

Но время дотягивается даже до звезд. Эклиптика, в свою очередь, движется по небесной сфере, медленно, чудовищно медленно с точки зрения человека-однодневки, но уже с точки зрения Человечества она движется несколько быстрее. И созвездий Зодиака, если быть честными перед собой и Вселенной, на сегодняшний день уже не двенадцать.

Тринадцатое созвездие «Пояса зверей» — Зоххак-Змееносец.

Полагаю, вы помните или хотя бы краем уха слышали древнюю легенду о шахе Зоххаке, которого Иблис-Противоречащий поцеловал в оба плеча?

Не помните?!

Ну как же:

Две черные змеи из плеч владыки
Вдруг выросли. Он поднял шум великий,

Но мудрые мобеды всей земли
Ничем помочь Зоххаку не смогли...

Ах, как жаль! А это:

И будешь ты сражен, о царь суровый,
Ударом палицы быкоголовой!

Именно в связи со Змееносцем наши предки считали, что встретить змею в день Хормозд означает царскую власть в недалеком будущем, в день Исфендормазд — честь и славу, в день Асман — обвинение во лжи, в день Замиад — несчастье в семье...

Впрочем, мы отвлеклись. Добавлю лишь: когда выродок Зоххак, кормивший выросших из него змей мозгом невинных юношей, был действительно сражен, он мигом отправился на небо и занял положенное ему место. Шли века, эклиптика смещалась по небесной сфере, и проклятый шах терпеливо ждал, когда его впустят в Зодиак.

Дождался.

Теперь Солнце проходит через него, и шахские змеи пьют солнечный мозг.

Аль-Беруни был карликом; и он был гением. Этот огрызок человека рассчитал базу для новой астрологии, которую он назвал «Иблисовой дюжиной» — потому что именно тринадцать созвездий, тринадцать Домов составляли ее основу.

* * *

— Знаете ли вы, дорогой мой, почему Иблис-Противоречащий отказался поклониться первому сотворенному Господом человеку?

Этот вопрос аль-Беруни задал мне через полтора месяца после нашего знакомства.

И, полуприкрыв свои жабьи глаза, процитировал:

— «И вот, сказали Мы ангелам: «Поклонитесь Адаму!» И поклонились они, кроме Иблиса. Он отказался и превознесся, и остался неверующим».

Я снова вижу это, будто лишь вчера расстался с ним: карлик сидит, с ногами забравшись в старомодное кожаное кресло, жмурит глазки, и морщинистая рябь бежит по его огромному лбу, превращая кожу в осенний пруд.

— Отказался и превознесся, и остался неверующим... Дорогой мой, вы никогда не задумывались, почему был создан человек? Любая религия неизбежно приходит к концепции сотворения мира и сотворения человека, неважно кем и неважно из чего, потому что любую религию создает человек, живущий в мире. Но тем не менее до человека, если верить тем же мифам, превосходно существовали другие, гораздо более могущественные и жизнеспособные существа — ангелы, духи, дэвы, божества всех рангов и мастей... Зачем — человек? К чему — человек, прах земной? И почему двое: мужчина и женщина?!

Я пожал плечами.

Нам ли судить Творца?

— Тогда давайте зайдем с другого конца: любое предшествовавшее человеку сверхчеловеческое существо было гораздо менее ограничено в своих эволюциях. Но Адам с Евой покидают рай, века сменяются веками... Где они, дэвы и ангелы? Разве что в сказках, словно в резервациях. Те, кто могли летать в небе и дышать под водой, жившие сотни сроков и превращавшие цветы в звезды, а звезды — в красавиц! Где они?! Их нет! А человек — есть. Почему?

Я молчал.

— Мы живем в четырехмерном мире, дорогой мой, мы заперты в темнице этих четырех стен, и даже наши ученые мужи позволяют себе робкие намеки: дескать, первоначально измерений было существенно больше, но со временем... Со временем, заметьте! Со временем! Измерений четыре, а на самом деле их два — Пространство и Время! Адам и Ева! Последний росчерк Творца!

Чтобы скрыть усмешку, я отхлебнул вина.

— Увы, дорогой мой, это совершенно не смешно. Вы ловко рассчитываете связь жизни ваших клиентов с движением звезд и планет, но наотрез отказываетесь принимать во внимание нали-

чие обратной связи. Звезды зависят от человека! Минуты и века зависят от человека! Фарсанги зависят от человека! Потому что именно человек и есть Время и Пространство, и именно поэтому Творец поначалу не хотел выпускать человека из рая! Из роскошной тюрьмы! Но, увы...

В тот вечер я стал посвященным в тайну Иблиса, отказавшегося кланяться Пространству и Времени.

* * *

Тише, господа... впрочем, вы и так молчите.

Теория аль-Беруни заключалась в том, что каждый человек является носителем некоей частицы времени и пространства. Возможно, субъективного времени и субъективного пространства; но кто может предположить наличие чего-либо объективного в нашем мире? Я — не возьмусь. Карлик утверждал, что измерения напрямую зависят от нас и человек подсознательно, год за годом, упрощал собственный мир, подгоняя его под свои потребности. Людей становилось все больше, они плодились и размножались как блохи, на каждую секунду грядущего года уже было по нескольку владык, на каждый клочок тверди и глоток влаги находилось множество правителей... и человек подпирал законами природы, которые сам же и придумал, стены выделенной ему темницы.

Обратите внимание: от мифа — к эпосу, от эпоса — к легенде, от легенды — к сказке... Вы думаете, сейчас дети читают сказки? Вы неправильно думаете. Аналогично: от божества, тасующего многомерное мироздание, — к великому магу; от мага — к деревенской ведьме; от ведьмы — к вшивому экстрасенсу с дипломом в боковом кармане пиджака. Где божество? Где маг?

Мы убили их, господа, упростив их (и наш) мир.

Во всяком случае, так полагал аль-Беруни.

Но это не все.

«Иблисова дюжина», новая система астрологических таблиц, позволяла достаточно точно вычислить связь каждого индивидуума со временем; вычисление связи с пространством аль-Беруни не успел довести до конца — он умер от сердечного приступа.

Отдельный человек способен влиять на какие-то секунды (иногда — доли секунд) будущего года: разбросанные по ВСЕМУ году, они практически не отслеживаемы. У господина Али-бея дурной характер, и в году Крысы одна секунда пятого дня месяца Шахревар будет подсознательно раздражать очень многих, жизнь не будет складываться — но она пройдет, эта секунда, и никто даже не вспомнит о взявшемся из ниоткуда раздражении. Возможно, какой-нибудь лавочник в Оразме успеет в эту секунду съездить по роже своей супружнице и изменит тем самым ход

своей судьбы — да только придет ли в голову лавочнику связать это с раздражительностью дурбанского мушерифа Али-бея?

Вряд ли.

Но существуют люди, способные концентрировать субъективное время: люди-дни, люди-недели, месяцы, годы... Чаще всего это дети. И тут мы вплотную подходим к идее создания мектеба «Звездный час».

Госпожа Коушут, я уже говорил вам, что вы можете сделать с моей подпиской о неразглашении!

Повторить?

Хакимы с учеными степенями и учащиеся из влиятельных семей — это только... потолок? Ах да, спасибо, господин ар-Рави! Ну конечно же, крыша! Крыша, под прикрытием которой разыгрывается «Лотерея Иблисовой дюжины», «Лотерея Тринадцати домов» — потому что их именно тринадцать, а не двенадцать, господа мои! Мы составляем прогнозы, к нам стекаются данные о множестве детей из самых разных мест, данные эти подвергаются анализу согласно тестам аль-Беруни — и дети-концентраторы так или иначе заманиваются в «Звездный час».

Хвала Господу, пряников хватает.

Хотя могу заметить: и у влиятельных родителей рождаются концентраторы. К примеру...

ГЛАВА 12

АЗАТ

Крики, лица,
толкотня.
Застрелитесь
без меня.

— Господин Ташвард!

Неизвестно, как всем обернувшимся на вопль к двери, а Карену сразу же становится ясно: гулям Махмудик очнулся! Почти сутки валялся где-то без сознания — и вот поди ж ты, жив-здоров, курилка, только вид изрядно пришибленный. Видать, треснулся затылком, когда падал...

Стоп. Ведь Махмудик еще ничего не знает!

— Господин Ташвард! Там с камерой творится... изображение пошло, а на нем...

— С камерой?! — Госпожа Коушут всегда отличалась прекрасной реакцией. — Показывает?!

— Ну да, госпожа...

— Но ведь в мектебе нет электричества!

— Вот и я удивляюсь: лампочка не загорается, а камера показывает! Только такое, что лучше не смотреть...

Зейри Коушут молча рванулась к дверям, выяснив уже на пороге, что Гюрзец ее все-таки опередил. Ну а следом гурьбой повалили остальные.

Лишь корноухий Руинтан остался мирно похрапывать в одном из кресел последнего ряда.

— На минуту отвернулся — а этот гад хвать черпак спирта и выхлебал до донышка! — словно оправдываясь перед Кареном, развел руками Усмар, проходя мимо. — И хоть бы хны, только уши лиловыми стали...

Сухая лапка невесомо легла на Каренову ладонь.

— Иди, Каренчик, погляди, что там... после расскажешь. Да иди же — ничего со мной не сделается! Кому я нужна, дура старая?

Уже в дверях он обернулся, кивнул бабушке Бобовай и застывшей возле нее Сколопендре с ржавым мечом в руках — и покинул зал.

Мониторы наружных камер находились в помещении охраны, и сейчас в комнатушку, рассчитанную максимум на трех человек, набились почти все пленники «Звездного часа». Нечего было и мечтать о том, чтобы из-за спинищи Фаршедварда разглядеть хоть край экрана, поэтому отставной висак-баши, недолго думая, взгромоздился на стоявший у входа стул.

А на Али-бея оперся.

Изображение на экране не двигалось. В этом не было бы ничего удивительного, если бы, во-первых, не знать, что мектеб обесточен и камера вообще не должна работать, а во-вторых...

Деревья вдоль дороги застыли безучастными постаментами — лист не шевельнется, веточка не вздрогнет; справа в экран вползал побитый синий «скарабей» мэйланьского производства — вползал, тужился и никак не мог вползти, будто уперся в невидимую преграду. У обочины стояла еще одна машина — мушерифская, с выключенной мигалкой на крыше; видимо, на ней-то и приехал хайль-баши. На капот лениво облокотился прикуривающий водитель. Оранжевый язычок пламени уже лизнул кончик сигареты — и тоже застыл, как на моментальной фотографии. Застыл и мушериф, словно окаменев под взглядом неведомого василиска.

Глаза водителя были закрыты — видать, моргнул за мгновение до стоп-кадра.

А у самых ворот завис в падении изумленный хаким-эмир! Он до сих пор падал, как и почти сутки назад, — спиной вперед, неловко всплеснув руками... Левая нога хаким-эмира была аккуратно отсечена чуть ниже колена, и внутри кровавого круга белел ровный срез берцовой кости.

«Как окорок в мясной лавке», — подумалось Карену.

«От голода, что ли?» — удивился он сам себе минутой позже.

Зато никакого тумана на наружном изображении не было.

Камера добросовестно показывала, хаким-эмир падал, «скарабей» полз, водитель прикуривал — а люди молча стояли, уставившись на монитор, молчание тянулось целую вечность, и Карену начало казаться, что и сами они уже превратились в статуп... но тут, словно специально задавшись целью опровергнуть эту мысль, Большой Равиль заворочался и полез в карман за очередной сигарой.

— Запись, — изрек он.

— Чушь, — жестко бросил Гюрзец. — Здесь вообще нет записывающей аппаратуры — не успели установить.

— Тогда... что же ТАМ творится? — Толстенький хаким попытался скрыть испуг, но ему это удалось плохо.

— А что ЗДЕСЬ творится?! — зло огрызнулся Равиль.

Хаким отшатнулся, как если бы бородач собрался ткнуть сигарой ему в лицо, — и тут экран померк. Махмудик лихорадочно защелкал переключателями на пульте, но аппаратура оживать наотрез отказалась.

«Ты что, дурак?! — со всей ясностью говорил темный экран. — Много мы тебе без электричества наработаем...»

— Сеанс окончен. — Сухая усмешка искривила рот надима Исфизара. — Нам ПОКАЗАЛИ.

— Кто показал? — быстро спросила девушка, которую, кажется, звали Лейлой.

— Судьба. Давайте все-таки вернемся в зал.

Поскольку никаких других предложений не поступило, люди поплелись обратно. Долго рассаживались — почему-то стараясь занять те же места, что и раньше; и Карен успел шепотом пересказать старухе Бобовай виденное.

Сколопендра вертела в руках сокровище толстенького хакима и молчала.

— Прошу тишины, — строго постучал по кафедре надим Исфизар.

И тишина пришла.

ГЛАВА 13

ХАКИМ

Не кричите.
Это я —
на изломе
острия.

Озноб тряс меня, с остервенением вцепившись в плечи ледяными лапами и заставляя каждый волосок, от головы до самых интимных мест, топорщиться подобно стальной проволоке.

Кому весело — смейтесь!

Гады...

Нечто подобное случилось со мной лишь однажды — под Старой Хаффой, на раскопках, когда я подхватил лунную лихорадку и чуть не сошел с ума от приступов и горького хинина в промежутках. Сейчас же о хинине можно было только мечтать, и озноб хихикал от радости, похотливо шаря под одеждой и дыша в лицо гнилостным сквознячком.

В зале мне лучше не стало.

Как вспомню мертвую статику деревьев вокруг мектеба, торчащий из зажигалки огонь-фаллос, мясной срез голени хаким-эмира — так сразу блевать хочется, и дрожь бежит по телу наперегонки с мурашками. А Улиткины Рожки все разливается соловьем у кафедры — Иблисова дюжина, концентраторы, попытка обратного воздействия...

Господи!

Неспящий Красавец!

Транквилизатор имеет место пребывать в норме...

И даже озноб попятился от меня, как от опасного для общества безумца, когда я встал, — видимо, лицо мое соответствовало моменту; отчего-то пришел из туманной дымки, окутывавшей мектеб моего сознания, искаженный яростью лик Беловолосого — каким он был в первом сне и каким был во сне втором, когда в могучих руках пела зимняя вьюга по имени Гвениль.

— Валих Али-бей?!

Слова давались с трудом, язык ворочался во рту, словно заживо погребенный, который, очнувшись, пытается повернуться в гробу, пытается и не может, а доски давят сверху и с боков, и земля осыпается в щели, падая на открывшиеся глаза...

Как ни странно, он меня понял.

— Да, — кивнул надим Исфизар. — Это был один из первых реальных экспериментов. Концентратор последней недели Дея[1], месяца Творца, и первых полутора недель Бахмана[2], месяца Доброй мысли.

— И вы держали двенадцатилетнего мальчишку на наркотиках, чтобы оценить его влияние на субъективное время?! Мы же все тогда чуть челюсти от зевоты не вывернули!

— Во-первых, глубокоуважаемый хаким Рашид, мы держали Валиха не на наркотиках, а на совершенно безобидном для его здоровья снотворном. Во-вторых, мы и сами не ожидали такого прямолинейного влияния на окружающих — первичные симптомы сонливости наблюдались даже в Верхнем Вэе, если сместиться на северо-восток, и на окраинах Софт-Лоула, если сместиться

[1] Дей — с 22 декабря по 22 января.

[2] Бахман — с 22 января по 22 февраля.

на северо-запад. Но повторяю — полная безопасность как для самого концентратора, так и...

— Безопасность?! Полная безопасность?! Сошедшие под откос поезда, разбившиеся самолеты, наезды на дорогах — это, по-вашему, полная безопасность?! Мы же люди, а не морские свинки! Люди! Вот он, шестиклассник Валих, сын погибшего канаранга Тургуна, — человек, мальчишка, а не этот... концентратор!

— Хаким Рашид, бросьте передергивать! В отличие от вас, я владею информацией! Количество аварий за период эксперимента не превысило стандартной нормы, а здоровье самого концентратора, согласно проведенному обследованию...

— «Спи, сынок», — непонятно бормочет за моей спиной новенький гулям, и в дребезжании его голоса кроется нечто, заставляющее меня передернуться, будто незримый шутник проводит рашпилем по спине. — Ах, суки... сукины внуки...

Но мне не до странных изречений гуляма, потому что между рядами к проходу идет хайль-баши Фаршедвард.

Это удивительное и страшное зрелище: молчаливая громадина движется вразвалочку, и узкое пространство между рядами расширяется просто на глазах — блоки кресел, скрежеща металлическими накладками, гнилыми зубами вырываются из пазов в полу, сидевшие впереди или позади хайль-баши люди испуганно вскакивают и буквально брызжут прочь, словно они и впрямь не люди, а водяной пар из прорвавшей трубы... среди грохота, лязга и возмущенных криков Али-бей горой выдвигается в проход и так же, неторопливо и страшно, направляется к возвышению, где у кафедры замер истуканом надим Исфизар.

— Дядя! — истерически кричит Валих.

Дядя идет дальше.

Усмар-гулям с разбегу повисает у Фаршедварда на плечах, к Усмару присоединяется Махмуд, оба они остервенело мотаются тряпками, как вцепившиеся в бегемота шакалы; у Махмуда срывается рука, и он кубарем летит в груду перевернутых кресел, где принимается шумно ворочаться, проклиная всех мушерифов, начиная непосредственно с Творца. «Господин Али-бей! — колоколом звенит Неистовая Зейри, разбрызгивая металл своих закаленных связок. — Господин Али-бей, опомнитесь!..» Конечно же, сейчас хайль-баши придушит Улиткины Рожки, что для него не труднее, чем свернуть шею цыпленку, а потом скорее всего возьмется за саму госпожу Коушут!

Интересно: это хорошо или плохо?

Только сейчас я замечаю, что непроизвольно дергаюсь, будто это в меня вцепились гулямы, а я все иду, двигаюсь, неотвратимо и спокойно...

Сумевший частично высвободиться, Махмуд хватает Али-бея

за ноги и волочится следом за ним по полу, уже не ругаясь, а только клокоча глоткой; новенький гулям присоединяется к чудом держащемуся Усмару — что, впрочем, ни на йоту не замедляет продвижения хайль-баши к кафедре; я недоумеваю: почему медлит гулям-эмир?! Почему?! И двойной хриплый хохот бьет мне в затылок, подобно молоту — это корчится в пароксизмах веселья старая ведьма в инвалидном кресле, и вторит ей пахлаван-телохранитель Большого Равиля...

У самого возвышения хайль-баши Фаршедвард останавливается и встряхивается мокрым псом.

Повисшие на нем гулямы с воплями летят в разные стороны.

— Я тебе, сволочь, яйца оторву, — говорит белому, как простыня, Исфизару мушериф Али-бей, и я соображаю, что раньше никогда не слышал от Валихова дяди грубого слова. — Когда мы выберемся отсюда, я тебе оторву яйца. Сперва — левое, потом — правое. И ты, мразь, станешь прежним. Понял?

Али-бей говорит «когда», «КОГДА мы выберемся отсюда», а не «если»; озноб пугается гулкого рыка мушерифа — и отпускает меня, прячась в угол.

— Ты понял? — тихо переспрашивает хайль-баши.

— Понял, — отвечает покладистый надим.

И по его глазам видно, что он действительно понял.

* * *

Когда последствия переполоха, учиненного господином Али-беем, были ликвидированы, а страдающие гулямы устали кряхтеть и потирать ушибленные части тел, Улиткины Рожки прекратил тискать кафедру, что далось ему с трудом, и робко предложил продолжить заседание.

Предложение было принято единогласно — в смысле, что прозвучал всего один голос.

— Валяй, дегенерат, — бросил Большой Равиль.

— Итак, господа, — в горле Исфизара билась пойманная бабочка, и звук получался трепещущим, срывающимся, как если бы Улиткины Рожки был астматиком, — я рассказал вам все, что знаю сам. Вы можете теперь отрывать мне яйца или не отрывать, отложив эту приятную процедуру на потом, — только, ради всего святого, не спрашивайте меня о финансировании мектеба или о правительственных структурах, находящихся в курсе эксперимента. За внешние контакты отвечал непосредственно хаким-эмир, а он, увы, ничего вам сейчас ответить не сможет. И я — не смогу.

— Вы забыли про... девочку, — вежливо напоминает Кадаль. — Она что, тоже концентратор?

— Слабо сказано. Правнучка досточтимой Бобовай — кон-

центратор уникальной, предельной на данной стадии силы. Господа, вы забыли, наверное, но если бы время шло обычным порядком — мы бы с вами сегодня ночью праздновали Ноуруз, Новый год! Весеннее равноденствие, господа! Пять тысяч девятьсот девяносто восьмой год от сотворения мира! И осмелюсь заметить: именно эта девочка, которая сейчас сверкает на меня глазищами из-за лезвия ржавой сабли («Меча», — машинально поправляю я, но надим меня не слышит), именно она и является концентратором надвигающегося года! Всего года, господа! В некотором смысле она и есть субъективный Новый год — правда, мы больше привыкли представлять его в виде улыбающегося мальчишки, а не хмурой вооруженной девочки... — Исфизар разводит руками и подводит итог: — Теперь вы понимаете, господа, как нам было важно заполучить в мектеб правнучку досточтимой Бобовай?

Мы понимаем.

Вспоминая обстоятельства, туманной пеленой окружившие нас со всех сторон, мы понимаем.

Здравствуй, здравствуй, Ноуруз...

— И что же ты предлагаешь?

Это снова Равиль.

Глаза надима Исфизара на миг становятся стеклянными, и Улиткины Рожки произносит всего три слова.

— Убить подлую тварь, — отчеканивает надим.

Тишина.

Тишина бродит по залу, ласково поглаживая нас по затылкам, и от этого прикосновения волосы становятся дыбом, словно тишина приходится ознобу родной сестрой или и того хуже — матерью.

— Во время беспамятства, — извиняющимся тоном добавляет надим, — мне было видение. Не знаю, как вам, а мне — было. Вдаваться в детали совершенно ни к чему, но меня совершенно однозначно подталкивали к такому решению. Иными словами, создавали необходимую психологическую установку — ненависть к девочке, ненависть животную, физиологическую, которая просто обязана в определенный момент сдетонировать. Полагаю, я не единственный, кого посетили соответствующие видения?

Я смотрю в пол.

Корявая паркетина, покрытая лаком; два сучка напоминают... что?

Нет, он не единственный.

...Паленые ремни лопнули от чудовищного рывка, а белая грива волос разметалась бураном через всю кибитку, из угла до колоды.

И двуручный меч завыл зимней пургой, оказавшись в обгоревших до кости руках.

«Тварь, — полыхнуло белым вдоль искалеченного клинка, — тварь, змея... Сколопендра...»

«Нет, он не единственный», — подтверждает беспристрастная тишина.

— Итак?

Тишина.

— Итак, господа? Ну же, не стесняйтесь! Мне, например, кажется, что нас заперли здесь с одной-единственной целью и иного способа получить свободу у нас нет. Разве что посетовать на мироздание и сдохнуть от жары или голода...

— Дядя, я есть хочу, — тоненько сообщает Валих, шмыгая носом.

— И я, — эхом отзывается дочка бородача, которой вторят близняшки бар-Ханани.

«И я», — молчу я.

Хайль-баши сопит, затем треплет племянника по затылку и поднимается.

К счастью, на этот раз спокойно, не выворачивая кресел с корнем.

— Кто-нибудь в курсе, — спрашивает Фаршедвард Али-бей, — есть ли на кухне мектеба какие-либо продукты?

— Я в курсе.

Бездействовавший до сих пор гулям-эмир встает, и взгляды присутствующих сосредоточиваются на подтянутой фигуре господина Ташварда.

— Я в курсе, господа. Практически никаких. Сегодня утром, пока вы... прогуливались внизу, я проверил запасы. Каникулы, однако... несколько банок консервов, три литровые бутылки с лимонадом, хлеб в количестве шести буханок... пачка шоколадного масла... Вы любите шоколадное масло, господа?.. Я — нет. Две потрошеные трески в отключившемся холодильнике успели протухнуть, и я закопал их в парке. Если хотите, могу указать место — там неглубоко, можно откопать. Да, чуть не забыл — фляга дешевого коньяка. Видимо, кого-то из поваров.

Гулям-эмир разводит руками и вежливо улыбается.

Пожалуй, он прав: в нашем положении развести руками — самое верное.

И, словно подчиняясь жесту Ташварда, на зал обрушивается темнота.

Сумерки — утренние? вечерние? — за окнами разом сменяются ночью, которая вспомнила о недавнем диктате и решила вернуться на трон. Ночь потопом растекается снаружи, мы оторопело переглядываемся — свет полной луны, заглядывающей в

форточку, и отблеск звезд позволяют переглядываться, но толку от этого мало.

Время сошло с ума.

Очередь за нами.

Очередь за нами, думаю я, вставая и присоединяясь к Лейле в качестве проводника по темному мектебу, — Али-бей безапелляционно заявляет, что в первую очередь надо покормить детей, Лейла берет эту миссию на себя, и я нужен, чтобы довести вереницу учащихся до кухни.

Очередь, думаю я, идя по коридору.

За нами.

ГЛАВА 14

ХАБИБ

В клеточку плаха,
В елочку дыба́.
Сдохнуть бы от страха! —
Видно, не судьба.

Звезды, судьба, время... И непроходимая стена, туманность «Звездного часа», отделившая их от застывшего между двумя мгновениями внешнего мира. А всего-то и надо, чтобы вырваться из душной банки, разбежавшись освобожденными тараканами, — убить одну маленькую девочку! Поверить уважаемому Надиму и убить подлую тварь! Кому какое дело, действительно ли тварь и действительно ли подлая, если виновный найден и все объяснено сведущими людьми: субъективное время, Иблисова дюжина, концентраторы... мене, текел, фарес! Взвешено, подсчитано, измерено! Височная впадина лопается под напором — и содержимое твоего черепа, венец сотен веков эволюции... Как там кричал друг Рашидик? «Давить, давить таких во младенчестве!..» И тюрьма исчезнет, и снова будет солнце, оживет стопкадр за оградой мектеба, врачи кинутся спасать пострадавшего хаким-эмира...

Просто мир обеднеет на одну маленькую девочку с дурным характером — невелика потеря!

Опять же, выходит, всем (кроме него, доктора Кадаля) было... знамение? Сон, кошмар, видение: у каждого свое, но в каждом надо было просто-напросто убить девчонку — эту самую — и все отлично. Все будет хорошо. У всех — сны; во всех снах надо убить одну и ту же тварь... Вспыхивает, дождавшись звездного часа, порох внутри аккуратного цилиндрика гильзы, и неумолимая свинцовая оса в оболочке из нержавеющей стали начинает короткое плавное скольжение по нарезам ствола...

Навязчивый, повторяющийся кошмар! Вот оно! Это уже было, только в ТОМ кошмаре человек всякий раз убивал СЕБЯ, а здесь... Связь! Должна быть связь! Просто не может не быть! Большой Равиль не верит в совпадения. И он, Кадаль Хануман, не верит!

Или безумие ит-Сафеда все-таки добралось до него?

Но — до него ли одного?..

Голова пухла от мыслей, рядом о чем-то вещала администраторша, но голос женщины долетал до Кадаля словно сквозь толстый слой ваты, а потом доктор понял, что уже не сидит на месте, а бочком пробирается к двери. И причина тому была самая банальная, крывшаяся отнюдь не в распухшей от сумбурных мыслей голове, а в раздувшемся мочевом пузыре.

Психика, господа мои, психикой, а физиология — физиологией.

Увы.

Бродить в поисках туалета по темным коридорам мектеба отнюдь не тянуло, спрашивать кого-нибудь из местных о географии сортиров казалось неприличным, и Кадаль поспешил во двор. Двор всегда двор и всегда даст утешение страждущему. Наружная дверь оказалась приоткрыта, и через сумрачный холл протянулась полоса лунного света. Порывом ветра дверь вдруг распахнуло настежь, и в проеме нетопырями мелькнула дюжина сухих листьев.

Иблисова дюжина.

Лотерея Тринадцати Домов.

Осень в начале весны.

...Снаружи была ночь. Опять ночь. Который же сейчас час? Впрочем, есть ли смысл в суетном трепыхании, желании во что бы то ни стало определиться и назвать время по имени — половина первого, четверть второго, без двадцати три... какое это имеет значение?! Само понятие времени потеряло смысл, стрелки и люди бестолково мечутся по циферблату, не зная, что скоро для всего останется лишь одна мера — количество глотков духоты, которое определила им судьба до мгновения, когда...

Что-то тускло блеснуло справа от аллеи. Уже начавший расстегивать штаны, доктор Кадаль замер, вглядываясь в переплетение изогнутых теней и лунных бликов. Угловатый силуэт, перечеркнутый полоской стали. Девочка с мечом. Это тоже уже было! Вот сейчас она вставит длинное лезвие между почти сросшимися кизиловыми стволами, наляжет на древний двуручник всем телом...

Остановить? Позвать Рашида? Все-таки музейный экспонат, реликвия прошлого... Ну и демон У с ними всеми, и с прошлым, и с экспонатом! Пусть ломает!

А потом кто-нибудь из нас свернет шею ей.

Зажав между кизилом и кизилом.

Проклятая «молния» окончательно застряла, Кадаль принялся злобно дергать язычок, рискуя остаться с незастегивающимися брюками.

Прошлое, настоящее... сволочи!

Девочка протиснула клинок между стволами, примерилась, налегла всем телом — и почти одновременно из кустов по левую руку выскользнула еще одна тень. Тень двигалась совершенно бесшумно, словно бы даже не касаясь выложенной брекчией аллеи. Поравнявшись с занятой своим делом и явно не замечающей ничего девчонкой, человек-тень вдруг резко выбросил руку в сторону маленькой фигурки — и в следующее мгновение лунный свет выбелил его лицо.

У Кадаля была превосходная память на лица. Профессиональная. Поэтому даже в призрачном свете неправдоподобно огромной и яркой луны он узнал господина Ташварда, начальника охраны мектеба. В руке гулям-эмир сжимал пистолет.

Височная впадина лопается под напором...

Вот и все.

Конец злоключениям?

Пистолет сухо щелкнул, но выстрела не последовало.

Доктор даже не успел заметить, в какой момент гулям-эмир передернул затвор; звякнул, покатившись по брекчии, давший осечку патрон, и господин Ташвард вторично нажал на спуск.

Снова — издевательский щелчок.

У доктора на мгновение возникло ощущение, что и это — было.

Гулям-эмир со злобой отшвырнул пистолет — но не в девчонку, как должно было быть (почему — должно?!), а через плечо, назад; и оружие с хищным лязгом шлепнулось почти у самых ног доктора Кадаля.

А сам господин Ташвард шагнул к девочке.

И на середине этого неуловимо короткого шага девочка обернулась, оставив меч торчать между стволами. Тяжелая шаль соскользнула наземь, подбитой птицей распластавшись у худых ног, и оба мужчины увидели широкую кожаную перевязь, крестнакрест охватывавшую щуплое тельце; из пазов перевязи двумя рядами торчали рукояти из белой кости — и поэтому казалось, что туловище девочки скалится в нечеловеческой усмешке.

Рукоятки метательных ножей.

Это понял даже доктор.

Память мигом изогнулась в издевательском поклоне: наполненный страхом и смертью автобус, сползающий на колени Рашидика террорист с торчащими из лица белыми клыками рукоятей...

И кутающаяся в пыльную шаль угловатая девчонка-подросток у дверей, терпеливо ждущая, пока заложники обезумевшей

толпой покинут салон. Тогда он просто не обратил на нее внимания...

Господин Ташвард остановился, словно налетев на выросшую перед ним стену, при этом ужасно напомнив «скарабей» с экрана наружной видеокамеры; и на лице его медленно проступила глупая извиняющаяся улыбка. Лицо было плохо приспособлено для таких улыбок — высокие скулы, морщины, жесткие складки у рта, — но вытерпело, как служебная собака, сносящая ласку чужого по приказу хозяина. Гулям-эмир неторопливо развел в стороны руки, как бы демонстрируя, что в них ничего нет, и попятился, не отрывая взгляда от девочки.

Она стояла, расслабленно свесив руки вдоль тела, и молча смотрела на пятящегося мужчину. Тени ласкали ее бархатными кистями, доктор Кадаль не видел ее глаз, а если бы видел...

Он бы, наверное, тоже попятился, как господин Ташвард.

Или побежал.

Девочка стояла и смотрела, начальник охраны пятился, все это тянулось и тянулось, как замедленные кадры в сюрреалистическом фильме; и Кадаль не выдержал, хотя и понимал, что это глупо — и опасно.

— Господин гулям-эмир, что здесь происходит?

Начальник охраны все так же медленно повернулся в его сторону, стараясь при этом не выпускать девочку из поля зрения.

У господина Ташварда удивительное зрение, мельком отметил Кадаль, оно воистину стереоскопическое!

— Да ничего особенного, доктор. — Голос гулям-эмира звучал слишком естественно, чтобы быть таким на самом деле. — Не извольте беспокоиться. Девочка снова пыталась сломать меч — а вы ведь знаете, какую историческую ценность он представляет?! Опять же господин аль-Шинби возмущался — помните? Вот я и решил, что надо бы...

Господин Ташвард наконец повернулся к девочке спиной и уже двигался по аллее к доктору Кадалю. Начальник охраны улыбался, и его улыбка, пожалуй, могла бы обмануть многих, — но не доктора психологии Кадаля Ханумана. Даже если бы доктор и не был свидетелем предшествующей сцены.

Не сводя взгляда с приближающегося гулям-эмира, доктор Кадаль быстро наклонился и поднял лежавший у его ног пистолет.

— Стойте! — Голос дрогнул, пистолет заплясал в руке, и доктор торопливо поддержал правую руку левой. — Стойте где стоите!

Господин Ташвард замедлил шаги, но не остановился.

— Вы это серьезно, доктор?

Улыбка на лице гулям-эмира стала шире, расползаясь подобно гангрене, и правая рука господина Ташварда сделала какое-то удивительное, но, несомненно, дружелюбное движение. Нет, самого движения Кадаль не увидел; просто он машинально улыб-

нулся в ответ обаятельнейшему в мире человеку и отчетливо понял, что сейчас умрет. Не успев даже нажать на спусковой крючок.

Вспышка перед самыми глазами, сталь звякает о сталь и... больше ничего не происходит.

«Нож. — Доктор чувствовал, как по спине ползут липкие струйки пота. — У него был еще нож. Но почему он не попал в меня?»

Кадаль нашел в себе силы взглянуть в лицо начальнику охраны и понял, что тот удивлен не меньше его самого.

— Маленькая бестия... — с ненавистью, к которой примешивалось уважение, процедил сквозь зубы гулям-эмир. И секундой позже до Кадаля дошло: нож странной девочки успел раньше, ловчим соколом сбив в полете смертоносную птицу, выпущенную на волю милейшим господином Ташвардом!

Доктор никогда не предполагал, что такое возможно!

Начальник охраны, видимо, тоже.

«Убить меня ножом, свалить на девочку — и уже без помех избавиться от нее!» — промелькнуло в мозгу Кадаля за доли секунды, и руки сразу задрожали еще сильнее. В любом случае гулям-эмиру не нужны свидетели.

Он чудом избежал смерти, но до занавеса еще было далеко.

Господин Ташвард сделал шаг к доктору. Сегодня у гулям-эмира наступила ночь шагов: быстрых и вкрадчивых, размашистых и коротеньких... всяких. Это был крайне осторожный, небольшой шажок, даже и не шажок вовсе, а безобидная попытка ногой попробовать дорогу перед собой.

— Не подходите! Я выстрелю! — взвизгнул Кадаль. Нервы доктора были на пределе. Незнакомый знобящий холодок быстро распространялся по руке, сжимавшей пистолет, подбираясь к груди.

— Так прямо и выстрелите? — На губах гулям-эмира снова проступила улыбка. — В безоружного человека? Чтобы увидеть, как его мозг, венец сотен веков эволюции, склизкими ошметками выплескивается...

Ощущение холода резко усилилось, рванулось вверх — и доктор Кадаль успел увидеть, как скачком приблизилось и поплыло, растекаясь по незримой плоскости, лицо господина Ташварда, рассеченное пополам узкой черточкой пистолетной мушки.

И пьяный ретушер зачертил кисточкой: крест-накрест, крест-накрест...

* * *

Он летел по стальному тоннелю, плавно следуя изгибающимся нарезам, и мощная волна тепла мягко давила в спину... нет, не в спину — потому что сейчас у него не было спины; зато волна действительно была, а там, впереди, сиял свет, к которому он

стремился, зная, что скоро, очень скоро достигнет его, окажется снаружи — и вот тогда жизнь станет иной, превращаясь в жизнь вместо прежнего жалкого существования...

Вспышка!

Слепящая фотовспышка — и на мгновение лицо, оказавшееся перед ним, застывает, впечатанное в ткань бытия, в ткань его памяти вселенским фотографом; неведомый мастер хитро и довольно щурится, а в следующий миг все снова приходит в движение, но он уже там — ВНУТРИ!

Скользкие хвосты чужих мыслей, спешащих укрыться в запутанных лабиринтах иного сознания, но кое-что он все же успевает схватить, сбить влет, словно нож ножом: звон от сталкивающихся в воздухе стальных птиц, растерянность, страх — и еще один страх, ужас на лице маленького человечка с куцей бородкой, в руке которого пляшет...

Вспышка!

Одиночество, безмерное одиночество странника, потерявшегося среди бескрайней пустыни... нет, не так! — совершенно невозможное и безнадежное одиночество муравья, чей муравейник чудовищно далек, и там, в этой невообразимой дали, остались все его братья... нет, не братья — остался ОН САМ, осталось то, чем он был всю жизнь, и лишь исчезающе малая частица его ползет теперь по пустыне, бездумно и бесцельно, потерянная, раздавленная безжалостным каблуком, но все еще пытающаяся ползти...

«Ты не один! — попробовал крикнуть доктор Кадаль. — Я здесь, с тобой!» Песок забил горло, и лишь едва слышный стон раскатился над бескрайней пустыней; но муравей услышал этот стон и потянулся к нему, пытаясь нащупать кричавшего, блеснуло металлическим отливом кроваво-красное тельце, и жадно ищущие усики ткнулись...

Вспышка!

Цифры! Это было очень важно — буквы и цифры! Он попытался их запомнить; он очень старался, огненными знаками выжигая в своем мозгу: 1-7-А-4-С... Жизнь! Нет, не спасение, всего лишь кратковременная отсрочка — она таилась за этими цифрами, которые стерегли ее, стерегли в...

Черная дырка ствола все ближе, но он не выстрелит, нет, он не сможет, и не только потому, что он мямля и трус, но и потому, что пистолет просто не станет стрелять, как не стрелял перед этим, — осталось два шага, всего два, один, второй... («Стоять! Не сметь! Не сметь, я говорю!») — два шага, а потом сбить хилую руку, войти в привычный захват: правая ладонь под подбородок, чуть сбоку, другая — на затылок, рывок, проворот... только тело почему-то становится ватным, ноги подгибаются, ладони не желают следовать вошедшему в плоть и кровь ритму, вязнут в сгус-

тившемся воздухе, что-то не так, и мысли, мысли... но ничего, все равно я...

Вспышка!

Тепло металлических усиков, с благодарностью припадающих к ладони, тепло ребристой рукоятки, тепло наконец обретенного друга (друг? что такое друг?.. неважно...), который поддержит, защитит, спасет от этого невозможного, безумного одиночества, — теперь он снова часть ЦЕЛОГО, он не одинок, но ЦЕЛОЕ в опасности! Скорее! Он не может потерять его снова! Он... это больно, я не хочу! Но другого выхода нет. Снова боль. Снова уничтожение части СЕБЯ — но части всегда жертвуют собой во имя ЦЕЛОГО, так было, и будет всегда, и так будет... сейчас, приятель, чье имя для меня не имеет смысла!

Да, сейчас!

* * *

Руки доктора Кадаля, хилые руки, не приспособленные к разрушению — впрочем, и к созиданию тоже, — разом перестали дрожать. Не понимая, что он делает, доктор профессиональным движением коротко передернул затвор и без размышлений или колебаний надавил на спуск.

Выстрел расшвырял их в разные стороны, оглушительно и гулко раскатившись по оторопевшему мектебу; зло рассмеялась беспощадная ночь, и медленно приходящий в себя доктор, сидя на ступеньках крыльца, тупо смотрел, как по дорогому костюму человека постепенно растекается черное и словно бы маслянистое пятно.

Человек лежал на колючей брекчии лицом вверх.

ГЛАВА 15

АЗАТ

И одни из них шли,
уходя в темноту,
Свято веря, что ночь,
словно сажа, бела,
За черту,
Что чертой не была.

Пистолет в потной ладони, предохранитель снят, ноги сами находят дорогу в кромешной тьме. Поворот, ступеньки, ковровая дорожка, холл, перечеркнутый полосой лунного сияния; в дверном проеме наискось мелькает чья-то фигура.

А в ушах все еще перекатывается горохом назойливое эхо выстрела.

Началось!

Пауки в банке... «черные вдовы»!

Черные...

Луна швыряет в глаза пригоршню блестящего песка.

Больно!

На мгновение Карен зажмуривается, рефлекторно прыгая в сторону, а когда зрение возвращается — сразу, рывком, — он понимает, что опоздал.

Гюрзец лежит на аллее, и по позе отставного инструктора, по молочно-белым отблескам, червями копошащимся в аспидной луже, что выползает из-под обмякшего тела, Карен понимает: Гюрзец жив, но это скорее всего ненадолго.

Слишком уж много пришлось насмотреться в Малом Хакасе... слишком, чтобы ошибиться.

На ступеньках замер коротышка-доктор с пистолетом в руке, и доктору в затылок уже почти ткнулся ствол точно такой же «гюрзы-38».

Фирменное оружие не только мушерифов, но и гулямов мектеба «Звездный час».

— Нет! — орет Карен, новобранцем вступая в смертельный хоровод: еще одна «гюрза» ищет в воздухе самый короткий путь для жала, путь к запястью успевшего первым Махмудика, собравшегося мстить доктору за поверженного гулям-эмира.

«Не-ет!» — смеется луна.

В крике и смехе тонет сухой щелчок бойка. Потом щелчки следуют один за другим: запинается оружие Махмудика, не срабатывает пистолет Карена, дает осечку «барс»-автомат возникшего в дверях громилы-телохранителя, который и не думал стрелять в руку — в голову бил, наповал... бил, да не добил, ублюдок!

Еще щелчок — это припоздавший Усмар пытался снять телохранителя. С тем же результатом. Новый удар бойка по капсюлю, хриплые ругательства, лязгают затворы — и в дверях объявляется бородатый Равиль с пятнадцатизарядным «гасаном». Движется бородач удивительным способом — напряженно, спотыкаясь и неестественно выпрямив спину, видимо, потому, что позади ар-Рави тяжело переваливается хайль-баши Фаршедвард, не отнимающий ствола своей пушки от затылка бородача.

Все происходящее дико напоминает сюжет кабирской сказки «Замри или исчезни»: злой бай прилип к волшебному гусю, жрец-мобед — к баю, вероломная красавица — к жрецу...

Разве что клювастые пистолеты все же не до конца напоминают волшебных гусей.

Коротышка-доктор изумленно оборачивается и имеет удовольствие лицезреть все это столпотворение. Испуганное недоумение не украшает его лица.

Правда, стриженая бородка без усов, на взгляд Карена, его тоже не украшает.

— Идиоты! — хрипит с аллеи Гюрзец. — Кретины! Оно не стреляет!.. Только у этого... перевяжите же меня, шайтан вас раздери, кровью ведь истеку!

Карен приходит в себя первым и, пряча бесполезный пистолет, ныряет обратно в холл. Боковым зрением он еще успевает заметить Ниру-Сколопендру, стоящую чуть поодаль на обочине аллеи, — и отставному висак-баши остается только догадываться, что здесь недавно произошло.

Медицинская часть!

Извилистый кишечник коридора: налево, направо, снова налево, наконец матовая застекленная мембрана в конце небольшого «аппендикса».

За дверью — голоса.

— Нет, ты погоди, Руинтанчик, ты послушай... вот ты, к примеру, меня уважаешь? А если уважаешь — слушай дальше!

— Исик, я тебя не просто ув-важаю... я т-тебя облажаю... в смысле, обожаю!.. т-только давай сначала еще по черпачку — и б-буду слушать в оба... в полтора уха. Чес-сно буду!

— По черпачку? Всего по одному?! Обижаешь...

Резкий запах спирта, захлебывающееся бульканье.

За лабораторным столиком вольготно расположился корноухий Руинтан-аракчи в приятном обществе надима Исфизара! Оба лоснящиеся, раскрасневшиеся, преизрядно поддатые. И явно собирающиеся «догоняться» дальше.

Литровой бутыли с медицинским спиртом, стоявшей на столике, должно было вполне хватить, чтобы догнать, догнаться и перегнать — за кем бы ни велась эта погоня. Тем более что в качестве закуски у новоявленных собутыльников имелись лишь несколько тоненьких ломтиков хлеба и одна конфета.

Вялая рахат-лукумина в фольге.

Коптящий в углу стола огарочек счесть закуской было трудновато.

— А, Карен! — громогласно обрадовался Руинтан, таинственным способом опознавший гостя, сидя к последнему спиной. — Давай к нам, егерь! Мектеб у них — рай, и только! Спирта — навалом! Исик меня уже обещал к ним зачислить, в шестой класс, на полное довольствие!

— В седьмой, — икает расщедрившийся Исик, наскоро черкая в каких-то бумагах. — Гороскоп лично составлю. Ты вот, Каренчик, Скорпион Скорпионом, а Руинтана я Девой сделаю. Или лучше этим... Змееносцем. Спорим, сделаю?!

— Спасибо, мужики. — Бывший егерь, по уши забравшись в настенный шкафчик, споро собирал все необходимое: бинты (обычные и прорезиненные), вату, йод... — Я бы с удовольствием, только тут Гюр... господина гулям-эмира ранили, перевязать

надо. Вот перевяжем, и с полным удовольствием! Оставьте мне чарку-другую!

— Кто ранил? — почти трезвым голосом интересуется надим Исфизар, бултыхая остатки спирта в своей пробирке.

— Да доктор Равилев... пальнул сдуру...

— Раз доктор, пусть теперь сам и лечит! — счастливо хихикает Руинтан. — Лекаря хреновы, как мне ухо пришивать, так дудки, а как гулям-эмира пристреливать, так тут как тут! Плюнь, Карен, садись с нами!

Уговоры показались висак-баши чрезвычайно соблазнительными. Стоило большого труда не поддаться и уж тем более не поддать в хорошей компании.

Увы — коридор, направо, налево, ковровая дорожка, холл, крыльцо...

Ранение оказалось тяжелым, но, похоже, не смертельным. Пуля прошла навылет через правый бок гулям-эмира, проделав в его крепком мускулистом теле два аккуратных отверстия. Крови натекло порядочно, но, кажется, ни один из важных органов задет не был.

«Печень ниже, легкие выше, кишечник вроде не зацепило, — мысленно прикидывал Карен, привычно обрабатывая раны антисептиком, накладывая тампоны, бинтуя и успевая отгонять желающих помочь. — Хотя Бог его знает, что оно там зацепило, чего не зацепило! Во всяком случае, раз Гюрзец до сих пор не загнулся, шанс выкарабкаться у него есть».

Остальные, включая громилу-телохранителя, стояли и молча смотрели, пытаясь не встречаться друг с другом взглядами. Пистолетов ни у кого видно не было.

Только бородатый Равиль нервно веселился.

— Ай да знахарек, ай да доктор! — похохатывал он, сияя пуще луны. — Тихоня тихоней, а гулям-эмирчика с одного выстрела уложил! Учитесь, ребята! — повернулся бородач к оставшемуся не у дел Махмудику, почему-то обращаясь к последнему во множественном числе. — У меня не то что телохранитель-пахлаван — любой докторишка сто очков вперед вам всем даст! Ну, Кадаль, ну ты даешь, круто ты его!..

Доктор Кадаль, у которого была расстегнута ширинка штанов (стрелял он оттуда, что ли?!), растерянно моргал и пытался поймать хоть чей-нибудь сочувствующий взгляд, но все от него отворачивались.

Заканчивающий перевязку Карен чувствовал это спиной.

Вроде Руинтана.

Потом отверженный обществом доктор заглянул Карену через плечо, увидел землистое лицо господина Ташварда, окро-

вавленные бинты, черную блестящую лужу — и, неразборчиво промямлив, устремился к ближайшим кустам.

«Поплохело герою», — с сочувствием и легкой брезгливостью подумал Карен.

Однако из кустов вскоре раздались отнюдь не рвотные звуки, а интенсивное журчание.

«Интересное дело! Вышел доктор во двор отлить — а тут господин Ташвард: «Ты что это, мол, зараза?! Мочишься не по уставу на казенном крыльце?!» И пришлось доктору господина Ташварда из пистолета застреливать, потому как иначе не дал бы бдительный гулям-эмир справить ему естественную нужду... А что? Сходится!»

Смущенный и все еще растерянный доктор вернулся, вертя в руках пистолет Ташварда.

Застегнуть ширинку он забыл.

— Доктор Кадаль, отдайте оружие, — потребовала вдруг молчавшая до сих пор Неистовая Зейри.

— Не отдам! — У мямли-доктора прорезался командирский тон. — Я никого не собираюсь... убивать (последнее слово далось Кадалю с явным трудом), но и пистолета не отдам! Идите вы все к Иблису!

И Неистовая Зейри поняла — не отдаст. Даже и спорить не стоит, тем более что к доктору демонстративно придвинулись бородатый Равиль и его телохранитель.

Теперь коротышка представлял собой силу. Его слушалось оружие — в отличие от остальных. А вопрос: «Почему?!» — не имел сейчас никакого значения.

На крыльце снова возник Фаршедвард Али-бей, отсутствия которого Карен поначалу не заметил; хайль-баши, словно перышко, нес перед собой инвалидное кресло с сидящей в нем бабушкой Бобовай. Гигант-мушериф осторожно сгрузил кресло на плитки аллеи, и старушка, бросив по сторонам цепкий оценивающий взгляд, довольно резво подкатила к стоявшей поодаль Сколопендре — за все это время девочка не сдвинулась с места.

— Отнесите меня в каптерку, — слабо простонал Гюрзец.

Карен махнул рукой Усмару с Махмудом: я, мол, свое дело сделал — перевязал, теперь ваша очередь! А сам как бы невзначай попятился и вскоре оказался рядом с Фаршедвардом и старухой. Здесь же околачивался и юный Валих Али-бей вместе с парочкой близнецов — его одногодков.

Махмуд с Усмаром, оценив диспозицию, молча подняли гулям-эмира и стали отходить к дверям; госпожа Коушут после минутного колебания присоединилась к ним, задержавшись лишь, чтобы подобрать что-то с земли.

Карен сомневался, что это просто камешек на память.

Хаким со своей подругой, на которых никто не обращал внимания, растерянно потоптались на месте и направились к троице

Кадаль — Равиль — телохранитель (если не считать дочки ар-Рави, не отходившей от отца и с испугом глядевшей на взрослых).

«Вот и разделились, — подумал Карен. — Карты сданы по-новому, самое время пойти с козырей!»

Гулямы с раненым Гюрзецом и госпожой Коушут исчезли в разинутой черной пасти мектеба. Через пару минут за ними последовала и команда Равиля.

— А мы здесь останемся, — заявила старуха. — На воле и дышится полегче.

«Пока», — мысленно добавил отставной висак-баши.

Безумие подступающего Ноуруза набирало силу. Портовые тросы нервов натянулись до предела у всех — и у кого-то они должны были не выдержать.

Скоро.

Очень скоро.

ГЛАВА 16

САМОУБИЙЦА

Догорает свеча,
что-то тихо шепча
молчаливой
громаде
меча.

Кора кизила приятно холодила изъязвленное тело, небо было сумасшедшим, таким же, как и я, оно играло с солнцем в прятки; и смерть вдруг показалась не сияющей избавительницей от тягостной каторги, а страшным призраком в мантии из ржавых колец.

Сутки-трое безвременья сделали свое дело.

Какая-то память бродила во мне, тайно, подспудно, как бродит виноградный сок в темнице глиняных стен или как бродят под луной в блаженном ничегонеделании, забыв о грядущем рассвете и о том, что последнее слово еще не сказано и даже не задумано...

Ей, памяти-насмешнице, вольготно бродить! Она не лежала, завернутая в потрепанный лоулезский штандарт, не валялась мертвым грузом в кустарнике, называя это свободой... А что же это, если не свобода, после бесконечного прозябания в хрустальном гробу? Свобода копаться в обрывках воспоминаний, укутавшись в прах былого (и шелковые кисти савана трепещут на ветру!), свобода ждать возвращения Той, что слушается Братьев, и вместе с ней — самих Братьев, сумевших раствориться, выжить

в этом мире, отвергнувшем нас и оставившем нам, Блистающим (помню!.. помню...), лишь тюрьмы и богадельни.

И сейчас: я жду, зажат в раздвоенном кизиле, словно в пыточной рогульке для публичных казней — было и такое, один из обрывков испещрен страшными письменами... Они казнили нас вместе, на площадях, и последний стон существа из плоти и крови сливался с дребезжащим скрежетом одного из подобных мне. Было! — но не сейчас. Я жду, а она, Та, что слушается Братьев, стоит рядом со своими соплеменниками и молчит. О, она носила меня на руках, и хотя никогда в жизни женщины, не говоря о детях, не служили моей семье, семье двуручных эспадонов Лоулеза, — я, словно новорожденный, млел от прикосновения ее рук, не равнодушных и холодных пальцев тюремщиков, а настоящих теплых рук, способных закружить меня в танце...

Нет.

Не способных.

Братьям хорошо, они маленькие... И все равно — спасибо.

Кизиловая кора подбрасывает еще один клочок памяти: недавний, совсем недавний, и от свежести этого воспоминания меня обдает ледяным ветром, словно пылающий горн материкузницы Нюринги остыл давным-давно.

Он хотел убить ее, ублюдок, сын ублюдка!.. Он протянул к ее голове металлическую тварь, ядовитую гадину, и только Небесным Молотам известно, почему тварь отказалась жалить.

Дважды.

Первыми опасность почувствовали Братья. Он двигался быстро, как подобает опытному бойцу, но Братья все равно заметили бы его раньше, если бы не провожали меня в последний путь по старому обряду. Ритуальное самоубийство с помощью ближайших друзей требует полного сосредоточения, молчание в тысячу раз значительнее слов — и перейти от порога смерти, где мы уже стояли все вместе, обратно к жизни, куда они должны были вернуться без меня, а пришлось возвращаться всем... К счастью, они не опоздали; а я — я ловил на клинок лунный свет, сверкая от ненависти и бессилия, сдиравших с меня ржавчину веков.

О, как бы повернулся я, окажись на месте Братьев; и окажись вдобавок на месте Той, что слушается Их, кто-нибудь из моих прежних спутников, я повернулся бы, насмешливо присвистнув, надвое, по черте кожаного пояса на талии мерзавца, и пока еще он стоит, не зная, что из одного живого стал двумя мертвыми, — наискось, от плеча до паха, одним яростным высверком, молнией, которую не способны запятнать брызги крови, слетающие с лезвия!

Мечты, мечты... утешение сумасшедшего старика.

Ядовитую гадину, отказавшуюся жалить, с омерзением

швырнули к крыльцу, и я машинально косился в ее сторону. Таких не было в мое время, даже похожих не было, тогда они выглядели громоздкими и неуклюжими, мы смеялись над ними, похожими на муравьев или древесных палочников — не внешним видом, нет, насекомость Плюющихся крылась скорее в их способе мышления: рой, улей, однозначное распределение ролей, ядовитость, отсутствие даже намека на возможность Беседы... Мы смеялись, забыв, что хорошо смеются оставшиеся.

Остались они, Плюющиеся.

Такие, как тот (та?.. то?!), у крыльца.

Впрочем, Братья успели вовремя. Мерзавец, норовивший убить исподтишка, оказался на редкость понятливым: он стоял, демонстрируя крайнее миролюбие — последнее, что ему оставалось, потому что любой бросок в сторону Той, что слушается Братьев, стал бы последним в его дрянной жизни, которую и жизнью-то назвать совестно. Потом он напоролся на жало собственной твари, выброшенной хозяином и безропотно подчинившейся хозяину новому, а я не стал задумываться: почему тварь отказалась кусать в первом случае и согласилась во втором?

Какая разница?

На то она и тварь...

* * *

Ночь.

Безумная ночь... Моя сестра.

Та, что слушается Братьев, молчит; молчат остальные, лишь изредка обмениваясь короткими, совершенно непонятными для меня репликами. Я приглядываюсь к ним, к Придаткам, которые сами себя называют людьми (помню!.. помню...); я лениво размышляю о том, кто бы из них мог составить мне компанию, если бы я... Пожалуй, вон тот гигант с круглым, как луна, лицом. Тяжеловат, но мощен; год работы — и я бы вытянул из него необходимую скорость, а силы ему и так не занимать. Второй кандидат — вон, между гигантом и калекой в кресле, — тоже подошел бы, но там пришлось бы снимать излишнюю порывистость: ишь, гарцует, словно норовистый рысак, с ноги на ногу, с ноги на ногу, а я — тяжелый, со мной гарцевать не с руки, со мной течь надо, плавно, лишь изредка взрываясь на перекатах фонтаном стальных брызг...

Опомнись!

О чем ты думаешь, старик?!

О чем?.. Об ударе, одном-единственном, который сломает меня пополам, прежде дав снова ощутить себя живым.

Вот о чем.

Второй, рысак, подходит к кизилу и усаживается прямо на землю. Я торчу у него над плечом, острием едва не касаясь уха — молодец, не боится дернуться и напороться, видать, нечасто дергается, хоть и горяч! Разложив на траве промасленную тряпочку, рысак лезет за пазуху и достает... точно такую же ядовитую гадину, какая отказалась жалить Ту, что слушается Братьев, взамен бросив на гравий собственного владельца.

Я еле сдерживаюсь, чтоб не вздрогнуть: слишком уж близко стриженый затылок.

Рысак кладет гадину на тряпочку и долго смотрит на нее. Потом вновь поднимает и начинает разбирать на части. Быстро и умело. Явно не в первый и не в сто первый раз.

Я наблюдаю.

Мне кажется, что еще миг — и я пойму, чем же мы отличаемся друг от друга. Должно быть главное отличие, не может не быть! Растет на тряпочке горка маслянисто поблескивающих сегментов и чешуек, из желудка высыпается пригоршня одинаковых маленьких жал... твари больше нет. Есть железо, бессмысленное и бесполезное.

Может, суть кроется в том, что у Плюющихся есть тело и нет души?

Я думаю.

Это трудно и болезненно — за века богадельни я отвык думать.

Меня тоже можно... но не так! В лучшем случае: свинтить яблоко рукояти, аккуратно снять накладки, заменить крестовину (последнее неприятно, но если потерпеть...), но при этом я всегда останусь самим собой, прежним, двуручным эспадоном; основа моей личности и стержень моего тела — кованый клинок — не подлежат расчленению! Может, в этом суть? Может, Плюющиеся не чувствуют боли, никогда, ни при каких обстоятельствах?! Я морщусь в замешательстве, и лунное молоко рябью бежит по мне: что ж это за существа, которым не бывает больно? Которых можно превратить в мертвую груду металла и через миг или через час возродить заново?!

А рысак продолжает разглядывать каждый сегмент тела Плюющегося, после чего ловко приставляет одно к другому, тихо клацает сочленениями — и вот у него в руках прежняя тварь, готовая в любую минуту укусить без размышления.

Или я предвзят?.. Просто не в силах понять, догадаться, сложить сегмент к сегменту...

Возможно.

Только мне поздно меняться.

Кизиловая кора приятно холодит мое изъязвленное тело, и глухая, старческая дремота охватывает старика, которого когда-то звали Гвенилем.

Помню... было...

ГЛАВА 17

«ГОРНЫЙ ОРЕЛ»

На сцену,
времен полномочный посол,
выходит
секундная стрелка часов.

Проклятый мектеб! Приют для психов! Какой придурок уговорил меня отдать сюда дочку, мою любимую, мою единственную Сунджан, утешение моих очей, усладу отцовского сердца?.. Ну и что, что это была моя идея?! Откуда ж я знал?! Тут и самому с катушек съехать недолго, в такой-то компании! Если, конечно, не передохнем раньше, как тараканы, от жары, голода и большого ума. Натурально, «Звездный час»! Все звезднее и звезднее... и час от часу не легче. Вдобавок сигары кончились. Одна вот осталась. Огрызок, не сигара. И воняет похабно. Девка еще эта шизанутая, надим припадочный... Зря ему хайль-баши яйца тогда не оторвал, еще в зале! Я б на его месте оторвал, побрил у надима на глазах, поджарил в оливковом масле да еще бы съесть заставил!.. Или сам бы лучше съел.

Жрать хочется — сил нет!

Большой Равиль был не просто зол — злиться ему в этой жизни случалось, выпадала такая карта, хотя и нечасто. Однако злость шейха всегда находила выход: кому-то вправляли мозги, кого-то увозили на кладбище, и ар-Рави снова обретал привычное чувство душевного равновесия.

Зар-раза, он даже не мог припомнить ни одного случая из жизни, когда бы у него кончились сигары!

А сейчас шейх «Аламута» был растерян. Колоннами свергаемого храма рушились незыблемые ценности и ориентиры: сила, власть, связи... Рушился привычный мир, где не отводилось места призрачным стенам, безумным астрологам-звездочетам, запредельным видениям, девочкам, на которых держится Мироздание, и потусторонним силам, которые нельзя запугать, подкупить или просто стереть в порошок!

Хотя нет — отводилось, отводилось им, родимым, место, еще как отводилось!..

Психи должны сидеть в дурдоме! А заряженный пистолет обязан стрелять, когда ты нажимаешь на спуск! И жизнью должны заправлять уважаемые люди, вроде него, Равиля ар-Рави; ну в крайнем случае вместе с мушерифскими начальниками типа хайль-баши Али-бея (хищники всегда договорятся между собой, а если и погрызутся, так на то они и хищники!) — но уж никак не

имеет права вставать на дороге заправил Иблисова дюжина гореастрологов!

С нашего неба никто звезд не хватает!

Вернее, не должен хватать... А еще вернее — не хватал.

Раньше.

«Вот и доуправлялись, господа хищнички! — горько усмехнулся шейх в бороду. — Доумничались, прозевали, прохлопали ушами! Поди теперь найди общий язык с пеленой тумана и взбесившимися часами — извините, уважаемые, сколько динаров хотите за услуги? Ах, вы динарами не берете, вам иное подавай... Что? Души оптом и в розницу, человеческие жертвы на разлив, вшивую подачку милосердия или другой какой хреноменечки?

Чего изволите?»

Впрочем, умный человек должен находить выход из любой ситуации. Даже из такой бредовой, как эта, где сверху метровыми буквами сияет надпись: «Выхода нет».

Кому нет, а кому и сыщется в углу неприметная дверца, затянутая паутиной...

Большой Равиль считал себя умным человеком — и, с определенной точки зрения, он был прав.

Правила игры изменились? Козырь бьется безмастной шушерой, выпавшая на грани костей-кубиков шестерка стоит в шесть раз меньше единицы, и горошина скрывается одновременно под всеми тремя наперстками? Засучим рукава, господа мои, сыграем по новым правилам! Одни люди усиленно спасают мир, другие только и делают, что зарабатывают деньги, — но и те, и другие не правы! Почему бы и не облагодетельствовать Человечество, если за это хорошо заплатят?!

Ладно. Что мы имеем с павлина? А имеем мы тот нелицеприятный факт, что павлиний хвост разделился на три примерно равноценных куска: гулямы с администраторшей (раненый гулям-эмир не в счет!), еще один гулям-отступник, хайль-баши и странная девчонка (бабка, аракчи и малышня не в счет!) — и он сам, шейх «Аламута», с верным Альборзом, знахарьком и любвеобильной парочкой хаким — Лейла (плюс дочка, Сунджан, сокровище семьи!). В случае конфликта парочку можно смело сбрасывать со счетов — зато доктор...

Уж от кого, от кого, а от Кадаля не ожидал! Чтобы курица, несущая золотые яйца, закогтила матерого коршуна, да еще один на один, без подручных?! И тем не менее результат налицо: у знахарька пистолеты стреляют, чего не скажешь про остальных! И при этом знахарек на его, Равиля, стороне! Так что доктор теперь сам — оружие. Не самое лучшее, бывает, что и сбоит, но у других-то и такого нет!

Это, вне сомнений, отрадно.

Как отсюда выбраться — вопрос, конечно, еще тот, не вопрос, а кол в бок, и к нему мы еще вернемся. Грохнуть девчонку,

как предлагал этот припадочный надим? Бред! Хотя покажите мне, что здесь не бред? Ладно, если надо будет, грохнем. Пока еще не загибаемся, можно и поковыряться в поисках дверцы за паутиной. Вон, двое яйцеголовых в команде — пусть думают!

Убивать кого-либо без крайней необходимости Равиль, надо отдать ему должное, не любил. Тем паче ровесницу собственной дочери, пусть даже и без султана в голове. Шейх был достаточно жесток, чтобы стать тем, кем стал, и продержаться в этом качестве до сегодняшнего дня, но искренне считал, что жестокость должна быть целесообразной.

Или хотя бы рентабельной. Вон, шейх Дхритараштра из Хаффской Семьи — собственные родичи отравили беднягу, не дожидаясь, пока бедняга сам накормит их порцией редкой отравы из большого желания полюбоваться предсмертными корчами и поразмышлять над эстетикой смерти.

Нет, приглашать лишнюю смерть в злополучный мектеб мы без особой нужды не станем.

А вот выяснить у знахарька, как он управляется со стволом, когда у всех остальных пушки только и делают, что дают осечки, — это можно прямо сейчас, не откладывая в долгий сундук!

* * *

Больше получаса они с Альборзом подробно инструктировали Кадаля, как ставить пистолет на предохранитель и снова приводить в боевую готовность, как перезаряжать, целиться, плавно нажимать на спуск, затаив дыхание... При этом Альборз-пахлаван косился на доктора с нескрываемой ревностью: неужели ему, верному псу Альборзу, хозяин дает отставку, а место пахлавана займет сморчок-неумеха, годный лишь на ковыряние в чужих задницах с мозгами?! Однако слово шейха — закон, и Альборз скрепя сердце честно старался обучить новичка всему, что было возможно за столь короткий срок, а под финал «краткого курса молодого орла» даже расщедрился — не дожидаясь команды, выделил доктору дюжину патронов из своих запасов (благо патроны для «барса» и «гюрзы» шли одни и те же).

Кадаль слушал вроде бы внимательно, в меру коряво воспроизводил показанное, кивал в надлежащих местах, и в конце концов «учителя» махнули рукой: для первого раза достаточно, а превратить знахарька в профессионала-пахлавана за пару часов (или даже дней!) все равно не удастся.

Тем не менее от Равиля не ускользнуло, что, механически повторяя движения Альборза, Кадаль явно думает о своем.

— О чем задумался, доктор? — поинтересовался шейх с напускным весельем. — Небось когда в гулям-эмира стрелял, думать некогда было!

— Да как сказать... — Доктор рассеянно вертел в руках поставленное на предохранитель оружие. — Кажется, я начинаю понимать...

— Почему у тебя получилось, а у других нет? — чуть подался вперед ар-Рави, безуспешно пытаясь скрыть крайнюю заинтересованность.

— И это тоже. — Доктор смотрел мимо своего атабека, разговаривая словно бы сам с собой. — Хотя причина гораздо важнее следствия, а вам всем на причины, мягко выражаясь...

— Так в чем же причина? Давай, знахарек, делись с друзьями! Скрытность не украшает мужчину!

— Равиль, кончай трепаться и ответь мне положа руку на сердце: тебя больше интересует способ выбраться из западни или устройство самой западни?

— Ну...

— Дирхемы гну! Пальцами! — Никогда раньше Кадаль не разговаривал с Большим Равилем в подобном тоне. — А если я тебе скажу, что устройство западни во сто крат важнее способа ее покинуть; более того, они связаны между собой теснейшим образом!

— Я весь внимание! Альборз, прекрати пыхтеть — не видишь, доктор думает!

Сейчас Большой Равиль готов был с тщанием выслушать любой бред, рыться в любой куче любого дерьма, если только из дурно пахнущей кучи можно будет извлечь рациональное зерно — как снова заставить оружие стрелять! Обстановка в мектебе накалялась со скоростью экспресса, страсти сгущались быстрее, чем духота в воздухе, и подобное знание было жизненно важным.

Даже Альборз-пахлаван прекратил пыхтеть лишь наполовину в связи с приказом хозяина — вторая половина была вызвана усиленной мозговой деятельностью телохранителя.

Аж уши вспотели.

— Помнишь, атабек, я в «Розарии» рассказывал тебе о безумии Узиэля ит-Сафеда? О том, что он — не человек? А ты мне еще заявил: «Тоже мне: здоровый знахарь Кадаль и больной господин ит-Сафед...» Помнишь?!

Ар-Рави молча кивнул.

— Так вот, ты был прав, а я заблуждался! Это не ит-Сафед. Он совершенно ни при чем, и теперь я с уверенностью заявляю: глава совета «Масуда» — такой же человек, как и прочие. Дело не в Узиэле, а в корпорации «Масуд». Даже не в самой корпорации, а в оружии, которое она производит. Когда у меня произошел контакт с изображением ит-Сафеда на экране, я ощутил множественную шизофрению, по ряду симптомов не свойственную людям... Равиль, это действительно была нечеловеческая психика! Психика оружия! Я забыл, что на изображении в руках у Узиэ-

ля находился револьвер! Еще одно действующее лицо! Ты успеваешь следить за ходом моих мыслей?

Альборз-пахлаван украдкой покосился на хозяина и многозначительно покрутил пальцем у виска. Дескать, я, пахлаван из пахлаванов, вполне успеваю следить за ходом и так далее; и вот что я думаю по поводу вышеизложенного.

Жест телохранителя, однако, не ускользнул от Кадаля.

— В чем-то ты тоже прав, Альборз. Полагая, что имеешь в виду меня, на самом деле ты имел в виду суть происходящего. К сожалению, для тебя слово «имел» соотносится с узконаправленным действием, во время которого ты пыхтишь примерно так же, как сейчас. Но я все-таки надеюсь достучаться до ваших окаменевших мозгов и вышибить из них искру понимания: из тебя, Равиль, и из тебя, Рашид, Рашидик, друг детства, прикорнувший в углу и тщетно пытающийся забыться.

Из угла неопределенно хмыкнули — понять, что этим хотел сказать друг детства Рашидик, было решительно невозможно.

— Это муравейник, друзья мои. Гигантский муравейник, созданный нами, поселившимися в нем по собственной воле. Оружие, сходящее с конвейеров «Масуда», — это рабочие муравьи, муравьи-солдаты... а королева-матка — сам производственный комплекс. Единственная функция матки: размножение. По отдельности каждый пистолет или автомат — лишь безмозглый муравей с предельной специализацией поведения, клетка в огромном стальном организме... Равиль, помнишь, я говорил тебе об этом — миллионы микропсихик! Но вместе они составляют единый сверхорганизм, который обладает чем-то отдаленно напоминающим разум. Каждый пистолет, каждая винтовка — это часть Целого. И Целое неистово, всепоглощающе хочет умереть! Покончить с собой. Суицид как цель существования. Им пора вымереть, подобно тупиковой ветви эволюции... да, назовем это условно эволюцией! — им пора уйти в небытие, но сами они пока не могут, а мы не только не помогаем, но и мешаем изо всех сил! Тем паче что их централизованный уход, типа миграции леммингов, может привести к гибели все Человечество! Представляете последствия спонтанной самоликвидации армейского склада с боеприпасами для жителей ближайшего поселка?!

Кадаль замолчал и уставился в пол. Некоторое время по комнате бродила тишина, колебля пламя горящего на столе огарка свечи, бросая блики на лица собравшихся, играя краем занавески...

Тишине было страшно.

Их Превосходительство Страх снисходительно похлопывал тишину по плечу и вновь скрещивал на груди когтистые лапы.

— Доказательства, Кадаль? — наконец хрипло выдохнул из угла Рашид, однозначно демонстрируя свое бодрствование.

Рядом с хакимом тихо, почти беззвучно плакали на два голоса Лейла и Сунджан.

— Сколько угодно, Рашидик. Эпидемия самоубийств с применением огнестрельного оружия — слышал?

— Слышал. И ты сам понимаешь, что это слабый аргумент в пользу совершенно бредовой теории. С тем же успехом я могу предположить вмешательство зеленых психоников, прилетевших на гравичайнике с этой... Альфы Змееносца!

— На здоровье. Передавай зеленым привет. И не забудь добавить, что почти всегда при акте суицида оружие взрывалось! Иногда потому, что самоубийца забивал ствол песком — зачем, кстати?! — а иногда и без всяких видимых причин.

— У меня двое корешей погибли, — неожиданно поддержал Кадаля телохранитель. — У них пушки прямо в руках взорвались, непонятно с чего. Песком забили? Им проще было бы в глаза себе песка насыпать! А еще тот гад, с «бастардом», в «Розарии»...

— По моим сведениям, из-за этой пакости и перемирие с хакасцами заключили, — буркнул Равиль, ковыряясь в бороде. — Оружие взрываться начало. И у тех, и у других. Вплоть до полевых орудий. Пару раз вроде даже танки сами заводились, без экипажа — и прямой наводкой...

— Спасибо, господа. — Кадаль с суеверным ужасом посмотрел на пистолет, который все еще держал в руках, и спрятал оружие в карман. — Спасибо за искренность. Вы сами сказали это. Оружие хочет умереть. Все, целиком. Целое. Весь организм. И аура тотального суицида прессом давит на психику людей, заставляя их почувствовать виском беспощадный холод ствола, вжимающегося все сильней в податливую кожу... Извините, я заговорился. Теперь это давит и на меня. Повторю еще раз: оружие хочет умереть, но ему мешают. Мешаем мы, люди! Большинство, которое отказывается забивать песком ствол и совать его себе в рот; те, кто чистит, смазывает, разбирает и собирает, проверяет исправность пистолетов и ружей, налаживает ракетные комплексы, ремонтирует танки и пушки... Эти люди всегда рядом, они продлевают агонию умирающего, и поэтому оружие может умереть только вместе с нами, людьми — со всем Человечеством. Мы существуем вместе — и вместе уйдем.

— Ну, допустим, ты прав. — Голос хакима предательски дрожал. — Но ПОЧЕМУ оно хочет умереть? И при чем тут катаклизм, происшедший с нами, — стена вокруг мектеба, девочка, от которой зависит новый год?

— Извини, Рашидик, я не Творец. Я даже не Иблис, а потому не могу знать всего. Тем не менее свобода воли при мне, и я могу

догадываться, строить предположения... Оружие мечтает о смерти, потому что все его существование — это непрекрашающаяся пытка! Оно... оно страдает, господа! Страдает изначально, с момента сотворения, неся на теле клеймо проклятия! ЕМУ БОЛЬНО СТРЕЛЯТЬ!!!

И снова — тишина. Ветер за окном с трудом ворочает вязкие пласты сгустившегося воздуха. Шепчутся деревья; призраки копошатся в кустах и изредка счастливо блеют. Чуть потрескивает догорающая свеча. Лица тонут в бархатных тенях, превращаясь в сумрачные маски ночных демонов.

Тишина вглядывается в лица и передергивается.

— Тогда — почему ОНО все же стреляет? И почему — не стреляет здесь? И почему тебе все же удалось?.. — Слова Равиля ар-Рави тяжелыми каплями падают в омут молчания, и от каждого «почему?» по воде медленно расходятся круги.

Когда круги достигают Кадаля, доктор вздрагивает как от пощечины и вновь начинает говорить:

— Это муравейник, Равиль. Я уже говорил. Муравейник, одержимый жаждой самоубийства, нутром чувствующий финал — но все еще работающий. Мы, люди, заставляем его функционировать. А здесь... то оружие, которое попало на территорию мектеба, оказалось в положении муравьев, отрезанных от родного муравейника. Части, насильно отсеченные от Целого. Мы гораздо проще переживаем изолированность — и то, посмотри на нас... Теперь муравьи — сами по себе, смысл жизни исчез, и они перестали выполнять программную функцию! Люди принуждали работать Целое, через него воздействуя на части. Здесь этот механизм дал сбой — и пистолеты перестали слушаться. Ну а я... случай, совпадение обстоятельств, называй как хочешь! — я вошел в психический контакт с оружием! Словно с очередным наркоманом или шизофреником, чью фотографию мне подсунули; и ради всего святого, атабек, не начинай мне пенять, что я вновь кого-то вылечил бесплатно! Я соединился не с Целым, а лишь с исчезающе малой его частью — потерянной, несчастной, одинокой; я попытался помочь ей... ему — как помогал до этого больным людям! В результате я стал для него Целым. Он выстрелил, защищая меня. Он знал, что ему будет очень больно, что часть его при выстреле погибнет (полагаю, это в определенном смысле напоминает аборт или выкидыш!), но другого выхода не оставалось. Он не мог снова потерять Целое и оказаться в одиночестве — и муравей укусил, подобно пчеле вырывая с жалом часть брюшка... Ради меня.

Доктор Кадаль увлекся и не заметил, как Большой Равиль подал Альборзу какой-то знак. Доктор еще говорил — а телохранитель, с неожиданной для его комплекции легкостью и быстро-

той, уже скользил к Кадалю через комнату. Заподозривший неладное Рашид предупреждающе крикнул — поздно, крик пропал втуне. Обманчиво небрежный, но при этом ювелирно точный удар швырнул доктора на пол, и Альборз-пахлаван грозно завис над Кадалем, не спеша доставая нож из потайных ножен.

На лице Кадаля, скрытом от Рашида и Лейлы, зато прекрасно видном Альборзу и Равилю, вкрадчиво приблизившемуся сбоку, возникло удивленно-обиженное выражение — и лезвие ножа, поймав блик свечи, сверкнуло прямо в глаза золотой Равилевой курице. Лицо доктора Кадаля почти мгновенно затвердело, встопорщившись проволокой бородки, и правая рука метнулась к внутреннему карману, зажив на миг собственной жизнью.

Дальше все происходило очень быстро.

Даже профессионал-телохранитель не успел заметить, в какой момент в руке Кадаля возник пистолет и когда доктор успел снять «гюрзу» с предохранителя. Черный зрачок уставился Альборзу точно в лоб — и Кадаль лишь на долю секунды замешкался, прежде чем нажать на спуск.

Ничтожно малый отрезок времени, миг изумления человека, понимающего, что приручил тарантула.

Но этой доли секунды хватило шейху Равилю, чтобы пнуть доктора ботинком в предплечье. Оглушительно шарахнул выстрел, пуля с визгом вошла в стену, отколов кусок штукатурки. Пронзительно завизжала Лейла; Сунджан же, напротив, зажала рот обеими ладонями.

Альборз-пахлаван попятился, невольно ощупывая свои обгоревшие волосы.

Опоздай шейх...

— Все в порядке, доктор, — принужденно рассмеялся Равиль, излучая дружелюбие в опасной для здоровья концентрации. — Это была проверка. Всего лишь маленький эксперимент. Извини, дружище: я должен был убедиться, действительно ли оружие слушается тебя — или произошла случайность, а твоя стройная теория никоим образом не соотносится с суровыми буднями. Не сердись...

Равиль все говорил и говорил, а доктор Кадаль смотрел на своего атабека остановившимся взглядом и отнюдь не спешил убирать пистолет. Ствол «гюрзы» не был направлен ни на кого конкретно, но и Равиль, и Альборз прекрасно понимали: при любом неосторожном движении они почти наверняка схлопочут пулю.

И на этот раз никто не успеет сбить доктору прицел.

Потому что теперь сбить прицел было равносильно попытке смахнуть в сторону хвост напрягшегося скорпиона.

Доктор Кадаль медленно поднялся на ноги, сделал два шага вперед — и оказался возле стола.

Свечной огарок, треща и искря, самоотверженно пытался бороться с наступающим со всех сторон мраком.

Стеклянными пуговицами, сверкавшими в глазницах, существо по имени Кадаль окинуло жавшиеся по углам комнаты темные фигуры — даже Лейла наконец перестала визжать и с ужасом следила за действиями доктора.

— Папа, а дядя Кадаль нас не убьет? — тихонько спросила Сунджан, прячась за безмолвного хакима.

— Да что ты, детка! — как можно увереннее ответил Равиль. — Дядя Кадаль сейчас успокоится, и все станет на свои места...

Было видно, что шейх дорого заплатил бы за правоту последних слов.

Словно в подтверждение сказанного, Кадаль придвинул упавший стул, уселся за стол и положил наконец «гюрзу» на полированную крышку. Замер на мгновение — и вдруг мягкие руки доктора, знавшие о мозолях только понаслышке, с немыслимой скоростью замелькали над оружием, разбирая пистолет на части. Секунды сменяли одна другую — и вот жирно отблескивающие маслом детали аккуратно лежат на столе, а над ними окаменел доктор с никаким лицом.

С лицом насекомого.

Потом Кадаль лезет в боковой карман пиджака, достает оттуда пузатенький желтый патрон, не спеша досылает его в обойму — и вот уже его руки снова вихрем летают над столом. Миг, другой, третий — доктор Кадаль лихо передергивает затвор собранного пистолета, еще раз обводит взглядом всех, ставит оружие на предохранитель и прячет обратно во внутренний карман.

— Что?! Что тут было?!

Равиль чуть не подавился изумлением; вторая порция чудес оказалась вконец переперченной.

Потому что напротив атабека за столом сидел прежний знахарек: взволнованный, немного растерянный рохля — сидел и опасливо косился на Альборза-пахлавана.

— Я ничего не натворил? Равиль, только не ври мне — ничего?!

— Ничего, доктор, все в порядке! — Лишь теперь Большой Равиль позволил себе вздохнуть с облегчением. — Проверка завершилась более чем успешно! И, ты знаешь... теперь я поверю любому твоему заявлению! Вот скажи: ты, Равиль, на самом деле баба, а та штука, что у тебя в брюках, сделана из пористой резины — поверю! Клянусь Иблисовой дюжиной — поверю!

— Мы... я стрелял в него! — Кадаль дрогнувшей рукой указывает на ухмыляющегося Альборза.

— Стрелял, знахарек. Ох и стрелял... А потом за десять секунд разобрал-собрал пистолет, даже не глядя!

— Мой ученик! — гордо выпячивает грудь телохранитель.

Тут Рашид не выдерживает, и комнату сотрясает его истерический смех. Хаким понимает, что это глупо, неприлично и стыдно, но любая попытка совладать с собой вызывает новый пароксизм хохота.

В двери возникает чья-то смутная фигура, и строгий голос госпожи Коушут осведомляется:

— Что тут у вас происходит?

— Да так, крошка, в стрельбе практикуемся! — беззаботно машет рукой Большой Равиль и вдруг тоже начинает смеяться.

Здесь ведь не нервы нужны — портовые тросы!..

* * *

— ...Ты в порядке, Рашидик? Ладно, ладно, успокойся... Нет, ты не прав: все-таки насчет оружия я могу утверждать с большой долей вероятности. Я был ТАМ, в этом муравейнике! Что же касается остального... могу только предполагать. Помнишь, что нам вещал уважаемый надим Исфизар? Творец и прах земной, упрямый Иблис, связь рода людского с субъективным и объективным пространством-временем, концентраторы, эксперименты... Вот я и подумал: Творцу зачем-то позарез понадобились мы, люди, если Он взялся нас лепить, а потом не стер в порошок. Хорошо, пусть будет не Творец, а Мироздание, Демиург, Высший Разум, которому необходимо Человечество... Кто угодно. Потому что без нас, людей, если мы действительно являемся носителями пространства-времени, Вселенная разладится, измерения смешаются в коктейль, и весь мир полетит в тартарары... Не перебивай! Дай закончить. Я не утверждаю, что все обстоит именно так, — это лишь мои (да, собственно, даже и не мои!) предположения. Но, исходя из этой посылки, получается, что Мирозданию (Творцу, Демиургу) никак нельзя допустить нашей гибели — гибели Человечества. (На отдельных людей Ему, извините, плевать!) А если оружию, которое на данной стадии прогресса уже получило имя «оружия массового уничтожения», все же удастся покончить с собой, то оно неизбежно потянет нас следом! Подругому не получится. И здесь мы подходим к девочке. Допустим, она — воплощение всего следующего года. Если ее... убить — в ее лице мы убьем весь будущий год! Года не будет! Может, Мирозданию зачем-то очень нужен этот несуществующий год? За год может произойти многое... И не спрашивайте меня — что именно! Я не знаю. Не знаю я! Но то, что мы все собрались здесь, то, что с нами происходит, — не случайность. Я чувствую некую предопределенность, ледяную руку Судьбы,

которая исподволь направляет нас. Сны, повторяющиеся ситуации, случайные совпадения... Судьба говорит: девочка должна умереть. Маленькая странная девочка. Значит, кто-то из нас должен стать убийцей. Орудием Судьбы. Но эта маленькая странная девочка совсем недавно спасла мне жизнь. Я не герой, не богоборец, мне никогда не был понятен пафос трагедии, как жизнеутверждающее начало борьбы героя с судьбой...

Доктор Кадаль помолчал и твердо закончил:

— Это смешно и кощунственно, но только сейчас я начинаю понимать Иблиса. Не принимать — понимать. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы эта маленькая странная девочка осталась в живых.

ГЛАВА 18

ХАКИМ

Отвечаю палачу:
— Я не плачу.
Я плачу.

В отдалении пылал небольшой костерок, возле которого сновали тени — нет, люди у костра не двигались, но игра пламенных языков создавала впечатление беспрерывной кутерьмы, суматохи, волнения...

И еще одно пламя вылизывало ночь в двадцати шагах от первого.

Второй костер.

«Устроились, — с удивившим его самого раздражением подумал Рашид, хмуро изучая игру теней. — Костры, луна... пикник. Каникулы, однако...»

Отголоски истерики еще бродили в хакиме, затихая с большой неохотой, и было противно думать о том, что он, аль-Шинби, стал похож на Улиткины Рожки — только на прошлые Улиткины Рожки, а не на того монументального надима, каким был Исфизар на кафедре.

Однако при любых обстоятельствах оставаться в одной комнате с Кадалем и его криминальными приятелями Рашид не мог.

После всего, что случилось...

За спиной послышались шаги. Лейла... посетите меня в моем одиночестве... «Господи, — взмолился Рашид, чувствуя затылком робкое дыхание девушки, — Творец-с-сотней имен, клянусь чем угодно: выберемся отсюда, я первым же делом женюсь на ней! Ребенка родим... девочку. Господи, ведь все, по горло, под завязку — сколько ж можно?!»

Данный обет странным образом успокоил хакима, словно

обещание зарегистрировать у сепахдар-факиха[1] брак с Лейлой могло каким-то образом помочь выбраться из западни.

— Хаким Рашид... пожалуйста, пойдемте к костру. Смотрите — вон Валих с близняшками...

Сунджан, увязавшаяся за своей взрослой подругой, просительно тронула Рашида за рукав.

— Пошли, а?

Это Лейла. Ну что ж, пошли... Вы правы, девочки, — все лучше, чем торчать на крыльце и есть себя поедом.

* * *

— А он им ка-ак даст! Раз — голова наземь, два — руку отрубил, два с половиной — насквозь проткнул! Они бежать, а он следом и все рубит, рубит...

Все было ясно. Валих Али-бей увлеченно пересказывал близняшкам бар-Ханани последнюю серию бесконечной эпопеи Чэна-в-Перчатке.

— А тут сбоку подлетает Фальгрим и давай полосовать! Крутит восьмерку и ревет на всю степь: «Не воздам Творцу хулою!..» А двуручник его, эспадрон, так и свищет!

— Эспадон, — машинально поправил хаким, скосившись в сторону первого костра, где сидел хайль-баши в компании старухи, девчонки и новенького гуляма.

Нет, краденого меча отсюда видно не было.

«А вдруг сломала?» — Рашид поразился спокойствию, с которым он воспринял эту мысль.

— Что?

— Эспадон, говорю. Эспадрон — это сабля такая, а лоулезский двуручник — это эспадон. Без «р». И восьмерки им не крутят — тяжел больно. Придурки твой сериал снимали, парень. И знаешь, кто самый главный придурок?

— Кто, хаким Рашид?

— Вот-вот, именно хаким Рашид. В самую точку попал.

Шестиклассник Валих — худенький, жилистый мальчишка, совершенно непохожий на гиганта-дядю — озабоченно заморгал.

Молодому Али-бею было неясно, как воспринимать заявление хакима.

— Твой хаким принимал участие в съемках сериала «Чэн-в-Перчатке», — усмехнулась Лейла, глядя мимо покрасневшего аль-Шинби. — Можешь преисполниться гордости.

— Ну да? — не поверил мальчишка. — Кого ж вы там играли, хаким Рашид?

---

[1] Сепахдар-факих — окружной юрист, ведающий актами записи гражданского состояния.

Под пристальным взглядом детских глаз Рашид почувствовал себя неудобно. Самое время заявить, что играл самую главную роль... наиглавнейшую.

Порубленных врагов в госпиталь возил.

— Там в этих... в титрах написано, — подала голос Сунджан. — В конце, когда песню поют, так и написано: «Рашид аль-Шинби, магистр истории, консультант». Я однажды прочитала.

Разумеется, Валих Али-бей сроду не читал титров любимого сериала, но отстать от девчонки он не мог.

— А-а-а... ну да, конечно! Хаким Рашид, а почему вы никогда об этом не рассказывали?

— Не знаю, Валих. Стыдился, наверное.

— Чего?!

На лице Фаршедвардова племянника было отчетливо написано, что он, Валих Али-бей, доведись ему хоть краем прикоснуться к истории Чэна-в-Перчатке, уже трезвонил бы об этом замечательном факте на всех перекрестках.

— Чего? Пожалуй, того, что я хотел как лучше, а вышло как всегда. Жвачка. Ложь и бессмыслица. Действительно, тогда проще сунуть правду, подобно мечу, между стволами кизила и налечь всем телом...

— Как эта... Сколопендра, — добавила Сунджан.

— И пусть бы себе ломала, — безапелляционно заявил Валих. — Тоже мне, ценность: железяка ржавая! На любой свалке таких горы валяются!

— Горы? — прищурился Рашид. — Может, и горы... Только вот эта ржавая железяка скорей всего и есть тот самый эспадон Гвениль, которым твой Фальгрим в сериале рубился! Настоящий... или другой лоулезский двуручник. Поди покрути таким восьмерку! Зато волос на воде им и вправду рубили, было такое развлечение у лордов Лоула... И носили его не в ножнах за плечом, а просто на плече. Без ножен.

Валих недоверчиво наморщил лоб.

— Это как оглоблю, что ли? Ну, вы, хаким Рашид, и скажете! На спине его носили, чтоб рукоять из-за плеча высовывалась — и как только враги, так сразу, со свистом...

— Ты, парень, хоть раз бы попробовал задуматься: как его при эдакой длине из ножен выхватывать? Возьми швабру, проверь! Он же длиннее перехвата руки! Умники хреновы! Я им еще на съемках сто раз говорил, а они: нам лучше знать, что нужно массовому зрителю! Теперь вижу — действительно лучше!

— Здесь дети, Рашид, — предупредительно бросила Лейла.

— Дети! Везде дети! И все смотрят, как герой вырезает подчистую сотни, тысячи врагов, как они падают марионетками, не вызывающими ни сострадания, ни отвращения... Ничего! Что ж

удивляться, если ребенок вырастает, и слово «убить» связано теперь для него с механическим процессом, голым действием без привкуса страха и реальной смерти! Помнишь, Валих, полмесяца назад: я выхожу на крыльцо, а ты скачешь вокруг бар-Ханани и орешь благим матом: «Убить! Убить! Убить тошнотиков!» Помнишь?!

Фаршедвардов племянник отвел взгляд — с памятью у него проблем не было.

— Правда нужна, правда... как кровь толчком выхлестывается из раны, заливая тебе лицо, как рукоять меча срывает с ладони мозоль, и боль обжигает тебя, но воздух уже поет под клинком! Да, я сам ни разу не испытывал ничего подобного, но я хотел, я мечтал, а они — они никогда даже не задумывались, какая она, правда!

— Хаким Рашид, — хором вмешались близняшки бар-Ханани, — Хаким Рашид, а какая она, правда?

— Про Чэна-в-Перчатке, — добавил Валих, разглядывая собственную ладонь.

Словно мозоли от рукояти искал.

— Правда... не знаю. Но хотел бы знать. Или придумать.

— А ты придумай. — Лейла тронула хакима за плечо.

— Придумать? Что ж, давайте попробуем...

Рашид присел у костра и некоторое время глядел в сердцевину пламени.

— Мы встретились с харзийцем за угловой башней Аль-Кутуна, — слова рождались сами, словно их подсказывал кто-то, целую вечность дожидавшийся этого часа, заставляя голос наполняться чувственной хрипотцой, — в одном из тех грязных и узких переулков района Джаффар-ло, которые подобны нитям старого темляка — спутанным и лоснящимся.

— Харзиец? — не удержался молодой Али-бей. — Это который...

— Тихо! — одернули его хором Сунджан, близняшки и Лейла.

И Валих замолчал.

А Рашид аль-Шинби все говорил, все нанизывал бусины вымысла на нить души, и ему казалось, что совсем рядом, в темноте, стоит беловолосый гигант из снов и одобрительно улыбается, внимая рассказу... А там, за гигантом, толпится целая вереница теней, которые только и ждут своего часа, своей бусины, отдав власть над бывшим и небывшим ординарному хакиму мектеба «Звездный час», как отдают наследственный клинок.

Слова рождались сами.

В двадцати шагах от них, зажатый двумя стволами кизила, спал старый меч.

И видел хорошие сны.

ГЛАВА 19

НЕИСТОВАЯ ЗЕЙРИ

Можно сказать смело:
«Смерть —
не сметь!»
Посмела.

Наверное, все действительно предопределено заранее. Раз и навсегда, приговор окончательный, обжалованию не подлежит. А мы-то думали, что поймали за хвост птицу Рох, что наконец отыскали тайный ключик к Шкатулке Судьбы и теперь Госпожа Неотвратимость у нас в руках! Проще простого: инъекция безобидного снотворного маленькому Валиху — и в забытье впадает вся страна! Связь прямая и очевидная. Выводы? Как на ладони. Находить детей-концентраторов (при современной технике и разработках аль-Беруни это задача для младенца, при условии, что младенец является опытным программистом и снабжен необходимым фактическим материалом) — и создавать им соответствующие условия. Звездный час для всех! Рай на земле!

Звезды — у нас на службе.

Конечно, не обошлось и без издержек — но ведь мы серьезные люди, требовалась тщательная проверка, чтобы убедиться...

Убедились!

И решили, вот они — рычаги Вселенной! Радуйтесь: мы уже научились ими пользоваться! Мы сейчас, мы на подходе, мы то, мы се... Хаким-эмир поспешил доклад представить — куда надо; крикливый пролаза всегда знал безо всяких гороскопов, что куда и когда надо представлять! А на самом деле, как глупые дети, стали наугад тыкать в кнопки трясущимися пальцами — что получится?

Получилось.

Как загорелись у всех глаза, когда был составлен гороскоп этой маленькой дряни! Подумать только — сверхконцентратор в самом Дурбане, в столице, под боком! Все планеты — в одном доме! Змееносец расположен... ладно, замнем. Не неделя, не месяц — целый год в нашем распоряжении! За год мы смогли бы сделать столько...

А на самом деле мы оказались слепыми орудиями в руках Того, Кто создал эти рычаги; и Он просто дергал за ниточки — легко, незаметно, — подталкивая нас к одному Ему ведомой цели. И в сладостный миг триумфа, когда мы уже торжествовали победу, Судьба настигла нас, войдя следом за девчонкой во двор мектеба и закрыв за собой дверь.

На замок.

А ключ выбросила за решетку.

Что послужило первопричиной? Местоположение самого мектеба? Надвигающийся Ноуруз? Присутствие здесь других, пусть и не таких сильных концентраторов? Сама девчонка? Все вместе? Или неизвестный фактор, которого мы не учли, да и не могли учесть?

Случайно ли оказались тут все мы — не только дети?

Какие шайтаны приволокли в мектеб хайль-баши? Почему бабка увязалась вслед за правнучкой? Что намеревался делать хаким Рашид?! Откуда взялся вместе с хакимом бородатый бандит со своим громилой-телохранителем?!

Кто такой доктор, подстреливший господина Ташварда?!

Зейри Коушут не знала ответов на эти вопросы. Зато она знала другое: время для проволочек и рефлексирования вышло. Без остатка. Пришло время действовать.

Пока сгустившийся воздух не застрял в горле последним хрипом, пока жажда не превратила их в мумии, пока все окончательно не сошли с ума, пока маленькая мерзавка... змея... сколопендра не пустила в ход свои ножи.

О, господин Ташвард многое успел рассказать им, прежде чем провалиться в забытье горячечного бреда! Ворочаясь на лежанке, гулям-эмир насиловал собственное естество, держась до последнего слова. Они слушали, закусив губу.

Слушали правду.

И как эта бестия в очередной раз пыталась сломать музейную реликвию, и как гулям-эмир хотел помешать ей, и ЧТО оказалось у твари под шалью! Двенадцатилетняя девчонка разгуливает с десятком боевых метательных ножей! Дрянь, обладающая сноровкой профессионального убийцы! Только этого не хватало — когда все они заперты в коконе взбесившегося времени и окончательно свихнувшегося пространства!

Правда, очень хотелось верить, что — не окончательно...

Ну а добряк-доктор, не разобравшись, начал палить сдуру — и угодил в господина Ташварда.

Значит, и в этом виновата дрянная девчонка!

Недаром же всем здесь были схожие видения... Убить, убить подлую тварь! Теперь-то госпожа Коушут была уверена, что знает, к чему их подталкивает Судьба, Творец — или кто еще есть там, наверху? Одно дело — неосознанное следование воле высших сил, когда ты даже не догадываешься, Что или Кто тобой движет, и не видишь конечной цели. И совсем другое — прочесть наконец записи на огненных скрижалях, понять их, принять, ощутить сердцем — и исполнить предначертанное! Тогда из слепой марионетки ты превращаешься в сознательного и добровольного союзника Творца — а это уже совсем другое дело! Такой ролью можно гордиться...

Да и что принес бы стране год, сконцентрировавшийся в злобной твари?! Можно себе представить! Стереть, вычеркнуть

безумное время из жизни Человечества — тем более что именно так и предопределено Судьбой!..

Может ли человек отменить Судный день?

Однако гулям-эмир прав — даже если он сказал не всю правду или не совсем правду. Все равно девчонка — это вооруженный до зубов убийца, спрятавшийся под маской безобидного возраста! И первым делом надо вырвать ядовитые зубы, заставить ее отдать ножи! О, господин Ташвард оказался предусмотрительным... жаль — не до конца.

А там — посмотрим.

* * *

— Господин Али-бей!

— Да? — Хайль-баши всем телом повернулся на голос.

Неторопливо, с подчеркнутой ленцой.

Он был огромен и медлителен, этот скверно воспитанный мушериф, но огромным он был на самом деле, а медлительным лишь казался; и госпожа Коушут прекрасно понимала, что если дойдет до дела, то с двумя ее гулямами Фаршедвард управится в несколько секунд. Ее же оставит на закуску и, уж будьте уверены! — закусит, с отличным аппетитом, под стать телосложению. А сказать о гулям-эмире, о самой серьезной боевой единице, что он в данный момент не боеспособен, — означало не сказать ничего. Зейри видела, что господин Ташвард последние часы балансирует на грани небытия, отчаянно цепляясь за жизнь зубами. Зубы крошились, жизнь ускользала, но Ташвард отчаянно хотел жить, и он мог выжить — но раненому срочно требовалась квалифицированная медицинская помощь.

А для этого надо было...

— Господин Али-бей, я, как представительница администрации мектеба, требую, чтобы девочка сдала имеющееся у нее холодное оружие! С этими ножами за пазухой она представляет опасность для окружающих!

Госпожа Коушут мельком оглядывается на застывших позади гулямов. На поясе у обоих висят армейские штык-ножи в ножнах и полицейские дубинки-тонфа с короткой поперечной рукоятью, прихваченные из оружейной комнаты. Уж это-то точно работает, в отличие от пистолетов! Вот если бы еще перетащить на свою сторону бородатого ар-Рави с его доктором, способным всадить пулю в нужного человека! Да и дебил-телохранитель весьма пригодился бы в качестве союзника.

Последняя мысль странным образом лишает Неистовую Зейри душевного равновесия: она, значит, союзник Творца, а дебил-телохранитель — союзник ее, Зейри... Враг моего врага — так, что ли?

Приходится встряхнуться и усилием воли прекратить лишние мудрствования.

Хайль-баши угрюмо сопит — пламя костра взволнованно колеблется, трепеща языками, — и косится на вынесенные во двор носилки. Там, накрытый легким пледом, мечется в бреду гулям-эмир. Снаружи он начал дышать немного ровнее, но по всему видно, что без вмешательства опытных врачей господин Ташвард долго не протянет.

Ничего, пусть мушериф посмотрит, полюбуется.

Гуляма-предателя Неистовая Зейри демонстративно не замечает.

— Госпожа Коушут, вы опасаетесь двенадцатилетней девочки? — Хайль-баши явно пытается иронизировать, сыграв на струне самолюбия, но это у него плохо получается.

Неистовую Зейри на фальшивый дирхем не купишь.

— Да, господин Али-бей, опасаюсь. Причем не только и не столько за жизни взрослых, сколько за жизни вверенных мне детей! Поэтому я настоятельно требую, чтобы девочка сдала ножи. Оружие — не игрушка, и вы, как представитель власти, должны это знать не хуже меня!

Огромный мушериф колеблется. Он понимает, что женщина права, но у него явно есть и какие-то свои соображения.

Интересно, какие?

— Полагаю, угроза детям со стороны Сколо... со стороны Ниру Бобовай отсутствует, — неуверенно тянет он, хмуря реденькие бровки. — Я думаю...

— Ах, вы ДУМАЕТЕ? Рада услышать! А ОТВЕЧАЮ за детей, между прочим, я! Поэтому думать вы можете что угодно, а на сдаче оружия я настаиваю!

— Ишь какая прыткая... — бормочет старуха в инвалидном кресле, но в разговор не вмешивается, и поэтому госпожа Коушут пропускает ее слова мимо украшенных маленькими золотыми сережками ушей.

— Итак?

Хайль-баши сопит и смотрит в костер.

— Я жду!

— Ниру... — Фаршедвард Али-бей оборачивается к девочке, и рык хайль-баши становится чуть ли не жалобным, что кажется невозможным для такой туши с замашками потомственного солдафона. — Ты отдашь ножи? Не ей — мне?

Маленькая дрянь отрицательно качает головой и делает шаг назад, прислоняясь спиной к раздвоенному кизилу, из развилки стволов которого торчит злополучный меч. Руки девчонки пугливыми котятами исчезают в складках шали и... остаются там.

Хайль-баши тяжело вздыхает — удивительное дело, при этом в его вздохе слышится чуть ли не облегчение.

— Вот видите, госпожа Коушут! — разводит руками мушериф.

— Что значит — «видите»?! Ношение детьми холодного оружия противозаконно! Так что вы обязаны...

— Ничего я никому не обязан! — неожиданно рявкает хайль-баши. — И в первую очередь вам!

Минутой позже Али-бей все-таки сбавляет тон:

— Не учите меня, что законно, а что нет, госпожа Коушут! Вам известны параметры, по которым определяется, является ли тот или иной нож холодным оружием? Длина лезвия, например, наличие упора, кровостока, кишкодера?

— Кишкодера?

— Я имею в виду зубцы на обушке. Можем, кстати, измерить! Вот у ваших гулямов — оружие. Видно с первого взгляда. А у девчонки...

— Тем не менее вы, наверное, не станете отрицать, что это боевые метательные ножи? — тихо шипит Неистовая Зейри. — И что из-за вашей замечательной девчонки...

— Из-за вашей, госпожа Коушут! Из-за ВАШЕЙ! Разве не вы приложили столько усилий, дабы затащить ее в мектеб?! Радуйтесь — свершилось!

— ...уже был тяжело ранен господин Ташвард! Кто следующий?

Столь весомый аргумент прозвучал бы гораздо убедительнее, не случись непредвиденного.

— Крошка, насколько известно мне, твой господин Ташвард был ранен совсем по другой причине! — насмешливо раздается позади зычный голос.

Обернувшись, госпожа Коушут видит спускающихся с крыльца и направляющихся к ним Большого Равиля, его телохранителя и маленького доктора. Ну да, хаким аль-Шинби и его... подруга уже здесь, просто стоят в сторонке, у второго костра, молчат — вот она их сразу и не приметила.

Кажется, все в сборе.

Кроме пьянствующих в медицинской части одноухого аракчи и надима Исфизара. Ну и шайтан с ними — только этих двух алкоголиков тут и не хватало!

— И по какой же, позвольте полюбопытствовать, господин ар-Рави?

— Твой гулям-эмир, крошка, собирался по-тихому пристрелить девчонку, а доктор Кадаль по причине слабости мочевого пузыря оказался свидетелем.

Кровавые отблески пламени в глазах Равиля делают его похожим на огромного бородатого гуля-людоеда, и госпожа Коушут неожиданно ощущает странное возбуждение, которое в другой ситуации могло бы показаться приятным.

Почему-то Зейри кажется, что она присутствует при поста-

новке сюрреалистической пьесы в будущем театре абсурда; темнота кулис придвигается со всех сторон, мерцают светлячки в колосниках над головой, невидимый осветитель ухмыляется, забыв включить выносные прожекторы, и от жизни остаются только имена и слова.

С легким привкусом обстоятельств.

* * *

Равиль (*злорадно*). А свидетелей, крошка, положено убирать. Слыхала небось: мертвые не потеют?! Только с доктором у твоего молодца промашка вышла — сам на пулю нарвался! Вот и выходит, девчонка тут ни при чем. Лучше скажи прямо, что собираешься девку кончить, только боишься: пока у нее ножи, она раньше тебя и твоих гулямов в клочья посечет, чем вы — ее.

Зейри (*со всей холодностью, на какую способна*). Доказательства? Легко возводить напраслину на человека, который не может ее опровергнуть, поскольку находится без сознания! Что же касается моих намерений, я лишь хочу обезопасить всех здесь присутствующих от ножей этой маленькой убийцы!

Старуха (*скрипуче*). Ты бы лучше от себя нас обезопасила, дочь алмасты...

Зейри снова делает вид, что не слышит.

Гулям-эмир (*стонет на носилках, из последних сил шевеля запекшимися серыми губами*). Пить!

Маленький доктор. У нас есть вода?

Рашид аль-Шинби (*незаметно подходя сбоку*). Уже нет.

Гулям-эмир. Сейф... там...

Кажется, господин Ташвард произносит это вполне сознательно, но на большее у него уже не хватает сил.

Усмар (*переглядываясь с Махмудом*). Сейф? В каптерке? Но... он заперт. И шифр кто-то сменил.

Маленький доктор (*неживым механическим голосом*). Не кто-то, а господин Ташвард. Запоминайте: 1-7-А-4-С. Принесите ему воды.

Усмар ошарашенно смотрит на доктора, срывается с места и пропадает в темноте.

С исчезновением гуляма пьеса неожиданно заканчивается.

Начинается прежняя жизнь — совсем не та, за которую искренне благодаришь Творца.

* * *

— Откуда вы знаете шифр, доктор? — Коротышка преподносит сюрприз за сюрпризом, и Зейри Коушут это очень не нравится.

— А твое какое дело, крошка? Ясновидец он! — нагло ухмы-

ляется бородатый Равиль. — Хочешь, угадает твою любимую позу?

— Я бы посоветовал тебе, борода, говорить с госпожой Коушут повежливее, — недобро щурится горячий Махмуд, явно заводясь, а Неистовая Зейри не спешит останавливать охранника — она уже для себя кое-что решила.

— С ней? — Ар-Рави презрительно сплевывает, Махмуд кошкой прыгает к бородачу, но натыкается на твердый, как дерево, кулак телохранителя, падает, вскакивает, харкая кровью...

Нет.

Занавес не спешит опускаться.

ГЛАВА 20

ГУЛЯМ МАХМУД

Телами
гасили пламя.

— Тише, мальчик, остынь, — цедит сквозь зубы ударивший его ублюдок.

Ах, значит, так? Остынь?! Ну, мы еще посмотрим, кто тут мальчик! У господина Ташварда он всегда был лучшим! Ага, пальчики-то растопырил, рожа бандитская! Вот мы тебя сейчас за пальчик-то и...

Махмуд провел отработанный до мелочей захват грамотно, как сто раз до того на тренировке; он даже почти довел болевой прием до конца, до момента кульминации, когда ослепленный болью противник должен был послушно грохнуться на землю, пытаясь избежать вывиха... Увы, Махмуду осталось лишь утешать себя отточенностью действий, но никак не результатом: в последний момент корявый палец громилы-телохранителя куда-то исчез, скользкой рыбой вывернувшись из хватки гуляма, — и тут же возник вновь, но уже не рыбой, а сучком кизила, чувствительно воткнувшись Махмуду пониже уха.

Ночь разом сгустилась... Нет, это в глазах потемнело! Гулям судорожно отмахнулся, прыгая вслепую назад и чуть в сторону, затем встряхнул головой и снова ринулся в атаку.

Обманный пинок ногой в пах — так и знал, что шагнешь назад, сволочь! — левой ладонью в лицо, и еще раз с левой, туда же, чтоб ослеп на время... вот они, пальцы блокирующей руки — мосластые, растопыренные, хватай — не хочу!

Схватил.

Лучше б не делал этого.

Оглушительный удар в ухо, даже не удар, а шлепок, после которого, однако, приходится подниматься с земли.

В голове едет поезд, подпрыгивает на стыках рельсов, гудит на переездах...

Дубинка!

От первого удара, рубящего, с оттяжкой, гад-пахлаван уклоняется, второй соскальзывает с умело подставленного предплечья — зато уж третий, тычковый, Махмуд от души всаживает громиле под ребра.

Получи!

В следующий момент рык разъяренного зверя заставляет гуляма отшатнуться, дубинка вырывается из рук и исчезает из поля зрения, в мозгу дети начинают забавляться фейерверками, а дальше Махмуду уже не до анализа ощущений, потому что гулям попадает в достаточно убедительное подобие мельничных жерновов...

ГЛАВА 21

ГУЛЯМ УСМАР

Вен небесных просинь
вторглась в мои сны.
Это просто осень
поперек
весны.

Вот это да!

Доктор, похоже, взаправду ясновидец. Сработало! И впрямь надо поинтересоваться: какая же поза у Неистовой Зейри любимая? Глядишь...

Дверца сейфа мягко, без звука, распахивается.

Ай да господин Ташвард! Колеблющееся пламя поднесенного к сейфу огарка высвечивает не только две литровые фляги с водой и большой пакет консервированного сока, но и три банки тушенки, упаковку рыбных консервов, аккуратно завернутый в хрустящий целлофан хлеб...

А мы тут голодаем! Детям еле-еле хватило, остальным вообще мало что досталось, крохи со стола в ладонь ссыпали! А у гулям-эмира здесь, оказывается, заначка! И молчал, начальник... Может, и про стычку во дворе, когда доктор стрелять начал, господин Ташвард тоже не все рассказал?..

Часть в сейф упрятал и шифр сменил?

Размышляя таким образом, Усмар Ханифах споро сложил все обнаруженные продукты и воду в объемистую сумку и, погасив свечу, заспешил обратно.

Во дворе шла драка, и была она в самом разгаре. На фоне испуганно жмущегося к земле пламени костра его приятель Махмудик яростно наскакивал на равилевского телохранителя — всякий раз отлетая обратно, но тут же снова подымаясь на ноги и бросаясь в новую атаку.

Не раздумывая о причинах потасовки, Усмар кинулся на помощь коллеге.

Непонятно откуда возникающие ветки больно хлестали по лицу, тяжелая сумка замедляла бег, но бросить ее гулям не решался: сейчас у него в руках находились, быть может, лишние сутки жизни для них всех.

Звучит рев, силуэты драчунов на миг переплетаются, комом шевелясь у выстреливающего искрами костра, — и тут возле них образовывается совсем уж непомерная туша хайль-баши.

Последнего с кем-либо спутать просто невозможно.

Усмар перепрыгнул через впавшего в оцепенение гулям-эмира, бросив сумку рядом с носилками, увидел прямо перед собой распирающее форму огромное брюхо Фаршедварда Али-бея — и не стал разбираться, на чьей стороне находится мушериф.

Потом разберемся, по холодку! А покамест лучше всадим-ка кулак, да с гортанным криком, как учили, в солнечное сплетение хайль-баши.

Где тут у него солнечное сплетение?.. Шайтан, ну и нажрал мяса!

Удар действительно был хорош, и Фаршедвард от него даже чуть покачнулся — но это осталось единственным достижением Усмара! Кулак доблестного гуляма упруго застрял то ли в могучих мышцах, то ли в еще более могучих жировых накоплениях необъятного брюха — и почти сразу был вытолкнут обратно, как из надутого воздухом резинового баллона.

К чести Усмара надо сказать, что сориентировался он за доли секунды, сообразив: бить надо в более уязвимые места, к примеру — в голову. Но когда гулям рискнул воспроизвести это действие на практике, оказалось, что нечто напоминающее разлапистый кожаный биток для отработки движений уперлось в его собственный лоб, мешая не только нанести удар, но и просто взглянуть вверх, дабы опознать мешающий предмет.

Усмар попытался обойти препятствие, одновременно нанося совершенно бесполезные тычки в проклятое брюхо, напрочь закрывавшее стратегический обзор; и только через несколько секунд до гуляма дошло, что упершийся в его лоб предмет — это толстенная ручища Фаршедварда Али-бея.

И даже не столько ручища, сколько ладонь.

Именно в тот момент, когда осознание этого унизительного факта стало для Усмара Ханифаха полным и всеобъемлющим, ладонь хайль-баши немного поддалась, вынудив размахавшегося

Усмара повалиться вперед, и почти сразу мягкий, но мощный толчок отшвырнул едва не угодившего в костер гуляма шагов на семь.

Если бы господин Ташвард хоть раз сводил мектебных гулямов на тренировки борцов-нарачи и показал им, как смешные толстяки часами шлепают ладонями по содрогающемуся деревянному столбу диаметром в локоть...

Усмар вскочил, весь красный от стыда и злости, потянулся за висевшей на поясе дубинкой — и застыл.

Потому что вокруг наступила мертвая тишина.

Потому что никто, даже проклятый хайль-баши, не смотрел сейчас в его, Усмара, сторону.

Никого он не интересовал, оскорбленный в лучших чувствах Усмар Ханифах, гулям мектеба «Звездный час».

И гулям прекрасно понимал, почему.

Потому что позади старухиного кресла хищно изогнулась Неистовая Зейри, и отточенное лезвие армейского штык-ножа с зазубринами кишкодера на обушке отблескивало в ожидании, прижавшись к бабкиному горлу.

Сохлая куриная кожа с резко выступающими жилами — синими, похожими на провода, выглядывающие из-под осыпавшейся штукатурки.

И нож гулям-эмира, подобранный госпожой Коушут с гравия.

— Сейчас, девочка, ты положишь свои ножи на землю и отойдешь на пять шагов назад, — холодно сообщила госпожа Коушут. — И делай это МЕДЛЕННО. Очень медленно.

ГЛАВА 22

АЗАТ

Ненавистны ты и я
мерзкой твари Бытия,
потому что наши души
вне
е е разбухшей туши.

— Я всегда знал, что ты мерзавка. — Казалось, пламя костра приблизилось сразу, рывком, и лицо Карена запылало пожаром.

Так горит дом, из которого ты можешь вынести всего одного близкого тебе человека — и берешь вслепую, не зная, кого именно обхватили твои руки, берешь, благодаря Господа за милосердие.

За то, что тебя лишили выбора.

— Я всегда знал, что ты мерзавка. Но при этом полагал, что ты женщина, которой нравится быть похожей на мужчину. Я ошибся, Зейри. Ты мужчина. И отвечать тебе придется по-мужски.

Чувственные губы Зейри искривила усмешка, похожая на свернувшуюся в кустах гадюку.

— А ты болтун, егерь. Фильмов насмотрелся? По-мужски... вызовешь меня на поединок? Потом?

— Нет.

— Тогда что? Не двигаться!

Последнее относилось к Сколопендре, хотя девочка могла поспорить с каменной статуей.

Разве только шаль успела опасть с ее плеч поздней листвой, съежившись у ног, и перевязь с ножами — предмет требований Зейри и цена жизни бабушки Бобовай — оказалась предоставлена всеобщему обозрению.

Карен видел, что выражение лиц присутствующих людей начинает меняться; да и в одних ли лицах дело? Подобрался, словно перед броском, телохранитель бородача, отвердели скулы Усмара, поникли чудовищные плечи Того-еще-Фарша, осторожные огоньки сомнения полыхнули в глазах бородатого Равиля, и торжество проступило во всей фигуре Неистовой Зейри.

В этот миг последняя, ни дать ни взять, походила на статую Справедливости с фронтона здания кабирского театра на площади Абу-Салим: это там, где Справедливость приносит уродливую рептилию — символ Зла в жертву Благоденствию.

Ножи Сколопендры стали реальностью, предъявленной всем столь грубо и явственно, что лодка создавшегося положения начала крениться в другую сторону.

Впрочем, к Карену это не относилось; и не только потому, что он видел эти ножи раньше — и просто так, и в деле.

— Я не стану вызывать тебя на поединок, Зейри. Я просто убью тебя. Ты не сможешь вечно держать старую женщину в заложниках. Тебе придется либо отпустить ее, либо перерезать ей горло. Во втором случае я буду убивать тебя долго.

— Ты дурак, егерь. Ты даже не благородный дурак. Ты дурак, играющий в благородство. Думаешь, я не знаю, что «белые змеи» творили в Хакасе? На твоем счету гораздо больше перерезанных глоток, глупый егерь, и мне больше не хочется вести с тобой светские беседы. Ты думал, я отвлекусь и дам тебе возможность прыгнуть? Ты неправильно думал, егерь...

Это была ложь. Лишь в плохих боевиках злодей, взявший заложника, вступает с героем в долгие душеспасительные беседы — пока герой не улучит удачный момент и... Карен прекрасно понимал всю относительность удачи таких моментов. Рука Зейри с армейским ножом не дрожала у горла бабушки Бобовай, шансов

успеть дотянуться до госпожи Коушут не насчитывалось даже одного на тысячу.

И все же Неистовая Зейри оказалась не права. Карен Рудаби, отставной висак-баши, молил Того, кто смотрит сверху, совсем о противоположном: чтобы тигрица мектеба «Звездный час» ни за какие коврижки не отвлеклась от троих людей — заложницы-старухи, безмолвствующей Сколопендры и его, Карена.

Потому что за спиной Зейри медленно поднимал пистолет маленький доктор.

Он двигался нечеловечески плавно, он тек патокой, расплавленной смолой, и Карену еще подумалось: именно так двигаются люди в ожидании ослепляющей боли, которая должна нахлынуть в строго определенный момент, и мозг говорит «да», а все тело, скованное цепями сознания, истошно кричит «нет!» и тщетно молит о пощаде.

Но ствол «гюрзы» с неизбежностью судьбы продолжал подниматься.

Пока не уставился в пушистый затылок Неистовой Зейри.

Ствол не догадывался, что судьба в последний миг передумала.

* * *

— Усмар! — еще успела бросить Неистовая Зейри, прежде чем из хрустящего мрака позади нее вихрем вылетело чудовище. — Когда эта тварь положит оружие, возьми перевязь и...

Никто даже не сумел пошевелиться. Всклокоченная рогатая бестия пронеслась мимо доктора, зацепив его боком; руку доктора вскинуло вверх, грохнул выстрел, и пуля с визгом ушла в небосвод, напоминающий алмазную бархотку светской шлюхи. Раненое небо застонало, подавился криком Усмар, которому так и не довелось выполнить приказ начальницы, и в следующую секунду коза с размаха ударила рогами в спину Зейри Коушут.

Увы, коза в силу обстоятельств не смотрела приключенческих фильмов и поэтому не знала, когда стоит вмешиваться в действие второ... нет, скорее третьестепенным персонажам.

И стоит ли вообще.

Удар швырнул женщину вперед, Зейри всем весом налетела на спинку кресла, попытавшись обхватить предплечьями голову парализованной старухи; армейский нож выпрыгнул из пальцев и лягушкой ускакал в направлении аллеи — лязганье гравия подтвердило намерение ножа порезвиться на свободе, и Валих Алибей прислушался, раздумывая.

«А не кинуться ли следом? — было написано на лице мальчишки. — Вдруг найду!»

Инвалидное кресло, знававшее гораздо лучшие времена — те,

когда оно еще не было собрано, — зашлось кашляющим треском и начало заваливаться вперед и набок. Коза ударила еще раз, прежде чем Фаршедвард ухватил животное за шерсть на холке и, словно котенка, отшвырнул прочь. Но было поздно: одно из полозьев, на которых крепились колесики, сломалось пополам, кресло перевернулось под тяжестью двойного веса, старуха беззвучно рухнула лицом в землю, застряв в собственном обиталище дохлой черепахой... и тут Сколопендра пошевелилась и сделала два шага в сторону.

Чтобы дать дорогу летевшей сломя голову Зейри.

К сожалению, «сломя голову» оказалось лишь красивым оборотом: женщина почти сразу же вскочила на ноги возле раздвоенного кизила, ничем больше не напоминая статую Справедливости с театрального фронтона; а статуи Слепой Ярости на фронтоне не воздвигали.

— Тварь! — взвыла Неистовая Зейри хриплым мужским баритоном. — Тварь, змея!.. Сколопендра...

Глаза женщины метали молнии, а руки судорожно искали хоть что-то, хоть какое-нибудь оружие; и было видно, что Зейри Коушут, сотрудница администрации с правом преподавания, сейчас отдала бы все оставшиеся ей годы жизни за умеющий убивать подарок.

Судьба улыбнулась, подмигнула обиженно мекавшей козе и легонько толкнула Неистовую Зейри в плечо.

Женщина качнулась, нетвердо держась на ногах после падения, и ладони ее в поисках опоры нащупали рукоять застрявшего в кизиле меча.

Двуручного меча, гордости дурбанского музея, любимца хакима Рашида, украденного этой проклятой...

Кизил поспешно отпустил добычу, боясь, что в случае неповиновения его вырвут с корнем.

И Карену померещилось, что одновременно со свистом рассекаемого воздуха кто-то — наверное, тот, кто знает все, — успел расхохотаться и прошипеть между двумя мгновениями сошедшего с ума времени:

— Все сотворенное, рождающееся и растущее имеет свою звезду!.. Свою... звезду...

Карен был убежден, что это слова из книги Меноге Храт, хотя никогда в жизни не подозревал о существовании подобной книги.

...Огромный клинок несся по кругу, проходящему через худую детскую шею.

И зверем кричал вспарываемый мрак.

Но в самую последнюю секунду тяжесть двуручника, чья общая длина на целую пядь превышала рост самой Зейри, возоб-

ладала над силой разъяренной женщины. Плоскость стального круга сместилась, чуть-чуть, самую малость, но этого хватило, чтобы убийственное лезвие просвистело над макушкой Сколопендры, по-прежнему застывшей и отрешенной; и, словно зажив собственной жизнью, старый меч слегка провернулся, ослабив хватку Неистовой Зейри. Другие нужны были пальцы, чтобы удержать вырывающийся из рук эспадон, пальцы воина, привыкшего к лоулезскому мечу с детства, пальцы, в которых металл гвоздей кажется мягким, как пластилин в руках ребенка. Рукоять прошлась остатками древних накладок по женским ладоням, лезвие полыхнуло в свете луны противоестественным блеском, как будто ржавчина на миг спала с клинка, или превратилась в полировку, или...

И клинок плашмя врезался в ствол кизила.

Разлетевшись вдребезги.

Не сталь — стекло.

Ржавое стекло.

Неистовая Зейри упала на колени, закачавшись из стороны в сторону, ткнулась лицом в траву и зарыдала по-бабьи, в голос, никого не стесняясь.

В стороне от плачущей женщины, так до сих пор и не пошевелившись, лежала бабушка Бобовай.

ГЛАВА 23

СКОЛОПЕНДРА

Ухожу.
Махните мне рукой.
По ножу —
в покой.

Вот и все, мой хороший.

Я выполнила свое обещание. Я очень старалась, но у меня все не получалось... ты больше не одинок. Да, я понимаю — уходить в такой компании противно. Мне тоже было бы противно. Мне и сейчас противно, но ведь если мы вдвоем, значит, остальные нас попросту не интересуют. Бабушка когда-то рассказывала мне, что значит любовь... Она удивлялась, почему все мои сверстницы становятся правильными, а я до сих пор худая, уродливая и голенастая — милая бабушка, она тоже уйдет с нами, а правильным мы оставим их правильную жизнь и их правильный мир.

Да, мой хороший?

Ты только подожди немножко, и ты, бабушка, подожди — я сейчас, я быстро... я уже иду.

Вот так.

Я уже...

ГЛАВА 24

АЗАТ

Месть
Творцу
не к лицу.

Я ничего не успел сделать.

Она подошла к обломкам меча и встала перед ними на колени. Словно пародируя рыдающую Зейри. С минуту стояла, раскачиваясь и что-то шепча, а потом два маленьких ножа, левый и правый, из верхних пазов перевязи словно сами собой выпорхнули наружу.

И приникли к предплечьям клинками.

Сколопендра обняла себя за шею — движение было порывисто-угловатым, свойственным скорее кузнечику-богомолу, чем девочке двенадцати лет; и когда руки ее сухими листьями опали вниз, из шеи толчками выхлестнула кровь.

Она еще успела улыбнуться.

Позже, много лет спустя, я возблагодарил провидение за то, что Сколопендра не успела или не захотела посмотреть на нас, собравшихся и застывших вокруг.

Я знаю, что было бы в этом взгляде.

Брезгливость.

...С крыльца кубарем скатился пьяный Руинтан. Корноухий аракчи, ковыляя, добежал до еще теплых тел правнучки и бабушки Бобовай, упал между ними на колени, запрокинул к небу голову и отчаянно завыл.

По-волчьи.

Я слышал такой вой.

Ночами.

В Малом Хакасе.

После боя.

ГЛАВА 25

ХАЙЛЬ-БАШИ

Кажется:
лишь миг — и я пойму,
почему
так трудно одному.

От ворот донеслись крики, и небо безнадежно начало светлеть.

Песчинка вылетела из вселенских шестеренок, и они снова, со скрежетом и оханьем, начали вращаться.

Клянусь всем святым, я этого не хотел.

...А люди даже не сразу поняли, что случилось. Просто из жизни изумленного Человечества выпал год. Провалился стершимся медяком в прореху, в неожиданно раздавшийся вширь промежуток между двумя соседними мгновениями, ухнул без следа...

Впрочем, следы все же остались.

Их обнаруживалось все больше и больше, этих пренеприятнейших следов, потому что потерянный год, пять тысяч девятьсот девяносто восьмой от сотворения мира, выпал из вселенской череды лет ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

И за этот год, которого не было, через который люди просто переступили, шагнув из одного мгновения в другое, — о, многое успело произойти в течение выпавшего года!

Существенное — и не очень.

Хозяйка, накрывавшая праздничный стол, обнаружила, что все продукты не просто безнадежно испорчены — ароматная снедь, словно по мановению волшебной палочки дурно воспитанного мага, прямо на тарелках превратилась в засохшую прошлогоднюю гниль.

Уснувший с тлеющей сигаретой в руке мужчина проснулся на куче холодных сырых углей, целый и невредимый.

Весьма удивлены были попадавшие на грязный асфальт пассажиры автобусов и такси; обалдело оглядываясь по сторонам, они видели вокруг лишь искореженные остовы врезавшихся в дома машин, да несколько шакалов улепетывали, поджав хвосты, испуганные внезапным появлением двуногих хозяев города.

О пассажирах кораблей и самолетов вообще лучше было не думать... Еще с полгода газеты помещали один огромный некролог за другим.

Даже не некрологи — просто списки.

Хотя сами газеты начали худо-бедно выходить только через две недели: не было электричества, не работали водопровод, канализация, средства связи, почти весь транспорт пришел в большую или меньшую негодность...

В общем, медленно приходя в себя от потрясения и постепенно осознавая, что же с ними произошло, а также каждый день обнаруживая все новые последствия этого необъяснимого катаклизма и пытаясь их устранить, люди не сразу сообразили, что их мир изменился.

Изменился резко, полностью и, как многие надеялись, бесповоротно.

Но будем справедливы: надежды, как известно, питают юношей и умирают последними — вместе со старцами, которым исправно придают бодрость до гробовой доски.

Приверженцы некоторых не слишком приятных культов утверждают, что и после.

Поэтому надежды — надеждами, а факт оставался фактом: в новом мире, который получили выпавшие на год из времени и пространства люди, больше не было оружия!

На месте оружейных заводов, складов и военных баз зияли огромные воронки или возвышались покореженные развалины. Не сохранилось практически ничего: превратились в пыль не только само оружие и боеприпасы, но и все линии по его производству, конструкторские бюро, исследовательские институты и лаборатории... Самонаводящиеся ракетные комплексы, реактивные орудия и танки как нельзя лучше справились с поставленной непонятно кем задачей, успешно уничтожив друг друга, а также заводы-матки и «мозговые центры».

По всей стране чудом уцелело не больше трех-четырех сотен ружей и пистолетов, а тяжелого вооружения не осталось совсем.

Сопредельные державы помалкивали, но у них творилось такое же безобразие — последнее нельзя было скрыть никаким молчанием.

В общем, к вящей радости пацифистов, мир оказался безоружным — не считать же оружием хранящиеся в музеях и частных коллекциях старинные мечи и алебарды, а также не более многочисленные новоделы?

Хотя кое-кто уже начал воспринимать эту мысль всерьез.

А пока мирные жители, ругаясь и приводя в порядок запущенные жилища, тихо радовались сквозь слезы, а наиболее завзятые вояки скрежетали зубами в бессильной ярости — не из чего было даже застрелиться!

Но и среди них самоубийств состоялось не так уж много: муравейник оружия покончил с собой, ему больше не было больно стрелять, и Человечество, само того не сознавая, вздохнуло свободно — аура тотального суицида гигантского стального организма отныне не давила на психику людей.

Застрелиться, одолжив у соседа чудом сохранившуюся «вертикалку»?

Шутите?

Шестое тысячелетие стояло на пороге.

Жизнь понемногу налаживалась. Отплакали свое родственники погибших, постепенно заработал транспорт, завертелись турбины электростанций, потекли по трубам вода и нечистоты... Люди оправлялись от шока, мало-помалу привыкая жить в новом, безоружном мире, и только все еще качали головами ученые: те, кто безуспешно пытался найти разгадку природы феномена, и те, кто на закрытых совещаниях никак не мог понять, почему после самовзрыва секретной лаборатории «Масуда» (частично финансируемой правительством и расположенной в предместьях Дурбана) полстолицы не лежит в развалинах? Ведь

оружие под кодовым названием «Аз-Зайда» — «Неукротимая», которое там разрабатывалось, было настоящим «оружием массового поражения», не то что какие-то там установки залпового огня и кассетные бомбы! И — ничего! Средних размеров воронка, поглотившая тем не менее все результаты девятилетней работы, — и полное отсутствие следов заражения вокруг!

Естественно, проект «Аз-Зайда» был свернут; да и самой корпорации «Масуд» больше не существовало.

Ошарашенный мир подвис в шатком, недоуменном равновесии — и продолжал висеть в нем дольше, чем предполагалось скептиками. Видно, психологический шок не прошел для людей даром. Что-то надломилось в гордом сознании «Венца Творения», и люди никак не решались сделать следующий шаг.

Вернее, повторить уже некогда сделанный.

Шестое тысячелетие стояло на пороге и подкидывало монетку на ладони.

Орел?

Решка?

Ребро?

...Похороны выглядели более чем скромными.

Никого из родственников не было — то ли не осталось их, то ли не сумели отыскать и оповестить, — так что в последний путь Ниру и ее прабабушку провожали лишь те, кто видел финальные минуты старого мира, совпавшие с последними минутами этих двоих: девочки и старухи.

Да и то — не все.

Не явилась госпожа Коушут, возможно, понимая, что не место ей здесь, или... Хаким-эмир лежал в больнице, слезливо жалуясь на судьбу; культя заживала быстро, и он уже заказал себе протез. В соседней палате бригада реаниматоров третьи сутки боролась за жизнь господина Ташварда. Врачи побеждали, но в сознание гулям-эмир все еще не пришел.

Близнецов бар-Ханани забрала двоюродная тетя, живущая в Дурбане, и теперь они ждали приезда родителей из далекого Оразма.

Остальные пришли.

Тихо всхлипывала Лейла, осторожно поддерживаемая как-то сразу посуровевшим и осунувшимся Рашидом аль-Шинби; скорбно застыл у изголовья двух могил строгий и печальный надим Исфизар; рядом понурился тихий, чуть ли не впервые в жизни побрившийся Руинтан, и слегка дрожащие руки аракчи беспомощно свисали из куцых рукавов старого, изрядно тронутого молью костюма. Когда надим заговорил, Равиль ар-Рави, в дорогой черной тройке, без своих обычных перстней и золотых цепей, полез по привычке в карман за сигарой, но вовремя опомнился, вино-

вато оглядел собравшихся и стал слушать надима. Стоявший позади хозяина сосредоточенный Альборз перестал сопеть, кинул по сторонам быстрый взгляд и, не обнаружив ничего подозрительного, замер, как солдат почетного караула.

Сунджан, тоже вся в черном, не плакала, но красные круги вокруг блестящих глаз девочки говорили сами за себя. Оказавшийся рядом Валих Али-бей по-взрослому слегка сжал ее ладонь, и девочка благодарно кивнула: мол, спасибо, Валих, со мной все в порядке.

Огромный хайль-баши понуро смотрел в землю. Карен Рудаби держался немного позади Фаршедварда, отчего-то чувствуя себя чужим, посторонним, — но не прийти егерь просто не мог.

Усмар и Махмуд, периодически поглаживавший свежий гипс на левой руке, тоже чувствовали себя неуютно, переминаясь в сторонке с ноги на ногу.

Гулямы не решались ни подойти ближе, ни покинуть это скорбное место.

Доктор Кадаль стоял особняком, отдельно от других. Казалось, он вместе со всеми слушает речь надима Исфизара, но если бы кто-нибудь заглянул сейчас доктору в глаза... Нет, хорошо все-таки, что никому не пришло в голову заглядывать в глаза Кадаля Ханумана!

— ...Говорят, что Творец не прощает самоубийц, отвергнувших Его великий дар человеку — жизнь. Но эта девочка не отвергла Его дар! Она хотела жить! Но добровольно отдала свою жизнь за всех нас, взяв на себя грех самоубийства и даровав этим шанс не только нам, а всем живущим. Я очень надеюсь, что Тот, кто сейчас слышит меня, поймет ее и не осудит...

...Ниру похоронили вместе со всеми десятью ножами Бао-Гунь. Когда Карен задвигал крышку гроба, один из ножей выпал из кожаной перевязи, и, вкладывая его на место, отставной висак-баши увидел, что лезвие ножа проржавело насквозь и крошится в руках.

Он никому не сказал об этом.

* * *

А потом они разошлись — каждый навстречу своей собственной судьбе.

Мектеб «Звездный час» едва не закрыли — большинство родителей поспешили забрать своих детей, и в итоге «Звездный час» превратился в довольно заурядный лицей, частную школу, ничем особым не выделяющуюся среди других подобных заведений.

Выписавшийся из больницы хаким-эмир ушел на более спо-

койную работу в департаменте образования, и вскоре там же объявилась пропавшая на некоторое время Зейри Коушут.

А новым хаким-эмиром опального мектеба стал бывший надим Исфизар, взявший корноухого Руинтана к себе сторожем. По вечерам оба нередко запирались в комнате с потускневшей табличкой «Ар-хаким» — и ночь пролетала незаметно за бутылкой (зачастую не одной) горькой настойки. Бывший надим и бывший козопас говорили. Говорили часами. Им было что вспомнить и о чем рассказать друг другу.

Валих Али-бей и Сунджан снова оказались в одном мектебе — уже совсем другом. Выросшие дети редко разговаривали друг с другом; но нечто общее, для чего слова излишни, незримо присутствовало между ними.

Большой Равиль остался почти прежним, разве что в последнее время начал куда серьезнее и даже с некоторой опаской относиться к астрологам, экстрасенсам и тому подобным личностям, никогда больше не именуя их шарлатанами, но стараясь держаться от них подальше. За исключением, естественно, доктора Кадаля, которого также перестал называть «знахарьком».

Ар-Рави хорошо усвоил урок, преподанный ему «Звездным часом».

Альборз-пахлаван успешно осваивал технику работы коротким мечом и двумя широкими ножами-«бабочками», а также стрельбу из арбалета. Профессионал остается профессионалом, а телохранитель шейха «Аламута» всегда славился ответственным отношением к работе.

Уволенные из мектеба Махмуд и Усмар вскоре вступили в ряды блюстителей порядка, попав, по странному стечению обстоятельств, в подчинение к оставленному в Дурбане Карену.

Курбаши Рудаби, в свою очередь, подчинялся бригадному сархангу Али-бею.

Выписавшийся из больницы через два месяца господин Ташвард исчез в неизвестном направлении, и больше о нем не было ни слуху ни духу.

Рашид...

Рашид аль-Шинби спустя полгода с блеском защитил диссертацию, получив степень доктора исторических наук, а еще через месяц прислал доктору Кадалю и Большому Равилю приглашения на свадьбу. Ар-Рави приехать не удалось — дела Семьи на тот момент требовали от шейха всего его личного времени; а вот Кадаль побывал на свадьбе, искренне поздравил Рашида с Лейлой — и с тяжелой от трехдневной попойки головой вернулся в Хину, с тем чтобы в дальнейшем видеться со своим однокашником один-два раза в год. У доктора Кадаля тоже доставало работы: фобий и маний хватало и в новом мире.

Хотя ТОТ кошмар навсегда ушел в небытие.

Доктор знал это.

Рашид теперь работал преподавателем на кафедре истории средних веков в университете ош-Дурбани, и никто из его коллег и студентов не догадывался, чем занимается молодой профессор в свободное от лекций и семинаров время.

Об этом знала только Лейла аль-Шинби.

Рашид писал книгу.

Ту книгу, начало которой родилось у ночного костра во дворе молчавшего мектеба, внутри призрачного кокона сошедшего с ума времени и пространства, когда рядом с ординарным хакимом встали те, кто жил когда-то и, казалось, заговорил его устами.

Рашид писал книгу.

А раз в год, в самый канун Ноуруза, ему снился один и тот же сон.

Он стоял на холме. Вернее, они стояли. Рашид аль-Шинби — и его друг, доктор Кадаль Хануман. Стояли, молчали, смотрели на раскинувшееся вокруг бескрайнее море волнуемого ветром степного ковыля, переливающееся волнистыми полосами, — а по полю шла девочка.

Черноглазая нескладная девочка-подросток. Только здесь язык почему-то не поворачивался назвать ее некрасивой.

Белое платье, перехваченное крест-накрест кожаными перевязями, трепещет на ветру, девочка улыбается, проходит мимо — и идет дальше, на вытянутых руках неся перед собой огромный сверкающий эспадон; а навстречу ей уже бежит, ликующе смеясь, беловолосый гигант, и на дальнем холме взахлеб смеется еще кто-то — яркое солнце играет на приветственно вскинутом вверх клинке, тонком и прямом, и на сжимающей рукоять меча латной перчатке, и стоит рядом, опершись на разветвленную пику, стройная девушка в старинном хакасском костюме для верховой езды, а позади появляются еще люди, и первой спешит морщинистая старуха, забыв о приличествующем ее возрасту достоинстве, — разноцветье одежд, блеск оружия, приветственные крики...

Рашид улыбается во сне.

Он не знает, что за полтораста фарсангов от него, в Западной Хине, доктор Кадаль пристально смотрит на фотографию своего друга — и видит то же самое.

Медленно разглаживаются морщины на лице Кадаля Хануман, исчезает отрешенность из глубины зрачков — доктор тоже улыбается.

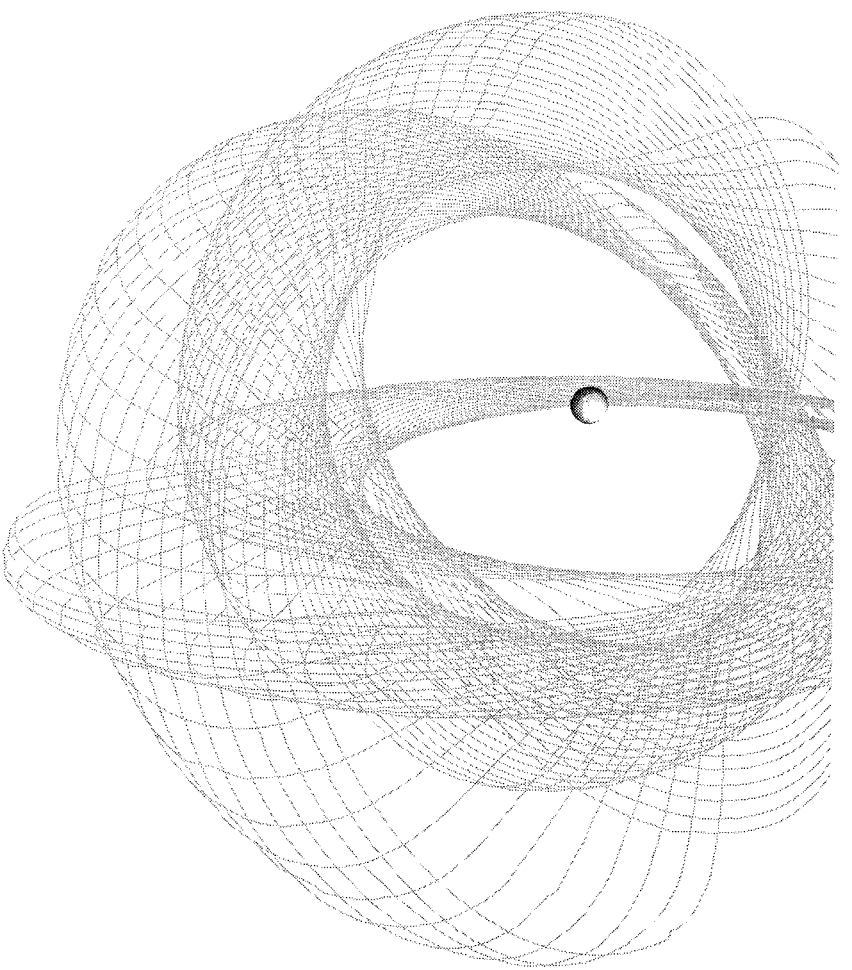
Они оба верят, что это — правда.

Им очень хочется в это верить.

Ноябрь 1996 г.

Я ВОЗЬМУ САМ

РОМАН



До каких я великих высот возношусь
И кого из владык я теперь устрашусь,
Если все на земле, если все в небесах —
Все, что создал Аллах
и не создал Аллах,
Для моих устремлений — ничтожней,
бедней,
Чем любой волосок на макушке моей!

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби

Есть такие призраки, что приходят между явью и сном.

«Ну что это за свинство?! — хрипло бормочешь ты, натягивая одеяло на голову. — Просто безобразие! Эй вы там — я вас что, для этого выдумывал? Для этого, да?! А ну живо, кыш отсюда!»

Шаги. Скрипят половицы, чужое дыхание перышком касается щеки, щекотно, щекотно... у дальней стены тихо смеются. Хрустальные колокольцы откликаются щемящим вздохам сквозняка; ты пинаешь ногой наугад, промахиваешься и обнимаешь подушку истово, как обнимают желаннейшую из женщин.

На кухне звякает посуда.

Пахнет чаем: крутым, свежезаваренным... чаем пахнет.

— Призываю в свидетели чернила, — бормочешь ты, не ведая, что творишь, — и перо, и написанное пером! Эй, свидетели: я сейчас встану, и никому мало не покажется! Вы слышите... вы... слышите...

Есть такие места, куда попадаешь между сном и сном.

Песок струится меж пальцами, уходя в песок; желтые крошки бытия, и белые крошки бытия, а еще, говорят, бывают черные, красные... Стойте! Куда вы?! В горсти вода — те хрустальные колокольцы, что совсем недавно заигрывали со сквозняками, обрываются крупными каплями, и остается лишь вытереть мокрой ладонью лоб.

«Ну что это за свинство?! — Ты идешь по берегу реки, ругаясь в такт шагам всеми бранными словами, которые успело выдумать человечество за века существования; и еще добрым десятком слов, человечеству неизвестных. — Эй вы там — дадите мне выспаться, в конце концов, или нет?! На кой я выдумывал эту речку, и эту пустыню, и эти горы (что, уже горы?! м-мать!..)?! Для чьей забавы: моей или вашей?! Вот сейчас проснусь — и всех к ногтю... всех... к ногтю...»

Ветер смеется в лицо, мелкий щебень норовит забиться в башмаки, сосны на взгорье текут смолистым ароматом, и вместо одеяла остается лишь натянуть на голову серую пелену дождя.

Шаги.

За спиной.

Ты оборачиваешься: никого.

Одни шаги.

— Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет, — бормочешь ты, лишь бы заглушить проклятые шаги, лишь бы не слышать этого шарканья стертых подошв. — Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть... призываю! Эй, свидетели: имейте в виду, в следующий раз я напьюсь до того волшебного состояния, когда сны шарахаются от перегара на сто поприщ! Имейте... в виду...

Есть такие слова, что начинают звучать между сном и явью.

Безумие воцаряется кругом: лепет младенца, крик страсти, вопль влюбленного ишака, старческое бормотанье, гнусаво пришепетывает мелкий плут, взахлеб плачет женщина, выталкивая из себя комки отчаянья. «Да чтоб вас всех! — надрываешься ты, не слыша собственного голоса, ощущая лишь боль, жгучую боль в горле. — Заткнитесь! Онемейте! Клянусь: всем языки вырву!.. всем... всем...»

Слова испуганно разбегаются, чтобы из углов тыкать в тебя пальцами.

— Призываю в свидетели день Страшного Суда и укоряющую себя душу. — Остается лишь воздеть руки к потолку, прекрасно понимая всю бесполезность жеста. — Призываю в свидетели время, начало и конец всего, ибо воистину...

— Ибо воистину человек всегда оказывается в убытке, — отвечают они, уходя.

Призраки, места, слова...

— Всегда? — спрашиваешь ты у них.

— Нет, правда? — спрашиваешь ты у них.

— Постойте! — И они останавливаются на пороге.

Есть такая жизнь, что начинается между явью и явью.

Во имя Творца, Единого, Безначального, да пребудет его милость над нами! И пал Кабир белостенный, и воссел на завоеванный престол вождь племен с предгорий Сафед-Кух, неистовый и мятежный Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти...

Книга I
ФАРР-ЛА-КАБИР

То, что гнало его в поход,
Вперед, как лошадь — плеть,
То, что гнало его в поход,
Искать огонь и смерть,
И сеять гибель каждый раз,
Топтать чужой посев, —
То было что-то выше нас,
То было выше всех.

И. Бродский.
«Баллада Короля»

КАСЫДА О НОЧНОЙ ГРОЗЕ

О гроза, гроза ночная, ты душе — блаженство рая,
Дашь ли вспыхнуть, умирая, догорающей свечой,

Дашь ли быть самим собою, дарованьем и мольбою,
Скромностью и похвальбою, жертвою и палачом?

Не встававший на колени — стану ль ждать чужих молений?
Не прощавший оскорблений — буду ль гордыми прощен?!

Тот, в чьем сердце — ад пустыни, в море бедствий не остынет,
Раскаленная гордыня служит сильному плащом.

Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне — влюбленный шепот, только мне —
далекий топот,
Уходящей жизни опыт — только мне. Кому ж еще?!

Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба
Петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!

ГЛАВА 1

где излагаются сожаления по поводу ушедшей молодости, слышится топот копыт и бряцанье клинков, воспеваются красавицы и проклинаются певцы, но даже единым словом не упоминается о том, что всякому правоверному в раю будет дано для сожительства ровно семьдесят две гурии, и это так же верно, как ваши сомнения относительно сего

1

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела пробить первый свод, как следует тряхнув подвешенные на золотых цепях звезды, и ворваться туда, где ангелы в воплощении животных предстоят перед Всевышним за разных зверей. Туда, где бродит одиноко белоснежный петух, чей гребень касается опор неба второго — хоть пятьсот лет пути разделяет небеса! — и про которого сказано: «Есть три голоса, к коим Аллах всегда преклоняет свой слух: голос чтеца Корана, голос молящего о прощении и кукареканье сего петуха». Ибо все твари земные просыпаются от его пенья (кроме человека), а прочие кочеты поют «аллилуйя» тем же тоном, что и белый гигант.

Говорят, в преддверии Судного Дня смолкнет великий провозвестник зари, сложит крылья и нахохлится, а следом за ним онемеют все петухи земли; и это будет знаком скорого конца мира.

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над минаретами Басры и Куфы, дворцами аль-Андалуса и острова Вахат, садами Исфахана и Хуросона — гони!..

...Человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав, и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени — алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами. Гроза промочила одежду до нитки, бурнус пришлось дважды выкручивать, и в итоге сухими остались лишь нижние шаровары из кожи, пропитанной овечьим жиром, да еще упрятанный на дно запасного вьюка уккаль — головной убор бедуинов.

Полотнище ткани и витой шнур, удерживающий покрывало на голове.

Человек еще раз усмехнулся. Уккаль подарили ему те, кто сейчас рыскал по пустыне в надежде залить пожар ненависти кровью беглеца. Смешная штука — жизнь. Все прекрасно знают, куда влечет нас течение, и тем не менее каждый надеется, что именно его забросит в иное русло. Вчера ты грел зад на атласных подушках, а черноглазая гурия несла тебе чашу шербета или запретный плод виноградных лоз, сегодня тебя ждет дырявый ковер, вытканный еще во времена Яджуджа и Маджуджа, и вместо гурии с чашей ты вынужден довольствоваться старухой-фазаритской со щербатой плошкой, где плещется верблюжье молоко. Но пройдет день или час, и явление ангела смерти Азраила, чьи ужасные глаза отстоят друг от друга на семьдесят тысяч дневных переходов, заставит добрым словом помянуть щедрую дочь Бену Фазар — и что с того, что ее предки после смерти пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) отпали от истинной веры, возвратясь к племенному идолу Халлялю?! Только что твой рот набивали жемчугами, превращая каждое сказанное тобой слово в блестящую бусину, но вот уже твой сладкоречивый рот, твою сокровищницу, готовы доверху набить собачьим дерьмом, ибо сказал не то, чего ждали, и не так, как ждали! Старый мерин, кричат они вслед, крепость паскудства, дитя вони и слепоты... ты хватаешься за меч, но они разбегаются, гнушаясь честным боем, и ты остаешься один на один с обидой.

Стрелы поношений, оперенные наилучшими сравнениями, с наконечниками из самых изысканных рифм от Йемена до Моря Мрака, где плавают наводящие страх глыбы льда, падают в пустоту, не найдя цели, — о, они убегают, а «старый мерин» и без рифм звучит громче и противней ослиного рева...

Как же ты был прав, еретик и скряга Абу-ль-Атахия, чье прозвище-кунья означает «Отец Безумия», умерший за девяносто лет до моего рождения, непревзойденный мастер жанра «зухдийят» — стихов о бренности жизни:

Вернись обратно, молодость!
Зову, горюю, плачу,
свои седые волосы
подкрашиваю, прячу,
как дерево осеннее
стою, дрожу под ветром,
оплакиваю прошлое,
впустую годы трачу.
Приди хоть в гости, молодость!
Меня и не узнаешь,
седого, упустившего
последнюю удачу.

Человек собрался было усмехнуться в третий раз, но раздумал.

И правильно, в общем, поступил.

Улыбка давно не красила его, лишенного изрядной части зубов, и среди них — двух передних. Их выбил тупым концом копья один ревнитель чести из племени Бену Кельб, столь же горячий, сколь и опрометчивый. Ведь если его сирийские прадеды действительно придерживались веры креста до того, как обратить свой слух к воззваниям пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), то почему об этом нельзя сказать вслух?! Сказать ясно и просто, не рискуя лишиться передних зубов и поссориться затем со всеми кельбитами — о нет, не из-за их прошлого, но из-за безвременной гибели пылкого соплеменника! Ведь если не вовремя высказанная правда стоит славного удара, то заплатить ударом за удар вдвойне достойно! Возгласил же пророк Иса: «Не мир я вам принес, но меч!», и спустя шесть веков с лишним Мухаммад, последний из пророков, повторил при многих свидетелях: «Меч есть ключ к небу и аду».

Да, меч... Человек посмотрел на свою левую руку, до сих пор сжимавшую палку с завитком в виде буквы вав. Вместо безымянного пальца красовалась уродливая культяпка, а на среднем не хватало одной фаланги. Впрочем, палец не голова, а шрамы украшают мужчину. Вон, на шее, и еще на скуле, и еще под ключицей. Драгоценности, не рубцы! Сокровища. Так говорят сами обладатели шрамов, но с ними редко соглашаются стройные газели тринадцати лет от роду, предпочитая изрубленным ветеранам пухлощеких юношей с усиками чернее амбры. Вот ветеранам и приходится брать газелей силой, утешая себя глупыми пословицами. Пятьдесят лет — плохой возраст для костров под ночными ливнями, особенно в тех краях, где впустую потраченная капля воды воспринимается как личное оскорбление. Давно, давно пора было остепениться, осесть где-нибудь... да хоть в том же Дар-ас-Саламе! Осесть, купить дом, восхвалять халифа и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом или динарами, поносить скупых, вышибая подачки острословием, вести беседы с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего, наконец, бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души...

Увы, человек никогда не считал себя мастером жанра «зухдийят». Душа не лежала. Собственно, желание освоить этот жанр (вопреки велению сердца, зато по настоянию плешивых умников) и погнало его сперва на Шамийские равнины, а потом сюда, в пустыни Аравии, или, как говаривали персы, Степь Копьеносцев. Где, если не здесь, сохранился неиспорченный язык бедуинов, язык Корана и поэтов «джахилийи»?! — тех времен, когда

неистовый Мухаммад еще не родился, чтобы принести верующим слово истины.

Язык восхвалений и поношений, язык правды, язык открытого сердца.

Человек боялся признаться самому себе, что дело не только в этом. Перекати-поле — вот кто он такой. Просто Аллах спросонья моргнул невпопад, и некий младенец в глухом селении близ Куфы родился намного позже правильного срока. Лет эдак на четыреста. Или на пятьсот. Пусть прикусят языки те, кто зовет сии благословенные дни прошлого Эрой Невежества, пусть прикусят до крови, или нет! — пусть лучше вспомнят, чьи семь касыд, где каждое слово благоуханней мускуса, были подвешены к стенам святой Каабы! Пусть вспомнят грозного Имру уль-Кайса, прозванного Скитающимся Царем, пусть их устрашит видение чернокожего Антары, Отца Воителей, пусть остальные пятеро великих поэтов-бойцов Эры Невежества на миг скинут погребальные покровы и явятся к хулителям из скрежета зубовного или райского блаженства, где бы они сейчас ни были! Вот когда надо было рождаться, вот с кем надо было ехать бок о бок в походе и набеге, вот с кем стоило состязаться в красноречии и остроте копья...

Где Медный город и Долина гулей, талисманы ифритов и летающие кувшины колдунов, где поединки храбрецов и красавицы-пери, смущающие сердце и похищающие рассудок... и наконец — откуда под горбатым небосводом такое обилие серой слякоти, лишь по недоразумению судьбы именующейся сынами Адама?!

Аллах, куда ты смотришь?!

Человек вздохнул и поднял голову. Умытое грозой небо отливало у горизонта лиловым, и падающие звезды расчерчивали его вдоль и поперек, превращая в драгоценную кашмирскую парчу. Сегодня была ночь правоверных джиннов, сегодня духи, созданные из чистого огня, старались украдкой заглянуть в горние сферы, а ангелы швырялись в дерзких соглядатаев метеорами, отпугивая от запретного зрелища. Видимо, какой-то из вождей джиннов в дерзости своей сунулся дальше обычного — ослепительная молния заставила светильники небес поблекнуть, а вместо грома донеслось рычание Ангела Мести и перезвон раскаленных цепей, грудой сваленных у подножия его престола. Свод над головой затопило овечьим молоком, потом осыпало пеплом и ржавчиной, но джинны отпрянули, рык стих, и лишь холодный порыв ветра налетел с запада.

Будто вздох бездонной пропасти.

Крохотный оазис, давший приют беглецу, вздрогнул до основания, испуганно плеснула влага в водоеме, обнесенном каменными плитами, и колючие акации зашептались, затрясли в испуге ветвями, роняя редкие капли.

Тишина.

Лишь храпят недовольно две лошади: низкорослая тихамитка, чья доля — тяжесть вьюков, и тонконогая кобылица с белым пятном во лбу, напоминавшим звезду Сухейль.

— Наама! — еле слышно позвал человек.

Кобылица встрепенулась, зафыркала, и человек помахал ей рукой. Левой, искалеченной, которая до сих пор сжимала палку с завитком в виде буквы вав. Он сам дал кобылице, гордости джизакских табунов, это имя — Наама. В честь страуса-бегуна, чьи ноги способны мерить пески так же споро, как купец меряет дареный тюк шелка; и еще в честь знаменитой кобылицы прошлого, из-за которой вожди племен спорили долго и обильно, заливая кровью окрестные земли.

Пора было собираться в путь.

Пора было сунуть голову в пасть льва.

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. «Наама!» — позвал кто-то снизу. Заря не обернулась, как не оборачивалась и раньше, в славные времена джахилийи, времена поэтов, бойцов и безбожников, о которых тосковал ночью человек у костра.

Аль-Мутанабби Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн из племени Бану Джуф.

Что значит на языке Степи Копьеносцев, языке остром, как меч, и «звонком», как меч: Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай, Ахмед, сын аль-Хусейна из южных арабов, рожденный близ благословенной Куфы.

А на земле полновластно царил 354-й год со времени «Бегства пророка», или 965-й год от рождения пророка Исы, как привыкли считать люди креста.

2

«С детства ненавижу удачливых», — подумалось Абу-т-Тайибу, когда из-за дальнего бархана вывернул такой же одинокий, как и он сам, всадник; и клич радости огласил пески.

Поэт в досаде забыл добавить: «Но удача еще никому не мешала», — ибо клич вполне мог оказаться куда более многоголосым, а встретить одного преследователя, несомненно, лучше, чем дюжину ему подобных.

Будем спорить?

Не узнать всадника пристало лишь слепому: даже самый щеголеватый из бедуинов не станет скакать по пустыне, вырядившись женихом. Кроме разве что жениха. Того самого жениха из маленького, но гордого племени Бену Кахтан, куда Абу-т-Тайиба позавчера чуть ли не силком затащили на свадьбу. Шейхам пле-

мени было лестно присутствие на празднике знаменитого поэта, а самым ретивым охота была проверить: сможет ли похититель столичных сердец привести в восхищение привередливых детей пустыни?

— Мадх! — закричали кахтаниты хором, после того как обильные дары были разложены перед гостем. — Хвалебный мадх в честь невесты!

А одноглазый крепыш, слывший меж соплеменниками знатоком прекрасного, добавил с ехидной усмешечкой:

— Хвалебный мадх с «серой» рифмой, как однажды пел Ибрахим Счастливец перед повелителем правоверных, мир им обоим!

Абу-т-Тайиб поднялся, не коснувшись руками ковра, с достоинством поклонился собравшимся и начал, аккомпанируя себе на чьей-то изрядно расстроенной лютне:

Ты горбата и зобата, и меня гнетет забота:
Если будешь ты забыта — не моя вина, красавица!

Ты бежишь быстрее лани, ты бредешь, пуская слюни,
Предо мною на колени скоро встанешь ты, красавица!

О, бока твои отвесны, и соски твои отвислы,
Убежать смогу от вас ли, если...

В упоении «серым» мадхом, чья импровизация требовала от сочинителя всего напряжения душевных сил, Абу-т-Тайиб позорно упустил из виду, что шумные знатоки далеко не всегда являются знатоками истинными, и заказчик может быть подталкиваем скорее гонором, нежели знанием тонкостей. Ни одноглазый, ни его соплеменники, как вскоре выяснилось, и понятия не имели о правилах стихосложения. Знай они заранее, что славное восхваление Ибрахима Счастливца начиналось с описания собачьей подстилки с целью дальнейшего противопоставления ей дворца повелителя правоверных... О, тогда бы они, разумеется, дослушали бы мадх до конца и поняли всем сердцем: их гость намеренно начал с описания верблюдицы, на которой доставили невесту к шатрам жениха, дабы оттенить сим сравнением всю прелесть девушки! Поняли бы, и не стали гневаться, и подарили бы певцу вышеупомянутую верблюдицу вместо того, чтобы ворчать и рычать яростными львами, размахивать мечами и потрясать копьями, швыряться камнями и гоняться за оскорбителем по всей пустыне, обещая сунуть его раздвоенный язык в места много худшие, нежели блюдо с мясом в уксусе!

Ах, и впрямь опасно рассыпать жемчуг перед хрюкающими!

Плащ закона гостеприимства спас Абу-т-Тайиба от немедленной расправы, но едва истек второй час после его бегства, как кахтаниты дружно ринулись в погоню. Впрочем, сперва неудача в поисках, а затем ночная гроза поохладила горячие головы (или

кто-то из шейхов вспомнил-таки основы стихосложения, за что хвала создателю миров!) — короче, лишь оскорбленный жених продолжил рыскать меж барханами и оазисами, кусая губы.

Докусался, везунчик.

Догнал.

— О встреча, не позволившая моей желчи разлиться бурным потоком! — заорал бедуин еще издалека, и кобылица Наама злобно откликнулась на ржание бедуинского жеребца. — О старик, чей вид скверен, образ мерзок, а запах отвратителен! Любуйся мною, ибо пробил твой час!

Абу-т-Тайиб вздохнул и понял, что юноша в детстве пересидел у пастушьих костров, слушая «Рассказы о подвигах племени ал-Хиллял».

Но, так или иначе, начало требовало продолжения.

— Ты подробно описал мне своего благородного отца, о пылкий жених! — привстав на стременах, крикнул поэт, пытаясь не усложнять поношений лишними сравнениями и образами — для вящего понимания. — Ты лишь забыл добавить, что он в старости делает воздух мрачным и пространство от вони непрозрачным! Давай же теперь вспомним твою славную мать! Правда ли, что, когда она хотела золотой динар, ей давали медный фельс, а когда она просила фельс, то получала рубленый даник? И правда ли то, что когда она просила сына, то получала безродного ублюдка вроде тебя?!

После этого бедуин вместо острых слов швырнул в оскорбителя копьем, а оскорбитель, уворачиваясь, понял раз и навсегда: жанр «зухдийят», воспевающий добродетель и осуждающий мирскую тщету, воистину недоступен для бедного поэта.

Как райские сады недоступны для хулителей веры, как чалма недоступна для безголового, как...

Вскоре досужие мысли улетучились сами собой, а жеребец араба и тонконогая Наама сшиблись, стараясь вцепиться друг другу в шею.

Легко и весело рубился жених, пьянея от самого опасного в мире хмеля, вкладывая в удары всю нерастраченную юность, весь пыл, которому следовало бы выплеснуться в невестиной палатке — во имя рождения новой жизни, а не для истребления старой. Бой должен был стать коротким, коротким и ярким, ибо ждать — сердце плавить, а кровь обидчика слаще воды источника Земзем, даруя если не бессмертие, то непреходящую славу. Увы, кривой машрафийский меч старика, изготовленный славными оружейниками Йемена, оказался существенно длинней и тяжелее, чем звонкая жениховская альфанга, а сам старик-сквернослов — существенно упрямей и опытней в поединках храбрецов, чем показалось юноше с первого взгляда. Змеи клинков плели в воздухе чудную вязь, рассыпая искры-чешуйки, немела рука бедуина, запаздывая выполнять приказы хозяина, и вот уже ядовитый поце-

луй залил бедро алым ручьем, и еще, и снова, а проклятая кобыла вертелась вьюном, словно крылатая аль-Борак, что доставила пророка к престолу Аллаха; и еще, и снова... и мнилось, поет небо над головой: «Разящие рифмы в пыли загремят, обученные сражаться — от этих стихов головам врагов на шеях не удержаться!..»

Нет, Абу-т-Тайиб не хотел убивать глупого мальчишку. И жалость была тут совершенно ни при чем. Мало чести, а душа потом воет на луну тоскливым воем, саднит застарелой язвой, словно и не душа она вовсе, и являются из ниоткуда призраки с тусклыми бельмами, сидят рядом до самого утра, безмолвно вопрошая убийцу:

— Зачем?

Пусть его, отлежится, опомнится, свои подберут, невеста выходит... Е рабб, в смысле «Боже мой»! Что ж ты делаешь, безумец?!

В самый последний момент жених вдруг застыл в седле каменным изваянием, рисованным красавцем-идолом, запретным для истинно верующих; изрядно выщербленная боем альфанга остановилась на полувзмахе — и клинок Абу-т-Тайиба не удержал разбега. Когда голова жениха отделялась от шеи, умирающие глаза все еще смотрели куда-то за спину поэта, смотрели пристально, испуганно, будто увидев рогатого ифрита или святого бродягу Хызра; но кто в наши времена поддается на дешевые уловки? Поэт благоразумно дождался, пока безглавое тело упадет в песок, и лишь потом обернулся, заранее зная, что не увидит ничего особенного.

Он и не увидел ничего.

На пустыню рушился самум.

Непроглядная чернота задрала подол небу, и насилие свершилось.

3

«Кто я... о-о-о, скажите мне, кто я?!»

«Выдающий-Себя-За-Пророка, Отец Всадников рода Тай; маленький Ахмед, глупый сын аль-Хусейна, ветвь от пальмы гордых арабов юга...»

«Где я?! Где я, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?!»

Нет ответа.

Лишь хихикает меленько насмешник-невидимка: «В преддверии ада, дружище, — а хуже места и не сыскать, хоть век ищи!»

Тьма обступает, морочит, приникает постылой женою, на зубах хрустит песок, а где-то неподалеку капли воды долбят темя вечности: алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная...

Капли?

Воды?!

Встать на ноги труднее, чем пешком дойти до легендарной горы Каф, и поначалу приходится двигаться на четвереньках, по-собачьи, в кровь обдирая колени, а потом уже, когда боль становится обжигающим кнутом, рывком подымать себя и, выплевывая хриплый стон, тащиться в темноту, невозможную, небывалую темноту, где пахнет сыростью, а капли не смолкают, бубнят речитативом: алиф, мим...

Надо было идти.

ГЛАВА 2

которая есть наилучшая в нашем повествовании, ибо здесь говорится о безвременной кончине владык и трудностях, связанных с наследованием трона, о моргающих глазах мира и долинах гулей-людоедов, но даже краешком не приоткрывается завеса над тайной древнего храма Сарта-Ожидающего, да сохранит его Аллах и приветствует!

1

Суришар с ленивым интересом наблюдал за приготовлениями жрецов-хирбедов, вызвавшихся служить проводниками. Перевал как перевал, родной брат предыдущего и двоюродный того, что они миновали три дня назад, — морщинистые, изъязвленные ветрами скалы, сквозь которые упрямо ползет змея горной тропы, накручивая кольца: вверх-вниз, вверх-вниз...

В общем, будущий шах совершенно не понимал: зачем хирбедам понадобилось останавливаться именно здесь и с головой погружаться в таинства явно бессмысленного обряда? Подготовка затягивалась на шее удавкой палача, грозя если не смертью, то смертельной скукой; и вскоре ожидание вдоль и поперек изгрызло печень нетерпеливому Суришару. Даже учитывая, что сейчас его взгляд настойчиво ласкал молоденькую жрицу Нахид. Увы! — будь сей взгляд стократ пламенней, и то остыл бы, расплескавшись по ледяной броне невозмутимости прекрасной хирбеди. Девушка была всецело поглощена разведением ритуального огня на жаровенке-алтаре, установленной поперек дороги, и не обращала на наследника престола никакого внимания.

Впрочем, точно так же она вела себя и в течение всего пути, чем дальше, тем больше раздражая молодого человека. Суришар ценил себя весьма высоко, и не без оснований: знатен, юн, красив, остроумен... что еще? Стихи — как из рога изобилия! Вот, к примеру:

Прости, красавица, и не вини поэта,
Что он любовь твою подробно описал!
Пусть то, о чем писал, не испытал он сам —
Поверь, он мысленно присутствовал при этом!

Ну?! Где славословия?! Где восторги равных и пресмыкание низших?! Все нам по плечу, хоть слово, хоть меч... кстати, о мечах! На ристалище или на скачках приз получить — и тут он один из первых в столице! Отвага? Презрение к опасности? Ха! Кто еще из возможных наследников решился на Испытание, вышел на дорогу, которую должен пройти будущий владыка Кабира? Да никто, кроме него! И быть ему вскорости шахом, а эти унылолицые пусть прозябают...

Женщины от таких молодцов должны быть без ума. И были без ума. И будут. За исключением Нахид-хирбеди. Разумеется, подобное равнодушие «небоглазой» жрицы (а ведь действительно: глаза у девицы — голубые и пронзительные, как небо в горах!) выводило будущего шаха из себя.

Тем более что обета безбрачия жрицы не давали. Сыщется достойный жених — и ладно... а сказок про блудливых хирбеди хоть пруд пруди!

«Ничего, дай срок, гордячка! Вот сяду на престол — возьму в жены. Или лучше в наложницы. Шаху не отказывают, — злорадно думал юноша, лаская яростным взглядом по-звериному изогнувшуюся фигурку жрицы, что припала к алтарю. — А мольбы Огню Небесному пусть плешивые мудрецы возносят!.. кто на них, кроме Огня, позарится?» — Он покосился на хирбеда, бродившего вокруг Нахид и алтаря с невнятным бормотанием.

Вот этот жрец был правильный: долговязый старец, отменно седой и морщинистый, в плаще шафранового цвета, надетом по случаю обряда поверх изрядно сношенной рясы. Общую благообразность слегка портила бородавка на верхней губе — раздвинув усы, проклятая нагло вылезала, подставляя бока для всеобщего обозрения и топырясь тремя иссиня-черными волосками, росшими из нее...

Словно почувствовав взгляд Суришара, старец вдруг остановился, коротко взглянул на шах-заде, но ничего не сказал и продолжил свое бесконечное хождение по кругу.

Седой хирбед тоже был «небоглазым», только в его запавших глазницах плескалась не безумная горная синь, а блеклое небо пустыни.

«Так, наверное, и должно быть», — невпопад подумалось шах-заде, и он сам удивился такому странному итогу.

Огонь мало-помалу разгорался, обратив слух наконец к уговорам молодой хирбеди, старец без устали наворачивал круг за кругом, бормоча себе под нос свое «хирам, хирам, кирам, пирам» — молитвы? заклинания? просто какую-то ерунду? — и Су-

ришару уже начало казаться, что так было всегда, от сотворения мира, и они торчат на этом перевале уже целую вечность, и будут торчать еще вечность, до скончания времен, и хирам, и пирам, и еще кирам...

— Вставай, шах-заде. Можно ехать.

— А до этого нельзя было? — не удержался Суришар, стряхивая оцепенение и с трудом поднимаясь на ноги.

В колени словно песка насыпали.

— Можно. Но не нужно. И прошу тебя: держись строго между нами.

Юноша презрительно фыркнул, подражая собственному жеребцу, но спорить не стал: как раз в этом месте тропа была достаточно широкой, чтобы по ней бок о бок могли проехать трое конных. Раз жрец говорит «надо» — значит, надо. Вот только — зачем? Спросить? Суришар ловко вскочил в седло, подбоченился и с некоторым удивлением обнаружил, что и старик, и девушка опередили его. Святые покровители! — оба сидят верхом. А вся поклажа собрана и приторочена к седлам. И когда успели? Сон его сморил, что ли?..

Что-то здесь было не так. Несуразица комом стояла в горле, насмехалась шорохом малой осыпи, горькой оскоминой плыла в воздухе, от которой хотелось закричать во все горло... а тут еще хирбед с хирбеди буквально зажали его коня с двух сторон своими лошадьми. Шах-заде вновь помянул святых покровителей и машинально проверил: легко ли выходит из ножен сабля? Мало ли. Хотя в такой тесноте и не развернешься для хорошего удара...

— Драться не придется, шах-заде, — в холоде голоса Нахид явственно сквозила легкая насмешка. — Оставь саблю в покое и всего лишь держись между нами. В этом месте очень легко заблудиться.

«Да за кого она меня держит, эта гордячка?!» Однако вслух юноша ничего не сказал: пререкаться с женщиной, пусть даже трижды «небоглазой» — ниже достоинства наследника шахского рода!

Тем паче заблудиться на одной-разъединственной тропе в горах, при полном отсутствии развилок... ладно, промолчим!

Старец сухо щелкнул пальцами, будто уличный лицедей-мутриб — кастаньетами, и кони, как если бы только этого и ждали, шагом тронулись с места. Они шли голова в голову, мерно бряцая серебром уздечек, будто на время превратились в единое существо, и Суришар невольно задумался: а что еще может этот немногословный старик с лающим именем Гургин?

Кроме как бормотать и пальцами щелкать...

В следующее мгновение мир вокруг *мигнул*. Другое слово подобрать было трудно, да и не стоило его подбирать, это слово, ни другое, ни третье, как не нужно пальцами сбрасывать набежавшую слезу — веки сошлись, разошлись, словно встретились века,

дрогнув ресницами-днями; миг сменился мигом, и вот — жизнь вроде бы прежняя, но без слезы, застившей взор.

И без соринки, что вызвала слезу.

Шах-заде ошарашенно заморгал в ответ, затряс головой, не веря своим глазам. Те же горы, то же небо — вот только внизу, в долине, что открылась по правую руку от путников, возник город! Суришар готов был поклясться: до того, как миру вздумалось мигать, никакого города внизу не было! Да и долины не было. Или все-таки была?..

Лишь сейчас он заметил, что кони уже не держат строй, тропа распухла от сознания собственной значимости, превратившись в довольно торную дорогу, а ладонь самого Суришара крайне глупо закаменела на сабельной рукояти.

— Не беспокойся, шах-заде, — буднично сообщил Гургин, почесывая бородавку. — Осталось совсем немного. К вечеру доберемся до места.

Прозрачное небо опрокинулось само в себя, плотно облегая тропу и всадников на ней; пестрая крупинка ястреба металась в голубизне, оглашая простор хриплым клекотом, и мелкие камни переговаривались друг с другом под копытами.

У наследника престола было много вопросов к проводникам, но юноша прикусил язык: стыдно уподобляться молокососу-несмышленышу, донимающему взрослых глупой болтовней. Поэтому Суришар осведомился лишь с показным безразличием:

— Что это за город, Гургин? Харза? Кимена? Медный город?

Последнее Суришар добавил с явной подковыркой: в Медный город попадали исключительно доблестные витязи, исключительно при помощи колдунов с бородавками где ни попадя и исключительно в сопровождении прекрасных девиц.

Гургин кивнул с абсолютным равнодушием.

— Проницательность шах-заде не имеет пределов. Это именно Медный город. Впрочем, на самом деле он медный не более, чем любой другой. И названия у него нет.

— Как это — нет? — опешил юноша. — Но ведь хотя бы его жители как-то называют свою родину?

— Называют, — во второй раз кивнул хирбед. — Просто Город. Город — и все.

2

Наследник престола честно сдерживался почти час. Потом его прорвало, и сквозь разрушенную плотину выдержки и напускного безразличия хлынул мутный поток вопросов.

— Мы заедем в Медный город, Гургин?

— Заедем, шах-заде. Или не заедем. Если да — то на обратном

пути. Если нет — то тоже на обратном. Сначала ты должен пройти Испытание.

— А что это вообще за горы? Ты бывал здесь?

— Бывал. И Нахид бывала. А кличут их по-разному. — Суришар обратил внимание, что после странного перевала старик стал куда более разговорчивым. — Жители Города вообще лишних имен не любят. Просто — горы. Других-то все равно поблизости нет. Местные горцы... ну, тут история особая. Для них гор просто так не бывает, для них горы — это весь мир, а мир целиком и без названия проживет. Разве что части... Вон та вершина, в дымке — Тау-Кешт, за ней Ырташ-ата; а перевал, на котором ты скучал и поминал старого дурака тихим помином, — перевал Баррах. Хочешь — запоминай, не хочешь — выбрось из головы.

— Гургин, а как ты сам здешние места зовешь? Тоже — просто горы?!

— Фарр-ла-Кабир, — отрезал хирбед, поджав губы, и веселый шах-заде осекся.

Словно подзатыльник схлопотал.

Именно здесь, в этих горах без названия, из века в век решалась судьба будущих шахов Кабира. Наследники рода, претенденты на престол и шахский фарр всякий раз гурьбой отправлялись сюда в сопровождении жрецов Огня Небесного — а возвращался из взыскующих славы лишь один. Шах. Куда девались остальные — никто не знал. Впрочем, хирбеды, наверное, знали. Они-то всегда возвращались в целости и сохранности!.. знали, но молчали.

Однако Суришару подобная участь не грозила. Дивное дело! — на сей раз он оказался единственным, кто отважился пройти Испытание. Значит, исход однозначен.

Шахом станет он.

А вот известие, что юная Нахид уже бывала в здешних местах, оказалось для шах-заде новостью. Когда это она успела? И — зачем? Похоже, «небоглазые» скрывают ото всех целые сундуки тайн, отнюдь не стремясь посвящать в них даже великих правителей Кабира-белостенного!.. Ничего, когда он примерит шахский кулах и перстень-печать, он заставит их развязать языки. Щелкая пальцами или не щелкая — заставит. Всему свое время: и время это уже не за горами. Вернее, как раз за горами! — притаилось в логове, куда они сейчас направляются.

Ждет.

Эй, время, слышишь? — ты дождешься!

Я иду!

«Ду-у-у-у...» — откликнулось эхо прямо в сознании шах-заде, не размениваясь на прогулки меж скалами, и юноша вслушался в самого себя: кто это там насмешничает?

— Ты никогда не рассказывал мне, в чем состоит Испытание, «небоглазый», — вновь заговорил Суришар спустя полчаса. —

Здесь водятся гули-людоеды? Дэвы? Горные великаны? Я должен буду сразиться с ними?

— Водятся, — охотно согласился старый хирбед, а бородавке досталась новая доля почесываний. — В изобилии.

В ответ послышалось лошадиное фырканье, и до будущего шаха не сразу дошло, что это Нахид весьма удачно передразнила его самого. Еще и издевается, девчонка! Ох, дойдут у меня руки, дотянутся, почешут, где чешется!..

Однако, когда юноша скосился на едущую рядом жрицу, вид красавицы-хирбеди был совершенно серьезен.

— Вон за Тау-Кешт, — пальчик Нахид указал на вершину в чалме сизых облаков, — живут хмурые горные великаны. Очень хмурые и очень горные.

— Но мы туда не поедем, — не преминул добавить Гургин, хмурясь почище старейшины всех на свете великанов.

— А долина, куда можно выйти через ущелье по левую руку, — владения гулей-людоедов. Там хранится их боевой петух — чьи перья острее копий, а кукареканье заставляет воинов ходить под себя, словно малых детей и впавших в детство патриархов...

— Но туда мы тоже не поедем, — снова уточнил хирбед. Видимо, на всякий случай.

У Суришара начало складываться впечатление, что эта парочка вполне могла бы зарабатывать кучу динаров, теша своими байками чернь на площадях.

— Наискосок от Тау-Кешт, и на треть фарсанга ближе к Городу, расположен древний храм Сарта-Ожидающего. Иногда там ночуют странные люди, чтобы выйти наружу еще более странными. Или не выйти совсем.

— Сарт-Ожидающий? — с интересом переспросил юноша. — Я никогда не слышал о таком боге. Кто он?

— Он не бог. Он — Сарт. Он ждет; и ждет не нас, — резко бросил жрец, скривившись, словно в рот ему попала пригоршня зерен горького колоквинта, сулящего несчастье глупому едоку. — И туда мы уж точно не поедем. Испытание — не самоубийство; вернее, далеко не всегда самоубийство. Потерпи, шах-заде. Умерь горячность. Осталось недолго.

После такого ответа у Суришара напрочь пропало желание пускаться в дальнейшие расспросы, и они продолжили путь в молчании.

3

...Суришар сидел перед входом в пещеру и время от времени бросал взгляд на клонящееся к закату солнце, ожидая, когда Огнь Небесный утонет в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в этот мо-

мент он, наследник престола, должен будет войти в шершавый сумрак входа, который поглотит его... надолго ли?

Этого шах-заде не знал.

Сейчас юноша был один: Гургин и Нахид ушли, уведя с собой всех трех лошадей и предупредив, что будут ждать шах-заде у выхода. Ему надо просто пройти через пещеру насквозь и выбраться к ожидающим его спутникам. Только и всего. В этом заключалось Испытание.

«Только и всего!» — мысленно передразнил юную хирбеди Суришар. Без факела тащиться через мутную сырость, где просто обязан поджидать неизвестно кто или что! Сидит небось во мраке, тварь безымянная, потирает клешни, слюну меж клыков пускает — желтую такую, тягучую... Только и всего! Правда, старый хирбед клялся, что в пещере отродясь не водилось никаких страхолюдин, кроме темноты, — но ведь всякий раз с Испытания возвращался лишь один претендент на трон и фарр! Куда девались остальные? Темнота убаюкала?! Даже если пещера и впрямь пуста, как торба нищего (шах-заде отнюдь не был трусом, но ему очень хотелось верить Гургину), то во мраке вполне можно заблудиться и сгинуть, так и не найдя выхода. Ждите, «небоглазые»! Авось дождетесь... Суришар справедливо полагал, что внутри пещеры должен крыться некий лабиринт — иначе велико ли испытание: пройти по прямой от входа до выхода?!

Нет, на подобное везение он даже не надеялся.

Впрочем, все теперь в руках Судьбы — а еще не было случая, чтобы Судьба отвернулась ото *всех* претендентов, и шахский престол опустел! А раз так, раз претендент один, как одно солнце в небе, значит, Судьба сама за руку проведет его по всем лабиринтам мира — к будущей славе и величию! Иначе просто и быть не может!

Придя к подобному заключению, Суришар малость приободрился, и мысли шах-заде игриво свернули в другое русло, уводя в сторону от предстоящего Испытания.

Только сейчас до юноши начало доходить, сколь завидная доля ему уготована. Когда скоропостижно скончался его прадед, шах Кей-Кобад, донельзя удивив этим знать и простолюдинов, в столице (да, похоже, и во всем Кабирском шахстве) почти месяц царили растерянность и тихое смятение. Впору до дыр зачесать затылки: шах уходит к праотцам, не достигнув и двухвекового рубежа?! Ведь даже сельскому дурачку известно, каков срок жизни великих шахов, обладателей священного фарра, а если верить преданиям старины, так и вовсе впору развести руками! Умереть в сто семьдесят девять лет, в самом расцвете сил...

О Кей-Кобад!

Поговаривали об отравлении или ином тайном умерщвлении, но слыханное ли это дело — поднять руку на носителя фарра?!! Вовек не бывало! И тем не менее...

Официальное заключение придворных лекарей-хабибов и верховных хирбедов было: смерть от внезапно наступившей преждевременной старости. Ха! Поверить в такую нелепицу?! Однако вслух объявить лжецами ученых хабибов и мудрых жрецов никто не решился. Через месяц волнения улеглись, траур продолжился, но траур трауром, а престол — престолом.

Кто унаследует трон и фарр?

Кто?!

Родственников у покойного шаха оказалось порядочно, несмотря на раннюю кончину: дряхлые младшие сыновья (старшие давным-давно перешли в лучший из миров, ибо, в отличие от шаха, жили обычные земные сроки), племянники, внуки, правнуки...

Суришар был одним из многих. И даже не самым близким. Но, видимо, молодой шах-заде чем-то выделялся среди толпы возможных претендентов на трон, поскольку однажды рядом с ним остановился один из верховных хирбедов — все тот же Гургин — и загадочно осведомился: «Не зябко ли стоять в тени фарра, шах-заде?»

Ответить или просто переспросить юноша не успел: хирбед исчез быстрее змеи, когда та стремится во мрак норы.

И вскоре выяснилось, что претенденты, один за другим, отказались испытывать судьбу. По собственной воле. В здравом уме и трезвой памяти. В итоге осталось двое: Суришар и его двоюродный дядя Лухрасп, тридцатипятилетний силач и гуляка, который не собирался отступать. Не умел. «Испытание? Отлично! — во всеуслышание заявил Лухрасп, подкручивая ус. — Я чувствую в себе силы достойно продолжить дело Кей-Кобада!» И через три дня силач слег в горячке: родичи даже испугались, что последнее дело шаха, то бишь безвременная смерть, и впрямь будет продолжено бахвалом. Придворные хабибы клялись, что непременно поставят Лухраспа на ноги — но не раньше чем через месяц. А к Испытанию он будет готов... ну, скажем, месяца через три-четыре... Для круглого счета, через полгода. А время подгоняло. Смутная пора междувластья затягивалась, дела в стране шли наперекос, жалобы на самоуправство наместников текли в столицу грязным потоком, дихкане роптали, пряча зерно в потайных ямах, благопристойные горожане без причины ударялись в хмельной загул, ремесленники бездельничали, стражники несли службу спустя рукава и не очень-то торопились ловить расплодившихся сверх всякой меры разбойных людишек...

Народу нужен был шах. Опора и символ государства. Земной Бог, чей фарр олицетворяет сам Огнь Небесный, сошедший на грешную землю, дабы согреть и осветить заблудшие души детей своих.

Ждать выздоровления Лухраспа было смерти подобно. Особенно в свете новостей о набегах кочевников-хургов на рубежах с

вечно голодной Харзой. Надо сказать, что Суришар ничего не имел против — и когда к нему заявились хирбеды с вопросом о дне Испытания, ответил коротко, как и подобает человеку решительному, будущему правителю великой державы: «Выезжаем завтра».

Ответ шах-заде явно понравился Гургину; хотя сам юноша предпочел бы нравиться упрямой хирбеди.

И вот теперь...

Очнувшись от раздумий, Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной, — и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Надо было идти.

ГЛАВА 3,

в которой повествуется об ангелах и праведных размышлениях, о ястребах и кровниках, пиве и сыре, но ни слова не говорится о мосте аль-Серат, перекинутом через пучину геенны и тонком, как лезвие дамасской сабли, по которому верные души пройдут в лучезарном свете, а грешники — на ощупь, во тьме

1

Светящийся провал возник впереди сразу, рывком, словно огненная кисть начертала его на скрижалях кромешной тьмы, и Абу-т-Тайиб со стоном зажмурился. Еще и ладонями прикрылся, для верности. Впору было кощунствовать: минуту (час? день? год?!) назад он богохульственно мечтал о способности рассеять темноту властным окриком: «Да будет свет!» Домечтался, еретик. Вот сейчас уберешь ладони, заставишь веки разойтись — и дождешься мрака, одного мрака и ничего, кроме мрака, где пахнет сырой землей и еще отчего-то мокрым войлоком.

На веки вечные.

Омин.

Поэт стоял, дожидаясь, пока сердце прекратит колотиться безумным узником о двери своей тюрьмы, и заставлял себя не думать о случившемся. Не ждать удачи, не надеяться на лучшее и не спешить к плодам бытия. Такому способу хладнокровно принимать беды и напасти его обучил один шакирит из страны Хинд, которую предки поэта еще триста лет тому назад растоптали копытами своих коней. Вместе со всей воинской силой шакиритов — сами они звали себя труднопроизносимым словом «кшатрии» и очень плохо соглашались принимать ислам. Настолько

плохо, что, даже согласившись, частенько обзывали пророка Мухаммада (да сохранит его Аллах и приветствует!) девятым воплощением какого-то четырехрукого идола.

Но предки предками, вера верой, а потомки давнишних врагов мирно встречались в благословенном Дар-ас-Саламе, и чубатый шакирит делился с бритоголовым поэтом многими тайнами. В частности, умением отрешиться от земного перед пучиной битвы и океаном волнений. Это умение передавалось в шакиритском роду еще со времен их легендарного родича, колесничного витязя ар-Джунана ибн-Панду умм Притха. Тот, говорят, был мастером самоуспокоения: прадеда застрелил, двоюродных братьев топтал, как саранчу, учителей с наставниками к ногтю прибирал чище вшей, а сердцем до конца дней своих был кроток и незлобив.

Великий человек, хоть и гяур неверный.

2

Абу-т-Тайиб краем глаза глянул меж решеткой пальцев: нет, светящийся провал никуда не делся. Слепит, манит. Чем манишь, свет? — надеждой?! Глупо. Какая надежда у того, чьей могилой стал песчаный бархан, насыпанный самумом поверх четырех трупов — двух конских и двух человеческих? И по каким пещерам ты бродишь сейчас, ревнивый бедуин, жених-неудачник, в злую годину решив потешиться «серым» мадхом?!

Поэт вздохнул и побрел вперед.

Сперва вслепую.

Потом опустил руки.

Потом открыл глаза и обнаружил на фоне светлого пятна две черные фигуры. Ну конечно! — темные ангелы-допросчики, ужасающие Мункар и Накир, соединяющие погибшую душу с былым телом для последнего дознания. Мертвецу велят встать — а он, Абу-т-Тайиб, разве не стоит сейчас, что ли? — и опрашивают с усердием о единстве Божием и о земных делах. Если ответы удовлетворяют темных ангелов, то тело остается в покое, а дух правоверного тихо ждет у могилы Судного Дня; если же нет — ангелы лупят бедолагу железными палками по лбу, а душу выдергивают с адскими мучениями, словно косорукий цирюльник — гнилой зуб.

Да и тот после на поверку оказывается здоровым.

В предвкушении железных палок Абу-т-Тайиб выбрался наружу и замер, глядя в сторону. Дабы не оскорбить ангелов. И достоинство так сохранить легче: смотри себе мимо и думай о возвышенном... об аде, например. О третьем его круге, где сейчас вопиет слезно умник-шакирит, проклиная своего предка ар-

Джунана за дурацкие способы самоуспокоения. Или о круге седьмом, где сидят лицемеры, пропускавшие час молитвы дневной или вечерней, сочинявшие еретические стишки и в дерзости своей восставшие на справедливость господа миров...

Да одна строка «все, что создал Аллах и не создал Аллах...» вполне заслуживает, чтобы ждать Дня Суда в потаенных недрах земли, а потом свалиться в серный мрак геенны без надежды на прощение!

Крик ястреба спугнул грустные размышления. Поэт покосился в сторону и рассмотрел в сини небес пернатого хищника. Вот он сложил крылья, свинцовым диском, брошенным с крыши умелым ловкачом, рухнул в бездну — чтобы мигом позже вновь явиться в просторе и огласить его негодующим воплем. Упустил добычу? Эх, ястреб, тебя вот никто не станет бить железными палками по лбу... От свежего воздуха слабо кружилась голова. Абу-т-Тайиб еще немного подумал о ястребах и ангелах, даже сложил машинально пару бейтов:

Я стою, уставясь в небо, всей душой мечтая: мне бы,
словно ястреб, словно небыль, птицей мчаться в небесах!

Но не птица я, не ястреб... Судный День! —
коль грянул час твой,
почему усердной пастве крыльев не ссудил Аллах?!

Бейты вышли странными. До озноба, до неуместной ломоты в костях. Поэт вздохнул и стал разглядывать горы, сурово молчавшие вокруг, размотанную чалму дороги, низкорослые деревья на склонах, после чего решился и перевел взгляд на ангелов.

Спорят, посланцы.

О чем?

Темный Мункар до ужаса напоминал старца-огнепоклонника, с которым Абу-т-Тайиб однажды познакомился в своих странствиях, пересекая окрестности Гундешапура. Тот маг в оранжевом плаще еще, помнится... шайтан побери! И плащ точно такой же! И бородавка... только у гундешапурского мага она была на щеке. Точно, искушение перед допросом. Иначе чем объяснить, что второй ангел, грозный Накир, как одна песчинка на другую, походил на юную красотку из веселого квартала ан-Римейн, в чьих объятиях поэт не раз забывал о времени поста и покаяния! Ясно, железные палки обеспечены. А вокруг, наверное, лежит промежуточная страна аль-Араф: место меж адом и раем, лишенное покоя и блаженства, предназначенное для младенцев, лунатиков, идолов и существ, не сделавших никому ни добра, ни зла, а также для тех, чьи прегрешения уравновешиваются рождением в богобоязненной семье и молитвами матери.

Ох, куковать тут с ястребами... и утешаться тем, что унылая аль-Араф для обитателей ада кажется раем.

Впрочем, для обитателей рая все выглядит совсем иначе, и тогда утешаться уже нечем.

— Замолчи! — вдруг выкрикнул Мункар-старец, и полы его плаща всплеснули гривой кобылицы, что еще совсем недавно неслась в небо над живым поэтом. — Замолчи, дерзкая! Не я ли учитель твой?! Не я ли делал из сельской дурочки «небоглазую» хирбеди?! Он вышел из пещеры, и впереди его бежал Златой Овен! Чело его являет нам все признаки величия фарр-ла-Кабир, и блеску юного шах-заде далеко до этого невыносимого сияния! Замолчи, или кровь твоя станет дозволена мне!

Слушая гневную тираду, Абу-т-Тайиб принялся размышлять: отчего бы это темному ангелу вздумалось разговаривать на языке пехлеви? Сам поэт неплохо владел и пехлевийским, и новым фарси-дари, на котором даже пытался сочинять, подражая великому Абу Абдулло Рудаки — сладкоречивого слепца убили ревнители веры в тот день, когда самому поэту исполнилось ровно двадцать шесть лет. Так что понять ангела было проще простого... но ангелы, пожалуй, должны все-таки изъясняться священным языком Корана! Или не должны? Или ангелам вообще все равно, какие слова слетают с их языков, отточенных подобно самхарийским копьям?

— Я склоняюсь перед волей наставника, — ответил прекрасный Накир, но в звонком ангельском голосе явственно звучали кимвалы противоречия. — И тем не менее полагаю, что мы должны либо обождать появления шах-заде Суришара, либо вернуться ко входу, либо...

— Либо! — передразнил старец. — Вернуться и ждать грозы с ясного неба! — когда тебе, глупой, отлично известно: ждать больше нечего!

И, не дожидаясь очередного возражения, он бухнулся в ноги поэту, потрясенному столь неуместным поведением ангела.

Тут настал такой момент, когда мысли сами собой проясняются, а сердце успокаивается и бьется ровно-ровно, хотя причин для ровного биения нет ни одной, и даже наоборот. Абу-т-Тайиб оглядел самого себя с ног до головы, оценил превосходную изорванность одежды и наилучшую грязь, щедро украсившую ткань и плоть, после чего строжайшим образом запретил себе валять дурака. Даже ради спасения рассудка. Потому что если долго строить из себя юродивого дервиша, то недолго и всерьез повредиться умом, нацепив власяницу и подражая в неистовости танца суфиям-бродягам.

Хватит.

Судьбе угодно пошутить? — рассмеемся в ответ и пойдем по новой дороге.

А рассуждения об аде и рае оставим для более подходящего случая. Ты сам мечтал о завидной доле и потрясающей участи, ты ссорился с великими и малыми, называя жизнь серой дерюгой, а жизнью — отголоски легенд и сказаний?! Ты убивал и рисковал быть убитым, ты пел и внимал пению; ты ждал, ждал... Радуйся! — кажется, ты получил, что хотел, и теперь можешь вволю разочаровываться, обладая желанным.

Считай, что игривые джиннии забросили тебя за гору Каф.

Много ли это меняет, кроме места действия?

— Подними себя, мой ангел! — Поэт наклонился и ухватил старца под мышки. — Иначе из уважения моих седин к твоим я буду вынужден прилечь рядом, а это оскорбит твою достойную спутницу, ибо грех мужчинам возлежать бок о бок в присутствии белогрудых красавиц! Ну давай, давай, подымайся...

Старец встал с неожиданной легкостью и, отойдя на шаг назад, в пояс поклонился Абу-т-Тайибу.

— Кони ждут, о мой владыка! — коротко заявил он, не снизойдя до объяснений. — Нам пора отправляться домой, в Кабир.

— Ты уверен? — поинтересовался поэт, удивляясь не столько приглашению вернуться туда, где он никогда не бывал, сколько тому, что у него после удивительных злоключений ничего не болит. — Тем более что слово «домой» для меня мало что значило раньше... э-э-э... я имею в виду, при жизни; а теперь и вовсе ничего не значит. Не лучше ли вам отправиться своим путем, а мне — своим? И посмотрим, каковы здесь дороги!

«А заодно посмотрим, не ведет ли одна из них в Дар-ас-Салам, где я теперь уж наверняка куплю дом и раскрою рот в ожидании подачек», — едва не добавил он.

— Ничуть не лучше, о мой владыка! Ибо тебя ждет трон и шахский титул, а нас — высокая честь помазания тебя на шахство!

Абу-т-Тайиб расхохотался, с удовлетворением слыша, как здоровое веселье окончательно вымывает из смеха визгливые нотки истерии.

Это было восхитительно: еще недавно он с тоской вспоминал о славных временах джахилийи, когда невозможное было возможным, а слава ждала за поворотом ближайшей дороги... Увы, возраст и опыт мешали до конца поверить в сказку, когда она встала на пороге и воскликнула: «Салам!» Не зря же историк аль-Масуди и библиограф ан-Надим, собутыльники, каких мало, и умницы, каких еще меньше, с пренебрежением отзывались о собрании сказок «Тысяча ночей», говоря, что оно составлено «нудно и жидко, подобно калу объевшейся собаки».

И вдобавок сказители слишком часто возвещают: «Он рубил головы, будто шары, а отсеченные руки летели сухими листьями

в пору листопада!» — но горе, если «он» — это не ты, а ты... короче, ясно.

Не отвечая, Абу-т-Тайиб пересек дорогу и встал над обрывом.

— Вон на той вершине, смею полагать, — под ногами беззвучно смеялась пропасть, а за спиной сопел старец, которому если чего и не хватало, так это летающего кувшина, — живут хмурые горные великаны. Полагаю также, что поклоняются они барану, вскормленному миндалем, фисташками и чистым конопляным семенем; а пришельцев они поедают сырыми, кроме милых дев, предназначенных для услаждения божественного барана. Не так ли, мой дорогой старец?

— Мудрость владыки глубже морских пучин! — сдавленно донеслось из-за спины.

— Не то слово, о светоч разума, не то слово... Полагаю также, что, минуя дальнее ущелье, мы попадем в долину гулей-людоедов, которых больше, чем звезд в небе, и нрав у них хуже, нежели у голодного барса! И едят они путников, начиная с печени, ибо таков их обычай!

— Ты... откуда ты знаешь?! — Голос упрямой красавицы, до того звонкий, словно литой кувшин, дал трещину.

— От верблюда, — усмехнулся Абу-т-Тайиб, нарочно глянув на красавицу через левое плечо, чтобы та как следует разглядела шрам на скуле и щербатую усмешку. — Есть один такой верблюд во владении Бену Кахтан, о чьей верблюдице я не вовремя решил сложить стихи... Он мне и поведал о горных великанах и диких гулях, в чьи угодья мы наверняка не поедем. Потому что я достаточно взрослый, дабы иметь свое суждение относительно героических поездок.

— Мы поедем в Медный город, — вмешался старец-маг, и в хриплом голосе его звучала абсолютная уверенность. — Чтобы завтра отправиться домой. Где владыку ждет шахский венец и поклонение народа. Нахид, веди лошадей!

— Ты не похож на ангела, мой ангел, — искалеченная ладонь поэта огладила бороду, где соли давно было больше, чем перца. — А теперь взгляни на меня и скажи: похож ли я, беспутный бродяга, которого самум и шутки Иблиса затащили невесть куда, — похож ли я на наследника шахского венца? На юношу, подобного свежему курдюку или динару в фарфоровой миске, чье предназначение — сражать врагов и осыпать поцелуями дев?!

— Похож, мой владыка, — твердо заявил старец тоном, не терпящим возражений. — Похож.

И добавил вполголоса уже знакомую бессмыслицу:

— Фарр-ла-Кабир. Вне сомнений, господа мои! — фарр-ла-Кабир!

Девица фыркнула, а поэт пожал плечами.

Все лучше железных палок.

3

...Сырой бархат темноты ласкал его щеки, искусно притворяясь кистью цирюльника, путался в заплетающихся от усталости ногах, приглашая сесть на валун, отдохнуть, смежить веки и — спать, спать, спать... Но Суришар упрямо шел вперед, время от времени натыкаясь на стены или падая, чтобы встать и двинуться дальше. Он уже устал шипеть от боли, да и сама боль от многочисленных ушибов и ссадин успела притупиться и потеряла всякое значение. Как и многое другое.

Значение сейчас имело только одно: надо идти, сделать еще дюжину дюжин шагов, а потом — еще полдюжины, и еще... Он дойдет до выхода! Непременно дойдет! Что для этого требуется? — ах, идти, господа мои, всего лишь идти, сквозь тьму и злость, запрещая себе останавливаться и поддаваться на мрачные уговоры пещеры... какая малость!

Он шел.

Счет минутам и часам потерялся давно, и было совершенно невозможно возвращаться за ним, за проклятым счетом, чтобы узнать, ночь сейчас снаружи или день! «Не сойдешь с пути, так сойдешь с ума!» — втихомолку посмеивались стены, тьма, и вторили им чужие, чуждые голоса, обещая скорое исполнение желаний, вечный привал между «сейчас» и «никогда»; шаг, смех, призрак безумия, еще шаг...

И когда мрак впереди наконец дрогнул, сдался на милость человеческому упрямству, посветлел, а затем и вовсе расступился, изгоняемый благословенным Огнем Небесным, Суришар даже не нашел в себе сил для радости. Просто добрел до выхода — и упал.

Заснул он мгновенно.

* * *

...Суришар воздел очи к небу, налившемуся лиловой глубиной — и увидел, как диск светила тонет в пуховой млечности.

Пора.

Но... ведь это уже было!

Юноша непонимающе огляделся: он лежал на знакомом месте, у входа в пещеру, и солнце клонилось к закату, окрашивая снежную вершину Тау-Кешт в пурпурные цвета шахских одежд.

Неужели он просто заснул, устав от ожидания, и все остальное ему привиделось?!

Шах-заде поспешно вскочил на ноги — и тут же во всем теле отдалась ноющая боль. Во рту пересохло, перед глазами разом потемнело, рванув душу постылым воспоминанием... Значит, все

это случилось на самом деле? Проклятая пещера, где он проблуждал всю ночь, а к утру вышел... туда, откуда вошел! — и свалился без сил, чтобы проспать до вечера?!

Но где хирбеды с лошадьми, водой и провизией? Ведь Испытание завершилось!

Или нет?

Куда он должен был выйти на самом деле?!

Потрясенный этой догадкой: заблудился, проиграл, не выдержал Испытания! — Суришар растерянно озирался по сторонам, все больше убеждаясь в обоснованности своих подозрений.

В отчаянии шах-заде бросился к краю обрыва; и увидел.

Далеко внизу, по пыльной спине горной змеи-дороги, двигались три едва различимые чешуйки: фигурки трех всадников. Суришар напряг зрение, и ему показалось, что он узнает их. Да, точно: вредный Гургин и эта дерзкая недотрога Нахид! А третий... третий... На какое-то мгновение юношу обожгло изумление: третий — это он сам, только сильно постаревший, много повидавший на своем веку, истрепанный жизнью, будто верблюжье одеяло — кочевым погонщиком буйволов... Шах-заде упрямо мотнул головой, освобождаясь от колдовского наваждения, и вгляделся вновь. Конечно же, третий человек, восседавший на его — *его*, Суришара! — жеребце, был ему совершенно незнаком.

Чужак.

«Предатели! — гнев опалил юного шах-заде изнутри, вскипев лавой в жерле вулкана. — Изменники! Они еще поплатятся за это! Догнать, догнать и рассчитаться за все сполна!..»

Но как? Вниз головой с обрыва — и забрызгать своими мозгами негодяев?! Говорят, у раскосых вэйцев такой поступок считается наилучшей местью обидчику, но он, Суришар, не вэец, он кабирский шах-заде!

Гнев по-прежнему мерно клокотал внутри, но сверху его начала покрывать ледяная корка холодной, расчетливой ярости.

Гургин говорил, что на обратном пути они скорее всего заедут в Медный город. Вот и славно. Именно там он и перехватит изменников. Но для этого сначала надо добыть коня — пешком он будет добираться до города в лучшем случае неделю, если не сгинет вовсе в здешних ущельях. Коня! Полшахства за коня! Кто-то ведь живет в этих горах? Живет! Издалека они не раз видели прозрачные столбики дыма — верные признаки людских селений. Денег у него с собой достаточно, чтобы купить целый табун аргамаков и в придачу нанять проводника до города; да, проводника — обязательно, а то в этих нелепых грудах камня и заблудиться недолго. А если здесь действительно живут великаны и гули-людоеды... что ж, прекрасно! Он сразится с ними всеми — гулями, великанами, проводниками, горами, пещерами и судь-

бой! — сразится, что бы ни болтали предатели-хирбеды, и добудет коня силой! Предателям не уйти!

И, забыв об усталости, шах-заде решительно двинулся прочь от зловредной пещеры.

4

Лучина торчала, воткнутая в щель между плоскими нетесаными камнями стены, и скорее чадила, нежели разгоняла мрак. В углах сакли копились корявые извивы теней, притворяясь старой ветошью. Там что-то шуршало, пищало, бегало взад-вперед, наводя юного шах-заде на неприятные мысли. И пещеру напоминало, только еще противнее. Хозяин, сказавшийся Джухой («Я сам Джуха, и дед мой Джуха, и его дед; а отец мой — Аршантагур, и сын мой — Аршантагур, а внук снова Джуха — слава моему роду!») — так вот, этот самый Джуха, к счастью, свято чтил закон гостеприимства. И говорил понятно: на родине шах-заде примерно так же изъяснялись уроженцы Малого Хакаса, хотя Джуха, в отличие от хакасцев, изрядно коверкал самые простые сочетания слов.

Отчего речь горца походила на его хижину: сто лет простоит, но душу не радует.

Джуха усадил гостя за сланцевый блин, носивший гордое имя стола, и, наотрез запретив сразу переходить к делу или просьбам, принялся выставлять угощение. Вскоре и сам хозяин уселся напротив гостя, разломил лепешку и сделал щедрый жест, предлагая начать трапезу. Суришар, вспомнив обычаи хакасцев, рассчитывал на добрую толику вина, крайне уместного после гнусного Испытания; юноша ухватился за кружку, даже не очень разобрав сперва, что именно в нее налито — и жестоко поплатился.

Один-единственный глоток просяного пива, которое успело прокиснуть и прогоркнуть еще в дни деда Джухи, чуть не вывернул шах-заде наизнанку. Боясь закашляться (кто их знает, этих обидчивых скалолазов?!), он спешно ухватил со стола первое, что попалось под руку: сероватый шарик подозрительного вида и с резким запахом извести. Однако, против ожидания, шарик оказался отнюдь не пометом двузадой птицы Ум, а твердым и на редкость едким овечьим сыром. Он пришелся как нельзя кстати, мгновенно отбив вкус мерзкого пойла. От неожиданности юноша машинально хлебнул еще раз из глиняной кружки — мигом кинув в рот следующий шарик и отметив про себя, что в таком сочетании что-то есть.

Зато лепешки, густо усыпанные поверху сушеной кислицей, а также жаренная на углях баранина, окончательно примирили Суришара с местной кухней. Не успели оглянуться, а кувшин

опустел, уступая место горячему чаю. Какой же ужин без беседы? А какая беседа без чая?

Или это не чай? — впрочем, юноше уже было почти все равно.

И пиво булькало в желудке почти приятно.

Сначала Джуха, исполняя долг хозяина, поведал гостю о своем роде и о жизни в здешних горах. Юноша честно надеялся услышать о хмурых великанах и гулях-людоедах, однако речь все время шла о другом: предок Джухи налетел на кровника и угнал пять коз, потом кровник налетел на предка Джухи и отбил три козы, прихватив две чужие овцы и восемь горшков с пивом, потом сын предка Джухи отбил горшки без пива и овчину без мяса, зато обесчестил жену сына кровника, прилюдно назвав ее старой кошелкой, потом внук кровника... Великаны и людоеды в эти подвиги не мешались. Правда, горец помянул между делом подземных духов-альбестов, но явно больше для красного словца — сам Джуха с оными духами не встречался и, похоже, отнюдь не горел желанием встретиться.

Хватало кровников, коз и горшков.

Затем настала очередь Суришара рассказывать. Юноша набрал полную грудь воздуха и, стараясь не слишком врать, но и не говорить всей правды, поведал, как он, потомок знатного рода из далекого Кабира (чистая правда!) долго ехал по горам в сопровождении двух спутников (снова правда!) и как, проснувшись сегодня утром, обнаружил, что спутники исчезли, прихватив заодно его коня, провизию и прочее имущество (а ведь тоже правда! — удивился сам себе шах-заде); а потом он увидел их далеко внизу на дороге в обществе незнакомца, видимо, сообщника — и решил пуститься в погоню за проклятыми предателями, но для погони ему обязательно нужен конь; и хорошо бы — проводник, а то в здешних горах и заблудиться недолго.

Вот.

А теперь промочим горло.

Джуха сочувственно цокал языком на протяжении всего рассказа, а когда юноша умолк, заявил:

— Быть конь. И проводник. Сам проведу. Тропа знаю, быстро ехать. Вай, плохой люди тебе попались! Резать надо. Долго резать надо, сердце греть, печень греть, расстройство долой гнать! Завтра. А сейчас спи будем.

И без всякого предупреждения швырнул в лучину папахой.

* * *

Продавать коня Суришару никто не захотел: на все селение лошадей было не больше десятка, и хозяева соглашались скорее расстаться с руками-ногами, а также со всеми чадами и домочад-

цами, нежели с любимой скотиной. Ни за какие коврижки, а тем более — деньги. Однако Джуха сумел договориться с сыном двоюродного брата внука кровника, что тот даст гостю коня на время: добраться до Города. Там Джуха заберет коня и приведет обратно, а Суришар купит себе в Городе другого.

На том и порешили.

И вот теперь мохнатый низкорослый зверь, по недоразумению названный конем, споро трусил вслед за лошадью Джухи по, казалось бы, вообще непроходимым тропинкам.

— К вечеру-ночь быть в Город! — заверил юношу Джуха, сбив на затылок косматую папаху.

От папахи несло горелым.

Осыпям и изъеденным ветрами наростам не было видно конца-краю, зазубренные клыки скал яростно вгрызались в безумную синь неба, деревья, искривленные и скрученные своей тяжкой судьбой, изо всех сил цеплялись за камни руками-корнями... Подъем сменялся спуском, перевал — перевалом, от жесткого седла и тряской езды у шах-заде уже чувствительно побаливал крестец; вдобавок юношу нещадно донимали блохи — легионы их с радостью переселились на нового хозяина из кошмы, на которой юноша провел ночь в жилище Джухи.

Суришар терпел, стиснув зубы. Юноша прекрасно понимал, что Джуха не виноват — у них все так живут. Горец и без того сделал для шах-заде все, что мог, и даже больше: накормил, обогрел, оставил переночевать, добыл коня и лично вызвался проводить до Города. Кто сделал бы больше? Вся вина за теперешние злоключения лежит на «небоглазых» предателях. Ничего, скоро он до них доберется! До них и до их третьего сообщника, зачинщика святотатственного сговора! Как сказал о них мудрый Джуха? Резать надо? Правильно сказал! Будем резать.

Перевал.

Спуск.

Р-резать!

Подъем.

Перевал.

Долго резать! — все более ожесточался юноша, подпрыгивая на очередном ухабе и мимо воли расчесывая блошиные укусы. Никакого честного боя — резать, как поганых шакалов! Сердце греть, печень греть, селезенку, требуху... Впрочем, одного из злодеев придется оставить в живых, иначе он просто не найдет дорогу обратно в Кабир! — дошло вдруг до шах-заде.

Мир моргает редко, а Суришар, увы, не самая большая соринка в глазу.

И когда шах-заде, во время переправы через быстрину гор-

ной речушки, смирился с необходимостью оставить в живых красавицу-хирбеди, — за их спинами раздался вой.

Суришар самым постыдным образом вжал голову в плечи, не смея оглянуться. Трусость была присуща кому угодно, кроме молодого шах-заде, но рассудите, господа мои: люди и звери воют по-иному. А здесь желчью выхлестывалась первобытно-жуткая тоска, неотвратимая, как возмездие за грехи в потустороннем мире, и казалось — вековечная боль гор исходит унынием, глядя на скрытую до поры луну и захлебываясь от муки без конца и начала.

Лохматый конек прянул вперед и в один прыжок оказался на берегу, нагнав каурую лошадь Джухи.

Вой оборвался истошным взвизгом, от которого впору было оглохнуть, но эхо его до сих пор металось в теснинах, дробилось, множилось, всем телом ударяясь о скалы, в клочья разрывая самое себя, чтобы вновь и вновь вернуться...

Тишина.

Гулкая, набатная тишина заталкивает в уши бархатные затычки; еще и ладонями поверх хлопает, для верности.

— Что это было, Джуха? — свистящим шепотом спросил юноша, опасаясь говорить громко и не слыша звука собственного голоса.

— Горный Смерт был, — спокойно ответил проводник чуть погодя и добавил с ухмылкой: — Добрый знак.

— Добрый?!! — поперхнулся юноша.

— Ясно дела, — в свою очередь приподнял брови Джуха, удивляясь, что его спутник не понимает таких простых вещей. — Он же нас предупредила! А могло и не предупредить.

— И... что теперь?

— А-а, пустяк теперь! Ехай дальше. Темнота приди, мы должен сиди в Город. Тогда жизнь — хороший штука.

— А если это... не сиди в Город?

— Дохнуть станем, ясно дела, — пожал плечами Джуха. — А то пади на ночь в храме Дядь-Сарта, Гложущий Время... Но лучше сиди в Город. Или сдохни.

Дальше они ехали молча. Джуха задремал в седле, присвистывая заложенным носом, а шах-заде пытался представить себе что-нибудь хуже смерти.

Получалось плохо, зато блохи донимали куда меньше.

Так, безуспешно терзая себя горькими думами, шах-заде и не заметил, как они подъехали к заставе.

Очнулся он только от оклика Джухи:

— Пошлина платить надо! Деньга доставай!

Действительно, шагах в двадцати впереди дорога была перегорожена суковатым бревном, установленным на подпорках. А сбоку, под навесом, расположились двое близнецов-мордоворо-

тов: в одинаковых чекменях из рыжей шерсти, косматых треухах и с ржавыми, словно молью траченными, бердышами в руках.

Есть, видать, такая моль, что железо грызет за милые пряники.

— Дирхем и три медных даника за оба рыла, — хрюкнул левый мордоворот, нимало не интересуясь, кто такие путники и по какой надобности едут. Да и то сказать: даже проезжай через заставу разбойный люд с намерением позабавиться в Медном городе — разве ж признаются? А на роже редко у кого написано: я, люди добрые, вор и разбойник. Разве что клеймо палаческое на лбу стоит; да и то клейменых лучше заставщиками нанимать, чтоб злее службу вершили, а на лоб и треух недолго сдвинуть. Я, значит, сдвинул, а ты плати пошлину и проезжай.

Без лишних разговоров.

Шах-заде развязал тесемки кисета и, не слезая с коня, кинул заставщику золотой кабирский динар. Этого должно было хватить с лихвой: сколько бы ни стоил местный дирхем, пускай даже и больше двух третей динара, вряд ли въездная пошлина могла превышать золотой!

Монету прямо на лету словно жаба языком слизала, и мордоворот уставился на свою ладонь, как если бы пытался разобраться в линиях жизни и удачи.

Напарник, глухо сопя, заглядывал через плечо.

— Гляди, и у этих такие же, — пробормотал он, пока первый обстоятельно пробовал монету на зуб.

Суришара передернуло: вонзить зубы в изображение обладателя священного фарра, отчеканенное на монете, — это ли не варварство и святотатство?! Однако юноша сдержался. В здешних горах явно свои законы (небось те, которые дуракам не писаны!); местные дикари, возможно, вообще ничего не знают об истинном порядке вещей, как и упрямые горцы его родных краев... Ничего, они узнают! И те и другие!

Дайте только срок.

— Вкусно! — с уважением протянул левый заставщик, а правый отобрал у него динар и сам стал прикусывать подачку, пофыркивая от удовольствия. — Езжайте, люди добрые, дастарханом вам дорога...

И двинулся к странному приспособлению, состоявшему из деревянного ворота с ручкой, цепи, толстой измочаленной веревки и еще каких-то воротков поменьше. Зазвенела, натягиваясь, цепь, детина крякнул, поднатужась, пустил обильные ветры — и суковатый ствол начал медленно подниматься, освобождая путникам дорогу.

«Вишь ты: дикари, да не совсем», — честно признал юноша.

Уже проехав под поднятым стволом, он вдруг, повинуясь какому-то наитию, обернулся и поинтересовался у заставщика:

— А скажи-ка, любезный, кто расплачивался с вами такой же монетой, как мы? Не трое ли путников: долговязый старец с бородавкой под носом, наглая девица и...

Рука шах-заде скользнула в развязанный кисет.

— ...И здоровый дядька! — возликовал мордоворот, умудрившись поймать брошенный динар, ловко зажав его между плечом и щекой. — Одежа жеваная, рваная, а глазищи хи-итрющие! На роже шрам, да и слепому видно: всласть пожил... Пальцев на руке не хватает; и еще зубов.

— Зубов? На рука? — искренне изумился Джуха, но шах-заде мигом перебил своего проводника:

— Давно они проехали?

— Да с третий час будет. Уже в городе небось.

— Ниче, отыщем! И ты их зарезать, — утешил юношу Джуха, когда, уже в сумерках, они проезжали под аркой городских ворот.

Суришар искренне надеялся, что горец окажется прав.

ГЛАВА 4,

где излагаются многие соображения относительно дурных наклонностей золотых баранов, вспыльчивых юношей с усиками чернее амбры, ночных гроз и невезучих собак, но так и не раскрывается тайна ужасного воя в горах, хорошо известная всякому чабану от перевала Баррах до вершины Тау-Кешт

1

Постоялый хан со многими коновязями, верблюдовязями и даже одной слоновязью располагался совсем близко от крепостной стены. Рыскать по темным улицам в поисках бывших спутников не имело никакого смысла — те скорее всего давно устроились где-нибудь на ночлег. «Возможно, прямо в этом самом хане!» — мелькнула у Суришара мысль. Увы, надежду на скорую месть не замедлил развеять бритоголовый ханщик, когда шах-заде набросился на него с расспросами. Отведя Суришара в тень вековых карагачей, ханщик подробнейшим образом выслушал юношу, особо замечательные эпизоды упросил повторить, сочувственно хмыкнул, всплеснул руками, пересказал с десяток подобных историй, где мститель благополучно настигал обидчика...

Ханщику очень хотелось поговорить со свежим человеком. И толку от его сочувствия было чуть: поиски в любом случае откладывались до утра.

— Ниче, не уйти! — успокаивал юношу Джуха, налегая на заказанный его спутником плов и вино. — Утром конь тебе купать. Красный конь купать, быстрый. Потом враг найдешь. Зарежешь. И дом поедешь. Ай, хорошо!

Слова горца и уют хана малость успокоили Суришара. А вскоре выяснилось, что здесь не только вкусно кормят: кельи оказались чистые, с белеными стенами, с мягкими тюфяками и без клопов или блох, что было вообще удивительно.

Проснулся юноша ни свет ни заря — солнце еще только боком выползало из-за горизонта, а шило в седалище успешно подняло Суришара на ноги. Он растолкал ворчащего спросонья Джуху (постелью горец не воспользовался, отдав предпочтение дорожному кожуху); и они отправились на базар.

Город не произвел на шах-заде особого впечатления: он-то ожидал увидеть невесть что (что именно, он и сам не знал), а тут — смотри-моргай. Кривые улочки, высокие дувалы закрывают дома, площадь вымощена булыжником... Город был заметно меньше не только родного Кабира, но даже Хины или Харзы, где Суришар успел побывать. Лишь общественные хаузы-водоемы, аккуратно выложенные голубой плиткой и оттого на удивление чистые, а также высоченные башни храмов были Суришару в диковинку. «С хаузами они здорово придумали, — решил юноша. — Стану шахом, прикажу, чтобы и в Кабире так было».

И через минуту их захлестнула базарная разноголосица.

— Ай, слава славная! — туманно возвестил горец, потирая ладоши. — Пропустил, радость мой, вывел!.. ай, молодца...

И еле-еле успел вовремя ухватить своего спутника за локоть — иначе шах-заде уже готов был купить у лишайного прохвоста двух красавиц, подобных луне и вполне способных нянчить внучат. Прохвост был отогнан взашей, обиженные красавицы воспеты, но не куплены; и Джуха, игнорируя призывные вопли торговцев сластями и фруктами, лезущих под ноги попрошаек, разноцветье тканей со всех концов света, оглушительный гомон и дурманы из лавок, торгующих благовониями...

Короче, превратясь в каменного истукана, равнодушного к радостям бытия, горец поволок обалделого Суришара прямиком к конному ряду.

Здесь уж настал черед шах-заде: уж в чем, в чем, а в лошадях юноша разбирался. И теперь сам повлек Джуху мимо бородатых гуртовщиков — все, как на подбор, в дерюжных халатах, подпоясанных веревками, с полами, заправленными в холщовые штаны. Ведь ясно и без разглядывания: кони тут продаются мужицкие — ширококостные, коренастые, с огромными копытами, размером и твердостью напоминавшими головы продавцов. На таких ломовиках только землю пахать или зерно на мельницу во-

зить! Нет уж, Джуха, пошли, пошли, кончай глазеть! — и вскоре тяжеловозы уступили место настоящим бегунцам.

Разочаровав Джуху донельзя.

Суришар долго приглядывался к стройному гнедому трехлетке, чья грива была заплетена в мелкие косички. Зашел сбоку и спереди, резко взмахнул ладонью перед самой мордой: нет, не подслеповат скакун, отпрянул, захрапел!.. ощупал бабки, суставы, понюхал копыта, проверил на шагу и рыси. Всем хорош конь: стать лихая, легок на ногу, хотя сразу видать — долгой скачки не вынесет. Но тут шах-заде спохватился, вспомнив старое правило, усвоенное еще от дворцового конюшего: если сразу конь глянулся, если глаз прикипел — бери, сколько бы ни стоил! Нет денег — в долг бери, умоли, угони, укради, или душа соком изойдет! А ежели задумался, прикидываешь, весы уравновешиваешь — отойди, брось маяться!

Не про тебя конь, не нужен он тебе.

Да и ты — ему.

Это правило всегда действовало безотказно, и юноша отправился дальше.

А потом он увидел.

Чалый красавец-скакун заговорщицки косил на него влажным лиловым глазом, вскидывал узкую, щучью морду, чуть ли не подмигивал: бери, не прогадаешь! Я — твой! Одного взгляда Суришару хватило, чтобы понять: конь прав. Рождены друг для друга.

И юноша полез за пазуху: доставать кисет.

Торговаться шах-заде не умел в силу происхождения, но теперь настала очередь верного Джухи. Спорили всласть: долго и упорно, ударяя шапками оземь, призывая в свидетели всех и каждого — людей и богов, зверей и демонов, купцов и прохожих, Дядь-Сарта и Горный Смерт — но в итоге ушлый Джуха сбил-таки цену почти на треть.

В придачу выдурив роскошный ковровый чепрак.

Солнце близилось к полудню, когда они вернулись в хан.

— Все, парня. Мне вертайся надо. Удачи!

Оставаться в незнакомом Городе и в одиночку пускаться на розыски беглых хирбедов было тоскливо, но — ничего не попишешь. Джуха, совершенно чужой ему человек, и так сделал больше, чем лучший друг или родной брат. Пора и честь знать.

Суришар щедро расплатился с проводником, а также за аренду взятого напрокат конька (цену двоюродный кровник Джухи заломил такую, что впору было вернуться, согреть сердце традиционным способом горцев!). Но возвращаться шах-заде не стал.

И торговаться опять не стал. Лишь вздохнул тихонько и долго смотрел вслед, пока кожух и папаха не скрылись за поворотом.

А после, когда и топот копыт в переулке затих, юноша препоручил своего чалого заботам ханщика и отправился на поиски.

2

Справедливо рассудив, что беглецы должны были где-то ночевать, Суришар начал обход города с местных постоялых ханов. За скромную плату хозяева охотно сообщали юноше, кто вчера останавливался у них на ночлег; и, казалось, поиски вот-вот увенчаются успехом. Однако вскоре выяснилось, что ханов в Городе — превеликое множество, и еще неизвестно, удастся ли обойти их все до темноты.

Шах-заде приуныл. Огненная птица-солнце весело подмигивала юноше с небосвода, щедро обрушивая на город слепящий жар своих перьев. Ханщики утирали пот с бритых макушек, перечисляли постояльцев, Суришар вежливо благодарил и шел дальше. Странное дело: поначалу Город глянулся шах-заде совсем убогим — но раз за разом перед юношей открывались все новые площади, улицы и переулки, крепостные стены норовили удрать подальше, и когда солнце начало клониться к закату, Суришар окончательно укрепился во мнении: Город этот если не Медный, то наверняка заколдованный, и заколдован он исключительно с целью заморочить Суришару голову!

А может, и вовсе в сговоре с проклятыми хирбедами.

Изрядно проголодавшись за день, юноша решил наконец зайти в ближайшую чайхану — перекусить. Он и предположить не мог, что в этом чадном и шумном заведении удача наконец соизволит улыбнуться ему. Видимо, понравился удаче молодой красавчик: хорошо сидел, хорошо жевал сочный беш-кебаб, вино молодое глотал хорошо и ушки на макушке держать не забывал!

— Эй, Али-хозяин, что за гостя ты сегодня привечал? Уж не пророк ли заезжий или там святой-чудотворец?

— Шутишь? — Хозяин подозрительно скосился на шумного болтуна, облаченного поверх халата в кожаный фартук сапожника или скорняка.

Нет, скорее все-таки сапожника: у скорняков одежа вонючая...

Болтун прочистил горло, взлохматил черную, как смоль, шевелюру и залпом осушил вместительную кружку.

— Ты, Марцелл, и сам у нас вроде чудотворца, — вмешался в разговор купец средней руки, вытирая ладони о полы длинного казакина. — Еще отец мой, бывало, едва завидит тебя в чайхане, и давай сразу вспоминать, как вы об заклад бились в молодости — кто кого перепьет?! Только отец мой давно в раю гурий за ляжки щупает, а ты все по канавам отсыпаешься... Не надоело?

— А, мало ли что дураки вспоминают! — небрежно отмахнулся чернявый Марцелл. — Не лез бы твой родитель меня перепивать, глядишь, и по сей день небо коптил бы помаленьку... На все воля Всевышнего! А вот когда впереди человека в таверну входит золотой баран, сияя, как начищенный сапог, — это что-нибудь да значит?!

— Какой-такой баран? — мало-помалу раздражался хозяин. — Баранов всяких видел, включая тебя, но чтоб золотой... Ты это если платить не хочешь, так сразу и говори, чтоб я тебя к судье за шкирку волок! Ишь, удумал: баран...

— Кто из нас пьян? — хитро усмехнулся сапожник. — Ну, ежели тебе скупердяйство зенки застит и ты чудо из чудес не увидел, так хоть дядьку того запомнил? Трепаный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!

Суришар вздрогнул, напрягся и весь превратился в слух.

— Ну! — уверенно подтвердил хозяин, сообразив, что сапожник не собирается увиливать от платы. — У него еще ухмылка щербатей твоего гребня и горло вроде как перерезано, сохрани нас всех Аллах от злой участи! Небось лиходей-заброда.

— Сам ты лиходей, — скривился купец, о котором успели забыть. — Лиходеи сами берут, а не платят-заказывают. И старики с лиходеями не ходят, почтенные такие старцы в плащах, и порядочные девицы с лиходеями за одним столом не сидят! А с этим и ходили, и сидели. Старик — ладно, а девица — очень даже ничего девица, прямо замечу! Персик, не девица! Пери, не девица! Щечки розовые, глазки небом отсвечивают...

— Кому что, а Мурзе все глазки! — хохотнул кто-то. — Небось уже и разузнал, где остановилась, чтоб ночью наведаться! Авось пустит Мурзового осла в стойло!

— А то как же! — самодовольно подтвердил Мурза-купец. — В хане хромого Кумара и остановилась. Старик еще две кельи взял: одну — красотке, одну для мужчин.

Народ загомонил, смакуя любимую тему, и никто не расслышал, как сапожник в фартуке произнес нараспев, глядя в пустую чашу:

— ...И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра...

Никто, включая Суришара, которого в чайхане уже не было.

Он услышал все, что хотел.

3

...Уже четвертый по счету прохожий охотно указывал Суришару дорогу к хану хромого Кумара — каждый раз отправляя молодого шах-заде в противоположную сторону; и каждый раз юноша неизменно возвращался в один и тот же грязный пере-

улок, зажатый между косыми дувалами, за одним из которых при его появлении слышалось злорадное козье меканье.

Когда юноша оказался в переулке в четвертый раз, уже начало смеркаться. Откуда-то налетел колючий, совсем не южный ветер, швырнул в лицо пригоршню мелких дождевых капель. Капли были похожи на слезы, и шах-заде, чуть не плача от бессилия, так и не понял: дождь ли это, или глаза все-таки предали наследника престола?

А потом сомнения мигом улетучились: ветер ударил крылом, прошелся в брачном танце, взбив пыль смерчиками, и следом хлынул такой ливень, что юноша невольно втянул голову в плечи.

Укрыться от грозы в переулке было негде. Да теперь это и не имело никакого смысла: в первые же мгновения Суришар вымок до нитки — не помог ни плащ, ни высокая шапка-калансува с назатыльником.

Ливень же, словно куражась над молодым человеком, вскоре ослаб, но прекращаться и не подумал: верно, решил посмотреть, что юноша станет делать дальше.

Бродил вокруг, погромыхивал, молнии гонял туда-сюда: эй, человек, ну спляши, что ли, все веселее!.. и злорадствовала невидимая коза за дувалом, чтоб ей сдохнуть, проклятой!

Окончательно пав духом и махнув на все рукой, шах-заде побрел прочь, куда глаза глядят, поминутно оскальзываясь в грязном месиве... чтобы минутой позже встать столбом, разом забыв про дождь и холод.

У выхода из переулка шел бой.

Не на жизнь, а на смерть.

Круторогий баран, чья шерсть неестественно блестела от осевшей на ней влаги, сражался за свою баранью жизнь с голодным псом.

«Ну вот, где еще по улицам беглые бараны разгуливают?» — вяло удивился шах-заде, но тем не менее остановился посмотреть, чем окончится странный поединок.

Поначалу казалось, что пес обязательно возьмет верх: вот он вцепился барану в шею, мощные челюсти сжались мертвой хваткой... Однако, вопреки здравому смыслу, на его рогатого противника это не произвело особого впечатления. Баран встряхнулся, весь в брызгах, легко сбросил с себя пса и так наподдал ему вдогонку рогами, что зубастый любитель свежатины со всего маху шмякнулся о ближайший дувал! Не давая врагу опомниться, баран коротко разогнался и живым тараном врезался в затравленно скулившую собаку. Захрустели кости, пес истошно завизжал, а баран, не останавливаясь на достигнутом, продолжал с яростью топтать содрогающееся тело острыми раздвоенными ко-

пытами. Хруст, визг — шах-заде, не веря своим глазам, наблюдал, как пес в последний раз дернулся и затих.

Победное блеяние огласило переулок, ударилось о дувалы, притихшие в испуге, а затем баран наклонил голову и принялся рвать поверженного врага своими плоскими зубами, время от времени жадно глотая кровоточащие куски собачатины!

Суришар мимо воли отступил на шаг — и в этот самый момент баран на миг оторвался от жуткого пиршества. Взгляд его налился пурпуром, два огня зловеще засветились в сумерках и уперлись в наследника кабирского престола, не суля молодому шах-заде ничего хорошего.

Баран утробно заурчал и вразвалочку двинулся к юноше.

Уже не думая о своем достоинстве и о том, как будет смотреться со стороны наследник престола, удирающий от барана, шах-заде развернулся и помчался со всех ног. Позади мерно цокали копыта. Юноша бежал что есть мочи, но цокот копыт неотвратимо приближался. Улица впереди раздваивалась, и Суришар инстинктивно замедлил бег в нерешительности: куда свернуть?

Однако раздумья юноши были недолгими: чувствительный удар пониже спины направил шах-заде в левый проулок, а ноги сами понесли дальше. Проулок круто свернул вбок, и Суришар, следуя его изгибу, с разгону выскочил на маленькую площадь — где и налетел на какого-то кряжистого горожанина.

— Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... — ухмыльнулся тот, рассудительно подытожив: — Так и зашибить недолго!

Сполох молнии высветил его лицо, бросил отблеск на ладонь, которая неторопливо оглаживала бороду; и Суришар задохнулся, благословляя судьбу в облике хищного барана.

«...Трепаный такой мужик, борода клоками, шрам на роже, и двух пальцев на руке не хватает!..»

— Попался! — счастливо возвестил шах-заде и потянул из ножен саблю.

4

...подковы небесных всадников грохотали вдалеке, суля грозу. Но Абу-т-Тайиб не внял этой угрозе. Он вдруг решил покинуть чайхану, сей приют обремененных голодом и жаждой. Без видимой причины. Можно было уйти, можно было остаться и заказать еще гранатового сока, от которого плясало чрево и сводило скулы; можно было вернуться в келью постоялого хана и лечь спать. Можно было все. Чуть ли не впервые в жизни; так бывает, когда ты вдруг понимаешь, что Аллах дал тебе душу в залог отнюдь не навсегда, понимаешь остро и ярко, до сердечной боли и

ледяного, темного спокойствия. Именно поэтому старый поэт капризничал в мелочах, изводя навязавшихся спутников и тайно радуясь действительности. Есть люди, с которыми ты незнаком и которые твердо знают, что тебе надо делать и куда тебе надо ехать. Не счастье ли? Е рабб, тебя провозглашают шахом и валятся в ноги? — даже если маг с бородавкой безумней весеннего павлина, какая разница? Да, халиф на час! А там... там видно будет. В шахский венец он верил не больше, чем во встречу с птицей Рох, но к чему искушать судьбу и Аллаха?

Или скажем иначе: стоит ли лезть со своим пеналом в чужую медресе? Жизнь продолжается, а в последние годы он редко загадывал больше чем на день вперед.

Этот день прошел.

Маг и девушка безропотно последовали за ним, когда он поднялся из-за стола. И Абу-т-Тайиб отметил про себя, что уже начал к этому привыкать — к неотвязной парочке, к их послушанию и повиновению: у старика — вполне искреннему, у девушки же... с норовом девица!

Такие ему нравились.

О них хотелось слагать стихи, звонкие, словно дамасский клинок, журчащие, будто река на перекатах; а для ложа вполне годились другие, послушные и искусные.

Под ногами чавкала грязь, подражая нечистому животному свинье; дождь выжидал, пока люди окажутся под открытым небом и отойдут подальше от чайханы, чтобы припустить изо всех сил. Куда идти, Абу-т-Тайиб еще не решил; и после долгого кружения по улицам, в котором смысла крылось не более, чем в послеобеденной отрыжке, он остановился, поджидая своих спутников. Те не торопились, и мокрый до нитки поэт успел вволю поразмышлять о странностях Медного города: создавалось впечатление, что не люди идут по улицам и переулкам, а город водит людей сам по себе, играя в сложную игру с непредсказуемым результатом.

Как они тут живут, местные горожане?.. и льет, льет — когда прекратится?!

Почти сразу из-за угла и вылетел сломя голову молодой человек, как если бы за беднягой гналась целая свора ифритов, и с размаху врезался в поэта.

К счастью, оба устояли на ногах и никто не шлепнулся в лужу.

— Тише, юноша, подобный вспышке молнии во мраке... — Абу-т-Тайиб справедливо решил, что выбрал неудачное место и время для красноречия, а посему закончил просто: — Так и зашибить недолго!

В ответ скороход самым невежливым образом уставился ему

в лицо — остатки зубов пересчитать хотел, что ли?! — затем отшатнулся и с возгласом «Попался!» выхватил саблю.

Поэту даже показалось сгоряча, что это пылкий жених-бедуин восстал из могилы и догнал его по ту сторону жизни, дабы свести счеты. Высверк клинка над головой оставлял мало времени для раздумий, а умирать во второй раз не хотелось — вряд ли тебе заново предложат шахский венец! Удар был хорош, и направь его безумный юноша как надо, наискосок — лежать бы Абу-т-Тайибу в грязи, разрубленным от ключицы до... в общем, все равно уже до чего.

Тем паче что машрафийский меч, за который поэт отдал в свое время блюдо полновесных динаров, остался там, в самуме прошлого.

К счастью, юноше непременно хотелось снести с плеч мерзкую голову со шрамом на скуле. Желание вполне здоровое и даже благословенное: потому что, когда поэт в последний момент бухнулся на колени, клинок со свистом прошел над его уккалем, подбрив ворсинки ткани.

Прошлое скрыл мрак, где пахло мокрым войлоком, будущее рассмеялось с отчетливым привкусом безумия; и час нынешний стал всем временем сразу, от сотворения до гибели мира.

Мира по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

— Ты тоже хочешь насладиться «серым» хвалебным мадхом?! — тихо спрашивает Абу-т-Тайиб, чувствуя, как страшно горят от падения колени, изодранные пещерой; и еще — как закипает внутри то варево, хлебнув которого ты можешь отрезать обидчику губы и заставить бывшего владельца съесть их без соли и куфийских приправ.

Выпад. Прямо в лицо. Сабля плохо приспособлена для таких игр, но рука юноши тверда, и приходится снова издеваться над своими коленями. А также наскоро вспоминать полузабытую науку «детей Сасана» — братства плутов и ловкачей, чья забота в свое время прикрыла поэта от гнева халебского эмира. Шаг, нарочито грузный, снова шаг, подошва сапога скользит по земле, проворачиваясь на носке; и край халата, обласканный сабельным лезвием, повисает хвостом шелудивого пса... жалко, но своя шкура дороже.

— Тише, юноша, подобный блеску молнии во мраке...

Удар.

Злой, бешеный, и оттого бессильный.

— ...наслаждению в пороке, дивной пери на пороге,
Нитке жемчуга во прахе...

Удар.

— Сладкой мякоти в урюке, влаги шепоту в арыке,
Просветленью в темном страхе...

Возраст неумолимо берет свое, хрипло посмеиваясь втихомолку, набивая грудь ветошью, а суставы — железной крошкой, но «сасанская пляска» все длится, подменяя юность памятью, памятью о славном ловкаче Али по прозвищу Зибак, что значит «Ртуть», и о его повадках, следить за которыми было привилегией избранных.

И еще: нутром, чутьем битого бродяги поэт понимает, что убить горячего юнца легко, заставить съесть собственные губы — трудно, но можно; а то, что происходит сейчас, стократ жесточе и первого, и второго.

— Башне Коршунов в Ираке, мощи буйволов
двурогих,
Шелесту ручья в овраге...

Ливень хлещет сотней плетей по спине, по стене, по глиняным дувалам, истрепывая вдребезги пространство, и хвала Аллаху за сей ливень, ибо сволочной юнец привык биться на твердой земле и даже скорее всего под аплодисменты зрителей.

Грязь не для него.

Грязь уравновешивает годы.

— Доброму коню в дороге, неврежденью
в смертной драке —
Но невольницей в остроге ждет душа...

О благословенная грязь, в которой Абу-т-Тайиб должен был найти последний приют, второй после самума! — беспалая ладонь мимоходом зачерпывает полную горсть тебя, о дивная, бесконечно грязная грязь; и подарок отправляется прямиком в лицо юноши.

Простые средства всегда самые действенные: например, кровопускание или прижигание. Или липкая жижа в нужное время и нужное место. Юноша бестолково взмахивает руками, видимо, окончательно ощутив себя сизым кречетом, плюется, рычит — и тяжелый кулак основательно ласкает сперва плоский живот буяна, а затем и затылок.

Сабля верткой щукой плюхается в лужу. Сам же юноша грузно валится в ноги поэту, валится крайне неудачным образом, мешая продолжить мадх и, что главное, сшибая наземь, поскольку левое колено подвело-таки владельца... а дождь радостно скачет вокруг, стегая наотмашь копошащиеся тела.

Минутой позже тел становится трое.

А еще спустя миг, короткий и полный яростного движения, драчуны выясняют новое обстоятельство: они стоят на четвереньках в семи локтях друг от друга, а между ними стоит баран.

Здоровенный баран очень мрачного вида; и в свете очередной молнии шерсть его отливает синеватым золотом, а глаза явственно мечут искры.

Чуть поодаль молчат маг с девицей, и холодные струи текут по их лицам ручьями; но руки так ни разу и не поднялись отереть воду.

Зато дождь вскрикивает, эхо отдается за горами, и небо перестает рыдать.

Тишина.

Баран сурово глядит сначала на поэта, потом на юношу, потом оброненная сабля ломается под тяжелым копытом, и незваный миротворец бредет восвояси, раздраженно блея.

Маг делает шаг вперед.

— Фарр-ла-Кабир не спешит, но везде успевает, владыки мои! Мы поедем домой все вместе. Знакомься, о избранник судьбы: это теперь твой названый сын, шах-заде Суришар. И ты знакомься, шах-заде: перед тобой будущий шах Кабира!..

Будущий шах встречается взглядом с названым сыном и вдруг чувствует себя молодым.

Совсем молодым.

Такая замечательная ненависть горит во взгляде шах-заде.

КАСЫДА О ВЕЛИЧИИ

Величье владыки не в мервских шелках, какие
на каждом купце,
Не в злате, почившем в гробах-сундуках, —
поэтам ли петь о скупце?!

Величье не в предках, чьей славе в веках сиять
заревым небосклоном,
И не в лизоблюдах, шутах-дураках, с угодливостью на лице.

Достоинство сильных не в мощных руках —
в умении сдерживать силу,
Талант полководца не в многих полках, а в сломанном
вражьем крестце.

Орлы горделиво парят в облаках, когтят круторогих архаров,
Но все же: где спрятан грядущий орел в ничтожном
и жалком птенце?!

Ужель обезьяна достойна хвалы, достойна сидеть
на престоле
За то, что пред стаей иных обезьян она щеголяет в венце?

Да будь ты хоть шахом преклонных годов,
султаном племен и народов, —
Забудут о злобствующем глупце, забудут о подлеце.

Дождусь ли ответа, покуда живой: величье —
ты средство иль цель?
Подарок судьбы на пороге пути? Посмертная
слава в конце?

ГЛАВА 5,

где слышится скрежет зубовный, пахнет заговором, воруются пеналы из мореной черешни, жрецы увлеченно ползают на коленях, а в довершение всего ангел Джибраиль так ни разу и не появляется на страницах этого повествования

1

Зубы болели так, словно по каждой челюсти весело скакала дюжина шайтанчиков, топоча копытцами. Хотелось разодрать десны ногтями, разодрать до самых пяток и выковырять все, что может болеть, включая сердце и печень. Короче, едва мучительный прилив отступал, откатывался в безбрежный океан пекла, где ему и место, Абу-т-Тайиб чувствовал себя заново родившимся и с трудом переводил дух.

После чего в очередной раз связывал нить предыдущих размышлений, оборванную приступом, и продолжал кругами бродить по покоям.

Он — шах. Этот, как его... Кей-Бахрам. Трам-тарам. Странник по мирам, расположенный к пирам. Имя выглядело чужим, его можно было взять в руки и потрогать, с содроганием ощутив шероховатость и заусенцы по краям. Оно и было чужим, данное ему вчера имя. Чужим было все: дворец, покои, преклонение и раболепие, судьба была чужой, одежда, надежда... Пока все идет хорошо, как говорил один мулла, падая с минарета.

Пока все идет хорошо.

Абу-т-Тайиб еле сдержался, чтоб не хватить кулаком по столу, инкрустированному нефритом и яшмой; потом пожалел себя и стол. Кулаки не помогут, хоть в кровь разбей. Ты — шах, мой красавец! Пусть имя твое на айванах царит, и счастье немеркнущим светом горит над родом и краем, и ратью твоей, и ликом, и царственной статью твоей! Во всяком случае, так утверждают твои верноподданные благодетели, утверждают в один голос, стремглав падая ниц, как если бы твое шахское величество пинало их под коленки. Будь счастлив, мой дорогой халиф на час; обжирайся дармовым сыром, пока рычаг мышеловки не привел в движение грубую прозу бытия.

В последнем поэт не сомневался.

Абу-т-Тайиб подошел к столу и налил себе в кубок из серебряного кувшина, покрытого тонким кружевом черни. Какая-то

добрая душа с вечера наполнила кувшин кисленьким отваром, совершенно не хмельным, и даже наоборот: голова после него становилась ясной, а зубная боль слегка отступала. Поэт отхлебнул глоток, потом прополоскал рот и сплюнул в угол. На ковер. На роскошный ковер с орнаментом из пурпурных и лиловых ромбов. Шах он или не шах?.. по всему выходило, что шах, плюй-не-хочу.

Следующий глоток легко скользнул по горлу в желудок. А поэт вдруг припомнил, как после очередного перевала в горах без названия мир вокруг него мигнул. Ощущение было странным, словно предстояло давать новые имена старым знакомым, а душа вдруг стала курильницей из белой меди, пустой и звонкой. Но они вскоре поехали дальше — и поэт вновь постарался задремать в седле. Урвать хоть крупицу отдыха, благо есть возможность. Ночами на привалах он мучился бессонницей: вслушиваясь в каждый шорох, подскакивая от дуновения ветерка. Причина была проста. Абу-т-Тайиб давно утратил наив юности, и теперь справедливо полагал в новообретенном названом сыне искреннее желание — перегрызть глотку названому папаше при первом удобном случае. На сторожевые достоинства мага с бородавкой, а уж тем более дерзкой девицы, поэт полагался слабо. Зато на остроту ножа Суришара... ох, тут и заснул бы, а невмоготу! Уж больно явственно вспыхивали глаза мальчишки, когда взгляд его будто случайно падал на Абу-т-Тайиба, бродягу, укравшего у шах-заде отчий венец!

Сам поэт тогда еще не верил ни в какие венцы, кроме венца сумасшествия на головах спутников. Он просто ехал рядом с ними, рассчитывая облобызать всю троицу, едва они доберутся до торговых дорог — и никогда больше не встречаться с удивительной компанией.

В Медном городе поэт на базаре встретил троих дар-ас-саламцев, в постоялом хане успел переговорить с басрийским цирюльником, которого шальная судьба занесла сюда пять лет тому назад — и способ возвращения домой казался простым и верным. Поэт катал на языке это сладкое слово «домой», впервые ощущая его подлинный вкус, вспоминал былую жизнь чуть ли не с умилением, прощая обидчиков, восхваляя друзей, молясь за убитого жениха-бедуина и иных бедняг, чьи головы ему довелось отделить от тел...

Эйфория длилась до тех пор, пока мир не научился моргать.

А спустя еще сутки их встретила толпа вельмож, разодетых пышней слив в цвету.

— Радуйтесь! — сипло возвестил маг, подымаясь на стременах, и предгорья откликнулись шумным эхом. — Испытание завершено, фарр-ла-Кабир вновь сияет нам в полном блеске! Вот ваш шах!

И первым слетел с седла, дабы простереть ниц свое почтение перед убежищем власти, в смысле перед лошадью Абу-т-Тайиба.

Мгновением позже выяснилось, что путь домой изрядно осложняется, если не откладывается вовсе, а безумие старца заразней чумы. С кликами радости благородные господа принялись освобождать коней от тяжести своих благородных задниц; и вскоре Абу-т-Тайиб мог вдоволь любоваться ягодицами и спинами, обтянутыми шелком и парчой. Последним пал ниц драчун Суришар, так и не сделавший попытки на привале сунуть нож в бок оскорбителю. Лошадь поэта пятилась, справедливо пугаясь открывшегося ей зрелища, сам Абу-т-Тайиб прикусил палец изумления зубами сдержанности, и на ум не приходило ни одной путной идеи.

Велеть им подняться?

Развернуться и поскакать прочь?!

Сделать вид, что ничего не произошло?.. ха! — легче сказать, чем сделать.

Пришлось выпутываться обычным способом.

— Э-э-э... негоже достойным валяться в пыли, усами дороги мести. — Пехлевийские слова, став привычными за неделю пути, сейчас спотыкались хромыми мулами; было стыдно. — Негоже великим владыкам земли... земли... от слуг только лесть обрести! Поклон не позор, но позорней стократ...

Хвала Создателю миров! — они начали подыматься. И можно было замолчать. Захлопнуть пасть, надежно укрыв окостеневший язык, не способный родить рифму к слову «стократ»; продолжить путь в шелесте и гомоне, в неподдельной радости, в искреннем обожании, в сладости сердец, распахнутых навстречу повелителю.

Вчера его торжественно возвели на престол; весь город, который местные жители звали Кабиром, ликовал и пил за здоровье владыки.

Он — шах, Кей-Бахрам.

И все же он — Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. А посему плохо верит в обожание и сладость сердец, в динары, щедро рассыпанные под ногами, и в суку-удачу, когда та сама лезет в руки; ты ее отталкиваешь, пинаешь острым носком сапога, а она лезет, тычется мордой, скулит: «Возьми!»

В такую удачу поэт не верил вообще.

2

...зубная боль вновь уходит на миг, и миг кажется вечностью, особенно когда ты знаешь: быстрее всего заканчивается именно вечность.

Остановись.

Хлебни отвару, огладь бороду; заставь мысли бежать в нужном направлении.

Иначе... иначе нельзя.

Итак: что остается предположить? Первое — он, несчастный дурак, застигнутый врасплох самумом, благополучно скончался от удушья, от тяжести песка, и сейчас видит дурацкий смертный сон. Истлевая под мавзолеем пустыни. Сон противоречит общим представлениям о Божьем промысле, но кто намерен оспаривать право Творца на шутку? — и вообще: какие сны в том смертном сне приснятся?! Может быть, именно такие, с белостенным городом Кабиром и шахским престолом...

Предположение имело право на существование — но право маленькое, кунее, с горчичное зерно, и Абу-т-Тайиб забросил его в самый дальний угол. Туда, где на стене, в окружении свиты кинжалов, наискось висел владыка-ятаган: роскошный клинок, держать который в руках было подлинно шахским удовольствием.

Вот поэт и держал, уже три раза за сегодня держал, чтоб потом аккуратно повесить на прежнее место.

Второе предположение стоило первого: допустим, он тронулся рассудком. И теперь по Степи Копьеносцев скитается блаженный доходяга, пуская слюни и воруя у бедуинов плошки с молоком вечернего удоя; а видит сей юродивый, как его силком возводят на трон, видит и путается в сомнениях...

Нет.

Что-то не сходится.

Дальний угол пополнился еще одним отброшенным выводом, а поэт принялся за третье предположение.

Все происходит на самом деле. Мир велик, и в нем вполне сыщется место для Кабирского шахства. Где-нибудь на краю света, к примеру, за страной чинов или вообще в Уделе Черных джиннов. Всякому просвещенному человеку известно: знакомыми народами заселена лишь четверть земного круга, а что творится в остальных трех четвертях — ведомо одному Совершеннейшему Благотворителю! Кстати, надо будет позже спросить... нет, велеть принести ему карту здешних земель! Авось прояснится. Но дело не в карте, а в том, что в Кабире недавно скончался шах. Скончался безвременно, согласно заверениям мага с бородавкой, а шахи безвременно не кончаются — ежели на то нет особых причин. Разговоры о возрасте покойного (и до двухсот лет не дотянул, бедняга — ха!) мы оставим на потом, а сейчас...

Предположим, владыку тихо убрали из государственных соображений. После чего наследники с похвальным единодушием стали отказываться от Испытания, сулящего им венец. Насколько известно под горбатым небосводом, наследники от трона тоже просто так не отказываются — значит, и здесь был свой резон.

Даже какой-то Лухрасп мигом слег в горячке, едва собрался съездить за шахским титулом. Камешек ложится к камешку, и умненький-безумненький маг Гургин отправляется за семь фарсангов шербета хлебать, вкупе с самым глупым претендентом на трон и наглой девицей, которой не владык на престолы возводить, а стонать сладким стоном под законным муженьком!

В итоге юный шах-заде должен был остаться в глуши навсегда. Глупый верблюжонок лишь чудом избегнул скорбной участи, а на трон... А на трон возвели никому не известного чужака, пред которым вельможи склонились, как перед отцом родным!

У Абу-т-Тайиба потеплели ладони. Он вытер их о халат, оцарапавшись драгоценным шитьем, и продолжил кружение.

Вот, вот оно, рядом, рядышком...

Марионетка на троне, пустышка, перекати-поле! Вызванный колдовством проклятого Гургина из несусветной дали, глиняная свистулька, куда хозяин-невидимка станет дуть по мере надобности — чтобы вскоре растоптать тяжелым каблуком! И впрямь халиф на час! — только минуты уже бегут, и лишь судьбе известно, какая из них станет роковой... Надо было исчезнуть еще в горах, а сейчас поздно, сейчас даже из дворца выйти не дадут: если догадка верна, то нового шаха сторожат бдительней, чем узника халифских темниц!

Спокойно, Абу-т-Тайиб, спокойно, голова твоя пока еще на плечах! А жизнь — не такая уж потеря, чтобы биться лбом об пол, кляня в отчаянии всех и вся; но жизнь — и не такая уж безделица, чтобы кукла стала рвать нитки раньше времени.

И зубы болят... Е рабб, ну почему зубы болят даже у марионеток, даже у шахов?.. Аллах, прости святотатца — у тебя тоже иногда болят зубы?!

Поэт встряхнулся мокрым псом, отставил кувшин и принудил себя улыбнуться. Что делает связанный по рукам и ногам узник, угодив в зиндан? Сперва глаза должны привыкнуть к мраку ямы, после стоит вслушаться в шаги над головой... опробовать на крепость веревки, проверить узлы — к птице свободы подкрадываются исподволь, ощупью, боясь спугнуть! Это отлично известно тем, кто больше месяца гнил в зиндане эмира Бахара, да прогрызут черви насквозь его ядовитую печенку! Интересно: а если я сейчас велю собрать военачальников и объявлю Бахару войну? Молодец, стихоплет, быстро осваиваешься... Будем считать, что к мраку привыкли и в шаги вслушались. Пора осмотреть веревки, дернуть цепи: нет ли изъяна в каком звене?

Сунув ноги в теплые кауши, расшитые золоченой канителью, Абу-т-Тайиб подошел к дверям покоев. Сегодня он еще ни разу не выходил отсюда; впрочем, он вообще ни разу не выходил от-

сюда — шахом. Куклу делали, наряжали, а затем она до поры легла в сундук. Итак...

Двери отворились без скрипа, от малого толчка ладонью, и из коридора в лицо пахнуло сырой прохладой. Тишина. Лишь в отдалении слышна глухая воркотня, но слов не разобрать, и ничего не разобрать: то ли люди разговаривают, то ли кони фыркают, то ли голуби... А вот теперь слышно: дышат. Сипло дышат, вполгруди, стараясь помешать воздуху заклокотать в глотке, выйти нутряным храпом.

Выберемся-ка наружу, поглядим, кто это тут у нас дышит?

Коридор оказался скорее галереей (вчера не разглядел, вчера было не до того!). Ряды сводчатых ниш, в глубине каждой теплится малая лампадка, дрожа язычком пламени — десятки змей трепещут огненными жалами, и стены между нишами кажутся перламутровыми от мельчайших росписей, татуировки от пола до потолка. А по обе стороны дверей в шахские покои замерли великаны. Двое, точно Яджудж и Маджудж. Сизые от бритья макушки увенчаны пуговками-тюбетеями, кожаные безрукавки накинуты прямо на голое тело, и кушаки из сиреневого бархата многослойно намотаны поверх шальвар, где обычному человеку утонуть проще, нежели в морской пучине. Торсы великанов обильно смазаны маслом, остро пахнет мускусом и мужским потом, и лоснятся бугры мышц текут волнами, вьются клубками удавов...

Стража.

«Ясное дело, стража! — одернул Абу-т-Тайиб сам себя. — А ты чего ждал, глупец?! Дервишей с просьбами о подаянии?! Черных зинджей с кольцами в ноздрях?!»

Он вразвалочку вышел из покоев. Качнулся с пятки на носок, задумчиво возведя очи горе, и наконец обернулся к великанам. Те, выкатив маслины глаз, стояли недвижимо, лишь убрали к ноге шипастые герданы — палицы, способные расплющить гору Каф.

— Ну-ну, — буркнул поэт, чтоб хоть что-то сказать. — Ишь, вымахали, на казенных-то харчах...

Великаны не ответили. Вероятно, не поняли: последнюю фразу Абу-т-Тайиб произнес на языке Корана.

И не сдвинулись с места, когда новый шах Кабира медленно, с подчеркнутой ленцой, зашагал по коридору.

Один узел на поверку оказался слабоват, да и узлом его назвать было трудно. Если, конечно, все это не притворство или шутки кукольника. Стараясь отрастить себе уши на спине, поэт насквозь пересек галерею, резко свернул налево, откуда донесся женский смех; но вскоре передумал и наугад нырнул в темный переход. Тот закончился тупиком, где вверх тянулась винтовая лестница, плита за плитой нависая над идущим. Как вскоре вы-

яснилось, вела лестница в круглую башню: достаточно было толкнуть кованую дверцу, и ты попадал в полусферу с четырьмя прорезями бойниц. Если глянуть в северную прорезь — отчетливо виднелся край соседней башни, рубцы ее кладки; из бойницы западной просматривались сады предместий, плавно сползающие в долину.

К остальным бойницам поэт подходить не стал. Так, сунул любопытный нос в стенные ниши: оловянная чашка с гнутым краем, стеганый колпак... Сквозняки гуляли в башне, гуляли вольно, забираясь под халат, и впору было радоваться надетым с утра чулкам из теплой шерсти. Не в его возрасте сдаваться на милость этим продувным бестиям. В крайней нише обнаружился роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. Рядом, скрученный жгутом, лежал шелковый платок — заворачивать сокровище. Воровато озираясь, Абу-т-Тайиб сунул находку за пазуху, туго подпоясав халат (чтоб не выпала!); и передумал. Достал, обмотал платком и демонстративно понес в руке.

Шах он или не шах?!

А значит, по праву может без зазрения совести присваивать и отбирать!.. где ж это видано: совесть у шахов?

Внизу, у подножия лестницы, его ждали двое телохранителей. Не великаны, другие: сухие, поджарые усачи с кинжалами на поясах. Они молча потащились следом — переход, галерея... В присутствии охраны не было ничего особенного, владыку обязаны сопровождать доверенные люди, блюдя его пуще зеницы ока; и все-таки это раздражало старого поэта.

Хуже зубной боли.

«Надо будет ввести хождения в народ, — решил Абу-т-Тайиб, возвращаясь в покои и любуясь краденым пеналом. — По примеру великого халифа Харуна Праведного. И непременно под чужой личиной, без охраны. Брать одного спутника. Да хоть того же Гургина! От него и избавиться в случае чего будет легче легкого...»

Поэт лгал сам себе; и знал, что лжет.

Избавиться от Гургина, от мага с бородавкой, от делателя владык... Кстати, как советуют поступать с тем, от кого покамест не можешь избавиться?!

И дверь покоев распахнулась снова.

— Гургина ко мне! — рявкнул шах Кабира. — Немедленно!

И сморщился вяленой грушей: шайтанчики вновь заскакали по деснам.

— Я желаю тебя облагодетельствовать.

Маг молчал и смотрел в пол. На котором только что лежал плашмя; а Абу-т-Тайиб еще и обождал минуту-другую, прежде чем велеть Гургину подняться.

— Цена твоя стала великой в наших глазах, и явная истина блеснула во мраке: ты — мой собеседник и друг, ты мой близкий и товарищ! Короче, я назначаю тебя своим вазиргом, советником, к чьим советам охотно преклоню слух! Ну, ты счастлив?

Вместо счастья тень набежала на лицо мага. Он потянулся было к бородавке, но раздумал, и старческие пальцы крепче вцепились в посох с остроконечным концом из металла.

— У моего шаха уже есть два вазирга: Отец Казны и Господин Приговоров. Они имели честь служить еще предшественнику моего шаха, будучи искушенными в мирских делах. Я же никчемный хирбед, раб Огня Небесного, и познания мои в управлении государством не стоят и горсти проса.

— О твоей богопротивной ереси мы поговорим позже, — Абу-т-Тайиб оценил гримасу недоумения на лице мага и ухмыльнулся про себя. — Если Аллах терпел это ваше идолопоклонничество до сих пор, то потерпит еще немного (да будут мне прощены дерзкие речи!). А Отец Казны и Господин Приговоров будут просто счастливы узнать, что я... в смысле, великий шах Кей-Бахрам, утверждаю пост главного вазирга. Наиглавнейшего!

Тень на лице мага сгустилась, мглой заполняя ущелья морщин, сдвигая брови так тесно, что складка между ними напомнила букву «шин»; и наконечник посоха со скрипом разодрал основу ковра.

— Владыка переоценивает мои старания. Я готов служить кабирскому трону словом и делом, но кулах слишком тяжел для моей головы!

— Кулах?

В ответ Гургин указал на стол, где валялась неразвязанная чалма Абу-т-Тайиба. Поверх нее был надет венец белого золота: зубчатый круг, центр которого украшало стилизованное изображение солнца.

По всей длине венца бежала россыпь крупных жемчужин; каждая третья или пятая — черные.

Капли адской смолы.

— «Книга шахов» гласит, — тихо произнес Гургин, и голос мага дрожал аккордом, взятым на расстроенной лютне, — что к тем, кто низок по происхождению, волей владык приходят перстень, пояс и кулах. Твой же кулах, о мой владыка, есть прообраз фарр-ла-Кабир, да сиять ему вовеки!

— И если я хочу назначить кого-то вазиргом или, к примеру, хлебодаром, то я вручаю ему должностной кулах, пояс...

— И перстень. Зато если мой шах гневается на своих слуг великим гневом, он отбирает указом знаки власти, и злоумышленники скорбят скорбью неправедных! Замечу лишь, что хлебодарам знаки власти не пристали; в отличие от советников-вазиргов, полководцев-спахбедов или сатрапов и марзбанов, правителей областей внутренних и пограничных.

— Отлично! — Абу-т-Тайиб подмигнул магу с искренним весельем. — Значит, мы закажем для твоей дряхлой головы самый маленький кулах, легкий, невесомый... Ты понял меня, вазирг Гургин? Эй, кто там?! Кулах мне и пояс — то бишь не мне, а моему любимцу Гургину, да пребудет его бородавка вовек не зудящей!

И тут случилось странное: маг побелел, будто тень на лице Гургина внезапно оборотилась первым инеем. Губы его мелко задрожали — и старец плюхнулся на колени, уронив посох. Мутная слеза выкатилась из уголка левого глаза, вприпрыжку пробежав по щеке и утонув в прядях бороды, а взгляд стал походить на взгляд древней собаки, которой за верную службу предлагают отравленный кус требухи.

— Владыка! — Вскрик мага треснул надвое, и черепки слов градом посыпались на изумленного поэта. — Владыка! Готов служить, готов стоять у трона... коленями на горохе стоять готов! Не назначай вазиргом! Оставь при себе, оставь конюшим, метельщиком, цирюльником, кем угодно!.. прости раба своего! Прости!

— Да что ты! Встань, встань... — Если шах Кабира и ожидал чего-то, так уж никак не подобного самоуничижения. Он подхватил мага под мышки, но старец подыматься не хотел, упирался, а под конец даже лег ничком, продолжая бормотать о своей готовности руками выгребать отхожие ямы, лишь бы не надевать кулах вазирга.

Пришлось брать полный кубок и отпаивать Гургина, заливая ему рясу и ласково поглаживая по костлявому плечу.

Наконец старец угомонился и прекратил всхлипывать.

— Ты похож на одного моего знакомого, Гургин, — бросил Абу-т-Тайиб, заложив руки за спину и расхаживая по покоям. — Он посмотрел утром на рабыню соседа, и та была для него запретна; в полдень он ее купил, и рабыня стала для него дозволена; к вечерней молитве он ее освободил, и девушка вновь стала для него запретна; на закате он женился на вольноотпущеннице, сделав ее дозволенной для себя, чтобы ночью развестись и сделать бывшую жену запретной; а утром он вновь заключил с ней брак, и она стала ему дозволена. Короче, ты сам не знаешь, чего хочешь. Ладно, будь по-твоему: оставайся при мне советником, а златой кулах мы придержим в стороне до лучших времен.

Ощущение было не из приятных: маг вдруг качнулся к поэту

и истово ткнулся губами в ладонь, прежде чем Абу-т-Тайиб успел отдернуть руку.

Губы старца были мокрыми и шершавыми.

Как у верблюда.

ГЛАВА 6,

где можно удивляться, можно сочувствовать, можно преисполниться восторгом или ощутить гнев, а можно ничего этого не делать и заняться любым другим делом, о чем здесь не сказано даже единым словечком

1

Вызов во дворец застал Суришара в его загородном имении. И застал, надо сказать, врасплох. Юноша как раз сидел на перилах веранды, задумчиво изучая расположение фигур на шахматной доске. Напротив замер управитель: щуплый евнух-коротышка, который по сей день не располнел вопреки обычаям среднеполых, зато успешно превращал дом в полную чашу. Евнух ждал возгласа «Шах!», ждал дольше обычного, и дождался — только от гонца, а не от хозяина.

— Шах хочет видеть названого сына, да будет благо им обоим!

Мигом дом закипел, словно забытый на огне котел с похлебкой. Что надеть? С ума сошли: узорчатые шальвары? парчовую джуббу?! сапоги из крашеной юфти?! Ни за что! Сочтет щеголем, решит, что достаток выпячиваю... Холщовая рубаха и такие же штаны?! Болваны! Недоумки! Дети ослицы и тарантула! Кто же ездит во дворец, одетый в холст и дерюгу?! Живо, живо, раскрывайте сундуки, вываливайте добро, сам разберусь...

И не прошло часа, как копыта чалого жеребца, купленного в Медном городе, выбили шальную дробь о плиты внешнего двора.

Расплескивая весеннюю грязь, шах-заде бурей вылетел на дорогу, ведущую к западным воротам Кабира, и понесся вскачь. Далеко позади оставались арбы, крытые войлоком-двуслойкой, груженные просом телеги, гурты ослов с мелкой поклажей, паломники в островерхих куколях и караван торговца-оразмита; чалый мерил пространство, вытянувшись струной, а шах-заде подставлял лицо пронзительному ветру, и душа пела птицей бульбуль:

— Быстрее! Еще быстрее!.. Владыка хочет видеть названого сына...

Еще во время обряда помазания, когда представители всех четырех сословий пали на колени пред новым шахом, Суришар

понял — Огнь Небесный нарочно искушал его. Плеснул в глаза сиянием ложных надежд, одурманил мозг тщеславием, заставил дерзновенно кинуться на того, чье чело отмечено судьбой и фарр-ла-Кабир! Видать, сильно прогневал святых покровителей самонадеянный шах-заде, живым выйдя из пещеры Испытания и вместо благодарности взлелея гадюку мести, если понадобилось сбрасывать его с вершин гордыни в бездну покаяния... О Кей-Бахрам! Вели отправиться в ссылку! Вели гнить в темнице до скончания веков! Вели в одиночку пойти на дэвов Мазандерана!

Исполню не колеблясь!

Несся чалый, приближались городские рвы, где тяжко плескалась желтая муть, исполинами вырастали стены, издали отблескивая то булатной синевой, то ржавым налетом; более светлые камни арки ворот казались зеленовато-сизыми, будто патина на старом серебре — несся чалый, наслаждаясь скачкой, и плеть так ни разу и не обласкала конские бока.

К чему?

— ...По зову владыки!

— О, шах-заде Суришар! Конечно, конечно, мы сейчас проводим!

Куда его ведут?! Задний двор, террасы, галереи, вереницы низеньких комнат, чьи стены обиты кедровыми досками, диваны с полосатыми тюфяками, снова двор, галерея, фонари из резного кипариса растопырились летучими мышами... в темницу! Его ведут в темницу!

Сбылось!

— Прошу, сиятельный шах-заде! Владыка велели не мешкая...

На длинных стойках развешано белье для просушки. Исподнее: плещет шелком крыльев, тончайшей бязью оперения — белое, розовое... всякое. Рядом каменный домик, и из стенных проемов грозно скалятся львиные морды, отрыгивая струйки воды. Войдешь в дверь, и боязно ступать по роскоши мозаик: прямо под сапогами лежит нагая красавица, бесстыдно обливая щедрую плоть из кувшина — топчи, гость! Мраморные скамьи сами кидаются навстречу: садись, скинь одежду, улягся распаренным телом, подстелив циновку, доверься умелым рукам слепцов-массажистов!

Надежды на благодать темницы, на искупление грехов и очищение совести рухнули горным обвалом.

Вдребезги.

— Владыка изволят посетить баню! Но относительно шах-заде было велено: пропустить без задержки! Ну куда же вы, куда!.. в сапогах, в халате...

Суришар потянул из-за кушака нож, чьи ножны и серебря-

ную рукоять густо усыпали зерна бирюзы, после чего принялся разматывать сам кушак. За угловой дверцей вовсю звякала медь кувшина, тихо струилась вода и доносилось счастливое кряканье. Не так представлял себе шах-заде официальную встречу с властелином Кабира: своды парадной залы, ряды царедворцев застыли в торжественном молчании, и вот он, шах-заде, — с достоинством принимает опалу, подставляя шею под карающий меч истинного правителя, названого отца! Дудки! — в смысле, именно дудки, а не трубы или карнаи. Где уж тут с достоинством подставить, если ни царедворцев, ни залы... подставишь, а лишенный шальвар зад выпятится куриным огузком, подло намекая: пни! приложись пяткой! ну же!

Оставшись голым, Суришар совсем заскучал.

И, в тоске обмотав чресла передником, нырнул в пар, журчанье и кряканье.

Зрелище потрясло юного шах-заде: обладатель фарр-ла-Кабир ничком валялся на цветастом половичке, а по его жилистой спине усердно топтался банщик, визжа от азарта. Рядом курилось жерло бассейна, доверху наполненного горячей водой. Засмотревшись, шах-заде нечаянно наступил на забытый банщиком обмылок, пятки юноши взлетели к потолку, зато все остальное с грохотом рухнуло на пол.

— А, это ты! — прохрипел шах Кабира, пытаясь вывернуться из-под мучителя. — Молодец, быстро доскакал... Эй, плясун, разомни-ка мне сыночка!

Не успел шах-заде опомниться, не успел отбитые ягодицы почесать, как и под ним чудесным способом образовался половичок, а банщик принялся вовсю пинать и щипать «сыночка».

Эй, поосторожнее! эй! ай! ой!.. я ж тебе не тесто в кадке!

Шах меж тем встал и пересел на скамью. Взяв резную доску, он уставился на нее, после задумчиво хмыкнул и почесал волосатую грудь.

Шрам под левой ключицей розовел дождевым червем, распарившись от жары и ласки банщика; еще два червя ползали — один по шее, другой по скуле владыки.

— Эй, юноша, — шах ухмыльнулся и добавил, вогнав Суришара в краску, — подобный блеску молнии во мраке... А скажи мне, дружок, вот что: Пламень-в-Красном-Шлеме — это как понимать?

Суришар наконец скинул с себя банщика-надоеду и рискнул приблизиться к владыке. Сесть рядом он не решился (да и кто бы решился?!), устроясь на мокром полу рядом с ногами шаха. На сами ноги юноша старался не смотреть: испещренные синими жилами, с пятнами застарелых ушибов, они выглядели недостойными своего хозяина.

Дурацкая мысль, но в бане другие, более чинные и мудрые, мысли как отрезало.

— Пламень-в-Красном-Шлеме? — переспросил шах-заде.

В ответ шах молча сунул ему доску, после чего ночь слепоты сменилась утром ясности. Суришар никогда не считал себя знатоком-звездочетом, он даже гороскопы, которые подсовывал ему евнух-управитель, читал вполглаза, через строку, но вырезанные на доске символы были ясны даже для мальчишки.

Вот Нахид, звезда любви и чадородия, вон Кей-Ван, шах звезд с кольцами фарра вокруг чела, а вон и Пламень-...

— Новое имя владыки — Кей-Бахрам, — юноша поднял голову и встретился взглядом с названым отцом. — А Бахрам — это и есть звезда Пламень-в-Красном-Шлеме. Багровая такая, будто кровь запеклась... символ воина.

— Миррих-воитель?

— Нет, если по-нашему, то Бахрам. Миррихом эту звезду в Дурбанском султанате зовут.

Внезапно вспомнилось: первым, малым именем владыки было... как он тогда назвался? Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби? Огнь Небесный, имя-то совсем дурбанское! Уроженец тамошних равнин? Да нет, быть не может: вон, фарр вокруг чела так и сияет!

Нимало не заботясь еретическими сомнениями юноши, шах встал, поскреб макушку уполовиненным пальцем; и вдруг с разбегу плюхнулся в бассейн. Брызги взлетели до потолка, и оттуда, из плеска и брызг, донеслось:

— Ладно, Иблис с ними, с именами-звездами! Мудрецы намудрили, а мы выясняй... Ныряй лучше сюда, потолкуем о душевной сладости! Говорят, ты стихи слагать горазд?

Шах-заде твердо уверился в грядущей опале. Баня, не баня — все равно. Вопрос о стихах сразу напомнил ему: гроза в проклятом Городе, сабля рубит мимо цели, и строчки хлещут по лицу звонче оплеух. Не зря, видать, шах про «молнию во мраке» намекнул!

— Ну давай, давай, чего насупился! Омоемся большим омовением, ибо оно ключ к вратам рая и палатка света о четырех веревках, а возле каждой веревки ангел поздравляет тебя с легким паром! Иди, приятель, потешь мою душу жемчугом красноречия!

Пришлось Суришару вставать с пола, тащиться к бассейну и робко садиться на краешке бортика, свесив пятки в горячую воду. Как он здесь плещется, в кипятке?.. одно слово — владыка!

— Язык проглотил? Смотри, еще минутку промолчишь — петь заставлю!

— Боясь жены, друзей, боясь людской молвы, — начал шах-заде вспоминать первое, что пришло на ум, — боясь назвать кривой ствол дерева кривым... э-э-э... ты все равно кричишь, что ты — венец творенья!..

— Как жаль, что под венцом не видно головы! — в голос закончил шах и расхохотался.

Ответом ему был истошный вопль, потому что от изумления Суришар сполз-таки в горячую воду целиком; и еще потому, что он был потрясен легкостью, с какой владыка играл словами. Сам юноша уже плохо помнил, чем там заканчивалось давнее четверостишие, и собирался импровизировать — пока это намерение не выдернули из-под него скользким половичком.

«А вдруг примет за намек? — обожгла шальная мысль, и кипяток сразу показался холодней горных ключей. — Нет, ерунда, он же сам... ну и что, что сам! Головы под венцом не видно...»

Суришар с опаской покосился на названого отца и действительно ничего не увидел: шах скрылся под водой целиком. Одни пузыри всплывали, словно вода и впрямь закипела. Наконец показалось бритое темя, высокий лоб, где возраст успел проложить немало борозд, затем явились топазы глаз по обе стороны горбатого носа и губы с налипшими на них прядями усов.

— Хороший ты парень, — сказали губы, пока глаза пристально изучали юношу, и взгляд шаха тайно противоречил сказанному, впиваясь жалящей змеей. — Молод еще, правда, горяч не в меру, но это пройдет... к сожалению. Я так Гургину и сказал: хороший, мол, парень, жаль, если зря скиснет! Ну, отвечай, не задумываясь: какой столичный полк самый-самый?!

— Гургасары, — машинально откликнулся шах-заде, плохо понимая, к чему клонит владыка. — «Волчьи дети».

— А раз так, готовься: быть тебе с сегодняшнего дня полководцем-спахбедом, Волчьим Пастырем! Пойдем одеваться, напомнишь — там тебе уже все приготовили: пояс, перстень и этот, как его...

— Кулах, — подсказал юноша. Слова шаха жарко обтекали его, струясь незримым кипятком; понимание ускользало, виляя хвостом, а карие глаза все смотрели, не отрывались, ждали чего-то... чего?!

— Ага, и кулах. Нацепишь, приберешь своих гургасаров к ногтю, а дальше, глядишь... — Ладонь шаха резко вынырнула наружу и с палаческой цепкостью ухватила Суришара за кудри. Рывок; и вот они лицом к лицу, названые сын и отец, пасынки судьбы, дети-ублюдки пещеры в горах без названия. — А дальше, одной прекрасной ночью, поведешь «волчьих детей» на дворец! Охрану вырежешь под корень, их резать, что козий сыр рвать, потом старому дураку башку долой! — придут утром советники с лизоблюдами, а на троне новый шах, Кей-Суришар! Нравится?! Ну, отвечай — нравится?!

Так Суришара не обижал еще никто и никогда. «Серый мадх» показался юноше благословением небесным после этих слов,

после этой властной руки и этих глаз, двумя раскаленными иглами впившихся даже не в самое сердце! — глубже, еще глубже, туда, где прячется...

Шах-заде не знал, что у него прячется глубже сердца.

Он просто заплакал.

Слезы текли по лицу, слезы стыда и обиды, соленые капли щекотали уголки рта, и хотелось умереть. Нырнуть с головой в мутную воду, чтобы больше никогда не выныривать в эту проклятую жизнь, где прибой бьет тебя о скалы, не пропуская даже самой завалящей. Соль выедала глаза, а напротив, на бортике бассейна, сидел великий шах Кей-Бахрам; сидел и разглядывал плачущего юношу со странным интересом. Так глядят на площадных акробатов, на мутрибов-лицедеев, раздумывая: что бросить шутам за трюк?

Монету или гнилую сливу?!

— Е рабб, — спустя минуту пробормотал шах, и лицо владыки сморщилось, как если бы он хлебнул уксусу, — ну не может же он... Ладно, парень, забудь! Ну все, все, умойся... или лучше я тебя сам умою. Быть тебе спахбедом, быть, хватит реветь-то!

И Суришар ткнулся мокрым лицом в чужие ладони, покрытые твердыми мозолями.

2

...пир был в самом разгаре.

Слуги проворно сновали меж столами, блюда исчезали и появлялись словно по волшебству, седло барашка в темной подливе сменялось мясными шариками, переложенными пучками черемши, сладкий фалузадж-медовик соперничал ароматом с джаузабом, где куропатки истекали сладким соусом; и кубки долго не пустовали.

— Уф-ф! — Это было все, что сумел сказать Абу-т-Тайиб, когда подали душистую харису: вид плова, куда вместо риса клали пшеничные зерна.

Есть он уже не мог; и не есть не мог.

Особенно если учесть: поэт и раньше частенько нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино (да благословит его Аллах и приветствует!), — но здесь из патоки гнали жидкий огонь, позволяя в обход запретов изрядно повеселить душу (да благословит ее Аллах и приветствует!).

Шах улыбнулся, берясь за кубок.

Его новый спахбед, чей дом сегодня был удостоен чести государева визита, просиял в ответ и возгласил замысловатую здравицу. Хороший парень. Начисто лишен греха злопамятства. Абу-т-Тайиб вспомнил, как в бане испытывал Суришара, испытывал жестоко, с палаческим пристрастием, пальцами ковыряясь в со-

кровенном... Оставалось либо предположить, что местные шах-заде — самые талантливые лицедеи в мире, которым заплакать, что иным высморкаться; либо враг и впрямь стал верным слугой. Если второе истинно, стоит иметь его рядом вкупе с полком «волчьих детей», если же истинно первое...

Е рабб, ненависть в нашей жизни редко сменяется преданностью! — особенно ненависть наследников престола, у которых престол увели самым наглым образом... Об этом думать не хотелось. У жеребчика было меньше всего шансов участвовать в возможном заговоре; меньше всего шансов выжить в горах, где его подло бросили лжепроводники; меньше всего шансов проникнуться любовью к нему, Абу-т-Тайибу! А если он, вопреки очевидному, выжил и проникся, то пускай так дальше все и идет. Пусть стоят плечом к плечу, по обе стороны кукольного трона: хитрый маг и пылкий шах-заде.

Пусть, а там посмотрим, кого столкнуть лбами.

Абу-т-Тайиб честно признался самому себе: игра в «Смерть Шаха» начинает его увлекать. Поэт по-прежнему чувствовал себя молодым. Как тогда, в Городе, когда встретился глазами с юным шах-заде. Жизнь была прекрасна и разнообразна. Бархат штор — и ожидание стрелы из-за каждой; мягкое ложе — и тени ночных убийц; почести в предвкушении публичного разоблачения, здравицы в преддверье проклятий — и дворец на пороге могилы. Все это придавало существованию смысл, наполняло еду доброй толикой перца, и по утрам Абу-т-Тайиб вскакивал с юношеской бодростью, о которой успел позабыть давным-давно. Даже зубы перестали болеть; только до сих пор жутко свербели десны.

Все время, сводя с ума.

Если бы не это...

Абу-т-Тайиб отхлебнул из кубка. Сегодня он проверил крепость еще одного узла: впервые выехав из дворца в загородное имение нового спахбеда. Интересно, а если сейчас попытаться ускользнуть от свиты и челяди... Хмель толкал на подвиги, но благоразумие натягивало поводья — вспомни, поэт, торопливость ведет на «ковер крови»! Славный такой коврик: его подстилают под приговоренного царедворца, дабы кровь не забрызгала покои владыки. Помнишь? — ты однажды уже стоял на таком ковре, и достаточно, достаточно!

Он помнил.

И продолжал сидеть за столом, тем более что на сегодняшний вечер у него был припасен еще один узел.

Государственный узел, можно сказать.

— Эй, Гургин!

Маг поднялся с глубоким поклоном. За весь вечер старец съел одну лепешку с тмином, запив ее подкисленной водой. Лицо

у мага было мрачней ночи, кустистые брови сошлись у переносицы, тучами затеняя блеклую голубизну взора; и Абу-т-Тайиб еще подумал, что на месте мага хмурился бы вдвое.

Ишь, лепешка... под такие ароматы!

— Надеюсь, тебе передавали, что утром я вызывал к себе писца с докладом?

Гургин пожал плечами.

— О поступках владыки докладывают разве что солнечные лучи Огню Небесному. А я всего лишь дряхлый глупец, чьи советы лишены всякого смысла.

Абу-т-Тайиб кивнул, словно соглашаясь с выводом мага, и исподтишка мазнул быстрым взглядом: обидится ли?

Шайтан его разберет, хмурится и хмурится...

— Тогда, полагаю, тебе будет интересно знать, что я лишил пояса и кулаха окружного судью Пероза! — Поэт говорил уверенно, со знанием дела, забыв добавить лишь, что имя судьи Пероза узнал утром из бумаг писца. — Ибо дважды на Пероза поступали жалобы, где он именовался судьей неправедным, и вопли страждущих достигли небес! Что скажешь?

Странно: пирующие хоть и прислушались к словам владыки, но отнеслись к его заявлению крайне спокойно. Когда буидский эмир Муизз ад-Даула, фактический правитель Дар-ас-Салама, в обход халифа, или кордовский Омейяд аль-Хакам II смещали родовитых сановников — шептались куда больше. Одному сановник доводился родичем, другому — покровителем, третьему — фаворитом, поверенным в делах, другом, наконец!.. А здесь тишина. Выслушали, кивнули и облизывают сальные пальцы.

Один Гургин дальше хмурится, хотя, казалось бы, дальше некуда.

Ну что ж, бедный поэт и не переоценивал своих возможностей в реальном возвышении или низвержении. Ясное дело, указы марионетки годны только в сундуке.

И все-таки...

— Владыка подписал указ об отстранении судьи Пероза? — спрашивает маг вполголоса.

— Да. И велел гонцу немедля доставить сей указ в дом судьи.

— Не поторопился ли владыка? Возможно, стоило бы подробнее разобраться с жалобщиками? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без детального разбирательства...

Маг говорит шепотом, еле слышно, хотя никто и не вслушивается в беседу шаха с советником.

— Ну, ты у меня тоже не мальчик, а от кулаха отказался! — Бледность внезапно заливает лицо мага, и Абу-т-Тайиб решает не перегибать палку, особенно имея в запасе новый подарок. — А впрочем, умница! Вот и я думаю: не погорячился ли? Не внял ли мольбам злоязычных?! Наш достопочтенный устроитель пира,

мой названый сын, минутой ранее сообщил мне: имение Пероза всего в двух фарсангах от этого дома! Итак: седлайте коней! Шах сдет разбираться!

И, не дав никому опомниться, поэт встал из-за стола.

3

Сегодня он будет спать плохо. Очень плохо. Потому что, вломившись во главе хмельной толпы в имение отставного судьи, застал там громкий плач и причитания. Труп судьи лежал в открытом гробе-табуте, уже обмытый и завернутый в погребальные пелены; а рядом скорбно молчали родственники и близкие друзья. Обман исключался, да и не стал Абу-т-Тайиб проверять: настоящий судья лежит перед ним или поддельный? Просто постоял над трупом, вспоминая вопрос мага-советника:

«Не поторопился ли владыка? Судья Пероз стар, более чем стар, и лишить человека в его возрасте пояса и кулаха без подробного разбирательства...»

А ведь он всего лишь хотел уличить возможных заговорщиков в пренебрежении к указам шаха, уличить публично, дав пищу молве!

Уличил, владыка?

Ты ведь был уверен, отправляя гонца, что цена твоему указу — рубленый даник, и тот с обгрызенным краем!

— От чего умер судья? — глупо спросил Абу-т-Тайиб и едва не покраснел.

Вперед вышел ровесник поэта, очень похожий на умершего: вероятно, старший сын.

— От... — Он запнулся, проглотил слюну и уже твердо закончил. — От старости, мой шах. От старости.

— Получив мой указ?

— Да. Получив указ владыки. Вот...

Абу-т-Тайиб обратил внимание, что ему протягивают атласную подушку, поверх которой лежали пояс и кулах.

Золотые бляхи на ремне и россыпь жемчужин по зубчатому обручу; похожи на шахские регалии, но меньше и бедней.

— Оставь себе, — тихо сказал шах Кей-Бахрам. — Теперь ты — окружной судья. Оставь себе.

— Лучшего выбора трудно и представить, — шепнул на ухо Гургин, но шах не слушал его.

Лица. Лица родственников судьи, лица его друзей; лицо самого покойника. Абу-т-Тайиб мечтал, чтобы хоть на одном из этих лиц мелькнула укоризна, ненависть, презрение к владыке, подписавшему указ об отстранении из мимолетной прихоти... ну же!

Нет.

Лица были спокойны, и глаза смотрели понимающе.

Оправдывая.

Машинально Абу-т-Тайиб сунул пальцы в рот, ухватил, дернул... Извлек гнилой пенек, зачем-то спрятал его за кушак, видимо постеснявшись при мертвеце швырнуть в угол. Сунул окровавленные пальцы в рот снова, пошарил; и брови шаха удивленно взлетели на лоб.

* * *

Уже отъезжая от судейского имения, он бросит Гургину:

— По приезде гони ко мне лекаря! Кто тут у вас зубами занимается?!

— Зубами у нас занимаются цирюльники, — прозвучит спокойный ответ. — Но владыке они не нужны.

— Как не нужны? А что тогда творится у меня во рту?!

— Ничего опасного, — и Гургин впервые за сегодня улыбнется. — Ничего опасного, мой шах. Просто у тебя режутся новые зубы.

ГЛАВА 7,

где речь пойдет о благородном искусстве охоты и послушных шахской воле девицах, а также о прилюдных казнях и мудрости правителей — однако не будет упомянуто, что если первым днем года станет понедельник, то это указывает на праведность властвующих делами и наместников, а также год будет обилен дождями, взрастут злаки, но испортится льняное семя, умножится моровая язва и падет половина животных — баранов и коз; хорош станет виноград и скуден мед, хлопок упадет в цене, а Аллах лучше знает

1

Утро наступало особенное. Охотничье утро — это новый шах Кабира понял сразу. Тусклая сталь неба медленно раскалялась на востоке, где ангелы-кузнецы разжигали горн для переплавки грехов в добродетели — и металл тек голубизной, превращаясь в редкую разновидность индийского булата. Легкие белые стрелы облаков перечеркивали свод над головой, и Абу-т-Тайиб окончательно уверился: быть сегодня потехе!

Говорят, фазанья охота здесь — поистине шахская. Вот и проверим. Даром, что ли, за «ловчие поэмы» ему в свое время платили втрое больше, чем за винную лирику «хамрийят»?!

А когда охотник может в любую секунду стать дичью, равно как владыка — падалью...

Поэт твердо знал: если, миновав невольничий рынок, взять наискось от угловой башни и спуститься в лощину, то через час начнутся кустарники, где и ждут ловца краснохвостые птицы со спинками из чистого серебра.

Знать бы еще, откуда подобная уверенность? И все-таки: прикроешь глаза и ясно видишь — рынок, дорога, лощина... фазаны!

Наваждение?

Пылающий лик светила еще только-только успел взмыть над твердью, оглядывая землю и выясняя, что здесь успели натворить в его отсутствие, — а кавалькада нарядно одетых всадников уже выезжала из ворот дворца.

Меховая джубба, поданная шаху по случаю охоты, оторочкой подола свисала едва ли не до стремян. Конь шел ровно даже по грязи, не сбиваясь с рыси, а жгучий от холода воздух бодрил, быстро изгоняя остатки сна. Впереди покрикивали и незло щелкали нагайками телохранители-гургасары во главе со своим новым спахбедом, гоня с дороги ранних прохожих... В общем, настроение у Абу-т-Тайиба было отличное — под стать этому ясному утру. В голове сами собой сложились два бейта:

Миновала давно моей жизни весна. Кто из нас вечно
зелен? — одна лишь сосна.
Нити инея блещут в моей бороде, но душа, как и прежде,
весною пьяна!

Пей, душа, пой, душа, полной грудью дыша!
Пусть за песню твою не дадут ни гроша.
Пусть дурные знаменья кругом мельтешат —
я бодрее мальчишки встаю ото сна!

Абу-т-Тайиб, ставший с недавних пор шахом Кей-Бахрамом, громко расхохотался. Эй, игроки-кукольники! Смейтесь и вы! Смейтесь над болваном в венце, плетите сети интриг, дайте вдоволь надышаться дразнящим запахом опасности, дайте миру еще немного побыть обжигающе ярким; позвольте вам подыграть, не забывая украдкой глазеть по сторонам. Кабир ваш для меня — тайна за семью печатями, но каждая поездка добавляет золотые крупицы в сокровищницу знаний — а знания эти мне понадобятся, ох как понадобятся!

И, возможно, весьма скоро.

На первый взгляд Кабир мало чем отличался от других виденных Абу-т-Тайибом городов — а их на своем веку поэт повидал немало. Кривые улочки, майданы, хаузы-водоемы, глухие высокие дувалы скрывают от досужих взглядов внутренние построй-

ки, сплошь каменные (хоть у богачей, хоть у бедняков). Оно и понятно: камня кругом в изобилии, бери — не хочу, а дерево еще поди сыщи! Мошна тугая? — возводи дом хоть из белого с прожилками мрамора, добываемого рабами и каторжанами в каменоломнях; каждый дирхем на счету? — строй жилище из ноздреватого ракушечника-желтяка или серого сланца. Все — как в той же Куфе, Басре, Дар-ас-Саламе... все, да не все.

Во-первых, город непривычно чист. По крайней мере те улицы, где они ехали, явно убирались метельщиками не за страх, а за совесть.

Топтать стыдно.

Во-вторых, дувалы наиболее богатых домов украшала лепнина из белого ганча, раскрашенного пестро и ярко. Среди изящных переплетений листьев, стеблей и бутонов, дозволенных правоверным, частенько встречались изображения зверей, птиц и даже людей. Было совершенно очевидно, что пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует!) почему-то забыл просветить эти края, и души местных жителей до сих пор блуждают впотьмах, не зная истинной веры... Впрочем, они-то как раз считают, что впотьмах блуждают все остальные, а их души освещает лично Огнь Небесный. Ладно, да простит Аллах меня и гяуров-кабирцев, но с вопросами веры мы разберемся позже.

Ведь сказано: «У пророка Божьего из всех его добродетелей прощение обид есть именно та добродетель, на которую можно уповать с наибольшей уверенностью».

Вознесем упования!

Да и, само собой, нигде не видно устремленных в небо минаретов, столь привычных глазу. Здешние храмы — низкие, круглые, и есть подозрение, что немалая часть сих языческих капищ прячется под землей. Равно как и замыслы местных жрецов-хирбедов: даром, что ли, именно парочка святош сопровождала на тот свет мальчишку Суришара?!

Молодец, шах свежепомазанный, правильно Гургина приблизил...

А вот и городские ворота.

Да здравствует шахская охота — и прочь до поры до времени все другие мысли!

2

Охота удалась: дичи было вдоволь, и рука ни разу не подвела Абу-т-Тайиба; ехавшие сзади слуги везли в тороках целую стаю подстреленных птиц. В искусстве дворцовых поваров шах имел уже возможность убедиться, а предвкушение скорого ужина заставляло чрево бурчать.

От спин разогревшихся коней подымались облачка пара, по телу разливалась сладкая истома. Вдобавок имелось еще одно обстоятельство для радости: когда во время охоты Абу-т-Тайиб намеренно оторвался от свиты, ускакав далеко вперед, никто не поторопился догнать шаха.

Свобода? — нет, просто дергаем узлы.

Пока.

Впереди уже виднелась арка ворот, когда Абу-т-Тайиб приметил у обочины какую-то девицу, уступившую дорогу кавалькаде с похвальной резвостью. Одного взгляда на пышно разодетых охотников ей вполне хватило: девушка, стесняясь, поспешила согнуться в поклоне, а затем прикрыла лицо передником. Одежда ее слегка задралась, обнажив стройные щиколотки, и этот жест развеселил поэта.

Абу-т-Тайиб подбоченился и с улыбкой продекламировал:

Что скрываешь ты, девица, под покровами одежд?
Дай же взгляду насладиться, не обманывай надежд!

Мое сердце — спелый персик, хочешь, режь,
а хочешь, ешь,
Я сгораю в нетерпенье, охлади мой пыл, красавица!

Он тронул было поводья, собираясь ехать дальше. Но вместо этого застыл на месте, вновь придержав недовольно заржавшего коня.

Девица раздевалась. Совершенно спокойно, и без всякого смущения. Абу-т-Тайиб в недоумении покосился на своих спутников: мол, что это с ней?! Головой скорбна?! Но спутники, похоже, воспринимали поведение девицы как нечто само собой разумеющееся: гургасары без особого интереса наблюдали за обнажающейся девушкой, двое придворных беседовали вполголоса; Суришар вообще смотрел на него, Кей-Бахрама, дабы не пропустить момент, когда шах скомандует ехать дальше. Ни удивления, ни соленых шуток, ни ехидных ухмылок — ни-че-го!

Поэт вновь перевел взгляд на девушку — та уже успела раздеться полностью и теперь стояла перед шахом во весь рост, потупив глаза. Даже срамных мест не прикрыла ладонями. Ждала. Чего? Разрешения одеться? Приказа взять ее в шахский гарем? «Впрочем, что это я?!! — опомнился Абу-т-Тайиб. — Откуда ей знать, кто перед ней? На лбу ж не написано: шах, мол... Интересно, у них тут женщины перед каждым встречным вельможей раздеваются, чтобы он их оценил?!»

Девушка была весьма привлекательна, но сейчас поэту было не до томления плоти. Однако пора и честь знать. Надо подводить итог, а то ведь так и простоит до вечера голой!

И добро б летом!

Жалко, милая, что стар я, волосы проела плешь,
Ты — моя былая юность, гордая красавица!

За такой финальный бейт впору было вытянуть самого себя плетью, но красавица все поняла правильно. И принялась одеваться. Ни улыбки, ни обиды не отражалось на ее лице: словно она просто исполняла обыденный долг. Скажем, обед готовила или одежду стирала.

Шах пожал плечами и махнул рукой спутникам — поехали!

Уже подъезжая к воротам, он жестом подозвал к себе ехавшего сзади Гургина.

— У вас тут все девки такие бесстыжие?

— Желание великого шаха — закон, — напыщенно проговорил маг.

— Допустим. И даже можно припомнить сходную историю, которая произошла с Хасаном Кудрявым и юной фазариткой. Но откуда эта роза ваших цветников узнала, что я — шах?!

— Разве можно глядеть на солнце, не прищурясь? — прозвучал удивленный ответ. — И тем более не узнав светила?!

«Поговорили, — досадливо подумал Абу-т-Тайиб, посылая коня вперед. — От души».

Перед глазами до сих пор стояла нагая девица, и чувствовать себя молодым было отчего-то неприятно.

3

Юный спахбед ехал позади шаха и не уставал тихо радоваться. Дважды его испытывали, и дважды он был слепей новорожденного кутенка! Уши Суришара сами собой краснели от стыда, когда он вспоминал об этом. Ведь Судьба ясно указала ему его место! На два крупа за спиной в минуты покоя и рядом в годину бедствий! А он, глупец, не внял знамениям — и только бесконечная доброта и мудрость Кей-Бахрама (да восславится его имя в веках!) спасли юношу от гибели. Более того: владыка лично вручил шах-заде кулах, пояс и перстень, приблизил к себе, оказав тем самым высочайшее доверие! Помнишь, неблагодарный: ты еще смел сомневаться в этом великом человеке, оспаривать его право на фарр и трон?!

Разве не узрел ты в Медном городе гнев Златого Овна, провозвестника явления истинного венценосца?!

И все же лучше позже, чем никогда! Его, Суришара, счастье, что новый шах оказался человеком с большим сердцем и широкой душой. Впрочем, что значит — *его* счастье?! Это счастье всего Кабирского шахства! Держава вновь процветает, смуты прекратились, подданные возрадовались и туго подпоясались поясами служения, наверстывая упущенное за время безвластия. Солнце,

имя которому — фарр-ла-Кабир, взошло над землями, согревая души людей. Все это — лучшее доказательство того, что шахский кулах достался Кей-Бахраму по праву.

Хотя какие нужны доказательства зрячему?! Вон впереди едет владыка, чья меткость и крепость руки сегодня были несравненны — и сияние священного фарра окружает его, подобно малому солнцу! Недаром же говорят, что шахский фарр — частица Огня Небесного...

Кей-Бахрам поднял руку, и вся процессия послушно остановилась.

— Этим путем мы уже ехали. Если взять от невольничьего рынка на северо-запад, мы доберемся до дворца?

— Конечно, владыка! Дорога получится длиннее на полфарсанга, но ко дворцу мы выедем.

— Не беда, что длиннее, — усмехается шах. — Должен же я познакомиться со своей столицей? За мной!

Они миновали ряды лавок, обогнули храм Огня Небесного, насквозь пересекли ремесленный квартал — и оказались на площади. Не на центральной, где били фонтаны в виде диковинных цветов, а на той, что в народе прозвали Судейской.

И поделом.

Здесь оглашались приговоры, после чего сразу, не теряя времени, вершилось правосудие.

Сейчас, к примеру, на площади шла казнь.

Очередных ловкачей с большой дороги, чья удача не вовремя вильнула хвостом, ждала грустная участь. Мелких воришек пороли, маститым грабителям рубили десницу, а душегубам-полуночникам маячили острые колья. Не слишком толстые — стыд терзать человека сверх должного!.. но и не слишком тонкие — чтобы сдохли, успев хорошенько осознать перед смертью свою вину. Да и добрым молодцам урок: пусть смотрят на дружков. Авось призадумаются, прежде чем выходить на дикий промысел, почешут в затылках...

Один разбойник уже исходил кровавым хрипом на колу: баловень судьбы! — похоже, мучаться бедняге оставалось недолго.

Второй кол с насаженным на него преступником как раз опускали в заранее приготовленное углубление. Казнимый пока держался: скрипел зубами от боли, но молчал. Ну-ну! Скрипи, герой, поглядим, надолго ли зубов хватит! За всю историю Кабира лишь разок случилось чудо, когда душегуб проторчал на казенном колу больше полутора суток и отвалил в ад, так и не проронив ни звука.

Да и то скорее всего палаческая сказка.

Зато с третьим приговоренным (видимо, главарем, ибо кол для него приготовили заметно толще, чем для двух первых) вышла заминка. Когда процессия въехала на площадь, расплескав конями ряды зевак, двое дюжих стражников пытались зава-

лить детинушку, дабы палачи управились с колом. Но парень неожиданно вырвался, пнул оплошавшего стража ногой в живот — тот улетел с помоста спиной в толпу; плечом отшвырнул другого и попытался освободиться от сыромяти, опутавшей руки.

Пришлось стражникам-друзьям бросать кол на попечение заплечных и хвататься за копья. Но широкие жала миновали дерзкого: еще чего! — даровать преступнику легкую смерть?! Пусть и не надеется! Два древка с размаху обрушились на бока разбойника; тот пошатнулся, но устоял. Нырнув под очередной удар, парень кинулся на врагов, брыкаясь хуже дикого жеребца. Да, будь ремень на его руках податливей, выбил бы удалой душегуб у жизни последний фарт. А то и с собой кого-нибудь прихватил, в пекло.

Ах, ремень, сыромять моченая...

Палач ловко налетел на голого парня сзади, сбил с ног, навалился потной тушей... И мигом получил связанными руками в ухо. Они покатились, вынуждая стражей прыгнуть в стороны; и зеваки принялись орать во всю глотку, подбадривая дерущихся.

Когда еще увидишь подобное зрелище?!

— Кто этот буян? — осведомился вдруг Кей-Бахрам.

— Он разбойник, владыка, — брезгливо поджал губы Гургин. — К подобному отребью я испытываю лишь презрение.

— А мне нравится, — возразил шах. — Один, со связанными руками... Таких не на колья сажать, а в седло! Эй, Суришар, отличный бы вышел юз-баши твоим «волчьим детям»! — цепляться за жизнь тоже уметь надо...

Суришар с обожанием внимал Кей-Бахраму. Вот достоинство шаха — сам доблестный воин и чужую доблесть уважает! Пусть даже ее проявил презренный разбойник, воздев стяг мятежа над головой непокорства. Впрочем, нет, какой же он теперь презренный разбойник — разве шах высказался недостаточно ясно?!

Как и следовало ожидать, монаршая воля остановила побоище. Палач взмахнул тесаком, который минутой раньше успел выхватить, и узы лопнули. Разбойник проворно отскочил к краю помоста, готовясь защищаться и недоумевая: новая забава? везение? случай?! Эй, подходи-налетай, глотки перегрызу!

Суришар, улыбаясь, следил за парнем. Молодец! Хоть и не понял ничего, а молодец. Впрочем, в горячке боя, когда рвешь душу в клочья, это простительно. И все же — странно...

Разбойник дернулся, словно от ожога, — и окаменел. Прямо так и окаменел, в теплом плаще с меховым подбивом, который кинул ему на плечи подоспевший десятник гургасаров.

— Пойдем, — «волчий сын» с уважением, но настойчиво взял парня под локоть, и тот, вконец растерявшись, не стал противиться.

Толпа предупредительно расступилась.

Суришар знал, что ему надлежит делать. Он кликнул нужного человека из свиты — и вот уже молодой спахбед подъезжает к шаху, почтительно протягивая владыке сотничьи знаки отличия: высокую шапку с венцом-кулахом и наборный пояс с ножнами кинжала.

— Изволь, мой шах...

— Что?! — хмурится шах, с изумлением глядя на поданные регалии.

Кей-Бахрам передумал?! Да нет, Суришар бы это понял сразу!

— Владыка даровал помилование этому человеку. Вот пояс и кулах для производства в юз-баши, «главу сотни».

На мгновение лицо шаха удивительно меняется, и почти сразу его озаряет усмешка.

— А что, приятель? И произведу! Хаййя! — жил в разбое, жил в набеге, как за пазухой у Бога, пусть судьба моя убога, нынче ж буду сотником! Давайте его сюда!

— Падай, ниц падай! — шипит «волчий сын» на ухо бывшему разбойнику. — Совсем голову потерял, да?! Это же сам великий шах Кей-Бахрам! Он милует тебя и производит...

До парня наконец доходит, и он неуклюже валится ниц.

Гургин, подъехав к шаху, что-то шепчет ему на ухо, но владыка только досадливо отмахивается, и до Суришара долетает обрывок возгласа:

— ...на себя посмотри!

После чего ошалевший от счастья разбойник получает кулах и пояс юз-баши.

Суришар улыбается. Сегодня хороший день. И завтра будет хороший. Теперь всегда будет сплошной праздник.

Всю жизнь.

Шах-заде едет на положенном расстоянии, созерцая спину Кей-Бахрама, и улыбается.

4

— Нового юз-баши — в мои покои. И подать нам ужин.

«Прости меня, Всевышний, но к твоим милостям привыкаешь быстро», — Абу-т-Тайиб поудобнее устроился на тахте в ожидании гостя и ужина. Отметив, что гостя он ждет больше. Потому что до сих пор терялся в догадках: как могли палач и стражники сквозь гомон толпы услыхать его... нет, не приказ даже — так, мысли вслух? Что у них, уши слоновьи?! И тем не менее: освобожденный от пут разбойник мигом оказался рядом, а верный (?!!) Суришар нес в клюве пояс с кулахом. Ну, с регалиями ладно, небось все время за шахом это добро возят, на всякий случай; зато все остальное...

Очень странно. Колдовством попахивает! — или опять-таки заговором.

Е рабб, но тогда бородавчатый маг Гургин здесь точно ни при чем: старик явно хотел продолжения казни! С одной стороны, все ясно: советника язык кормит, а совет не производить разбойника в юз-баши гургасаров был вполне разумным. Если бы не доводы, которые старик шептал на ухо Кей-Бахраму:

— Посмотри на его глаза, мой шах! Он же «небоглазый»! Нельзя...

Хирбеду, значит, «небоглазым» быть можно, а юз-баши — нельзя? Разумеется, Абу-т-Тайибу было хорошо известно, что большинство голубоглазых от роду-веку — мошенники и плуты, и вообще люди ненадежные, спроси любого араба от Дар-ас-Салама до аль-Андалуса! Но приводить такой довод, да еще в делах государственных... на себя бы посмотрел!

О чем Кей-Бахрам и не преминул заявить упрямому старцу, заставив последнего прикусить язык.

Что же касается разбойника... Парень действительно понравился Абу-т-Тайибу. И не только тем, что сражался за свою жизнь почище обложенного охотниками барса. Поэт нутром чуял: разбойник может ему пригодиться. Это был человек, который не признал в нем шаха с первого взгляда! И участия в заговоре новый юз-баши принимать никак не мог.

А значит, будет говорить правду.

Абу-т-Тайибу очень нужна была эта правда, какой бы она ни оказалась.

— ...Позволит ли... э-э-э... добра шаху навалом!

У входа распростерся давешний разбойник. Поэт обратил внимание, что новоиспеченный юз-баши облачен уже в форменные шаровары и куртку-абу.

Пояс сверкал серебром, а шапку с кулахом он смущенно тискал в кулаке.

— Заходи, юз-баши! Садись. Сейчас ужинать будем.

Парень встал, нацепил шапку на макушку и остался стоять на месте.

— Сюда иди, говорю! — рявкнул Абу-т-Тайиб, и это возымело действие: разбойник-сотник, не посмев ослушаться, осторожно примостился на тахте напротив.

Замер, глядя в пол и не зная, куда девать здоровенные, похожие на грабли руки. Такими только и грабить! Чем парень до последнего времени, по-видимому, и занимался.

— Как тебя зовут?

— Дэв... Ой! Не гневайся, твое шахское величие! Худайбег я... Худайбег из Ширвана.

— Худайбег аль-Ширвани, значит. А Дэв — это, надо полагать, кличка?

— Кличка, твое шахское... дружки прозвали.

— Разбойники, как и ты?

— Не, не как я. Я у них за курбаши был, — честно признался Худайбег, разведя ручищами.

Его, видать, самого изумляло: из курбаши на кол, с кола — в юз-баши... был пожиже, стал погуще!

Чудны дела твои, Огнь Небесный!

— Грабили, значит?

— Грабили, — с охотой подтвердил сотник.

— Убивали?

— Бывало, — понуро кивнул Худайбег. — Я в разгуле с младых ногтей, первого своего в девять лет приколол, копьецом-то... старый курбаши — родитель мой. Ты, шахское твое, вели гулямам вернуть копьецо, оно мне по руке... А я теперь за тебя по пять вражин за раз нанизывать стану, ты уж не сомневайся!

— Позволит ли великий шах внести ужин? — вкрадчиво мяукнули за дверями.

— Давно пора! — улыбнулся поэт. — Вноси, пока мы с голоду не померли!

«И когда это они фазанов успели зажарить?» — подивился он, наблюдая, как слуги проворно расставляют на дастархане многочисленные блюда, блюдца, блюдечки и великое множество чаш с кувшинами.

Подобным ужином можно было накормить до отвала человек восемь.

Когда слуги тихо удалились, прикрыв за собой двери, поэт, как и положено гостеприимному хозяину, первым разломил поджаристую лепешку.

Протянул часть Худайбегу:

— Ешь. И не бойся ничего. Не для того с кола снял, чтоб отравить. Нет шаха, нет душегуба — есть хозяин и гость. Понял, оглобля?!

Парень несмело улыбнулся и жадно впился зубами в предложенную лепешку. Взглянув в голодные глаза юз-баши, шах подумал, что, может, слуги и не зря принесли столько еды!

Вскоре захрустели фазаньи кости, горячий жир потек по пальцам и подбородкам. Было отдано должное и молодой зелени, и уксусному супу с барбарисом, и форели в сброженном соке граната — всего и не перечислишь! Добрались и до серебряного кувшинчика с крепкой настойкой. После второго кубка лицо юзбаши порозовело, парень расслабился и окончательно бросил стесняться.

Чего поэт и добивался.

Аппетит у юз-баши оказался под стать кличке: дэв-великан помер бы от зависти, глядя на столь завидную прожорливость!

Однако всему в этом мире есть предел, кроме осведомленности и могущества Аллаха, — и Худайбег удовлетворенно рыгнул, откинулся на подушки и замер с кубком в руке.

Пришло время беседы.

— Ну, приятель, а теперь поведай мне: за какие грехи едва на кол не угодил?

— Твое шахское... — В брюхе у парня громко забурчало.

— Мое шахское тебя уже помиловало. Отвечай!

— Гонца я твоего порешил. С этим... с фирманом о восшествии. Я ж не знал, что он гонец! Думал, кисет динаров возьму... а он, баран, за сабельку! Я копьецом ширнул, стал обыскивать, тут грамотка и всплыла. А дружки мои (бывший душегуб разгорячился и даже хватил кулаком о стол, заставив посуду задребезжать) гвалт подняли, отродья трусливые! Что ты, кричат, наделал, сын шакала! Это я-то сын шакала, отвечаю?! Ты, ты! Зачем шахского посланца кончил? Не хотим из-за тебя, дурака, в пекло! — и всем скопом как навалятся!

Лицо парня пошло багровыми пятнами: от возбуждения и выпитой настойки.

— Ты действительно не знал, что гонца встретил? — с напускной строгостью поинтересовался Абу-т-Тайиб.

— Клянусь Огнем Небесным, не знал, твое шахское! Малахай с лисьим хвостом он, видать, потерял, а я ж не провидец!

— А твои дружки? Они что, провидцы? Или им не един финик: гонец, не гонец?!

— Дружки? — с подкупающей искренностью растерялся Худайбег. — Суки они, а не провидцы! Сам диву даюсь: гонца, кричат, порешил, за гонца нам всем мука мученическая... а с чего взъярились, не ведаю!

Дыхание его участилось, стало хриплым, по лицу стекали капли пота.

— Истину говорю, твое шахское: не ведаю! Набросились они на меня, повалили... много их было, а то б я отбился. Связали по рукам-ногам, и к судейскому дому прямо под дверь кинули. Вместе с копьецом; а к древку писульку ниткой примотали: кто таков, мол, и за какие грехи! Нашелся один гад, грамотный... поймаю — удавлю!

Парня била крупная дрожь, пот по лицу тек уже ручьями, но поэт не придал этому значения, размышляя вслух:

— Значит, дружки тебя и повязали? Ох, врешь ты, приятель! Не водится такого промеж гулящими. Ножом пырнуть, если чем крепко не угодил, — могут, но чтоб судье, с запиской... И за что? Ты шахского гонца не узнал, а душегубы за гонца горой; и меня ты не сразу признал, когда другие за фарсанг... Как мыслишь, юзбаши? Сотник, что с тобой?!

Худайбег медленно заваливался на бок. Глаза его закатились, страшно сверкая белками, лицо было уже не красным, а лилово-

синим, похожим на бычий пузырь. Бывший разбойничий главарь дернулся, упав с тахты на пол, высокая шапка с дареным венцом-кулахом отлетела прочь — и дыхание парня вдруг стало ровнее.

Однако сознание не вернулось.

«Отравили, дети ехидны! — вскочив, Абу-т-Тайиб едва не схватился за голову: столь очевидным было покушение на нового юз-баши. — Фазаны! Начинили банджем!.. да нет, мы же чуть ли не из одной плошки! Хотя мало ли что ему могли подсунуть до того, как привести в мои покои!»

— Лекаря! Быстро! — раскатился по дворцу львиный рык.

5

Лекарь-хабиб морщил личико престарелого младенца, долго тряс куцей козлиной бороденкой, осматривая бесчувственного Худайбега. Принюхивался, прислушивался. Потом велел своему молодому ученику раздеть больного — и шах еще подивился, каким здоровенным оказался разбойник. Абу-т-Тайиб стоял рядом и с восхищением глядел на гору налитых силой мышц. Не зря парня Дэвом прозвали! Такому стражей кидать — что детям палые листья!

Впрочем, сейчас Худайбег был беспомощней дитяти, и козлобородый хабиб из кожи вон лез, стараясь привести сотника в чувство.

Не получалось.

Но все же кое-чего лекарь добился: когда парня раздели и растерли мазью, а в полуоткрытый рот влили каплю-другую резко пахнущего снадобья, краснота покинула лицо юз-баши. Он гулко вздохнул, пустил ветры, и болезненное забытье плавно перешло в здоровый сон.

— Пусть спит, — решил Абу-т-Тайиб. — Уложите его в покоях по соседству с моими, и чтоб кто-нибудь за ним присматривал!

Хабиб не посмел перечить, а приглядывать за больным оставил своего ученика, заверив владыку: юноша достаточно преуспел в искусстве врачевания и в случае чего сумеет оказать помощь.

Наконец лекарь ушел, в покоях воцарилась благоговейная тишина, но шах еще долго не мог уснуть. Хотел было распорядиться прислать к нему одну из наложниц — но передумал.

Любви не хотелось; слишком много ее было вокруг, любви-то — обрыдло.

Неужели происки Гургина?! Не сумел уговорить шаха продолжить казнь — так отравить парня решил? Надо будет спросить Худайбега, когда очнется: не давали ли ему какой-нибудь еды или питья перед визитом к шаху. И держать юз-баши при себе, рядом, не отпускать ни на шаг — уморят ведь, твари верноподданные!

Наконец шах заснул, и ему приснился сон.

Он шел по длинному, нескончаемому коридору, а вдоль стен истуканами стояли люди — все, как на подбор, голубоглазые. И каждому шах вручал пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и перстень, пояс, кулах и...

Крик.

Гулкий, протяжный, многоголосый.

Осколки неба вздрагивают в бойницах, отороченных черной плесенью; синь течет, выплескивается, заливает коридор, дворец, мир...

Шах оглянулся — и увидел. Те, кому он вручил знаки отличия, один за другим с хрипом валились на пол, изо рта у них шла кровавая пена, глаза тускнели, останавливались... Шах закричал, вплетя в общий крик и свою ноту, — после чего проснулся.

Было утро, и Абу-т-Тайиб, мучимый дурными предчувствиями, заторопился проведать новоявленного юз-баши.

Однако, к счастью, предчувствия оказались ложными. Растирая красные от бессонницы глаза, ученик хабиба доложил, что с пациентом все в порядке, он уже проснулся и чувствует себя хорошо.

«Слава Аллаху!» — пробормотал поэт, погнал ученика отсыпаться и шагнул в покои юз-баши.

На Худайбеге были одни шаровары из синей ткани — он еще не успел до конца одеться. Узрев шаха, парень с грохотом лавины в горах пал ниц, но Абу-т-Тайиб мигом заставил его вскочить на ноги.

Незло пнул под ребра и скомандовал:

— Вставай!

— Хорошо спалось, твое шахское?.. — торопливо забормотал Худайбег.

— Лучше некуда. Ты-то как, сотник?

— Жив покамест, твое шахское! Жрать только хочу.

— Ну и славно. Одевайся. И без промедления ко мне — завтракать вместе будем.

— Ух ты! — просиял Худайбег, явно даже в мыслях не виня Абу-т-Тайиба за вчерашний приступ. — Ты, твое шахское, только намекни: я кому хошь ноги из зада-то повыдергаю!

Парень искренне старался хоть чем-то отблагодарить своего спасителя. Щенок. Да, душегуб и грабитель, но щенок. Радостный, открытый, разве что хвостом не виляет. Не было в нем тупой покорности и раболепия, а ухмылка вдруг напомнила Абу-т-Тайибу прошлую ненависть в глазах Суришара.

Обе были честными: и радость, и ненависть.

Разве что ненависть была, да сплыла, а радость — есть.

Абу-т-Тайиб направился к выходу из покоев. На пороге он оглянулся и, оборачиваясь, вспомнил, что это — плохая примета.

Как в воду глядел!

Худайбег успел накинуть куртку, подпоясаться, и сейчас как раз надевал шапку с кулахом. При этом лицо его было мокрым от пота, а на щеках начали проступать знакомые багровые пятна.

Ряды «небоглазых» вдоль стен, кулах, пояс, падающее тело...

— Снять! Быстро! Шапку скинь, я сказал! — Поэт еще не успел осознать до конца собственную догадку, а слова уже сами рвались из горла. — Теперь — пояс! Да не лишаю тебя своей милости, не лишаю! Снимай, Дэв! Ну что, полегчало?

— Полегчало! — изумленно шепчет юз-баши, во все глаза глядя на своего благодетеля.

— Скажи слугам, пусть выдадут тебе другой пояс и шапку. Обычные. Будут упрямиться, передашь: воля шаха. И зайдешь попозже — шах желает поразмыслить. А эту... эту дрянь больше не надевай.

Абу-т-Тайиб хотел забрать регалии, но тут ему вспомнился скоропостижно скончавшийся судья, и он передумал.

— Не надевай, но и не выбрасывай. Пусть тут лежат.

И шах вернулся к себе, но спокойно поразмыслить ему не дали.

На пороге возник слуга.

— Дозволит ли мне владыка говорить?

— Ладно, говори, шайтан с тобой. Что там еще?

— Хирбеди Нахид нижайше молит владыку об аудиенции.

— Хирбеди Нахид? — Абу-т-Тайибу сразу вспомнилась юная голубоглазая жрица, так до конца и не смирившаяся с тем, что новым шахом станет он, чужак с того света.

Голубоглазая. Снова — голубоглазая...

— Я приму ее, — кивнул слуге Абу-т-Тайиб. — Зови.

ГЛАВА 8,

где используются новые способы наказания ослушников, исследуется польза от подражания Харуну Праведному, но по-прежнему никоим образом не освещается удивительный факт, что если первый день года — вторник, день Марса, то это указывает на многую гибель людей, дороговизну злаков и малость дождей, а также отсутствие рыбы и удешевление меда с чечевицей; еще умножится падеж ослов, а Аллах лучше знает

1

— О красавица, про которую сказано: «Если поет и пляшет, то искушает, если же надушится и приукрасится — убьет наповал!» Раскрой уста гранатовые, предназначенные для речей сладких и приятных для слуха, — шах внимает тебе!

Замечательно! Абу-т-Тайиб разглядывал жрицу, простершуюся у его ног, и получал истинное наслаждение. Даже в такой позе, долженствующей выражать крайнюю степень смирения, Нахид ухитрялась выглядеть дерзкой!

Талант!

Дар Божий!

Хотелось позвать Гургина, дабы маг тоже получил свою часть удовольствий; но поэт раздумал. Обойдется, упрямец. Нечего ему на девок пялиться. Наедине поговорим, нам посредники излишни...

— Ну, вставай, свет очей моих, вставай скорее!

Словно вихрь взбил песчаный смерч: девушка взлетела на ноги, плеснув кистями дорожной шали, — и наотмашь ожгла Абу-т-Тайиба плетью взгляда. После чего, как и положено рабе на аудиенции у владыки, свет очей скромно потупила взор.

Поэту даже показалось, что он слышит явственный скрип. Взор ни в какую не желал потупляться, а о скромности вообще не шло речи. Так ржавый ворот визжит, сопротивляясь насилию. Так упрямится под ветром старая акация. Так смотрит на захватчика пленный воин, и ноздри пленного бешено раздуваются от бессильной злобы. Глаза девушки сверкнули голубыми углями, обдав поэта ненавистью, откровенней которой может быть лишь плевок в лицо. И Абу-т-Тайиб мысленно поздравил себя: наконец-то перед ним человек, который его искренне ненавидит. До сих пор. Невзирая на перемены и изменения.

Ненавидит и не может скрыть чувств.

О счастье! Разговор обещал быть весьма занимательным.

— Не соблаговолит ли владыка ответить... Правда ли, что верховный хирбед Гургин получил кулах главного вазирга?!

Да, не очень-то ты, девочка, привыкла говорить с владыками. Смотришь прямо, говоришь прямо; там, откуда я родом, за один такой вопрос зовут палача и велят расстелить «ковер крови»! В лучшем случае, палок дадут. По пяткам. Знаешь, как это делается? Берется палка с ременной петлей посередине, некие прелестные ножки захлестываются сей петлей, а палка перекручивается — чтоб ремень как следует врезался в щиколотки. Потом палка вздергивается к небу, а палачи берутся за гибкие средства вразумления... Но я обожду и с ковром, и с палками. Мне интересно, что ты скажешь дальше, хотя я и догадываюсь об этом.

Я отвечу.

— Вполне возможно, несравненная, вполне возможно. Все в воле Творца и шаха, хоть шах и ничто пред Господом миров.

Похоже, девочка, ты только-только приехала — вернее, примчалась! — в Кабир. И еще не знаешь, что Гургин великолепно обходится без кулаха и пояса. Это правильно, ни к чему тебе лишние сведения, вольный язык быстрей развязывается.

— Владыка! Во имя Огня Небесного — или, если хочешь, во имя Творца, которому ты поклоняешься... Не делай этого!

Мольба?

Клянусь низвержением идолов, мольба!

И едва ли менее искренняя, чем ненависть.

Взгляд «небоглазой» заплывает первыми каплями дождя, соленого ливня, которому только дай хлынуть на иссохшую землю! — ударит в тысячу плетей, запляшет по трещинам, вскрикивая от сладкой боли! Прости меня, девочка, или не прощай, если тебе так больше нравится, но я давно уже не боюсь вида женских слез, и ненависти тоже не боюсь, а вот ты боишься! И не за себя, а за мага с бородавкой.

Он мне руки лобызал, скорпионом ползал по коврам, а чем ты расплатишься за милость?

— Я предлагаю Гургину высокий пост, славу и почет. Неужели ты считаешь своего учителя недостойным славы? — Абу-т-Тайиб всплеснул рукавами от притворного удивления.

— Ты убиваешь его! Это не слава и почет, это смерть, это хуже, чем смерть!..

Нахид осеклась и крепко-накрепко зажала ладошками рот. Поэт смотрел на девушку и думал, что царства рушатся вот из-за таких: честных и открытых. Самый опасный сорт народа. Любовь, ненависть, долг и забота, а что в итоге? — сболтнут лишнее и начинают каяться, когда уже поздно.

С лицемерами проще.

— Окружной судья Пероз умер, когда я *лишил* его должности, — медленно проговорил Абу-т-Тайиб. — Это я еще как-то могу понять. Но ты, красавица, утверждаешь, будто я убиваю Гургина, *назначая* его вазиргом! Рассей же туман, застилающий мои очи! — и, может быть, тогда я изменю свое решение.

— Никогда, — листвой под ветром прошелестел ответ. — Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

— Ладно. Тогда сними шаль.

Хирбеди отпрянула, недоуменно хлопая ресницами.

— Я решил сыграть с тобой в старую игру владык. Если ты не захочешь отвечать на мои вопросы, за каждый отказ я заберу у тебя часть одежды. По моему выбору. И в конце концов отправлю восвояси.

Абу-т-Тайиб помолчал и добавил:

— Голой. Надеюсь, ты понимаешь, что я не шучу?!

Смерч взметнулся во второй раз, но сейчас поэт был готов. Он даже позволил себе рассмеяться, повернуться к бегущей Нахид спиной и прошествовать к столу. Как ни в чем не бывало. С аудиенций правителей не убегают, когда тебе вздумается; особенно если у входа несут караул Яджудж и Маджудж, великаны мои замечательные! Грохот, стук, лязг, и когда Абу-т-Тайиб

снова позволил себе обернуться — строптивая жрица стояла у запертых дверей.

Запертых, ясное дело, снаружи.

— Я сказал — шаль! — повторил поэт, лениво играясь с пеналом, найденным в башне. — Живо! Или ты предпочитаешь, чтобы я это сделал сам?!

Скомканная шаль полетела ему в лицо.

— Отлично. И не сверкай на меня глазками, я тебе не хворост, не вспыхну. Скажи лучше вот что... Не все «небоглазые» — жрецы, но все жрецы — «небоглазые». Я правильно понял?

Молчание.

— Сандалии! Будь добра, моя пери, сними сандалии — я хочу взглянуть на твои босые ножки!

Воплощенная Гордость стояла у дверей. Вот она гордо наклонилась, гордо ослабила ремешки сандалий и гордо запустила их, одну за другой, в голову владыки.

Первую сандалию Абу-т-Тайиб поймал на лету, а вторая и без того врезалась в стену.

— Умница. Надеюсь, ты понимаешь, что я могу отдать тебя гургасарам? Или велеть Суришару в моем присутствии объездить строптивую кобылицу?! Полагаешь, мальчик воспротивится?

Гордость по имени Нахид вздрогнула. Правильно, девочка, наш с тобой шах-заде не воспротивится. Если я прикажу, он выполнит приказ, и, возможно, даже с радостью.

Это еще один вопрос, на который я хочу получить ответ — но не у тебя.

Всему свое время.

— Значит, ваши тайны тебе дороже страданий Гургина и твоей собственной участи? Хорошо. Но когда я надеваю кулах на шах-заде, то мальчик сияет новеньким динаром; когда я надеваю кулах на дряхлого мага, он брыкается, будто ишак, которому под хвост сунули чертополох, — а потом являешься ты, и ужас плещет в твоих хорошеньких глазках! Зато покойный судья Пероз, чьи глаза благородно-карие, скоропостижно уходит к праотцам, едва я *лишу* его кулаха! Ты не хочешь объяснить мне все эти чудеса? Не хочешь, моя пери... Рясу! Снимай рясу, или что там у тебя надето!

Ряса упала на пол. Руки девушки судорожно вцепились в изар — повязку на чреслах; Нахид справедливо ожидала, что следом за рясой придет очередь изара. О, строптивая хирбеди была хороша, она была чудо как хороша в гневе и смущении, словно пленная тигрица! Маленькая грудь, нежней молодых листьев аргавана; стрелы ресниц трепещут, грозя обронить алмазы слез... что там еще? Аромат мускуса и амбры? Виноградинки бьют розу? — в смысле кончики пальцев трогают щеку?

— Только раз бывает праздник, только раз весна цветет, —

поэт вольно закинул руки за голову и потянулся, смакуя слова великого Рудаки, — взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет! Ответь же мне скорей, любимая: кто я? Кто твой возлюбленный?!

— Тварь! — выплюнул рот Нахид. — Мерзавец!

— О-о-о! Замечательно! Раз в году блистают розы, расцветают раз в году — для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет! Так кто же я еще?

— Сволочь! Палач!

— Я сгораю от счастья! Только раз в году срываю я фиалки в цветнике — а твои лаская кудри, потерял фиалкам счет! Нет, тут Рудаки что-то напутал, ведь фиалки синие, а кудри... ну да ладно! Еще! Кто я, моя любовь?!

— Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

— По-моему, тебе жарко в изаре... Велеть снять? Только раз в году нарциссы украшают грудь земли — а твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

Абу-т-Тайиб вдруг прыгнул прямо через стол, забыв о возрасте и сане; он оказался совсем рядом с обнаженной девушкой, и пальцы когтями вцепились в бархатные плечи.

Лицо его треснуло провалом рта, и Нахид ясно увидела новые зубы на месте выбитых передних: острые, пока еще маленькие кусочки кости...

— Кто я!

— Собачий сын!

— Еще!

— Мучитель!

— Еще!

— И еще... еще... Еще ты шах Кабира, Кей-Бахрам, будь ты трижды проклят!

— Одевайся!

— Что?!

— Одевайся, говорю! И пошла вон! Вон!!!

Только тогда она заплакала.

Уже в галерее ее догнал окрик шаха. Ударил в спину, ухватил за край спешно накинутых одежд. Нахид обернулась, всхлипывая: проклятый чужак стоял на пороге своих покоев.

Рядом возвышались идолы-телохранители, слепые и глухие ко всему, кроме безопасности владыки.

— Извиняться не стану, — устало бросил шах, и девушка задохнулась: столько муки крылось в сказанном. — И вознаграждать не стану. Я получил ответ; мне достаточно. Прощай.

— Я ничего не сказала тебе! — крикнула Нахид, чувствуя, как голос предательски дрожит. — Ничего!

— Сказала. Одни говорят словами, другие — чем придется. Ты честно ненавидишь — и честно зовешь меня шахом. Ты раздеваешься иначе, нежели прочие женщины ваших благословенных земель. Это ответ. Пусть я не до конца разобрался в нем, но я разберусь. Обязательно разберусь. И не бойся за Гургина: он прекрасно обходится без кулаха. Прежде чем просить об аудиенции, тебе следовало бы встретиться с учителем лично. Уходи.

Девушка бежала по галерее, сгорая от стыда и гнева, а вслед неслось:

— Не цепями приковала ты влюбленные сердца — каждым словом ты умеешь в них метать огонь и лед!.. огонь и лед! О златоуст Рудаки, слепец со зрячим сердцем! — как же хорошо ты знал женщин... Эй, постой! погоди! ты забыла сандалии!

И сандалии, брошенные сильной рукой, упали перед бегущей хирбеди.

2

Вечером посыльный ускакал в город с приказом: «Без главного советника не возвращаться!»

Гургин явился настолько быстро, что у поэта закралось подозрение: старик все-таки настоящий колдун и примчался сюда в летающем кувшине. Или все это время торчал под дворцовыми воротами. Ждал вызова. А заодно подслушивал и собирал сплетни. Интересно, он успел переговорить со своей защитницей Нахид, оскорбленной в лучших чувствах?

И если да, то к каким умозаключениям пришел?!

Однако вдаваться в расспросы Абу-т-Тайиб не стал.

— Распорядись, чтобы мне принесли другую одежду. Караванщика или ремесленника средней руки, что ли... Да и сам переоденься. Мы отправляемся в город. Вдвоем, — поэт стоял над распростертым ниц стариком и ждал возражений.

Но возражений не последовало.

— Внимание и повиновение! — отозвался хирбед с пола, вскочил, как змеей ужаленный, и вихрем умчался выполнять приказание.

«Виделся-таки с нашей красавицей, хитрец бородавчатый! — уверился поэт, гордо подкручивая ус. — Знает, что за упрямство бывает... а ну как раздену, да не в покоях, а прямо на майдане!»

Бахвальство утешало, делая жизнь лжешаха вполне сносной. Но мудрецы полагают, что грешника Аллах сперва помещает в рай, дабы после геенна показалась несчастному во сто крат горше! Если мудрецы правы...

Возвращение мага избавило Абу-т-Тайиба от грустных мыслей.

Принесенная одежда оказалась выше всяческих похвал: добротный, но несколько поношенный чекмень, волчья джубба, похожий на воронье гнездо малахай с космами назатыльника; шаровары подшиты сзади кожей, для удобства в скачке, и растоптанные сапоги выглядят еще вполне крепкими...

Обувка пришлась как раз впору — Гургин превзошел самого себя.

Да и маг преобразился: лохматая бурка поверх засаленного казакина и куколь из войлока-стеганки делали его почти неузнаваемым.

Так и подмывало кликнуть стражу и бросить проходимца в зиндан.

— Молодец! — похвалил старца Абу-т-Тайиб, заворачивая в кушак шелковый кисет с горстью динаров.

Потом взгляд поэта скользнул по стене и мимо воли зацепился за тяжелый ятаган. Красавец клинок просто молил с ковра: возьми! Да и отправляться в народ безоружным (нож-засапожник — не в счет) хотелось мало. Я вам не Харун Праведный! Впрочем, у Праведного в спутниках ходил его любимый палач, а мы по бедности магов таскаем...

— Скажи, Гургин, многие ли видели этот ятаган? И знают, что он принадлежит шаху?

— Немногие, владыка. Сей ятаган вообще крайне редко покидает шахские покои.

— Очень хорошо. Значит, по нему меня не смогут опознать в городе?

— По ятагану — не смогут, — маг задержался с ответом, но Абу-т-Тайиб не обратил внимание на задержку.

Он бережно снимал оружие со стены. И думал, что надо будет вызвать хорошего мечника: сбить с рукояти драгоценную мишуру.

Рубинам место в оправе перстней.

— Надеюсь, во дворце отыщется какая-нибудь неприметная калитка, посредством которой мы выпустим на волю скакуна нашей затеи?

— Разумеется, мой шах. И не одна.

— Веди.

* * *

Кабир встретил их вечерней сутолокой и гомоном.

Вздохнув полной грудью, поэт с радостью окунулся в родную стихию. Ему даже на миг показалось, что он гуляет по Басре, славной пальмовыми рощами; вот сейчас они выйдут на площадь Мирбадан, где придется ввязаться в очередной диспут с каким-

нибудь тайным манихейцем-еретиком, — а после доводов и поношений, где острота рифм служила порой лучшим аргументом...

Абу-т-Тайиб никогда не думал, что ему так будет недоставать всего этого.

Они с Гургином заходили в лавки, приценивались к товарам, причем поэт то и дело яростно торговался из-за какой-нибудь безделицы вроде бронзовой пряжки или вышитого кисета. Гургин больше молчал, лишь время от времени бросал язвительные реплики, хмурясь и норовя уйти — чем сбивал цену ничуть не хуже, а то и лучше Абу-т-Тайиба. Такой Гургин нравился поэту куда больше, и вскоре он проникся к старцу искренней симпатией: спутник из жреца получился хоть куда! За словом в сапог не лезет!

Как подменили человека...

Абу-т-Тайиб захлебывался от любопытства: новый город, новые люди, обычаи — много ли увидишь и поймешь, проезжая по улицам со свитой? Совсем другое дело — надев личину, окунуться в водоворот жизни, захлебнуться им, впустить в себя! Поражало одно: общее вежество, будто не в толпе идешь, а на занятиях по грамматике сидишь. Никто локтем не толкнет, на ногу не наступит, не облает вслед...

Едва шах успел подумать об этом, как пропахший требухой мясник с серьгой в ухе налетел на него, чуть не сбив наземь.

— Неча под ногами путаться! — осклабился детина, дохнув перегаром, и поперся себе дальше, расталкивая прохожих.

На мгновение Абу-т-Тайибу почудилось, что грубость мясника показная. Впрочем, отчего бы ей и не быть показной?! Особенно если детина входит в число квартальных заправил, и сохранять лицо для него важней, нежели для шаха! Поэт ухмыльнулся, чем весьма изумил зевак, ожидавших драки, потер ушибленный бок и отправился дальше в сопровождении невозмутимого Гургина.

Чайхана, куда они ввалились заморить червячка, мало отличалась от своих басрийских и куфийских сестер. Чадный воздух был пропитан ароматами горелого масла, пряностей, чеснока и лука; обжигаясь, Абу-т-Тайиб глотал похлебку с мясом и хлебом, и она казалась ему вкуснее самых изысканных яств.

Даром, что ли, пророк сказал о такой похлебке: «Превосходство ее над иными кушаньями подобно превосходству моей младшей и любимой жены над прочими женщинами!»

Поэт отдыхал душой. Заговоры, интриги, тайны «небоглазых», почтительность и раболепие, сомнения без надежд и вопросы без ответов — все это осталось там, за стенами шахского дворца. Здесь же можно было вновь стать самим собой: бродягой-рифмоплетом, острословом и насмешником, забиякой, скорым на кулак и клинок, плоть от плоти этой шумной бессмысленной суеты, имя которой — жизнь.

А смысл пусть другие ищут.

Ублажив чрево, они отправились дальше: проталкиваясь сквозь многолюдье центральных улиц, ныряя в кривые переулки, где воняло скисшим молоком, а покосившиеся дувалы в любой момент грозили обрушиться на головы редких прохожих, вновь выбираясь в толчею торговых рядов, пересекая майданы и, подобно червю, вгрызаясь в самую сердцевину яблока по имени Кабир.

Абу-т-Тайиб чувствовал город, как собственное тело.

Стоило ли удивляться?.. Да, наверное, стоило, но не хотелось портить вечер свободы.

И даже Гургин позволил себе усмешку, когда поэт прямо на людной улице обернулся к магу и в голос продекламировал:

Говорят, что есть рай, говорят, что есть ад;
После смерти туда попадешь, говорят,

В долг живем на земле, взявши душу взаймы, —
И надеждами тщетными тешимся мы.

Но, спасаясь от мук и взыскуя услад,
Невдомек нам, что здесь — тот же рай, тот же ад!

Золоченая клетка дворца — это рай?
Жизнь бродяги и странника — ад? Выбирай!

Или пышный дворец с изобильем палат
Ты, не глядя, сменял бы на драный халат?! —

Чтоб потом, у ночных засыпая костров,
Вспомнить дни, когда был ты богат, как Хосров,

И себе на удачу, себе на беду
Улыбнуться в раю, улыбнуться в аду!

Прохожие разразились восхищенными кликами, один подвыпивший рыбник даже стал зазывать Абу-т-Тайиба к себе, требуя воспеть его новую невольницу; а сам поэт отмахнулся от рыбника — и на всякий случай протер глаза.

За поворотом впереди мелькнули золотое руно и круто загнутые рога; тихое блеянье донеслось оттуда, цокнули копыта — и призрак исчез.

3

Стемнело. Кое-где зажглись масляные фонари, людей заметно поубавилось, зато объявились «Ночные псы» — сытые бородачи, по самый шлем преисполненные собственного достоинства.

— Спите спокойно, жители Кабира! — голосили они, вовсю

тарахтя деревянными трещотками; мертвый восстал бы из гроба, окажись стражи близ кладбища.

Поэт решил не испытывать судьбу. Еще сочтут подозрительными... И спешно затащил Гургина в темный закуток между какими-то амбарами.

Стражники протопали совсем рядом. Остановились. Бросили соленое словцо в адрес женщин, проветривавших на плоских крышах одеяла и ковры. Затем «Ночные псы» разразились громовым хохотом и отправились дальше.

— Разгильдяи, — шепнул Абу-т-Тайиб прямо в мосластое хирбедово ухо. — Скажи мне на милость, где таких олухов вербуют?! А прячься тут не шах с советником, а парочка душегубов?

Советник искоса глянул на своего шаха, глаза мага странно блеснули, но в темноте Абу-т-Тайиб не обратил на это внимания.

Они выбрались из укрытия и быстро пошли прочь. Скоро впереди послышались голоса, затянули песню — и поэт, не долго думая, зашагал в ту сторону. Люди веселятся? — отлично!

Безмолвная тень мага волочилась сзади, явно не собираясь препятствовать.

Выбравшись на пустырь, Абу-т-Тайиб сразу оценил, что за компания здесь собралась. На всякий случай он покосился на Гургина: не пощадить ли старца, мало привычного к ночной гульбе? Однако старец являл собой воплощение спокойствия — что само по себе было удивительно. Ибо вокруг костра, увлеченно плевавшегося в черноту неба огненными драконьими языками, сидели личности вполне однозначные. Таких зовут ловкачами, подразумевая под ловкостью нечто совсем иное, чем принято среди людей порядочных и уважаемых.

Вот только поэт никак не считал себя порядочным и уважаемым человеком. Особенно сейчас.

Поэтому и направился прямо к костру.

— Кого там нелегкая несет на ночь глядя? — проворчали навстречу; и отчетливо зашелестела сталь, покидая ножны.

— Нелегкая носит стражников и бражников, а мы покамест своими ногами идем, — осклабился Абу-т-Тайиб прямо в чью-то рябую физиономию, подходя ближе.

— Бражников, гришь? А нешто трезвый сюда сунется? — Рябой, наверняка снискавший славу местного балагура, решил не упускать случая поддержать репутацию.

От костра и дряхлой хибары неподалеку донеслись редкие смешки: опустить простофилю всегда занятно.

— Это ты прав, рябчик! — легко согласился поэт. — Как в дерьмо пальцем! По твоей роже сразу видать — трезвый ни в жисть не сунется!

На этот раз хохот был куда громче: простофиля простофилей, а когда свой брат-плут в лужу ляпается, грех не засмеяться.

— Веселый человек к нам пришел, однако! — Рябой попра-

вил тюрбан и как бы невзначай мазнул рукой по самострелу за поясом. — Видать, не простой ловкач-залетка, а предводитель! Садись, языкатый, гостем будешь. А дружок твой — он тоже весельчак вроде тебя?

— Вроде себя, — мрачно отозвался Гургин и поскреб ногтем свою замечательную бородавку. — Только я лучше молчать буду. А то умрете все. От смеха.

То ли старец так шутил, то ли имел в виду что-то сугубо личное — но больше Гургина не трогали и вопросов ему не задавали. Совсем.

— Ну ладно, раз явились — с вас байка. О судьях, скрягах и лихих бродягах! Как у честных молодцов спокон веку заведено, — крикнули от хибары.

— А песня сойдет? — ухмыльнулся поэт.

— Песня? Эй, кочет, ты хоть кукарекать-то умеешь?

— А сейчас узнаем. Не пробовал еще! Кочет поет, как хочет — уселся б на кол, и то б не плакал!

Тут уж заржали в голос все.

— Это у тебя что за штука? — осведомился между тем Абу-т-Тайиб у чернявого парня, который развалился рядом на вытертой кошме.

— Чанг. Вчера прямо с прилавка свистнул. Да только дребезжит, зар-раза! Выброшу, наверное... или продам. Олуху вроде твоей милости.

— А ну, дай взглянуть. Вдруг куплю!

Чанг оказался родным братом лютни, привычной поэту. Единственно для хиджазского пения был настроен ниже, чем следовало бы: в ритме «сакиль первый» приходилось излишне напрягать кисть, стараясь избегнуть упомянутого парнем дребезга. Но привередничать не стоило. Вор-музыкант поначалу с тревогой следил за пальцами Абу-т-Тайиба, когда те разом зажили собственной жизнью: умело подкручивали колки, пробовали строй, гуляли по ладам... Потом парень расслабился и даже восхищенно хмыкнул, ткнув рябого локтем в бок.

Рябой отмахнулся: не мешай, мол, дай послушать!

А Абу-т-Тайиб задумчиво перебрал струны, — и вдруг, без всякого вступления, запел давнюю, сложенную им еще в Дар-ас-Саламе касыду, которая сейчас показалась более чем уместной:

Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он —
радость для смельчака.

Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба,
прожилки его тонки...

Долой тяжкие думы и тайные интриги! Долой весы и счеты, шахский венец и «небоглазых» упрямцев; в ад загадки Кабира!

Песня!

Пой, чанг, звени струнами, шепчи о былом, оставшемся там, за горами без названия и смертью без могильного тлена; о, должно ли скорбеть великой скорбью и печалиться великой печалью, если по свету еще гуляют слова, достойные быть произнесенными?!

Ремень, что его с той поры носил, — истерся,
пора чинить,
Но древний клинок сумел и в боях молодость сохранить.

Так быстро он рубит, что не запятнать
его закаленную гладь,
Как не запятнать и чести того, кто станет его обнажать.

О ты, вкруг меня разгоняющий тьму, опора моя в бою,
Услада моя, мой весенний сад — тебе я хвалу пою!..

И в кругу костра, что мерцал живым светом, остались трое: Поэт, Песня и Слушатели — единое существо, поющее и внимающее.

Абу-т-Тайиб знал, что нужно этим людям. Да он и сам не хотел сейчас ничего другого: песня, подобная неистовому скакуну с бешеным наездником на спине, рвалась с его губ и со струн чанга — рвалась и уносилась вдаль, горячим ветром овевая завороженные лица кабирских ловкачей. Горным камнепадом грохотали копыта, насмешливо звенела сталь о сталь и золото — о золото; одинаково сладкими были кровь врагов и губы красавиц, а потом...

Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

А потом песня кончилась, и только трещал заслушавшийся костер, да еще медленно гасли отзвуки дикого, необузданного напева — и так же медленно гасли глаза слушателей: они были там, в его песне, и им очень не хотелось возвращаться.

Счастливцы! — пой, Абу-т-Тайиб, и не думай о том, что ради возвращения позволил бы отрубить себе оба уха.

Да что там уши...

— Еще! Еще давай! — истово выдохнул рябой, готовый ради единого слова певца сунуть руку в огонь.

— Ну ты, Битый, закрой пасть! Не блудницу прижал: еще давай, еще давай... Кто ж тебе с пустым брюхом петь станет? —

резонно заметил давешний голос от хибары, и поэту снова не удалось в темноте разглядеть говорившего.

От жидкой каши с овечьим жиром Абу-т-Тайиб отказался; зато ловко поймал ломоть хлеба и плеть вяленой бастурмы, красную от перца. Он всегда любил острое, хотя в последние годы и мучился изжогой по утрам. А чанг тем временем снова перешел в руки первого хозяина; верней, далеко не первого и не вполне хозяина, но чего уж теперь! Тот тронул струны, удивленно прислушался, высунув язык, словно хотел чужой отзвук на вкус попробовать; и с робостью опустил ладонь на струны, гася их дрожь.

— Не, я пока обожду. А то потом тебе обратно строить придется: я по-твоему не умею, — честно признался парень, кладя чанг рядом с поэтом.

Абу-т-Тайиб кивнул и промолчал: рот его был набит сочным огнем и хлебом вместо песен.

— Добрый человек. — Слепой оборванец, чьи глазницы сплошь заросли диким мясом, выполз из-за спины рябого и ткнулся лбом в рукоять Абу-т-Тайибова ятагана. — И человек добрый, и песня добрая, и ножик — добрей некуда! У кого взял?

— У кого взял, тому он уже без надобности. Считай, по наследству достался, — буркнул Абу-т-Тайиб, нимало не погрешив против истины.

— Ну ты и плут, — отметили из темноты — как кулах с поясом выдали. — Что ж мы раньше про тебя-то не слышали? Чангиры с ножиками, да еще с болталом до пупа, а мы ни сном ни духом... Издалека, видать?

— Издалека, — кивнул поэт. — Из такого далека, что вам и не снилось!

— Из Оразма, что ли? — вновь полюбопытствовала темнота. — Или из Дурбана? Говор у тебя вроде дурбанский, певун, да меня не проведешь! Ты б не темнил, а?

— Это я темню? Сам в тени хоронишься — хоть бы показался!

— На меня глядеть, что на Огнь Небесный, — сухо ответила темнота. — Ослепнуть можно. Вон с тобой рядом один сидит, насмотревшись...

— Ты с ним не заводись, чангир, — зашептал на ухо Абу-т-Тайибу оборванец, плюясь и страшно дергая мертвыми глазами. — Это Омар Резчик, ему человека кончить — как тебе песню спеть! Только быстрее. Если он курбаши своего, Дэва-мальца, по первому же промаху властям сдал...

— Дэва-мальца? Я удивлен великим удивлением! У вас тут мальцы в курбаши ходят?!

— Ну ты и впрямь из Восьмого ада Хракуташа! Про «пятнадцатилетнего курбаши» не слыхал?!

Абу-т-Тайиб вспомнил могучую стать Худайбега и недобро сощурился. В сказку про «пятнадцатилетнего курбаши» верилось

туго, здесь слепой врал без стеснения; зато все остальное заслуживало доверия.

— Омар Резчик, говоришь? — громко переспросил поэт. — Курбаши властям сдал, говоришь? Значит, такие у вас обычаи? В хорошую же я компанию попал, только песни петь и осталось!

— Засунь язык в задницу, — бесцветно посоветовала темнота.

— Да я-то, может, и засунул бы... А вдруг ты завтра еще кого сдашь? Меня? Его? — Абу-т-Тайиб ткнул пальцем в слепца. — Или его? — Он указал на невольно подавшегося в сторону рябого.

Поэт уже забыл, кто он и что здесь делает. В темноте прятался человек, который спровадил на кол своего товарища. У «детей Сасана» за такие шутки кишки на локоть мотали; и хотя Абу-т-Тайиб давно покончил с обществом ловкачей, сейчас это не имело никакого значения.

— Ты решил поучить нас жизни, гость? — осведомилась темнота.

Не отвечая, поэт медленно поднялся на ноги и встал во весь рост.

— Ты хотел байку? О лихих бродягах? Тогда слушай. Это будет очень короткая байка — но тебе она наверняка понравится. В одном далеком шахстве шарили по дорогам веселые людишки, выпростав из-под плаща насилия руку грабежа. Собирали людишки дань с проезжающих: с кого звонкими монетами, с кого — шелком, с кого — жемчугом, а с красавиц — добрым поцелуем. И была разбойничкам всегда удача и везение, пока один дурак не подбил их сдать властям своего курбаши. В чем там загвоздка стала, не скажу, да только сказано — сделано! А удача сук не любит, она девка переборчивая... Сядут вскоре веселые людишки на толстые колья, а бывший их курбаши, помилованный шахом, придет в сотничьем кафтане муками их любоваться! По душе ли тебе моя байка, Прячущийся-в-Темноте?!

— Ты глуп, гость. Мне не понравилась твоя байка. И ты мне не понравился.

Из темноты вылился человек. Через все его костистое лицо тянулся старый шрам, отчего один глаз человека постоянно щурился. Сальные пряди волос, перехваченные на лбу ремешком, густо падали на плечи — и, казалось, слегка шевелились кублом змей. Короткая безрукавка оставляла обнаженными руки незнакомца, сплошь покрытые вздутыми жилами — и в левой руке человек сжимал узкую саблю-клыч. Ноги левши ступали вкрадчиво, по-кошачьи: вот он по ту сторону костра, вот он ближе; вот он рядом.

Клыч сверкнул без предупреждения. Абу-т-Тайиб привычно уклонился и, выдергивая из ножен ятаган, изумился мимоходом: древний клинок показался до неприличия легким, будто детская игрушка. А потом изумился еще раз: сабля Омара Резчика по-

слушно ушла вбок, слишком послушно для левши с повадками матерого барса!

Дальше время удивления вышло: сталь зазвенела о сталь, пламя костра бросило кровавые отсветы на клинки, начавшие смертельную пляску, — сзади кто-то вскакивает невпопад, и шахский ятаган живой гадюкой проворачивается в ладони, острием жалит за спину и чуть наискось; коготь клыча с визгом рассекает полу меховой джуббы, и ятаган на обратном взмахе врубается в человеческую плоть.

Левая рука черноволосого стала куда короче: на узкий клинок, кисть и часть предплечья.

— Уходим, — рявкнул поэт Гургину, и оба нырнули во тьму.

Их никто не преследовал — но тем не менее они бежали еще долго, пока дряхлый хирбед не начал задыхаться.

Только тогда Абу-т-Тайиб наконец перешел на шаг.

«Славно погулял! — криво усмехнулся он. — Старый конь строя не рушит...» И помрачнел. Врать самому себе не хотелось. Если даже забыть про слишком легкий ятаган, то все остальное...

Ну не мог, не мог Омар Резчик, которому что человека кончить, что своего курбаши сдать с потрохами, рубиться вполсилы!

Не мог!

Или все-таки мог?! — дошло вдруг до Абу-т-Тайиба.

4

— Вы что тут все, сговорились?! — Брызжа слюной, поэт прошипел это в лицо Гургину, едва сдерживаясь, чтобы не схватить старца за глотку. — Издеваетесь, да?!

— Помилуй, владыка! — Обида мага была настолько искренней, что Абу-т-Тайиб невольно сделал шаг назад: получше рассмотреть советника. — Кому ж придет в голову издеваться над шахом?!

Нет, Гургин не притворялся.

— Тогда какого шайтана эта игра в поддавки?! Он же бил, как евнух мухобойкой! Если б я сразу...

— Никто не смеет посягнуть на жизнь шаха Кей-Бахрама! — назидательно воздел палец старый жрец.

— Что?!! Шаха?!! Они все знали, что я — шах?!!

— Разумеется, — был ответный кивок.

— Но ведь я же... ведь мы же... — задохнулся Абу-т-Тайиб. — Откуда им знать?!

— Обладателя фарр-ла-Кабир за фарсанг узнает любой человек, если только этот человек не слепой от рождения и не слабоумный, — неторопливо и раздельно, как маленькому ребенку, пояснил маг.

— Но как?!!

— «И Златой Овен будет следовать впереди того мужа, носителя священного фарра, и сияние Огня Небесного будет окружать чело его...» — нараспев процитировал Гургин.

— Златой Овен? Этот проклятый баран?!

— Он самый, владыка.

— Выходит, у меня нимб вокруг лба? Как у святого пророка? — ехидно поинтересовался Абу-т-Тайиб. — А крыльев ангельских случаем нету?!

— Воистину так, владыка. Нимб есть, а крыльев нет.

Маг и не думал шутить.

— Почему же я этого не вижу?

— Шаху невместно зреть собственный фарр. Зато его видят все твои подданные.

— Подданные... Значит, я — *настоящий* шах?! Настоящий?!! — Абу-т-Тайиб все-таки не сдержался, ухватил старца за грудки, словно стремясь вытрясти из него вместе с правдой и душу.

— Настоящий, — прохрипел Гургин, и поэт бессильно отпустил его.

— И все эти люди — на улицах, в чайхане, у костра... Тот мясник-задира, ловкачи: они все знали, что я — шах?!

— Знали, владыка!

— И все поголовно притворялись, что не узнают меня?!

— Они не притворялись, владыка, — казалось, маг донельзя удивлен, что Кей-Бахраму приходится объяснять столь очевидные вещи. — Шах желал насладиться прогулкой и беседой, оставшись неузнанным. А желание шаха — закон для подданных. Ты хотел, чтобы тебя считали обычным горожанином — тебя таковым и считали. Шах удивился, почему в толчее ему уступают дорогу — и тебя стали толкать, как и прочих; шах хотел общества подонков — и подонки приняли шаха как равного; шах захотел драки и крови предателя... Ты получил и то и другое. Омар Резчик действительно боец из бойцов: он сражался с тобой так, что ты поначалу даже поверил в серьезность его намерений. И теперь он наверняка горд: ведь руку ему отрубил не палач, а носитель фарр-ла-Кабир!

— Гордится... — простонал поэт, обеими руками схватившись за голову. — Он гордится! О Аллах, я, кажется, схожу с ума! Там был еще один, сзади. Я вроде бы зацепил его.

— Ты его убил, — просто ответил хирбед. — Тот парнишка, у которого ты брал чанг... Это был он.

— И он тоже не собирался ударить мне в спину?!

— Не собирался, мой шах. Он всего лишь встал.

— Значит... значит, они восторгались моим пением лишь потому, что я шах?! Я дрался с ними всерьез — а они давали мне руки на отсечение?! И если бы я просто стоял, опустив ятаган, — все равно ни один волос не упал бы с моей головы?!

— Ни один волос, — эхом отозвался Гургин. — У шаха не бывает врагов. Во всяком случае, живых.

— Не бывает врагов? А друзья у шаха бывают?! — Свистящий шепот грозил разорвать грудь и выплеснуться кипятком.

— У шаха не бывает друзей. Разве есть друзья у солнца в небе? У шаха есть только подданные, для которых воля владыки — закон.

— Подданные... — потерянно откликнулся Абу-т-Тайиб.

Внезапно глаза его вспыхнули.

— Врешь, старый скорпион! Будут у меня друзья! Будут! И враги будут! Сам говорил: на границе с этой... как ее... с Харзой! — участились набеги на наши... на *мои* земли! Мы выступаем завтра же! Шах я или не шах?!

— Шах, владыка. Фарр-ла-Кабир.

— Тогда я объявляю войну Харзе! Харзийцы — *не мои* подданные! У меня будут враги! Настоящие! И друзья будут... — чуть слышно закончил поэт.

И отвернулся, чтобы маг не видел его слез.

Он и сам плохо верил в собственные слова.

КАСЫДА О БЕССИЛИИ

Я разучился оттачивать бейты. Господи,
смилуйся или убей ты! —
чаши допиты и песни допеты. Честно плачу.

Жил, как умел, а *иначе* не вышло. Знаю, что мелко,
гнусаво, чуть слышно,
знаю, что многие громче и выше!.. Не по плечу.

В горы лечу — рассыпаются горы; гордо хочу —
а выходит не гордо,
слово «люблю» — словно саблей по горлу. Так не хочу.

Платим минутами, платим монетами, в небе кровавыми
платим планетами, —
нет меня, слышите?! Нет меня, нет меня... Втуне кричу.

В глотке клокочет бессильное олово. Холодно.
Молотом звуки расколоты,
тихо влачу покаянную голову в дар палачу.

Мчалась душа кобылицей степною, плакала осенью,
пела весною, —
где ты теперь?! Так порою ночною гасят свечу.

Бродим по миру тенями бесплотными,
бродим по крови, которую пролили,
жизнь моя, жизнь — богохульная проповедь!
Ныне молчу.

ГЛАВА 9,

в которой праведный гнев обрушивается на головы дерзких хургов, а шайтаны измываются над грешниками; которая вообще сплошь залита кровью и провоняла гарью — но имя пророка (да сохранит его Аллах и приветствует!) так ни разу и не упоминается здесь, хотя и он в свое время...

1

Опаленная адским жаром свора шайтанов металась в чаду пекла, нанизывая грешников на копья-вертелы, рубя наотмашь, швыряя раненых в жадную пасть огня. Крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Преисподняя, нижний ее круг, где даже на деревьях вместо ветвей растут змеи, а вместо плодов — отрезанные головы.

Чуть поодаль, на вершине сопки, стоял сам Иблис-Противоречащий, бывший ангел Азазиил, предпочтя огнь своей гордыни сладости рая и близости Творца. Стоял, равнодушно наблюдая за муками грешников, виновных много меньше, чем он сам, — и на обветренном граните лица падшего ангела, на челе его высоком не отражалось ничего.

Вы считаете, рок безнадежно суров? Но ведь нет ничего ни в одном из миров, что избегло бы участи мяса парного: стать жарким в полыханьи вселенских костров!

Временами, в редкие минуты просветления, Абу-т-Тайибу всерьез казалось: он и есть Иблис во плоти. А там, внизу, в очередном хургском становище, вершат свою привычную работу его подмастерья-бесы: ржание, вопли, черные силуэты корчатся на фоне пожарища и кровавого диска закатного светила — чем не ад? Это длилось уже целую вечность, изо дня в день, почему-то всякий раз — на закате. Судьба? Подходит к закату очередной день — и подходит к закату чья-то жизнь.

Много жизней.

Изо дня в день.

На закате.

Противоречащий вершит суд неотвратимости.

За что он осудил этих людей? Какая разница?.. Не важно. Если напрячься, он наверняка сумеет вспомнить — но напрягаться больно, от этого лопаются виски, как у слонов в брачную пору, и голова идет кругом. Лучше принять выжженный путь безумия

за единственно верный. Он, шах белостенного Кабира, возжелал смерти этих людей; и люди умирают.

Воля шаха — закон; будь они все прокляты — и воля, и закон, и шахский кулах!

...Поначалу память еще нашептывала, жужжала назойливой мухой: кочевники-хурги вторглись в кабирские пределы, захватили какой-то там скот, кого-то зарезали... Конь набега вытоптал чужой луг. Ерунда. Было, есть и будет. В ответ войска прочешут границу на десяток фарсангов вглубь, вразумят налетчиков, угонят часть табунов — и воцарится временное спокойствие. Никто не рассказывал об этом новому шаху, но Абу-т-Тайиб и сам прекрасно знал извечный ход вещей.

Но на сей раз кувшин бытия дал трещину. Подтягивать войска, методично прочесывать степь, гнать табуны и отары назад, на земли шахства?! — слишком долго, а главное, абсолютно бессмысленно, с нынешней точки зрения поэта. Он не собирался плыть по течению. Он просто желал драться, немедленно, сейчас, завтра, вчера; и кровь предков ярилась в жилах, толкая на безрассудство.

Если бы кто-то вслух назвал Абу-т-Тайиба умалишенным, поэт бы с радостью согласился; но здесь пока не выросло языков, способных на столь вопиющую дерзость.

Он алкал войны. Настоящей войны, той правды меча, посредством которой обретают настоящих врагов — и настоящих друзей.

Не цели, но средства.

Шах еще даже не успел объявить о грядущем походе — а вся страна мигом пришла в движение. Войска стягивались к Кабиру едва ли не раньше, чем полководцы-спахбеды успевали получить шахский фирман, народ в едином порыве приветствовал бравых вояк кликами радости; а на всех перекрестках славились мудрость и решительность Кей-Бахрама, собравшегося примерно наказать обнаглевших хургов.

Давно пора!

От всей этой шумихи поэт только раздраженно морщился и временами требовал от спахбедов невозможного; морщась вдвое сильнее, когда те досконально выполняли любой приказ.

Основную мощь Кабира испокон веку составляли полки латной пехоты — но Абу-т-Тайиб боялся окончательно сойти с ума раньше, чем пешцы подтянутся к границе с Харзой. И сделал ставку на конницу. Пяти тысяч отборных головорезов должно было вполне хватить для утоления первой жажды. Отряд выступил ночью, под покровом хранительницы тайн — и лишь несколько человек в Кабире были посвящены в замысел шаха. Пехота, отряды пращников и «волчьи дети» под предводительством

рвавшегося в бой Суришара должны были двинуться вдогон утром следующего дня — чтобы соединиться с передовым отрядом у Арвана, малой приграничной крепостцы. А тем временем...

Это время не заставило себя ждать. Отпустив дракона своей ярости с привязи бесстрастия, шах не щадил ни себя, ни воинов, ни коней — и на четвертые сутки его всадники визжащими шайтанами обрушились на первое из становищ хургов.

Солнце клонилось к закату.

Как сейчас.

Только сейчас это было далеко не первое становище — какое по счету? какое?! не помню! — и везде повторялось одно и то же.

Огонь — и смерть на иззубренных клинках.

Сам шах не принимал личного участия в бойне. Он наблюдал. И изредка гнал в огонь гонца с коротким приказом. Перехватить бегущих. Взять человек десять живьем. Проверить: не укрылся ли кто во-он за тем холмом?

Все остальное воины знали сами, знали, нутром чуя волю господина, как свою собственную.

Они пришли сюда не грабить и даже не карать. Они просто несли смерть. Всем. Даже женщин никто не насиловал — им вспарывали животы, едва покончив с мужчинами и подростками. Сразу. Не тратя драгоценного бальзама времени на удовлетворение зудящей похоти.

Великий Кей-Бахрам не хотел добычи, невольниц и золота — он хотел врагов.

И делал хургов — врагами.

Навсегда.

Впрочем, по приказу шаха дюжине пленных всякий раз оставляли жизнь. Им рвали ноздри, отсекали уши, ставили на лоб их же собственные клейма, которые хурги выжигали на шкуре лошадей — и отпускали. Даже конями снабжали, из захваченного здесь же табуна.

Чтоб быстрее могли добраться до Харзы. Чтоб султан харзийский узнал из первых рук: шах Кабира пришел на эти земли, дабы сделать их своими!

Владыка хургов не согласен со столь мудрым и справедливым решением? — оспорь, светоч фарра!

Изуродованные посланцы уносились вдаль, быстро исчезая в сумерках, падающих на степь сизой стаей кречетов — а бойня продолжалась. Отары овец вырезались подчистую, воины жарили на кострах жирную печень, набивали мясом желудки и хурджины; воины ложились спать под открытым небом, чтобы наутро снова вскочить в седло и мчаться дальше, и снова: крики отчаяния, бесполезные мольбы, визг мучителей, грохот копыт, гул вихрящегося пламени...

Ночами Абу-т-Тайибу снилась отрубленная рука Омара Резчика; мертвая пятерня впивалась в горло, и поэт просыпался от собственного крика радости.

2

Становище догорало. Ветер рвал в клочья и отбрасывал прочь последние крики несчастных, лишь где-то все никак не мог прекратиться детский плач. Абу-т-Тайиб поморщился: плач раздражал. Почти сразу до его уха донесся (или это только почудилось?) влажный хруст, словно лошадиное копыто раздавило спелый арбуз; короткий всхлип ветра — и настала тишина.

Мертвая тишина; впору было заподозрить себя в глухоте.

— Примай полон, твое шахское! — Тишь лопнула знакомым басом, и могучий юз-баши вывернулся из дыма.

За собой отставной душегуб, намотав на локоть конец веревки, волок с десяток ошалевших от ужаса хургов: узрев венценосного губителя, пленные разом пали ниц.

— С этими — как завсегда? — поинтересовался Худайбег, опираясь на свое знаменитое копьецо, уже снискавшее ему немалую славу среди соратников.

Копье юз-баши, которого Абу-т-Тайиб все чаще звал просто Дэвом, было под стать владельцу: толщиной с лапищу самого Дэва, длиной также раза в полтора больше обычного, оно завершалось огромным кованым жалом — близкой родней как меча, так и топора. Хоть колоть, хоть рубить, хоть буйволов глушить — если, конечно, силенок достанет орудовать сей оглоблей.

У Дэва силенок доставало. Даже с избытком. В бою юз-баши был страшен, особенно когда, всласть окровянив жуткий наконечник, принимался охаживать врагов древком своего «копьеца» — с легкостью ломая хребты и ребра. Глядя на спасенного им разбойника, Абу-т-Тайиб частенько поминал хашемита Али, зятя пророка (хвала ему!) по прозвищу Лев Божий. Согласно свидетельству очевидцев, в битве при Хайбаре с людьми Торы святой силач бился, используя вместо щита сорванные с петель ворота. Вот это под стать Дэву, хоть и грех равнять Божьего Льва с гуляющим язычником: ворота вместо щита, таран вместо копья, и — вперед!

Одно слово: Дэв. Силушка бычья, преданный, как собака, — и тупой, как древко его же копья!

Тупой? Тогда почему одному лишь Худайбегу пришло в голову напрямик спросить у шаха: «Резать — это правильно, твое шахское, и пожечь остаточки правильно — чтоб ни им, ни нам... Но отчего добришком не поживиться? Вон, и табуны у них, и отары, и еще всяко-разно...»

Дэв никак не мог взять в толк, почему они пренебрегают богатой добычей. Но ведь остальных Абу-т-Тайиб тоже не посвя-

щал в свои сокровенные помыслы! А воины в набеге мало чем отличаются от разбойников. Брать добычу — святой обычай: мечи стрелы и хватай что цело! Приказ шаха? Да, конечно... Но почему удивился столь странному приказу один Дэв, отнюдь не блиставший умом — а остальные восприняли как должное?

Мифический фарр? Пусть так, пусть никто, кроме простака Дэва, не решился задать вопрос владыке — но ведь хотя бы удивление его приказ должен был вызвать? Должен. Косые взгляды за спиной, шепоток, попытку схоронить в хурджине золотишко или там блестяшку...

Ан нет! Ни-че-го!

Это раздражало Абу-т-Тайиба. Впрочем, в последнее время его раздражало многое; странные мысли и видения роились в мозгу, странные слова срывались с языка — и он гнал свой отряд от резни к резне, недоумевая: ну когда же харзийский султан не выдержит столь откровенного издевательства, когда же он двинет к границе свои полки?

Когда?!

— ...вишь, задумался... Эй, твое шахское! С пленными — как завсегда?

— Валяй, Дэв, — кивнул Абу-т-Тайиб, барахтаясь в пучине видений и обрывков мыслей.

— Не нада завсегда! — вдруг приподнялся с земли один из пленников — толстый старик в халате из полосатого карбоса. Ветер трепал космы длиннющей седой бороды — точь-в-точь как у сказочных волшебников. Жаль, летающего кувшина в придачу к бороде у старого хурга не имелось. — Завсегда не нада! Моя выкуп дадут! Сто коней-хингов, вай! Два-сто коней-хингов, вай! Мой убивай нельзя!

— Встань, — бесцветно бросил поэт.

Старик с проворством безусого юнца вскочил на ноги.

— Говоришь, твоя нельзя убивай?

— Нельзя, моя солнце...

Деловито свистнул ятаган. Голова невезучего волшебника стукнулась оземь и покатилась вниз с сопки: страшный мяч для страшной игры-човгана. Пленники вжались в прах земной — брызги кровавого фонтана окатили их, жгучие брызги, предвестники грядущей участи, когда впору будет позавидовать убитым. Тело старика еще некоторое время продолжало стоять, словно недоумевая — что это за напасть такая, вай?! — а затем мягко повалилось ничком перед венценосным убийцей.

Дэв расхохотался и пнул труп сапогом: тот перевернулся на спину, дрогнул на крутизне — и сполз вниз следом за головой, должно быть, надеясь догнать недостающую часть.

— Сто коней-хингов одним ударом уложил, твое шахское, — с уважением буркнул юз-баши, провожая взглядом труп.

— Я дал ему легкую смерть, — холодно прозвучало в ответ, и пленные разом возмечтали стать муравьями, а еще лучше — пылинками в солнечном луче. — И знаешь, за что, мой глупый богатырь? Этот старик посмел судить о том, что можно и чего нельзя делать шаху. Заслужив тем самым честный конец. С остальными — как обычно. Резать уши, ноздри рвать — и в Харзу к султану гнать. Что же касается коней... коней я возьму сам! Сам! Если они мне понадобятся...

Голубые глаза отрубленной головы тупо пялились в небо; но сопка закрывала небосвод мрачной тушей — и в прядях бороды уже копошились насекомые.

3

Аромат бараньего жаркого мешался со смрадом горелой человечины — но это никому не портило аппетита. С другой стороны, и то и другое — попавшее в огонь мясо, только и всего. Возможно, пустынному гулю-людоеду как раз второе показалось бы ароматом, а первое — смрадом.

За время этого безумного похода все уже успели привыкнуть к такому смешению запахов, перестав обращать внимание на подобные мелочи.

Шах ужинал у костра вместе со всеми. Громко чавкая, он поглощал дымящиеся куски, вытирая засаленные пальцы об одежду, и время от времени бросал короткие, почти неуловимые взгляды на своих воинов. Не взгляды — укусы песчаной эфы, за которой и глазом-то не уследишь!

Он видел одно и то же: искренняя радость, удовлетворение завершившимся боем, из которого живыми вышли все, да и раненых было немного. Обожание и преклонение перед ним, великим шахом, гениальным полководцем, ведущим их от победы к победе, грозой подлых хургов. В скачке неутомим, к врагам — беспощаден, ест с ножа, спит на земле, и воинская удача бежит за ним верной собачонкой! На такого шаха просто молиться надо!

Его воины, похоже, так и делали — только молча, про себя.

Преданные соратники? Или такие же несчастные марионетки, как он сам, ослепленные сиянием пригрезившегося им фарра — и готовые теперь бездумно идти в огонь и в воду за его обладателем?

Кто они на самом деле?

Кто он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?

Ответа не было, в висках колотились тысячи мягких молоточков, и поэт зверел день ото дня, отыгрываясь на несчастных кочевниках.

Раздавалась во мраке судьбы похвальба: «Ради шутки на трон вознесла я раба, а в придачу к венцу наградила проказой!» — и смеются над шуткой скелеты в гробах...

* * *

Гнедая степь грохочущей рекой текла к югу, в глубь харзийских земель. И казалось: нет такой силы, которая способна остановить это конское половодье, прервать неукротимый бег тысяч копыт, сотрясавших дол на фарсанги вокруг.

Хурги спешили увести племенной табун подальше — но их было слишком мало, этих пастухов-воинов. А наперерез им и ведомому ими табуну уже неслись, разворачиваясь в лаву, без малого две тысячи всадников Абу-т-Тайиба, и расстояние между сверкающим кабирским серпом и гнедой рекой быстро сокращалось.

Гудела степь, радостно кричали в вышине стервятники, предвкушая скорую поживу — и пастухи слишком поздно поняли: с табуном им не уйти. Породистые аргамаки легки на ногу — но поди разверни живую реку вспять, заставь ее резко сменить русло, уходя прочь от вылетевших из-за сопок кабирцев!

Они не успевали. Если бы всадники Абу-т-Тайиба шли за ними вдогон — у кочевников еще имелся бы шанс уйти, пусть даже потеряв часть табуна. Однако налетчики мчались вперехват, и времени для маневра у хургов уже не оставалось.

С десяток наиболее сообразительных поспешно ринулись прочь, оставляя табун между собой и кабирцами, спасая свои жизни. Пусть уходят — сейчас не до них. Серп, сверкая металлом клинков, легко срезал редкую поросль безумцев-храбрецов и начал уверенно обтекать головную часть табуна.

Невозможное свершилось.

Река встала.

— Что ты там, мой Дэв могучий, о добыче говорил? — огласил степь буйный хиджазский напев. — Сей табун, подобный туче, мы отгоним к нам в Кабир! Пой, наш стан, в стенах Арвана! Жди пришествия султана — подоткнув полу кафтана, нас Харзиец возлюбил! Хаййя!..

Отряд, гоня перед собой захваченную добычу, двигался быстро. Но без суеты и излишней спешки, которая, как известно, хороша лишь в двух случаях: при ловле блох и в постели чужой жены — да и то во втором случае необходимость спешки зачастую весьма сомнительна.

Если, конечно, муж не вернулся.

До Арвана было чуть больше суток пути, а Суришар с войсками ожидался дня через два, не раньше. Позади оставалась обезлюдевшая степь с язвами пепелищ; позади осталась дюжина на-

летов — и дюжина дюжин обезображенных хургов, отправленных гонцами к султану.

Впереди ждала война.

Абу-т-Тайиб жаждал ее, как жаждет глотка воды бредущий по пустыне путник, как влюбленный жаждет приникнуть устами к устам своей возлюбленной, как голодный барс жаждет крови и плоти молодого архара!

Поэт мерно покачивался в седле, пушистое разнотравье споро бежало навстречу — но глаза шаха видели сейчас иное. Временами ему казалось: он пестрым ястребом парит высоко в небе, и под ним проплывают города, сады, виноградники, желто-зеленые прямоугольники возделанных полей, и имя всему этому — Кабир.

Кабирское шахство.

А потом земля стремительно надвигалась, поэт сжимался в седле, предчувствуя неминуемый удар, который расплющит его в лепешку, — но гибель все медлила. Абу-т-Тайиб киселем растекался по всей этой земле, он был всем: камнем стен, травой на обочине, дорожной пылью, полями и лесами, виноградниками, городами и деревнями — он был живущими здесь людьми, всеми сразу!

Перед внутренним взором на миг возникла ясная картина: он вместе с фумэнскими рыбаками в каком-то селении на побережье Муала, где оказался случайно, проездом, рассматривает только что выловленного спрута.

Фумэн? Муала? Где это? Что это?!

И тут же он сам ощутил себя спрутом — огромная скользкая тварь с великим множеством конечностей, спрут по имени Кабир, и одно из его щупалец с жадными присосками устремилось сейчас дальше... на территорию Харзы! Многорукий гигант с шахским кулахом на голове таращил круглые глаза; и все тянул, тянул щупальце дальше — он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, был одновременно и этим спрутом, и самим шахством, и тем щупальцем, которое упорно ползло к Харзе, пытаясь что-то ухватить — но это у него не получалось, добыча выскальзывала, несмотря на присоски...

Потом была темнота.

— ...твое шахское, что с тобой?

Лицо. Озабоченное, встревоженное...

Дэв.

— Я не могу взять... не дается... — словно в бреду, бормочут белые губы.

— Эй, кошму сюда! И воды, воды, олухи!

Остатки одури уходят, глоток воды из бурдюка — и Абу-т-

Тайиб легко вскакивает на ноги. Его чуть ведет в сторону, но тело быстро восстанавливает равновесие.

Смеркалось. Повсюду паслись лошади из угнанного ими табуна, лагерь был уже разбит, от костров тянуло дымом...

— Со мной все в порядке. Ужин. Потом выставить караулы — и спать. Завтра днем нам надо быть в крепости.

Этот череп — тюрьма для бродяги-ума. Из углов насмехается пыльная тьма: «Глянь в окно, неудачник, возьмись за решетку! — не тебе суждена бытия кутерьма!..»

ГЛАВА 10,

в которой рассказывается история одного доспеха, море битвы выходит наконец из берегов, веселый безумец посягает на обладателя фарра, кто-то успевает, кто-то не успевает, но совершенно не рассматривается застольное приличие: брать малые куски и пореже смотреть на сидящего рядом!

1

Ночью его снова мучали кошмары. Проснувшись утром, поэт так и не смог вспомнить — какие именно, но смутная тень предчувствия окутывала душу кружевной кисеей.

Грядет день событий!

Абу-т-Тайиб всегда со вниманием относился к собственным предчувствиям, что не раз спасало ему жизнь. Поэтому, прежде чем взобраться в седло, он облачился в ратный доспех, который весь поход таскал за собой в тороках — ни разу еще не надев целиком.

С доспехом была связана история, достойная, чтобы о ней упомянуть.

Ехать на войну без доспеха было глупей глупого; да и не шахское это дело — рваньем отсвечивать. Однако броня владык на скорую руку не делается, здесь одна подгонка дорогого стоит! — а в оружейной не сыскалось лат по душе.

То ли Абу-т-Тайиб оказался излишне придирчив, то ли еще что...

Справедливо решив, что в этом вопросе от Гургина помощи ждать бессмысленно, поэт обратился к верному Суришару. И мигом выяснил любопытную подробность: оказывается, его предшественник, шах Кей-Кобад, как раз незадолго до смерти велел изготовить себе новый доспех. Жаль только, не успел при-

мерить обнову — безвременно скончался на сто семьдесят девятом году жизни!

Слова о возрасте покойного владыки Абу-т-Тайиб, как обычно, пропустил мимо ушей. А вот что касается доспеха...

— Вызвать устада Коблана во дворец? — с полувздоха догадался Суришар. — Доспех-то ему заказывали...

И не угадал.

— Сам к нему съезжу. Вели подать коня!

Сказано — сделано. Через час шахские гургасары уже громко стучались в дверь кузни.

— Ты, что ль, Коблан будешь? — Войдя в кузню, Абу-т-Тайиб едва не споткнулся о распростершегося ниц полуголого детину.

Видом детина более всего напоминал пустынного духа-марида, самого зверообразного из детей огня; ноги как мачты, руки как вилы, рот бурдюком, уши — створки ворот, и младенцы седеют при одном взгляде на это создание.

Говорят колдуны: строить — зови джинна; рушить — зови ифрита; умом тронулся — зови марида!

— Нет, владыка, устад Коблан...

— Ты? — Поэт лишь сейчас заметил второго марида-близнеца, протиравшего пол у корзины с опилками, золой и черным песком, даже на вид тяжелым, как чугун.

— Нет, владыка, устад Коблан...

— Устад Коблан — это я, ничтожный, да будет воспето в веках твое имя, о мой шах!

Абу-т-Тайиб огляделся в поисках третьего тела — и обнаружил у лохани с водой щуплого недоростка, почти карлика, чья плешь вовсю отражала пламя горна.

— Ты — кузнец?! — искренне изумился поэт.

— Прозорливость моего шаха безгранична, — утробным басом рокотнул с пола карлик, заставив воду плеснуть о края лохани, и поэт воспрял духом: неужто издевка?!

Увы, надежды оказались тщетны.

— Тогда вставай, кузнец. Ты-то мне и нужен. Показывай доспех, который делал для Кей-Кобада.

Доспех был хорош — поэт сразу так и прикипел к нему взглядом: начищенное до блеска зерцало с синеватым отливом, стройные ряды сияющих пластин, перемежающиеся на боках кольчужными вставками... Сразу видно: и сталь отличная, и работа славная!

— Шевелитесь, козье охвостье! — распекал тем временем карлик своих маридов, да так, что уши закладывало. — Эй, Мунир, Масуд, чтоб вам материнское молоко не впрок пошло! — живо за наручами, поножами, наколенниками... и шлем, шлем не забудьте, остолопы!

Кузнец скакал воробышком, возбужденно вертя в руках какую-то железяку с нашлепкой, — привычка? волнение? все

сразу?! Небось не каждый день к нему в кузню шахи захаживают! Абу-т-Тайиб пригляделся — и окаменел на месте: кузнец вертел в пальчиках изрядный костыль, который от Коблановой ласки мялся хлебным мякишем...

«Ишь, птенчик! — уважительно моргнул поэт. — Такому и молот с наковальней без надобности — разве что для ковки. А форму он какую угодно и руками выгнет!»

Наконец перед шахом предстал весь доспех полностью: вороненые наручи с поножами, подбитые изнутри двойным лиловым бархатом, высокий прорезной шлем, латные перчатки...

Доспех оказался чуть великоват Абу-т-Тайибу. Исправить это было проще простого: вынуть с боков по ряду пластин, немного подогнать — всего ничего. Но кузнец заупрямился, заявив, что подгонит все одними застежками. Дескать, дурное дело — вынимать пластины.

Запас еще пригодится!

— Думаешь, разъемся на престоле? — усмехнулся поэт. — Ладно, делай как знаешь. До завтра справишься?

— Непременно, мой шах, непременно! — Коблан уже деловито снимал мерки с венценосного заказчика. — Попомните мое слово: запас мошну не тянет!

И вот теперь Абу-т-Тайиб обнаружил, что запас действительно оказался не лишним! Разжирел он, что ли? Или, подобно сказочным богатырям, только в силу входить стал — на шестом-то десятке?!

Однако сейчас было не время размышлять о шутках судьбы. Верный Дэв помог шаху облачиться в латы, и поэт сам, без посторонней помощи, легко прянул в седло — чему был немало удивлен. Он-то точно не Лев Божий, ему воротами не сражаться!

— За мной!

* * *

...Солнце близилось к полудню. Отряд Абу-т-Тайиба споро двигался по холмистой в этих местах степи, гоня перед собой захваченный табун, — когда вернулся посланный вперед разъезд.

— У крепости идет бой, мой шах!

2

Здесь рубились не полудикие степняки — Абу-т-Тайиб понял это сразу, выехав на вершину сопки и взглянув из-под руки на разгоравшееся у стен Арвана сражение. Харза решилась наконец

ударить в ответ на дерзкий вызов! И сейчас султанские полки штурмовали пограничную крепость Кабира.

Цель была достигнута.

Вот он, враг — настоящий! Не зря пылали становища, не зря уродовались посланцы, не зря руки по локоть купались в крови: игра в поддавки окончена, и сияние фарра, истинное или мифическое, вряд ли согреет души озверевших хургов! Ишь, каким скопищем явились, чисто саранча! Впору радоваться, что три с лишним тысячи его бойцов сейчас находятся вместе с арванским гарнизоном в стенах крепости... Главное — пробиться к ним и дождаться подхода Суришара с основными силами.

— Худайбег!

— Я здесь, твое шахское!..

— Берешь полутысячу и скачешь в обход. Пройдешь вон по той лощине и ударишь штурмующим в бок, прямо напротив ворот. Задача — вызвать панику и прорваться к воротам. Ясно?

— Ясно, твое шахское! Да мы их...

— Выполнять!

Спустя мгновение Дэва уже не было рядом.

— Хаджир! — подозвал поэт другого юз-баши. — Берешь свою сотню и гонишь на их лагерь табун с северо-запада. В бой не вступать — порубят. Пустить коней на палатки и присоединяться к нам. Мы ударим сразу вслед за Худайбегом. Действуй, сотник!

— Радость и повиновение, мой повелитель!

Грохот конских копыт вновь заставляет степь качнуться лихим бубном. Подбирающееся к зениту солнце щурится, глядя на чудеса внизу: гнедой потоп заливает местность! И кажется: волшебные тулпары под предводительством святой аль-Борак, крылатой кобылицы Господа миров, сами идут в атаку — ибо далеко не сразу можно различить в арьергарде табуна всадников Абу-т-Тайиба.

Сражение приостанавливается, повисает в мертвой точке; хурги начинают разворачиваться навстречу неожиданности... И этим не замедлили воспользоваться защитники крепости, на что и рассчитывал поэт. Пращники на стенах дружно взмахивают ремнями, и град свинцовых лепешек окатывает харзийских воинов, основательно проредив их ряды.

Миг замешательства, гортанные выкрики команд, часть конницы хургов устремляется в лоб табуну: остановить, развернуть двумя крыльями, не дать смять лагерь — и замешательство взрывается удалым гиканьем, когда из лощины вырывается полутысяча кабирцев во главе с ревущим Дэвом, который вращает над головой свое жуткое копье-дубину!

Словно кровавый ветряк пошел вразнос, перемалывая людей в страшную муку. До ворот еще далеко, но Худайбег и его люди

уверенно движутся к вожделенной цели. Конечно, сейчас хурги опомнятся, увидят, что врагов совсем мало, и тогда...

И тогда придет очередь Абу-т-Тайиба!

Уже пришла.

— За мной!

Крепость бросается навстречу, и за спиной слышен тяжелый топот без малого полутора тысяч всадников.

Время ожидания кончилось.

Настало время крови.

Харзийцы все же успевают развернуть боевые порядки, подставляя спины под увесистые гостинцы Арвана; мало, мало на стенах пращников! И ядра, похоже, на исходе...

Впрочем, это уже неважно.

Первого хурга, шарахнувшегося в сторону от железного демона, Абу-т-Тайиб достает походя, вихрем несясь мимо — чтобы безумным дровосеком врубиться в чужой строй.

Последнее, что он успевает заметить краем глаза: дюжина всадников на дальней сопке, и один из них мановением руки шлет гонцов к войскам. Султан! Султан Харзы! Шлем владыки хургов отблескивает на солнце, сгущаясь расплавленным золотом вокруг головы, а потом Абу-т-Тайибу становится не до шлемов, султанов и сияния.

Стальные заросли вокруг кипят смоляным варом, искаженные, залитые кровью лица, тюки человеческого мяса валятся наземь справа и слева; мечутся кони — те, что успели потерять своих седоков; остальные, дико храпя, пятятся к крепости, понуждаемые сидящими на них хургами. Сдвигаются круглые щиты, плюясь в просветы кривыми всплесками сабель, — но тяжкий ятаган шаха сносит и ломает ветки ядовитого кустарника, обходя щит, вгрызается в живую плоть...

Е рабб!

Мгновение передышки. Под копытами коня — мертвецы. Впереди — вогнутый полумесяц хургского строя щетинится копейными жалами.

Стоят.

Ждут.

Копья? Почему он до сих пор жив? Даже легендарный Антара, Отец Воителей, не сумел бы в одиночку отбиться от...

Один? Почему — один?! Где его воины?!! Откуда эта тишина? Беззвучно раскрываются рты, перекошенные криком, беззвучно переступают копыта коней, металл немо ударяется о металл...

Мгновение — и лавина звуков погребает слух под собой.

Битва продолжалась. Но он действительно остался в одиночестве: шаху дали прорваться вперед, увлечься боем — и кольцо хургов сомкнулось вокруг него. Кабирцы отчаянно рвались на

выручку к повелителю, угодившему в ловушку, — но их порыв расплескивался кипящими брызгами о заслон Харзы.

— Живым вз — Кривая усмешка клещами палача раздирает рот. — ти ехидны, тоже...

Последняя м ней возможного плена, но высказать ее вслух или просто додумать до конца Абу-т-Тайиб не успевает. Из гущи врагов выламывается безумный смех. Хохочет все — земля, небо, игреневый скакун, лихой боец в седле, полумесяц секиры над головой бойца... Смех рушится на поэта искрящимся водопадом, разом вышибая из головы лишние размышления. Хорошо хоть, сама голова на плечах осталась — вовремя пригнулся да за повод дернул!

Этот весельчак определенно не собирался брать его живым!

О счастье! Да буду я выкупом за тебя, враг до мозга костей, подлинный, высшей пробы, не безликая толпа, не искусный лицедей, покорный шахской воле — бесшабашная смерть-смех во плоти!

— *Веселись в горниле боя*, — оскал выворачивает челюсти, превращая лицо в морду хищника; и властная рука бросает коня в сторону.

— *Хохочи, не чуя боли!* — ятаган скрежещет по оплечью хурга, взвизгивая от бессильной ярости и предвкушения скорой поживы.

— *Пока ты в земной юдоли*, — игреневый буран мечется вокруг, плеща в глаза смертельной луной на ущербе, но радость встает навстречу утесом проклятых гор без названия; звон, лязг, смех... бой.

— *Не найти тебе покоя*! — хруст, истошное ржание, горячий фонтан брызжет алой пеной, и земля кидается навстречу Абу-т-Тайибу. Мир кувыркается халифским шутом, громада всадника нависает над головой, и тело само перехватывает поводья у оплошавшего рассудка...

Он поднимается, озираясь. На земле бьются два визжащих жеребца — его чубарый, чья грудь распахнута ударом секиры, и игреневый харзийца, с подрубленными бабками.

Коней жалко.

Но смех-смерть уже на ногах, и секира весело пластает воздух ломтями — ближе, еще ближе, еще... Стальной ураган, безумная круговерть, ятаган на миг приникает к ущербной луне, сбрасывая ее прочь с небосвода; рывок вперед, вплотную — и наотмашь, тяжелой латной перчаткой с зажатой в ней рукоятью.

В висок.

Харзийца спас шлем. Добрый остроконечный шлем из посеребренной стали, подбитый изнутри кожей, с узким налобником, пластинчатыми нащечниками и кольчатой бармицей, прикры-

вавшей шею. Все это, до самой мельчайшей детали, разом вспыхивает перед взором Абу-т-Тайиба — пока шлем падает на землю и катится по вытоптанной траве, а сам харзиец, оглушенный ударом, медленно оседает у ног шаха, выронив страшную секиру.

Склонясь к противнику, забыв, где он и кто он, поэт до рези под веками вглядывается в прозрачные глаза парня — ища в них крупицы жизни, боясь потерять единственное существо, рядом с которым Абу-т-Тайиб наконец ощутил себя живым, настоящим, прежним...

И еле успевает вернуться на грешную землю из пустыни «Я», как называют суфии тайные глубины души.

Хурги деловито спешиваются.

Они идут к нему, выставив перед собой копья.

И, снося ятаганом первый выпад, отсекая наконечник второго копья, рубя в ответ, Абу-т-Тайиб не сразу понимает: все эти удары предназначаются *не ему*!

Хурги собираются добить своего оглушенного товарища.

— Е рабб! Дети ехидны! Он же ваш!

Заслонив упавшего собой, Абу-т-Тайиб подхватывает с земли оброненный кем-то шамшер, длинный и кривой; и теперь рубит с двух рук, не давая детям ехидны прикончить собрата по оружию. Солнце изумленно щурится с неба: хищные жала мелькают над самой землей, тщась поразить лежащего, а вокруг смешливого харзийца мечется шах Кабира, плеща в перекошенные лица сталью, каким-то чудом успевая, успевая, успе...

В воздухе свистят арканы.

А явившегося следом воя поэт уже не слышит.

3

— За мной, «волчьи дети!» Фарр-ла-Кабир!

Оглушительный вой стаи был ответом.

Лава гургасаров выплеснулась из-за холмов. Широкогрудые, мощные кони, все, как на подбор, вороные; волчьи шкуры поверх тускло отблескивающих лат, волчий оскал зубов, волчьи высверки клыков-клинков — всадники в этот миг действительно походили на сорвавшуюся с цепи свору оборотней, готовую разорвать в клочья все и вся, что попадется им на пути!

А за их спинами уже разворачивали строй тяжелые латники — гордость Кабира.

Суришар сделал невозможное: он прищел на день раньше.

Рвать на себе волосы и, обезумев, клясться в неотвратимости своей мести он будет позже.

ГЛАВА 11,

которая повествует о рыжих котятах и зайцах с кисточками на ушах, о великой пользе от сношений, о беседах меж обладателями фарров, но никоим образом не упоминает о том, что если бы Аллах (велик он и славен!) не запретил вина, то не было бы на лице земли ничего, что могло бы заступить его место

1

— Султан ждет вас, мой господин!

— Я жег становища твои, — голос Абу-т-Тайиба был тишиной пересохшего колодца, пустой и бесстрастной. — Я убивал детей и женщин, я гнал коня, топча шатры, шатры твоих отцов и братьев. Смеясь в седле, я пил вино над пирамидой хургских трупов, и дол смеялся мне в ответ, и небо, и земля — а люди, былые люди, без голов считались падалью, и только! Я — бич твоих земель; я — бич, которым хлещут без разбору, будь прав ты или виноват, будь горд или исполнен страха!.. я — Божий гнев. Или иначе: я — гнев, но самого себя, холодный гнев фарр-ла-Кабир, бессмыслица монаршей воли, огонь из зябкой пустоты, которую я ненавижу. Что скажешь, хург?

— Султан ждет вас, мой господин!

— Ударь меня! Ударь, иль будь навеки проклят!

Молчание.

Еще с минуту Абу-т-Тайиб вглядывался в лицо конвоира, в скуластое лицо с кожей, навсегда потрескавшейся сетью мелких морщин; так глядит безумец на дохлую рыбу, ожидая ответа на вопрос о смысле жизни. Затем поэт страшно рассмеялся, всплеснул руками и шагнул вперед.

Малиновая сарапарда — загородка из воловьей кожи, скрывающая от досужих глаз шатер султана, — распахнулась перед ним.

Шатер оказался палаткой. Да, богатой, островерхой, увенчанной сияющим на солнце шишаком, с пурпурными разводами по снегу войлока трех юрт, сдвинутых вместе. Но палатка есть палатка. Даже если рядом возвышается бунчук: древко кроваво блестит, смоляные косы перевиты блестящими жгутами, и на каждом завязано по три узла. Абу-т-Тайиб ожидал иного. Золотых столбов, что ли? — а шест-опора, на худой конец, пусть будет из слоновой кости. Пусть будет, молча согласился сам с собой поэт; пусть будет все, чего душа пожелает, а чего не пожелает, пусть тоже будет. Он не считал себя сумасшедшим. Просто ему было хорошо в пуховой облачности, в спокойствии без прошлого и будущего; ему было хорошо в плену.

Привычно.

Полог оказался откинут, стража отсутствовала, и из темноты палатки доносилось еле слышное урчание. Абу-т-Тайиб пожал плечами, прежде чем окунуться в темноту; лгунья! — на поверку она оказалась достаточно светлой. Лампады, вещие птицы Хумай с фитилями в клювах и брюхом, полным зигирового масла, висели в углах, гоняя шелковые тени от стены к стене. А на ковре, чей орнамент то и дело всплескивал серебром нитей, сидел человек — играясь с котенком. Рыжим, непривычно крупным и лобастым. Котенок кувыркался, ни в какую не желая дать почесать себе живот; четыре лапы вовсю били по воздуху и по руке человека, но когти выпускались еле-еле, чтобы не испортить игру.

Вокруг головы человека, звездной пылью падая на узкие плечи, светился нимб.

Абу-т-Тайиб заморгал. Затем протер глаза. Нет, нимб никуда не делся: мерцал себе ночным небом пустыни, и в свечении то и дело пробегали багряные сполохи. Когда человек повернул голову, нимб дрогнул, пропал на мгновение, но сразу объявился снова — и багрянец сменился тусклой синью.

Сабельным металлом.

— Я счастлив видеть брата моего отца, — сказал человек с нимбом.

Котенок фыркнул и ударил лапой: ему хотелось играть дальше.

Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Нет, никакого брата чужого отца за спиной не стояло. И вообще никого не стояло.

— Э-э-э... кого счастлив видеть мой господин? — осторожно поинтересовался поэт.

— Если бы Кабирское шахство было ровней Харзе, я бы звал тебя братом, — человек с нимбом отвернулся и ловко ухватил котенка за шкирку. — Но это не так. Поэтому я зову тебя дядей. Входи, дядюшка, входи... и брось величать меня господином. Особенно наедине. Меж обладателями фарров это не принято.

Мерцание нимба усилилось, в нем замелькали игривые огоньки, и котенок кубарем полетел в дальний угол. Жалобно пискнув, зверек забился под кошму; лишь изумруды глаз сверкали оттуда.

— Входи! — повторил человек с нимбом.

Абу-т-Тайиб медлил. Если все происходящее до сих пор представлялось дурным сном, то сейчас сон окончательно превращался в кошмар. В видения-лабиринт, откуда нет выхода, а в каждом укрытии ждут святые халифы прошлого с ореолами вкруг чела, готовясь кривыми ногтями вцепиться тебе в глотку. Поэт поднял руки и тщательно ощупал собственную голову: тюрбан, повязанный взамен отобранного шлема, волосы, уши, затылок...

Все как обычно.

— Он слегка отдает в голубизну, — человек с нимбом не без интереса наблюдал за братом своего отца. — А внизу похож на кольчужный назатыльник. Только длиннее.

— Кто?

Пройдя вперед, Абу-т-Тайиб уселся на ковер и скрестил ноги. В конце концов, не все ли равно, как разговаривать со святыми плодами воображения: стоя или сидя? Особенно если ты — брат их отца, да простятся ему былые прегрешения...

— Фарр-ла-Кабир. Я видел его однажды: сорок лет назад. На переговорах относительно спорных земель между Кабиром, Харзой и Дурбаном. Я тогда впервые встретился с Кей-Кобадом, твоим предшественником. С тех пор он совсем не изменился.

— Предшественник?

— Фарр.

— И тебя, сын моего брата, о котором я скорблю всякий час и всякую минуту, — тебя это не удивляет?

— Что фарр остался прежним? Ничуть. А тебя?

Поэт вдруг резко вскочил на ноги. Едва ли не бегом он пересек палатку и вновь оказался у выхода. Никто не остановил его, не преградил дорогу; Абу-т-Тайиб остановился сам и долго смотрел на султанский бунчук.

К сожалению, тихое блеянье ему не почудилось.

Под красным шестом сидел баран, и пальцы солнца тихонько перебирали драгоценное руно. Вспышки бегали от шерстинки к шерстинке, от завитка к завитку, крутые рога отягощали мощный лоб, и одна мысль о кебабе из этого вожака стад казалась кощунственней, нежели идея осквернения могилы пророка (да благословит его Аллах и приветствует!). К бараньему боку тесно прижался заяц, длинноухий бегун, чей мех отливал шафраном. Морда зайца была вытянута больше обычного, на кончиках ушей трепетали серебряные кисточки, а круглые плошки глаз горели знакомой зеленью — кошачьей.

Хищной.

— Там баран, — прошептал Абу-т-Тайиб, забыв обернуться. — Клянусь чернилами и каламом; клянусь днем Страшного Суда и укоряющей себя душой, ибо воистину человек всегда остается в убытке! Там баран!.. и заяц.

— Это мой заяц, — брюзгливо заметил человек с нимбом. — Отойди, не раздражай его. И меня. Все-таки помни: ты у меня в плену! Значит, веди себя соответственно. Как подобает венценосному шаху Кей-Бахраму фарр-ла-Кабир.

— Заткнись, призрак! Наваждение, умолкни! Я — поэт аль-Мутанабби! Я — злосчастный неудачник, я лежу в песке пустыни, видя сны о шахском троне, о великой благостыне, о насмешке злого рока, о презрении Аллаха! Я — ничтожный из ничтожных, я мечтаю, чтобы ныне, присно и вовеки на своя вернулись круги

ложь и правда, боль и сладость, богохульство и святыня; я хочу огня геенны, что и в бездне не остынет!

Человек с нимбом восхищенно цокнул языком.

— Если бы я умел так играть словами, — спросил он у котенка под кошмой, — разве я хотел бы быть султаном Харзы, Баркуком зу-Язаном?!

Котенок согласно мяукнул.

Он тоже не очень-то хотел быть кошачьим владыкой.

Он хотел игры и молока.

2

Баркук-Харзиец томился от скуки.

Это началось давно, и самые надежные снадобья бессильны были изгнать гостью-самозванку. Во рту всегда было кисло, оскомина сводила челюсти ужасной зевотой, и даже искусно приготовленный кавардак — жаркое с морковью, бататами, айвой и еще Лунный Заяц знает, с чем! — казался пресной лепешкой. Драгоценности тускнели, едва на них задерживался глаз, и все чаще перстни летели в отхожую яму, а серьги с ожерельями раздаривались кому ни попадя. Травля барса не веселила, роскошь одежд утомляла, а песнопения льстецов вгоняли в сон.

Посещения гарема стали реже, будто капель затихающего ливня, пока не прекратились вовсе. Смуглянки с Дубанских равнин, гибкие дочери хургских степей, светловолосые лоулезки, купленные за большие деньги, — все они маялись в бассейне Сорока Девушек, утешая себя противоестественными ласками и сладостями. Царственный супруг не призывал их к себе, презрев искусство неги. Упрекнуть султана в том, что его мужская природа изжила сама себя, мог только умалишенный, но...

Жен постигла грустная участь еды, перстней и одежд: Баркук сперва стал кривиться, после — раздаривать, а там и вовсе забыл.

— Расскажи мне о пользе сношений, — как-то велел он личному знахарю, в надежде от пользы перейти к желанию. — Расскажи без утайки. И я набью твой рот жемчугами, а потом подарю юную невольницу из Кимены, чьи бедра округлы, а нрав кроток. Я слушаю.

— Поистине, в совокуплении великие достоинства и похвальные дела! — возопил ободренный знахарь, уже представляя себе округлые бедра вкупе с кротким нравом, а лучшего сочетания трудно себе представить. — Оно облегчает тело, наполненное черной желчью, успокаивает жар страсти, веселит сердце и гонит прочь тоску, но умножать число сношений в дни лета и осени вреднее, нежели в дни зимы и весны!

— Отлично, — Баркук велел позвать сразу трех жен и заставил красавиц плясать перед ним и знахарем, вертя животами. —

Продолжай, о кладезь знаний! И поведай мне теперь о вреде сношений.

— Частые сношения ослабляют зрение. — Во рту у знахаря разом пересохло, он опустил глаза долу, дабы не видеть искушающей пляски, и хрипло затараторил: — От них рождается боль в спине и голове, а особенно опасно сношение с больной или старухой! Берегись, берегись сношений со старухой: это — одно из дел убийственных!

Баркук вздохнул. Танец жен утомлял, дурак-знахарь утомлял еще больше, и надежды на развлечение улетучивались рассветной дымкой. Рот знахаря был честно набит жемчугами, невольница отошла в его владение, доведя нового хозяина до удара всего лишь за два месяца; а сам султан набрал было в гарем с дюжину старух — вдруг запретное разгонит тоску?!

Старухи надоели почти сразу.

И все чаще вспоминалось Харзийцу: степь, заклятая Степь Бойцов, куда после долгих мытарств в горах без названия их привели жрецы Лунного Зайца. Их — восьмерку взыскующих трона, близких и дальних родичей умершего на днях Джалала зу-Язан, обладателя фарра. Метелки дикого овса вдруг расступились перед ними, и серебряные кисточки чутко затрепетали на ушах небывалого зайца. Шафрановая шкурка мелькнула совсем рядом, потом дальше, еще дальше, спелым абрикосом являясь в травах, — и хурги ринулись вдогон, горяча коней.

А солнце над ними желтело старым динаром, шло пятнами и рытвинами, больше напоминая луну, безумную луну, которой вздумалось средь бела дня прогуляться по небосводу.

Таково было Испытание. Они зимним бураном мчались по степи, не видя ничего, кроме вожделенной цели, мало-помалу разъезжаясь в разные стороны, топча этот простор, окоем без конца-краю; их было восемь, и зайцев было восемь, нет! — не было, их стало восемь, о чем не стоит поминать всуе, а потом молодой Баркук наотмашь хлестнул добычу камчой, в кончике которой была зашита капля-свинчатка — и едва успел отпрянуть: оскаленная морда зайца хищно бросилась ему в лицо...

Он сидел на взмыленном коне, изумленно моргая, а перед ним на коленях стояли жрецы.

Обратно в Харзу вернулся султан Баркук зу-Язан.

Один.

Да! — все чаще теперь приходила на ум Баркуку далекая Степь Бойцов, дикая гонка за призраком мечты, терзая его долгими ночами до самого утра. И все чаще он вспоминал их: своих братьев и дядьев, окунувшихся в бешеную скачку, в горький аромат полыни, чтобы сгинуть без вести. Где вы теперь, лишенные трона и родины?! — наслаждаетесь козлодранием в Верхнем

Мире? скрежещете зубами в Восьмом аду Хракуташа, искупая грех гордыни?! скитаетесь вне цели и смысла, в горах без имени, в мирах без названия?! Где вы теперь? И кто из нас более счастлив: вы, скитальцы-горемыки, или я, великий султан, носитель фарр-ла-Харза?!

Кто из нас больше приобрел и кто больше потерял?!

Баркук не знал ответа, в последние годы не знал.

И тогда он принялся расспрашивать жрецов Лунного Зайца, призывая их к себе. И тогда он по крохам собрал подобие истины, мертвое чучело, чтобы смотреть на него в минуты скуки, смотреть и утешаться гнусным словом «необходимость». И тогда он возликовал великим ликованием, когда соглядатаи из Кабира-белостенного донесли... нет, не о смерти шаха Кей-Кобада, славного воина и мудрого политика.

Соглядатаи донесли о странном: о восшествии на престол чужака без роду-племени, вопреки старым обычаям, но согласно воле фарр-ла-Кабир.

Баркуку даже показалось на миг, что это один из восьмерых его родичей вернулся домой, покинув тайные дороги. Глупости? — разумеется, глупости. Но плащ скуки упал с плеч султана, и ворона раздражения перестала вить гнездо под его чалмой. Новый шах Кабира полновластно воцарился в султанских мыслях, и думать о нем было забавнее, нежели слушать россказни о песьеголовцах или ведьмах-алмасты. Что есть песьеголовец? — человек с собачьей башкой! А тут чужак: думает по-другому, видит иначе, дышит невпопад... вот кому счастье! Из праха в шахи! Небось млеет сейчас от радости: сказка кончилась, не начавшись. В смысле, враги побеждены, пути завершены, вкушай довольство, пока не придет к тебе Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний — а это случится ох как не скоро!

«Да, не скоро», — вздохнул султан.

И кинул в рот горсть соленого миндаля.

Когда с границ пришли донесения о сожженных становищах, Баркук поначалу не обратил на них особого внимания. Так было, есть и будет. Пограничные племена, белобаранные хурги, вечно устраивали налеты на кабирские селения и городки, ища себе славы, а племени — богатства. Это мало препятствовало торговле и не мешало добрососедским отношениям. Раз-два в год со стороны Кабира выдвигалась тяжелая пехота и отряды пращников: железным гребнем солдаты прочесывали окраинную степь, напоминая алчным хургам о необходимости платить по счетам; после чего следовало время затишья. И опять — торговля, налет, возмездие...

Все как у людей.

Но в донесениях проскочила тревожная нотка: в степь пришла не пехота гарнизонов, мастерица оцеплять водопои и учинять ночные налеты. В степь пришли всадники, и этот вихрь едва ли не стремительней хургской лавы! Вдобавок во главе гостей стоит шах Кей-Бахрам собственной персоной.

Баркук с интересом приподнял бровь. Сам шах? С каких это пор карательные меры возглавляются лично венценосцами? Прочь, сука-скука! Жизнь приобретает вкус и цвет! Да что вы говорите?! Жгут и рубят без разбору? Женщин и детей?! Ночной грозой валятся на голову, живут в седлах, забыв о сне и покое? И даже не желают взыскивать убытки?! — просто жгут и рубят, жгут и рубят...

Лунный Заяц, до чего интересно!

Воистину:

Пускай нашей крови потоки текут,
Пусть груды погибших горами встают,
Пусть рушатся скалы и небо на нас —
Спины не покажем в решительный час!

...вскоре из Харзы выступили конные полки. Вел их султан Баркук зу-Язан, вел впервые в жизни, мечтая о встрече с бешеным шахом Кабира. И чувствовал себя молодым: не телом, нет, ибо до сих пор гнул и ломал верблюжьи подковы.

Молодым душой.

Султану было восемьдесят четыре года.

3

— Восемьдесят четыре? — недоверчиво переспросил Абу-т-Тайиб, разглядывая собеседника. Высокие скулы, так живо воскрешающие в памяти лицо давешнего конвоира, кожа отдает желтизной, напоминая слоновую кость, но морщины не тяготят лба, и губы свежи, как у юноши. Взгляд прямой, любопытный, словно Баркук хочет проникнуть в тайные мысли поэта, и «гусиные лапки» у краешков глаз намечены еле-еле робкой кистью возраста. Жилистые руки спокойны, лежат на коленях, но чувствуется: дай им волю — взлетят, метнутся, ударят кошачьими лапами! И впрямь: то ли Аллах заткнул уши раба своего затычками непонимания, то ли султан решил вволю поиздеваться над пленным...

— А что тебя удивляет? — в свою очередь поинтересовался Баркук-Харзиец. — Да, восемьдесят четыре, подобно тому, как восемьдесят четыре добродетели определены нам судьбой. Пребываю в расцвете сил. Вон, Джалал зу-Язан, прошлый владетель моей державы, умер в двести десять лет, а императору Мэйланя — тому и вовсе сейчас под три века будет. Ну, мэйланьские

Сыновья Неба вообще долгожители... Есть ли смысл в шахе или султане, когда срок их правления короче жизни мотылька? Ведь владыка должен сиять поколениям! Там, откуда ты пришел, иначе?

Абу-т-Тайиб задумался. Сразу вспомнились Абассиды: первый халиф, основоположник династии, пробыл у власти четыре года, зато благочестивый аль-Васик — целых двадцать шесть; знаменитый Харун Праведный радовал подданных около полувека; но буян аль-Мунтасир удержался в седле повелителя правоверных четыре месяца.

А еще был Ибн-ал-Мутазз, прославленный поэт, но неудачливый заговорщик, прозванный «халифом-однодневкой»...

— У нас иначе, — твердо ответил поэт. — У нас совсем иначе, а тебе, племянник, я не верю.

Племянник, годящийся (если признать его слова истинными!) в отцы поэту, звонко расхохотался.

— И не надо! Не верь, дорогой мой! Все-таки я был прав, стократ прав, мечтая о встрече с тобой! Ты другой, ты не знаешь вещей простых, как муравьиное крылышко, и скука бежит от меня, едва я вступлю с тобой в беседу! Скажи лишь: тебя не заботило, что ты — шах — в пятьдесят лет способен гнать коня день и ночь напролет, изматывая опытных воинов, вдвое моложе тебя?! Мои люди докладывали мне о твоих набегах, когда ты менял расположение лагеря быстрее молнии! На твоем лице я вижу шрамы, а в кудрях — печать седины; ты признаешь мою правоту, когда это окончательно перестанет тяготить тебя!

Абу-т-Тайиб потянулся и взял горсть орехов. Разгрыз один, выплюнул шелуху и принялся жевать ядрышко. Жевать зубами, наполнившими его рот — так новые бойцы приходят на смену погибшим ветеранам. Потом он провел большим и средним пальцами левой руки по носу: от седловины к крыльям. Провел еще раз; и снова. Давняя привычка, но укороченный на фалангу средний палец сейчас был заметно длиннее.

И на конце его стало образовываться нечто вроде ногтя.

Впору было сознаться: Баркук ткнул его мордой в реальность, в ту реальность, которую поэт упрямо игнорировал.

Безумие? — ах, если бы... Он ведь честно полагал, что приметы возраста окончательно перестанут тяготить его лишь вне сей земной юдоли. Да и кто бы на его месте полагал иначе?! Аллах, мне страшно поверить, что впереди еще полтора века жизни, счастливой жизни с нимбом вкруг чела и благоговением душ людских!.. Все тебя узнают, словно ты — беглый клейменый каторжанин, все подыгрывают тебе на доске бытия, подыгрывают честно, с радостью, с искренним ликованием!..

Но отчего же игроку больше всего на свете хочется смешать фигуры и запустить ими в эти сияющие лица, в трепет и благоговение?

— О, где лежит страна всего, о чем забыл? — Абу-т-Тайиб сам плохо понимал, что бормочет вслух, со ртом, набитым горькой ореховой мякотью, с сердцем, набитым горькой мякотью сбывшихся надежд. — В былые времена там плакал и любил, там памяти моей угасшая струна... Назад на много дней мне гнать и гнать коней — молю, откройся мне, забытая страна!..

Тонкие руки Баркука ожили: тронули бритый подбородок, огладили вислые усы и строго погрозили котенку, когда тот вознамерился было покинуть укрытие.

— Последняя любовь и первая любовь, мой самый краткий мир и самый длинный бой, повернутая вспять река былых забот — молчит за пядью пядь, течет за прядью прядь, и жизнь твоя опять прощается с тобой!..

— Еще! — прошептал Баркук-Харзиец, молитвенно складывая ладони. — Еще, прошу!

— Дороги поворот, как поворот судьбы; я шел по ней вперед — зачем? когда? забыл! Надеждам вышел срок, по следу брешут псы; скачу меж слов и строк, кричу: помилуй, рок!.. на круг своих дорог вернись, о блудный сын!..

Абу-т-Тайиб вдруг резко умолк, костяшки сжатого кулака побелели — и внутри, в темнице каменной хватки, треснули орехи. Пальцы разжались, терпкий аромат ударил в ноздри; по лицу Абу-т-Тайиба струился пот, будто каждая пора обернулась кувшином святого Хызра, источая влагу. В последнее время он все чаще и чаще искал убежища в звуках и ритмах, вывязывая из слов подобие временного ослепления, — но возвращаться обратно тоже становилось все труднее и труднее.

— Отчего умер Кей-Кобад, мой предшественник?

— От старости. Таково заключение ваших хабибов.

— Пускай! Я сошел с ума и верю тебе! Значит, былому шаху еще полагалось жить да жить!

— Полагалось. Но пути фарра неисповедимы. У меня есть только догадки, и я попробую поделиться ими с тобой.

— Как делятся нищие горстью хлебных крошек?!

— Нет. Как делятся Баркук фарр-ла-Харза с Кей-Бахрамом фарр-ла-Кабир. Твой предшественник накануне смерти стал тяготиться титулом шаха...

— О, я его понимаю!

— Ничего подобного. Ты даже меня сейчас не понимаешь — куда тебе понять чаяния потомственного владыки?! Особенно если сей владыка втрое старше тебя и вдвое — меня. Кей-Кобад решил стать шахиншахом, царем царей! И нашел для этого самый простой и краткий путь... во всяком случае, так ему казалось. А об остальном ты узнаешь у своих советников — я лишь намекнул тебе, где искать.

— Простой и краткий? Советники мне не нужны, милый племянник. Я знаю сей путь — путь завоеваний!

— Что?

— Война — лучший способ царю стать царем царей... или падалью. Армады кабирцев предают огню Харзу, потом рушатся стены окрестных столиц — и Кей-Кобад громоздит на своей макушке дюжину кулахов разом! Я прав?!

Баркук вскочил и запрокинул голову к войлочному потолку. Спустя мгновение дикий хохот сотряс палатку, и Абу-т-Тайиб тупо воззрился на пляшущего султана.

— Клянусь Лунным Зайцем! Даже юродивому не могла бы взбрести в голову этакая идея! Тогда выходит, что я могу велеть отрезать тебе голову, после обрушить хургов на кабирские полки, лишенные воинского духа; через месяц я сижу в твоей столице и величаюсь Баркук фарр-ла-Харза и фарр-ла-Кабир! Каково?!

— Что тут смешного? — обиженно спросил поэт.

— Все! Все, мой милый дядюшка! Ты до сих пор не понял: твое государство — это ты! Ты сам, собственной персоной, и это нельзя отнять силой или хитростью, это нельзя изменить никаким способом, доступным людям! Убей я тебя — и глупый Баркук получит не просто мертвеца-шаха. Он получит мертвое государство, у которого с Харзой общая граница! Он получит труп под окнами собственного дома! Пытаясь завернуть в единственный плащ сразу двоих, я порву плащ и останусь голым под проливным дождем! И если я помешаю кабирским хирбедам заново провести Испытание, освятив нового шаха сиянием фарр-ла-Кабир...

Баркук устало сел и сделался очень, очень серьезным.

— Я помешаю совершить погребальный обряд; я помешаю наследнику покойного вступить в права наследования, и мертвая держава останется мертвой. Наместники, подобно шакалам-мародерам, разорвут труп на дурно пахнущие куски, орды нищих и беженцев червями хлынут через границы... догадайся куда? На мои земли! Начнется резня — а она начнется, уж поверь мне! Часть белобаранных хургов, отравленных миазмами гниения, мигом откочует на ваши пустоши, а сияние моего фарра туда не распространяется... Ладно, хватит. Надеюсь, ты и так поверишь мне: иметь под боком гниющего мертвеца — дело весьма хлопотное.

— И поэтому твои бойцы не поднимали на меня руку в бою?

— Да. Ибо убить чужого владыку — грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. За него нет прощения здесь, и нет прощения там, в Верхнем мире Ош-Тэрген.

— Выходит, я не сумел приобрести врагов?

— Врагов? Не сумел.

— И друзей я не сумею приобрести?

— Друзей? Никогда. У таких, как мы, не бывает друзей. У нас есть подданные. Мы даже между собой связаны узами иными, нежели дружба; мы связаны необходимостью. Боюсь, я разочаровал тебя?

— Нет. Ты меня убил.

— Глупости. Через три дня твой спахбед начнет переговоры, угрожая мне нашествием, я покочевряжусь для приличия и отправлю тебя обратно. С почестями. Живехонького-здоровехонького. Понял?

— Понял. Именно это я и имел в виду.

ГЛАВА 12,

где звенит сталь и крякают утки, многие вопросы приходят к разрешению, отчего жизнь становится еще запутанней, но о том, что в день Страшного Суда неверные будут пресмыкаться ниц, верные будут ходить прямо, а благочестивые смогут лететь на белых верблюдах с седлами из чистого золота — об этом даже не вспоминается, что греховно само по себе

1

...они врут!

Они все врут: и желтолицый Харзиец, и хитроумный Гургин, и дерзкая хирбеди, и однорукий Омар Резчик — врут словами, наготой, ударом, всем телом врут, всем делом; домом и дымом, лестью и местью, они притворяются, потому что иначе впору кинуться головой в омут!

«Конечно, — успокаивающе нашептывает ветер в уши. — Ты прав: они коварны, они лживы, они...»

Замолчи!

Ты тоже врешь!

Узорчатые пятна лишаев лежат на боках камней, одуряюще пахнет сухая полынь, и упругий конский волос растет из земли вместо ковыля. По измятому войлоку степи ползают тьмы насекомых — взблескивая жвалами и панцирями, изрыгая струйки сизого дыма, ставя походные муравейники, копошась, копошась...

Хоть бы один косой взгляд! Хоть бы один... Нет, они кланяются — враги кланяются, те самые хурги, которых ты топтал копытами своего коня, воздев знамя бессмысленной жестокости! Ненавидеть можно равного, можно — высшего, ненавидеть открыто или втихомолку; но нельзя ненавидеть символ державы, или даже не символ — державу целиком, со всеми ее реками и солончаками, городами и селами, солнцем над горами и дождевым червем на куске дерна! Аллах, смилуйся, скажи, что я ошибся, что это бред, горячечный бред, или лучше — смертный сон... Аллах, ну что тебе стоит? Да, я частенько пропускал время утрен-

ней молитвы, и время молитвы вечерней я пропускал тоже, я пил вино и зло шутил шутками недозволенными — но зачем же награждать таким страшным образом?

Изгой, подонок, выпавший из гнезда птенец... шах.

Мой предшественник умер, возжелав стать шахиншахом. Самоубийство — тягчайший грех, ибо душа дана нам временным залогом от Господа миров, как гласит Книга Очевидности, а самовольно распоряжаться чужим имуществом никто не вправе. Но если очень захотеть стать царем царей, то может быть... Они все сошли с ума! Гниющий труп под окнами дома?! Ха! Если не путь завоеваний, то где, в каких тайниках отыскал злосчастный Кей-Кобад способ из шаха превратиться в шахиншаха, не расширяя границ государства? Просто сказать на майдане: я — владыка владык? Сказать, чтобы благополучно преставиться на следующий день... от старости.

От старости, прожив два обычных жизненных срока?!

Е рабб, они все врут, они сумасшедшие, а я давно уже превратился в мумию, в сухую падаль под песчаным мавзолеем!

Е рабб...

Пленный государь невозбранно шляется по вражескому лагерю: остановите меня! пригрозите мне! отберите ятаган, висящий у меня на боку! верните меня в палатку, под стражу!

Дождетесь, я сбегу!

«Беги, — издевается ветер, щекотно приникая к уху. — Беги, Кей-Бахрам, по степям, по горам... беги...»

Озерный берег густо покрыт кустами тальника, не давая суховею коснуться влаги обжигающей дланью. В высоких камышах крякают дуры-утки, и синь неба опрокидывается навзничь в свежесть и прохладу, синь неба, синь глаз упрямой Нахид-хирбеди — о люди с глазами этого цвета, подлейшего из подлых! Что скрываете вы за невинной голубизной взора? Какие тайны прячутся в бочагах ваших черных душ... глупец! «Небоглазый» Дэв простодушней дитяти, даром что с младенчества в разгуле, а «небоглазый» Гургин хитрей Иблиса — что между ними общего? Комарье вьется вокруг, истекая малиновым звоном, и в звоне рождается сперва лязг металла, вскрик боли, а потом являются слова, чужие слова, где есть все — и лязг, и вскрик, и твердость:

— Во имя справедливости, я прошу у полкового бунчука крови этого отродья шакалов!

— Да будет так! — гремит ответ многих глоток.

И смех.

Страшно знакомый смех, он пенится бурой накипью, запекшейся кровью, смех встряхивает реальность, как бродяга — стаканчик с игральными костями; самозабвенное веселье безумца за шаг до вечности.

Они все здесь повредились рассудком... все!

По плечу хлопает узкая ладонь. Это Баркук, султан Баркук: незаметно подойдя сзади, он ухмыляется и тычет пальцем перед собой.

— Я же сказал тебе, брат моего отца: поднять руку на чужого владыку — грех больший, нежели изнасиловать собственную мать. А ты не верил... Этому молодцу еще крупно повезло: он падет в честном поединке, искупив содеянное. Ты явился полюбоваться, брат моего отца?

Смех вторит сказанному; вторит эхом, отголосками запредельности.

И утки крякают в камышах.

2

Две дюжины вооруженных хургов угрюмо столпились на берегу.

Папаха каждого — из черного каракуля в мелких завитках.

— Я... прошу... крови...

Перед хургами — копейное древко бунчука вонзилось в землю, и лошадиный хвост слабо шевелится от ласки ветра. В двух локтях за бунчуком — мертвец в кольчатом доспехе, разрубленный от ключицы до пояса; поодаль лежит еще один труи, без головы. Голова в папахе из черного каракуля откатилась почти к границе воды, и любопытный рачок щипает клешней странную штуку.

Между убитыми, шатаясь, стоит молодой боец с тяжелой секирой в руках. Рубаха из белого карбоса-хлопчатки заправлена с напуском в короткие, до колен штаны; поверх шерстяных чулок натянуты щегольские сапожки, вышитые по голенищам мелким бисером. Правый рукав изрядно подтекает багрянцем, и еще ухо — оно висит на полоске кожи, страшной серьгой касаясь плеча. Боец смеется взахлеб, берет ухо за мочку и коротко дергает. После чего отшвыривает кусок собственной плоти прочь, и бывшее ухо шлепается в прибрежную грязь.

Хургов передергивает от этого смеха, но крайний воин с саблей наголо уже идет к одноухому.

Мягко, вкрадчиво... убивать идет.

Или умирать.

— Ар-Раффаль, — говорит султан Баркук и, видя непонимание на лице Абу-т-Тайиба, уточняет: — Это парни секиру его так прозвали. Ар-Раффаль, «Улыбка Вечности». Думаю, еще троим улыбнется, по меньшей мере — пока они его завалят. Давай об заклад биться: на каком однополчанине наш бешеный Утба кончится? Я говорю, что еще трое; а ты?

Абу-т-Тайиб сглатывает горькую слюну. Он только что узнал бойца в белой рубахе. Это его удары едва не прикончили поэта в свалке близ крепости, это над ним шах Кабира бился с хургами, шалея от бессмыслицы происходящего, не давая своим прикончить своего. Что, шах, значит, все зря? Там не добили, здесь довершат? Бьемся об заклад, Баркук? — я говорю, что он умрет, так или иначе, сейчас или позже, на пятом или шестом противнике, но умрет!

Ставлю весь Кабир, будь он проклят!

Что говоришь ты? А, ты соглашаешься: да, конечно, он умрет... Он поднял руку на шаха. Я понимаю, лучше бы он изнасиловал свою мать или запек в чуреке новорожденного младенца! Я понимаю...

Еще плохо соображая, что и зачем он делает, поэт быстро идет вперед, к секире, сабле и бунчуку.

— Остановитесь!

Смех плещет в лицо, но бешеный Утба остается на месте. А хург с саблей даже отступает на шаг, не забыв поклониться в пояс кабирскому владыке.

Пленнику.

— Кто смеет убивать шахского побратима?! Мы смешали свою кровь на поле боя, отныне и навсегда этот человек — мой кровный брат! Отдайте его мне или деритесь с нами обоими!

И ятаган покидает ножны, бросив отблески на окровавленный полумесяц секиры ар-Раффаль.

— Ты понимаешь, что делаешь? — тихо спрашивает Баркук-Харзиец.

Спрашивает так, как если бы они были здесь вдвоем: фарр-ла-Кабир и фарр-ла-Харза.

— Нет, — улыбается поэт. — А что, это важно?

— Для меня — важно, — улыбается в ответ султан. — Потому что у меня не было возможности помиловать Утбу, а ты мне эту возможность подарил. Я — твой должник, брат моего отца.

И уже в полный голос:

— Все слышали? Великий шах Кей-Бахрам осенил своего побратима блеском царственного фарра, и короста позора оставила полковой бунчук! Да будет так!

Бешеный Утба смеется и падает на одно колено.

— Тебе нужен пес, мой шах? — спрашивают хохот, секира и рубаха в пятнах крови. — Пес, чтобы спать у двери и грызть твоих врагов? Если да, то возьми меня.

— Мне не нужен пес, — Абу-т-Тайиб подходит близко-близко и долго смотрит на того, кто осмелился напасть на запретную дичь; на того, кто умирал за это весело и легко. — Вокруг и без того слишком много псов, готовых спать и грызть. Мне нужен ты.

Глаза у бешеного Утбы голубые.

Прозрачно-голубые; и там, в талой воде, искрятся безумные пузырьки смеха.

3

Он был дальним родичем султана Баркука по материнской линии; очень дальним, но, как и все потомки чресел Язана Горделивого, имел право именоваться Утбой зу-Язан. Впрочем, упрямый Утба зачем-то нарек своего первенца именем великого предка, а себя — не зу-Язан, а Абу-Язан, то бишь «Отец Язана». Что это должно было означать, не знал никто, похоже, включая и самого шутника; но открытой крамолы здесь не наблюдалось, а к странным поступкам Утбы все давно привыкли.

Еще с позапрошлого года, когда султан, вняв уговорам матери, призвал родича ко двору.

Любимец женщин, Утба дарил старух долгими беседами, а молодых — пылкими ласками, но истинной любовью он любил только свою секиру, доставшуюся ему в наследство от отца. Редкое оружие для коренного хурга, тяжелая ар-Раффаль в руках Утбы становилась проворней змеиного жала и красноречивей площадного сказителя. Мало кто успевал достойно отвечать на ее вопросы, и султан Баркук часто приходил глядеть на воинскую потеху, когда веселый Утба Абу-Язан давал волю себе и отцовской секире.

Осенью юный фаворит принес клятву на стали и огне, став есаулом в полку «Вороноголовых» — личной султанской тысяче головорезов.

Почти сразу начав смеяться.

Едва осиную талию Утбы охватил складчатый кушак, где была вышита вязь полкового девиза, едва буйную голову увенчала папаха из черного каракуля, как жемчужина странного веселья сверкнула в перстне его жизни. Красавицы, за три фарсанга благоухающие вэйскими духами, делились тайнами; и в их тайнах мужская неутомимость, неистовствуя на ложе, смеялась знакомым смехом. Двор султана прикусывал языки удивления зубами сдержанности: на аудиенциях и приемах послов хохотал он, веселый Утба Абу-Язан, а Баркук лишь увеличивал свое благоволение к весельчаку. Лекарей брала тихая оторопь — когда бритва целителей погружалась в плоть раненого есаула, он смеялся в лицо боли, смеялся в голос, до слез, и боль в ужасе отступала.

Однажды некий раб Лунного Зайца явился к султану Баркуку незваным и бросил шапку преклонения к подножию трона.

— Отошли Утбу куда-нибудь подальше, — если опустить многочисленные восхваления, вот что осталось от речи служите-

ля веры. — Если ты хочешь ему добра, освободи его от службы и избавь от необходимости быть рядом с тобой. Или хотя бы просто — освободи. Пусть Утба снимет папаху и развяжет кушак. Мой султан! — сделай это, пока не поздно.

Когда же Баркук потребовал объяснений, уста советчика запечатала печать молчания.

Клинок султанского гнева готов был вырваться из ножен, но рука благоразумия остановила порыв: именно этот раб Лунного Зайца сопровождал молодого Баркука через горы без имени в Степь Испытания.

Служитель веры ушел с миром, но султан пренебрег его мнением.

А Утба смеялся.

Пока не кинулся в горячке боя на кабирского шаха — что верней палаческой удавки грозило привести сей смех к естественному завершению.

* * *

Когда Утба заснул — как и обещал, на пороге шатра, в обнимку с секирой, — Абу-т-Тайиб еще долго сидел на кошме, перебирая в горсти последние события.

Голубые глаза Дэва закрылись бы навеки, не сними с него поэт сотничьей шапки. Веселый Утба оставался жив, нося харзийские знаки служения власти, но назвать его рассудок здоровым означало соврать. Одно покушение на жизнь чужого шаха, запретное для любого хурга... И еще маг Гургин — этот отказывался от кулаха истовей, чем Иблис (да будет его имя вечно проклято!) отказывался кланяться Адаму. Где-то здесь крылся ключ к потайным сундукам, где-то здесь бродили призраки, ухмыляясь мертвыми оскалами; но спрашивать об этом у Баркука не имело смысла.

Зря, что ли, дерзкая Нахид обмолвилась:

— Ты чужак. Но даже будь ты природным кабирцем из шахского рода... Никогда.

Полагаю, рабы Лунного Зайца тоже не балуют султана лишними откровениями...

Интересно, есть ли предел верности здешних жителей олицетворению их же собственной державы? Какие запреты нужно преступить, какие заповеди опровергнуть, чтобы Омар Резчик всерьез посягнул на помазанного владыку, чтобы кочевой хург восстал... да что там восстал! — просто обиделся на своего султана! Ну пусть хоть вполголоса признает некий поступок владыки частично ошибочным! Что для этого надо?! Сжечь хургова деда, велеть гургасарам изнасиловать вольного Омара, помочиться на их алтари... Что?!

Абу-т-Тайиб боялся признаться самому себе: то существо, которое молча вставало внутри его рассудка, расправляя шипастые крылья, — оно было готово испытать терпение кабирцев великим испытанием.

Он никогда не был излишне мягок, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, но эти люди вокруг... они не люди!

И, значит, можно все.

Кто дерзнет разгадывать помыслы Вседержителя? — а он, бродяга-певец, не хочет быть живым божеством, не хочет даже не потому, что большего кощунства трудно и придумать...

Вы даете мне все, и, когда я роняю поданное, вы нагибаетесь, чтобы вновь подать мне — все.

Спасибо, не надо.

Я возьму сам.

4

— ...а ежели я тебя, не спросясь, копьецом ширну?

— Слушай, человек-гора, совсем башку крысы выели?! Сказано тебе: вон иди... шах почивать изволят!

— Нет, ты ответь мне, хургова твоя рожа: а ежели я все-таки копьецом — и пройду?

Смех.

— Пройдет он... Одна половинка пройдет, зато другая здесь останется! Видал секирку? Она таким речистым живо укорот дает...

— Ох, хург, не будь я посол... Тоже мне, караул-беги выискался, держи-хватай!

— Он посол! Сходи к озеру, на харю свою глянь, посол! Бараний мосол! Оглоблю вместо копья приспособил и туда же!

— Ох, сдается мне, хург, ты меня обидеть норовишь...

— Эй, там! — рявкнул Абу-т-Тайиб, еще не до конца покинув равнины сновидений. — Заткнулись бы, что ли?

— Твое шахское! — радостно возопили из-за полога, да так, что у поэта мигом заложило уши. — Я тебя спасать иду, а этот пустосмех дорогу загораживает! Ты мне прямо скажи, твое шахское: ширять его копьецом или погодить маленько?

— Дэв? — Подскочив на груде стеганых одеял, которую хурги именовали курпачой, Абу-т-Тайиб спешно принялся натягивать шаровары.

Ноги никак не хотели попадать в штанины, о кушаке и вовсе забылось в горячке, но через минуту голый по пояс шах Кабира уже стремглав вылетел наружу.

Врезавшись в широкую и горячую скалу, на поверку оказавшуюся Дэвовой грудью.

— Ты, шахское твое, брось мотаться-то паленым зайцем! — буркнул сотник-разбойник, мигом срывая с себя плащ и заботливо укутывая им поэта. — С утреца ветрено, не ровен час, прохватит тебя... а плен — не мамка! Ослаб, чай?!

Рядом смеялся Утба, опершись на свою неизменную секиру.

Абу-т-Тайиб отстранился от могучего юз-баши и принялся разглядывать пришельца. За истекшие дни Худайбег, казалось, стал еще больше: подрос, заматерел, обзавелся брюхом площадного борца-пахлавана — что, впрочем, не делало его малоподвижным. Удивляло еще и другое: чудовищно волосатая грудь, выпиравшая из-под распахнутого чекменя. Прямо чащоба дремучая; давным-давно в Куфе один невольник-саклаб рассказывал поэту о таких чащобах в его родной сторонке. Да и лоб юзбаши выпятился несуразно, брови нависли горными утесами, ероша поросль можжевельника и аргавана; а под утесами зияли два небесных колодца.

Глаза Дэва, лучившиеся искренней заботой.

— Мой шах, позволь рабу задать вопрос! — Веселый Утба крутанул секиру, брызнув зайчиками с полулунного лезвия. — Это твой шут? И дозволена ли для меня его жидкая кровь?

— Да уж не жиже твоей, — проворчал Дэв, вполоборота скосясь на нахала. — Слышь, твое шахское, может, мне в нем дырок понаделать? Или башку отвернуть, как куренку? Ишь, выдумал: шут...

Абу-т-Тайиб повернулся сразу к обоим задирам и посмотрел сперва в одни голубые глаза, а потом в другие, такие же голубые.

Смешливые огоньки боевого безумия мало-помалу зажигались в первых; забота во вторых исподволь сменялась тихой безмятежностью пропасти, где крик — и тот тонет без следа.

— Прекратить свару! И любить друг друга, как меня самого! — строго приказал поэт. Гоня шальную мысль: если правы Гургин и султан, то окажись на месте этих двоих люди с глазами карими, черными или какими иными, приказа вовсе не потребовалось бы. С полузвука уловили бы, вникли, расстарались... возлюбили бы не за страх, а за совесть!

Нагая девица у обочины шахской дороги.

Плачущий Суришар.

Отрубленная рука Омара Резчика.

Кланяющиеся хурги, чьи становища он жег; и безнаказанность в бою.

Эти двое, «небоглазые» изгои, чья жизнь была безрассудно выкуплена у пекла им, Абу-т-Тайибом аль-Мутанабби, — их сопротивление его приказу было стократ дороже любого послушания.

И свершилось: страшное веселье стало покидать голубизну

взгляда Утбы Абу-Язана, а затем сомкнулась пропасть взора Худайбега аль-Ширвани по кличке Дэв.

Неохотно, не до конца — и все же, все же, все же...

Где ты, дерзкая ослушница Нахид-хирбеди?

Почему не рядом?

Почему?!

* * *

Уже готовясь к отъезду — маг Гургин в качестве главы посольства превзойдет самого себя, а султан Баркук отпустит пленного с почестями и без выкупа, — Абу-т-Тайиб вспомнит россказни слепца о «пятнадцатилетнем курбаши».

И напрямик спросит у Дэва:

— Сколько тебе лет?

Могучий юз-баши задумается, неуверенно трижды покажет шаху растопыренную пятерню, а потом еще один согнутый палец.

— Кажись, столько, твое шахское... А что?

Рядом рассмеется Утба Абу-Язан.

КАСЫДА О ПОСЛЕДНЕМ ПОРОГЕ

Купец, я прахом торговал; скупец, я нищим подавал,
глупец, я истиной блевал, валяясь под забором.

Я плохо понимал слова, но слышал, как растет трава,
и знал: толпа всегда права, себя считая Богом!

Боец, я смехом убивал; певец, я ухал, как сова,
я безъязыким подпевал, мыча стоустым хором,

Когда вставал девятый вал, вина я в чашку доливал
и родиною звал подвал, и каторгою — город.

Болит с похмелья голова, озноб забрался в рукава,
Всклокочена моя кровать безумной шевелюрой;

Мне дышится едва-едва, мне ангелы поют: «Вставай!»,
Но душу раю предавать боится бедный юрод.

Я пью — в раю, пою — в раю, стою у жизни на краю,
Отдав рассудок забытью, отдав сомненья вере;

О ангелы! — я вас убью, но душу грешную мою
Оставьте!.. Тишина. Уют. И день стучится в двери.

ГЛАВА 13,

в которой повествуется о жабах и богомолах, о странных взглядах и худых делах — но об условиях молитвы, как-то: чистота членов, прикрытие срамоты, наступление должного времени, обращение в сторону кыблы и стояние на чистом месте — обо всем этом не упоминается даже словечком!

1

...Человек сидел на берегу пруда и смотрел, как охотится большая бурая жаба, сплошь покрытая склизкими бородавками.

Жаба терпеливо ждала. Только тяжело вздымающиеся бока выдавали ее, не давая спутать с одним из таких же бурых, поросших плесенью камней, разбросанных вокруг. Жаба ждала. И человек ждал.

Они дождались: неосторожный кузнечик с треском упал на берег пруда, на свою беду, решив покинуть спасительные заросли травы.

Дальше все произошло быстрей гнева Аллаха — кощунственное сравнение, но много ли знают земноводные твари о кощунствах?! Жаба выплеснулась колодезной водой, когда сверху малышшалун сбросит увесистый булыжник; она мигом оказалась на пол-локтя левее — и коротко плюнула языком. Кузнечик исчез, как не бывало, а человек счастливо рассмеялся.

— Я — это ты! — булькнул он, клокоча горлом. — Я — тоже жаба! Большая-большая жаба...

В этот момент они были действительно похожи.

Человек резво подпрыгнул, плюхнулся задом на берег, явно намереваясь раздавить бородавчатую охотницу, — но не тут-то было! Жаба оказалась все же проворней; теперь она шумно шлепала прочь по мелководью, грузно поводя боками и костеря на своем жабьем наречии человека со всей его родней до четырнадцатого колена!

Человек хитро улыбнулся и погрозил жабе пальцем.

2

Дождь. Сыплет и сыплет, и нет чтоб ливень — прошел и схлынул; плетется бездомным бродягой, никуда не торопясь, а когда весь выйдет — никому не ведомо. Мокро отблескивают серые спины каменных плит, мелочь капели собирается вместе и стекает по остроконечным шлемам выстроившихся во дворе стражников. «Ночные псы» мокнут, сырость заставляет набухать

трещотки за кушаками, шлемы и прочее железо потихоньку ржавеет от скуки этого однообразия: грязного, пустого, зябкого — а перед строем мечется человек-жаба. Ему-то, жабе, хорошо: дождь — самое что ни на есть жабье время; зато остальным каково?

А никаково! Стоят, смотрят, не кривятся, не радуются. Все идет, как от веку положено, — чего кривиться, чему радоваться? Служивое дело малое: скомандовали «Стройся!» — бегом в строй, и стой, пока не услышишь: «Р-р-разойдись!» А дождь себе дождем — небось не сахарные, не растают!

Перед строем застыл однорукий змеевласец — новый Владыка Ночи, под чьим началом теперь будут служить все эти люди. Предыдущий Владыка Ночи, лишенный звания без объяснения причин, стоит тут же, в позорной позе, и двое рабов охаживают его нагайками.

Значит, так надо.

Так должно быть.

Человек-жаба вприпрыжку движется вдоль замершего строя, заглядывает в лицо очередному стражнику... Что-то он там ищет, в складках и морщинах, в темной глубине глазниц — ищет, не находит, плюет на спину одной из плит, и вот он уже переместился дальше; миг — и жабий взгляд испытующе щупает лицо другого... но снова не находит искомого.

Жаба скачет дальше.

И дождь — дальше...

Тот же крепостной двор, тот же дождь, те же мокнущие под дождем стражники. Только бывший Владыка Ночи, получив свою долю битья, уже встал в общий строй — а его преемник не стоит столбом, расхаживает взад-вперед, подкручивая единственной рукой тонкие сабельные клинки усов и искоса оглядывая «псов».

— Ну что, дерьмо чаушиное, выкормыши песчаных ведьм, думали век службу катать верблюжьим катышем? — хлещет по лицам плеть-голос змеевласца. — Наели брюхо, срамоты не видать! Когда-то таких, как вы, звали «быстрорукими»... Ха! Нищий быстрее хватает подачку, чем вы — воров да разбойников! Впрочем, подачки вы тоже хватать успеваете... Ничего, за мной не залежится: готовьтесь к правежу! Не будь я Омар Резчик! Сегодняшний дозор — ко мне, остальным разойтись. Свободны.

Человек-жаба припал к высокому парапету. Сквозь желтоватую листву лоз, тесно оплетающих парапет, блестит лишь один выпученный глаз, который вряд ли кто-нибудь сумел бы разглядеть снизу.

Болезненный интерес сквозит во взгляде. Ощупываются лица «псов», чутко ловится каждое произнесенное внизу слово.

Позади стоит молодой Волчий Пастырь. Он смотрит мимо, думая о своем, но когда глаза его мимо воли скользят по раскорячившейся, распластавшейся по парапету фигуре — в этих глазах мелькает легкое недоумение.

И еще — преданность.

Наконец человек-жаба ударил парапет кулаком и молча двинулся прочь.

Ожидание не увенчалось результатом.

Кузнечик ушел.

3

Высокие, гулкие своды. Мрак прячется по углам, копится под потолком, в нишах — пролитые чернила, сурьма... тюрьма для света. И редкие пасынки солнца, которым так одиноко и страшно в длинной пустоте коридора, трепещут, мечутся, всплескивают рукавами...

Тишина.

И вдруг: хлопанье дверей, топот ног, невнятная скороговорка приглушенных голосов. Мрак спешит просочиться туда, дальше, за поворот, взглянуть, что там происходит; обрывки света испуганно перемигиваются... ждут. Их время пришло: мрак в испуге отшатывается назад, за угол, потому что там, дальше — свет, там нет места пролитым чернилам! А пасынки солнца оживленно передают друг другу то, что успели увидеть наиболее везучие из них.

Восседающий на подушках человек-жаба — золоченый халат в мельчайшую полоску заляпан пятнами жира, расстегнуты пуговицы из узелков шелка, наружу вывалилось волосатое брюхо, которое человек-жаба время от времени почесывает с видимым удовольствием.

Вокруг — люди. Почтительно застыли у стен, склонились пред жабой, распростерлись ниц...

Кваканье.

— Это наш новый мустауфи, то бишь казначей — будь проклят ваш пехлевийский язык вкупе с вами, безмозглыми! Мы повелеваем! Подать нам пояс, кулах и перстень!.. Что? Неграмотный? Кто неграмотный — ты?! Ах, ты и есть новый казначей... Приставим к тебе дабира-помощника. Грамотного. А старого казначея — в зиндан!

Один из людей на полу — грязный худой оборванец с бельмом на левом глазу и редкими седыми прядями, зализанными поперек плеши. Он восторженно принимает из лап человека-жабы перечисленные регалии. Собственная неграмотность его боле не страшит. Тем временем двое телохранителей, по знаку Волчьего Пастыря, подхватывают с пола благообразного старичка в синей

кабе-одноцветке; старичка уволакивают прочь. Бедняга висит в мертвой хватке провожатых, и на лице его написано полное смирение.

А еще — понимание.

Человек-жаба обводит присутствующих взглядом, таращит буркала. Он ждет, он пытливо ищет на лицах присутствующих — чего?! Нет, не находит и, икнув, отсылает всех прочь.

Удаляются шаги.

Скрип закрываемых дверей.

Тишина.

И зябко ежатся, оглядываясь по сторонам, комочки живого света. Им страшно. Им жалко благообразного старичка, который безропотно отправился во тьму зиндана, даже не попытавшись сказать хоть слово в свое оправдание.

Но у них, у живых и теплых пасынков солнца, никто не спрашивает их мнения.

А жаль.

4

Жаба на лошади — то еще зрелище, но человеку-жабе на это, по-видимому, наплевать. А все остальные отчего-то не спешат хохотать, хватаясь за животы, хрюкая, сгибаясь пополам и указывая пальцами на сию несуразицу. Жаба на лошади! Ха-ха-ха! Отчего же вы не смеетесь, уважаемый? А вы? И вы? Неужели не смешно? Ну, как хотите.

А жаба тем временем едет дальше.

В сопровождении Волчьего Пастыря, да еще хмурого дылды-старца с бородавкой под носом, похожего на седого богомола; да еще десятка «волчьих детей».

Едет.

Дальше.

Вдруг человек-жаба дергает лапой, и вся кавалькада разом останавливается.

— Погляди-ка, какие у нас здесь красавицы! — расплывается в ухмылке жабий рот. — Нет, это, конечно, богохульство и непотребство, да простит меня Аллах, всемилостивый и всемогущий, — но нам нравится, что здесь женщины не закрывают лица! Эй, Волчий Пастырь, вон тех двоих — во дворец. И еще вон ту, толстую. Да-да, именно ее... Е рабб, красавицы, вы нам по душе! Все. Вы замужем? Да? Все трое? Отлично! Эй, кто-нибудь там, найдите их мужей — грех разлучать семью! Мужья тоже поедут с нами!

И снова — короткие, быстрые взгляды, мельканье жабьего языка: туда-сюда, туда-сюда... не уследишь.

Ничего. Ничего не может ухватить взгляд-язык, ничего из той добычи, о которой мечталось; и, разочарованный, взгляд втягивается обратно.

Едут.

Дальше...

* * *

— Ты, ты и ты. Шаг вперед! Молодцы! Хорошо несете службу! Вот вам поощрение — по красавице каждому. Приступайте. Прямо здесь и сейчас. Эй, мужья! Встать у стены и следить: чтоб ваши жены остались довольны! Если что не так, подскажете нужную ухватку...

Скрип двери.

Удаляющиеся шаги.

Но вот человек-жаба останавливается — и, крадучись, бесшумно возвращается обратно. Припадает глазом к тайной прорези в двери.

Смотрит.

Он все еще надеется увидеть.

Что?

Ну уж во всяком случае, совсем не то, что творится в оставленных им покоях. В тронной зале, где обычно происходят собрания представителей четырех сословий. Теперь же здесь троица молодых гургасаров рьяно удовлетворяет томно стонущих красавиц. Ту, вон ту, и еще ту, толстую. Да-да, именно ее... Рвение «волчьих детей» вполне объяснимо; стоны красавиц тоже удивления не вызывают — небось мужья-тюфяки их не часто балуют! Но вот эти самые мужья-тюфяки, которые стоят у стены и время от времени подсказывают гургасарам нужную ухватку...

Вот это уже ни в какие ворота не лезет! Даже в дворцовые. Ни гнева, ни слез обиды, ни мятежа — ничего!

Вежливая заинтересованность.

Человек-жаба отворачивается и медленно, нога за ногу, плетется прочь по коридору.

— Ква... — бормочет он себе под нос. — Ква...

5

— Вставай, старая развалина. Поговорим.

Они вдвоем: старец-богомол и человек-жаба. Богомол почтительно ждет, и наконец жаба соизволяет булькнуть:

— У нас долго не доходили руки до вашей богопротивной веры — но пора искупать грехи. Готов ли ты встать на путь истинный?

— Владыка осведомлен о Предвечной Истине? Он желает зажечь в сердцах неразумных детей своих ее огнь?

— Ишь, загнул... Да, желает!

— Слово владыки, отмеченного благодатью Огня Небесного, — закон. Я внимаю с благоговением. Чего ждет от меня и рабов своих владыка?

Человек-жаба на мгновение теряется. Похоже, он ожидал совсем другого: споров, пререканий, теософского диспута, в конце концов; злобы ожидал — пусть даже тайной, скрытой от глаз, но вполне ощутимой.

Что же ты, седой богомол?!

Кваканье:

— Во-первых, необходимо возгласить: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь».

— Это мудрые слова, — серьезно кивает богомол. — Возглашаю: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь». Хоть я и не знаю, кто такой этот Мухаммад и что означает Аллах. Может быть, это одно из имен владыки?

— Не богохульствуй, проклятый зиндик! — Человек-жаба явно раздражен. Кузнечик попался гнилой. Безвкусный. Жабе не нравится такой кузнечик. Жабе вообще все не нравится...

— Будь проклят мой дерзкий язык! — соглашается покладистый богомол, скребя бородавку. — Но что еще надлежит делать мне, невежественному? Каковы обязательные правила новой веры?

— Обязательные правила таковы, — нехотя квакает человек-жаба. — Провозглашение от чистого сердца того, что ты уже произнес; вознесение молитв; раздача милостыни; пост в Рамадан; и паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить. Для начала достаточно. Позже я дам дополнительные указания. А пока доведи все это до сведения жрецов.

— Радость и повиновение, мой повелитель!

Жаба угрюмо смотрит вслед богомолу.

Караван верблюдов-дней неторопливо брел через пустыню Вечности с востока на запад. Огнь Небесный, сотворенный Аллахом, припекал все жарче, на деревьях начали распускаться листья, свежие весенние ветры выдували из улиц и переулков человеческих душ хлам, скопившийся там за долгую зиму, — и как-то раз человек-жаба, слепой к весне и глухой к переменам, решил взглянуть на плоды своих усилий.

— Когда начинается утренняя молитва? — без всяких предисловий поинтересовался он у богомола, вызванного в его покои ни свет ни заря.

— Через полчаса, владыка, — без запинки ответил с пола старец.

— Отлично. Мы желаем посмотреть.

— Владыке угодно посетить главный храм?

— Нет, не главный! Меня не проведешь... — бормочет узкогубый рот, плюясь пеной. — Какой-нибудь захудалый храмишко, на окраине города, до которого можно добраться за эти полчаса.

— Радость и...

— Знаю, знаю! — обрывает богомола человек-жаба. — Собирайся, поехали!

Жарко горит огонь на старом алтаре, освещая ряды коленопреклоненных горожан, и гулко разносится под сводами голос хирбеда:

— Нет бога, кроме Творца, единого и не имеющего товарищей!

«Хитрые гяуры... — ворочаются жабьи мысли. — Или уже не гяуры?»

— Нет бога, кроме Творца... — нестройно вторит толпа.

— И возжег Творец в небе Огнь Небесный, дабы осветить души детей своих...

Человек-жаба молча скачет к выходу, где в ожидании милостыни толпятся нищие.

— Паломники отправились в путь еще десять дней назад, мой повелитель, — деловито сообщает в спину богомол.

— Какие еще паломники?!

— Те, которые двинулись к священному храму Творца, именуемого Аллахом! — поясняет старец. — Как и было предписано: те, кто в состоянии совершить паломничество...

«А ведь дойдут же! Дойдут, найдут, поклонятся — и обратно вернутся! Интересно, а если приказать добыть луну с неба?..»

В голове возникает ночной небосвод: сиротливый, голый... и жабий рот кривится, как от хинной горечи.

Нет, проверять решительно не стоит.

Злость жжет душу. Одним прыжком жаба возносится в седло и хлещет коня камчой.

«Ква!..ква...» — зло отдается в висках конский топот.

6

...Свадьба была в самом разгаре. Жених, в халате алого шелка, в высокой шапке с меховой опушкой, восседал рядом с пышногрудой невестой; и звенели золотым дождем мониста новобрачной. Молодые не сводили друг с друга глаз, а за огромным свадебным столом тем временем провозглашались здравицы: ес-

тественно, за здоровье жениха и невесты, за здоровье родителей жениха и родителей невесты, отдельно — за будущих многочисленных детей жениха и невесты; помянули также всех присутствующих и отсутствующих родственников и друзей жениха с невестой, потом раза три подряд выпили за какую-то никому не ведомую тетушку Шамсу...

— Веселятся, — булькает себе под нос человек-жаба, придержав коня и глядя через низкий дувал на шумное застолье. — Кто смеет веселиться, когда сердце наше в печали?!

Глаза его недобро сощурились.

— Открывай ворота, Волчий Пастырь!

Незапертые ворота с треском распахиваются, и кавалькада въезжает во двор.

— Отрубить ему голову, — звучит кваканье, а палец тычет в жениха, повалившегося ниц одним из первых. — Действуй, Волчий Пастырь.

Тот, кого назвали Волчьим Пастырем, проворно соскакивает с коня, волочит не сопротивляющегося жениха к человеку-жабе, вытаскивает из ножен саблю...

Короткий свист.

Голова жениха летит под копыта жеребца, на котором восседает жаба.

Глазки с желтыми, нездоровыми белками пытливо рыщут по лицам гостей, задерживаются на одном, на другом...

Что-то меняется в жабьей морде, когда взгляд упирается в пару голубых озер на знакомом лице. И — в такую же голубизну глаз другого человека, стоящего рядом.

Это не гости; это — свои.

Оба спешились и стоят плечом к плечу.

— Невесту — на кол. Ты — выполнять! — Жабий палец упирается в первого из двух голубоглазых.

Смущенный великан переминается с ноги на ногу.

— Ты уж прости, твое шахское, но это... не стану я!.. вот.

— Что? Не станешь? — Противоестественная радость выхлестывается вместе с кваканьем. — Забыл, каково самому на колу сидеть?! Освежить память?!

— Не забыл! — набычась, повторяет великан, крепче сжимая в руках-граблях огромное копье, больше смахивающее на дубину. — Да только... За что ее? Ну, меня ладно, я плохой...

— Утба! — выплевывает чье-то имя жабий рот.

— Здесь я, — звучит ответ второго обладателя голубых глаз.

— Обоих на кол! Выполнять!

Утба не двигается с места. И вдруг начинает хохотать. Безумно и искренне — так, что стоящие рядом потихоньку отодвигают-

ся в стороны, а морда человека-жабы меняет брезгливое выражение.

Она совсем меняется, эта морда.

От жабьей — к человеческому лицу.

* * *

— Что со мной? Где я? — спрашивает Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, прежде чем потерять сознание.

ГЛАВА 14,

где маг и правитель ведут мудрые беседы, в ходе которых поднимается часть завес над шахами, фаррами, вседозволенностью и ее ограничениями, а также обсуждаются внезапные смерти — но ни словом не упоминается о том, в чем состоит загадка «небоглазых», будь они хоть жрецами, хоть разбойниками!

1

— И что еще успела натворить эта жаба?!

Голос предательски дрожал, и пришлось отогреваться ароматом красного чая — поднеся к губам млечно-бледный фарфор пиалы, изготовленной в далеком Мэйлане. Мэйланьские драконы сладострастно вились вдоль краев, мэйланьские горы смыкались вокруг мэйланьского озера, зеленоватой глади с прожилками из чистого лазурита; и перевешивался через борт лодки плешивый рыбак, намеченный еле-еле, слабыми мазками; рыбак, естественно, был тоже мэйланьский. Страна на том конце торговой дороги Барра, где, по уверениям Баркука-Харзийца, правят некие Сыновья Неба, которые вообще долгожители, даже по сравнению с местными носителями фарра!.. фарр... фарфор... камфара...фар-р-рсанг...

Горло поэта заржавело, и сейчас ржавчина осыпалась со стенок гортани, делая голос хриплым, а слова — шершавыми, как обломки ракушечника.

Тем временем Гургин продолжил неторопливый рассказ: о перестановках во дворце и среди городских властей, о смещениях и назначениях судей, Владык Ночи и прочих чиновников, о фаворитках и фаворитах, что вынырнули невесть откуда или, наоборот, без причины подверглись опале; о реформе культа Огня Небесного и паломниках, сгинувших на просторах новой веры... Лишь о последней казни во время свадьбы дряхлый маг умолчал.

Абу-т-Тайиб был благодарен ему за это — во-первых, ни к чему ворошить грязь до самого донышка, а во-вторых... Увы! — он и сам помнил все: катится под конские копыта голова жениха, вокруг стенами вечной тюрьмы смыкаются внимательные, сочувственные (но не осуждающие!!!) лица родственников, лица гостей, лица, лица... — и, наконец, двойное голубоглазое «Нет»! Комар, кузнечик, добыча, которую страстно алкал все эти месяцы человек-жаба, попалась наконец на язык; но сколь мерзок был вкус ее, нежданной добычи, совсем не той, о какой мечталось!

Обижали в детстве жабу: мама-жаба обижала, бабка-жаба обижала, папа-жаба обижал, и родня над жабой ржала, жабью мерзость обнажала, словно в грудь ее вонзала сотню ядовитых жал... Жаба, что ж ты не сбежала? Никому тебя не жаль...

Абу-т-Тайиб так и не смог до конца осознать, что человеком с жабьей ухмылкой и буркалами навыкате был он сам! То есть умом, конечно, понимал — но сердцем принимать отказывался. Наотрез. Да, истинный правоверный на вопрос: «Где находится разум?» должен благочестиво ответить: «Аллах бросает его в сердце, и лучи разума поднимаются в мозг, утверждаясь там!» Но вместо лучей из сердца поднималась смрадная гниль. Пепел сожженных хургских становищ, вонь потрохов казненных, липкая сладость улыбок тех, кого довелось осчастливить внезапной милостью; зловонная клоака вместо души, обиталище скорпионов и мокриц — а над всем этим сияние фарра, святой нимб, видный издалека!..

Не лучше ли было спать высушенной мумией под песчаным мавзолеем? — или это все-таки сон, страшный сон, где низкие становятся высокими, и нет кары безумней!

— ...вот, собственно, мой шах, и все ваши основные деяния за последние три месяца!

Судя по выражению лица мага, деяния были явлением вполне обыденным и закономерным. Или хитрец с бородавкой кое о чем умолчал? Ну и ладно! Если он умолчал, а я не помню — так тому и быть.

— Деяния! — Усмешка наполнила рот горечью; захотелось плюнуть. — Называй вещи своими именами, старец! Не бойся, я не отправлю тебя за это на кол и не надену силой кулах с поясом. Я уже пришел в себя; хотя минута отрезвления заслуживает тысячи проклятий. Не хочешь? Забыл такие слова, как мерзость, паскудство, бесчинство? Ну, отвечай: забыл?!

— Деяния шаха — это деяния шаха! — упрямо поджал губы Гургин и, похоже, едва удержался, чтобы в очередной раз не почесать свою замечательную бородавку. — Они не бывают достойными или недостойными. Шах вне добра и зла, света и тьмы, справедливости и сумасбродства. Он — шах.

— Еще скажи: Бог! — выкрикнул Абу-т-Тайиб, искренне надеясь, что Господь миров все-таки покарает своего раба за кощунство; и покарает немедленно.

В ад, в геенну, куда угодно...

— Сказать? — осведомился маг. — Или мой шах не ждет ответа?

2

Они сидели во дворе Гургинова дома: если от угловой башни Аль-Кутуна свернуть направо, объезжая по широкой дуге ремесленный квартал Джаффар-ло, то вскоре подъедешь к воротам, за которыми и обитает мудрый хирбед, делатель владык. Обитает в свободное время от разных затей, достойных описания в «Тысяче сказок» — ну зачем, зачем ты заставил меня выйти из проклятой пещеры Испытания?!

Или ты и впрямь не заставлял?

— В чем ты состоишь, моя божественность?! — издевательски рассмеялся поэт, загоняя подлые мысли куда подальше. — В том, что впереди дурака-балагура скачет баран и превращает в баранов всех моих подданных? В тупых, покорных баранов, готовых идти за вожаком на бойню, согласных перерезать глотку себе, своей матери, сестре, жене, ребенку — стоит лишь шаху бровью повести?.. О Аллах, всемилостивый и милосердный, спасибо Тебе, что Ты не дал моим нечестивым мыслям свернуть в этом направлении раньше и проверить то, что сейчас произнес мой поганый рот! Ведь я мог... Еще день назад — мог! Спасибо Тебе за Твою милость, Всемогущий!

Маг терпеливо ждал, пока шах закончит общаться с Господом, медленно прихлебывая чай из своей пиалы.

Ма-аленькими глоточками.

— Дело не только в этом, мой шах, — заговорил он, когда поэт умолк. — Это лишь следствие, но не причина. Следствие того, что ты — обладатель священного фарра, частицы Огня Небесного; или снизошедшей на тебя благодати Творца, если тебе так больше нравится!

Гургин явно увлекся и теперь говорил почтительно, но без подобострастия; таким он нравился Абу-т-Тайибу гораздо больше.

— Это его сияние согревает твоих подданных, побуждая их с радостью выполнять шахскую волю. Заметь, владыка: с радостью, с радостью и пониманием. Они ведь не глиняные идолы, оживленные мерзкой волшбой; они — живые люди, со всеми добродетелями и пороками, присущими живым! Хочешь, я пролью бальзам на твою больную совесть? В последние месяцы ты, о мой

шах, был не вполне собой. Ты был больше, чем ты есть, и меньше, чем ты есть... Ты был священный фарр-ла-Кабир во плоти.

— Этот ореол... эта светящаяся гнилушка заставляла меня творить мерзости?!

— Я этого не сказал, мой шах. Конечно, ты не был слепой марионеткой в невидимых руках фарр-ла-Кабир — но... Такое происходит с каждым шахом. Сначала фарр перестраивает тело владыки, делая его более прочным, сильным и долговечным, нежели обычная плоть человеков. Ты мог заметить это на себе: молодость вернулась к моему шаху, у тебя прорезались новые зубы взамен сгнивших старых, в руках добавилось силы, тебя вновь стали интересовать женщины — и даже когда-то отрубленные пальцы начали отрастать, подобно хвосту ящерицы. Я прав, владыка?

— Да, все верно. — Абу-т-Тайиб только что пролил себе на колени свой чай; к счастью, напиток уже успел остыть.

Горбун-слуга — кажется, единственный слуга в доме Гургина — решился приблизиться. На подносе он тащил две пиалы побольше, до краев наполненные «белым супом»: кислое молоко, пряный творог, рейхан, кинза, иная зелень, перец, соль...

Обычная закуска перед началом трапезы.

На блюдце в углу подноса лежали фисташки и ломтики сушеных дынь: для аппетита.

— Не забудь о спутниках владыки, — бросил слуге Гургин. — Они небось проголодались больше нашего и вряд ли захотят начинать с супа!

С собой Абу-т-Тайиб взял всего двоих: Утбу и Дэва. Он больше никого не хотел видеть. И в первую очередь — преданного Суришара. Все время мерещилось: человек-жаба приказывает... Нет. Думать об этом не хотелось.

— ...А потом фарр-ла-Кабир принялся испытывать рассудок шаха, — как ни в чем не бывало продолжил маг, кидая в рот сладкий ломтик. — Его сердце, его душу: на что способен новый владыка? Сумеет ли быть жестоким и безжалостным, если придется? Хитрым? Изворотливым? Ведь государство не может колебаться и мучиться сомнениями, стоя на краю пропасти — да не случится такого никогда!

— Душу? — с ужасом выдавил поэт. — Испытывать?!

— Не беспокойся, мой повелитель, душа твоя с тобой, и ничего ей не сделалось, — Гургин едва заметно улыбнулся. — Вы испытывали друг друга: ты, государство и фарр-ла-Кабир... и в то же время вы испытывали сами себя, будучи единым целым. Жестоко? — не спорю. Но рождаться можно только так: в крови и нечистотах. Последнее Испытание завершилось — ты его выдержал. Вновь став самим собой: шахом белостенного Кабира.

— Утешил! — прохрипел поэт, закашлялся и принялся молча хлебать «белый суп».

Маг последовал его примеру.

— Ну, допустим, — буркнул через некоторое время Абу-т-Тайиб, успев покончить с супом и отчасти уняв разброд в мыслях (насколько это вообще представлялось возможным). — Допустим, мой собственный нимб, шайтан его забери, испытывал меня. Испытал. Выяснил, что я гожусь для управления страной. Или для олицетворения этой страны. Как там говорил Баркук-Харзиец? «Твое государство — это ты! Ты сам, собственной персоной...» Он прав, старец?

— Воистину прав, мой шах! Мудры были слова султана...

— И вот теперь Кабирское шахство сидит у тебя в гостях, пачкая бороду простоквашей и обрезками кинзы?!

— И снова правота твоя неоспорима, о мой шах!

— Я прав, Баркук прав... — а кто лев?! Ладно, шучу... Тронусь я скоро с вами, маг ты мой замечательный, и вы все тронетесь со мной — если, конечно, правота наша и впрямь неоспорима! Ладно, это потом, — шах разговаривал сам с собой, и старый хирбед не осмеливался прерывать владыку. — Но ответь: почему же тогда фарр-ла-Кабир, баран златой, терпел мои выходки?! Ведь это же во вред государству — наказать невиновного, унизить знатного и возвысить безродного, назначить казначеем проходимца, а Владыкой Ночи — бывшего душегуба?! Куда ж баран смотрел, а, старец?! Я своими руками укладывал державу в гробтабут, а значит — и себя самого, носителя фарра! Что-то тут у тебя не сходится, маг!

И Абу-т-Тайиб победно усмехнулся, глядя на Гургина в упор: мол, подловил я таки тебя, старый брехун!

— Здесь нет никакого противоречия, мой шах, — серьезно ответил маг, отставив пиалу. — С того момента, как назначенный тобой избранник принимает из твоих рук кулах и пояс, он становится верным слугой шаха и фарр-ла-Кабир. Верным не за страх, а за совесть. Отблеск благодати фарра ложится на него, подобно отсвету Огня Небесного, сияющего над нами, и человек этот начинает исполнять возложенные на него обязанности с должным тщанием. Это может получаться у него лучше или хуже, в зависимости от умений, навыков, опыта и природных склонностей — но он будет честно стараться выполнить свою работу! Даже если глупый судья неверно рассудит какую-либо тяжбу или нечистый на руку казначей украдет кисет динаров — от этого ведь государство не рассыплется? Дихкане не перестанут сеять рис или просо, а затем снимать с полей урожаи; стражники будут по-прежнему нести свою службу, купцы — торговать, налоги — так или иначе поступать в казну... Там, откуда ты пришел, иначе? Там нет воров-казначеев, а если есть, то державное здание мигом рушится? Там владыки не украшают колья невиновными; а когда украшают, то шатается их трон?! Горы ведь стоят, несмотря на то, что часть их плоти выветривается! И даже не качнутся...

— Значит, я могу творить все, что мне заблагорассудится, — и на государство это никак не повлияет?!

— Воистину так, мой шах! Ты можешь казнить и миловать, смещать и назначать, требовать для себя любых мыслимых и немыслимых удовольствий или ходить в рубище, питаясь хлебом и водой, — это твое личное дело. Пока тело шаха здорово, а разум ясен, с государством ничего не произойдет. Ведь государство — это ты! — как исключительно верно заметил владыка Харзы!

Владыка Харзы... что-то такое он говорил, этот скучающий восьмидесятичетырехлетний султан, выглядевший моложе пятидесятилетнего шаха Кабира... что-то...

— Что угодно? А если я, к примеру, из шаха захочу сделаться шахиншахом?

Гургин поперхнулся супом.

А сердце поэта гулко ударило в груди.

3

— Прошу тебя, владыка, оставь такие шутки, — заискивающе попросил маг. — Хорошо?

— А почему бы владыке и не пошутить? — В притворном удивлении Абу-т-Тайиб изогнул левую бровь луком. — Или скажем иначе: а вдруг владыка и не думал шутить? Может, ему снится по ночам венец царя царей? А? Ты побледнел, Гургин? Тебе плохо? Я говорю запретное, да? Значит, все-таки не все дозволено шаху? Чего-то и ему нельзя? Фарр-ла-Кабир не позволит — или есть причина попроще? Ну, говори! Язык проглотил?

— Фарр-ла-Кабир, — чуть слышно прошептал Гургин.

— Хорошо. Я тебе верю, старик. А теперь — рассказывай, каким образом вознамерился стать шахиншахом мой предшественник, Кей-Кобад, и отчего он в итоге умер?

Гургин с трудом перевел дух, прокашлялся и заговорил:

— Кей-Кобад действительно вознамерился стать шахиншахом, владыка. Для этого он задумал... вернее, ему подсказали следующее: разбить Кабирское шахство на четыре больших удела, каждый из которых будет пограничным. Затем наместников-марзбанов этих уделов должны были провозгласить шахами, а их повелителя Кей-Кобада — соответственно, шахиншахом, царем царей, как верно заметил мой повелитель.

— Ловко. Но глупо, — усмехнулся Абу-т-Тайиб, впервые в жизни сталкиваясь со столь странным способом расширения власти. — Какой же это умник ему сию чушь присоветовал? Уж наверняка не ты, мой благоразумный Гургин! Ладно... Значит, мой предшественник решил уподобиться он-баши, которого производят в юз-баши, — но командовать он продолжает все тем же десятком. Зато звучит куда величественнее: сотник! Или ша-

хиншах. И какую цель он преследовал, мой предшественник? Просто гордыню потешить хотел? Вряд ли...

— Воистину прозорливость владыки не имеет границ, — пробулькал маг, неприятно напомнив былую жабу. — Разумеется, доподлинно теперь никто не знает, что именно собирался предпринять Кей-Кобад. Однако же с определенной достоверностью можно предположить, что предшественник теперешнего владыки готовился расширить пределы Кабирского шахства!

— Ну да! — чуть не подпрыгнул Абу-т-Тайиб. — Султан Баркук убеждал меня, что у вас это дело невозможно; и даже любезно объяснил почему! А теперь ты утверждаешь...

Шах умолк, выжидательно глядя на своего советника.

— Султан Баркук не лгал тебе, мой шах! Он просто опустил единственный случай, когда завоевания все же возможны. Если фарр правителя, захватывающего земли соседа... как бы это поточнее сказать?.. ярче и горячей, нежели фарр соседа. Да будет мне позволено взять пример, приведенный моим шахом: как сотник выше десятника!

— Как шахиншах выше шаха, — задумчиво пробормотал поэт. — Что ж, не так уж глупо, как может показаться на первый взгляд. Сшить халат с запасом, затем начать толстеть... И что помешало Кей-Кобаду осуществить замысел?

— Смерть, — коротко ответил Гургин. И, взглянув на поэта, явно ждущего продолжения, пояснил:

— Видимо, фарр Кей-Кобада оказался под угрозой из-за шахского замысла. Все живое хочет жить: во имя сохранности державы фарр убил своего носителя.

И Кей-Бахраму, наследнику хитроумного Кей-Кобада, достался многозначительный взгляд.

Поэт долго сидел, задумавшись.

— Ладно, пошли спать, — пришел он наконец к вполне логичному выводу.

ГЛАВА 15,

обильная плодами поэтического воображения, явлениями призраков и битвами героев, но втайне мечтающая о совсем ином: где вы, описания превосходных ковров, ласковых, пышных, нарядных, с затейливым рисунком, с яркими красками, — где же вы, сии перлы?!

1

...Ночи плащ, луной заплатан, вскользь струится по халату, с сада мрак взимает плату скорбной тишиной — в нетерпении, в смятенье меж деревьев бродят тени, и увенчано растенье бабочкой

ночной... Что нам снится? Что нам мнится? Грезы смутной вереницей проплывают по страницам книги бытия, чтобы в будущем продлиться, запрокидывая лица к ослепительным жар-птицам... До чего смешно! — сны считая просто снами, в мире, созданном не нами, гордо называть лгунами тех, кто не ослеп, кто впивает чуждый опыт, ловит отдаленный топот, кто с очей смывает копоть, видя свет иной!..

Ива, наемная плакальщица, скорбно встряхивала ветвями; и кутался в темный плащ сафеддор, белый тополь, боясь поддаться на уговоры ветра, — бесстыже плеснуть траурной мантией, обнажив серебристую подкладку.

Дувал обступал двор со всех сторон, верблюжьими горбами выпятившись к драгоценной канители небес, осыпая с гребня своего репейник и колючую траву, придавленные плоскими камнями, — зимние дожди спотыкались об этот своеобразный заслон, не рискуя размывать глину. Все-таки правильно было заночевать у Гургина, вместо того чтобы возвращаться во дворец, где каждая стена напоминает тебе о проклятии шахского венца!.. правильно. Правильно было выйти во двор, покинув духоту спящего дома, выйти одному, без свидетелей, спутников, без телохранителей, без ничего, с нагой душой, открытой всем ветрам! Сесть в зыбкой тени аргавана, который люди Евангелия называют иудиным деревом, сесть на сколоченной из досок софе, опуститься на грубый палас поверх циновок из резаного камыша... забыться в тишине.

Глупо надеяться, что вывезет кривая, что выжмешь звук из треснувшего дутара! Тени оживают и, оживая, начинают делиться на молодых и старых... вон еще одна скользит во тьме. Женщина. Кажется, женщина. Течет, струится, вот она у двери из грушевого дерева, вот, не брякнув кольцом, внутри... Госпожа Вторник, покровительница прях. Кому еще марой бродить по дворам, заглядывать в дома, в лица сонных обитателей? — не блудница же явилась к хирбеду по тайному зову! Прости, добрая госпожа Вторник, здесь тебе не сыскать достойных награды, здесь лишь спит дряхлый маг, прикорнул у порога его слуга-лентяй, да еще храпят вовсю в «верхней комнате» лихой Утба с могучим Дэвом; и еще здесь, во дворе, не спит шах Кей-Бахрам... Эй, Бахрам небесный, Пламень-в-Красном-Шлеме, чего уставился на меня, будто не я, а ты трижды проклят Аллахом?!

Ну ладно, смотри, пока со стыда не сгоришь.

...Пес под тополем зевает, крыса шастает в подвале, старый голубь на дувале бредит вышиной — крыса, тополь, пес и птица, вы хотите прекратиться? Вы хотите превратиться, стать на время

мной?! Поступиться вольным духом, чутким ухом, тощим брюхом? На софе тепло и сухо, скучно на софе, в кисее из лунной пыли... Нас убили и забыли, мы когда-то уже были целою страной, голубями, тополями, водоемами, полями, в синем небе журавлями, иволгой в руке, неподкованным копытом... Отгорожено, забыто, накрест досками забито, скрыто за стеной.

Тень госпожи Вторник легко движется по айвану — открытая веранда сама ложится под ноги призрака, огибает гостью резными колоннами, осторожно нависает ошкуренным тополем стропил... Эй, покровительница прях, ты еще надеешься обнаружить здесь умелую мастерицу? А бывший поэт тебя не устроит? — я тоже когда-то умел играть с куделью слов, когда меня не обступали стены, через плечо заглядывая по-соседски... Эй, тени, сюда! Не стесняйтесь, тени! Я так давно с вами не беседовал...

Госпожа Вторник беззвучно взлетает по шаткой лестнице на крышу — туда, где окнами на улицу размещена бала-хана, «верхняя комната», подпертая с наружной стороны косыми сваями. Улыбка течет по губам медовой патокой — до чего ж упрямы эти призраки-покровители, все ищут, рыщут... Небось жила тыщу лет назад такая пряха, что и после смерти угомониться не может: сестер-рукодельниц выискивает, целует стертые пальцы, кладет на веки по пушинке — от слепоты, а то ведь бывало: после иной работы свету в глазах изрядно убавлялось! Аргаван осыпает стручки — на голову, на грубый палас, на землю, и кажется, что в мире не осталось больше ничего, совсем ничего, и с утра мало что изменится...

...Жизнь в ночи проходит мимо, вьется сизой струйкой дыма, горизонт неутомимо красит рыжей хной... Мимо, путником незрячим сквозь пустыни снег горячий, и вдали мираж маячит дивной пеленой: золотой венец удачи — титул шаха, не иначе! Призрак зазывалой скачет: эй, слепец, сюда! Получи с медяшки сдачу, получи динар в придачу, получи... и тихо плачет кто-то за спиной. Ночь смеется за порогом: будь ты шахом, будь ты Богом — неудачнику итогом будет хвост свиной, завитушка мерзкой плоти! Вы сгниете, все сгниете, вы блудите, лжете, пьете... Жизнь. Насмешка. Ночь.

— Эй, красавица, ты случаем не меня ищешь?!

И смех.

Это Утба. Проснулся. К маре цепляется. Такому что госпожа Вторник, что святая пятница, что песчаная алмасты — была бы мякоть, чтоб ухватиться, да раковина для тайной жемчужины.

Дикий осел весной, и тот Утбе позавидует... Вот сейчас разбудит Дэва, тот ему по шее накостыляет, чтоб не орал!.. Дэв у нас молоденький, ему здоровый сон важней любой бабы на свете, а о лепешке с мясным фаршем и говорить нечего — за кусок удавит. Дэв молодчина, странно, что не просыпается... Кусты громоздятся размытыми валунами, ветки сафеддора на ветер ропщут — когда привыкаешь общаться с тенями, с людьми становится значительно проще... Сидишь на софе, наблюдаешь: никому до тебя дела нет, и тебе ни до кого нет!

— Эй, кра...

Смех усиливается, звенит бубном-дойрой, в нем проскальзывают странные нотки — не на ложе смеяться таким смехом, а в бою, в самом пекле, но велик ли спрос с Утбы Абу-Язана, особенно в отношении его удивительной веселой души?!

Что-то лязгает в бала-хане, лязгает глухо, на грани слышимости, и почти сразу ночь рвется пополам коротким треском — будто мертвая ветка акации наконец решила свести счеты с этим миром. Трещит, падает, ударяется об пол цельным стволом, и эхо испуганным вором мечется по всему дому, заставляя в ответ дребезжать утварь, а кольцо в двери — колотиться о доски, возвещая о прибытии незваного гостя.

Рев оглушает на миг, забивая уши тополиным пухом. Он рушится сверху, с небес, рев хмурого горного великана, в пещеру которого забрались мелкорослые воры, да вдобавок еще и нагло сожрали все запасы сыра! — а теперь он раздваивается, этот утробный рык, как раздваиваются голоса опытных певцов, чтобы слиться воедино разным напевом... Дверца «верхней комнаты» слетает с петель и, заячьей скидкой проскакав по крыше, рушится во двор; щепки сыпятся градом, одна из них больно впивается в бедро, и боль отрезвляет.

Что происходит?!

Два тела выкатываются из бала-ханы, двое страшных любовников, стремящихся к последнему экстазу; на миг зависнув у края, они валятся вниз следом за выбитой дверью, и даже страшный удар о край дворового арыка не заставляет их ослабить хватку. Дно арыка красно от водорослей, и там, в мутной жиже, копошатся два зверя, два охотника, ни один из которых не желает признать себя добычей.

— Твое... твое шахское! Беги! Бе...

Огромная тень госпожи Вторник взмывает вверх, правая рука ее уродливо толстая, словно к предплечью приникла змея с отогнутым в сторону кончиком хвоста; рука падает вниз, и крик обрывается, чтобы миг спустя поползти стоном:

— Беги... твое шах...

Прыжок.

Прямо с паласа, с камышовых циновок, с дощатой софы, из покоя и усталости. Арык принимает шаха в липкие объятия, но и

госпожа Вторник не удержалась на ногах: внизу хрипло стонет Дэв, и это хорошо, раз стонет, значит, жив, а пальцы призрака ищут горло, ищут самозабвенно, истово, мокрыми червями роясь в бороде, — размахнуться не удается и приходится бить коротко, всем весом, на слух, локтями, коленями, пока убийца не перестает содрогаться под этими ударами.

Тишина.

— Т-твое... она Утбу... кончила...

Смех.

Страшный смех звучит с крыши, от рваного проема дверей бала-ханы.

Там стоит на коленях Утба Абу-Язан, безуспешно пытаясь встать, отсвечивая фиолетовым пузырем вместо левой половины лица — но «Улыбка Вечности» намертво зажата в его руках.

Полудохлый пес готов грызть.

2

— Да что тут мудрить, твое шахское?! Где мое копьецо? — я ее, тварюку, сам в Восьмой ад Хракуташа отправлю!

Косой взгляд через плечо — даже не взгляд, а так, намек, и Дэв, избитый, изломанный, но непокоренный Дэв замолкает.

На софе Гургин возится с пострадавшим Утбой: хвала Аллаху, лицевые кости целы, и быть вскорости хургу прежним красавцем! А гул в башке — не червь в кишке, погудит и стихнет, чему там трястись-трескаться, когда отродясь никакого добра не водилось... Лекаря престарелый хирбед отказался звать наотрез, и Абу-т-Тайиб до сих пор смаковал это открытое неповиновение «небоглазого».

Да еще вертел в руках странную штуку, оружие госпожи Вторник: кинжал не кинжал, напильник не напильник — прямой граненый брусок вместо клинка, а чудная гарда-лепесток отогнута в сторону и продлена вдоль тупых граней.

Таким убить — это еще очень постараться надо...

Впрочем, на отсутствие старания жаловаться было грешно. Ребра болели до сих пор, дышать приходилось вполгруди, и оставалось лишь удивляться отсутствию серьезных переломов. Славно повозились в арыке, ах, славно! — будто десятка два годков с плеч скинули...

— Эй, твое шахское! Она опять ремни грызет... у-у, стерва!

За спиной, на крыше, Гургинов слуга возился с выбитой дверью бала-ханы. Стучал молотом, звякал клещами — на место ставил. Со стороны улицы доносились вопли добровольных подсказчиков. Ясное дело, всякий знает, как лучше, особенно когда язык чешется... В ворота подсказчики не ломились; да и городские стражники явиться поостереглись. То ли прыткая весть о

шахе-госте успела доскакать до нужных ушей, то ли над фарр-ла-Кабир, как над вестовым костром, с недавнего времени подымался столб дыма до небес: здесь я, люди добрые, кыш подале!

А может, дом Гургина испокон веку пользовался дурной славой, и всем было известно, что сюда ломиться — себе дороже.

Вздохнув, Абу-т-Тайиб повернулся к госпоже Вторник.

И долго смотрел, не отводя взгляда; хотя видит Господь миров, зажмуриться ему сейчас хотелось больше всего.

— Когда настанет Великое Событие, кого-то возвысят, кого-то унизят, — слова Книги Очевидности сами поползли с языка дождевыми червями, и святотатственный образ вдруг показался единственно верным. — Когда земля содрогнется, будет вас три вида...

— Что? — поднял голову Гургин, заканчивая перевязку; и еле слышно засмеялся Утба, усмотрев в вопросе мага нечто свое, достойное веселья. — Ты сказал: три вида, мой шах?!

— Но сколь же тяжко несчастным, которых поразило несчастье! Им место в пламенном огне и кипящей воде, во мгле темной и черном дыме, который ни приятен, ни красив. Будете вкушать вы горькие плоды древа зеккум; будете пить, как жаждущие верблюды. Мы судили, чтобы между вами царила смерть, а мощь наша велика, и да будет так!

«Мы судили...» — шепнули бескровные губы мага.

«...а мощь наша велика», — истово кивнул Дэв.

«Да будет так!» — не произнеся ни слова, подвел итог веселый Утба, на миг став серьезным.

— Скажут несчастные избранным: «Погодите, чтоб мы немного взяли от света вашего!» И ответят им: «Возвратитесь и ищите себе свет». И тогда воздвигнется между ними стена, внутри будет милость, снаружи ее — страдание. И кричать будут те, что снаружи: «Разве не были мы с вами?!»

Абу-т-Тайиб еще раз повторил:

— Разве не были мы с вами?!

И присел на корточки перед госпожой Вторник.

Вислые плечи бугрятся узлами мышц, и сила эта, чуждая мощь, вынуждает сутулиться, плотнее вжимать костистый затылок, а нежно-розовые бурдюки грудей тяжко болтаются из стороны в сторону. Руки жиловатые, как у незабвенного Омара Резчика, только раза в два толще, с неприятно большими ладонями. Кривые ноги подогнуты под себя — словно обезьяну учили правильно сидеть на кошме, да так и недоучили. Лохмотья висят, как на огородном чучеле, и видно меж прорехами: тело густо покрыто рыжей шерстью, местами свалявшейся в липкие колтуны. Голени ободраны, и бока ободраны, и еще правая щека; лиловые кровоподтеки украшают те места, куда пришлись локти и колени разъ-

яренного шаха, и дыхание вырывается с болезненным присвистом — нет-нет, да и стон слетит с губ, вывороченных губ дикого зинджа.

Узкий вал лба сильно подался вперед, нависая над переносицей, уже начавшей мало-помалу проваливаться сама в себя, безобразно выпятив снизу кабаньи ноздри. Височные кости утолщены, торчат странными наростами, будто грозя обратиться в скором времени бараньими рогами; желваки на скулах катаются. И лишь в глубоко запавших глазках, в двух заброшенных колодцах, налитых дурной кровью, — лишь там плещет еще знакомая дерзость, неукротимая голубизна былой Нахид-хирбеди.

Больно всматриваться.

Разве не были мы с вами?!

3

— Нахид-хирбеди больше нет, мой шах. Мы отлучили ее от служения еще в тот день, когда Омар Резчик потерял руку от твоего ятагана. Она сошла с ума; она требовала невозможного. Нахид-хирбеди больше нет, мой шах; есть Нахид-дэви, женщина-чудовище. И я взыщу с храмовых стражей строгим взысканием: они не имели права проморгать бегство этого... существа.

— Невозможного? Чего именно требовала она?

— Исправить ошибку, вернее, то, что она полагала ошибкой. Провести тайное Испытание и помазать на престол нового шаха. Не безумие ли: два солнца на одном небе могут привести к концу света, но к благоденствию они вряд ли приведут!

— Два солнца...

— Да, мой шах! Я пытался уговорить ее отказаться от еретических замыслов, но Нахид упорствовала. Жаль: я любил ее больше, чем отец — младшую дочь, дитя его старости.

— И ты обратил ее в дикую тварь?

— Я?! Обратил?! Насильно сделать человека дэвом выше сил смертного, мой шах! Можно лишь самому вступить на порочную стезю... Это был ее выбор, и только ее — поэтому я велел следить за бывшей хирбеди, и едва мне донесли о первых изменениях, приказал взять ее под стражу. Увы, нынешней ночью она бежала...

— Ты врешь, маг! Я чую колдовство!

— Тогда посмотри на спасенного тобой разбойника, мой шах. Не найдешь ли сходства? Один удар Нахид-дэви опрокинул Утбу, бойца из бойцов, в беспамятство; но твой Дэв сражался с ней на равных дольше, чем сумел бы любой человек!

— И опять ты лжешь! Я бился с ней, и победа осталась за мной, за человеком!

— Я не лгу тебе, мой шах. Просто ты тоже не человек... уже не

человек. Ты — живое воплощение фарр-ла-Кабир. Ударь кулаком по столу — стол треснет. Возьмись с любым пахлаваном за пояса — долго ли продержится борец против тебя? Я, например, умру от одной твоей оплеухи. Раскрой глаза, мой шах, и ты увидишь...

— Но мой юз-баши не превратился в чудовище! Да, он тугоумен, да, простоват... и похож, похож, ты прав! Но мало ли таких же плосколобых великанов на белом свете?

— Немало, мой шах. В основном они живут в Мазандеране, Краю Дэвов, куда стекаются отовсюду — если, конечно, не погибнут в пути. А твой юз-баши... Он всегда при тебе, всегда рядом, а близкое присутствие носителя фарра сдерживает окончательное превращение человека в дэва. Не останавливает, но сдерживает. Иначе быть бы уже Дэву... впрочем, нет худа без добра. Думаю, в таком случае он с легкостью разорвал бы бешеную самку в клочья.

— Самку?!

— Я говорю о Нахид-дэви.

— Врешь! Ты должен был сказать не «превращение человека в дэва»! Превращение «небоглазого» в дэва! Я прав?!

— Прости, мой шах, и дозволь затворить уста. Власть шаха безгранична, а я — твой советник... Но еще я — верховный хирбед; я — «небоглазый». И не вправе произносить вслух запретное. Замечу лишь, что Утба Абу-Язан, подаренный тебе султаном Баркуком, тоже «небоглазый»; но он — человек. Хотя и смеется чаще обычного, получив из рук султана знаки служения; хотя и безумен в битве. Видишь, ты был прав, вняв моим уговорам и не надев на глупого Гургина кулах вазирга! Поверь, мой шах, я и так сказал тебе гораздо больше, чем следовало бы...

— Тогда хотя бы ответь мне, что это за странный кинжал приволокла с собой твоя бывшая ученица? Или здесь тоже сокрыта тайна за семью печатями?

— Ничуть, мой шах. Хирбедам запрещено проливать кровь, но защищать свою жизнь в случае необходимости дозволено каждому. В Мэйлане это оружие зовут — дзюттэ. Одно из значений: «Десять Рук». Им можно закрыться от удара чужого клинка, можно... ну, Утба способен лучше меня рассказать, что можно им сделать — ведь это его нож был сломан «Десятью Руками», и его лицо пострадало от столкновения. Думаю, Нахид-дэви отобрала дзюттэ у одного из храмовых стражей или украла в кладовке. Еще один промах, мой шах, и поверь: виновные понесут строгое наказание! Хвала небу, что в храме не хранилось более опасного оружия...

— Хвалы будешь возносить потом. Слышишь меня?.. ладно,

не спеши падать ниц. Гургин, ответь хотя бы: есть ли способ вернуть Нахид прежний облик?!

— Трудно сказать, мой шах. Во всяком случае, я такого способа не знаю. Мазандеран, Край Дэвов, хранит множество тайн — среди них, возможно, нашелся бы если не способ, то хотя бы совет... А я знаю лишь одно: находясь рядом с тобой, Нахид-дэви будет катиться в пропасть медленнее, гораздо медленнее; но, находясь рядом с предметом ее ненависти, она будет катиться в пропасть быстрее, гораздо быстрее! Эти два коня разорвут ее, вместо того чтоб вывезти в безопасное место! Это все, что я знаю; и все, что могу сказать тебе. Прости, мой шах.

— Прощаю.

4

...я посмотрел в лицо дряхлого мага и увидел: губы его трясутся, а блеклая голубизна взгляда подтекает летним дождем.

Слепым дождем.

Потом я посмотрел на аргаван. Под иудиным деревом сидел Златой Овен и скалился мне в лицо.

— Вы даете мне то, чего я не хочу, — сказал я им: барану, магу, Нахид-дэви, слуге на крыше, небу над крышей и солнцу в небе. — А в том, чего хочу, отказываете. Спасибо, не стоит трудиться, благодетели...

Я улыбнулся и закончил:

— Я возьму сам.

* * *

Нет мудрости в глупце? И не ищи.
Начала нет в конце? И не ищи.
Те, кто искал, изрядно наследили,
А от тебя следов и не ищи...

А еще спустя два года владыку Абу-т-Тайиба хотели провозгласить шахом — но он отказался. Тогда его хотели провозгласить шахиншахом — но он снова отказался. Ибо царским званием был титул шаха, шахиншахом же звали царя царей, но эмиром в самом первом значении этого слова на языке племен Белых гор Сафед-Кух — эмиром звали военного вождя, полководца, первого среди воинов.

И воинский титул был дороже для аль-Мутанабби диадемы царя царей.

Книга II
ЗОЛОТОЕ РУНО

Он пред врагами честь свою
И шпагу не сложил,
Он жизнь свою прожил в бою,
Он жизнь свою прожил.
Гони коней, гони коней! —
Богатство, смерть и власть,
Но что на свете есть сильней,
Но что сильней, чем страсть?!

И. Бродский.
«Баллада Короля»

КАСЫДА ОТЧАЯНЬЯ
(написанная в стиле «Бади»)

От пророков великих идей до пороков безликих людей.
Ни минута, ни день — мишура, дребедень, ныне, присно,
всегда и везде.

От огня машрафийских мечей до похлебки
из тощих грачей.
Если спросят: «Ты чей?», отвечай: «Я ничей!»
и целуй суку-жизнь горячей!

Глас вопиющего в пустыне
Мне вышел боком:
Я стал державой, стал святыней,
Я стану Богом,
В смятеньи сердце, разум стынет,
Душа убога...
Прощайте, милые:
я — белый воск былых свечей!

От ученых, поэтов, бойцов, до копченых
под пиво рыбцов.
От героев-отцов до детей-подлецов — Божий промысел,
ты налицо!

Питьевая вода — это да! Труп в колодце нашли? Ерунда!
Если спросят: «Куда?», отвечай: «В никуда!»;
это правда, и в этом беда.

Грядет предсказанный День Гнева,
Грядет День Страха:
Я стал землей, горами, небом,
Я стану прахом,
Сапфиром перстня, ломтем хлеба,
Купцом и пряхой...
Прощайте, милые:
И в Судный День мне нет суда!

Пусть мне олово в глотку вольют, пусть глаза
отдадут воронью —
Как умею, встаю, как умею, пою; как умею,
над вами смеюсь.

От начала прошлись до конца. Что за краем?
Спроси мертвеца.
Каторжанин и царь, блеск цепей и венца —
все бессмыслица. Похоть скопца.

Пороги рая, двери ада,
Пути к спасенью —
Ликуй в гробах, немая падаль,
Жди воскресенья!
Я — злая стужа снегопада,
Я — день весенний...
Прощайте, милые:
Иду искать удел певца!

ГЛАВА 1,

на пространствах которой едут путники, течет кровь, несутся заревые кобылицы и маячит вдалеке чудной Мазандеран, но напрочь отсутствует подробное описание плова по-самаркандски, с добавлением курятины и черного гороха

1

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо. Словно хотела навеки вырваться из пределов Восьмого ада Хракуташа, где бродит в стенаниях Ушастый демон У, играя закопченным молотом. Говорят, однажды он не выдержит и грохнет страшным орудием о три опорных кольца мира, заставив землю подпрыгнуть молочной сывороткой в лохани, когда о посудину споткнется нерадивая хозяйка. Закружится Вселенная на ржавом вертлюге, вихревые небеса стаей кречетов рухнут вниз, когтя все сущее, — и рассмеется демон У, встряхнет волосатыми ушами, видя страшное дело рук своих и своего молота.

К счастью, это будет не скоро; но и зарю тоже можно понять — кому охота ночи коротать в таком гнусном месте?!

Несись, рыжая, тешь себя несбыточными надеждами, пока есть еще время, пластайся в яростной скачке над башнями Кабира и Хаффы, дворцами Оразма и Фумэна, масличными рощами Кимены и хмурыми замками Лоула, виноградниками Дубанских равнин и озерами Верхнего Вэя — гони!..

...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламени — мим, даль, ха, зод, нун... я стал землей, горами, небом... я стану прахом... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер пугливо стреляет языками во все стороны, мрак подкрадывается на бархатных лапах, топчась у кольца света, — и заливистый храп спутников вторит хору цикад.

Отчего ж не спать, когда сегодня последняя ночь покоя и безопасности? Последняя ночь в предгорьях Малого Хакаса, где каждое селение так и норовит наизнанку вывернуться, а превратить хлеб-соль в кебаб-вино... Дальше небось, в безымянных горах-то, встречать будут по одежке, а провожать по загривку. О Совершеннейший Благотворитель, если б хоть одна тварь всерьез поверила, что я жажду покинуть их рай горячей, чем греш-

ник стремится вынырнуть из смолы кипящей и скрежета зубовного! Не верят. Е рабб, улыбаются; морды воротят... пусть их.

Здесь иначе не умеют, прав Гургин.

Человек в забывчивости хлестнул палкой по углям, и сноп искр был ему ответом. На миг почудилось: светляки, огненные брызги складываются в подобие круторогой головы, и хищные клыки скалятся в насмешке из-под вывороченных губ барана. Златой Овен подмигнул правым глазом, налитым кровью, и исчез — как не бывало.

Может, и впрямь — не бывало. Мудры были гяуры Эллады, когда придумывали свои богопротивные истории; и их мраморные идолы до сих пор смотрят на мир бельмами без зрачков. Смотрят, молчат, думая о славных временах джахилийи, Эры Невежества, когда всякий был сам себе божком или героем, а Аллах (слава Ему!) попустительски глядел на земные забавы сквозь пальцы. Человек плотно зажмурился, чтобы не видеть бараньей ухмылки, если та решит явиться снова, и вспомнил слепого невольника-сицилийца из Тира. Гамхар... нет, Гаммар, Гаммар-безглазец, способный часами бубнить бесконечные муаллаки о дальних путешествиях и славных битвах. Еще тогда человек полюбил слушать о невезучем Язане ибн Эсане, возжелавшем сесть на отчий трон, — а выкупом за царский кулах назначили Золотое Руно, сокрытое в далекой Стране Огней. Небось бедолага Язан тоже мечтал о слепоте телесной, когда заплатил за драгоценную шкуру великой платой: гибелью друзей, детей, родичей, уходом жены-колдуньи, одиночеством и, наконец, подлой смертью под обломками собственной галеры!..

Эй, Язан ибн Эсан, друг мой, брат мой по несчастью, возможный пращур владык Харзы, чад Язана Горделивого — слышишь ли меня в аду, где тебе самое место?! Я тоже иду за Золотым Руном, собрав вокруг себя героев и магов, всех, кого смог собрать; только я сам, собственными руками освежую этого проклятого барана, живьем содрав с гадины его замечательную шкуру! — а после еще и зажарю тушу на вертеле, полью гранатовым соком, дам хорошенько подрумяниться...

Слышишь?!

Я са-а-ам!

Храп на миг прервался, самый большой из спутников человека недовольно заворочался во сне, фыркнул по-конски — и перевернулся на другой бок.

Глядя на него, человек почесывал переносицу, водя пальцами от седловины к крыльям, и думал о потерях.

Подлинных и мнимых.

Этого спутника он мог потерять дважды: в самом начале без-

умного царствования, реши он проехать во дворец иным путем, возвращаясь с охоты, — и в самом начале пути за Золотым Руном.

Реши человек... а, решай не решай, счет все равно идет на минуты везенья!

Как тогда.

2

...день прошел в бесплодных разговорах. Абу-т-Тайиб старался пореже смотреть на Нахид-дэви, на то чудовище, которым обратилась дерзкая красавица; и вечером опять не поехал во дворец. Здесь же и заночевал, в доме старого хирбеда. Опять. Словно ждал чего-то... продолжения? знамения? подсказки?! В кладовке у Гургина обнаружились цепи, замечательные такие цепи с разомкнутыми обручами на концах, и по краям обручей были пробиты отверстия для дужек замков. Замки, кстати, валялись рядом с цепями и вызывали доверие одной своей величиной.

Спрашивать, зачем магу понадобилось хранить эти игрушки, Абу-т-Тайиб не стал. Просто следил, как Утба с Дэвом заковывают ночную убийцу поверх ремней, и без того тесно опутавших мощное тело; а потом обождал, пока пленницу не спустят в погреб и не захлопнут крышку.

Сторожить вызвался Дэв, и поэт был рад предложению юзбаши. Кроме того, парень люто казнил себя, что не сумел остановить гостью, что владыке пришлось спасать оплошавшего пса, рискуя собственной жизнью...

Дэв абсолютно не умел скрывать своих чувств.

Абу-т-Тайиб хлопнул парня по плечу, отчего могучий юзбаши изрядно качнулся, велел Утбе сменить караульщика часа через два после полуночи — и вскарабкался по хлипкой лестнице в бала-хану.

Ночевать в саду, на свежем воздухе, расхотелось напрочь.

Ночью ему снились удивительные сны: виноградные лозы прорастали на груди вместо волос, ступни впивались в землю корнями вековых чинар, из глаз струились горные водопады, разбиваясь о скалы колен, и гром в отдалении блеял насмешливо, заставляя пальцы рук сжиматься в кулаки. Поэт пытался крикнуть, и горло, кажется, даже рождало какие-то звуки — шум осыпи, плач младенца, кряканье уток... Вся эта разноголосица ширилась, множилась, дребезжала треснутым кувшином, и в итоге опять превращалась в блеянье.

Он проснулся в холодном поту. И долго глядел во тьму, заставляя себя забыть, забыть, забыть... понимая — не выйдет.

А потом внизу послышался глухой удар и звук падения тяжелого тела.

Дверь бала-ханы никак не желала открываться, слуга-горбун поработал на славу (или попросту запер снаружи, согласно указу мага и во избежание нежелательных визитов). Чертыхаясь, Абу-т-Тайиб ударил плечом — сведя на нет всю работу и заботу горбуна. После чего кубарем скатился по лестнице, босиком угодив прямо в розовый куст; но проклятия замерли на языке.

Над бесчувственным Дэвом склонился Утба и, тихо смеясь, перевязывал обрывками своей рубахи лапы сотника.

Рядом, у бортика дворового хауза-водоема, валялось Дэвово копье.

— Это я его оглушил, — подняв голову, хург увидел шаха в одном полотняном изаре на чреслах; но перевязки не бросил. — Он себе жилы ножом резал, дуралей... Хорошо хоть не глотку! На левой успел, а как за правую взялся, так я и вышел. Кричать побоялся: владыка спит, еще разбужу, напугаю... да и чего зря горло драть? Эту громадину разве криком остановишь? Подхватил его копьецо, махнул сплеча — и оглоблей по затылку! Таких лучше в забытьи перевязывать... безопаснее. Я вот себе чуть плечо не вывернул, копьищем орудуя...

Видимо, сочтя объяснения исчерпанными, Утба хихикнул и снова вернулся к прежнему занятию.

Приблизясь, Абу-т-Тайиб обнаружил, что Дэв стал еще больше. Или чудится?.. да нет, ровно матерый буйвол! И лоб еще дальше выпятился, а виски и вовсе отвердели, круглятся двумя раковинами; так скоро рогов дождемся. Что ж это тебе в голову стукнуло, кроме собственного копья, безмозглый ты мой душегуб, мальчишка сопливый; с каких радостей ты себя жизни лишать вздумал?! Спасибо Утбе, подоспел, выручил...

— Сбежала! Хозяин, она сбежала! Повелитель, скорее!

Вопил горбун.

Подкравшись тише мыши, слуга первым делом спустился в погреб — и теперь голосил оттуда трубой ангела Израфиля, первый звук которой есть предвестник Судного Дня, второй есть знак истребления, а третий — зов на Суд!

— Сбежала! Ай, беда! Ай...

Со стороны флигеля уже спешил Гургин, похожий в своем шафрановом плаще на предвестника зари — правда, очень костлявого предвестника; но поэт успел раньше мага. Он нырнул в погреб, отпихнул горбуна прочь, к штабелю кадок, и долго смотрел на порванные ремни и цепи с разомкнутыми звеньями.

Воображение ясно рисовало бегущую прочь Нахид-дэви, украшенную обрывками сыромяти и браслетами с замками. Даже шутить по этому поводу не хотелось; а другого способа успокоить рассудок Абу-т-Тайиб не знал.

— С тобой все в порядке, мой шах?

— Все, все... — Зачем-то прихватив одну цепь, Абу-т-Тайиб выбрался наверх и сунул добычу старцу. Тот повертел цепь в руках, подергал, даже понюхал; затем уныло встопорщил бороду.

— Увы, мой шах, добыча иной раз рвет силки. Это известно всякому охотнику.

— Пусти меня! — Дикий рев заглушил слова мага. — Пусти, хург! Дай сдохнуть! Пусти!..

Очнувшийся Дэв, вскочив на ноги, отшвырнул спасителя прочь — и впрямь, буйвол сбрасывает дикую кошку, сдуру вцепившуюся вожаку стад в загривок! Он был воистину страшен сейчас: порождение буйной фантазии сказителя, исчадие ада, охваченный бешенством исполин... несчастный подросток, «пятнадцатилетний курбаши», которого продали и предали все на свете, и в первую очередь — он сам.

— Твое... твое шахское! Убей меня! Убей! Это я... я ее выпустил... Я зверь! Я тварь дикая! Тварь!

— Самка, — тихо бросил Гургин из-за спины, подойдя к поэту вплотную. — Он почуял самку и не сдержался. Казни меня, мой шах — я должен был предвидеть...

Но Абу-т-Тайиб не слышал слов мага. Все будет потом: слова, объяснения, оправдания и заслуженная кара — а ныне оставался лишь Дэв, слезы на волосатых щеках и голубая боль в двух распахнутых колодцах, в двух ямах, пересохших от засухи дикой вины.

— Молчать! — Впору было удивиться: свистящий шепот Абу-т-Тайиба разом пресек покаянный вопль самоубийцы, как тонкое лезвие ножа рассекает надвое кожаную полосу. — Тварь? Да, тварь! Потому что руку на себя поднял! Потому что жизнь ни в грош не ценишь — а она не твоя, эта жизнь, она моя, слышишь, моя! Я тебя с кола снял, я и посажу, когда захочу, а до тех пор живи и помалкивай! Е рабб! Бить станут — живи; выть станешь — живи; гнить станешь — живи!!! В нечистотах, в бездне горя, в штормовой пучине моря, с молниями в небе споря, хоть подохни, а живи! Сын мой, брат, мое подобье, моей прихоти отродье — в прошлом, в будущем, сегодня, вой от боли, а живи! Понял! Отвечай, сын шакала: понял?!

— Не-а... — еле слышно рокотнуло в ответ, и Дэв без сил шлепнулся на софу. Запястья его, туго перевязанные Утбой, белели в предрассветной серости двумя голубями, но оперение птиц мало-помалу маралось изнутри бурой грязью. — Прости, твое шах... шахское — ни бельмеса не понял! Окромя что в дерьме, а жить-таки придется... Ладно, буду жить. Да только не больно-то хочется; ты уж не серчай, шахское твое...

Утба подошел к понурившемуся исполину и обеими руками взъерошил его густую шевелюру.

Они славно смотрелись рядом: стройный хург, любимец женщин, и чудовищный юз-баши, отставная гроза больших дорог.

— Я тебя тоже один раз спас, — рассмеялся бешеный подарок харзийского султана. — Только что. И запомни: посмеешь еще раз без разрешения в пекло сбегать — из котла достану и обратно приволоку. За уши. Ты меня знаешь, я слов на ветер не бросаю. Дай-ка правую лапку, дубина, — туже перетянуть надо...

И Дэв повиновался.

3

Человек у костра встал. Подошел к самому большому из своих спутников, долго смотрел на него; потом принес второе верблюжье одеяло и укрыл им великана, заботливо подоткнув края.

Вернулся обратно.

Повертел в руках палку с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав. Вав, мим, алиф... Из ущелья донесся порыв ветра, костер с радостью заплясал навстречу незваному гостю, и динар луны недовольно обратился к земле искусанным краем. Скоро встанет солнце и пойдет колесить путями светил, от одних пределов к другим. Скоро костру превращаться в пепелище. Скоро... Человек улыбнулся. Откуда-то, из черных провалов невозможного, родился бейт:

— Магриб есть Магриб, и Машрик есть Машрик,
и им не сойтись никогда,
Пока не сойдутся небо с землей в минуту Господня Суда...

Бейт вышел странным. Человек готов был поклясться, что никогда не сочинял его. И никто не сочинял; во всяком случае, из известных человеку поэтов. При чем тут Господень Суд, и уж тем более Магриб и Машрик, то бишь Запад и Восток? На ум приходил лишь вислоусый магрибинец, коварный западянин, явившийся к славному Ала-ад-Дину с целью завладеть волшебной лампой. Больше ничего путного на ум не приходило, кроме воспоминаний о собственном учителе грамматики, уроженце Машрика. Так прямо и встало в памяти гнусавое бормотанье:

— В языке благородных существует три части речи: имя, глагол и частица, причем категория имени включает все склоняемые части речи... А теперь, дети осла, мы пойдем вкушать полуденный сон! — ибо сказал пророк (да сохранит его Аллах и приветствует!): «Соблюдайте полуденный сон, поскольку лишь шайтан в полдень не спит!» Вам ясно, тупицы? Только шайтан... охо-хо-хо...

Где ты теперь, старенький грамматик, знаток падежа «джерр» с окончанием на краткий гласный «и», а также падежа «насб» с окончанием на краткий гласный «а»? Жив ли? Вкушаешь ли сон полуденный? — или ждешь решения у райских ворот, попивая

воду заоблачной реки аль-Каутер, сладкую, как мед, холодную, как снег и прозрачную, как хрусталь?! Утешает ли тебя то, что, войдя в пределы рая, ты станешь ростом в тридцать локтей, подобно нашему пращуру Адаму, и вновь войдешь в первую пору мужества?! Или тебе в раю будет недоставать детей осла и категории имени, включающей в себя все склоняемые части речи? О, откликнись — где ты?

И где я, твой непутевый ученик, трепанный жизнью больше, нежели кусок бычьей шкуры — голодной собакой; косноязычный поэт, хромой бродяга, шах Кабира, и после смерти обреченный не знать покоя?!

Где я, ответьте, кто я?!

И из темной дали, из песчаного самума и морока тайной пещеры, из безвозвратно утерянного прошлого донеслось гнусаво:

«Аль-Мутанабби... эй, Абу-т-Тайиб, чтоб тебе пропасть и не найтись! Забыл, где находишься?! А ну-ка живо изложи мне основы метрики Халиля Басрийского! Не знаешь? Не помнишь?! О, я всегда говорил, что ты глупее риджля, того растения, чьи корни вечно подмывает вода рек! Только и годен, что рифмоплетствовать, позор рода...»

Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби еще раз улыбнулся и ткнул в костер палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав.

Уймись, огонь!

Мы могли оказаться в этом месте и пробудить тебя к жизни; мы могли свернуть правее или левее; мы могли вовсе не покидать пределов Кабира...

Нет.

Не могли.

И снова заворочался под двумя одеялами самый большой из спутников поэта.

* * *

...допрос Дэва оказался делом сложным; и даже не потому, что Абу-т-Тайиб, если говорить честно, побаивался вкладывать персты в открытые раны, как поступал у людей Евангелия один из апостолов пророка Исы.

Просто Дэв почти ничего не помнил.

Кроме запаха. Густого, сладкого, мускусного запаха, от которого кружилась голова и сладко ныло в паху. Руки помнил, чужие руки, они шарили тут, и еще вон тут... только перед этим он спускался... или не спускался? Забыл, твое шахское, ты уж не серчай на дурня, зверюка я тупая... а руки — помню. Чужие, а ближе родных. И свои руки помню: рвал я что-то, в клочья рвал, драл со всей мочи, а оно противилось попервах, а там и лопнуло; тут ру-

ченьки мои клятые гнуть принялись. Звенья цепей; или не звенья, ты прости, шахское твое, плохо мне, и до того плохо, что удавиться бы — да ты не велишь, и Утба ругается! Слышь, Утба, брось смеяться-то, я ж вижу — тебе невесело, а мне-то как невесело, хоть на луну вой! Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?! — так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще больнее жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал — жить и помнить, помнить и жить...

Вскоре Дэв заснул. Прикорнул у софы обиженным ребенком, сунув кулак под волосатую щеку; засопел утробно, иногда всхлипывая и булькая горлом.

Абу-т-Тайиб стоял над ним и вспоминал, как минутой раньше сказал могучему юз-баши:

— Что ж ты прежде-то помалкивал, сынок? Я б тебе баб этих, гурий райских, дюжину отвалил! Настоящих баб, горячих, гладких — что ж ты молчал, а?!

— Настоящих не хотелось, твое... — уже задремывая, буркнул Дэв. — Гладких... и раньше, в шайке, не... не хр-р-р...

Утба перестал смеяться.

Встал рядом, плечом к плечу, как еще ни разу не становился; и вздохнул.

— Нахид-дэви сбежала в Мазандеран, мой шах, — Гургин сидел на приступочке и вертел в руках цветок гиацинта. Впору было поблагодарить мага за эту вольную позу, ибо раньше он никогда не садился в присутствии шаха, если на то не поступало отдельного разрешения. А сейчас как почувствовал, хитрец с бородавкой: нет лучшего лекарства Абу-т-Тайибу, чем дружеская простота. — Они все бегут в Мазандеран, в Край Дэвов. Нюхом чуют, куда идти. Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай — дойдут, найдут... если в пути не сгинут.

— Мазандеран? — машинально спросил поэт. — Где это?

И выяснил для себя много нового. Оказывается, по одним свидетельствам, Край Дэвов располагался непосредственно за островом, населенным змеями величиной с верблюда, которые с утра до вечера восклицают: «Нет бога, кроме Аллаха, единого, не имеющего товарищей; Мухаммад — раб и посланник Его, и пророк мой; правоверные — мои братья, и добро — мой путь!» Едва Абу-т-Тайиб успел заподозрить Гургина в издевательстве, как прозвучали иные свидетельства. Согласно им, в поисках Мазандерана следовало миновать ущелье Вак-Вак, где камни в виде голов злобных друдей и их крик: «Вак! Вак-Вак!» сводит с ума каждого путника; после чего ты попадал в долину, где земля из шафрана, а вместо дров в кострах горит какуллийское алоэ. Но многие предполагали, что Край Дэвов не имеет к этому ущелью с долиной никакого отношения, а искать следует земли Халита и

Малита, двух существ, совокупляющихся хвостами, в результате чего и появляются на свет змеи, скорпионы и дэвы-чудовища.

— Хватит, — устало бросил поэт, когда речь дошла до Ворот Слияния Двух Морей. — Так бы сразу и сказал: куда идти, мол, не знаю. И никто не знает: восток ли, запад, Машрик, Магриб — все едино!

— Чего ж знать-то? — Сонный Дэв привстал, не открывая глаз, и отчетливо махнул рукой в сторону юго-западной стены города. — Тудыть надобно... я ж сказывал — запах...

И опять захрапел.

— Говоришь, нюхом чуют? — оскалился Абу-т-Тайиб. — Хоть Железный Гвоздь из небесной сферы выдерни, хоть стороны света напрочь перепутай — дойдут, найдут?

— Если в пути не сгинут, — безнадежно повторил маг, уже догадываясь, что замыслил шах Кей-Бахрам, самый беспокойный правитель за всю тысячелетнюю историю Кабира.

4

Новая охапка сушняка рухнула в зубы костру. Огненный язык мигом принялся вылизывать добычу, и Абу-т-Тайиб отсел подальше: жарко. Там и вовсе встал. Прошелся к вьюкам поклажи. Взял шахский ятаган, которым бился под Арваном, наполовину извлек из ножен, полюбовался прожилками стали, узором тяжкого клинка... Резными накладками из слоновой кости полюбовался, которые отныне украшали рукоять вместо драгоценной мишуры. Он просто не мог оставить оружие во дворце. Выглядело предательством. Так и мерещилось: это не ятаган, это он, поэт-неудачник, веками болтается на ковре, покрываясь невидимой глазу гнилью; это он в битвах рубит, зная — сопротивления не будет, ответного удара не будет, не будет ничего, что сделало бы ятаган подлинным мечом боя, а не игрушкой-украшением или тесаком мясника.

Ношу я тебя не затем, чтобы всех слепила твоя краса,
Ношу наготове, чтобы рубить шеи и пояса.

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Нет.

Оставить ятаган во дворце, как были оставлены шахский кулах и пояс, казалось совершенно невозможным.

Да и то сказать: проклятие шахства мало зависело от наличия или отсутствия кулаха — даже без них Кей-Бахрама узнавали по ореолу фарра; а иногда — непосредственно по Златому Овну. Ос-

тавляй, не оставляй... О Аллах, как же трудно было отвязаться от названого сына, от Волчьего Пастыря, от мальчишки Суришара! Поэт твердо решил не брать с собой в поход на Мазандеран никого, кроме «небоглазых» — тех выродков, которые (это он уже понимал ясно!) не умели видеть сияния фарра. Но Суришар вбил себе в голову, что должен грудью прикрывать владыку от опасностей. Шах-заде и без того корил себя, что в битве под Арваном допустил пленение шаха; в своем упрямстве он дошел до невозможного — почти до открытого сопротивления. И Абу-т-Тайиб втайне надеялся, что все-таки, все-таки...

Надежды оказались тщетными.

Суришар угомонился и склонил голову пред желанием повелителя.

Оставшись в Кабире в качестве временного наместника; и при разговоре с глазу на глаз вдруг припомнил занятную подробность. Оказывается, когда хирбеды возили юного шах-заде к пещере Испытания, Гургин проговорился относительно красавицы-хирбеди. Дескать, не один он, старец бородавчатый, уже бывал до того в безымянных горах — Нахид тоже бывала! Задумайтесь, мой государь: с чего бы это молоденьким жрицам кататься туда-сюда по святым местам, будто места эти не святые, а самые что ни на есть грешные, и жрицы не жрицы, а гулены непутевые? На хмурых великанов ездила смотреть? На гулей-людоедов с их боевым петухом?! На храм идола Сарта, попирая ногами веру истинную, владыкой на днях подаренную?!

Прими во внимание, отец названый!

Абу-т-Тайиб принял; и все равно отказался брать Суришара с собой.

Единственное, что шах-заде позволил себе, а поэт не препятствовал, — это проводить обожаемого владыку до границы с Малым Хакасом. Где развернул своих гургасаров обратно, а они поехали дальше: сам Абу-т-Тайиб, мрачный Гургин, рядом с которым веселый Утба смотрелся и вовсе пустосмехом, — а за ними ехал молчаливый Дэв, примостив поперек седла свое любимое копьецо, уже прозванное злопыхателями «Сестрой Тарана».

Многие добавляли: «Родной сестрой...»

Иногда Дэв пинал конские бока каблуками и вырывался вперед. Он долго втягивал ноздрями воздух, вертел огромной головой, и вид у него в такие минуты был — хоть сразу в сказку. Потом метания прекращались, исполин наконечником копья указывал путь; и все без лишних вопросов следовали туда, куда обращалось жало «Сестры Тарана». Впрочем, и помимо Дэвова нюха были свидетели пути Нахид-дэви в Мазандеран — только в их историях бывшая хирбеди звалась Красной Дэвицей, кровавой ведьмой.

Дихкане, чей хлев ночью оказался разрушен, а молочная буйволица утащена невесть куда.

Пастухи, чьих овец пожрало волосатое чудовище, предварительно задушив троих матерых катьярцев — собак, в одиночку бравших волка.

Охотники, сдуру возомнившие себя легендарными богатырями; двух таких богатырей родичи успели оплакать, припадая к останкам, а третьего Красна Дэвица уволокла с собой, и тело бедняги найдено не было.

Рыбаки из селений на берегу мутной Сузы, отделавшиеся легким испугом и пропажей корзин с частью дневного улова.

Красна Дэвица шла в Мазандеран, и по ее следам, повинуясь копью бывшего душегуба и воплям пострадавших, шел шах Кабира.

Абу-т-Тайиб и сам плохо понимал, зачем он это делает; вернее, не хотел признаться самому себе, что есть причина и кроме скрытой вины перед беднягой Нахид. Как-то Суришар обмолвился, будто за пределами Малого Хакаса живут тупые горцы, которых Огнь Небесный наградил слепотой.

В смысле, они не видят божественной благодати фарра.

Е рабб, не счастье ли, не великая ли милость: оказаться вместе с тремя «небоглазыми» в окружении тупых горцев, лишенных этакой благодати?

ГЛАВА 2,

где невозможное становится возможным, небывалое — бывалым, незримое — вполне зримым, и даже слишком, но абсолютно не приводится знаменитое изречение пророка (да благословит его Аллах и приветствует!): «Самый великий враг твой — душа твоя, которая меж твоих боков!»

1

— ...Нам точно сюда, Дэв? — в третий раз переспросил поэт.

Ну не нравилось ему это ущелье, не нравилось — хоть навали вместо скал сахарных леденцов-кандов, а все равно с души воротит! И ведь понимал же: скорее всего Дэв прав, им именно сюда — до сих пор Худайбег ни разу не ошибся в выборе пути; и другой дороги все равно нет, разве что назад; все он понимал, упрямый поэт, все принимал и хмурился грозовой тучей, потирая седловину носа заново выросшими пальцами.

Может быть, потому, что не было другой дороги, и не нравилось Абу-т-Тайибу это ущелье.

— Сюда, твое шахское, сюда. Чую я... — в третий раз повторил Дэв.

Утба криво усмехнулся, вызывающе подбоченясь в седле, — дескать, нам-хургам хоть в Верхнюю Степь, хоть в Нижнюю Крепь, все едино!.. а Гургин промолчал. Магу тоже не нравилось ущелье, до ломоты в костях, до душевной дрожи; но он, как и шах, понимал — другого пути все равно нет.

Поэт помедлил еще чуть-чуть.

Тропа раненым барсом уползала вниз, в вечную сырость сумрака. А над ней смыкались дверными створками, отсекая небо, серо-желтые зубцы скальной крепости, и широкие трещины скалились ухмылками черепов, щерили гнилые клыки: поезжайте, слякоть человеческая, поезжайте! А мы посмотрим сверху и посмеемся — как-то вы отсюда выберетесь?!

Абу-т-Тайиб мотнул головой, отгоняя стаю надоедливых слепней-мыслей, уже готовых оформиться погребальной элегией, и решительно направил свою кобылицу в ущелье.

Та шла неохотно, то и дело косясь на безрассудного седока, — но шла.

— Вперед, Наама! — строго крикнул поэт, и кобылица прибавила шагу; а в резвости она не уступала своей незабвенной тезке из тех песков, куда не было возврата.

Скалы лениво росли вверх, возносясь на головокружительную высоту, промозглая тьма сгущалась вокруг, так и норовя стать тьмой кромешной; уши закладывало, отчего поминутно приходилось сглатывать слюну, вязкую, как после доброй порции насвая, тертого табака с пережженной известью, золой и конопляным маслом. Гулко отдавались от щербатых стен удары копыт о тропу, наполняя теснину грохотом: словно не четверо, а добрая сотня всадников двигалась сейчас в расселине, поражаясь собственной дерзости и с опаской поглядывая на тяжкие громады над головой — а ну как оползень или лавина?!

Не уйти ведь, хоть наизнанку вывернись...

Кони боязливо фыркали, пугаясь рева дальних, невидимых отсюда водопадов, скользили копытами по гладкому, словно отполированному камню, приседали на задние ноги — в итоге всем четверым пришлось спешиться, ведя дальше животных в поводу.

Они миновали середину ущелья; верхушки скальных разломов начали потихоньку отползать прочь, в стороны, край солнечного диска приподнялся над южной оконечностью хребта, превратив теневые склоны в мириады взглядов «небоглазых» — такой голубизной вдруг вспыхнули они; тропа стала шире...

— Что языки проглотили?! — обернулся Абу-т-Тайиб к примолкшим спутникам. — Вон за тем поворотом можно будет вновь сесть в седла. Кажется, сподобил Аллах (славен Он!) выбраться из этой шайтановой задницы!

В ответ шайтан, как и подобает Противоречашему, отродью непослушания, издевательски пустил ветры.

И грохот камнепада ударил в уши, мигом прочистив их лучше любого сглатывания.

Угловатые глыбы гневом Господним обрушились сверху, с совершенно безобидного на первый взгляд карниза. В первое мгновение все растерялись, но промедление грозило гибелью, не забыв об этом уверить со всей определенностью. Огромный обломок упал и раскололся, забрызгав крошкой сапоги Абу-т-Тайиба: не обернись поэт, желая подбодрить своих спутников, сделай еще шаг вперед — и пришлось бы кабирским хирбедам срочно искать замену безвременно раздавленному шаху!

Сюда б небось и поехали: в безымянные горы, пещеру Испытания искать!

Истошно заржала кобылица Наама — чтобы тут же рухнуть на тропу с перебитым хребтом, разделив печальную судьбу арабской тезки. Видать, неудачное имя хуже злой судьбы, висит гирей, на дно тянет...

— Под скалу! Быстро! — с неожиданной властностью рявкнул Гургин.

Камни продолжали с грохотом валиться на тропу, погребая под собой уже двух мертвых лошадей (вьючная не вовремя шарахнулась в сторону, почти сразу сломав ногу, а там и шею). К счастью, вся четверка путников, сдержав насмерть испуганных животных, успела вжаться в шершавую нишу, переводя дух и пережидая смертоносный базальтовый ливень. Дэв, морщась, трогал окровавленное плечо — его таки успело зацепить краем. Кому другому после такой ласки пришлось бы хвастаться десятком переломов, а Худайбег только гонял желваки на скулах да хрипло цедил сквозь зубы кипяток разбойничьей ругани. Ну, рассадило сгоряча; ну, кровоточит; ну, больно — понятное дело, не халат с шахского плечика, а лохмотья с собственного...

Ерунда, в общем.

Грохот камнепада стих так же внезапно, как начался. И в оглушительной тишине, затопившей теснину ватным обвалом — даже кони бросили ржать, словно прислушиваясь, — стал отчетливо слышен шорох осыпи мелкого щебня.

Остатки убийственного ливня? — ничуть не бывало!

Кто-то поспешно спускался к ним по узкой расщелине, уходившей вверх совсем рядом.

2

— Это она, — с мертвым спокойствием, почти отрешенно, бросил Дэв.

— Она? Нахид? — не удержался Абу-т-Тайиб.

— Говорю — она, твое шахское, — юз-баши угрюмо кивнул, поудобнее перехватывая любимое «копьецо».

— Мастерица западни рыть... умница, — хмуро подытожил Гургин, бочком отодвигаясь подальше от расщелины.

И правильно сделал: нечего старику в драку лезть — толку как от свиньи святости, а пришибить могут запросто!

Волосатый комок ярости, рыча камышовым котом-подранком, шлепнулся сверху — и проворно отпрянул, когда в небесной сини взгляда Красной Дэвицы, в мечущей молнии вышине отразился блеск трех лезвий: «копьеца» Худайбега, секиры Утбы и шахского ятагана.

Существо, бывшее некогда юной Нахид-хирбеди, попятилось — и Абу-т-Тайиб отчетливо увидел, что превращения бывшей жрицы продолжились. Из-под грязных лохмотьев, оставшихся от одежды, клочьями торчала рыжая шерсть, руки и ноги бугрились просто ужасающими узлами мышц, которым, пожалуй, иной лев позавидует; да и в лице (если только это еще можно было назвать лицом) появилось нечто звериное, хищное: переносица просела еще больше, выворачивая ноздри наружу, верхняя губа вздернулась, обнажая желтоватые клыки...

Абу-т-Тайиб смотрел, не в силах оторвать взгляда. Так зачастую неожиданное, странное уродство завораживает нас больше самой совершенной красоты. Поэт не испытывал отвращения или страха — он с удивлением поймал себя на жалости, обжигающей жалости, каленом железе в сердцевине души. Где ты, дерзкая порывистая девчонка, которую я испытывал большим испытанием, под звон строк великого слепца Рудаки?! Навеки ли погребена под жуткими буграми мышц и рыжими космами Красной Дэвицы?! Неужели ничего нельзя сделать?! Неужели тебе не быть прежней — и правильней будет отпустить тебя с миром в проклятый Мазандеран, где прячутся хищные ответы на вопросы, так и норовя загрызть любопытного?!

Е рабб, что же делать?

Но оказалось, что пока Абу-т-Тайиб предавался бесплодным рассуждениям, верный Дэв уже начал действовать. Правда, действовать по-своему: осторожно, стараясь не спугнуть, он приближался к Нахид, бормоча что-то ласково-успокоительное, вроде:

— Не боись, махонькая! Не боись, говорю... Дэв не обидит, Дэв хороший!.. и ихнее шахское — хорошее, и даже Утба ничего, а что топор у Утбы, так мало ли, хорошее — оно завсегда хорошее, хошь с топором, хошь с кулаками... Ну иди, иди сюда!..

При этом Худайбег, как бы ненароком, перекрывал Красной Дэвице путь к отступлению.

Нахид-дэви слушала воркотню приближающегося исполина, склонив набок косматую голову и то и дело настороженно зыркая

в сторону остальных путников. Дэва она, похоже, совсем не боялась, несмотря на его «копьецо», которое Худайбег умудрялся держать так, что древко «Сестры Тарана» перегораживало чуть ли не пол-ущелья.

По лицу Дэва стекали крупные капли пота, багровые пятна проступили на щеках; это напоминало преддверие приступа, того, былого припадка, когда на спасенного душегуба впервые надели сотничий пояс и кулах. Только сейчас Абу-т-Тайиб осознал, насколько парню тяжело в эту минуту. Внутри него пробуждался от спячки молодой дэв-самец, увидевший рядом вожделенную самку, которой, возможно, уже однажды обладал. «Хорошо мне было, твое шахское, понимаешь?! — так хорошо, что сейчас едва вспомню, и в пот бросает, только от того еще больнее жить, славное ты мне наказание, шахское твое, выдумал — жить и помнить, помнить и жить...» Самке грозила опасность — ее надо было спасать от людей, уводить подальше... Но Дэв-человек, Худайбег аль-Ширвани, «пятнадцатилетний курбаши» и преданный пес шаха Кей-Бахрама, из последних сил сдерживал просыпающегося в нем самца, вцепившись в зверя невидимыми руками, выполняя свой долг, пытаясь задержать беглянку. Сейчас к Нахид приближались они оба — дэв и человек, хищность и преданность, похоть и долг, намертво слитые в одном теле, отталкивая друг друга в сторону — и все больше становясь друг другом, все больше, все...

— Худайбег, опомнись! — Вопль вырвался из груди Абу-т-Тайиба сам собой, непроизвольно; а в следующее мгновение стало ясно, что поэт зря это сделал!

Нахид-дэви затравленно дернулась при звуке его голоса, вжалась бугристой спиной в скалу — и скала неожиданно поддалась, потекла каменной лавой, киселем, жидким маревом, серой пеленой тумана...

Нахид с чавкающим всхлипом ушла в скалу, в глубь камня, и Худайбег, забыв обо всем, кинулся за Красной Дэвицей. Зыбкое озеро, возникшее на месте шершавого базальта, легко пропустило Дэва, смыкаясь за ним Иблисовым издевательством, — а кинувшийся следом Утба налетел на несокрушимую крепость, упал и зашипел гадюкой по-харзийски, сидя на тропе и машинально растирая ушибленное колено.

Абу-т-Тайиб осторожно приблизился.

Нет, скала не застыла окончательно. Сейчас ее поверхность походила на мутное зеркало, по которому время от времени пробегала легкая рябь, как по озерной глади от дуновения ветра.

Худайбег и Нахид-дэви были там, внутри.

Внутри?

Абу-т-Тайиб вгляделся внимательнее и охнул от изумления. Там, дальше, по ту сторону зыбкой препоны, простирался целый мир, и мир этот был до боли знакомым: бескрайнее море песка, вздымаемого застывшими волнами барханов, чахлые кустики верблюжьей колючки, выцветшая окалина небосвода со слепящим бельмом солнца в зените...

А потом поэт увидел дэвов. Теперь он хорошо представлял себе, какими должны будут стать Худайбег и Нахид, когда их превращение завершится.

Эти трое казались великанами даже по сравнению с юз-баши и хирбеди-расстригой! Если Нахид и особенно Худайбег еще были вполне похожи на детей Адама, то эти скорее походили на потомков племен Ад и Самуд, истребленных Аллахом за непомерную гордыню. Утесы сдвинулись со своих исконных мест, самум во плоти решил прогуляться в компании себе подобных, встали на дыбы слоны в течке (разве что без хоботов, и уши поменьше; а так — слон себе и слон, хоть нынче на погрузку!)...

Или это кисель сошедшей с ума скалы искажает очертания?!

Или это я рассудком тронулся?!

Три дэва встретили Нахид буквально с распростертыми объятиями — и Красна Дэвица поспешила укрыться за их могучими фигурами; так ребенок, убегая от старших мальчишек, прячется за спины родителей. Утесы в серых колтунах неторопливо пришли в движение, оборачиваясь навстречу бегущему к ним Худайбегу; один из дэвов раскорячился, нагнулся, поднял валун размером с добрую конскую тушу — и в этот момент за гигантами взметнулась пыль, блеснули малые зарницы...

Абу-т-Тайиб не видел и не слышал ничего вокруг себя, прикипев взглядом к прозрачной стене, за которой события вдруг понеслись вскачь. Он знал, чувствовал, что бессилен прорваться туда, домой, в выжженную зноем пустыню, в Степь Копьеносцев, бессилен что-либо изменить — он просто стоял и смотрел. Не ведая, что совсем рядом Гургин торопливо бормочет какие-то молитвы-заклинания; что Утба, на удивле́ние серьезный, забыв об ушибленной ноге, помогает хирбеду разжечь ритуальную жаровенку, неизвестно откуда извлеченную старцем. Гургин и Утба торопились — явно не успевая... чего не успевая?

Куда не успевая?!

Поэт не знал этого. Он стоял и смотрел как завороженный.

Откуда-то из-за спин дэвов вывернулся всадник — уккаль плещет на ветру, тонконогий пегий скакун брызжет пеной, узкий шамшер в руке грозит смертью всему живому, будь ты враг, будь

ты джинн, будь ты ангел Божий! Всадник радостно оскалился (Абу-т-Тайибу даже не пришло в голову удивиться: как такие подробности удается рассмотреть на немалом, надо сказать, расстоянии); и клинок шамшера указал на шарахнувшуюся прочь Красну Дэвицу. Каменные дэвы задвигались... тот, что с валуном, выпрямился... сабля повисла в воздухе над головой Нахид...

Звуков поэт не слышал: они глохли, не проникая сквозь призрачную вуаль. Но от яростного рева Худайбега, казалось, дрогнула сама земля — и в том, и в этом мире! Всадник замешкался всего на мгновение, но этого неуловимого мига Дэву хватило, чтобы одним огромным прыжком оказаться рядом и, еще в полете, не успев коснуться песка, насквозь пронзить бедуина своим чудовищным «копьецом»! Сабля выпала из руки кочевника, а Дэв, взмахнув копьем с насаженным на него человеком, отшвырнул труп далеко в пустыню.

Страшная картина замерла, превратясь в творение безумного скульптора-гяура, — а потом от ближайших барханов к дэвам ринулись всадники.

Тут уж двуногие слоны не оплошали. Пригодился и чудовалун, подобранный одним из них; у другого обнаружилась суковатая дубина совершенно неимоверных размеров — куда поболе Худайбеговой «Сестры Тарана»! Третий же, похоже, всецело полагался на собственные кулаки — и не без оснований! Нашлось дело и для расстриги-хирбеди; но, вопреки здравому смыслу, основной боевой силой в этой пятерке оказался Худайбег аль-Ширвани, весьма похоже изображая ветряк, уже знакомый Абу-т-Тайибу по битве под Арваном. Только ветряк этот сам гнал во все стороны кровавый хамсин, ветер гибели, чьи порывы жарко секут песчаной пылью живую плоть, и унесенные ветром тела бедуинов рушились в песок, щедро орошая его багряным соком, а души возносились...

В общем, уже не важно — куда; тем более об участи душ один Аллах (слава Ему!) ведает!

И лишь один бедуин замер поодаль, не участвуя в битве. Сидя на вороном коне и уперев в землю древко длинного копья, человек сей, лет уже немалых и ликом черный (хотя и посветлее коня), застыл эбеновым изваянием, устремив невидящий взгляд в одному ему ведомую даль — и до поэта не сразу дошло, что человек смотрит *на него, Абу-т-Тайиба Аль-Мутанабби!*

Бедуин видел! Видел сквозь немыслимую толщу фарсангов и событий его, Абу-т-Тайиба, — и, намертво застряв меж «возможно» и «невозможно», поэт увидел себя глазами незнакомца.

Колдовское марево делало очертания искаженными, расплывчатыми — и мнилась бедуину внутри туманного кокона громада кряжистой фигуры, окруженная сияющим ореолом! Воис-

тину порождение огня, царь джиннов и владыка дэвов явился сюда, дабы наслать на вольные племена своих жутких слуг с руками-граблями, слоновьими ногами и глотками, реву которых завидуют львы в пустыне!

Таким видел его замерший в седле бедуин, и зрелище это сковало темнокожего всадника по рукам и ногам; братом-двойником застыл и сам Абу-т-Тайиб, наблюдая за битвой по ту сторону магической преграды. А бой продолжался, вскипал кровавой пеной, и нападавших становилось все меньше и меньше: копья с легкими саблями попросту ломались о гранитную плоть великанов-дэвов, в то время как любой достигший цели удар чудовищ оказывался роковым.

Бедуины сражались с дэвами. Люди, возможно, даже земляки или соплеменники Абу-т-Тайиба — с косматыми чудовищами. Но странное дело — сейчас поэт всем сердцем желал победы именно чудовищам; потому что на стороне чудовищ сражался верный Худайбег, и там же была Нахид, которой поэт все еще надеялся каким-нибудь чудом вернуть человеческий облик; да и остальные три дэва пальцем не трогали кочевников, пока те сами не решили посягнуть на чужую жизнь!

Сомнительно, чтобы влияние пресловутого фарра простиралось и по ту сторону шайтановой скалы; дважды сомнительно, что небеса вняли пожеланиям шаха Кей-Бахрама, — но факт налицо: все пятеро дэвов были до сих пор живы. Ни один из них не был даже серьезно ранен, в то время как ряды атакующих стремительно таяли.

Неожиданно темнокожий всадник очнулся, вскинул свое копье и с места рванул в галоп. Он явно решился наконец принять участие в сражении, все больше походившем на бойню. Глаза воителя зажглись бешеным огнем, эфиопские губы расползлись, выплевывая слово за словом, — и вдруг Абу-т-Тайиб услышал.

Услышал!

О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета,
Как небесная планета, вечной славе обречен!

По отцу я — лев пустыни, племенных шатров святыня,
А на кличку «Сын рабыни» отвечать привык мечом!

Вместе с чеканными, яростными бейтами на Абу-т-Тайиба обрушился шум боя: конское ржание, топот копыт, звон стали, рев дэвов, крики раненых... Но поэт не вслушивался, не вглядывался — он перебирал чужие слова, как нищий перебирает горсть медяков, не в силах поверить случайному богатству. Где-то он уже слышал подобные строки, двустишия со слегка старомодной

рифмовкой, откуда-то они были известны человеку по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби!..

А потом время стихов закончилось, и наступило время крови, и тишина вновь отсекла битву от поэта невидимой стеной.

Черный всадник налетел на Дэва, ударив его на всем скаку копьем в грудь. Абу-т-Тайиб закричал — и поперхнулся собственным криком: копье сломалось гнилой тростинкой. Дэв в ответ отмахнулся своей оглоблей, но всадник оказался умелым поединщиком: он успел уклониться, одновременно заставив кривую альфангу покинуть ножны. Казалось, все кончено: сейчас голова Худайбега кубарем покатится в песок, на радость бедуинам; однако в последний момент толстенное древко Дэвова «копьеца» непостижимым образом оказалось на пути альфанги — и синяя сталь разлетелась в куски.

Бедуин резко подал коня назад, развернулся и поскакал прочь — а за ним последовали остальные уцелевшие кочевники. Их оказалось совсем немного.

Вскоре всадники скрылись за барханами, и Абу-т-Тайиб наконец перевел дух. В голове прочно засели те два бейта, которые выкрикнул бедуин с явной примесью эфиопской крови. Поэт был уверен, что уже слышал их раньше, и теперь надо вспомнить, обязательно вспомнить... Почему-то это казалось ему очень важным. Но память-насмешница изворачивалась скользким угрем, выскальзывала из хватки рыбака-разума — а дэвы тем временем, проводив всадников тяжелыми взглядами и коротко посовещавшись между собой (использовались в основном жесты, но Абу-т-Тайиб все равно так ничего и не понял), дружно побежали вразвалочку к призрачной завесе.

Вместе с Худайбегом и Красной Дэвицей.

Абу-т-Тайиб невольно посторонился, спеша убраться с пути великанов, — но первый из каменных дэвов вдруг свернул в сторону, воздух вокруг него задрожал, потек молочной сывороткой — и дэв исчез как не бывало! Следом за ним исчез второй, третий, Нахид-дэви...

Последним, виновато оглянувшись, скрылся Худайбег.

Почти сразу колдовской кисель, сквозь который смотрел поэт, начал быстро уплотняться, твердеть; и вот перед шахом со спутниками — обычная скала, какой она была от сотворения мира и до того момента, когда началось все это Иблисово наваждение!

Вот только ни Нахид, ни Дэва в ущелье уже не было.

— Опоздал, гори оно Огнем Небесным! — сокрушенно выдохнул Гургин и плюнул с досады, чего раньше за почтенным старцем никогда не водилось.

* * *

...Звезды ободряюще подмигивали сквозь прорехи ночного покрывала, таинственно мерцали красные глаза углей под толщей седого пепла, вторя звездам из недр угасающего костра, — а Абу-т-Тайиб все сидел и сидел, вперив невидящий взгляд в темноту.

Но видел он не костер, не небо и не смутные тени возвышавшихся кругом скал. Перед взором поэта вновь и вновь распахивалась желтая, покрытая рябью барханов пустыня, выжженное безжалостным солнцем блеклое небо, глупый, бессмысленный бой — и припавший к шее коня чернокожий бедуин-полукровка, с губ которого срываются строки, стрелы, бейты восхваления:

> ...По отцу я — лев пустыни, племенных шатров святыня,
> А на кличку «Сын рабыни» отвечать привык мечом!

Е рабб, как же я мог забыть?!

Антара Абу-ль-Фаварис, гордость славных времен джахилийи, Отец Воителей, от одного имени которого содрогались стены Рума! Антара ибн Шаддад, сын шейха абситов от рабыни-эфиопки, раб по происхождению, воинской доблестью заставивший гордого отца включить чернокожего ублюдка в племенную родословную! Антара-Губошлеп, великий боец, взбалмошный герой, живая легенда Бену Абс — и прославленный в веках поэт, чья муаллака была подвешена на священной Каабе, певец, которому сам Абу-т-Тайиб временами завидовал черной завистью; черной, как кожа бросившегося в атаку бедуина; черной, как кожа легендарного Антары, которому принадлежали эти стихи!

Тот, с кем мечталось ехать бок о бок в походе и набеге, с кем имело смысл состязаться в красноречии и остроте копья... сбылись мечты глупца!

Но как же страшно и как же странно сбылись они, о Аллах, всемилостивейший и милосердный! — не лучше ли было мечтам оставаться мечтами, жизни — жизнью, а смерти — смертью, и только смертью?!

Конечно, отчаянный бедуин вполне мог попросту цитировать бейты своего любимца и кумира... Мог. Только вряд ли. Абу-т-Тайиб хорошо знал по себе: если в бою и находит на человека красноречие — то это его, только его слова и рифмы, они сами вырываются из неведомых глубин души вместе с молниеносными ударами, несущими смерть.

Тут уж не до цитат, даже если цитата — к месту...

Опять же, Антара Абу-ль-Фаварис, судя по сохранившимся описаниям, был чернокож, сухощав, пылок нравом до самой старости и всегда возглавлял отряды бедуинов в многочисленных

набегах и стычках. Да и черный орел на копейном значке... символ Бену Абс. Абу-т-Тайиб напряг память и тихо, нараспев, продекламировал строки из книги «Сират Антара», которую уже не первый год писал его старый знакомец аль-Асмаи, собирая по крохам легенды, предания, стихи...

Многие куфийцы и дар-ас-саламцы утверждали единодушно: сказителя аль-Асмаи прекрасно помнили их деды и прадеды, этого плешивого хитреца трижды хоронили при великом стечении народа (первый раз — за шестьдесят семь лет до рождения самого Абу-т-Тайиба), анекдоты про плута аль-Асмаи давным-давно сделались достоянием крылатой молвы — а он все нарушал запрет пророка (да благословит его Аллах и приветствует!) на вино и составлял свою «Сират Антару»!

Утверждая, что герой его повествования, Антара Абу-ль-Фаварис, прожил шесть сотен лет, а ему, певцу, негоже отставать — и, значит, книгу аль-Асмаи закончит (когда бы вы думали?) к пятисотлетию бегства Мухаммада, юбилею правоверных!

Помнишь ли, старый приятель, свои удивительные заверения; помнишь ли и эти строки?

«...и вдруг, когда они приблизились к долине Сарих, перед ними появились пятеро великанов такого огромного роста, как будто они были из проклятого народа Ад и Самуд. Большеголовые, пучеглазые, рты у них были огромные, ноги — как корабельные мачты, а руки походили на вилы. И рычали те великаны подобно грому, а видом напоминали разъяренных львов...

...но не успел Гадбан, сын Антары, закончить свою речь, как налетел на него один из страшных великанов и ударил его копьем в грудь, и оно вышло, сверкая, из его спины. А потом он поднял Гадбана на копье и бросил вниз, и Гадбан остался недвижимым на лике земли...

...очнувшись наконец, Антара налетел на первого из пятерых великанов и ударил его копьем в грудь, но копье сломалось. Тогда Антара выхватил меч из ножен и ударил им великана — но меч отскочил и согнулся. Тогда Антара в страхе повернул коня...»

Все сходилось почти в точности, а что не сходилось — так за столько лет сказители и переврать могли!

Ведь, если верить легендам, неистовый Антара слагал бейты и ходил в набеги еще задолго до рождения пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!) — более пяти веков тому назад!

О, меня счастливей нету! Я, как звонкая монета...

ГЛАВА 3,

в которой один шах встречается с другим шахом, спасая последнего от злобного барана, дэвы используются в качестве вьючных лошадей, а вокруг тем временем происходит немало странных вещей, но при этом остается совершенно непонятным, где все-таки находится этот пресловутый Мазандеран, куда в итоге попадают путники!

1

...и тогда Имр-уль-Кайс спросил Антару:

— О Отец Воителей, скажи мне, сколько ты знаешь названий и прозвищ меча?

И Антара ответил:

— Слушай и запоминай, что я скажу: он называется Меч, Беда, Суровый, Повелитель, Прямой, Гибель, Смерть, Блеск росы, Быстрый, Великий, Острый, Полированный, Блестящий, Благородный, Посланец смерти, Вестник гибели, Ветвь, Покорный, Лезвие, Прекрасный, Бодрствующий, Горделивый, Решающий, Нападающий, Послушный, Ровный, Режущий, Кончина, Судьба, Честный, Верный, Начало, Конец, Разящий, Гнев, Плачущий кровью, Рассеивающий горе, Мужественный, Закаленный, Отсекающий, Синий, Цветущий, Возвеличивающий, Стирающий, Разделяющий, Чудо, Истина, Путь, Разящий героев, Друг, Заостренный, Отточенный, Кровавый, Защитник, Светлый, Услада очей, Уплата долга, Проливающий кровь, Губительный, Товарищ в беде, Владыка змей, Жаждущий — вот немногие имена и прозвания меча, о Имр-уль-Кайс!

И тогда Имр-уль-Кайс, прозванный Скитающимся Царем, спросил Антару:

— О Отец Воителей, а какую именно муаллаку, сложенную тобой, ты хочешь подвесить в святом месте?!

И Антара ответил:

— Слушай и запоминай слова мои!

После чего возопил гласом громким, душу потрясающим и нанизывающим сердце на острый вертел:

Подобен сверканью моей души блеск моего клинка:
Разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака.

Как струи воды в полыханье огня, отливы его ярки,
И как талисманов старинных резьба, прожилки его тонки.

А если захочешь ты распознать его настоящий цвет,
Волна переливов обманет глаза, будто смеясь в ответ.

Он — тонок и длинен, изящен и строг; он —
гордость моих очей,
Он светится радугой, он блестит, струящийся, как ручей...

Но тут Отца Воителей прервали самым бесстыдным образом.

— Эй, уважаемый! — вдвое громче певца заорал Абу-т-Тайиб, потрясенный таким вопиющим безобразием, от которого волосы на теле вставали дыбом. — Да-да, ты, эфиопская твоя мать! Что это ты распеваешь, я тебя спрашиваю?! Это же не твоя муаллака, это моя касыда! Наловчились, понимаешь, чужим языком похлебку плямкать; мало того — еще и померли во тьме язычества, так и не узнав истинной веры, а туда же...

— А ты, собственно, кто такой будешь? — без особого интереса осведомились Отец Воителей и Скитающийся Царь.

— Я?! Я кто такой?! Это вы кто такие, похитители чужих бейтов?!

— Ты его знаешь? — обратился Имр-уль-Кайс к Антаре Абуль-Фаварису, как если бы они были наедине.

Чернокожий отрицательно покачал головой: впервые, мол, вижу наглеца!

И тут Абу-т-Тайиб не выдержал...

* * *

— ...Просыпайся, владыка, у нас гости!

Знакомый голос весело звенит над ухом, хургский акцент отзывается секирной сталью — и поэт не сразу понимает: где он и что с ним? Ведь минутой раньше они со славным Антарой Абуль-Фаварисом и Скитающимся Царем, помирившись и исполнившись вдохновения, вели изысканный поэтический диспут, приговорив на троих кувшин запретного вина, затем баловались иджазой — поэтическим состязанием, где следует по очереди импровизировать строку за строкой на заданную тему; а после весело рубили каких-то наглецов, осмелившихся помешать беседе трех поэтов и требовавших от златоустов облобызать копыта вонючего барана...

Сон?!

Увы, всего лишь сон, воплощение самой заветной из грез; видимо, поэтому, открыв глаза, Абу-т-Тайиб еще долго путался в домыслах: проснулся он уже, или виденье продолжается, лишь непредсказуемо изменив свои очертания?

Вокруг стенами злополучного ущелья нависали серые, пегие, рыжие утесы, сплошь поросшие мхом, шерстяным лишайником, космами и колтунами; проморгавшись, удалось обнаружить на вершинах утесов жутковатого вида скалы-головы, не то чтобы совсем нечеловеческие, но...

«Дэвы!» — дошло наконец до поэта.

И вот как раз в проклятый Аллахом момент просветления когда оная мысль озарила разум Абу-т-Тайиба, окончательно изгоняя остатки сна, кто-то растолкал в стороны утесы дэвьих тел — и перед поэтом возник сияющий Худайбег аль-Ширвани собственной персоной.

Поэту показалось, что могучий юз-баши за время отсутствия заматерел окончательно, надбровные дуги еще больше выперли вперед, лоб навис над переносицей сторожевой башней — хотя времени-то прошло всего ничего! Но перед ним, вне всякого сомнения, был Дэв, причем довольный, как блудливый кобель после случки!

— С добрым утречком, твое шахское! Ты эта... извиняй, что я пропал пропадом! — Дэв виновато потупился и обеими лапами стал рьяно чесать шерсть на груди. — Зато теперь нам до этой твоей... Маздай-Дыра, да? Или как ее? (Дэв за все время пути так ни разу и не смог произнести правильно слово «Мазандеран».) В общем, тут рядышком! Парни отведут!

И Худайбег гордо кивнул на столпившихся вокруг дэвов.

А парни закивали кошмарными головами: все, мол, верно, отведем!

— Это ты уродов привел? — осведомился поэт, тщетно пытаясь собрать разбегающуюся отару мыслей. — Зачем?

— Ну... привел дихканин чауша, а тот его когтем за задницу... они и сами шли! Говорят, мол, к шаху хотим! — нашелся наконец Худайбег. — Любим, мол, ихнее шахское, но странною любовью! Шах — хорошо!

— Ясное дело, хорошо! — буркнул Абу-т-Тайиб, поднимаясь на ноги и с недоверием оглядывая толпу великанов. — Особенно когда жареный шах, на вертеле. Или тушеный, в подливе из фиников с черемшой.

В мозгу так и вертелось пьяным бредом: валуны размером с коня, бойня, гибель бедуинов...

— Зачем обижаешь, твое шахское?! — возмутился юз-баши, от огорчения вырывая пряди волос и осыпая ими повинную голову. — Зачем такое говоришь, а?! Парни тебя любят! Все! Живьем любят! Как я!

Дэвы, которые явно прислушивались к разговору, опять согласно закивали: все, мол, верно, любим, как он! — и один из гигантов даже робко дотронулся до шаха пальцем, словно проверяя: настоящий ли? не поддельный?! Но тут же, вместо того чтоб и на зуб попробовать, боязливо отдернул руку-бревно — словно боясь ожога.

Проклятье! — неужели фарр и у дэвов душу выворачивает?!

Стоило тогда бежать за семь фарсангов машушу хлебать...

Замерев рядом в почетном карауле, Утба настороженно рыс-

кал взглядом по сторонам, не выпуская из рук свою любимую секиру. Зато Гургин был совершенно спокоен, всем своим видом показывая: «Все самое плохое, что могло случиться, уже случилось, мой повелитель! Так о чем теперь беспокоиться?!»

— А-а-а-а!!! Мой, мой фарр! Отдай, плут!

Сперва прозвучал вопль: ни дать ни взять коту хвост подошвой сапога оттоптали.

Затем откуда-то из-под ног дэвов ужом вынырнул носатый карлик, облаченный в засаленную, но, несомненно, дорогую, кабу — синюю с золотым шитьем; кроме кабы, на карлике были драные шаровары, цветастый тюрбан и остроносые кауши, в которых не по горам — по собственной спальне перед женами расхаживать!

При ближайшем рассмотрении карлик оказался отнюдь не карликом, а вполне обычным (касательно размеров) мужчиной; это если сравнивать не с тупыми исполинами, а с Абу-т-Тайибом, которого сей горлопан был ниже всего на полголовы!

Что же касается поведения, то тут обычным дэвьего шута назвать было никак нельзя.

Язык не поворачивался.

— Фарр! Мой фарр! Вор! Держи вора! — Лунным Зайцем запрыгал «карлик» вокруг поэта, не подходя, однако, слишком близко.

— Юродивый, что ли? — покосился на него Абу-т-Тайиб.

И решил пока не отвечать на странные выходки повредившегося умом незнакомца.

— Кто этот Аллахом обиженный? — вполголоса поинтересовался он у Худайбега.

Юз-баши лишь пожал плечищами: мол, живет здесь, в этой самой Манзан-Дурак, а кто такой — откуда мне знать?

Впрочем, ответ прозвучал.

Ответ внятный, доступный всякому, знакомому с человеческой речью; если только не принимать в расчет, что голос хирбеда Гургина звенел от напряжения и был готов в любой момент лопнуть.

— Это Кей-Кобад, мой повелитель, — сказал маг. — Это бывший шах Кабира.

2

Поначалу Абу-т-Тайибу показалось, что он ослышался.

Или Гургин свихнулся, устав от злоключений и потрясений.

Или...

— Я — Кей-Кобад! — гордо подтвердил носатый «карлик», выпятив грудь и снизу вверх, но в некотором смысле свысока оглядывая своих чудовищных приятелей. — Я не бывший! Я — шах!

Вот мой фарр! — И он указал на Абу-т-Тайиба обличающим жестом; так купец указывает городскому судье на воришку, который стянул с прилавка отрез шелка на глазах у дюжины свидетелей. — Вор! Ты его украл! Верни немедленно! Мы повелеваем!

И тут поэт захохотал. Захохотал так, что веселому Утбе впору было позавидовать; он смеялся, утирая выступившие на глазах слезы, сотрясаясь всем телом, сгибаясь пополам и сладко похрюкивая, подобно нечистому животному свинье.

— Да забирай, забирай его к шайтановой матери! — с трудом пробилось сквозь смех. — Забирай! Если знаешь как, — поэт мгновенно стал серьезным, — бери! Я отдам, мне не жалко! Бери! Ну?!

— Кей-Кобад знает! Знает! Он возьмет! — В руке отставного шаха серебряной рыбкой объявился острый кинжал. — Возьмет!

Юродивый шагнул ближе, Утба угрожающе поднял секиру, готовясь рубить без пощады, — и вдруг тот, кто называл себя Кей-Кобадом, разом переменился в лице. На нем отразился детский, насмерть обиженный страх; человек попятился, заслоняясь рукой, будто от нестерпимого сияния тысячи солнц, и едва не выколол себе кинжалом глаз.

Но смотрел он при этом не на поэта и не на Утбу, а на что-то, находившееся позади них.

— Не надо! Не надо-о-о!!! Уберите... уберите его от меня! Не хочу!

Старый трюк.

У «детей Сасана» на такое не ловились даже сопливые плутишки.

И тем не менее, даже не потому, что рядом стоял верный хург, а сам плохо соображая — зачем он это делает, Абу-т-Тайиб обернулся.

Глянув туда, куда указывал «карлик».

И увидел одного хорошо знакомого поэту барана. С блестящим руном — и однозначно вызолоченными (или действительно золотыми?) рогами. Баран в грозном нетерпении бил раздвоенным копытом о камень, воинственно пригибал лобастую голову — и всячески демонстрировал намерение броситься на юродивого.

— А ну, прекрати мне это! — рявкнул поэт на наглого барана, понимая, что выглядит сейчас ничуть не лучше юродивого с кинжалом.

Баран скосился на Абу-т-Тайиба налитым кровью глазом, упрямо мотнул башкой и проблеял кучу бараньих возражений, явно не соглашаясь с шахским мнением.

— А вот я тебя сейчас на сикбадж пущу!.. — озлился поэт и потянул из ножен ятаган. — Эй, Утба, у нас там уксуса нет? — а то я баранинкой разжился!

Подобный оборот дела пришелся барану не по вкусу, и он,

обиженно тряся курдюком, поспешил скрыться в ближайшей расщелине. Только тогда поэт обернулся к предполагаемому Кей-Кобаду — но «карлик» тоже успел за это время ретироваться и прятался, по-видимому, за надежной крепостью дэвьих спин.

— Ну что, твое шахское, собираемся? — как ни в чем не бывало поинтересовался Худайбег.

Поэт взглянул на мага, уже справившегося с первым потрясением; но Гургин только вскинул острый подбородок. Мол, не хирбедово дело: шахам указывать, куда им ходить, а куда — нет.

— Нахид там? У твоих парней?!

— У них, родимых, твое шахское! — Худайбег радостно заулыбался, совсем войдя в роль «пятнадцатилетнего курбаши». Талант у парня, дар Божий — сперва душегубами заведовал, теперь чудищами горными... кто на очереди?

— Этот человек — действительно Кей-Кобад, мой... э-э-э... мой предшественник? — Абу-т-Тайиб подошел к Гургину вплотную.

— Правота моего шаха неоспорима! Да, это он, о владыка, это он...

— ...который безвременно скончался почти год назад в возрасте ста семидесяти девяти лет? — с явной издевкой закончил Абу-т-Тайиб.

— Воистину скончался. Хотя сам я лично не присутствовал при его смерти, — чуть замявшись, ответствовал старец. — Но свидетелей и очевидцев было больше чем достаточно, и у гробницы Кей-Кобада по сей день служатся поминальные молебны!

— Значит, лично не присутствовал? Ладно, старый хитрец, об этом у нас с тобой разговор еще будет — и очень скоро. А пока... Худайбег!

Звать юз-баши Дэвом при его «парнях» было как-то... неприлично, что ли?

— Здесь я, твое шахское! — преданно рявкнул Худайбег, отчего у Абу-т-Тайиба мигом заложило уши.

Будто опять по ущелью шел.

— Мы отправляемся в Мазандеран. Говоришь, тут недалеко?

— Рукой подать, твое шахское! Меньше чем за полдня дойдем.

— Вот и славно. Тогда распорядись, чтоб они, — поэт хозяйски указал на дэвов, и те слаженно закивали, задвигали жуткими головами, — взяли часть нашей поклажи. А то лошадей у нас теперь на две меньше...

— Есть, твое шахское! — И Дэв принялся рьяно отдавать распоряжения. А обросшие шерстью утесы его не только понимали, но даже слушались!

Е рабб, путь в Мазандеран оказался изрядно веселее, чем предполагалось вначале...

...Из-за скал доносилось блеянье — там возмущался жизнью Златой Овен.

Но на глаза не показывался.

Что с него возьмешь — скотина!

3

Где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
где задумчиво и странно — там пути к Мазандерану,

где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
где кричат седые враны — там пути к Мазандерану.

Где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
плачут джинны непрестанно — там пути к Мазандерану,

где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
где погибель пахлавану — там пути к Мазандерану.

Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
где сшибаются ветра на перекрестке возле храма,

где большим, как слон, варанам в воздухе
пустыни пряном
мнится пиршество заране; где в седло наездник прянет,

и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

* * *

Как вскоре выяснилось, косматым носильщикам придется тащить *всю* поклажу путников — лошадям, уцелевшим после нападения Красной Дэвицы, дэвы уже успели благополучно свернуть шеи, посчитав животных своей законной добычей. Абу-т-Тайиб долго цокал языком, глядя на болтающиеся тряпками конские головы: этакой силище да иное бы применение!

— Зачем они это сделали, Худайбег? — тихо спросил поэт. — Лошадей не любят?

— Добытчики! — Худайбег многозначительно возвел очи горе, словно это должно было все объяснить.

И поэт не стал спорить: добытчики так добытчики.

Однако сделанного не воротишь, а коней не оживишь — так что по-любому пора было двигаться в путь. Поклажу и конские туши дэвы распределили между собой, после чего Худайбег всем и каждому строго наказал: в сторону не отходить и ничего дорогой не терять.

А то ихнее шахское шибко осерчает.

Дэвы слушали, кивали — и все норовили протолкаться поближе к поэту: прикоснуться легонечко, поглазеть, просто стать

рядом столбом и замереть блаженно. Причин к беспокойству не имелось: интерес дэвов был явно не кулинарный, а, наоборот, самый что ни на есть почтительный и благожелательный.

«В меду я извалялся, что ли, что они ко мне, как мухи, липнут? — дивился Абу-т-Тайиб, шагая в середине растянувшейся по горной тропе вереницы дэвов (а было их тут десятка полтора) рядом с Утбой и Гургином. — Е рабб, если и извалялся, то уж никак не в меду... мухи тоже не на один мед слетаются!»

Предполагаемый Кей-Кобад больше на глаза не показывался; прятался где-то среди дэвов, которые, судя по всему, считали юрода за своего.

Когда мир вокруг *мигнул*, Абу-т-Тайиб невольно вздрогнул. Вспомнилась нервная дрожь бытия на перевале близ пещеры Испытания — повторение? совпадение? видение? Может быть, сейчас они снова попадут в окрестности Медного города?

...где вода, как кровь из раны, там пути к Мазандерану;
где задумчиво и странно — там пути к Мазандерану...

Они шли по селению. Брошенному? Временно оставленному? Какому?! Аккуратно сложенные один на другой большие плоские камни, поддерживаемые большими плоскими досками. И те и другие — серые. Здесь так живут. Невысокие загоны из жердей для злобных мохнатых коз, привезенных невесть откуда, — загоны на крохотных, отвоеванных у скал участках. Загоны, похожие на дома, и дома, похожие на пещеры; несмотря на поросшие мхом крыши, несмотря на собранные из каких-то фантастических обломков дерева двери, и большая часть дверей не заперта и скрипит, покачиваясь на ветру.

Камень, скука и запустение. Царство камня. В городе тоже камень, но — обтесанный, отшлифованный, приглаженный, с узорами и орнаментами. Здесь же камень дикий, непричесанный, подобный окружающим скалам, и поэтому дома выглядят порождением гор, своим, родным; неказистые с виду, они прочны и способны противостоять не только зимним ветрам, но и нередким землетрясениям. Дома вросли в скалы, и горы приняли их вместе с людьми, живущими под приземистыми заросшими крышами...

А где люди?

Почувствовав замешательство шаха, головной дэв обернулся и, с явственным скрипом двигая огромными челюстями, проскрежетал:

— Муаз-Тай-Ра!

И обвел лапой окружающие горы: будто странное слово, сделанное из жести и кашля, родной брат дурацкого словечка «Мазандеран», все объясняло.

Абу-т-Тайиб кивнул в ответ и стал глазеть по сторонам.

Дескать, нас на мякине не проведешь!

Горы вокруг были вроде прежние — и в то же время другие. Осыпающиеся под действием воды, ветра и времени, источенные и выеденные неведомыми камнеточцами, эти хребты дышали терпким ароматом древности, а дальние вершины, увенчанные снеговыми тюрбанами, терялись в туманной дымке.

— Сафед-Кух, Белые горы, — пробормотал поэт себе под нос, припомнив очень похожие вершины, виденные им в Хуросоне.

Они шли дальше.

...где забыт аят Корана, где глумится вой бурана,
где кричат седые враны — там пути к Мазандерану...

Тропа неспешно извивалась меж выветренных скал, и иногда в просветах открывались близкие пески — прибежище наглой смерти и робкой жизни. Ветер уныло лизал барханы, оплавляя их желтыми сыпучими струйками, ветер грустно посвистывал в сухих ветвях колючника, как делал это уже многие тысячи лет — пустыня, что с нее возьмешь? Все та же монотонная песня, те же пологие барханы — нет, не те, конечно, но такие же... И неровная цепочка волчьих следов, быстро заносимая песком. Сколько их, эфемерных следов жизни, засыпал ветер на своем однообразно-бесконечном веку? Считай не считай — собьешься... Да и не только следы, а зачастую и иссушенное солнцем тело со стекленеющими глазами, в завершение цепочки зыбких ямок — ветер давно привык к этому и равнодушно скользил мимо.

Пустыня...

Абу-т-Тайиб пригляделся в смятении — и ему показалось, что он различает крупного волка с притороченным к спине вьюком, бредущего из последних сил по раскаленной солнцем сковороде. Возможно, это был обман зрения, мираж, каких поэт в свое время немало насмотрелся в Аравии, а может... Впрочем, после событий этих безумных месяцев Абу-т-Тайиб устал чему-либо удивляться.

Он просто мысленно пожелал волку удачи, будь вольный зверь марой или явью, и двинулся дальше.

...где, печатью Сулаймана властно взяты под охрану,
плачут джинны непрестанно — там пути к Мазандерану...

Когда мир мигнул снова, Абу-т-Тайиб моргнул в ответ. Ему явственно почудились крылатые тени стальных птиц ада, расплескавшие синь над головой; но это уж точно были миражи — мелькнули и исчезли, даже разглядеть толком ничего не удалось!

А горы тем временем сами собой сошли на нет (хотя еще минутой раньше конца-краю им не было видно!) — и вскоре под ногами путников оказалась сперва каменистая, а затем обычная, старая знакомая — пустыня.

Вереница дэвов уверенно топала вперед, оставляя за собой бесформенные вмятины следов, и в тот момент, когда поэту в

очередной раз стало мерещиться, будто он начинает узнавать места — те самые, где вчера бился с гигантами чернокожий Антара и его люди...

Абу-т-Тайиб остановился как вкопанный; и все последовали примеру шаха.

У самой подошвы очередного бархана из-под песка выглядывала чья-то нога. Куфийский сапог, еще сохранивший приметы былого щегольства былого хозяина: шагреневая кожа, высокий и тонкий каблук с внутренним изгибом, носок тоже загнут, но наружу, и кисточки слабо шевелятся по краю голенища.

Поэт свернул с пути, протоптанного идущими впереди дэвами, и решительно направился к бархану-мавзолею.

Некоторое время он стоял и молча смотрел.

Потом обернулся к сгрудившимся за спиной исполинам.

— Копайте!

Он был уверен, что его послушаются.

Так и случилось.

Человек — вернее, оставшаяся от него мумия — неплохо сохранился. Фаланги пальцев, покрытые серым шелушащимся пергаментом, все еще сжимали кривой машрафийский меч, синюю сталь, за которую платят блюдами динаров оружейникам Йемена; на лице застыла жуткая усмешка, предсмертный оскал, обнажая гнилые пеньки зубов, часть из которых покойник потерял еще при жизни.

Судя по всему, человек лежал в песчаной могиле уже давно. Ну и пусть спит дальше. Недостойно правоверного глумиться над останками.

А в данном случае — недостойно вдвойне.

— Заройте его обратно, — бросил поэт и, пока дэвы усердно трудились, заново погребая мертвеца, едва слышно шептал слова молитвы.

— Кто это был? — решился нарушить скорбное молчание Гургин, когда они наконец продолжили путь. — Кто это был, мой шах? Знакомый? Друг? Земляк?

— Я, — просто ответил Абу-т-Тайиб.

И зашагал быстрее.

...где бессильны все старанья на пороге умиранья,
и последней филигранью отзовется мир за гранью;

где скала взамен айвана, и шакал взамен дивана,
где погибель пахлавану — там пути к Мазандерану.

Как и обещал Дэв, они шли путями неисповедимыми, пока солнце не перевалило за полдень. Впрочем, Абу-т-Тайиб теперь ни в чем не был уверен — ни во времени суток, ни в солнце, мерившем горбатый небосвод заячьей скидкой, подло нарушая заведенный Аллахом порядок. Да что там солнце, время, минуты и

часы?! — пожалуй, сейчас поэт вообще затруднился бы ответить, какой ныне стоит на дворе век от бегства пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!). И на каком дворе? Кабирском? Дар-ас-Саламском? Медногородском? Мазандеранском? Или еще каком...

После встречи с собственным трупом, мирно спавшим в песках пустыни, что-то сдвинулось в голове поэта, и он сомневался во всем на свете — одновременно будучи готовым поверить во что угодно. Что он находится в раю. Или в аду. Или в стране джиннов. Или перенесся в эпоху легендарной джахилийи.

Я никогда не рождался?!

Верю.

За время их дальнейшего пути соринка еще дважды или трижды попадала в глаз миру — Абу-т-Тайиб уже перестал обращать внимание на подобные мелочи. Пустыня вновь сменилась горами, и дэвы вдруг забеспокоились, с опаской зыркая по сторонам. Вскоре из-под очередной каменной осыпи наполовину выглянул обглоданный костяк странной твари; судя по толщине костей и плоскому черепу с вызывающими уважение клыками, а также по сохранившимся кое-где остаткам чешуи, опасения великанов были небезосновательны. При встрече с обладателем такого черепа могло не поздоровиться и дэву! Так что, когда мир благожелательно мигнул снова и дэвы успокоились, Абу-т-Тайиб облегченно вздохнул вместе со всеми.

За лаврами драконоборца он отнюдь не гнался.

Потом справа открылась степь, бескрайняя степь хургов, или не хургов, но там паслись честные кони и возле юрт курились честные костры; а еще одинокий всадник несся по одуревшей от полуденного зноя степи. Белый растрепанный хвост мотался из стороны в сторону, привязанный под наконечником его короткого копья с красным древком; лицо под высоким чешуйчатым шлемом окаменело в безразличии ко всему, кроме бьющейся под копытами земли; и бурая пыль степей, зловещая пыль дурного вестника, некоторое время еще гналась за распластанным конем и, не догнав, покорно опускалась, оседала, растворялась в потревоженном покое...

> Где вы, сильные? Пора нам в путь по городам и странам,
> где сшибаются ветра на перекрестке возле храма,
>
> где большим, как слон, варанам в воздухе пустыни
> пряном
> мнится пиршество заране; где в седло наездник прянет...

А потом они пришли!

Вот еще недавно все двигались по дну очередного ущелья, бока теснины скрыли от взоров и степь, и пустыню — или что там

сейчас лежало у подножия этих бесконечно меняющихся гор?! — и вдруг перед ними гостеприимными створками дверей-скал распахивается обширная котловина, по дну которой весело журчит речушка-подросток.

Отвесные стены, окружавшие котловину, были изрезаны грубо вырубленными в скалах каменными ступенями. А выше темнели десятки и сотни темных нор, напоминавших ласточкины гнезда. И до поэта не сразу дошло: это расстояние морочит ему голову, играя злую шутку.

Ласточкины гнезда?! Входы в пещеры имели от двух до пяти человеческих ростов в поперечнике!

Жилища дэвов.

Пещерный город.

Легендарный Мазандеран.

...и взлетит петля аркана, и ударит рог тарана,
и взорвется поле брани... Встретимся в Мазандеране!

— А вот и эта самая Дыра, твое шахское! — радостно сообщил верный Дэв, возникая рядом. — Видал, сколько их тут — дыр-то этих?!

КАСЫДА ПРИЗРАКОВ

Ветер в кронах заплакал, берег темен и пуст.
Поднимается якорь, продолжается путь.

И бродягою прежним, волн хозяин и раб,
К мысу Доброй Надежды ты ведешь свой корабль, —

Где разрушены стены и основы основ,
Где в ночи бродят тени неродившихся слов,

Где роптанье прибоя и морская вода
Оправдают любого, кто попросит суда.

Где забытые руки всколыхнут седину,
Где забытые звуки огласят тишину,

Где бессмыслица жизни вдруг покажется сном,
Где на собственной тризне ты упьешься вином,

Где раскатится смехом потрясенная даль,
Где раскатится эхом еле слышное «Да»...

Но гулякой беспутным из ночной немоты,
Смят прозрением смутным, не откликнешься ты —

Где-то, призраком бледным, в черноте воронья,
Умирает последней безнадежность твоя.

ГЛАВА 4,

где шаха приветствуют дэвы во всем своем разнообразии; а также выясняется, сколько может собраться шахов в одном отдельно взятом Мазандеране, но ни словом не упоминается о том, почему одни дэвы похожи на людей, а другие — на чудовищ, и можно ли вернуть последним человеческий облик?

1

...Протяжный, оглушительный, душераздирающий и еще шайтан знает какой вопль огласил котловину. Поначалу Абу-т-Тайиб невольно вжал голову в плечи. Однако, видя, что сопровождающие его дэвы обращают на вопль меньше внимания, чем змея — на шорох собственной чешуи, поэт тоже успокоился.

И стал оглядываться по сторонам в поисках источника жуткого звука.

Не ангел ли Израфиль трубит?!

— Дэв Вайдос с вершины древа кличет, — пояснил Худайбег-благодетель, когда слух наконец вернулся к поэту и бархатные затычки в ушах рассосались сами собой. — Вайдосит, значит. Это у них завсегда так, твое шахское! Когда народишко... ну, дэвов, значит, собрать надо... Залазит и орет. Вот.

— И когда ты все это узнать успел, проныра? — поинтересовался Абу-т-Тайиб.

К этому моменту он как раз углядел столетнюю чинару у распадка. В ветвях дерева действительно устроился какой-то дэв, и теперь черной тушей ворочался в гнезде, явно прикидывая: не «завайдосить» ли снова?

— Так ведь месяц, почитай, у них проторчал-то, твое шахское! — заморгал голубыми глазищами верный юз-баши; и поэт не стал с ним спорить.

Даже переспрашивать не стал: здесь явно могло твориться все, что угодно! Мигающий мир, неведомые страны, свихнувшиеся дни-оборотни, так и норовящие прикинуться месяцами, собственный труп под барханом...

А тем временем из пещер уже выбирались сутулые неуклюжие фигуры и вразвалочку брели навстречу гостям. Впереди неслось десятка два детей: на удивление обычных, человеческих малышей, ничем не напоминающих взрослых чудищ.

Дэв-на-вершине-древа подумал, хрипло прочистил глотку — и не стал вопить во второй раз.

Зачем? — все и без того были в сборе.

Как и следовало ожидать, дети добежали первыми. Запрыга-

ли козлятами вокруг Абу-т-Тайиба, словно рядом не было ни Утбы, ни Гургина, а дэвов-добытчиков и подавно!

— Твоя — шах? — серьезно поинтересовался вислощекий карапуз лет пяти, больно ткнув пальцем в живот Абу-т-Тайибу.

— Моя шах, — развел руками поэт.

— Второй шах, второй шах! — радостно загалдела детвора, а карапуз почему-то насупился и стал ковыряться в носу.

— Старый Олмун-дэв говорил: так не бывает! Шах должен быть один! — заявила вдруг худенькая девушка постарше, лет тринадцати, затесавшаяся в толпу детей.

Девушка как девушка — угловатая, подобно многим подросткам, длинные черные косы свисают ниже пояса, родинка на скуле, и голубые глаза чуть ли не светятся со смуглого личика... Поэт долго смотрел на девушку, недоумевая: зачем он это делает? Почему взгляд упрямо и бесстыже ощупывает хрупкую фигурку?!

Что ищет?

А потом он понял, понял резко и сразу: обнаженные руки и босые ноги девушки покрывала шерсть.

Золотисто-коричневый мех, короткий, словно подстриженный.

Это было по-своему даже красиво, но красиво не по-человечески!

— Так я один и есть, — попытался улыбнуться мохнатой девушке Абу-т-Тайиб.

Улыбка вышла кислой.

— А Кей-Кобад? — Брови обладательницы золотистой шерстки двумя голубками взмыли на лоб.

— А он светится! — уверенно сообщил карапуз, вынув палец из носа. — Он живая и светится!

После чего снова ткнул поэта в живот: словно железным штырем приложился.

— Светится! Шах! Настоящая! На нас светится!

— Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу... — задумчиво проговорила девушка, вглядываясь в Абу-т-Тайиба едва ли не пристальней, чем за минуту до этого он сам вглядывался в нее.

И от ее испытующего взгляда поэту сразу сделалось неуютно.

Как раньше — от присутствия Нахид.

Тем временем начали потихоньку подтягиваться и взрослые дэвы с дэвицами. Процессия замедлила ход, безнадежно увязая в толпе — а обитатели Мазандерана все шли, ковыляли, бежали; и Абу-т-Тайиб, которого, казалось, уже невозможно было чем-либо поразить, не уставал дивиться тому, что видел вокруг.

Дэвы-добытчики, старые знакомцы, были словно с одной формы леплены: кряжистые исполины, раза в два повыше обычного человека, и бугры мышц страшно выпирали на их мохнатых телах, иногда в самых неожиданных местах.

Но, так или иначе, они были похожи друг на друга.

Здесь же... Здесь, в Мазандеране, дэвы были разными. И «разные» — еще очень мягкое словцо! У кого-то, как сказала однажды сгоряча первая жена Абу-т-Тайиба, было «семь пядей во лбу, и пяди эти загибались бараньими рогами»; да-да, именно рогами, самыми настоящими, так что впору было уверовать: перед тобой шайтан из шайтанов! Или родной дядя Златого Овна. Зато дружки рогача, ростом ему по плечо, были при этом настолько массивны, что иной слон гляделся рядом с ними изящной лебедушкой. Иные мазандеранцы щеголяли розовыми крысиными хвостами, суставчатыми ногами, напоминающими лапы саранчи; а у трех-четырех имелись зачатки кожистых крыльев. У одного дэва из задних рядов крылья оказались вполне развиты, и он все время подпрыгивал, желая получше рассмотреть гостей, с треском распахивал свое сокровище и зависал над толпой, гнусаво каркая. А вскоре вперед протолкался дэв-горбун, чья шелушащаяся кожа настолько походила на чешую, что поэт заподозрил родство горбуна с давешним драконом, чей костяк они видели по дороге.

Грудастые дэвицы приветливо скалили желтые клыки, растягивали до ушей жабьи рты, махали шаху лапами (кто — когтистыми, кто — с перепонками), шушукались между собой, маслено подмигивая. Дэвы-самцы одобрительно ворчали, стараясь протолкаться поближе; и в то же время они вели себя осторожней лекаря у ложа опасно больного — как бы ненароком не зашибить гостя, не обидеть, не покалечить...

«Е рабб, это же дети! Взрослые дети!» — пришло на ум Абу-т-Тайибу.

К немалому изумлению поэта, среди толпы разномастных чудищ попадались и обычные сыны Адама. Впрочем, у Абу-т-Тайиба не было времени как следует рассмотреть их — а ведь та девушка с первого взгляда тоже выглядела вполне...

Толпа возбужденно гудела, но общий хор звучал искренней радостью, неподдельным, доброжелательным восторгом, что никак не вязалось с обликом страхолюдин.

Наконец дэвы расступились, и вперед вышел плечистый старик, запорошенный снегом седины с головы до ног — поскольку он-то мохнат был неимоверно, и даже шерсть на животе заплетал в щегольские косички.

Зато одежду не носил по вполне понятным причинам; опирался же мохнач на клюку, способную затмить славу Худайбегова «копьеца».

«Наверное, это и есть «старый Олмун-дэв», — догадался Абу-т-Тайиб.

Сотни пар голубых глаз уперлись в седого дэва — и он заговорил. Вполне членораздельно, хотя и с определенным усилием:

— Ты — наш гость, шах. Тебе здесь будет хорошо. Живи с

нами — и нам тоже будет хорошо. Сейчас тебе покажут жилье — самое лучшее. Дворец.

В толпе дэвов произошло некое движение, и перед Олмун-дэвом возник давешний «карлик» — всклокоченный, с безумными глазами, брызжущий слюной.

— Лучшее жилье — мое! Мое!!! Дворец — мой! И еда! И женщины! И фарр — это мой фарр! Он его украл! Вор! Вор!!! Скажите ему, чтоб отдал! Я, я шах, а не он! Великий шах Кей-Кобад! Я! Я!

Седой дэв спокойно ждал, пока Кей-Кобад умолкнет, сорвав голос. Что и случилось в самом скором времени; после чего Олмун отстранил «карлика» и заговорил снова, роняя тяжелые, вескими камни слов — словно приговор оглашал.

Впрочем, так оно и было.

— Шах должен быть один. У него — фарр. Я вижу. Он — шах. Ты — теперь нет. Тебе дадут пещеру. Еду. И женщину — одну. Дворец для шаха, гарем для шаха. Для настоящего. Все. Так будет.

— Спасибо за гостеприимство! — криво усмехнулся Абу-т-Тайиб. — Ну что ж, показывайте ваш дворец.

Поэту было тошно. Отобрать последнюю радость у несчастного безумца, чей фарр и трон ты уже присвоил — пусть даже не по своей воле? Променять дворец в Кабире на дворец в Мазандеране? Что ж, сам виноват! Ты хотел разобраться — давай, вороши тайны и не жалуйся, если среди облезлых шкур прошлого окажутся блохи или сонный скорпион!

И, оглохнув от приветственных кликов, сквозь которые визгливо прорывалось изредка: «Вор! Он украл мой фарр! Мой дворец! Мой...» — Абу-т-Тайиб последовал за Олмун-дэвом, ковылявшим впереди.

Пещерный город приближался.

2

...Абу-т-Тайиб шагнул под шершавые своды «дворца», освещенные рваным пламенем факелов — и не сумел сдержать улыбки: понятия о роскоши у дэвов были весьма своеобразные.

Пол, как и положено в покоях любого уважающего себя дворца, устилали ковры. Самые разнообразные. Самые пестрые. Самые... самые. С орнаментами и без. С рисунками и чудными узорами. Вперемежку с циновками и одеялами — лишь бы поярче! И уложено все это добро было по меньшей мере в четыре-пять слоев; зато уж тут дэвы постарались — хоть краешек каждого, а все равно был виден.

Вот, мол, сколько у нас ковров — как песка в пустыне!

Одно слово: навалом!

Из-за этого пол шел волнами, и ходить по нему было весьма затрудительно, а про «важно шествовать» вообще речи не шло: Абу-т-Тайиб спотыкался чуть ли не на каждом шагу.

На стенах, в зажимах из меди и бронзы (полосы металла, причудливо покореженные лапами мазандеранцев) чадила сотня факелов. Жирная копоть оседала на потолке, на сосульках сталактитов, а также на подвешенных к ним разнообразнейших предметах: курильницах, кальянах (четыре штуки, и все испорченные), женских подвесках, фонариках из крашеной бумаги и прочей дребедени, зачастую совершенно неизвестного поэту назначения и происхождения.

За поворотом пещеры обнаружился балдахин из нежно-розового атласа. Наверняка похищенный из будуара знатной франкской дамы (довелось поэту ловить сладкие мгновения и в таких местах). От балдахина вниз свисала плетеная штора, а по обе стороны ее застыли двое дэвов-близнецов в кожаных шароварах.

И с умопомрачительного вида железными палицами в руках.

При виде шаха дэвы — близкие родичи кабирских Яджуджа и Маджуджа — выкатили глаза, всем своим видом изображая немереную преданность и почтение.

Абу-т-Тайиб хмыкнул, раздвинул штору, шагнул под балдахин...

И застыл на пороге соляным столбом.

— Сим-Сим, закройся! — только и сумел выговорить он.

Во-первых, посередке зала стоял трон. Огромный, блестящий, черный, как кожа дикого зинджа (похоже, из полированного базальта). Сиденье его, где свободно могли уместиться три Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, было застлано облезлой шкурой тигра. Вторая такая же шкура лежала у подножия трона. Сбоку к престолу жалась хромая тахта, словно ища покровительства, а дальше имелось обширное ложе с ворохом разнообразных мехов поверх него. Кругом же в живописном беспорядке, играя красноватыми бликами от вездесущих факелов, валялись блюда, кувшины, чаши, кубки, большие и маленькие ларцы со шкатулками, светильники, груды одежд... сокровища короче.

На ближайшей из таких груд красовалось золотое блюдо, а на блюде гордо сиял здоровенный сапог.

Один.

Подозрительно знакомый: с гнутым каблуком, с кисточками по голенищу... разве что обе ноги поэта свободно могли уместиться в этом сапоге, и еще осталось бы место для парочки пеналов.

Сапог, по-видимому, тоже должен был быть один, символизируя уникальность шаха.

За то время, пока Абу-т-Тайиб с нескрываемым интересом рассматривал свое новое обиталище, он обнаружил два-три за-

драпированных коврами боковых прохода — но решил исследовать их позже.

Умеренность и еще раз умеренность; если хотите жить долго и счастливо.

Через минуту он сидел на троне.

— Твоя — шах? — спросил Абу-т-Тайиб сам себя.

И грустно ответил, ткнув пальцем в собственный живот:

— Моя — шах, будь моя трижды проклят! И светится...

Ожидающий у входа Олмун-дэв закивал косматой головой.

* * *

Остаток дня поэт провел в трудах праведных.

Поужинал в обществе Гургина, Дэва и Утбы (лепешки местного изготовления и овечий желудок, фаршированный зеленью — по всему видать, лучшее, что могли предложить им дэвы). Распорядился, чтобы его спутников разместили во «дворце» — места на всех хватило с избытком. Отправил Худайбега подыскать сносное жилище для несчастного «карлика» — Абу-т-Тайиб чувствовал себя изрядно виноватым перед бывшим шахом. Затем с помощью Утбы и вернувшегося Худайбега (местных жителей привлекать не хотелось) навел хоть какую-то видимость порядка в «тронном зале». Хотел было прогуляться по окрестностям на сон грядущий — но, выбравшись из «дворца», выяснил, что снаружи уже стемнело.

А внутри, внутри-то, едва Абу-т-Тайиб вернулся и совсем уж собрался завалиться спать...

3

— Гарем шах!

Дэв-страж просунулся за полог, радостно объявил эту восхитительную новость — и исчез раньше, чем Абу-т-Тайиб успел спохватиться и возгласить запрет.

Увы! — в залу гурьбой, счастливо визжа, повалили девицы.

Вернее, дэвицы!

Совершенно обалдев, Абу-т-Тайиб сидел на своем ложе дурак дураком, а перед ним колыхалось море волосатой плоти. Некоторые дэвицы были одеты в цветастое тряпье, долженствующее изображать обольстительные наряды; но большинство, кроме собственной шерсти и чудных украшений, одеждами пренебрегли. И с готовностью демонстрировали шаху свои прелести, заставляя Абу-т-Тайиба содрогаться от вида дэвичьих тел.

— Повелитель выбирай! Мы — танцевай, повелитель — выбирай! — тигриным басом проворковала одна из дэвиц и добавила неясно к чему:

— Шах и мат!

Тут же из-за полога невпопад громыхнул бубен, ему надтреснуто вторили струны расстроенного барбара — и под эту дикую, первобытную мелодию дэвицы закружились вокруг поэта.

А у поэта в ответ не замедлила закружиться голова.

«Пусть дурна, пусть страшна, пусть сама сатана, — если хватит вина, будет мужу жена!» — вспомнился Абу-т-Тайибу старинный бейт времен джахилийи, когда дар лоз еще не был провозглашен запретным.

Сейчас поэт был готов удавить остроумного автора собственными руками. Ведь сказал пророк (да благословит его Аллах и приветствует!): «Женщина вам пашня, пашите ее как угодно!» Вот она, пашня, согласная на все — паши ее как угодно, беспутный бродяга! Для того ли менял одну пашню на другую, для того ли уходил из Кабира, чтобы прийти в Мазандеран?! Чего же ты хочешь на самом деле, почему шарахаешься, когда тебе несут на блюде все блага мира, почему отшатываешься и вопиешь гласом громким:

— Я возьму сам! Вы слышите — са-а-ам!..

Бубен стучал все яростнее, сбивался, не поспевая за приятелем, барбар-семиструнка — и великанши, одна за другой, припадали к стопам шаха, преданными собачьими глазами заглядывая ему в лицо снизу вверх: «Возьми меня! Неужели я тебе не нравлюсь?! А я?!»

И столько ожидания, столько надежды, столько страстной поволоки было в этих глазах, что всякий раз у Абу-т-Тайиба только и хватало силы, что отрицательно покачать головой. Он переводил взгляд на следующую красотку и молил Аллаха о малом: чтобы все это светопреставление поскорее закончилось и утомившиеся дэвицы убрались восвояси. Е рабб, ну не делить же постель с одной из них! Они не виноваты в своем уродстве, они искренне хотят доставить ему удовольствие, но это же выше человеческих сил!..

«А как на моем месте поступал безумный Кей-Кобад?! — вдруг обожгла шальная мысль. — Неужто...»

Вот очередная дэвица с надеждой корчится у ног привередливого владыки, который ни в какую не желает «выбирай». Поэт собирается с духом — и взгляд его вдруг проваливается в бездонную синь глаз той, что когда-то звалась Нахид-хирбеди!

— Нахид! Ты?

Абу-т-Тайиб отшатнулся, сжав виски ладонями: вот и добралась до него бывшая жрица! Тайно затесалась в гарем — и теперь наконец сведет счеты с ненавистным бродягой, оскорбившим ее великим оскорблением!

Но Нахид медлит рвать и метать. С детской обидой она смотрит на него, моргает длинными ресницами — последним, что осталось от прежнего облика, кроме цвета глаз. Мгновения тянутся

и тянутся, обволакивая поэта вязкой патокой — и он с ужасом видит: глаза расстриги-хирбеди полны любви.

До краев.

Ни капли былой злобы и ненависти, ни клочка звериной ярости — ничего этого больше нет в двух голубых колодцах.

Нахид умерла. Навсегда. Узнала ли она его? Одному Аллаху ведомо! Но сейчас она явилась к нему за тем же, что и остальные, — чтобы шах взял ее на ночь!

Она хочет этого!

— Нахид... ты... узнаешь меня? — шепчет поэт, и слова текут через душу крутым кипятком. — Ты помнишь: «Только раз бывает праздник, только раз весна цветет... взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник в сердце льет...» Ты помнишь?

Поначалу на оплывшем, бездумном лице дэвицы не отражается ничего. А потом... Широкие вывороченные губы ползут в стороны, вдавленный нос морщится, у рта залегают складки... Нахид улыбалась! Повелитель заговорил с ней! Это хорошо! Это очень хорошо! Значит, она ему понравилась! Он хочет ее!

Та, что раньше звалась Нахид-хирбеди, протягивает косматую лапу и осторожно касается бедра владыки. Корявая ладонь ползет дальше...

— Не-е-ет!

Ладонь в недоумении останавливается.

— Нет, Нахид, не надо... — Стон рвет глотку, сердце, душу; расплавленным оловом течет по гортани, и боль от подлинного ожога кажется благословением Господним. — О, теперь я понимаю: тогда, когда ты пришла просить за своего учителя, когда я издевался над тобой, заставил раздеться — я ведь хотел тебя! Я мужчина, Нахид, я обычный мужчина, я хуже многих; но теперь... Прости меня, девочка, я не могу. Не могу! Уходи! Убирайся вон!

Отчаяние расплескалось под сводами пещеры, дрогнул хлам, свисающий с потолка, — и только тут до существа, тупо глядевшего на безумного господина, дошло, что повелитель не хочет ее!

Глаза бывшей хирбеди мгновенно набухли слезами, и несчастная дэвица, вскочив, с обиженным воем бросилась к выходу.

А Абу-т-Тайиба несло половодье бессильного бунта.

— Уходите! Уходите все! Оставьте меня в покое!

На мгновение все застыло, мелодия оборвалась, запоздало ударил бубен — и тоже смолк в испуге.

А потом дэвицы, дружно вторя Нахид своими рыданиями, устремились прочь. Сейчас они больше всего походили на толпу насмерть обиженных детей, которых ни с того ни с сего наказал и прогнал сердитый отец.

— Вы не виноваты... Вы хотели, как лучше. А я... Простите меня... — глухо бормотал поэт, упав на ложе и зарывшись лицом в ворох пушистых шкур.

Он сам не заметил, как заснул.

Посреди ночи он проснулся от слабого движения рядом. Протянул ладонь, огладил теплую шерстку... То существо, что находилось вместе с ним под одним одеялом, немедленно придвинулось с готовностью, так что поэт не замедлил ощутить маленькую упругую грудь, гибкие плети рук — обычных, человеческих, тонких рук.

Девичьих рук.

Только покрытых шелковистой, приятной на ощупь шерсткой.

Горячее тело приникло к нему, и дальше все получилось само собой... Он так и не понял: было это сном или очередной шуткой судьбы? Любовь выглядела нереальной, зыбкой сказкой, и даже сладость в конце оказалась спокойной и мягкой, без томных стонов или звериного рычания.

Тишина.

И покой.

...Но вот она приходит ниоткуда, и всем забытым переполнен кубок: любовь, дорога, море, паруса... Боясь шагнуть с привычного порога, ты перед ней стоишь, как перед Богом, — и все-таки не веришь в чудеса.

«Я сам, — бормочешь ты сухими губами. — Я... сам...»

* * *

Наутро рядом с поэтом никого не оказалось.

Вскоре принесли завтрак. Как выяснилось, принести заодно и воду для утреннего омовения дэвам в голову не пришло, а садиться за дастархан нечистым поэт не пожелал.

И отправился к ручью, не дожидаясь, пока дэвы догадаются исправить свою оплошность.

Студеные брызги мигом прогнали остатки сна вместе со всеми ночными призраками — и поэту даже стало немного жаль, что это были всего лишь грезы.

Впрочем, думать так ему было спокойнее.

Он поднялся, намереваясь вернуться во «дворец», позавтракать и приступить к осмотру места, куда забросила его Судьба...

Лицом к лицу столкнувшись с давешней девушкой-подростком.

«Старый Олмун-дэв говорил: настоящий шах светится. Кажется, я вижу...» Загадочный взгляд больших голубых глаз; угловатая фигурка; гладкая шерстка золотится на предплечьях...

— Меня зовут Фарангис, — она легко проскользнула мимо него и стала наполнять кувшин.

А он стоял и смотрел. На нее.

Фарангис.

Было?

Не было?

ГЛАВА 5,

повествующая о времени и его кознях, об искренности хирбедов и детских скороговорках, но даже краешек завесы не приподнимается над тем, что случилось с безумным владыкой в пещере Испытания

1

Здесь было тихо и покойно, если не считать вечного смеха воды, с беспечностью ребенка кувыркающейся в теснине русла. Два кизиловых деревца прятали в кронах алые огоньки — плодам еще не пришло время вдоволь налиться кисло-сладким соком; рядом с кизилом самозабвенно, ничего не оставляя на потом, чахоточной девицей цвела мушмула, и брезгливо косился на глупышку старый вояка-шиповник, крутя кукиши завязи.

Они противоречили друг другу: кизил, мушмула и шиповник — противоречили лепестками и плодами, временем цветения и временем зрелости, но что может быть непротиворечивым в Мазандеране, в Краю Дэвов, куда идешь соринкой в глазу мира, от уголка к уголку, сквозь непрерывное морганье — пока не вылетишь наружу?!

«Вот где славно умереть, — вдруг подумалось Абу-т-Тайибу, — умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!»

Относительно идеи ложиться в гроб немедленно у поэта имелись определенные сомнения. Ты ляжешь, черви дружно примутся за работу, а потом ангел Джибраиль с интересом выяснит в своде записей: вот он, покойничек-гулена, шляется невесть где и невесть с кем! Престолы задницей протирает, подданных смущает дурацкими выходками; джинны с дэвами в него пальцами тыкают, в красавца... О Аллах! — имя первому адскому слою Джа-

ханнам, и уготован он ослушникам из правоверных, умершим без покаяния; имя же второго слоя — Лаза, и назначен он неверным; третий слой, аль-Джахим, погребает племена Яджуджей и Маджуджей, а также идолопоклонников страны Синдху; имя четвертого слоя ас-Сайр, и он открыт для почитателей Иблиса; пятый, Сакар, для еретиков-зиндиков; в шестом, в аль-Хутаме, взывают к своим заступникам люди Торы и люди Евангелия; в седьмом же, в аль-Хавии, стонут лицемеры!

А для вот таких бездельников, которых сперва изрядно носило по обитаемой четверти земного круга, а теперь носит по остальным трем четвертям, лицом к лицу сталкивая с собственными мумиями и чудищами-хирбеди, — для такого отребья какой слой ада назначен, о Совершеннейший Благотворитель?

Восьмой?

Двадцать восьмой?

Или нет нам ада, но нет и рая...

— О, где мои тысяча огненных гор? — забывшись, нараспев выкрикнул Абу-т-Тайиб. — Где под каждой горой семьдесят тысяч огненных долин, а в каждой долине семьдесят тысяч огненных городов, а в каждом городе семьдесят тысяч огненных домов, а в каждом доме семьдесят тысяч огненных комнат, а в каждой комнате семьдесят тысяч огненных ложей, а на каждом ложе семьдесят тысяч способов пытки? Где вы? — неужели здесь, во мне, и никуда не деться мне от вас?!

Смех был ему ответом.

Из колючей глубины шиповника высунулась сначала растопыренная пятерня, пошевелила крохотными пальчиками — и скрылась обратно. Минутой позже кусты раздвинулись, и наружу выбралась голенькая девчушка лет пяти, вся измазанная в глине, как если бы Господь миров только что создал ее из сего праха земного.

Следом за местной Евой вылезли два чумазых Адама-трехлетки, созданные, по всей вероятности, из Евиных ребер.

Вон они, ребра девичьи, торчат решеткой, все наперечет: два, шесть, двенадцать...

А было четырнадцать.

Абу-т-Тайиб еще вчера обратил внимание: детей в Мазандеране имелось мало, но, к вящему удивлению поэта, все они выглядели детьми человеческими. Разве что легко обходились без одежды, мало заботясь о прикрытии срама. Вот и эти малыши: чисто ангелочки! — щеки румяные, кожа (если отмыть!) белей, чем у невольницы-саклабки, голубые глазенки лучатся озорством...

В кого вырастете, ангелочки?

Неужто в ифритов с ногами, как корабельные мачты?!

— Шк-р-раа! — вдруг скрежетнула девчушка, уподобясь павлину в брачный сезон. — Шкур-ра!

— Шкура? — переспросил поэт, сам дивясь: сижу у речки, с «дэвочкой» о пустяках болтаю... — Какая шкура?

Девчушка стукнула себя по макушке кулачком, что должно было означать непроходимую тупость собеседника.

— Гаорка! — поправила она, тыча пальцем в дядю, которого судьба обделила понятливостью. — Шкура-гаорка!

— Скороговорка! — догадался поэт, и был вознагражден радостными ужимками, которым позавидовали бы мартышки в чаще. — Ты решила, что я скороговорку выкрикиваю?

— Ага! — Девчушка шлепнулась на землю, оба Адама мигом подскочили к предводительнице и стали искаться в ее пышных кудрях, отталкивая друг друга. — Шкура-гаорка давай!

— Так я ведь шах! — усмехнулся Абу-т-Тайиб малолетней нахалке. — Негоже шаху низкими забавами баловаться!

— Про шах давай! — Ева была непреклонна. — Шкура-гаорка про шах!

Пришлось славному мастеру рифм и ритмов поднапрячься.

— Э-э-э... То ли шах я, то ль ишак, то ли шум в чужих ушах, то ли вышивка на щелке, то ли щука в камышах! Ну-ка, повтори!

Оглушительный галдеж был ему ответом. Три детских глотки вовсю шипели, щелкали и скрежетали молоточками чеканщиков, розовые язычки мелькали, облизывая замечательную «шкура-гаорку про шах»; в итоге все остались чрезвычайно довольны друг другом.

— Еще! Еще давай, шах-ишак! Давай про дэв!

— Плакали по дэвам девы: «Где вы, дэвы? Дэвы, где вы?! О, в воде вы! О, в беде вы! В пекле на сковороде вы!»

— Еще! Еще про дев!

— Отвечали дэвы девам: «Заняты мы, девы, делом — обещал полночный демон снять по утренней звезде вам!»

— Еще!

— Ах вы, негодники! Вот вы куда удрали!

Из-за кизила вывернулась женщина, обычная женщина, моложе самого Абу-т-Тайиба лет на двадцать пять и вполне годящаяся поэту в жены. Три попки были тут же отшлепаны, три носа вытерты, каждое дитя получило по своей доле упреков за побег; и женщина, рассыпаясь в извинениях, потащила детей прочь.

— Стой! — закричал ей вслед Абу-т-Тайиб. — Стой, погоди!

Приказ был выполнен в точности: женщина остановилась, согнувшись в нижайшем поклоне.

Нет, бесталанный шах Кабира остановил няньку отнюдь не из желания поинтересоваться: что делает обычная женщина в Мазандеране? Абу-т-Тайиб уже успел встретиться здесь с доброй сотней невольниц, от юных пери до старух с седыми космами, которых дэвы натаскали отовсюду — прибираться, готовить

пищу и рожать вот таких голубоглазых ангелочков. Здесь не таилось ничего удивительного: еще в сказках никого не изумляло, когда дикий ифрит с дурным нравом предъявлял права на красавицу из человеческого рода.

Удивительным было иное: нянька ругала детей на чистом арабском, с легким налетом йемамского акцента.

— Давно тебя выкрали? — на том же языке, заново приноравливаясь к родному звучанию, поинтересовался поэт. — Ну говори, не бойся: давно?

Маленькая слезинка выкатилась из уголка глаза и споро покатилась по щеке няньки-невольницы.

— Давно, мой господин! Летом восьмой год будет. Мы с братом выехали из Каира по делам семейным, а тут — ифриты... брата разорвали, а меня...

— Из Кабира?! — Разочарованию поэта не было предела.

— Нет, господин мой! Из Каира, столицы Египта.

— В Египте нет такой столицы — Каир! Во всяком случае, при мне не было...

— Ну как же нет! Я ведь не какая-нибудь замарашка, я дочь известного равия, собирателя стихов, я грамоте обучена! Каир — столица, основан великими Фатимидами... Мы туда из Йемамы перебрались, с отцом и братом, а в Йеману — из Хадрамаута!

— Славного беговыми верблюдами, — машинально уточнил Абу-т-Тайиб. — Земляки, значит... Дважды земляки: ты из Каира, я из Кабира! А когда, говоришь, Фатимиды этот ваш Каир заложили?

И был вознагражден ответом:

— В триста пятьдесят восьмом году лунной хиджры, мой господин! Отец еще записал: «О первый камень Каира! — два года прошло со дня смерти Абу-ль-Фараджа Исфаханского, составителя «Книги Песен», и дважды два — со дня кончины великого поэта Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби! Быть тебе, Каир, градом стихотворцев!»

— Ты уверена? — осторожно переспросил поэт.

Так и встало в памяти: бархан и торчащий из него сапог.

Куфийский, с кисточками по краю голенища.

Больших денег стоит... стоил.

— Абсолютно, мой господин! Я же дочь равия... Мой отец составил наилучшее собрание касыд аль-Мутанабби и сатир Ибн Суккары; мы потому и в Каир переехали, что у тамошних равиев сохранился малоизвестный вариант «Касыды о мече»!

— Ладно, ступай, — поэт безнадежно махнул рукой, присел на камень и долго любовался, как ветер ерошит крону кизила.

Вдоль берега речки мчались трое детей, и вслед за ними спе-

шила невольница-нянька, похищенная ифритами Мазандерана из окрестностей Каира, столицы Египта.

Города, основанного Фатимидами спустя четыре года после смерти одного малоизвестного поэта.

Е рабб, не удивиться — удавиться бы!.. да не поможет.

Наверное...

2

— Мой шах хочет побыть в одиночестве?

— Твой шах хочет... ничего он не хочет, твой шах. Садись, Гургин. Видел: дети бегут?

— Видел, мой шах! Бегут, дай им Творец здоровья и судьбы получше, чем у родителей...

— И то, что все дети — «небоглазые», тоже видел?

— Не слепой... Да и каким им еще быть, мой шах?

— Знаешь, Нахид отказалась раскрыть мне тайну «небоглазых»... Глупая! — это у нее с того дня уродство в рост пошло?

— Нет, мой шах. Это началось у Нахид-хирбеди еще у пещеры Испытания, когда она возражала мне. А в рост пошло, когда на твоей голове воссиял шахский кулах. Ну и дальше — больше...

— А у Худайбега все началось, когда он в разгул ударился?

— Увы, мой шах, разгул здесь мало что значит. Грабил бы себе твой любимец купцов да носильщиков паланкинов, глядишь, и по сей день слышали бы мы о славном курбаши Худайбеге! Просто Худайбеге, человеке, разбойнике, каких двенадцать на дюжину... Это он сборщика податей, видать, убил; или на столичного чиновника руку поднял.

— И что?

— Когда «небоглазый» живет обычной жизнью, не противореча власти, человеческое в нем сильней чуждого начала. Он просто лишен благодати: не видит земными глазами ореола шахского фарра и не слышит блеянья Златого Овна.

— Как Дэв, который не признал во мне владыку там, на Судейской площади?

— Да, мой шах.

— Как Утба, когда кинулся на меня, обуян боевым безумием?

— Да, мой шах.

— А если «небоглазый» подымает руку не на шаха, а на чиновника, на того, кто получил должностной кулах...

— Подымать руку не обязательно. Власть есть власть, а сияние кулаха наместника или судьи есть частица сияния кулаха владыки — который, в свою очередь, частица Огня Небесного. Обычному человеку даже в голову не придет укрывать зерно от уплаты податей. «Небоглазый» может укрыть — и с этого часа в нем просыпается дэв. Ты видел, как это происходит, мой шах!

Проходит время — и новому дэву один путь: в Мазандеран. Если, конечно, он не будет убит ранее...

— Людям с голубизной взора можно жить, как все — человеком; можно жить по-своему — дэвом; что еще, Гургин?

— И можно сойти с ума, приняв на себя должностной кулах. Сияние фарра выжжет нам мозг, обратив в чудовище не видом, но рассудком! Поэтому я молил тебя избавить старого дурака от тяжести венца безумия!

— И поэтому Утба, став есаулом султанских телохранителей, начал смеяться невпопад? А Дэв падал в обморок, надев шапку юз-баши?!

— Правота моего шаха...

— Знаю — неоспорима. Только ответь мне: почему Утба до сих пор в своем... почти в своем уме? И почему Дэв становился чудовищем гораздо медленнее, нежели Нахид?!

— Близость султана, мой шах, для Утбы Абу-Язана... а для Дэва — сперва отроческая незрелость, а после еще и близость моего шаха! Присутствие обладателя фарра сдерживает окончательное превращение «небоглазого» в дэва или сумасшедшего. Нам, чей взор дурен от рождения, опасно быть в сиянии власти; нам опасно быть против сияния власти — но если это произошло, то нам лучше быть около власти. Около тебя, мой шах, ибо государство — это ты, как правильно заметил Баркук-Харзиец! Так предопределено от начала веков, мой шах, и от нас это не зависит. Смешно! — любой из дэвов тянется к тебе, мой шах, ибо твое близкое присутствие вновь тащит на поверхность человека, утонувшего в трясине гиганта-урода; они, бывшие мятежники, бывшие слепцы, сейчас готовы душу за тебя положить на алтарь... Любой дэв стал бы самым законопослушным кабирцем, хургом, кименцем, он бы падал в ноги любому обладателю кулаха — но люди не примут их обратно! Разве что с единственной целью: рассажать на колья...

— Это не смешно, Гургин. Это страшно.

— И опять правота моего шаха неоспорима. Это не смешно; а я — старый дурак. Потому что советник, давший Кей-Кобаду совет: как сделаться шахиншахом...

— Я слушаю.

— Это был я, мой шах.

3

ПОВЕСТЬ ГУРГИНА, ВЕРХОВНОГО ХИРБЕДА КАБИРА-БЕЛОСТЕННОГО, О ТОМ, ЧТО БЫЛО И ЧЕГО НЕ БЫЛО С НИМ, С ШАХОМ И СО СТРАНОЙ

...во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам — душам усопших предков; во вторую декаду месяца поми-

нальных молитв и благочестивых помыслов — о вечное небо! — меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский...

Нет, не так.

Иначе.

Знаете, как в Малом Хакасе лишают ведьм колдовского дара? Старуху сажают в круг из пяти костров, и в летний полдень, окружена чистым огнем, она должна сорок раз назвать вслух имена сорока демонов-прислужников. Потом ведьму приводят в чувство, на пятом костре жарят печенку черной суки, насаживают эту печенку на колючую веточку терновника — и кормят женщину поганой едой. После трапезы прочищая ей глотку оной веточкой и заставляя извергнуть съеденное вместе с даром к ведовству. А дальше главное: в течение месяца не кормить ведьму курятиной и на закатах обливать ключевой водой.

Иначе обряд придется повторить.

Хирбеда-отступника подвергают сходному очищению. Разве что вместо пяти костров становятся пятеро жрецов Огня Небесного, пятеро «небоглазых» высшего посвящения; вместо имен сорока демонов-прислужников грешник может твердить все, что ему угодно, или вовсе молчать; а вместо терновой веточки душу отступника прочищают колючим разумом Пятерых.

После этого кисель, бывший человеком, отправляют доживать свой век в тайные капища, укрытые от Огня Небесного.

К Нахид-хирбеди таких мер не применялось. Зачем мучить понапрасну? — ее ведь просто пытались уберечь от греховного поступка, от глупости и ереси; но она свято хранила тайны хирбедов, зная, что всякий хирбед — «небоглазый», но не всякий «небоглазый» — хирбед; и еще зная, что молчание — тоже испытание.

Впрочем, речь сейчас не о Нахид.

Когда мы вернемся в Кабир-белостенный...

Нет, не так.

Иначе.

Если мы вернемся в Кабир-белостенный, я добровольно явлюсь в Судилище Огня и отдамся в руки братьев моих — я, верховный хирбед Гургин, отступник и злоумышленник. Ибо не имел права говорить с обладателем фарра о тайнах «небоглазых», о сущности дэвов и должностного безумия; ибо еще жива меж нас память о шахе Заххаке-змееносце, который приказывал трижды на день кормить себя мозгом юношей и дев с голубыми глазами.

А теперь можно и сначала.

Во вторую декаду месяца Фравардин, посвященного Фравашам — душам усопших предков; во вторую декаду месяца поминальных молитв и благочестивых помыслов — о вечное небо! — меня призвал к себе солнцеликий Кей-Кобад, шах кабирский.

Явившись пред очи владыки, я пал ниц и внимал его велениям. Но на этот раз шах долго молчал, а потом сказал удивительное.

— Держава моего легендарного предка, Кей-Джамшида, — сказал владыка, — простиралась от масличных рощ Кимены до барханов Верхнего Вэя. Это так, хирбед Гургин?

— Это так, мой шах, — отвечал я с благоговением. — Кей-Джамшид был повелителем мира, и фарр его являлся своему обладателю в виде святой чаши, откуда Кей-Джамшид обеими руками черпал благодать.

— Почему же нынешние времена — лишь слабое подобие прошлых? — спросил владыка.

Я пожал плечами. Что отвечать? Что Кей-Джамшид возгордился сверх меры и стал черпать из чаши не обеими руками, а ведрами и черпаками? Что святая чаша от гнева раскололась на сотню кусков, и каждый кусок обратился в отдельный фарр — кабирского Златого Овна, Лунного Зайца Харзы, Синего Тура Лоула, мэйланьского Голубя-Мяо?..

Вряд ли владыка хотел услышать от меня то, что прекрасно знал сам.

— Пора вернуть величие прошлого, — Кей-Кобад расхаживал по покоям, не глядя на меня. — Пора склеить чашу моего предка Джамшида! Пора шахский кулах превратить в диадему царя царей! И ты поможешь мне в этом, верховный хирбед Гургин, поможешь... Я приказываю: через месяц ты явишься в эту залу и изложишь мне способ осуществить великий замысел! Проклятье, я головой согласен рискнуть ради желаемого!.. я жду тебя, Гургин, я жду тебя через месяц...

Уже в дверях меня догнали последние слова Кей-Кобада.

— Это приказ, хирбед! — сухо бросил владыка в спину раба своего, скорее подчеркивая, чем напоминая.

С того часа мне кажется: шах кабирский знал больше, чем говорил. Видимо, меж хирбедов сыскался-таки отступник, приоткрывший Кей-Кобаду краешек завесы над тайнами «небоглазых». Ведь словами «это приказ!» шах ставил меня в безвыходное положение! — а шахи редко произносят вслух такие слова, ибо любая их прихоть — и без того приказ. Ослушайся я Кей-Кобада, откажись искать нужный способ — это означало бы, что некий Гургин, человек с голубыми глазами, воспротивился воле обладателя фарра, воле олицетворения державы!..

Вскоре среди дэвов Мазандерана вполне мог явиться еще один, плохо помня о своем звании верховного хирбеда.

Предложи я способ наугад, без должного разумения и надежды на успех — пусть надежды куцей, будто заячий хвост! — шах погиб бы страшной смертью, пытаясь накрыть одним плащом двоих, пытаясь стать вдвое больше, а вместо этого разрываясь пополам...

С нового Испытания вернулся бы новый шах; но что решил бы Златой Овен относительно неудачливого советчика Гургина?!

Относительно того человека с голубыми глазами, чей совет на миг подвел Овна к краю пропасти?!

Вскоре среди дэвов Мазандерана... впрочем, об этом я уже говорил.

Время шло.

Я долго думал.

Подобно сапожнику, пытающемуся из одной заготовки стачать две пары сапог; подобно цирюльнику, норовящему из редких прядей на подбородке старца соорудить пышную бороду в завитках; подобно матери, которой нужно одной лепешкой накормить ораву сыновей.

Я очень долго думал.

У меня имелся в запасе целый месяц; много, крайне много, если ты обучен думать.

Да, султан Харзы был прав, указывая новому владыке Кабира, где искать! Шах Кей-Кобад действительно вознамерился разбить страну на четыре удела, официально назвав каждого наместника-марзбана — шахом, а себя — царем царей! Безумие? Чушь? Возможно...

Если не пройти заново путем размышлений глупого Гургина.

Вот они, осколки чаши Джамшида, фарры держав: овен, голубь, заяц... Но где же видано, чтобы зайцы охотились на голубей, а туры наполняли чрево бараниной?! Огнь Небесный распорядился единственно правильным образом; фарры не были способны стать друг другу врагами или соперниками.

Но приказ Кей-Кобада... приказ воина... приказ волка!

Я решил превратить Овна в волка.

И мой совет Кей-Кобаду был волчьим советом, попыткой научить шаха есть сырое мясо, не поперхнувшись. В качестве первой добычи предполагались наместники четырех уделов — частицы собственного кабирского фарра. Безопасно; наивно; удивительно! — но волчица приучает детей к мясу исподволь, таская в логово то овечью лопатку, то полевую мышку... лопатку надо грызть, мышку надо душить, а там черед дойдет и до серьезной травли.

После обеда само собой у шахиншаха, у царя царей Кобада должна была возникнуть любовь к свежатине.

Или хотя бы — привычка.

А сияние фарра, после того как Златой Овен поглотит собственные частицы, должно было стать — хищным.

Я не видел иного способа склеить чашу Кей-Джамшида.

Совет пришелся владыке по душе. Он искренне пытался облагодетельствовать меня, предлагая открыть для умницы-Гурги-

на свою сокровищницу; он щедро жертвовал на храмы и приближал хирбедов сверх меры. Одновременно Кей-Кобад заказал себе бранный доспех, новые латы для новой славы и собирался буквально на днях объявить о реформе обустройства державы.

А я все чаще ловил себя на недостойном хирбеда возбуждении.

Мне стало интересно: прав ли я?

Можно ли на самом деле превратить Златого Овна в Серого Волка?!

Когда возбуждение достигло предела, я увидел сон — хотя обычно сплю без сновидений. Символ кабирского фарра сидел напротив меня и смотрел в упор налитыми кровью глазами. Ничего не предпринимал; просто сидел и смотрел. Будто раздумывал: что следует со мной делать? Или иначе: что следует делать со мной за то, что я собирался сделать с ним, Златым Овном? И баранья морда ухмылялась мне в лицо зловещим оскалом.

Волчьим.

Мы, хирбеды, путем долгих усилий приучаем себя видеть образ державного фарра; не так, как все, но мы его видим, в отличие от простых «небоглазых».

В эту ночь я проклял дар виденья.

На следующее утро меня вновь призвал к себе владыка Кабира.

— Мне снился Златой Овен, — без обиняков сообщил он. — Ему по душе избранный мной путь. Дело за малым: перед началом нового пути я должен опять пройти через пещеру Испытания. Один, без спутников и соперников. Войдет не шах-заде, но шах; выйдет не шах, но шахиншах. Ты поедешь сопровождать меня.

— К пещере Испытания ездят два хирбеда сопровождения, — я низко поклонился, недоумевая. Воля Златого Овна показалась мне по меньшей мере странной. Но разве не было странным все, задуманное нами?!

Шах брезгливо поморщился.

— Лишние уши, лишний язык, мой Гургин... Говорят, у тебя есть ученица? Молоденькая глупышка? Возьми ее.

Так Нахид впервые оказалась в горах без названия.

Вопреки обычаю: хирбедов сопровождения избирает не воля шаха, а Совет служителей Огня Небесного — но Совет согласился с моим предложением.

Мы легко добрались до пещеры Испытания, и Кей-Кобад вошел внутрь.

Я и Нахид ждали его у выхода до самого заката.

А потом еще — от рассвета до заката.

А потом еще.

И на ум раз за разом приходило возвеличивание легендарного Кей-Джамшида, чья гордыня не уступала его же мудрости, а мудрость была беспредельна:

Теперь шахиншах полновластный наш — ты,
Хоть солнце зашло, месяц ясный наш — ты.
Всю землю пусть воля твоя покорит,
А имя на арках дворцовых горит!

Мы ждали напрасно.

Шах исчез; и лишь из темной глубины пещеры эхом доносилось насмешливое блеянье.

Спустя неделю ожидания мы отправились домой.

...едва успев пересечь кабирские пределы, мы с Нахид окунулись в траур. Окна наместнических дворцов были занавешены синим атласом, меж дихкан царило смятение и растерянность, и хирбеды трижды на день возносили молитвы за упокой шаха Кей-Кобада.

Безвременно скончавшегося от старости.

— Когда умер шах? — спросил я у первого же гонца, которого узнал по лисьему малахаю. — Когда?!

Из ответа я выяснил, что великий шах умер больше двух месяцев тому назад, не покидая перед этим своего дворца.

Для нас с Нахид прошло около трех недель; для кабирцев — для них срок был совсем иным.

Вернувшись в столицу, я немедленно встретился с братьями-хирбедами. Многие из них были очевидцами похорон и в один голос утверждали: да, хоронили именно Кей-Кобада. Я посетил мавзолей владыки, долго стоял у гробницы... из углов насмехалась пыльная тьма.

Все вокруг честно похоронили владыку, все прекрасно помнили и заключения лекарей, и момент кончины, и траур; все прожили больше двух месяцев, день за днем, минуту за минутой...

Прожили?

Нет?

Тогда я впервые задумался об истинном и ложном.

Можно ли отыскать различие?.. наверное, нельзя.

Я оплакал Кей-Кобада и наш дерзкий замысел. Я велел Нахид молчать даже под пыткой; и она повиновалась. И когда из всех претендентов на фарр и трон остался один Суришар, его поехали сопровождать двое: я и Нахид.

Совет не стал возражать.

Мне хотелось вновь оказаться у пещеры Испытания. Мне все время казалось: умерший и оплаканный шах ждет нас там, ждет, еженощно мучаясь насмешкой Златого Овна... тщетные надежды. У пещеры никого не было, и Суришар вошел внутрь.

А вышел ты, мой будущий владыка; и я видел сияние вкруг твоего чела, как умеют это видеть лишь хирбеды высшего посвящения.

Я не рискнул противоречить воле фарр-ла-Кабир.

Замечу лишь, что входят в пещеру Испытания многие, а вы-

ходит — один. Никому не известно, куда деваются остальные и где отныне лежат их пути. Возможно, кто-то из предков моего нового владыки был отмечен благодатью фарра, и она сказалась в его потомке; возможно...

Возможно все.

Даже то, что невозможно.

Я понимаю: мои слова может подтвердить лишь Нахид, но, к сожалению, она теперь уже ничего не станет подтверждать.

Нет под горбатым небосводом суда, где рассматриваются свидетельства дэвов.

Вот он, здесь, в удивительном месте — бывший шах Кей-Кобад, заново посетивший пещеру Испытания, чтобы вместо обретения титула шахиншаха потерять свой собственный фарр!

Но и он ничего не сможет подтвердить: он безумен. Даже меня он не узнает и только таскается следом неотвязной тенью. Умоляет поговорить с вором, укравшим его фарр, умоляет вернуть прежнее имущество бедному уроду...

Мне жаль его.

Я не знал, что так бывает.

ГЛАВА 21,

исполненная стонов и воплей, мудрых раздумий и горьких терзаний, но от этого никак не проясняются правила игры в мейсир — когда игральные стрелки называются частями верблюжьей туши, после чего они мечутся с определенным смыслом и значением

1

— ...Потерять собственный фарр, надеясь его увеличить, — задумчиво повторил Абу-т-Тайиб. — Нет, не тревожься, мой бдительный Гургин! — меньше всего на свете мне хочется поменяться местами с Кей-Кобадом. Даже с Кей-Кобадом лучших времен, владыкой владык, которому даже в страшном сне не могла бы привидеться доля нынешнего «карлика». Мне претит участь венценосного раба при Златом Овне, заседланного мерина под рогатым седоком, — но участь безумца меня тем более не прельщает! И все же, все же... Если есть способ избавиться от сияющего проклятия Овна — то, быть может, есть и способ остаться при этом в своем уме? Ах, Кей-Кобад, гордый Кей-Кобад, скорый на решения и поступки! Будь в моих силах хоть на миг вернуть тебе ясность рассудка, чтобы ты рассказал... Ведь ты хотел совсем иного, нежели хочу я! Не в этом ли ответ? Что скажешь, хирбед?

— Я не знаю, где кроется ответ, мой шах. Но я на коленях

молю тебя: не иди путем Кей-Кобада! Это пагуба и ересь — тягаться со Златым Овном! Ты можешь пропасть, погибнуть, сойти с ума, как твой несчастный предшественник — а Кабир вновь покинет благодать Огня Небесного! Я не желаю зла ни тебе, ни своей стране...

— Верю. Но я — плохой шах! Меня тяготит шахский кулах и фарр, тяготит восторженная покорность моих подданных, покорность искренняя, честная и оттого еще более ненавистная! Знаешь, Гургин: там, откуда я пришел, я иногда втайне мечтал о венце султана или халифа — но я никогда не мог подумать, что этот венец мне вручат просто так, даром: садись и владей нами! Нет! Я не желаю подарков от какого-то барана, пусть хоть и трижды Златого! Свободный человек я не люблю, когда мне швыряют подачки — будь то кусок лепешки или диадема царя царей! И если в своих мечтах я надевал на голову венец владыки — в этих мечтах я всегда брал его сам! Понимаешь — сам! Своими руками и мечом! И никак иначе. Е рабб, ведь сто раз слышал от сказителей: юноша является в неведомый край, ему на плечо садится голубь или ворон — и местные жители мигом возводят юношу на трон! Слышал, смеялся, но никогда не мог себе представить весь ужас случившегося... Представил. Гургин, меня тошнит вашей сказкой!

Гургин угрюмо молчал. Понимал: спорить бесполезно. И даже не потому, что слово шаха — закон для подданных...

— Вышел бы из меня достойный правитель или не вышел — одному Аллаху ведомо; но не здесь, и не *так*. Мы чужие друг другу: я и мой фарр. Значит, рано или поздно, нам придется встать лицом к лицу... вернее, лицом к бараньей морде.

Поэт саркастически хмыкнул, видимо ясно представив себе эту замечательную встречу.

— Мы сойдемся на узкой дорожке. И дальше отправится восвояси лишь один; или оба — но в разные стороны. Впрочем, на такой исход я мало надеюсь!.. И еще, положа руку на сердце: боязно встречаться в темноте, вслепую. Ах, если бы Кей-Кобад хоть краешком намекнул мне, что случилось с ним там, в пещере Испытания! Проклятье! Я сам поговорю с ним! Мне удастся... обязательно удастся...

И, не договорив, Абу-т-Тайиб проворно вскочил на ноги.

— Как будет угодно повелителю, — развел руками Гургин. — Возможно, моему шаху удастся то, что не удалось глупому старому хирбеду.

Старец еще долго сидел и глядел вслед своему владыке.
Так, как будто видел его впервые.

2

«Карлика» Абу-т-Тайиб нашел в достаточно просторной и сухой пещере, указанной ему верным Дэвом. В шершавом сумраке теплился робкий огонек лучины, и огрызок света испуганно вздрогнул, едва в проходе возник силуэт незваного гостя.

Груда ветхих одеял на каменном выступе зашевелилась, и из ее глубин возникли борода и один глаз.

Борода была всклокоченная, а глаз — левый.

Голубой.

— Вор, — вяло сообщила борода. — Все украл. Больше ничего нету.

Борода с глазом вновь спрятались под одеялами, и оттуда послышалось то ли сопение, то ли всхлипы.

Абу-т-Тайиб с трудом заставил себя приблизиться к импровизированному ложу былого повелителя Кабира, к услугам которого были бесчисленные множества лож совсем иного свойства; вдобавок воняло в логове отставного шаха нестерпимо. Но иного выхода не было. Поэт присел рядом с ложем на корточки и, собравшись с духом (во всех смыслах), заговорил:

— Обижаешь, Кей-Кобад, не вор я. Скорее уж жертва, подобно тебе. Все у меня отняли, все, что имел, обобрали до нитки, а взамен твое тряпье всучили: фарр, и дворец, и гарем — век бы я этого добра не видел! Смотри, друг, брат, товарищ по несчастью: на колени перед тобой встал, винюсь — хоть и нет моей вины, а винюсь! Сегодня же с тобой местами поменялся бы, да не знаю — как? Подскажи, а?! Ведь без фарра не видать тебе дворцов с гаремами, как своих ушей; пропадешь ни за медный фельс, подобно бакылю-тупице... Что скажешь, шах?

И умолк в ожидании, будто дитя неразумное уговаривал.

Сопеть под одеялами перестали.

— Отдай! Отдай! Сейчас отдавай, ворюга! — глухо донеслось из-под одеял.

— Подскажи, как?!

Молчание.

— Ну, хочешь, во дворец пойдем? Еды прикажем натаскать, женщин привести? И все — тебе! Одному тебе! А ты только расскажешь...

Одеяла вихрем взметнулись к потолку пещеры, так что поэт, невольно отшатнувшись, чувствительно приложился к полу многострадальным крестцом.

— Пошли! — Кей-Кобад был уже на ногах и в нетерпении запрыгал вокруг Абу-т-Тайиба. — Пошли, ворюга! Сейчас!

— Сию минуту, — покладисто согласился поэт.

Однако у самого входа во дворец-пещеру произошла заминка. «Карлик», за минуту до этого гордо вышагивавший впереди поэта, вдруг взвизгнул, будто змеей ужаленный, и резво отпрыгнул за спину Абу-т-Тайиба.

— Нет! Ловушка! *Он* там! Опять! Опять есть будет!

— Кто? — недоуменно обернулся к нему Абу-т-Тайиб; и почти сразу до его слуха из глубины «дворца» донеслось приглушенное блеянье.

— Баран, что ли? — догадался поэт.

— Он! Золотой! Огнем жжет! Не хочу!

— А ну, приятель, будь мужчиной! — Ухватив бывшего шаха левой рукой за ворот (чтоб не сбежал), Абу-т-Тайиб правой потянул из ножен ятаган. — Вот мы его, рогатого!

Ятаган с раздражением взвизгнул, упираясь, но Абу-т-Тайиб пренебрег этим, как пренебрег и страхом «карлика»; и с клинком наголо двинулся вперед.

Если проклятый баран и угнездился во «дворце», то при появлении двух шахов успел куда-то спрятаться. Оглядевшись, Кей-Кобад вскоре успокоился. А когда по приказу Абу-т-Тайиба дэв-слуга расстарался насчет еды — здоровенное блюдо жареной требухи с неизменными лепешками — то «карлик» и вовсе забыл про страх, с жадным чавканьем набросившись на кушанье.

Огненными бабочками трепетали на стенах языки факелов, тьмой кромешной клубилась под потолком копоть, масляно отблескивали по углам медь и бронза — а посреди всего этого набивал рот горелыми потрохами бывший шах Кабира. Владыка, хотевший большего и потерявший все, отчего сейчас ему хватало для радости малого — незатейливой стряпни мазандеранцев. И сидел рядом, глядя на предшественника и не притрагиваясь к пище, словно был он в доме врага и за трапезой врага, владыка нынешний; и еще угрюмо молчал неподалеку исполинский черный трон. Кто восседал на нем в былые дни? Для каких великанов предназначался он, сгусток полированного мрака, пустующий сейчас...

Пустующий?

Как бы не так!

Кей-Кобад, оказывается, был не настолько поглощен едой, чтобы не замечать ничего вокруг. «Карлик» сразу уловил, как изменилось выражение лица нового шаха — и не замедлил проследить за его взглядом.

Глаза Кей-Кобада мгновенно полезли на лоб, безумец вскрикнул — и подавился, отчего лицо его мигом налилось опасной синевой.

На тигриной шкуре поверх трона вольготно разлегся давешний баран. И теперь Златой Овен с высокомерным неодобрением наблюдал за людьми, словно раздумывая: а не кликнуть ли стражу, не приказать ли вышвырнуть вон обоих наглецов?

— Ну ты, шаурма недорезанная! — изумился Абу-т-Тайиб, мимоходом хлопая Кей-Кобада по спине (еще задохнется и помрет ненароком!). — Совсем обнаглел, скотина!

Остатки требухи, секундой раньше вставшие безумцу поперек глотки, изверглись наружу вместе с громким кашлем; а

поэт не замедлил использовать кувшин, удачно подвернувшийся под руку, не по его прямому назначению.

Угодив промеж рогов, метательный снаряд разлетелся в черепки, а баран только обиженно бебекнул, соскочил с трона и поспешил укрыться в одном из боковых проходов.

— Лучше рассказывай по-хорошему, — решил поэт сменить подход к упрямому собеседнику. — Все, все рассказывай, до конца! А то ведь он от тебя не отстанет! Сам видишь. А вместе, глядишь, и придумаем что...

Он сам не верил в собственные слова. Ему было невыразимо стыдно обманывать несчастного, помочь которому в силах разве что Господь миров, — но Абу-т-Тайиб должен был знать: что стряслось с Кей-Кобадом в подлой пещере Испытания!

Как ни странно, угроза возымела действие.

Лицо безумца на какой-то миг приобрело почти осмысленное выражение; Кей-Кобад наморщил лоб, мучительно пытаясь собраться с мыслями.

— Темнота... — Уста «карлика» родили хрип, и Абу-т-Тайиб замер, стараясь не пропустить ни единого слова. — Свет... жжет! Бежать! Бежать! Не-е-ет! — заорал вдруг Кей-Кобад дурным голосом, заставив поэта подпрыгнуть от неожиданности.

— Не-е-ет!

И, обеими руками вцепившись в собственные волосы, безумец ринулся к выходу.

3

...позади остались края каменной чаши, подпирающие небо, источенные жилищами дэвов; позади остались серебристый плеск ручьев и чахлые огороды (отсюда они смотрелись драным лоскутным одеялом); позади осталась горная осыпь, которой, казалось, не будет конца — и под сбитые сапоги Абу-т-Тайиба, устав прятаться от назойливого бродяги и решив сдаться на его милость, легла узенькая тропинка.

Куда ведешь, тропа?

Какая разница, дуралей?! — иди, пока идется...

Поэт уходил.

В горы.

Куда глаза глядят.

На душе скребли шакалы и гадили в потаенные уголки, не пропуская даже самого укромного. Дерьмо, все дерьмо — и собственная душа, взятая под залог у Аллаха, тоже. Не хотелось никого видеть: ни старого мага, ни верного Худайбега, ни вечно смеющегося Утбу, ни почтительных уродов-мазандеранцев...

Хочу быть один! — вы слышите?!

Оди-и-ин!!!

И — не получалось.

От себя не уйдешь. От себя, своего проклятия и искаженного ужасом лица безумного Кей-Кобада, которое насмешливым призраком маячило впереди.

Закрой глаза — маячит.

Ослепни... не поможет.

Как же тебя выкрутили мокрой тряпкой, гордый шах, задумавший из барана стать волком, как же тебя измочалили, прежде чем заново вышвырнуть в мир из пещеры Испытания! Что сделал с тобой Златой Овен, прежде чем сорвать с чела сияющий ореол власти — вместе с твоим рассудком?!

Молчишь?

Не скажешь?

Теперь сам вижу — не скажешь. Ни мне, ни своему бывшему горе-советнику, и никому другому на этой грешной земле. Разве что Аллаху, когда предстанешь перед ним на Страшный Суд. Только Всеведущему ни к чему твои откровения — он и так знает все. А пока ты здесь, на земле, ты останешься всклокоченным безумцем, чей язык горазд лишь ерунду молоть да требуху облизывать...

И никто ничего уже не расскажет, не объяснит глупому поэту, не откроет глаза — поздно. Чего ты добился, несчастный? Узнал тайну «небоглазых»? Узнал. Радуйся! Пляши от счастья! Чем поможет тебе эта тайна? Вернуть прежнюю Нахид? Не дать Худайбегу окончательно превратиться в чудовище? Самому избавиться от клейма Златого Овна? Чего ты добился, прах земной? Хотел попасть в Мазандеран? — ты здесь. Пытался сбежать от поданного тебе на блюде Кабирского шахства? — в итоге тебе на блюде поплоше преподнесли страну дэвов. Где тебя тоже величают шахом и, дабы угодить, вышвыривают в рвань и темень несчастного юрода, лишая его последней радости в этой жизни.

А тайны?.. тайны остаются тайнами, и пора бы уже понять: хоть волком, хоть бараном, а придется идти, куда жизнь ведет!

Не хочешь?

Гордый?!

Ну и подавись своей гордостью...

* * *

Тропа вильнула хвостом, угловатая скала послушно уступила Абу-т-Тайибу дорогу, и поэт увидел, что дальше пути нет, и уступчивость скалы здесь ни при чем.

На тропе, словно восстав из-под земли, стояли четверо дэвов: рогатый исполин и трое приземистых громадин, об которых и носорогий зверь аль-каркадани с разбегу лоб расшибет.

— Дорогу! — зло ощерился поэт. — Дорогу их шахскому величию!

Он двинулся вперед, набычась и сжимая кулаки, — но дэвы, в отличие от покладистой скалы, отнюдь не спешили уступать дорогу их шахскому величию. Стояли, переминались с ноги на ногу, сотрясая твердь.

Молчали.

И не уходили.

— Оглохли, уроды?! Прочь!

Абу-т-Тайиб подступил вплотную к рогачу и недвусмысленно положил ладонь на рукоять ятагана.

— Назад ходи, — неожиданно тоненьким голоском проблеял местный шайтан. — Сюда нет. Назад.

— Ах ты, дитя блуда... — начал было Абу-т-Тайиб, до половины обнажая клинок; и вдруг осекся.

Ведь мечталось, до боли мечталось, меряя шагами покои кабирского дворца: эй, люди — оспорьте, возразите, ну хоть просто взгляда не отводите! Вот же оно! Открытое неповиновение! Да, конечно, дэвы — не люди... уже не люди — но не этого ли ты хотел, хотел едва ли не более страстно, чем свою первую женщину?! И едва желаемое возникло пред тобой, как ты впадаешь в ярость, хватаешься за ятаган... Или Златой Овен успел тайно проникнуть в твою душу, в твое сердце и разум, превратив их в собственный хлев, исподволь делая былого поэта шахом, владыкой до мозга костей, принимающим радостную покорность и бездумное раболепие как должное?!

Что с тобой, поэт?!

— Назад ходи, — тупо повторил рогач.

Абу-т-Тайиб пожал плечами и медленно побрел обратно. Подчиняться было легко и сладостно. Может быть, там, дальше, расположена какая-нибудь дэвская святыня? Капище? Запасы на зиму? Впрочем, важно другое: оказывается, дэвы не столь покорны шахской воле, как люди! Ну почему, почему тупые чудища способны на то, чего не могут обычные смертные?! Ах да, они же — «небоглазые»... бывшие. Уходить, уходить отсюда, уносить ноги, из Кабира, из Мазандерана, из нового бытия — в пещеру Испытания, в Медный город, в пустыню, под бархан, куда угодно!

Не могу больше!

До ушей Абу-т-Тайиба долетел шорох щебня, и поэт резко обернулся.

Дэвы тащились следом, держась шагах в тридцати позади.

— Да оставьте вы меня в покое! Я хочу побыть один! Один — понятно?! — рявкнул он и прибавил шагу, что на каменной осыпи, до которой он уже успел добраться, было весьма небезопасно.

Дэвы малость отстали, но продолжали следовать за ним.

И лишь когда осыпь кончилась, поэт, оглянувшись, не обнаружил за спиной молчаливой свиты. Или стражи? Кто его знает. Дэвы растворились в скалах, и на мгновение Абу-т-Тайибу почудилось: это ожившие утесы заступили ему путь там, на тропе, — а теперь вновь застыли в неподвижности, вернув себе прежний облик.

Из котловины слабо взметнулся чей-то голос, прянул в небо и почти сразу оборвался, сбитый влет.

Поэт остановился.

А там — побежал.

4

— Расскажи все, — тупо повторил дэв-стражник и потянулся за дымящейся головней. — Шах прикажи — расскажи все. Говорить.

И неловко ткнул головней в голый бок существа, привязанного к чинаре.

Пленник отчаянно закричал, на губах его выступила грязная пена; и он обмяк.

— Да что ж вы делаете, отродье ифритов?! Прекратить немедленно!

Абу-т-Тайиб буйволом расплескал толпу уродливых зрителей, мало заботясь о разнице в размерах и силе. Свистнул ятаган, с тупым стуком разрубив веревки и глубоко ранив старую чинару, после чего несчастный «карлик» без сознания свалился прямо на руки владыке Кабира и Мазандерана.

Поэт беспомощно огляделся и увидел спешащего к нему Гургина.

— Гургин! Вовремя ты! Тащи скорей воду, масло и чистую ткань!

— Уже несу, мой шах!

— Хорошо, займись этим бедолагой...

Окончательно убедившись, что пострадавший Кей-Кобад находится в надежных руках, Абу-т-Тайиб обвел собравшихся вокруг дэвов таким тяжелым взглядом, что великанов, казалось, должно было вогнать по пояс в землю.

— Зачем? — очень тихо спросил поэт.

От этого тихого голоса любого обычного человека продрал бы мороз по коже.

Однако шкура дэвов была куда толще обычной.

— Говорить не хотеть, цволачь! Мы пытай, — гордо заявил дэв-стражник, и на его плоской физиономии отразилось искреннее недоумение.

Мол, разве и так не понятно?

— Что он должен был сказать? — Ярость клокотала в груди, подступала к глотке, и поэт с трудом сдерживался, чтобы не выплеснуть ее наружу звериным рыком и стальным вихрем ятагана, рубящего в куски все и вся.

— Все. Все сказать, — уверенно ответствовал стражник.

— Что — все? — Ярость слегка отодвинулась, уступая место недоумению — едва ли менее искреннему, чем у стражника. — Что ты несешь, тупица?!

— Все. Шах дворец говори: «Рассказать все». По-хорошему проси, потрохами корми, с собой сажай. Цволачь не хотеть. «Не-е-ет!» кричать, — дэв говорил медленно, с трудом подбирая нужные слова. — Я на ухо ловкий, сам слышать. Я цволачь лови. Пытай. Чтоб говори все — как любимая шах хотела! Вот.

— Они хотели, как лучше, — еле слышно шепнул Гургин, покрывая ожоги несчастного зигировым маслом.

— Я понимаю, — таким же шепотом ответил магу поэт.

Дэвы стояли. Ждали. Чего? Может быть, благодарности за проявленное рвение?

— Не надо его больше пытать. Слышите? Не на-до! — как маленьким детям, по складам, произнес Абу-т-Тайиб, обращаясь к дэвам. — Идите. Мы сами справимся.

Дэв-стражник некоторое время еще топтался на месте и, так и не дождавшись похвалы, обиженно затрусил прочь.

Вслед за ним начали с явной неохотой расходиться остальные.

Поэт обернулся к Гургину.

— От меня одни беды, — горечь жгла грудь, спирала горло, насквозь пропитывала слова, перед тем как выплюнуть их наружу комками мокроты. — Я всем несу только зло. Рука Омара Резчика; молодой вор-чангир; хурги; жабьи выходки в Кабире; Нахид, ставшая из-за меня чудовищем; и вот теперь — безумец, у которого я отнял все! Хватит! Я был другим, не хорошим, не плохим; это проклятый фарр, да сожжет он сам себя, это поганый баран — вот кто сделал меня людоедом! Все, старик. Завтра мы уходим отсюда. Мы идем в пещеру Испытания! И будь что будет! Я больше не могу жить с этим!..

Унылое блеянье послышалось совсем рядом, и поэт, вертя головой, не сразу понял: блеет Кей-Кобад, так и не придя в сознание.

5

Солнце нежными пальцами огладило горбы дальнего хребта, белизну зубчатой гряды; и снег вершин, не в силах сдержать восторга, в ответ взорвался изнутри нежнейшим золотом, тихим

пламенем сердцевины. Небо стало еще прозрачнее, наливаясь отчаянной голубизной, лес на склонах встретил праздник ответными брызгами зелени, и бока утесов вплели в этот фейерверк свою, темно-бурую ноту.

Безудержная сила разлилась в воздухе — пей, мечтающий стать героем, черпай обеими горстями, пластай ломтями и набирай про запас, без стеснения!

Ну же!

* * *

— ...здесь, здесь он, родимый, — одышливо бормотал себе под нос Гургин, цепляясь за шершавый, весь в узлах и шишках ствол выродка-можжевельника; и минутой позже маг продолжил упорно карабкаться вверх по склону.

Впереди всех.

Следом за ним обезьяной прыгал ухмыляющийся своим грезам Утба, готовый в любой момент поддержать старого хирбеда, если тот вдруг оступится на крутизне. Тщетны старания, хург! — Гургин ни разу не оступился: кряхтел, бормотал всякую ерунду, но лез в гору с упрямством потомственного ишака.

— Где — здесь? — в очередной раз поинтересовался Абу-т-Тайиб, вытирая пот ладонью и шипя от боли: соленая влага разъедала ссадины. — Кто — здесь? Куда ты завел нас, Айван ибн-Сасан, проводник адов?!

— Здесь он, мой шах! Ал-Ребат, тайна из тайн, чье имя меж сведущими означает...

— Да знаю я, что означает Ал-Ребат! — взбунтовался поэт. — Уж получше тебя! Тебе-то откуда такие словечки известны?!

Ал-Ребат на родном языке поэта означало дословно «междуместье», то пространство, что лежало между стенами крепости, внутренней и внешней.

Промежуток, так сказать.

— Мне? — Маг выбрался на скальный уступ, сплошь поросший чахлой травой, но от вопроса шаха едва не свалился вниз. — Мне как раз ясно, откуда: я — хирбед... Точно, здесь. Чуешь, Худайбег?

— Чую, — согласно кивнул Дэв. — Здеся он, скорпион его закусай! Этот, который промеж, твое шахское...

И помог взобраться на уступ Нахид-дэви, с глупой улыбкой таращившейся по сторонам.

Разумеется, бросать в Мазандеране кого-либо из своих спутников поэт не собирался — да они бы и сами не остались. Даже Худайбег, доведись ему выбирать. А вот насчет Нахид... относительно бывшей хирбеди Абу-т-Тайиб долго колебался. Помочь

несчастной он вряд ли сможет; среди людей ей теперь не жить — а здесь, в Краю Дэвов, она по крайней мере своя! Оставить? Или все-таки надежда есть? Одному Аллаху ведомо, что случится, когда он во второй раз войдет в пещеру Испытания... Надеяться оставалось лишь на чудо — но разве не за чудом, пусть страшным, чуждым, непредсказуемым чудом, шел он, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби?

Разве не чудо все, случившееся со мной, беспутным рифмоплетом; и, клянусь бородой святого Хызра, не о таких чудесах молил я Господа миров!

Сомнения поэта неожиданно разрешил Гургин.

— Бери ее, мой шах, — уверенно заявил маг. — Лишний дэв нам очень даже понадобится.

— Зачем? — удивился Абу-т-Тайиб.

— Дорогу прокладывать, — буркнул Гургин, и поэт не стал пускаться в дальнейшие расспросы. Даже извинений за случайную грубость слушать не стал. Может быть, эта таинственная дорога завалена оползнем? Тогда дэвская сила Нахид действительно окажется кстати...

А тащить с собой местных исполинов поэт хотел меньше всего.

Выступили на рассвете, едва золотая кровь солнца легла на клыки южных вершин. Заспанная Нахид, поднятая Худайбегом прямо с убогого ложа, счастливо пялилась на вожделенного шаха и все старалась придвинуться к нему поближе, побыть рядом, чуть ли не потереться об поэта!

О своей недавней обиде она уже и не вспоминала, а о давней ненависти — и вовсе...

Абу-т-Тайиб же честно старался смотреть мимо бывшей хирбеди. Иначе перед внутренним взором чередой сменялось: что было и что стало! Оставалось лишь кусать губы от бессилия и остервенело карабкаться на склон.

Но, может быть...

Ради этого призрачного «может быть» они и лезли сейчас в гору в поисках загадочного Ал-Ребата.

Междуместья.

Промежутка.

Выхода к пещере Испытания.

6

Тупик.

Перед ними высилась скала — отвесная голая Башня Молчания, на верхушке которой еретики-огнепоклонники оставляют своих покойников на поживу стервятникам.

Стена без каких бы то ни было признаков расселины, пещеры или замурованного входа.

— Ну и? — Абу-т-Тайиб злобно полоснул мага взглядом, тщетно пытаясь сдержать кипящий вал бешенства. — Сим-Сим, откройся, это мы, сорок разбойников?!

Если б не почтение к сединам...

— Ал-Ребат здесь, мой шах! — Смущение было неведомо верховному хирбеду Кабира. — Сейчас начнем уговаривать. Я думаю, с двумя дэвами, если они возьмутся как следует... Помнишь ли ты ущелье, где Нахид устроила засаду? И ее бегство от преследования?

— Прямо через скалу?! — дошло наконец до Абу-т-Тайиба.

— Именно так, мой шах, именно так. Ну что ж, приступим.

Гургин отобрал у Утбы хурджин, извлек из него плоскую жаровенку в виде солнечного диска с лучами — правда, больше жаровенка походила на краба. И принялся разводить огонь, бормоча себе под нос разную чушь на неизвестном поэту языке. Прозрачными змейками закурился пряный дымок, робко потянулся к скале, как тянется к блуднице юноша, впервые ощутивший томление плоти; вот нежные пальцы тронули одежды из сланца и базальта, распахнули полы, лаская упругую кожу, сглаживая выступы и неровности; вот любовный пот заструился по телу скалы, копясь в заповедных островках мха, — скорее! откликнись! утоли!

О-о, надежда моя!

Дряхлый хирбед поднялся во весь рост, забормотал громче, вскрикивая весенним павлином; голос мага постепенно набирал силу...

Худайбег, словно завороженный, уставился на скалу, и Нахид-дэви последовала его примеру, ворча сытой львицей. Так они и стояли: высокий седой старец над пылающей жаровней — а по бокам два могучих дэва, плавя взглядами скалу-недотрогу. Очертания каменной шлюхи дрогнули от страха, чуждого горам, испытанного ими впервые; скала заколебалась — не подчиниться ли? — поплыла расслабленной наложницей в бассейне гарема, жадно вдыхая волшебный дымок, сама становясь дымом, туманом, дурманом...

Абу-т-Тайиб с Утбой невольно подались вперед. И в этот момент жаровня волчком отлетела в сторону, брызжа от злобы искрами и раскаленными угольками. Гургин осекся на полуслове, бывшая хирбеди и силач юз-баши разом отвернулись от скалы — что стряслось?! — и скала вздохнула с облегчением.

Тупик.

Мертвый тупик, и никаких туманов.

Блудница отказала.

Перед Гургином стоял давешний рогач-великан, явившийся

незваным прямо из второй скалы, рядом; и выпученные глаза со странной скорбью глядели на мага сверху вниз. Рогач постоял еще с минуту, затем подошел к скале Ал-Ребат и уселся перед ней на корточки, мыча песню без слов.

Но за минуту до песни... это он пнул ногой жаровенку.

Он.

— Что ж ты делаешь, шайтан рогатый! — Абу-т-Тайиб первым обрел дар речи. — Пшел отсюда, дубина!

Дэв замычал вдвое громче.

Гургин еле держался на ногах. Совершенно измотанный и опустошенный, он напоминал носильщика тяжестей после трудного дня; по лицу мага стекали капли пота, исчезая в темных ущельях морщин.

— Дозволь, твое шахское, я его?.. — с надеждой осведомился Худайбег.

— А я добавлю! — поддержал Дэва хург, удобнее перехватывая секиру.

Без всякого намека на улыбку.

Судя по всему, рогатому нахалу в ближайшее время могло не поздоровиться — если бы Гургин не разлепил спекшиеся губы:

— Не надо. У меня все равно... старый я, владыка. Силы на исходе. Завтра попробуем еще раз.

Абу-т-Тайиб смачно плюнул под ноги рогачу и выругался. В случайности поэт верил слабо, особенно в такие рогатые случайности, которые шляются за тобой тенью, дорогу перегораживают... жаровни пинают. Е рабб, в третий раз припрется — он, Абу-т-Тайиб, просто-напросто не станет удерживать Дэва с Утбой. Или... Как-никак вот такие, рогатые, здесь хозяева, и не стоит раздражать их без крайней надобности.

А сейчас — крайняя или нет?

Поэт подумал и решил, что нет.

Он погрозил рогачу кулаком и, не глядя на спутников, первым полез вниз по откосу.

Обратно, в долину.

ГЛАВА 7,

где дэвы всех мастей гурьбой бродят за шахом, их собратья мнут глину или носят воду, дед и внучка рассказывают поэту много интересного — а толку?

1

Весь оставшийся день Абу-т-Тайиб понуро мерил котловину вдоль и поперек.

В самом скверном расположении духа.

Гургина, к концу обратного пути буквально валившегося с ног, Дэв с Утбой под руки отвели во «дворец» — отъедаться и отсыпаться. А потом, видя, что шаху не до них, потихоньку убрались с глаз долой. Хотя поэт и подозревал: эта парочка наверняка крутится где-то поблизости. Подпоясавшись поясами служения и намотав чалмы верности, чтоб их... Пусть. На глаза не лезут, и хорошо. А за заботу — спасибо, конечно...

Зато местные дэвы то и дело увязывались следом — по одному, по двое, а порой и целой ватагой. Вначале Абу-т-Тайиб честно пытался отогнать жутких попутчиков, а потом махнул рукой: ходят — и ну их. Тем более что дэвы почтительно держались сзади, в разговоры не вступали и вообще всячески старались как можно меньше мозолить шаху глаза.

Что у них временами даже получалось.

Вот прицепились, отродья случайных связей! — не уставал дивиться поэт, но дивиться вскоре надоело. Тучи мрачных мыслей роились в мозгу, противно жужжа: «Ж-жиз-знь! Ж-жаж-жда ж-жиз-зни! Ж-жуть!..» — и, стараясь угомонить наглую свору, Абу-т-Тайиб занялся осмотром долины, в которой ему, судя по всему, придется задержаться еще на несколько дней.

Пока не оправится старый маг и они не попытаются снова открыть загадочный Ал-Ребат.

Вид мазандеранцев, занятых своими делами, тоже радовал глаз существенно меньше, чем «танец живота» в исполнении юной невольницы, но давал изрядную пищу размышлениям.

Да сами поглядите, чего зря ерзать...

Десятка два почти голых дэвов — все без особых «украшений» вроде рогов, крыльев или суставчатых лап, а облезлые хвосты не в счет! — в поте лица трудились на куцых огородах. Пололи, окучивали, разрыхляли, правили оградки. И в то же время близ огородов слонялось никак не меньшее количество откровенных бездельников, зато бездельников рогатых, крылатых и перепончатых.

Кстати, именно они и увязывались то и дело вслед за поэтом.

Из части пещер раздавался отчетливый стук. Наружу время от времени летела каменная крошка; не поленившись заглянуть в одно из таких жилищ, Абу-т-Тайиб обнаружил внутри двух дэвов-«огородников» — те мучили бугристый потолок теслами, вместо молотка колотя по обушку собственными кулаками. На полу, подстелив драную циновку, сидел широкоплечий урод в чешуе; фыркал и топорщил усы, каждый длиной в локоть.

Поглядев немного, поэт двинулся дальше.

Близ ручья, под навесом, за неказистым гончарным кругом пристроился еще один дэв. Работа у него явно не ладилась: мало того, что разболтанный круг водило из стороны в сторону, будто

пьяного гяура, — это еще полбеды, хороший гончар и на таком управится. Возможно, когда-то, в своей предыдущей жизни, дэв и был хорошим гончаром; но сейчас... Едва глина начинала приобретать некое подобие формы, как корявые пальцы дэва клещами цепляли заготовку — и вся работа шла насмарку. Дэв раздраженно хрюкал, отшвыривал прочь ни в чем не повинную глину, потом сидел истуканом, продолжая вращать ногой круг и глядя при этом в какую-то ему одному ведомую даль. Вздыхал, брал следующий кусок глины...

Абу-т-Тайиб приблизился. Его вдруг пронзила стрела любопытства: что мастерит бедолага? Поэт тихо встал за спиной гончара, наблюдая за работой. И, как ни странно, у дэва вскоре начало получаться! Пусть кривобокий, но в целом вполне приличный кувшин с широким горлом. Похоже, гончар и сам был крайне удивлен подобным успехом. С осторожностью ювелира он снял с круга готовый кувшин, поставил на плоский камень — и залюбовался своим творением, на время позабыв обо всем.

Поэт кашлянул.

Косматая голова повернулась, скрипнув позвонками шеи; и взгляд голубых глаз упал на Абу-т-Тайиба.

Мгновение — и вот дэв неуклюже растянулся у ног шаха.

— Моя твоя... шаха благодари очень!

— Да ладно, вставай!.. умелец. Только-только работа пошла — а ты тут брюхом камни протираешь... Трудись, говорю!

— Твоя правильный говори. Мудрый шаха! — Дэв встал, низко поклонился и с усердием принялся вертеть круг.

Здесь больше стоять не имело смысла... а где имело?!

Тянулись к ручью коренастые чудо-дэвицы; несли пустые бадьи и кувшины, возвращались обратно с полными. Их сестры и подруги собирали урожай на дальних огородах, а вон две старухи возятся с одеялами, когтями выдирая из складок насекомых.

Абу-т-Тайиб прикрыл глаза и постоял так, вслепую, пытаясь представить себе ту же картину. Но с одним отличием: вместо дэвов весь этот круговорот обыденности творили люди. Простые люди. Ведь все как у людей вроде...

Странное дело! В представленной им картине люди были четко разграничены: феллахи в пыльных одеждах занимались земледелием; поодаль прохаживалась стража — кожаные панцири, пики в руках... надсмотрщик бичом щелкает. Зато с женщинами вышла неувязочка: к ручью спускались сельские простушки рука об руку чуть ли не с султанскими женами: домотканая холстина и индийский кашемир, ковровые накидки и парча, шитая золотом...

А вот из-за скал выходит вереница гостей. Купцы? разбойники? — у всех в руках и на головах красуются тюки, хурджины, ларцы со всяким добром.

Все-таки: торговля или грабеж?

Абу-т-Тайиб открыл глаза — и в действительности увидел выбирающуюся из-за утесов вереницу исполинов, нагруженных разнообразной поклажей. Вот тебе и раз! Никак провидцем становлюсь?!

Дэвы местного каравана весьма смахивали на былых проводников к Мазандерану. Как их назвал тогда Худайбег? Добытчики? Похоже. Что ж это выходит: его, Абу-т-Тайиба, они тоже «добыли»?

А до него — безумного Кей-Кобада?

Встречаться с «добытчиками», даже для изучения добычи, мигом расхотелось — и Абу-т-Тайиб свернул на неприметную тропку, уходившую в заросли кизила. Впереди, за поворотом, он различил тонкую струйку дыма, уходящую в безветренное небо, — и двинулся туда. В конце концов, шах он или не шах?! Значит, вполне может посетить любого из своих подданных, дабы... Нет, никаких «дабы»! Для шахов и душегубов закон не писан...

Говорят, правда, что для дураков — тоже.

Вскоре тропа вывела поэта на поляну, скрытую от досужих взглядов кизиловыми деревцами. Под одним таким деревцем белела груда... груда... короче, в первое мгновение Абу-т-Тайиб решил, что это — снежный сугроб.

Именно из сугроба и ползла вверх сизая струйка, которую поэт заприметил еще с тропы.

А потом сугроб зашевелился — и на шаха из-под кустистых бровей уставились два прозрачно-голубых осколка неба.

* * *

— В гости пришел? Заходи, — еле ворочая языком, произнес старый Олмун-дэв.

2

Вблизи поэт сразу учуял знакомый запах гашиша — тот исходил из серебряного кальяна, покоившегося в косматых лапах Олмун-дэва. Тихо булькала вода в кальяне, запах дурмана смешивался с ароматом цветущего кизила, солнце грело, как греет душу удачно сложенный стих, — райские кущи, да и только. Только гурий не хватает! Да и то: даром гарему простаивать? — сейчас кликнем...

Поэт тщетно пытался выдавить улыбку.

Шерстяной сугроб по имени Олмун-дэв долго молчал, время от времени вдыхая дурманящий дым.

— Ты ее не гони. Тебе с ней хорошо. Будет. Хорошо... — проговорил он наконец, с трудом возвращаясь на грешную землю из своих высей.

— Кого — ее? — не сразу понял Абу-т-Тайиб, сразу подумав о Нахид и внутренне содрогнувшись.

— Внучку мою. Фарангис, — сейчас дэв говорил правильно, медленно и старательно произнося слова. Только паузы делал не всегда там, где надо. Но от курильщика гашиша трудно ожидать красноречия, даже не будь он мазандеранцем.

— Внучку?!

— Да, шах. Внучку. Это я ее к тебе. Послал. Да она и сама. Была. Не против.

Казалось, голос Олмун-дэва доносится издалека, из облаков покоя и блаженства, где он сейчас пребывал.

— Пусть к тебе. Поближе будет. Ей — надо.

— Да я, в общем, и не против, — зардевшись, как юноша, чего с ним уже давно не случалось, сдавленно ответил поэт. — Если только она сама не откажется. Зачем ей я?

Лицо горело, и было трудно не переминаться с ноги на ногу.

Чудеса!

— Ты ей. Понравился. Свет. От тебя. Может быть. Дети будут, — Олмун-дэв снова на некоторое время замолчал, окутавшись гашишным дымом. — Пока ты здесь. Всем хорошо. Дэвам. Если Фарангис. Рядом будет. Человеком останется. Совсем хорошо. Облака. Летят. Летят. Хорошо. Хочу туда... хочу.

Голубые глаза затянула туманная поволока, и только сейчас поэт до конца понял, наколько точное это слово — «небоглазый». Олмун-дэв был там, в вышине, слившись с лазурной далью, — и плыл вместе с пуховыми лебедями облаков, такой же снежно-белый и свободный от всего земного.

Потом осмысленное выражение вновь возникло во взгляде старого дэва. И поэт задал вопрос, который давно жег ему язык:

— Почему вы цепляетесь за меня? Почему, Олмун? Ведь вы — «небоглазые», и фарр для вас — пустой звук! Зачем я вам нужен? Дэвы липнут ко мне голодными мухами, ты послал Фарангис на мое ложе... Зачем вам, изгоям, шах?

— Не понимаешь... — нараспев протянул старик. — Хорошо. Я скажу. Ты видел нас. Дэвов. Какие мы. А ведь раньше. Мы были — люди. Как все. Только глаза другие. А теперь... Мы глупеем, шах! Мы — ладно. Плевать. Наши дети. Дэвтаги. Они родятся обычными. Многие умирают. Многие. Очень. Но потом. Те, кто выжил. Лет с тринадцати... У Фарангис шерсть появилась. Совсем недавно. Скоро у нее будет. Шерсть. Как у меня. И она станет дурой. Совсем. Я не хочу. Внучка. И другие — тоже. Плохо.

Душа... болит. Гашиш. Помогает. Ненадолго. Думаю лучше. Когда курю. У людей наоборот. А у дэвов...

Он жадно припал к черному, прокуренному мундштуку кальяна и сделал глубокую затяжку. Тучи набежали на небо в глазницах дэва, но поэт терпеливо ждал его возвращения из царства грез.

— Тяжко... возвращаться, — пробормотал наконец старик, с усилием приходя в себя. — От тебя — свет. «Небоглазые» не видят. Люди. Дэвы — могут. Не все. Этот свет... лекарь. Лекарь разуму, о шах! — Во взоре Олмун-дэва полыхнуло яростное отчаяние, и призрак дикой, невозможной надежды. — Разум — рядом с тобой! Душа — рядом! Ты нужен нам! Мы хотим быть людьми! Людьми, а не чудищами!

Абу-т-Тайиб мимоходом отметил, что речь Олмун-дэва становится более гладкой — неужели действительно благодаря его присутствию?!

— А те, кто моложе... наши дети, внуки... они вообще могут. Не стать дэвами! Остаться людьми. Или почти. Людьми. Как Фарангис. Она была умная. Очень. Для внучки дэва. Мне больно смотреть на это, шах! Но я ничего не могу сделать. Сам. Гашиш помогает. На время. А потом — опять. И тут пришел ты. С твоим светом, который лечит. Ты нужен нам, шах! Если у Фарангис будет ребенок... от тебя. Он будет человеком! И у него будет свет! Он будет светить нам всем. Так было когда-то здесь, очень давно... пока не явился Меднотелый! И Фарангис... она останется человеком, с тобой. Совсем. Вчера и сегодня она была почти прежней! Не гони ее, шах!.. молю... облака... облака... хочу...

* * *

Старый дэв с кальяном давно остался позади, на поляне, вновь уйдя в свои заоблачные выси, а Абу-т-Тайиб все брел, не разбирая дороги, и мельничные жернова в его мозгу крутились быстрей и быстрей, перетирая зерно мыслей в муку отчаяния.

Значит, он несет не только зло? Значит, дэвы любят его отнюдь не по велению Златого Овна? Оказывается, сияние фарра целебно не для него одного...

Неужели — правда?

Но ведь это фарр-ла-Кабир, Златой Овен, сделал «небоглазых»-отступников такими, какими они стали! И что теперь? Остаться здесь, пытаясь помочь этим... людям? дэвам? По ночам любить Фарангис, а днем бездумно бродить по Мазандерану, не обращая внимания на плетущихся следом уродов, понимая теперь — в чем смысл...

Аллах, дай силы! Посвятить остаток (возможно, еще очень большой остаток!) жизни бескорыстному самоотречению?!

Нет, он не святой в дырявом плаще-хырке и не подвижник, бичующий себя проволочной плетью! Он поэт и бродяга, через год он просто рехнется в этой дыре, и никакие благочестивые размышления о долге, пользе и помощи ближнему не удержат мятежный рассудок в темнице черепа — как не удержат его самого в пещерном городе под названием Мазандеран!

Да, ему жаль этих несчастных, да, он хотел бы помочь им, но никому не дано стать выше себя! Жить растением, полезным растением, дуреть от скуки и понемногу сходить с ума — увольте! Рано или поздно он все равно не выдержит — так не лучше ли сделать это сразу, пока зыбучий песок равнодушия ко всему на свете еще не поглотил его мятущуюся душу?!

О Аллах! Вразуми и наставь на путь истинный непутевого раба твоего!

Да, он уйдет, уйдет, как только старый маг оправится и откроет свой Ал-Ребат. Уйдет к пещере Испытания — и будь что будет. Может быть... может быть, Олмун-дэв окажется прав, у Фарангис родится ребенок с фарром, и тогда...

Поэт понимал, что лжет самому себе, но другого выхода не было.

Это была жизнь с чужого плеча; это вновь был подарок, искушение, милостыня...

Абу-т-Тайиб хотел брать сам.

3

— Это ты, Фарангис?

Шелковистая шерстка под ладонью, упругое тепло приникает к боку, тонкие руки, которые тут же начинают осторожно двигаться под одеялом...

— Да, это я, мой шах.

— Не называй меня так. Зови по имени — Абу-т-Тайиб.

— Разве у шахов бывают имена?

— Бывают, Фарангис.

— Странно, — руки девушки на миг останавливаются; два теплых щенка, тычущихся в бок матери. — Тот, другой, требовал, чтобы я звала его только «мой шах». Или, в крайнем случае, «мой повелитель»...

— Кей-Кобад?! — Абу-т-Тайиб резко сел. — Ты была с ним?!

— Была, мой... была, Абу-т-Тайиб. Олмун-дэв сказал: так надо. И еще я очень боялась... боялась стать такой, как все! Ты не прогонишь меня?

Тревога. Тревога и ожидание в дрогнувшем голосе. Девушка, почти девочка, — согласная пойти на все, лишь бы не превратиться в тупое чудовище!

— Что ты, Фарангис! Нет, конечно, — вздохнув, поэт вновь

опускается на ложе и мягко привлекает внучку Олмун-дэва к себе.

А потом они еще долго лежали рядом, блуждая между сном и явью, и поэт успел подумать: «Зря, зря говорят, будто нельзя дважды войти в одну и ту же реку... глупцы». Но едва он улыбнулся собственным мыслям, как ощущение сказочности происходящего исчезло, и поэт застонал от грубого явления реальности, словно от приступа зубной боли. Скоро он покинет Мазандеран, и эта девушка волей-неволей начнет спуск в общую пропасть, станет обычной самкой дэва... такой, как Нахид. И важно ли, что не появись он здесь, роковые изменения случились бы еще раньше?! — нет, это неважно.

Е рабб, он дал ей надежду — а теперь уходит, забирая надежду с собой!

— Что с тобой? Тебе плохо?... Абу-т-Тайиб!

Соврать?

Промолчать?

— Скоро я уйду, Фарангис. Мне очень жаль, но я не могу остаться.

— Ты останешься. Тебе не уйти отсюда, мой шах. — Поэт не видел в темноте лица девушки, но голос прекрасно выражал все то, что Фарангис и не пыталась скрывать: искреннее сочувствие и столь же искреннюю радость, что шах останется с ней!

— Почему? — Поэт удивленно приподнялся на локте.

— Тебя не выпустят.

— Кто? Дэвы?

— Дэвы. Стоголовый, Следящий и их подручные.

— Погоди-погоди! — Остатки дремы упорхнули с век всполошенными голубями. — Следящий — это такой длинный... с бараньими рогами?

— Нет, это Стоголовый. У Следящего — крылья.

— Стоголовый? Башка-то у него вроде одна...

Тихий смех, хрустальные колокольчики во тьме.

— Голова у него одна. Но ему подчиняется сотня других дэвов. Бойцов.

— А, юз-баши!.. ну да, это, собственно, и значит «голова сотни». Сотник, значит. Стоголовый... Он еще сегодня утром жаровню Гургину перевернул! Выходит, это было не случайно?!

— Не случайно. Ты нужен дэвам. И останешься здесь.

Абу-т-Тайиб тут же вспомнил четверку мазандеранцев, заступивших ему тропу и отказавшихся выполнить приказ.

Фарангис правильно поняла его замешательство.

— Здесь, в Мазандеране, они сделают все, чтобы тебе было хорошо. Работники будут служить тебе, добытчики принесут все, что ты захочешь. Если сумеют, конечно. Бойцы будут защищать тебя до последнего вздоха; женщины — ублажать. Но уйти... уйти тебе не дадут. Так хочет Олмун-дэв. И так хотят все.

— Олмун-дэв? Твой дед? Он здесь правит?

— Нет. Просто дедушка — самый умный. И знает, как надо.

— А если попробовать договориться с твоим умным дедушкой? — Поэт еще надеялся решить дело миром.

— Он не согласится. Ты нужен здесь. Нам всем.

Фарангис отвернулась, и они долго молчали.

— И все же я попробую, — медленно проговорил наконец Абу-т-Тайиб. — Прости, девочка, — я не могу остаться. Это не моя жизнь; понимаешь, Фарангис?

Она плакала почти беззвучно — и у поэта впервые не нашлось слов.

Любые слова здесь казались орудиями пытки.

4

...На этот раз Худайбег, не слушая возражений хирбеда, усадил Гургина себе на закорки, чтобы сберечь его силы. Они им еще понадобятся, эти скудные стариковские силы! Нахид сама вызвалась тащить хурджин с жаровней и всем остальным, что могло понадобиться при открывании Ал-Ребата. Она дважды пыталась заговорить то со своим учителем, то с Абу-т-Тайибом, — но вскоре, отчаявшись связать больше трех слов, умолкала. И все же это была не та Нахид, которая с воплем выбежала из «тронной залы» Мазандерана, отвергнутая поэтом. Исподволь, нехотя, ворча и сопротивляясь, разум вновь просыпался в ней, и взгляд Красной Дэвицы становился осмысленней.

Еще неделя-другая, проведенная рядом с шахом... не проснется ли вместе с разумом и былая ненависть?!

Абу-т-Тайиб запретил себе думать об этом.

Мелкий щебень выскальзывал из-под ног и шуршал по склону, уносясь вниз; край скалистой площадки, где они в прошлый раз пытались открыть Ал-Ребат, приближался медленно, но верно.

Еще немного — и...

Их ждали. Стоголовый, угрюмо набычившись, стоял прямо напротив, и за его спиной корячились громады все тех же (или других?) исполинов, которые уже однажды заступили Абу-т-Тайибу путь в горах.

— Уходите! — Это слово произнесли одновременно двое: Стоголовый и Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

— Эй, твое шахское? Может, их тово... копьецом? — громко зашептал на ухо поэту Худайбег, ссаживая на землю мага.

Убивать не хотелось. Но есть ли иной выход? Поэт прикинул возможности обеих сторон. «Нет, не осилим, — пришел он к

малоутешительному выводу. — А если и осилим, то кого-то потеряем. Меня эти красавцы не тронут, зато остальных...»

Мостить дорогу из Мазандерана трупами друзей?! У шаха не бывает друзей! Не бывает?! Врешь, Гургин, врешь, Баркук-Харзиец! Вот они, мои друзья, стоят рядом со мной! И я не дам им лечь в могилы ради моих прихотей! Я — плохой шах?.. да, плохой. Никудышный. Златой Овен ошибся в выборе. Настоящий Кей-Бахрам фарр-ла-Кабир послал бы любого на смерть, не задумываясь! Но почему же я тогда молчу?! Ведь Худайбег сейчас решит, что я согласен, и...

Уже решил!

Горло сковал спазм, челюсти окостенели, не желая раздвигаться, язык намертво присох к небу, рождая лишь дурацкое блеянье. Грудь вздымалась все чаще, воздуха не хватало — какой там крик, продышаться бы всласть... всласть... всласть... власть!

Не вставший на колени — стану ль ждать чужих молений? Не прощавший оскорблений — буду ль гордыми прощен?! Тот, в чьем сердце — ад пустыни, в море бедствий не остынет, раскаленная гордыня служит сильному плащом!..

— Назад, Дэв! Назад!

Хриплый рык отшвырнул прочь Худайбега, уже готового броситься на Стоголового.

— Назад, я сказал! Не трогать их! Уходим...

Горло жгло, как если бы оно отведало расплавленного олова: смертельно. Проклятый баран, проклятый фарр проклятой страны — что же вы все со мной делаете?!!

Ведь еще немного... е рабб!

* * *

— ...Хочешь, я почитаю тебе стихи?

— Стихи? — Восторг и удивление вспыхивают в ее голосе, переливаются искристым серебром на солнце. — Конечно, хочу! А что это такое — стихи?

— Если б я знал это сам, Фарангис!.. тем паче я никогда не был силен в любовной лирике...

Слова пришли сами.

Ты стоишь передо мною, схожа с полною луною,
С долгожданною весною, — я молчу, немея.

Дар судьбы, динар случайный, ветра поцелуй прощальный,
Отблеск вечности печальный — я молчу, не смея.

Пусть полны глаза слезами, где упрек безмолвный замер, —
Я молчу, и мне терзает душу жало змея.

Заперта моя темница, и напрасно воля мнится —
Не прорваться, не пробиться... О, молчу в тюрьме я!

Ты стоишь передо мною покоренною страною —
Укрощенным сатаною мучаюсь во тьме я!

Отвернись, уйди, исчезни, дай опять привыкнуть к бездне,
Где здоровье — вид болезни, лук стрелы прямее,

Блуд невинностью зовется, бойня — честью полководца...
Пусть на части сердце рвется — я молчу. Я медлю.

— ...это стихи? — Фарангис очень осторожно погладила поэта по плечу. — Твои стихи?

— Увы, мои. Я же говорю: лирика мне не дается.

— Ты все равно уйдешь, — неожиданно звякнуло серебро. — Я знаю. И никакой Стоголовый тебя не удержит. И я не удержу...

Тишина.

— Если бы ты знала, девочка... Ты держишь меня тут куда сильнее, чем дюжина Стоголовых! Да, я уйду. Рано или поздно. Но пока я здесь, с тобой, и к чему жить будущим?! Хочешь еще стихов? Веселых, как ветер над рекой? Буйных, как табун в степи?! Хочешь?!

— Да!..

— Тогда слушай...

5

— ...Есть другой Ал-Ребат, точно есть! Чувствую я его! — бормотал себе под нос Гургин, резво перебирая ногами и бросая по сторонам короткие острые взгляды — словно ножами швырялся.

Волоски на знаменитой бородавке мага воинственно топорщились.

— А ты, Худайбег, тоже чуешь? — интересовался Абу-т-Тайиб. Все-таки одна голова, пускай хирбедова — хорошо; а две, особенно когда вторая — Дэвова, с его нюхом на Ал-Ребаты — куда как лучше!

— Чую, твое шахское, чую, — отвечал в сотый раз Худайбег. — Куда надо идем, это уж точно!

Торчали из расщелин сухие руки корней, не нашедших опоры, словно лапы добровольных тюремщиков: стой! ухвачу! сволоку в пропасть! Обломки скал псами бросались под ноги, грозно выл ветер, налетая сбоку и норовя ударить, больно зацепить крылом, сбить дыхание — казалось, сами горы не желают выпускать беглецов из своей утробы.

Но они шли.

Осыпи, предательские откосы текут реками щебня, тропа петляет, двоится, троится, издеваясь, — но две шахские собаки, большая и маленькая, безошибочно отыскивают путь в горном лабиринте, углубляясь все дальше и дальше в каменный хаос, уходя, уходя прочь от Мазандерана!

Абу-т-Тайиб едва не убил себя за подлую мысль о «шахских собаках»; и еще долго брел, стараясь не думать вовсе ни о чем.

Гургин резко останавливается, и ойкает Утба, едва не сбив с ног старого хирбеда.

— Удача, мой шах, — скупая улыбка мага похожа на милостыню скряги. — Этот Ал-Ребат — не в скале. Вот он, перед нами.

— Угу, — согласно кивает Дэв.

И даже Нахид бурчит невнятицу, тыча перед собой мосластым пальцем.

Поэт смотрит туда, куда указывает Гургин. Ничего особенного. Узкая расселина, след от удара меча Джибраиля, развалила ближний утес пополам. В расселину вполне может пройти человек — а то и дэв.

Во всяком случае, Худайбег с Нахид наверняка пройдут.

По другую сторону расселины видны камни, каких везде — хоть горстями греби!.. и взъерошенные пучки травы упрямо лезут в щели. Тропа огибает утес, скорее всего продолжаясь там, по другую его сторону, у выхода из расселины.

— Ну так... пошли, что ли? — неуверенно бросает поэт и замолкает, устыдясь надежды в собственном голосе.

— Двое, — маг шепчет это на ухо, и шепот старца горячей кипятка, — двое дэвов нас всех не потянут, мой шах! Чтобы уйти вместе — нужен ритуал открытия.

— Но ведь сами дэвы ходят по твоим Ал-Ребатам, как по базарной площади! Ну, скалу заколдовать (при этом слове Гургин морщится), это еще понятно, а тут — дыра дырой...

— И мы выйдем из дыры по ту сторону утеса. Не более и не менее. А так может посчастливиться выйти к перевалу Баррах. Оттуда до пещеры Испытания уже рукой подать. Нельзя терять, не приобретая, мой шах! И наоборот. Это закон, хоть для людей, хоть для дэвов. Последние, например, без усилий отыскивают и используют Ал-Ребаты, даже не замечая этого. Поэтому ловить дэва в горах или пустынях — дело безнадежное... Если только он сам не захочет послужить тебе проводником. Но я уже сказал, мой шах: два дэва не свезут нас троих!.. да и Худайбег, к счастью, еще не совсем...

— Я понял, — угрюмо кивает Абу-т-Тайиб.

Нахид тем временем, сосредоточенно сопя, уже развязывает завязки жреческого хурджина. Пальцы упрямятся, противятся воле бывшей хирбеди, но вот бунт подавлен, и на свет является знакомая жаровня, огниво, бруски ароматного дерева... над всеми этими сокровищами парит улыбка Нахид, дерзкая улыбка, которой не место на чудовищной морде.

Ястреб кричит в небе; и бьются в припадках восторга цикады, рискуя охрипнуть.

— Здесь легче будет, — оборачивается к поэту маг, минутой ранее присевший у жаровни на корточки. — Не скала — дыра, как справедливо заметил мудрый владыка...

И, забыв обо всем, начинает возиться с огнивом. Пока Абу-т-Тайиб думает, что в последнее время слишком часто подозревает своего наиглавнейшего советника в скрытом издевательстве, над жаровней начинает куриться легкий дымок. Гургин вовсю бормочет заклинания, и на этот раз Стоголовый все-таки проморгал их побег, что хорошо, отлично, прекрасно и замечатель...

Уши мгновенно закладывает от дикого, оглушительного вопля, заполнившего мир, что называется, от Тельца до Рыбы. Вскрикнув от боли и зажав уши ладонями, поэт оборачивается. Шагах в пятидесяти позади них на тропе стоят старые знакомые: Стоголовый, трое его дружков, а рядом раскорячился мохнатый бурдюк на кривых ножках. Бурдюк пыжится, топырит космы, раздувается жабой в предчувствии ливня — и кошмарный звук вновь обрушивается на многострадальные горы.

Дэв Вайдос!

Оказывается, у рогатого сотника в запасе имелся еще один способ, как остановить беглецов!

Гургин шевелит белыми губами и беспомощно начинает ковыряться пальцем в ухе.

У ног мага медленно гаснет жаровня.

* * *

Абу-т-Тайиб потерял счет дням, в течение которых бесцельно бродил по долине, сопровождаемый почтительным эскортом дэвов; потерял счет ночам, когда любовные ласки перемежались рвущимися наружу бейтами — странными, грустными и пронзительными, так не похожими на обычные строки поэта; потерял счет тщетным потугам уйти, вырваться из каменного мешка. В память отчетливо врезался лишь один случай: когда, озверев после очередной неудачи, он отшвырнул в сторону рвавшихся в бой Худайбега с Утбой и наотмашь рубанул проклятого рогача своим ятаганом. Сталь до кости рассекла подставленную под удар лапу дэва — и тот стал сосредоточенно зализывать рану длинным шершавым языком. Пытаясь унять кровь, что темным потоком хлынула наружу, Стоголовый глядел на рассвирепевшего шаха сверху вниз, глядел грустно, заранее прощая; и в голубых глазах дэва стояли печаль и понимание.

У Абу-т-Тайиба опустились руки.

А еще он помнил, как однажды утром к нему подошел его «пятнадцатилетний курбаши» и, с трудом подбирая слова, заговорил:

— Я тут тово, твое шахское... думал я, вот. Долго думал. Не

выпустят они тебя. А сам я тебя не выведу, хоть пуп надорви! Даже с махонькой... с Нахид. Вот ежели б я... тово... совсем дэвом стал, как они... Тогда бы смог, наверное. Только ты не серчай, твое шахское. Ежели я совсем дэвом сделаюсь... я тебя тоже отсель не пущу. Голова совсем дурной станет. Забуду все. Так что я уж лучше как сейчас. С тобой то есть, вместе. Чтоб не совсем тово... Вот.

Выхода не было, и поэт это уже понял, но, скорее по привычке, от безнадежности и неумения сдаваться, раз за разом повторял свои бесплодные попытки. Он почти смирился — но не хотел признаваться в этом даже самому себе.

И, значит, еще не смирился до конца.

6

В тот раз Утба и Нахид не пошли с ними. Хург с самого начала разрывался на части, утешая местных невольниц, притащенных дэвами-добытчиками со всех обитаемых четвертей земного круга. К немалой радости бедняжек: одни чудища вокруг, бугаи несытые, а тут в кои-то веки сын Адама! Свободное же время веселый Утба посвящал утешению коренных мазандеранок, в чем также преуспел. А бывшая хирбеди просто куда-то запропастилась, и искать ее не стали. Все равно сегодня побег не предвиделся. Шли вроде бы без дела, прогуляться втроем: Абу-т-Тайиб, Гургин и Худайбег. Хотя на самом деле «прогулка» их имела подспудный смысл: вчера вечером старец шепнул поэту, что он, кажется, нащупал еще один Ал-Ребат. И открыться сие «междуместье» должно вроде бы полегче. Но соваться наобум глупей глупого, лучше сначала разведать, что да как, изучить путь — и тогда, ночью, тайком...

Маг был многословен и бодр, отчего Абу-т-Тайибу становилось вдвое тоскливей.

Хоть передо мной-то не притворяйся, колдун колчерукий!..

Позади брели вразвалочку пятеро дэвов-стражей. Рогатого сотника с ними не было, но Абу-т-Тайиб не сомневался, что и этой пятерки достанет в случае чего сорвать им побег. Ну и тащитесь, дети мятежа, шайтан с вами!.. все равно ведь не отвяжетесь!

— Вот здесь, мой шах, — Гургин остановился напротив грота, потолок которого украшали, сочась влагой, сосульки сталактитов. — Верно, Худайбег?

— Угу, — Худайбег задумчиво вертел в лапах свою «Сестру Тарана» и словно прислушивался к чему-то.

— Совсем прямой Ал-Ребат! — с натужной радостью сообщил маг. — Ай, какой прямой — хоть босиком ходи!

Фальшивая бодрость старика, равно как и ухватки рыночного зазывалы, совсем вогнали поэта в тоску.

А знакомый вопль, эхом раскатившийся по горам, — в глухоту; и лишь изрядное расстояние до чинары с Вайдосом отчасти сберегло на этот раз уши путников.

— Стряслось чего-то, — буркнул Худайбег. — Народ кличет.

— Ну и пусть хоть разорвется! — не сдержался поэт. — Лишь бы не по наши души...

Он обернулся — и застыл, не веря своим глазам. Тропа позади была пуста, только где-то за поворотом удалялся топот пяти пар исполинских ног.

— Ушли... — выдавил Абу-т-Тайиб; и тут до него дошло, что это значит.

Путь свободен!

— Гургин! Мудрец ты мой любимый! Открывай Ал-Ребат! Скорее! — срывающимся от волнения голосом закричал поэт, будто собираясь соперничать с Вайдосом.

Вялость и безразличие, свившие гнездо в его сердце, стрелой улетели прочь.

— Жаровня... Огниво... Священное дерево... — выдавил Гургин, разом растеряв всю бодрость. — Мой шах, ведь...

— Здесь оно! — радостно гаркнул Худайбег, скидывая с плеча хурджин и, не справясь с завязками, попросту разорвал их. — Здесь, говорю!

И зарделся, когда шах Кабира ухватил его за уши и звонко расцеловал в обе щеки.

Старик торопился, словно за ним гналась свора шайтанов. Нетерпеливое возбуждение шаха передалось всем. Жаровню раздули в считанные минуты, и тогда Гургин, разом успокоившись, взял себя в руки — сказывался опыт, приобретенный жрецом за его долгую жизнь. Он принялся читать свои заклинания, а рядом с ним могучий юз-баши плавил взглядом кромешную тьму грота.

Наконец маг умолк, и в воздухе повисла гулкая тишина; лишь потрескивала жаровня, да тяжело сопел Дэв.

В гроте насмешливо стучала капель.

— Ал-Ребат открыт, мой шах, — голос Гургина звенел от напряжения. — Мы можем идти, если шах желает.

— Шах желает! — Поэт еще подумал, что такого разочарования не перенесет. — Скорей!

Худайбег голой рукой подхватил с земли раскаленную жаровню и первым шагнул в темноту. Абу-т-Тайиб, не колеблясь, последовал за ним.

Шаг.

Другой.

На третьем шаге мир мигнул — и по глазам полоснуло солнце.

— Мы на перевале Баррах! — торжественно объявил Гургин, возникая позади поэта прямо из воздуха.

Бескрайняя синь горного неба раскинулась над головой, сколько хватало взгляда, вниз убегала каменистая змея тропы, на горизонте белела снежная вершина Тау-Кешт, а по правую руку в глубокой долине раскинулся город.

Медный город — его Абу-т-Тайиб узнал сразу.

— Ты, твое шахское, брось, — бормотнул рядом Худайбег, — брось это дело... ишь, вздумал, плакать-то...

* * *

— Е рабб! Тысяча шайтанов! О Аллах, прости мой скверный язык! Мы не можем оставить там хурга и Нахид!

«И Фарангис! — мысленно добавил поэт. — Надо было забрать и ее! Ведь если она все время будет рядом...»

— Проклятье! Я возвращаюсь за ними!

— Опомнитесь, мой шах! — Старик был близок к истерике. — Пошлите за ними вашего юз-баши!

— Меня пошли, твое шахское! Я их приведу! — Верный Дэв грохнул в грудь кулачищем.

— Ведь им нужен именно шах, его фарр! — Хирбед уговаривал упрямого владыку, как ребенка. — А Худайбега никто удерживать не станет! На кой он им?!

— На кой я им?! — еще один удар кулака в грудь.

Умом поэт понимал, что Гургин совершенно прав, что надо отправить в Мазандеран одного Дэва, а Нахид вообще лучше никуда не забирать...

Мучило другое: что, если Худайбег, оторванный от него и его фарра, начнет стремительно превращаться в чудовище? Что, если он забудет все и вся, навеки оставшись в каменной ловушке Мазандерана?! А вместе с ним — Утба, Нахид... Фарангис!

— Прости меня, Гургин. Я уже говорил тебе, что я — плохой шах. Там, где любой правитель отправил бы вперед слугу, мне проще идти самому.

— Ага, разогнался! — В отчаянии Дэв совсем забыл, кто есть кто. — Сам он пойдет... без меня никуда — понял, твое шахское? И не надейся!

В эту минуту «пятнадцатилетний курбаши» был до невозможности похож на Стоголового.

— Воля шаха — закон, — безнадежно развел руками хирбед. — Отсюда я смогу держать Ал-Ребат открытым около суток — здесь дэвы не в силах помешать мне. Но на большее меня не хватит... это так, мой шах — даже владыкам неподвластен возраст. Поторопитесь.

Абу-т-Тайиб кивнул, сглотнув горький комок, и вслед за Дэвом шагнул в мигнувшую пустоту.

КАСЫДА О ЛЖИ

Это серость, это сырость, это старость бытия,
Это скудость злого рока, это совесть; это я.

Все забыто: «коврик крови», блюдо, полное динаров,
Юный кравчий с пенной чашей, подколодная змея,

Караван из Басры в Куфу, томность взгляда,
чьи-то руки...
Это лживые виденья! Эта память — не моя!

Я на свете не рождался, мать меня не пеленала,
Недруги не проклинали, жажду мести затая,

Рифмы душу не пинали, заточенные в пенале,
И надрывно не стенали в небе тучи воронья.

Ворошу былое, плачу, сам себе палач и узник,
Горблю плечи над утратой, слезы горькие лия:

Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы?
Тишина. И на коленях дни последние стоят.

ГЛАВА 8,

залитая кровью и оглушенная криками, прибежище удивительных встреч и дивных разговоров, где вопреки очевидному напрочь отсутствуют порицания в адрес безбожников-дахритов, полагающих мир вечным, а не сотворенным Аллахом всемилостивейшим и милосердным!

1

...поначалу Абу-т-Тайиб решил, что верный Дэв-проводник ошибся. Спутал место и время, взамен Мазандерана случайно выйдя к земле Божьего гнева. Открывшееся зрелище более всего напоминало истребление оскорбленным Аллахом (славен Он!) языческих племен Ад и Самуд, дерзких исполинов, отвергнувших сладкоречие пророков Худа с Салихом и убивших верблюдицу последнего. А так, если не поминать всуе нечестивых адитов и самудян, все прежнее — котловина, извилистая дорога вниз, по которой он не так давно спускался навстречу неизвестности и гостеприимству дэвов, речушка-подросток плещет волнами... разве что русло запружено трупами, и вода ярится, бьется о страшные пороги, ища выхода из западни.

Пахло кровью. Пахло бойней, насильно распахнутым чревом, насильно отворенными венами, насильно подрубленными сухожилиями... насилием пахло.

И кружилась голова, хотя Абу-т-Тайиб никогда не отличался особой брезгливостью или малодушием.

— Да что же это? — бормочет рядом Дэв, и в хриплом рыке юз-баши щебнем катаются тайные всхлипы, стон потрясенного мужчины и рыдания обиженного ребенка. — За что, твое шахское?.. за что?!

— Молчи! — обрывает его поэт. — Молчи, говорю! И держись рядом. Как бы дело ни обернулось — рядом! Понял?!

Абу-т-Тайиб начинает медленно спускаться туда, в царство Разрушительницы наслаждений и Разлучительницы собраний, в обитель смерти, некогда звавшуюся Мазандераном. Медленно, ибо ноги не держат, подкашиваются, а идти все равно надо. Он знает, что мгновением раньше был несправедлив к своему спутнику. Как несправедлив отец, затрещиной отшвыривая малыша от края пропасти. Как несправедлива мать, когда изо всех сил стегает чадо веревкой, даже не дав опасно приблизиться к песчаной эфе, греющейся на солнышке. Так надо. Надо идти, надо держать спутника на коротком поводке верности и послушания, не давая привязи лопнуть. Еще не хватало, чтобы Дэв с воплем ринулся вниз, истово размахивая «копьецом», захлебываясь горьким хмелем мести, убивая, убивая, убивая, пока шальной удар не вобьет ему в глотку и месть, и саму жизнь.

Абу-т-Тайиб знает, что он прав.

Ему даже не нужно слышать громоподобного клича, взметнувшегося навстречу:

— Слава! Слава Кей-Бахраму!..

Слышать не нужно, но и не слышать тоже нельзя.

Из нор, из разоренных ласточкиных гнезд, торопливо ползя по уродливым трупам бывших обитателей, выбираются муравьи: черные, блестящие, только что они шарили в глубине, копошились, ища вожделенную добычу, — и вот уже муравейник вскипел забытым на огне котелком, ибо добыча идет к ним сама.

Искать больше не стоит.

— Слава!.. о-о, шах...

Муравьи остро пахнут волками.

«Волчьи дети».

Они бегут навстречу, спотыкаясь, захлебываясь счастьем обретения, как бегут сыновья к вернувшемуся из долгих странствий отцу; но останавливаются на полпути. Счастье на бородатых лицах исподволь сменяется пониманием, и взгляды, где еще недавно плескалось бешенство и упоение справедливым боем, наполняются тихим сочувствием. Они расступаются, не добежав; они дают дорогу, застыв изваяниями в помятых доспехах. Владыка скорбен. Владыка не в настроении. Владыка хочет одиночест-

ва. Еще бы! — после долгого плена, после общества отвратительных чудовищ, после заточения и скорби душевной... Носителю фарра надо дать прийти в себя. Главное сделано: шах спасен, а будущее навсегда осенено знаменем благоденствия.

Это так; мы знаем, что это так.

Мы все знаем.

Впереди поэта бежит Златой Овен, весело топоча копытцами по бурой от крови гальке; баран трясет курдюком и поминутно дергает ноздрями, с жадностью втягивая запах гургасаров-освободителей. Волчий запах. Хищный. Домом пахнет... Поэт нагибается за камнем, но рука отказывается бросать: там, где остановился проклятый баран, скорчилось маленькое тело, и лепестки мушмулы тихо осыпаются на золотистую шерстку.

Рядом валяется кувшин; бесформенный кусок меди, смятый солдатским сапогом.

Ты лежишь передо мною мертвой бабочкой ночною,
Неоправданной виною — я молчу, немея.

Отливают кудри хною, манит взор голубизною,
Но меж нами смерть стеною — я молчу, не смея...

«Вот где славно умереть, — шепчет в ухо насмешница-память, и горячий этот шепот обжигает сознание, на миг пробуждая страстное желание ударить наотмашь и уйти навсегда, но увы! — этого блаженства шаху не дано, а самоубийство есть тягчайший грех перед Совершеннейшим Благотворителем. — Вот где славно... славно... Умереть и быть похороненным. И чтоб ветер осыпал на могилу пригоршни лепестков, а река смеялась... Е рабб, хоть бери и ложись, не дожидаясь отведенного срока!»

Златой Овен блеет, запрокинув рогатую голову, и бежит дальше.

А камень выпадает из пальцев поэта.

Расталкивая «волчьих детей», вперед выходит широкоплечий воин: латы в двух местах надорваны, будто не металл рвали чужие когти, а гнилую ветошь, ноги забрызганы до колен, чьи-то волосы прилипли к сапогам, и тяжелая сабля щукой ныряет в ножны... Воин падает ниц, прямо в растоптанную требуху, и замирает недвижимо.

Перед шахом.

— Встань, — скрипит колодезный ворот, который нерачительные хозяева забыли смазать маслом.

Воин послушно встает. На нем знакомый пояс, и еще вокруг шлема знакомый венец-кулах — россыпь жемчужин по зубчатому обручу; каждая третья или пятая — черные.

Капли адской смолы.

Лицо воина чужое: твердые скулы, твердый взгляд, рот сжат твердо и упрямо, а по углам рта залегают складки опыта и решимости.

В черной бороде пробивается первая седина; первый иней грядущей зимы.

— Здравствуй, юноша, подобный блеску молнии во мраке, — надрывно скрипит колодезный ворот, и в лице воина на миг пробивается робость былого шах-заде, того мальчишки, что честно рубил ненавистного оскорбителя в Медном городе, а потом так же честно плакал перед этим оскорбителем в бане, не смея поднять головы.

— Теперь можно умирать, — отвечает Суришар, и глаза шах-заде блестят слюдяными озерами, но ни одна капля не срывается с ресниц. — Кляпусь Творцом, можно...

Он пережидает спазм, мешающий ему говорить, и завершает:

— Потому что владыка наконец свободен. Свободен от пятилетнего плена в краю ужасных дэвов. Слава!

— Слава! — отзывается слитный хор многих глоток. — О-о, шах... наш шах...

Поэт даже не удивляется «пятилетнему плену». Если Суришар так говорит, значит, это правда. Время ничего не значит, и расстояния ничего не значат; и вообще ничего не имеет значения, если оно снаружи, а не внутри. Поэт глядит внутрь, туда, где варом клокочет бессильная боль; и тесно зажмуривает глаза души.

Нет сил.

— Скорбь владыки билась в наши сердца, — продолжает меж тем Суришар, Суришар-дэвоборец, Меднотелый Суришар, герой и витязь. — Мечты владыки о свободе не давали нам спать по ночам. Темные земли, проклятые от века, тряслись под копытами наших коней; темные существа, недостойные жить, корчились под ударами наших мечей. Мы дошли, и владыка поведет нас обратно. Домой.

— Домой... — бормочет поэт. — Домой...

Слово горчит на вкус, будто оно не слово, а вяжущее растение мирар, от которого у верблюдов выворачиваются губы.

И насмехается с кручи Златой Овен, бодая труп седого мохнача, чья шерсть заплетена в щегольские косички даже на животе.

Олмун-дэв молчит, ибо мертвым все равно, кто их бодает.

Чудовищным усилием Абу-т-Тайиб подавляет в себе желание шагнуть вперед и взять Суришара за глотку. Не поможет. Да и мальчишка не виноват... впрочем, какой он теперь мальчишка?! Пять лет, говорите, прошло? — да, пять лет трудов ратных, пять лет сплошных подвигов во имя заточенного владыки... Е рабб, здесь есть лишь один человек, которого действительно стоило бы брать за глотку! — вот он, сей человек, бездарный рифмоплет, покинутый Аллахом! Ведь это его желание оставить Мазандеран, его тяга к свободе, к бегству от упрямых дэвов — это и только это дотянулось до Кабира! Ухватило Суришара за шиворот, превра-

тило щенка в героя, кинуло с полком гургасаров в стремнину безнадежных поисков... и ведь нашли, добрались, победили!..

Цена победы видна: меж трупами дэвов немало убитых гургасаров.

Абу-т-Тайиб вглядывается, смаргивая предательские слезы: почему он не заметил этого раньше? Вон подле заколотого дэва лежит мертвец: голова покрыта бедуинским уккалем, в руке зажата сломанная альфанга... Дальше еще один труп — и налобник адийского шлема украшен изображением черного орла, символом Бану Абс. А за спинами «волчьих детей» сгрудилось не меньше полусотни истинных фарисов — бойцов пустыни, каких поэт многажды видел в жизни, что была до самума и пещеры Испытания.

Смуглые лица бесстрастны, будто не бой остался за плечами фарисов, а тихий вечер в кругу домочадцев; будто не удивительные земли вокруг них, а знакомый до мелочей оазис с водопоем; будто не неизвестность впереди, а безопасный путь домой.

Впереди бедуинов стоит чернокожий предводитель, опираясь на длинное копье.

Тот самый, кто являлся Абу-т-Тайибу в колдовском киселе скалы, когда пятеро дэвов отражали налет дерзких всадников.

Они смотрят друг на друга, не отводя взгляда: Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, рожденный в триста втором году от бегства пророка (да благословит его Аллах и приветствует!), и Антара Абуль-Фаварис, Отец Воителей, ничего и никогда не слышавший о пророке Мухаммаде, которого какой-то Аллах должен за что-то благословлять и приветствовать.

Пятьсот лет разницы смотрят друг на друга, Эра Истины и Эра Невежества; и окружающие их существа, живые и мертвые, не видят в этом ничего удивительного.

А сам поэт предпочитает не вспоминать, что в свое время мечтал о встрече с живой легендой песков, с самим Антарой-Губошлепом, мечтал страстно, терзаясь неосуществимостью грез. Сейчас он готов молиться об одном: чтобы Господь миров лишил его способности мечтать и стремиться. Слишком часто желания выворачивались наизнанку, слишком часто они исполнялись, исполнялись так, что воздух пах кровью, а плащ безрассудства бился за плечами сумасшествия... Радуйся, несчастный! Пой песни, пляши, вскидывай пятки к горбатому небосводу, ликуй великим ликованием!

Получи! — ты же этого хотел?!

Антара передает копье стоящему рядом бедуину и идет к Абу-т-Тайибу.

Приблизясь, он опускается на одно колено.

— Пусть враг никогда не попользуется твоим огнем, о царь джиннов Сальхаб ибн Акхаб! — Звучный голос Отца Воителей раскатывается над котловиной смерти. — Счастлив тот день,

когда я встретил тебя в облике вороного коня, заточенного в тайных подземельях, и освободил от плена, взяв клятву помочь мне в поисках убийц моего сына!

Поэт затравленно озирается.

Нет.

Никакого царя джиннов со странным именем Сальхаб ибн Акхаб поблизости не наблюдается.

— Э-э-э... Отец Воителей обращается ко мне? — осторожно интересуется поэт.

Вести такой разговор при Суришаре и «волчьих детях» весьма неловко. И еще: все время приходится краем глаза следить за Дэвом — как бы парень в отчаянии не натворил глупостей!

Е рабб, они слепы, они честно не замечают сходства юз-баши с чудовищными трупами вокруг!

Или слеп только шах?

— А к кому же еще?! — в свою очередь удивляется чернокожий предводитель. — Кто, как не ты, следил из огненного столба за подлым убийством моего первенца Гадбана?! Кто, как не ты, встретил меня и моих воинов на Сарихской равнине во главе войска джиннов в облике человеческом?!

И рука Антары указывает на молчаливые ряды гургасаров.

— Кто, как не ты, распахнул пред нами вихрь, позволивший нам явиться сюда; и кто, как не ты, достал золотую палочку и намазал волшебной сурьмой глаза мои и глаза спутников моих, дабы мы увидели врагов наших в их истинном облике, от которого волосы встают дыбом и седеют трехнедельные младенцы?! И наконец...

Антара выхватывает из ножен меч; но не для удара, о котором поэт втайне молился.

— И наконец: кто, как не ты, подарил мне свой колдовской клинок по прозвищу аз-Зами, что значит «Горе Сильных», дабы я успокоил боль моего сердца и поразил убийц Гадбана?!

— Кто, как не ты?! — слитным эхом отзываются бедуины за спиной чернокожего Антары.

— Кто, как не я? — пожимает плечами шах Кабира.

Он узнал меч в руках Антары. Кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, оплаченный блюдом полновесных динаров — и похороненный вместе с мумией в бархане-мавзолее.

Он только... впрочем, неважно.

Антара, Отец Воителей, растягивает в улыбке эфиопские губы, сверкая жемчугом зубов.

— *Мой жребий высок*, — смеется он, — *и ушла в песок кровь недругов Антары!*

— *Но жизнь — не кусок*, — ответ Абу-т-Тайиба рождается сам,

рождается в крови и нечистотах, как любое дитя, — *подхваченный псом, не мяч для веселой игры...*

Черное лицо становится серьезным; очень серьезным.

— *Прибежищу лжи бессмысленно жить, бессмысленно длить года!*

— *Но, мудрый, скажи: хоть мы — миражи, неужто уйдем без следа?!*

— *Пир сильного — бой! Рискуя собой, заслужим в веках хвалу!*

— *Но крови прибой утопит Любовь, наткнувшуюся на стрелу...*

— *К чему этот стон? Один или сто — позорно врагов считать!*

— *Но, явь или сон, он определен — твой жребий, за пядью пядь! И полно мечтать о том, чтобы спать — придется когда-то встать...*

Антара, Отец Воителей, умолкает и долго разглядывает царя джиннов.

— Прощай, — наконец говорит чернокожий. — Если буду нужен — позови. Я у тебя в долгу.

Он машет своим людям, и бедуины идут к коням, легко прыгают в седла — чтобы медленно двинуться по склону вверх, туда, где воздух закручивается удивительным вихрем, так похожим на приближение самума, из которого нет возврата.

— Погоди, — кричит вслед поэт. — Погоди, Антара!

Только что Абу-т-Тайиб вспомнил, вспомнил отрывок из «Сират Антара», эпизод жизни чернокожего бойца, истинный или придуманный, — но раньше он всегда слушал эту историю, позевывая.

Раньше; но не теперь.

— Да погоди же! Ответь: правда ли, что один из твоих недругов возил по пустыне барана с позолоченными рогами и требовал от вольных племен поклонения этому барану?!

— Правда, — улыбается Отец Воителей, подбоченясь в седле. — Истинная правда, о царь джиннов!

— И что ты сделал с проклятой тварью?!

— Я накалил на огне жало моего копья и прижал к глазам твари, после чего они лопнули!

— Я не о человеке! Я о баране! Что стало с ним?!

— Баран? — искренне недоумевает чернокожий. — Баран убежал. Стану я гоняться по пескам за каким-то бараном...

И с кручи весело блеет Златой Овен.

2

Тучи собирались над растерзанным Мазандераном, косматыми бурками плотно укутывая небо; тучи наползали с востока, с запада, с севера и юга они наползали тоже, отовсюду, со всех сто-

рон света, в котором света было разве что на медный фельс больше, чем тьмы, и то сомнительно; медленные отары, стада ливня, табуны гроз, — но пастух еще не взмахнул бичом, разорвав морок тишины ветвистым зигзагом, и водяные змеи медлили, не спеша обласкать исковерканную землю, живых и мертвых, мертвых и живых, а есть ли разница между первыми и вторыми, известно не всякому...

Тучи.

В небе.

Высоко... не достать, не дотянуться.

Шкурами выстлана былая синева, блеск глаз неудачников.

«Они не виноваты», — беззвучно вымолвил Дэв, или только подумал; или только собрался подумать.

«Они не виноваты, — песчинка в каменной чаше, плоть от плоти убийц и убитых, душегуб и солдат, ребенок и чудовище. — Они просто любят тебя, твое шахское... любят. Как я».

«Они просто... — Пальцы на древке огромного копья ерзают, словно не находя себе места, и ерзают «волчьи дети» под внимательным взглядом могучего юз-баши, переминаются с ноги на ногу, потупив взоры. — Нет. Не как я. По-другому. Но это не важно, твое шахское... важно, что любят. Вот».

«Ты не бойся за меня, твое шахское. Я не пойду их убивать. Ты за себя бойся, отец...»

В этот день Худайбег аль-Ширвани, «пятнадцатилетний курбаши», стал взрослым.

Здесь, в Краю Дэвов, где трупы перемешались с трупами, и не было меж ними отличия для сведущего.

* * *

Шах-заде Суришар стоял перед возлюбленным владыкой, и душа его, душа не мальчика, но мужа, плавала в приятной опустошенности.

Душа пела.

Три года он жил жизнью властных: наместник Кабира соизволением обладателя фарра, чье слово — закон, а взгляд — повеление; держава процветала, и Суришар спал ночами без сновидений, подобно утомленному за день пахарю. Он знал: где-то есть венценосный владыка, где-то идет за своей прихотью символ государства, дыша полной грудью, пребывая в благополучии, как он это себе понимает, — и оттого цветет Кабирское шахство розовым кустом!

Он знал.

И два года он жил жизнью сильных: Волчий Пастырь, спахбед воинов в серых плащах, покоритель земель неведомых, призраков невидимых и чудовищ ненавидимых. Его гургасары шли

за полководцем в огонь и в воду, они рыскали обезумевшей стаей, терзая молчаливых, сокрушая упорных, пытками вынуждая колдунов открывать тайные двери; где ты, Край Дэвов?! — я иду, ибо ощутил зов плененного владыки, и его неистовая тяга к свободе колотится о мое сердце!

Он шел.

И еще пять часов он жил жизнью верных: мститель, он рубился в первых рядах, заставляя изумиться даже бесстрастных союзников, явившихся из ниоткуда, без чьей поддержки, без чьей ярости и безумия лежать сейчас гургасарам вкупе со спахбедом в каменной чаше страшным приношением. Уроды-исполины падали под мечом Суришара, скрипели кожистые крылья, рассекаемые синим высверком стали, плакали раненые утесы, осыпаясь кровавым щебнем, и вой сотрясал горы окрест, дикий гимн победителя.

Он сражался.

И еще полчаса он жил жизнью счастливых: господин стоял перед слугой, свободный шах перед освободителем-героем, и путь домой был открыт.

Он радовался.

Так отчего же ты не в силах опустить взор, Суришар Меднотелый, о ком еще только сложат песни?! Отчего ты смотришь на своего владыку в упор, взглядом неподобающим, и губы твои шевелятся сами собой, будто дерзкие слова щекочут их кончиком голубиного пера, и умирают, так и не родившись? Что видишь ты, шах-заде, потерявший юность в поисках и битвах?!

Что ты видишь?

Лик обожаемого господина на миг уплыл куда-то вбок. На его месте вдруг возникло совсем чужое, незнакомое лицо, сплошь заросшее кудрявой бородой; горбатый нос сморщился, шевельнулись густые усы, и в ушах Суришара прозвучало отзвуком запредельного:

— Если вы в затруднении... о-о, если вы в затруднении, то ищите помощи у покоящихся в могилах!.. ищите... в могилах...

Нет, кабирский шах-заде никогда не слышал хадисов — преданий о жизни и воззваниях пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует!); но странный смысл почудился ему в услышанном.

Шах Кей-Бахрам стоял перед названым сыном: на голову выше любого из гургасаров, могучие плечи гордо расправлены, весь облик дышит силой и спокойствием, — но сквозь владыку, как проступает блеск оброненной монеты через толщу воды, проступал совсем иной человек. Шрам на шее, и на скуле, и еще вот здесь, под ключицей, часть зубов выбита, и ухмылка от этого кривая, жестокая ухмылка, а ноша возраста давит нещадно, будто верблюда нагрузили двойной поклажей, только упрямый горбач идет себе по пустыне, идет на гордости и умении мерить пески, а

больше ни на чем. Тот бродяга, что вышел из пещеры Испытания, тот боец, что гонял шах-заде в грязи Медного города, певец, гораздый подхватывать и завершать, — прошлый, забытый, ушедший... Оказывается, он никуда не делся! Оказывается, он всегда был здесь, но прежний Суришар не видел его, или не хотел видеть; или не умел...

И прежний был многажды опасней нового.

Мысль показалась совсем уж еретической, ее просто-напросто не могло родиться, этой мысли...

И как же было хорошо, когда владыка увлекся разговором с чернокожим союзником, а потом долго провожал последнего взглядом, давая отдышаться Суришару, Суришару-дэвоборцу, Меднотелому Суришару, герою и витязю!

А тучи все копились в небе над Мазандераном.

3

...подбежав, десятник гургасаров припал на одно колено. Плечо «волчьего сына» было наспех замотано грязной тряпицей, и сдавленный стон нет-нет да и прорывался сквозь стиснутые губы.

— Говори, — машинально вырвалось у Суришара, и шах-заде вздрогнул. Привычка командовать въелась в плоть и кровь, дергая за язык раньше, чем следовало бы в присутствии повелителя — но, кажется, все обошлось. Названый отец стоял, равнодушно глядя на десятника, и не проявлял признаков раздражения.

— Там... там... — Десятник никак не мог начать. Храпел загнанной лошадью, сбивался. — Там... я нашел его под одеялами...

— Кого? — осведомился Суришар, а шах лишь хрипло расхохотался.

Будто в Краю Дэвов под одеялами в пещере можно обнаружить бабушку султана Баркука!

— Дэва, владыка мой! Дэва, Пастырь мой... раненый, он прятался...

— И ты полагаешь эту новость достойной ушей шаха? Почему ты просто не добил эту мерзость, глупец?

Суришар кривится. Распекать десятника противно. Позор! — вести такие разговоры в присутствии обладателя фарра... Позор давать повод упрекнуть «волчьих детей» в малодушии.

Десятник заслужил наказание.

— Я... рука не подымается... я старался, владыка! — Последнее адресовано непосредственно шаху. — Я старался! Но... колдовство, наверное!..

— Неси его сюда, твоего дэва, — приказывает шах. — Живого неси, слышишь?

И десятник, кликнув еще троих воинов, убегает.

Вскоре они возвращаются, неся на копьях, застланных плащами, чье-то тело. Импровизированные носилки ложатся в грязь перед владыкой Кабира и его спахбедом-освободителем; стонет существо поверх плащей, и десятник невольно отступает назад, сдержав собственный стон.

— Кто это? — неприятным голосом интересуется Кей-Бахрам у своего названого сына. — Кто это, Суришар? Как полагаешь?!

Шах-заде равнодушно пожимает плечами:

— Дэв, мой повелитель. Кто же еще?

Владыка пристально вглядывается в лицо Суришара — так он вглядывался тогда, в бане, назначая юного шах-заде Волчьим Пастырем: жестокое любопытство плещет в глубине взора, вынуждая смотреть в землю и чувствовать, как уши позорно багровеют.

Стыдно.

— Дэв, говоришь? Ладно... Скажи мне: ты хорошо помнишь моего предшественника, покойного шаха Кей-Кобада?

Суришар улыбается. Владыка просто расположен к разговору, к тихому, спокойному, ни к чему не обязывающему разговору. А потом они поедут домой...

— Разумеется, мой повелитель! Я прекрасно помню прежнего шаха!

— И этот дэв, по-твоему, нисколечко не похож на их солнцеподобность, великого Кей-Кобада?! Или ты просто расчесываешь гребнем зломыслия бороду коварства, скрывая очевидное?

Суришар позволяет себе улыбнуться шире.

А гургасары — те еле сдерживаются, чтобы не последовать примеру своего Пастыря.

— Владыка изволит шутить? Грязный урод похож на обладателя фарра?!

Владыка присаживается на корточки над носилками, и ладонь шаха откидывает волосы с лица раненого дэва. Тот стонет и открывает глаза. Отчаянный луч солнца, прорвавшись сквозь завесу туч, осыпает голову и плечи чудовища драгоценной пылью... Суришар близок к тому, чтобы отшатнуться — нет, быть не может!.. Но тучи смыкаются, золотое марево гаснет, и все возвращается на круги своя. Впору проклясть собственную впечатлительность, недостойную водителя отрядов! И все-таки: теперь шах-заде понимает, отчего десятник не сумел добить раненого дэва. Понимает и не станет наказывать воина. Что-то есть в полудохлом уроде, незнакомце из Мазандерана, что-то такое...

Впрочем, дело сделано, и груз переложен на чужие плечи: сейчас решать владыке.

Дэв с носилок моргает и пытается приподняться. Это ему не удается, зато владыка склоняется еще ниже.

— Я вспомнил... — бормочут губы в запекшейся крови, губы чудовища на пороге мира иного. — Эй, вор, ты слышишь?! — я вспомнил! Там, в пещере, там нет тьмы... тьмы не бойся! Бойся себя, самого себя... понял?

— Понял, — кивает владыка. — Ты лучше молчи, тебе нельзя...

— Можно, вор! Теперь мне все можно... Спрашивай! — я отвечу.

— Что он сделал с тобой?

— Златой Овен? То, что я хотел сделать с остальными...

Стон прерывает речь, тело дэва выгибается в предсмертной агонии, и последние слова звучат последним вздохом, судорогой вздувшегося горла, выкриком уходящей жизни:

— Он меня съел!.. съел... меня...

Шах Кей-Бахрам стоит над трупом.

— Похоронишь его, как хоронил бы меня самого, — роняет владыка, страшно дергая левым веком, и прежний бродяга вновь виден в обладателе фарр-ла-Кабир. — Слышишь?! Как меня самого. Ты прав, глупый мальчик: мой предшественник, гордый Кей-Кобад, умер. Воистину ты прав...

И владыка начинает уходить прочь, по дороге вдоль стенок каменной чаши.

Следом тащится могучий юз-баши, поминутно оглядываясь.

Суришару отчего-то кажется: это все.

Если б еще понимать, что — все...

ГЛАВА 9,

повествующая о тайном и явном, звучащая плачем, смехом и словами мудрецов прошлого, но даже намеком не помогающая героям сделать их выбор

1

Эта картина позднее не раз будет являться поэту в снах, и он будет тихо улыбаться вялыми губами.

Не разгром Мазандерана, не встреча с легендарным Антарой, не иные деяния и похождения — перевал в горах без названия. Солнце падает в объятия дальнего хребта, краснея от стыда и еле сдерживаемой страсти, а над песчинкой, муравьем, распростертым навзничь старцем в шафрановом плаще склонился гибкий хург, отбросив прочь секиру. Ладони хурга ритмично давят на впалую грудь старца, с усилием, с требовательным усилием при-

29 – 7682

казывая изношенному сердцу — бейся! ну бейся же, подлое!.. Затем самозваный лекарь припадает губами к запавшему рту мага, словно всю жизнь мечтал о поцелуях стариков, и дышит, дышит, толкает упрямый воздух внутрь; поцелуй прерывается, и снова — руки, грудь, толчки... толчки под ладонями.

Сбивчивые всхлипы жизни.

Хург беззвучно смеется, кладет седую голову к себе на колени и тянется за баклагой воды.

В пяти локтях от него курится забытая жаровенка, и возле золотого краба, рукотворного солнца, младшего брата того светила, что сейчас рушится за горы — рядом стоит рыжее чудовище. Трясутся бурдюки грудей, кривые ноги полусогнуты, страшно напоминая лапы львицы, но лицо спокойно, и странно видеть это спокойствие на морде ночного кошмара. Губы движутся, вывороченные губы зинджа из речных заводей юга, и почти членораздельное бормотание сливается со стоном дряхлого мага, рождая противоестественную гармонию. Курится жаровенка, течет пряным дымом, хоть и нет топлива в сердцевине ее, нечему гореть, нечему дымиться, кроме бормотания, стона и смеха...

Нечему.

А горит.

— Ал-Ребат, — бормочет Дэв, забывшись, хлопает по плечу своего владыку и даже не думает извиняться. — Они удержали его, твое шахское... Нахид, махонькая, умница моя! — Твое шахское, ну скажи ей хоть словечко, она рада будет! Эй, хург, с меня причитается, за девкину жизнь... да брось ржать-то, юрта ты кочевая, растрясешь дедушку!..

Дэву простительно: это он минутой раньше пыхтел зверем аль-каркадани, прорываясь в шайтанов Ал-Ребат и стараясь увлечь за собой беспомощную обузу в виде шаха Кей-Бахрама.

Сейчас Дэву все простительно.

И не только ему.

Щеку Абу-т-Тайиба щекочет легкое касание; поэт машинально смахивает каплю-надоеду и потом долго смотрит на собственную ладонь.

Ладонь влажная.

А в уголках глаз подозрительно щиплет.

2

— Я у чинары сидел тогда. С которой Вайдос глотку дерет. Ждал одну... прийти обещала. Только не дождался...

Утба Абу-Язан, отставной есаул султана Харзийского, любил женщин, и те отвечали ему взаимностью. Приятели-Вороноголо-

вые, тоже бабники, каких мало, иногда перемигивались, слушая рассказ веселого хурга о его новом увлечении, но языкам волю не давали. Секира Утбы была им хорошо известна, и бешеный норов — тоже: кому охота из-за лишнего словца... Короче, друзья помалкивали. Отхватил красотку, говоришь? Чудненько. На все согласна, говоришь? Мы за тебя рады. А то, что красотка носата, сутула и в годах уже — о том молчок.

О вкусах не спорят.

Тем паче, что водились за Утбой и подлинные красотки, и просто хорошенькие... всякие водились.

Если бы веселый хург был поэтом, он нашел бы нужные слова. Судьба подарила Утбе замечательное качество: он смотрел на женщин открытым взглядом, не замечая внешней оболочки и видя тайную суть, сердцевину, сокровища, скрытые от неумелого глаза, как запоры скрывают от воришки-простофили золотую казну. С иной старухой он мог сидеть часами, ведя бесконечные разговоры о прошлых днях, и выходил из покоев окрыленный, долго вспоминая тихие беседы. И точно так же он мог буйствовать на ложе с мастерицей постельных утех, доводя ее до изнеможения, давным-давно забытого и оттого вдвойне желанного; после мастерица погружалась в дрему, а хург уходил. Окрыленный. Да и в Мазандеране его мало смущали все эти крылья, когти, хвосты... пустяки. Он не видел внешнего уродства; он смотрел дальше. Женщина есть женщина, и любая хочет одного: отогреться у мужского огня. Здешним бедолагам вообще не повезло; пока мы сюда не явились... пока я сюда не явился. Если бы хург был поэтом...

Но поэтом Утба не был. И не понимал удивления во взглядах приятелей. Он просто жил, как умел, даже не подозревая, что мужчине вроде бы положено от роду-века брать, а не отдавать. Утба отдавал. И в любви, и в гульбе, доведя былое имущество предков до полного разорения; и в бою.

Стихия схватки захлестывала его целиком, без остатка, и когда после шутейных свалок на майдане Утбу урезонивали: дескать, что ж ты делаешь, безумец, убить кого вздумал или попросту сдурел?! — Утба не обижался. И на него не обижались. Иногда он пытался объяснить, что в дружеских поединках щедро выплескивает все свое умение, весь свой пыл, как велит слугам ставить на дастархан все угощения, имеющиеся в доме, едва на пороге объявится дорогой гость! Жизнь и смерть в такие минуты теряли для хурга всякий смысл — была жизнь, будет смерть, и опять жизнь, а слова есть слова, и ничего они не значат! Увы, его стали отстранять от учений, без объяснений причин. И так ясно. Денег не напасешься, дурачок: платить отступной выкуп за братскую кровь, нечаянно пролитую, и по первому ли разу...

Если бы Утба был поэтом... но поэтом он не был.

Жил, как умел; и все тут.

— Сижу, а тут Вайдос бежит — и на чинару. Я от греха подальше — оглохну ведь, его вопли слушая! Дай, думаю, выше пересижу, где шиповник... моя-то все равно не пришла, а теперь и не придет, наверное! Только спрятался, только уши заткнул...

Гургасары свалились как снег на голову. Утба заткнул уши более чем основательно; и призыва Вайдоса не услышал (лишь в голове слабое шевеление произошло) и топота копыт заодно.

Видимо, «волчьи дети» еще перед спуском в котловину разделились на несколько отрядов, и веселому хургу повезло: налетевшими на него всадниками командовал лично Суришар. Не успел хург скинуть с коня головного знаменосца, не успел лечь под копыта, предварительно захватив с собой в Верхнюю Степь парутройку удальцов, — взлетела вверх ладонь в латной перчатке, и клинки опустились, минуя дерзкого.

Суришар слетел с коня, обеими руками вцепился в хурга, и губы шах-заде беззвучно задергались.

— Что? — переспросил Утба и рассмеялся: уж больно весело шевелились губы, ни дать ни взять у червяков свадьба!

Черви выплюнули ругательство, понятное даже глухому; Суришар прянул в седло, и спустя мгновение конные гургасары прогрохотали вниз по тропе.

Только тут Утба вспомнил, что забыл вынуть из ушей затычки.

Вынул.

И стал смотреть вниз, где бой превращался в бойню.

Дэвы дрались отчаянно. Ярость гургасаров, ярость мстителей, дорвавшихся наконец до вожделенной цели, разбивалась о мощь «добытчиков» и проворство «бойцов», похожих на Худайбега-дружка, вернее, на того Худайбега, каким юз-баши только обещал стать. Мелькали змеиные жала копий, суковатые дубины мерно подымались и опускались, в ход шли камни и ножи, и пока хозяева с гостями вовсю истребляли друг друга — по западному краю котловины уходили в горы дэвицы и дети-дэвтаги, прикрытые с тыла редкой цепочкой особо могучих «добытчиков».

На их счастье, нежданные союзники гургасаров ссыпались вниз по другой тропе, иначе этот натиск смял бы женщин вместе с немногочисленной охраной.

— ...Там и тропы-то особо не было. Как из воздуха явились... кони под ними славные были, это я сразу приметил: морды узкие, щучьи, бабки аж звенят на ходу! Даже в наших табунах такие аргамаки — редкость. И копьями швырялись — заглядение...

— Кони? — машинально переспросил Абу-т-Тайиб.

— Люди, — удивился Утба. — Кони копьями швыряться не умеют...

Чернокожий предводитель всадников оказался зорок на диво. Или предупрежден заранее. Он лишь привстал на стременах, вскинув пику, на флажке которой трепетал крыльями черный орел, — и новая напасть обрушилась на жителей Мазандерана. Бой в котловине то затихал, то вспыхивал с новым ожесточением, раненые дэвы уползали в заросли на склонах, прятались в пещерах — но «волчьи дети» кидались следом, и схватки продолжались там, в темноте и стонах.

Утба смотрел и смеялся: шутка судьбы оказалась удачной! Вот бой, и вот он, хург, — вне боя! Не смешно ли? А если вступать, если решиться отвести душу — на чьей стороне? И что скажет шах-побратим: одобрит ли выбор своего пса? осудит? промолчит?

Побратимом Утба называл кабирского шаха только в мыслях, ни разу не дав волю языку.

И если бы Утба был поэтом... нет, не так. Если бы некий мудрец разъяснил веселому хургу, что даже мысленно приблизиться к владыке столь дерзким образом — кощунство, достойное кары!.. Увы, Утба не был поэтом, мудрецов поблизости тоже не наблюдалось, и «небоглазый» хург раздумал терзаться выбором.

Он знал: неизбежность приходит сама, выбирай не выбирай.

— Она из-за кустов вывернулась. Я сперва и не признал-то: вся в крови, поди разбери, своя кровь, чужая? — и тюк волочит. Здоровенный такой тюк, мне и не поднять. А следом гургасар и двое этих... у которых кони... только пешие.

Нахид-дэви задыхалась. Едва не сбив Утбу наземь, она проковыляла мимо, спотыкаясь, подволакивая ногу, задетую чьим-то мечом, — но добычу из рук не выпустила.

Рыжая.

Та, за которой шах-побратим пошел в Мазандеран.

Своя.

Утба смотрел дальше уродства и видел больше других, или меньше, или...

Впрочем, неважно.

Своя.

— Эй, хург, хватай ее! — хрипло выдохнул гургасар, замахиваясь копьем для броска. — Воровка дэвская, с-сучья...

— С-с-с? — осведомилась секира веселого хурга.

К чести залетных воинов, они соображали быстро. Гургасар не успел еще упасть с раскроенным черепом, как две кривые альфанги заплясали вокруг убийцы. Им ответил страшный плеск Ар-Раффаль, и пока «Улыбка Вечности» делала свой выбор за хозяина, вторя его смеху радостным звоном, — все это время рыжее чудовище стояло поодаль, дожидаясь исхода драки.

А потом Нахид удобней перехватила косматыми лапами тюк,

вскинула воровскую добычу на холку и мотнула хургу головой — пошли, мол!

Утба бежал за ней, бежал по тропе, бежал вдоль гряды, похожей на спящего верблюда, бежал прямо в пропасть, на краю которой вдруг заварился колдовской кисель, маня неизвестностью — и все это время он смеялся.

В самом деле, не смешно ли...

* * *

Абу-т-Тайиб подошел к хургу и взял его за плечи.

— В Коране сказано Аллахом о людях: «Пусть смеются мало и плачут много». Пророк Мухаммад (да будет мир над ним!) изрек: «Изобилие смеха убивает душу!» Святые мудрецы учили: «Пагубных последствий смеха много. Во-первых, он заставляет человека забыть о Боге; во-вторых, он превращает живую душу в мертвое тело; в-третьих, хохот есть великий грех; и в-четвертых, от смеха в чистых членах появляется нагноение». Мужи истины утверждали: «Кто, подобно безумцам, много смеется, обретет еще больше камней отчаянья!»

Поэт перевел дух и улыбнулся в ответ на улыбку отставного есаула, веселого хурга по имени Утба Абу-Язан.

— А я, побратим, скажу другое. Смейся, сколько тебе влезет; смейся, не боясь забыть о Боге, не боясь омертвления души, хохочи, презрев нагноение чистых членов, и веселись, пиная камни отчаянья! И еще...

Тишина.

Даже Гургин перестал стонать.

— И еще — спасибо. Теперь мы квиты; ты честно заплатил долг.

— Нет, — спокойно ответил хург. — Это не так. Я еще только плачу и вряд ли когда-нибудь расплачусь до конца.

В трех шагах от них, над украденным тюком, сидела на корточках Нахид-дэви и настороженно глазела по сторонам. В прорехах тюка, разорванного по дороге, тускло блестела сталь. Бывшая хирбеди знала, что делает; знала тем знанием, для которого не всегда нужен разум и почти никогда не нужны слова.

Суришар не зря вез с собой в тороках боевой доспех шаха.

Латы попали по назначению.

3

...Абу-т-Тайиб из-под ладони глянул на солнце, клонившееся к закату. Багровый диск вот-вот должен был утонуть в складках чалмы Тау-Кешт. Именно в эту минуту он, шах Кабира, поэт и бродяга, упрямая игрушка рока, должен будет войти в шершавый сумрак, который поглотит его...

Что произойдет дальше? Эта мысль ушла, улетела, избежав рождения, даже не думая вором прокрасться в сердце — ибо, как известно, Господь миров поместил истинный разум в сердце человека, откуда свет его подымается в голову. Поэт тихо улыбнулся собственным размышлениям. Он просто устал, смертельно устал от безнадежной войны с судьбой; а после чаши Мазандерана, доверху полной крови, эта судьба — его собственная судьба! — уже не слишком волновала Абу-т-Тайиба. Он сделает должное, совершит предназначенное, каким бы оно ни оказалось, — и да поможет ему Аллах, всемилостивый и милосердный, на которого уповает всякий правоверный!

В глазах мало-помалу темнело, и Абу-т-Тайиб не осознавал, что виной тому — не зубчатый горизонт, чье чрево поглощало солнечный диск. Просто веки поэта, отяжелев от грез, налипших на ресницы, смыкались тюремными дверями, смыкались, смыкались... пока самовольно не скрыли от господина и раба своего угасающий день.

А потом под веками вспыхнуло другое солнце!

* * *

Полнеба было забрызгано кровью. Багровый диск светила яростно рвал в клочья тучи, темные, как пролитые растяпой-писарем чернила; края обрывков мрака небесного сверкали позолотой молний — и люди, казалось, старались не отстать от солнца и залить кровью половину земли!

С холма, где, приподнявшись на стременах, воздвигся Абу-т-Тайиб, были хорошо видны белые стены Кабира — но сейчас стены были черным-черны от карабкающихся на них людей! Город брали приступом, и с левого фланга отчетливо доносился грохот медного тарана, в щепки разносившего западные ворота. На ближних холмах, у осадных машин, метался лысый джаселик — мастер стенобитных орудий. Казалось, это джинн, обладающий способностью находиться сразу в дюжине мест: вот он у баллист-аррад, какими пользовался еще пророк Мухаммад (благо ему!) при взятии святой Мекки; а вот он уже у камнеметов-манджаников кричит на полутысячную обслугу «Невесты», огромного манджаника, прозванного так за множество веревок, подобных косам. Именно такая «Невеста» некогда умудрилась сшибить флагшток на самой высокой башне Дайбула; а сейчас от ее поцелуев несладко приходится укреплениям Кабира.

Войска уже подступили вплотную к столице шахства, жадными руками вознося ввысь осадные лестницы; волна атакующих муравьиным нашествием захлестывала белый камень — и свет разума наконец поднялся из глубин сердца в голову поэта!

Е рабб! Ведь это же *его* войска штурмуют белостенный город!

Его, Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби!

«Вы хотели подарить мне ваш Кабир вместе со всем шахством и венцом владыки?! — Поэт рассмеялся сухо и зло, как не засмеяться во сне даже самому Иблису. — Подавитесь вашими подарками! Я возьму сам!»

И безумие этой битвы показалось ему куда более подлинным, истинным, чем безумие последнего года, проведенного им в образе кабирского шаха. Плевать, что этого не могло быть, что он никогда не был полководцем и не брал приступом города! Плевать! Это была *его* жизнь, настоящая, в которой правил не Златой Овен, но Меч!

«Хорошая фраза, — подумалось мимоходом. — Не забыть бы...»

Но мгновением позже ему уже было не до удачных фраз.

С треском распахнулись створки ворот, изнасилованные залпами манджаников, и наружу потекла стальная река, сверкая кровавыми отблесками: латная пехота, гордость и слава Кабира, приняла вызов!

Смыкались щиты, частокол копий грозил широкими жалами...

— Вперед, дети пустыни! — Рев Абу-т-Тайиба, нового, бешеного Абу-т-Тайиба, сотряс землю.

Ответный грохот и визг.

Конная лава устремилась наперерез разворачивающейся в боевые порядки пехоте. Впереди несся, горяча белоснежного, как стены Кабира, жеребца, чернокожий всадник, воздев над головой кривой полумесяц меча, — и поэт уже не удивился, узнав в предводителе «детей пустыни» Антару Абу-ль-Фавариса!

Здесь и сейчас возможно было все, что угодно.

Явись сюда сам пророк (благо ему!), осенить святостью падение Кабира — приму как должное!

— Утба Абу-Язан докладывает: восточные ворота пали, мой повелитель! Хург и его люди в городе!

— Отлично! — Ухмылка раздирает губы, и боль сладостна, она пьянит, течет запретным хмелем, от этой боли сердце пляшет базарным дервишем.

Довольно наблюдать. Сил у Утбы недостанет удержать захваченное — хургу нужна подмога.

Поэту было совершенно неинтересно: откуда он знает о распределении сил? Должен знать, если он же и затеял этот штурм!

— Скачи к Утбе. Передай: пусть держится зубами — мы уже идем!

— Радость и повиновение! — И только пыль взметнулась из-под копыт, хрустя на зубах оскоминой боя.

Абу-т-Тайиб в последний раз окинул взглядом поле сражения.

Кабирская пехота, перегородив западные ворота, еще держалась, но строй ее прогнулся панцирной пластиной под ударом клинка: всадники Антары рвались вперед, и даже явление ангела Джибраиля не могло бы сдержать дикий натиск язычников из

славных времен джахилийи! На стене, у башни Аль-Кутуна и прямо напротив холма, с которого поэт обозревал битву, вертелся кровавый ветряк, расшвыривая защитников, и к нему спешили другие осаждающие, проворно карабкаясь вверх по узким лестницам.

Худайбег? Точно, Дэв! И смертоносная «Сестра Тарана» разила, как всегда, без устали. Мало кто из кабирцев отваживался сунуться в жернова смерти — а на стене тем временем возникали все новые и новые фигурки атакующих. Худайбегу с Антарой помощь явно не требовалась — они и их люди справятся сами.

Пора!

— За мно-о-ой! — И три тысячи всадников резерва, давно ожидавшие своего часа, во главе с самим полководцем устремились к городу.

Мимо проносятся стены, люди, бьются в агонии кони с распоротыми животами, над столицей плывет в зенит черный дым, подсвеченный снизу багрянцем пожаров; звон металла, крики — но все это заглушает грозный топот тысяч копыт за спиной.

Дальше, дальше — восточные ворота уже совсем рядом.

На мгновение Абу-т-Тайиб оглянулся через плечо. Но смотрел он почему-то не на своих воинов, скачущих позади, а вверх, на небо. Поэту хотелось увидеть разъяренный лик солнца.

Это казалось очень важным.

Но солнца не было: лишь кромешная тьма грозовых туч — предвестниц бури; светило брызгало на их края позолотой, тщетно силясь пробиться сквозь заслон. То же, что и на земле, — чернота дыма, подсвеченная кровавым огнем.

А потом впереди явились ворота. Спешно уступала дорогу коннице пехота Утбы Абу-Язана, сам Утба пятился от наседающих кабирцев, отмахиваясь секирой...

Свистнул, покидая ножны, ятаган.

Тот самый!

И завертелась кровавая круговерть.

Металл звенел о металл, кричали люди, бешено ржали кони, в горле першило от едкого дыма, и рука в латной перчатке, по локоть забрызганная дымящейся кровью, вздымала вверх тяжелый ятаган — и мощное лезвие, визжа от ярости, опускалось на головы врагов, рассекая шлемы и черепа, и скользил на плитах площади гнедой жеребец, и он, мятежный поэт, презревший милостыню венца, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, все смеялся в порыве боевого безумия, совсем как его друг и побратим Утба Абу-Язан, и бежали, спасая свою жизнь, защитники Кабира, а за ними вдогон неслись воины на взмыленных конях...

Живой, я живые тела крушу; стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!

Навстречу ударил грохот копыт, совсем как тот, что недавно плашом бился за спиной; и сразу следом — истошный вой. Гургасары, «волчьи дети», личная гвардия кабирского шаха!

Демоны-оборотни в косматых шкурах поверх доспехов, на черных жеребцах-исполинах — они вылетели из-за поворота, и шедшая на убыль битва вспыхнула с новой силой.

Но Абу-т-Тайиб не видел всего этого. Сейчас он не видел ничего, кроме всадника, закованного в драгоценный доспех, всадника на чалом скакуне с узкой щучьей мордой.

Поэт узнал их сразу.

Обоих — и коня, и всадника.

Суришар, наследник кабирского трона, которого он, Абу-т-Тайиб, невольно лишил венца, явившись на свет из пещеры Испытания, — и теперь собирается лишить вновь, но отныне своей волей, с мечом в руках!

Кто же он сейчас, вспыльчивый Суришар: восставший против господина наместник или законный шах Кабира, по праву носящий кулах владыки?

Но и это тоже не имело значения.

Кони сшиблись грудь в грудь. Полыхнула, запела сталь клинков, закружилась в гибельном и по-своему прекрасном танце. На этот раз Суришар предусмотрительно сменил легкую щегольскую саблю на массивный талвар, да и опыта у юноши... куда там, где он, былой юноша?! — заметно прибавилось. Вихрь ударов рушился на поэта памятным самумом, обещая тьму и покой. Дважды лезвие скрежетало по наручу и латной перчатке, но Абу-т-Тайиб успевал отбиваться, не спеша лезть на рожон. Возраст не тот, молодость давно ушла в дальние края, и приходилось беречь силы, выжидая, когда разгоряченный противник зарвется...

Случилось!

Чудом извернувшись в седле, поэт пропустил очередной удар мимо себя — лишь седельная лука взвыла от мимолетного касания! — и ятаган Абу-т-Тайиба пошел на полный круг.

Давешние слова пришли сами:

— Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

И в этот миг рука отказала.

Нет, не рука!

Став вдруг непомерно тяжелым, ятаган, словно живой, отказывался повиноваться, отказывался взмыть вверх и обрушиться на противника, проламывая доспех, мышцы, кости!..

Свинцовый клинок тянул к земле, едва ли не стаскивая с коня; этому не было объяснения, как не было объяснения и всему, что творилось вокруг; но ведь и на Страшном Суде вряд ли станут слушать твои дурацкие объяснения, грешный человек, и цена им — ломаный фельс!

С какой-то странной отрешенностью поэт наблюдал, как вспыхивают торжеством глаза Суришара, как вспыхивает в ответ нимб фарра вокруг головы кабирца, как юноша, подобный блес-

ку молнии во мраке, поднимает коня на дыбы — и как рушится сверху смерть в облике клинка талвара.

Он проиграл. Час пробил; и значит — пора. Пора уходить. Он и так прожил лишний кусок чужой, заемной жизни.

Или все же своей?

Последним, что увидел поэт, было солнце над правым плечом кабирского шаха. Нет, не солнце: в небе, усмехаясь, скалила плоские зубы баранья голова!

Златой Овен смеялся.

Потом была темнота.

* * *

— Е рабб!

Поэт заснул сидя и сейчас, упав на бок, основательно треснулся головой о камень.

От чего и проснулся.

— Е рабб! — еще раз повторил Абу-т-Тайиб, потирая ушибленное место. — И приснится же такое!

Солнце успело закатиться за вершину Тау-Кешт, и снежная чалма, которую гора носила с неизменным достоинством, была уже не розовой — серо-лиловой она была и продолжала быстро темнеть.

Сумерки стремительно падали на горы серым саваном, обещая скорую ночь.

Пора было идти.

Поэт тяжело вздохнул, встал и шагнул в кромешную тьму пещеры.

Два-три шага — и темнота сомкнулась вокруг.

ГЛАВА 10,

где рай сменяется адом и наоборот, наисладчайшее блаженство — наитягчайшим грехом и наоборот, агнец возлежит со львом и наоборот, но никоим образом не упоминаются джавляки, бродячие дервиши, во имя Аллаха добровольно лишившие себя всех волос на теле, включая брови и ресницы

1

Родник доверчиво ткнулся мне в ладонь холодным носом — и отпрянул от кольчужной чешуи, обиженно лепеча невнятицу. Брызги маленькой радугой на миг повисли в воздухе, чтобы опасть на травы капельками росы; гордая фиалка вскинула головку, украшенную алмазным ожерельем, и насмешливый щебет птиц был ответом этой гордыне. Солнце пригоршнями рассыпа-

ло вокруг тертую охру, золотя кусты жимолости, оглушающий аромат плыл волнами, заставляя сердце биться чаще, словно у юноши в предвкушении первого любовного свидания, — а каждый вдох и выдох звучал «алифом» и «лямом», славя Предвечного.

Я стоял нелепой, закованной в металл статуей посреди райских пределов и не знал: тосковать ли мне за тьмой пещеры Испытания?!

Тьмой, из которой родился свет, как уже случалось некогда с мирозданием; да и со мной однажды бывало.

Память подсказывала свидетелем, заслуживающим доверия: шахский доспех так и остался лежать у входа в пещеру. Я не разворачивал тюк, не просил Утбу или Дэва помочь мне застегнуть пряжки и затянуть ремни; я не облачался во все эти зерцала, оплечья, наручи, поножи, не обвивал талию поясом с бляхами, не украшал голову прорезным шлемом, наматывая поверх него тюрбан...

Я не делал этого.

И тем не менее — творение Коблана-кабирца покрывало злосчастного Абу-т-Тайиба с головы до ног, и это являлось такой же истиной, какой был тюк, оставшийся снаружи.

Я был готов к бою.

Я — потому что здесь и сейчас не находилось места лжи или притворству, отстранению или возвышению, всем этим Ахмедам ибн аль-Хусейнам, Абу-т-Тайибам аль-Мутанабби, именам, прозвищам, отчествам и племенным куньям; я был наг душой и открыт рассудком для всего, что могло произойти со мной в здешнем раю.

Не смешно ли? — нагой боец в ратном снаряжении!

Смейтесь великим смехом!

...трава хрустела под двойными подошвами сапог. Брызгала липким соком, ломкими стеблями корчилась за спиной. Трава была бессмертна: что значит сотня-другая зеленых побегов для обширной луговины? Меньше, чем ничего. Мы с травой знали о бессмертии все. Я сдвинул набок ножны с ятаганом и полной грудью вдохнул пьянящий ветер, отличный от запретного вина лишь тем, что он был дозволен. Куда идти? Что делать? С кем биться? О гордый Кей-Кобад, неужели именно здесь тебя выели до сердцевины, бросив в мир лишь пустую оболочку?!

Деревья сомкнулись вокруг меня: ивы с ветвями-хлыстами, вековые карагачи, пирамиды кипарисов накалывали облака на острия макушек, красные листья аргавана соседствовали с серебристой подкладкой листвы сафеддоров; и пятнистой шкурой леопарда земля стелилась к ногам владыки.

Я шел, не разбирая дороги, держа ладонь на рукояти ятагана.

Легкий скрежет латной перчатки о костяные накладки рукояти, хруст травы под сапогами, звяканье наруча, когда он краем цеплял поясные бляхи — странная, противоестественная гармония царила в этом хаосе звуков! Трели птицы бульбуль — и скрежет, воркотня голубей — и хруст, шелест крон под ветром — и звяканье... хиджазский напев бытия!

Уж лучше бы меня ожидала тьма кромешная со скрежетом зубовным, мрак тысячи опасностей, чем этот волшебный Ирем, где волей-неволей приходится чувствовать себя захватчиком!

Я наклонился и мимоходом сорвал нарцисс.

Сунул было за ухо и, наткнувшись на шлем, устыдился.

«Только раз в году нарциссы украшают грудь земли — а твоих очей нарциссы расцветают круглый год...» Воспоминание отрезвило, я бросил цветок в душистую тень олеандра и двинулся дальше.

Без цели, без смысла.

В метелках дикого овса, осыпая серую пыльцу, щеголями площади Мирбадан бродили голуби. Ворковали, топорщили перья, терлись клювами в любовной игре. Ближе всех ко мне прохаживался крупный сизарь с алой полоской вокруг шеи, более всего похожей на коралловое ожерелье. «Мяо!.. мя-а-ао...» — кошачье пение издавал он и все топтался на одном месте, отпрыгивая, возвращаясь, кося на меня влажной бусиной глаза. Я пригляделся. У лап голубя извивалась пестрая гадюка, один укус которой отправляет человека к праотцам верней, нежели добрый удар копья.

Змея вязала из себя замысловатые узлы, но жалить не спешила; и уползать не спешила.

— Мя-а-ао... мя-а-а...

Голубь с ленцой топтался по упругому телу гадюки, кривые когти не по-голубиному хищно прихватывали змею, вздергивали над землей, чтобы тут же отпустить, дать наизвиваться вдоволь — и снова... Тихое шипение вторило нежному мурлыканью, кораллы на шее птицы отливали рассветной зарей, а остальной стае дела не было до забав вожака.

— Кыш! — довольно глупо сказал я. — Кыш, зар-раза!

Голубь, являя собой образец послушания, оставил змею в покое (та мигом юркнула прочь, исчезнув в зарослях), вспорхнул и уселся ко мне на плечо.

— Кыш... — беспомощно повторил я.

Голубь потерся головкой о назатыльник шлема. Щелкнул мощным клювом, норовя ухватить кольчатый край. В ответ я дернул плечом, желая прогнать назойливую птицу, но земля вдруг ринулась прочь, вниз, в пропасть, а небо ударило в лицо синим полотнищем. Расплескивая пену облаков, я мчался в вышине вольным голубем, следя, как внизу стелются реки и озера, холмы и долины, города с многоярусными крышами домов и ри-

совые поля, залитые водой... острые шпили пагод, судоходные каналы, обсаженные деревьями... «Мэй-лань, — мяукал мне в уши ветер, — Мэ-э-эйлань, Мя-а-ао!..»

Я знал: захоти я, и все это станет моим. Я стану всем, стану холмами и долинами, домами и людьми в них, стану Сыном Неба, который долгожитель даже в сравнении с владыками иных держав; мне предлагали величие без границ и пределов.

Искренне.

Я зажмурился. Ну почему я?! Зачем я вам всем понадобился, бродяга, с двенадцати лет избравший долю странствующего поэта? Почему вы не даете мне умереть, отказывая в последнем утешении отчаявшихся?! Я привык петь хвалу власть имущим, когда нуждался в деньгах, я не стеснялся славословить халебского мерзавца Сайфа ад-Даула, этого тупого Меча Истины, получив за лесть годы благополучия, о чем сейчас вспоминаю с омерзением! — но, воспевая эмиров, я мысленно претендовал на их троны лишь в минуты отчаяния! В те горькие минуты, когда душа моя, залог Аллаха, брала своего обладателя за глотку и гнала прочь от благополучия, заставляя выкрикивать стихи, оплачиваемые не динарами, но мечами оскорбленных! «Как, — возмущались они, — сей рифмоплет, чье достоинство — только происхождение от южных арабов, смеет превозносить свою гордыню до небес?! Пес заброшенных стоянок воет на луну и называет это истинной поэзией?! В наше время, когда, в отличие от славного прошлого, перестали рождаться мастера слова, он задирает нос и бахвалится похвальбой зазнаек?! Ату его!» Да, слыша их, мне хотелось надеть венец и перестать быть поэтом, ибо я втайне знал: такого не может произойти никогда...

И не потому, что венец мне заказан.

— Мя-а-а... — разочарованно проворковал ветер. Я вновь стоял на земле, а Голубь-Мяо фарр-ла-Мэйлань, спрыгнув с моего плеча, вразвалочку ковылял прочь.

Стая ждала вожака.

2

Из-за цветущей мушмулы выскочил заяц. Принюхался, вытягивая мордочку, и дробно рванул в лощину, где мне почудилась серая тень. За ним вылетела добрая дюжина приятелей — длинноухих, с куцыми хвостами-пуговками; и зайцы скатились вниз по склонам, топча клевер-пятилистник, будто совершенно не нуждались в удаче. Солнце полоснуло их семихвостой плетью, прежде чем зверьки успели скрыться от моего взгляда, и заячьи шкурки запылали в ответ шафраном, а на ушах блеснули серебром длинные кисточки.

Минутой позже в лощине раздался тоскливый волчий вой. Он разрастался, ширился, тек унынием, захлестывая окружающий меня Ирем; истошному вою вторил барабанный перестук. Невидимые для меня лапки колотили в невидимые стволы, полые изнутри, барабаны гремели все громче, и вой звучал все громче, превращая день в ночь, а солнце — в луну, пока не оборвался на самой высокой ноте.

Я шагнул к спуску в лощину, плохо понимая, зачем это делаю; и споткнулся. Степь раскинулась вокруг меня, степь белобаранных хургов, и чернобаранных хургов, до самой Харзы, на чьи стены никогда не поднимался враг; та степь, которую я уже топтал однажды. Ноги вихрем несли меня по ковыльным просторам, заставляя петлять меж сопками, шуршать в озерном камыше, бешеным соглядатаем наворачивать круги вдоль крепостных стен... люди, кони, юрты и палатки, стада и табуны, башни и рвы...

Все это предлагалось мне.

Бесплатно.

Просто так.

— Нет! — выкрикнул я, чувствуя, что теряю сознание. — Не-е-ет! Я возьму сам!.. са-а-ам!..

Тишина.

На краю лощины сидел Лунный Заяц фарр-ла-Харза, внимательно глядя на меня зелеными глазами. «Зря, — явственно читалось в глубине заячьего взгляда, — зря... я ведь от всей души...» Наконец он моргнул и, потешно выпрыгивая на каждом шагу, двинулся вниз.

Где били в барабаны маленькие лапки, а эхо еще ловило отголоски былого воя.

* * *

Синий Тур Лоула даже не подошел ко мне.

* * *

Виноградная лоза предложила мне масличные рощи Кимены, двугорбый Нар ал-Ганеб — Дубанские равнины, купцы-оразмиты со всеми их караванами были брошены мне под ноги Вольным Плющом фарр-ла-Оразм; Вран фарр-ла-Фес каркал над моей головой, удивляясь человеческому упрямству, а Черепаха-о-Семи-Пятнах все ползла за мной, с воистину черепашьим терпением раз за разом предлагая мне Хинское ханство.

Пока я чуть не наступил на нее сапогом, и черепаха отстала.

Я шел, топча благоуханный ковер, я чувствовал себя святым

пророком Исой, которого враг Аллаха возвел на гору и указал пророку на все царства земные: владей! бери! пользуйся!

Только я, в отличие от святого пророка, мог сколько угодно кричать гласом вопиющего в пустыне:

— Отыди от меня, искуситель!

Разве что горло сорвал бы.

Его я нашел последним. Златого Овна, бесцеремонного спутника, того, за кем явился сюда. Баран лежал у поваленного кедра, а рядом с ним лежал косматый лев, опустив голову на передние лапы и зорко поглядывая по сторонам. При моем появлении лев глухо зарычал и сделал было попытку встать, но блеянье Златого Овна остановило хищника. Рык еще доносился из груди льва, катился предупреждающим рокотом, пока баран не ухватил зверя зубами за складку шкуры на шее и не встряхнул как следует.

Лев угомонился.

Зажмурился, лег на бок и выгнулся спящим котенком.

Я подошел к Златому Овну. Остановился в растерянности, потом освободил ятаган от ножен.

Клинок вопросительно блеснул: я здесь! чего ты хочешь?

Лев встал и затрусил прочь. А проклятый баран глянул на меня снизу вверх и прикусил травинку, что торчала у самой его морды. Курдюк Овна дряблой грудой трепетал от каждого движения челюстей, драгоценная шерсть блестела сокровищами пещеры Сим-Сим; он не сопротивлялся, он лежал покорной тушей, и я почувствовал себя подлецом.

Мне опять предлагали милостыню.

Кебаб вместо Золотого Руна.

Вместо боя, борьбы и схватки, вместо возможности взять самому мне подкладывали нечистое животное свинью! — то есть тупого барана, на холку которого я в любую минуту мог опустить карающий клинок.

А вокруг молчал Ирем, рай без людей, или не так: рай, каким он был до создания Адама.

Впервые я понял, почему имя падшему ангелу, отказавшемуся исполнить прихоть господина: Иблис, то есть «отчаяние».

Иблис охватывал меня все теснее, и не было этому яду противоядия.

— Нет, — сказал я раю, барану и всем на свете фаррам, которые бродили неподалеку, с интересом поглядывая в нашу сторону. — Нет. Если вы предлагаете мне рай, чьей благодати я уже успел наесться всласть, так что она пошла мне горлом, — тогда я предпочитаю ад. При одном условии: свой ад я возьму сам. И поверьте: я знаю верный способ...

Я укрепил ятаган между двух камней — острием вверх.

Сцепил пальцы на затылке, чтобы не передумать в последний миг.

И упал на острие.

3

Падение длилось вечность.

Я даже успел вспомнить, что забыл снять доспех, которого не надевал; и решил, что это не имеет никакого значения.

* * *

Я лежу перед собою цитаделью, взятой с бою,
Ненавистью и любовью — ухожу, прощайте!

Тенью ястреба рябою, исковерканной судьбою,
Неисполненной мольбою — ухожу, прощайте!

В поношении и боли пресмыкалась жизнь рабою,
В ад, не в небо голубое ухожу. Прощайте.

Ухожу...

Кривое лезвие ятагана изгибалось мне навстречу холодной улыбкой стали: «Давай, поэт! Иди ко мне! Доверься! Уж я-то тебя не подведу!»

И я так же криво улыбался ему в ответ, отвоевывая у пространства пядь за пядью.

Прости меня, Аллах всемилостивый и милосердный; или нет, лучше не прощай, а просто пойми. Я даже не буду молить Тебя принять мою неприкаянную душу — ибо знаю, какой грех совершаю. Нет мне прощения, как нет и другого пути. Эй, падший ангел, гордыня во плоти, готовь котел попросторнее, раздувай пламя, зови подручных!

Встречай!

Я иду, спешу, падаю, я уже... где ты?!

Перед глазами мелькают кровавые угли и блеск рогов — вот ты каков, хозяин преисподней! — тупой удар в бок пронизывает болью все тело, в уши врывается глухой звон металла...

...Небо. Откуда в аду такое голубое небо?

Я приподнялся и сел.

Напротив ухмылялась баранья морда! Иблис, будь ты проклят, прощен и снова проклят! — почему и ты предал меня?! Или ты — одно целое со Златым Овном, моим мучителем и искусителем?! Молчишь? Все молчите, да?! — адские выкормыши, зеленые холмы Ирема, их обитатели, толпа тварей, что мало-помалу собирается вокруг поглазеть на завидное зрелище!

Последние слова умирающего Кей-Кобада кузнечными молотами бьют изнутри в гулкие своды черепа:

— Он меня съел!.. съел... меня...

«И меня», — беззвучно отвечаю я.

В ответ баран издевательски скалит плоские зубы, похожие на речную гальку, — словно мерзкая скотина чует мои мысли и глумится над старым поэтом! Златого Овна не устраивает шах-самоубийца! Только он, рогатый фарр-ла-Кабир, волен распоряжаться жизнью и смертью венценосной куклы! Только он вправе, отшвырнув глупца в сторону и выбив из-под него стальную смерть, лично растерзать упрямого — позже найдя замену сносившейся ветоши!

Это намерение ясно читалось в горящих углях, в хищных глазах пастыря стад.

И я понял запоздалым озарением: судьба дарит мне вместо греха самоубийства нечаянную возможность взять, взять, взять наконец самому — что бы я ни брал, жизнь или смерть!

До каких я великих высот возношусь и кого из владык я теперь устрашусь, если все на земле, если все в небесах... если... все...

Удар!

Скрежещут пластины доспеха, трещат ребра, запирая дыхание в легких, как запирают узника в беспросветных темницах Салам-Зиндана; оскал бараньей морды нависает надо мной ущербной луной геенны — и я еле-еле успеваю извернуться под массивной тушей. Кулак, закованный в броню, со звоном впечатывается в самую середину мощного лба, Овен отшатывается, гнусаво блеет; и пинком ноги я отталкиваю его от себя.

Ятаган! Где ты?! Где?!

Тусклый серый блеск в траве, в каких-то двух шагах.

Ноги все делают за меня сами: остается лишь нагнуться, сомкнуть пальцы на рукояти, моей волей избавленной от позора самоцветов...

Багровая вспышка превращает сознание в кусок парного мяса.

Боль.

Семь адских кругов боли, и восьмой, предназначенный исключительно для упрямцев вроде меня.

Во рту — соленый вкус крови и крошево выбитых зубов.

Зубы хрустят на зубах; бывшие на оставшихся.

Встать! Встать, старый урод! Немедленно — потому что время медлить иссякло на весах твоей участи!

Ну же?!

Баран стоит рядом. Рукой подать, и кровь, *моя* кровь, стекает по его золоченым рогам. Встать не получается, сколько ни кричи сам на себя; затруби сейчас Израфиль в трубу Судного Дня, я все равно не встану — но это и не нужно. Вот он, ятаган, стальные

пальцы латной перчатки плотно обхватили рукоять с костяными накладками. Правая рука с оружием как нарочно отброшена назад: единственный взмах, один сверкающий полукруг — и этому кошмару придет конец!

Н-на!

Плечо едва не вывернулось из сустава. Ятаган жмется к земле, наливается свинцом, не желая подниматься, мешая рывком сесть и нанести решающий удар — меч владык, символ Кабирского шахства, отказывается рубить Златого Овна.

Как отказываются рубить только мечи: наотрез.

— Предатель!

В ответ с неба рушится издевательское блеяние, злорадный смех фарр-ла-Кабир.

Вот он, вещий сон! Вот он, сон в руку, меч в руку, и непомерная тяжесть распластывает меня по нежной траве Ирема, давая всласть насмотреться на адское солнце — баранью голову, хохочущую в облаках!

Исступление, бешенство отчаяния обжигает гортань расплавленным оловом:

— Предатель! Кусок ржавчины, позор своего рода, недостойный называться Мечом! Прислужник вонючего барана!

Златой Овен заставляет небосвод содрогнуться в приступе дикого веселья.

— Ведь мы похожи, ты и я!.. — шепчу я непослушными губами, словно надеясь уговорить упрямый ятаган. — Чего ты хочешь? Пылиться на дворцовых коврах, надуваясь от спеси во время парадов и торжеств?! Даже покидая ножны по прихоти очередной венценосной куклы, оставаться мясницким ножом?! — ибо никто не ответит тебе честным ударом на удар! Ты меч — или кусок бараньего дерьма?! Вспомни: подобен сверканью моей души блеск моего клинка; разящий, он в битве незаменим, он — радость для смельчака!.. мой яростный блеск, когда ты блестишь, это — мои дела; мой радостный звон, когда ты звенишь, это — моя хвала! Живой, я живые тела крушу; стальной, ты... ты...

«Достаточно, — решает Златой Овен. — Пора обедать».

Дрогнула земля под копытами кинувшегося на меня барана — и в ответ странной, пронизывающей дрожью отозвалась рукоять ятагана, в чью плоть, казалось, намертво вросли сквозь железо перчатки мои пальцы.

Победный рев исторгся из моей груди, вторя свисту рассекаемого клинком воздуха Ирема: меч все-таки сделал свой выбор! Выбор между человеком и златорогим фарром — а значит, нас было двое!

Нет, не двое: сейчас мы были одним целым!

Ятаган крылом бури взмыл над косматой тушей — чтобы опуститься.

Истошное, испуганное блеяние, влажный хруст — и кривое лезвие, на треть войдя в шею Златого Овна, вспыхивает ярче дюжины солнц. Оно плавится в жаре фарра, истончаясь, исходя нестерпимым сиянием, — и вот: обожженные пальцы уже не ощущают рукояти, ибо ладонь моя пуста.

— Отныне Кабиром будет править не Фарр, но Меч!

Полководец из сновидения в последний раз повторяет эти слова, пробуя каждое на вкус, и удаляется в свою обитель грез.

Раненый баран неистово бьет копытами, проминая доспех, насилуя мое кричащее тело, — но руки уже сомкнулись мертвой хваткой на подрубленной шее фарр-ла-Кабир. Рывок, проворот, треск ломающихся позвонков и рвущихся сухожилий...

Я встаю.

У ног моих бьется в агонии обезглавленная туша кабирского фарра. Драгоценная шерсть, легендарное Золотое Руно, быстро тускнеет, становясь обычной бараньей шкурой, грязной и окровавленной.

Мухи.

Жужжат, клубятся... райские мухи.

А вокруг молча ждут обитатели Ирема, символы сопредельных держав. Фарры Харзы, Мэйланя, Дурбана... зайцы, голуби, верблюды, черепахи; лоза и плющ растут из рыхлой земли, цепляясь усиками друг за друга, уставясь на меня глазницами странных соцветий... ни одного хищника.

И я читаю в их молчании приговор.

Приговор озверевшего рая.

Но все-таки первый шаг навстречу делаю я.

Сам.

4

— ...твое шахское! Посторонись!

Мимо меня, выпятив смертоносный рог «Сестры Тарана», проносится разъяренный зверь аль-каркадани по кличке Дэв.

Мимо меня летит знакомый смех Утбы Абу-Язана, смех и песнь «Улыбки Вечности», двуручной секиры, не обученной задумываться: рай вокруг, ад или сумрачная страна аль-Араф.

Мимо.

Меня.

А в отдалении наотмашь пластает воздух кривой машрафийский меч, изготовленный оружейниками Йемена, честно оплаченный блюдом полновесных динаров, — разрубая цепкие объятия Вольного Плюща фарр-ла-Оразм и скрежеща по панцирю Черепахи-о-Семи-Пятнах, так и не сумевшей всучить мне трон Хины!

«Если буду нужен — позови. Я у тебя в долгу».

Антара Абу-ль-Фаварис, Отец Воителей, ты и без зова пришел на помощь к царю джиннов по имени... по имени... забыл!

Антара, я забыл, как ты называл меня там, в чаше Мазандерана!

Но все равно — спасибо.

Оглушительное хлопанье крыльев над головой — и в горло впиваются кривые когти Голубя-Мяо, символа мира и добродетели! Стоит немалого труда оторвать от себя разъяренную птицу, больше похожую сейчас на горного орла, чем на кроткого голубка. В ответ на удары кулака пернатый фарр-ла-Мэйлань бьет клювом, метко и страшно, прошибая зерцало как раз под ключицей, на месте былого шрама; клещи когтей отрывают от доспеха пластину за пластиной, хлопанье крыльев терзает слух, и я уже с трудом держусь на ногах, но падать нельзя, ни в коем случае нельзя, а можно лишь раз за разом бить в ответ, бить, пока есть силы, а потом — ногами втаптывать мерзкую тварь в грязь, ломая крылья и слыша, как хрустят под каблуком ребра...

Огромная голова Лунного Зайца катится по останкам голубя, а верный Дэв спешит на помощь чернокожему Антаре — Отец Воителей, изрубив наконец в куски Вольный Плющ, схватился с двугорбым Наром ал-Ганебом, успевая одновременно уворачиваться от упрямой черепахи фарр-ла-Хина. Гигант-верблюд встает на дыбы, машет копытами, пытается достать Антару зубами, и помощь Дэва весьма кстати.

Я вытираю пот, удивленно слыша скрежет перчатки о налобник шлема; и вижу Утбу.

Что ж ты так, веселый хург, что ж ты...

Они лежат рядом, вцепившись друг друга и разметав в стороны обрывки Кименской Лозы: Утба Абу-Язан и Фесский Вран. В спине мертвого ворона, подобного птице Рох из легенд, глубоко засела секира со сломанным древком — но клюв фарр-ла-Фес до середины вошел в левый глаз Утбы, выйдя из затылка.

И на губах хурга костенеет его последняя, прощальная улыбка.

А поодаль молчаливо стоит Синий Тур Лоула, так и не приняв участия в битве, стоит, печально глядя на убийц и убитых слезящимися голубыми глазами.

Опять — голубыми!

Голова идет кругом, взор туманится, но я еще успеваю увидеть, как под страшным ударом копыта падает несокрушимый, казалось, Дэв, подняв за миг до смерти на копье Черепаху-о-Семи-Пятнах; как возле него, прорвав воздух-кисель, возникает суровый Гургин, и пламя из солнечного краба жаровни, которую маг держит в руках, фонтаном ударяет в оскаленную морду верблюда фарр-ла-Дурбан; Антара радостно заносит меч — и я ухожу.

Сам.

* * *

Утонув во мраке беспамятства, Абу-т-Тайиб уже не видел, как пал Нар ал-Ганеб под ударом Отца Воителей; не видел, как растворился в туманном мареве сам Антара и как уходил прочь из осквернённого кровью рая печальный Тур Лоула.

Он не чувствовал, как трясущиеся руки Гургина стаскивают с него покореженные латы, отбрасывая прочь куски металла. Левую перчатку маг стащил, истово ругаясь сквозь зубы, потому что раскаленная сталь обжигала руки; и потом старец долго смотрел на покрытую ожогами ладонь поэта. Там, на среднем пальце, ниже полуоторванной фаланги, сиял перстень с вишнево-красным камнем — а на самоцвете мигал удивительный глаз, похожий то ли на косматое солнце, то ли на разинутый рот.

Шахский перстень, древний символ, который поэт всего-навсего забыл снять, оставляя в Кабире кулах и пояс владыки.

Свет в Иреме стремительно мерк — и вместо этого наливался багровым пламенем камень перстня, словно всасывая остатки умирающего дня.

Маг потянулся было к перстню — снять! — но не решился.

— Тебе не хватает света, да? — тихо спросил верховный хирбед, делатель владык. — Ты привык всегда быть в сиянии фарра, и теперь пьешь про запас?

Перстень не ответил.

Старец кивнул и попробовал успокоить сердцебиение.

Иначе сил его изношенного тела могло попросту не хватить.

ГЛАВА 11,

в которой жизнь и смерть спорят между собой из-за одного человека, в которой память издевается над этим человеком, в которой выясняется, что может произойти с тем, кто заночует-таки в храме Сарта, Гложущего Время (благо ему!), — но так и остается неясным, отчего же горцы обходят столь гостеприимный храм десятой дорогой?!!

1

Солнечный диск медленно полз к закату. По пустыне неба, изгрызенной зубами скал, осыпая напоследок золотистым багрянцем угрюмые хребты, подкрашивая веселой охрой — словно красавица кудри! — замшелые крыши селения. Требовательно блеяли недоеные козы в тесноте загонов; незло, по привычке, переругивались соседки и зубоскалили над женщинами их мужья, раскупоривая глиняные бутыли; квохтали куры, устраи-

ваясь на ночлег. Скрип и хлопанье ветхих дверей, над саклями курились сизые дымки, разнося окрест ароматы готовящейся стряпни. Пахло обжитым, вековечным домом, которым давно уже стали для этих людей здешние горы без названия.

У входа в крайнюю саклю, на каменной скамье, отполированной седалищами поколений, сидели двое. Сухощавый старец кутался в длинный, до пят, войлочный кобеняк, поверх обшитый кожей — от дождя и ночной сырости. Рядом яростно чесал бороду заросший до самых глаз горец, обладатель мохнатой папахи и кацавейки из козьей шкуры, мехом наружу.

Штанов на горце не было.

Они после стирки сушились на веревке, в трех шагах от скамьи, и чем-то удивительно напоминали злоумышленника, вздернутого на дыбу.

Оба молчали: и старец в кобеняке, и горец без штанов. Прислушивались к звукам, что доносились из сакли, — невнятное бормотание, звяканье связки колокольцев, ритмичный перестук деревяшек, шарканье шагов...

Что-то творилось внутри, и это «что-то» явно интересовало обоих. Но соваться внутрь мужчины не решались — лучше не мешать; сидеть снаружи, слушать... ждать.

— Не грызи печенка, Гургин-ака, — горец искоса глянул на старца и подмигнул со значением. — Хадыжа-апа дело знай! Хороший колдовка, вай! Меня лечи, когда я нога ломай — вишь, как новый бегает!

И в доказательство стукнул себя кулаком по колену.

— Вижу, знает она дело, бабка ваша, — хмуро кивнул старец, которого горец назвал Гургином-акой. — Была б нога, я б сейчас песни пел! Ох, была б нога... Боюсь — помрет.

— Вай, зачем Косую поминаешь?! — замахал на старца руками хозяин жилища. — Седые волосы нажить, ума не нажить! Все хорошо быть! Я вас на перевал находи — хорошо?

— Хорошо, — вынужден был согласиться старик.

— Твой друг совсем дохлый быть, ты его таскай-волочи — силы кончайся, вы оба кончайся! Плохо? Плохей некуда. Но Джуха, — палец гордо ткнулся в отворот кацавейки, — вас орлиный глаз замечать, вино поить, второй конь деревня находить, гостей спасай-привози — хорошо?

— Хорошо, — доводы Джухи просто-таки вынудили собеседника кивнуть.

— Теперь лучший колдовка твой друга помоги! Злого испалихоманщика гоняй, травами лечи, какой надо еда делай — хорошо?

— Хорошо, — в третий раз согласился старец. — Спасибо тебе, Джуха. Я очень надеюсь, что уважаемая Хадыжа-апа сумеет

поставить моего друга на ноги. Но мои надежды — это одно, а раны — совсем другое...

— Великая воин, да! Я сразу видать! Рука совсем железный! — поспешил внести свою лепту неугомонный Джуха.

— Только если он даже поправится, — старец гнул свое, и тень лежала на морщинистом лице, тень забытых ущелий, куда не попадает солнечный луч, — нам тут у тебя еще долго гостевать. Пока мой спутник на ноги встанет... Если встанет, — добавил он чуть слышно. — Так что имей в виду: мы в долгу не останемся! Еды прикупить, знахарке заплатить, ну и за ночлег — ты только не стесняйся, прямо говори. К чему тебе разорение?

— Обидеть хочешь?! — Джуха аж подпрыгнул на скамье и сбил папаху набекрень. — Вы двое — моя гость! Любимый гость, кунак, живи, сколько надо! Ты, наверно, горы редко бывать, Гургин-ака... Закон не знать. В горы по-другому нельзя. Человек беда попади — помогай надо! Гостя гнать — позор! Деньга брать — позор! Чтоб не слышать больше! Понял?

Джуха грозно свел косматые брови на переносице.

— Понял, — покладисто согласился Гургин.

И тронул бородавку: не пропала ли?

2

...Темнота. Тишина. Покой. Ничто.

А вот уже — не тишина. Звук. Колокольцы. Издалека. А вот трещит что-то, постукивает. Ближе, ближе...

Рядом.

Мрак редеет, и из него проступает старушечье лицо. Морщины, складки. Скорбно поджатые губы скупо цедят слова, но смысла не разобрать — просто слова.

Кап... кап... слова.

Лицо исчезает. Дым. Едкий, остро пахнет бедой: Горим, наверное. Пожар.

Эта мысль не вызывает никакого отклика — попытки или хотя бы желания вскочить, бежать куда-то, спасаться. И страха тоже нет. И на помощь звать не хочется.

Горим — значит, так надо. Ну, сгорим. Что с того?

Пожар заканчивается, не начавшись. Дым уходит, уплывает, хоронится в щели... Ну и ладно. Не сгорим. Тоже хорошо.

Твердое тычется в губы. Наверное, надо бы их приоткрыть — вот только получается плохо. Нет, получилось-таки.

— Ляпс пей надо, родимый! Много пей, здоровей, сил набирайся... сил...

Слова. Одно смешное: л-ляпс! Пригоршня жидкой грязи — и на мрамор. Ляпс. Пахнет луком и чесноком. Горячий. Вкусно.

Только больше не хочется. Хочется назад, туда, в темноту без звуков.

И темнота приходит.

* * *

Тишина. Но темноты больше нет — ушла куда-то, наверное. Камень. Вокруг — камень. И над головой — тоже. Сверху неуверенно сочится серость. Это свет. Такой свет. Совсем рядом — руку протяни, достанешь! — грязные циновки. Это пол. Такой пол. Чуть дальше — круглый блин из камня; на блине стоит кувшин. Глиняный, кособокий. Ага, вон, еще дальше — дверь, собранная из каких-то совершенно немыслимых обломков дерева. Кажется, что-то подобное он уже видел. Серость, плоские камни, узкое оконце и — дверь-урод. Где?

Нет, не вспомнить.

Снаружи доносятся голоса. Люди. Разговаривают. О чем — не понять. Люди... А сам он — кто? Человек? Да, наверное. Руки ползут по телу, щупают, трогают. Руки. И тело, по которому они шарят. Наверное, где-то есть и ноги. И голова. А вот на теле обнаруживается шрам. Под ключицей. И еще один, выше, прямо на горле. Шрамы хочется чесать. Но одна рука удивляет: два пальца короче остальных. Ну и ладно.

Удивление уходит вслед за темнотой.

Он — человек. Это точно. Человек — и все?!!

Нет ответа. Только гулкая пустота там, внутри, где должен лежать этот самый ответ.

И вновь — тишина.

Темнота.

Вернулась.

* * *

Глаза открываются.

Видят.

Старца видят. Сухого, жилистого, с бородавкой над верхней губой, из которой растут жесткие черные волоски. Старец сидит напротив, почесывает свою бородавку и глядит прямо.

На него глядит.

На человека.

— Наконец-то ты пришел в себя, — скупая улыбка на морщинистом лице.

— Я... пришел... — Слова выходят чужие, натужные, от них першит в горле, и человек на время умолкает, откашливаясь. Грудь саднит; это неважно. Важно другое.

— Кто я, старик?

— Кто ты? Одно время тебя звали Кей-Бахрамом, шахом Кабира-белостенного. Но ты задушил это имя собственными руками. А еще раньше, если мне не изменяет моя старческая память, ты называл мне другое имя. Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, бродяга и поэт.

— Абу-т-Тайиб? Кей-Бахрам? — Человек по очереди пробует имена на вкус. Оба — одинаково безвкусные. Никакие. Ляпс вкуснее: там чеснок и лук. И нет отклика в душе, ничего не поднимается из глубин спящей памяти. Спящей? Или умершей?..

Шах? Бродяга? Поэт? На последнем слове человек задерживается чуть дольше. Поэт.

— Кто такой поэт, старик?

— Тот, кто слагает стихи.

Тот, кто слагает стихи. Если он был поэтом, у него тоже должны быть стихи.

Наверное.

— Эти имена — пустой звук, старик. Почитай мне лучше стихи. Мои стихи.

— Увы, — разводит руками старец, и его голубые глаза предательски блестят. — Я не могу... я не помню, не знаю... Неужели ты все забыл? — Старец на миг умолкает, не зная, как теперь обращаться к собеседнику. — Мазандеран, пещера Испытания, Златой Овен? Вспомни! Ну вспомни же!

В хриплом голосе звучит отчаянная мольба.

Человек честно пытается вспомнить, раз за разом повторяя про себя странные слова, произнесенные стариком, и пытаясь представить себе, что бы они могли значить.

Ничего.

Пустой звук.

Человек устало откидывается на изголовье.

— Я болен, старик?

— Ты очень сильно болен, — старец глядит в сторону. — Тебе требуется покой и хороший уход. Мы делаем все, что в наших силах — но...

— Мы? — вяло переспрашивает человек.

— Я, наш добрый хозяин Джуха, знахарки из селения...

— Хорошо. Спасибо. Тебе, Джухе и знахаркам.

— Принести тебе поесть?

— Не надо. Хотя... Поставьте еду где-нибудь рядом. Когда я захочу есть, я возьму сам.

При последних словах больного глаза старика странно вспыхивают.

Он ждет.

Но человек молчит.

— Хорошо, отдыхай. Я больше не буду отвлекать тебя глупы-

ми разговорами. Но... ты отказался от прежних имен — как же мне называть тебя?

— Зови меня Безымянным, — равнодушно говорит человек, отворачиваясь к каменной стене.

3

— Хадыжа-апа говори: плохо дела, — Джуха подошел сзади, заставив Гургина вздрогнуть от неожиданности. — Твоя друг уже вставай, только мало-мало. Голова совсем пустой. Ничего не помни. Ничего не хоти. Помирай скоро. Только Джуха не понял: почему помирай? От глупой голова, да?

— От безразличия. — Старец все смотрел на закат и не мог оторваться от зрелища похорон дня. — Ему скучно жить.

— Помирай хоти? — сочувственно осведомился Джуха.

— Нет. Он ничего не хочет — ни жить, ни умирать. И поэтому скоро умрет. С одними ранами он бы еще справился — он очень сильный человек. Был...

И старик снова, не моргая, уставился на заходящее солнце блекло-голубыми глазами.

Джуха стоял рядом, морща лоб. Думал. Наконец заговорил снова.

— Слушай, Гургин-ака... Если он все вспоминать — жить опять?

— О, если бы он вспомнил! — тяжелый вздох. — Тот, кем он был прежде, очень любил жизнь. Но, к сожалению, даже я не знаю, как вернуть ему память. И возможно ли это вообще...

— А так он точно помирай? — не отставал Джуха, явно лелея тайный замысел.

— Да. Я вижу.

— И Хадыжа-апа тот же слова говори! — непонятно чему обрадовался горец. — Значит, если мы его свой способ лечи — хуже не бывай?

— Не бывай, — кивнул Гургин. — Теперь хуже ничего не бывай.

— Только ты Хадыжа-апа не говори! Она мой шибко ругать будет! — зашептал Джуха прямо в ухо старцу, косясь по сторонам и отчаянно брызгая слюной. — Есть способ! Храм Дядь-Сарт его везти надо! И на ночь оставляй! Утром мы приехать. Тогда твой друг или вспомнить все, или помирай!

Джуха подумал немного и добавил:

— Или сначала вспомнить все, а потом помирай. Но так все один сдохнет. А так... — и многозначительно умолк.

В следующий миг над горами раскатился протяжный, нечеловеческий вой, от которого, казалось, в ужасе содрогнулись сами скалы.

— Горный Смерт! — поднял вверх указательный палец Джуха. — Хорошо кричи, молодца! Добрый знак.

— Добрый?! — поперхнулся Гургин, которому вопль подозрительно напомнил одного голосистого мазандеранца.

— Ясно дела, добрый! — уверенности Джухи не было предела. — «Так и надо делай, вах!» — говори. Громко говори, подбадривай! Завтра утром и повезти.

* * *

Одеться ему помогли. Безымянный не возражал; только очень спать хотелось. Все время. Даже когда его, почему-то стараясь не шуметь, вывели во двор, где ждали три низкорослых конька.

Безымянного подсадили в седло и предусмотрительно привязали к коню толстой мохнатой веревкой.

Это было правильно — ведь с коня можно упасть. И тогда: снова боль, мешающая спать, уходить в спокойные глубины забытья, к которым он уже привык и совсем не возражал бы остаться там навсегда.

Они выехали из селения, и копыта коней застучали по камням узкой тропы.

Безымянный не смотрел по сторонам. Равнодушие пеленало его в серый кокон из пыли, такой же мохнатый, как веревка-хранитель. И лишь когда впереди, на востоке, показался из-за зубчатого хребта розовый краешек солнца, во взгляде привязанного к лошади человека появилось некое подобие интереса. Он знал, что это — *правильное* солнце, и ему доставляло странное удовольствие смотреть на восход.

Он смотрел на солнце до тех пор, пока у него не начали слезиться глаза.

4

...Безымянному было все равно.

Его куда-то везли, потом вели, вполголоса шепчась за спиной, после сунули в руки узелок, из которого вкусно пахло свежими лепешками, и наконец оставили в покое.

Безымянный огляделся.

Свет закатного солнца медленной патокой тек в крохотное оконце под потолком. Пылинки танцевали в луче, вертясь и подпрыгивая заблудшими душами в поисках божественного откровения; Безымянный подумал еще, что свет не видывал более напыщенного сравнения; да и тьма, пожалуй, тоже не видывала...

Мысль оказалась слишком длинной и сложной, чтобы додумывать ее до конца.

Ну ее.

В углу стоял алтарь, похожий на черный камень Каабы. Чуть дальше, у самой стены, притулился идол из серого песчаника, но на идола Безымянный смотреть не стал.

Он знал, что идолопоклонничество — это грех.

Единственное: он не помнил, что такое грех и плохо ли это.

Безымянный потер пальцем шершавый сланец стены, лизнул палец, сплюнув горькую крошку, и присел на корточки. Узелок он положил перед собой на пол. Узелок его сейчас не интересовал, до наступления голода. Зато сбоку, прикрученный тесемкой, обнаружился длинный сверток — и любопытство вспыхнуло в Безымянном. Это было приятно: хотеть узнать и иметь возможность узнать.

Съесть лепешку — тоже приятно, но не так.

Меньше.

Шелковый платок развернулся сам собой. Там, в скользких объятиях шелка, прятался пенал. Роскошный пенал из мореной черешни, сплошь расписанный мельчайшей вязью, ветками и цветами. Серебряная цепочка приковывала к пеналу чернильницу о шести гранях, сделанную из желтой бронзы. А внутри черешневого футляра мирно лежали два очиненных калама и бронзовый ножичек.

Маленький такой.

Безымянный встал и подошел к дверям. Ему захотелось уйти, но двери оказались заперты снаружи. У порожка, свернутое втрое, валялось одеяло из колючей верблюжьей шерсти; поверх одеяла ждали своего часа огниво и пучок лучин.

Безымянный передумал уходить.

Он только стукнул кулаком в дверь: тихий вызов, бунт, от которого смешно щипало в носу, а на душе становилось тепло.

И вернулся к пеналу.

Чернильница была пуста. Безымянный огляделся: раз есть пенал, значит, должно быть что-то еще... что-то... еще... Нашел. На алтаре лежала книга. Огромный фолиант в кожаном переплете, с застежками из тусклого металла, похожего на серебро. Рядом стоял яшмовый флакон с притертой пробкой.

Безымянный подошел к алтарю. Взял флакон; с трудом выдернул пробку, получив в ответ короткий визг. Внутри, в полой гробнице, плескались чернила — и это было правильно. Перелить часть их в чернильницу оказалось делом совсем простым. Безымянный даже почти не испачкался, только полу халата залил, но халат его не интересовал.

Его интересовала книга.

Первая страница была девственно чистой. Как вторая и третья. Безымянный макнул калам в чернильницу, подумал и опус-

тил калам на алтарь. Зачем? И так красиво. Он подпер рукой подбородок и задумался. О белых страницах и черных чернилах. Думать о них было неприятно, а не думать — плохо. Наверное, это и есть грех. Наверное, за него положено запирать в одиночестве, чтобы человек мог спокойно поразмыслить о важном, наедине с каламом и тишиной.

А потом надо будет съесть лепешки.

— Нравится? — спросили из-за спины.

Безымянный кивнул.

— Ну-ну, — сказали из-за спины; но уже гораздо ближе. — Ты каллиграф?

— Нет, — с уверенностью сказал Безымянный; потом ему захотелось узнать, что такое каллиграф, но он постеснялся спросить.

— И я — нет, — чужое дыхание жарко коснулось волос на затылке. — Но у меня есть вино и немного зелени. А у тебя?

— Пить вино — это грех, — наставительным тоном сообщил Безымянный, сам удивляясь собственным словам. — Ибо сказано: «Вино превращает человека в похотливого пса, в грязную свинью!»

— Тем, кого превращает, конечно, запретно, — покладисто согласилось чужое дыхание. — А тем, кого не превращает, — дозволено.

Довод показался Безымянному разумным.

Он обернулся и увидел рядом с собой худого человека, вид которого показался Безымянному знакомым. Горбатый нос, в запавших глазницах плещет немая усмешка, лоб изборожден морщинами... Человек улыбнулся и почесал себе переносицу. Безымянный улыбнулся в ответ и тоже почесал себе, но иначе: проводя пальцами от складки меж бровями по всей седловине носа до самых крыльев.

Утолять зуд было приятно; почти как утолять любопытство.

А думать о том, что сбрей Безымянный бороду — и они с человеком из-за спины станут изрядно похожи... думать об этом не хотелось.

Ну его.

— У меня есть лепешки, — сказал Безымянный, осторожно вытирая калам тряпицей, найденной за пазухой, и пряча его обратно в пенал. — Кажется. Я сейчас посмотрю.

В узелке, кроме лепешек, обнаружились катышки овечьего сыра и еще какой-то сыр — скользкий, он плакал солеными слезами, скорбя о собственной участи.

Последней явилась плеть вяленого мяса, сплошь покрытая коростой перца.

Человек из-за спины тем временем рылся в углу, где раньше стоял идол. Извлек кувшин, оплетенный сеткой из сухих лоз, встряхнул его, насладившись бульканьем, и полез за зеленью.

— Тебя как зовут? — спросил человек из-за спины, нюхая пучок рейхана.

— Меня?

— Тебя. Неловко, понимаешь: собутыльники — и без имен!

Последняя реплика подсказала ответ.

— Меня зовут Безымянный, — сказал Безымянный.

— А меня — Ожидающий, — ничуть не удивившись, сказал человек из-за спины. — Слушай, а рейхан совсем свежий... ишь, пахнет! К нему бы баранинки... с перчиком, с черемшой...

И кинул в рот фиолетовый листок.

— Вот, — Безымянный махнул вяленой плетью. — Вот баранинка.

И мысль о баранинке, которую можно съесть под вино, которое одним запретно, а другим — дозволено, показалась Безымянному приятнее всего на свете.

5

— ...еще по одной?

— Наливай!

— А песню?!

— Чей черед, Ожидающий? Я тебя спрашиваю: чей черед?! Гость, значит, через раз поет, а хозяин — через два?!

— Ты, гость, ври, да не завирайся! Хозяин черед знает! Я тебе пел: «Над горою кипарисы»?.. Пел или как?!

— П-пел! Перепел! Давай еще разок, хором: «М-мир лишь луч от лика друга... мир лишь луч...»

— Не хочу хором! Ты пой, как уславливались!

— Н-нет, ты меня не торопи! Раз Ожидающий, значит, жди и не выкобенивайся! П-понял?

— П-понял! Жду и не выкобениваюсь!

— А теперь скажи: обиделся?

— Н-ну... ты лучше перстенек свой поверни камнем внутрь — кому охота в темноте сидеть? Ишь, светосос...

— Ты не юли, ты отвечай: обиделся?

— Отвечаю: да. Убил бы, только некогда.

— Правильно! Если б ты не обиделся, я б тебе в жизни петь не стал! Ни словечка! Бродим по миру тенями бесплотными, бродим по крови, которую пролили; жизнь моя, жизнь — богохульная проповедь! Ныне молчу... молчу! Ныне... Слушай, Ожидающий, скажи мне лучше: кого больше — живых или мертвых?! Ну скажи: кого?!

— Ты украл чужой вопрос, Безымянный.

— Знаю! А откуда знаю, не знаю! Это спросил Искандер Двурогий у нагих мудрецов из страны Синдху! Смешно: мудрецы — с голой задницей! Чтоб мудрость лучше отсвечивала...

— И что ответили мудрецы Искандеру?

— Живых больше, ответили задницы; мертвых не существует. Представляешь, Ожидающий: мертвых не существует! Совсем! Ты мне веришь?

— Верю.

— А задницам?

— И задницам верю. Особенно голым.

— Где мой пенал? Где мой пенал, я тебя спрашиваю?! Мне просто необходимо это записать в твоей книге: мертвых не существует! Заглавными буквами! Где мой... а-а, вот он! Где книга?!

— Перед тобой.

— А я пишу! Е рабб, я пишу! Вот: «Мерт... мертвых не существует!» И еще: «Пусть враги стенают, ибо от Багдада до Магриба петь душе Абу-т-Тайиба, препоясанной мечом!» И еще: «Где ты, жизнь Абу-т-Тайиба, где вы, месяцы и годы? Тишина. И на коленях дни последние стоят». И еще...

* * *

Безымянный отшатнулся.

Опьянение талой водой оплыло с него, исступленные сквозняки продули сознание насквозь; сейчас он мог только стоять и смотреть, как на белизне книжной страницы, испещренной его записями, проявляется новый текст.

Алиф, лям... штрихи, точки, завитки...

«Аль-Мутанабби (Сам-Себе-Пророк, Выдающий себя за пророка) Абу-т-Тайиб Ахмед ибн аль-Хусейн. 915—965 гг. по христианскому летосчислению (302— 354 гг. лунной хиджры). Потомок южноарабского племени Бану Джуф, с двенадцати лет избрал путь профессионального странствующего поэта. Добился признания, состоял при дворах эмиров Сирии, Египта и Ирака; высшего успеха и славы достиг в Халебе, при дворе эмира Сайфа ад-Даула. Убит из мести за сатирические стихи. Оказал влияние на персидскую поэзию».

И еще:

«Ханна аль-Фахури сказал: «Ему были свойственны воинственность, решимость в риске, бесстрашие, неиссякаемая энергия... Аль-Мутанабби обладал такими качествами, как стойкость, непоколебимая решительность, и никакие превратности судьбы не могли заставить его пасть духом».

И еще:

«...человек у ночного костра невесело ухмыльнулся. Поворошил угли палкой с завитком на конце, похожим на вытянутую букву вав; и в ответ иные буквы зарделись, заплясали в очнувшемся пламе-

ни — алиф, мим, нун, син, каф... ты, гроза, гроза ночная... Заревая кобылица пока что существовала лишь в воображении человека, до бега ее оставалось не меньше трех часов, а реальность была совсем иной: костер, который пришлось разводить заново, ежеминутно поминая шайтана над сырыми дровами...»

Когда Абу-т-Тайиб наконец захлопнул книгу и обернулся — собутыльника, минутой ранее выяснявшего черед дружеского пения, рядом не было.

Лишь в углу молчал идол из серого камня; но на идола поэт смотреть не стал, потому что идолопоклонничество — это грех.

— Не складывается жизнь... — Поэт сложил калам с ножичком в пенал, плотно закупорил чернильницу и стал заворачивать пенал в платок. — Нет, не складывается...

«Какая жизнь? — беззвучно спросили из угла. — Какая, приятель, — та или эта?»

— Неприкаянный я, перекати-поле... носит ветром, и куда ни занесет, везде одно и то же!..

«Ты сказал! — плясали пылинки в луче зари рассвета, и молчал алтарь с книгой в кожаном переплете. — Ты сказал... ты...»

Абу-т-Тайиб подошел к двери и стал колотить в нее кулаком.

Открыли не скоро.

6

КАСЫДА О ВЗЯТИИ КАБИРА

Не воздам Творцу хулою за минувшие дела,
Пишет кровью и золою тростниковый мой калам,

Было доброе и злое — только помню павший город,
Где мой конь в стенном проломе спотыкался о тела.

Помню: в узких переулках отдавался эхом гулким
Грохот медного тарана войска левого крыла,

Помню: жаркой требухою, мертвым полем под сохою
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас
И вода тела убитых по течению влекла,

Помню гарь несущий ветер, помню, как клинок я вытер
О тяжелый, о парчовый, кем-то брошенный халат,

30 – 7682

Помню горький привкус славы, помню вопли
конной лавы,
Что столицу, как блудницу, дикой похотью брала.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур
облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола, —

Но рука Абу-т-Тайиба ввысь указывала, ибо
Опускаться не умела, не желала, не могла.

Воля гневного эмира тверже сердцевины мира,
Слаще свадебного пира, выше святости была.

Солнце падало за горы, мрак плащом окутал город,
Ночь, припав к земле губами, человечью кровь пила,

В нечистотах и металле жизнь копытами топтали,
О заслон кабирской стали знатно выщерблен булат!

Вдосталь трупоедам пищи: о стервятник, ты не нищий!..
На сапожном голенище сохнет бурая зола.

Над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,
Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться —
Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Плачь, Кабир — ты был скалою, вот и рухнул, как скала!
...Не воздам Творцу хулою за минувшие дела.

ГЛАВА 12,

полная загадок без разгадок, вопросов без ответов, мудрости и глупости, а также воодушевленных разговоров; но то, что богомолец-ходжа обязан после обхода Каабы посетить Стоянку Авраама — это так и остается невыясненным

1

Во дворе постоялого хана плясал дервиш. Исступленно, самозабвенно; третий час плясал. Метались полы одежд цвета меда, билась стягом траура лиловая накидка, противореча танцу; высокая шапка-конус, крестообразно обмотанная чалмой, чудом удерживалась на голове — а ноги странника переступали, притоптывали, отбивали неслышный иным ритм, сгибались в коленях, подбрасывали в воздух сухое тело...

Неподалеку, ближе к коновязям, валялся посох с железным набалдашником.

И еще: котомка, откуда высовывалась другая шапка, в форме ладьи, испещренная письменами — будто чайка прогулялась по мокрому песку.

— Ай, святой человек! — Цирюльник ловко шлепнул на макушку клиента горсть мыльного настоя и ухватил помазок из конского волоса. — Ай, славно пляшет, душу Аллаху выворачивает!

— Это ересь или дурость? — поинтересовались из-под пенного тюрбана.

— Свою душу перед Аллахом, я хотел сказать! — спешно исправился цирюльник, с удвоенным рвением работая помазком; потом он потянулся за бритвой. — Я б так сплясал, и сразу в рай... лба не утерев...

Клиент хотел было кивнуть, выражая согласие с мнением просвещенного цирюльника, но побоялся: уж больно остра была бритва.

Кому охота оставшийся век корноухим ходить?

Дервиш тем временем завертелся волчком, вскинул правую руку к небу, а левой ухватил подол собственной накидки. Святой человек был безбород, безволос, даже брови его были аккуратно выщипаны по волоску. Возраст славно поработал над лицом странника, и складкам с морщинами негде было укрыться — выставились на всеобщее обозрение, втайне мечтая о бороде-спасительнице.

— Потом отрастит, — цирюльник угадал тайные мысли клиента. — Все у него будет, и борода лопатой, и усы ручьями... Обет он принял небось, на тысячу ночей и еще одну, покаянную. Я на таких насмотрелся, господин хороший, все их повадки изучил! Вот сейчас вы голову бреете, а завтра этот дервиш придет! Ну, не завтра, пусть через месяц — какая разница? Мимо цирюльни никто не ходит...

— Ты б болтал поменьше, — донеслось снизу. — Не ровен час, порежешь!

— Я?! — Возмущению цирюльника не было предела. — Я мухе усы обрею и лишку не сниму! Когда я брил голову светлейшему Харуну, наместнику Басры...

Клиент ухмыльнулся, отважно рискуя ухом.

— Светлейшему Харуну, говоришь? Наместнику Басры? Это случайно не Харуну Праведному, лучшему из халифов? А по ночам в народ ты с ним не ходил?

— Светлейший Харун тогда еще не был даже престолонаследником, — наглости цирюльника не было предела. — А после их светлость Харун перебрался из Басры в Дар-ас-Салам, а я — сюда, так что не знаю, не знаю, кто там с кем в народ хаживал!

— Выходит, ты меня лет эдак на двести постарше будешь? А, брадобрей?

Цирюльник лишь усмехнулся — веселый заказчик попал-

ся! — и продолжил ловко орудовать бритвой. Которой некогда, начиная с правой стороны и заканчивая левой, брил басрийского наместника Харуна, потом — привередливых жителей Медного города; сейчас же делал красивым разговорчивого клиента по имени Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби.

А дервиш все плясал.

* * *

...Гостеприимец Джуха предлагал гостям остаться у него. Навсегда. Мол, всем селением обустроим, саклю поставим, кур там, овец... невест сосватаем! Поэт не сомневался: дай они с Гургином согласие, и завтра же горец вывернет весь свет наизнанку, а обещание выполнит! Таков уродился. Соседи-всезнайки успели шепнуть, что и отец Джухи таков был, и дед... Однажды пять аулов разбойника Джукмара ловили — грабеж грабежом, все горазды, а этот на женщину руку поднял, вшиголовый! — так разбойничек в саклю деда Джухи вломился и к ногам упал.

— Гость, — кричит. — Гость я!

А у самого кровь по лицу...

Не тронули горцы Джукмара-лиходея: дед у входа с кинжалом стал, и трое суток не евши, не пивши, охранял гостенька.

После до перевала проводил и сказал тихо:

— Иди, добрый человек! Далеко иди, мой глаз не видеть — иначе у Горный Смерт ночевать!

А внук Джуха, если соседским языкам верить, и деда с отцом вдвое переупрямил.

Нет, поэт с магом не собирались испытывать на прочность гостеприимство хозяина. И оставаться здесь, в горах без названия, не собирались. Поэт ненавидел горы. Каждая скала, каждое ущелье напоминали ему о том, о чем хотелось забыть раз и навсегда. Только не получалось. И Абу-т-Тайиб понимал: после ночи в храме, ночи, смысл которой остался для поэта темен, память вернулась к нему иной. Теперь он ничего не забывал. Захоти Абу-т-Тайиб припомнить шуточную строчку, которой позабавил Аллах весть когда эмира халебского, — строчка приходила сама. Ждала, вертелась красоткой перед зеркалом, звенела бубном. Так и лица: друзья, враги, мать... Дэв, Нахид, веселый хург...

Но в горах он больше жить не мог; не мог, даже зная, что забыть прошедший год, год безумия, находок и потерь, — тщетная надежда.

— Ты счастлив? — как-то спросил его Гургин.

— Да, — без колебаний ответил поэт. — Я счастлив. Я достиг цели, я взял сам и потерял сам. Я счастлив. А ты?

Маг не ответил.

Джуха вызвался проводить гостей до перевала Баррах, но гости вдруг решили ехать в Медный город. С перевала дорога вела их в Кабир, куда оба возвращаться не желали. Поэт — по вполне понятным причинам; маг — из страха. Он так и сказал поэту: боюсь. Однажды я уже пережил это: возвращение не туда, откуда уезжал. Нужно обождать, сказал он, нужно пережевать страх зубами времени, проглотить и запить холодной водой. Может быть, тогда...

Может быть.

Двое стражников-близнецов, собирающих пошлину у въездной заставы, неожиданно показались Абу-т-Тайибу чуть ли не милей кровных родичей. Такие они были... настоящие. Свои. Рыжие чекмени, треухи норовят сползти на лоб; и сквалыжничество обоих походило на дым родного очага. Жаль, денег у путников не нашлось. А маг на вопрос поэта о деньгах откликнулся крайне двусмысленно, хотя сам обещал Джухе чуть ли не озолотить горца за приют.

— Сейчас нет, — вот что сказал старый хирбед.

Пришлось торговаться. Стражники упирали на то, что за двоих уважаемых людей они хотят получить пенал из мореной черешни; и вдобавок кинжал, подаренный на прощанье Джухой. Иначе, дескать, откроется истинная суть путников, а бродяги, хоть и стоят гораздо дешевле, но пропускаются в город через одного, во избежание.

Выбирайте, уважаемые: кто пойдет, кто останется?

В конце концов сошлись на кинжале и пуховой чалме, сохранившейся у поэта со времени его былого шахства.

Зато в городе, едва оба несостоявшихся бродяги миновали ворота, Гургин повел себя крайне возбужденно. Разыскал ближайшую чайхану, где собирались местные саррафы — менялы и ростовщики; и долго выспрашивал у них, кто является старшиной цеха. Сперва с назойливым стариком и разговаривать не захотели. Но маг распорол подкладку халата и извлек оттуда треугольный лоскут кожи, сплошь покрытый мелкими значками. Лоскут мигом превратил заносчивых павлинов в подхалимов-вертишеек, а старшина цеха объявился джинном из волшебной лампы.

Не прошло и получаса, как поэт стал обладателем увесистого кисета с динарами; такой же кисет и другой лоскут, поменьше, Гургин спрятал у себя.

— Вернемся? — поинтересовался маг и подмигнул спутнику, что было менее всего похоже на прежнего Гургина.

— Выкупим кинжал?

Догадка поэта оказалась верна.

И вскоре они, с кинжалом и при чалме, устраивались на ночлег в постоялом хане хромого Кумара.

Впервые, что ли?

Укладываясь спать в отведенной им келье, поэт долго мучил мага разговорами. Все представлял вслух, как вернется домой, в Халеб или Дар-ас-Салам, как купит дом, примется восхвалять местного владыку и ближних его, подставляя открытый рот за жемчугом-динарами, как будет поносить скупых, вышибая подачки острословием, как возобновит переписку с закадычным другом, прожорливым неряхой Абу-ль-Фараджем Исфаханским, в надежде попасть в «Книгу песен» последнего; и в конце концов, давно пора бросить воспевать дев и битвы, вспомнив о бренности тела и вечности души...

— Дай поспать! — наконец не выдержал Гургин.

И поэт до самого рассвета улыбался, глядя в потолок.

А то, что *улыбка выходила чуточку грустной* — так ее все равно никто не видел.

2

— Освежить? — Теплым полотенцем цирюльник вытер гладкую макушку клиента. — Есть отвары трав редких, драгоценных; есть благовония шамсийские, согдийские, дамасские; есть...

— Не надо.

— Бороду подкрасить? Хной пройдемся? Говорят, женщины любят рыжих!

— Врут.

— Кто врет? — опешил цирюльник.

— Те, кто говорят.

Ханщик, стоя у кухни, откуда доносилась ругань стряпух, расхохотался. Даже за пляской дервиша перестал наблюдать. В кои-то веки болтуна-цирюльника осадили! — а в наше тихое время вошь сдохнет, и то событие...

Удачное утро складывалось у хромого Кумара.

— Ты его больше слушай, почтенный! — крикнул он Абу-т-Тайибу. — Он тебе уши вьюнками заплетет — моргнуть не успеешь, залезет в шальвары и обрежет по второму разу!

Цирюльник обиженно поджал губы, а поэт не стал объяснять ханщику, что еще при первом своем появлении в Медном городе *имел беседу вот с этим болтливым цирюльником. И про его* отъезд из Басры слышал, разве что о наместнике Харуне брадобрей тогда не вспоминал.

И правильно делал.

— Это Румиец, — вытирая руки передником, на пороге кухни объявилась дородная стряпуха и кивнула головой в сторону дервиша. — Звать Джалалом, а Румиец — это прозванье у него такое.

Он уже неделю пляшет. Вчера на базарной площади, позавчера — в квартале кузнецов; сегодня вот к нам заявился... Тетка моя спросила у него, осмелилась: какими, мол, ветрами, Божий странничек? А он шапку оземь и хохочет: дескать, трижды помер, пока до вас добрался! Оттого и пляшу, значит...

Все засмеялись: и хромой Кумар, и стряпуха, и цирюльник-пустозвон, и пятеро купцов, восьмой день державших постой в этом хане.

Засмеялся и Абу-т-Тайиб.

Хорошо, что цирюльник в этот момент не видел лица поэта; а еще лучше, что бритвы в руке не держал.

Дервиш тем временем резко оборвал пляску, собрал свои пожитки и пошел прочь, не оборачиваясь.

— Я эти танцы видел, — сообщил один из купцов, оправляя кушак. — Мы, когда из Коньи от монголов бежали, насмотрелись: султан Изеддин таких плясунов привечал, набрал великое множество... в рай думал на их горбу въехать. Ан не въехал...

Поэт продолжал улыбаться. Время ничего не значит. Пространство ничего не значит. Мертвых нет; совсем. Если здесь есть ничтожный раб Аллаха по имени Абу-т-Тайиб, то почему бы и не стоять где-то некой Конье, откуда стоит бежать, не дожидаясь каких-то монголов? — и султан Изеддин вполне мог родиться вчера или завтра.

Это пыль.

Это прах; и домыслы несведущих.

Истинно то, что происходит с тобой; но истинно и другое, то, что происходит с остальными людьми и нелюдьми, — а искать меж первым и вторым скрытые соответствия...

Полно, уважаемые!

И пляска исступленного дервиша говорит сердцу больше, нежели выводы ученых.

Мертвых не существует.

Совсем.

* * *

У ворот хана послышалось бряцанье колокольчиков. Хромой Кумар мигом вылетел наружу, забыв про хромоту, а минутой позже принялся обустраивать целый караван. Не торговый — богомольцы. Из святого хаджа идут: вон, почти у всех зеленые чалмы паломников, посетивших Мекку. Богомольцы мало интересовали поэта: он расплатился с цирюльником и собрался было идти завтракать, как увидел Гургина.

Старый маг прятался в тени карагачей, близ водоема, и манил поэта пальцем.

— Что случилось? — осведомился Абу-т-Тайиб, подходя.

— Это наши, — палец мага, сухой и мосластый, теперь тыкал в паломников.

Дрожа осенним листом.

— Наши?

— Да, кабирцы. Помнишь: «И паломничество к священному храму Аллаха для тех, кто в состоянии его совершить!» Когда мой шах...

Маг замолкает и долго жует впалыми губами.

— Когда ты...

— Я помню, — обрывает его поэт. — Я теперь все помню.

И смотрит на богомольцев.

Один из них, дряхлый патриарх, согбенный непомерной тяжестью лет, замечает этот взгляд. И вопросительно глядит в ответ, моргая белесыми ресницами: что, мол, надо, добрый человек?

Абу-т-Тайиб делает глубокий вдох и идет к патриарху.

— Из Мекки путь держите, рабы Аллаха? — спрашивает он после долгих изъявлений вежливости.

— Из нее, — степенно кивает патриарх, довольный возможности поговорить с новым человеком. — Давно идем, тридцатый годок скоро... ничего, теперь уж недолго осталось!

— Это хорошо, что недолго... А через какие ворота мой отец вступил в мечеть?

— Через Баб-аль-Салам, о любопытный, через «Ворота Приветствия». И, пройдя под аркой, читал без устали известные молитвы, выученные в тяжком пути!

— Я полагаю, Господь миров предоставит моему отцу в раю никак не меньше двух сотен гурий, чьи прелести несравненны! А дозволено ли будет спросить: как отец мой совершал обход Каабы?

— Семью обходами, о любопытный, и три из них я совершал бегом, насколько позволял мне мой возраст, а четыре — медленным шагом.

— И отец мой после святого обряда посещал цирюльню?

— Конечно, о любопытный!

— А что сделал цирюльник с обрезками волос и ногтей моего отца?

— Зарыл в священную землю, о любопытный, не пропустив мельчайшей частицы — и обет с тех пор считается выполненным мною!

— И когда же мой отец решил отправиться в паломничество, да будет добрая участь его вечным спутником?

— Давно, о любопытный, давно, говорю тебе, покинул я Кабир-белостенный с товарищами моими! В тот год, отмеченный благими знамениями, открылся перед нами свет истины — стараниями владыки нашего, шах-заде Суришара, вместе с кула-

хом принявшего на себя имя Кей-Бахрама, да сиять его фарру... Эй, любопытный! Что с тобой? Тебе плохо?!

— Не знаю, — плотно зажмурясь, отвечает Абу-т-Тайиб. — Не знаю, отец мой.

Поэт не врет.

Он действительно не знает.

3

Когда полдневная жара разогнала всех обитателей хана, Абу-т-Тайиб чуть ли не за шиворот выволок мага во двор.

— Завязывай! — Он сунул в руки Гургину шелковый платок, куда раньше заворачивал пенал. — Глаза мне завязывай, говорю!

Маг повиновался, пребывая в недоумении.

— Теперь раскручивай!

— Что?

— Меня раскручивай! В «Джинн-бежим!» не играл?

Маг пожимает плечами. Он не играл в игру со странным названием «Джинн-бежим!»; он вообще почти не играл в игры детей, с младенчества приобщаясь к тайнам хирбедов, — но если поэт настаивает...

Руки Гургина хватают поэта за плечи и вертят, вертят, пока Абу-т-Тайиба не начинает качать и без чужой помощи.

— Теперь спрашивай: где Басра?

— Где Басра? — послушно спрашивает маг.

Минута задержки — и рука поэта указывает на северо-восток.

— Там. Крути еще!.. еще! Спрашивай: где Нумания?

— Где Нумания?

— Там... е рабб, там! Крути... крути! Спрашивай: где Кабир? Спрашивай, чтоб тебя ифриты разодрали! Ну?!

— Где... где Кабир?

Поэт останавливается. Он стоит прямо, врастая в землю вековой чинарой, от головокружения нет и следа; рука Абу-т-Тайиба медленно поднимается и указывает вдаль.

Рывок — и повязка сорвана.

— Мой шах, — бормочет старый хирбед, бледнея лицом. — Мой... шах...

— Ударь меня! Ты слышишь: ударь меня! Живо!

В ответ ладонь мага входит в чувствительное соприкосновение со щекой поэта. Ноги подламываются в коленях, Абу-т-Тайиб с размаху садится, ударяясь оземь сиденьем, дарованным Аллахом всякому человеку, и смеется смехом ребенка.

— Ф-фух... А я уже испугался: шах, мой шах! Ну и ученька у тебя, Гургин-богатырь, такой не Ал-Ребаты открывать, а слонов опрокидывать...

Маг молчит.

Испуг мало-помалу выходит из старика ознобом и холодным потом.

Испуг того мига, когда он увидел: там, куда указывал поэт в последний раз, воздух заплясал киселем открывающегося Ал-Ребата.

Без жаровен и дэвов.

4

В этой чайхане они уже сидели год назад; и память о дерзкой хирбеди, требовавшей, чтобы наглого чужака бросили у пещеры Испытания, больно кольнула в сердце. Хозяин заведения, толстяк Али, тоже был прежний — вот только постарел он, что ли? Впрочем, возраст чайханщика волновал Абу-т-Тайиба меньше всего; а мага не волновал вовсе. Поэт открыл было рот: спросить гранатового сока! — но вовремя опомнился. И, мысленно вытерев лбом покаяния престол Всевышнего, заказал вина. Красной крови лоз, седой от пузырьков родниковой воды, каковую следует добавлять в необходимом количестве, для радости заказчика, а не для выгоды продавца. К вину требовалось подать плоский хлеб с корочкой, покрытой сладкими ожогами, кебабы рубленые, томленые, а также жаренные на решетке, вкупе с уксусным супом из барбариса; свежих фруктов не надо, вместо них несите сушеный инжир, фисташки, тминные прянички...

В итоге поэт с уважением смотрел на сплошь заставленный стол; а маг с уважением смотрел на поэта.

— Совсем выздоровел! — Скупая усмешка растянула губы старца; и он, ухватив дрожащей рукой кувшин, основательно приложился к нему.

Когда маг ставил кувшин обратно, дрожь в его руках унялась.

— Да ты ж вроде трезвенник?! — запоздало изумился Абу-т-Тайиб, но старик только рукой махнул: с тобой, мол, и праведник детей резать начнет!

— Молодец! — на всю чайхану возгласил поэт. — Этот старец поклоняется веселью, и прекрасно прославлять его стихами — ибо видим патриарха мы с похмелья меж кувшинами с вином и бурдюками!

После чего пододвинул ближайшую миску и вцился остатками зубов в сочное мясо.

Желудки наполнялись, блюда пустели, царивший в голове сумбур улетучивался восвояси, и превратности жизни мало-помалу начинали казаться пустяками, не заслуживающими внимания; минута в чайхане, оказывается, вполне стоит года воздержания и наоборот, а баловать чрево есть признак благодушия...

— Честь имею приветствовать достойных сотрапезников!

У стола обнаружился лысеющий человечек, облаченный в узкие шальвары и кургузый казакин из одинаковой ткани: синей, плотной, какая чаще идет на обивку паланкинов. В одной руке человечка булькала бутыль, в другой — дымилась плошка с пловом.

— Валент бен-Шамаль, мудрец, — без всяких предисловий представился гость. — Свидетель падения Трои, Рима, Кабира и гетеры Авлиды Херсонесской (последнее свидетельствовал дважды)! Позволите присоединиться?

На пехлеви Валент бен-Шамаль говорил бегло, слегка пришепетывая.

— Валяй, Валент, — кивнул Абу-т-Тайиб, а Гургин лишь покосился на бен-Шамаля и кинул в рот пряничек.

Упрашивать человечка по второму разу не пришлось.

— Кой же тебе годик, мудрец? — шутливо осведомился поэт, когда бен-Шамаль уселся за стол напротив него. — Ишь, погулял: Троя, Рим, Кабир...

И недожеванный кусок встал поэту поперек горла.

Кабир!

Свидетель *падения* Кабира!

В следующую секунду Гургин подавился пряничком и заперхал, так что пришлось долго хлопать мага по костлявой спине.

— По какому календарю считать будем? — Хитренькие глазки Валента бен-Шамаля сощурились.— А если без календарей, то мне сегодня стукнуло ровно сорок! От рождества вашего покорного слуги. Чем не повод для выпивки в чудной компании? Стопольское грызло, тройной перегонки — такое вы здесь вряд ли найдете!

Кружки мигом наполнились, и, выпив за долгие лета Валента, поэт мысленно согласился с последним заявлением мудреца. Видимо, возглашая запрет на вино, пророк (благо ему!) не имел в виду стопольского грызла тройной перегонки. А если бы имел, то удержал бы святой язык и обошелся без запретов, тихо спившись еще до начала пророчеств.

Огонь, не вино!.. водичкой, водичкой запить... водичкой... ф-фух!

— Кстати, о каком это падении Кабира ты упомянул, почтенный мудрец? — как бы невзначай поинтересовался Абу-т-Тайиб, а Гургин только навострил уши.

— Науке в моем лице известно лишь одно падение Кабира! — заявил Валент, являя собой пример того, что после первой не закусывают. — Одно-единственное, тридцатилетней давности... если считать по тамошнему календарю. Когда с Белых гор Сафед-Кух спустился неистовый и мятежный вождь племен Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби, чей чанг в редкие часы мира звенел, подобно мечу, а меч в годину битв пел громко и радостно, слагая песню смерти!

Валент перевел дух и запил тираду новой порцией грызла.

— Город был осажден и взят штурмом, а шах Кабира сражен в поединке самим Абу-т-Тайибом — и поэт-воин воссел на престол, отказавшись от шахского кулаха в пользу титула эмира, военного вождя. Вот это был человек, я понимаю!

— Был? — тупо переспросил поэт, прихлебывая дар бен-Шамаля маленькими глоточками; что само по себе было удивительно. — А где он сейчас?

— Помер, ясное дело! — Бен-Шамаль поразился неосведомленности собеседника. — Лет десять как помер. От старости.

Гургин вкрадчиво пододвинулся ближе.

— А уверен ли досточтимый в подлинности своего рассказа? Видел ли он это собственными глазами, пользовался ли свидетельствами уважаемых людей или внимал слухам?

— Слухами пользуются лжемудрецы, позор исторической науки, которую я в данный момент представляю! — Гордыней бен-Шамаль вполне мог поспорить с самим Иблисом. — Я же привык отвечать за свои слова! Иначе разве сам великий Кей-Кавун доверил бы мне писать летопись Ории, моей родины? Разве взялся бы я за «Око Сциллы», жизнеописание славного народа дхаров, если бы не провел меж ними большую часть жизни? А на мой трактат относительно Ахиявы, которую пустозвоны именуют Элладой, ссылается лично Гермес Трис... Трис... Трисмегист, вот! Хотя...

Уже изрядно захмелевший бен-Шамаль наклонился к собеседникам и зловеще прошептал на всю чайхану:

— Я открою вам тайну тайн! История — лженаука. Ее не существует! Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным! Ни одно! Если вы услышите, будто ахейцы десять лет брали Трою или что Кабир пал под натиском орд аль-Мутанабби, — плюньте лжецам в морду! Не верьте им! И мне не верьте, когда я говорю вам об этом!

Бен-Шамаль хитро усмехнулся и, оставив собеседников в изрядном недоумении, вновь припал к своей кружке. Он явно вознамерился напиться, и его мастерство в этом деле было очевидно — так что задавать вопросы следовало поскорее.

Если, конечно, Абу-т-Тайиб хотел получить связный ответ.

— Подробности, уважаемый, подробности! Мы жаждем услышать о славных делах прошлого, которых на самом деле не было! Поверь, история Кабира вдохновляет нас на подвиги, и если мы до сих пор их не совершили, то лишь по одной причине: неимению сведений! О, молим — не прекращай дозволенные речи!

— Верю! — Резкий кивок, и зачесанные назад волосы бен-Шамаля падают ему на глаза, являя взорам плешь, подобную за-

рождающемуся светилу. — Вдохновляю! Когда более полувека назад (по кабирскому календарю, уважаемые, по кабирскому!) на сто семьдесят девятом году жизни безвременно скончался великий шах Кей-Кобад, на смену ему пришел молодой и горячий Кей-Бахрам, прежде носивший имя Суришара. Правление его было безоблачным в течение двадцати шести лет, пока на шахство не обрушились племена Белых гор под предводительством поэта-воителя. Как я уже говорил, город был взят приступом, шах погиб в поединке, и на престол воссел первый эмир Кабира, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби. Позже эмир принял на себя купью «Абу-Салим», то бишь «Отец Салима», по имени своего первенца от бывшей хирбеди Нахид, которую вскоре по восшествии на престол взял в жены, устроив большие свадебные празднества.

— Дальше! — выдохнул поэт. — Дальше!

— А дальше, как известно, новый владыка занялся расширением границ своего эмирата. Разделив войско на четыре части, сам он двинулся по дороге Барра, ныне Фаррскому тракту, к Мэйланю; его верный соратник Худайбег аль-Ширвани возглавил поход на Харзу, и после падения Харзы войска Худайбега соединились на Дубанских равнинах с конными полчищами Антары Абу-ль-Фавариса, успевшего к тому времени растоптать Хинское ханство и вольный город Оразм. Вскоре их объединенные силы взяли приступом Дурбан. Тем временем полки Утбы Абу-Язана, эмирского побратима, прошлись по землям Феса и осадили Кимену — взяв пред тем с торгового Бехзда вассальные грамоты. И попробовали бы торгаши не подписать!

Глаза бен-Шамаля азартно горели, а бутыль с грызлом едва успевала кланяться и выпрямляться, подражая льстецу-царедворцу.

— При штурме Кимены веселый Утба погиб, сдерживая натиск копейщиков, но город был взят! На чем эпоха великих войн завершилась, и на территории Кабирского эмирата, от барханов Верхнего Вэя до масличных рощ Кимены, воцарился мир. Который, насколько мне известно, длится по сегодняшний день. Сейчас эмиратом правит эмир Салим, сын покойного аль-Мутанабби, славясь добродетелью. О, я мог бы рассказывать еще долго: о предсмертном пророчестве верховного хирбеда Гургина, зарезанного пьяным горцем при штурме Кабира (от этих слов Гургин подпрыгнул на скамье, плюясь недожеванным мякишем), о небывалом расцвете изящных искусств, в частности — искусств воинских; о культе Творца, сменившем культ Огня Небесного, — но тогда, боюсь, нам не хватит времени и до завтрашнего утра!

И Валент бен-Шамаль отдал дань кружке.

— Ты бы не частил так, уважаемый, — только и смог растерянно выдавить Абу-т-Тайиб. — Ведь написано в Коране...

— А мне Коран не указ! Ибо вкушаю плоть и кровь Господа нашего по мере слабых моих возможностей! — Выкрик бен-Шамаля привлек к себе внимание всех завсегдатаев чайханы. — Взыскуя Истинного Лика, тщусь возобладать над... и под. Вот вам, обрезанным!

— Истинный Лик? — Гургин наконец справился с собой.

— Да! Истинный Лик коренного ха... дха... дхарянина! И если ко мне опять начнут приставать эти... то я им...

Кусок репы плюхнулся прямо на колени к разбушевавшемуся мудрецу, забрызгав медовым сиропом его чудную одежду.

Репой, как вскоре выяснилось, кидался из угла некий раскосый молодец в фартуке сапожника — и пьян молодец был тоже как сапожник, в стельку.

Видимо, бен-Шамаль был не одинок в достижении Истинного Лика.

Поймав на себе взгляд всей троицы, сапожник довольно заухал.

— Он им! — Кулак молодца указал на бен-Шамаля, а ладонь второй руки похабно рубанула по сгибу локтя. — Он, понимаешь, им! Ты б Стополье лучше отдал, мятежник! Понял?

Кажется, Абу-т-Тайиб с Гургином уже видели молодца. Здесь же. Год назад. Правда, тогда он был заметно трезвее — впрочем, если предположить, что сапожник не вылазил из чайханы весь прошедший год...

— Вот тебе, Марцелл! Выкуси! — Поклонник лженауки истории кинул репу обратно, но попал не в сапожника, а в чайханщика Али; и попал, надо заметить, весьма удачно: прямо в разинутый рот. — Родное Стополье?! Отчий дом?! Где куст калины?! Где я без штанов?.. Никому не отдам! Погоди у меня — вот допьюсь до Истинного Лика, шиш ты у меня заново срастешься! Изыди!

Сапожник, как ни странно, внял.

И захрапел на всю чайхану.

— И вот так всегда! — повернулся бен-Шамаль к поэту, ища у того сочувствия. — Только сядешь выпить с приличными людьми — лезут всякие! Стополье им подавай!

— А оно что, твое, это Стополье? — осторожно осведомился поэт.

— Нет, конечно! Вино там хорошее делают... — без видимой связи добавил историк и допил остатки прямо из бутыли.

— Так почему они к тебе пристают?

— А я знаю? — Глухо булькнули остатки. — Все равно не отдам!

— Так ты говоришь, что аль-Мутанабби... — Поэт сделал было попытку вернуть собеседника к исходной теме, однако ответ бен-Шамаля на еще не заданный вопрос мгновенно поставил его в тупик.

— А кто такой аль-Мутанабби? — заплетающимся языком

вопросил в свою очередь историк. — Знать не знаю! Это который «Касыду о Мече», да? — «...подобен сиянью моей души блеск моего клинка...»? От-т-личные стихи! А кто такой аль-Мутанабби — не знаю...

И Абу-т-Тайиб понял, что от историка он больше ничего не добьется.

Тем временем бен-Шамаль с усилием поднялся и, пробормотав: «П-прошу прощения, уважаемые, п-пора мне», нога за ногу направился к выходу.

— Пожалуй, и нам пора, — решил Абу-т-Тайиб, вставая. — А ты, Гургин, не горюй — подумаешь, погиб ты при штурме! Я вон уже по третьему разу хожу: сперва в пустыне, потом в Кабире, от старости, если верить бен-Шамалю, — и ничего, живой! Выше голову, старик!

Гургин смотрел в пол.

* * *

Бен-Шамаль, оказывается, не успел далеко уйти. Лик его, впрочем, особо не изменился, так что трудно было сказать: являлся он Истинным или нет?

Историк, покачиваясь, стоял перед пожилым священником Людей Евангелия, обладателем грубой рясы с капюшоном.

Сбоку топтался молоденький монашек-служка.

— Исповедуйте меня, фра Лоренцо! — орал на всю улицу бен-Шамаль. — Ибо грешен и жажду покаяться!

Священник колебался; и не без оснований, если принять во внимание облик грешника.

— Брат Бартоломео! — обратился он к служке. — Может, вы... во имя милосердия?..

Монашек отпрыгнул к глинобитному дувалу и вжался в него всем телом.

— Брат... Барт... Бартоломео! — Вопль историка и вовсе опрокинул монашка в беспамятство. — Нельзя отказывать человеку в исповеди! Все люди — братья, понял?!

— Хорошо, сын мой, — со вздохом согласился наконец фра Лоренцо. — Мы с братом Бартоломео направляемся в горы, дабы нести свет Господа заблудшим душам, так что в миссию возвращаться не имеет смысла. Но, прошу тебя, сын мой, — уединимся...

— Н-не могу, святой отец! — покаянно сообщил бен-Шамаль. — Н-ноги не держат.

И рухнул на колени пред священником прямо в дорожную пыль.

Наблюдать дальше за этой сценой поэт с магом не стали, а тихо свернули в переулок, где и остановились.

— Он не врал, — еле слышно произнес Абу-т-Тайиб. — Иначе я бы почувствовал. Гургин, мне надо туда. В Кабир. Я должен увидеть все это собственными глазами... Я должен, понимаешь?

— Понимаю, — серьезно кивнул Гургин.

— Да ничего ты не понимаешь, старик! Ничего! Этот баран опять загнал меня в ловушку! Я взял Кабир, понимаешь, взял! — но я не брал его сам! Мне его снова подсунули милостыней, подачкой! — а потом бросили в смерть, лишив возможности сопротивляться! Даже дохлый, Златой Овен смеется надо мной!

Гнусавое блеянье донеслось из-за угла. Бледный, как известь, поэт вскинул руки, защищаясь от своры призраков; и жалобно вскрикнул, когда в переулок вбежал баран. Следом за животным с воплями выскочили два подростка, ухватили барана за космы — и поволокли обратно, награждая тумаками.

Смех, похожий на рыдания, вырвался из груди Абу-т-Тайиба.

— Я понимаю, — повторил маг, отступая на шаг.— Я все понимаю. Прости меня, но я останусь здесь, в Медном городе... мне страшно. Я не пойду с тобой. Но я провожу тебя до перевала Баррах и открою для тебя Ал-Ребат в Кабир. А потом вернусь сюда, доживать отпущенный мне век.

— Ты сильно сдал за последнее время, Гургин. — Поэт взглянул старику прямо в глаза. — Отдыхай. Не стоит меня провожать. А Ал-Ребат я теперь могу открыть сам. Любой. Для этого мне даже не придется тащиться к перевалу. Ты веришь мне?

— Верю.

— Ну что ж, тогда прощай, старик. Скорее всего мы больше не увидимся, хотя... кто знает? Вот, возьми на память, — и Абу-т-Тайиб принялся стаскивать с пальца шахский перстень.

Глаз, вырезанный на красном камне, подмигивал обоим людям.

— Нет, не надо!.. — запротестовал было старик, но отставной шах едва ли не насильно втиснул подарок в сухую ладонь хирбеда.

— Прощай. И не держи на меня зла. Хотя есть за что... есть. Надеюсь, ты не пропадешь здесь, в Медном городе?

— Я-то не пропаду! — ворчливо буркнул Гургин, но поэт уже шел прочь, забросив за спину полупустой хурджин. Сворачивая на главную улицу, Абу-т-Тайиб не выдержал, оглянулся — и увидел, что маг стоит на прежнем месте.

Вслед смотрит.

Поэт отшагнул, прячась за углом дувала, — и еще успел заметить в конце улицы удаляющуюся фигуру бен-Шамаля. Историка бережно поддерживал огромный волосатый детина, весьма смахивавший на обитателей Мазандерана.

Миг — и обоих след простыл.

Пора было уходить и ему.

Поэт зажмурился, потом медленно закружился на месте, вспоминая дневные ощущения... почувствовать, увидеть, нащупать, в какой стороне лежит дорога... дорога...

Напротив стоял дервиш-плясун и следил за исчезновением человека.

Без удивления.

ГЛАВА 13,

весьма несчастливая, как и положено тринадцатой главе, написанной в пятницу, к тому же тринадцатого числа; некий человек здесь раз за разом убеждается в бесплодности своих поисков, кричит в пустоту — но так и остается загадкой: добавляют ли крики мудрости?

1

Суровая строгость мавзолея подавляла и вызывала невольное благоговение. Казалось, сам Огнь Небесный стеснялся светить здесь в полную силу, дабы не нарушать торжественную гармонию вечного покоя. Багровый купол венчал полированные стены серого, в тонких золотистых прожилках, мрамора, и стражами застыли вокруг недвижимые свечи кипарисов, чья темная зелень и неправдоподобно четкие, резко очерченные тени внушали людям суеверный трепет.

Ничего лишнего, никаких украшений, барельефов, орнаментов — только над входом чеканная золотая вязь:

«Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби».

Ни титулов, ни перечисления заслуг, ни эпитафии, ни даже дат жизни.

«Ни стихов», — подумалось вдруг остановившемуся у гробницы человеку.

Двое хмурых гургасаров, облаченные в золото и сталь парадных доспехов, с кривыми шамшерами наголо застыли у входа. На человека они не глядели; верней, глядели сквозь него, как умеют лишь правители и часовые. Снаружи, за ровным четырехугольником кипарисов, позволено находиться всем. Каждый имеет право бросить шапку почтения к ногам покойного эмира — таков закон. А внутрь прохожий соваться не собирался; и это тоже был закон, неписаный, но от того не менее властный. Еще не хватало, чтобы всякие бродяги тревожили покой великого аль-Мутанабби!

«А ведь действительно хорошо сделали, — думал человек, глядя на суровую гробницу. — Никакой помпезности, показной пышности — на что они усопшему? Строго и величественно. Хорошо. Вот только... хотя бы одно стихотворение могли все-таки высечь! Хоть один бейт... одну строчку! Впрочем... ладно. Может быть, тот, другой, так завещал. Или не завещал. Теперь это уже все равно. Ничего ведь не изменишь? — да, странник? Странник... страна... странно. Очень странно. Там, внутри, в пыли и тишине — я? Да, наверное. И под барханом в пустыне — тоже я? И здесь стою — я? Какой из нас — настоящий? Я-здесь полагаю, что я; а что полагают я-там и я-очень-далеко? Ведь мертвых не существует...»

Человек постоял еще немного. И медленно двинулся прочь, по аллее, сплошь обсаженной благоуханными кустами жасмина; туда, где в небо возносилась высокая стела из гранита.

Вот где барельефов хватало с избытком! Стела так и называлась: «Взятие Кабира». И хотя Аллах запретил сынам Адама создавать изображения людей и животных — дабы не возгордились, уподобляя себя Творцу! — все же человек невольно залюбовался открывшейся ему картиной.

Да, скульпторы и каменотесы поработали на славу! На вечную славу Абу-т-Тайиба Абу-Салима аль-Мутанабби и его потомков. Рушились белокаменные стены города под ударами осадных машин, падали сраженные защитники Кабира (неправдоподобно маленькие в сравнении с атакующими), каменные языки пламени жадно лизали каменное небо — и вел в бой свои орды непобедимый воин Абу-т-Тайиб, гордо воздев над головой каменный ятаган. Все это было монументально, и величественно, и... лживо. Потому что всего этого не было.

Никогда.

Человек знал, что «Я-здесь» не брал белостенный Кабир.

Ему подносили город с поклоном.

Дважды.

Зато все остальные знали иное. Они знали, помнили — и ни у кого ни разу не возникло и тени сомнения в истинности событий прошлого!

И это тоже была правда. Их правда.

Воистину: «Ни одно событие прошлого не является абсолютно достоверным!» Прав был историк...

Впрочем, отчаиваться, равно как и впадать в уныние, не стоило. Он еще побродит по эмирату, поищет. Он должен найти. Должен! Иначе просто и быть не может!

«Найти — что?» — сам себя спросил человек.

Ответ свернул за поворот аллеи и удрал, громко топоча.

Пора было идти. Дальше.

Вот только ноги отказывались подчиняться. Все время сворачивали обратно, к мавзолею. Человеку временами казалось: его

место — там, в саркофаге, в подземелье, скрытом под мраморными стенами; он уже давно там, спит без сновидений, а по земле бродит лишь его неприкаянный призрак, навеки опутанный миражами чужой памяти...

Человек напомнил себе, что он жив.

И невесело рассмеялся.

2

Надрывались медные трубы, в которые исступленно дули гордецы-карнайчи, павлинами вышагивая впереди. Торжественно рокотали барабаны, и нога в ногу ступали вороные жеребцы под «волчьими детьми» в ярко начищенных латах.

— Слава светлейшему эмиру Салиму фарр-ла-Кабир! — надрывалась в ответ толпа, силясь перекричать трубы, барабаны и друг друга.

Человек не кричал. Он предусмотрительно явился на шествие заранее; теперь же тихо стоял во втором ряду. Смотрел. И лишь иногда недовольно морщился, когда одноглазый сосед слишком громко вскрикивал у него над ухом.

Но вот прошли мимо краснолицые карнайчи с раздутыми щеками, печатающие шаг барабанщики, простучали по мостовой копыта гургасарских коней, проехал знаменосец, важно неся стяг с изображением оскаленного волка, изготовившегося к прыжку — и человек наконец увидел.

Светлейший эмир восседал на белоснежном иноходце. Да и сам владыка был облачен в белые, шитые золотом одежды — символ мира, а также благоденствия. На голове эмира сиял белым золотом и алмазами венец повелителя Кабира — но это был совсем другой венец, а не хорошо памятный человеку шахский кулах, который некогда украшал его собственную голову.

Нимба, сияния ореола вкруг эмирского чела, не наблюдалось.

Человек вздохнул с облегчением и внимательнее вгляделся в лицо эмира Салима.

Лицо как лицо. В меру смуглое, с правильными, чуть крупноватыми чертами. На губах — вежливая улыбка приветствия. Таким, наверное, и должен быть эмир Кабира, осчастливив шествием своих восторженных подданных. Точно так же вели себя правители других городов и стран на парадных выездах — человеку не раз доводилось наблюдать подобные зрелища.

Похож ли теперешний эмир на него самого? В чем-то похож. А в чем-то — нет. Мог ли он быть его сыном? Вполне. А мог и не быть. И выяснить это сейчас уже нет никакой возможности. Да и стоит ли выяснять? Наверное, нет...

Эмир проезжал мимо, когда взгляд человека зацепился за висящий на поясе правителя ятаган. Хотя дорогие, обитые бордовым бархатом и украшенные драгоценностями ножны скрывали от досужих взглядов славный клинок, человек узнал ятаган, как узнают давно не виденного друга.

Рукоять.

Знакомая рукоять с ребристыми накладками из кости!

На мгновение человеку показалось, что от ножен исходит некое прозрачное сияние — но это, наверное, просто солнце сверкнуло на обилии самоцветов. Человек протер слезящиеся глаза — соринка попала, что ли? Нет, ничего. Ятаган — тот самый. Ну и что? Так, наверное, и должно быть...

3

— Язык проглотил, уважаемый? Величию светлейшего эмира поражаешься? Понимаю. Добрый наследник у великого аль-Мутанабби вырос, добрый, дурного слова не оброню, — а все не чета папаше! Вот кто был герой, я тебе скажу...

— Ты знал его? Видел?

Седобородый ветеран, чье лицо украшено косым шрамом от виска до подбородка, криво ухмыляется.

Трещины морщин на его дубленой коже становятся еще глубже.

— Я? Видел?! Как тебя сейчас... Слушай, странник, чем здесь мостовую протирать — пошли-ка лучше в чайхану! Поднесешь винца, а я тебе доподлинно расскажу, как мы с Абу-т-Тайибом Мэйлань брали!

И ветеран панибратски хлопает человека по плечу.

— Пошли. Давно мечтал послушать рассказы очевидцев. А угощение — за мной, не сомневайся.— Ветерана несколько озадачило легкое согласие странника, однако это не помешало обоим нырнуть в завешенный циновкой проем двери ближайшей чайханы.

На удивление, у странника, по виду более всего смахивавшего на бродягу, оказались деньжата, причем деньжата немалые, а словоохотливого ветерана вполне устроило вино, которое здесь подавали. Вояка издавна привык к тому сорту, что носит название «дешевого крепкого». Ведь что славно: пить противно, во рту будто ишак опростался, вот и глотаешь залпом, побыстрее — а там и хмель объявляется сам собой.

Красота!

Сам бродяга, как ни странно, вина пить не стал, спросив себе шербету и сдобных крендельков.

— ...значит, до самого Мэйланя пылили без интересу. Хаффа подкрепление дала, провианту, так что про дорогу я тебе рассказывать не буду. Нечего там рассказывать!

Дубленый старик со шрамом резво выхлебал очередную чашку вина и мигом наполнил ее снова.

— Ну а когда к Мэйланю подперли — вот тут-то ихние голубки навстречу и вывалили! При полном параде: флаги, ленты, крылья из дранки — и мяукают по-своему! Прямо как коты весной! Любо-дорого косоглазых рубить было: пока они, значит, строй развернули, как на учениях, — наша конница уже во весь опор! И сам эмир впереди, на белом коне! Ну, задал он им жару, а тут и мы подоспели — я-то в пехоте служил...

— А сам-то он каков был, эмир? — прервал рассказ бродяга.

— Каков-каков, — с раздражением буркнул ветеран, досадуя на недотепу-собеседника, перебившего его на самом интересном месте. — Во-о-от таков! (Старый вояка изобразил руками нечто громадное и могучее.) Герой, в общем! Как махнет ятаганищем — враги дюжинами с ног валятся! Ну, и мы, ясное дело, не плошали. Я вот схватился с одним из этих: юлой вертится, сопливец, мечиком тоненьким меня достать норовит — а я его копьем, копьем...

Ветеран явно увлекся рассказом, живописуя свое боевое прошлое, но бродяга уже не слушал его. Даже не смотрел на собеседника. Взгляд его был прикован к дальнему, затемненному углу чайханы, откуда доносилось журчание струн чанга. Плохо различимый в сумраке чангир наигрывал мелодию без слов, тихую, ленивую, а человек слушал, слушал...

— ...Вот тут-то я сопливцу жало промеж глаз и всадил! — донесся до него азартный возглас ветерана, даже не заметившего, что собеседник перестал слушать его повесть.

— Да, здорово ты его! — кивнул человек. — А скажи-ка мне, уважаемый: правду ли говорят, будто эмир аль-Мутанабби был не только великий полководец, но и поэт, каких мало?

— Каких мало? — возмутился вояка, уязвленный тем, что кто-то мог усомниться в многочисленных талантах и доблестях его кумира. — Таких и вовсе-то нет! Как запоет, затянет — все враги бегут в страхе! Понял, деревенщина?!

— А тебе самому его песни слышать доводилось?

— Ясен пень! — самодовольно подтвердил старик, уже заметно окосевший от выпитого вина.

— Вспомнить можешь? Ну хоть строчку! Плачу по динару за каждое слово!

На мгновение лицо ветерана отразило мучительные раздумья.

— Не, не помню. Эх, как на грех... Ты лучше про Мэйлань послушай, и по динару не надо — дирхемов пять-десять отвали, я спасибо скажу!

— В другой раз. — Человек кинул старику два золотых и встал.

Но направился почему-то не к выходу, а в полутемный угол, из которого все плыла, скользя среди дыма и чада, тихая мелодия...

4

— Не соблаговолит ли уважаемый мастер струн и ладов спеть одну песню по просьбе усталого путника? — Человек присел рядом на скатанную валиком старую циновку.

Чангир откинул назад длинные, до плеч, сальные волосы, закрывавшие его лицо, явив полусвету смуглый горбоносый лик похмельного коршуна.

— Разумеется, соблаговолит — за соответствующую плату.

— О, я заплачу с лихвой!

— Тогда какую именно песню желает услышать славный путник, несомненный знаток прекрасного?

— Одну из касыд покойного эмира Абу-т-Тайиба аль-Мутанабби, да славится его имя в веках! Любую, на твой выбор.

Чангир долго смотрел на заказчика, задумчиво перебирая струны чанга.

— О, песни покойного эмира есть вершина поэтического мастерства! — наконец затянул он вполголоса. — Не мне, презренному, за деньги потешающему народ, терзать языком сокровища сих касыд...

— Я ценю твою скромность, о шах чангиров. — Человек изо всех сил сдерживал нетерпение. — Но память о поэте — его песни, и ты лишь послужишь вящему величию аль-Мутанабби! Заодно получив весьма щедрую плату!

Человек многозначительно потряс перед носом певца тугим кисетом, откуда донесся сладкий звон.

Глаза чангира вспыхнули хищным блеском; угаснув почти сразу.

— Прости меня, щедрый странник, но, к моему великому сожалению, я не в силах усладить твой слух стихами покойного эмира. Ибо не знаю их! — честно признался длинноволосый коршун.

— Не знаешь? — изумился человек. — Но ты хотя бы слышал их? Может быть, всего пару строк...

— Кажется, слышал, — неуверенно пробормотал певец, — но... Да нет же, слышал!

Чанг под его пальцами взвыл собакой под колесами арбы.

— Еще раз прошу простить меня, о странник! Мне действительно очень жаль, но я не могу удовлетворить твой взыскательный вкус!

— Да, жаль... — Человек поднялся, громко хрустнув коленями, и, сутулясь, побрел к выходу из чайханы.

* * *

— ...Какую же песню ты хочешь? — Благообразный чангир преклонных лет говорил степенно, не торопясь, ибо возрасту поспешность приличествует не более, чем глупый спутник — мудрецу.

Человек уже знал: этот полуслепой певец славится не только своим умением, но также до сих пор чистым, без старческого дребезга, голосом.

О нем говорили, что он знает все песни на свете, кроме ненаписанных!

— Одну из касыд покойного эмира, великого поэта аль-Мутанабби, — произнеся последнее, человек едва заметно скривился.

Будто лесного клопа с ягодой разжевал.

— Покойный эмир был все-таки больше воин, нежели поэт, — осторожно, тщательно подбирая слова, заговорил старец. — Свои песни он чаще пел в походах — и, похоже, среди воинов не нашлось грамотного или просто памятливого... Боюсь, я не смогу порадовать твою душу, о странник!..

* * *

Человек метался по городу загнанным в ловушку чаушем. О нем уже были наслышаны все чангиры Кабира-белостенного, и теперь в большинстве своем старались не попадаться упрямцу на глаза. Кому охота признаваться, что ты не знаешь ни одной песни великого поэта? Ясное дело, никому!

Дважды его пытались обмануть, выдав за стихи покойного эмира какое-нибудь другое сочинение. Но после первых же строк человек гневно прерывал обманщика, и тот смущенно умолкал, даже не заикаясь о деньгах — как бы по шее не схлопотать!

Глаза-то, глаза — огонь, не глаза!..

И лишь подле одного чангира задержался назойливый искатель — подле молодого парня, чьи черные кудри вились буйной порослью, словно никогда и не слыхали о существовании такой вещи, как гребень.

Человек долго стоял, слушая разбитные песни, что так и рвались со струн чуть дребезжащего чанга и из неутомимой глотки парня.

— Касыд аль-Мутанабби не знаю, — кратко бросил молодой чангир в перерыве между двумя песнями, не удостоив взглядом человека; и продолжил веселить народ.

А человек все стоял, стоял рядом...

Он помнил этого парня. Когда-то он походя, не глядя, ткнул его ятаганом, мгновенно отправив чернявого в Восьмой ад Ракуташа или куда-то еще, куда отправляются души местных воров и певцов. Чудеса! — вот сейчас парень сидит перед ним, жив-здо-

ров, весело скалится из-под завесы смоляных кудрей. Песни поет. В конце концов, он и сам умирал дважды — чем он лучше чернявого чангира?!

Тем, что убийца помнит убитого, а убитый убийцу — нет?

А чанг, похоже, прежний: звучит знакомо, надтреснуто.

Сумерки потихоньку окутывали город чадрой близкого сна, зеваки разошлись, звякнули последние монеты, упав в папаху, лежащую у ног чангира, — и парень наконец умолк.

— А ты что скаредничешь? — ухмыльнулся чернявый прямо в лицо человеку. — Полдня слушал, жадина! Аль денег нет?

— Есть, — спокойно ответил человек, но лишь один Аллах ведал, какой ценой далось ему это спокойствие. — Продай мне свой чанг.

— Что-о-о?!! — Глаза чернявого вылезли из орбит. — Может, тебе еще и эмирский дворец по дешевке уступить? На кой он тебе, мой чанг?

— Нужен, — лаконично ответил человек. — Я дам хорошую цену, чангир.

— Ну так сходи на базар и купи, — сбавил тон парень. — А я к своему привык, даром что не новый...

— Вижу. Продай, я тебя очень прошу...

— Вот ведь привязался, как репей к ишаку! — растерялся чернявый. — Вот ведь... Десять динаров! — ляпнул он наобум и, похоже, сам испугался заломленной цены. За такие деньги можно было купить три новых чанга, и еще осталось бы на добрую пирушку с друзьями!

Странный покупатель, не торгуясь, развязал тугой кисет — и десяток новеньких золотых перекочевал в папаху обалдевшего чангира.

— Спасибо, — вежливо поклонился незнакомец, осторожно, словно хрупкую фарфоровую вазу, беря старый чанг и чехол, протянутый ему чернявым. — Да будет к тебе новая судьба благосклонней старой, певец!

Молодой чангир еще долго смотрел вслед человеку, зажав в кулаке нежданное богатство, и смутная, забытая тень ворочалась в душе парня.

Отчего-то болело под сердцем, словно туда сунули холодным лезвием.

5

Он держал в руках старый чанг и понимал: это не просто потертый инструмент. Это кусок памяти. Часть сгинувшего бытия, о котором помнил только он, поэт и бродяга, бывший шах Кабира.

Он так и заснул, сжимая в руках чанг; словно держал за руку старого друга, с которым наконец-то посчастливилось встретиться.

В эту ночь его снова мучили кошмары. Своды мраморной гробницы смыкались над ним, и старательные каменщики уже закладывали дверь, плеща раствором; лишь маленькое окошко покуда оставалось свободным. Сквозь него человек видел, как в небе вместо солнца скалится в злорадной ухмылке бараний череп.

А потом из-за горизонта обрушился самум, и сквозь оставшуюся щель устремилась лавина песка, погребая человека под собой...

Он проснулся от собственного крика. И долго еще сидел в предутренней мгле, не разжигая огня, медленно приходя в себя. Ночные призраки таяли, в окошко сочился серый свет, а чанг лежал у изголовья, пряча в себе отзвуки неспетых песен.

Иблис, чье имя значит «отчаяние», сидел напротив.

Златой Овен издох, смеясь: если подобает возвращаться поэту и бродяге, почему бы не вернуться барану из садов Ирема? Воистину человек всегда остается в убытке!.. Жизнь снова прожили за него, всучив ему все тот же Кабир, который он взял, взял сам, штурмом взял — никогда не делая этого! Никогда аль-Мутанабби не брал приступом белостенный город, не шел войной на Мэйлань и Харзу, не женился на красавице Нахид, не радовался рождению сына Салима — и не умирал от старости, окруженный лекарями, семьей и верными подданными!

Никогда!

Он, Абу-т-Тайиб, знал это. А все остальные знали другое. И знание это было столь же непоколебимым, как и горы без названия, за которыми прочно закрепилось теперь имя Сафед-Кух — Белые горы; как строгие мраморные стены гробницы первого эмира Кабира, великого полководца и завоевателя, величайшего поэта — от кого не осталось ни единой строчки.

Ни единой! Человек с размаху ударил кулаком о край ложа и не почувствовал боли.

Те редкие обломки памяти, один из которых лежал сейчас перед ним в виде потертого чанга, являлись памятью лишь для него.

Великий эмир Абу-т-Тайиб Абу-Салим аль-Мутанабби умер. Никому нет дела до бродяги, неприкаянно шляющегося по эмирату, никому нет дела до шуток его неправильной памяти!

Ему снова силой всучили милостыню, предусмотрительно умертвив во второй раз, оградив тридцатилетним частоколом, чтобы связать упрямцу руки, чтобы не дать ничего изменить, хоть трижды пройди путь отсюда до Мазандерана!

Ни-че-го!

Эхо этого слова отдалось глухим стуком очередного камня, положенного в неумолимые стены гробницы. Он там, внутри. Он мертв. Пора успокоиться.

— Врете! — Человеку казалось, что он кричит, но на самом деле с обветренных губ срывался лишь едва различимый шепот. — Я не хотел такой славы! Я не брал Кабир! Я не был эмиром! О, если бы все это случилось на самом деле! — если бы я действительно вел армады на штурм, рубился с мальчишкой Суришаром, если бы... ведь я мог... Оставьте себе вашу славу, вашу жизнь, которую вы все сделали моей! Ну хоть кто-то, хоть один человек, вспомните меня! Один-единственный бейт моих стихов — и я покорно соглашусь с остальным! Где вы, те, кто умер, и те, кто выжил тогда, в настоящей жизни? Где вы?! Чернявый чангир — не в счет. Я рад, что *здесь* он остался жив; но — не в счет! Дэв, Нахид, Фарангис — я найду вас! Вы обязаны узнать меня, вы просто не можете иначе...

Утро вставало из-за Белых гор Сафед-Кух.
Один из длинной вереницы рассветов.

ГЛАВА 14,

открытая ветрам жизни и смерти, памяти и забвению, полная плачем и песнями, и трепетом траурных полотнищ, но если подойти к ней с точки зрения здравого смысла, то останется лишь пожать плечами в недоумении

1

Его вело то же чувство, которое позволяло ему отныне безошибочно открывать призрачные Ал-Ребаты, находить дорогу в незнакомых местах, за десятки и сотни фарсангов определять, в какой стороне находится нужный ему город — и, как выяснилось теперь, нужный ему человек. Кто подарил ему это умение: издыхающий баран в пещере Испытания? гостеприимный обитатель заброшенного храма? книга с чистыми страницами на алтаре?

Человек не знал этого; да и не очень-то стремился узнать. Куда идти — известно, за что спасибо небесам; а если ты, умирая от голода, нашел лепешку, то негоже сетовать на отсутствие халвы.

Ешь и помалкивай.

Впрочем, на сей раз далеко ходить не пришлось. Его влекло к южным предместьям — и он, подчиняясь зову, отправился мерить мощеные улицы и грязные переулки, эти кишки большого

города, выводящие... нет, совсем не туда, куда вы подумали, уважаемые!

Вот они, крепостные башни; вот заново отстроенные стены; вот и ворота... и дальше, пыля широким трактом, а потом — виляя собачьим хвостом тропы, к селению углежогов, чьи крытые камышом крыши домов прятались под сенью вековых чинар.

Вместо дувалов здесь были плетни, высотой до подбородка взрослому мужчине. Все жители селения наперечет, чужие заглядывают редко — от кого хорониться?!

Он увидел ее во дворе третьего с краю дома — и сердце ударило сумасшедшим бубном. Было почти невозможно отвести глаза, но он сделал это. Перевел дыхание. Облизал губы, почувствовав под языком сухие трещины. И снова: осторожно, почти благоговейно тронул взглядом знакомую фигурку в платье из дешевого карбоса. Выцветшие ленты вплетены в смоль кос, свисающих ниже пояса, — все как там, в Мазандеране. И знакомое золото шерстки на обнаженных девичьих руках... Нет, не шерстка, конечно! — он усмехнулся, понимая, что эта усмешка не для зрителей. Просто ее кожа теперь была золотистого цвета, и пушок, нежный персиковый пушок...

Почувствовав на себе чужой взгляд, девушка порывисто обернулась — и в лицо ему плеснул знакомый голубой огонь. Е рабб, и родинка на скуле, капля драгоценной сурьмы! Здешняя Фарангис была года на два-три старше той, памятной мазандеранки — но это, несомненно, была она!

— Фарангис... — В горле стоял комок, и слова разбивались о него, выходя горьким шепотом.

— Да, меня зовут Фарангис, — брови девушки двумя голубками взлетают на лоб; совсем как тогда, при первой их встрече. — Откуда ты знаешь меня, странник? Я тебя впервые вижу!

И сердце снова на миг отказывает.

Захлебывается, мчит шалым скакуном по лугам проклятого Ирема.

— Вспомни! — Отчаяние и надежда звенят в надтреснутом голосе человека. — Мазандеран... ложе в пещере, которую звали дворцом... я читал тебе стихи...

— Стихи?! — Утренняя заря вспыхивает на щеках девушки. — Ложе?! Какая сводня подсказала тебе мое имя, бесстыдник?! И ты решил, что я... Салех! А ну-ка, иди сюда! Ишь, увалень! К его жене пристают, а он и ухом не ведет!

Из дома грузно вывалился полуголый детина, скребя обеими руками черную поросль на груди.

— Кто, дорогая? Вот этот? — Недобрый взгляд маленьких, кабаньих глазок детины уперся в бродягу, стоящего у плетня.

— Ну, не совсем пристает, — смутилась Фарангис. — Странный он какой-то...

— Странный? Ну и странствовал бы где-нибудь в другом месте! — Детина хохотнул над собственной шуткой. — А я ему помогу, чтоб не заблудился!

Одним прыжком Салех с разбега перемахнул через ограду.

В следующее мгновение человек получил изрядный пинок в бок, едва не упав.

— Вали отсюда, понял? И если я еще раз увижу тебя возле моей жены...

Детина взмахнул увесистым кулаком, с удовлетворением отъявленного драчуна приметив огоньки во взгляде бродяги. Неизвестно, чем бы дело кончилось, если бы в этот момент не откинулась циновка на окне дома и властный голос не приказал:

— Угомонись, Салех! Пусть идет себе.

В окне обозначился косматый старец. Борода и длинные, до плеч, волосы старца были белы как снег — однако голос устоял против возраста: сразу слыхать, кто в доме хозяин!

Муж Фарангис с неохотой опустил кулак.

— Иди уж, похабник, — угрюмо бросил он бродяге. — Счастлив твой бог: когда б не дедушка Олмун...

И Салеху вдвойне захотелось отвести душу на бродяге: ишь, урод, выпятился на Олмун-деда, ровно на шлюху портовую!

А человек, забыв про обиду и обидчика, смотрел — и ничего не мог прочесть в раскосом прищуре былого Олмун-дэва. Погибшего во время резни в Мазандеране, чтобы жить здесь, в мирных предместьях Кабира, вместе с внучкой, благополучно выскочившей замуж за углежога Салеха.

Вспомни!

Ну вспомни, Олмун-дэв!.. не хочешь? не можешь?

Человек повернулся и молча побрел восвояси.

Он не видел, как Фарангис провожает его долгим взглядом, и уж тем более не слышал, как она шепчет деду, боязливо косясь на Салеха:

— Он говорил, что читал мне стихи... Когда-то. В чудном месте, которое называется Мазандеран. И знаешь, дедушка... помнишь, я рассказывала тебе о моих снах? Ну тогда, еще до замужества... и после...

— Сны — это всего лишь сны, Фарангис, — отвечает старый Олмун. — Правда, иногда они бывают вещими... Скажи мужу, пусть лучше любит тебя — х-ха, мои женщины спали без сновидений!

Но в глазах старика, противореча веселью слов, на мгновение вспыхивает нездешняя синь горного неба.

Неба над каменной чашей.

...Нет, всего этого человек не видел.

Он шел прочь.

Он понимал тщету своих поисков; понимал, отказываясь принимать. Строители гробницы поработали на совесть, не оставив лазеек. И все же... он просто не умел по-другому, вслепую тычась в стены, ища несуществующий выход, загоняя панику в самый дальний угол рассудка, изнемогшего в борьбе с самим собой.

А значит — еще оставалась надежда.

* * *

Он нимало не удивился, когда в какой-то чайхане услыхал: завтра в столицу с докладом приедет Худайбег аль-Ширвани, соратник покойного аль-Мутанабби, а сейчас — наместник эмира в Харзе. Человек уже неделю ждал приезда того, кто раньше был известен ему под кличкой Дэв. Он знал: Худайбег приедет. Не нужно открывать Ал-Ребаты или добираться с попутным караваном в Харзу. Дэв едет к нему сам.

И при этой мысли по коже странника пробегал озноб. Он боялся не слепоты во взгляде бывшего друга. Что, если кто-то снова начал исподволь подсовывать ему желаемое? Не труди ноги, бывший шах! Тот, встречи с кем ты ищешь, сам спешит к тебе — о радость!

Ты получишь желаемое!

Совпадение? — с некоторых пор человек весьма подозрительно относился к подобным совпадениям.

Въезд наместника Харзы в столицу был обставлен, как и следовало ожидать, куда скромнее парадного выезда эмира. Зато сам наместник гордо ехал впереди свиты, состоявшей из двух десятков «Вороноголовых» на пегих иноходцах.

Сам Дэв красовался на гнедом жеребце-гиганте, чьим отцом был скорее слон, нежели конь. Левая рука наместника играла посеребренной уздечкой, в правой он сжимал до боли знакомую «Сестру Тарана», ставшую, похоже, символом его правления. Дэв заметно постарел, буйную гриву обильно припорошила седина — однако весь его облик по-прежнему дышал первозданной мощью сказочного богатыря. Но это была вполне человеческая мощь, и даже лоб, изрядно нависая над пронзительной голубизной взора, принадлежал сыну Адама, а не обитателю Мазандерана.

Фарр-ла-Кабир умер — и вместе с ним умерло проклятие, тяготевшее над «небоглазыми».

Худайбега аль-Ширвани встречали. Его приветствовали. Как-никак живая легенда, соратник самого аль-Мутанабби, на-

местник двух эмиров подряд! Однако толпа зевак, выстроившихся вдоль улицы, была достаточно редкой, чтобы человек смог без труда пробраться в первый ряд.

Наместник Харзы не глазел по сторонам. Он был преисполнен важностью своей миссии и погружен в размышления о предстоящем докладе эмиру; праздная толпа его не интересовала.

Человек понял: Дэв сейчас попросту минует его, даже не заметив, — тем дело и кончится. Поэтому, не раздумывая, сделал единственное, что мог сделать, обратив на себя внимание наместника: вышел на середину улицы и встал, загораживая путь процессии.

Глядя прямо в голубые глаза седого «пятнадцатилетнего курбаши».

Это было глупо. Это было настолько глупо, что наместник наконец очнулся от государственных дум.

И наглому бродяге достался удивленный взгляд.

Человек молчал. Он уже знал: взывать к памяти, к прошлому, в котором они сражались бок о бок, бессмысленно. Худайбег либо вспомнит сам, либо...

Придержав коня, наместник смотрел на наглеца: сперва недоуменно, потом все более пристально. Тень сгущалась в глубине голубых колодцев, смутно ворочалась в душе бывшего Дэва — еще, еще немного, еще несколько мгновений, и...

— Вон пошел, бродяга! Мыши плешь проели?! — у наместника на дороге стоять?!

Удар камчи обжигает спину, гнет к земле крылом урагана — а с боков уже наезжают, теснят лошадьми всадники свиты. В толпе рождается смех: поделом дураку! Человека отшвыривают прочь, вдогонку на прощание огрев копейным древком.

Путь свободен!

Наместник может ехать дальше.

— А ведь похож... — бормочет себе под нос Худайбег аль-Ширвани, и медленно гаснут на лице наместника голубые угли. — Нет, действительно похож...

Соратник покойного аль-Мутанабби трогает повод. Он едет дальше, ко дворцу, выбросив из головы нелепое происшествие... выбросив... е рабб, да выбросив же, чтоб тебя!

Сердце колотится взбалмошным зверьком, и еще: почему-то хочется умереть за кого-то.

Умереть.

Хочется.

Мертвых не существует — щекочет сознание наместника Харзы странная мысль.

На западную окраину города он попал случайно.

И у высокого дувала остановился случайно — внимание привлекли траурные полотнища синего и лилового атласа, наискось переброшенные через верх.

Странно: хора плакальщиц и воплей родственников, предающихся скорби, слышно не было.

— Кто умер? — без особого интереса спросил Абу-т-Тайиб у древней старушки, что сидела у ворот на оструганном чурбачке.

Его мало интересовало, кто умер.

Мертвых не существует.

Совсем.

— Кобланчик помер, странничек... — ласково прошамкали старушечьи губы. — Внучок мой... только он не помер ишшо, помирает себе, помирает, который день как помирает, странничек...

Слово «помирает» старушка произносила вкусно, со значением. Так говорит влюбленный о предмете своей страсти или пьяница — о вине.

— Кузнец? Кузнец Коблан?!

Что-то исподволь шевельнулось в душе поэта, тайная, давняя струнка зазвенела тихим звоном: воробышек-кузнец, могучие подмастерья-мариды... доспех...

— А ты небось знавал его, странничек? Внучка моего?

— Знал, бабушка.

— Так зашел бы, проводил... не сегодня-завтра отмучается, внучок-то! Тебе б там лепешечек сунули, мясца кус... Ворота вторую недельку без запора, входи, кому душа велит!

И в сопровождении ковыляющей старухи поэт пешком вошел во двор — куда некогда въезжал на лихом коне, шахом Кабира, с эскортом гургасаров.

Было?

Не было?

Сперва он по старой памяти направился в кузню, но предупредительное шамканье за спиной остановило поэта. И впрямь: не у горна ведь лежать умирающему? Хотя такой упрямец, как воробышек с глоткой матерого льва... Этот и при смерти на своем настоит. А в дом отчего-то идти не хотелось. Абу-т-Тайиб взошел было на айван, затоптался на веранде меж колоннами из ошкуренного тополя, думая повернуть обратно, — но навстречу уже грузно шагал мохнорукий исполин, на голову выше поэта и вдвое шире в плечах.

— Правнучек это, Кобланчик-младшенький, — бормотнули из-за спины. — Ты его не боись, странничек, он только с виду страшенный, а так мухи не обидит, правнучек-то мой...

Словно задавшись целью опровергнуть высказывание прабабки, исполин походя пришлепнул муху на перилах.

Но пришлепнул с одного удара, не обижая, — это старуха верно заметила.

— Ты, значит... — утробный бас Кобланчика-младшенького был под стать рыку Кобланчика-старшенького, но гораздо больше подходил к его могучей стати. — Ты, значит, странник... ты заходи, значит. Помолись за родителя моего. Скажешь потом — накормят. Значит, так и разумей, что накормят...

И веранда сотряслась, когда он затопал дальше — в сотый раз распорядиться насчет лекарей.

Безнадежно, значит, да совесть велит.

Абу-т-Тайиб вошел в дом. Там было многолюдно, шепоток сквозняком гулял от стены к стене, бродил коридорами, перемежаясь редкими всхлипами; женщины украдкой прятали лица в передники, мужчины сдержанно говорили о пустяках. Пахло едой, снадобьями, человеческим потом; и еще — смертью.

Поэт не стал говорить этим людям, что мертвых не существует.

Он протолкался к запертой двери в соседнюю комнату, плохо понимая, зачем он это делает. Почти сразу дверь открылась, больно ударив в грудь краем створки, и оттуда бочком выбрался сухонький лекарь-хабиб с личиком престарелого младенца. Он уставился на поэта и развел ручками: дескать, все в воле Творца! Будем надеяться... надеяться... будем. Поэт кивнул; потом глянул через плечо хабиба. В глубине комнаты, на смятом ложе, лежала мумия: крошечная, сморщенная, туго обтянутая пергаментной кожей. На лице-черепе мумии лихорадочно горели впадины глаз: жаркое пламя души истово рвалось на волю из вонючего склепа.

Этот огонь опалил сознание Абу-т-Тайиба, как если бы поэт живьем сунулся в пылающий горн, сунулся в тщетной надежде быть перекованным из человека в меч.

Мумия на ложе захрапела умученной лошадью, задергалась, и рядом всполошились сиделки. Одна из них — видать, главная — склонилась к мумии, оттопырила себе ухо ладонью, вслушалась в еле слышный хрип былого горлопана...

— Давайте странника-то! — крикнула она минутой позже. — Сюда давайте! Дядь Коблан просит!

Абу-т-Тайиба сильно толкнули в спину, и ноги сами сделали два-три шага, переступив низкий порожек.

Подойдя к ложу, поэт остановился, глядя на умирающего и теряясь в догадках: что делать? о чем говорить? молиться?!

— Ты пригнись, странничек, — шепнула сиделка. — Пригнись к дядь Коблану! Он говорить хочет... да язык костяной. Авось услышишь...

Абу-т-Тайиб послушно нагнулся.

Сперва он услышал только страшное сопенье. Воздух клоко-

тал в глотке мумии, клокотал слабо, усталым варом, выходя вместо слов пузырями.

— Д-до... — лопнул один пузырь, обдав поэта жаркими брызгами. — Д-доспех... помнишь?..

— Помню, — больше всего Абу-т-Тайибу хотелось бежать отсюда. Ноги, ноги хадрамаутского верблюда, бегуна из бегунов — где вы?! Сейчас, когда в намертво замурованной гробнице, куда заточил его издыхающий Златой Овен, обозначился крохотный просвет, мышиная нора, щелочка наружу, — поэту стало страшно.

Так узники дуреют от глотка свежего воздуха, кричат, хватают стражников за руки, моля вернуть их в привычный смрад и мрак.

Или это просто предсмертный бред?

— В-вели... туда... вместе...

— Про какой это он доспех? — Спрашивая сиделку, Абу-т-Тайиб втайне надеялся, что та выставит странника-нахала прочь. Ишь, человек душу отдает, а этот прилип репьем с вопросами!

— Про эмирский доспех. — Оказывается, Коблан-младшенький успел вернуться и теперь стоял с поэтом бок о бок. — Родитель мой самому аль-Мутанабби латы ковал, значит... было дело. А потом эмир доспех вернул, да со значением: дескать, мир на земле, пусть хранится у того, кто делал! По сей день, значит, в сундуке бережем...

— В-вели... туда...

— Тебе, значит, показать хочет? — спросил Коблан-младшенький у поэта и, не дожидаясь ответа, кивнул сам себе. — Просьба умирающего — закон. Эй, кто там — носилки! Пусть порадуется, значит, родитель... эх, Коблан-ата!..

* * *

В кузне было прохладно. Молчал горн, скучали без дела мехи, дожидаясь подмастерьев, масляно отливали в углу молоты и клещи. Носилки втаскивали осторожно, стараясь не потревожить мумию, бывшего человека, которого вскоре уже не потревожит ничто из тревог земных.

По приказу исполина из кладовки вынесли сундук, поставив его прямо на холодную наковальню.

— В-в... в-во двор...

Пришлось с той же осторожностью тащить носилки обратно во двор; следом сын умирающего вместе с коренастым бородачом несли сундук.

Все, кто был в доме, к этому времени толпились здесь, на открытом пространстве: недоумение во взглядах, губы роняют слова, будто крошки, мигом разбираемые любопытными пичугами, мужчины чешут бороды, женщины шушукаются втихомолку,

обсуждая и осуждая суетную похвальбу кузнеца. И было б перед кем?! — перед бродягой с большой дороги!..

На старушку, пригласившую удивительного странника, глядели с опаской.

Носилки примостили на дощатой тахте в тени чинары, сундук опустили напротив, прямо на землю. Со стороны это напоминало погребальный обряд каких-нибудь диких зинджей: покойника таскают туда-сюда, без видимого смысла и цели, ожидая то ли чуда, то ли вовсе Страшного Суда...

— О-о... открой...

Коблан-младшенький откинул крышку, распахнув перед людьми чрево сундука.

Внутри лежал доспех; зародышем в материнской утробе. Густо смазанный зигировым маслом шлем со стрелкой, защищающей переносицу; вороненые наручи и оплечья, подбитые двойным бархатом, меж слоями которого для упругости был уложен конский волос; пояс, густо усыпанный стальными бляхами; наколенники, сетчатый полог с разрезами; латная перчатка была одна.

Левая.

Но не это бросило поэта в холодный пот.

Сзади о чем-то шептались незнакомые люди, беззастенчиво орала ворона в ветвях чинары, звон невидимых цикад оглушал, а поэт все смотрел и не мог оторвать взгляда от зерцала панциря, уложенного по центру.

С зеркальной глади металла, нагло врезаясь в его плоть бороздками гравировки, Абу-т-Тайибу в лицо ухмылялся череп со спиралями рогов.

Мертвая баранья голова.

Неужели они не видят? Неужели они по-прежнему слепы, и зрячие здесь лишь двое: он, неприкаянный рифмоплет, дважды похороненный и дважды воскрешенный не волей Аллаха, но причудой ходячего кебаба, — и еще проклятая скотина, которой он собственноручно свернул шею?

Выходит, зря?!

— С-со... с-сохранил я... сберег...

Поэт ухватился за еле слышный шепот умирающего, как хватается тонущий за брошенную ему веревку. Вытер лицо рукавом, вздохнул полной грудью. Переждал, пока сердце угомонится, уймет лихорадочный стук.

И стал рыться в дорожном хурджине.

Все ахнули, когда странник извлек наружу латную перчатку, родную сестру-близнеца той, что безмятежно дремала сейчас в сундуке.

Только сестра была правая.

Абу-т-Тайиб еще немного постоял над сундуком, собираясь с духом; зачем-то надел свою перчатку на руку, снял, скрежетнул

ногтем по кольчатой чешуе... Поэт был сейчас похож на фарисарыцаря Запада, когда те бросают вызов врагу, — и брошенная перчатка полетела прямо в морду Златого Овна.

В ухмылку.

В оскал.

В сундук.

Свой выбор — в чужой.

Звонко ударившись о поверхность панциря.

Абу-т-Тайиб страшно рассмеялся и стал расчехлять чанг, купленный им у чернявого.

— Д-да... — хрипела мумия на носилках. — Д-да... т-так его...

И ни у кого из присутствующих не повернулся язык сказать, что негоже при умирающем струны драть.

Примерзли языки.

— Ты почтил меня великой честью, Коблан-мастер. — Мумия молчала, внимая; лишь полыхали бешеные глаза с пергамента лица. — Великой честью. Я отплачу тебе единственным, что имею: песней. И думаю, тогда мы будем наконец квиты — ты и я. А вместе с нами и тот, кто всегда стоял между такими, как мы.

— Песня, значит, — буркнул Коблан-младшенький, тщетно пытаясь вникнуть в загадочные речи странника, и обвел людей строгим взглядом — хотя и так никто не собирался перечить. — Песня, это ладно... родитель любил... раньше. Хоть и... ну да ладно. А чья песня-то, значит?

— Моя.

— А слова, значит? Слова-то чьи?

— Аль-Мутанабби.

— А зовется как? Название, значит?

— Касыда о взятии Кабира.

И чанг плеснул в людские лица буйным хиджазским напевом.

4

...помню: жаркой требухою, мертвым полем под сохою,
Выворачивалась площадь, где пехота бой вела.

Помню башню Аль-Кутуна, где отбросили к мосту нас,
И вода тела убитых по течению влекла...

Ты обложил меня со всех сторон, Златой Овен, рогатый пастырь; даже приняв смерть от моей руки, ты бродишь за мной неуспокоенным призраком — и блеешь во тьме, смеясь над безумным поэтом! Ты спрятался от меня в гибельной мгле, которую я сам даровал тебе; теперь мне не достать, не дотянуться, не ухватить за глотку барана, раздающего милостыню направо и налево со щедростью владыки владык! О фарр-ла-Кабир, единственное,

что ты не смог вплести в ткань своей изысканной шутки, — это кровь моего сердца, стрелы моего колчана, мои слова, рожденные из тех глубин, куда я сам редко осмеливался заглянуть... Все ложь: походы и завоевания, падения и взлеты, годы и фарсанги расстояний, имена и клички — все в мире ложь, кроме этого!

Спасибо тебе, Златой Овен. Низкий поклон, ибо без тебя я никогда не достиг бы понимания простой истины: можно возвести гробницы и дворцы, обойдясь без каменотесов или зодчих, можно воскресить мертвых и похоронить живых, швыряя жизнь со смертью игральными костями, путая чет с нечетом; но нельзя заставить кабирских чангиров петь мои песни, если я, я сам, не захотел отдать им эти песни!

Это единственное, что поэт может сделать сам, и только сам!

Я благодарен тебе: ты делал меня владыкой, упрямо и самозабвенно, пытаясь уподобиться Творцу, ты лепил меня-нового из глины власти, чтобы я остался прежним.

Спасибо — и прости.

Я убью тебя снова.

Навсегда.

...помню горький привкус славы, помню вопли
конной лавы,
Что столицу, как блудницу, дикой похотью брала.

Помню, как стоял с мечом он, словно в пурпур
облаченный,
А со стен потоком черным на бойцов лилась смола...

Ты травишь меня сворой псов-подробностей, Златой Овен, все за тебя — правда и ложь, быль и небыль, мой сын, которого я не зачинал, мои походы, которых я не совершал, мои сподвижники, гибель которых я видел собственными глазами! Я — никто, я меньше, чем никто, и нет у меня орд, способных обвалом рухнуть с Белых гор Сафед-Кух на твои твердыни, о вожак стад! — нет и свидетелей, способных обвинить тебя на высшем суде, ибо Гургин далеко, а остальные безнадежно немы, кроме этого умирающего кузнеца, чье существование — прах под зимним ветром!

Я брожу по твоим пастбищам неприкаянным призраком, погибшей душой, стеная о том, что ушло прошлогодним снегом; я вновь добрался бы до Мазандерана, я вновь свернул бы тебе шею, если бы знал: это хоть что-то изменит!

И все-таки я возьму Кабир.

Сам.

Здесь и сейчас.

...воля гневного эмира тверже сердцевины мира,
Слаще свадебного пира, выше святости была...

Они слушают меня, открыв рты, они внимают тому, что выше нас, выше всех, выше мавзолеев и тверже гранита, они берут твой Кабир вместе со мной, заново — посмотри в их глаза, мертвый череп! Посмотри и ухмыльнись, если сможешь! Там клубами плещет дым горящей столицы, там сшибаются всадники, там в стенном проломе бьются последние защитники Кабира, и вой гургасаров перекрывается визгом бедуинов Антары Абу-ль-Фавариса; их взгляды полны огня и стали, бешенства и ярости, их взгляды — зеркала, их души — зеркала, их жизнь, исковерканная тобой, — зеркало, где теперь отражаюсь я-настоящий, я-живой, я-подлинный...

Моя прихоть равна твоей, о Златой Овен, потому что я стою ныне на своей земле, и не баранам гнать меня прочь, туда, где мы все презренно равны: рогатые и безрогие!

Я возьму твой Кабир.

Сам.

...над безглавыми телами бьется плакальщицей пламя,
Над Кабиром бьет крылами Ангел Мести, Ангел Зла,

Искажая гневом лица, вынуждая кровь пролиться —
Плачь, Златой Овен столицы, мясо бранного стола!

Звени, чанг — оружие превыше мечей, господин превыше венценосцев, истина превыше летописей или памяти; звени, пой, опускайся ятаганом на холку проклятой твари, даже если я льщу сам себя несбыточной надеждой, и все мои упования — льдинка на полуденном солнце!

Обманывая сам себя — я все равно обманываюсь сам.

Сам.

* * *

...старый Коблан прожил еще три с половиной дня.

Все это время Абу-т-Тайиба не отпускали: самая лучшая еда, самое мягкое ложе, любая одежда, золотые динары, лишь пожелай он, были бы к его услугам. Во двор с утра набивались толпы людей — забыв о смерти, забыв о скорби, они приходили слушать, и пламя души умирающего все жарче горело во впадинах глазниц.

Тело уходило без боли и сожаления.

Кузнец умрет, произнеся всего два слова.

— Ш-ш... ш-шахский дар, — скажет он, и отойдет к праотцам с улыбкой.

Все решат, что покойный имел в виду доспех, оставленный ему первым эмиром кабирским.

А Абу-т-Тайиб лишь кивнет и закроет умершему глаза.

Наутро поэт оставит дом Кобланов, попрощается у ворот со старушкой, а потом зашагает себе дальше.

По эмирату, от барханов Верхнего Вэя до масличных рощ Кимены.

Он никогда и никому не скажет, что в свою последнюю ночь, проведенную у кузнеца, он тайком ходил в кладовку.

Туда, где хранился драгоценный сундук с латами.

Крышка откинулась без скрипа.

Вместо бараньего черепа по зерцалу панциря вилась ровная вязь; две строчки.

Бейт из «Касыды о мече».

Живой, я живые тела крушу, стальной,
ты крушишь металл —
И, значит, против своей родни каждый из нас восстал!..

Поэт закроет крышку.

Мертвых не существует.

Совсем.

ГЛАВА 15,

подлежащая было усекновению по причине отсутствия ответов на вопросы, но даже Аллах (слава Ему!) не обещал отвечать на все загадки Мироздания (при условии, что кто-то из смертных дерзнет беспокоить Господа миров своими наглыми домогательствами)

1

— Открывай, хозяин! Именем светлейшего эмира Салима! Открывай, пока мы не разнесли ту рухлядь, которую ты по недомыслию именуешь дверью!

Гулкие удары.

Брань стражников.

Испуганный голос за дверью:

— Кто вы, добрые люди? И что вам нужно в моем доме в столь ранний час?

— Оглох?! Именем светлейшего эмира и его наместника в Дурбане! Открывай, кому говорят?!

Лязг засовов, жалобный скрип петель.

И поспешный грохот тяжелых сапог — мимо едва успевшего посторониться хозяина.

Бледного коротышки в ночной сорочке и остроносых домашних каушах на босу ногу.

— Где он?! — Последний стражник задерживается в дверях, нависает над низкорослым хозяином, дышит в лицо чесночным перегаром.

— Кто, господин?

— Чангир этот, кто ж еще?

— Пусть господин простит меня, скудоумного, но я не понимаю, о ком идет речь! В моем доме нет никаких чангиров! Я честный красильщик, подати плачу исправно...

— Не болтай зря, красильщик! Лучше сразу отвечай, где его прячешь, — как бы не сожалеть потом!

— И рад бы сказать, господин — да не знаю, о ком речь! В доме только я, мои жены с детьми да еще подмастерье. Подмастерье, правда, ловок струны драть, только все больше не на чанге, а на ребабе...

— А если посмотреть с пристрастием?!

— Смотрите, господин, только я вам, как пред самим Творцом...

А в доме тем временем уже по-хозяйски топочут сапоги. Трещит мебель, возмущаясь наглостью чужих рук, голодными ртами распахиваются крышки сундуков, содержимое их бесцеремонно вываливается прямо на пол, в воздухе плавает пух из распоротой перины; и тихо причитает старшая жена красильщика.

Младшая, круглолицая бабенка с разбитной ухмылкой, молчит.

Скалится, блудница!

— Здесь! — радостно кричит один из ранних гостей. — Господин он-баши, здесь люк под ковром!

Приводят хозяина.

— Ну что, скажешь — нет его там? В последний раз добром спрашиваю!

— Н-нет, господин...

— Открывай!

Крышка поднимается без скрипа — сразу видно, пользовались люком часто, на масло для петель не скупились, исправно мазали.

Один из стражников сунулся вниз с лампадкой в руке.

— Ага, попался!

Наружу был немедленно вытолкнут тощий паренек — востроносенький, с испуганно бегающими глазками, одетый в одно исподнее.

— Да это же мой подмастерье! — всплескивает руками красильщик и напускается на паренька. — Что ты там делал, Азизам?!

— Я... я... не надо меня в тюрьму! Не крал я те пряники! Клянусь мамой, не крал! Я деньги на прилавок положил, а тут он ко мне поворачивается и кричит: вор! держи вора! Испугался я, побежал... Не надо меня в тюрьму, не виноватый я!

Плечистый он-баши, успев дважды стукнуться навершием шлема о низкую притолоку, только плюет с досады.

На пол.

— Заткнись, дитя разврата! — рявкает он, сам плохо понимая, кого имеет в виду: хозяина? подмастерье? всех вместе?

Злоба распирает душу сброженным суслом.

— Эй, Саид, больше там никого нет? Хорошо смотрел?

— Хорошо, хорошо, — ворчит из подполья Саид.— Тряпки тут всякие, краска... людей нет, господин он-баши!

— Ладно, вылазь. Пойдем отсюда.

Уже выйдя на улицу, он-баши с досады засаживает кулаком в крайний из опорных столбов, поддерживающих кровлю айвана, заставив столб дрогнуть. Снова придется докладывать: упустили! А может, и впрямь не было его там?!

Стражники опасливо молчат.

Зевают, прикрывая рты ладонями.

2

— Поторопись, уважаемый! Стражники уже в доме небось! Скоро по окрестностям шарить начнут — уходить надо. Ну да нам везет, до затоки теперь рукой подать...

— Спешу, спешу, мой проводник! — весело откликнулся человек.

И действительно прибавил шагу, стараясь не отстать от провожатого.

Далось ему это с некоторым трудом: человек явно разменял полвека, был не то чтобы тучен, но грузен изрядно; и слегка припадал на левую ногу — растянул, должно быть.

Вскоре полы джуббы беглеца зашуршали среди прибрежных камышей.

Захлюпала вода под стоптанными сапогами.

— А вот и Монсур-рыболов! Ждет, молодчина... Счастливого пути, певец!

— Спасибо, добрый человек. И тебе, и красильщику-хозяину, и всем вам — низкий поклон! Ну что, Монсур, поплыли? Я, пожалуй, на весла сяду — а ты рулить будешь. Так?

— Еще бы не так! — угрюмо буркнул Монсур, помогая ступить через борт. — Ты тут нарулишь... и нагребешь...

Лодка бесшумно скользила по черной воде, рассекая носом белесую пелену, укутавшую саваном озеро Куч-Курган. Воистину: ножом мучную похлебку резать, и то проку больше! Туман расступался лениво, с неохотой — чтобы немедленно сомкнуться

позади. По сторонам темнели, шурша от зябкого ветерка, стены тростника; действительно, певец бы тут нарулил!

А Монсур, по всему видать, Озерному Деду родная душа...

Плыли не слишком долго: хитрей водяной змеи скользнули по затоке, и лодка мягко ткнулась носом в противоположный берег.

— Эх, спел бы я тебе песню, Монсур, да жаль, нельзя — у этих уши, как у ишака! — Поэт выбрался из лодки. — Может, динар возьмешь? У меня есть.

— Со святых плату брать грех, — с прежней угрюмостью ответствовал Монсур-рыболов.

Сказанные им слова странно противоречили хмурому лицу: с такой рожей не то что плату, родную мать зарезать — где мой нож?!

— Какой же я святой? — усмехнулся поэт. — Брожу себе по белу свету, песни горланю, люди слушают — вот и вся моя святость!

— Некогда мне с тобой спорить, — Монсур явно не был любителем долгих бесед. — Не хочешь святым быть — твое дело. Поторопись только. Вон там, от холмов наискось — дорога на Оразм.

— Ну, прощай тогда, шутник Монсур! Пусть рыба легко идет в твои сети, а счастье — в твою душу... Удачи!

Поэт закинул за спину видавший виды хурджин, умостил поверх зачехленный чанг — и, чуть прихрамывая, двинулся к округлым холмам, проступавшим в тумане грудями-блудницами.

Где должна была лежать дорога на Оразм.

Рыболов долго глядел ему вслед. Очень долго, пока фигура певца не растворилась во мгле. Но и после Монсур еще с полчаса продолжал сидеть в лодке — оглядывался, прислушивался.

И услышал.

Стук копыт. Ближе, ближе... И вот, наполовину скрытые молочной кисеей, мимо проносятся силуэты всадников.

Конный разъезд!

Топот не успел стихнуть — а Монсур уже бежал. Он знал, куда направился поэт и куда поскакал разъезд. А еще он знал короткий путь. Он успеет, успеет перехватить, дать знак...

Тайная тропка сама легла под ноги. Мягкие ичиги, выменянные в свое время у неразговорчивых, как и сам рыболов, горцев Озека и предусмотрительно надетые сегодня, делали шаги бесшумными, и не надо было осторожно красться, стараясь не выдать себя, не надо было терять драгоценное время.

В последний раз Монсур бегал так, во весь дух, ребенком — спасаясь от девок Озерного Деда, падких на заблудших молокососов.

На миг ему показалось: на склоне ближнего холма мелькнула фигура с хурджином за спиной. Рыболов прибавил ходу, но про-

клятый туман перед ним заклубился, потек киселем, чтобы минутой позже начать редеть, истончаться — и, добежав до гряды, Монсур увидел: впереди никого нет.

Холмы здесь заканчивались, дальше начиналась обещанная дорога, на которую как раз выезжал из-за поворота давешний разъезд. Выезжал, бросив горячить коней: за кем гнаться, почтенные?! Место здесь открытое, спрятаться невозможно... а на дороге пеший от конного и без скачки не уйдет.

Только нет его, пешего-то!..

Рыболов на всякий случай обошел холм кругом. И от всадников подале, и оглядеться не грех. Никого. Чудеса, да и только!

«А ведь верно — чудеса!» — дошло вдруг до Монсура.

Даром, что ли, в народе считают этого человека святым? — а то и вовсе самим Абу-т-Тайибом аль-Мутанабби, вернувшимся с того света...

Выходит, прав был он, Монсур! Как есть святой! Исчез — и поминай лихим помином! Теперь понятно, почему его уже два года не может изловить вся эмирская конница, вся эмирская рать!.. Одно неясно: если он, Монсур, прав, значит, святой был не прав, споря с ним? Что ж это получается?!

Прав, не прав... чудны дела твои, Отец Небесный!

3

— Мой повелитель! Владыка Ночи докладывает — этому человеку опять удалось уйти! Владыка Ночи обещает приложить все усилия, но пока...

— Да что ж он, в самом деле святой?! Чудотворец?! В который раз... — Эмир Салим не закончил фразу. Оставил трон, прошелся по зале, время от времени косясь на распростершегося ниц вазирга.

— Матери моей докладывал? Ее ведь затея... — Эмир остановился напротив вазирга, покачиваясь с пятки на носок и обратно.

— Нет еще, мой повелитель. Нахид-хатун сейчас очень занята — к ней привели очередного чангира. Он утверждает, будто знает две касыды вашего великого отца, которые до сих пор не звучали в стенах дворца. И Нахид-хатун распорядилась...

— Понятно. Можешь не докладывать — сам знаешь, что за дурные вести бывает... Или напомнить?

— Как будет угодно моему...

— Ладно, иди.

Когда пожилой вазирг, пятясь и кланяясь, покинул тронную залу, эмир Салим снова прошелся от стены к стене. Задумчиво взял с золотого подноса гроздь винограда — кименский «калинджари», черней смолы, с тонкой кожицей... любимый виноград эмира.

Бросил ягоду в рот, постоял и скривился: дар лозы, подобного которому не найти в обитаемых четвертях земного круга, горчил.

Или дело не в винограде?

* * *

Слухи пестрыми гадюками поползли по эмирату около двух лет назад. Поначалу внимать им казалось глупей глупого. Ну, объявился какой-то бродячий чангир; ну, поет на площадях касыды покойного владыки, казалось бы, безвозвратно утерянные. Ну и пусть поет! Небось старые записи раскопал. Или сам когда-то ходил в походы под началом славного завоевателя — там и услышал, запомнил. Почему только раньше не объявлялся?

Впрочем, подобная ерунда меньше всего интересовала эмира Салима. Что, других дел в державе нет, кроме как бродячих чангиров отлавливать?!

Отца этим не воскресишь...

Однако царственная матушка эмира крайне заинтересовалась новой молвой. А когда слух ее усладили дюжиной песен, приписываемых покойному супругу, в исполнении других чангиров — Нахид-хатун неожиданно щедро одарила певцов. И распорядилась привести к ней того, который... в общем, ясно. Прихоть стареющей женщины? Почему бы и нет? Возможно, таинственный бродяга был знаком с ее мужем, воевал бок о бок — славно вспомнить молодость, услышать рассказы и песни из первых уст...

Для кого прихоть, а кому — беготня от заката до рассвета, и от рассвета до заката в поисках чангира, оказавшегося воистину неуловимым! Слуги с ног сбились, пытаясь найти певца, — однако тот как в зыбучий песок канул!

Чтобы вскоре объявиться в Хаффе, затем в Мэйлане, Верхнем Вэе, после — в Харзе, в Бехзде...

А потом к эмиру явился с докладом Владыка Ночи, начальник столичной стражи — и правая рука Господина Приговоров, вазирга западной стороны трона. Владыка Ночи был неглуп, очень неглуп, дело свое знал и имел нюх охотничьего пса на беспорядки и волнения, когда смута находилась в самом зародыше.

Доклад был подробным — но оттого еще более странным.

Владыка Ночи не поленился собрать все донесения из разных уголков эмирата о появлении там искомого чангира, поющего касыды аль-Мутанабби. Затем бдительный блюститель опор власти сопоставил даты сообщений, расстояния между указанными в них городами... и решил, что кто-то сошел с ума! Или он сам, или его осведомители, или весь мир разом!

Замеченный в Мэйлане, певец никак не мог неделю спустя

объявиться в Харзе! Даже если скакать день и ночь, ежедневно меняя лошадей на свежих — все равно, от Мэйланя до Харзы около месяца пути! Добраться быстрее просто не в человеческих (и не в конских) силах!

Разумеется, оставалась возможность ошибки, и в Мэйлане касыды покойного эмира пел один человек, а в Харзе — другой. Именно об этом в первую очередь и подумал Владыка Ночи. Однако, сравнив описания внешности чангира из разных донесений, он пришел к выводу: человек был один и тот же. Одежда, телосложение, шрамы на горле и на скуле, недостача пальцев на левой руке, что отнюдь не мешало бродяге ловко управляться с чангом, — донесения сообщали обо всем этом в один голос!

Столь совершенных двойников не сыскать даже среди братьев-близнецов — в последнем Владыка Ночи был уверен.

Затем всплыла очередная несуразица во времени, следом явилась ее родная сестра, хихикая втихомолку: от Кимены до Хаффы бродяга добрался за день; не иначе, одолжил летучий хурджин у Ушастого демона У!

И тогда Владыка Ночи забеспокоился всерьез. Дело попахивало колдовством или явлением святого — никаких других объяснений происходящему не было!

Слухи тем временем ширились, обрастали истинными или на ходу выдуманными подробностями: в народе шептались, что смерть аль-Мутанабби была подлогом, сыновним бунтом против отца, и вот теперь отец возвращает людям свои стихи, бездарно утерянные глупцами! Или нет, смерть есть смерть, но Творец отпустил поэта-воина из райских пределов, вняв скорби его касыд, дабы поэт мог завершить свои земные дела; а какие именно дела — о том можно только гадать! Говорили и о новоявленном святом, и о деревенском дурачке, в коего вселилась душа первого кабирского эмира, и о...

Разное говорили.

Владыка Ночи не мог допустить, чтобы по эмирату летал колдун или святой, принимаемый чернью за покойного эмира. Слухи и так уже начали принимать опасный оборот: видать, не по отцовским заветам правит нынешний эмир, ежели отцу во гробнице не спится вечным сном!

Необходимо было принять меры. Срочные меры. А для этого Владыке Ночи требовалось разрешение светлейшего эмира Салима.

За чем он и пришел во дворец с подробным докладом.

Эмир так до конца и не поверил Владыке Ночи: склонность последнего сгущать краски возможных бед и волнений была хорошо известна сыну аль-Мутанабби. Тем не менее соответствующий фирман Владыка Ночи получил — и началась охота.

По всем правилам.

Но с единственной оговоркой: стражникам было строго-на-

строго велено взять певца *только живым*, не нанося ему телесных повреждений. И под конвоем препроводить в Кабир, пред светлы очи эмира и вдовствующей Нахид-хатун.

Охота началась — и продолжалась вот уже два года без малого.

Ищи ветра в поле!

* * *

— Дворцовый хабиб просит высочайшего позволения войти!

— Пусть заходит.

Лекарь с порога пал ниц, и эмир раздраженно поморщился: величие величием, но иногда надоедает. И время уходит впустую...

Перевалив за третий десяток, эмир Салим стал чаще жалеть уходящее время.

— Вставай. Ты пришел сообщить мне о состоянии здоровья моей матушки?

— Прозорливость великого эмира может сравниться разве что с его же мудростью! Да, я пришел поговорить с моим повелителем именно об этом. К сожалению, никаких улучшений в состоянии здоровья Нахид-хатун не происходит. И даже наоборот. Стеснение дыхания усиливается, разлитие черной желчи влечет за собой меланхолию, слабы выделения тела; вдобавок... дозволит ли мой повелитель продолжить, ибо сам я не смею?

— Продолжай. И ничего не скрывай — я хочу знать правду. Моя мать умирает?

— Еще нет, мой повелитель, еще нет — но все к тому идет, и мое искусство здесь бессильно. Мне кажется, сиятельная Нахид-хатун просто устала от жизни. Ей скучно жить. Такое бывает...

— Я знаю. Думаю, ты прав. Можешь что-то присоветовать?

— Разве что чистый горный воздух и целебные источники Бек-Неша, мой повелитель. Вряд ли они вернут вашей матушке волю к жизни — но могут заметно облегчить ей дыхание. Тогда появится надежда...

— Я понял, хабиб. И поговорю со своей матушкой — возможно, ей действительно стоит отправиться в горы. Опять же, путешествие хоть немного развлечет ее. А ты, — палец эмира уперся в грудь лекаря, — будешь ее сопровождать! Слава Творцу, здесь больше нет тяжелобольных — так что твои ученики вполне управятся. Ступай!

Отпустив хабиба, эмир Салим еще долго стоял в задумчивости. Похоже, неудачи поисков и хвори-злодейки осадили крепость Нахид-хатун, приближая день сдачи. Даже стремление встретить-

ся с удивительным чангиром исчезло. Скажем честно: касыды аль-Мутанабби распевали сейчас сотни певцов по всему эмирату, и отыскать среди них нужного — будь он хоть колдун, хоть святой... особенно если он действительно колдун или святой! Молва, словно весеннее половодье, мало-помалу вернулась в теснину дозволенного русла, опровергнув мрачные предсказания Владыки Ночи. Пожалуй, хватит гонять стражников за призраком. Есть дела и поважнее!

Приняв решение, эмир хлопнул в ладоши.

Миг — и в залу вбежал юный гулям, ожидая распоряжений.

4

— Про указ эмирский слыхал? — Дюжий гончар аккуратно отставил в сторону готовый кувшин и сунул руки в лохань с мутной водой — ополоснуть.

— Не глухой, чай, — покупатель, медник с соседней улицы, придирчиво осмотрел кувшин. Не тот, что минутой ранее сошел с гончарного круга; другой, уже расписанный и обожженный. Кувшин явно глянулся меднику, но брать без торговли — обидеть мастера!

— Ну?

— Вот те и ну... Два года ловили, а теперь вдруг — на попятный? Небось нарочно указ-то огласили. Вот поверит *он*, что минула опала, бросит хорониться — тут-то *его* и возьмут за шкирку!

— Болтун ты, — ухмыльнулся гончар, отряхивая мокрые руки. — *Он* и раньше-то не больно хоронился... Возьми ветер за шкирку! А так — все верно. Зря, что ль, другим чангирам по куче монет отваливали, да с почетом отпускали? Думали, *он* клюнет, заглотит крючок! Нет уж, народ не обманешь, а *его* — и подавно!

— Точно, — медник не обиделся на «болтуна». — Народ все видит! Нам-то *он* поет, а *им* — шиш с бараньим жиром!

И сменил тему:

— А скажи-ка, уважаемый, во сколько ты ценишь этот простенький кувшинчик для воды?

— Простенький?! Для воды?! — Гончар воздел руки возмущения над головой гнева. — Да в таком кувшине не стыдно подать лучшее вино на стол самому эмиру! Нет, ты посмотри, уважаемый, посмотри — тут одной росписи на динар, не считая...

Поэт, скоротав ночь в доме гончара, сидел, никем не замеченный, в дальнем углу двора, в тени приземистого аргавана, и с улыбкой слушал разговор.

Два года поисков минули, скрылись в бездне времени. Он мог уйти от преследователей в любой момент, открыв первый по-

павшийся Ал-Ребат, как хозяин дома открывает привычную с детства калитку. Однако поэт редко пользовался новым умением. Не раз его прятали от властей благодарные слушатели, не раз провожали задворками или тайными тропами в горах — и он не мешал этим людям спасать его. Они сами делали свой выбор, сами решались укрывать беглеца от властей; поэт был счастлив их свободой. Счастлив чужим поступком. Счастлив... Он ничего не имел против эмира Салима и его слуг, но каждый раз, когда очередной гончар или красильщик спасал от погони незнакомого ему чангира, — сердце поэта пело от радости!

Он все-таки взял Кабир! Взял сам, как и хотел того — не мечом, но песней.

Пора подводить итоги. В последние дни поэта все чаще необъяснимо влекли горы, перевал Бек-Неш, славный целебными источниками — и обилием Ал-Ребатов, которые поэт чуял даже отсюда.

Это означало одно: пора уходить.

Пора.

5

Рыжая кобылица зари, плеща гривой, стремительно неслась в небо; еще скрытая за седыми от снега вершинами, она спешила подарить людям первые отсветы зарождающегося дня.

Матушка эмира Салима, проведя ночь в обнимку с удушьем, наконец уснула. Уснул и пожилой хабиб, до утра не сомкнув глаз у ложа Нахид-хатун.

Зато в соседних шатрах и около них вовсю кипела жизнь. Спешили за водой служанки, разжигали огонь челядинцы, то и дело норовя ущипнуть девушек за тугие ягодицы. Результат сего ухаживания поражал разнообразием: от лукавого подмигивания до звонкой пощечины.

Жизнь потихоньку вступала в свои права, потягивалась, просыпаясь, — и явление немолодого чангира мало кого заинтересовало.

— Откуда взялся, странничек? — Повар у котла зевнул, пытаясь скоротать время беседой.

— Пришел, — лаконично ответствовал чангир, расчехляя свой видавший виды инструмент.

— Ну и шел бы дальше... — Повар без видимой причины охладел к пустым разговорам, но его перебила подошедшая сзади служанка.

— Чего ты человека гонишь, Низам? Видно же: не вор, не разбойник! Споет нам, чтоб работалось веселее, а от твоей шурпы не убудет!

— Нашла время для песен! — напустился на девушку бдительный Низам. — Госпожа почивать изволит! Еще разбудит...

— Не разбудит! — беззаботно махнула рукой служанка. — Ты тихонько, чангир, ладно? А этого скупердяя не слушай: у него подружку один такой, как ты, увел, вот и злобствует!

Повар густо покраснел и заткнулся.

Веселая песенка о влюбленном парне и упрямой красотке, отправившей парня на край света искать ей заморские подарки, взвилась над малахитовой зеленью луга, где был разбит лагерь, — и работа, как ни странно, действительно пошла веселее. Чангир спел одну песню, потом другую, третью — управясь со своими делами, слуги собирались вокруг, садились, слушали...

— А касыды аль-Мутанабби знаешь? — с надеждой осведомился разом подобревший Низам, поднося гостю миску с дымящейся шурпой.

Чангир не ответил — просто запел:

Я любовью чернооких, упоеньем битв жестоких,
Солнцем, вставшим на востоке, безнадежно обольщен.

Только мне — влюбленный шепот, только мне —
далекий топот,
Уходящей жизни опыт — только мне. Кому ж еще?!

— ...Еще! — выдохнул повар, когда касыда кончилась и последние отзвуки струн растаяли, разбились о каменные зубцы ближних скал.

— Дай ты передохнуть человеку! Шурпа стынет, — немедленно встала на защиту певца давешняя служанка. — Ты ешь, чангир, угощайся... А потом еще споешь?

— Угу, — с набитым ртом кивнул певец.

По всему было видно: человек успел изрядно проголодаться, и дважды упрашивать его отведать шурпы не пришлось.

Почти сразу в шатре Нахид-хатун раздался слабый возглас.

Служанка бросила глядеть на певца, охнула, метнулась внутрь...

— Ну вот, разбудили-таки, — виновато пробормотал Низам. — Сейчас всем нагорит!

Он выразительно взглянул на чангира, но тот не понял намека или сделал вид, что не понял. Сидел, шурпу наворачивал, аж за ушами трещало!

— Добрая похлебка, — ухмыльнулся он, покончив с едой и вытирая руки о траву рядом с собой. — А нагореть — это вряд ли... Сами увидите!

Словно в ответ на его последние слова, полог шатра качнулся, и доверенная служанка поспешила к костру.

— Светлейшая Нахид-хатун желает слушать твои песни! — гордо объявила она. — Я проведу тебя в шатер, чангир.

— Мужнины стихи пой! Мужнины! — зашептали со всех сторон. — Озолотит! Иди!

— Нет, я отсюда петь стану, — неожиданно возразил певец. — И касыды не аль-Мутанабби, а Рудаки!

— Лучше делай, что говорят, — зашептал чангиру прямо в ухо вездесущий Низам. — А кто такой этот твой Рудаки? — непоследовательно поинтересовался он.

— Его звали Адамом поэтов. Впрочем, это не важно. Нахид-хатун понравится — я знаю.

Бродяга встал, и голос его сразу набрал силу.

Только раз бывает праздник, только раз весна цветет, —
Взор твой, пери, праздник вечный, вечный праздник
в сердце льет!

И людям у костра послышалось, что внутри шатра тихо ахнули.

Раз в году блистают розы, расцветают раз в году —
Для меня твой лик прекрасный вечно розами цветет!

Полог шатра качнулся, как от легкого дуновения ветра.

Нахид-хатун стояла перед чангиром, судорожно вцепившись непослушными пальцами в одну из шатровых растяжек. Вдова первого эмира кабирского была далеко не молода, время дурно обошлось с былой красавицей-хирбеди, а болезнь иссушила тело, сделав его легким, почти прозрачным, готовым, казалось, взлететь при первом же порыве ветра, чтобы умчаться прочь из этой обители скорби.

И при взгляде на эту осень, на тихую пору увядания, щемило сердце, а к горлу подступал комок.

Поэт на миг запнулся, не в силах оторвать взгляда от женщины у шатра. Потом губы его шевельнулись — беззвучно, рождая слова, слышные лишь двоим:

Только раз в году срываю я фиалки в цветнике —
А твои лаская кудри, потерял фиалкам счет!

— Мерзавец! — прошептала женщина.

Слуги застыли с раскрытыми ртами, не понимая, что происходит и что им теперь делать.

— Червяк! Дождевой червяк! Проходимец!

— Да, да, Нахид! Еще! Еще! Кто я?!

...Только раз в году нарциссы украшают грудь земли —
А твоих очей нарциссы расцветают круглый год!

— Собачий сын!

— Еще!

— Мучитель!

Кипарис — красавец гордый, вечно строен, вечно свеж,
Но в сравнении с тобою он — горбун, кривой урод!

— Палач!

— Еще! О-о, еще!..

— И еще... еще... Еще ты — поэт. Ты мой муж, Абу-т-Тайиб аль-Мутанабби! Где же ты шлялся столько лет, изверг?!

* * *

— Ты сказала! — Лицо поэта осветила улыбка. — Теперь я твердо знаю, кто я такой. И важно ли, где я был все эти годы?.. Пойдем. Нам пора.

Застыв идолами, поклоняться коим — грех, слуги молча смотрели, как бродяга осторожно обнимает плечи светлейшей матушки эмира Салима, как они идут прочь, дальше, дальше, по зеленому лугу — и вот луговина пуста.

Чудо?!

Лишь повар Низам успел заметить: перед самым исчезновением на том краю луга встал призрак. Зыбкий силуэт высокого старца в накидке цвета шафрана. Старец улыбался, и у ног его курилась жаровенка в форме то ли краба, то ли солнечного диска с лучами...

— Помилуй нас, Творец! Что мы скажем эмиру?! — потрясенно шепнул Низам побелевшими губами.

Доверенная служанка вдруг со всех ног бросилась в царский шатер — и мгновением позже оттуда раздались ее причитания.

Зря...

Впрочем, ведь служанке покойной Нахид-хатун никто никогда не говорил, что мертвых не существует.

Совсем.

ЭПИЛОГ

Я знаю мир — он стар и полон дряни,
Я знаю птиц, летящих на манок,
Я знаю, как звенит экю в кармане
И как звенит отточенный клинок.
Я знаю, как поют на эшафоте,
Я знаю, как целуют, не любя,
Я знаю тех, кто «за», и тех, кто «против»,
Я знаю все, но только не себя.

Толстый лютнист, минутой раньше одолживший наглому школяру свой инструмент, был вне себя от ярости. Даже курицу не доел — жареную курицу с гарниром из тушеной капусты, куда подлец-трактирщик положил мало сала и много моркови. Обвислые брыли лютниста побагровели от прилива крови, а нос стал и вовсе сизым, пористым, хоть бери и запекай вместо баклажана!

Пальцы его, жирные пальцы чревоугодника — впрочем, они весьма ловко управлялись и со струнами лютни, — сжимались в кулаки. Вот огреть бы по уху шалопая, огреть смачно, всласть, чтоб слова скомкались у него в глотке грязным бельем шлюхи из портовых заведений; если, конечно, у таких девок есть белье, в чем достойный лютнист изрядно сомневался.

Мерзавец!

Похабник!

Ворюга...

А школяр, знать не зная о чувствах лютниста, продолжал рвать струны, выкрикивая на всю таверну «Золотая роза»:

Я знаю шлюх — они горды, как дамы,
Я знаю дам — они дешевле шлюх,
Я знаю то, о чем молчат годами,
Я знаю то, что произносят вслух,
Я знаю, как зерно клюют павлины,
И как вороны трупы теребят,
Я знаю жизнь — она не будет длинной,
Я знаю все, но только не себя.

Увы, негодование лютниста отнюдь не разделяли собравшиеся в таверне люди. Смеялся, слушая школяра, бродячий жонглер, чьи разноцветные штаны и лазоревая котта с нашитыми бубенцами выделялись ярким пятном в дымном чаду «Золотой розы». Вторила смеху спутника юная акробатка, машинально стирая рукавом со щек густые румяна; за соседним столом равнодушно жевал старик-крестьянин, глухой, как пень. Требовали продолжения трое солдат в панцирях из буйволовой кожи, и вино клокотало в их глотках, а похоть горела в их взглядах, когда мимо проходила толстозадая служанка, рябая девка в засаленном чепце. Сержант поглядывал в угол, где стояли солдатские алебарды, крутил длинный ус, не мешая гульбе подчиненных, — в Париже чума, в деревнях беспорядки и недород, где еще отвести казенную душу, как не в кабаке?

А школяр, из тех клириков Веселой Науки, что в любом возрасте остаются семнадцатилетними мальчишками, несмотря на выбитые зубы и седину в кудрях, все пел, вспрыгнув на стол, все терзал взятую напрокат лютню костлявыми пальцами...

Я знаю мир — его судить легко нам,
Ведь всем до совершенства далеко,
Я знаю, как молчат перед законом,
И знаю, как порой молчит закон.
Я знаю, как за хвост ловить удачу,
Всех растолкав и каждому грубя,
Я знаю — только так, а не иначе...
Я знаю все, но только не себя.

И лютнист наконец не выдержал.

— Это ложь, — завопил он, привлекая всеобщее внимание. — Это жалкое подражание! Я лично — слышите? лично! — присутствовал на поэтическом турнире у герцога Шарля Орлеанского! Я собственными ушами слышал посылку, данную его высочеством: «От жажды умираю над ручьем!» И ответные баллады Жана Робертэ слышал, и мэтра Астезана, и Франсуа Вийона! И потом я слышал Вийона близ церкви Сен-Бенуа, когда он продавал «Балладу состязания в Блуа» и «Балладу примет» по десять су за строчку! Там были совсем другие слова! Совсем другие! Как ты посмел, виршеплет, как ты... посмел... искажать... Отдай мою лютню! Отдай немедленно!

— Лови! — Гибкий, как ивовая плеть, школяр швырнул лютню ее владельцу. — Что ж ты не купил балладу, пока шла по дешевке? Небось поскряжничал, жмот! — а теперь развонялся: «Слова! Не те слова!» Хочешь всегда одинаковых слов — женись! Небось женушка тебя одинаково звать будет, рогач ты эдакий!

— Я... — задохнулся лютнист, прижимая инструмент к дряблой груди. — Я... чтобы всякое отребье, всякий висельник...

Но школяр уже не смотрел в его сторону.

Солдаты разразились громовым хохотом, требуя, чтобы оба бездельника кулаками выяснили отношения — если, конечно, они считают себя мужчинами, а не ощипанными кочетами! Служанка, являя пример женской непоследовательности, заигрывала со школяром, явно предпочитая ласки муз прелестям походной любви; а жонглер с подругой втихомолку подсчитывали дневную выручку — хватит ли заказать жбан красного?

Да еще скучал в углу темнолицый мавр, разодетый с истинно восточной пышностью, которой уж никак не место было в «Золотой розе».

Сержант покосился в сторону мавра. Мысленно посетовал на нерасторопность испанских кабальеро, что до сих пор не успели прибрать к ногтю Гренадский эмират, а заодно и на собственного всехристианнейшего короля Людовика, позволяющего черномазым нагло расхаживать меж честных французов; и усы сержанта воинственно встопорщились.

Ишь, паленая кость, нехристь! — целый экю бросил школяру через всю таверну. А тот рад стараться: поймал, и к сердцу прижал, и расцеловал, голытьба...

Нам за экю больше горбатиться надобно!

Ну да ладно, будет и на нашей улице праздник; как не бывать...

Когда школяр собрал пожитки и, вскинув котомку на плечо, пошел прочь из «Золотой розы», сержант исподтишка показал солдатам кулак.

Большой такой, волосатый кулак, со вздутыми костяшками.

Алебарды были расхватаны в считанные секунды, а служанке осталось только провожать мужчин взглядом: школяр, солдаты... не жонглера ведь соблазнять?

Может, мавра?

Но темнолицый рассчитался сполна, даже с лихвой, и вскоре на долю служанки остались лишь бродячие актеры да еще глухой крестьянин, равнодушно жующий вареную репу.

* * *

Осенняя распутица влажно чавкала под ногами. Заслышав топот за спиной, школяр проворно перепрыгнул канаву — и собрался было бежать. Увы, ноги подвели хозяина. Подломились в коленях, не удержали легкого тела; правое сабо свалилось наземь, жабой ускакало в грязное нутро канавы, и сперва деревянный башмак погрузился в жижу до половины, а там и вовсе оплыл на дно.

— Стой! — рявкнул сержант. — Стой, говорю тебе!

— Господа, господа, — заюлил школяр, шаря по сторонам взглядом затравленной крысы; котомку он выставил перед собой, будто защищаясь. — Если вы хотите отобрать у бедняги его нечаянную удачу, последнюю монетку, брошенную судьбой в лице славного мавра, — она ваша! Если же вы намерены причинить мне зло... Господа солдаты, господин сержант, на ваших лицах я читаю добродушие и любовь к ближнему! Позвольте мне идти своим путем!

Сейчас, стоя вплотную, было видно: школяр отнюдь не юн. Даже не молод. Небось четвертый десяток разменял, и вряд ли меньше, чем наполовину. Сука-жизнь изрядно потрепала клирика Веселой Науки: когда он говорил, явственно обнаруживалась недостача зубов, кудри поредели, соль времени густо проступила на них, и впалые щеки говорили сами за себя. Нервные пальцы, костлявые, с распухшими суставами, сжимали котомку все теснее; так цепляется за кошель скряга, встреченный ночными шутниками. Одет школяр был бедно, плащ (явно с чужого плеча!) снизу доверху заляпан рыжей глиной; и стоя, ему приходилось кособочиться из-за потери сабо.

— Своим путем? — Сержант довольно осклабился, воняя перегаром. — Не пойдешь, соловушка — побежишь!.. полетишь...

И мигнул солдатам.

Тупой конец алебарды угодил школяру в живот. Тот согнулся, блюя недавним обедом; и древко с костяным стуком опустилось на спину в грязном плаще. Солдаты столпились вокруг упавшего, носки и подошвы сапог с сочным чавканьем, подражая распутице-распутнице, принялись месить вскрикивающее тесто; нашлось место и древкам алебард...

— Тише, парни, тише! — прикрикнул сержант на увлекшихся подчиненных. — Не до смерти... пока.

И подошел ближе, склонился над растерзанным человеком.

— Г-го... — Гусиный гогот вырвался из губ, более всего напоминавших сейчас мучные клецки, измазанные вишневым сиропом. — Г-господа... н-не надо, господа...

— Ты, грамотей, зла не держи. — В единственном глазу, который еще не утратил способности видеть, вспыхнула отчаянная надежда; и угасла, зашипев в ледяном спокойствии взгляда сержанта. — Я — человек приказа, что велено, то и делаю. Ты лучше вот что скажи: лейтенанта Массэ помнишь?

Школяр все пытался отползти, отодвинуться; вжавшись спиной в ствол древнего вяза, он трясущейся рукой полез за пазуху.

Серебряная рыбка ножа плеснула хвостом, вздрагивая от зябкой сырости; и ухмылка опять встопорщила усы сержанта.

Солдаты дружно заржали.

— Ты, грамотей, ножиком-то не тычь, не грози... Не о ножике спрос. Лейтенанта Массэ, говорю, помнишь? Ну, того, которого ты в своих «Заветах» на весь белый свет ославил?! Сопляки голозадые — и те по сей день орут: «Не стряпчий, не судья, не граф — пускай тройной заплатит штраф Массэ, потомственная шлюха!»

И сержант скосился на подчиненных: смеяться станете — удавлю!

— Вижу, помнишь. Так ведь и он тебя помнит! Всехристианнейший король наш Людовик тебя простил, а лейтенант не король, он прощать не обучен...

Еще один взгляд в сторону солдат: я этого не говорил, вы не слышали!

Ясно?

Солдатам было ясно.

— Эх, грамотей, тебе б ноги делать, да подальше! — а ты ходил-бродил, и опять к Парижу потянуло! Кого куда, лису в курятник, а тебя — на лобное место. Что ж, плати, раз кредиторы объявились...

В следующую секунду бравый сержант отшагнул назад и осенил себя крестным знамением. Клянусь подвязками святой Женевьевы, ведь не было, никого не было рядом, кроме школяра и парней; вот незадача!

Из-за ствола вяза бочком выбрался давешний мавр.

Встал рядом со школяром, чучело бородатое, одернул свою одежку — простой христианин и не выговорит, как эта пакость называется! — по-птичьи склонил голову в тюрбане к левому плечу.

— Доблестные воины, — по-французски мавр говорил гортанно, с придыханием, но вполне понятно, — оглянитесь вокруг!

Сержант завертел головой: неужто тьма мавров кругом бродит?

Ф-фу, врет, кость паленая...

Тишь да гладь.

— Оглянитесь, — гнул свое черномазый, — и ощутите на губах сладость нынешнего дня! Разве лебедь ликования не парит в облаках ваших душ при одной мысли о том, что дней таких мало в нашей жизни, как мало жемчужин, но много пустых раковин на дне морском?!

— Шел бы ты, приятель, подобру-поздорову, — сержант уже малость пришел в себя. И то сказать: являются всякие, а ты их бредни выслушивай... — Раз день по душе, так иди себе, жри на сладкое! А что за день хоть?

— О, достойный воин, это день из дней! Ведь именно в этот день, в песках близ Нумании, ровно пятьсот лет тому назад...

Мавр оказался назойлив сверх меры.

Сержант поудобнее перехватил алебарду и смерил незваного гостя взглядом.

Массэ де Орлеан строго-настрого приказал: без свидетелей!.. ну что ж, без так без, в первый раз, что ли?

— ...пятьсот лет тому назад умер в первый раз один малоизвестный поэт, рожденный в славном племени Бану Джуф! И я дал себе обет: в день сей спасти от злой участи бедную душу, будь она душой правоверного или гяура, о коих сказано в Книге Неизменности...

Сержант справедливо полагал, что в Книге Неизменности ничего не говорилось о выпадах алебардой. О тех добрых выпадах, после которых остается лишь собрать потроха и убраться в ад, где дьявол уже приготовил для мавров местечко потеплее. Опытный вояка, он даже успел заметить, как черномазый ловко повернулся, пропуская мимо тяжелое лезвие; а вот когда кривой меч мавра покинул ножны — этого сержант заметить не успел.

Так и остался стоять, сжимая в руках кусок древка, чисто срубленный у самого наконечника.

Мавр кинул меч обратно в ножны и тщательно вытер сапоги о лезвие искалеченной алебарды. Острое такое лезвие; богатые такие сапоги, из отличной юфти, с кисточками по краю голенищ. Сержант ждал, и в голове его волчком вертелась дурацкая мысль: что за меч у проклятого мавра? Альфанга? — нет, та короче, и конец у альфанги обоюдоострый... Симитарра? — у этой изгиб другой. В оружейной лавке дядюшки Госсуэна по прозвищу Ослиное Ухо сержант не видел подобных клинков; а теперь и видеть не хотел.

Никогда.

Зато мысль о том, что недурственно было бы скомандовать парням... нет, такая мысль сержанту в голову не являлась.

Все-таки он был опытным человеком, этот сержант.

— Пойдем, — мавр тем временем помог школяру подняться, бережно поддерживая избитого человека. Не надо было слыть лекарем, чтоб понять: пара ребер у бедняги сломана, ибо каждый вдох давался ему со скрежетом зубовным, а выдох и вовсе шел стонами. — Обопрись о меня... вот так... а теперь пошли. И прошу: не оборачивайся...

— Господин сержант! Господин сержант! Смотрите!

Школяр все-таки обернулся.

С холма было видно плохо, слезы боли застили взор, но он сумел-таки рассмотреть: солдаты сгрудились у канавы и, неловко используя алебарды в качестве багров, выволакивают из грязи чье-то тело.

Больше он смотреть не стал.

— Ты обронил котомку, — сказал мавр, незаметно поддерживая клирика Веселой Науки за талию. — Ты обронил котомку, Франсуа. Хочешь, я подниму?

— Не надо, — ответил школяр, пережидая головокружение. — Спасибо, добрый мавр; не утруждай себя. Я возьму сам.

Паутинки струились в стеклянном воздухе, скользя по лицам поцелуем осени, и клин журавлей рассекал небо над головами людей.

Декабрь 1997 г. — апрель 1998 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПУТЬ МЕЧА. *Роман*

КНИГА I. КАБИР

Часть I. МЕЧ ЧЕЛОВЕКА

Глава 1 7
Глава 2 21
Глава 3 33
Постскриптум 44

Часть II. ЧЕЛОВЕК МЕЧА

Глава 4 46
Глава 5 61
Глава 6 75

Часть III. МЕЧ И ЕГО ЧЕЛОВЕК

Глава 7 88
Глава 8 103
Глава 9 120
Постскриптум 133

КНИГА II. МЭЙЛАНЬ

Часть IV. ЧЕЛОВЕК И ЕГО МЕЧ

Глава 10 137
Глава 11 148
Глава 12 161

Часть V. БЛИСТАЮЩИЕ И ЛЮДИ

Глава 13 174
Глава 14 186
Глава 15 206

Часть VI. ЛЮДИ И БЛИСТАЮЩИЕ

Глава 16 226
Глава 17 238

Глава 18 260
Постскриптум 282

КНИГА III. ШУЛМА

Часть VII. ВОПЛОЩЕНИЕ ЖЕЛТОГО БОГА

Глава 19 285
Глава 20 296
Глава 21 307
Постскриптум 321
Еще один постскриптум 323

Часть VIII. ОГОНЬ МАСУДА

Глава 22 329
Глава 23 341
Глава 24 352
Глава 25 363

Часть IX. ЧУЖДЫЕ ПОЛЯ

Глава 26 374
Глава 27 389
Глава 28 405
Эпилог 419
Глоссарий названий оружия с позиций аналогов земной истории и географии 429

ДАЙТЕ ИМ УМЕРЕТЬ. *Роман*

Пролог 439

КНИГА I. НА ДРУГОМ КОНЦЕ СТВОЛА

Глава 1. ХАБИБ 445
Глава 2. АЗАТ 452
Глава 3. ХАКИМ 458
Глава 4. ХАБИБ 465
Глава 5. АЗАТ 474
Глава 6. ХАКИМ 479
Глава 7. ХАБИБ 486
Глава 8. АЗАТ 492

Глава 9. ХАКИМ 498
Глава 10. ХАЙЛЬ-БАШИ 505
Глава 11. САМОУБИЙЦА 508
Глава 12. СКОЛОПЕНДРА 511
Глава 13. АЗАТ 515
Глава 14. РУИНТАН-АРАКЧИ 522
Глава 15. «ГОРНЫЙ ОРЕЛ» 525
Глава 16. ХАЙЛЬ-БАШИ 528
Глава 17. ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС 531

КНИГА II. УБИТЬ ПОДЛУЮ ТВАРЬ,
или МИРАЖИ ЗВЕЗДНОГО ЧАСА

Глава 1. ХАЙЛЬ-БАШИ 533
Глава 2. ШЕЙХ «АЛАМУТА» 539
Глава 3. НАДИМ 546
Глава 4. БЕЛОВОЛОСЫЙ 550
Глава 5. ЛЕЙЛА 553
Глава 6. РУИНТАН-АРАКЧИ 554
Глава 7. АЗАТ 554
Глава 8. ГЮРЗЕЦ 555

КНИГА III. В ОДНОЙ ОБОЙМЕ

Глава 1. СКОЛОПЕНДРА 556
Глава 2. АЛЬБОРЗ-ПАХЛАВАН 558
Глава 3. ХАКИМ 561
Глава 4. НАДИМ 565
Глава 5. АЗАТ 568
Глава 6. ГЮРЗЕЦ 571
Глава 7. ХАБИБ 573
Глава 8. ХАКИМ 578
Глава 9. СТАРУХА 579
Глава 10. ХАБИБ 585
Глава 11. НАДИМ 590
Глава 12. АЗАТ 595

Глава 13. ХАКИМ 597
Глава 14. ХАБИБ 603
Глава 15. АЗАТ 609
Глава 16. САМОУБИЙЦА 614
Глава 17. «ГОРНЫЙ ОРЕЛ» 618
Глава 18. ХАКИМ 628
Глава 19. НЕИСТОВАЯ ЗЕЙРИ 632
Глава 20. ГУЛЯМ МАХМУД 638
Глава 21. ГУЛЯМ УСМАР 639
Глава 22. АЗАТ 641
Глава 23. СКОЛОПЕНДРА 645
Глава 24. АЗАТ 646
Глава 25. ХАЙЛЬ-БАШИ 646
Эпилог 647

Я ВОЗЬМУ САМ. *Роман*

КНИГА I. ФАРР-ЛА-КАБИР

Глава 1 655
Глава 2 666
Глава 3 674
Глава 4 687
Глава 5 698
Глава 6 707
Глава 7 716
Глава 8 729
Глава 9 746
Глава 10 754
Глава 11 761
Глава 12 771
Глава 13 780
Глава 14 788
Глава 15 794

КНИГА II. ЗОЛОТОЕ РУНО

Глава 1 805
Глава 2 815
Глава 3 826
Глава 4 838
Глава 5 847
Глава 6 858
Глава 7 870
Глава 8 886
Глава 9 897
Глава 10 907
Глава 11 918
Глава 12 930
Глава 13 945
Глава 14 954
Глава 15 966
Эпилог 978

Литературно-художественное издание

Генри Лайон Олди

КАБИРСКИЙ ЦИКЛ

Издано в авторской редакции
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Т. Комарова*
Корректоры *З. Харитонова, М. Мазалова*

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6.
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@ eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00

Книга — почтой: **Книжный клуб «Эксмо»**
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@ eksmo.ru

Оптовая торговля:
109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС».
103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mgl@logosgroup.ru

ООО «КИФ «ДАКС». 140005 М. О. г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 3а.
т. 503-81-63, 796-06-24. E-mail: kif_daks@mtu-net.ru

Книжные магазины издательства «Эксмо»:
Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.

Северо-Западная Компания представляет
весь ассортимент книг издательства «Эксмо».
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е
Тел. отдела рекламы (812) 265-44-80/81/82/83.

Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо».
Информация о магазинах и книгах в Санкт-Петербурге по тел. 050.

Вы получите настоящее удовольствие, покупая книги в магазинах ООО «Топ-книга»
Тел./факс в Новосибирске: (3832) 36-10-26. E-mail: office@top-kniga.ru

Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:
ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на ВДНХ».
Книги издательства «Эксмо» в Европе: www.atlant-shop.com

Подписано в печать с готовых диапозитивов 22.11.2002.
Формат 84×108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс».
Печать офсетная. Бум. писч. Усл. печ. л. 52,08. Уч.-изд. л. 59,7.
Тираж 8100 экз. Заказ 7682

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

Любите читать?
Нет времени ходить по магазинам?
Хотите регулярно пополнять домашнюю библиотеку и при этом экономить деньги?

Тогда каталоги Книжного клуба "ЭКСМО" – то, что вам нужно!



Раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете каталог с более чем 200 новинками нашего издательства!

Вы найдете в нем книги для детей и взрослых: классику, поэзию, детективы, фантастику, сентиментальные романы, сказки, страшилки, обучающую литературу, книги по психологии, оздоровлению, домоводству, кулинарии и многое другое!

Чтобы получить каталог, достаточно прислать нам письмо-заявку по адресу: **101000, Москва, а/я 333.**
Телефон "горячей линии" **(095) 232-0018**
Адрес в Интернете: **http://www.eksmo.ru**
E-mail: **bookclub@eksmo.ru**

издательство ЭКСМО ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Серию «История будущего»



Собрание лучших произведений фантаста №1!

Спрашивайте в магазинах

Р. Хайнлайн «Восстание 2100 года. Дети Мафусаила. Модкейн с Марса»

Р. Хайнлайн «Луна – суровая хозяйка»

Р. Хайнлайн «Человек, который продал Луну. Зеленые холмы Земли»

Все книги объемом 400-500 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:
101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»
Наш адрес в Интернете: http://www.bookclub.ru

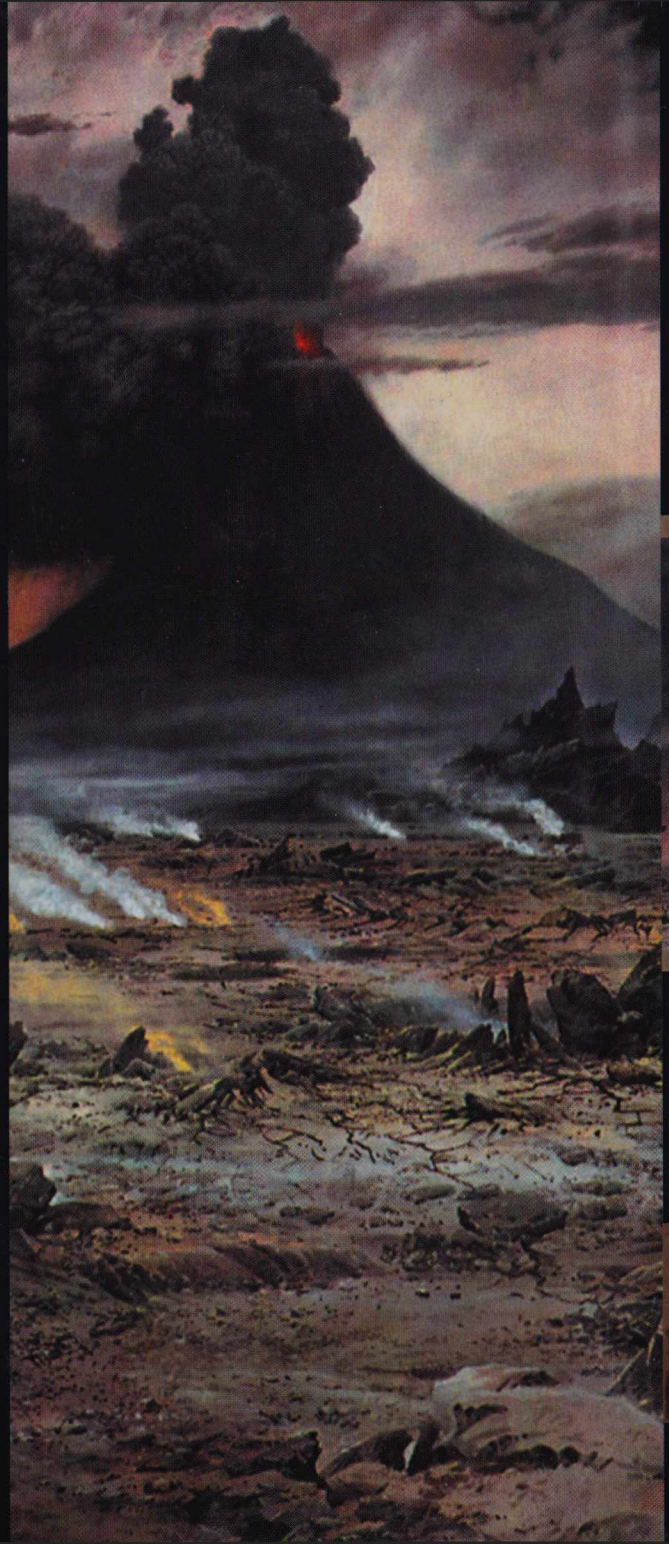
Генри Лайон
Олди

КАБИРСКИЙ
ЦИКЛ

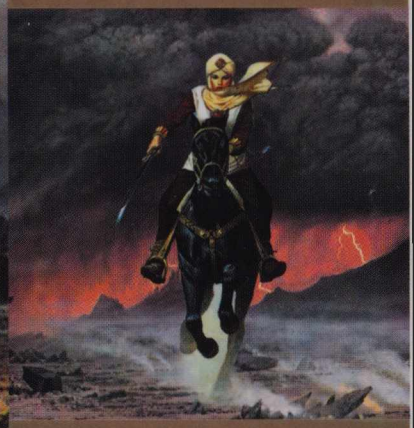


ISBN 5-699-01762-3

Утопия и чудеса,
жестокость
реальности
и покой души,
вихрь Бесед
и неспешность
мудрости –
тысячелетняя
летопись мира,
в котором оружию
стали давать
имена.



Генри Лайон
ОЛДИ



Ярчайшее
литературное
событие
последнего
десятилетия

КАБИРСКИЙ
ЦИКЛ

ЭКСМО